ПЛУТАРХ · СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЯ

I

ПЛУТАРХ

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЯ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Литературные Памятники



ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ



ΒΙΟΙ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ



ПЛУТАРХ



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЯ

В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ ПЕРВЫЙ

Издание второе,
исправленное
и дополненное



Издание подготовили

С.С. АВЕРИНЦЕВ, М.Л. ГАСПАРОВ,
С.П. МАРКИШ

МОСКВА "НАУКА" 1994

Ответственный редактор

С.С. АВЕРИНЦЕВ

П $\frac{4700000000-456}{042(02)-94}$ 472-93, II полугодие

ISBN 5-02-011570-3

ISBN 5-02-011568-1



ТЕСЕЙ И РОМУЛ

ТЕСЕЙ

1. Подобно тому как ученые мужи, трудясь над описанием земель, все ускользающее от их знания оттесняют к самым краям карты, помечая на полях: “Далее безводные пески и дикие звери”, или: “Болота Мрака”, или: “Скифские морозы”, или: “Ледовитое море”, точно так же и мне, Сосий Сенецион, в работе над сравнительными жизнеописаниями пройдя чрез времена, доступные основательному изучению и служащие предметом для истории, занятой подлинными событиями, можно было бы о поре более древней сказать: “Далее чудеса и трагедии, раздолье для поэтов и мифографов, где нет места достоверности и точности”. Но коль скоро мы издали рассказ о законодателе Ликурге и царе Нуме, то сочли разумным дойти и до Ромула, в ходе повествования оказавшись совсем рядом с его временем. И вот, когда я задумался, говоря словами Эсхила,

С подобным мужем выйдет кто на бой?
Кого послать? Кто с ним сравнится силой?[1]

мне представилось, что с отцом непобедимого и прославленного Рима следует сопоставить и сравнить основателя прекрасных, всеми воспетых Афин. Я бы хотел, чтобы сказочный вымысел подчинился разуму и принял видимость настоящей истории. Если же кое-где он со своевольным презрением отвернется от правдоподобия и не пожелает даже приблизиться к нему, просим благосклонного читателя отнестись со снисхождением к этим рассказам о старине.

2. Итак, мне казалось, что Тесей во многом сходен с Ромулом. Оба появились на свет тайно и вне брака, обоим приписывалось божественное происхождение,

Оба славнейшие воины, в том убедилися все мы[2],

у обоих сила соединена с мудростью. Один основал Рим, другой Афины – два самых знаменитых города в мире. Оба – похитители женщин. Ни тот, ни другой не избегли семейных бедствий и горя в частной жизни, а под конец, говорят, стяжали ненависть сограждан – конечно, если некоторые предания, наименее баснословные, способны указать нам путь к истине.

3. Род Тесея со стороны отца восходит к Эрехтею[3] и первым коренным жителям Аттики, а с материнской стороны – к Пелопу. Пелоп возвысился среди пелопоннесских государей благодаря не столько богатству, сколько многочисленному потомству: многих из дочерей он выдал замуж за самых знатных граждан, а сыновей поставил во главе многих городов. Один из них, Питфей, дед Тесея, основавший небольшой город Трезен, пользовался славою ученейшего и мудрейшего мужа своего времени. Образцом и вершиною подобной мудрости были, по-видимому, изречения Гесиода, прежде всего в его "Трудах и днях"; одно из них, как сообщают, принадлежало Питфею:

Другу всегда обеспечена будь договорная плата[4].

Такого мнения держится и философ Аристотель. А Эврипид, называя Ипполита "питомцем непорочного Питфея"[5], показывает, сколь высоким было уважение к последнему.

Эгей, желавший иметь детей, получил от Пифии общеизвестное предсказание: бог внушал ему не вступать в связь ни с одной женщиной, пока он не прибудет в Афины. Но высказано это было не совсем ясно, и потому, придя в Трезен, Эгей поведал Питфею о божественном вещании, звучавшем так:

Нижний конец бурдюка не развязывай, воин могучий,
Раньше, чем ты посетишь народ пределов афинских.

Питфей понял, в чем дело, и то ли убедил его, то ли принудил обманом сойтись с Этрой. Узнав, что это дочь Питфея, и полагая, что она понесла, Эгей уехал, оставив в Трезене свой меч и сандалии спрятанными под огромным камнем с углублением, достаточно обширным, чтобы вместить и то, и другое. Он открылся одной только Этре и просил ее, если родится сын и, возмужав, сможет отвалить камень и достать спрятанное, отправить юношу с мечом и сандалиями к нему, но так, чтобы об этом никто не знал, сохраняя все в глубочайшей тайне: Эгей очень боялся козней Паллантидов (то были пятьдесят сыновей Палланта[6]), презиравших его за бездетность.

4. Этра родила сына, и одни утверждают, что он был назван Тесеем[7] сразу, по кладу с приметными знаками, другие – что позже, в Афинах, когда Эгей признал его своим сыном. Пока он рос у Питфея, его наставником и воспитателем был Коннид, которому афиняне и поныне, за день до праздника Тесеи[8], приносят в жертву барана – память и почести гораздо более заслуженные, нежели те, что оказывают скульптору Силаниону и живописцу Паррасию, создателям изображений Тесея.

5. Тогда еще было принято, чтобы мальчики, выходя из детского возраста, отправлялись в Дельфы и посвящали богу первины своих волос. Посетил Дельфы и Тесей (говорят, что там есть место, которое и теперь зовется Тесея – в его честь), но волосы остриг только спереди, как, по словам Гомера[9], стриглись абанты, и этот вид стрижки был назван "Тесеевым". Стричься так абанты начали первыми, а не выучились у арабов, как думают некоторые, и не подражали мисийцам. Они были воинственным народом, мастерами ближнего боя, и лучше

всех умели сражаться в рукопашную, как о том свидетельствует и Архилох в следующих строках:

То не пращи засвистят и не с луков бесчисленных стрелы
Вдаль понесутся, когда бой на равнине зачнет
Арес могучий: мечей многостонная грянет работа.
В бое подобном они опытны боле всего, –
Мужи-владыки Эвбеи, копейщики славные...[10]

И вот, чтобы враги не могли ухватить их за волосы, они коротко стриглись. Из этих же соображений, бесспорно, и Александр Македонский приказал, говорят, своим военачальникам обрить македонянам бороды, к которым в битве так и тянутся руки противников.

6. В течение всего этого времени Этра скрывала истинное происхождение Тесея, а Питфей распространял слух, будто она родила от Посейдона. Дело в том, что трезенцы особенно чтут Посейдона, это их бог-хранитель, ему они посвящают начатки плодов и на монетах чеканят трезубец. Тесей был еще совсем молод, когда вместе с крепостью тела в нем обнаружились отвага, рассудительность, твердый и в то же время живой ум, и вот Этра, подведя его к камню и открыв тайну его рождения, велела ему достать опознавательные знаки, оставленные отцом, и плыть в Афины. Юноша проскользнул под камень и легко его приподнял, но плыть морем отказался, невзирая на безопасность путешествия и просьбы деда с матерью. Между тем добраться в Афины сушею было трудно: на каждом шагу путника подстерегала опасность погибнуть от руки разбойника или злодея. Тот век произвел на свет людей, мощью рук, быстротою ног и силою тела превосходивших, по-видимому, обычные человеческие возможности, людей неутомимых, но свои природные преимущества не обращавших ни на что полезное или доброе; напротив, они наслаждались своим наглым буйством, давали выход своим силам в дикости и свирепстве, в убийстве и расправе над любым встречным и, считая, что большей частью смертные хвалят совесть, справедливость и человечность, лишь не решаясь сами чинить насилия и страшась им подвергнуться, были уверены, что ни одно из этих качеств не подобает тем, кто превосходит мощью других. Странствуя по свету, Геракл часть их истребил, остальные при его приближении в ужасе разбежались, попрятались и, влача жалкое существование, были всеми забыты. Когда же с Гераклом стряслась беда и он, убив Ифита[11], удалился в Лидию, где долго нес рабскую службу у Омфалы, сам наложив на себя такую кару за убийство, у лидийцев воцарились мир и безмятежное спокойствие, зато в греческих землях злодеяния вновь вырвались наружу и расцвели пышным цветом: не было никого, кто бы их подавил или обуздал. Вот почему пеший путь из Пелопоннеса в Афины грозил гибелью, и Питфей, рассказывая Тесею о каждом из разбойников и злодеев в отдельности, о том, каковы они и что творят с чужестранцами, убеждал внука ехать морем. Но Тесея, как видно, уже давно тайно волновала слава Геракла: юноша питал к нему величайшее уважение и всегда был готов слушать тех, кто говорил о герое, в особенности очевидцев, свидетелей его деяний и речений. Он испытывал, несомненно, те же самые чувства, какие

много позже испытал Фемистокл, признававшийся, что его лишает сна трофей[12] Мильтиада. Так и Тесею, восхищавшемуся доблестью Геракла, и ночью снились его подвиги, и днем не давали покоя ревность и соперничество, направляя мысль к одному – как бы свершить то же, что Геракл.

7. Они состояли в кровном родстве, ибо родились от двоюродных сестер: Этра была дочерью Питфея, Алкмена – Лисидики, а Питфей с Лисидикой были братом и сестрою, детьми Гипподамии и Пелопа. Поэтому Тесей считал нестерпимым позором, в то время как Геракл ходил на злодеев повсюду, очищая от них и сушу и море, уклониться от битв, которые сами ждут его на пути, бегством по морю унизить бога, которого молва называет его отцом, а настоящему отцу просто доставить приметные знаки – сандалии и незапятнанный кровью меч, – вместо того, чтобы сразу же обнаружить чекан своего происхождения в славных и высоких поступках.

Рассудивши так, он двинулся в дорогу с намерением никого не обижать, но не давать спуску и пощады зачинщикам насилия. (8). И прежде всего, в Эпидаврской земле, ему довелось столкнуться с Перифетом, оружием коему служила палица (он так и звался "Палиценосным"); Перифет задержал Тесея и пытался не пустить его дальше, но был убит. Палица полюбилась Тесею, он взял ее с собой и с тех пор постоянно пользовался ею в боях, как Геракл – львиною шкурой: Геракл носил на плечах свидетельство того, сколь велик был зверь, которого он осилил, палица Тесея как бы возвещала: "Мой новый хозяин меня одолел, но в его руках я неодолима".

На Истме он казнил Синида, сгибателя сосен, – тем же самым способом, каким Синид погубил многих путников[13]. Не имея в этом деле ни навыка, ни опыта, Тесей доказал, что природная доблесть выше всякой тщательной выучки. У Синида была дочь по имени Перигуна, очень красивая и громадного роста. Она бежала, и Тесей искал ее повсюду. Забившись в густые заросли стебы и дикой спаржи, Перигуна простодушно, совсем по-детски молила эти растения – словно они могли услышать и понять – укрыть ее и спасти и клялась никогда больше их не ломать и не жечь. Но Тесей звал ее, заверяя, что позаботится о ней и не причинит ей никакой обиды, и она вышла; она родила от Тесея сына Меланиппа, а впоследствии была супругой эхалийца Деионея, сына Эврита, за которого ее выдал Тесей. От Меланиппа, сына Тесея, родился Иокс, помогавший Орниту вывести переселенцев в Карию. Вот почему у потомков Иокса исстари повелось не жечь ни стебы, ни колючек дикой спаржи, но глубоко их чтить.

9. Кроммионская свинья[14] по кличке Фэя была воинственным и свирепым диким зверем, противником отнюдь не пустяшным. Мимоходом Тесей подстерег ее и убил, чтобы не казалось, будто все свои подвиги он совершает по необходимости; вдобавок он считал, что ополчаться против негодных людей храброму мужу следует лишь в ответ на их враждебные действия, но на благородного зверя дóлжно нападать первому, невзирая на опасность. Некоторые, правда, утверждают, что Фэя была разбойница, кровожадная и разнузданная; обитала-де она там же, в Кроммионе, "Свиньей" ее прозвали за гнусный нрав и образ жизни, а Тесей, мол, ее умертвил.

10. Около границ Мегариды Тесей убил Скирона, сбросив его со скалы.

Обычно говорят, что Скирон грабил прохожих, но есть и другое мнение – будто он бесчинно и нагло протягивал чужеземцам ноги и приказывал мыть, а когда те принимались за дело, ударом пятки сталкивал их в море. Однако мегарские писатели оспаривают эту молву, "воюют со стариной", по слову Симонида, настаивая на том, что Скирон не был ни наглецом, ни грабителем, напротив – карал грабителей и находился в родстве и дружбе с благородными и справедливыми людьми. Ведь Эака[15] считают благочестивейшим из греков, Кихрею Саламинскому воздают в Афинах божеские почести, каждому известна доблесть Пелея и Теламона, а между тем Скирон – зять Кихрея, тесть Эака, дед Пелея и Теламона, родившихся от Эндеиды, дочери Скирона и Харикло́. Невероятно, чтобы лучшие из лучших породнились с самым низким и подлым, отдали ему и, в свою очередь, приняли из его рук величайший и драгоценнейший дар! Тесей убил Скирона, заключают эти писатели, не в первое свое путешествие, по дороге в Афины, а позже, когда отнял у мегарян Элевсин, обманув тамошнего правителя Диокла. Таковы противоречия в преданиях о Скироне.

11. В Элевсине Тесей умертвил Керкиона, одолев его в борьбе, потом, немного далее, в Герме, – Дамаста-Растягателя[16], заставив его самого сравняться длиною с ложем, точь-в-точь как тот обходился со своими гостями. Поступая так, Тесей подражал Гераклу. Геракл казнил нападавших тою же казнью, какую они готовили ему: Бусирида принес в жертву богам, Антея поборол, Кикна убил в поединке, а Термеру[17] проломил череп. Отсюда, как сообщают, и пошла поговорка о Термеровом бедствии, ибо Термер разил встречных насмерть ударом головы. Таким образом и Тесей карал злодеев, терпевших от него лишь ту муку, какой они подвергали других, и несших справедливую расплату в меру собственной несправедливости.

12. Затем он пошел дальше, и у реки Кефиса его встретили мужи из рода Фиталидов[18]. Они первыми его приветствовали и, выслушав его просьбу об очищении, совершили положенные обряды, принесли умилостивительные жертвы, а затем угостили его у себя в доме – а до тех пор он не встречал еще ни одного гостеприимного человека на своем пути.

В восьмой день месяца крония, ныне именуемого гекатомбеоном, Тесей прибыл в Афины. Он застал в городе волнения и распри, да и в семье Эгея все было неладно. С ним жила бежавшая из Коринфа Медея, которая посулила царю с помощью волшебных зелий исцелить его от бездетности. Догадавшись первой, кто такой Тесей, она уговорила Эгея, еще ни о чем не подозревавшего, дряхлого и во всем видевшего угрозу мятежа, опоить гостя ядом во время угощения. Придя к завтраку, Тесей почел за лучшее не открывать, кто он такой, но предоставить отцу возможность самому узнать сына; и вот, когда подали мясо, он вытащил нож, чтобы, разрезая еду, показать старику меч[19]. Эгей сразу узнал свой меч, отшвырнул чашу с ядом, расспросил сына, обнял его, и, созвавши граждан, представил им Тесея; афиняне радостно приняли юношу – они были уже наслышаны о его храбрости. Говорят, что когда чаша упала, яд разлился как раз на том месте, которое ныне обнесено оградой и находится в пределах Дельфиния[20]. Эгей жил там, и изображение Гермеса, стоящее к востоку от храма, называют "Гермесом у Эгеевых врат".

13. До той поры паллантиды надеялись завладеть царством, если Эгей умрет, не оставив потомства. Но тут преемником был объявлен Тесей, и, кипя злобою от того, что над ними царствует Эгей, всего-навсего усыновленный Пандионом[21] и не имеющий ни малейшего отношения к роду Эрехтея, а вслед за ним царем сделается Тесей, тоже пришелец и чужак, они начали войну. Мятежники разбились на два отряда: одни во главе с Паллантом открыто двинулись на город со стороны Сфетта, другие устроили засаду в Гаргетте, чтобы ударить на противника с двух сторон. Среди них был глашатай, уроженец Агнунта по имени Леой[22]. Он сообщил Тесею о замысле паллантидов, и тот, неожиданно напав на сидевших в засаде, всех перебил. Узнав о гибели товарищей, разбежался и отряд Палланта. С тех пор, говорят, граждане из дема Паллена не заключают браков с агнунтийцами и глашатаи у них не выкрикивают обычного: "Слушайте люди!" – эти слова им ненавистны из-за предательства Леоя.

15. Не желая сидеть без дела и в то же время стараясь приобрести любовь народа, Тесей вышел против Марафонского быка, причинявшего немало зла и хлопот жителям Четырёхградия[23], и, захватив его живьем, показал афинянам, проведя через весь город, а затем принес в жертву Аполлону-Дельфинию.

Что касается предания о Гекале[24] и ее гостеприимстве, в нем, на мой взгляд, есть какая-то доля истины. В самом деле, окрестные демы все вместе справляли Гекалесии, принося жертвы Зевсу Гекальскому, и чтили Гекалу, называя ее уменьшительным именем, в память о том, что она, приютив Тесея, еще совсем юного, по-старушечьи приветливо встретила его и тоже называла ласкательными именами. А так как перед битвой Гекала молилась за него Зевсу и дала обет, если Тесей останется невредим, принести богу жертву, но не дожила до его возвращения, она, по приказу Тесея, получила после смерти указанное выше воздаяние за свое радушие. Так рассказывает Филохор.

16. Немного спустя с Крита в третий раз приехали за данью. Когда после коварного, по общему убеждению, убийства Андрогея[25] в Аттике, Минос, воюя, причинял афинянам неисчислимые бедствия, а боги разоряли и опустошали страну, – на нее обрушился недород и страшный мор, иссякли реки, – бог возвестил, что гнев небес успокоится и бедствиям наступит конец, если афиняне умилостивят Миноса и склонят его прекратить вражду, и вот, отправив послов с просьбой о мире, они заключили соглашение, по которому обязались каждые девять лет посылать на Крит дань – семерых не знающих брака юношей и столько же девушек. В этом согласны почти все писатели.

Если верить преданию, наиболее любезному трагикам, доставленных на Крит подростков губил в Лабиринте Минотавр, или же, по-другому, они умирали сами, блуждая и не находя выхода. Минотавр, как сказано у Эврипида[26], был

Пород смешенье двух, урод чудовищный

и:

Быка и мужа естество двоякое

17. Но, по словам Филохора, критяне отвергают это предание и говорят, что Лабиринт был обыкновенной тюрьмой, где заключенным не делали ничего

дурного и только караулили их, чтобы они не убежали, и что Минос устраивал гимнические состязания в память об Андрогее, а победителю давал в награду афинских подростков, до поры содержавшихся под стражею в Лабиринте. На первых состязаниях победил военачальник по имени Тавр, пользовавшийся тогда у Миноса величайшим доверием, человек грубого и дикого нрава, обходившийся с подростками высокомерно и жестоко. Аристотель в "Государственном устройстве Боттии"[27] также совершенно ясно дает понять, что не верит, будто Минос лишал подростков жизни: они, полагает философ, успевали состариться на Крите, неся рабскую службу. Некогда критяне, исполняя старинный обет, отправили в Дельфы своих первенцев, и среди посланных были потомки афинян. Однако переселенцы не смогли прокормиться на новом месте и сначала уехали за море, в Италию; они прожили некоторое время в Иапигии, а затем, возвратившись, обосновались во Фракии и получили имя боттийцев. Вот почему, заканчивает Аристотель, боттийские девушки во время жертвоприношений иногда припевают: "Пойдемте в Афины!".

Да, поистине страшное дело – ненависть города, владеющего даром слова! В аттическом театре Миноса неизменно поносили и осыпали бранью, ему не помогли ни Гесиод, ни Гомер[28] (первый назвал его "царственнейшим из государей", второй – "собеседником Крониона"), верх одержали трагики, вылившие на него с проскения и скены[29] целое море хулы и ославившие Миноса жестоким насильником. А ведь в преданиях говорится, что он царь и законодатель, и что судья Радамант блюдет его справедливые установления.

17. Итак, подоспел срок отсылать дань в третий раз; родителям, у которых были не знавшие брака дети, приходилось, сообразно жребию, расставаться с сыновьями или дочерьми, и снова у Эгея пошли раздоры с согражданами, которые горевали и с негодованием сетовали на то, что виновник всех бедствий единственный свободен от наказания, что, завещав власть незаконнорожденному и чужеземцу, он равнодушно глядит, как они теряют законных отпрысков и остаются бездетными. Эти жалобы угнетали Тесея, и, считая своим долгом не держаться в стороне, но разделить участь сограждан, он сам, не по жребию, вызвался ехать на Крит. Все дивились его благородству и восхищались любовью к народу, а Эгей, исчерпав все свои просьбы и мольбы и видя, что сын непреклонен и неколебим, назначил по жребию остальных подростков. Гелланик, однако, утверждает, будто никакого жребия не метали, но Минос сам приезжал в Афины и выбирал юношей и девушек и в тот раз выбрал первым Тесея; таковы-де были условия, предусматривавшие также, что афиняне снаряжают корабль, на котором пленники вместе с Миносом плывут на Крит, не везя с собою никакого "оружия брани", и что конец возмездию положит смерть Минотавра.

Прежде у отправлявшихся не оставалось никакой надежды на спасение, поэтому на корабле был черный парус в знак неминуемого несчастья. Однако на этот раз Тесей ободрял отца гордыми уверениями, что одолеет Минотавра, и Эгей дал кормчему еще один парус, белый, и велел поднять его на обратном пути, если Тесей уцелеет, если же нет – плыть под черным, возвещая о беде. Симонид пишет, что Эгей дал не белый, а "пурпурный парус, окрашенный

соком цветов ветвистого дуба", и это должно было знаменовать спасение. Вел судно Ферекл, сын Амарсиада, как сообщает Симонид. Но по словам Филохора, Тесей взял у Скира с Саламина кормчего Навсифоя и помощника кормчего Феака, поскольку афиняне тогда еще не занимались мореплаванием, а в числе подростков находился Менест, внук Скира. В пользу этого свидетельствуют святилища героев Навсифоя и Феака, воздвигнутые Тесеем в Фалерах подле храма Скира; в их же честь, заключает Филохор, справляется и праздник Кибернесии[30].

18. Когда метанье жребия было завершено, Тесей забрал тех, кому он выпал, и, пройдя из пританея[31] в Дельфиний, положил за них пред Аполлоном масличную ветвь[32]. То была ветвь со священного дерева, увитая белой шерстью. Помолившись, он спустился к морю. Все это происходило в шестой день месяца мунихиона, в который и ныне посылают в Дельфиний девушек с мольбою о милости. Говорят, что дельфийский бог повелел Тесею взять в путеводительницы Афродиту, и когда Тесей на берегу моря приносил ей в жертву козу, животное вдруг обернулось козлом; отсюда и прозвище богини – "Козлиная".

19. Прибывши на Крит, Тесей, как говорится у большинства писателей и поэтов, получил от влюбившейся в него Ариадны нить, узнал, как не заплутаться в извивах Лабиринта, убил Минотавра и снова пустился в плавание, посадив на корабль Ариадну и афинских подростков. Ферекид добавляет, что Тесей пробил дно у критских судов, лишив критян возможности преследовать беглецов. Более того, по сведениям, которые мы находим у Демона, пал военачальник Миноса Тавр, завязавший в гавани бой с Тесеем, когда тот уже снялся с якоря.

Но Филохор рассказывает все совершенно по-иному. Минос назначил день состязаний, и ожидали, что Тавр снова всех оставит позади. Мысль эта была ненавистна критянам: они тяготились могуществом Тавра из-за его грубости и вдобавок подозревали его в близости с Пасифаей[33]. Вот почему, когда Тесей попросил разрешения участвовать в состязаниях, Минос согласился. На Крите было принято, чтобы и женщины смотрели игры, и Ариадну потрясла наружность Тесея и восхитила его победа над всеми соперниками. Радовался и Минос, в особенности – унизительному поражению Тавра; он вернул Тесею подростков и освободил Афины от уплаты дани.

По-своему, ни с кем не схоже, повествует об этих событиях Клидем, начинающий весьма издалека. По его словам, среди греков существовало общее мнение, что ни одна триера не должна выходить в море, имея на борту...* сверх пяти человек. Лишь Ясон, начальник "Арго"...** плавал, очищая море от пиратов. Когда Дедал на небольшом корабле бежал в Афины, Минос, вопреки обычаю, пустился в погоню на больших судах, но бурею был занесен в Сицилию и там окончил свои дни. Его сын Девкалион, настроенный к афинянам враждебно, потребовал выдать ему Дедала, в противном же случае грозился умертвить заложников, взятых Миносом. Тесей отвечал мягко и сдержанно,

* Текст в оригинале испорчен.
** Текст в оригинале испорчен.

оправдывая свой отказ тем, что Дедал – его двоюродный брат и кровный родственник через свою мать Меропу, дочь Эрехтея, а между тем принялся строить корабли как в самой Аттике, но далеко от большой дороги, в Тиметадах, так и в Трезене, с помощью Питфея: он желал сохранить свои планы в тайне. Когда суда были готовы, он двинулся в путь; проводниками ему служили Дедал и критские изгнанники. Ни о чем не подозревавшие критяне решили, что к их берегу подходят дружественные суда, а Тесей, заняв гавань и высадившись, ни минуты не медля устремился к Кноссу, завязал сражение у ворот Лабиринта и убил Девкалиона вместе с его телохранителями. Власть перешла к Ариадне, и Тесей, заключив с нею мир, получил обратно подростков-заложников; так возник дружеский союз между афинянами и критянами, которые поклялись никогда более не начинать войну.

20. Обо всем этом, равно как и об Ариадне, ходит еще немало других преданий, ни в чем друг с другом не схожих. Одни говорят, будто Ариадна удавилась, брошенная Тесеем, иные – будто моряки увезли ее на остров Наксос, и там она разделяла ложе с Онаром, жрецом Диониса. Тесей же оставил ее, полюбив другую.

Страсть пожирала его к Панопеевой дочери Эгле

гласит стих из Гесиода, который, по сообщению Герея Мегарского, вычеркнул Писистрат, подобно тому, как, стараясь угодить афинянам, приказал вставить в Гомерово “Заклинание мертвых” стих:

Славных, богами рожденных, Тесея царя, Пиритоя[34].

Иные же утверждают, что Ариадна родила от Тесея Энопиона и Стафила. В их числе и хиосец Ион, который говорит о своем родном городе:

Энопион Тесеид град этот встарь основал.

Что же касается самого благоприятного для Тесея предания, то оно, с позволения сказать, навязло у всех на зубах. Но Пеон Амафунтский излагает его совершенно отлично от других. Тесея, говорит он, прибило бурею к Кипру, беременная Ариадна, измученная качкой, сошла на берег одна, а сам Тесей хлопотал на судне, как вдруг его снова понесло в открытое море. Местные женщины приняли Ариадну, старались рассеять уныние, в которое ее погрузила разлука, приносили подложные письма, якобы писанные ей Тесеем, оказали ей помощь и сострадали ее мукам во время родов, когда она умерла, так и не разрешившись от бремени, похоронили. Затем вернулся Тесей. Страшно опечаленный, он оставил местным жителям деньги и наказал им приносить Ариадне жертвы, а также воздвиг два маленьких ее изображения, одно серебряное, другое бронзовое. Во время празднества во второй день месяца горпиея кто-нибудь из молодых людей опускается на ложе и подражает стонам и движениям роженицы. Жители Амафунта называют рощу, где показывают могилу Ариадны, рощею Ариадны-Афродиты.

Некоторые писатели с Наксоса тоже по-своему передают историю Ариадны. Было якобы два Миноса и две Ариадны, из коих одна сочеталась браком с

Дионисом на Наксосе и родила Стафила, а другая, младшая, была похищена Тесеем; покинутая им, она прибыла на Наксос вместе со своею кормилицей Коркиной, чья могила цела поныне. Там же, на Наксосе, умерла и Ариадна, и ей оказывают почести, не похожие на те, которыми чтут первую Ариадну: в память о старшей справляют веселый и радостный праздник, когда же приносят жертвы младшей, то они отличаются характером печальным и угрюмым.

21. Плывя с Крита назад, Тесей причалил к Делосу, принес жертву Богу и посвятил ему статую Афродиты, которую взял у Ариадны, а затем вместе со спасенными подростками исполнил пляску, которую, как сообщают, еще и теперь пляшут делосцы: мерные движения в одну сторону, то в другую как бы воспроизводят запутанные ходы Лабиринта. Этот танец делосцы называют "журавлем", как пишет Дикеарх. Плясал Тесей вокруг Рогового жертвенника, целиком сбитого из левых рогов животных[35]. Говорят, что он устроил и состязания на Делосе, и победители тогда впервые получили в награду пальмовую ветвь.

22. Корабль уже приближался к Аттике, но и кормчий, и сам Тесей на радостях забыли поднять парус, который должен был уведомить Эгея об их спасении, и царь, обманувшись в своих надеждах, бросился вниз со скалы и погиб. Выйдя на сушу, Тесей сам остался в Фалерах, чтобы принести жертвы богам, которые он обещал им по обету, уходя в море, а в город отправил гонца с вестью о счастливом возвращении. Вестник застал многих граждан оплакивающими смерть царя, но другие, как и следовало ожидать, радовались и ликовали, услышав слова гонца, и хотели украсить его венками. Однако, приняв венки, он обвил ими свой жезл и вернулся к морю. Тесей еще не совершил возлияний, и, не желая мешать священнодействию, гонец задержался в стороне, а когда возлияния были закончены, сообщил о смерти Эгея. Тогда с плачем и воплями все поспешно двинулись в город. Вот почему, говорят, и ныне во время Осхофорий[36] увенчивают не глашатая, а его жезл и возлияния сопровождаются криками: "Элелéу! Иý-иý!" Первый из них – обычно издают, творя возлияние или распевая радостные песни, второй – в смятении и замешательстве.

Похоронив отца, Тесей исполнил данный Аполлону обет. В седьмой день месяца пианепсиона спасенные юноши и девушки вступили в город. Обычай варить в этот день бобы ведет свое начало, как говорят, от того, что спасенные собрали вместе все оставшиеся у них припасы и, сварив в одном горшке, съели за общим столом. Выносят иресиону – ветвь оливы, перевитую шерстью (наподобие тех масличных ветвей, с какими являлись тогда просители) и увешанную жертвенными первинами всевозможных плодов Земли, в память об окончании недорода, и припевают:

Иресиона, пошли нам фиги и хлеб в изобилье,
Дай нам меда вкусить, натереться оливковым маслом,
Чистого дай нам вина, чтоб сладко уснуть, опьянившись.

Некоторые, впрочем, полагают, что это обряд в честь Гераклидов, которых воспитывали афиняне[37], но большинство держится мнения, изложенного выше.

23. Тридцативесельное судно, на котором Тесей с подростками вышел в плаванье и благополучно вернулся, афиняне хранили вплоть до времен Деметрия Фалерского[38], убирая старые доски и балки по мере того, как они ветшали, и ставя на их место другие, крепкие, так что корабль этот сделался даже опорным примером в рассуждениях философов, определяющих понятие возрастания: одни утверждали, что он остается самим собою, другие – что он превратился в новый предмет.

Праздник Осхофорий был также учрежден Тесеем. Дело в том, что, отправляясь на Крит, он увез с собою не всех девушек, на которых пал жребий, но двух из них подменил своими друзьями, женственными и юными с виду, но мужественными и неустрашимыми духом, совершенно преобразив их наружность теплыми банями, покойною, изнеженною жизнью, умащениями, придающими мягкость волосам, гладкость и свежесть коже, научив их говорить девичьим голосом, ходить девичьей поступью, не отличаться от девушек ни осанкой, ни повадками, так что подмены никто не заметил. Когда же он вернулся, то и сам и эти двое юношей прошествовали по городу в том же облачении, в каком ныне выступают осхофоры. Они несут виноградные ветви с гроздьями – в угоду Дионису и Ариадне, если следовать преданию, или же (и последнее вернее) потому, что Тесей вернулся порою сбора плодов. Приглашаются и дипнофоры[39]: они участвуют в жертвоприношении, изображая матерей тех, кому выпало ехать на Крит, – подходят с хлебом и разными яствами и рассказывают сказки, так же как рассказывали матери тогда, стараясь ободрить и утешить своих детей. Эти сведения мы находим и у Демона.

Тесею отвели священный участок и распорядились покрывать его расходы по жертвоприношениям сборами с тех семейств, которые отдали своих детей в дань Миносу. Ведали священнодействиями фиталиды – так Тесей отблагодарил их за гостеприимство.

24. После смерти Эгея Тесею запала в душу великая и замечательная мысль – он собрал всех жителей Аттики, сделав их единым народом, гражданами одного города, тогда как прежде они были рассеяны, их с трудом удавалось созвать, даже если дело шло об общем благе, а нередко между ними разгорались раздоры и настоящие войны. Обходя дем за демом и род за родом, он объяснял повсюду свой план, простые граждане и бедняки быстро склонялись на его увещания, а людям влиятельным он сулил государство без царя, демократическое устройство, которое ему, Тесею, даст лишь место военачальника и стража законов, в остальном же принесет всем равенство, – и одних сумел уговорить, а другие, страшась его отваги и могущества, к тому времени уже немалого, предпочли уступить добром, нежели покориться принуждению. Итак, разрушив отдельные пританеи и дома совета и распустив местные власти, он воздвиг единый, общий для всех пританей и дом совета в нынешней старой части города, город назвал Афинами и учредил Панафинеи – общее празднество с жертвоприношениями. Далее в шестнадцатый день месяца гекатомбеона он справил Метэкии[40], которые справляются и поныне. Затем, сложив с себя, как и обещал, царскую власть, Тесей приступил к устроению государственных дел и

прежде всего обратился за советом к богам. Из Дельф ему пришел следующий ответ:

Отпрыск Эгея, Тесей, Питфеевой дочери чадо!
Многих чужих городов и земель пределы и жребий
Городу вашему сам мой отец вручил и доверил.
Но не страшись черезмерно и дух свой печалью не мучай;
Будешь, как легкий бурдюк, по морской ты плавать пучине.

То же, как сообщают, возвестила Афинам впоследствии и Сивилла:

В глубь, как бурдюк, погрузишься – тонуть же судьба не позволит.

25. Стремясь еще увеличить город, Тесей призывал в него всех желающих, предлагая права гражданства, и возвещение: "Придите сюда, все народы" принадлежит, говорят, Тесею, хотевшему основать союз всех народов. Но он не допустил, чтобы беспорядочные толпы переселенцев вызвали в государстве смешение и расстройство – он впервые выделил сословия благородных, землевладельцев и ремесленников, и благородным предоставил судить о богопочитании, занимать высшие должности, а также учить законам и толковать установления божеские и человеческие, хотя в целом как бы уравнял меж собою все три сословия: благородные превосходили прочих достоинством, землевладельцы полезным трудом, ремесленники численностью. О том, что Тесей, по словам Аристотеля, первым проявил благосклонность к простому люду и отказался от единовластия, свидетельствует, по-видимому, и Гомер[41], в "Перечне кораблей" называющих "народом" одних только афинян.

Тесей чеканил монету, выбивая на ней изображение быка: это был либо намек на Марафонского быка или на Миносова полководца, либо совет согражданам заниматься земледелием. Отсюда, говорят, пошли выражения "стоимостью в сто быков"[42], "стоимостью в десять быков".

Присоединив к Аттике Мегариду, Тесей поставил на Истме знаменитый столб с двумя ямбическими строками, разграничившими соседние земли. Одна строка, обращенная к востоку, гласила:

Сие не край Пелопов, но Иония,

а другая, глядевшая на запад, сообщала:

Сие же край Пелопов, не Иония.

Он первым пошел по стопам Геракла в устройстве состязаний, считая славою для себя, что греки, справляющие Олимпийские игры в честь Зевса благодаря Гераклу, станут благодаря ему справлять Истмийские в честь Посейдона. (Происходившие там же состязания, посвященные Меликерту[43], устраивались ночью и напоминали скорее таинства, нежели зрелище и пышный праздник.) Некоторые, правда, говорят, будто Истмийские игры посвящены Скирону, ибо Тесей хотел искупить вину за убийство родича: ведь Скирон был сын Канета и Гениохи, дочери Питфея. Наконец третьи называют сыном Гениохи не Скирона, а Синида – это в его-де честь учреждены Тесеем игры. Тесей условился с коринфянами и наказал им, чтобы афинянам, прибывающим на игры, предо-

ставлялось столько места в почетных рядах, сколько покроет развернутый парус феориды[44]. Так пишут Гелланик и Андрон Галикарнасский.

26. По сообщениям Филохора и некоторых других, Тесей плавал к берегам Понта 'Эвксинского вместе с Гераклом, помогая ему в войне против амазонок, и в награду за храбрость получил Антиопу. Но большинство историков – в том числе Ферекид, Гелланик и Геродор – утверждают, что Тесей плавал после Геракла, на своем корабле, и захватил амазонку в плен; это звучит более убедительно, ибо ни о ком из его товарищей по оружию не рассказывают, будто он взял в плен амазонку, а Бион говорит, что и та единственная была захвачена и увезена обманом. От природы амазонки мужелюбивы, они не только не бежали, когда Тесей причалил к их земле, но даже послали ему дары гостеприимства. А Тесей зазвал ту, что их принесла, на корабль и, когда она поднялась на борт, отошел от берега.

Некий Менекрат, издавший историю вифинского города Никеи, пишет, что Тесей, завладев Антиопой, не сразу покинул страну амазонок. Среди его спутников было трое молодых людей из Афин, родные братья Эвней, Фоант и Солоэнт. Последний полюбил Антиопу и, скрывая свое чувство от всех прочих, доверился одному из товарищей. Тот поговорил с Антиопой, которая решительно отвергла искания влюбленного, но отнеслась к делу разумно и терпимо и не стала жаловаться Тесею. Солоэнт, отчаявшись, бросился в какую-то реку и утонул, а Тесей, узнав о причине его гибели и о страсти юноши, был чрезвычайно огорчен, и это горе напомнило ему об одном пифийском оракуле, который он счел соответствующим тогдашним своим обстоятельствам. Пифия в Дельфах повелела ему, как скоро в чужих краях его охватит неизбывная скорбь и уныние, строить на том месте город и оставлять в нем правителями когонибудь из своих людей. Вот почему, основав город, он дал ему имя Пифополя, в честь Аполлона, а ближней реке – Солоэнта, в память о юноше; начальниками и законодателями нового города он поставил братьев умершего и вместе с ними Герма, афинянина из сословия благородных. По нему одно из мест в городе было названо “Домом Герма”, но пифополитанцы ошибочно прибавили лишний слог и говорят “Дом Гермеса”, славу, принадлежащую герою, перенося на бога.

27. Таков был повод к войне с амазонками, которая, по всей видимости, оказалась делом отнюдь не пустяшным, не женскою забавой. И верно, амазонки не разбили бы лагерь в самих Афинах и не сражались бы совсем рядом с Пниксом и Мусеем[45], если бы сначала не овладели всей страной и не подступили безбоязненно к городским стенам. Что они, как сообщает Гелланик, пришли в Аттику, перебравшись через Боспор Киммерийский по льду, поверить трудно, но о том, что они стояли лагерем почти в Акрополе, свидетельствуют названия многих мест и могилы павших. Долгое время обе стороны медлили, не решаясь начать, но, в конце концов, Тесей, следуя какому-то прорицанию, принес жертву Ужасу[46] и ударил на противника. Битва происходила в месяце боэдромионе, в память о ней и справляют афиняне праздник Боэдромии. Клидем, стараясь быть точным во всем, сообщает, что левое крыло амазонок растянулось до нынешнего Амазония, правым же они надвигались на Пникс вдоль Хрисы. С правым крылом афиняне и завязали бой, спустившись с Мусея, и

могилы убитых находятся на улице, ведущей к воротам подле святилища героя Халкодонта, которые ныне зовут Пирейскими. В этой схватке афиняне отступили перед женщинами и были уже у храма Эвменид, когда другой их отряд подоспевший от Палладия, Ардетта и Ликея, отбросил амазонок до самого лагеря, нанеся им большие потери. На четвертом месяце войны противники заключили перемирие благодаря посредничеству Ипполиты (Клидем называет подругу Тесея не Антиопой, а Ипполитой); впрочем у некоторых историков говорится, что эта женщина пала от копья Молпадии, сражаясь рядом с Тесеем, и памятник подле храма Геи Олимпийской воздвигнут над ее телом. Нет ничего удивительного в том, что история блуждает в потемках, повествуя о событиях столь отдаленных. Так, например, нам рассказывают, что раненых амазонок Антиопа тайно переправила в Халкиду, и там они получили необходимый уход, а некоторые были похоронены близ места, теперь именуемого Амазонием. Но о том, что война завершилась мирным соглашением, свидетельствует и название соседствующего с храмом Тесея Горкомосия[47], и жертвы, которые в древности приносили амазонкам накануне Тесей. Гробницу амазонок показывают у себя и мегаряне по дороге от площади к так называемому Русу, там, где стоит Ромбоид[48]. Сообщают также, что иные амазонки скончались близ Херонеи и были преданы земле на берегу ручья, который когда-то, по-видимому, именовался Фермодонтом, а теперь носит название Гемона. Об этом говорится в жизнеописании Демосфена[49]. Кажется, что и Фессалию амазонки пересекли не без трудностей: их могилы еще и ныне показывают в Скотуссе близ Киноскефал.

28. Вот все об амазонках, что заслуживает упоминания. Что же касается рассказа автора “Тесеиды”[50] о восстании амазонок против Тесея, женившегося на Федре, о том, как Антиопа напала на город, как следом за нею бросились другие амазонки, жаждавшие отомстить обидчику, и как Геракл их перебил, – все это слишком похоже на сказку, на вымысел.

Тесей женился на Федре после смерти Антиопы, от которой имел сына Ипполита или, как сказано у Пиндара, Демофонта. О несчастьях Федры и сына Тесея все историки и трагики пишут совершенно согласно, и потому следует допустить, что ход событий в их изложении соответствует истине.

29. Существуют и другие предания о браках Тесея[51], не попавшие на театр, без возвышенного начала, без счастливой развязки. Он похитил, говорят, трезенскую девушку Анаксо́, силою взял дочерей убитых им Синида и Керкиона, был женат на Перибее, матери Аякса, на Феребее, на Иопе, дочери Ификла. Его винят в том, что, влюбившись в Эглу, дочь Панопея, он, как уже сказано выше, бросил Ариадну, бросил неблагородно и бесчестно. И наконец, похищение Елены, наполнившее всю Аттику звоном оружия, а для самого Тесея завершившееся бегством и гибелью. Но об этом несколько позже.

То было время, когда храбрейшие мужи совершали множество трудных подвигов, но Тесей, по словам Геродора, не принимал участия ни в одном из них, кроме битвы лапифов с кентаврами. Другие пишут, что он был и в Колхиде с Ясоном, и ходил с Мелеагром на вепря (откуда-де и пословица: “Не без Тесея”), а сам свершил немало прекрасных деяний один, не нуждаясь ни в каких

союзниках, и за ним укрепилась слава "второго Геракла". Он помог Адрасту похоронить тела павших под Кадмеей[52], но не разбив фиванцев в сражении, как изобразил в трагедии Эврипид, а уговорами склонив их к перемирию. Таково мнение большинства писателей; Филохор добавляет даже, что это был первый договор о погребении трупов, но в действительности первым выдал неприятелю его убитых Геракл (смотри нашу книгу о нем[53]). Могилы простых воинов находятся в Элевферах, а полководцев близ Элевсина: это еще одна милость, оказанная Тесеем Адрасту. Эврипидовых "Просительниц" опровергают, между прочим, и "Элевсинцы" Эсхила, где выведен Тесей, повествующий об этих событиях.

30. Дружба с Пирифоем завязалась у него следующим образом. Молва о силе и храбрости Тесея облетела всю Грецию, и вот Пирифой, желая его испытать, угнал из Марафона тесеевых коров и, услышав, что хозяин с оружием в руках пустился по следу, не бежал, но повернул ему навстречу. Едва, однако, оба мужа завидели друг друга, каждый был восхищен красотою и отвагой противника; они воздержались от битвы, и Пирифой, первым протянув руку, просил Тесея самого быть судьею: он-де согласится с любым наказанием, какое тот назначит ему за угон коров. Тесей не только отпустил ему его вину, но и предложил Пирифою дружбу и союз в борьбе с врагами. Пирифой согласился, и свой уговор они скрепили клятвой.

Через некоторое время Пирифой, собираясь жениться на Деидамии[54], пригласил Тесея поглядеть землю лапифов и поближе с ними познакомиться. Случилось так, что на свадебный пир жених позвал и кентавров. Захмелев, они стали бесчинствовать и нагло привязываться к женщинам, лапифы дали отпор буянам и одних убили на месте, а других позже одолели в сражении и изгнали за пределы страны, и Тесей помогал в этой войне своим друзьям. Геродор излагает события по-иному: Тесей, если следовать ему, пришел на помощь лапифам, когда война уже началась, и тогда же впервые воочию увидел Геракла, поставив себе целью встретиться с ним в Трахине, где Геракл жил на покое, уже окончив свои скитания и подвиги, и что встреча была исполнена взаимного уважения, дружелюбия и обоюдных похвал. Впрочем скорее можно присоединиться к тем, кто утверждает, что они часто встречались друг с другом и что Геракл был посвящен в таинства заботами Тесея и его же заботами очищен накануне посвящения от невольных грехов[55].

31. Уже пятидесяти лет от роду, забыв о своем возрасте, Тесей, как рассказывает Гелланик, увез Елену, и, дабы снять с него это тягчайшее из обвинений, иные говорят, будто Елену похитил не Тесей, а Идас с Линкеем, меж тем как он лишь принял ее под охрану, караулил и отвечал отказом на требование Диоскуров вернуть сестру, или же – подумать только! – будто сам Тиндар[56] передал ему дочь, совсем маленькую и несмышленную, страшась, как бы ее не захватил силой Энарефор, сын Гиппокоонта.

Вот что, однако, всего более похоже на истину и подкрепляется наибольшим числом доказательств. Тесей и Пирифой вместе явились в Спарту и, похитив девушку, когда она плясала в храме Артемиды Орфии, бежали. Высланная за ними погоня, дойдя до Тегеи, повернула назад; беспрепятственно пересекши Пе-

лопоннес, похитители уговорились, что тот, кому по жребию достанется Елена, поможет товарищу добыть другую женщину. Жребий выпал Тесею; он забрал девушку, которой еще не приспела пора выходить замуж, привез ее в Афидны и, приставив к ней свою мать Этру, передал обеих на попечение своему другу Афидну, наказав стеречь Елену и скрывать от чужих глаз, а сам, платя Пирифою услугою за услугу, отправился вместе с ним в Эпир добывать дочь Аидонея[57], царя молоссов. Дав жене имя Персефоны, дочери – Коры, а псу – Кербера, Аидоней предлагал биться с этим псом всякому, кто сватался к Коре, обещая, что победитель получит ее в жены. Но, узнав, что Пирифой с товарищем задумали не сватать девушку, а похитить ее, он велел схватить обоих, и Пирифоя тут же растерзал Кербер, а Тесея заперли в тюрьму.

32. Тем временем Менесфей, сын Петеоя, внук Орнея и правнук Эрехтея, как сообщают, первый из смертных, начавший в своекорыстных целях искать народной благосклонности и льстить толпе, старался возмутить и озлобить могущественных граждан, которые уже давно с трудом терпели Тесея, считая, что он, лишив знатных царской власти, принадлежавшей каждому из них в собственном деме, и загнав всех в один город, превратил их в своих подданных и рабов; он подстрекал к бунту и простой люд, внушая ему, что его свобода не более, чем сон, что на самом деле он потерял и отечество, и родные святыни, ибо вместо многих царей, законных и добрых, он со страхом обращает взоры к одному владыке – пришельцу и чужеземцу! Осуществлению мятежных планов Менесфея в значительной мере способствовала война с тиндаридами, которые вторглись в Аттику. (Некоторые вообще считают, что они явились лишь на зов Менесфея.) Не чиня сначала никому никаких обид, они требовали вернуть им сестру. Горожане отвечали, что девушки у них нет и что они не знают, где ее держат под охраной, и тогда Кастор и Полидевк приступили к военным действиям. Но Академ, каким-то образом проведав, что Елену прячут в Афиднах, все открыл Диоскурам. За это ему при жизни тиндариды оказывали почести, и впоследствии лакедемоняне, сколько раз ни нападали они на Аттику, жестоко опустошая всю страну, неизменно щадили Академию[58] в память об Академе. Правда, Дикеарх пишет, что союзниками тиндаридов были Эхем и Мараф из Аркадии и что от первого получила свое имя Эхедемия – нынешняя Академия, – а от второго дем Марафон: во исполнение некоего пророчества Мараф добровольно дал принести себя в жертву перед сражением.

Двинувшись к Афиднам, Кастор и Полидевк взяли их, разбив противника. В битве, говорят, пал Галик, сын Скирона, воевавший на стороне Диоскуров, поэтому и местность в Мегариде, где его схоронили, зовется Галик. Герей сообщает, что Галик погиб от руки самого Тесея, и в доказательство приводит следующие стихи о Галике:

... на широкой равнине Афидны
Храбро сражаясь за честь пышнокудрой Елены, повержен
Был он Тесеем...

Но мало вероятно, чтобы враги, будь Тесей среди своих, смогли захватить его мать и Афидны.

33. Итак, неприятель овладел Афиднами. Все горожане были в страхе, и Менесфей уговорил народ впустить в Афины и дружелюбно принять тиндаридов, которые-де воюют с одним лишь Тесеем, зачинщиком вражды и насилия, всем же остальным людям являют себя благодетелями и спасителями. Правдивость этих слов подтверждало и поведение победителей: владея всем, они не притязали ни на что и просили только посвятить их в таинства, ссылаясь на родство, связывающее их с Афинами не менее тесно, чем Геракла. Просьба их была уважена, причем обоих усыновил Афидн, как прежде Пилий Геракла, а затем они стяжали божеские почести под именем Анаков[59] в память либо о перемирии [anochai], либо о неусыпной заботе, как бы кто не потерпел какой обиды от разместившегося в городских стенах огромного войска (внимательно наблюдать или следить за чем-либо – по-гречески "анакóс э́хейн" [anakôs échein]; вероятно, и царей называют "áнактас" [ánaktas] по той же причине). Некоторые думают, что их назвали Анаками по явившимся в небесах звездам, ибо "вверху" по-аттически "ане́кас" [anékas], а "сверху" – "ане́катен" [anékathen].

34. Захваченную в плен мать Тесея Этру отвели, как сообщают, в Лакедемон, а оттуда она вместе с Еленой была увезена в Трою, в пользу чего свидетельствует и Гомер, говоря, что следом за Еленой поспешали

Этра, Питфеева дочь, и Климена, с блистательным взором[60].

Иные, однако, отвергают и этот стих, как подложный, и предание о Мунихе, которого якобы тайно родила в Трое Лаодика от Демофонта[61], а воспитывала вместе с нею Этра. Совершенно особые, не схожие ни с какими иными сведения об Этре приводит Истр в тридцатой книге "Истории Аттики": согласно некоторым писателям, заявляет он, Александр-Парис был побежден Ахиллом и Патроклом в битве на берегу Сперхея[62], а Гектор взял и разорил Трезен и увел оттуда Этру. Впрочем это уже совершенная бессмыслица!

35. Между тем Аидоней Молосский, принимая у себя в доме Геракла, случайно упомянул о Тесее и Пирифое – о том, зачем они пришли и как поплатились за свою дерзость, когда их изобличили, и Гераклу тяжко было услышать, что один бесславно погиб, а другому грозит гибель. Что до смерти Пирифоя, Геракл считал теперь все жалобы и упреки бесполезными, но за Тесея стал просить, убеждая царя, чтобы тот отпустил своего пленника из уважения к нему, Гераклу. Аидоней согласился, и Тесей, выйдя на волю и возвратившись в Афины, где его сторонников еще не вполне одолели, все священные участки, которые прежде отвел ему город, посвятил Гераклу, повелев впредь звать их не Тесеями, а Гераклеями, – все, кроме четырех, как указывает Филохор. Но, пожелав властвовать и управлять государством по-прежнему, он тут же столкнулся с волнениями и мятежом, убедившись, что те, кого он оставил полными ненависти к нему, теперь, вдобавок, и бояться его перестали, а народ сильно испортился – не расположен более молча выполнять приказания, но ждет угождений и заискиваний.

Тесей попытался смирить врагов силой, однако стал жертвою козней и заговоров и, в конце концов, потеряв всякую надежду на успех, детей тайком переправил на Эвбею к Элефенору, сыну Халкодонта, а сам, торжественно проклявши афинян в Гаргетте, на том месте, что ныне зовется Аратерий[63],

отплыл на Скирос, где, как он надеялся, его ждали друзья и где когда-то владел землями его отец. Царем Скироса был тогда Ликомед. Прибыв к нему, Тесей выразил желание получить назад отцовские поместья, чтобы там поселиться. Некоторые утверждают, что он просил у царя помощи против афинян. Но Ликомед, то ли страшась славы мужа, столь великого, то ли желая угодить Менесфею, повел Тесея на самую высокую гору острова, якобы для того, чтобы показать ему его владения, и столкнул со скалы. Тесей расшибся насмерть. Иные, правда, говорят, будто он сам сорвался вниз, поскользнувшись во время обычной прогулки после обеда.

В ту пору его смерть прошла незамеченной. В Афинах царствовал Менесфей[64], а дети Тесея в качестве простых граждан отправились с Элефенором под Трою. Но, когда Менесфей погиб, они вернулись в Афины и возвратили себе царство. Лишь во времена гораздо более поздние решили афиняне признать Тесея героем и соответственно его почтить; среди прочих соображений, они руководствовались и тем, что многим воинам, сражавшимся с персами при Марафоне, явился Тесей в полном вооружении, несущийся на варваров впереди греческих рядов.

36. После окончания Персидских войн, при архонте Федоне Пифия приказала афинянам, вопрошавшим оракул, собрать кости Тесея и, с почетом их похоронив, бережно хранить у себя. Но взять прах и даже обнаружить могилу оказалось делом нелегким из-за угрюмого и замкнутого нрава населявших Скирос долопов. Однакож, когда Кимон, как рассказывается в его жизнеописании[65], взял остров и горел желанием отыскать место погребения, случилось, говорят, что он заметил орла, который долбил клювом и разрывал когтями какой-то холмик. Осененный свыше, Кимон приказал копать. Под холмом нашли огромных размеров гроб, рядом лежали медное копье и меч. Когда Кимон привез все это на своей триере, афиняне, ликуя, устроили торжественную встречу, с пышными шествиями и жертвоприношениями, точно возвращался сам Тесей. Ныне его останки покоятся в центре города, подле гимнасия[66], и это место служит убежищем для рабов и вообще для всех слабых и угнетенных, которые страшатся сильного, ибо и Тесей оказывал людям защиту и покровительство и всегда благосклонно выслушивал просьбы слабых.

Главный праздник в его честь справляется восьмого пианепсиона – в день, когда он вместе с афинскими юношами и девушками вернулся с Крита. Однако ему приносят жертвы и по восьмым числам остальных месяцев – либо потому, что он впервые пришел из Трезена восьмого гекатомбеона (таково мнение Диодора Путешественника), либо полагая, что это число особенно ему близко, поскольку он считается сыном Посейдона, а жертвоприношения Посейдону совершают восьмого числа каждого месяца. Ведь восьмерка – это куб первого из четных чисел и удвоенный первый квадрат, а потому достойным образом знаменует надежность и незыблемость, свойственные могуществу бога, которого мы зовем Неколебимым и Земледержцем.



РОМУЛ

1. От кого и по какой причине получил город Рим свое великое и облетевшее все народы имя, – суждения писателей неодинаковы. Одни полагают, что пеласги, обошедшие чуть ли не весь свет и покорившие чуть ли не все народы земли, поселились там и нарекли город этим именем в ознаменование силы своего оружия[1]. Другие утверждают, что после взятия Трои немногочисленные беглецы, которым удалось сесть на корабли, ветром были прибиты к берегу Этрурии и стали на якорь подле устья реки Тибр. Женщины с большим трудом переносили плавание и очень страдали, и вот некая Рома, по-видимому, превосходившая прочих и знатностью рода и разумом, подала подругам мысль сжечь корабли. Так они и сделали; сначала мужья гневались, но потом волей-неволей смирились и обосновались близ Паллантия[2], а когда вскоре все сложилось лучше, чем они ожидали, – почва оказалась плодородной, соседи приняли их дружелюбно, – они почтили Рому всевозможными знаками уважения и, между прочим, назвали ее именем город, воздвигнутый благодаря ей. Говорят, что с той поры у женщин вошло в обычай целовать[3] в губы родственников и мужей, потому что, предав корабли огню, именно так целовали и ласкали они своих мужей, умоляя их сменить гнев на милость. 2. Есть и такое мнение, будто имя городу дала Рома, дочь Итала и Левкарии (по другим сведениям – Телефа, сына Геракла), вышедшая замуж за Энея (по другим сведениям – за Аскания, сына Энея). Иные думают, что город основал Роман, родившийся от Одиссея и Кирки, иные – что Ром, сын Эматиона, отосланный Диомедом из Трои, иные – что тиран латинян Ромис, изгнавший этрусков, которые когда-то переселились из Фессалии в Лидию, а оттуда в Италию.

Даже те, кто высказывает самое правильное мнение, считая, что город наречен в честь Ромула, разно судят о происхождении последнего. Одни полагают, что он был сыном Энея и Дексифеи, дочери Форбанта, и попал в Италию еще совсем маленьким ребенком вместе со своим братом Ромом. В разливе реки погибли все суда, лишь то, на котором находились дети, тихо пристало к отлогому берегу; это место спасшиеся сверх ожидания и назвали Римом. Другие пишут, что Ромула родила Рома, дочь той троянки, о которой речь шла выше, и жена Латина, сына Телемаха, третьи – что он был сыном Эмилии, дочери Энея и Лавинии, зачатый ею от Ареса. Существует, наконец, и вовсе баснословный рассказ о его рождении. Царю альбанов Тархетию, человеку до крайности порочному и жестокому, было удивительное видение: из очага в его доме восстал мужской член и не исчезал много дней подряд. В Этрурии есть прорицалище Тефий, откуда Тархетию доставили прорицание, гласящее, чтобы он сочетал с видением девушку: она-де родит сына, который стяжает громкую славу и будет отличаться доблестью, силою и удачливостью. Тархетий поведал об этом одной из своих дочерей и велел ей исполнить наказ оракула, но она, гнушаясь такого соития, послала вместо себя служанку. Разгневанный Тархетий запер обоих в тюрьму и осудил на смерть, но во сне ему явилась Веста и запретила казнить девушек; тогда царь измыслил вот какую хитрость: он дал узницам ткацкий

станок и обещал, что, когда они закончат работу, то смогут выйти замуж, но все, что они успевали соткать за день, другие женщины, по распоряжению Тархетия, ночью распускали. Рабыня родила двойню, и Тархетий отдал младенцев некоему Тератию, чтобы тот их убил. Тератий, однако, оставил детей на берегу реки, и туда к ним стала ходить волчица и кормила их своим молоком, прилетали всевозможные птицы, принося новорожденным в клювах кусочки пищи, – до тех пор, пока их не заметил какой-то пастух. Он был чрезвычайно изумлен, но все же решился подойти и унес детей. Так они были спасены, а возмужав, напали на Тархетия и одолели его. Эту повесть приводит некий Промафион в своей "Истории Италии".

3. Самую правдоподобную и подкрепленную наибольшим числом свидетельств версию в главных ее чертах впервые передал грекам Диокл с Пепарефоса. Ее принял почти без изменений Фабий Пиктор, и хотя между ними имеются некоторые расхождения, в общем содержание их рассказа сводится к следующему.

В Альбе[4] царили потомки Энея, и порядок наследования привел к власти двух братьев – Нумитора и Амулия. Амулий разделил отцовское достояние на две части, противопоставив царству богатства, включая и золото, привезенное из Трои, и Нумитор выбрал царство. Владея богатством, которое давало ему больше влияния и возможностей, нежели те, которыми располагал брат, Амулий без труда лишил Нумитора власти и, опасаясь, как бы у дочери свергнутого царя не появились дети, назначил ее жрицею Весты, обрекши на вечное девство и безбрачие. Эту женщину одни называют Илией, другие Реей, третьи Сильвией. Немного времени спустя открылось, что она беременна и что, стало быть, закон, данный весталкам, нарушен. Лишь заступничество царской дочери Антó перед отцом спасло ее от казни, но преступницу держали взаперти, и никого к ней не допускали, дабы она не разрешилась от бремени неведомо для Амулия.

Наконец она произвела на свет двух мальчиков необыкновенной величины и красоты. Это встревожило Амулия еще сильнее, и он приказал своему слуге взять их и бросить где-нибудь подальше. Слугу звали Фаустул, как говорят некоторые, но другие утверждают, что это имя не слуги, а того, кто нашел и подобрал младенцев. Итак, слуга положил новорожденных в лохань и спустился к реке, чтобы бросить их в воду, но, увидев, как стремительно и бурливо течение, не решился приблизиться и, оставив свою ношу у края обрыва, ушел. Между тем река разлилась, половодье подхватило лохань и бережно вынесло на тихое и ровное место, которое ныне зовут Кермал[5], а в старину называли Герман – видимо, потому, что "братья" по-латыни "германы" [germanus].

4. Поблизости росла дикая смоковница, именовавшаяся Руминальской, – либо в честь Ромула (таково мнение большинства), либо потому, что в ее тени прятались от полуденного зноя жвачные животные [ruminales], либо – всего вернее – потому, что новорожденные сосали там молоко: сосок древние называли "рума" [ruma], а некую богиню, надзирающую, как они думали, за вскармливанием младенцев, – Руминой, и жертвоприношения ей совершали без вина, окропляя жертву молоком. Под этим деревом и лежали дети, и волчица,

как рассказывают, подносила к их губам свои сосцы, а дятел помогал ей кормить и охранять близнецов. И волчица, и дятел считаются священными животными Марса, а дятел пользуется у латинян особым почетом. Поэтому, когда дочь Нумитора утверждала, что родила от Марса, ей охотно верили. Говорят[6], впрочем, что она была введена в обман Амулием, который предстал перед нею в доспехах и силой отнял у нее девство. Согласно же иному взгляду, в сторону чистой сказки повернула предание двусмысленность имени кормилицы. "Лупа" [lupa] по-латыни и самка волка, и женщина, занимающаяся ремеслом блудницы, но как раз такою женщиной и была жена Фаустула, по имени Акка Ларентия, выкормившая мальчиков. Римляне приносят ей жертвы, а в апреле[7] жрец Марса совершает в ее честь заупокойное возлияние, и праздник этот зовется Ларентами.

5. Римляне чтут еще одну Ларентию[8], и вот по какой причине. Однажды блюститель храма Геракла, не зная, по-видимому, чем себя развлечь, надумал сыграть с богом в кости, оговорившись, что если он выиграет, бог ниспошлет ему милость, о которой он попросит, а если проиграет, то выставит богу щедрое угощение и приведет красивую женщину. На таких условиях он бросил кости за бога, потом за себя и проиграл. Желая сдержать слово и честно выполнить уговор, он приготовил богу обед и, наняв Ларентию, миловидную и еще не предававшуюся блуду открыто, сначала потчевал ее, постлав ложе в храме, а после обеда замкнул ее там, словно бог действительно намеревался ею овладеть. Но рассказывают, что Геракл и в самом деле возлег с женщиной, а затем приказал ей рано поутру выйти на форум, поцеловать первого, кто встретится на пути, и сделать его своим возлюбленным. Встретился же ей человек преклонного возраста, богатый, бездетный и холостой, по имени Тарутий. Он познал Ларентию, привязался к ней и, умирая, оставил ее наследницей большого и богатого имущества, бóльшую часть которого Ларентия завещала народу. Она была уже знаменита среди сограждан и считалась любимицей богов, когда внезапно исчезла подле того места, где покоился прах первой Ларентии. Это место зовется теперь Велабр[9], ибо во время частых разливов реки через него переправлялись на плотах, чтобы попасть на форум, а переправа по-латыни "велатура" [velatura]. Некоторые говорят, что начиная именно с этого места устроители игр и зрелищ застилали дорогу, ведущую с форума к цирку парусиной, "парус" же у римлян – "велон" [velum]. Таково происхождение почестей, которые римляне оказывают второй Ларентии.

6. Младенцев подобрал свинопас Амулия Фаустул – тайно от всех или же (так утверждают другие, чье мнение, вероятно, ближе к истине) с ведения Нумитора, который втихомолку помогал растить найденышей. Говорят, что их перевезли в Габии и там выучили грамоте и всему остальному, что полагается знать людям благородного происхождения. Детям дали имена Ромула и Рема – от слова, обозначающего сосок, ибо впервые их увидели сосавшими волчицу. С первых лет жизни мальчики отличались благородной осанкой, высоким ростом и красотой, когда же они стали постарше, оба выказали отвагу, мужество, умение твердо глядеть в глаза опасности, одним словом – полную неустрашимость. Но Ромул был, казалось, крепче умом, обнаруживал здравомыслие государст-

венного мужа, и соседи, с которыми ему случалось общаться – по делам ли о пастьбе скота или об охоте, – ясно видели, что он создан скорее для власти, нежели для подчинения. Поэтому братья были в добрых отношениях со своей ровней и с теми, кто стоял ниже их, но с царскими надсмотрщиками, начальниками и главными пастухами, которые нимало не превосходили молодых людей силою духа, держались высокомерно, не обращая внимания ни на их гнев, ни на угрозы. Они вели жизнь, приличествующую свободным людям, считая, однако, что свобода – это не праздность, не безделье, а гимнастические упражнения, охота, состязания в беге, борьба с разбойниками, ловля воров, защита обиженных. Все это принесло им добрую славу.

7. Случилось раз, что пастухи Амулия повздорили с пастухами Нумитора и угнали их стада. Ромул и Рем, не стерпев, избили и рассеяли обидчиков и, в свою очередь, завладели большой добычей. Гнев Нумитора они не ставили ни во что и начали собирать вокруг себя и принимать в товарищи множество неимущих и рабов, внушая им дерзкие и мятежные мысли.

Однажды, когда Ромул исполнял какой-то священный обряд (он любил приносить жертвы богам и гадать о будущем), пастухи Нумитора повстречали Рема с немногими спутниками, набросились на него и, выйдя победителями из драки, в которой обе стороны получили и раны и тяжелые ушибы, захватили Рема живым. Хотя его доставили прямо к Нумитору и там изобличили, последний, страшась сурового нрава своего брата, не решился наказать преступника сам, но пошел к царю и потребовал правосудия, взывая к братским чувствам Амулия и к справедливости государя, чьи слуги нагло его, Нумитора, оскорбили. Жители Альбы разделяли гнев Нумитора, считая, что он терпит унижение, несовместное с высоким его достоинством, и, приняв это в расчет, Амулий выдал ему Рема головой. Приведя юношу к себе, Нумитор долго его разглядывал, дивясь его росту и силе, превосходившим все, что он видел до тех пор, смотрел ему в лицо, на котором были написаны самообладание и решимость, не склоняющиеся пред обстоятельствами, слушал рассказы о его делах и поступках, отвечавшие тому, в чем он теперь убедился воочию, и наконец – но прежде всего, вероятно, волею божества, направляющего первые движения великих событий, – напавши благодаря счастливой догадке и судьбе на след истины, спросил Рема, кто он таков и откуда происходит, ласковым голосом и милостивым взором внушив ему надежду и доверие. Рем твердо отвечал: "Что ж, я ничего от тебя не скрою. Мне кажется, ты ближе к истинному царю, нежели Амулий. Прежде чем наказывать, ты выслушиваешь и расследуешь. А он отдает на расправу без суда. Раньше мы считали себя детьми Фаустула и Ларентии, царских слуг (мы с братом – близнецы), но с тех пор, как нас ложно обвинили перед тобой и нам приходится защищать свою жизнь, мы слышим о себе поразительные вещи. Насколько они верны? Это, по-видимому, решит опасность, которой я теперь подвергаюсь. Говорят, что наше рождение окружено тайной и что еще более таинственно и необычно мы кормились и росли, едва появившись на свет: нас питали те самые дикие птицы и звери, на съедение которым нас бросили, – волчица поила нас своим молоком, а дятел приносил в клюве кусочки пищи, меж тем как мы лежали в лохани на берегу большой реки.

Лохань эта цела до сих пор, и на ее медных скрепах – полустершиеся письмена. Быть может, когда-нибудь они станут опознавательными знаками для наших родителей, но – бесполезными, ибо нас уже не будет в живых". Выслушав эту речь и определив по внешности Рема его возраст, Нумитор не мог не загореться радостной надеждой и стал думать, как бы тайно поговорить с дочерью, все еще содержавшейся под караулом.

8. А Фаустул, узнав, что Рем схвачен и выдан Нумитору, просил Ромула выручить брата и тогда впервые поведал ему все, что знал о его рождении. Раньше он говорил об этом лишь намеками, приоткрывая истину настолько, насколько требовалось чтобы, обратив в нужном направлении мысли юношей, не дать чувству смирения поселиться в их душах. Сам же он, понимая, как опасно сложившееся положение, полный страха, взял лохань и поспешил к Нумитору. Вид пастуха внушил подозрение царской страже у городских ворот, а расспросы караульных привели его в полное замешательство, и тут они заметили лохань, которую он прятал под плащом. Среди караульных случайно оказался один из тех, кто когда-то забрал новорожденных, чтобы их бросить. Он увидел лохань, узнал ее по работе и письменам на скрепах, и у него мелькнула догадка, которую он счел немаловажной, а потому, не откладывая, предложил дело на рассмотрению царю. После долгих и жестоких пыток Фаустул не остался совершенно неколебим, однако и не был окончательно сломлен: он сказал, что дети живы, но находятся со стадами далеко от Альбы. А он-де принес лохань Илии, которая много раз говорила, что хочет взглянуть на нее и коснуться собственными руками, чтобы надежда свидеться с детьми стала еще крепче. И тут Амулий допустил ошибку, какую обыкновенно совершают те, кто действует во власти смятения, страха или гнева: он поторопился отправить к Нумитору его друга, человека вполне порядочного, и наказал ему выведать, не доходили ли до Нумитора какие-нибудь слухи о спасении детей. Придя к Нумитору и увидев, как тот ласков и нежен с Ремом, посланный окончательно подтвердил все его предположения, советовал деду с внуком скорее браться за дело и сам остался с ними, предложив свою помощь.

Впрочем, будь они даже и не склонны к решительным поступкам, сами обстоятельства не терпели промедления. Ромул был уже близко, и к нему бежали многие граждане, боявшиеся и ненавидевшие Амулия. Кроме того, он и с собою привел немалые силы, разбитые на отряды по сто человек; предводитель каждого из отрядов нес на шесте вязанку сена и хвороста. Такие вязанки латиняне зовут "маниплами" [maniplus]. Вот откуда слово "манипларии"[10], и ныне употребляемое в войсках. Итак, Рем поднимал мятеж в самом городе, а Ромул подходил извне, и тиранн, в растерянности и замешательстве, не зная, как спасти свою жизнь – что предпринять, на что решиться, – был захвачен врагами и убит.

Хотя основную часть этих сведений приводят и Фабий и Диокл с Пепарефоса, – по-видимому, первый историк, писавший об основании Рима, – их драматическое и сказочное обличье вселяет в иных недоверье. Но если мы подумаем, какой удивительный поэт сама судьба, и примем в рассуждение, что Римское государство никогда не достигло бы нынешней своей мощи, не будь ис-

токи его божественными, а начало истории сопряженным с великими чудесами, – все основания для недоверия отпадают.

9. После смерти Амулия в Альбе установился прочный порядок. Ромул и Рем не захотели, однако, ни жить в городе, не правя им, ни править, пока жив дед, и, вручивши верховную власть ему, отдав долг уважения матери, решили поселиться отдельно и основать город там, где они были вскормлены. Из всех возможных объяснений это самое благовидное. Братья стояли перед выбором: либо распустить беглых рабов, во множестве собравшихся вокруг них и тем самым потерять все свое могущество, либо основать вместе с ними новое поселение. А что жители Альбы не желали ни смешиваться с беглыми рабами, ни предоставлять им права гражданства, с полной очевидностью явствует уже из похищения женщин: люди Ромула отважились на него не из дерзкого озорства, но лишь по необходимости, ибо доброю волей замуж за них никто не шел. Недаром они с таким необыкновенным уважением относились к своим силою взятым женам. Далее, едва только поднялись первые здания нового города, граждане немедленно учредили священное убежище для беглецов и нарекли его именем бога Асила[11], в этом убежище они укрывали всех подряд, не выдавая ни раба его господину, ни должника заимодавцу, ни убийцу властям, и говорили, что всем обеспечивают неприкосновенность, повинуясь изречению пифийского оракула. Поэтому город быстро разросся, хотя поначалу насчитывал не больше тысячи домов. Но об этом – ниже.

Не успели еще братья начать работу, как между ними возник спор из-за места. Ромул заложил так называемый "Рома квадрата"[12] (то есть – Четыреугольный Рим) и там же хотел воздвигнуть город, а Рем выбрал укрепленное место на Авентине, которое в его честь называлось Реморией, а ныне зовется Ригнарием. Уговорившись решить спор с помощью вещих птиц, они сели порознь и стали ждать, и со стороны Рема показалось, говорят, шесть коршунов, а со стороны Ромула – вдвое больше. Некоторые сообщают, что Рем на самом деле увидел своих птиц, а Ромул-де солгал и что лишь когда Рем подошел, тогда только перед глазами Ромула появились двенадцать коршунов. Вот почему, мол, и теперь, гадая по птицам, римляне отдают предпочтение коршунам. Геродор Понтийский пишет, что и Геракл радовался, если, приступая к какому-нибудь делу, вдруг замечал коршуна. И верно, ведь это самое безобидное из всех существ на земле: он не причиняет вреда ничему из того, что сеют, выращивают или пасут люди, питается падалью, не губит и не обижает ничто живое, а пернатых, как свою родню, не трогает даже мертвых, тогда как орлы, совы и ястребы убивают и своих единоплеменников. Недаром Эсхил говорит:

Терзает птица птиц – ужель она чиста?[13]

Кроме того, остальные птицы так и снуют у нас перед глазами, их увидишь в любое время, а коршуна случается видеть редко, и мы едва ли найдем людей, которым бы довелось натолкнуться на гнездо с птенцами коршуна; все это в совокупности внушило некоторым нелепую мысль, будто коршуны прилетают к нам издалека, из чужих краев. Подобным образом прорицатели приписывают

божественное происхождение всему, что возникает само по себе или не в строгом соответствии с законами природы.

10. Раскрыв обман, Рем был в негодовании и, когда Ромул стал копать ров, чтобы окружить стены будущего города, Рем то издевался над этой работой, а то и портил ее. Кончилось тем, что он перескочил через ров и тут же пал мертвым; одни говорят, что удар ему нанес сам Ромул, другие – что Целер, один из друзей Ромула. В стычке пали также Фаустул и его брат Плистин, вместе с Фаустулом, как гласит предание, воспитывавший Ромула. Целер бежал в Этрурию, и с той поры римляне называют "келером" [celer] каждого проворного и легкого на ногу человека. Это прозвище они дали и Квинту Метеллу, изумившись проворству, с каким он уже через несколько дней после смерти отца устроил, в память о нем, гладиаторские состязания.

11. Похоронив Рема и двух своих воспитателей на Ремории, Ромул принялся строить город. Он пригласил из Этрурии мужей, которые во всех подробностях научили его соответствующим обрядам, установлениям и правилам, словно дело шло о посвящении в таинства. На нынешнем Комитии[14] вырыли круглую яму и сложили в нее первины всего, что люди признали полезным для себя в соответствии с законами, и всего, что сделала необходимым для них природа, а затем каждый бросил туда же горсть земли, принесенной из тех краев, откуда он пришел, и всю эту землю перемешали. Яму эту обозначают словом "мундус" – тем же, что и небо. Отсюда, как бы из центра, словно описывая круг, провели границу города. Вложив в плуг медный сошник и запрягши вместе быка и корову, основатель сам пропахал глубокую борозду по намеченной черте, а люди, которые шли за ним, весь поднятый плугом пласт отворачивали внутрь, по направлению к городу, не давая ни одному комку лечь по другую сторону борозды. Этой линией определяют очертания стены, и зовется она – с выпадением нескольких звуков – "померием"[15], что значит: "за стеной" или "подле стены". Там же, где думают устроить ворота, сошник вытаскивают из его гнезда, плуг приподнимают над землей, и борозда прерывается. Поэтому вся стена считается священной, кроме ворот: если бы священными считались и ворота, неизбежный и необходимый ввоз и вывоз некоторых нечистых предметов был бы кощунством.

12. По общему взгляду основание Рима приходится на одиннадцатый день до майских календ[16], и римляне празднуют его, называя днем рождения отечества. Сначала, как сообщают, в этот день не приносили в жертву ни одно живое существо: граждане полагали, что праздник, носящий столь знаменательное имя, следует сохранить чистым, не обагренным кровью. Впрочем, и до основания города в тот же самый день у них справлялся пастушеский праздник Парилии. Ныне римские календы не имеют ничего общего с греческими новомесячиями; день основания города точно совпадает, говорят, с тридцатым днем греческого месяца, когда произошло сближение луны с солнцем, повлекшее за собою затмение, о котором, по-видимому, знал эпический поэт Антимах Теосский и которое случилось в третьем году шестой олимпиады.

Одним из друзей философа Варрона, глубочайшего среди римлян знатока истории, был Тарутий, философ и математик; из любви к умозрениям он

составлял гороскопы и считался замечательным астрологом. Варрон предложил ему вычислить день и час рождения Ромула по его судьбе, в которой отразилось влияние созвездий, подобно тому как решают геометрические задачи, ибо, рассуждал Варрон, то же учение, что позволяет, зная время, когда человек появился на свет, предсказать события его жизни, должно по событиям жизни определить время рождения. Тарутий согласился и, всмотревшись в деяния Ромула и выпавшие ему на долю бедствия, уточнив, сколько он прожил и как умер, сопоставив все эти и им подобные сведения, весьма отважно и уверенно объявил, что основатель Рима был зачат в первый год второй олимпиады[17], в двадцать третий день египетского месяца хеака, в третьем часу, в миг полного затмения солнца, родился в двадцать первый день месяца тоита на утренней заре, а Рим основал в девятый день месяца фармути между вторым и третьим часом (ведь астрологи думают, что не только человеку, но и городу строго отмерено время жизни, о котором можно судить по взаимному расположению светил в первые минуты его бытия). Я надеюсь, что эти подробности скорее займут читателя своею необычайностью, чем вызовут его раздражение полным неправдоподобием.

13. Заложив основания города, Ромул разделил всех, кто мог служить в войске, на отряды. Каждый отряд состоял из трех тысяч пехотинцев и трехсот всадников и назывался "легионом", ибо среди всех граждан выбирали [legere] только способных носить оружие. Все остальные считались "простым" народом и получили имя "популус" [populus]. Сто лучших граждан Ромул назначил советниками и назвал их "патрициями" [patricii], а их собрание – "сенатом" [senatus], что означает "совет старейшин". Советников звали патрициями либо потому, что они были отцами [patres] законнорожденных детей, либо, вернее, потому, что сами могли указать своих отцов: среди тех, что стекались в город в первое время, сделать это удалось лишь немногим. Некоторые выводят слово патриции от "патрония" – так называли и теперь называют римляне заступничество: среди спутников Эвандра был якобы некий Патрон[18], покровитель и помощник нуждающихся, от него-то, говорят, и пошло название самой заботы о более слабых. Однако ближе всего к истине мы подойдем, пожалуй, если предположим, что Ромул считал долгом первых и самых могущественных отеческое попечение о низших и одновременно хотел приучить остальных не бояться сильных, не досадовать на почести, которые им оказывают, но относиться к сильным с благожелательством и любовью, по-сыновнему, и даже называть их отцами. До сих пор чужестранцы именуют сенаторов "повелителями", а сами римляне – "отцами, внесенными в списки"[19]. В этих словах заключено чувство величайшего уважения, к которому не примешано ни капли зависти. Сначала их звали просто "отцами", позже, когда состав сената значительно пополнился, стали звать "отцами, внесенными в списки". Таково было особо почетное наименование, которым Ромул отличил сенаторское сословие от простого народа. Ибо он отделил людей влиятельных от толпы еще по одному признаку, назвав первых "патронами", то есть заступниками, а вторых "клиентами", то есть приверженцами, и вместе с тем установил между ними удивительное взаимное доброжелательство, ставшее впоследствии источником важных прав и

обязанностей. Первые объясняли вторым законы, защищали их в суде, были их советчиками и покровителями во всех случаях жизни, а вторые служили первым, не только платя им долг уважения, но и помогая бедным патронам выдавать замуж дочерей и рассчитываясь за них с заимодавцами, и ни один закон, ни одно должностное лицо не могли заставить клиента свидетельствовать против патрона или патрона против клиента. Впоследствии все прочие права и обязанности сохранили силу, но брать деньги у низших стало для человека влиятельного недостойным и позорным. Однако достаточно об этом.

14. Похищение женщин состоялось, согласно Фабию, на четвертом месяце после основания города[20]. По некоторым сведениям, Ромул, воинственный от природы и, к тому же, повинуясь каким-то прорицаниям оракулов, гласившим, что Риму суждено подняться, вырасти и достигнуть величия благодаря войнам, умышленно оскорбил сабинян. Он взял-де всего-навсего тридцать девушек, ища не столько брачных союзов, сколько войны. Но это мало вероятно. Скорее, видя, что город быстро заполняется пришельцами, из которых лишь немногие были женаты, а большинство представляло собою сброд из неимущих и подозрительных людей, не внушавших никому ни малейшего уважения, ни малейшей уверенности, что они пробудут вместе длительный срок, Ромул надеялся, что если захватить в заложники женщин, это насилие некоторым образом положит начало связям и общению с сабинянами, и вот как он приступил к делу.

Прежде всего он распустил слух, будто нашел зарытый в земле алтарь какого-то бога. Бога называли Консом, считая его то ли богом Благих советов ("совет" и ныне у римлян "консилий" [consilium], а высшие должностные лица – "консулы" [consules], что значит "советники"), то ли Посейдоном-Конником, ибо алтарь этот установлен в Большом цирке, и его показывают народу только во время конных состязаний. Иные же утверждают, что, вообще, коль скоро замысел держали в тайне и старались не разглашать, было вполне разумно посвятить божеству алтарь, скрытый под землею. Когда его извлекли на свет, Ромул, предварительно известив об этом, принес щедрые жертвы и устроил игры и всенародные зрелища. На праздник сошлось множество народа, и Ромул в пурпурном плаще сидел вместе с лучшими гражданами на первых местах. Сигнал к нападению должен был подать сам царь, поднявшись, свернувши плащ и снова накинув его себе на плечи. Множество римлян с мечами не спускали с него глаз и, едва увидев условленный знак, немедленно обнажили оружие и с криком бросились на дочерей сабинян, не препятствуя отцам бежать и не преследуя их. Некоторые писатели говорят, что похищенных было только тридцать (их именами, якобы, затем назвали курии[21]), Валерий Антиат называет цифру пятьсот двадцать семь, Юба – шестьсот восемьдесят три. Все это были девушки, что и служило для Ромула главным оправданием. В самом деле, замужних женщин не взяли ни одной, кроме Герсилии, захваченной по ошибке, а стало быть, похитители руководились не дерзким своеволием, не желанием нанести обиду, но мыслью соединить оба племени неразрывными узами, слить их воедино. Герсилию взял в жены либо Гостилий, один из знатнейших римлян, либо сам Ромул, и она родила ему детей – сперва дочь, так и названную

Примой[22], а затем единственного сына, которому отец дал имя Аоллия[23] в память о стечении граждан в его, Ромула, царствование, но впоследствии он был известен под именем Авиллия. Впрочем многие историки опровергают Зенодота Трезенского, приводящего последние из этих данных.

15. Среди похитителей, говорят, обращала на себя внимание кучка людей из простого народа, которые вели очень высокую и необыкновенно красивую девушку. Им навстречу попалось несколько знатных граждан, которые стали было отнимать у них добычу, тогда первые подняли крик, что ведут девушку к Таласию, человеку еще молодому, но достойному и уважаемому. Услышав это, нападавшие ответили одобрительными возгласами и рукоплесканиями, а иные, из любви и расположения к Таласию, даже повернули назад и пошли следом, радостно выкрикивая имя жениха. С тех пор и по сей день римляне на свадьбах припевают: "Таласий! Таласий!" – так же как греки "Гименей! Гименей!" – ибо брак Таласия оказался счастливым. Правда, Секстий Сулла из Карфагена, человек, не чуждый Музам и Харитам, говорил нам, что Ромул дал похитителям такой условный клич: все, уводившие девушек, восклицали "Таласий!" – и восклицание это сохранилось в свадебном обряде. Но большинство историков, в том числе и Юба, полагают, что это призыв к трудолюбию, к прилежному прядению шерсти [talasia]: тогда, мол, италийские слова еще не были так густо примешаны к греческим[24]. Если их предположение верно и если римляне тогда употребляли слово "таласиа" в том же смысле, что мы теперь, можно все объяснить по-иному и, пожалуй, более убедительно. Ведь между сабинянами и римлянами вспыхнула война, и в мирном договоре, заключенном после ее окончания, было сказано: похищенные сабинянки не должны делать для своих мужей никакой работы, кроме прядения шерсти. И впоследствии родители невесты, или сопровождавшие ее, или вообще присутствовавшие на бракосочетании шутливо возглашали: "Таласий!", – напоминая и подтверждая, что молодой жене предстоит только прясть шерсть, а иных услуг по хозяйству требовать от нее нельзя. Принято и поныне, чтобы невеста не сама переступала порог спальни, но чтобы ее вносили на руках, ибо и сабинянки вошли в дом мужа не своею волею, но были приведены силой. Некоторые прибавляют, что и разделять волосы новобрачной острием копья принято в знак того, что первые браки были заключены, если можно так выразиться, с боя. Об этом мы говорим подробнее в "Изысканиях"[25].

Похищение состоялось восемнадцатого числа тогдашнего месяца секстилия, нынешнего августа; в этот день справляют праздник Консуалии.

16. Сабиняне были многочисленным и воинственным народом, но жили по деревням, не укрепленным стенами, полагая, что им, переселенцам из Лакедемона[26], подобает гордость и бесстрашие. Однако видя себя скованными великим залогом и боясь за дочерей, они отправили послов со справедливыми и умеренными предложениями: пусть-де Ромул вернет им захваченных девушек и возместит ущерб, нанесенный его насильственными действиями, а потом уже мирными и законными путями устанавливает дружеские и родственные связи между двумя народами. Девушек Ромул не отпустил, а к сабинянам обратился с призывом признать заключенные союзы, и меж тем как остальные совещались

и теряли время в долгих приготовлениях, ценинский царь Акрон[27], человек горячий и опытный воин, с самого начала настороженно следивший за дерзкими поступками Ромула, а теперь, после похищения женщин, считавший, что он опасен для всех и станет совершенно невыносим, если его не наказать, – Акрон первым поднялся войною и с большими силами двинулся на Ромула, который, в свою очередь, двинулся ему навстречу. Сойдясь поближе и поглядев друг на друга, каждый из полководцев вызвал противника на поединок с тем, чтобы оба войска оставались на своих местах в боевой готовности. Ромул дал обет, если одолеет и сразит врага, самолично посвятить Юпитеру его доспехи. Он одолел и сразил Акрона, разгромил войско неприятеля и взял его город. Ромул ничем не обидел попавших под его власть жителей и только приказал им снести свои дома и перебраться в Рим, где они получили все права гражданства. Нет ничего, что бы в большей мере способствовало росту Рима, всякий раз присоединявшего побежденных к себе, вводившего их в свои стены.

Чтобы сделать свой обет как можно более угодным Юпитеру и доставить приятное и радостное зрелище согражданам, Ромул срубил у себя в лагере огромный дуб, обтесал его наподобие трофея, потом приладил и повесил в строгом порядке все части оружия Акрона, а сам нарядно оделся и украсил распущенные волосы лавровым венком. Взвалив трофей на правое плечо и поддерживая его в прямом положении, он затянул победный пэан и двинулся впереди войска, в полном вооружении следовавшего за ним, а граждане встречали их, ликуя и восхищаясь. Это шествие было началом и образцом дальнейших триумфов. Трофей назвали приношением Юпитеру–Феретрию (ибо "сразить" по-латыни "ферире" [ferire], а Ромул молил, чтобы ему было дано одолеть и сразить противника), а снятые с убитого доспехи – "опимиа" [opimia]. Так говорит Варрон, указывая, что "богатство" обозначается словом "опес" [opes]. С бо́льшим основанием, однако, можно было бы связать "опимиа" с "опус" [opus], что значит "дело", или "деяние". Почетное право посвятить богу "опимиа" предоставляется, в награду за доблесть полководцу, собственной рукой убившему вражеского полководца, и это выпало на долю лишь троим[28] римским военачальникам: первому – Ромулу, умертвившему ценинца Акрона, второму – Корнелию Коссу, убившему этруска Толумния, и наконец – Клавдию Марцеллу, победителю галльского царя Бритомарта. Косс и Марцелл въехали в город уже на колеснице в четверку, сами везя свои трофеи, но Дионисий ошибается[29], утверждая, будто колесницею воспользовался и Ромул. Историки сообщают, что первым царем, который придал триумфам такой пышный вид, был Тарквиний, сын Демарата; по другим сведениям, впервые поднялся на триумфальную колесницу Попликола. Как бы то ни было, но все статуи Ромула-Триумфатора в Риме изображают его пешим.

17. После взятия Ценины прочие сабиняне все еще продолжали готовиться к походу, а жители Фиден, Крустумерия и Антемны выступили против римлян, но также потерпели поражение в битве. Их города были захвачены Ромулом, поля опустошены, а сами они вынуждены переселиться в Рим. Ромул разделил между согражданами все земли побежденных, не тронув лишь те участки, которые принадлежали отцам похищенных девушек.

Остальные сабиняне были в негодовании. Выбрав главнокомандующим Татия, они двинулись на Рим. Но город был почти неприступен: путь к нему преграждал нынешний Капитолий, на котором размещался караул под начальством Тарпея, а не девушки Тарпеи, как говорят некоторые писатели, старающиеся представить Ромула простаком. Тарпея была дочерью начальника, и она сдала укрепления сабинянам, прельстившись золотыми запястьями, которые увидела на врагах, и попросив у них в уплату за предательство то, что они носят на левой руке. Татий согласился, и, отворив ночью одни из ворот, она впустила сабинян. Видимо, не одиноки были и Антигон, говоривший, что любит тех, кто собирается предать, но ненавидит тех, кто уже предал, и Цезарь, сказавший по поводу фракийца Риметалка, что любит измену, но ненавидит изменника – это общее чувство, которое испытывают к негодяям, нуждаясь в их услугах (как нуждаются иногда в яде и желчи некоторых животных): мы радуемся получаемой от них выгоде и гнушаемся их подлостью, когда цель наша достигнута. Именно такое чувство испытывал и Татий к Тарпее. Помня об уговоре, он приказал сабинянам не поскупиться для нее ничем из того, что у них на левой руке, и первый, сняв вместе с браслетом и щит, бросил их в девушку. Все последовали его примеру, и Тарпея, засыпанная золотыми украшениями и заваленная щитами, погибла под их тяжестью. За измену был осужден и Тарпей, изобличенный Ромулом, как пишет Юба, ссылаясь на Гальбу Сульпиция. Среди других рассказов о Тарпее ни малейшего доверия не вызывает сообщение, будто она была дочь сабинского главнокомандующего Татия, против воли стала супругою Ромула и, сделав то, о чем говорится выше, была наказана собственным отцом. Этот рассказ приводит и Антигон. А поэт Симил вовсе мелет вздор, утверждая, будто Тарпея сдала Капитолий не сабинянам, а кельтам, влюбившись в их царя. Вот что у него сказано:

Древле Тарпея жила на крутых Капитолия скалах;
Гибель она принесла крепкого Рима стенам.
Брачное ложе она разделить со владыкою кельтов
Страстно желая, врагу город родной предала.

А немного ниже – о смерти Тарпеи:

Бойи убили ее, и бесчисленных кельтов дружины
Там же, за Падом рекой, тело ее погребли.
Бросили кучу щитов на нее их отважные руки,
Девы-преступницы труп пышным надгробьем закрыв.

18. По имени Тарпеи, которую погребли там же, где она была убита, холм назывался Тарпейским вплоть до времен царя Тарквиния, который посвятил его Юпитеру. Останки девушки перенесли в другое место, а имя ее забыли. Только одна скала на Капитолии – та, с которой свергали преступников, до сих пор зовется Тарпейской.

Когда сабиняне овладели укреплениями, Ромул в гневе стал вызывать их на битву, и Татий решился на бой, видя, что в случае неудачи его людям обеспечено надежное убежище. Место, на котором предстояло встретиться войскам, было тесно зажато меж многочисленными холмами, и потому сражение

обещало быть ожесточенным и тяжелым для обеих сторон, а бегство и погоня непродолжительными. Незадолго до того случился разлив реки, и стоячие воды спали лишь несколькими днями раньше, оставив на низменных участках, там, где теперь находится форум, слой ила, толстый, но неприметный для глаза. Уберечься от этой коварной топи было почти невозможно, и сабиняне, ни о чем не подозревая, неслись прямо на нее, как вдруг произошла счастливая для них случайность. Далеко впереди прочих скакал на коне Курций, человек известный, гордившийся своей славою и отвагой. Вдруг конь погрузился в трясину, Курций ударами и окриками попытался было повернуть его вспять, но, видя, что это невозможно, спасся, бросив коня. Вот почему и в наши дни это место зовется "Куртиос лаккос" [Lacus Curtius][30].

Избежав опасности, сабиняне начали кровавую сечу, однако ни им самим, ни их противникам не удавалось получить перевеса, хотя потери были огромны. В битве пал и Гостилий, по преданию, муж Герсилии и дед Гостилия, преемника Нумы. В течение короткого времени, как и можно было ожидать, непрерывно следовали схватка за схваткой, но самою памятной оказалась последняя, когда Ромул, раненный камнем в голову, едва не рухнул на землю и был уже не в силах сопротивляться с прежним упорством, а римляне дрогнули и, под натиском сабинян покидая равнину, бежали к Палатинскому холму. Оправившись от удара, Ромул хотел с оружием в руках броситься наперерез отступавшим, громкими криками старался задержать их и вернуть в сражение. Но вокруг него кипел настоящий водоворот бегства, никто не отваживался снова встретить врага лицом к лицу, и тогда Ромул, простерши руки к небу, взмолился Юпитеру, прося его остановить войско римлян и не дать их государству погибнуть. Не успел он закончить молитву, как стыд перед царем охватил сердца многих, и отвага снова вернулась к бегущим. Первые остановились там, где ныне воздвигнуто святилище Юпитера-Статора, то есть "Останавливающего", а затем, вновь сомкнув ряды, римляне оттеснили сабинян назад, до теперешней Регии и храма Весты.

19. Противники уже готовились возобновить сражение, как вдруг застыли, увидев поразительное, неописуемое зрелище. Отовсюду разом появились похищенные дочери сабинян и с криком, с воплями, сквозь гущу вооруженных воинов, по трупам, словно вдохновляемые божеством, ринулись к своим мужьям и отцам. Одни прижимали к груди крохотных детей, другие, распустив волосы, с мольбою протягивали их вперед, и все взывали то к сабинянам, то к римлянам, окликая их самыми ласковыми именами. И те и другие не выдержали и подались назад, освободив женщинам место меж двумя боевыми линиями, и жалобный их плач достигал последних рядов, и горячее сострадание вызывали и вид их и, еще в большей мере, речи, начавшиеся упреками, справедливыми и откровенными, а закончившиеся просьбами и заклинаниями. "Что дурного сделали мы вам, – говорили они, – чем вас так ожесточили, за что уже претерпели и терпим вновь лютые муки? Насильственно и беззаконно похищенные нынешними нашими владыками, мы были забыты братьями, отцами и родичами, и это забвение оказалось столь продолжительным, что соединило нас с ненавистными похитителями теснейшими узами и ныне заставляет страшиться

за вчерашних насильников и беззаконников, когда они уходят в бой, и оплакивать их, когда они погибают! Вы не пришли отомстить за нас обидчикам, пока мы еще хранили наше девство, а теперь отрываете жен от супругов и матерей от младенцев – помощь, которая для нас, несчастных, горше давешнего небрежения и предательства! Вот какую любовь мы видели от них, вот какое сострадание видим от вас! Даже если бы вы сражались по какой-либо иной причине, даже в этом случае вам бы следовало остановиться – ведь благодаря нам вы теперь тести, деды, близкие! Но коль скоро война идет из-за нас, уводите нас, но только – вместе с вашими зятьями и внуками, верните нам отцов и родичей, но только – не отнимая детей и мужей! Избавьте нас, молим, от нового рабства!"

Долго еще говорила в том же духе Герсилия, и в один голос с нею просили остальные; наконец было заключено перемирие, и командующие вступили в переговоры. А женщины подводили к отцам и братьям своих супругов, показывали детей, приносили еду и питье тем, кто хотел утолить голод или жажду, раненых доставляли к себе и ухаживали за ними, предоставляя им возможность убедиться, что каждая – хозяйка в своем доме, что мужья относятся к женам с предупредительностью, любовью и полным уважением. Договаривающиеся сошлись на следующих условиях мира: женщины, изъявлявшие желание остаться, оставались, освобожденные, как мы уже говорили, от всякой домашней работы, кроме прядения шерсти, римляне и сабиняне поселялись в одном городе, который получал имя "Рим" в честь Ромула, зато все римляне должны были впредь называться "квиритами" в честь родины Татия[31], а царствовать и командовать войском обоим царям предстояло сообща. Место, где было достигнуто соглашение, до сих пор зовется Комитием, ибо "сходиться" по-латыни "комире" [comire].

20. Когда население города, таким образом, удвоилось, к прежним патрициям добавилось сто новых – из числа сабинян, а в легионах стало по шести тысяч пехотинцев и по шестисот всадников. Цари разделили граждан на три филы и назвали одну "Рамны" – в честь Ромула, вторую "Татии" – в честь Татия, а третью "Лукеры" – по роще[32], в которой многие укрывались, пользуясь правом убежища, чтобы затем получить права гражданства (роща по-латыни "лукос" [lucus]). Что фил было три, явствует из самого слова, которым обозначается у римлян фила: они и сейчас зовут филы трибами, а главу филы трибуном. Каждая триба состояла из десяти курий, названных, как утверждают некоторые, по именам похищенных женщин, но, мне кажется, это неверно: многие из них именуются по различным местностям. Впрочем, женщинам и без того оказывают многочисленные знаки уважения. Так, им уступают дорогу, никто не смеет сказать ничего непристойного в их присутствии, или появиться перед ними нагим, или привлечь их к суду по обвинению в убийстве; их дети носят на шее украшение, называемое "буллой"[33] по сходству с пузырем, и тогу с пурпурной каймой.

Цари не сразу стали держать совет сообща: сперва они совещались порознь, каждый со своими ста сенаторами, и лишь впоследствии объединили всех в одно собрание. Татий жил на месте нынешнего храма Монеты[34], а Ромул – близ лест-

ницы, называемой “Скала Кака” [Scala Caci] (это подле спуска с Палатина к Большому цирку). Там же, говорят, росло священное кизиловое дерево, о котором существует следующее предание. Как-то раз Ромул, пытая силу, метнул с Авентина копье с древком из кизила. Острие ушло в землю так глубоко, что, сколько людей не пытались вырвать копье, это никому не удалось, а древко, оказавшись в тучной почве, пустило ростки и постепенно превратилось в изрядных размеров ствол кизила. Последующие поколения чтили и хранили его как одну из величайших святынь и обнесли стеной. Если кому-нибудь из прохожих казалось, что дерево менее пышно и зелено чем обычно, что оно увядает и чахнет, он сразу же громогласно извещал об этом всех встречных, а те, словно спеша на пожар, кричали: “Воды!” – и мчались отовсюду с полными кувшинами. При Гае Цезаре стали обновлять лестницу, и, как рассказывают, рабочие, копая рядом землю, ненароком повредили корни дерева, и оно засохло.

21. Сабиняне приняли римский календарь, о котором в той мере, в какой это уместно, говорится в жизнеописании Нумы[35]. Ромул же заимствовал у них длинные щиты[36], изменив и собственное вооружение и вооружение всех римских воинов, прежде носивших аргосские щиты. Каждый из двух народов участвовал в празднествах и жертвоприношениях другого (все они справлялись по-прежнему, как и до объединения), а также были учреждены новые праздники, и среди них Матроналии[37], дар женщинам за то, что они положили конец войне, и Карменталии. Карменту одни считают Мойрой, владычицей человеческих рождений (поэтому-де ее особо чтут матери), другие – супругой аркадянина Эвандра, вещею женой, дававшей предсказания в стихах и потому нареченною Карментой (стихи по-латыни “кармена” [carmina]); а настоящее имя ее – Никострата (последнее утверждение наиболее распространено). Иные же толкуют слово “кармента” как “лишенная ума”, ибо божественное вдохновение отнимает рассудок; между тем лишаться у римлян “карере” [carere], а ум они зовут “ментем” [mens]. О Парилиях уже говорилось выше.

Луперкалии[38], если судить по времени, когда их справляют, – праздник очистительный. Он приходится на один из злосчастных дней месяца февраля (что в переводе значит “очистительный”), и самый день праздника издавна именуется Фебрата. В греческом языке названию этого праздника соответствует слово “Ликеи”, а стало быть, он очень древен и ведет начало от аркадян, спутников Эвандра. Впрочем, это не более чем ходячее мнение, ибо слово “луперкалии” [lupercalii] может происходить и от “волчицы”. И в самом деле, мы знаем, что луперки начинают бег с того места, где, по преданию, лежал брошенный Ромул. Но смысл выполняемых ими действий едва ли постижим. Они закалывают коз, затем к ним подводят двух подростков знатного рода, и одни луперки касаются окровавленным мечом их лба, а другие немедленно стирают кровь шерстью, смоченной в молоке. После этого мальчики должны рассмеяться. Располосовав козьи шкуры, луперки пускаются бежать, обнаженные, в одной лишь повязке вокруг бедер, и своими ремнями бьют всех, кто попадается им на пути. Молодые женщины не стараются увернуться от ударов, веря, что они способствуют легким родам и вынашиванию плода. Особенность праздника состоит в том, что

луперки приносят в жертву собаку. Некий Бутас, пересказывающий в элегических двустишьях баснословные причины римских обычаев, говорит, что Ромул и Рем после победы над Амулием, ликуя, помчались туда, где некогда к губам новорожденных младенцев подносила свои сосцы волчица, что весь праздник есть подражание этому бегу и что подростки

Встречных разят на бегу; так некогда, Альбу покинув,
Юные Ромул и Рем мчались с мечами в руках.

Окровавленный меч у лба – намек на тогдашние опасности и убийство, а очищение молоком – напоминание о пище, которой были вскормлены близнецы. Гай Ацилий пишет, что еще до основания города у Ромула и Рема однажды пропали стада. Помолившись Фавну, они побежали на поиски совсем нагими, чтобы их не беспокоил стекающий по телу пот; вот почему-де и луперки раздеваются донага. Наконец, собаку, коль скоро праздник очистительный, приносят, можно полагать, в очистительную жертву: ведь и греки на очистительные обряды приносят щенят и нередко совершают так называемые "перискилакисмы"[39]. Если же это благодарственный праздник в честь волчицы – кормилицы и спасительницы Ромула, в заклании собаки нет ничего удивительного, ибо собака – враг волков. Но есть, клянусь Зевсом, и еще одно объяснение: а что если луперки просто-напросто наказывают это животное, досаждающее им во время бега?

22. Говорят, что Ромул впервые учредил и почитание огня, назначив для служения ему священных дев, именуемых весталками[40]. Но другие историки приписывают это Нуме, сообщая, однако, что вообще Ромул был чрезвычайно благочестив и притом опытен в искусстве прорицания, а потому носил с собою так называемый "литюон" [lituus]. Это загнутая с одного конца палка, которою, садясь гадать по полету птиц, расчерчивают на части небо[41]. "Литюон" Ромула, хранившийся на Палатине, исчез при взятии города кельтами, но когда варвары были изгнаны, нашелся под глубоким слоем пепла, не тронутый пламенем, хотя все кругом сгорело до тла.

Ромул издал также несколько законов, среди которых особою строгостью отличается один, возбраняющий жене оставлять мужа, но дающий право мужу прогнать жену, уличенную в отравительстве, подмене детей или прелюбодеянии. Если же кто разведется по какой-либо иной причине, того закон обязывает часть имущества отдать жене, а другую часть посвятить в дар Церере. А продавший жену должен быть принесен в жертву подземным богам[42]. Примечательно, что Ромул не назначил никакого наказания за отцеубийство, но назвал отцеубийством любое убийство человека, как бы считая второе тягчайшим злодеянием, но первое – вовсе немыслимым. И долгое время это суждение казалось оправданным, ибо без малого шестьсот лет никто в Риме не отваживался на такое дело. Первым отцеубийцей был, как сообщают, Луций Гостий, совершивший это преступление после Ганнибаловой войны. Впрочем, довольно об этом.

23. На пятом году царствования Татия какие-то его домочадцы и родичи случайно повстречали дорогой лаврентских послов, направлявшихся в Рим, и попытались силою отнять у них деньги, а так как те оказали сопротивление, убили

их. Узнав о страшном поступке своих сограждан, Ромул счел нужным немедленно их наказать, но Татий задерживал и откладывал казнь. Это было причиною единственного открытого столкновения между царями, в остальном же они всегда почитали друг друга и правили в полном согласии. Тогда родственники убитых, не добившись правосудия по вине Татия, напали на него, когда он вместе с Ромулом приносил жертву в Лавинии, и убили, а Ромула, громко прославляя его справедливость, проводили домой. Ромул доставил тело Татия в Рим и с почетом похоронил – его останки лежат близ так называемого Армилустрия[43] на Авентине, – но позаботиться о возмездии нужным не счел. Некоторые писатели сообщают, что город Лаврент в страхе выдал убийц Татия, однако Ромул их отпустил, сказав, что убийство искуплено убийством. Это вызывало подозрения и толки, будто он рад, что избавился от соправителя, но ни беспорядков, ни возмущения сабинян не последовало: одни любили царя, другие боялись, третьи верили, что он во всем без изъятия пользуется покровительством богов, и чтили его по-прежнему. Чтили Ромула и многие из чужих народов, а древние латиняне, прислав к нему послов, заключили договор о дружбе и военном союзе.

Фидены, сопредельный Риму город, Ромул захватил, по одним сведениям, неожиданно послав туда конницу с приказом выломать крюки городских ворот[44], а затем, столь же неожиданно, появившись сам, по другим – в ответ на нападение фиденатов, которые взяли большую добычу и бесчинствовали по всей стране, вплоть до городских предместий; Ромул устроил врагам засаду, многих перебил и занял их город. Он не разорил и не разрушил Фидены, но сделал их римским поселением, отправив туда в апрельские иды две с половиной тысячи римлян.

24. Вскоре затем в Риме начался мор, неся людям внезапную смерть, не предварявшуюся никакою болезнью, и в придачу поразив поля и сады неурожаем, а стада бесплодием. Затем над городом прошел кровавый дождь, и к подлинным несчастьям прибавился еще и суеверный ужас. А когда те же несчастья постигли и жителей Лаврента, никто уже более не сомневался, что гнев божества преследует оба города за попранную в делах и Татия и послов справедливость. Обе стороны выдали и наказали убийц, и бедствия заметно пошли на убыль; Ромул очистил город, как передают, с помощью обрядов, какие и ныне исполняют у Ферентинских ворот. Но еще до того, как мор прекратился, на римлян напали камерийцы[45] и вторглись в их землю, считая, что обороняться они теперь не в состоянии. Ромул немедленно двинулся против них, нанес им сокрушительное поражение в битве, которая стоила неприятелю шести тысяч убитых, захватил их город и половину уцелевших от гибели переселил в Рим, а в секстильские календы прислал на их место вдвое больше римлян, чем оставалось в Камерии ее прежних жителей, – так много граждан было в его распоряжении всего через шестнадцать лет после основания Рима. Среди прочей добычи Ромул привез из Камерии бронзовую колесницу четверкой и поставил в храм Вулкана ее, а также собственную статую с богиней Победы, увенчивающей царя.

25. Итак, могущество Рима росло, и слабые его соседи с этим смирялись и радовались, если хотя бы сами были вне опасности, но сильные, боясь и ненавидя

римлян, считали, что нельзя сидеть сложа руки, но следует воспротивиться их возвышению и смирить Ромула. Первыми выступили этруски из Вей, хозяева обширной страны и большого города: они нашли повод к войне, потребовав передачи им Фиден, якобы принадлежавших Вейям. Это было не только несправедливо, но просто смешно, ибо, не вступившись за фиденатов, когда те терпели опасности и сражались, они требовали у новых владельцев дома и землю тех, к чьей гибели прежде отнеслись с полным равнодушием. Получив от Ромула надменный отказ, они разделили свои силы на два отряда, и один отправился против войска фиденатов, а другой – против Ромула. При Фиденах этруски одержали верх, перебив две тысячи римских граждан, но были разгромлены Ромулом и потеряли свыше восьми тысяч воинов. Затем состоялась вторая битва при Фиденах, в которой, по общему признанию, величайшие подвиги были совершены самим Ромулом, обнаружившим исключительное искусство полководца в соединении с отвагой, силу и проворство, казалось, намного превосходившие обычные, человеческие способности. Но совершенно баснословен или, вернее, вообще не заслуживает никакого доверия рассказ иных писателей, будто из четырнадцати тысяч павших, свыше половины убил Ромул собственноручно, – ведь пустой похвальбой считаются и рассказы мессенцев о трех гекатомфониях[46], которые якобы принес Аристомен после победы над лакедемонянами. Когда враги обратились в бегство, Ромул, не тратя времени на преследование уцелевших, сразу двинулся к Вейям. Сломленные страшным несчастьем граждане без сопротивления стали просить пощады и заключили договор о дружбе сроком на сто лет, уступив значительную часть своих владений – так называемый Септемпагий (то есть Семь областей), лишившись соляных копей близ реки и дав в заложники пятьдесят знатнейших граждан. Ромул справил триумф в октябрьские иды, проведя по городу множество пленных и среди них – вейского военачальника, человека уже старого, но не выказавшего на деле ни рассудительности, ни опыта, свойственных его годам. В память об этом и поныне, празднуя победу, ведут через форум на Капитолий старика в тоге с пурпурной каймой надев ему на шею детскую буллу, а глашатай возглашает: "Продаются сардийцы!"[47] (ведь этрусков считают переселенцами из Сард, а Вейн – этрусский город).

26. Это была последняя война Ромула. Он не избег участи многих, вернее, – за малыми исключениями – всех, кого большие и неожиданные удачи вознесли к могуществу и величию: всецело полагаясь на славу своих подвигов, исполнившись непереносимой гордыни, он отказался от какой бы то ни было близости к народу и сменил ее на единовластье, ненавистное и тягостное уже одним своим внешним видом. Царь стал одеваться в красный хитон, ходил в плаще с пурпурной каймой, разбирал дела, сидя в кресле со спинкой. Вокруг него всегда были молодые люди, которых называли "келерами"[48] за расторопность, с какою они несли свою службу. Впереди государя шли другие служители, палками раздвигавшие толпу; они были подпоясаны ремнями, чтобы немедленно связать всякого, на кого им укажет царь. "Связывать" по-латыни было в древности "лигаре" [ligare], а ныне "аллигаре" – поэтому блюстители порядка называются "ликторами", а ликторские пучки – "бакила" [bacillum], ибо в ту давнюю пору

ликторы пользовались не розгами, а палками. Но вполне вероятно, что в слове "ликторы" "к" – вставное, а сначала было "литоры", чему в греческом языке соответствует "служители" (leitourgoi): ведь и сейчас еще греки называют государство "леитон" [lḗïton], а народ – "лаон" [laós].

27. Когда дед Ромула Нумитор скончался, царская власть над Альбой должна была перейти к Ромулу, но, желая угодить народу, он предоставил альбанцам самим распоряжаться своими делами и только ежегодно назначал им наместника. Это навело и знатных римлян на мысль домогаться государства без царя, государства свободного, где они сами будут и управлять и подчиняться попеременно. Ведь к тому времени и патриции были уже отстранены от власти, почетными оставались только их имя и знаки оказываемого им уважения, но их собирали в Совет, скорее блюдя обычай, нежели для того, чтобы спросить их мнения: они молча выслушивали приказы Ромула и расходились, обладая единственным преимуществом перед народом – правом первыми узнать то, что решил царь. Впрочем все это было ничто по сравнению с тем, что Ромул один, по собственному усмотрению, распределил меж воинами отнятую у неприятеля землю и вернул Вейям заложников, не справляясь с мнением и желанием сенаторов – вот тут он, по-видимому оскорбил и унизил их до последней степени! И поэтому когда вскоре он внезапно исчез, подозрения и наветы пали на сенат. Исчез Ромул в ноны июля (или, по-старинному, квинтилия), и о его кончине не существует никаких надежных, всеми признанных за истину сведений, кроме указанного выше срока. В этот день и теперь исполняют многочисленные обряды, воспроизводящие тогдашние события. Не следует изумляться такой неопределенности – ведь когда Сципион Африканский скончался после обеда у себя в доме, оказалось невозможным установить и распознать, каким образом он умер, но одни говорят, что он был вообще слабого здоровья и умер от внезапного упадка сил, вторые – что он сам отравился, третьи – что его задушили прокравшиеся ночью враги. А между тем труп Сципиона был доступен взорам всех граждан, вид его тела внушал каждому какие-то подозрения касательно случившегося, тогда как от Ромула не осталось ни частицы праха, ни клочка одежды. Некоторые предполагали, что сенаторы набросились на него в храме Вулкана, убили и, рассекши тело, вынесли по частям, пряча ношу за пазухой. Другие думают, что Ромул исчез не в храме Вулкана и не в присутствии одних лишь сенаторов, но за городскою стеной, близ так называемого Козьего болота[40]; народ по приказу царя сошелся на собрание, как вдруг неописуемые, невероятные перемены произошли над землею: солнце затмилось, наступила ночь, но не спокойная и мирная, а с оглушительным громом и ураганными порывами ветра со всех сторон. Многочисленная толпа рассеялась и разбежалась, а первые граждане тесно сгрудились все вместе. Когда же смятение в природе прекратилось, снова стало светло и народ возвратился, начались поиски царя и горестные расспросы, и тут первые граждане запретили углубляться в розыски и проявлять чрезмерное любопытство, но приказали всем чтить Ромула и поклоняться ему, ибо он-де вознесен к богам и отныне будет для римлян благосклонным богом, как прежде был добрым царем. Большинство поверило этому и радостно разошлось, с надеждою творя молитвы, – большин-

ство, но не все: иные, придирчиво и пристрастно исследуя дело, не давали патрициям покоя и обвиняли их в том, что они, убив царя собственными руками, морочат народ глупыми баснями.

28. Вот как складывались обстоятельства, когда один из самых знатных и уважаемых патрициев, верный и близкий друг Ромула, переселившийся в Рим из Альбы, по имени Юлий Прокул, пришел на форум и коснувшись величайших святынь, поклялся перед всем народом, что ему на дороге явился Ромул, красивее и выше, чем когда-либо раньше, в ослепительно сиявшем вооружении. Испуганный этим зрелищем Прокул спросил: "За что, с каким намерением, о царь, ты сделал нас предметом несправедливых и злых обвинений, а весь город оставил сиротой, в безмерной скорби?" Ромул отвечал: "Богам угодно было, Прокул, дабы мы, прожив долгое время среди людей и основав город, с которым никакой другой не сравнится властью и славою, снова вернулись на небеса, в прежнее наше обиталище. Прощай и скажи римлянам, что, совершенствуясь в воздержанности и мужестве, они достигнут вершины человеческого могущества. Мы же будем милостивым к вам божеством – Квирином". Нравственные качества рассказчика и его клятва заставили римлян поверить этому сообщению; вместе с тем их душ словно бы коснулось некое божественное чувство, подобное наитию, ибо ни словом не возразив Прокулу, но разом отбросив подозрения и наговоры, граждане стали взывать к богу Квирину и молиться ему.

Все это напоминает греческие предания об Аристее Проконнесском и Клеомеде Астипалейском. Рассказывают, что Аристей скончался в какой-то сукновальне, но когда друзья пришли за его телом, оказалось, что оно исчезло, а вскоре какие-то люди, как раз в это время вернувшиеся из дальних странствий, говорили, что встретили Аристея, державшего путь в Кротон. Клеомед, отличаясь громадной силою и ростом, нравом же безрассудным и неистовым, не раз чинил насилия, а в конце концов ударом кулака сломал средний столб, поддерживавший кровлю в школе для детей, и обрушил потолок. Дети были раздавлены обломками; спасаясь от погони, Клеомед спрятался в большой ящик и, захлопнув крышку, до того крепко держал ее изнутри, что множество народа, соединив свои усилия, как ни бились, а поднять ее так и не смогли. Тогда ящик сломали, но Клеомеда ни живым, ни мертвым не обнаружили. Изумленные граждане послали в Дельфы вопросить оракула, и пифия возвестила:

Это – последний герой, Клеомед из Астипалеи.

Рассказывают, что и тело Алкмены исчезло перед самыми похоронами, а на погребальном ложе нашли камень, и вообще немало существует подобных преданий, вопреки разуму и вероятию приравнивающих к богам существа смертной природы. Разумеется, совершенно отказывать доблести в божественном начале – кощунство и низость, но смешивать землю с небом – глупость. Лучше соблюдая осторожность, сказать вместе с Пиндаром:

Всякое тело должно подчиниться смерти всесильной,
Но остается навеки образ живой.
Он лишь один – от богов[50].

Вот единственное, что роднит нас с богами: это приходит от них и к ним же возвращается – не вместе с телом, но когда совершенно избавится и отделится от тела, станет совсем чистым, бесплотным и непорочным. Это и есть, по Гераклиту, сухая и лучшая душа, вылетающая из тела, словно молния из тучи; смешанная же с телом, густо насыщенная телом, она, точно плотные, мглистые испарения, прикована долу и неспособна к взлету. Нет, не надо отсылать на небо, вопреки природе, тела достойных людей, но надо верить [51], что добродетельные души, в согласии с природою и божественной справедливостью, возносятся от людей к героям, от героев к гениям, а от гениев – если, словно в таинствах, до конца очистятся и освятятся, отрешатся от всего смертного и чувственного – к богам, достигнув этого самого прекрасного и самого блаженного предела не постановлением государства, но воистину по законам разума.

29. Принятое Ромулом имя "Квирин" иные считают соответствующим Эниалию[52], иные указывают, что и римских граждан называли "квиритами" [quirites], иные – что дротик или копье древние называли "квирис" [quiris], что изображение Юноны, установленное на острие копья, именуется Квиритидой, а водруженное в Регии копье – Марсом, что отличившихся на войне награждают копьем, и что, стало быть, Ромул получил имя Квирина как бог-воитель или же бог-копьеносец. Храм его выстроен на холме, носящем в его честь название Квиринальского. День, когда Ромул умер, зовется "Бегством народа" и Капратинскими нонами, ибо в этот день приносят жертвы, выходя за город, к Козьему болоту, а коза по-латыни "капра" [capra]. По пути туда выкрикивают самые употребительные у римлян имена, такие как Марк, Луций, Гай, подражая тогдашнему бегству и взаимным окликам, полным ужаса и смятения. Некоторые, однако, думают, что это должно изображать не замешательство, а спешку, и приводят следующее объяснение. Когда кельты взяли Рим, а затем были изгнаны Камиллом[53] и город, до крайности ослабев, с трудом приходил в себя, на него двинулось многочисленное войско латинян во главе с Ливием Постумом. Разбив лагерь невдалеке, он отправил в Рим посла, который объявил от его имени, что латиняне хотят, соединив два народа узами новых браков, восстановить дружбу и родство, уже пришедшие в упадок. Итак, если римляне пришлют побольше девушек и незамужних женщин, у них с латинянами будет доброе согласие и мир, подобный тому, какой некогда они сами заключили с сабинянами. Римляне не знали, на что решиться: они и страшились войны, и были уверены, что передача женщин, которой требуют латиняне, ничем не лучше пленения. И тут рабыня Филотида, которую иные называют Тутулой, посоветовала им не делать ни того, ни другого, но, обратившись к хитрости, избежать разом и войны и выдачи заложниц. Хитрость заключалась в том, чтобы послать к неприятелям самоё Филотиду и вместе с нею других красивых рабынь, нарядив их свободными женщинами; ночью же Филотида должна была подать знак факелом, а римляне – напасть с оружием и захватить врага во сне. Обман удался, латиняне ни о чем не подозревали, и Филотида подняла факел, взобравшись на дикую смоковницу и загородив огонь сзади покрывалами и завесами, так что противнику он был незаметен, а римлянам виден со всей отчетливостью, и они тотчас же поспешно выступили и в спешке то и дело

окликали друг друга, выходя из ворот. Неожиданно ударив на латинян, римляне разбили их, и с тех пор в память о победе справляют в этот день праздник. "Капратинскими" ноны названы по смоковнице, которая у римлян обозначается словом "капрификон" [caprificus]. Женщин потчуют обедом за городскими стенами, в тени фиговых деревьев. Рабыни, собираясь вместе, разгуливают повсюду, шутят и веселятся, потом обмениваются ударами и кидают друг в дружку камнями – ведь и тогда они помогали римлянам в бою. Не многие писатели принимают это объяснение. В самом деле, взаимные оклики среди бела дня и шествие к Козьему болоту, словно на праздник, по-видимому, лучше согласуется с первым рассказом. Правда, клянусь Зевсом, оба события могли произойти в один день, но в разное время.

Говорят, что Ромул исчез из среды людей в возрасте пятидесяти четырех лет, на тридцать восьмом году своего царствования.



[*Сопоставление*]

30 (1). Вот и все, достойное упоминания, из тех сведений, какие нам удалось собрать о Тесее и Ромуле. Очевидно, во-первых, что один из них добровольно, без всякого принуждения, сам устремился навстречу великим подвигам, хотя мог спокойно править в Трезене, приняв по наследству царство отнюдь не безвестное, а другой, спасаясь от рабства, в котором он жил, и от наказания, которое ему грозило, сделался, как говорит Платон[54], мужествен от страха и отважился на великое дело по необходимости, боясь испытать самые худшие бедствия. Далее, главный подвиг второго – убийство одного тиранна, царя Альбы, а для первого и Скирон, и Синид, и Прокруст-Растягатель, и Коринет – всего только проба сил; убивая их и казня, Тесей освобождал Грецию от лютых тираннов, да так, что спасенные поначалу даже не знали имени своего спасителя. Первый волен был ехать морем, без всяких хлопот, не подвергаясь нападениям разбойников, второму невозможно было жить спокойно, пока не расстался с жизнью Амулий. Вот еще важное свидетельство в пользу Тесея: сам не претерпев никакой обиды, он поднялся на злодеев не ради себя, но ради других, а Ромул и Рем, пока злоба тиранна их не коснулась, были равнодушными свидетелями его бесчинств над всеми остальными. И если немалый подвиг – тяжело раненным выстоять в битве с сабинянами, сразить Акрона, одолеть многочисленных врагов, то всему этому можно противопоставить борьбу с кентаврами и с амазонками.

То, на что решился Тесей, во имя избавления отечества от дани обрекши себя на пожрание какому-то чудовищу, или в заупокойную жертву Андрогею, или, по меньшей мере, на низкое, позорное рабство у строптивых и жестоких господ и добровольно отплыв на Крит вместе с девушками и мальчиками... впрочем

нет! едва ли сыщутся слова, чтобы сказать, о какой решимости, каком великодушии, какой праведной заботе об общественном благе, какой жажде, славы и добродетели свидетельствует этот поступок! И, мне кажется, философы не ошибаются, определяя любовь, как услугу богов, пекущихся о спасении молодых людей. Во всяком случае, любовь Ариадны, по-моему, – не что иное, как дело божественной заботы и орудие спасения Тесея, и никак нельзя винить ее за это чувство, напротив, следует изумляться, что не каждый и не каждая его испытали; более того, коль скоро это выпало на долю одной лишь Ариадне, я бы, не колеблясь, назвал ее достойной любви бога, ее, поклонявшуюся добру, поклонявшуюся красоте, влюбленную во все самое лучшее и высокое.

31 (2). Хотя оба владели природным даром управлять государством, ни тот, ни другой не уберегли истинно царской власти: оба ей изменили, и один превратил ее в демократию, другой в тираннию, поддавшись различным страстям, но допустив одинаковую оплошность. Главнейшая обязанность властителя – хранить самоё власть, а она сохраняется не только приверженностью должному, но ничуть не менее и отвержением недолжного. Кто совсем отпустит поводья или натянет их слишком туго, тот уже не царь и не властитель, но либо народный льстец, либо тиранн и не может внушить подвластным ничего, кроме презрения или ненависти, хотя вина первого, мне кажется, заключается в излишнем добросердечии и кротости, а второй повинен в себялюбии и жестокости.

32. (3). Если несчастья также не следует всецело относить за счет рока, если надобно и тут доискиваться различия нравов и страстей человеческих, пусть никто не оправдывает безрассудного гнева и слепой, скорой на расправу ярости, поднявших Ромула на брата, а Тесея на сына. Но, узнав, что послужило началом гнева, мы охотнее окажем снисхождение тому, кого, подобно более сильному удару, всколыхнули и вывели из себя более важные причины. Ведь едва ли возможно предположить, что, совместно обсуждая и рассматривая вопросы, касающиеся общей пользы, Ромул из-за возникших при этом разногласий был внезапно охвачен такой безудержной яростью. Тесея же ввели в заблуждение и восстановили против Ипполита те силы, воздействия которых почти никому из смертных избежать не удается, – любовь, ревность и женская клевета. Но что еще важнее – гнев Ромула излился в действии, которое привело к печальному исходу, а ярость Тесея не пошла дальше слов, брани и старческих проклятий – в остальном, мне кажется, виновата злая судьба юноши. Таковы доводы, которые можно, пожалуй, высказать в пользу Тесея.

33. (4). Ромулу придает величия, прежде всего, то, что начал он с самого малого. Рабы и, в глазах окружающих, дети свинопаса, Ромул и Рем, не успев еще освободиться сами, освободили почти всех латинян и разом стяжали самые прекрасные имена истребителей врагов, спасителей близких, царей народов и основателей городов – да, они основали совершенно новый народ, а не привели переселенцев в уже существующий, как Тесей, который, собирая и сводя многие обиталища в одно, стер с лица земли много городов, носивших имена древних царей и героев. Ромул делал то же, но лишь впоследствии, заставляя врагов разрушать свои дома и присоединяться к победителям. Сперва же он ничего не

перемещал и не расширял, но все создавал заново и только так приобрел себе страну, отечество, царство, потомство, жен и родичей, никого не губя и не умерщвляя, благодетельствуя тех, что из бездомных скитальцев желали превратиться в граждан, в народ. Разбойников и злодеев он, правда, не убивал, но покорил народы силой оружия, подчинил города и провел за собой в триумфальных шествиях царей и полководцев.

34. (5). Что касается Рема, принял ли он смерть от руки брата – вопрос спорный; бóльшая часть вины обычно возлагается не на Ромула, а на других. Зато всем известно, что Ромул спас свою мать, погибавшую в заточении, деда, влачившего бесславное рабство, посадил на престол Энея, сделал ему по собственному почину немало добра и никогда не вредил даже непреднамеренно. Между тем нерадивость Тесея, забывшего о наказе сменить парус, вряд ли избегнет обвинения в отцеубийстве, даже после самой красноречивой защитительной речи перед самыми снисходительными судьями. Недаром один афинянин, убедившись, что при всем желании, оправдать его чрезвычайно трудно, изображает дело так, будто Эгей, когда корабль уже подходил к берегу, побежал на Акрополь, откуда открывался широкий вид на море, но второпях поскользнулся и сорвался вниз, – точно царь был один и никто из слуг его не провожал!

35. (6). И проступки Тесея, связанные с похищением женщин, также лишены благовидных оснований. Во-вторых, они были неоднократны: ведь он похитил и Ариадну, и Антиопу, и трезенянку Анаксó, а под конец Елену, отцветший – еще не расцветшую, старик, которому и о законных-то соитиях впору было уже забыть, – малолетнюю, не созревшую для соития. Во-вторых, трезенянки, спартанки и амазонки (не говоря уже о том, что они не были с ним обручены!) рожали детей нисколько не лучше, чем афинские женщины из рода Эрехтея или Кекропа, а это наводит на мысль, что Тесеем руководили разнузданность и похоть. Ромул, во-первых, похитив без малого восемьдесят женщин, взял себе, говорят, только одну, Герсилию, остальных же разделил меж холостыми гражданами. Во-вторых, уважением, любовью и справедливостью, которыми затем были окружены эти женщины, он доказал, что его насильственный, несправедливый поступок был замечательным, мудрым деянием, направленным к объединению двух государств: и верно, ведь Ромул слил римлян с сабинянами, сплотил их в одно, открыв им источник будущего благополучия и могущества. О целомудрии и прочности, которые придал браку Ромул, о взаимной приязни супругов, свидетельствует само время: в течение двухсот тридцати лет ни один муж не решился покинуть жену, ни одна жена – мужа, и если особо любознательные из греков могут назвать имя первого отцеубийцы или матереубийцы, то у римлян каждый знает, что первым развелся с женой Карвилий Спурий, сославшись на ее бесплодие. О том, насколько правильны были установления Ромула, свидетельствуют, помимо их долговечности, сами последствия их: благодаря перекрестным брачным союзам цари разделили верховную власть, а народы – гражданские права. Напротив, браки Тесея не принесли афинянам ни дружбы, ни союза с кем бы то ни было, но лишь вражду, войны, убийства граждан и, наконец, потерю Афидн; едва-едва, лишь благодаря

состраданию врагов, к которым афиняне воззвали, словно к богам, и перед которыми благоговейно преклонились, им не пришлось разделить участь, выпавшую Трое по вине Александра[55]. Зато участь Гекубы не только грозила матери Тесея, но и постигла ее, оставленную и забытую сыном, если только пленение Этры - не вымысел, но ложь, каковою ему, этому пленению, и следовало бы оказаться вместе с большею частью остальных россказней! Наконец, немалое различие и в преданиях о божественном вмешательстве: новорожденный Ромул был спасен при участии и явном благоволении богов, меж тем как полученное Эгеем предсказание оракула, повелевавшего ему воздерживаться на чужбине от связи с женщиной. доказывает, видимо, что Тесей родился вопреки воле богов.





ЛИКУРГ И НУМА

ЛИКУРГ

1. О законодателе Ликурге невозможно сообщить ничего строго достоверного: и о его происхождении, и о путешествиях, и о кончине, а равно и о его законах, и об устройстве, которое он дал государству, существуют самые разноречивые рассказы. Но более всего расходятся сведения о том, в какую пору он жил[1]. Одни утверждают, будто Ликург был современником Ифита и вместе с ним учредил Олимпийское перемирие. Этой точки зрения придерживается среди прочих и философ Аристотель, ссылаясь в качестве доказательства на олимпийский диск, который сохраняет-де имя Ликурга. Другие, как, например, Эратосфен и Аполлодор, исчисляя время по преемственности спартанских царей, делают вывод, что он жил немногими годами ранее первой олимпиады. Тимей предполагает, что в Спарте было в разное время два Ликурга, но деяния обоих приписаны одному, более знаменитому; старший жил вскоре после Гомера, а по другим сведениям – видел Гомера собственными глазами. К глубокой древности относят Ликурга и предположения Ксенофонта[2], который говорит, что он жил при гераклидах. Правда, гераклидами по происхождению были и позднейшие из спартанских царей, но Ксенофонт, вероятно, имеет в виду первых гераклидов, ближайших к Гераклу. И все же, как ни сбивчивы наши данные, мы попытаемся, следуя сочинениям наименее противоречивым или же опирающимся на самых прославленных свидетелей, рассказать об этом человеке...* ибо и поэт Симонид просто заявляет, что Ликург – сын не Эвнома, а Пританида, у которого, кроме Ликурга, был еще сын по имени Эвном, большинство писателей излагает его родословную следующим образом: от Прокла, сына Аристодема, родился Сой, от Соя – Эврипонт, от Эврипонта – Пританей, от Пританея – Эвном, а Эвному первая жена родила Полидекта, вторая же, Дионасса, – Ликурга. Итак, по Диэвхиду, Ликург – потомок Прокла в шестом колене и Геракла в одиннадцатом.

2. Из предков Ликурга наибольшую известность снискал Сой, в правление которого спартанцы поработили илотов и отняли у аркадян много земли. Рассказывают, что как-то граждане Клитора окружили Соя в суровой, безводной местности, и он заключил с неприятелем соглашение, обещая вернуть захваченную спартанцами землю, если и он сам, и его люди напьются из ближайшего источника. Условия соглашения были подтверждены клятвой, и Сой, собрав своих, обещал отдать царство тому, кто не станет пить. Ни один человек, одна-

* В тексте пропуск.

ко, не удержался, все напились, и только сам полководец, спустившись к воде последним, лишь окропил себя, а затем на глазах у противника отошел, оставив вражеские владения за Спартой на том основании, что напились не все. Но, хотя спартанцы и восхищались им за этот подвиг, потомков его они звали Эврипонтидами, по имени его сына – потому, мне кажется, что Эврипонт первым ослабил единоначалие царской власти, заискивая перед толпою и угождая ей. Вследствие этих послаблений народ осмелел, а цари, правившие после Эврипонта, либо крутыми мерами вызывали ненависть подданных, либо, ища их благосклонности или по собственному бессилию, сами перед ними склонялись, так что беззаконие и нестроение надолго завладели Спартой. От них довелось погибнуть и царю, отцу Ликурга. Разнимая однажды дерущихся, он получил удар кухонным ножом и умер, оставив престол старшему сыну Полидекту.

3. Когда спустя немного скончался и Полидект, его преемником, по общему суждению, должен был стать Ликург, который и правил до тех пор, пока не обнаружилось, что жена умершего брата беременна. Едва лишь он это узнал, как объявил, что царство принадлежит ребенку, если только родится мальчик, сам же впредь соглашался властвовать лишь на правах опекуна. (Таких опекунов, замещающих царей-сирот, лакедемоняне называли “про́диками”.) Но женщина тайком подсылала к нему верных людей и, завязав переговоры, выразила готовность вытравить плод, с тем чтобы Ликург продолжал царствовать, а ее взял в жены. Гнусный замысел возмутил Ликурга, однако он не стал спорить, напротив, прикинулся, будто одобряет его и принимает, и возразил лишь в одном: не нужно-де истреблением плода и ядом увечить свое тело и подвергать опасности жизнь, а заботу о том, как поскорее убрать с дороги новорожденного, он, мол, берет на себя. Так он обманывал невестку до самых родов, когда же узнал, что она вот-вот разрешится, отправил к ней нескольких человек, чтобы они наблюдали за роженицей и караулили ее, предварительно наказав им, если появится на свет девочка, отдать ее женщинам, если же мальчик – немедленно доставить к нему, чем бы он в этот миг ни занимался. А случилось так, что он обедал с высшими должностными лицами, когда женщина родила мальчика и слуги принесли его Ликургу. Взяв младенца на руки, Ликург, как рассказывают, обратился к присутствовавшим: “Спартанцы, у вас родился царь!” Затем он положил ребенка на царское место и дал ему имя Харилай[3], ибо все ликовали, восторгаясь благородством и справедливостью Ликурга. Царствование Ликурга продолжалось восемь месяцев. Взгляды сограждан были постоянно обращены к нему, и людей, преданных ему в силу его высоких нравственных качеств и охотно, с усердием выполнявших его распоряжения, было больше, нежели просто повиновавшихся царскому опекуну и носителю царской власти. Были, конечно, и завистники, полагавшие, что необходимо помешать возвышению Ликурга, пока он еще молод; среди них первое место занимали родичи и близкие матери царя, считавшей себя оскорбленной деверем. Ее брат Леонид однажды особенно нагло задел Ликурга, сказав, что тот собирается завладеть престолом и ему, Леониду, это мол совершенно ясно. Такими речами он сеял подозрения и заранее опутывал Ликурга клеветою, выставлял его злоумышленником – на случай, если с царем приключится что-нибудь неладное. По-

добного рода слухи исходили и от царицы. Тяжело страдая от этого и боясь неопределенного будущего, Ликург решил уехать, чтобы таким образом избавиться от злого недоверия, скитаясь вдали от отечества, пока племянник не возмужает и у него не родится преемник.

4. Отправившись в путь, Ликург сначала побывал на Крите. Он изучил государственное устройство, сблизился с самыми известными из критян и кое-какие тамошние законы одобрил и усвоил, чтобы затем насадить у себя на родине, иными же пренебрег. С некиим Фалетом, одним из тех, кто пользовался на острове славою человека мудрого и искушенного в государственных делах, он подружился и ласковыми уговорами склонил его переселиться в Спарту. Слывя лирическим поэтом и прикрываясь этим именем, Фалет на деле совершал то же, что самые лучшие законодатели. Его песни были призывом к повиновению и согласию чрез напевы и ритмы, несшие в себе некий стройный порядок. Эти песни неприметно смягчали нрав слушателей и внушали им рвение к доброму и прекрасному, исторгая из души возобладавшее в ту пору в Спарте взаимное недоброжелательство, так что до некоторой степени Фалет расчистил путь Ликургу и его воспитательным трудам.

С Крита Ликург отплыл в Азию, желая, как рассказывают, сопоставить суровую простоту критян с ионийскою роскошью и изнеженностью – по примеру врачей, сравнивающих со здоровыми телами больные и недужные, – чтобы отчетливее увидеть различия в образе жизни и государственном устройстве. Там он впервые познакомился с поэмами Гомера, вероятно, сохранявшимися у потомков Креофила, и найдя, что в них, кроме рассказов, доставляющих удовольствие и развлечение, заключено много чрезвычайно ценного для воспитателя и государственного мужа, тщательно их переписал и собрал, чтобы увезти с собою. Какая-то смутная молва об этих произведениях уже распространилась среди греков, а немногие даже владели разрозненными их частями, занесенными в Грецию случайно, но полное знакомство с ними впервые произошло благодаря Ликургу.

Египтяне утверждают, что Ликург побывал и у них и, горячо похвалив обособленность воинов от всех прочих групп населения, перенес этот порядок в Спарту, отделил ремесленников и мастеровых и создал образец государства, поистине прекрасного и чистого. Мнение египтян поддерживают и некоторые из греческих писателей[4], но сведений о том, что Ликург посетил и Африку, и Испанию, скитался по Индии и беседовал с гимнософистами[5], мы не обнаружили ни у кого, кроме спартанца Аристократа, сына Гиппарха.

5. Лакедемоняне тосковали по Ликургу и неоднократно приглашали его вернуться, говоря, что единственное отличие их нынешних царей от народа – это титул и почести, которые им оказываются, тогда как в нем видна природа руководителя и наставника, некая сила, позволяющая ему вести за собою людей. Сами цари тоже с нетерпением ждали его возвращения, надеясь, что в его присутствии толпа будет относиться к ним более уважительно. В таком расположении духа находились спартанцы, когда Ликург приехал назад и тут же принялся изменять и преобразовывать все государственное устройство. Он был убежден, что отдельные законы не принесут никакой пользы, если, словно врачуя

больное тело, страдающее всевозможными недугами, с помощью очистительных средств, не уничтожить дурного смешения соков[6] и не назначить нового, совершенно иного образа жизни. С этой мыслью он прежде всего отправился в Дельфы. Принеся жертвы богу и вопросив оракула, он вернулся, везя то знаменитое изречение[7], в котором пифия назвала его "боголюбезным", скорее богом, нежели человеком; на просьбу о благих законах был получен ответ, что божество обещает даровать спартанцам порядки, несравненно лучшие, чем в остальных государствах. Ободренный возвещаниями оракула, Ликург решил привлечь к исполнению своего замысла лучших граждан и повел тайные переговоры сначала с друзьями, постепенно захватывая все более широкий круг и сплачивая всех для задуманного им дела. Когда же приспел срок, он приказал тридцати знатнейшим мужам выйти ранним утром с оружием на площадь, чтобы навести страх на противников. Из них двадцать, самые знаменитые, перечислены Гермиппом, первым помощником Ликурга во всех делах и наиболее ревностным соучастником издания новых законов называют Артмиада. Как только началось замешательство, царь Харилай, испугавшись, что это мятеж, укрылся в храме Афины Меднодомной[8], но затем, поверивши уговорам и клятвам, вышел и даже сам принял участие в том, что происходило. Он был от природы кроток; недаром Архелай, разделявший с ним престол, сказал как-то людям, которые хвалили молодого царя: "Разумеется, Харилай – прекрасный человек: ведь он даже на негодяев не умеет гневаться!"

Из многочисленных нововведений Ликурга первым и самым главным был Совет старейшин. В соединении с горячечной и воспаленной, по слову Платона[9], царской властью, обладая равным с нею правом голоса при решении важнейших дел, этот Совет стал залогом благополучия и благоразумия. Государство, которое носилось из стороны в сторону, склоняясь то к тирании, когда победу одерживали цари, то к полной демократии, когда верх брала толпа, положив посредине, точно балласт в трюме судна, власть старейшин, обрело равновесие, устойчивость и порядок: двадцать восемь старейшин теперь постоянно поддерживали царей, оказывая сопротивление демократии, но в то же время помогали народу хранить отечество от тирании. Названное число Аристотель[10] объясняет тем, что прежде у Ликурга было тридцать сторонников, но двое, испугавшись, отошли от участия в деле. Сфер же говорит, что их с самого начала было двадцать восемь. Возможно, причина здесь та, что это число возникает от умножения семи на четыре и что, после шести оно первое из совершенных, ибо равно сумме своих множителей[11]. Впрочем, по-моему, Ликург поставил двадцать восемь старейшин скорее всего для того, чтобы вместе с двумя царями их было ровно тридцать.

6. Ликург придавал столько значения власти Совета, что привез из Дельф особое прорицание на этот счет, которое называют "ретрой"[12]. Оно гласит: "Воздвигнуть храм Зевса Силланийского и Афины Силланийской. Разделить на филы и обы. Учредить тридцать старейшин с вождями совокупно. От времени до времени созывать Собрание меж Бабикой и Кнакионом, и там предлагать и распускать, но господство и сила да принадлежит народу". Приказ "разделить" относится к народу, а филы и обы – названия частей и групп, на которые следо-

вало его разделить. Под "вождями" подразумеваются цари. "Созывать Собрание" обозначено словом "аппелла́дзейн", ибо началом и источником своих преобразований Ликург объявил Аполлона Пифийского[13]. Бабика и Кнакион теперь именуются...* и Энунтом, но Аристотель утверждает, что Кнакион – это река, а Бабика – мост. Между ними и происходили собрания, хотя в том месте не было ни портика, ни каких-либо иных укрытий: по мнению Ликурга, ничто подобное не способствует здравости суждений, напротив – причиняет один только вред, занимая ум собравшихся пустяками и вздором, рассеивая их внимание, ибо они, вместо того чтобы заниматься делом, разглядывают статуи, картины, проскений театра[14] или потолок Совета, чересчур пышно изукрашенный. Никому из обыкновенных граждан не дозволялось подавать свое суждение, и народ, сходясь, лишь утверждал или отклонял то, что предложат старейшины и цари. Но впоследствии толпа разного рода изъятиями и прибавлениями стала искажать и уродовать утверждаемые решения, и тогда цари Полидор и Феопомп сделали к ретре такую приписку: "Если народ постановит неверно, старейшинам и царям распустить", то есть решение принятым не считать, а уйти и распустить народ на том основании, что он извращает и переиначивает лучшее и наиболее полезное. Они даже убедили все государство в том, что таково повеление бога, как явствует из одного упоминания у Тиртея:

Те, кто в пещере Пифона услышали Феба реченье,
 Мудрое слово богов в дом свой родной принесли:
Пусть в Совете цари, которых боги почтили,
 Первыми будут; пускай милую Спарту хранят
С ними советники-старцы, за ними – мужи из народа,
 Те, что должны отвечать речью прямой на вопрос.

7. Итак Ликург придал государственному управлению смешанный характер, но преемники его, видя, что олигархия все еще чересчур сильна, что она, как говорил Платон[15], надменна и склонна ко гневу, набрасывают на нее, словно узду, власть эфоров-блюстителей – приблизительно сто тридцать лет спустя[16] после Ликурга, при царе Феопомпе. Первыми эфорами были Элат и его товарищи. Говорят, жена бранила Феопомпа за то, что он оставит детям царское могущество меньшим, нежели получил сам. "Напротив, бо́льшим, поскольку более продолжительным", – возразил царь. И верно, отказавшись от чрезмерной власти, спартанские цари вместе с тем избавились и от ненависти, и от зависти; им не пришлось испытать того, что мессенцы и аргивяне учинили со своими правителями, не пожелавшими поступиться ничем в пользу народа. Это делает особенно очевидными мудрость и прозорливость Ликурга для всякого, кто бы ни вспомнил о мессенцах и аргивянах, родичах и соседях спартанцев, – о раздорах между народами и царями, о скверном управлении. Поначалу они пользовались всеми теми же преимуществами, что и спартанцы, а земли им, кажется, досталось даже и побольше, но благоденствовали они недолго: бесчинства царей, а равно и своеволие народа привели в расстройство установившийся порядок вещей. Их пример показывает, что поистине счастливым даром богов

* Текст испорчен.

был для спартанцев тот, кто так стройно сочетал и уравновесил различные силы в государстве. Но об этом – позже[17].

8. Второе и самое смелое из преобразований Ликурга – передел земли. Поскольку господствовало страшное неравенство, толпы неимущих и нуждающихся обременяли город, а все богатства перешли в руки немногих, Ликург, дабы изгнать наглость, зависть, злобу, роскошь и еще более старые, еще более грозные недуги государства – богатство и бедность, уговорил спартанцев объединить все земли, а затем поделить их заново и впредь хранить имущественное равенство, превосходства же искать в доблести, ибо нет меж людьми иного различия, иного первенства, нежели то, что устанавливается порицанием постыдному и похвалою прекрасному. Переходя от слов к делу, он разделил Лаконию между периэками, или, иначе говоря, жителями окрестных мест, на тридцать тысяч участков, а земли, относящиеся к самому городу Спарте, – на девять тысяч, по числу семей спартиатов. Некоторые пишут, что Ликург нарезал шесть тысяч наделов, а еще три тысячи прибавил впоследствии Полидор, другие – что оба роздали по четыре с половиной тысячи наделов. Каждый надел был такой величины, чтобы приносить по семидесяти медимнов ячменя на одного мужчину и по двенадцати на женщину и соразмерное количество жидких продуктов. Ликург полагал, что этого окажется достаточным для такого образа жизни, который сохранит его согражданам силы и здоровье, меж тем как иных потребностей у них быть не должно. Рассказывают, что позже, возвращаясь из какой-то отлучки и проезжая по недавно сжатым полям, где ровными рядами высились одинаковые груды колосьев, он улыбнулся и промолвил своим спутникам: "Вся Лакония кажется мне собственностью многих братьев, которые только что ее поделили".

9. Затем он взялся за раздел и движимого имущества, чтобы до конца уничтожить всяческое неравенство, но, понимая, что открытое изъятие собственности вызовет резкое недовольство, одолел алчность и корыстолюбие косвенными средствами. Во-первых, он вывел из употребления всю золотую и серебряную монету, оставив в обращении только железную, да и той при огромном весе и размерах назначил ничтожную стоимость, так что для хранения суммы, равной десяти минам, требовался большой склад, а для перевозки – парная запряжка. По мере распространения новой монеты многие виды преступлений в Лакедемоне исчезли. Кому, в самом деле, могла припасть охота воровать, брать взятки или грабить, коль скоро нечисто нажитое и спрятать было немыслимо, и ничего завидного оно собою не представляло, и даже разбитое на куски не получало никакого употребления? Ведь Ликург, как сообщают, велел закалять железо, окуная его в уксус, и это лишало металл крепости, он становился хрупким и ни на что более не годным, ибо никакой дальнейшей обработке уже не поддавался.

Затем Ликург изгнал из Спарты бесполезные и лишние ремесла. Впрочем, бóльшая их часть и без того удалилась бы вслед за общепринятой монетой, не находя сбыта для своих изделий. Возить железные деньги в другие греческие города было бессмысленно, – они не имели там ни малейшей ценности, и над ними только потешались, – так что спартанцы не могли купить ничего из чужеземных пустяков, да и вообще купеческие грузы перестали приходить в их

гавани. В пределах Лаконии теперь не появлялись ни искусный оратор, ни бродячий шарлатан-предсказатель, ни сводник, ни золотых или серебряных дел мастер – ведь там не было больше монеты! Но в силу этого роскошь[18], понемногу лишившаяся всего, что ее поддерживало и питало, сама собой увяла и исчезла. Зажиточные граждане потеряли все свои преимущества, поскольку богатству был закрыт выход на люди, и оно без всякого дела пряталось взаперти по домам. По той же причине обыкновенная и небходимая утзарь – ложа, кресла, столы – изготовлялась у спартанцев как нигде, а лаконский котон[19] считался, по словам Крития[20], незаменимым в походах: если приходилось пить воду, неприглядную на вид, он скрывал своим цветом цвет жидкости, а так как муть задерживалась внутри, отстаиваясь на внутренней стороне выпуклых стенок, вода достигала губ уже несколько очищенной. И здесь заслуга принадлежит законодателю, ибо ремесленники, вынужденные отказаться от производства бесполезных предметов, стали вкладывать все свое мастерство в предметы первой необходимости.

10. Чтобы нанести роскоши и страсти к богатству еще более решительный удар, Ликург провел третье и самое прекрасное преобразование – учредил общие трапезы: граждане собирались вместе и все ели одни и те же кушанья, нарочито установленные для этих трапез; они больше не проводили время у себя по домам, валяясь на мягких покрывалах у богато убранных столов, жирея благодаря заботам поваров и мастеровых, точно прожорливые скоты, которых откармливают в темноте, и растлевая не только нрав свой, но и тело, предающееся всевозможным наслаждениям и излишествам, приобретающее потребность в долгом сне, горячих купаниях, полном покое – словно в некоем ежедневном лечении. Это, конечно, чрезвычайно важно, но еще важнее, что благодаря совместному питанию и его простоте богатство, как говорит Феофраст, перестало быть завидным, перестало быть богатством. Невозможно было ни воспользоваться роскошным убранством, ни насладиться им, ни даже выставить его на показ и хотя бы потешить свое тщеславие, коль скоро богач ходил к одной трапезе с бедняком. Таким образом из всех городов под солнцем в одной лишь Спарте оправдалась ходячая истина, что бог Богатства слеп и лежит не подымаясь, точно изображение на картине, неодушевленное и неподвижное. Нельзя было и явиться на общий обед, предварительно насытившись дома: все зорко следили друг за другом и, если обнаруживали человека, который не ест и не пьет с остальными, порицали его, называя разнузданным и изнеженным.

11. Говорят, что именно за это нововведение особенно люто возненавидели Ликурга богачи. Однажды они тесно обступили его, принялись злобно кричать, и в конце концов осыпаемый градом камней он бежал с площади. Опередив всех, он уже было скрылся в храме, но один молодой человек по имени Алкандр, в общем неглупый и только слишком резкий и горячий, гонясь за ним по пятам, в тот миг, когда Ликург обернулся, ударил его палкой и выбил глаз. Несмотря на нежданную беду мужество нимало не изменило Ликургу, и, став прямо против сограждан, он показал им свое залитое кровью лицо с опустевшей глазницей. Всех охватило уныние и страшный стыд, они выдали Алкандра Ликургу и проводили раненого до дому, разделяя с ним его печаль. Ликург

поблагодарил их и отпустил, Алкандра же ввел в дом и ничем его не обидел, не сказал ни единого дурного слова и только велел прислуживать, удалив обычных своих слуг и рабов. Наделенный некоторым благородством тот молча выполнял все, что ему поручали, и, находясь постоянно рядом с Ликургом, постиг кротость и невозмутимость его души, строгий образ жизни, неутомимость в трудах, так что и сам проникся величайшим расположением к этому человеку, и внушал друзьям и близким, что Ликург не жесток и не высокомерен, но, как никто, снисходителен и милосерден к окружающим. Вот так и был наказан Алкандр, такую он понес кару: из скверного, наглого юнца он превратился в самого скромного и благоразумного мужа. В память о случившемся Ликург воздвиг храм Афины, которую нарек Оптилетидой: доряне в тех местах глаз называют "óптилос" [óptilos]. Однако некоторые писатели, в их числе и Диоскорид, автор сочинения о государственном устройстве Спарты, утверждают, что Ликург был только ранен в глаз, но не ослеп и воздвиг храм богине в благодарность за исцеление. Так или иначе, но после этого несчастья спартанцы перестали ходить в Собрание с палками.

12. Общие трапезы критяне зовут "андриями"[21], а лакедемоняне "фидитиями" – потому ли, что на них царила дружба и благожелательство [philia] или потому, что они приучали к простоте и бережливости [pheidō]. Равным образом ничто не препятствует нам предположить, по примеру некоторых, что первый звук здесь приставной и что слово "эдитии" следует производить от слова "питание" или "пища" [edōdē].

На трапезы собиралось человек по пятнадцать, иной раз немногим менее или более. Каждый сотрапезник приносил ежемесячно медимн ячменной муки, восемь хоев вина, пять мин сыра, две с половиной мины смокв и, наконец, совсем незначительную сумму денег для покупки мяса и рыбы. Если кто из них совершал жертвоприношение или охотился, для общего стола поступала часть жертвенного животного или добычи, но не всё целиком, ибо замешкавшийся на охоте или из-за принесения жертвы мог пообедать дома, тогда как остальным надлежало присутствовать. Обычай совместных трапез спартанцы неукоснительно соблюдали вплоть до поздних времен. Когда царь Агид, разбив афинян, возвратился из похода и, желая пообедать с женой, послал за своей частью, полемархи отказались ее выдать. Назавтра царь в гневе не принес установленной жертвы, и полемархи наложили на него штраф.

За трапезами бывали и дети. Их приводили туда точно в школу здравого смысла, где они слушали разговоры о государственных делах, были свидетелями забав, достойных свободного человека, приучались шутить и смеяться без пошлого кривляния и встречать шутки без обиды. Спокойно переносить насмешки считалось одним из главных достоинств спартанца. Кому становилось невтерпеж, тот мог просить пощады, и насмешник тотчас умолкал. Каждому из входивших старший за столом говорил, указывая на дверь: "Речи за порог не выходят". Рассказывают, что желавший стать участником трапезы, подвергался вот какому испытанию. Каждый из сотрапезников брал в руку кусок хлебного мякиша и, словно камешек для голосования, молча бросал в сосуд, который подносил, держа на голове, слуга. В знак одобрения комок просто опускали, а

кто хотел выразить свое несогласие, тот предварительно сильно стискивал мякиш в кулаке. И если обнаруживали хотя бы один такой комок, соответствующий просверленному камешку[22], искателю в приеме отказывали, желая, чтобы все, сидящие за столом, находили удовольствие в обществе друг друга. Подобным образом отвергнутого называли "каддированным" – от слова "кàддихос", обозначающего сосуд, в который бросали мякиш. Из спартанских кушаний самое знаменитое – черная похлебка. Старики даже отказывались от своей доли мяса и уступали ее молодым, а сами вволю наедались похлебкой. Существует рассказ, что один из понтийских царей[23] единственно ради этой похлебки купил себе повара-лаконца, но, попробовав, с отвращением отвернулся, и тогда повар ему сказал: "Царь, чтобы есть эту похлебку, надо сначала искупаться в Эвроте". Затем, умеренно запив обед вином, спартанцы шли по домам, не зажигая светильников: ходить с огнем им запрещалось как в этом случае, так и вообще, дабы они приучались уверенно и бесстрашно передвигаться в ночной темноте. Таково было устройство общих трапез.

13. Записывать свои законы Ликург не стал, и вот что говорится по этому поводу в одной из так называемых ретр. Главнейшие начала, всего более способствующие процветанию государства и доблести, обретают устойчивость и силу лишь укоренившись в нравах и поведении граждан, ибо для этих начал более крепкой основой, нежели необходимость, является свободная воля, а ее развивает в молодежи воспитание, исполняющее в душе каждого роль законодателя. А второстепенные и в частности денежные обязательства, которые изменяются сообразно различным потребностям, лучше не закреплять в писаных законах и незыблемых правилах: пусть в нужных случаях делаются те дополнения или изъятия, какие люди сведущие одобрят и сочтут полезными. Поэтому всю свою деятельность законодателя Ликург, в конечном счете, сводил к воспитанию.

Итак, одна из ретр, как уже сказано, гласила, что писаные законы не нужны. Другая, опять-таки направленная против роскоши, требовала, чтобы в каждом доме кровля была сделана при помощи только топора, а двери – одной лишь пилы, без применения хотя бы еще одного инструмента. И если впоследствии, как рассказывают, Эпаминонд говорил о своем столе: "За этаким завтраком нет места измене", – то Ликург предвосхитил эту мысль, сообразив, что в подобного рода доме не найдется места роскоши и безумным тратам. Нет человека настолько безвкусного и безрассудного, чтобы в дом, сработанный просто и грубо, вносить ложа на серебряных ножках, пурпурные покрывала, золотые кубки и спутницу всего этого – роскошь. Волей-неволей приходится прилаживать и приспосабливать к дому ложе, к ложу – постель, к постели – прочую обстановку и утварь. Этой привычкой к умеренности объясняется, между прочим, вопрос, который, как говорят, задал в Коринфе Леотихид Старший. Обедая в каком-то доме и разглядывая богато украшенный штучный потолок, он спросил хозяина: "Разве деревья у вас растут четырехугольными?"

Третья ретрá Ликурга, о которой упоминают писатели, запрещает вести войну постоянно с одним и тем же противником, чтобы тот, привыкнув отражать нападения, и сам не сделался воинственным. В более поздние времена

царя Агесилая как раз в том и обвинили, что частыми вторжениями и походами в Беотию он превратил фиванцев в равносильных соперников. Недаром Анталкид, увидев его раненным, сказал: "Недурно заплатили тебе фиванцы за то, что, вопреки их желанию, ты выучил этих неучей сражаться!" Эти законоположения Ликург назвал ретрами[24], желая внушить, что они исходят от бога и представляют собою ответы оракула.

14. Начиная воспитание, в котором он видел самое важное и самое прекрасное дело законодателя, издалека, Ликург сперва обратился к вопросам брака и рождения детей. Аристотель[25] неправ, утверждая, будто Ликург хотел было вразумить и наставить на истинный путь женщин, но отказался от этой мысли, не в силах сломить их своеволие и могущество – следствие частых походов, во время которых мужья вынуждены бывали оставлять их полными хозяйками в доме, а потому и оказывали им уважение большее, чем следовало, и даже называли "госпожами". Нет, Ликург в меру возможности позаботился и об этом. Он укрепил и закалил девушек упражнениями в беге, борьбе, метании диска и копья, чтобы и зародыш в здоровом теле с самого начала развивался здоровым, и сами женщины, рожая, просто и легко справлялись с муками. Заставив девушек забыть об изнеженности, баловстве и всяких женских прихотях, он приучил их не хуже, чем юношей, нагими принимать участие в торжественных шествиях, плясать и петь при исполнении некоторых священных обрядов на глазах у молодых людей. Случалось им и отпускать остроты, метко порицая провинности, и воздавать в песнях похвалы достойным, пробуждая в юношах ревнивое честолюбие. Кто удостаивался похвалы за доблесть и приобретал известность у девушек, удалялся, ликуя, а колкости, даже шутливые и остроумные, жалили не менее больно, чем строгие внушения: ведь поглядеть на это зрелище вместе с остальными гражданами приходили и цари и старейшины. При этом нагота девушек не заключала в себе ничего дурного, ибо они сохраняли стыдливость и не знали распущенности, напротив, она приучала к простоте, к заботам о здоровье и крепости тела, и женщины усваивали благородный образ мыслей, зная, что и они способны приобщиться к доблести и почету. Оттого и приходили к ним слова и мысли, подобные тем, какие произнесла, говорят, однажды Горгó, жена Леонида. Какая-то женщина, видимо, чужестранка, сказала ей: "Одни только вы, лаконянки, властвуете над мужьями". "Да, но одни только мы рождаем мужей", – откликнулась Горго.

15. Все это само по себе было и средством побуждения к браку – я имею в виду шествия девушек, обнажение тела, состязания в присутствии молодых людей, которых приводила, говоря словами Платона[26], не геометрическая, а любовная необходимость. В то же время Ликург установил и своего рода позорное наказание для холостяков: их не пускали на гимнопедии[27], зимою, по приказу властей, они должны были нагими обойти вокруг площади, распевая песню, сочиненную им в укор (в песне говорилось, что они терпят справедливое возмездие за неповиновение законам), и, наконец, они были лишены тех почестей и уважения, какие молодежь оказывала старшим. Вот почему никто не осудил дерзости, которую пришлось выслушать даже такому прославленному человеку, как полководец Деркиллид. Какой-то юноша не уступил ему мес-

та и сказал так: "Ты не родил сына, который бы в свое время уступил место мне".

Невест брали уводом, но не слишком юных, недостигших брачного возраста, а цветущих и созревших. Похищенную принимала так называемая подружка, коротко стригла ей волосы и, нарядив в мужской плащ, обув на ноги сандалии, укладывала одну в темной комнате на подстилке из листьев. Жених, не пьяный, не размякший, но трезвый и как всегда пообедавший за общим столом, входил, распускал ей пояс и, взявши на руки, переносил на ложе. Пробыв с нею недолгое время, он скромно удалялся, чтобы по обыкновению лечь спать вместе с прочими юношами. И впредь он поступал не иначе, проводя день и отдыхая среди сверстников, а к молодой жене наведываясь тайно, с опаскою, как бы кто-нибудь в доме его не увидел. Со своей стороны и женщина прилагала усилия к тому, чтобы они могли сходиться, улучив минуту, никем не замеченные. Так тянулось довольно долго: у иных уже дети рождались, а муж все еще не видел жены при дневном свете. Такая связь была не только упражнением в воздержности и здравомыслии – тело благодаря ей всегда испытывало готовность к соитию, страсть оставалась новой и свежей, не пресыщенной и не ослабленной беспрепятственными встречами; молодые люди всякий раз оставляли друг в друге какую-то искру вожделения.

Внеся в заключение браков такой порядок, такую стыдливость и сдержанность, Ликург с неменьшим успехом изгнал пустое, бабье чувство ревности: он счел разумным и правильным, чтобы, очистив брак от всякой разнузданности, спартанцы предоставили право каждому достойному гражданину вступать в связь с женщинами ради произведения на свет потомства, и научил сограждан смеяться над теми, кто мстит за подобные действия убийством и войною, видя в супружестве собственность, не терпящую ни разделения, ни соучастия. Теперь муж молодой жены, если был у него на примете порядочный и красивый юноша, внушавший старику уважение и любовь, мог ввести его в свою опочивальню, а родившегося от его семени ребенка признать своим. С другой стороны, если честному человеку приходилась по сердцу чужая жена, плодовитая и целомудренная, он мог попросить ее у мужа, дабы, словно совершив посев в тучной почве, дать жизнь добрым детям, которые будут кровными родичами добрых граждан. Ликург первый решил, что дети принадлежат не родителям, а всему государству, и потому желал, чтобы граждане рождались не от кого попало, а от лучших отцов и матерей. В касающихся брака установлениях других законодателей он усматривал глупость и пустую спесь. Те самые люди, рассуждал он, что стараются случить сук и кобылиц с лучшими припускными самцами, суля их хозяевам и благодарность и деньги, жен своих караулят и держат под замком, требуя, чтобы те рожали только от них самих, хотя бы сами они были безмозглы, ветхи годами, недужны! Словно не им первым, главам семьи и кормильцам, предстоит испытать на себе последствия того, что дети вырастают дурными, коль скоро рождаются от дурных, и, напротив, хорошими, коль скоро происхождение их хорошо.

Эти порядки, установленные в согласии с природой и нуждами государства, были столь далеки от так называемой "доступности", возобладавшей впослед-

ствии среди спартанских женщин, что прелюбодеяние казалось вообще немыслимым. Часто вспоминают, например, ответ спартанца Герада, жившего в очень давние времена, одному чужеземцу. Тот спросил, какое наказание несут у них прелюбодеи. "Чужеземец, у нас нет прелюбодеев", – возразил Герад. "А если все-таки объявятся?" – не уступал собеседник. "Виновный даст в возмещение быка такой величины, что, вытянув шею из-за Таигета[28], он напьется в Эвроте". Чужеземец удивился и сказал: "Откуда же возьмется такой бык?" "А откуда возьмется в Спарте прелюбодей?" – откликнулся, засмеявшись, Герад. Вот что сообщают писатели о спартанских браках.

16. Отец был не в праве сам распорядиться воспитанием ребенка – он относил новорожденного на место, называемое "лесхой", где сидели старейшие сородичи по филе. Они осматривали ребенка и, если находили его крепким и ладно сложенным, приказывали воспитывать, тут же назначив ему один из девяти тысяч наделов. Если же ребенок был тщедушным и безобразным, его отправляли к Апофетам (так назывался обрыв на Таигете), считая, что его жизнь не нужна ни ему самому, ни государству, раз ему с самого начала отказано в здоровье и силе. По той же причине женщины обмывали новорожденных не водой, а вином, испытывая их качества: говорят, что больные падучей и вообще хворые от несмешанного вина погибают, а здоровые закаляются и становятся еще крепче. Кормилицы были заботливые и умелые, детей не пеленали, чтобы дать свободу членам тела, растили их неприхотливыми и не разборчивыми в еде, не боящимся темноты или одиночества, не знающими, что такое своеволие и плач. Поэтому иной раз даже чужестранцы покупали кормилиц родом из Лаконии. Есть сведения, что лаконянкой была и Амикла, кормившая афинянина Алкивиада. Но, как сообщает Платон[29], Перикл назначил в дядьки Алкивиаду Зопира, самого обыкновенного раба. Между тем спартанских детей Ликург запретил отдавать на попечение купленным за деньги или нанятым за плату воспитателям, да и отец не мог воспитывать сына, как ему заблагорассудится.

Едва мальчики достигали семилетнего возраста, Ликург отбирал их у родителей и разбивал по отрядам, чтобы они вместе жили и ели, приучаясь играть и трудиться друг подле друга. Во главе отряда он ставил того, кто превосходил прочих сообразительностью и был храбрее всех в драках. Остальные равнялись на него, исполняли его приказы и молча терпели наказания, так что главным следствием такого образа жизни была привычка повиноваться. За играми детей часто присматривали старики и постоянно ссорили их, стараясь вызвать драку, а потом внимательно наблюдали, какие у каждого от природы качества – отважен ли мальчик и упорен ли в схватках. Грамоте они учились лишь в той мере, в какой без этого нельзя было обойтись, в остальном же все воспитание сводилось к требованиям беспрекословно подчиняться, стойко переносить лишения и одерживать верх над противником. С возрастом требования делались все жестче: ребятишек коротко стригли, они бегали босиком, приучались играть нагими. В двенадцать лет они уже расхаживали без хитона, получая раз в год по гиматию[30], грязные, запущенные; бани и умащения были им незнакомы – за весь год лишь несколько дней они пользовались этим благом. Спали они вместе, по илам

и отрядам[31], на подстилках, которые сами себе приготовляли, ломая голыми руками метелки тростника на берегу Эврота. Зимой к тростнику подбрасывали и примешивали так называемый ликофон[32]: считалось, что это растение обладает какою-то согревающей силой.

17. В этом возрасте у лучших юношей появляются возлюбленные. Усугубляют свой надзор и старики: они посещают гимнасии, присутствуют при состязаниях и словесных стычках, и это не забавы ради, ибо всякий считает себя до некоторой степени отцом, воспитателем и руководителем любого из подростков, так что всегда находилось, кому вразумить и наказать провинившегося. Тем не менее из числа достойнейших мужей назначается еще и педоном – надзирающий за детьми, а во главе каждого отряда сами подростки ставили одного из так называемых иренов – всегда наиболее рассудительного и храброго. (Иренами зовут тех, кто уже второй год как возмужал, меллиренами – самых старших мальчиков.) Ирен, достигший двадцати лет, командует своими подчиненными в драках и распоряжается ими, когда приходит пора позаботиться об обеде. Большим он дает наказ принести дров, малышам – овощей. Все добывается кражей: одни идут на огороды, другие с величайшей осторожностью, пуская в ход всю свою хитрость, пробираются на общие трапезы мужей. Если мальчишка попадался, его жестоко избивали плетью за нерадивое и неловкое воровство. Крали они и всякую иную провизию, какая только попадалась под руку, учась ловко нападать на спящих или зазевавшихся караульных. Наказанием попавшимся были не только побои, но и голод: детей кормили весьма скудно, чтобы, перенося лишения, они сами, волей-неволей, понаторели в дерзости и хитрости. Вот какое воздействие оказывала скудость питания; впрочем, как говорят, действовала она и еще в одном направлении – увеличивала рост мальчиков. Тело вытягивается в высоту, когда дыхание не стеснено слишком утомительными трудами и, с другой стороны, когда тяжкий груз пищи не гонит его вниз и вширь, напротив, когда, в силу своей легкости, дух устремляется вверх; тогда-то человек и прибавляет в росте легко и быстро. Так же, по-видимому, создается и красота форм: худоба, сухощавость легче сообразуется с правильным развитием членов тела, грузная полнота противится ему. Поэтому, бесспорно, и у женщин, которые, нося плод, постоянно очищают желудок[33], дети рождаются худые, но миловидные и стройные, ибо незначительное количество материи скорее уступает формирующей силе. Однако более подробно причины этого явления пусть исследуют желающие.

18. Воруя, дети соблюдали величайшую осторожность; один из них, как рассказывают, украв лисенка, спрятал его у себя под плащом, и хотя зверек разорвал ему когтями и зубами живот, мальчик, чтобы скрыть свой поступок, крепился до тех пор, пока не умер. О достоверности этого рассказа можно судить по нынешним эфебам[34]: я сам видел, как не один из них умирал под ударами у алтаря Орфии[35].

Закончив обед, ирен кому приказывал петь, кому предлагал вопросы, требующие размышления и сообразительности, вроде таких, как: “Кто лучший среди мужей?” или “Каков поступок такого-то человека?” Так они с самого начала жизни приучались судить о достоинствах сограждан, ибо если тот, к кому был

обращен вопрос "Кто хороший гражданин? Кто заслуживает порицания?", не находил, что ответить, это считали признаком натуры вялой и равнодушной к добродетели. В ответе полагалось назвать причину того или иного суждения и привести доказательства, облекши мысль в самые краткие слова. Того, кто говорил невпопад, не обнаруживая должного усердия, ирен наказывал – кусал за большой палец. Часто ирен наказывал мальчиков в присутствии стариков и властей, чтобы те убедились, насколько обоснованны и справедливы его действия. Во время наказания его не останавливали, но когда дети расходились, он держал ответ, если кара была строже или, напротив, мягче, чем следовало.

И добрую славу и бесчестье мальчиков разделяли с ними их возлюбленные. Рассказывают, что когда однажды какой-то мальчик, схватившись с товарищем, вдруг испугался и вскрикнул, власти наложили штраф на его возлюбленного. И, хотя у спартанцев допускалась такая свобода в любви, что даже достойные и благородные женщины любили молодых девушек, соперничество было им незнакомо. Мало того: общие чувства к одному лицу становились началом и источником взаимной дружбы влюбленных, которые объединяли свои усилия в стремлении привести любимого к совершенству[36].

19. Детей учили говорить так, чтобы в их словах едкая острота смешивалась с изяществом, чтобы краткие речи вызывали пространные размышления. Как уже сказано, Ликург придал железной монете огромный вес и ничтожную ценность. Совершенно иначе поступил он со "словесной монетою": под немногими скупыми словами должен был таиться обширный и богатый смысл, и, заставляя детей подолгу молчать, законодатель добивался от них ответов метких и точных. Ведь подобно тому, как семя людей, безмерно жадных до соитий, большею частью бесплодно, так и несдержанность языка порождает речи пустые и глупые. Какой-то афинянин насмехался над спартанскими мечами – так-де они коротки, что их без труда глотают фокусники в театре. "Но этими кинжалами мы отлично достаем своих врагов", – возразил ему царь Агид. Я нахожу, что речь спартанцев, при всей своей внешней краткости, отлично выражает самую суть дела и остается в сознании слушателей.

Сам Ликург говорил, по-видимому, немного и метко, насколько можно судить по его изречениям, дошедшим до нас. Так, человеку, который требовал установления демократического строя в Спарте, он сказал: "Сначала ты установи демократию у себя в доме". Кто-то спросил, почему он сделал жертвоприношения такими умеренными и скромными. "Чтобы мы никогда не переставали чтить божество", – ответил Ликург. А вот что сказал он о состязаниях: "Я разрешил согражданам лишь те виды состязаний, в которых не приходится поднимать вверх руки"[37]. Сообщают, что и в письмах он отвечал согражданам не менее удачно. "Как нам отвратить от себя вторжение неприятеля?" – "Оставайтесь бедными, и пусть никто не тщится стать могущественнее другого". О городских стенах: "Лишь тот город не лишен укреплений, который окружен мужами, а не кирпичами". Трудно, однако, решить, подлинны или же подложны эти письма.

20. Об отвращении спартанцев к пространным речам свидетельствуют следующие высказывания. Когда кто-то принялся рассуждать о важном деле, но

некстати, царь Леонид промолвил: "Друг, все это уместно, но в другом месте". Племянник Ликурга Харилай на вопрос, почему его дядя издал так мало законов, ответил: "Тем, кто обходится немногими словами, не нужно много законов". Какие-то люди бранили софиста Гекатея, за то что, приглашенный к общей трапезе, он весь обед промолчал. "Кто умеет говорить, знает и время для этого", – возразил им Архидамид.

А вот примеры колких, но не лишенных изящества памятных слов, о которых я уже говорил выше. Какой-то проходимец донимал Демарата нелепыми расспросами и, между прочим, все хотел узнать, кто лучший из спартанцев. "Тот, кто менее всего похож на тебя", – молвил наконец Демарат. Агид, слыша похвалы элейцам за прекрасное и справедливое устройство олимпийских игр, заметил: "Вот уж, впрямь, великое дело – раз в четыре года блюсти справедливость". Один чужеземец, чтобы выказать свои дружеские чувства, сказал Феопомпу, что у сограждан он зовется другом лаконян. "Зваться бы тебе лучше другом сограждан", – ответил Феопомп. Сын Павсания Плистоанакт сказал афинскому оратору, назвавшему спартанцев неучами: "Ты прав – из всех греков одни только мы не выучились у вас ничему дурному". Архидамида спрашивали, сколько всего спартанцев. "Достаточно, друг, чтобы дать отпор негодяям", – заверил он. По шуткам спартанцев можно судить и об их привычках. Они никогда не болтали попусту, никогда не произносили ни слова, за которым не было бы мысли, так или иначе заслуживающей того, чтобы над нею задуматься. Спартанца позвали послушать, как подражают пенью соловья. "Я слышал самого соловья", – отказался тот. Другой спартанец, прочтя эпиграмму:

Те, кто пожар тираннии тушить попытались, погибли;
Медный Арес их настиг у селинунтских ворот,

заметил: "И поделом: надо было дать ей сгореть дотла". Какой-то юноша сказал человеку, обещавшему дать ему петухов, которые бьются до последнего издыхания: "Оставь их себе, а мне дай таких, что бьют противника до последнего издыхания". Еще один юноша, увидев людей, которые опорожняли кишечник, сидя на стульчаке, воскликнул: "Хоть бы никогда не довелось мне сидеть на таком месте, которое невозможно уступить старику!" Таковы их изречения и памятные слова, и не без основания утверждают некоторые[38], что подражать лаконцам значит прилежать душою скорее к философии, нежели к гимнастике.

21. Пению и музыке учили с неменьшим тщанием, нежели четкости и чистоте речи, но и в песнях было заключено своего рода жало, возбуждавшее мужество и понуждавшее душу восторженным порывам к действию. Слова их были просты и безыскусны, предмет – величав и нравоучителен. То были в основном прославления счастливой участи павших за Спарту и укоры трусам, обреченным влачить жизнь в ничтожестве, обещания доказать свою храбрость или – в зависимости от возраста певцов – похвальба ею. Нелишним будет поместить здесь для примера одну из подобных песен. В праздничные дни составлялись три хора – стариков, мужей и мальчиков. Старики запевали:

А мы в былые годы были крепкими!

Мужи в расцвете сил подхватывали:

А мы теперь: кто хочет, пусть попробует!

А мальчики завершали:

А мы еще сильнее будем вскорости.

Вообще, если кто поразмыслит над творениями лаконских поэтов. из которых иные сохранились до наших дней, и восстановит в памяти походные ритмы мелодий для флейты, под звуки которой спартанцы шли на врага, тот, пожалуй, признает, что Терпандр и Пиндар[39] были правы, находя связь между мужеством и музыкой. Первый говорит о лакедемонянах так:

Юность здесь пышно цветет, царит здесь звонкая Муза,
Правда повсюду живет...

А Пиндар восклицает:

Там старейшин советы;
Копья юных мужей в славный вступают бой,
Там хороводы ведут Муза и Красота.

И тот и другой изображают спартанцев одновременно и самым музыкальным и самым воинственным народом.

И пред бранным железом сильна кифара,

сказал спартанский поэт. Недаром перед битвой царь приносил жертву Музам – для того, мне кажется, чтобы воины, вспомнив о воспитании, которое они получили, и о приговоре, который их ждет[40], смело шли навстречу опасности и совершали подвиги, достойные сохраниться в речах и песнях.

22. Во время войны правила поведения молодых людей делались менее суровыми: им разрешалось ухаживать за своими волосами, украшать оружие и платье, наставники радовались, видя их подобными боевым коням, которые гордо и нетерпеливо пританцовывают, фыркают и рвутся в сражение. Поэтому, хотя следить за волосами мальчики начинали, едва выйдя из детского возраста, особенно старательно их умащали и расчесывали накануне опасности, памятуя слова Ликурга о волосах, что красивых они делают еще благовиднее, а уродливых – еще страшнее. В походах и гимнастические упражнения становились менее напряженными и утомительными, да и вообще в это время с юношей спрашивали менее строго, чем обычно, так что на всей земле для одних лишь спартанцев война оказывалась отдыхом от подготовки к ней.

Когда построение боевой линии заканчивалось, царь на глазах у противника приносил в жертву козу и подавал знак всем увенчать себя венками, а флейтистам приказывал играть Касторов напев[41] и одновременно сам затягивал походный пеан. Зрелище было величественное и грозное: воины наступали, шагая сообразно ритму флейты, твердо держа строй, не испытывая ни малейшего смятения – спокойные и радостные, и вела их песня. В таком расположении духа, вероятно, ни страх ни гнев над человеком не властны; верх одерживают неколебимая стойкость, надежда и мужество, словно даруемые присутствием

божества. Царь шел на врага в окружении тех из своих людей, которые заслужили венок победою на состязаниях. Рассказывают, что на Олимпийских играх одному лаконцу давали большую взятку, но он отказался от денег и, собрав все свои силы, одолел противника. Тогда кто-то ему сказал: "Что тебе за выгода, спартанец, от этой победы?" "Я займу место впереди царя, когда пойду в бой", – улыбаясь ответил победитель.

Разбитого неприятеля спартанцы преследовали лишь настолько, насколько это было необходимо, чтобы закрепить за собою победу, а затем немедленно возвращались, полагая неблагородным и противным греческому обычаю губить и истреблять прекративших борьбу. Это было не только прекрасно и великодушно, но и выгодно: враги их, зная, что они убивают сопротивляющихся, но щадят отступающих, находили более полезным для себя бежать, чем оставаться на месте.

23. Сам Ликург, по словам софиста Гиппия, был муж испытанной воинственности, участник многих походов. Филостефан даже приписывает ему разделение конницы по уламам. Улам при Ликурге представлял собою отряд из пятидесяти всадников, построенных четырехугольником. Но Деметрий Фалерский пишет, что Ликург вообще не касался ратных дел и новый государственный строй учреждал во время мира. И верно, замысел Олимпийского перемирия мог, по-видимому, принадлежать лишь кроткому и миролюбивому человеку. Впрочем, как говорится у Гермиппа, иные утверждают, будто сначала Ликург не имел ко всему этому ни малейшего отношения и никак не был связан с Ифитом, но прибыл на игры случайно. Там он услышал за спиною голос: кто-то порицал его и дивился тому, что он не склоняет сограждан принять участие в этом всеобщем торжестве. Ликург обернулся, но говорившего нигде не было видно, и, сочтя случившееся божественным знамением, он тогда только присоединился к Ифиту; вместе они сделали празднество более пышным и славным, дали ему надежное основание.

24. Воспитание спартанца длилось и в зрелые годы. Никому не разрешалось жить так, как он хочет: точно в военном лагере, все в городе подчинялись строго установленным порядкам и делали то из полезных для государства дел, какое им было назначено. Считая себя принадлежащими не себе самим, но отечеству, спартанцы, если у них не было других поручений, либо наблюдали за детьми и учили их чему-нибудь полезному, либо сами учились у стариков. Ведь одним из благ и преимуществ, которые доставил согражданам Ликург, было изобилие досуга. Заниматься ремеслом им было строго-настрого запрещено, а в погоне за наживой, требующей бесконечных трудов и хлопот, не стало никакой надобности, поскольку богатство утратило всю свою ценность и притягательную силу. Землю их возделывали илоты, внося назначенную подать. Один спартанец, находясь в Афинах и услышав, что кого-то осудили за праздность[42] и осужденный возвращается в глубоком унынии, сопровождаемый друзьями, тоже опечаленными и огорченными, просил окружающих показать ему человека, которому свободу вменили в преступление. Вот до какой степени низким и рабским считали они всякий ручной труд, всякие заботы, сопряженные с наживой! Как и следовало ожидать, вместе с монетой исчезли и тяжбы; и

нужда и чрезмерное изобилие покинули Спарту, их место заняли равенство достатка и безмятежность полной простоты нравов. Все свободное от военной службы время спартанцы посвящали хороводам, пирам и празднествам, охоте, гимнасиям и лесхам.

25. Те, кто был моложе тридцати лет, вовсе не ходили на рынок и делали необходимые покупки через родственников и возлюбленных. Впрочем, и для людей постарше считалось зазорным беспрерывно толкаться на рынке, а не проводить бóльшую часть дня в гимнасиях и лесхах[43]. Собираясь там, они чинно беседовали, ни словом не упоминая ни о наживе, ни о торговле – часы текли в похвалах достойным поступкам и порицаниях дурным, похвалах, соединенных с шутками и насмешками, которые неприметно увещали и исправляли. Да и сам Ликург не был чрезмерно суров: по сообщению Сосибия, он воздвиг небольшую статую бога Смеха, желая, чтобы шутка, уместная и своевременная, пришла на пиры и подобные им собрания и стала своего рода приправою к трудам каждого дня.

Одним словом, он приучал сограждан к тому, чтобы они и не хотели и не умели жить врозь, но, подобно пчелам, находились в нерасторжимой связи с обществом, все были тесно сплочены вокруг своего руководителя и целиком принадлежали отечеству, почти что вовсе забывая о себе в порыве воодушевления и любви к славе. Этот образ мыслей можно различить и в некоторых высказываниях спартанцев. Так Педарит, не избранный в число трехсот[44], ушел, сияя и радуясь, что в городе есть триста человек лучших, чем он. Полистратид с товарищами прибыли посольством к полководцам персидского царя; те осведомились, явились ли они по частному делу или от лица государства. "Если все будет ладно – от лица государства, если нет – по частному делу", – ответил Полистратид. К Аргилеониде, матери Брасида, пришли несколько граждан Амфиполя, оказавшиеся в Лакедемоне, и она спросила их, как погиб Брасид и была ли его смерть достойна Спарты. Те стали превозносить покойного и заявили, что второго такого мужа в Спарте нет. "Не говорите так, чужестранцы, – промолвила мать. – Верно, Брасид был достойный человек, но в Лакедемоне есть много еще более замечательных".

26. Как уже говорилось, первых старейшин Ликург назначил из числа тех, кто принимал участие в его замысле. Затем он постановил взамен умерших всякий раз выбирать из граждан, достигших шестидесяти лет, того, кто будет признан самым доблестным. Не было, вероятно, в мире состязания более великого и победы более желанной! И верно, ведь речь шла не о том, кто среди проворных самый проворный или среди сильных самый сильный, но о том, кто среди добрых и мудрых мудрейший и самый лучший, кто в награду за добродетель получит до конца своих дней верховную, – если здесь применимо это слово, – власть в государстве, будет господином над жизнью, честью, короче говоря, над всеми высшими благами. Решение это выносилось следующим образом. Когда народ сходился, особые выборные закрывались в доме по соседству, так чтобы и их никто не видел, и сами они не видели, что происходит снаружи, но только слышали бы голоса собравшихся. Народ и в этом случае, как и во всех прочих, решал дело криком. Соискателей вводили не всех сразу, а по

очереди, в соответствии со жребием, и они молча проходили через Собрание. У сидевших взаперти были таблички, на которых они отмечали силу крика, не зная кому это кричат, но только заключая, что вышел первый, второй, третий, вообще очередной соискатель. Избранным объявлялся тот, кому кричали больше и громче других. С венком на голове он обходил храмы богов. За ним огромной толпою следовали молодые люди, восхваляя и прославляя нового старейшину, и женщины, воспевавшие его доблесть и участь его возглашавшие счастливой. Каждый из близких просил его откушать, говоря, что этим угощением его чествует государство. Закончив обход, он отправлялся к общей трапезе; заведенный порядок ничем не нарушался, не считая того, что старейшина получал вторую долю, но не съедал ее, а откладывал. У дверей стояли его родственницы, после обеда он подзывал ту из них, которую уважал более других, и, вручая ей эту долю, говорил, что отдает награду, которой удостоился сам, после чего остальные женщины, прославляя эту избранницу, провожали ее домой.

27. Не менее замечательны были и законы, касавшиеся погребения. Во-первых, покончив со всяческим суеверием, Ликург не препятствовал хоронить мертвых в самом городе[45] и ставить надгробия близ храмов, чтобы молодые люди, привыкая к их виду, не боялись смерти и не считали себя оскверненными, коснувшись мертвого тела или переступив через могилу. Затем он запретил погребать что бы то ни было вместе с покойником: тело следовало предавать земле обернутым в пурпурный плащ и увитым зеленью оливы. Надписывать на могильном камне имя умершего возбранялось; исключение Ликург сделал лишь для павших на войне и для жриц. Срок траура он установил короткий – одиннадцать дней; на двенадцатый дóлжно было принести жертву Деметре[46] и положить предел скорби. Ликург не терпел безразличия и внутренней расслабленности, необходимые человеческие действия он так или иначе сочетал с утверждением нравственного совершенства и порицанием порока; он наполнил город множеством поучительных примеров, среди которых спартанцы вырастали, с которыми неизбежно сталкивались на каждом шагу и которые, служа образцом для подражания, вели их по пути добра.

По этой же причине он не разрешил выезжать за пределы страны и путешествовать, опасаясь, как бы не завезли в Лакедемон чужие нравы, не стали подражать чужой, неупорядоченной жизни и иному образу правления. Мало того, он изгонял тех, что стекались в Спарту без какой-либо нужды или определенной цели – не потому, как утверждает Фукидид[47], что боялся, как бы они не переняли учрежденный им строй и не выучились доблести, но, скорее, страшась, как бы эти люди сами не превратились в учителей порока. Ведь вместе с чужестранцами неизменно появляются и чужие речи, а новые речи приводят новые суждения, из которых неизбежно рождаются многие чувства и желания, столь же противные существующему государственному строю, сколь неверные звуки – слаженной песне. Поэтому Ликург считал необходимым зорче беречь город от дурных нравов, чем от заразы, которую могут занести извне.

28. Во всем этом нет и следа несправедливости, в которой иные винят законы Ликурга, полагая, будто они вполне достаточно наставляют в мужестве, но

слишком мало – в справедливости. И лишь так называемая криптия, если только и она, как утверждает Аристотель, – Ликургово нововведение, могла внушить некоторым, в том числе и Платону[48], подобное суждение о спартанском государстве и его законодателе. Вот как происходили криптии. Время от времени власти отправляли бродить по окрестностям молодых людей, считавшихся наиболее сообразительными, снабдив их только короткими мечами и самым необходимым запасом продовольствия. Днем они отдыхали, прячась по укромным уголкам, а ночью, покинув свои убежища, умерщвляли всех илотов, каких захватывали на дорогах. Нередко они обходили и поля, убивая самых крепких и сильных илотов. Фукидид[49] в "Пелопоннесской войне" рассказывает, что спартанцы выбрали отличившихся особою храбростью илотов, и те, с венками на голове, словно готовясь получить свободу, посещали храм за храмом, но немного спустя все исчезли, – а было их более двух тысяч, – и ни тогда, ни впоследствии никто не мог сказать, как они погибли. Аристотель особо останавливается на том, что эфоры, принимая власть, первым делом объявляли войну илотам, дабы узаконить убийство последних. И вообще спартанцы обращались с ними грубо и жестоко. Они заставляли илотов пить несмешанное вино, а потом приводили их на общие трапезы, чтобы показать молодежи, что такое опьянение. Им приказывали петь дрянные песни и танцевать смехотворные танцы, запрещая развлечения, подобающие свободному человеку. Даже гораздо позже, во время похода фиванцев в Лаконию, когда захваченным в плен илотам велели спеть что-нибудь из Терпандра, Алкмана или лаконца Спендонта, они отказались, потому что господам-де это не по душе. Итак, тот, кто говорит[50], что в Лакедемоне свободный до конца свободен, а раб до конца порабощен, совершенно верно определил сложившееся положение вещей. Но, по-моему, все эти строгости появились у спартанцев лишь впоследствии, а именно, после большого землетрясения[51], когда, как рассказывают, илоты, выступив вместе с мессенцами, страшно бесчинствовали по всей Лаконии и едва не погубили город. Я, по крайней мере, не могу приписать столь гнусное дело, как криптии, Ликургу, составивши себе понятие о нраве этого человека по той кротости и справедливости, которые в остальном отмечают всю его жизнь и подтверждены свидетельством божества.

29. Когда главнейшие из законов укоренились в обычаях спартанцев и государственный строй достаточно окреп, чтобы впредь сохраняться собственными силами, то, подобно богу у Платона[52], возвеселившемуся при виде возникшего мироздания, впервые пришедшего в движение, Ликург был обрадован и восхищен красотою и величием своего законодательства, пущенного в ход и уже грядущего своим путем, и пожелал обеспечить ему бессмертие, незыблемость в будущем – поскольку это доступно человеческому разумению. Итак, собрав всенародное Собрание, он заявил, что теперь всему сообщена надлежащая мера, что сделанного достаточно для благоденствия и славы государства, но остается еще один вопрос, самый важный и основной, суть которого он откроет согражданам лишь после того, как спросит совета у бога. Пусть-де они неукоснительно придерживаются изданных законов и ничего в них не изменяют, пока он не вернется из Дельф, он же, когда возвратится, выполнит то, что повелит

бог. Все выразили согласие и просили его поскорее отправляться, и, приняв у царей и старейшин, а затем и у прочих граждан присягу в том, что, покуда не вернется Ликург, они останутся верны существующему строю, он уехал в Дельфы. Прибыв к оракулу и принеся богу жертву, Ликург вопросил, хороши ли его законы и достаточны ли для того, чтобы привести город к благоденствию и нравственному совершенству. Бог отвечал, что и законы хороши, и город пребудет на вершине славы, если не изменит Ликургову устройству. Записав прорицание, Ликург отослал его в Спарту, а сам, снова принеся жертву богу и простившись с друзьями и с сыном, решил не освобождать сограждан от их клятвы и для этого добровольно умереть: он достиг возраста, когда можно еще продолжать жизнь, но можно и покинуть ее, тем более что все его замыслы пришли, по-видимому, к счастливому завершению. Он уморил себя голодом, твердо веря, что даже смерть государственного мужа не должна быть бесполезна для государства, что самой кончине его надлежит быть не безвольным подчинением, но нравственным деянием. Для него, рассудил он, после прекраснейших подвигов, которые он свершил, эта смерть будет поистине венцом удачи и счастья, а для сограждан, поклявшихся хранить верность его установлениям, пока он не вернется, – стражем тех благ, которые он доставил им при жизни. И Ликург не ошибся в своих расчетах. Спарта превосходила все греческие города благозаконием и славою на протяжении пятисот лет, пока блюла законы Ликурга, в которых ни один из четырнадцати правивших после него царей, вплоть до Агида, сына Архидама, ничего не изменил. Создание должности эфоров послужило не ослаблению, но упрочению государства: оно лишь на первый взгляд было уступкой народу, на самом же деле – усилило аристократию.

30. В царствование Агида монета впервые проникла в Спарту, а вместе с нею вернулись корыстолюбие и стяжательство, и все по вине Лисандра[53]. Лично он был недоступен власти денег, но исполнил отечество страстью к богатству и заразил роскошью, привезя – в обход законов Ликурга – с войны золото и серебро. Прежде, однако, когда эти законы оставались в силе, Спарта вела жизнь не обычного города, но скорее многоопытного и мудрого мужа, или, говоря еще точнее, подобно тому как Геракл в песнях поэтов обходит вселенную с одною лишь дубиной и шкурою на плечах, карая несправедливых и кровожадных тираннов, так же точно Лакедемон с помощью палки-скиталы[54] и простого плаща главенствовал в Греции, добровольно и охотно ему подчинявшейся, низвергал беззаконную и тиранническую власть, решал споры воюющих, успокаивал мятежников, часто даже щитом не шевельнув, но отправив одного-единственного посла, распоряжениям которого все немедленно повиновались, словно пчелы, при появлении матки дружно собирающиеся и занимающие каждая свое место. Таковы были процветающие в городе благозаконие и справедливость.

Тем более изумляют меня некоторые писатели, утверждающие, будто спартанцы отлично исполняли приказания, но сами приказывать не умели, и с одобрением ссылающиеся на царя Феопомпа, который в ответ на чьи-то слова, что-де Спарту хранит твердая власть царей, сказал: "Нет, вернее, послушание

граждан". Люди недолго слушаются тех, кто не может начальствовать, и повиновение – это искусство, которому учит властелин. Кто хорошо ведет, за тем и идут хорошо, и как мастерство укротителя коней состоит в том, чтобы сделать лошадь кроткой и смирной, так задача царя – внушать покорность, лакедемоняне же внушали остальным не только покорность, но и желание повиноваться. Ну да, ведь у них просили не кораблей, не денег, не гоплитов, а единственно лишь спартанского полководца и, получив, встречали его с почтением и боязнью, как сицилийцы Гилиппа, жители Халкиды – Брасида, а все греческое население Азии – Лисандра, Калликратида и Агесилая. Этих полководцев называли управителями и наставниками народов и властей всей земли, и на государство спартанцев взирали как на дядьку, учителя достойной жизни и мудрого управления. На это, по-видимому, шутливо намекает Стратоник, предлагая закон, по которому афинянам вменяется в обязанность справлять таинства и устраивать шествия, элейцам – быть судьями на играх, поскольку в этих занятиях они не знают себе равных, а ежели те или другие в чем провинятся – сечь лакедемонян[55]. Но это, разумеется, озорная насмешка, не более. А вот Эсхин, последователь Сократа, видя, как хвастаются и чванятся фиванцы своей победою при Левктрах, заметил, что они ничем не отличаются от мальчишек, которые ликуют, вздувши своего дядьку.

31. Впрочем, не это было главною целью Ликурга – он вовсе не стремился поставить свой город во главе огромного множества других, но, полагая, что благоденствие как отдельного человека, так и целого государства является следствием нравственной высоты и внутреннего согласия, все направлял к тому, чтобы спартанцы как можно дольше оставались свободными, ни от кого не зависящими и благоразумными. На тех же основаниях строили свое государство Платон, Диоген, Зенон и вообще все, кто об этом говорил и чьи труды стяжали похвалу. Но после них-то остались одни лишь писания да речи, а Ликург не в писаниях и не в речах, а на деле создал государство, равного которому не было и нет, явивши очам тех, кто не верит в существование истинного мудреца, целый город, преданный философии. Вполне понятно, что он превосходит славою всех греков, которые когда-либо выступали на государственном поприще. Вот почему Аристотель и утверждает, что Ликург не получил в Лакедемоне всего, что причитается ему по праву, хотя почести, оказываемые спартанцами своему законодателю, чрезвычайно велики: ему воздвигнут храм и ежегодно приносятся жертвы, как богу. Рассказывают, что, когда останки Ликурга были перенесены на родину, в гробницу ударила молния. Впоследствии это не выпадало на долю никому из знаменитых людей, кроме Эврипида, умершего и погребенного в Македонии близ Аретусы. С ним одним случилось после смерти то же, что некогда – с самым чистым и самым любезным богам человеком, и в глазах страстных поклонников Эврипида – это великое знамение, служащее оправданием их пылкой приверженности.

Скончался Ликург, по словам некоторых писателей, в Кирре, Аполлофемид сообщает, что незадолго до смерти он прибыл в Элиду, Тимей и Аристоксен – что последние дни его жизни прошли на Крите; Аристоксен пишет, что критяне даже показывают его могилу близ Пергама[56] у большой дороги.

Он оставил, говорят, единственного сына по имени Антиор, который умер бездетным, и род Ликурга прекратился. Но друзья и близкие, чтобы продолжить его труды, учредили общество, которое существовало долгое время, и дни, в которые они собирались, называли "Ликургидами". Аристократ, сын Гиппарха, говорит, что, когда Ликург умер на Крите, те, кто принимал его у себя, сожгли тело и прах развеяли над морем; такова была его просьба, ибо он опасался, как бы, если останки его перевезут в Лакедемон, там не сказали, что, мол, Ликург вернулся и клятва утратила свою силу, и под этим предлогом не внесли бы изменения в созданный им строй.

Вот все, что я хотел рассказать о Ликурге.



НУМА

1. О времени, в которое жил царь Нума, также идут оживленные споры, хотя, казалось бы, существуют точные и полные родословные его потомков. Но некий Клодий в "Исследовании времен" (так, кажется называется его книга) решительно настаивает на том, что первоначальные записи исчезли, когда город был разрушен кельтами, те же, которые показывают ныне, лживы, ибо составлены в угоду некоторым людям, вознамерившимся без всякого на то права протиснуться в древнейшие и самые знатные дома. Говорили, будто Нума был другом Пифагора. В ответ на это одни утверждают, что Нума вообще не получил греческого образования и что, по всей видимости, он либо оказался способен вступить на путь нравственного совершенствования без посторонней помощи, благодаря лишь природной одаренности, либо обязан своим царским воспитанием какому-то варвару, более мудрому, нежели сам Пифагор, другие – что Пифагор жил позже Нумы примерно на пять поколений, с Нумою же сблизился, путешествуя по Италии, и вместе с ним привел в порядок государственные дела Пифагор Спартанский, победитель в беге на Олимпийских играх в шестнадцатую Олимпиаду[1], в третий год которой Нума принял царство. Наставлениями этого Пифагора объясняется то обстоятельство, что к римским обычаям примешалось немало лаконских[2]. Кроме того Нума был родом сабинянин, а, по мнению самих сабинян, они переселенцы из Лакедемона. Точно определить время его жизни трудно, тем более, что срок этот приходится устанавливать по списку олимпийских победителей, который был обнародован элейцем Гиппием в сравнительно позднюю пору и не основан на каких бы то ни было свидетельствах, достойных полного доверия. Мы излагаем те из собранных нами сведений, которые заслуживают внимания, взяв за начало события, соответствующие предмету рассказа.

2. Шел уже тридцать седьмой год существования Рима, и по-прежнему городом правил Ромул. В пятый день[3] месяца (ныне этот день зовется Капратин-

ских нонами) он совершал за городской стеной, подле так называемого Козьего болота, общественное жертвоприношение в присутствии сената и народной толпы. Внезапно погода резко переменилась, над землею нависла туча, засвистел ветер, поднялась буря; толпа в ужасе бросилась бежать и рассеялась, а Ромул исчез, и ни живого, ни мертвого найти его не удалось. Против патрициев возникло тяжкое подозрение, и в народе пополз слух, что они, мол, уже давно тяготились царским единодержавием и, желая взять власть в свои руки, убили царя, который, к тому же, стал с ними более крут и самовластен, чем прежде. Патриции старались рассеять эти подозрения, возводя Ромула в божественное достоинство. "Он не умер, – говорили они, – но удостоился лучшей доли". А Прокул, муж, пользовавшийся уважением сограждан, дал клятву, что видел, как Ромул в доспехах возносился на небо, и слышал его голос, повелевавший впредь именовать его Квирином.

Волнения в городе возобновились в связи с избранием нового царя. Поскольку пришельцы еще не вполне слились с исконными римлянами, то и в народе бушевали распри, и меж патрициями шли споры, рождавшие взаимное недоверие, и хотя все стояли за царскую власть, раздоры вызывал не только вопрос, кому быть царем, но и то, к какому племени должен принадлежать будущий глава государства. Те, что первыми, вместе с Ромулом, заселили город, считали возмутительными домогательства сабинян, которые, получив от них землю и права гражданства, теперь желали владычествовать над своими гостеприимцами. И сабиняне тоже рассуждали справедливо, напоминая, что, когда умер их царь Татий, они не восстали против Ромула, но согласились, чтобы он правил один, и требуя, чтобы на этот раз царь был избран из их среды. Ведь они примкнули к римлянам не как слабейшие к сильнейшим – напротив, своим присоединением они умножили их численность и подняли Рим до положения настоящего города. Вот что было причиною волнений. А чтобы в этих шатких обстоятельствах раздоры не привели государство от безначалия к полной гибели, патриции, которых было сто пятьдесят человек[4], условились, что каждый из них будет по очереди облекаться знаками царского достоинства на шесть ночных и шесть дневных часов, принося установленные жертвы богам и верша суд. Это разделение обеспечивало равные преимущества сенаторам обоих племен и потому было одобрено; вместе с тем частая смена властей лишала народ всяких поводов к зависти, ибо он видел, как в течение одного дня и одной ночи человек превращался из царя в простого гражданина. Такой вид власти римляне называют междуцарствием[5].

3. Как ни умеренно, как ни мало обременительно казалось правление патрициев, все же они не избежали неудовольствия и подозрений в том, что намерены установить олигархию и забрали всю власть, не желая подчиняться царю. Наконец обе стороны сошлись на том, что нового царя выберет одна из них, но зато – из среды противников: это, надеялись они, вернее всего положит конец вражде и соперничеству, ибо избранный будет одинаково расположен и к тем, и к другим, одних ценя за то, что они доставили ему престол, ко вторым питая добрые чувства как к кровным родичам. Сабиняне поспешили предоставить право выбора римлянам, да и последние предпочли сами поставить царя-сабиня-

нина, чем принять римлянина, поставленного противной стороной. Итак, посовещавшись, они называют Нуму Помпилия; он не принадлежал к тем сабинянам, которые в свое время переселились в Рим, но был всем так хорошо известен нравственной своей высотой, что сабиняне встретили это предложение еще охотнее, чем римляне его сделали. Известив народ о состоявшемся решении, совместно отправляют к Нуме послов – первых граждан из обоих племен – просить его приехать и принять власть.

Нума был родом из Кур, знаменитого в Сабинской земле города, по имени которого римляне прозвали себя и соединившихся с ними сабинян "квиритами". Его отец, Помпоний, пользовался уважением сограждан и имел четверых сыновей; Нума был самый младший. Божественным изволением он родился в день, когда Ромул основал Рим, – за одиннадцать дней до майских календ. Нрав его, от природы склонный ко всяческой добродетели, еще более усовершенствовался благодаря воспитанию жизненным бедствиям и философии: Нума не только очистил душу от порицаемых всеми страстей, но отрешился и от насилия, и от корыстолюбия (которые у варваров отнюдь не считаются пороками), отрешился, истинное мужество видя в том, чтобы смирять в себе желания уздою разума. Он изгнал из своего дома роскошь и расточительность, был для каждого согражданина, для каждого чужестранца безукоризненным судьей и советчиком, свой досуг посвящал не удовольствиям и не стяжанию, а служению богам и размышлению об их естестве и могуществе и всем этим приобрел славу столь громкую что Татий, соправитель Ромула в Риме, выдал за него замуж свою единственную дочь Татию. Впрочем, брак не побудил Нуму переселиться к тестю, но, чтобы ходить за престарелым отцом, он остался в Сабинской земле – вместе с Татией: она также предпочла спокойствие частной жизни, которую вел ее муж, почестям и славе в Риме, рядом с отцом. На тринадцатом году после свадьбы она умерла.

4. Тогда Нума, как сообщают, оставил город, полюбил одинокую, скитальческую жизнь под открытым небом и бóльшую часть времени проводил в священных рощах, на лугах, отданных в дар богам, среди пустынных мест. Вот откуда, бесспорно, и слухи о связи с богиней: не в смятении, не в душевной тревоге прервал-де Нума общение с людьми, но вкусив от радостей более возвышенных – удостоившись божественного брака. Говорили, что он, счастливец, разделяет ложе с влюбленной в него богиней Эгерией и ему открылась небесная мудрость. Что все это напоминает древнейшие предания, которые фригийцы часто рассказывали об Аттисе, вифинцы о Геродоте, аркадяне об Эндимионе[6], а иные народы об иных людях, слывших счастливыми и любезными богам, – совершенно очевидно. И, пожалуй, вполне разумно представляя себе бога не конелюбивым и не птицелюбивым, но человеколюбивым, верить, что он охотно общается с самыми лучшими людьми и не отвергает, не гнушается беседы с мужем благочестивым и мудрым. Но чтобы бог или демон находился с человеком в телесной близости, питал склонность к внешней прелести, – в это поверить чрезвычайно трудно. Хотя различие, которое проводят египтяне, полагающие, что женщине доступно соединение с духом божества и следствием этого бывает некое первичное зачатие, но что у мужчины с богией соития и

плотского сношения быть не может, – хотя, повторяю, это различие кажется достаточно убедительным, они упускают из виду, что всякое смешение взаимно. Так или иначе нет ничего несообразного в дружеском расположении божества к человеку и в понимаемой под этим любви, которая состоит в заботе о нравственном совершенстве любимого. А значит, не погрешают против истины те, кто рассказывает о Форбанте, Гиакинфе и Адмете, возлюбленных Аполлона, а равно и об Ипполите Сикионском, коль скоро всякий раз, как Ипполит пускался в плавание из Сикиона в Кирру, бог, говорят, радовался, чувствуя его приближение, и Пифия среди прочих прорицаний неизменно изрекала следующий стих:

Вновь Ипполит мой любимый вступает на волны морские.

Существует предание, что Пиндара[7] и его песни любил Пан. Ради Муз боги оказали посмертные почести Архилоху и Гесиоду. Софокл, говорят, принимал у себя Асклепия, и этот слух подтверждается многими дошедшими до нас свидетельствами, а еще один бог позаботился о его погребении. Если истинность подобных сообщений мы допускаем, вправе ли мы отрицать, что божество являлось и Залевку, Миносу, Зороастру, Нуме, Ликургу – правителям царств и законодателям? Не следует ли, вернее, думать, что общение с ними было важным делом и для богов, которые старались наставить и подвигнуть своих земных друзей к добру, тогда как с поэтами и сочинителями жалобных напевов они если и встречались, то лишь забавы ради. Но если кто судит по иному – "Дорога широка", говоря словами Вакхилида[8]. Ведь и в другом мнении, которое высказывается о Ликурге, Нуме и прочих им подобных мужах, не меньше здравого смысла: подчиняя себе необузданную и вечно чем-нибудь недовольную толпу и внося великие новшества в государственное устройство, они, мол, сообщали своим распоряжениям видимость божеской воли – выдумка, спасительная для тех, кого они вводили в обман.

5. Нуме шел уже сороковой год, когда из Рима прибыли послы звать его на царство. Речи держали Прокул и Велес, одного из которых народ был прежде расположен избрать царем, причем за Прокула стояло племя Ромула, за Велеса – Татия. Оба говорили недолго, в уверенности, что Нума будет счастлив воспользоваться выпавшей ему удачей. Но дело оказалось совсем не таким простым – потребовалось немало слов и просьб, чтобы убедить человека, жившего спокойной и мирной жизнью, отказаться от своих правил и принять власть над городом, рождением своим и ростом обязанным, в конечном счете, войне. В присутствии отца и Марция, одного из своих родственников, Нума отвечал так: "В человеческой жизни любая перемена сопряжена с опасностью. Но у кого есть все необходимое, кому в нынешнем своем положении жаловаться не на что, того лишь безумие может заставить изменить привычным порядкам, пусть даже никакими иными преимуществами они не обладают – они заведомо более надежны, чем всякая неизвестность. К чему, однако, толковать о неизвестности? Что такое царство, ясно показывает судьба Ромула, который сначала прослыл виновником гибели Татия, разделявшего с ним престол, а потом своею смертью навлек подозрения в убийстве на сенаторов. Но Ромула

сенаторы возглашают сыном богов, говорят, что какой-то демон вскормил его и своим сверхъестественным покровительством хранил младенца от бед. Я же и родом смертный, и вскормлен и воспитан людьми, которых вы и сами знаете. Все, что во мне хвалят, чрезвычайно далеко от качеств, которыми должен быть наделен будущий царь, – я имею в виду свою склонность к долгому покою и тихим размышлениям, страстную и врожденную любовь к миру, к чуждым войны занятиям, к людям, которые собираются вместе лишь для того, чтобы поклониться богам и дружески побеседовать, в остальное же время возделывают, каждый в одиночку, поля или пасут скот. Между тем Ромул оставил вам в наследие, римляне, множество войн, возможно для вас и нежеланных, но чтобы дать отпор противнику, государство нуждается в царе горячем и молодом. Впрочем благодаря успехам ваш народ привык к войнам и даже полюбил их, и все знают, что он жаждет расширить свои владения и господствовать над другими народами. Надо мною только посмеются, когда увидят, что я учу служить богам, чтить справедливость и ненавидеть насилие и войну – учу город, который больше нуждается в полководце, чем в царе".

6. Слыша, что он отказывается от царства, римляне, не щадя сил, стали молить его не ввергать их город в новые раздоры и междуусобную войну – ведь он единственный, в чью пользу склоняются мнения обеих враждующих сторон; также и отец с Марцием, когда послы удалились, приступили к Нуме с убеждениями принять великий, свыше ниспосланный дар: "Если ты, довольствуясь тем, что имеешь, не ищешь богатства, если ты никогда не домогался славы, сопряженной с властью и могуществом, владея более драгоценною славой – покоящейся на добродетели, подумай хотя бы о том, что царствовать значит служить богу, который ныне воззвал к твоей справедливости и не даст ей более лежать втуне! Не беги власти, ибо она открывает перед человеком разумным поприще великих и прекрасных деяний, на котором ты пышно почтишь богов и легче и быстрее всего смягчишь души людей, обратишь их к благочестию, употребляя на это влияние государя. Римляне полюбили пришельца Татия и обожествили память Ромула. Кто знает, быть может, этот народ–победитель пресыщен войнами, не хочет больше триумфов и добычи и с нетерпением ждет вождя кроткого, друга права, который даст им благозаконие и мир? Но если даже они охвачены неистовой, всепоглощающей страстью к войне, разве не лучше, взяв в руки поводья, направить их порыв в другую сторону, дабы узы благожелательства и дружбы связали наше отечество и всех вообще сабинян с цветущим и сильным городом?" К этим речам присоединились, как сообщают, добрые знамения, а также настояния сограждан, которые, узнав о посольстве, неотступно просили Нуму принять царство, чтобы в тесном союзе слить римлян и сабинян.

7. Итак, Нума согласился. Принеся жертвы богам, он отправился в Рим. Навстречу ему, в порыве достойной изумления любви к будущему царю, вышли сенат и народ. Звучали славословия женщин, в храмах приносили жертвы, все граждане радовались так, словно не царя получили, а царство. На форуме Спурий Веттий, которому выпал жребий исполнять обязанности царя в те часы, призвал сограждан к голосованию, и Нума был избран единогласно. Ему поднесли знаки царского достоинства, но он просил подождать: пусть прежде его

избрание подтвердит бог, сказал он. Вместе с прорицателями и жрецами он поднялся на Капитолий, который римляне в то время называли Тарпейским холмом. Там первый прорицатель, закутав Нуме лицо, повернул его к югу, а сам стал позади, возложил правую руку ему на голову и, помолившись, принялся наблюдать, поглядывая кругом и ожидая от богов предуказаний в виде полета птиц или иных примет. Тишина, невероятная при таком стечении народа, опустилась на форум; запрокинув головы, все ждали, гадая в душе, каков будет исход дела, пока не явилась благая примета – птицы справа. Лишь тогда Нума надел царское платье и спустился к толпе. Загремели приветственные клики в честь "благочестивейшего из смертных" и "любимца богов", как говорили римляне.

Приняв власть, Нума начал с того, что распустил отряд из трехсот телохранителей, которых Ромул постоянно держал вокруг себя и которых называл "келерами", то есть "проворными", – Нума считал для себя невозможным не доверять тем, кто оказал ему доверие, равно как и царствовать над теми, кто ему не доверяет. Затем к двум жрецам – Юпитера и Марса – он присовокупил третьего – жреца Ромула и назвал его "фламином Квирина". Двое прежних тоже носили имя фламинов – по греческому названию войлочной шляпы[9], которой они покрывали голову. В ту пору, говорят, в латинском языке было больше греческих слов, чем теперь. Например, Юба утверждает, будто жреческие плащи, "лены" [laena], – это наши хлены и будто мальчик, прислуживавший жрецу Юпитера, звался "камиллом" [camillus] – так же, как иные из греков звали Гермеса, имея в виду услуги, которые он оказывает прочим богам.

8. Приняв эти постановления, которые должны были доставить ему благосклонность и любовь народа, Нума тотчас же принялся как бы размягчать этот железный город, чтобы из жестокого и воинственного сделать его более кротким и справедливым. Слова Платона "город лихорадит"[10] как нельзя более подходят к Риму того времени: он был рожден отвагою и отчаянною дерзостью отчаянных и наредкость воинственных людей, которых занесло в Лаций отовсюду; многочисленные походы и частые войны были для него пищей, на которой он вырос и налился силой, и наподобие свай, под ударами и толчками только глубже уходящих в землю, Рим, перенося опасности, становился, казалось, еще крепче. Нума видел, что направить и обратить к миру этот гордый и вспыльчивый народ очень нелегко, и призвал на помощь богов: устраивая и сам возглавляя многочисленные жертвоприношения, шествия и хороводы, в которых торжественная важность сочеталась с приятной и радостной забавой, он ласкою утишал строптивый и воинственный нрав римлян. Иногда же, напротив, он говорил им о бедах, которые уготовало божество, о чудовищных призраках, о грозных голосах и, внушая им суеверный ужас, подавлял и сокрушал их дух.

Отсюда главным образом и возникло мнение, будто мудрость и ученость Нумы идет от его знакомства с Пифагором. Ведь и в философии Пифагора и в государственном устройстве Нумы важное место занимало тесное общение с божеством. Говорят, что и наружный блеск, которым облекся Нума, заимствован у Пифагора. Пифагор, насколько известно, приручил орла, – и птица,

откликаясь на его зов, останавливалась в полете и спускалась на землю, – а на Олимпийских играх, проходя через толпу, показал собравшимся свое золотое бедро. Рассказывают и о других его чудесах и хитрых выдумках. По этому поводу Тимон Флиунтский написал:

Древний хотел Пифагор великим прослыть чародеем;
Души людей завлекал болтовней напыщенно-звонкой.

Нума же вывел на сцену любовь некоей богини или горной нимфы, которая, как мы уже рассказывали, якобы находилась с ним в тайной связи, а также беседы с Музами. Именно Музам приписывал он бóльшую часть своих прорицаний, а одну из них, которую он называл Такитой[11], что значит "молчаливая" или "немая", велел римлянам чтить особо; последнее, по-видимому, доказывает, что он знал и уважал обычай пифагорейского безмолвия.

Распоряжения Нумы касательно статуй богов – родные братья Пифагоровых догм: философ полагал начало всего сущего неощутимым и не воспринимаемым чувствами, не подверженным никаким впечатлениям, а также и невидимым, несотворенным и умопостигаемым, царь запретил римлянам чтить бога в образе человека или животного, и в древности у них не было написанных, ни изваянных подобий божества. На протяжении первых ста семидесяти лет[12], строя храмы и воздвигая священные здания, они не создавали вещественных изображений, считая нечестивым приравнивать высшее низшему и невозможным постичь бога иначе, нежели помышлением. Порядок жертвоприношений полностью следует пифагорейским обрядам: жертвы были бескровны и большей частью состояли из муки, вина и вообще из веществ самых дешевых. Помимо указанного нами выше, те, кто сближает Нуму с Пифагором, пользуются еще иными – привлеченными извне – свидетельствами. Одно из них – то, что римляне даровали Пифагору права гражданства, как сообщает в книге, посвященной Антенору, комик Эпихарм, старинный писатель и приверженец Пифагорова учения. Другое – то, что одного из своих четырех сыновей Нума назвал Мамерком в честь Пифагора. (Говорят, что от последнего получил свое имя патрицианский род Эмилиев: за изящество и прелесть речей царь якобы дал Мамерку ласковое прозвище "Эмилия"[13].) Мы сами неоднократно слышали в Риме, что однажды оракул повелел римлянам воздвигнуть у себя в городе статуи самому мудрому и самому храброму из греков, и тогда-де они поставили на форуме два бронзовых изображения: одно – Алкивиада, другое – Пифагора. Впрочем все это таит в себе множество противоречий, и ввязываться в спор, выступая с обстоятельными опровержениями или же, напротив, высказывая безоговорочное доверие, было бы чистым ребячеством.

9. Далее Нуме приписывают учреждение должности верховных жрецов (римляне зовут их "понтификами") и говорят, что первым их главою был сам царь. Понтификами назвали их либо потому, что они служат *мог*ущественным богам, владыкам, всего сущего, а могущественный по-латыни – "потенс" [potens], либо по мнению других, имя это намекало на воз*мож*ные исключения из правила, ибо законодатель велит жрецам приносить жертвы лишь тогда, когда это возможно, если же имеется какое-либо важное препятствие, не требует от них

повиновения. Однако большинство держится самого смехотворного объяснения: они утверждают, будто этих жрецов называли просто-напросто "мостостроителями"[14] – по жертвам, которые приносят подле моста, каковой обряд считается весьма священным и древним, а мост римляне зовут "понтем" [pons]. Защитники этого взгляда ссылаются на то, что охрана и починка моста входит в обязанности жрецов наравне с соблюдением иных обычаев, древних и нерушимых, ибо поломку деревянного моста римляне считают тяжким, непростительным прегрешением. Говорят, что, следуя какому-то оракулу, мост собирали целиком из дерева и сколотили деревянными гвоздями, вовсе обойдясь без железа. Каменный мост выстроили много позже, при квесторе Эмилии[15]. Впрочем, говоря, что и деревянный мост во времена Нумы еще не существовал и был сооружен лишь в царствование Марция, внука Нумы. Великий понтифик приблизительно соответствует эксегету[16], толкователю воли богов, или, вернее, иерофанту: он надзирает не только над общественными обрядами, но следит и за частными жертвоприношениями, препятствуя нарушению установленных правил и обучая каждого, как ему почтить или умилостивить богов.

Великий понтифик был также стражем священных дев, которых называют весталками. Ведь и посвящение дев-весталок, и весь вообще культ неугасимого огня, который блюдут весталки, также приписывают Нуме, который поручил чистую и нетленную сущность огня заботам тела непорочного и незапятнанного, или, быть может, находил нечто общее между бесплодием пламени и девством. В тех городах Греции, где поддерживается вечный огонь, например в Дельфах и в Афинах, за ним смотрят не девушки, а женщины, по летам уже не способные к браку. Если по какой-либо случайности огонь потухал, – как было, говорят, в Афинах со священным светильником при тиранне Аристионе[17], или в дельфах, когда персы сожгли храм и когда исчез не только огонь, но и самый жертвенник, – его нельзя было зажечь от другого огня, но следовало возродить сызнова от солнечного жара, чистого и ничем не оскверненного. Обыкновенно для этого пользуются зажигательным зеркалом; внутри оно полое и составлено из равнобедренных прямоугольных треугольников так, что все ребра сходятся в одной точке. Когда его держат против солнца, лучи, отражаясь от всех граней, собираются и соединяются в центре, и зеркало, истончив и разредивши самый воздух, быстро воспламеняет наиболее легкие и сухие частицы положенного перед ним топлива, ибо лучи благодаря отражению приобретают естество и жгучую силу огня. Некоторые писатели считают, что единственное занятие дев-весталок – беречь неугасимое пламя, другие думают, что они хранят некие святыни, видеть которые, кроме них, не должен никто. Все, что можно об этом услышать и рассказать, изложено в жизнеописании Камилла[18].

10. Первыми, как сообщают, Нума посвятил в весталки Геганию и Верению, затем – Канулею и Тарпею. Впоследствие Сервий[19] прибавил к четырем еще двух, и это число остается неизменным вплоть до сего дня. Царь назначил священным девам тридцатилетний срок целомудрия: первое десятилетие они учатся тому, что должны делать, второе – делают то, чему выучились, третье – сами учат других. По истечении этого срока им разрешено выходить замуж и жить, как вздумается, сложив с себя жреческий сан. Не многие, однако,

воспользовались этим правом, те же, что воспользовались, не были счастливы, но весь остаток жизни мучились и раскаивались; пример их поверг остальных в суеверный ужас, и они до старости, до самой смерти, твердо блюли обет девства.

Зато Нума дал весталкам значительные и почетные преимущества. Так, им предоставлена возможность писать завещание еще при жизни отца и вообще распоряжаться своими делами без посредства попечителя, наравне с матерями троих детей[20]. Выходят они в сопровождении ликторов, и если по пути случайно встретят осужденного на казнь, приговор в исполнение не приводится; весталке только следует поклясться, что встреча была невольной, неумышленной и ненарочитой. Всякий, кто вступит под носилки, на которых покоится весталка, должен умереть. За провинности великий понтифик сечет девушек розгами, раздевая их в темном и уединенном месте донага и прикрыв лишь тонким полотном. Но потерявшую девство зарывают живьем в землю подле так называемых Коллинских ворот[21]. Там, в пределах города, есть холм, сильно вытянутый в длину (на языке латинян он обозначается словом, соответствующим нашему "насыпь" или "вал"). В склоне холма устраивают подземное помещение небольших размеров с входом сверху; в нем ставят ложе с постелью, горящий светильник и скудный запас необходимых для поддержания жизни продуктов – хлеб, воду в кувшине, молоко, масло: римляне как бы желают снять с себя обвинение в том, что уморили голодом причастницу величайших таинств. Осужденную сажают на носилки, снаружи так тщательно закрытые и забранные ременными переплетами, что даже голос ее невозможно услышать, и несут через форум. Все молча расступаются и следуют за носилками – не произнося ни звука, в глубочайшем унынии. Нет зрелища ужаснее, нет дня, который был бы для Рима мрачнее этого. Наконец носилки у цели. Служители распускают ремни, и глава жрецов, тайно сотворив какие-то молитвы и простерши перед страшным деянием руки к богам, выводит закутанную с головой женщину и ставит ее на лестницу, ведущую в подземный покой, а сам вместе с остальными жрецами обращается вспять. Когда осужденная сойдет вниз, лестницу поднимают и вход заваливают, засыпая яму землею до тех пор, пока поверхность холма окончательно не выровняется. Так карают нарушительницу священного девства.

11. Чтобы хранить неугасимый огонь, Нума, по преданию, воздвиг также храм Весты. Царь выстроил его круглым, воспроизводя, однако, очертания не Земли (ибо не отожествлял Весту с Землей), но всей вселенной[22], в средоточии которой пифагорейцы помещают огонь, называемый или Гестией [Вестой], или же Монадой. Земля, по их учению, не недвижима и не находится в центре небосвода, но вращается вокруг огня и не принадлежит к числу самых высокочтимых составных частей вселенной. Так же, говорят, судил в старости о Земле и Платон: он пришел к мысли, что Земля занимает стороннее положение, тогда как срединное и главенствующее место подобает другому, более совершенному телу.

12. Понтифики разрешают также вопросы, касающиеся погребальных обычаев, ибо Нума научил их не страшиться мертвого тела как чего-то оскверняю-

щего, но воздавать должное и подземным богам, в чье владение переходит важнейшая часть нашего существа, особенно – так называемой Либитине, божеству, надзирающему за похоронами (в ней видят либо Персефону, либо – с еще большим основанием – Афродиту, причем последняя точка зрения принадлежит ученейшим из римлян, вполне разумно соотносящих и рождения и смерти с мощью одной богини). Нума установил продолжительность траура соразмерно возрасту умершего: детей моложе трех лет оплакивать вовсе не полагалось, старше – от трех до десяти – оплакивали столько месяцев, сколько лет прожил ребенок, и это был вообще крайний срок траура, совпадавший с наименьшим сроком вдовства для женщины, потерявшей мужа. Вдова, снова вступавшая в брак до истечения этих десяти месяцев, по законам царя Нумы, приносила в жертву богам стельную корову.

Нума учредил еще множество других жреческих должностей; из них мы упомянем только о двух, в создании которых благочестие царя сказалось особенно ясно, – о салиях и фециалах. Фециалы были стражами мира и свое имя[23], на мой взгляд, получили по самой сути своей деятельности: они старались пресечь раздор с помощью увещательных слов и не позволяли выступить в поход прежде, чем не бывала потеряна всякая надежда на справедливое удовлетворение справедливых требований. Ведь и для греков "мир" – это когда разногласия улаживаются силою слова, а не оружия! Римские фециалы нередко отправлялись к обидчикам и убеждали их образумиться, и только если те упорствовали в своем безрассудстве, фециалы, приглашая богов в свидетели и призвав на себя и на свое отечество множество ужасных проклятий, коль скоро они мстят несправедливо, объявляли войну. Вопреки их воле или без их согласия ни простому воину, ни царю не дозволено было взяться за оружие: командующему следовало сначала получить от них подтверждение, что война справедлива, а лишь затем обдумывать и строить планы. Говорят даже, что пользующееся печальной известностью взятие Рима кельтами было карою за нарушение этих священных правил. Вот как все произошло. Варвары осаждали Клузий, и к ним в лагерь был отправлен послом Фабий Амбуст с наказом заключить перемирие и добиться прекращения осады. Получив неблагоприятный ответ, Фабий счел себя освобожденным от обязанностей посла: с юношеским легкомыслием он выступил на стороне клузийцев и вызвал на бой храбрейшего из варваров. Поединок римлянин выиграл, он сразил противника и снял с него доспехи, но кельты узнали победителя и послали в Рим гонца, обвиняя Фабия в том, что он сражался против них вероломно, вопреки договору и без объявления войны. Тогда фециалы стали убеждать сенат выдать Фабия кельтам, но тот прибег к защите народа и, воспользовавшись расположением к нему толпы, ускользнул от наказания. Немного спустя подступили кельты и разрушили весь Рим, кроме Капитолия. Впрочем, об этом говорится более подробно в жизнеописании Камилла[24].

13. Жрецов-салиев Нума, как сообщают, назначил по следующему поводу. На восьмом году его царствования моровая болезнь, терзавшая Италию, добралась и до Рима. Римляне были в смятении, и вот, рассказывают, что неожиданно с небес в руки царю упал медный щит; по этому случаю царь поведал

согражданам удивительную историю, которую якобы услышал от Эгерии и Муз. Это оружие, утверждал он, явилось во спасение городу, и его надо беречь, сделавши одиннадцать других щитов, совершенно подобных первому формой, размерами и вообще всем внешним видом, чтобы ни один вор не мог узнать "низринутого Зевсом", введенный в заблуждение их сходством. Затем луг, где упал щит, и другие соседние луга следует посвятить Музам (богини часто приходят туда побеседовать с ним, Нумою), а источник, орошающий это место, объявить священным ключом весталок, которые станут ежедневно черпать из него воду для очищения и окропления храма. Говорят, что истинность этого рассказа была засвидетельствована внезапным прекращением болезни. Когда же царь показал мастерам щит и предложил им потягаться, кто лучше достигнет сходства, все отказались от состязания, и только Ветурий Мамурий, один из самых искусных художников, добился такого подобия и такого единообразия, что даже сам Нума не мог отыскать первого щита. Хранителями и стражами щитов царь назначил жрецов-салиев. Салиями – вопреки утверждениям некоторых – они были названы не по имени некоего Салия, самофракийца или мантинейца, впервые научившего людей пляске с оружием, но скорее по самой пляске[25], в которой они каждый год, в марте, обходят город, взявши священные щиты, облекшись в короткий пурпурный хитон, с широким медным поясом на бедрах и медным шлемом на голове, звонко ударяя в щит небольшим мечом. Вся пляска состоит из прыжков, и главное в ней – движения ног; танцоры выполняют изящные вращения, быстрые и частые повороты, обнаруживая столько же легкости, сколько силы. Сами щиты называют "анкилиа" [ancile] – по их форме: они не круглые и не ограничены полукружьями, как пельты[26], но имеют по краю вырез в виде волнистой линии, крайние точки которой близко подходят одна к другой в самой толстой части щита, придавая ему извилистые [ankýlos] очертания. Быть может, однако, "анкилиа" происходит от локтя [ankōn], на котором носят щит, – таково мнение Юбы, желающего возвести это слово к греческому. Но с тем же успехом древнее это название могло указывать и на падение [anékathen] сверху и на исцеление больных, и на прекращение засухи [ákesis] и, наконец, на избавление от напастей [auchmos] – по этой причине афиняне прозвали Диоскуров Анаками[27], – коль скоро действительно следует связывать слово "анкилиа" с греческим языком! Наградою Мамурию, говорят, служит то, что салии всякий раз упоминают о его искусстве в песне, под которую пляшут пирриху. Впрочем, по другим сведениям, они воспевают не Ветурия Мамурия, а "ветерем мемориам" [vetus memoria], то есть "древнее предание".

14. Закончив с учреждением жречества, Нума выстроил подле храма Весты так называемую "Регию" – царский дом и почти все время проводил там, творя священные обряды, наставляя жрецов или вместе с ними размышляя о божественных предметах. На холме Квирина у царя был еще один дом, и римляне до сих пор показывают место, на котором он стоял. Во время торжественных шествий и вообще всяких процессий с участием жрецов впереди выступали глашатаи, повелевая гражданам прекратить работы и отдаться покою. Говорят, что пифагорейцы не разрешают поклоняться и молиться богам между делом, но

требуют, чтобы каждый вышел для этого из дому, соответственно настроивши свой ум; точно так же и Нума полагал, что гражданам не дóлжно ни слышать ни видеть ничто божественное как бы мимоходом или же мельком, а потому пусть оставят все прочие занятия и устремят помыслы к самому важному – почитанию святыни, очистив на это время улицы от криков, скрежета, вздохов и тому подобных звуков, которыми сопровождается тяжкий труд ремесленника. След этого обычая сохранился у римлян до сего дня. Когда консул гадает по птицам или приносит жертву, громко восклицают: "Хок аге!" [Hoc age!], то есть "Делай это!", призывая присутствующих к порядку и вниманию.

О пифагорейском учении напоминают и многие другие предписания Нумы. Как пифагорейцы внушали не садиться на меру для зерна, не разгребать огонь ножом[28], не оборачиваться назад, отправляясь в путешествие, приносить в жертву небесным богам нечетное число животных, а подземным – четное, причем смысл каждого из этих наставлений от толпы утаивался, так и смысл иных правил, идущих от Нумы, остается скрытым. Например: не делать возлияний вином, полученным от необрезанной лозы, не совершать жертвоприношений без муки, молясь богам, поворачиваться, а по окончании молитвы – садиться. Два первых правила, по-видимому, указывают, на то, что возделывание почвы неотъемлемо от благочестия. Поворот во время молитвы воспроизводит, говорят, вращение вселенной. Скорее, однако, поскольку двери храмов обращены к утренней заре и, входя в храм, оказываешься к востоку спиной, молящийся сначала поворачивается лицом к Солнцу, а потом снова к изображению бога, описывая полный круг и привлекая к исполнению своей молитвы обоих этих богов. Впрочем, клянусь Зевсом, тут может быть и намек на египетские колеса[29], и тогда круговое движение знаменует непрочность всех дел и надежд человеческих и призывает, как бы ни повернул бог нашу жизнь, как бы ни распорядился ею, все принимать с любовью. Сидеть после молитвы полагалось, как сообщают, в знак того, что просьбам будет даровано исполнение, а благам, о которых просят, – надежность. Вдобавок, отдых служит границей между действиями, а потому, положив конец одному делу, присаживались перед богами, дабы затем, с их же изволения, приступить к другому. Но возможно, и это согласуется с намерениями законодателя, о которых речь уже была выше: он приучает нас вступать в общение с божеством не между делом, не впопыхах, но лишь тогда, когда у нас есть для этого время и досуг.

15. Воспитание в духе благочестия исполнило город такою покорностью, таким восхищением пред могуществом Нумы, что речи, совершенно несообразные и баснословные, стали приниматься на веру: римляне решили, что для их царя нет ничего невозможного – стоит ему только захотеть. Говорят, что однажды, позвав к себе много народу, он предложил гостям самые дешевые и простые кушанья на весьма неприглядной посуде. Когда обед уже начался, царь вдруг заявил, что к нему пришла богиня, его возлюбленная, и в тот же миг повсюду появились драгоценные кубки, а стол ломился от всевозможных яств и богатой утвари.

Но все превосходит нелепостью рассказ о встрече Нумы с Юпитером. Предание гласит, что на Авентинский холм, который тогда не принадлежал еще к

городу и не был заселен, но изобиловал полноводными ключами и тенистыми рощами, нередко приходили два божества – Пик и Фавн[30]. Их можно было бы уподобить сатирам или панам, но, владея тайнами колдовских снадобий и заклинаний, они бродили по Италии, играя те же шутки, которые греки приписывают дактилам с горы Иды. Нума их поймал, подмешавши вина и меда к воде источника, из которого они обычно пили. Оказавшись в плену, Пик и Фавн многократно изменяли свой облик, совлекая всегдашнюю свою наружность и оборачиваясь непонятными и страшными для взора призраками, но, чувствуя, что царь держит их крепко и что вырваться невозможно, предсказали многие из грядущих событий и научили очищению, которое следует совершать после удара молнии и которое совершают и по сей день с помощью лука, волос и рыбешек. Некоторые утверждают, будто Пик с Фавном не открывали Нуме порядка очищения, но своим волшебством свели с неба Юпитера, а бог в гневе возвестил, что очищение надлежит произвести головами. "Луковичными?" – подхватил Нума. "Нет. Человеческими..." – начал Юпитер. Желая обойти это ужасное распоряжение Нума быстро переспросил: "Волосами?" – "Нет живыми..." – "Рыбешками," – перебил Нума, наученный Эгерией. Тогда Юпитер удалился, смилостивившись, отчего место, где это происходило, было названо Иликием[31]; очищение же совершают в соответствии со словами Нумы.

Эти смехотворные басни свидетельствуют, каково было в те времена отношение людей к религии, созданное силой привычки. Сам Нума, как рассказывают, полагался на богов с уверенностью, поистине неколебимой. Однажды ему сообщили, что приближаются враги. "А я приношу жертву", – откликнулся царь, улыбаясь.

16. По преданию, Нума впервые воздвиг храмы Верности и Термина. Он внушил римлянам, что клятва Верностью – величайшая из всех клятв, и они держатся этого убеждения и посейчас. Термин – божественное олицетворение границы; ему приносят жертвы, общественные и частные, на рубежах полей, ныне – кровавые, но когда-то – бескровные: Нума мудро рассудил, что бог рубежей, страж мира и свидетель справедливости, не должен быть запятнан убийством. По-видимому, вообще лишь Нума впервые провел границы римских владений: Ромул не хотел мерить свою землю, чтобы не признаваться, сколько земли отнял он у других. Ведь рубеж, если его соблюдать, сковывает силу, а если не соблюдать, – уличает в насилии. В самом начале владения Рима были очень невелики, и в дальнейшем бо́льшую их часть Ромул приобрел вооруженной рукой.

Все эти новые приобретения Нума разделил меж неимущими гражданами, дабы уничтожить бедность, неизбежно ведущую к преступлениям, и обратить к земледелию народ, умиротворив его вместе с землею. Нет другого занятия, которое бы столь же быстро внушало страстную привязанность к миру, как труд на земле: он сохраняет воинскую доблесть, потребную для защиты своего добра, но совершенно искореняет воинственность, служащую несправедливости и корысти. Поэтому Нума, видя в земледелии своего рода приворотное средство, которым он потчевал граждан в намерении привить им любовь к миру, и ценя его как путь скорее к добрым нравам, нежели к богатству, разделил землю

на участки, которые назвал "пагами" [pagus], и над каждым поставил надзирателя и стража. Случалось, что он и сам обходил поля, судя о характере того или иного гражданина по его работе, и одним свидетельствовал свое уважение и доверие, а других, нерадивых и беззаботных, бранил и порицал, стараясь образумить.

17. Среди остальных государственных преобразований Нумы наиболее замечательно разделение граждан соответственно их занятиям. Казалось, что в Риме объединены, как мы уже говорили, два народа, но вернее город был расколот надвое и никоим образом не желал слиться воедино, ни (если можно прибегнуть к такому выражению) стереть, зачеркнуть существующие различия и разногласия; между враждебными сторонами шли беспрерывные столкновения и споры, и Нума, рассудив, что, когда хотят смешать твердые и по природе своей плохо поддающиеся смешению тела, их ломают и крошат, ибо малые размеры частиц способствуют взаимному сближению, решил разбить весь народ на множество разрядов, чтобы заставить первоначальное и основное различие исчезнуть, рассеявшись среди менее значительных. Итак, царь создал, соответственно роду занятий, цехи флейтистов, золотых дел мастеров, плотников, красильщиков, сапожников, дубильщиков, медников и гончаров; все же остальные ремесла он свел в один цех. Каждому цеху Нума дал право на подобающие ему собрания и назначил религиозные обряды, впервые изгнав из города то чувство обособленности, которое побуждало одних называть и считать себя сабинянами, других – римлянами, одних – согражданами Татия, других – Ромула.

Хвалят еще поправку к закону, разрешавшему отцам продавать своих сыновей: Нума сделал из него исключение в пользу женатых, если брак был заключен с одобрения и по приказу отца. Царь видел страшную несправедливость в том, что женщина, вышедшая замуж за свободного, вдруг оказывается женою раба.

18. Занимался Нума и движением небесного свода – хотя и не вполне основательно, но и не вовсе без знания дела. При Ромуле в исчислении и чередовании месяцев не соблюдалось никакого порядка: в некоторых месяцах не было и двадцати дней, зато в других – целых тридцать пять, а в иных – и того более. Римляне понятия не имели о различии в обращении луны и солнца, и следили только за тем, чтобы год неизменно состоял из трехсот шестидесяти дней. Нума, высчитав, что лунный год разнится от солнечного на одиннадцать дней и что в первом триста пятьдесят четыре дня, а во втором – триста шестьдесят пять, удвоил эти одиннадцать дней и ввел дополнительный месяц (у римлян – мерцедин[32]), повторявшийся каждые два года и следовавший за февралем; его продолжительность – двадцать два дня. Однако оказалось, что применение этого средства, которое, по мысли Нумы, должно было сгладить указанное различие, впоследствии потребовало еще более решительных поправок[33]. Нума изменил и порядок месяцев. Март, который прежде был первым, он поставил третьим, а первым – январь, занимавший при Ромуле одиннадцатое место, тогда как двенадцатым и последним был тогда февраль, ныне – второй месяц. Многие считают, что январь и февраль вообще прибавлены Нумой, а что сначала римляне обходились десятью месяцами, подобно тому как иные из варваров

обходятся тремя, у греков же аркадяне – четырьмя и акарнанцы – шестью. Египетский год, как сообщают, насчитывал всего один месяц, а впоследствии – четыре. Вот почему египтяне кажутся самым древним народом на земле: считая месяц за год, они вписывают себе в родословные бесконечные множества лет.

19. О том, что у римлян в году было не двенадцать месяцев, а десять, свидетельствует название последнего из них: до сих пор его именуют "десятым". А что первым был март, явствует из порядка месяцев: пятый после марта так и зовется "пятым", шестой – "шестым" и так далее. Между тем, ставя январь и февраль перед мартом, римлянам пришлось означенный выше месяц называть пятым, а числить седьмым. С другой стороны, вполне разумно предполагать, что Ромул посвятил первый месяц Марсу, чьим именем месяц и назван. Второй месяц, апрель, назван в честь Афродиты: в апреле приносят жертвы богине, а в апрельские календы женщины купаются, украсив голову венком из мирта. Некоторые, правда, считают, что слово "апрель" никак не связано с Афродитой, поскольку звук "п" в первом случае не имеет придыхания; но этот месяц, падающий на разгар весны, пускает в рост всходы и молодые побеги – таков же как раз и смысл, заложенный в слове "апрель"[34]. Из следующих месяцев май назван по богине Майе (он посвящен Меркурию), июнь – по Юноне. Впрочем, иные говорят, что эти два месяца получили свои наименования по двум возрастам – старшему и младшему: "майорес" [maior] по-латыни старшие, "юниорес" [iunior] – младшие. Все остальные назывались порядковыми числами, в зависимости от места, которое принадлежало каждому – пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый. Впоследствии пятый был назван июлем в честь Цезаря, победителя Помпея, а шестой августом в честь второго императора именовавшегося Священным. Седьмому и восьмому Домициан дал было свои имена[35], но это новшество продержалось недолго: как только Домициан был убит, они опять стали называться по-прежнему. Лишь два последних всегда сохраняли каждый свое первоначальное название.

Из двух месяцев, прибавленных или переставленных Нумой, февраль – очистительный месяц: таково, во-первых, почти точное значение этого слова[36], а, во-вторых, в феврале приносят жертвы умершим и справляют праздник Луперкалий, во многом близкий обряду очищения. Первый месяц, январь, получил свое имя по богу Янусу. Мне кажется, что Нума лишил первенства март, названный в честь Марса, желая во всем без изъятия гражданскую доблесть поставить выше воинской. Ибо Янус, один из древнейших богов или царей, сторонник государства и общества, по преданию, неузнаваемо изменил дикий, звериный образ жизни, который до того вели люди. Потому его и изображают двуликим, что он придал человеческому существованию новый облик и характер.

20. В Риме Янусу воздвигнут храм с двумя дверями; храм этот называют вратами войны, ибо принято держать его отворенным, пока идет война, и закрывать во время мира. Последнее случалось весьма редко, ибо империя постоянно вела войны, в силу огромных своих размеров непрерывно обороняясь от варварских племен, ее окружающих. Все же храм был заперт при Цезаре Августе после победы над Антонием, а еще раньше – в консульство Марка Атилия[37] и Тита Манлия, однако недолго: его тотчас открыли, потому

что снова вспыхнула война. Но в правление Нумы храм Януса не видели отворенным хотя бы на день – сорок три года подряд он стоял на запоре. Вот с каким тщанием вытоптал Нума повсюду семена войны! Не только римский народ смягчился и облагородился под влиянием справедливости и кротости своего царя, но и в соседних городах, – словно из Рима дохнуло каким-то целительным ветром, – начались перемены: всех охватила жажда законности и мира, желание возделывать землю, растить спокойно детей и чтить богов. По всей Италии справляли праздники и пировали, люди безбоязненно встречались, ходили друг к другу, с удовольствием оказывали друг другу гостеприимство, словно мудрость Нумы была источником, из которого добро и справедливость хлынули во все сердца, поселяя в них ясность и безмятежность, присущие римскому законодателю. Пред тогдашним благоденствием бледнеют, говорят, даже поэтические преувеличения, вроде:

И в железных щитах.
Обвиты ремни
Пауков прилежных работой

или:

Съедены ржавчиной крепкие копья,
Съеден двуострый меч.
Медных труб умолкли призывы;
Сладостный сон
Не покидает ресниц[38].

За все царствование Нумы нам неизвестна ни одна война, ни один мятеж, ни единая попытка к перевороту. Более того – у него не было ни врагов, ни завистников; не было и злоумышленников и заговорщиков, которые бы рвались к власти. Быть может, страх пред богами, которые, казалось, покровительствовали Нуме, быть может, благоговение пред его нравственным совершенством, или, наконец, милость судьбы, зорко хранившей при нем жизнь народа от всякого зла, доставили убедительный пример и обоснование для знаменитого высказывания, которое Платон[39] много позже, отважился сделать о государстве: лишь одно, сказал он, способно дать людям избавление от бедствий – это если вышнею волею философский ум сольется с царскою властью, и, слившись, они помогут добродетели осилить и сломить порок. “Счастлив он (то есть истинный мудрец), счастливы и те, кто слышит речи, текущие из уст мудреца”. Очень скоро в этом случае отпадает потребность в принуждении и угрозах, ибо народ, видя воочию на блистательном и славном примере жизни своего правителя самое добродетель, охотно обращается к здравому смыслу и соответственно преобразует себя для жизни безупречной и счастливой, в дружбе и взаимном согласии, преисполненной справедливости и воздержности – к жизни, в которой и заключена прекраснейшая цель всякого государственного правления. Более всех воистину царь тот, кто способен внушить подданным такие правила и такой образ мыслей. И никто, кажется, не видел этого яснее, чем Нума.

21. Относительно потомства и браков Нумы мнения историков не одинаковы. Одни утверждают, что он был женат только раз, на Татии, и не имел

детей, кроме единственной дочери Помпилии. Вторые приписывают ему кроме Помпилии, еще четырех сыновей – Помпона, Пина, Кальпа и Мамерка, каждый из которых стал-де основателем знатного рода: от Помпона пошли Помпонии, от Пина – Пинарии, от Кальпа – Кальпурнии, от Мамерка – Мамерции; все они поэтому носили прозвище "Рексы", что означает "Цари". Третьи обвиняют вторых в том, что они стараются угодить перечисленным выше домам и строят ложные родословные, выводя их от Нумы; и Помпилия, продолжают эти писатели, родилась не от Татии, а от другой женщины, Лукреции, на которой Нума женился, уже царствуя в Риме. Все, однако, согласны, что Помпилия была замужем за Марцием, сыном того Марция, который убедил Нуму принять царство. Он переселился в Рим вместе с Нумой, был возведен в звание сенатора, а после смерти царя оспаривал у Гостилия престол, но потерпел неудачу и покончил с собой. Его сын Марций, женатый на Помпилии, не покинул Рима; он был отцом Анка Марция, который царствовал после Тулла Гостилия. Анку Марцию исполнилось всего пять лет, когда Нума скончался. Кончина его не была ни скоропостижной, ни неожиданной: по словам Пизона, он угасал постепенно, от дряхлости и длительной, вяло протекавшей болезни. Прожил он немногим более восьмидесяти лет.

22. Насколько завидною была эта жизнь, показывают даже похороны, на которые собрались союзные и дружественные народы с погребальными приношениями и венками; ложе с телом подняли на плечи патриции, следом за ложем двинулись жрецы богов и толпа прочих граждан, в которой было немало женщин и детей. Казалось, будто хоронят не престарелого царя, но будто каждый, с воплем и рыданием, провожает в могилу одного из самых близких себе людей, почившего в расцвете лет. Труп не предавали огню: говорят, таково было распоряжение самого Нумы. Сделали два каменных гроба и погребли их у подножия Яникула; в один заключено было тело, в другой – священные книги, которые Нума написал собственноручно (подобно тому как начертывали свои скрижали греческие законодатели) и, при жизни сообщив жрецам их содержание, во всех подробностях растолковав смысл этих сочинений и научив применять их на деле, велел похоронить вместе с собою, считая неподобающим доверять сохранение тайны безжизненным буквам. Исходя из тех же доводов, говорят, не записывали своего учения и пифагорейцы, но неписаным предавали его памяти достойных. И если трудные, не подлежавшие огласке геометрические исследования поверялись человеку недостойному, божество, по словам пифагорейцев, вещало, что за совершенное преступление и нечестие оно воздаст великим и всеобщим бедствием. А потому вполне извинительны ошибки тех, кто, видя так много сходного, старается сблизить Нуму с Пифагором.

Антиат сообщает, что в гробу было двенадцать жреческих книг и еще двенадцать философских, на греческом языке. Около четырехсот лет спустя[40], в консульство Публия Корнелия и Марка Бебия, проливные дожди размыли могильную насыпь и обнажили гробы. Крышки свалились, и когда заглянули внутрь, один оказался совершенно пуст, без малейшей частицы праха, без всяких остатков мертвого тела, а в другом нашли книги, которые прочел,

говорят, тогдашний претор Петилий, и, прочтя, доложил сенату, что считает противным законам человеческим и божеским доводить их содержание до сведения толпы. Итак, книги отнесли на Комитий и сожгли.

После кончины похвала справедливому и достойному мужу звучит громче прежнего, тогда как зависть переживает умершего не намного, а иной раз даже умирает первой. Но славу Нумы сделала особенно блистательной горькая участь его преемников. Пятеро царей правили после него, и последний потерял власть и состарился в изгнании, из остальных же четырех ни один не умер своей смертью. Троих погубили злоумышленники, а Тулл Гостилий, который сменил Нуму на царском престоле, предал поношению и осмеянию почти все его добрые дела, в особенности благочестие своего предшественника, якобы превратившее римлян в бездельников и трусов, и вновь обратил сограждан к войне; однако он и сам недолго упорствовал в этой ребяческой дерзости, ибо под бременем тяжкой и непонятной болезни впал в противоположную крайность, в суеверие, не имеющее ничего общего с благоговением Нумы перед богами, и – в еще большей мере – заразил суеверными страхами народ, сгорев, как сообщают, от удара молнии.



[*Сопоставление*]

23(1). Теперь, когда изложение событий жизни Нумы и Ликурга закончено и оба жизнеописания находятся у нас перед глазами, нельзя не попытаться, как это ни трудно, свести воедино все черты различия. То, что было между ними общего, сразу же обнаруживается в их поступках: это воздержность, благочестие, искусство государственного мужа, искусство воспитателя, то, наконец, что единственной основой своего законодательства оба полагали волю богов. Но вот первые из благородных действий, в которых один не схож с другим: Нума принял царство, Ликург от него отказался. Первый не искал, но взял, второй владел, но добровольно отдал. Первого, иноземца и частного гражданина, чужой народ поставил над собою владыкой, второй сам превратил себя из царя в простого гражданина. Справедливо приобрести царство – прекрасно, но прекрасно и предпочесть справедливость царству. Первого добродетель прославила настолько, что он был сочтен достойным царства, второго – так возвысила духом, что он пренебрег верховною властью.

Далее, подобно искусным музыкантам, настраивающим лиру, один натянул ослабевшие и потерявшие строй струны лиры спартанской, другой, в Риме, ослабил струны слишком туго натянутые, причем, бóльшие трудности выпали на долю Ликурга. Не панцири снять с себя, не отложить в сторону мечи уговаривал он сограждан, но расстаться с серебром и золотом, выбросить вон доро-

гие покрывала и столы, не справлять празднества и приносить жертвы богам, покончивши с войнами, но, простившись с пирами и попойками, неустанно закалять себя упражнениями с оружием и в палестрах[41]. Вот почему один осуществил свои замыслы с помощью убеждений, окруженный любовью и почетом, а другой подвергался опасностям, был ранен и едва-едва достиг намеченной цели. Ласкова и человечна Муза Нумы, смягчившего необузданный и горячий нрав сограждан и повернувшего их лицом к миру и справедливости. Если же расправы над илотами – дело до крайности жестокое и противозаконное! – нам придется числить среди нововведений Ликурга, то мы должны признать Нуму законодателем, гораздо полнее воплотившим дух эллинства: ведь он даже совершенно бесправным рабам дал вкусить от радостей свободы, приучив хозяев сажать их в Сатурналии[42] рядом с собою за один стол. Да, говорят, что и этот обычай ведет свое начало от Нумы, приглашавшего насладиться плодами годичного труда тех, кто помог их вырастить. Некоторые же видят в этом воспоминание о пресловутом всеобщем равенстве, уцелевшее со времен Сатурна, когда не было ни раба, ни господина, но все считались родичами и пользовались одинаковыми правами.

24(2). В целом, по-видимому, оба одинаково направляли народ к воздержности и довольству тем, что есть. Среди прочих достоинств один ставил выше всего мужество, другой – справедливость. Но, клянусь Зевсом, вполне вероятно, что несходство приемов и средств определено природой или привычками тех людей, которыми им довелось править. В самом деле, и Нума отучил римлян воевать не из трусости, но дабы положить конец насилию и обидам, и Ликург готовил спартанцев к войне не для того, чтобы чинить насилия, но чтобы оградить от них Лакедемон. Устраняя излишнее и восполняя недостающее, оба вынуждены были совершить большие перемены в жизни своих народов.

Что касается разделения граждан, то у Нумы оно всецело соответствует желаниям простонародья и угождает вкусу толпы – народ выглядит пестрою смесью из золотых дел мастеров, флейтистов, сапожников; у Ликурга же оно сурово и аристократично: занятия ремеслами Ликург презрительно и брезгливо поручает рабам и пришельцам, а гражданам оставляет только щит и копье, делая их мастерами войны и слугами Ареса, знающими одну лишь науку и одну лишь заботу – повиноваться начальникам и побеждать врагов. Свободным не разрешалось и наживать богатство – дабы они были совершенно свободны; денежные дела были отданы рабам и илотам, точно так же как прислуживание за обедом и приготовление кушаний. Нума подобных различий не устанавливал; он ограничился тем, что пресек солдатскую алчность, в остальном же обогащению не препятствовал, имущественного неравенства не уничтожил, но и богатству предоставил возрастать неограниченно, а на жестокую бедность, проникавшую в город и усиливавшуюся в нем, не обращал внимания, тогда как следовало сразу, с самого начала, пока различие в состояниях было еще невелико и все жили почти одинаково, воспротивиться корыстолюбию, по примеру Ликурга, и таким образом предупредить пагубные последствия этой страсти, последствия тягчайшие, ставшие семенем и началом многочисленных и самых

грозных бедствий, постигших Рим. Передел земель, произведенный Ликургом, нельзя, по-моему, ставить ему в укор, равно как нельзя укорять Нуму за то, что он подобного передела не произвел. Первому равенство наделов доставило основу для нового государственного устройства в целом, второй, застав землю лишь недавно нарезанной на участки, не имел ни малейшего основания ни затевать передел, ни как-либо изменять границы владений, по всей видимости, еще сохранивших свои первоначальные размеры.

25(3). Хотя общность жен и детей и в Спарте и в Риме разумно и на благо государству изгнала чувство ревности, мысль обоих законодателей совпадала не во всем. Римлянин, полагавший, что у него достаточно детей, мог, вняв просьбам того, у кого детей не было вовсе, уступить ему свою жену[43], обладая правом снова выдать ее замуж, и даже неоднократно. Спартанец разрешал вступать в связь со своею женой тому, кто об этом просил, чтобы та от него понесла, но женщина по-прежнему оставалась в доме мужа и узы законного брака не расторгались. А многие, как уже говорилось выше, сами приглашали и приводили мужчин или юношей, от которых, по их расчетам, могли родиться красивые и удачные дети. В чем же здесь различие? Не в том ли, что Ликурговы порядки предполагают полнейшее равнодушие к супруге и большинству людей принесли бы жгучие тревоги и муки ревности, а порядки Нумы как бы оставляют место стыду и скромности, прикрываются, словно завесою, новым обручением и совместность в браке признают невозможной?

Еще более согласуется с благопристойностью и женской природой учрежденный Нумою надзор над девушками, меж тем как Ликург предоставил им полную, поистине неженскую свободу, что вызвало насмешки поэтов. Спартанок зовут "оголяющими бедра" (таково слово Ивика), говорят, будто они одержимы похотью; так судит о них Эврипид[44], утверждающий, что делят

Они палестру с юношей, и пеплос
Им бедра обнажает на бегах.

И в самом деле, полы девичьего хитона не были сшиты снизу, а потому при ходьбе распахивались и обнажали все бедро. Об этом совершенно ясно сказал Софокл[45] в следующих стихах:

Она без столы; лишь хитоном легким
Едва прикрыто юное бедро
У Гермионы.

Говорят еще, что по той же причине спартанки были дерзки и самонадеянны и мужской свой нрав давали чувствовать прежде всего собственным мужьям, ибо безраздельно властвовали в доме, да и в делах общественных высказывали свое мнение с величайшей свободой. Нума в неприкосновенности сохранил уважение и почет, которыми, при Ромуле окружали римляне своих жен, надеясь, что это поможет им забыть о похищении. Вместе с тем он привил женщинам скромность и застенчивость, лишил их возможности вмешиваться в чужие дела, приучил к трезвости и молчанию, так что вина они не пили вовсе и в отсутствие мужа не говорили даже о самых обыденных вещах. Рассказывают, что когда какая-то женщина выступила на форуме в защиту собственного дела,

сенат послал к оракулу вопросить бога, что предвещает государству это знамение. Немаловажным свидетельством послушания и кротости римлянок служит память о тех, кто этими качествами не отличался. Подобно тому, как наши историки пишут, кто впервые затеял междоусобную распрю, или пошел войною на брата, или убил мать или отца, так римляне упоминают, что первым дал жене развод Спурий Карвилий, а в течение двухсот тридцати лет после основания Рима ничего подобного не случалось, и что впервые поссорилась со своей свекровью Геганией жена Пинария по имени Талия в царствование Тарквиния Гордого. Вот как прекрасно и стройно распорядился законодатель браками!

26(4). Всей направленности воспитания девушек отвечало и время выдачи их замуж. Ликург обручал девушек созревшими и жаждущими брака, дабы соитие, которого требовала уже сама природа, было началом приязни и любви, а не страха и ненависти (как случается в тех случаях, когда, принуждая к супружеству, над природою чинят насилие), а тело достаточно окрепло для вынашивания плода и родовых мук, ибо единственной целью брака у спартанского законодателя было рождение детей. Римлянок же отдавали замуж двенадцати лет и еще моложе, считая, что именно в этом возрасте они приходят к жениху чище, непорочнее и телом и душою. Ясно, что спартанские порядки, пекущиеся о произведении на свет потомства, естественнее, а римские, имеющие в виду согласие между супругами, нравственнее.

Но что до присмотра за детьми, их объединения в отряды, совместного пребывания и обучения, стройности и слаженности их трапез, упражнений и забав, – в этом деле, как показывает пример Ликурга, Нума нисколько не выше самого заурядного законодателя. Ведь он предоставил родителям свободу воспитывать молодых, как кому вздумается или потребуется – захочет ли отец сделать сына землепашцем, корабельным мастером, медником или флейтистом, словно не дóлжно с самого начала внутренне направлять и вести всех единым путем или словно дети – это путешественники, которые сели на корабль по различным надобностям и соображениям и объединяются ради общего блага только в минуты опасности, страшась за собственную жизнь, в остальное же время смотрят каждый в свою сторону.

Вообще законодателей не стоит винить за упущения, причиною коих была недостача знаний или же сил. Но коль скоро мудрец принял царскую власть над народом, лишь недавно возникшим и ни в чем не противящимся его начинаниям, – на что прежде следовало такому мужу обратить свои заботы, как не на воспитание детей и занятия юношей, дабы не в пестроте нравов, не в раздорах вырастали они, но были единодушны, с самого начала вступив на единую стезю добродетели, изваянные и отчеканенные на один лад? Подобный образ действий, помимо всего прочего, способствовал незыблемости законов Ликурга. Страх, внушенный клятвою, стоил бы немногого, если бы Ликург посредством воспитания не внедрил свои законы в сердца детей, если бы преданность существующему государственному строю не усваивалась вместе с пищею и питьем. Вот почему самые главные и основные из его установлений продержались более пятисот лет, наподобие беспримесной, сильной и глубоко

вошедшей в грунт краски. Напротив, то, к чему стремился на государственном поприще Нума – мир и согласие с соседями, – исчезло вместе с ним. Сразу после его кончины обе двери дома, который Нума держал всегда закрытым, точно действительно замкнул в нем укрощенную войну, распахнулись, и вся Италия обагрилась кровью и наполнилась трупами. Даже недолгое время не смогли сохраниться прекрасные и справедливые порядки, которым не хватало связующей силы – воспитания.

“Опомнись! – возразят мне. – Да разве войны не пошли Риму на благо?” На такой вопрос придется отвечать пространно, если ответа ждут люди, благо полагающие в богатстве, роскоши и главенстве, а не в безопасности, спокойствии и соединенном со справедливостью довольстве тем, что имеешь! Во всяком случае, в пользу Ликурга говорит, по-видимому, и то обстоятельство, что римляне, расставшись с порядками Нумы, достигли такого величия, а лакедемоняне, едва лишь преступили заветы Ликурга, из самых могущественных превратились в самих ничтожных, потеряли владычество над Грецией и самое Спарту поставили под угрозу гибели. А в судьбе Нумы поистине велико и божественно то, что призванному на царство чужеземцу удалось изменить все одними убеждениями и увещаниями и править городом, еще раздираемым междоусобиями, не обращаясь ни к оружию, ни к насилью (в отличие от Ликурга, поднявшего знать против народа), но сплотив Рим воедино, благодаря лишь собственной мудрости и справедливости.





СОЛОН И ПОПЛИКОЛА

СОЛОН

1. Грамматик Дидим в своем возражении Асклепиаду относительно таблиц Солона[1], цитирует какого-то Филокла, который, вопреки мнению всех писателей, упоминающих о Солоне, называет его сыном Эвфориона. Все единогласно утверждают, что отцом его был Эксекестид, человек, как они говорят, по состоянию и положению относившийся к средним гражданам, но по происхождению принадлежавший к первому по знатности дому: отдаленным его предком был Кодр. О матери Солона Гераклид Понтийский рассказывает, что она была двоюродной сестрой матери Писистрата. Первоначально между ними была дружба как вследствие родства, так и вследствие даровитости и красоты Писистрата, в которого, как некоторые утверждают, Солон был влюблен. Поэтому, думается мне, когда между ними произошел разрыв на политической почве, их вражда не дошла до жестокой, дикой страсти; между ними сохранилось прежнее чувство взаимных обязанностей, которое поддерживало память и нежность любви: оно

Еще курится – в нем еще живет
Огонь небесный[2].

Что Солон не был равнодушен к красавцам и не имел мужества вступить в борьбу с любовью, "как борец в палестре"[3], это можно видеть из его стихотворений; кроме того, он издал закон, воспрещающий рабу натираться маслом для гимнастических упражнений и любить мальчиков. Он ставил это в число благородных, почтенных занятий, и некоторым образом призывал людей достойных к тому, от чего отстранял недостойных. Говорят, что и Писистрат был влюблен в Харма и поставил статую Эрота в Академии – на том месте, где зажигают огонь при беге со священными факелами[4].

2. Отец Солона, как говорит Гермипп, истратил часть состояния на дела благотворительности разного рода. Хотя у Солона не оказалось бы недостатка в людях, готовых ему помочь, он считал позорным брать у других, когда сам происходил из семьи, привыкшей помогать другим. Поэтому еще в молодости он занялся торговлей. Впрочем, некоторые писатели утверждают, что Солон странствовал скорее для приобретения большего опыта и познаний, чем ради обогащения. Все согласны в том, что он был любителем науки, потому что и в старости говорил:

Стар становлюсь, но всегда многому всюду учусь[5].

К богатству Солон не имел страсти; напротив, он говорит, что равно богат как тот,

...у кого серебра в изобилье,
Золота много, земли и плодородных полей,
Есть и кони и мулы. Но счастлив и тот, кто имеет
Крепкие бедра и грудь, силу и резвость в ногах;
Если судьба ему даст юнца иль жену молодую,
Счастлив он будет, пока сам он и молод и свеж[6].

А в другом месте он говорит:

Быть я богатым хочу, но нечестно владеть не желаю
Этим богатством: поздней час для расплаты придет.

Однако вполне возможно, что честный государственный деятель не стремится к приобретению излишнего, но в то же время не пренебрегает и заботой о предметах необходимых. А в те времена, по выражению Гесиода[7], "никакая работа не была позором", ремесло не вносило различия между людьми, а торговля была даже в почете, потому что она знакомила эллинов с миром варваров, доставляла дружбу с царями и давала разносторонний опыт. Некоторые купцы становились даже основателями больших городов, как, например, Протид, приобретя расположение кельтов, живущих у Родана, основал Массалию. О Фалесе и о математике Гиппократе также рассказывают, что они занимались торговлей; а Платону продажа масла в Египте доставила деньги на его заграничное путешествие.

3. Расточительность Солона, его склонность к изнеженности и несколько легкомысленный, отнюдь не философский характер его стихов, в которых он рассуждает о наслаждениях, – все это, как полагают, было следствием его занятия торговлей: жизнь купца часто подвергает человека большим опасностям, и за это он желает вознаградить себя какими-нибудь радостями и наслаждениями. Но Солон причислял себя скорее к бедным, чем к богатым, как видно из следующих стихов:

Многие низкие люди богаты, а добрый беднеет;
Мы же не будем менять доблесть на денег мешок;
Ведь добродетель всегда у нас остается, а деньги
Этот сегодня имел, завтра получит другой.

К поэзии он сначала, по-видимому, не относился серьезно: она была для него игрой и досужим развлечением; но впоследствии он облекал в стихотворную форму и философские мысли и часто излагал в стихах государственные дела – не с целью увековечить их в памяти истории, но для оправдания своих действий, иногда для увещания, или наставления, или порицания афинян. По некоторым известиям, он попробовал было даже законы издать в виде поэмы; по преданию, начало ее было следующее:

Прежде молитвы свои вознесем владыке Крониду,
Чтобы он этим законам успех дал и добрую славу.

Из нравственной философии он всего более любил гражданскую часть ее, как и большинство тогдашних мудрецов. В науке о природе его познания слишком уж просты и примитивны, как видно из следующих стихов:

Снежные хлопья и град низвергаются с неба из тучи,
Молнии яркой стрела грома рождает раскат.
Море бушует от вихрей; но если его не колеблет
Сила чужая, то гладь в мирном покое лежит.

Вообще, по-видимому, Фалес был тогда единственным ученым, который в своих исследованиях пошел дальше того, что нужно было для житейских потребностей; все остальные[8] получили название мудрецов за свое искусство в государственных делах.

4. Рассказывают, что мудрецы эти сошлись однажды в Дельфах, а потом в Коринфе, где Периандр устроил какое-то пиршество. Но еще больше уважения и славы доставила им история с треножником, который обошел их всех, как по кругу, и который они уступали друг другу с благожелательным соревнованием. Косские рыбаки (так гласит молва) закидывали сеть, и приезжие из Милета купили улов, еще не зная, каков он будет. Оказалось, что они вытащили треножник, который, по преданию, Елена, плывя из Трои, бросила тут, вспомнив какое-то старинное предсказание оракула. Из-за треножника сперва начался спор между приезжими и рыбаками; потом города вмешались в эту ссору, дошедшую до войны; наконец, пифия повелела обеим сторонам отдать треножник мудрейшему. Сперва его послали к Фалесу в Милет: жители Коса добровольно дарили ему одному то, из-за чего они вели войну со всеми милетянами. Фалес объявил, что Биант ученее его, и треножник пришел к нему; от него он был послан еще к другому, как к более мудрому. Потом, совершая круг и пересылаемый от одного к другому, треножник вторично пришел к Фалесу. В конце концов он был привезен из Милета в Фивы и посвящен Аполлону Исменскому. Но Феофраст говорит, что треножник сперва послали в Приену к Бианту, а потом Биант отослал его в Милет к Фалесу; так обойдя всех, он вернулся к Бианту и, наконец, уже был отправлен в Дельфы. Последняя версия более распространена; только одни говорят, что подарок этот был не треножник, а чаша, посланная Крезом, а другие, – что кубок, оставшийся после Бафикла.

5. Есть рассказ о личном свидании и разговоре Солона с Анахарсисом, а также с Фалесом.

Говорят, Анахарсис пришел к Солонову дому в Афинах, постучал и сказал, что он иноземец, пришел заключить с ним союз дружбы и взаимного гостеприимства[9]. Солон отвечал, что лучше заводить дружбу у себя дома. "Так вот, – отвечал Анахарсис, – ты сам-то дома, так и заключи с нами союз дружбы и гостеприимства". Солон пришел в восторг от его находчивости; он принял его радушно, и некоторое время держал у себя, когда сам он уже занимался государственными делами и составлял законы. Узнав об этом, Анахарсис стал смеяться над его работой: он мечтает удержать граждан от преступлений и корыстолюбия писанными законами, которые ничем не отличаются от паутины: как паутина, так и законы, – когда попадаются слабые и бедные, их удержат, а

сильные и богатые вырвутся. На это Солон, говорят, возразил, что и договоры люди соблюдают, когда нарушать их невыгодно ни той ни другой стороне; и законы он так приноравливает к интересам граждан, что покажет всем, насколько лучше поступать честно, чем нарушать законы. Однако результат получился скорее тот, какой предполагал Анахарсис, чем тот, на который надеялся Солон. И Анахарсис, посетив Народное собрание, выражал удивление, что у эллинов говорят мудрецы, а дела решают невежды.

6. Когда Солон пришел к Фалесу в Милет, он удивлялся полному его равнодушию к браку и рождению детей. Фалес на этот раз промолчал, а спустя несколько дней подговорил одного приезжего рассказать, будто он недавно, десять дней назад, приехал из Афин. Солон спросил его, нет ли чего нового в Афинах. Приезжий, подученный Фалесом, сказал: "Ничего, только клянусь Зевсом, были похороны одного молодого человека, и провожал его весь город. Это был, как говорили, сын человека известного, первого в городе по своим нравственным качествам. Его самого не было; говорили, что он уже давно находится за границей". – "Какой несчастный!.. – воскликнул Солон. – А как его называли?" "Я слышал его имя, – отвечал тот, – да не помню; только много было разговоров об его уме и справедливости". Так при каждом ответе страх у Солона все возрастал; наконец, уже в полной тревоге он подсказал приезжему имя и спросил, не называли ли умершего сыном Солона. Тот ответил утвердительно. Тогда Солон стал бить себя по голове, делать и говорить все то, что делают и говорят люди в глубоком несчастии. Фалес, дотронувшись до него и засмеявшись, сказал: "Вот это, Солон, и удерживает меня от брака и рождения детей, что валит с ног и тебя, такого сильного человека. Что же касается этого рассказа, не бойся: это неправда". По свидетельству Гермиппа, так рассказывает Патек, утверждавший, что в нем душа Эзопа.

7. Однако безрассуден и малодушен тот, кто не решается приобретать нужное из боязни потерять его. Ведь в таком случае никто не стал бы любить ни богатства, ни славы, ни знания, если бы они ему достались, из страха их лишиться. Даже высокая доблесть, – самое великое и приятное благо, – как мы видим, исчезают от болезней и отрав. Да и сам Фалес, избегая брака, нисколько не обеспечил себя от страха; иначе пришлось бы ему не иметь также друзей, родных, отечества. Мало того, говорят, что он усыновил сына сестры своей, Кибисфа. Так как в душе человека есть склонность к любви и ей от природы присуща потребность любить, совершенно так же, как в ней есть способность чувствовать, мыслить и помнить, к тем, у кого нет предмета любви, закрадывается в душу и там укрепляется что-нибудь постороннее. Как домом или землей, не имеющими законных наследников, так и этой потребностью любить овладевают вселяющиеся в нее чужие, незаконные дети, слуги; они внедряют в человека не только любовь к ним, но также и заботу и страх за них. Посмотришь иногда, – человек не в меру сурово рассуждает о браке и рождении детей, а потом он же терзается горем, когда болеют или умирают дети от рабынь или наложниц, и у него вырываются малодушные вопли. Даже при смерти собак и лошадей некоторые от печали доходят до такого позорного малодушия, что жизнь становится им не мила. Напротив, другие при потере хороших детей не

испытывают ничего страшного и не делают ничего недостойного, но и потом во всей остальной жизни сохраняют благоразумие. Да, слабость, а не любовь, производит безграничные печали и страхи у людей, не укрепленных разумом против ударов судьбы; у них нет даже способности наслаждаться, когда им дается в руки предмет их желаний, потому что мысль о возможности лишиться его в будущем, заставляет их вечно мучиться, трепетать, опасаться. Нет, не следует мириться с бедностью из-за того, что можешь лишиться денег, с отсутствием друзей – из-за того, что можешь потерять их, с бездетностью – из-за того, что дети могут умереть, а надо вооружиться рассудком, чтобы быть готовым ко всему. Сказанного более чем достаточно для данного случая.

8. Афиняне, утомленные долгой и тяжкой войной с мегарянами из-за Саламина, запретили законом, под страхом смертной казни, вновь в письменной или устной форме предлагать гражданам продолжать борьбу за Саламин. Солона огорчало это позорное положение. Он видел, что многие молодые люди ждут только повода, чтобы начать войну, не решаясь сами начать ее из-за этого закона. Поэтому он притворился сумасшедшим; из его дома по городу распустили слух, что он выказывает признаки умопомешательства. Между тем, он тайно сочинил стихи, выучил их, чтобы говорить их наизусть, и вдруг бросился на площадь с шапочкой на голове[10]. Сбежалась масса народа, Солон, вскочив на камень, с которого говорили глашатаи, пропел стихотворение, которое начинается так:

С вестью я прибыл сюда от желанного всем Саламина,
Стройную песню сложив, здесь, вместо речи, спою.

Это стихотворение носит заглавие "Саламин" и состоит из ста стихов; оно очень изящно. Когда Солон пропел его, друзья его начали хвалить стихи, особенно же настойчиво Писистрат советовал послушаться Солона. Тогда афиняне отменили закон и опять начали войну, а военачальником поставили Солона.

Наиболее распространенное предание об этом событии такое. Солон поехал морем вместе с Писистратом на Колиаду[11]. Там он застал всех женщин приносящими жертву Деметре по древнему обычаю. Он послал на Саламин верного человека, который должен был выдать себя за перебежчика и посоветовать мегарянам, если они хотят захватить афинских женщин из лучших домов, как можно скорее ехать с ним на Колиаду. Мегаряне поверили ему и послали отряд на корабле. Когда Солон увидал, что корабль отчаливает от острова, он велел женщинам уйти прочь, а юношам, еще не имеющим бороды, приказал надеть их платья, головные уборы и обувь, спрятать под платьем кинжалы, играть и плясать у моря, пока неприятели не выйдут на берег и пока афиняне не завладеют кораблем. Между тем, обманутые их видом мегаряне, пристав к берегу, наперебой стали выскакивать из корабля, приняв их за женщин. Ни один из них не спасся; все погибли. А афиняне поплыли на Саламин и овладели им.

9. По другой версии, завоевание Саламина произошло не так. Сначала Соло-

ну дельфийский бог дал следующий оракул:

Первых земли той героев склони ты обильною жертвой,
Тех, кого грудью своей укрывает от нас Асопида[12],
Мертвые, смотрят они в края заходящего солнца.

Солон переплыл ночью на остров и заклал жертвы героям Перифему и Кихрею. Потом он взял с собою из Афин пятьсот добровольцев; перед этим было принято постановление, что, если они займут остров, то будут стоять во главе управления им. Солон выехал с ними на множестве рыбачьих лодок в сопровождении тридцативесельного судна и пристал к Саламину подле мыса, обращенного к Эвбее[13]. До мегарян на Саламине дошел слух об этом, но очень неопределенный. Они в смятении бросились к оружию и отправили корабль для наблюдения за неприятелями. Когда он подошел близко, Солон овладел им и взял мегарян в плен. Затем он велел самым храбрым афинянам сесть на этот корабль и плыть к городу как можно более незаметно. Одновременно он взял с собою остальных афинян и на суше вступил в сражение с мегарянами. Бой еще продолжался, когда бывшие на корабле уже успели овладеть городом.

В пользу этой версии, по-видимому, говорит и следующий обряд. Афинский корабль подплывал к острову сперва в тишине; потом бывшие на нем мчались с громким военным криком; один человек, вооруженный, выскакивал на берег и с криком бежал к мысу Скирадию...* навстречу тем, кто бежал с суши. Поблизости находится храм Эниалия, построенный Солоном в честь его победы над мегарянами. Всех, кто не был убит в этом сражении, он отпустил по договору.

10. Однако мегаряне упорствовали в намерении вернуть себе Саламин; много вреда причиняли они во время этой войны афинянам, и сами терпели от них. Наконец, обе стороны пригласили спартанцев в посредники и судьи. По свидетельству большей части авторов, Солону помог в этом споре авторитет Гомера: говорят, Солон вставил в “Список кораблей” стих и прочел его на суде:

Мощный Аякс Теламонид двенадцать судов саламинских
Вывел и с оными стал, где стояли афинян фаланги[14]

Сами афиняне, впрочем, думают, что это вздор: Солон, говорят они, доказал судьям, что сыновья Аякса, Филей и Эврисак, получили у афинян право гражданства, передали остров им и поселились в Аттике: один в Бравроне, другой в Мелите; в Аттике есть дем, названный по имени Филея, – дем Филаиды, из которого происходил Писистрат.

Желая еще убедительнее опровергнуть мнение мегарян, Солон ссылался на то, что умершие похоронены на Саламине не по обычаю мегарян, а так, как хоронят афиняне: мегаряне обращают тела умерших к востоку, а афиняне – к западу. Однако мегарянин Герей на это возражает, что и мегаряне кладут тела мертвых, обращая их к западу, и, что еще важнее, у каждого афинянина есть своя отдельная могила, а у мегарян по трое или четверо лежат в одной. Но Солону, говорят, помогли и какие-то пифийские оракулы, в которых бог наз-

* В тексте пропуск.

вал Саламин "Ионией"[15]. Дело это разбирали пять спартанских судей: Критолаид, Амомфарет, Гипсихид, Анаксилай и Клеомен.

11. Уже этими своими деяниями Солон приобрел славу и значение. Но еще больше уважения и известности в Элладе доставила ему речь, в которой он высказал мнение о необходимости охранять дельфийский храм, не дозволять жителям Кирры издеваться над оракулом, о необходимости во имя бога оказать помощь дельфийцам. По совету Солона, амфиктионы начали войну, как свидетельствует, кроме других авторов, и Аристотель в своем "Списке победителей на Пифийских играх", где он приписывает инициативу Солону. Однако он не был избран главнокомандующим в этой войне, как, по свидетельству Гермиппа, утверждает Эванф Самосский: об этом не упоминает оратор Эсхин[16], да и в дельфийских документах афинским главнокомандующим назван Алкмеон, а не Солон.

12. Кощунство при подавлении Килонова мятежа[17] уже с давних пор волновало афинское общество. Участников заговора Килона, искавших с мольбой защиты у богини, архонт Мегакл уговорил сойти с Акрополя и предоставить дело решению суда. Они привязали к статуе богини нитку и держались за нее. Но, когда они, сходя с акрополя, поравнялись с храмом Почтенных Богинь, нитка сама собой оборвалась. Мегакл и другие архонты бросились хватать заговорщиков под тем предлогом, что богиня отвергает их мольбу. Кто был вне храма, тех побили камнями, а кто искал прибежища у алтарей, тех закололи; они отпустили лишь тех, кто обращался с мольбой к их женам. С той поры этих убийц стали называть "проклятыми"; их все ненавидели. Оставшиеся в живых сообщники Килона опять вошли в силу и постоянно враждовали с партией Мегакла. В описываемое время этот раздор достиг высшей точки, и народ разделился на два лагеря. Солон, уже пользовавшийся тогда большой известностью, вместе с знатнейшими гражданами выступил посредником между ними; просьбами и убеждениями он уговорил так называемых "проклятых" подвергнуться суду трехсот знатнейших граждан. Обвинителем выступил Мирон из Флии. Они были осуждены; остававшиеся в живых были изгнаны, а трупы умерших были вырыты и выброшены за пределы страны.

Вследствие этих смут и одновременного нападения мегарян афиняне потеряли Нисею и опять были вытеснены из Саламина. Населением овладел суеверный страх; являлись привидения; по заявлению гадателей, жертвы указывали, что кощунства и осквернения требуют очищения. Ввиду этого по приглашению афинян приехал с Крита Эпименид из Феста, которого те, кто не включает в число семи мудрецов Периандра, считают седьмым из них. Его считали любимцем богов, знатоком науки о божестве, воспринимаемой путем вдохновения и таинств; поэтому современники называли его сыном нимфы Бласты и новым куретом[18]. По прибытии в Афины он подружился с Солоном, во многом ему тайно помогал и проложил путь для его законодательства. Он упростил религиозные обряды, смягчил выражение скорби по умершим, введя жертвоприношения непосредственно при похоронах и отменив грубые, варварские обычаи, которые соблюдались большинством женщин. Но самое главное, умилостивительными жертвами, очищениями, сооружением святынь

он очистил и освятил город и тем самым сделал граждан послушными голосу справедливости и более склонными к единодушию. Говорят, однажды, увидав Мунихию[19], он долго смотрел на нее и сказал присутствовавшим: "Как слеп человек по отношению к будущему! Если бы афиняне предвидели, сколько горя причинит это место государству, они своими собственными зубами выели бы его!" Подобную догадку, говорят, высказал также Фалес. Он велел похоронить себя в заброшенном месте Милетской области и предсказал, что некогда здесь будет форум милетян. Эпименид привел в восторг всех афинян: ему предлагали много денег и великие почести; но он ничего не принял, – попросил только ветку от священной маслины[20] и с нею уехал.

13. Когда Килонова смута кончилась и "проклятые", как сказано выше, уже ушли из Аттики, у афинян возобновился старый спор о государственном строе: население разделилось на несколько партий по числу различных территорий в Аттике. Диакрии более всех были сторонниками демократии; главными сторонниками олигархии были педиэи; третьи, паралы[21], желали какого-то среднего, смешанного государственного строя, и не давали ни той ни другой партии взять верх. Поскольку неравенство между бедными и богатыми дошло тогда, так сказать, до высшей точки, государство находилось в чрезвычайно опасном положении: казалось, оно сможет устоять, а смуты прекратятся только в том случае, если возникнет тирания. Весь простой народ был в долгу у богатых: одни обрабатывали землю, платя богатым шестую часть урожая; их называли "гектеморами" и "фетами"[22]; другие брали у богатых в долг деньги под залог тела; их заимодавцы имели право обратить в рабство; при этом одни оставались рабами на родине, других продавали на чужбину. Многие вынуждены были продавать даже собственных детей (никакой закон не воспрещал этого) и бежать из отечества из-за жестокости заимодавцев. Но огромное большинство, и к тому же люди большой физической силы, собирались и уговаривали друг друга не оставаться равнодушными зрителями, а выбрать себе одного вожака, надежного человека и освободить должников, пропустивших срок уплаты, а землю переделить и совершенно изменить государственный строй.

14. Тогда наиболее рассудительные люди в Афинах, видя, что Солон, – пожалуй, единственный человек, за которым нет никакой вины, который не соучаствует в преступлениях богатых и в то же время не угнетен нуждою, как бедные, стали просить его взять в свои руки государственные дела и положить конец раздорам. Впрочем, Фаний Лесбосский рассказывает, что сам Солон для спасения отечества прибегнул к обману обеих сторон: неимущим он по секрету обещал раздел земли, а людям богатым – обеспечение долговых обязательств. Но, по словам самого Солона, сперва он взял на себя управление государственными делами с некоторым колебанием: боялся корыстолюбия одних и наглости других. После Филомброта его выбрали архонтом, а вместе с тем посредником и законодателем. Все приняли его с удовольствием: богатые – как человека зажиточного, а бедные – как честного. Говорят, еще до этого в народе ходило его крылатое слово, что равноправие войны не производит, а оно нравилось как состоятельным людям, так и неимущим: первые ожидали равноправия в меру знатности и доблести, вторые – равноправия по мере и числу.

Ввиду этого обе стороны были одушевлены большими надеждами; руководители их предлагали Солону установить тираннию[23], убеждали его взяться за государственные дела с большей решительностью, когда власть будет у него в руках. Равным образом, многие не примыкавшие ни к одной из сторон граждане, видя непреодолимую трудность проведения реформ на основе только здравого рассудка и закона, не возражали против вручения верховной власти одному лицу, отличающемуся честностью и рассудительностью. По свидетельству некоторых авторов, Солону был дан в Дельфах оракул такого содержания:

Смело средину заняв корабля, управляй им спокойно.
Верных помощников в том ты найдешь среди многих афинян.

Особенно осуждали Солона друзья его за то, что он боится "единовластия" только из-за его названия, как будто оно при высоких нравственных качествах лица, получившего его, не могло в скором времени превратиться во власть басилевса, как будто не бывало раньше единовластия, когда в прежнее время эвбейцы выбрали тиранном Тиннонда, а теперь митиленцы – Питтака.

Однако никакие уговоры не могли поколебать его убеждений; друзьям он сказал, как говорят, что тирания – прекрасное местечко, только выхода из него нет; а Фоку он пишет в стихах:

...Если землю пощадил
Я родную и тиранна власть суровую не взял,
То свое, тем самым, имя не покрыл позором я
И мне нечего стыдиться: так скорее всех людей
Я склоню к себе...

Как видно из этого, Солон еще и до начала своей законодательной деятельности пользовался большой славой. По поводу многочисленных насмешек на его счет за то, что он уклонился от тираннии, Солон пишет:

Нет, ни опытным, ни мудрым не был никогда Солон:
Божество ему давало много благ, но он не взял,
Радуясь, он сеть закинул, только вытащить не смог,
Помутился его разум, был он мужества лишен.
А вот я, чтоб только властью и богатством завладеть
И тиранном стать в Афинах на один всего денек,
Дал содрать с себя бы шкуру и весь род мой погубить.

15. Так, по его изображению, говорит о нем невежественная толпа. Хотя он отказался от тираннии, однако во время своего правления не проявлял особенной мягкости и слабости, не делал уступок лицам влиятельным и в законодательной деятельности не старался угодить тем, кто его избрал. Там, где дело обстояло вполне хорошо, он не применял врачевания и не вводил ничего нового, из опасения, что "если в государстве перевернуть все вверх дном, то у него не хватит сил поставить все на место" и упорядочить наилучшим образом. Он применял лишь такие меры, которые, по его расчету, можно было провести путем убеждения, или такие, которые при проведении их в принудительном

порядке не должны были встретить сопротивления. По этому поводу он и сам говорит:

Я сочетал с законом принуждение!

Вот почему впоследствии, когда его спросили, самые ли лучшие законы он дал афинянам, он ответил: "Да, самые лучшие из тех, какие они могли принять".

По замечанию новых писателей, афиняне вежливо называют пристойными, смягчающими смысл именами некоторые предметы, чтобы прикрыть их нежелательный характер: например, распутных женщин называют приятельницами, налоги – взносами, гарнизоны в городах – охраною, тюрьму – жилищем. Солон, думается мне, был первый, который употребил эту уловку, назвав уничтожение долгов "сисахфией"[24].

Первым актом его государственной деятельности был закон, в силу которого существовавшие долги были прощены и на будущее время запрещалось давать деньги в долг "под залог тела". Впрочем, по свидетельству некоторых авторов, в том числе Андротиона, бедные удовольствовались тем, что Солон облегчил их положение не уничтожением долгов, а уменьшением процентов, и сисахфией называли этот благодетельный закон и одновременное с ним увеличение мер и возвышение ценности денег. Так, из мины, содержавшей прежде семьдесят три драхмы, он сделал сто драхм; таким образом, должники уплачивали[25] по числу ту же сумму, но по стоимости меньшую; через это платившие получали большую пользу, а получавшие не терпели никакого убытка.

Но большинство авторов утверждают, что сисахфия состояла в уничтожении всех долговых обязательств, и стихотворения Солона находятся в большем согласии с этим свидетельством. Солон с гордостью говорит в них, что с заложенной раньше земли он

С земли камней премного закладных убрал,
Свободной стала прежде в рабстве бывшая,

и что из числа закабаленных за долги граждан одних он вернул с чужбины,

...уж аттическую речь
Забывших, словно странствовали много лет;
А тех, кто дома рабства тяжкого позор
Переносил,

он сделал свободными.

Говорят, при издании этого закона, с ним произошел в высшей степени неприятный случай. Когда он принял решение об уничтожении долгов и искал соответствующего способа выражения и подходящего предисловия, он сообщил своим ближайшим друзьям – Конону, Клинию и Гиппонику, которым особенно доверял, что трогать земельные владения он не думает, но долги решил уничтожить. Они тотчас же воспользовались этими сведениями: до издания закона заняли у богатых людей большие суммы и скупили много земли. Потом, по обнародовании закона купленную землю они использовали, а деньги кредиторам не отдали. Этим они навлекли на Солона тяжелые обвинения и нарекания: говорили, что он не жертва, а участник обмана. Однако это обвинение скоро

было рассеяно: оказалось, что он дал взаймы пять талантов и первый отказался от них на основании своего закона. Некоторые авторы, в том числе Полизел Родосский, говорят о пятнадцати талантах. А этих друзей Солона постоянно называли "хреокопидами"[26].

16. Солон не угодил ни той ни другой стороне: богатых он озлобил уничтожением долговых обязательств, а бедных – еще больше – тем, что не произвел передела земли, на который они надеялись, и, по примеру Ликурга, не установил полного равенства жизненных условий. Но Ликург был потомком Геракла в одиннадцатом колене, был царем в Спарте много лет, пользовался большим уважением, имел друзей и власть, которая отлично служила ему в исполнении задуманных им перемен в государственном строе; он действовал больше насильственными мерами, чем убеждением, так что ему даже выбили глаз. Таким путем он осуществил реформу, самую важную для блага отечества и единодушия граждан, – чтобы в государстве не было ни бедных, ни богатых. Солон своим государственным устройством не мог достигнуть этой цели, потому что он был человеком из народа и среднего состояния. Однако он сделал все, что мог, в пределах бывшей у него власти, руководясь только желанием иметь также и доверие сограждан.

Итак, он навлек на себя ненависть большинства граждан, которые ожидали от него другого; он сам говорит, что они

Все когда-то ликовали, а теперь меня всегда
Злобным взором провожают, словно я их злейший враг[27].

А между тем, говорит он, если бы кто другой забрал ту же власть, тот

Не дал бы ни за что народу мирно жить,
Пока всех сливок сам не снял бы с молока.

Впрочем, афиняне скоро поняли пользу этой меры и, оставив свой ропот, устроили общее жертвоприношение, которое назвали сиеахфией, а Солона назначили исправителем государственного строя и законодателем. Они предоставили ему на усмотрение все без исключения, – государственные должности, народные собрания, суды, советы, определение ценза для каждого из этих учреждений, числа членов и срока их деятельности; дали ему право отменять или сохранять все, что он найдет нужным, из существующих, сложившихся порядков.

17. Итак, Солон прежде всего отменил все законы Драконта, кроме законов об убийстве; он сделал это ввиду жесткости их и строгости наказаний: почти за все преступления было назначено одно наказание – смертная казнь; таким образом, и осужденные за праздность подвергались смертной казни, и укравшие овощи или плоды несли то же наказание, как и святотатцы и человекоубийцы. Поэтому впоследствии славилось выражение Демада, что Драконт написал законы не чернилами, а кровью. Когда Драконта спросили, почему он за бóльшую часть преступлений назначил смертную казнь, он, как говорят, отвечал, что мелкие преступления, по его мнению, заслуживают этого наказания, а для крупных он не нашел большего.

18. Во-вторых, желая оставить все высшие должности за богатыми, как было и прежде, а к прочим должностям, в исполнении которых простой народ раньше не участвовал, допустить и его, Солон ввел оценку имущества граждан. Так, тех, кто производил в совокупности пятьсот мер продуктов, как сухих, так и жидких, он поставил первыми и назвал их "пентакосиомедимнами"[28], вторыми поставил тех, кто мог содержать лошадь или производить триста мер; этих называли "принадлежащими к всадникам"; "зевгитами" были названы люди третьего ценза, у которых было двести мер и тех и других продуктов вместе. Все остальные назывались "фетами"; им он не позволил исполнять никакой должности; они участвовали в управлении лишь тем, что могли присутствовать в народном собрании и быть судьями. Последнее казалось в начале ничего не значащим правом, но впоследствии стало в высшей степени важным, потому что бóльшая часть важных дел попадала к судьям. Даже на приговоры по тем делам, решение которых Солон предоставил должностным лицам, он позволил также апеллировать в суд. Говорят, даже некоторой неясностью и многочисленными противоречиями в тексте законов Солон возвысил значение судов: благодаря этому, когда предмет спора не мог быть решен на основании законов, приходилось всегда иметь надобность в судьях и всякое спорное дело вести перед ними, так как они были некоторым образом господами над законами. Об этом их авторитете Солон сам говорит в похвалу себе:

Власть даровал я народу в той мере, в какой он нуждался,
Чести его не лишил, но и не дал лишних прав.
Также о тех позаботился я, кто богатством и силой
Всех превзошел, – чтобы их не опозорил никто.
Встал я меж тех и других, простерев мощный щит свой над ними,
И запретил побеждать несправедливо других.

Считая нужным, однако, еще больше помочь простому народу, он позволил всякому гражданину выступать в защиту потерпевшего и требовать наказания преступника. Если кого-нибудь били, производили над ним насилие, причиняли ему вред, всякий, кто мог или хотел, имел право жаловаться на преступника и преследовать его судом: законодатель правильно поступал, приучая граждан сочувствовать и соболезновать друг другу и быть как бы членами единого тела. Есть упоминание об одном ответе Солона, имеющем смысл, одинаковый с этим законом. Когда его, по-видимому, кто-то спросил, какое государство самое благоустроенное, он отвечал: "То, в котором не потерпевшие обиды преследуют судом и наказывают обидчиков не менее, чем потерпевшие".

19. Солон составил совет Ареопага из ежегодно сменяющихся архонтов[29], он и сам был членом его как бывший архонт. Но, видя в народе дерзкие замыслы и заносчивость, порожденные уничтожением долгов, он учредил второй совет, выбрав в него по сто человек от каждой из четырех фил. Им он поручил предварительно, раньше народа, обсуждать дела и не допускать внесения ни одного дела в Народное собрание без предварительного обсуждения. А "верхнему совету" он предоставил надзор за всем и охрану законов: он рассчитывал, что государство, стоящее на двух советах, как на якорях, меньше подвержено качке

и доставит больше спокойствия народу. По свидетельству большей части писателей, Ареопаг, как сказано выше, учредил Солон; в пользу их мнения говорит, по-видимому, особенно то, что Драконт нигде не упоминает об ареопагитах, и даже слова этого у него нет; говоря о делах, касающихся убийства, он всегда обращается к "эфетам"[30]. Однако на тринадцатой таблице Солона в восьмом законе сказано буквально следующее: "Из числа лиц, лишенных гражданских прав, все те, кто был лишен их раньше, чем Солон стал архонтом, должны быть восстановлены в правах, за исключением тех, которые, будучи осуждены царями[31] в ареопаге, или у эфетов, или в пританее[32] за убийство отдельных лиц, или за массовые убийства во время смуты, или за стремление к тирании, находились в изгнании во время обнародования этого закона". Этот закон, наоборот, показывает, что Ареопаг существовал до Солонова архонтства и законодательства. В самом деле, кто же были эти осужденные в Ареопаге до Солона, если Солон первый дал Ареопагу право судить? Правда, может быть, в тексте есть какая-то неясность или пропуск, так что по смыслу закона, лица, уже осужденные во время опубликования этого закона за преступления, подсудные теперь ареопагитам, эфетам и пританам, оставались лишенными гражданских прав, тогда как все остальные восстанавливались в правах. Над этим вопросом ты подумай сам.

20. Из остальных законов Солона особенно характерен и странен закон, требующий отнятия гражданских прав у гражданина, во время междоусобия не примкнувшего ни к той, ни к другой партии. Но Солон, по-видимому, хочет, чтобы гражданин не относился равнодушно и безучастно к общему делу, оградив от опасности свое состояние и хвастаясь тем, что он не участвовал в горе и бедствиях отечества; он, напротив, хочет, чтобы всякий гражданин сейчас же стал на сторону партии, защищающей доброе, правое дело, делил с нею опасности, помогал ей, а не дожидался без всякого риска, кто победит.

Нелепым и смешным кажется закон, позволяющий богатой сироте, в случае неспособности ее мужа, (который в силу закона выступает ее опекуном) к брачному сожительству, вступить в связь с кем-либо из ближайших родственников мужа. Некоторые находят, что и этот закон установлен правильно: а именно, против мужчин, не способных к брачному сожительству, но женящихся на богатых сиротах из-за денег и на основании закона производящих насилие над природой. Мужчина, видя, что такая жена отдается, кому хочет, или откажется от брака с нею, или, оставаясь в браке, будет терпеть позор, неся наказание за свою жадность и наглость. Хорошо еще и то, что богатой сироте было дано право выбирать себе любовником не всякого, а только одного из родственников мужа, чтобы ребенок был близок по крови ее мужу и происходил из одного с ним рода[33].

Сюда же относится и закон, по которому невесте перед тем, как запереть ее с женихом, давали поесть айвы, а также и тот, что муж богатой сироты должен иметь свидание с нею по крайней мере три раза в месяц. Если даже и не родятся от этого дети, то все-таки это со стороны мужа по отношению к целомудренной жене есть знак уважения и любви; это рассеивает многие неудовольствия,

постоянно накопляющиеся, и не дает ей совершенно охладеть к мужу из-за ссор с ним.

Что касается других браков, то Солон уничтожил обычай давать приданое и разрешил невесте приносить с собою только три гиматия и вещи из домашней обстановки небольшой ценности – больше ничего. По его мысли, брак не должен быть каким-то доходным предприятием или куплей-продажей; сожительство мужа с женой должно иметь целью рождение детей, радость, любовь.

Когда мать Дионисия[34] просила его выдать ее замуж за одного гражданина, он ответил ей, что законы государства он ниспровергнул как тиранн, но законы природы насиловать не может, устраивая браки, несоответствующие возрасту. А в свободных государствах такое безобразие нетерпимо: нельзя допускать союзов запоздалых, безрадостных, не выполняющих дела и цели брака. Нет, старику, который женится на молодой, разумный правитель или законодатель сказал бы то, что сказано Филоктету: “Как раз время тебе жениться, несчастный!”[35] Точно так же, найдя юношу в спальне богатой старухи, который от любовных отношений с нею жиреет, как куропатка, он заставит его перейти к девушке, нуждающейся в муже. Но довольно об этом!

21. Хвалят также Солонов закон, запрещающий дурно говорить об умершем. И действительно, благочестие требует считать умерших священными, справедливость – не касаться тех, кого уже нет, гражданская умеренность – не враждовать вечно. Бранить живого Солон запретил в храмах, судебных и правительственных зданиях, равно как и во время зрелищ; за нарушение этого закона он назначил штраф в три драхмы в пользу оскорбленного лица и еще два в пользу казны. Нигде не сдерживать гнев – это признак человека невоспитанного и необузданного; везде сдерживать – трудно, а для некоторых и невозможно. Поэтому законодатель при составлении закона должен иметь в виду то, что возможно для человека, если он хочет наказывать малое число виновных с пользой, а не многих – без пользы.

Солон прославился также законом о завещаниях. До него не было позволено делать завещания; деньги и дом умершего должны были оставаться в его роде; а Солон разрешил тем, кто не имел детей, отказывать свое состояние, кому кто хочет, отдавая преимущество дружбе перед родством, любви перед принуждением, и сделал имущество действительной собственностью владельца. Но, с другой стороны, он допустил завещания не во всех случаях, а лишь в тех, когда завещатель не находился под влиянием болезни или волшебного зелья, не был в заключении и вообще не был вынужден какой-либо необходимостью или, наконец, не подпал под влияние какой-либо женщины. Солон вполне правильно считал, что между убеждением, ведущим ко вреду, и принуждением нет никакой разницы, и ставил наравне обман и насилие, удовольствие и страдание, потому что все это одинаково может лишить человека рассудка.

Также и относительно выезда женщин из города, их траурных одежд, их праздников Солон издал закон, запрещающий беспорядок и неумеренность. Он разрешил женщинам при выезде из города брать с собою не больше трех гиматиев, пищи или питья не больше, чем на обол, иметь корзинку не больше локтя, отправляться ночью в дорогу только в повозке с фонарем впереди.

Далее, он запретил женщинам царапать себе лицо, бить себя в грудь, употреблять сочиненные причитания, провожать с воплями постороннего им покойника. Он не позволил приносить вола в жертву покойнику, класть с ним больше трех гиматиев, ходить на чужие могилы, кроме как в день похорон. Бóльшая часть таких запрещений есть и в наших законах[36], в них прибавлена еще статья о том, чтобы нарушителей таких постановлений наказывали гинекономы[37] как людей, уподобляющихся женщинам и поддающихся страстному чувству скорби, недостойному мужчины и заслуживающему порицания.

22. Солон заметил, что Афины наполняются людьми, постоянно со всех сторон стекающимися в Аттику, ввиду безопасности жизни в ней, а между тем бóльшая часть ее территории бедна и неплодородна, и купцы, ведущие морскую торговлю, ничего не привозят тем, которые ничего не могут дать в обмен. Поэтому Солон направил сограждан к занятию ремеслами и издал закон, по которому сын не обязан был содержать отца, не отдавшего его в учение ремеслу.

Что касается Ликурга, то он правил городом, очищенным от толпы иностранцев, и владел землею, которой, по выражению Эврипида[38], "для многих было много, да и для вдвое большего числа слишком много". Но, что всего важнее, Спарта была окружена массой илотов, которых лучше было не оставлять в праздности, а угнетать и смирять постоянной работой. Поэтому Ликургу было легко избавить граждан от трудовых ремесленных занятий и держать их постоянно под оружием, чтобы они изучали только это искусство и упражнялись в нем. Между тем, Солон приноравливал законы к окружающим обстоятельствам, а не обстоятельства к законам, и, видя, что страна по своим естественным свойствам едва-едва удовлетворяет потребностям земледельческого населения, а ничего не делающую праздную толпу не в состоянии кормить, внушил уважение к ремеслам и вменил в обязанность Ареопагу наблюдать, на какие средства живет каждый гражданин, и наказывать праздных.

Еще строже закон, по которому дети, рожденные от гетеры, тоже не обязаны были содержать отцов, как свидетельствует Гераклид Понтийский. И действительно, кто не обращает внимания на нравственную сторону в союзе с женщиной, тот берет себе женщину не ради детей, а ради наслаждения; поэтому он уже получает в этом награду и теряет право на хорошие отношения с детьми, для которых самый факт рождения служит по его вине позором.

23. Солоновы законы о женщинах вообще говоря кажутся во многом нелепыми. Тому, кто застанет любовника своей жены на месте преступления, он дал право его убить; а тот, кто похитит свободную женщину и изнасилует ее, карается штрафом в сто драхм. Если кто занимается сводничеством, – штраф в двадцать драхм; исключение он сделал только для женщин, которые "ходят открыто", – Солон разумеет гетер, потому что они открыто ходят к тем, кто платит деньги. Далее, он запрещает продавать и дочерей, и сестер, если только девушку не уличат в преступной связи с мужчиной. Наказывать за один и тот же поступок то с неумолимой строгостью, то с благодушной шуткой, назначая какой попало денежный штраф, неразумно; впрочем, ввиду тогдашней редкости монеты в Афинах, трудность доставать деньги делала денежный штраф тяже-

лым. Так, например, при оценке жертвоприношений Солон считает овцу и драхму равноценными с медимном хлеба. Победителю на Истмийских играх он назначил в награду сто драхм, а победителю на Олимпийских – пятьсот. Кто принесет волка, тому он назначил пять драхм, а кто волчонка, – тому одну; из этих сумм, по словам Деметрия Фалерского, первая есть цена вола, а вторая – овцы. Цены, установленные им на шестнадцатой таблице за отборных жертвенных животных, естественно, во много раз выше, чем за обыкновенных, но все-таки и они, по сравнению с теперешними, невелики. А борьба с волками – старинный обычай у афинян, потому что их страна более пригодна для скотоводства, чем для земледелия.

По свидетельству некоторых писателей, и филы получили названия[39] не по именам сыновей Иона, но в зависимости от различного образа жизни, который люди вели первоначально: воины назывались Гоплитами, ремесленники – Эргадами; из двух остальных фил Гелеонты были земледельцы, а Эгикореи – те, что пасли и разводили мелкий скот.

Что касается воды, страна недостаточно богата ни постоянно текущими реками, ни какими-либо озерами, ни обильными источниками; бóльшая часть населения пользовалась вырытыми колодцами. Ввиду этого Солон издал закон, по которому можно было пользоваться общественным колодцем, если он находился на расстоянии не более гиппика (гиппик равнялся четырем стадиям); а где колодец находился дальше, там надо было искать собственную воду. Если на глубине десяти сажен в своем владении не находили воды, то разрешалось брать воду у соседа два раза в день по одному сосуду в шесть хоев: по мнению Солона, следовало приходить на помощь в нужде, но не потакать лености.

Солон определил, с большим знанием дела, также расстояние, которое следовало соблюдать при посадке растений. При посадке различных деревьев на поле он приказал отступать от владения соседа на пять футов, а при посадке смоковницы или маслины – на девять, потому что эти деревья пускают корни дальше других, и не для всех растений соседство с ними безвредно: они отнимают у них питание и испускают испарения, вредные для некоторых растений. Тем, кто хотел копать ямы и канавы, Солон приказал отступать от соседнего владения на расстояние, равное их глубине. А ставить пчельники по закону полагалось на расстоянии трехсот футов от пчельников, уже поставленных другим.

24. Из продуктов, производимых в стране, Солон разрешил продавать за границу только оливковое масло, а другие вывозить не позволил. Кто вывозил их, того по закону Солона архонт должен был подвергать проклятию, под угрозой в противном случае самому платить сто драхм в казну. Этот закон написан на первой таблице. Поэтому не следует считать совершенно неосновательным мнение, что в старину был запрещен и вывоз смокв, и что "файнейн" в доносе не вывозящих смоквы и означало "сикофантейн"[40].

Солон издал также закон о вреде, причиняемом животными; в нем он приказывает, между прочим, собаку, укусившую кого-нибудь, выдавать пострадавшему привязанной на цепь длиною в три локтя, – средство, остроумное и обеспечивающее безопасность.

Закон Солона, касающийся "вновь пожалованных граждан", вызывает недоумение: он предоставляет права гражданства только тем, кто изгнан навсегда из родного города или переселился в Афины со всем домом для занятия ремеслом. Говорят, при этом Солон имел в виду не столько недопущение в Афины других иностранцев, сколько привлечение этих двух классов надеждою на получение гражданских прав; вместе с тем он рассчитывал, что они будут верными гражданами, – первые потому, что потеряли отечество по необходимости, вторые потому, что оставили его по своему убеждению.

Характерно для Солона также постановление о питании в общественном месте, что сам он обозначает словом "параситейн"[41]. Одному и тому же лицу он не дозволяет часто пользоваться общественным столом; с другой стороны, если лицо, которому это полагается, не хочет пользоваться своим правом, он его наказывает: в первом случае он усматривает жадность, во втором презрение к обществу.

25. Солон установил, чтобы все его законы оставались в силе в течение ста лет. Они были написаны на деревянных таблицах, которые были заключены в четырехугольники[42] и могли поворачиваться; небольшие остатки их хранились еще в наше время в пританее. По словам Аристотеля[43], они назывались "кирбы". Комик Кратин тоже говорит об этом:

Клянусь Солоном и клянусь Драконтом я
На кирбах коих сушится ячмень теперь.

Некоторые говорят, что кирбами называются только те таблицы, которые содержат постановления о священнодействиях и жертвоприношениях, а остальные именуются "аксонами".

Совет давал присягу общую – твердо соблюдать Солоновы законы, а каждый из фесмофетов[44] присягал особо на площади у камня, заявляя, что, если он нарушит что-либо в этих законах, то посвятит богу в Дельфах золотую статую, равную своему росту.

Солон заметил аномалии месяца[45] и видел, что движение луны не совпадает вполне ни с заходом солнца, ни с восходом, но часто в один и тот же день догоняет солнце и опережает его. Такой день он приказал называть "старым и молодым", ввиду того, что часть дня, предшествующая коньюнкции, относится к кончающемуся месяцу, а остальная – к уже начинающемуся. По-видимому, Солон первый правильно понял слова Гомера, который говорит, что когда

Прежний кончается месяц, на смену идет ему новый[46].

Следующий день он назвал новолунием. Дни от двадцатого до тридцатого он считал от конца месяца, называя их убывающими числами и сводя на нет соответственно ущербу луны.

После введения законов к Солону каждый день приходили люди: то хвалили, то бранили, то советовали вставить что-либо в текст или выбросить. Но больше всего было таких, которые обращались с вопросами, осведомлялись о чем-нибудь, просили дополнительных объяснений о смысле каждой статьи и об ее назначении. Солон нашел, что исполнять эти желания нет смысла, а не испол-

нять значит возбуждать ненависть к себе, и вообще хотел выйти из этого затруднительного положения и избежать недовольства и страсти сограждан к критике. По его собственному выражению,

Трудно в великих делах сразу же всем угодить.

Поэтому под тем предлогом, что ему как владельцу корабля надо странствовать по свету, он попросил у афинян позволения уехать за границу на десять лет, и отплыл из Афин: он надеялся, что за это время они и к законам привыкнут.

26. Прежде всего он приехал в Египет и жил там, по его собственному выражению,

В устье великого Нила, вблизи берегов Канобида.

Некоторое время он занимался философскими беседами также с Псенофисом из Гелиополя и Сонхисом из Саиса, самыми учеными жрецами. От них, как говорит Платон, узнал он и сказание об Атлантиде[47] и попробовал изложить его в стихах, чтобы познакомить с ним эллинов.

Потом он поехал на Кипр, где его чрезвычайно полюбил один из тамошних царей, Филокипр. Он владел небольшим городом, который был основан сыном Тесея, Демофонтом. Город лежал на реке Кларии в месте хотя и неприступном, но во всех отношениях неудобном. Между тем, под городом простиралась прекрасная равнина. Солон уговорил его перенести город труда, увеличив его и украсив. Солон лично смотрел за стройкой и помогал царю сделать все возможно лучше для приятной и безопасной жизни в нем. Благодаря этому к Филокипру пришло много новых жителей, и другие цари завидовали ему. Поэтому он, желая почтить Солона, назвал этот город по его имени Солами, а прежде он назывался Эпеей. Солон и сам упоминает об основании этого города: обращаясь в своих элегиях к Филокипру, он говорит:

Ныне над Солами будь правителем долгие годы
    Ты, и твой род пусть живет в городе этом всегда.
Мне ж пусть поможет Киприда, богиня в венке из фиалок,
    Пусть мой проводит корабль, жизнь мне в пути сохранив.
Пусть она славу мне даст за то, что сей город построил,
    Пусть мне окажет почет, дав возвратиться домой.

27. Что касается свидания Солона с Крезом, то некоторые авторы на основе хронологических соображений[48] считают доказанным, что это вымысел. Однако это предание, как известно, засвидетельствовано столькими лицами и, что еще важнее, так соответствует характеру Солона, так достойно его высокого образа мыслей и мудрости, что я не решаюсь отвергнуть его из-за каких-то “хронологических сводов”, которые уже тысячи ученых исправляли, но встречающихся в них противоречий до сих пор не могут согласовать.

Так вот, говорят, что Солон по просьбе Креза приехал в Сарды. С ним случилось нечто подобное тому, что бывает с жителем континентальной страны, который в первый раз идет к морю. Как тот каждую реку принимает за море, так и Солон, проходя по дворцу и видя множество придворных в богатых нарядах, важно расхаживавших в толпе слуг и телохранителей, каждого принимал за

Креза, пока, наконец, его не привели к самому Крезу. На нем было надето все, что из своих драгоценных камней, цветных одежд, золотых вещей художественной работы он считал выдающимся по красоте, изысканным, завидным, – конечно, для того, чтобы глазам представилось зрелище как можно более пышное и пестрое. Но Солон, став перед ним, при этом виде ни действием, ни словом не выразил ничего такого, чего ожидал Крез; всем здравомыслящим людям было ясно, что он с презрением смотрит на отсутствие у него духовных интересов и мелочное тщеславие. Крез велел открыть ему свои сокровищницы, потом повести его и показать всю роскошную обстановку. Но Солону не было никакой надобности в этом: сам Крез собственной особой дал ему достаточно ясное понятие о своем внутреннем содержании. Когда Солон все осмотрел и его опять привели к Крезу, Крез спросил его, знает ли он человека, счастливее его. Солон отвечал, что знает такого человека: это его согражданин Телл. Затем он рассказал, что Телл был человек высокой нравственности, оставил по себе детей, пользующихся добрым именем, имущество, в котором есть все необходимое, погиб со славой, храбро сражаясь за отечество. Солон показался Крезу чудаком и деревенщиной, раз он не измеряет счастье обилием серебра и золота, а жизнь и смерть простого человека ставит выше его громадного могущества и власти. Несмотря на это, он опять спросил Солона, знает ли он кого другого после Телла, более счастливого, чем он. Солон опять сказал, что знает: это Клеобис и Битон, два брата, весьма любившие друг друга и свою мать. Когда однажды волы долго не приходили с пастбища, они сами запряглись в повозку и повезли мать в храм Геры; все граждане называли ее счастливой, и она радовалась; а они принесли жертву, напились воды, но на следующий день уже не встали; их нашли мертвыми; они, стяжав такую славу, без боли и печали узрели смерть. "А нас, – воскликнул Крез уже с гневом, – ты не ставишь совсем в число людей счастливых?". Тогда Солон, не желая ему льстить, но и не желая раздражать еще больше, сказал: "Царь Лидийский! Нам, эллинам, бог дал способность соблюдать во всем меру; а вследствие такого чувства меры и ум нам свойствен какой-то робкий, по-видимому, простонародный, а не царский, блестящий. Такой ум, видя, что в жизни всегда бывают всякие превратности судьбы, не позволяет нам гордиться счастьем данной минуты и изумляться благоденствию человека, если еще не прошло время, когда оно может перемениться. К каждому незаметно подходит будущее, полное всяких случайностей; кому бог пошлет счастье до конца жизни, того мы считаем счастливым. А называть счастливым человека при жизни, пока он еще подвержен опасностям, – это все равно, что провозглашать победителем и венчать венком атлета, еще не кончившего состязания: это дело неверное, лишенное всякого значения". После этих слов Солон удалился; Креза он обидел, но не образумил.

28. Баснописец Эзоп, бывший тогда в Сардах по приглашению Креза и пользовавшийся у него уважением, огорчился за Солона, которому был оказан такой нелюбезный прием. Желая дать ему совет, он сказал: "С царями, Солон, надо говорить или как можно меньше, или как можно слаще". "Нет, клянусь Зевсом, – возразил Солон, – или как можно меньше, или как можно лучше".

Так пренебрежительно в то время Крез отнесся к Солону. После поражения в битве с Киром он потерял свою столицу, сам был взят в плен живым, и ему предстояла печальная участь быть сожженным на костре. Костер был уже готов; его связанного возвели на него; все персы смотрели на это зрелище, и Кир был тут. Тогда Крез, насколько у него хватило голоса, трижды воскликнул: "О Солон!" Кир удивился и послал спросить, что за человек или бог Солон, к которому одному он взывает в таком безысходном несчастии. Крез, ничего не скрывая, сказал: "Это был один из эллинских мудрецов, которого я пригласил, но не за тем, чтобы его послушать и научиться чему-нибудь такому, что мне было нужно, а для того, чтобы он полюбовался на мои богатства и, вернувшись на родину, рассказал о том благополучии, потеря которого, как оказалось, доставила больше горя, чем его приобретение – счастья. Пока оно существовало, хорошего от него только и было, что пустые разговоры да слава; а потеря его привела меня к тяжким страданиям и бедствиям, от которых нет спасения. Так вот он, глядя на мое тогдашнее положение, предугадывал то, что теперь случилось, и советовал иметь в виду конец жизни, а не гордиться и величаться непрочным достоянием". Этот ответ передали Киру; он оказался умнее Креза и, видя подтверждение слов Солона на этом примере, не только освободил Креза, но и относился к нему с уважением в течение всей его жизни. Так прославился Солон: одним словом своим одного царя спас, другого вразумил.

29. Между тем, во время отсутствия Солона, в Афинах происходили смуты. Во главе педиэев стоял Ликург, во главе паралов – Мегакл, сын Алкмеона, а Писистрат – во главе диакриев, к числу которых принадлежала масса фетов, особенно враждебно настроенная против богатых. Таким образом, хотя в Афинах еще действовали законы Солона, но все ожидали переворота и желали другого государственного строя. При этом все хотели не равноправия, а надеялись при перевороте одержать верх и совершенно одолеть противную партию. Вот каково было положение дел, когда Солон вернулся в Афины. К нему все относились с уважением и почтением; но по старости он не имел уже ни силы, ни охоты по-прежнему говорить или действовать публично; только при встречах с руководителями обеих сторон он в частных беседах с ними старался уничтожить раздор и примирить их между собою. Особенно, казалось, прислушивался к его речам Писистрат. В его разговоре была вкрадчивость и любезность; бедным он готов был помогать, во вражде был мягок и умерен. Если у него не было каких-то природных качеств, он умел так хорошо притворяться, что ему верили больше, чем тем людям, которые их действительно имели: верили, что он человек осмотрительный, друг порядка, сторонник равенства, враг людей, колеблющих государственный строй и стремящихся к перевороту. Так он обманывал народ. Но Солон скоро проник в его душу и первый разгадал его злые замыслы. Однако он не возненавидел его, а старался умиротворить и образумить: он говорил и ему самому и другим, что, если у Писистрата из души изъять любовь к первенству и исцелить его от страсти к тирании, то не будет человека более склонного к добру и лучшего гражданина.

В это время Феспид со своею труппой начал вводить преобразования в

трагедию[49] и новизной увлекал народ, но состязания между трагиками еще не были введены, Солон по своему характеру любил слушать и учиться, а в старости у него еще больше развился вкус к досужим забавам и, клянусь Зевсом, даже к попойкам и к музыке. Он пошел смотреть Феспида, который, по обычаю древних, сам был актером. После представления Солон обратился к нему с вопросом, как не стыдно ему так бессовестно лгать при таком множестве народа. Феспид отвечал, что ничего нет предосудительного в том, чтобы так говорить и поступать в шутку. Тогда Солон сильно ударил палкой по земле и сказал: "Да, теперь мы так хвалим эту забаву, она у нас в почете, но скоро мы найдем ее и в договорах".

30. Писистрат, изранив себя, приехал в повозке на площадь и стал возмущать народ, говоря, что враги замышляют его убить за его политические убеждения. Поднялись негодующие крики. Солон подошел к Писистрату и сказал: "Нехорошо, сын Гиппократа, ты играешь роль гомеровского Одиссея[50]: он обезобразил себя, чтобы обмануть врагов, а ты это делаешь, чтобы ввести в заблуждение сограждан".

После этого толпа была готова защищать Писистрата. Было устроено народное собрание. Аристон внес предложение о том, чтобы дать Писистрату для охраны пятьдесят человек, вооруженных дубинами. Солон встал и возразил против этого предложения; при этом он высказал много мыслей, похожих на те, которые есть в его стихотворениях:

Вы ведь свой взор обратили на речи коварного мужа.
Каждый меж вами хитер и лисьими ходит стезями,
Вместе, однако, вы все слабый имеете ум.

Видя, что бедные готовы исполнить желание Писистрата и шумят, а богатые робеют и бегут, Солон ушел, говоря, что он умнее одних и храбрее других, – умнее тех, кто не понимает, что делается, а храбрее тех, кто понимает, но боится противиться тирании.

Предложение Аристона народ принял и даже не стал уже вступать в пререкания с Писистратом по поводу таких мелочей, как число стражей, вооруженных дубинами; Писистрат открыто набирал и содержал их, сколько хотел, а народ спокойно смотрел на это, пока наконец он не занял Акрополь.

После этого в городе поднялся переполох. Мегакл со всеми алкмеонидами сейчас же бежал, а Солон, несмотря на свою глубокую старость и отсутствие помощников, все-таки явился на площадь и обратился к гражданам с воззванием: то бранил их за неразумие и малодушие, то ободрял еще и убеждал не предавать свою свободу. Тут он и сказал знаменитые слова, что несколько дней назад было легче помешать возникновению тирании в самом ее зародыше, но зато теперь предстоит более славный подвиг – искоренить ее и уничтожить, когда она уже возникла и выросла. Но никто не слушал его; все были в страхе. Тогда Солон вернулся домой, взял оружие и встал вооруженный перед дверьми на улице. "Я по мере сил своих, – сказал он, – защищал отечество и законы". Во все последующее время он ничего не предпринимал, не слушал

друзей, советовавших ему бежать, а писал стихи, в которых упрекал афинян:

Если страдаете вы из-за трусости вашей жестоко,
Не обращайте свой гнев против великих богов.
Сами возвысили этих людей вы, им дали поддержку
И через это теперь терпите рабства позор.

31. После этого многие предостерегали Солона, что тиранн его погубит и спрашивали, на что он рассчитывает, поступая с такой отчаянной смелостью. "На старость," – отвечал Солон.

Несмотря на это, Писистрат, захватив власть, сумел привлечь к себе Солона уважением, любезностью, приглашениями, так что Солон стал его советником и одобрял многие его мероприятия. И действительно, Писистрат сохранял бо́льшую часть Солоновых законов, сам первый исполнял их и друзей своих заставлял исполнять. Уже став тиранном, он был однажды призван на суд Ареопага по обвинению в убийстве. Он скромно предстал перед судом для своей защиты, но обвинитель не явился.

Писистрат сам издал несколько других законов, в том числе закон о содержании на счет государства солдат, изувеченных на войне. Впрочем, по словам Гераклида, еще прежде Солон сделал такое постановление в пользу изувеченного Ферсиппа, а Писистрат только подражал ему.

По свидетельству Феофраста и автором закона о праздности был не Солон, а Писистрат; благодаря этому закону в стране улучшилось земледелие, а в городе стало спокойнее.

Солон начал обширный труд, темой которого была история или сказание об Атлантиде, которое он слышал от ученых в Саисе и которое имело отношение к афинянам. Но у Солона не хватило сил довести его до конца – не по недостатку времени, как говорит Платон[51], а скорее от старости: его испугала такая громадная работа. Свободного времени у него было очень много, как показывают его собственные слова, как например следующие:

Стар становлюсь, но всегда многому всюду учусь,

и еще:

Ныне мне стали милы Дионис, Киприда и Музы, –
Те, чьи забавы всегда радость вселяют в людей.

32. Платон ревностно старался разработать до конца и разукрасить рассказ об Атлантиде, словно почву прекрасного поля, запущенного, но принадлежащего ему по праву родства[52]. Он воздвиг вокруг начала обширное преддверие, ограды, дворы, – такие, каких никогда не бывало ни у одного исторического рассказа, мифического сказания, поэтического произведения. Но, так как он начал его слишком поздно, то окончил жизнь раньше, чем это сочинение; чем больше чарует читателя то, что он успел написать, тем более огорчает его, что оно осталось неоконченным Как в Афинах есть только один недостроенный храм, храм Зевса Олимпийского[53], подобно этому и гений Платона среди многих прекрасных произведений оставил только одно сочинение об Атлантиде не доведенным до конца.

После начала тираннии Писистрата Солон прожил, по Гераклиду Понтийскому, еще много времени, а, по Фанию Эресскому, меньше двух лет. Писистрат стал тиранном при архонте Комии, а Солон умер по свидетельству Фания, при архонте Гегестрате, следующем после Комия.

Рассказ о том, будто пепел сожженного Солона был рассеян по острову Саламину, по своей нелепости, совершенно невероятен и баснословен. Тем не менее его передают многие авторы, заслуживающие внимания между прочим, и философ Аристотель.



ПОПЛИКОЛА

1. С Солоном, рассказ о котором закончен, мы сопоставляем Попликолу. Попликола – это почетное прозвище, которое нашел для него римский народ, а прежде он именовался Публием Валерием, считаясь потомком того самого Валерия[1], благодаря которому некогда помирились римляне с сабинянами и из врагов сделались одним народом: ведь это он главным образом уговорил царей прекратить вражду и прийти к согласию. К нему-то, как сообщают, и восходил родом Публий Валерий, прославившийся красноречием и богатством еще в ту пору, когда Римом правили цари. Первое он справедливо и умело употреблял только на защиту истины, вторым – щедро и доброжелательно оказывал помощь нуждающимся, так что с самого начала было ясно: если единовластие сменится демократией, Валерий станет одним из первых людей в государстве.

Когда же народ, ненавидевший Тарквиния Гордого, который и получил власть не честным путем[2], а вопреки законам божеским и человеческим, и пользовался ею не по-царски, а как надменный тиранн, когда народ, тяготясь этой властью, поднял мятеж, поводом к которому послужила смерть Лукреции, подвергшейся насилию и наложившей на себя руки, Луций Брут, возглавивший переворот, прежде всего обратился к Валерию, и тот принял самое горячее участие в изгнании царей. Пока казалось, что народ намерен выбрать вместо царя одного предводителя, Валерий сохранял спокойствие, считая, что у Брута, первого борца за свободу, больше прав на власть. Однако народу было ненавистно самое слово "единовластие", и, полагая, что разделенную власть терпеть будет не столь тягостно, он захотел поставить у кормила правления двоих, и тут Валерий стал надеяться, что будет избран вместе с Брутом и вместе с ним примет консульское достоинство. Однако он ошибся: вопреки желанию Брута его товарищем по должности оказался не Валерий, а Тарквиний Коллатин, муж Лукреции, человек отнюдь не более достойный, нежели Валерий. Но влиятельные римляне, все еще страшась царей, всячески пытавшихся из-за рубежа

склонить граждан на свою сторону, желали иметь руководителем злейшего их врага, от которого изгнанники заведомо не могли ждать никаких уступок.

2. Итак, римляне не верили, что Валерий способен на все ради отечества, коль скоро лично он не потерпел от тираннов никакого зла, и в негодовании он перестал участвовать в заседаниях сената, не защищал больше обвиняемых в суде и вообще полностью забросил государственные дела, так что даже пошли озабоченные толки, и многие римляне выражали опасение, как бы, поддавшись гневу, он не переметнулся на сторону царей и не погубил город, положение которого было ненадежно. А так как Брут питал подозрения и против некоторых иных лиц, он потребовал, чтобы сенат принес торжественную присягу; в назначенный день Валерий явился на форум с видом радостным и безмятежным и первым поклялся ни в чем не уступать и не поддаваться Тарквиниям, но воевать за свободу, не щадя сил. Эту клятву, которая обрадовала сенат и ободрила консулов, он скоро подкрепил делом.

От Тарквиния[3] прибыли послы с заманчивыми для народа грамотами, полными ласковых речей, с помощью коих посланцы твердо рассчитывали сломить ненависть толпы к царю, который-де оставил прежнее высокомерие и теперь предъявляет лишь весьма умеренные требования. Консулы решили было дать им возможность выступить перед народом, но этому воспротивился и воспрепятствовал Валерий, боясь, как бы у бедняков, для которых война тяжелее тираннии, не появились причина и повод к перевороту.

3. После этого прибыли другие послы. Они известили, что Тарквиний отказывается от царства и прекращает все враждебные действия, но просит вернуть ему, его друзьям и близким имущество и деньги, на которые они могли бы существовать в изгнании. Многие были тронуты, тем более что Коллатин поддержал просьбу царя, и тогда Брут, человек непреклонного и гневного нрава, выбежал на форум с криком, что его товарищ по должности – предатель, раз он щедрой рукой уделяет средства для войны и возрождения тираннии тем, кому и на дорогу-то дать было бы опасно. Когда граждане собрались, первым взял слово Гай Минуций, в управлении государством не участвовавший, и стал уговаривать Брута и всех римлян позаботиться о том, чтобы деньги лучше помогли им в борьбе против тираннов, нежели тираннам – в борьбе против них. Тем не менее римляне постановили, коль скоро царь не намерен отнять у них свободу, ради которой они воевали, не терять мира из-за денег, но и деньги отправить в изгнание вместе с тираннами.

Разумеется, Тарквиний меньше всего заботился о деньгах – его просьба была как бы испытанием народа и в то же время подготовкой измены. Да, именно этим и занимались послы и, уверяя, будто поглощены имущественными делами – одно, мол, продают, другое пока придерживают, третье отсылают хозяевам, – оставались в Риме до тех пор, пока не склонили к предательству два дома из числа самых знатных и благородных – Аквилиев, среди которых было трое сенаторов, и Вителлиев – с двумя сенаторами. И те и другие были через своих матерей племянниками консула Коллатина, а Вителлиев родство связывало и с Брутом: их сестра была за ним замужем и родила от него нескольких сыновей. Из них двоих, уже взрослых и находившихся с Вителлиями не только в родстве,

но и в дружбе, последние привлекли на свою сторону и уговорили вступить в заговор, внушив им надежду, что, избавившись от тупости и жестокости своего отца, они породнятся с великим домом Тарквиниев и, быть может, сами достигнут царской власти. Жестокостью они называли неумолимую строгость Брута к негодяям, а с прозвищем тупицы[4], под ложным обличием коего Брут скрывался долгое время, для того, видимо, чтобы обезопасить себя от покушений тираннов, ему не удалось расстаться даже после свержения царей.

4. Когда молодые люди дали свое согласие и вступили в сговор с Аквилиями, было решено всем принести великую и страшную клятву, совершив возлияние человеческой кровью и коснувшись внутренностей убитого. Для этого заговорщики собрались в доме Аквилиев. Дом, где они вознамерились исполнить такой чудовищный обряд, был, как и следовало ожидать, темен и почти пуст, и потому никто не заметил спрятавшегося там раба по имени Виндиций. Не то чтобы он спрятался по злому умыслу или по какому-то предчувствию, но, случайно оказавшись внутри и увидев быстро приближающихся людей, побоялся попасться им на глаза и укрылся за пустым ящиком, так что стал свидетелем всего происходившего и подслушал все разговоры. Собравшиеся положили убить консулов и, написав об этом намерении Тарквинию, отдали письмо послам, которые, пользуясь гостеприимством Аквилиев, жили там же и присутствовали при клятве. Когда заговорщики удалились, Виндиций потихоньку выскользнул из своего укрытия; он не хотел держать в тайне то, что ему довелось узнать, но колебался, совершенно основательно считая далеко небезопасным обвинить в тяжелейшем преступлении сыновей Брута перед их отцом или племянников Коллатина перед родным дядей, а среди частных лиц не находя в Риме никого, кому бы он мог доверить сведения такой важности. Но всего менее мог он молчать, совесть не давала ему покоя, и он отправился к Валерию, привлекаемый в первую очередь обходительностью и милосердием этого мужа, который был доступен всем нуждающимся в его помощи, постоянно держал двери дома открытыми и никогда не презирал речей и нужд человека низкого звания.

5. Когда Виндиций явился к нему и обо всем рассказал в присутствии лишь жены Валерия и его брата Марка, Валерий, потрясенный и испуганный, не отпустил раба, но запер его в какую-то комнату, приставив к дверям жену, а брату велел окружить царский двор, разыскать, если удастся, письма и взять под стражу рабов, сам же с клиентами и друзьями, которых вокруг него всегда было немало, и многочисленной прислугой направился к дому Аквилиев. Хозяев Валерий не застал; так как, по-видимому, никто не ожидал его прихода, он проник внутрь и в помещении, где остановились послы, нашел письма. В это время бегом подоспели Аквилии и, столкнувшись с Валерием в дверях, пытались вырвать у него его находку. Спутники Валерия стали защищаться и, накинув противникам на шею тоги, с огромным трудом, осыпаемые ударами и сами щедро их раздавая, узкими переулками вырвались наконец на форум. Одновременно то же случилось и на царском дворе: Марк наложил руку на другие письма, спрятанные среди уложенных и готовых к отправке вещей, и поволок на форум царских приближенных, сколько смог захватить.

6. Когда консулы положили конец беспорядку, Валерий велел привести Виндиция, и обвинение было предъявлено, а затем были прочтены письма. Уличенные не дерзнули сказать ни слова в свою защиту, смущенно и уныло молчали и все прочие, лишь немногие, желая угодить Бруту, упомянули об изгнании. Какой-то проблеск надежды усматривали также в слезах Коллатина и в безмолвии Валерия. Но Брут, окликая каждого из сыновей в отдельности, сказал: "Ну, Тит, ну, Тиберий, что же вы не отвечаете на обвинение?" И когда, несмотря на троекратно повторенный вопрос, ни тот, ни другой не проронили ни звука, отец, обернувшись к ликторам, промолвил: "Дело теперь за вами". Те немедленно схватили молодых людей, сорвали с них одежду, завели за спину руки и принялись сечь прутьями, и меж тем как остальные не в силах были на это смотреть, сам консул, говорят, не отвел взора в сторону, сострадание нимало не смягчило гневного и сурового выражения его лица – тяжелым взглядом следил он за тем, как наказывают его детей, до тех пор пока ликторы, распластав их на земле, не отрубили им топорами головы. Передав остальных заговорщиков на суд своего товарища по должности, Брут поднялся и ушел. Его поступок, при всем желании, невозможно ни восхвалять, ни осуждать. Либо высокая доблесть сделала его душу совершенно бесстрастной, либо, напротив, великое страдание довело ее до полной бесчувственности. И то и другое – дело нешуточное, и то и другое выступает за грани человеческой природы, но первое свойственно божеству, второе – дикому зверю. Справедливее, однако, чтобы суждение об этом муже шло по стопам его славы, и наше собственное слабоволие не должно быть причиною недоверия к его доблести. Во всяком случае, римляне считают, что не стольких трудов стоило Ромулу основать город, скольких Бруту – учредить и упрочить демократический образ правления.

7. Итак, когда Брут ушел с форума, долгое время все молчали – никто не мог опомниться от изумления и ужаса перед тем, что произошло у них на глазах. Но зная мягкость нрава Коллатина и видя его нерешительность, Аквилии снова несколько приободрились и попросили отсрочки для подготовки оправдательной речи, а также выдачи Виндиция, который был их рабом, и потому не следовало-де ему оставаться в руках обвинителей. Консул хотел удовлетворить их просьбу и с тем уже было распустил Собрание, но Валерий, приверженцы которого тесно обступили раба, не соглашался его выдать и не позволял народу разойтись, освободив заговорщиков. В конце концов, он силою задержал обвиняемых и принялся звать Брута, крича, что Коллатин поступает чудовищно, коль скоро, принудив товарища по должности стать убийцею собственных детей, сам теперь счел возможным в угоду женщинам подарить жизнь изменникам и врагам отечества. Консул был возмущен и приказал увести Виндиция, ликторы, раздвинув толпу, схватили раба и принялись бить тех, кто пытался его отнять, друзья Валерия вступились, народ же громко кричал, призывая Брута. Вернулся Брут, и, когда, приготовившись слушать его, все умолкли, он сказал, что над своими сыновьями сам был достаточно правомочным судьей, участь же остальных предоставляет решить свободным гражданам: пусть каждый, кто хочет, говорит и внушает народу свое мнение. Но никакие речи уже не понадо-

бились: сразу же состоялось голосование, обвиняемые подверглись единодушному осуждению и было обезглавлены.

Коллатину из-за родства с царями, по-видимому, не вполне доверяли, да и второе имя их консула ненавистно было римлянам, принесшим священную клятву не уступать Тарквинию. То, что произошло, вызвало прямую ненависть народа к нему, и он добровольно сложил с себя власть и покинул город. Поэтому вновь были проведены выборы. и граждане со славою избрали консулом Валерия, стяжавшего достойную награду за свою преданность родине. Полагая, что благодарности заслуживает и Виндиций, Валерий постановил, чтобы он первым среди вольноотпущенников сделался римским гражданином и подавал голос, присоединившись к любой из курий. Вообще же право голоса вольноотпущенники получили лишь много времени спустя от Аппия[5], который хотел этим угодить народу. Полное и безусловное отпущение на волю до сих пор называется "виндикта" [vindicta], как говорят – по имени того Виндиция[6].

8. Затем консулы отдали царское добро на разграбление римлянам, а двор и городской дом сравняли с землей. Тарквиний владел лучшей частью Марсова поля – теперь ее посвятили богу. Как раз незадолго до того сняли жатву, на поле еще лежали снопы, и, считая, что после посвящения этот хлеб нельзя ни молотить, ни употреблять в пищу, граждане собрались и побросали все в реку. Точно так же полетели в воду и деревья, которые вырубили на всем участке, и во владение бога перешла земля совсем пустая, лишенная какой бы то ни было растительности. Снопы и стволы во множестве, без всякого порядка валили в огромные кучи, и река уносила их не далеко, ибо самые первые, налетев на мель, остановились и загородили путь следующим; те застревали, зацеплялись, и связь между отдельными частями делалась все крепче и неразрывнее, усиливаемая течением, наносившим много ила, который создавал плодородную, клейкую почву, а напор воды не размывал ее, но полегоньку уплотнял и сплачивал. Размеры и устойчивость этого целого способствовали дальнейшему его увеличению – там задерживалось почти все, что плыло по реке. Это и есть нынешний священный остров в Риме, на нем – храмы богов и портики для прогулок, а зовется он на латинском языке "Меж двумя мостами"[7]. Некоторые писатели сообщают, что это случилось не в ту пору, когда была посвящена земля Тарквиния, а позже, когда Тарквиния отдала богу другой, соседний с тем участок. Эта Тарквиния была дева–жрица, одна из весталок, за свой дар удостоившаяся великих почестей. Между прочим, ей, единственной среди женщин, было дано право выступать с показаниями в суде. Разрешением выйти замуж она не воспользовалась. Таковы предания о том, как все это произошло.

9. Тарквиния, отказавшегося от мысли вернуть себе власть с помощью предательства, охотно приняли этруски и с большим войском снарядили в поход. Консулы вывели ему навстречу римлян и выстроили их в священных местах, из которых одно зовется Арсийская роща[8], а другое Анзуйский луг. Когда противники еще только начинали бой, столкнулись сын Тарквиния Аррунт и римский консул Брут, столкнулись не случайно, но пустив друг против друга своих коней и пылая гневом и взаимною ненавистью, один – к тиранну и врагу отечества,

другой – к виновнику своего изгнания. Ими руководила скорее слепая ярость, нежели рассудок, они не щадили себя и вместе расстались с жизнью. Конец сражения был не менее свиреп и ужасен, чем его начало: оба войска нанесли неприятелю и сами потерпели одинаковый урон, но их развела непогода. Этот неопределенный исход смущал и тревожил Валерия, который видел, как воины его в одно и то же время пали духом, видя трупы своих, и гордятся тем, что учинили такое опустошение в рядах врагов: столь велико было число убитых, что истинные потери обеих сторон установить не удавалось. Но между тем как положение дел у себя было перед глазами, о том, что делается у противника, оставалось только догадываться, и потому как римляне, так и этруски считали себя скорее побежденными, чем победителями. Пришла ночь, и, как обычно бывает после жестокой битвы, лагери затихли, и тут, говорят, вдруг затряслась роща и из нее вырвался громкий голос, возвестивший, что этрусков погибло одним больше, чем римлян. Разумеется, то было божественное вещание, ибо услышав его, римляне сразу исполнились отваги и радостно закричали, а этруски совершенно пали духом, в смятении выбежали из лагеря и большей частью рассеялись кто куда. На оставшихся – их было почти пять тысяч – напали римляне и захватили их в плен, имущество же разграбили. Мертвых после подсчета оказалось у неприятеля одиннадцать тысяч триста, у римлян – на одного меньше. Битва, как сообщают, произошла за день до мартовских календ.

Валерий получил за победу триумф и первым из консулов въехал в Рим на запряженной четверкою колеснице. Это было величественное и славное зрелище, отнюдь не навлекавшее зависть и досаду зрителей, как утверждают иные. Будь они правы, триумф не был бы затем, на протяжении длиннейшего ряда лет, предметом столь ревностных исканий и честолюбивых помыслов. Все одобрили и почести, которые Валерий воздал телу своего товарища по должности, и в особенности – речь, которую он сказал при погребении. Она так понравилась и полюбилась римлянам, что с тех пор повелось над каждым достойным и выдающимся мужем произносить после смерти похвальное слово, и обязанность эту выполняют лучшие граждане. Говорят даже, будто речь Валерия древнее греческих надгробных речей[9], хотя оратор Анаксимен пишет, что и это начинание принадлежит Солону.

10. Но вот что в самом деле вызывало недовольство и неприязнь к Валерию. Брут, которого народ считал отцом свободы, не хотел властвовать один, но и раз, и другой выбрал себе товарища по должности. "А этот, – говорили граждане, – все соединивши в себе одном, наследует не консульство Брута, не имеющее к нему ни малейшего отношения, но тираннию Тарквиния. Какой толк восхвалять Брута на словах, коль скоро на деле он подражает Тарквинию и, в окружении всех ликторских связок и топоров[10] один спускается на форум из дома, такого громадного, что даже царский дом, который он разрушил, был меньше?!" И верно, Валерий жил слишком уж пышно – в доме, который стоял на так называемой Велии[11] и, нависая над форумом, взирал на все с высоты; взобраться наверх составляло немалый труд, а когда хозяин сходил вниз, вид у него был напыщенный, и гордая свита казалась поистине царской. Вот тут-то

Валерий и доказал, какое благо для человека, поставленного у власти и вершащего делами большой важности, держать уши открытыми для откровенных и правдивых слов и закрытыми для лести. Услышав от друзей, что, по мнению народа, его поведение неправильно, он не стал возражать, не рассердился, но быстро собрал целую толпу мастеров и в ту же ночь снес, разрушил до основания весь дом, так что наутро римляне, сбежавшись и увидев это, восхищались силою духа этого мужа, жалели и оплакивали дом, его величие и красоту – точно человека, несправедливо погубленного завистниками, сокрушались, вспоминая о том, что их консул, словно бездомный, поселился у чужих. Да, Валерия приютили друзья, и он жил с ними до тех пор, пока народ не отвел ему участок и не построил дом, меньше и скромнее прежнего; ныне на этом месте стоит храм, называемый святилищем Вики Поты[12].

Желая и самое власть сделать кроткой, менее грозной и даже любезной народу, Валерий приказал вынуть топоры из ликторских связок, а связки опускать и склонять перед народом, всякий раз как консул входит в Собрание. Этот обычай, много способствовавший украшению демократии, соблюдается властями вплоть до нашего времени. Толпа не понимала, что консул не унизился перед нею, как думало большинство, но своею скромностью пресек и уничтожил зависть и настолько же расширил и укрепил свою власть, насколько, казалось, ограничил себя в правах, ибо теперь народ с охотою и радостью ему подчинялся и даже прозвал его Попликолой. Это прозвище, означающее "друг народа" и получившее бóльшее распространение, чем прежние его имена, будем употреблять в дальнейшем и мы, рассказывая о жизни этого человека.

11. Он предоставил возможность домогаться консульства тем, кто этого пожелает, но до избрания товарища по должности, не зная, что будет дальше, и опасаясь, как бы из зависти или по невежеству товарищ не оказал противодействия его планам, воспользовался единовластием для чрезвычайно важных и полезных государственных преобразований. Во-первых, он пополнил состав сената, который сильно сократился: кто погиб раньше, в правление Тарквиния, кто в недавней битве. Говорят, что всего он внес в списки сто шестьдесят четыре человека. Затем он издал законы, из которых один наделял толпу особенно большою силой, разрешая обвиняемому обжаловать решение консулов перед народом. Другой закон осуждал на смерть тех, кто примет власть без изволения народа. Третьим законом он облегчил положение бедняков, освободив граждан от налогов: этим же законом Попликола побудил всех охотнее, чем прежде, взяться за ремесла. Закон, карающий за неповиновение консулам, также казался направленным на пользу скорее простого люда, нежели могущественных граждан. На ослушника налагался штраф в пять коров и две овцы. Цена овцы была десять оболов, коровы – сто. В ту пору деньги еще не были у римлян в широком употреблении, и богатство измерялось числом скота. Поэтому добро они до сих пор обозначают словом "пекулиа" [peculium] – по названию мелкого скота[13], а на древнейших своих монетах чеканили изображение коровы, овцы или свиньи. И детям давали имена Суиллий, Бубульк, Капрарий, Порций, ибо "капра" по-латыни коза, а "поркос" [porcus] – свинья.

12. Показав себя, таким образом, умеренным и расположенным к народу законодателем, Попликола в ...* назначил слишком строгое наказание. Он издал закон, по которому разрешалось без суда убить человека, замыслившего сделаться тиранном, причем убийца был свободен от всякой вины, коль скоро представлял доказательства, уличающие убитого. Ведь если невозможно затеявшему такое дело остаться полностью неразоблаченным, то весьма возможно, что, разоблаченный, он предупредит суд и уйдет целым и невредимым, а потому Попликола предоставил право каждому, кто окажется в состоянии, исполнить над преступником тот приговор, которого преступление пытается избежать.

Похвалы Попликоле стяжал и закон о квесторах. Поскольку граждане должны были делать из своего имущества взносы на покрытие военных расходов, а консул и сам не желал касаться хозяйственных дел, и отказывался поручить их своим друзьям, и вообще не соглашался, чтобы общественные средства поступали в частным дом, он учредил казначейство в храме Сатурна[14], где римляне хранят казну и до сих пор, и предложил народу избрать двух молодых людей казначеями-квесторами. Первыми квесторами избрали Публия Ветурия и Марка Минуция. Денег было внесено очень много, ибо в списках значилось сто тридцать тысяч человек, не считая сирот и вдов, которые взносов не делали.

Покончив с этими заботами, Попликола принял в товарищи по должности Лукреция, отца Лукреции и, по долгу младшего, уступая первенствующее положение, передал ему так называемые "фаски". (Эта почесть, оказываемая старшему годами, вошла в обычай и сохранилась до нашего времени.) Но через несколько дней Лукреций умер. Снова состоялись выборы, и консулом стал Марк Гораций, который и правил вместе с Попликолой оставшуюся часть года.

13. Когда Тарквиний в Этрурии готовил вторую войну против римлян, было, как сообщают, важное знамение. Еще правя в Риме, Тарквиний заканчивал строительство храма Юпитера Капитолийского и, то ли повинуясь пророчеству, то ли по какой-то иной причине, решил увенчать здание глиняным изображением колесницы в четверку; он сделал заказ этрусским мастерам из Вей, а вскоре после этого лишился царства. Этруски вылепили колесницу и поставили ее в печь, но случилось совсем не то, что обычно бывает с глиною в огне, – она не сжималась и не оседала, по мере того как улетучивалась влага, напротив, поднялась и раздулась, приобретя вместе с величиной такую твердость и крепость, что ее насилу извлекли, лишь разобрав свод и разрушив стены печи. Прорицатели пришли к заключению, что это божественное знамение, сулящее благоденствие и могущество владельцам колесницы, и граждане Вей постановили не отдавать ее, а римлянам, требовавшим назад свою собственность, ответили, что колесница принадлежит Тарквинию, но не тем, кто изгнал Тарквиния. Немного дней спустя в Вейях были конные состязания, проходившие с обычною пышностью и торжественностью. Украшенный венком возница медленно погнал с гипподрома победившую четверку, как вдруг кони без всякой видимой причины, но либо волею божества, либо просто случайно, испугались и понеслись во весь опор к Риму; как ни натягивал возница поводья, как ни

*Текст в оригинале испорчен.

старался успокоить коней ласковыми уговорами – все было напрасно, ему пришлось подчиниться, он бросил поводья, и лошади мчали его до тех пор, пока, прискакав к Капитолию, не выбросили на землю подле тех ворот, что ныне зовутся Ратуменскими. После этого события граждане Вей, изумленные и испуганные, распорядились, чтобы мастера отдали колесницу.

14. Обет воздвигнуть храм Юпитера Капитолийского принес Тарквиний, сын Демарата, во время войны с сабинянами, а выстроил его Тарквиний Гордый, сын или же внук принесшего обет, но посвятить не успел: здание было уже почти готово, когда Тарквиний потерял власть. После окончательного завершения всех работ, когда храм был должным образом украшен, Попликолой овладело честолюбивое желание самому освятить его. Однако большинство могущественных граждан завидовали ему и, еще смиряясь кое-как с теми почестями, которые ему подобали и приличествовали как законодателю и полководцу, считали, что на эту последнюю он не имеет никаких прав и не должен ее получить, а потому уговаривали и подстрекали Горация воспротивиться намерениям товарища и взять освящение на себя. Тут Попликоле пришлось выступить в поход, и его недоброжелатели, постановив, чтобы храм посвящал Гораций, отвели консула на Капитолий, отлично понимая, что никогда бы не добились своего в присутствии Попликолы. Иные утверждают, что консулам по жребию досталось одному, против воли, – идти в поход, другому – освящать храм.

О том, как это было на самом деле, можно судить по событиям, сопровождавшим освящение. В сентябрьские иды – этот день примерно совпадает с полнолунием в месяце метагитнионе[15] – все собрались на Капитолии; когда наступила тишина, Гораций совершил обряды и, как того требовал обычай, коснувшись рукою дверей, готовился произнести принятые слова посвящения, как вдруг брат Попликолы Марк, уже давно стоявший у дверей в ожидании этого мига, промолвил: "Консул, твой сын в лагере заболел и умер". Эта весть огорчила всех, кто ее услышал, лишь Гораций остался невозмутим и, сказав только: "Бросьте труп, куда хотите – печали нет доступа ко мне", – завершил обряд. Однако сообщение было ложным: его придумал Марк, чтобы помешать Горацию, и поразительно самообладание этого человека, который либо мгновенно разгадал обман, либо, поверив, остался неколебим.

15. Кажется, подобными обстоятельствами отмечено и освящение второго храма. Первый, который, как уже сказано, выстроил Тарквиний, а посвятил Гораций, сгорел во время гражданских войн[16]. Второй был заново воздвигнут Суллой, который не дожил до завершения работ, и потому в посвятительной надписи значится имя Катула. Этот храм в свою очередь погиб во время бунта при Вителлии, и в третий раз его целиком возвел Веспасиан. Счастье сопутствовало ему как всегда, он увидел храм выстроенным, но не увидел вновь разрушенным, превзойдя Суллу удачливостью, поскольку тот умер до освящения своего труда, этот – незадолго до его низвержения: в год смерти Веспасиана Капитолий был опустошен пожаром. Наконец, четвертый, существующий ныне, закончен и освящен Домицианом.

Сообщают, что Тарквиний истратил на закладку оснований сорок тысяч фунтов серебра, но если говорить о нынешнем храме, то самого крупного из

частных состояний в Риме не хватило бы на возмещение издержек по одному только золочению, составляющих более двенадцати тысяч талантов. Колонны были высечены из пентельского мрамора[17] в самом прекрасном отношении толщины к высоте, – я сам видел их в Афинах, – но в Риме их еще раз обтесали и отшлифовали, что не столько придало им блеску, сколько лишило соразмерности и красоты: они стали казаться тонкими и жалкими. Впрочем, если кто, удивившись роскоши Капитолия, увидел бы во дворце Домициана[18] один только портик, или базилику, или бани, или покои наложниц, тот, вслед за Эпихармом, сказавшим расточителю:

Ты людей ничуть не любишь, ты помешан, а не щедр,

не мог бы не обратиться к Домициану с такими приблизительно словами: "Ты и не благочестив и даже не щедр – ты просто болен. Ты радуешься, проматывая деньги на бесконечные постройки, и, точно пресловутый Мидас, хочешь, чтобы все у тебя было из камня и золота". Впрочем, довольно об этом.

16. После большой битвы, лишившись сына, павшего в единоборстве с Брутом, Тарквиний бежал в Клузий и попросил помощи у Ларса Порсены, самого могущественного из италийских царей, славившегося, в то же время, добротой и отвагой. Порсена обещал ему свою поддержку и начал с того, что отправил в Рим послов с требованием снова принять Тарквиния. Римляне не повиновались, тогда Порсена объявил им войну, указав время и место своего вторжения, и в назначенный срок явился с большим войском. Попликола в свое отсутствие был вторично избран консулом, и вместе с ним – Тит Лукреций. Вернувшись в Рим и желая прежде всего превзойти Порсену твердостью духа, Попликола основал город Сигнурию (хотя враг был уже совсем близко), с большими затратами обнес ее стеной и отправил туда семьсот переселенцев, чтобы показать, насколько незначительной считает он эту войну и как мало ее боится. Но после ожесточенного нападения царь выбил караульных с Яникула[19], и, стремглав убегая, они едва не привели за собой неприятеля в Рим. Лишь перед самыми воротами на выручку подоспел Попликола и, завязав сражение у реки, выдерживал натиск превосходящих сил противника до тех пор, пока, покрытый множеством ран, не упал и не был вынесен с поля сражения. Когда и второго консула, Лукреция, постигла та же участь, римляне пали духом и, спасая жизнь, побежали к городу.

Враги толпою ринулись к деревянному мосту, и Рим едва-едва не был взят приступом. Но Гораций Коклес и еще двое прославленных мужей, Германий и Ларций, первыми оказали сопротивление подле моста. Гораций получил прозвище Коклеса, потеряв на войне один глаз. Другие утверждают, будто он был до того курнос, что между глазами почти не оставалось промежутка, а брови у него срослись, и, народ, желая назвать его "Киклопом"[20], но, плохо выговаривая это слово...* превратился в Коклеса. Итак, стоя перед мостом, он сдерживал врага до тех пор, пока его товарищи не сломали мост у него за спиной. Тогда он, как был, в полном вооружении, бросился в реку, переплыл ее и выбрался на

*Текст испорчен.

противоположный высокий берег, хотя этрусское копье угодило ему в ягодицу. Восхищенный его мужеством, Попликола предложил, чтобы все римляне немедленно принесли и отдали ему столько съестных припасов, сколько каждый ежедневно потребляет сам, а впоследствии отрезали столько земли, сколько Коклес сможет опахать за день. И, наконец, ему поставили бронзовую статую в храме Вулкана[21], чтобы этой почестью вознаградить его за хромоту, бывшую следствием ранения.

17. Порсена теснил Рим все сильнее, и в городе начался голод, а тем временем в римские владения вторглось, по собственному почину, еще одно этрусское войско. Попликола, избранный консулом в третий раз, считал, что с Порсеной следует бороться, оставаясь на месте и тщательно охраняя город, но против этрусков выступил, разбил их и обратил в бегство; неприятель потерял убитыми пять тысяч человек.

О подвиге Муция рассказывают многие, и все по-разному; следует и нам изложить это событие – в том виде, в каком оно признано наиболее близким к истине. Это был человек, исполненный всяческих доблестей, но в особенности – воинских. Задумав убить Порсену, он оделся по-этрусски и, зная неприятельскую речь, проник в лагерь. Он походил вокруг возвышения, на котором сидел царь со свитой, но, не зная его в лицо, выведывать же опасаясь, обнажил меч и убил того из сидевших, кто, по его мнению, всего более напоминал царя. Муция сразу схватили и стали допрашивать; рядом он увидел жаровню с горящими углями, приготовленную для Порсены, который собирался принести жертву, Муций положил на нее правую руку и, стоя перед царем, решительно и бестрепетно смотрел ему в лицо, меж тем как огонь сжигал его руку. Это длилось до тех пор, пока пораженный Порсена не отпустил его и не отдал ему меч, протянув оружие с возвышения. Муций принял его левой рукой, и отсюда, говорят, его прозвище Сцевола, что значит "Левша". Он сказал, что победил страх перед Порсеной, но побежден его великодушием, а потому из благодарности откроет то, чего бы никогда не выдал, покоряясь насилью. "Триста римлян, – продолжал он, – с тем же намерением, что и я, бродят по твоему лагерю, выжидая удобного случая. Мне выпал жребий начать, и я не в обиде на судьбу оттого, что ошибся и не убил благородного человека, который должен быть римлянам скорее другом, чем врагом". Порсена поверил его словам и стал склоняться к мысли о перемирии – не столько, мне думается, из страха перед тремястами убийц, сколько дивясь и восхищаясь отвагой и доблестью римлян. Этого человека все называют Муцием и Сцеволой, но Афинодор, сын Сандона, в сочинении, посвященном сестре Цезаря Октавии, говорит, что у него было еще одно имя – "Поздно родившийся"[22].

18. Со своей стороны, и Попликола видел в Порсене не столько грозного врага, сколько человека, достойного стать другом и союзником Рима, а поэтому он охотно предоставлял на его суд решение спора с Тарквинием: он неоднократно и с полной уверенностью в своей правоте призывал к этому царя, обещая доказать, что римляне по справедливости лишили власти самого дурного из людей. Но подобный план действий вызывал резкие возражения Тарквиния, заявлявшего, что он не подчинится никакому судье, в особенности – Порсене,

коль скоро тот, прежде обещав свою помощь, теперь идет на попятный; и Порсена, возмущенный и негодующий, слыша к тому же просьбы своего сына Аррунта, усердно хлопотавшего за римлян, прекратил войну на условиях, что противник очистит захваченные им земли в Этрурии и вернет пленных, получив взамен своих перебежчиков. В подтверждение этих условий римляне выдали заложников – десять знатнейших патрициев и столько же девушек, среди которых была и дочь Попликолы Валерия.

19. Выполняя свои обязательства, Порсена уже полностью прекратил военные действия, когда как-то раз римские девушки спустились к реке искупаться – в том месте, где берег, изгибаясь полумесяцем, делает течение ровным и тихим. Не видя рядом ни стражи, ни иных каких-либо посторонних глаз на суше или на воде, они испытали вдруг неодолимое желание переправиться через Тибр – такой быстрый и изобилующий глубокими омутами. Некоторые пишут, что одна из девушек, по имени Клелия, переплыла поток на коне, ободряя остальных. Когда они благополучно прибыли к Попликоле, тот не пришел в восторг от их поступка и даже не одобрил его, а был опечален тем, что прослывет менее добросовестным, нежели Порсена, и что причиною дерзости девушек сочтут коварство римлян. И вот, собравши беглянок, он всех отправил назад к Порсене. Об этом заранее узнали люди Тарквиния и, устроив засаду у переправы, превосходящими силами ударили на тех, кто сопровождал девушек. Провожатые, однако, стали защищаться, и дочь Попликолы, Валерия, пробившись через самую гущу сражающихся, бежала, а вместе с нею – трое рабов, которые ее спасли. Прочие девушки, с немалою для себя опасностью, оставались среди бойцов, но Аррунт, сын Порсены, узнав о случившемся, тут же бросился на помощь римлянам и избавил их от смертельной опасности, обратив неприятеля в бегство. Когда девушек привели к Порсене, тот, взглянувши на них, спросил, кто была зачинщицей побега и подбила на него остальных. Ему назвали Клелию. Порсена окинул ее взором благосклонным и веселым, велел привести из царских конюшен коня в богатом уборе и подарил его девушке. Это считают свидетельством своей правоты те, кто держится мнения, что Клелия одна переправилась через реку верхом. Но другие с ними не соглашаются, полагая, что этруск просто хотел почтить ее поистине мужскую отвагу. Там, где Священная улица начинает подниматься на Палатин, стоит конная статуя Клелии[23], которую, однако, иные считают изображением Валерии.

Не говоря о многих других доказательствах царского великодушия, которые, примирившись с римлянами, дал городу Порсена, он не велел этрускам брать с собою ничего, кроме оружия, и, оставив лагерь, полный хлеба и всевозможного добра, передал его римлянам. По этой причине и теперь еще, пуская с торгов общественное имущество, сначала объявляют о продаже вещей Порсены, вечно храня память об этом человеке за его милость и благодеяние. Кроме того, рядом со зданием сената стояла бронзовая статуя Порсены грубой и старинной работы.

20. Вскоре в римские владения вторглись сабиняне; консулами были избраны брат Попликолы Марк Валерий и Постумий Туберт. Пользуясь во всех важнейших вопросах советами и прямым руководством Попликолы, Марк одержал

победу в двух больших сражениях, причем за второе из них, в котором, не потеряв ни одного римлянина, он истребил тринадцать тысяч неприятелей, получил, кроме триумфа, почетный дар: на общественный счет ему был выстроен дом на Палатинском холме. В ту пору двери во всех домах распахивались внутрь, и лишь в доме Марка Валерия дверь сделали отворяющейся наружу – исключение, означавшее, что он всегда может принять участие в любом из государственных дел. Говорят, что, напротив, все греческие дома прежде открывались наружу; такое заключение делают на основании комедии, где перед тем, как выйти на улицу, бьют и колотят изнутри в собственную дверь, чтобы оповестить об этом прохожих или остановившихся подле дома и не ушибить их створами дверей, распахивающихся в узкий переулок.

21. На следующий год Попликола снова был консулом – в четвертый раз. Ждали войны с сабинянами и латинянами, которые заключили союз между собой. В то же время город оказался во власти суеверного страха: все беременные женщины выкидывали уродов, ни одной не удавалось доносить плод до конца. Следуя наставлениям Сивиллиных книг[24], Попликола умилостивил Плутона, затем, по совету оракула Аполлона Пифийского, устроил игры и, надеждами на богов внушив гражданам спокойствие, обратил свой ум к опасностям, которыми грозили Риму люди: скопление врагов и их приготовления казались неслыханными.

Среди сабинян был некий Аппий Клавз, человек богатый, сильный и отважный, но всего более превосходивший других нравственными качествами и красноречием. Он не избег общей участи всех выдающихся людей – зависти, и сам подал завистникам повод к обвинениям, отговаривая сограждан от войны: враги утверждали, будто он хочет возвышения Рима, чтобы лишить отечество свободы и подчинить его власти тиранна. Видя, что такие речи встречают у толпы благосклонный прием, а сам он не пользуется ни малейшим расположением большинства, настроенного весьма воинственно, Клавз побоялся обратиться в суд, но, располагая значительными силами единомышленников, друзей и родичей, готовых его защищать, поднял мятеж. Это помешало сабинянам начать войну в назначенный срок. У Попликолы, считавшего весьма существенным не только тщательно следить за этими событиями, но и всячески раздувать мятеж, нашлись верные люди, которые от его имени внушали Клавзу примерно следующее: "Попликола думает, что тебе, человеку благородному и справедливому, не следует обороняться от своих же сограждан с помощью зла, хоть ты и потерпел от них обиду. А вот если бы ты пожелал, спасая себя, переселиться, бежать от тех, кто тебя ненавидит, он и от лица государства и частным образом принял бы тебя, как того заслуживает твоя доблесть и требует слава римского народа". Тщательно все взвесив, Клавз нашел такой выход наилучшим из тех, какие ему оставались, и, позвав за собою друзей (которые также многих склонили к подобному решению), поднял с места пять тысяч семейств – мужчин, женщин и детей, самых миролюбивых, спокойных и тихих среди сабинян, и привел их в Рим. Попликола, оповещенный заранее, встретил их так радушно и благосклонно, что большего и желать было нельзя. Консул немедленно ввел семьи сабинян в состав государства и нарезал каждой по два югера земли у реки

Аниена, а Клавзу дал двадцать пять югеров и внес его в списки сенаторов. Заняв с самого начала столь высокое положение, Клавз повел себя так разумно, что достиг высшего почета и большого могущества и положил основание роду Клавдиев, одному из знатнейших в Риме.

22. Благодаря этому переселению раздоры между сабинянами кончились, но своекорыстные искатели народной благосклонности не давали установиться миру и покою. Они вопрошали с негодованием: а что если Клавз, превратившись в изгнанника и врага, выполнит то, чего не добился прямыми уговорами, – не даст сабинянам рассчитаться с римлянами за все обиды?! Наконец большое войско выступило в поход и расположилось близ Фиден; спрятав две тысячи тяжеловооруженных пехотинцев перед самым Римом, в лесистой лощине, сабиняне намеревались ранним утром открыто выслать маленький отряд конницы для захвата добычи. Всадники должны были, подъехавши к городу, обратиться затем в бегство и отступать до тех пор, пока не заманят врага в засаду. Но Попликола, в тот же день узнав об этом от перебежчиков, быстро ко всему приготовился и разделил свои силы. Его зять Постумий Альб с тремя тысячами тяжелой пехоты еще вечером занял вершины холмов, под которыми засели сабиняне, и не спускал глаз с неприятеля, второму консулу, Лукрецию, с самыми молодыми и проворными воинами было поручено напасть на всадников, которые выедут за добычей; а сам Попликола, взяв оставшуюся часть войска, зашел врагам в тыл. По счастливой для римлян случайности, на рассвете упал густой туман, и вот, одновременно, Постумий с криком ударил сверху на скрывавшихся в засаде, Лукреций бросил своих людей против головного отряда конницы, а Попликола напал на вражеский лагерь. Повсюду дела сабинян шли плохо, и они несли тяжелые потери. Прекращая сопротивление и обращаясь в бегство, они немедленно погибали от руки римлян – сама надежда на спасение обернулась для них горчайшим злом. Каждый полагал, что товарищи в другом месте одержали победу, и не старался сохранить свои позиции, но одни мчались из лагеря к сидевшим в засаде, другие, наоборот, – в сторону укреплений, так что беглецы сталкивались в пути с теми, к кому они бежали, и оказывалось, что те, на чью помощь они уповают, сами нуждаются в помощи. В тот день сабиняне пали бы все до последнего, никто бы не уцелел, если бы не близость города Фиден, оказавшаяся спасительной главным образом для тех, кто ускользнул из лагеря, когда в него ворвались римляне. Все прочие были либо перебиты, либо уведены в плен.

23. Эту победу римляне, которые обычно всякий большой успех приписывают божеству, сочли заслугой одного лишь полководца, и участники битвы прямо говорили, что Попликола отдал в их руки врагов – слабоумных, слепых и разве что не связанных по рукам и ногам. Кроме того, народ окреп и разбогател благодаря добыче и пленным. Попликола справил триумф, передал власть вновь избранным консулам и сразу вслед за тем умер, совершив за свою жизнь все самое высокое и прекрасное, что только доступно людям. Римляне в убеждении, что им ни разу не удалось достойно почтить Попликолу при жизни, меж тем как их долг признательности покойному неоплатен, решили похоронить его тело на общественный счет, и каждый принес четверть асса[25].

Женщины, сговорившись между собой, целый год носили по нему траур – почетный и завидный. Похоронили его – также по решению граждан – в стенах города, подле так называемой Велии, и весь его род имеет право на погребение в этом месте. Теперь, однако, там никого не хоронят, но лишь доставляют туда труп, опускают носилки, и кто-нибудь на мгновение подносит к ним горящий факел, тем самым подтверждая, что им дозволено выполнить обряд здесь же, но они добровольно отказываются от этой чести, после чего погребальная процессия движется дальше.



[Сопоставление]

24(1). Не правда ли, есть в этом сопоставлении нечто особенное, чего не встретишь ни в одном из уже написанных? Я хочу сказать, что второй подражал первому, первый же как бы заранее свидетельствовал о втором. Взгляни сам и ты убедишься, что слова Солона о счастье, обращенные к Крезу, применимы скорее к Попликоле, нежели к Теллу. Телла Солон назвал блаженнейшим из смертных за счастливый удел, нравственное совершенство и счастье в детях, но ни единым похвальным словом не упомянул его в своих стихотворениях; равно ни его дети, ни исполнение им какой-либо важной государственной должности не принесли ему особой славы. Попликола и при жизни был первым среди римлян, благодаря своим нравственным качествам всех превзойдя могуществом и славою, и после смерти первенствует в самых знаменитых римских родах, ибо вплоть до нашего времени, более,чем шестьсот лет, пронесли славу своего благородного происхождения Попликолы, Мессалы и Валерии. Телл погиб, как человек храбрый и честный: он был убит в сражении с неприятелем, твердо блюдя свое место в строю. Попликола, истребив врагов, – а это завиднее и удачнее, чем самому пасть в бою, – увидев отечество победившим под его, Попликолы, главенством и руководством, стяжавши почести и справивши триумфы, обрел как раз такую кончину, к какой стремился Солон. И действительно, когда споря с Мимнермом о сроке человеческой жизни, Солон восклицает

Пусть неоплаканной смерть не останется! Пусть, умирая,
Тяжкое горе и боль всем я друзьям причиню!

он объявляет счастливым Попликолу, смерть которого повергла в слезы, печаль и уныние не только друзей и близких, но весь город, многие десятки тысяч. Римлянки оплакивали его так, словно потеряли общего для всех сына, брата или отца. Солон говорил:

Быть я богатым хочу, но нечестно владеть не желаю
Этим богатством,

так как придет час расплаты – он страшился возмездия. Попликоле выпало на долю не только честно владеть богатством, но и отлично тратить его, делая добро нуждающимся. Стало быть, если Солон – мудрейший из людей, то Попликола – счастливейший. Блага, которые первый считал величайшими и самыми прекрасными, второму удалось приобрести и сохранить до самой смерти.

25(2). Так Солон возвеличил и украсил Попликолу, а тот в свою очередь – Солона, избрав его за лучший образец для того, кто решил возвеличить демократический образ правления. Он лишил власть чванного высокомерия, сделал ее легкой, ко всем благожелательной и перенял многие из законов Солона. Право назначать высших должностных лиц он вручил большинству и предоставил обвиняемым возможность обжаловать приговор перед народом (так же как Солон – перед судьями); правда, он не создал, подобно Солону, второго Совета, но расширил существующий почти вдвое, и он же учредил должность казначеев-квесторов, чтобы консул, если он честен, располагал досугом для других, более важных дел, если же порочен – чтобы оставить ему меньше возможностей для злоупотреблений, которые он мог бы совершать, держа в своих руках и исполнительную власть и деньги.

Ненависть к тираннам у Попликолы сильнее, чем у Солона, который налагает определенное наказание на уличенного в тираннических замыслах, меж тем как Попликола велит убивать такого человека без суда. Солон справедливо гордится тем, что он отказался от тираннии, которую ему предлагало само стечение обстоятельств и которую граждане приняли бы без малейшего неудовольствия, но не менее благородны, действия Попликолы, который, приняв единоличную власть, превратил ее в более демократическую и даже не воспользовался теми правами, какие она предоставляла. Но, кажется, еще раньше пользу подобных действий оценил Солон, сказав, что народ

Будет охотно тогда за вождями идти, коль не будут
Слишком ему потакать, слишком его угнетать.

26(3). Заслуга, принадлежащая исключительно Солону, – освобождение от долгов, всего более утвердившее свободу граждан. И верно, что проку от равенства, предоставляемого законами, если его отнимают у бедняков долги, что проку, если, на первый взгляд, все наслаждаются полной свободой, а на самом деле находятся в полнейшем рабстве у богачей и, заседая в суде, исполняя должность, выступая с ораторского возвышения, покорно следуют их воле?! Заслуга его тем замечательнее, что обычно за отменою долгов следует мятеж, и лишь Солон, точно врач, своевременно употребивший опасное, но сильно действующее средство, пресек даже прежние волнения и своею славой, своим внутренним величием подавил все грязные толки и клевету.

Если рассматривать государственную деятельность обоих в целом, то в начале ее преимущество на стороне Солона, – он сам вел вперед, а не шел следом, и большинство своих великих начинаний исполнил один, а не с чужою помощью, – но Попликола настолько удачно свое дело завершил, что ему можно позавидовать. Да, ибо Солону своими глазами довелось увидеть, как рухнул

созданный им строй, а установления Попликолы хранили государство от смут вплоть до междоусобных войн. Первый, издав законы, бросил их без всякой защиты, лишь начертанными на деревянных досках, а сам уехал из Афин, второй, оставаясь в Риме и управляя государством, дал ему крепкое и надежное основание. К тому же первый, хоть и предвидел будущее, но не смог помешать Писистрату и был разбит нарождающейся тиранией; второй низверг и сокрушил царскую власть, могучую, многолетнюю и глубоко укоренившуюся, выказав такую же доблесть и руководясь теми же намерениями, но, кроме доблести, владея еще удачей и силой, способной достигнуть намеченных целей.

27(4). Что до воинских подвигов, Солон, если верить свидетельству платейца Даимаха, непричастен даже к той войне с мегарянами, о которой мы рассказывали, Попликола же, и сам сражаясь в строю, и командуя войском, вышел победителем из битв огромной важности. К государственным делам Солон приступил словно играя: чтобы сказать речь в защиту Саламина, он надел на себя личину безумца. Попликола с самого начала бросился в гущу грозных опасностей: он восстал против Тарквиниев, разоблачил предательство, был главным виновником того, что негодяи не ушли от наказания, он не только изгнал из Рима самих тираннов, но вырвал с корнем все их надежды. Храбро и стойко встретив события, потребовавшие борьбы, страсти, упорства, он еще лучше сумел воспользоваться мирными сношениями, где главное – убеждающая сила слова: Порсену, непобедимого и страшного, он удачно расположил в пользу римлян и склонил к дружбе.

Здесь, быть может, кто-нибудь возразит, что Солон вернул афинянам потерянный Саламин, тогда как Попликола отказался от тех земель, которыми римляне уже владели. Но всякое действие следует рассматривать в связи с обстоятельствами, лежащими в его основе. Искусство государственного деятеля в том и заключается, чтобы в каждом данном случае поступать наиболее разумным и выгодным образом: нередко, упуская часть, он спасает целое и, отказываясь от малого, получает гораздо больше, как было и с Попликолой, который, отказавшись тогда от чужой земли, надежно избавил от опасности всю собственно римскую землю. Те, кому казалось великим благом хотя бы сберечь родной город, благодаря своему консулу завладели лагерем осаждавших. Наконец, поручив решить спор с Тарквинием неприятелю, Попликола не просто выиграл эту тяжбу, но еще приобрел столько, сколько другие ради победы охотно бы отдали сами. Ведь Порсена и положил конец войне, и подарил римлянам свое военное снаряжение, поверив в доблесть и безукоризненное благородство всего народа, веру же эту ему внушил консул.





ФЕМИСТОКЛ И КАМИЛЛ

ФЕМИСТОКЛ

1. Что касается Фемистокла, то его род был не настолько знатен[1], чтобы способствовать его славе. Отец его Неокл не принадлежал к высшей аристократии Афин; он был из дема Фреарры, относящегося к филе Леонтиде. Со стороны матери Фемистокл был незаконнорожденный[2], как видно из следующих стихов:

Абротонон я, фракиянка родом, но мать Фемистокла;
Мужа великого я эллинам всем родила.

Фаний, впрочем, говорит, что мать Фемистокла была не из Фракии, а из Карии, и что имя ее было не Абротонон, а Эвтерпа. Неанф указывает даже город в Карии, из которого она происходила, – Галикарнасс. Незаконнорожденные собирались в Киносарге: это – гимнасий за городскими воротами, посвященный Гераклу, потому что среди богов и он не был чистой крови, но считался незаконнорожденным по матери, которая была смертной женщиной. Фемистокл стал уговаривать некоторых молодых аристократов ходить в Киносарг и вместе с ним заниматься гимнастическими упражнениями. Они стали ходить. Таким лукавством он, говорят, уничтожил разницу между полноправными гражданами и незаконнорожденными. Однако несомненно, что он имел какое-то отношение к роду Ликомидов: он сам вновь отстроил и украсил картинами, как рассказывает Симонид, родовое святилище Ликомидов во Флии, сожженное варварами.

2. Еще в детстве Фемистокл, по отзывам всех, был полон бурных стремлений, по природе умен и сам развивал в себе наклонность к подвигам и к общественной деятельности. Так, в часы отдыха и досуга, покончив с учебными занятиями, он не играл и не оставался праздным, как другие дети, но его находили обдумывающим и сочиняющим про себя какие-нибудь речи. Темою этих речей было обвинение или защита кого-нибудь из детей. Поэтому учитель его не раз говаривал ему: ''Из тебя, мальчик, не выйдет ничего посредственного, но что-нибудь очень великое, – или доброе, или злое!'' Действительно, тем предметам, которые изучаются для развития нравственности или для удовольствия и благородного времяпрепровождения, Фемистокл учился лениво и неохотно; но то, что преподавалось для развития ума или для практической жизни, он, как видно, любил не по годам, рассчитывая на свои природные дарования. Поэтому впоследствии, когда во время развлечений, носящих название благородных[3], светских, люди, считавшие себя воспитанными,

насмехались над ним, ему приходилось защищаться довольно грубо и говорить, что лиру настроить и играть на псалтири он не умеет, но, если дать ему в распоряжение город безвестный, ничем не прославившийся, то он сможет сделать его славным и великим. Стесимброт, однако, утверждает, что Фемистокл был слушателем Анаксагора и учился у физика Мелисса. Но он делает ошибку в хронологии: когда Перикл, бывший гораздо моложе Фемистокла, осаждал Самос, Мелисс был стратегом его противников, а Анаксагор был современником Перикла. Поэтому лучше верить тем авторам, которые утверждают, что Фемистокл был последователем Мнесифила Фреарского[4]. Последний не был ни преподавателем красноречия, ни одним из тех философов, которых называли физиками[5]; он избрал своей специальностью то, что тогда называли ''мудростью'', а в действительности было умением вести государственные дела, практическим смыслом. Это учение Мнесифил унаследовал от Солона и превратил в философскую школу. Но последующие учителя применяли к ней адвокатское крючкотворство и перевели ее от дела к слову; они были названы софистами. С этим Мнесифилом Фемистокл сблизился, когда уже был государственным деятелем.

В пору первых порывов молодости Фемистокл был неровен и непостоянен: он следовал только голосу природы, которая без руководства разума и образования производила в нем огромные перемены в ту и другую сторону – и часто уклонялась в дурную; в этом и он сам впоследствии признавался и говорил, что даже самые неукротимые жеребята становятся превосходными конями, если получат надлежащее воспитание и дрессировку. На этих чертах его характера основаны вымыслы некоторых авторов об отречении он него отца, о самоубийстве матери от горя из-за такого позора сына; эти рассказы считаются лживыми. Напротив, некоторые авторы говорят, что отец, стараясь отвлечь его от общественной деятельности, указывал ему на старые триеры, брошенные без всякого внимания на берегу моря: ''Подобным образом, – говорил он, – и народ относится к государственным деятелям, когда они оказываются бесполезными''.

3. Тем не менее общественная деятельность, по-видимому, рано и бурно привлекла к себе Фемистокла; сильно им овладела жажда славы, из-за которой он с самого начала, желая играть первую роль, смело вступал во враждебные отношения с сильными людьми, занимавшими в государстве первые места, особенно же с Аристидом, сыном Лисимаха, который всегда шел по противоположному с ним пути. Но все-таки вражда с ним, как думают, началась по совершенно ничтожному поводу: они оба полюбили красавца Стесилая, уроженца острова Кеоса, как об этом рассказывает философ Аристон. С тех пор они постоянно враждовали и на поприще общественной деятельности.

А несходство в образе жизни и в характере, по-видимому, усилило их расхождение. Аристид, человек мягкий и благородный, в общественной деятельности руководился не стремлением к популярности и славе, но благом государства, осторожностью и справедливостью. Поэтому он был вынужден часто противодействовать Фемистоклу и препятствовать его возвышению, так как Фемистокл старался вовлечь народ в разные предприятия и вводить

крупные реформы. Говорят, Фемистокл горел таким безумным стремлением к славе и из честолюбия так страстно жаждал великих подвигов, что еще в молодости, после сражения с варварами при Марафоне, когда у всех на устах были речи о стратегическом искусстве Мильтиада, он был часто погружен в думы, не спал по ночам, отказывался от обычных попоек; когда его спрашивали об этом и удивлялись перемене в его образе жизни, он отвечал, что спать ему не дает трофей Мильтиада. Все считали поражение варваров при Марафоне концом войны, а Фемистокл видел в нем начало более тяжкой борьбы, к которой он и сам готовился для спасения всей Эллады, и сограждан своих приучал, задолго предвидя будущее.

4. Так как у афинян был обычай делить между собою доходы от серебряных копей на Лаврии, Фемистокл прежде всего решился выступить один в народном собрании с предложением прекратить такой дележ, а на эти деньги построить триеры[5] для войны с Эгиной. Эта война в Элладе была тогда в полном разгаре: Эгина благодаря своему сильному флоту властвовала над морем. Тем легче было Фемистоклу уговорить сограждан, не стращая их ни Дарием, ни персами (они были далеко, и не было вполне твердого основания бояться их нашествия); но он как раз вовремя использовал соперничество и гнев граждан против Эгины для подготовки к войне с Персией: на эти деньги было построено сто триер, которые и сражались с Ксерксом. Затем понемногу он начал увлекать граждан к морю, указывая им, что на суше они не в состоянии померяться силами даже с соседями, а при помощи сильного флота могут не только отразить варваров, но и властвовать над Элладой. Так, по выражению Платона[6], он сделал их из стойких гоплитов матросами и моряками. Этим он дал повод к упреку, что дескать Фемистокл отнял у сограждан копье и щит и унизил афинский народ до гребной скамейки и весла. Эту меру он провел, по свидетельству Стесимброта, одержав победу над Мильтиадом[7], который был против этого. Повредил ли он этим строгости и чистоте государственного строя, или нет, – это скорее вопрос философский; но что спасение эллинов тогда зависело от моря, и что те триеры восстановили Афины, это, помимо других доказательств, засвидетельствовал и сам Ксеркс. Хотя сухопутные войска его оставались еще невредимы, он бежал после гибели флота, признав свое поражение, и оставил Мардония, как мне кажется, не столько для порабощения эллинов, сколько для того, чтобы помешать им преследовать его.

5. Говорят, Фемистокл был ревностным стяжателем, – по словам одних, вследствие своей щедрости, так как любил жертвоприношения и блеск при приемах иностранцев[8], а это требовало очень больших средств. Другие, напротив, обвиняют его в скряжничестве и мелочности, – будто бы он даже продавал присланные ему в подарок съестные припасы. Однажды он попросил жеребенка у Дифилида, имевшего конский завод; Дифилид не дал; тогда Фемистокл пригрозил, что он скоро сделает его дом деревянным конем[9]: этим он намекал на то, что возбудит семейные ссоры и тяжбы между ним и некоторыми членами его дома.

В честолюбии он всех превзошел. Еще в молодости, когда он был неизвестен, он упросил Эпикла из Гермиона, кифариста, пользовавшегося большим

уважением в Афинах, чтобы он занимался музыкой у него в доме: он желал из честолюбия, чтобы много людей искало доступа в его дом и ходило к нему.

Приехав однажды в Олимпию, он стал соперничать с Кимоном в роскоши пиров, палаток и вообще в блеске обстановки. Но это не нравилось эллинам: Кимону, молодому человеку, члену знатной фамилии, находили они, подобные поступки дозволительны; а Фемистокл, еще ничем себя не прославивший, казался даже хвастуном, потому что все видели, что он хочет себя возвеличить, не имея для этого ни средств, ни заслуг. Бывши хорегом на представлении трагедии, он одержал победу; это состязание уже тогда было предметом честолюбивого соревнования; в память этой победы он поставил доску с такой надписью: "Фемистокл фреарриец был хорегом, Фриних – автором пьесы, Адимант – архонтом".

Но народу Фемистокл нравился, как потому, что на память называл по имени каждого гражданина, так и потому, что оказывался беспристрастным судьею в делах частного характера. Так, когда он был стратегом, а Симонид Кеосский просил у него чего-то незаконного, он ответил ему, что, как он, Симонид, не был бы хорошим поэтом, если бы в своих стихах не соблюдал законов стихосложения, так и он, Фемистокл, не был бы хорошим правителем, если бы в угоду кому-нибудь поступал противозаконно. В другой раз он насмехался над Симонидом, называл его человеком безумным за то, что он ругает коринфян, жителей большого города, и что заказывает свои изображения, хотя у него такое безобразное лицо. Когда его влияние возросло и он стал популярен, он наконец одержал верх в борьбе на государственном поприще и посредством остракизма[11] заставил Аристида удалиться из Афин.

6. Когда, во время нашествия мидян на Элладу, афиняне совещались о выборе стратега[12], говорят, все добровольно отказались от этой должности из страха перед опасностью. Только Эпикид, сын Эвфемида, главарь красноречивый, но в душе трусливый и на деньги падкий, желал получить эту должность, и можно было ожидать, что он при голосовании одержит верх. Тогда Фемистокл, опасаясь полной гибели государства, если верховное начальство достанется Эпикиду, купил деньгами у него отказ от его честолюбивых замыслов.

Хвалят также поступок Фемистокла с человеком, говорившим на двух языках, который был одним из посланцев персидского царя, требовавших земли и воды[13], и переводчиком. Согласно народному постановлению, Фемистокл велел схватить и казнить его за то, что он осмелился пользоваться эллинским языком для передачи приказаний варвара.

Хвалят еще поступок Фемистокла с Артмием из Зелеи: по его предложению, Артмия с потомством внесли в список лиц, находящихся вне закона, за то, что он привез мидийское золото в Элладу.

Но главная заслуга Фемистокла та, что он положил конец междоусобным войнам в Элладе и примирил отдельные государства между собою, убедив их отложить вражду ввиду войны с Персией; в этом деле, говорят, ему оказал очень большую помощь Хилей из Аркадии.

7. Вступив в должность стратега, Фемистокл тотчас же начал убеждать граждан сесть на триеры, оставить город и встретить варваров в море, как

можно дальше от Эллады. Но ввиду сопротивления со стороны многих граждан он повел большое войско в Темпейскую долину вместе со спартанцами, чтобы защищать там Фессалию, которая тогда, как думали, еще не была на стороне персов. Но они возвратились откуда, не достигнув цели: Фессалия присоединилась к царю, и все области вплоть до Беотии были на стороне персов. Тогда афиняне стали с бо́льшим вниманием относиться к совету Фемистокла относительно моря и послали его с флотом к Артемисию для охраны пролива. Тут эллины предоставили главное командование Эврибиаду и спартанцам; но афиняне, у которых число кораблей было, пожалуй, больше, чем у всех остальных эллинов, вместе взятых, считали унижением для себя подчиняться другим. Фемистокл, понимая опасность этого, сам уступил командование Эврибиаду и успокоил афинян обещанием, что, если они покажут свою храбрость на войне, то он добьется того, чтобы эллины на будущее время добровольно подчинялись им. Поэтому Фемистокл считается главным виновником спасения Эллады; по общему признанию, именно благодаря ему афиняне прославились, – тем, что они храбростью превзошли неприятелей, благородством – союзников. Когда варварский флот подошел к Афетам[14], Эврибиад испугался множества кораблей, ставших против него, и, узнав, что еще другие двести плывут по ту сторону Скиафоса, огибая его, хотел как можно скорее вернуться к внутренним областям Эллады, пристать к Пелопоннесу и привлечь к защите флота еще и сухопутное войско; он считал морскую мощь царя совершенно непреодолимой. Эвбейцы, боясь, чтобы эллины не бросили их на произвол судьбы, завели тайные переговоры с Фемистоклом и послали к нему Пелагонта с большой суммой денег. Фемистокл принял деньги и отдал их Эврибиаду, как рассказывает Геродот[15]. Больше всех афинских граждан противодействовал ему Архитель, триерарх священного корабля[16]; за неимением денег для уплаты матросам, он спешил отплыть на родину. Фемистокл еще более вооружил против него матросов, так что они сбежались и отняли у него ужин. Архитель от этого пал духом и был раздражен, Фемистокл послал ему в ящике хлеба и мяса на ужин, а вниз подложил талант серебра и велел ему теперь ужинать, а на другой день позаботиться о матросах: в противном случае он обвинит его перед гражданами в том, что он получил взятку от неприятелей. Так рассказывает Фаний Лесбосский.

8. Тогдашние сражения с варварским флотом в проливе не имели большого влияния на общий ход войны, но послужили очень полезным опытом для эллинов, которые на практике, среди опасностей, убедились, что ни множество кораблей, ни великолепие и блеск их украшений, ни хвастливые крики и варварские военные песни не заключают в себе ничего страшного для людей, умеющих сходиться с неприятелями вплотную и отваживающихся с ними сражаться; что не следует обращать внимания на это, а ринуться на врагов и, схватившись с ними, биться. По-видимому, это ясно понял и Пиндар[17], сказавший по поводу сражения при Артемисии следующее:

...там афинян сыны заложили
Славный свободы оплот.

И правда: начало победы – смелость. Артемисий – это берег Эвбеи за Гестиэей, обращенный к северу, а против него как раз лежит Олизон в стране, бывшей когда-то под властью Филоктета. В Артемисии есть небольшой храм Артемиды, именуемой "Восточная". Вокруг него растут деревья и кругом поставлены колонны из белого камня; если этот камень потереть рукою, то он принимает цвет и запах шафрана. На одной из колонн была следующая надпись элегическими стихами:

Множество всяких народов, из Азии дальней пришедших,
Чада Афин поразив на море этом в бою,
Памятник сей Артемиде поставили, деве-богине,
После того как все войско погибло мидян[18].

Показывают место на побережье, где среди большого количества песка из глубины извлекается черная пыль, похожая на золу, как будто горелая; предполагают, что на этом месте были сожжены обломки кораблей и трупы.

9. Когда узнали от гонцов, принесших в Артемисий известие о событиях при Фермопилах, о том, что Леонид пал, а Ксеркс овладел сухопутными проходами, флот начал отступать к внутренним областям Эллады, причем афинян за их храбрость поставили позади всех, и они гордились своими подвигами.

Плывя вдоль берегов, Фемистокл повсюду, где неприятель необходимо должен был приставать, спасаясь от бури, делал заметными буквами надписи на камнях, которые случайно находил или сам ставил около корабельных стоянок и источников. В этих надписях он обращался к ионянам с воззванием, если можно, перейти к афинянам, своим отцам[19], борющимся за их свободу; а если нельзя, то, по крайней мере, вредить варварскому войску во время битвы и приводить его в расстройство. Он надеялся этими надписями или склонить ионян к измене или смутить варваров, заставив их относиться с большей подозрительностью к ионянам.

Между тем, Ксеркс через Дориду вторгся в Фокиду и жег фокейские города. Эллины не пришли к ним на помощь, несмотря на просьбы афинян идти в Беотию навстречу врагу для защиты Аттики, подобно тому, как они сами пошли им на помощь по морю, к Артемисию. Никто не слушал их: все думали только о Пелопоннесе, хотели сосредоточить все силы за Истмом и строили стену поперек Истма от моря до моря. Афиняне негодовали на такое предательство и, оставшись в одиночестве, впали в отчаяние и печаль. Сражаться с таким бесчисленным войском они и не думали; при тогдашних обстоятельствах было необходимо одно – оставить город и крепко держаться кораблей; но народ об этом и слышать не хотел: говорили, что им не нужна победа и что для них спасение – не спасение, если придется бросить храмы богов и могилы отцов.

10. Фемистокл, не зная, как склонить на свою сторону народ человеческими рассуждениями, прибег к помощи божественных знамений и оракулов, – как будто в трагедии "подняв машину"[20]. Так, он истолковал как знамение случай с драконом[21], который в те дни, по-видимому, исчез из храма; находя нетронутой священную пищу, которую ему ежедневно приносили, жрецы рассказывали об

этом народу. Фемистокл объяснял это в том смысле, что богиня оставила город и указывает им путь к морю.

В другой раз он воспользовался оракулом с демагогической целью: он сказал, что под "деревянной стеной" разумеется не что иное, как корабли; поэтому и Саламин бог называет божественным, а не ужасным или злополучным, поскольку он даст название великому, счастливому для эллинов событию. Когда его мнение было принято, он предложил принять постановление о том, чтобы город вверить покровительству Афины, "владычицы Афин", чтобы все способные носить оружие сели на триеры, чтобы детей, женщин и рабов каждый спасал, как может. Когда это постановление было принято и вступило в законную силу, огромное большинство афинян отправило детей и жен в Трезен; жители его принимали их с полным радушием: они постановили содержать их на общественный счет, давая каждому по два обола, а детям позволить брать везде плоды; кроме того, платить за них жалованье учителям. Вынести такое постановление предложил Никагор.

Так как у афинян в государственной казне не было денег, то, по свидетельству Аристотеля[22], Ареопаг выдал каждому гражданину, отправлявшемуся в поход, по восьми драхм; таким образом, Ареопагу принадлежит главная заслуга в том, что триеры были снабжены экипажем. Но Клидем и это приписывает хитрости Фемистокла. Именно, когда афиняне спускались в Пирей, рассказывает он, голова Горгоны[23] со статуи богини пропала; осматривая все под предлогом поисков, Фемистокл находил огромное количество денег, спрятанных в поклаже. Эти деньги были обращены в общее пользование, и садившиеся на корабли получили все нужное для пути в изобилии.

Когда весь город уезжал на кораблях, это зрелище внушало одним жалость, другим удивление по поводу такого мужества: семьи свои афиняне провожали в другое место, а сами, не уступая воплям, слезам и объятиям родителей, переправлялись на остров[24]. Однако многие жители, которых по причине старости оставляли в городе, возбуждали глубокое сострадание. Какое-то трогательное впечатление производили сжившиеся с человеком домашние животные, которые с жалобным воем бегали около своих кормильцев, садившихся на корабли. Между прочим, собака Ксанфиппа, отца Перикла, как рассказывают, не перенеся разлуки с ним, прыгнула в море и, плывя подле его триеры, вышла на берег Саламина и тотчас от изнеможения умерла. Там, где показывают и доныне памятник, называемый "Киноссема", говорят, и находится ее могила.

11. Велики эти дела Фемистокла; так же велико и следующее его дело. Он заметил, что граждане жалеют об Аристиде и боятся, как бы он в раздражении не пристал к царю и не погубил Элладу (он был изгнан посредством остракизма еще до войны, побежденный в борьбе с Фемистоклом); поэтому он предложил сделать постановление, дозволявшее всем изгнанникам, за исключением изгнанных за убийство, вернуться на родину и вместе со всеми гражданами делом и словом способствовать благу Эллады.

Из уважения к Спарте главным начальником флота был Эврибиад, человек слабовольный и боявшийся опасности. Он хотел сняться с якоря и плыть к Истму, где было собрано и сухопутное войско пелопоннесцев. Фемистокл стал

возражать ему; при этом и была произнесена, говорят, знаменитая фраза. Эврибиад сказал ему: "Фемистокл, на состязаниях бьют того, кто бежит раньше времени''. – "Да, – отвечал Фемистокл, – однако и того, кто остается позади, не награждают венком''. Эврибиад поднял палку, чтоб его ударить, а Фемистокл сказал: "Бей, но выслушай''. Эврибиад удивился его кротости и велел ему говорить. Фемистокл стал повторять свое прежнее предложение; но тут кто-то сказал, что человеку, не имеющему своего города, не следует уговаривать тех, у кого он есть, оставить и бросить отечество на произвол судьбы. Тогда Фемистокл обратился к нему и сказал: "Негодяй! Да, мы оставили дома и стены, не желая быть рабами из-за бездушных вещей, а город у нас есть, больше всех городов в Элладе, – двести триер, которые теперь стоят здесь, чтобы помогать вам, если вы хотели искать спасения; а если вы уйдете вторично и измените нам, то сейчас же кое-кто из эллинов узнает, что афиняне приобрели и свободный город и землю не хуже[25] той, какую потеряли''. После этих слов Фемистокла Эврибиадом овладело раздумье и страх, как бы афиняне не ушли, бросив их. Эретрийский военачальник попробовал было возразить Фемистоклу, но Фемистокл ему сказал: "И вы тоже рассуждаете о войне, когда у вас, как у каракатицы[26], есть меч, а сердца нет?''

12. В то время, как Фемистокл говорил об этом, стоя на палубе, на верху корабля увидали, по рассказам некоторых, как справа пролетела сова[27] и села на мачту. Это и было главной причиной, почему согласились с мнением Фемистокла и стали готовиться к морскому сражению. Но когда неприятельский флот подошел к Аттике у Фалерской пристани и загородил окрестные берега, когда сам царь, сошедший к морю с сухопутным войском, показался во всем своем могуществе, когда собрались в одно место все его силы, из головы эллинов вылетели речи Фемистокла, и пелопоннесцы стали опять обращать взоры к Истму и были недовольны, когда кто-либо предлагал что-нибудь другое. Поэтому было решено на следующую ночь отступить, и рулевым уже отдавали приказ быть готовыми к отплытию. Тогда Фемистокл, недовольный тем, что эллины упустят случай воспользоваться выгодами, которые дает им местоположение и узость пролива, и разойдутся по городам, стал обдумывать план действий и придумал с участием Сикинна известную хитрость.

Сикинн был родом перс, пленный, но преданный Фемистоклу; он был дядькою его детей. Его-то и послал Фемистокл тайно к Ксерксу с таким сообщением: "Афинский военачальник Фемистокл переходит на сторону царя, первый извещает его о том, что эллины хотят бежать, и советует ему не дать им убежать, а напасть на них, пока они находятся в тревоге по случаю отсутствия сухопутного войска, и уничтожить их морские силы''.

Ксеркс принял это сообщение с радостью, думая, что оно сделано из расположения к нему, и тотчас же стал отдавать приказы начальникам кораблей, чтобы они, не торопясь, сажали людей на суда, а с двумястами кораблей чтобы сейчас же вышли в море и окружили со всех сторон весь пролив, а между островами устроили бы заграждение, чтобы никто из неприятелей не мог уйти.

В то время, как приказание приводили в исполнение, Аристид, сын Лисимаха, первый заметивший это, пришел к палатке Фемистокла (хотя не был его другом

и, как сказано, из-за него был подвергнут остракизму); когда Фемистокл вышел к нему, он сообщил ему об окружении. Фемистокл, зная его всегдашнее благородство и радуясь этому его приходу, рассказал ему о деле с Сикинном и просил его, так как он пользуется большим доверием, помочь ему удержать эллинов и приложить со своей стороны все усилия к тому, чтобы они дали сражение в проливе. Аристид одобрил план Фемистокла, ходил к другим стратегам и триерархам и побуждал их к сражению. Они все-таки еще не верили его сообщению, как вдруг пришла теносская триера, бежавшая к ним от неприятелей, начальником которой был Панетий, и принесла известие об окружении. Вследствие этого, наряду с необходимостью, еще и злоба заставила эллинов решиться на сражение.

13. На рассвете Ксеркс сел на возвышенном месте, обозревая флот и его построение, по словам Фанодема, над храмом Геракла, там, где остров отделяется узким проливом от Аттики, а по словам Акестодора, – на границе с Мегаридой, над так называемыми "Рогами"[28]. Он велел поставить себе золотой трон; около него было много писцов, обязанность которых была записывать, что происходило во время сражения.

Когда Фемистокл совершал жертвоприношение у триеры главного начальника, к нему привели трех пленников, очень красивых собою, роскошно одетых и украшенных золотом. Как говорили, это были дети царской сестры Сандаки и Артаикта. Когда их увидел прорицатель Эвфрантид, жертвы вспыхнули большим, ярким пламенем и в то же время справа кто-то чихнул, что также было добрым предзнаменованием. Тогда Эвфрантид подал руку Фемистоклу и велел ему обречь на жертву юношей и, помолившись, всех их заклать Дионису Оместу[29]: в таком случае будет эллинам спасение и победа. Фемистокл пришел в ужас от этого страшного, чудовищного пророчества. Но, как обыкновенно бывает при большой опасности, в трудных обстоятельствах, толпа ожидает спасения больше от чего-то противоречащего рассудку, чем от согласного с ним: все в один голос стали взывать к богу и, подведя пленников к алтарю, заставили, как приказал прорицатель, совершить жертвоприношение. Так рассказывает философ, хорошо знакомый и с историей, – Фаний Лесбосский.

14. О числе варварских кораблей поэт Эсхил в трагедии "Персы" говорит положительно, как знающий, следующее:

У Ксеркса, верно знаю, тысяча была
Судов, какие вел он; быстрых кораблей –
Тех было дважды сто и семь; так говорят[30].

Аттических кораблей было сто восемьдесят; на каждом из них было по восемнадцати человек, сражавшихся с палубы; из них четверо были стрелки, а остальные – гоплиты. Как видно, Фемистокл столь же хорошо заметил и выбрал время, как и место; он только тогда поставил свои триеры носом против варварских; когда настал час, в который всегда ветер с открытого моря[31] крепнет и гонит волну через пролив. Эллинским кораблям волна не вредила, потому что они были плоски и низки; но варварские корабли, с приподнятою кормой и высокою палубой и поэтому тяжелые, удар волны при их нападении

сбивал с курса и подставлял боковой стороной эллинам, которые нападали на них ожесточенно. Их внимание было обращено на Фемистокла, который, думали они, лучше всех видит, что полезно, потому что против него находился главный начальник Ксерксова флота, Ариамен, на большом корабле и оттуда, как со стены, бросал стрелы и копья. Это был человек хороший и из братьев царя самый храбрый и справедливый. Так вот Аминий из Декелеи и Сокл из Педиэи, плывшие вместе, когда их корабль и корабль Ариамена, налетевши носами один на другой и столкнувшись, сцепились таранами, и Ариамен хотел вскочить на их триеру, стали против него и ударами копья столкнули в море; тело его, плававшее среди корабельных обломков, узнала Артемисия и велела отнести к Ксерксу.

15. В этот период сражения, говорят, великий свет воссиял из Элевсина; шум и голоса наполнили Фриасийскую равнину до моря, как будто множество людей сразу провожало таинственного Иакха[32]. От этой толпы кричавших понемному поднималась с земли туча, которая потом, как казалось, стала опускаться и легла на триеры. Другим казалось, что они видят призраки в образе вооруженных людей, простирающих руки от Эгины перед эллинскими триерами: предполагали, что это эакиды[33], призванные на помощь молениями перед битвой.

Первым, взявшим корабль, был афинский триерарх Ликомед; он срубил с него украшения и посвятил их Аполлону Лавроносцу во Флии. А остальные эллины, число кораблей которых в тесном проливе равнялось числу кораблей варваров, обратили их в бегство, так как они нападали порознь и сталкивались между собою, хотя и сопротивлялись до вечера. Так эллины, по выражению, Симонида, "подъяли ту славную, знаменитую победу", блистательнее которой ни эллинами, ни варварами не совершено ни одного морского дела. Одержана была эта победа, правда, благодаря общей храбрости и рвению всех сражавшихся, но замысел и искусство принадлежали Фемистоклу.

16. После морской битвы Ксеркс все еще не мог примириться с мыслью о неудаче и попытался по насыпям перевести сухопутное войско на Саламин, чтобы напасть на эллинов, и для этого сделал заграждение в проливе. Фемистокл, желая испытать Аристида, для вида предложил плыть на судах в Геллеспонт и разрушить мост – для того, прибавил он, "чтобы нам захватить Азию в Европе". Аристид не одобрил этого и сказал: "Теперь мы воевали с варваром, преданными неге; а если мы запрем его в Элладе и человека, имеющего под своей властью такие силы, страхом доведем до последней крайности, то уж он не будет больше сидеть под золотым балдахином и спокойно смотреть на сражение, а пойдет на все, сам, пред лицом опасности, станет участвовать во всех действиях, исправит упущения и примет лучшие меры для спасения всего в целом. Поэтому, Фемистокл, – прибавил он, – не следует нам разрушать существующий мост, а если можно, построить еще второй и поскорее выбросить этого молодца из Европы". "В таком случае, – отвечал Фемистокл, – если мы находим это полезным, теперь как раз время нам всем подумать и употребить все средства, чтобы он как можно скорее ушел из Европы". По принятии такого решения, Фемистокл отыскал среди пленных одного царского евнуха по имени Арнак и послал его к царю с приказанием передать тому, что эллины,

выиграв сражение на море, решили плыть в Геллеспонт и разрушить построенный на нем мост, а Фемистокл, заботясь о царе, советует ему поспешить к своим рубежам и переправиться, пока он сам будет устраивать союзникам разные проволочки и замедлять их погоню. Услыхав это, варвар, страшно перепуганный, стал поспешно отступать. Как благоразумны были Фемистокл и Аристид, показала битва с Мардонием: хотя эллины сражались при Платеях лишь с ничтожной частью Ксерксова войска, они рисковали потерять все.

17. По словам Геродота[34], больше всех городов отличилась Эгина; что касается отдельных лиц, то все отдали первое место Фемистоклу – хотя и неохотно, завидуя ему. Именно, когда стратеги возвратились на Истм и брали камешки с алтаря[35], каждый себя объявлял первым по храбрости, а вторым – Фемистокла. А спартанцы привезли его к себе в Спарту и Эврибиаду дали в награду за храбрость, а ему в награду за ум венок из маслины, подарили самую лучшую в городе колесницу и послали триста юношей проводить его до границ[36]. Во время следующих Олимпийских игр, когда Фемистокл пришел на ристалище, все присутствовавшие, говорят, не обращая внимания на участников состязаний, целый день смотрела на него и показывали его иностранцам с восторгом и рукоплесканиями; и он сам с радостью признался друзьям, что пожинает должные плоды своих трудов на благо Эллады.

18. И действительно, Фемистокл был от природы чрезвычайно честолюбив, судя по его остроумным изречениям. Когда однажды граждане выбрали его главным начальником флота, он не занимался ни общественными, ни частными делами по частям, а все текущие дела откладывал на день отплытия, чтобы, исполняя сразу множество дел и разговаривая со многими людьми, получить репутацию человека великого и чрезвычайно сильного.

Глядя на выброшенные на берег моря тела, он увидал на них золотые браслеты и ожерелья; он сам прошел мимо, а своему другу, шедшему с ним, показал на них, проговорив: “Возьми себе, ведь ты не Фемистокл”.

Один красавец, Антифат, сперва относился к Фемистоклу с пренебрежением, а потом, из-за его славы, стал за ним ухаживать. “Молодой человек, – сказал ему Фемистокл, – хоть и поздно, но мы с тобою оба в одно время поумнели”.

Он говорил, что афиняне не чувствуют к нему ни уважения, ни восхищения, а поступают с ним, как с платаном: во время бури бегут под него, а в хорошую погоду обрывают его и ломают.

Уроженец Серифа сказал Фемистоклу, что он своей славой обязан не себе, а своему городу. “Правда твоя, – отвечал Фемистокл, – как я не прославился бы, если бы был уроженцем Серифа, так и ты, если бы был афинянином”.

Один стратег, оказавший отечеству, по мнению граждан, ценную услугу, был дерзок с Фемистоклом и свои заслуги сравнивал с его заслугами. Фемистокл ему сказал: “Однажды с праздником вступил в спор послепраздничный день[37] и говорил, что праздник полон хлопот и утомления, а в послепраздничный день все наслаждаются на досуге тем, что приготовили; а праздник на это сказал: “Правда твоя; однако, если бы меня не было, и тебя не было бы”. Так вот, – продолжал он, – и меня если бы тогда не было, где бы вы теперь были?

Сын Фемистокла своими капризами заставлял мать исполнять все его

желания, а через нее и отца. Фемистокл подсмеиваясь над этим, говорил, что его сын самый сильный человек в Элладе, потому что эллинам дают свои веления афиняне, афинянам – он сам, ему самому – мать его сына, а матери – сын.

Желая быть чем-то особенным среди всех, Фемистокл, продавая поместье, велел глашатаю объявить, что у него и сосед хороший.

Из числа женихов своей дочери он отдал предпочтение хорошему человеку перед богатым, потому что, говорил он, он ищет человека, которому нужны деньги, а не денег, которым нужен человек.

Вот каков был Фемистокл, судя по его изречениям.

19. Покончив с упомянутыми выше делами, Фемистокл тотчас принялся вновь отстраивать город и обносить его стенами. По словам Феопомпа, Фемистокл подкупил эфоров, чтобы они не противодействовали ему, а по сообщениям большинства историков, он их обманул. Он явился в Спарту под видом посла. Когда спартанцы жаловались, что афиняне строят стены вокруг города, и Полиарх, специально для этой цели присланный из Эгины, обвинял Фемистокла, он стал отрицать это и предложил послать в Афины людей для осмотра: такой проволочкой он выигрывал время для постройки стен и в то же время хотел, чтобы вместо него у афинян в руках были эти посланные. Так и случилось: спартанцы, узнав истину, не тронули его, а отпустили, затаив свое недовольство.

После этого Фемистокл стал устраивать Пирей, заметив удобное положение его пристаней. Он старался и весь город приспособить к морю; он держался политики, некоторым образом противоположной политике древних афинских царей. Последние, как говорят, старались отвлечь жителей от моря и приучить их к жизни земледельцев, а не мореплавателей. Поэтому они распустили басню[38], будто бы Афина, споря с Посейдоном из-за этой страны, показала судьям маслину и победила. Фемистокл не то чтобы "приклеил Пирей" к городу, как выражается комик Аристофан[39], а город привязал к Пирею и землю к морю. Этим он усилил демос против аристократии и придал ему смелости, так как сила перешла в руки гребцов, келевстов[40] и рулевых. По этой причине и трибуну на Пниксе[41], устроенную так, что она была обращена к морю, тридцать тираннов впоследствии повернули лицом к земле: они думали, что господство на море рождает демократию, а олигархией меньше тяготятся земледельцы.

20. Фемистокл задумал еще более далеко идущий план, касавшийся могущества афинян на море. Когда эллинский флот после отступления Ксеркса вошел в Пагасскую гавань и зимовал там, Фемистокл в одной своей речи перед народным собранием сказал, что у него есть план, полезный и спасительный для афинян, но что нельзя говорить о нем при всех. Афиняне предложили ему сообщить этот план одному Аристиду и, если тот одобрит его, привести его в исполнение. Фемистокл сообщил Аристиду, что он задумал поджечь эллинский флот на его стоянке. Аристид заявил в народном собрании, что нет ничего полезнее, но в то же время бесчестнее того, что задумал Фемистокл. Тогда афиняне приказали Фемистоклу оставить это намерение.

В собрание амфиктионов спартанцы внесли предложение о том, чтобы

города, не участвовавшие в союзе против персов, были исключены из амфиктионии. Фемистокл, опасаясь, что они, удалив из собрания фессалийцев и аргосцев, а также фиванцев, станут полными господами голосования и все будет делаться по их решению, высказался в пользу этих городов и склонил пилагоров[42] переменить мнение: он указал, что только тридцать один город принимал участие в войне, да и из них бо́льшая часть – города мелкие. Таким образом, произойдет возмутительный факт, что вся Эллада будет исключена из союза, и собрание очутится во власти двух или трех самых крупных городов. Главным образом этим Фемистокл навлек на себя вражду спартанцев; поэтому они и стали оказывать больший почет Кимону и выдвигать его как политического соперника Фемистокла.

21. Фемистокла не любили и союзники за то, что он ездил по островам и собирал с них деньги. Так, по словам Геродота[43], требуя денег от жителей Андроса, он получил от них в ответ следующие слова. Он говорил, что привез с собою двух богов, Убеждение и Принуждение; а те отвечали, что у них есть две великие богини, Бедность и Нужда, которые мешают им давать ему деньги. Тимокреонт, родосский лирический поэт, в одном стихотворении довольно злобно нападает на Фемистокла за то, что он другим за взятки выхлопатывал возвращение из изгнания на родину, а его, связанного с ним узами гостеприимства и дружбы, из-за денег бросил на произвол судьбы. Вот его слова:

Можешь Павсания ты восхвалять и можешь хвалить Ксанфиппа,
Славь Левтихида, пожалуй, а я одного вознесу Аристида,
Сына священных Афин,
Лучшего мужа из всех мужей. Фемистокл ненавистен Латоне.
Лжец, бесчестный предатель! На подлые деньги польстившись,
Тимокреонту, что был его другом, не дал он вернуться
В город Иалис родной.
Взяв серебра три таланта, уплыл – плыви себе на погибель!
Денег гора у него, а на Истме он всех угостил лишь мясом холодным;
Ели все, Фемистоклу желая весны не увидеть.

Еще гораздо более дерзкую и необдуманную ругань изливает Тимокреонт на Фемистокла после его изгнания и осуждения в одном стихотворении, которое начинается так:

Муза, песню эту прославь
Ты меж эллинов навсегда;
Эта честь подобает ей.

Говорят, что в осуждении Тимокреонта на изгнание за переход на сторону мидян принимал участие и Фемистокл. Так вот, когда Фемистокл был обвинен в приверженности к мидянам, Тимокреонт сочинил на него такие стихи:

Видно, не только Тимокреонт
Другом верным мидянам был.
Есть другие – не лучше его:
Нет, не один я лисою стал,
Лисы есть похитрей меня.

22. Так как уже и сограждане из зависти охотно верили разным наветам на Фемистокла, ему приходилось поневоле докучать им в Народном собрании частыми напоминаниями о своих заслугах. "Почему вы устаете, – сказал он недовольным, – по нескольку раз получать добро от одних и тех же людей?"

Он навлек на себя неудовольствие народа также и постройкой храма Артемиды, которую он назвал "Лучшей советницей", намекая этим на то, что он подал городу и всем эллинам самый лучший совет, и к тому же построил этот храм близ своего дома в Мелите, куда теперь палачи бросают тела казненных и куда выносят платья и петли удавившихся и убитых. В храме Лучшей советницы еще в наше время находилась также маленькая статуя Фемистокла; видно, что у него была не только душа, но и наружность героя.

Ввиду всего этого Фемистокла подвергли остракизму, чтобы уничтожить его авторитет и выдающееся положение; так афиняне обыкновенно поступали со всеми, могущество которых они считали тягостным для себя и не совместимым с демократическим равенством. Остракизм был не наказанием, а средством утишить и уменьшить зависть, которая радуется унижению выдающихся людей и, так сказать, дыша враждой к ним, подвергает их этому бесчестью.

23. Изгнанный из отечества Фемистокл жил в Аргосе. Случай с Павсанием[44] дал повод его врагам к выступлению против него. Обвинителем его в измене был Леобот, сын Алкмеона из Агравлы; в обвинении приняли участие также и спартанцы. Павсаний, занимавшийся приведением в исполнение задуманного им плана известной измены, сперва скрывал это от Фемистокла, хотя он и был его другом; но, увидя, что он изгнан из отечества и негодует на это, Павсаний осмелел и стал приглашать его к участию в этом деле: показывал ему письма от царя, вооружал его против эллинов как неблагодарных негодяев. Но Фемистокл к просьбе Павсания отнесся отрицательно и от участия наотрез отказался, однако об его предложении никому не сказал и никому не донес об этом деле: может быть, он ожидал, что Павсаний сам откажется от него или что оно иным путем обнаружится, так как Павсаний затеял дело безрассудное и рискованное.

Таким образом, после казни Павсания были найдены кое-какие письма и документы, относившиеся к этому делу, которые набросили подозрение на Фемистокла. Подняли крик против него спартанцы, а обвинять стали завидовавшие ему сограждане. Его не было в Афинах; он защищался письменно – главным образом против прежних обвинений. В ответ на клевету врагов он писал согражданам, что он, всегда стремившийся к власти и не имевший ни способности, ни желания подчиняться, никогда не продал бы варварам и врагам вместе с Элладой и самого себя. Тем не менее народ поверил обвинителям и послал людей, которым велено было арестовать его и привести для суда в собрание эллинов.

24. Но Фемистокл предвидел это и переправился в Керкиру; этому городу он когда-то оказал услугу. У них с коринфянами был спор. Фемистокла они выбрали в судьи, и он примирил враждовавших, решив дело так, чтобы коринфяне уплатили двадцать талантов, а Левкадой чтобы обе стороны владели сообща, как их общей колонией. Оттуда Фемистокл бежал в Эпир; преследуемый афинянами и спартанцами, он вверился опасным и несбыточным надеждам: искал

прибежища у Адмета, царя молосского. Этот Адмет однажды обратился с какой-то просьбой к афинянам, но получил презрительный отказ от Фемистокла, который тогда был на высоте могущества в государстве. С тех пор Адмет был озлоблен против него, и ясно было, что отомстит ему, если Фемистокл попадется ему в руки. Но при тогдашнем бедственном положении Фемистокл боялся вновь вспыхнувшей ненависти своих единоплеменников больше, чем старинного царского гнева. На волю его гнева, он, не колеблясь, и отдался, явившись к нему с мольбой, однако своеобразным, необыкновенным образом. Держа его маленького сына, он припал к домашнему очагу, потому что молоссы считают такое моление самым действенным молением, – почти единственным, которого нельзя отвергнуть. Некоторые говорят, что жена царя, Фтия посоветовала Фемистоклу прибегнуть к такому способу моления и посадила сына вместе с ним к очагу; а другие рассказывают, что сам Адмет сочинил и разыграл с ним эту торжественную сцену моления, чтобы перед преследователями оправдать религиозными причинами невозможность выдать его. Эпикрат-ахарнянин прислал ему туда жену и детей, которых он выкрал из Афин; за это впоследствии Кимон предал его суду, и он был казнен, как свидетельствует Стесимброт. Однако потом Стесимброт каким-то образом сам ли забыл об этом, или изобразил Фемистокла забывшим, – но только он утверждает, что Фемистокл поехал в Сицилию и просил у тиранна Гиерона, его дочь в замужество, обещая подчинить ему эллинов; но Гиерон ему отказал, и тогда Фемистокл уехал в Азию.

25. Однако невероятно, чтобы это так произошло. Феофраст в своем сочинении "О царстве" рассказывает, что когда Гиерон прислал в Олимпию лошадей на состязание и поставил роскошно убранную палатку, Фемистокл в собрании эллинов произнес речь о том, что палатку тиранна надо разграбить, а лошадей – не допускать до состязания. А Фукидид рассказывает[45], что Фемистокл, придя к другому морю, отплыл из Пидны, и никто из спутников не знал, кто он, до тех пор, пока судно буря не занесла к Наксосу, который тогда осаждали афиняне. Тут Фемистокл из страха открылся хозяину корабля и рулевому; отчасти просьбами, отчасти угрозами, что он их обвинит перед афинянами, налжет на них, будто они не по неведению, но за взятку с самого начала приняли его на судно, он заставил их проехать мимо острова и пристать к берегу Азии.

Много его денег было тайно вывезено при посредстве его друзей и пришло к нему в Азию; а количество тех денег, которые были обнаружены и конфискованы, оказалось, по Феопомпу, равным ста талантам, а, по Феофрасту, восьмидесяти, тогда как до вступления его на политическое поприще у него не было имущества даже и на три таланта.

26. По прибытии в Киму Фемистокл заметил, что многие приморские жители подстерегают его, чтобы схватить, а особенно Эрготель и Пифодор (эта охота была выгодна для тех, кто стремился нажиться любыми средствами, так как царь назначил за голову Фемистокла двести талантов). Поэтому он бежал в эолийский городок Эги, где его никто не знал, кроме связанного с ним узами гостеприимства Никогена, владельца самого большого состояния в Эолии, который был знаком с царскими вельможами. У него он скрывался несколько

дней. Затем по принесении какой-то жертвы, после ужина, дядька Никогеновых детей, Ольбий, придя в экстаз и вдохновляемый божеством, возгласил вот какие слова в форме стиха:

Ночи голос, ночи думу и победу ночи дай!

После этого Фемистокл лег спать и видел во сне, что дракон извивается по его животу и подползает к шее; коснувшись лица, он превратился в орла, обнял его крыльями, поднял и нес далеко; вдруг показался золотой кадуцей[46]; на него орел и поставил его в безопасности, и Фемистокл избавился от ужасного страха и тревоги.

Итак, Никоген его отправил, придумав вот какую хитрость. Большей части варваров, и особенно персам, свойственна прирожденная дикая и жестокая ревность: не только жен, но даже рабынь и наложниц они страшно оберегают, чтобы никто из посторонних не видел их; дома они живут взаперти, а в дороге их возят в повозках с занавесками, закрытых со всех сторон. Такую повозку устроили для Фемистокла; он в нее укрылся; так и везли его. На вопросы встречных провожавшие его отвечали, что везут бабенку-гречанку из Ионии к одному из царских придворных.

27. Фукидид и Харон из Лампсака рассказывают, что Ксеркса тогда уже не было в живых и что Фемистокл имел свидание с его сыном; но Эфор, Динон Клитарх, Гераклид и еще несколько других авторов говорят, что он пришел к самому Ксерксу. С хронологическими данными, как думают, более согласен рассказ Фукидида; впрочем и в этих данных немало путаницы.

Итак, в самую решительную минуту Фемистокл обратился к тысяченачальнику Артабану и сказал ему, что он, хотя и эллин, но хочет поговорить с царем о важных делах, которыми царь особенно интересуется. Артабан ему говорит: “Чужеземец! Законы у людей различные: одно считается прекрасным у одних, другое – у других; но у всех считается прекрасным чтить и хранить родные обычаи. Вы, говорят, выше всего ставите свободу и равенство; а у нас хоть и много прекрасных законов, но прекраснее всех тот, чтобы чтить царя и падать ниц перед ним, как перед подобием бога, хранителя всего. Так, если ты, согласно с нашими обычаями, падешь ниц пред ним, то тебе можно увидеть царя и поговорить с ним; если же ты мыслишь иначе, то будешь сноситься с ним через других: несогласно с отеческими обычаями, чтобы царь слушал человека, не павшего пред ним''. Выслушав это, Фемистокл говорит ему: “Нет, Артабан, я пришел сюда для того, чтобы умножить славу и силу царя; я и сам буду повиноваться вашим законам, коль скоро так угодно богу, возвеличившему персов, и благодаря мне еще больше людей, чем теперь, будет падать пред ним. Итак, да не служит это никоим образом препятствием мне сказать ему, то, что я хочу сказать''. “Но кто ты, и как нам доложить о тебе?” – спросил Артабан. “По уму ты не похож на простого человека''. “Этого никто не может узнать, Артабан, раньше царя'', – отвечал Фемистокл.

Так рассказывает Фаний, а Эратосфен в сочинении “О богатстве'' еще добавляет, что случай поговорить и познакомиться с тысяченачальником Фемистокл получил через одну эретриянку, с которою тот жил.

28. Итак, Фемистокла ввели к царю. Он, павши ниц перед ним, потом встал и молчал. Царь приказал переводчику спросить его, кто он. Когда переводчик спросил, Фемистокл сказал: "К тебе, царь, пришел афинянин Фемистокл, изгнанник, преследуемый эллинами. Много зла видали от меня персы, но еще больше добра, так как я помешал эллинам преследовать персов, когда, благодаря спасению Эллады, безопасность родины дала возможность оказать услугу и вам. Что касается меня, то, при теперешнем моем бедственном положении, я не могу претендовать ни на что и пришел готовый как принять благодарность, если ты милостиво со мною примиришься, так и просить тебя сложить гнев, если ты помнишь зло. Но ты смотри на моих врагов как на свидетелей услуг моих персам и используй теперь мои несчастия лучше для того, чтобы показать свое великодушие, чем для того, чтобы удовлетворить свой гнев: сохранив мне жизнь, ты спасешь человека, прибегающего к тебе с мольбою, а, погубив меня, погубишь того, кто стал врагом эллинов". После этого Фемистокл в подкрепление слов своих привел указание на божественную волю и рассказал сон, который видел в доме Никогена, и оракул Додонского Зевса, который повелел ему идти к тому, кто носит имя, одинаковое с именем бога (он догадался, что бог его посылает к царю, потому что оба они – великие цари и носят это название). Выслушав это, перс ему не дал никакого ответа, хотя и восхищался величием духа его и смелостью; но пред своими приближенными он поздравил себя с этим как с величайшим счастьем и, помолившись о том, чтобы Ариманий[47] всегда внушал врагам мысль изгонять из своей страны самых лучших людей, принес, говорят, жертву богам и тотчас же приступил к попойке, а ночью во сне с радости трижды прокричал: "Афинянин Фемистокл у меня в руках!".

29. На другой день утром царь созвал своих приближенных и велел ввести Фемистокла, который не ожидал ничего доброго, видя, что придворные, как только узнали его имя, когда он вошел, были настроены враждебно и бранили его. Сверх того, когда Фемистокл, подходя к царю, шел мимо тысяченачальника Роксана, последний тихо вздохнул и сказал, хотя царь уже сидел и все другие молчали: "Змея эллинская, меняющая свои цвета! Добрый гений царя привел тебя сюда". Однако, когда он предстал пред лицом царя и опять пал ниц перед ним, царь его приветствовал и ласково сказал, что он уже должен ему двести талантов, потому что он, приведя самого себя, имеет право получить награду, назначенную тому, кто его приведет. Царь обещал ему еще гораздо больше, ободрил его и позволил говорить об эллинских делах откровенно, что хочет. Фемистокл отвечал, что речь человеческая похожа на узорчатый ковер: как ковер[48], так и речь, если их развернуть, показывают свои узоры, а, если свернуть, то скрывают их и искажают. Поэтому ему нужно время.

Царю понравилось сравнение, и он предложил ему назначить срок. Фемистокл попросил год, выучился в достаточной степени персидскому языку и стал разговаривать с царем непосредственно. Людям, далеко стоявшим от двора, он давал повод думать, что говорит об эллинских делах; но, так как при дворе и между своими приближенными царь в то время производил много нововведений, то Фемистокл навлек на себя зависть вельмож, которые думали, что он имел дерзость и против них откровенно говорить с царем. Да и на самом деле,

почести, оказываемые ему, были непохожи на почести другим иностранцам: он принимал участие вместе с царем и в охоте, и в его домашних занятиях, так что даже получил доступ к матери царя, стал у нее своим человеком и по приказанию царя изучил науку магов.

Когда спартанцу Демарату царь приказал просить подарок, он попросил позволения проехать через Сарды в прямой тиаре[49] как цари. Тут двоюродный брат царя, Митропавст, дотронувшись до тиары Демарата, сказал: "В этой тиаре нет мозга, который бы она прикрывала, и ты не будешь Зевсом, если возьмешь молнию''. Когда царь в гневе за такую просьбу прогнал от себя Демарата и, казалось, был непримиримо настроен к нему, Фемистокл ходатайствовал за него и уговорил царя примириться с ним.

Говорят, и последующие цари, при которых Персия вступила в более близкие отношения с Элладой, когда им была надобность в ком-нибудь из эллинов, в письме своем обещали ему, что он будет при царе выше Фемистокла. А сам Фемистокл, когда был великим человеком и расположения его многие искали, говорят, однажды за роскошным столом сказал детям: "Дети, мы погибли бы, если бы не погибли''.

По свидетельству большинства писателей, Фемистоклу были даны три города на хлеб, на вино и на рыбу – Магнесия, Лампсак и Миунт; Неанф из Кизика и Фаний прибавляют еще два города – Перкоту и Палескепсис – на постель и на одежду.

30. Когда Фемистокл поехал к морю по делам, касающимся Эллады, перс по имени Эпиксий, сатрап Верхней Фригии, задумал покушение на его жизнь. Задолго до этого он подговорил каких-то писидийцев убить его, когда тот остановится ночевать в городе Леонтокефале[50]. В полдень ему во сне, говорят, явилась Мать богов[51] и сказала: "Фемистокл, избегай головы львов, чтобы не попасться льву. А я за это требую от тебя в служительницы Мнесиптолему''. Встревоженный этим видением, Фемистокл помолился богине, свернул с большой дороги, поехал кружным путем и, миновав то место, остановился ночевать. Так как одно из вьючных животных, везших его палатку, упало в реку, то слуги Фемистокла растянули намокшие завесы для сушки. Тем временем писидийцы прибежали с мечами и, не разглядевши хорошенько при лунном свете, подумали, что это – Фемистоклова палатка, и что они найдут его в ней спящим. Когда они подошли и стали поднимать завесу, сторожа набросились на них и схватили. Избежав таким образом опасности и изумившись явлению богини, Фемистокл соорудил в Магнесии храм Диндимены и сделал в нем жрицей дочь свою Мнесиптолему.

31. По прибытии в Сарды Фемистокл в свободное время осматривал архитектуру храмов и множество даров, посвященных богам. Между прочим, он увидал в храме Матери богов бронзовую статую девушки, так называемую "носительницу воды'', в два локтя вышиною. Когда он был в Афинах смотрителем вод, он предал суду воров, отводивших воду; на деньги, взятые с них в виде штрафа, он приказал сделать эту статую и посвятить ее богам. Может быть, он почувствовал жалость при виде того, что его дар богам находится в плену, или он хотел показать афинянам, каким почетом и влиянием он

пользуется у царя, но только он обратился к лидийскому сатрапу с просьбой отослать статую девушки в Афины. Варвар в негодовании грозил написать об этом письмо царю. Фемистокл в страхе прибегнул к заступничеству гарема и, одаривши деньгами его наложниц, утишил его гнев, но после этого стал вести себя осторожнее, опасаясь уже и зависти варваров. Он перестал разъезжать по Азии, как уверяет Феопомп, а жил в Магнесии, получал большие подарки и пользовался почетом наравне с самыми знатными персами. Много времени жил он покойно, потому что царь, занятый делами в Верхней Азии, не обращал особенного внимания на эллинские дела. Но восстание в Египте при поддержке афинян, продвижение эллинских военных кораблей до Кипра и Киликии и господство Кимона на море, – все это привлекло внимание царя и заставило его, в свою очередь, предпринять что-либо против эллинов и препятствовать их усилению. Производился набор войск, рассылались военачальники по разным направлениям, приезжали к Фемистоклу курьеры с приказом от царя заняться эллинскими делами и исполнить свои обещания. Но Фемистокл не пылал гневом против своих соотечественников; такой великий почет и влияние также не влекли его к войне. Может быть, он считал даже неисполнимым это предприятие, потому что Эллада имела тогда великих полководцев, в числе которых Кимон особенно отличался своими необыкновенными успехами в военных делах. Но главным образом из уважения к славе собственных подвигов и прежних трофеев, он принял самое благородное решение – положить своей жизни конец, ей подобающий. Он принес жертву богам, собрал друзей, подал им руку. По наиболее распространенному преданию, он выпил бычьей крови[52], а по свидетельству некоторых, принял быстро действующий яд и скончался в Магнесии, прожив шестьдесят пять лет, из которых бо́льшую часть провел в политической деятельности и в командовании войском. Узнав о причине его смерти и о способе ее, царь, как говорят, почувствовал к нему еще большее уважение и постоянно относился к его друзьям и родным дружелюбно.

32. Фемистокл оставил после себя от Архиппы, дочери Лисандра из Алопеки, сыновей – Архептолида, Полиевкта и Клеофанта; о последнем упоминает и философ Платон[53] как о превосходном наезднике, но в других отношениях человеке ничего не стоящем. Из самых старших его сыновей Неокл умер еще в детстве от укуса лошади; Диокла усыновил его дед Лисандр. Дочерей у Фемистокла было несколько: на Мнесиптолеме, от второй жены, женился ее единокровный брат Архептолид[54], на Италии – хиосец Панфид; на Сибариде – афинянин Никомед; на Никомахе – племянник Фемистокла Фрасикл: уже после смерти ее отца он приехал в Магнесию и взял ее у братьев; он же воспитал самую младшую из всех детей – Асию.

Великолепная гробница Фемистокла находится на площади в Магнесии. Что же касается останков, то не следует верить Андокиду, который в своей речи "К друзьям"[55] говорит, что афиняне украли его останки и разбросали; это он лжет с целью вооружить сторонников олигархии против демократов. Не следует верить и рассказу Филарха: он в своей истории, словно в трагедии, чуть ли не на театральной машине выводит на сцену Неокла и Демополида, сыновей Фемистокловых, чтобы произвести драматический эффект; всякий поймет, что это

вымысел. Диодор Путешественник в сочинении "О памятниках" говорит, скорее в виде предположения, чем с полной уверенностью, что у большой Пирейской гавани на мысе, лежащем против Алкима, выдается в море выступ, похожий на локоть; если обогнуть его с внутренней стороны, то в месте, где море довольно покойно, есть большая площадка и на ней сооружение в форме алтаря – гробница Фемистокла. Диодор думает, что и комик Платон подтверждает его мнение в следующих стихах:

На дивном месте твой лежит могильный холм.
Он мореходам всем привет свой будет слать.
Кто с моря держит путь, кто в море – видит он
И смотрит, как, спеша, челны вступают в спор.

Потомкам Фемистокла до наших дней продолжали оказывать в Магнесии некоторые почести; так, ими пользовался афинянин Фемистокл, с которым мы сблизились и подружились у философа Аммония.



КАМИЛЛ

1. Среди всего, что рассказывают о Фурии Камилле, наиболее примечательно и необычно, на мой взгляд, то, что этот человек, многократно командовавший войсками и одержавший важнейшие победы, пять раз избиравшийся диктатором[1] и четырехкратный триумфатор, человек, называемый в книгах "вторым основателем Рима", ни разу не был консулом. Причина этого – состояние, в котором находилось тогда государство: враждуя с сенатом, народ отказался выбирать консулов и голосованием назначал военных трибунов[2], и хотя в их руках находилась высшая власть и они обладали всеми консульскими правами и полномочиями, само число трибунов делало отношение толпы к этой должности более благожелательным. В самом деле, во главе правления стояли теперь шестеро, а не двое, и это было отрадно тем, кто тяготился олигархией. На такую-то пору и приходятся расцвет славы Камилла и его самые замечательные подвиги; вот почему он не захотел идти наперекор желанию народа и не домогался консульского достоинства, хотя собрания для выборов консулов часто созывались в этот промежуток времени. Зато, занимая иные должности – многочисленные и самые разнообразные, – он всегда проявлял себя с такой стороны, что власть (даже в тех случаях, когда она принадлежала только ему) оказывалась общим достоянием, слава же доставалась одному Камиллу (даже если главенство принадлежало нескольким лицам). Первого он достигал своей скромностью полководца, стараясь избежать зависти, второго – благодаря остроте и проницательности ума, в чем, по общему признанию, не знал себе равных.

2. В то время дом Фуриев не был еще особенно знаменит, и Камилл, служа под командой диктатора Постумия Туберта, первым из Фуриев стяжал громкую славу в большой битве с эквами и вольсками. Скача на коне впереди боевой линии своих, он получил рану в бедро, но не оставил поля сражения, а, вырвав торчавший из раны дротик, вступил в схватку с самыми храбрыми воинами противника и обратил их в бегство. За это он не только удостоился почетных даров, но и получил должность цензора[3], имевшую в те времена огромное значение. Среди дел, которые он осуществил, исправляя обязанности цензора, упоминают одно замечательное: уговорами и угрозами он заставил неженатых мужчин взять замуж вдов, – а их, вследствие войн, было очень много, – и одно предпринятое в силу необходимости: он обложил налогом сирот, прежде не плативших никаких податей. К такой мере принуждали частые походы, требовавшие огромных издержек, главным образом – против Вей.

Этот город был красою Этрурии; изобилием оружия и числом воинов он не уступал Риму, блистал богатством, пышностью, роскошным укладом жизни и дал римлянам немало замечательных сражений, оспаривая у них славу и господство. Но к тому времени воинственный задор Вей поостыл; потерпев несколько жестоких поражений, граждане воздвигли высокие и крепкие стены, наполнили свой город оружием, метательными снарядами, хлебом и прочими припасами и спокойно терпели осаду, правда, весьма продолжительную, однако и для осаждающих не менее хлопотную и тяжкую. Дело в том, что римляне привыкли проводить в походе только лето, то есть сравнительно недолгое время, зимовать же – в своих пределах, а тут впервые, повинуясь приказу трибунов, оказались вынуждены построить укрепления, обнести лагерь стеной и проводить на вражеской земле и зиму и лето. Меж тем почти истек уже седьмой год войны, и потому военачальники, которые, по мнению солдат, были повинны в том, что вели осаду слишком вяло и нерешительно, были смещены, а взамен их избраны новые, в числе последних – и Камилл, вторично тогда занявший должность военного трибуна[4]. Однако той порой он не принял в осаде никакого участия: по жребию ему выпало воевать с Фалериями и Капеной, жители которых, пользуясь тем, что римлянам был недосуг, часто совершали набеги на их владения и вообще досаждали им на протяжении всей войны с этрусками. Они были разбиты Камиллом и, понеся большие потери, загнаны в стены своих городов.

3. Затем, в самый разгар войны, на Альбанском озере произошло несчастье, которое, по отсутствию общепонятной причины и по невозможности объяснить его через действие природных начал, напугало всех не менее, чем самое невероятное чудо. Лето, не отличавшееся изобилием дождей или упорством влажных ветров с юга, закончилось, была уже середина осени; по всей Италии в многочисленных источниках, реках и озерах влага либо вовсе иссякла, либо едва покрывала дно, а реки, как бывает обычно после долгого зноя, обмелели, и русла их сузились. Но Альбанское озеро, окруженное плодородными холмами и, так сказать, внутри себя заключающее и исток свой и устье, без всякой причины, разве что по велению божества, заметно вздулось, уровень его поднялся, и вода, на которой не появилось ни волн, ни даже ряби, мало-помалу подступила к под-

ножьям, а там и к гребню высот. Сначала этому дивились одни лишь пастухи, но когда огромная тяжесть прорвала своего рода перешеек, преграждавший озеру путь вниз, и могучий поток хлынул по пашням и посевам к морю, не только сами римляне ужаснулись, но все народы, населяющие Италию, сочли это за великое знамение. Особенно много толков о случившемся было в лагере осаждавших Вейи, так что слух о несчастье на озере дошел и до осажденных.

4. Когда осада затягивается, между противниками обычно возникают оживленные связи, беседы, и вот случилось так, что какой-то римлянин свел знакомство и нередко по душам, вполне откровенно разговаривал с одним из неприятелей, сведущим в старинных оракулах; человек этот, по мнению товарищей, владел искусством прорицания и потому превосходил других мудростью. Узнав о разливе озера, он до крайности обрадовался и стал насмехаться над осадою; римлянин заметил его радость и сказал, что это чудо не единственное, что-де римлянам в последнее время были и другие знамения, еще более невероятные, и что он охотно о них расскажет, коль скоро его собеседник может хоть сколько-нибудь облегчить их собственную участь в этих общих бедствиях. Неприятель внимательно его выслушивает и вступает в беседу, надеясь выведать какие-то тайны, а римлянин, заманивая его разговором, незаметно уводит все дальше и, наконец, когда они очутились на значительном расстоянии от ворот, схватывает и отрывает от земли – он был сильнее противника, – а затем с помощью товарищей, во множестве набежавших из лагеря, окончательно одолевает его и передает военачальникам. Очутившись в такой крайности и сообразив, что чему суждено свершиться, того, не миновать, этруск открыл не подлежавшее огласке предсказание, которое возвещало, что врагам не взять Вейи до тех пор, пока они не повернут и не направят вспять разлившиеся и бегущие новыми путями воды Альбанского озера, помешав им соединиться с морем. Узнав об этом, сенат оказался в затруднении и почел за лучшее отправить в Дельфы посольство и вопросить бога. Послы Косс Лициний, Валерий Потит и Фабий Амбуст, люди прославленные и влиятельные, переплыв море и получив ответ бога, возвратились, везя различные оракулы – как повелевающие заградить альбанские воды, дабы они не достигли моря, и вернуть их, если удастся, в прежнее ложе или же, если это окажется невозможным, отвести их с помощью рвов и канав на равнину и там использовать для орошения, так равно и иные, указывающие на пренебрежение к некоторым обрядам, которые исстари принято было исполнять во время так называемых Латинских празднеств[5]. Когда это стало известно, жрецы приступили к жертвоприношениям, а народ взялся за работу, чтобы дать воде иное направление.

5. На десятый год войны сенат лишил власти всех должностных лиц и назначил Камилла диктатором. Избрав в начальники конницы Корнелия Сципиона, он первым делом принес обет богам, если война окончится со славой, дать большие игры[6] и посвятить храм богине, которую римляне называют Матерью Матутой[7]. Судя по священнодействиям, совершаемым в ее честь, можно предположить, что скорее всего это Левкофея: женщины вводят в храм служанку и бьют ее по щекам, а затем гонят вон, обнимают детей своих сестер вместо

своих родных и жертвоприношение сопровождают действиями, напоминающими о воспитании Диониса и о муках, которые терпела Ино по вине наложницы.

Покончив с обетами и молитвами, Камилл вторгся в землю фалисков и в большом сражении разбил и их самих и подоспевших им на подмогу граждан Капены. Затем он обратился к осаде Вей и, видя, что приступ был бы чрезвычайно труден, стал вести подкоп, так как местность вокруг города позволяла рыть подземные ходы и быстро проникать на такую глубину, где можно было производить работы незаметно для противника. И вот, когда надежды римлян уже близились к осуществлению, сам Камилл ударил снаружи, заставив врагов подняться на стены, меж тем как часть его солдат тайно прошла подземным ходом и незаметно для неприятеля оказалась внутри крепости, под храмом Геры, который был самым большим и самым почитаемым в городе. Рассказывают, что как раз в ту пору глава этрусков приносил там жертву, и прорицатель, бросив взгляд на внутренности, громко воскликнул, что божество дарует победу тому, кто завершит это священнодействие. Его слова услышали римляне в подкопе; они тут же взломали пол, с криком, со звоном оружия появились в храме и, когда враги в ужасе разбежались, схватили внутренности и отнесли их Камиллу. Впрочем, я готов признать, что рассказ этот походит на басню.

Когда город был захвачен и римляне принялись расхищать и растаскивать его безмерные богатства, Камилл, глядя из крепости на эту картину грабежа, сначала плакал, стоя неподвижно, а затем, слыша отовсюду поздравления, простер руки к богам и так взмолился: "О, Юпитер Верховный и вы, боги, надзирающие за делами добрыми и дурными, вы сами свидетели, что не вопреки справедливости, но, вынужденные к обороне, караем мы этот город враждебных нам и беззаконных людей! Но если тем не менее и нас ждет некая расплата за нынешнюю удачу, пусть она, молю, падет, с наименьшим ущербом, на меня одного, минуя государство и войско римское!" И с этими словами он, как принято у римлян при молитве, хотел повернуться направо, но, совершая поворот, упал. Все окружающие были немало встревожены, однако Камилл, поднявшись, сказал, что все произошло по его молитве – величайшее счастье искупается маленькой неудачей.

6. Разграбив город, Камилл во исполнение обета решил перевезти в Рим статую Геры[8]. Собрались мастера, Камилл принес жертву и молил богиню не отвергнуть ревностной преданности победителей, стать доброю соседкой богов, которые и прежде хранили Рим, и статуя, как рассказывают, тихо промолвила, что она и согласна и одобряет его намерение. Правда, по словам Ливия, Камилл молился и взывал к богине, касаясь рукой ее изображения, а некоторые из присутствовавших в один голос отвечали, что она-де и согласна и охотно последует за римлянами. Но те, что твердо держатся своего, решительно настаивая на чуде, располагают убедительнейшим доказательством, говорящим в их пользу: я имею в виду самое судьбу Рима, которому было бы невозможно из ничтожества и безвестности подняться на вершину славы и силы без поддержки божества, открыто проявлявшейся во многих и важных случаях. Ссылаются они и на дру-

гие подобные явления – нередко на статуях проступали капли пота, раздавались стоны, кумиры отворачивались и смежали веки. Об этом сообщают многие писатели прошлых лет, да и от наших современников мы слышали немало удивительных, заслуживающих упоминания рассказов, от которых не следует, пожалуй, отмахиваться с легкомысленным презрением. Впрочем, в подобных вещах ненадежны как пылкое доверие, так и чрезмерная недоверчивость – по причине человеческой немощи, которая не знает пределов и не владеет собою, но, устремляясь в одну сторону, приводит к суеверию и пустым вымыслам, в другую же – к пренебрежению божественными законами и отказу от них. Осмотрительность и строжайшее соблюдение меры – вот что лучше всего.

7. И тут Камилл, которого то ли величие его подвига – ведь он захватил соперничавший с Римом город на десятый год осады! – то ли похвалы его счастью преисполнили высокомерия и спеси, совершенно нетерпимых в носителе законной гражданской власти, с чрезмерною пышностью справил свой триумф, а самое главное – проехал по Риму в колеснице, заложенной четверкою белых коней. Ни один полководец, ни до ни после него, этого не делал, ибо такую упряжку считают святынею, отданною во владение царю и родителю богов. Это вызвало недовольство сограждан, не привыкших терпеть гордыню и пренебрежение, а другой предлог к нападкам Камилл подал, выступив против закона о расселении жителей города. Народные трибуны внесли предложение разделить народ и сенат на две части, с тем чтобы одни остались жить в Риме, а другие, кому выпадет жребий, перешли в покоренный город: граждане, утверждали трибуны, станут богаче и легче сберегут и свои земли и все прочее добро, владея двумя большими и прекрасно устроенными городами. Народ, который к тому времени умножился и обеднел, радостно встретил этот план и тесно обступил возвышение для оратора, нестройными криками требуя начать голосование. Но сенат и все влиятельнейшие граждане считали, что трибуны замышляют не разделение, а низвержение Рима, и в гневе на них прибегли к помощи Камилла. А тот, страшась открытой борьбы, стал выискивать всяческие предлоги и неотложные дела для народа, с помощью которых все время оттягивал утверждение закона. И это порождало озлобление.

Но самую ожесточенную и неприкрытую вражду к нему вызвало у народа недоразумение с десятой долей добычи; повод, за который ухватилась толпа, был если и не совсем справедлив, то все же не лишен основания. Дело, насколько можно судить, было в том, что выступая к Вейям, Камилл дал обет, в случае, если он захватит город, посвятить в дар богу десятину всей добычи. Но когда Вейи были взяты и разграблены, он, то ли не решившись докучать согражданам, то ли под бременем повседневных забот просто запамятовав о своем обете, оставил все богатства у их новых владельцев. Впоследствии, однако, когда срок его полномочий уже истек, он донес об этом случае сенату, и в то же время жрецы объявили, что жертвы возвещают гнев богов, требующий умилостивительных и благодарственных обрядов.

8. Сенат постановил не учинять передела добычи, – что было бы затруднительно, – но все, получившие свою долю, обязывались сами, под присягою,

вернуть десятую часть в распоряжение государства, и для воинов-бедняков, измученных тяготами войны, а ныне принуждаемых расставаться с частью того, что они считали своим и уже успели употребить на собственные нужды, это обернулось жестоким и горьким насилием. Камилл, не зная, что ответить на их упреки и не находя лучшего оправдания, прибег к самому нелепому, признавшись, что забыл об обете, а те с негодованием твердили, что, прежде пообещав посвятить богу десятую часть неприятельского имущества, он теперь взимает десятину с имущества сограждан. Тем не менее все внесли причитавшуюся долю, и было решено сделать золотой кратер[9] и отослать его в Дельфы. Но золота в городе не хватало, власти раздумывали, откуда бы его добыть, и тут женщины, посовещавшись друг с дружкой, сняли с себя и передали для пожертвования божеству золотые украшения, весившие все вместе восемь талантов. Желая достойным образом почтить их за эту щедрость, сенат постановил, чтобы впредь и над женщинами, точно так же как над мужчинами, произносили после смерти подобающее похвальное слово. (До того не было принято говорить речи перед народом на похоронах женщин.) Священными послами избрали троих мужей из числа самых знатных римлян и, снарядив военный корабль в праздничном уборе и с отличной командой, отправили их в плавание. Говорят, что бедствиями чревата не только буря, но и тишь, и это оправдалось на примере римских послов, которые оказались на краю гибели, а затем вопреки ожиданиям спаслись от опасности. Подле Эоловых островов[10], когда ветер стих, на них напали липарские триеры, принявшие их за пиратов. Римляне с мольбою простирали руки, и потому липарцы не стали таранить их судно, но, перекинув канат, отвели к берегу и объявили о продаже как имущества, так и людей, в полной уверенности, что корабль пиратский. Лишь с трудом согласились они освободить пленников, послушавшись одного человека – стратега Тимесифея, который пустил в ход все свое мужество и влияние. На собственные средства снарядив несколько кораблей, он проводил послов и участвовал в посвящении их дара, что и доставило ему заслуженные почести в Риме.

9. Народные трибуны уже снова заговорили о расселении, но, как нельзя более кстати, вспыхнула война с фалисками и дала возможность знатным и могущественным гражданам выбрать должностных лиц по своему суждению, а поскольку обстоятельства требовали полководца не просто опытного, но и уважаемого и прославленного, военным трибуном вместе с пятью другими был назначен Камилл. После того как народ подал голоса, Камилл, приняв командование, вторгся в землю фалисков и осадил город Фалерии, отлично укрепленный и во всех отношениях подготовленный к войне. Он понимал, что с налета, без длительных трудов Фалерии не взять, но хотел занять сограждан, дать выход их силам, чтобы, сидя дома в безделии, они не обольщались речами своих вожаков и не затевали мятежей. Римляне, точно врачи, почти всегда обращались к этому лекарству, изгоняя из государства недуги бунта и возмущения.

10. Полагаясь на укрепления, окружавшие город сплошным кольцом, фалерийцы не ставили осаду ни во что: кроме тех, кто нес караул на стенах, все по-прежнему были одеты в тоги, а дети бегали в школу, и учитель выходил с ними за стену для прогулки и гимнастических упражнений. Фалерийцы, по примеру

греков, все пользовались услугами одного учителя, желая, чтобы дети с самого начала жизни и воспитывались и держались сообща. И вот учитель задумал нанести Фалериям смертельный удар, использовав для этой цели детей. Каждый день он выводил их к подножью стены, оставаясь сперва на небольшом расстоянии от нее, а закончив занятия, приводил обратно. Постепенно он заходил все дальше, и дети, привыкнув, перестали бояться опасности; кончилось тем, что учитель передал всех своих учеников в руки римских часовых и просил доставить их и себя к Камиллу. Когда он очутился перед полководцем, то объяснил, что оказать услугу Камиллу для него важнее, нежели исполнить справедливые обязательства по отношению к этим детям, а он их учитель и воспитатель. "Вот почему я пришел, – закончил он, – и в их лице привожу к тебе Фалерии". Камиллу его поступок показался чудовищным; выслушав учителя, он сказал, обращаясь ко всем присутствующим, что, разумеется, война – дело безрадостное, она сопряжена со многими несправедливостями и насилием, но для порядочных людей существуют какие-то законы и на войне, и как бы желанна ни была победа, никто не должен гнаться за выгодами, источником своим имеющими преступление и нечестие, – великому полководцу подобает действовать в расчете на собственное мужество, а не на чужую подлость. И с этими словами он приказал ликторам сорвать с негодяя одежду и связать ему руки за спиной, а детям раздать прутья и плети, чтобы они стегали изменника, гоня его назад в город.

Едва лишь фалерийцы узнали о предательстве учителя, как весь город – иначе и быть не могло при подобном несчастии – огласился рыданиями, мужчины и женщины без разбору, потеряв голову, ринулись к стенам и воротам, но тут показались дети, которые с позором гнали нагого и связанного учителя, называя Камилла спасителем, отцом и богом. Не только родителям детей, но и всем прочим гражданам, которые это видели, справедливость римского военачальника внушила восхищение и горячую любовь. Поспешно сойдясь в Собрание, они направили к Камиллу послов с извещением о сдаче, а тот отослал их в Рим. Выступая перед сенатом, они сказали, что римляне, предпочтя справедливость победе, помогли им подчинение оценить выше свободы – в сознании не столько своей слабости, сколько нравственного превосходства противника. Право окончательного решения сенат вновь предоставил Камиллу, и тот, взяв с фалерийцев дань и заключив дружбу со всеми фалисками, отступил.

11. Но воины, которые рассчитывали разграбить Фалерии, вернувшись в Рим с пустыми руками, принялись обвинять Камилла перед остальными гражданами в ненависти к народу, в том, что он по злобе к беднякам воспрепятствовал им поправить свои дела. Когда же народные трибуны, опять предложив закон о расселении, призывали народ подать за него голоса, никто так упорно не противился толпе, как Камилл, вовсе не думая об ее вражде и не щадя самых резких и откровенных слов. Граждане, хотя и весьма неохотно, отклонили закон, но гнев их на Камилла был так велик, что даже горе, постигшее его дом (болезнь унесла одного из сыновей Камилла), нимало не смягчило этого гнева чувством сострадания. А между тем, человек от природы кроткий и ласковый, он никак не мог оправиться после этого удара, так что, получив вызов в суд, не вышел из

дому, но, не помня себя от скорби, просидел весь день взаперти вместе с женщинами.

12. Обвинителем его был Луций Апулей, в жалобе говорилось о краже добычи, взятой в Этрурии, и между прочим о каких-то захваченных там медных дверях, которые будто бы видели у обвиняемого. Судя по ожесточению народа было ясно, что он под любым предлогом подаст голоса против Камилла. Поэтому, собрав друзей и товарищей по службе в войске (а их оказалось не малое число), Камилл обратился к ним с просьбой не допустить осуждения невинного, жертвы ложных наветов, не предавать его на посмеяние врагам. Обменявшись мнениями, друзья ответили, что чем бы то ни было помочь ему на суде они не в силах, но согласны выплатить часть штрафа, к которому его приговорят; и, не стерпев обиды, в гневе, он решил уйти в изгнание. Он простился с женою и сыном, вышел из дому и всю дорогу до городских ворот не произнес ни звука. У ворот он остановился, обернулся назад и, протянув руки к Капитолию, взмолился богам, чтобы римляне, – если только он изгнан и опозорен безвинно, по своеволию и ненависти народа, – в скором времени раскаялись и чтобы весь мир узнал, до какой степени нужен им Камилл и как они жаждут его возвращения.

13. Итак, положив, по примеру Ахилла[11], заклятие на сограждан, Камилл покинул отечество. Он был приговорен заочно к пятнадцати тысячам ассов штрафа, что в переводе на серебряные деньги составляет тысячу пятьсот драхм. (Десять ассов были равны по стоимости одной серебряной монете, отсюда и ее название – "денарий".) Нет среди римлян никого, кто бы не верил, что богиня Справедливости быстро вняла молитве Камилла и что за обиду ему дано было удовлетворение, правда, печальное, но знаменитое и каждому известное, – столь страшное возмездие постигло Рим, столь пагубная опасность и такой позор обрушились в ту пору на город, вследствие ли превратности слепой судьбы, потому ли, что это дело кого-нибудь из богов – не оставлять без защиты, добродетель, терпящую неблагодарность.

14. Первым знамением надвигающегося великого бедствия была сочтена смерть цензора Гая Юлия[12], ибо цензорскую власть римляне чтут с особым благоговением, полагая ее священной. Во-вторых, еще до изгнания Камилла некто Марк Цедиций, человек незнатный, не из числа сенаторов, но порядочный и честный, явился к военным трибунам с известием, заслуживавшим того, чтобы над ним призадуматься. Он рассказал, что прошедшею ночью на так называемой Новой улице его кто-то окликнул, он обернулся, но никого не увидел, и тогда голос, звучавший громче обычного человеческого, произнес такие слова: "Ступай, Марк Цедиций, поутру к властям и скажи, чтобы вскорости ждали галлов". Однако, выслушав Цедиция, трибуны только посмеялись и пошутили. Беда над Камиллом разразилась в недолгом времени после этого случая.

15. Галлы – народ кельтского происхождения; покинув свою землю, которая, как сообщают, не могла досыта прокормить всех по причине их многочисленности, они двинулись на поиски новых владений – десятки тысяч молодых, способных к войне мужчин и еще больше детей и женщин, которые тянулись вслед за ними. Часть их, перевалив через Рипейские горы[13], хлынула к берегам Северного Океана и заняла самые крайние области Европы, другие, осев меж-

ду Пиренейскими и Альпийскими горами, долго жили по соседству с сенонами и битуригами. Много лет спустя они впервые попробовали вина, доставленного из Италии, и этот напиток настолько их восхитил, что от неведомого прежде удовольствия все пришли в настоящее неистовство и, взявшись за оружие, захватив с собою семьи, устремились к Альпам, чтобы найти ту землю, которая рождает такой замечательный плод, все прочие земли отныне считая бесплодными и дикими.

Первым, кто привез к нам вино и склонил их к вторжению в Италию, был, говорят, этруск Аррунт, человек знатный и от природы не дурной, но вот какое случилось у него несчастье. Он был опекуном одного сироты, первого богача среди своих сограждан и на редкость красивого мальчика; звали его Лукумон. С самого детства он воспитывался у Аррунта, и когда подрос, не покинул его дома: делая вид, будто дорожит обществом своего опекуна, он долгое время скрывал, что соблазнил его жену или, возможно, был соблазнен ею. Когда страсть их зашла так далеко, что они уже не могли ни смирить ее, ни утаить, юноша увел женщину от мужа, чтобы жить с нею открыто, Аррунт же обратился в суд, но так как у Лукумона было много друзей и он щедро тратил деньги, истец проиграл дело и покинул отечество. Прослышав о галлах, Аррунт прибыл к ним и повел их в Италию.

16. Вторгнувшись в ее пределы, галлы тотчас захватили область, которой некогда владели этруски: она простирается от Альп до обоих морей, о чем свидетельствуют и их названия. В самом деле, море, которое лежит севернее, именуется Адриатическим – по этрусскому городу Адрии, а то, что находится по другую сторону полуострова и обращено к югу, зовут Этрусским, или Тирренским. Вся эта земля изобилует лесами, пастбищами и полноводными реками; в ней было восемнадцать больших и красивых городов, удобно приспособленных и для всяческих промыслов и для роскошной, богатой жизни, и галлы, изгнав этрусков, заняли их сами. Но все это случилось значительно раньше событий, о которых идет речь у нас.

17. А в ту пору галлы осаждали этрусский город Клузий, Клузийцы, обратившись за помощью к римлянам, просили направить к варварам послов и письменные увещания. Посланы были трое из рода Фабиев, люди уважаемые и облеченные в Риме высшими званиями. Из почтения к славе Рима галлы встретили их приветливо и, прекратив бои у стен, вступили в переговоры. В ответ на вопрос послов, какую обиду нанесли клузийцы галлам и за что они напали на город, царь галлов Бренн засмеялся и ответил так: "Клузийцы тем чинят нам несправедливость, что вспахать и засеять могут мало, иметь же хотят много и ни клочка земли не уступают нам, чужеземцам, хотя мы и многочисленны и бедны. Не так ли точно и вам, римляне, чинили несправедливость прежде альбанцы, фиденаты, ардейцы, а в последнее время – жители Вей, Капены и многих городов фалисков и вольсков?! И если они не желают уделить вам части своего добра, вы идете на них походом, обращаете в рабство, грабите, разрушаете города и при всем том не делаете ничего ужасного или несправедливого, но следуете древнейшему из законов, который отдает сильному имущество слабого и которому подчиняются все, начиная с бога и кончая диким зверем. Да,

ибо даже звери от природы таковы, что сильные стремятся владеть бóльшим, нежели слабые. Бросьте-ка лучше жалеть осажденных клузийцев, чтобы не научить галлов мягкосердечию и состраданию к тем, кто терпит несправедливости от римлян!"

Из этой речи римляне поняли, что Бренн не склонен к примирению; направившись в Клузий, они старались ободрить граждан и уговаривали их выйти против варваров вместе с ними – в намерении то ли узнать доблесть осажденных, то ли показать свою собственную. Клузийцы сделали вылазку, и когда у стен завязался бой, один из Фабиев, Квинт Амбуст, погнал коня на высокого и красивого галла, скакавшего далеко впереди остальных. Сначала стремительность стычки и блеск оружия скрадывали черты лица римлянина, и он оставался неузнанным, когда же, одолев противника, он принялся снимать с убитого доспехи, Бренн узнал его и, призывая в свидетели богов, закричал, что нарушены общие всем людям и повсюду чтимые установления и обычаи, коль скоро прибывший послом действует как враг. Он сразу же прекратил битву и, забыв о клузийцах, повел войско на Рим. Не желая, чтобы думали, будто галлы рады нанесенной обиде и только ищут повода к войне, Бренн отправил в Рим требование выдать Фабия, а сам тем временем, не торопясь, продвигался вперед.

18. В Риме собрался сенат, и многие осуждали Фабия, в том числе и жрецы, которых называют фециалами[14]: усматривая в случившемся прямое кощунство, они настаивали на том, чтобы ответ за преступление сенат назначил держать одному лишь виновному и тем избавил от проклятия всех остальных. Этих фециалов Нума Помпилий, самый кроткий и справедливый из царей, поставил стражами мира, а равно и судьями, оценивающими и утверждающими поводы, которые дают право начать войну. Но когда сенат передал дело на рассмотрение народу и жрецы повторили свои обвинения против Фабия, толпа с такой неслыханной дерзостью, с такой насмешкой отнеслась к божественным законам, что даже выбрала Фабия с братьями в военные трибуны. Узнав об этом, кельты пришли в ярость, прежняя неторопливость исчезла без следа, теперь они двигались со всей быстротой, на какую были способны, и народы, через владения которых пролегал их путь, ужасались, видя их многочисленность, великолепие их снаряжения, их силу и гнев, и всю свою землю полагали уже погибшей, а города – обреченными скорой гибели; но, вопреки ожиданиям, варвары не творили никаких насилий и ничего не забирали с полей, мало того, проходя вблизи городских стен, они кричали, что идут на Рим и одним только римлянам объявили войну, всех же прочих считают друзьями.

Навстречу стремительно надвигавшимся галлам военные трибуны повели римское войско, числом внушительное, – тяжелой пехоты набралось не менее сорока тысяч, – но плохо обученное: большею частью эти люди взялись за оружие впервые. Кроме того, полководцы с полным пренебрежением отнеслись к священным обрядам: они не дождались счастливых знамений при жертвоприношениях и даже прорицателей не вопросили, как приличествовало перед грозною битвой. Столь же существенным образом смешивало все планы и начинания многовластие: ведь прежде и не для столь решительной борьбы нередко выбирали единовластного командующего (римляне называют его дикта-

тором), отлично зная, как полезно в минуты опасности, исполняя единый замысел, повиноваться неограниченной, облеченной всеми правами власти. Наконец, огромный ущерб нанесла делу обида, причиненная Камиллу, ибо теперь стало страшно командовать войском, не льстя и не угождая подчиненным. Отойдя от города на девяносто стадиев, римляне разбили лагерь у реки Аллии[15] невдалеке от впадения ее в Тибр. Здесь они дождались появления варваров и, вступив с ними в беспорядочный и потому позорный для себя бой, были обращены в бегство. Левое крыло римлян кельты сразу сбросили в реку и истребили, те же, что занимали правое крыло, очистив под натиском неприятеля равнину и поднявшись на холмы, потерпели гораздо меньший урон. Главная их часть выскользнула из рук противника и кинулась в Рим, остальные, – некоторым удалось спастись благодаря тому, что враги устали убивать, – ночью бежали в Вейи, думая, что Рим пал и все в нем предано уничтожению.

19. Эта битва произошла после летнего солнцеворота, около полнолуния, в тот самый день[16], который некогда принес страшное горе роду Фабиев: триста мужей из этого рода были погублены. В память о втором бедствии день этот до сих пор сохраняет имя "аллийского" – по названию реки.

Что до несчастливых дней вообще – следует ли их устанавливать или прав Гераклит, порицавший Гесиода[17], который, не зная, что все дни по природе одинаковы, некоторые считал добрыми, некоторые дурными, – этот трудный вопрос рассматривается в другом сочинении. Но и здесь, мне кажется, будет не лишним привести несколько примеров. Так, беотийцам в пятый день месяца гипподромия, который афиняне зовут гекатомбеоном, довелось одержать две самые славные победы, освободившие греков, – одну при Левктрах, а другую (более чем двумястами годами раньше) – при Керессе, где они разгромили фессалийцев во главе с Латтамием. Далее, персы в шестой день месяца боэдромиона потерпели от греков поражение при Марафоне, в третий – одновременно при Платеях и при Микале, а в двадцать пятый были разбиты при Арбелах. В том же месяце около полнолуния афиняне выиграли морское сражение при Наксосе (в этом бою ими командовал Хабрий), а в двенадцатый день – при Саламине, как об этом рассказано в нашей книге "О днях"[18]. Фаргелион тоже доставлял варварам беду за бедой: и Александр при Гранике победил полководцев царя в месяце фаргелионе, и карфагеняне в Сицилии понесли поражения от Тимолеонта двадцать третьего числа того же месяца – в день, на который, как полагают, приблизительно приходится взятие Трои (здесь мы следуем Эфору, Каллисфену, Дамасту и Малаку). Напротив, для греков был неблагоприятен метагитнион, который беотийцы зовут панемом. И верно, седьмой день этого месяца, когда они были разбиты при Кранноне Антипатром, был днем их окончательной гибели, а раньше принес неудачу в битве с Филиппом при Херонее. В тот же самый день того же года греков, переправившихся под началом Архидама в Италию, истребили тамошние варвары. Халкедоняне остерегаются двадцать второго метагитниона – это число, по их словам, чаще, чем любое другое, чревато для них самыми грозными бедствиями. С другой стороны, мне известно, что примерно в то время, когда справлялись мистерии[19], Александр стер с лица земли Фивы, а впоследствии афинянам пришлось при-

нять к себе на постой македонский сторожевой отряд около двадцатого боэдромиона, то есть как раз того дня, в который они устраивают шествие с изображением Иакха. Подобным образом римляне в один и тот же день прежде – во главе с Цепионом – лишились своего лагеря, который захватили кимбры, а потом – под начальством Лукулла – победили армянского царя Тиграна. Царь Аттал и Помпей Великий умерли в день своего рождения, да и вообще можно показать, что для многих один и тот же срок оборачивался то радостью, то печалью. Как бы там ни было, день, о котором у нас идет речь, римляне считают одним из самых несчастливых, а из-за него – и два следующих для каждого месяца, ибо после случившегося при Аллии страх и суеверие разлились еще шире, чем обычно. Более основательно этот предмет излагается в "Римских изысканиях"[20].

20. Если бы галлы сразу после битвы пустились вслед за беглецами, ничто бы, вероятно, не спасло Рим от полного разорения, а всех застигнутых в нем от гибели – таким ужасом наполнили бежавшие с поля сражения тех, кто встретил их в городе, в таком неистовом смятении были они сами! Но варвары не сразу осознали все величие своей победы, да к тому же еще никак не могли нарадоваться вдосталь, и делили захваченное в лагере добро; таким образом они доставили возможность покидавшим город толпам беспрепятственно бежать, а тем, кто оставался, – несколько приободриться и приготовиться к встрече неприятеля. Бросив все прочие кварталы на произвол судьбы, римляне укрепляли Капитолий и сносили туда копья, стрелы и дротики. Но прежде всего они укрыли на Капитолии некоторые святыни, святыни же Весты забрали ее девы, бежавшие вместе со жрецами. Впрочем, иные утверждают, будто весталки не хранят ничего, кроме неугасимого пламени, которое царь Нума[21] велел чтить как начало всего сущего. Ведь в природе нет ничего подвижнее огня. Между тем, бытие всегда есть некое движение, либо сопряжено с движением. Прочие частицы материи, лишенные теплоты, лежат втуне, подобные трупам, и жаждут силы огня, точно души́; когда же эта сила каким бы то ни было образом коснется их, они обретают способность действовать и чувствовать. Поэтому Нума, человек необыкновенный и даже, как говорят, с Музами общавшийся по своей мудрости, объявил огонь священным и приказал хранить его неусыпно, образом вечной силы, устрояющей все в мире. Другие писатели сообщают, что огонь этот, как и у греков, – очистительный и горит перед храмом, но внутри скрыты святыни, которые не должен видеть никто, кроме упомянутых выше дев-весталок. Преобладает мнение, что там сберегается троянский палладий[22], доставленный в Италию Энеем. Есть и баснословный рассказ, будто Дардан привез в Трою самофракийские святыни[23] и, основав город, учредил в их честь таинства и другие обряды, а когда Троя оказалась во власти неприятеля, их похитил Эней и, спасши, держал у себя до тех пор, пока не поселился в Италии. По словам тех, кто притязает на более глубокие познания в этом деле, в храме стоят две небольшие бочки, одна открытая и пустая, другая – полная и запечатанная; видеть обе эти бочки дозволено только означенным священным девам. Впрочем, другие усматривают здесь заблуждение, вызванное тем, что бо́льшую часть храмовой утвари девушки побросали в две бочки, которые потом зарыли под храмом Квирина; это место еще и теперь носит название "Бочек".

21. Но самые важные, всего более чтимые святыни весталки забрали с собой и пустились бежать берегом реки. Среди бегущих этой дорогой оказался Луций Альбиний, человек из простого народа; он вез в повозке маленьких детей, жену и самые необходимые пожитки, но, увидев подле себя весталок, прижимающих к груди священные предметы, одиноких и измученных, быстро ссадил жену и детей, выгрузил вещи и отдал повозку весталкам, чтобы они могли добраться до какого-нибудь из греческих городов. Обойти молчанием благочестие Альбиния, проявившееся в самое злое время, было бы несправедливо.

Жрецы прочих богов, а также бывшие консулы и триумфаторы, люди преклонного возраста, не в силах были расстаться с городом: облекшись в священные и праздничные одежды, они во главе с верховым жрецом Фабием вознесли молитвы богам, обрекая им себя в искупительную жертву за отечество, и в этом торжественном наряде уселись на форуме в кресла из слоновой кости, ожидая своей судьбы.

22. На третий день после битвы Бренн с войском подошел к городу и, найдя ворота открытыми, а стены лишенными стражи, сначала испугался хитрости и засады – ему представлялось невероятным, чтобы римляне вообще отказались от какого бы то ни было сопротивления. Но затем он убедился в своей ошибке и через Коллинские ворота вступил в Рим, насчитывавший немногим больше трехсот шестидесяти лет, если только можно верить в точность исчисления событий тех времен: ведь неупорядоченность этого исчисления служит причиной разногласий и при определении иных, даже более новых событий. Смутные слухи об ужасной беде и о взятии города, по-видимому, сразу же достигли Греции. Гераклид Понтийский, который жил вскоре после этого, пишет в книге "О душе", что с запада докатилась молва, будто издалека, от гипербореев, пришло войско и захватило греческий город Рим, лежащий где-то в тех краях, на берегу Великого моря. Однако меня не удивляет, что Гераклид, этот сказочник и выдумщик, к истинному известию о взятии города приплел ради хвастовства гипербореев и Великое море. Точное сообщение о том, что Рим взяли кельты, несомненно, слышал философ Аристотель[24], однако избавителя Рима он называет Луцием, между тем как Камилл был Марк, а не Луций. Впрочем, имя названо наугад.

Заняв город, Бренн расставил караулы вокруг Капитолия, а сам, пройдя на форум, с изумлением увидел там богато одетых людей, которые молча сидели в креслах и при появлении врагов не поднялись с места, не изменились в лице, даже бровью не повели, но, спокойно и твердо опираясь на посохи, которые держали в руках, невозмутимо глядели друг на друга. Это необычайное зрелище до того удивило галлов, что они долго не решались прикоснуться или даже приблизиться к сидящим, раздумывая, не боги ли перед ними. Наконец, один из них собрался с духом, подошел к Манию Папирию и, робко притронувшись к подбородку, потянул за длинную бороду, и тогда Папирий ударом посоха проломил ему голову. Варвар выхватил меч и зарубил Папирия. Тут враги набросились на остальных стариков и перебили их, а потом стали истреблять всех подряд, кто ни попадался под руку, и грабить дома. После многих дней грабежа они сожгли и до основания разрушили весь Рим – в злобе и гневе на защитников Капитолия,

которые не только отказались сдаться, но, обороняя стены, наносили ощутительный урон нападавшим. Из-за этого галлы разорили город и казнили всех пленников – мужчин и женщин, старых и малых, без разбора.

23. Так как осада затягивалась, врагам приходилось заботиться о пополнении запасов продовольствия, и одни, во главе с царем, продолжали караулить Капитолий, остальные же опустошали округу, нападая на деревни, но не все вместе, а разбившись на отряды, в разных местах, по отдельности: успехи придали им самоуверенности, и они рыскали врассыпную без малейшего страха. Однако бóльшая их часть, строже других соблюдавшая порядок, двинулась к Ардее, где после изгнания из Рима поселился Камилл. Ведя жизнь частного лица и не принимая никакого участия в делах, он был, однако, далек от желания любыми средствами избежать встречи с неприятелем, напротив, надеялся и рассчитывал ему отомстить, как только представится удобный случай. И вот, видя, что численность ардейцев достаточно велика, но что по вине полководцев, которые были неопытны и малодушны, им не хватает отваги, он сначала обратился к молодежи, внушая ей, что несчастье римлян и доблесть кельтов – не одно и то же, что в бедствиях, которые пришлось испытать безрассудным, следует усматривать волю судьбы, а не дело рук тех, кто ничем не заслужил свою победу. Прекрасно и достойно, говорил он, даже ценою многих опасностей отразить натиск варваров-иноплеменников, которые, словно огонь, лишь тогда полагают конец завоеваниям, когда уничтожат побежденных. Но этого мало: если ардейцы проявят смелость и усердие, победа – в свой час – достанется им без всякой опасности. Молодежь Ардеи с одобрением приняла эту речь, и Камилл отправился к властям. Должностные лица и советники дали свое согласие, и он вооружил всех, способных нести военную службу, но удерживал их в стенах города, чтобы враг, который был неподалеку, ни о чем не проведал. Когда же галлы, объездившие весь край и обремененные громадной добычей, в полной беспечности, ни о чем не тревожась, расположились лагерем на равнине, а затем пришла ночь и на хмельной лагерь спустилась тишина, Камилл, зная обо всем через лазутчиков, вывел ардейцев за ворота, и, молча и беспрепятственно проделав весь пусть, около полуночи подступил к неприятельской стоянке. Громкие крики и рев труб, зазвучавшие со всех сторон, всполошили пьяных, но, отяжелев от вина, они никак не могли опомниться. Лишь немногие, протрезвев от страха, изготовились к бою и оказали сопротивление людям Камилла, но были убиты. Бóльшую же часть галлов ардейцы захватили еще во власти сна и хмеля и умерщвляли безоружных. А тех редких беглецов, которые ночью ускользнули из лагеря и в одиночку пустились блуждать по полям, днем настигла и истребила конница.

24. Молва об успехе быстро разнеслась по городам и взволновала многих, способных носить оружие, но больше всего – римлян, бежавших с поля битвы при Аллии в Вейи. "Какого полководца отняло у Рима божество, – жаловались они друг другу, – чтобы подвигами Камилла украсить и прославить Ардею, тогда как город, родивший и воспитавший этого мужа, исчез с лица земли! Оставшись без начальников, мы укрываемся в чужих стенах и смотрим, как погибает Италия. Вот что, пошлем-ка к ардейцам да потребуем назад их полко-

водца, или же возьмем оружие и пойдем к нему сами! Ведь он теперь не изгнанник, а мы не граждане, раз отечества нашего больше не существует – им владеет неприятель". Так и порешили и, отправив к Камиллу гонцов, просили его принять командование [25]. Но он сказал, что согласится не прежде, чем граждане на Капитолии вынесут законное постановление: пока они живы, он считает их своим отечеством и готов немедленно повиноваться их приказу, а вопреки их воле не сделает ничего. Осмотрительность и безукоризненное благородство Камилла вызвали восхищение, но не находилось никого, кто бы доставил весть на Капитолий, более того, казалось вообще невозможным, чтобы вестник проник в крепость, когда город занят противником.

25. Был среди молодых римлян некий Понтий Коминий, человек не очень знатного происхождения; жадный до славы и почестей, он добровольно принял на себя это трудное дело. Не взяв никакого письма к защитникам Капитолия, чтобы враги, если бы он попался им в руки, не разгадали намерений Камилла, в скверном платье, под которым были спрятаны куски пробковой коры, он благополучно прошел днем почти весь путь и в сумерках был уже близ города, а так как переправиться через реку по мосту было нельзя (варвары караулили переправу), Понтий обмотал вокруг головы одежду, которой у него было немного, и весила она самую малость, и с помощью пробки, поддерживавшей в воде его тело, переплыл Тибр и вышел к городу. Свет и шум всякий раз выдавали ему бодрствующих неприятелей и, обходя их стороной, он, в конце концов, достиг Ворот Карменты[26], где было тише и спокойнее всего. В том месте Капитолийский холм особенно крут, и подступы к вершине со всех сторон заграждены отвесными скалами. Там-то с огромными усилиями, по самой отчаянной круче незаметно вскарабкался Понтий и предстал перед воинами, охранявшими стену. Он поздоровался с ними, назвал себя, и его отвели к начальникам. Быстро собрался сенат, Понтий сообщил о победе Камилла, – осажденные еще не слышали о ней, – рассказал о решении войска и просил утвердить полномочия Камилла, заявив, что граждане, находящиеся вне Рима, не будут повиноваться никому, кроме него. Выслушав и обсудив это сообщение, сенат назначил Камилла диктатором, а Понтия отправил назад тем же путем. С прежним успехом он избег встречи с неприятелем и объявил своим решение сената.

26. Римляне радостно встретили это решение, и когда Камилл прибыл в Вейи, он нашел там уже двадцать тысяч вооруженных воинов; собирая в дополнение к ним вспомогательные отряды союзников, он стал готовиться к нападению на галлов. Между тем в Риме несколько варваров, оказавшись случайно подле того места, где Понтий ночью взобрался на Капитолий, замечают множество следов ног и рук (ведь он цеплялся за каждый выступ), вырванную траву и сломанный кустарник на склонах, осыпавшиеся комья земли и докладывают царю, а тот, явившись и поглядев своими глазами, сначала промолчал, но вечером, собрав самых проворных и искусных в лазании по горам кельтов, сказал им так: "Путь, которого мы не могли отыскать, нам показывают враги, свидетельствуя, что он проходим и доступен для человека, и было бы страшным позором, положив начало, бросить дело незавершенным – отступить от этой скалы, словно она и в самом деле неодолима, тогда как неприятель сам учит

нас, как ее взять! Где легко подняться одному, не так уже трудно и многим, одному за другим – наоборот, взаимная помощь прибавит им силы. А затем каждый получит подарки и почетные награды, которых заслуживает такая храбрость.

27. После этой речи царя галлы охотно обещали исполнить его поручение и примерно в полночь, собравшись во множестве у подножья, молча полезли вверх; как ни обрывиста была круча, по которой они ползли, все же на поверку подъем оказался проще, чем ожидали, и первые, достигнув вершины, уже готовились вскарабкаться на стену и броситься на спящих часовых. Ни люди, ни собаки ничего не услышали и не почуяли. Но в храме Юноны были священные гуси, которых прежде кормили вволю, а теперь, когда и людям едва хватало пищи, за ними смотрели плохо, и они голодали. Эти птицы и от природы чутки и пугливы, а тут еще голод лишил их сна и покоя. Они сразу услышали приближение галлов и, с громким гоготанием кинувшись им навстречу, всех перебудили, да и варвары, видя, что хитрость их раскрыта, уже больше не таились, но шумно рвались вперед. Схватив второпях оружие, какое кому пришлось под руку, римляне бежали навстречу врагу. Первыми увидел галлов Манлий, бывший консул, человек большой силы и испытанной твердости духа; столкнувшись с двоими сразу, он одному, который уже занес было меч, отсек правую руку, а другого ударом щита в лицо сбросил со скалы. Стоя на стене, он вместе с собравшимися вокруг него римлянами обратил вспять и остальных галлов; впрочем, их успело подняться немного и действовали они довольно нерешительно. Итак, опасность миновала, а на рассвете римляне столкнули вниз, к неприятелю, начальника караульных. Манлий за победу получил награду скорее почетную, нежели выгодную: каждый отдал ему свое дневное пропитание[27] – полфунта (так зовется у римлян эта мера) хлеба и четверть греческой котилы вина.

28. После этого случая упорство кельтов пошло на убыль. Они терпели нужду в продовольствии, ибо страх перед Камиллом удерживал их на месте, не давая пополнять запасы, их косила подкравшаяся незаметно болезнь – ведь вокруг палаток, стоявших среди развалин, были горы трупов, толстый покров пепла под воздействием жары и ветра отравлял воздух, который становился сухим и едким, вредным для дыхания. Но хуже всего отозвалась на них перемена привычных условий жизни – из мест, богатых тенью, изобилующих надежными убежищами от летнего зноя, они прибыли жаркой осенней порой в низменную страну с нездоровым климатом, – и долгое сидение без дела у подножья Капитолийского холма. Наступил уже седьмой месяц осады. В лагере свирепствовал настоящий мор, трупов было так много, что их больше не хоронили.

Впрочем, и у осажденных дела обстояли не лучше: голод усиливался, жестоко удручало отсутствие вестей о Камилле, от которого никто не являлся, так как галлы бдительно стерегли город. Поскольку обе стороны находились в бедственном положении, начались переговоры – сперва через стражей, чаще всего общающихся между собой. Затем, когда власти одобрили их почин, встретились Бренн и военный трибун Сульпиций и договорились, что римляне выплатят тысячу фунтов золота, а галлы, получив выкуп, немедленно покинут

город и римские владения. Эти условия были подтверждены клятвой, но когда принесли золото, кельты повели себя недобросовестно, сначала потихоньку, а потом и открыто наклоняя чашу весов. Римляне негодовали, а Бренн, словно издеваясь над ними, отстегнул меч вместе с поясом и бросил на весы. "Что это?" – спросил Сульпиций. "Горе побежденным, вот что!", – откликнулся Бренн. Его ответ уже давно вошел в пословицу. Мнения римлян разделились: одни возмущенно требовали забрать золото и, вернувшись в крепость, терпеть осаду дальше, другие советовали закрыть глаза на эту незначительную обиду и, отдавая больше назначенного, не считать это позором, раз уж волею обстоятельств они вообще согласились отдать свое добро, что отнюдь не сладко, но, увы, необходимо.

29. В то время как они препирались с кельтами и друг с другом, в воротах показался Камилл с войском и, узнав, что происходит, велел остальным, соблюдая строй, медленно следовать за собою, а сам в сопровождении знатнейших поспешил к римлянам. Все расступились и встретили его как подобало носителю высшей власти – почтительным молчанием, а диктатор снял с весов золото и передал его ликторам, кельтам же предложил забрать весы и гири и удалиться, прибавив, что у римлян искони заведено спасать отечество железом, а не золотом. Бренн с негодованием воскликнул, что римляне, вопреки справедливости, нарушают соглашение. "Договор незаконный и потому не имеет силы, – возразил Камилл. – С избранием диктатора полномочия всех прочих должностных лиц прекращаются, стало быть договор заключен с теми, кто не имел на это права. Пусть выскажется теперь же, кто желает: закон облек меня властью миловать тех, кто просит о прощении, и карать виновных, если они не раскаиваются". Бренн рассвирепел и подал знак к бою; и галлы, и римляне обнажили мечи, но лишь теснили друг друга в беспорядочных стычках, дальше которых дело не шло. Иного и не могло быть в узких проходах между домами, где не хватало места для боевой линии, и, быстро сообразив это, Бренн отвел кельтов (потери их были невелики) назад в лагерь, а ночью полностью очистил город и, пройдя шестьдесят стадиев, остановился подле дороги, ведущей в Габии. На рассвете его настиг Камилл с прекрасно вооруженными и теперь уже полными отваги римлянами; после ожесточенной и долгой битвы они погнали неприятеля, который понес страшный урон, и захватили его лагерь. Из беглецов некоторые пали сразу же, во время преследования, но бóльшая их часть разбрелась по округе и была истреблена жителями соседних деревень и городов.

30. Так неожиданно был взят Рим и еще более неожиданно спасен, всего пробыв под пятою варваров семь месяцев: придя в город через несколько дней после квинтильских ид[28], они оставили его около ид февраля. Камилл справил триумф, неоспоримо причитавшийся спасителю отечества, уже погибшего, человеку, который поистине возвратил Риму Рим. Да, ибо одновременно с победителем в город вернулись беглецы вместе с женами и детьми, а им навстречу вышли защитники Капитолия, едва не погибшие от голода, и все обнимали друг друга и плакали, не веря своему счастью, а жрецы и служители богов, украсив спасенные ими святыни, которые они либо спрятали перед

вражеским вторжением, либо унесли с собой, выставляли их напоказ, и радостным было это зрелище для граждан, которым казалось, будто сами боги снова сходятся в Рим. Камилл принес жертвы богам, очистил город, следуя наставлениям опытных в этом людей, а затем восстановил существовавшие прежде храмы и сам воздвиг храм Вещего Гласа[29], найдя то самое место, на котором ночью божественный голос возвестил Цедицию о нашествии варваров.

31. Как ни тяжелы были розыски участков, на которых раньше стояли храмы, все же, благодаря усердию Камилла и неустанным трудам жрецов, дело подвигалось вперед. Но ведь надо было еще отстроить город, разрушенный до основания, и при мысли об этом народ охватывало отчаяние. Люди медлили: лишившись всего, без денег, без сил, они нуждались в покое, в какой-то передышке после бедствий, а их ждала изнурительная работа. И постепенно взгляды снова стали обращаться к Вейям, городу, сохранившемуся в целости и снабженному всем, чего можно было желать, а это положило начало новым проискам тех, кто привык угождать народу в своекорыстных целях; зазвучали мятежные речи против Камилла, что-де он из честолюбия, собственной славы ради, лишает сограждан города, где все готово для житья, заставляет их разбирать развалины и поднимать из пепла это громадное пожарище – для того лишь, чтобы зваться не только вождем и полководцем, но и основателем Рима, заслонив собою Ромула. Поэтому, сенат, опасаясь волнений, в течение целого года не разрешал Камиллу сложить полномочия – вопреки его желанию и несмотря на то, что ни разу еще диктатор не занимал своей должности свыше шести месяцев, – а сам дружелюбными речами старался утихомирить народ, указывал ему на гробницы героев и могилы предков, на священные места, которые Ромул, Нума или кто другой из царей отдали в дар богам и вверили попечению потомков. Впрочем, толкуя о вышнем промысле, сенаторы, прежде всего поминали свежесрубленную голову[30], которая явилась взорам при основании Капитолия в знак того, что этому месту предназначено сделаться главою Италии, и огонь Весты, который после войны весталки снова зажгли, а граждане задуют и погасят, покинув Рим, и великий то будет для них позор – доведется ли им видеть свой город заселенным пришлецами и чужестранцами, останется ли он пуст и превратится в пастбище для овец! С такими горькими увещаниями не раз обращались они и к отдельным лицам, и ко многим сразу, но, вместе с тем, и сокрушались сердцем, слушая, как народ стонет в страшной нужде, как граждане, сравнивая себя с потерпевшими кораблекрушение мореходами, которые выбрались на берег нагими и беспомощными, молят не принуждать их собирать воедино остатки погибшего города, когда есть другой, целый и невредимый.

32. В конце концов, Камилл назначил заседание сената, на котором много говорил в защиту Рима сам, много говорили и другие, мыслившие с ним согласно. Затем он поднялся и попросил, чтобы Луций Лукреций, обыкновенно первым подававший свое мнение, высказался, а за ним по порядку остальные. Наступила тишина, и Лукреций уже собирался начать, как вдруг за дверями случайно прозвучал голос центуриона, который проходил мимо с отрядом дневной

стражи и громко приказал знаменосцу задержаться и поставить знамя: лучше всего-де остановиться на отдых здесь. Эти слова раздались настолько своевременно, настолько прямо отвечали неуверенным раздумьям о будущем, что Лукреций, возблагодарив бога, пославшего знамение, объявил, что присоединяется к его мнению, и все остальные последовали примеру Лукреция. Поразительная перемена случилась и в настроении толпы, все призывали друг друга взяться за работу и без всякого плана или порядка выбирали себе место, где кому хотелось или было удобнее. Поэтому улицы вновь возведенного города и оказались кривыми, дома стояли как попало, а причиной всему была спешка: сообщают, что и городские стены и свои жилища римляне отстроили в течение года.

Люди, получившие от Камилла поручение разыскать и обозначить границы священных участков, – ведь все в Риме перемешалось, перепуталось! – обходя Палатинский холм, пришли к храму Марса. Как и прочие храмы, он был разрушен и сожжен врагами, и, внимательно осматривая место, которое они очищали от развалин, посланные набрели на прорицательский жезл Ромула, засыпанный толстым слоем пепла. Это загнутая с обоих концов палка, называется она “литюон”[31]. Ею пользуются, гадая по полету птиц, для того чтобы расчерчивать небо на части; так же пользовался ею и Ромул, искуснейший из прорицателей. Когда же он исчез из среды людей, жрецы взяли жезл и приобщили его к числу неприкосновенных святынь. Найдя его теперь уцелевшим от гибели, которая не щадила ничего, римляне исполнились лучших надежд на судьбу своего города, решив, что это знамение сулит ему вечную жизнь и благополучие.

33. Эти труды и дела еще не были завершены, как началась война одновременно с эквами, вольсками и латинянами, вторгшимися в римские владения, а также с этрусками, осадившими союзный римлянам город Сутрий. Когда латиняне окружили войско, расположившееся у Мецийской горы, и командовавшие им трибуны под угрозою потери лагеря послали в Рим за помощью, Камилл был избран диктатором в третий раз.

Об этой войне существует два рассказа. Я начну с баснословного[32]. Передают, что латиняне, то ли ища повода к столкновению, то ли в самом деле желая снова породниться, попросили у римлян свободнорожденных девушек и женщин. Римляне не знали, как поступить, – они и страшились войны, еще не оправившись, не набравшись сил после галльского нашествия, и подозревали, что латинянам нужны не жены, а заложницы, и что речь о супружестве они ведут только приличия ради. И тогда рабыня по имени Тутула, которую иные называют Филотидой, посоветовала властям послать ее вместе с самыми молодыми, более других похожими на свободных гражданок рабынями, нарядив их невестами из знатных родов, а об остальном-де позаботится она сама. Власти согласились, выбрали служанок, каких Тутула нашла пригодными для своей цели, украсили их богатыми одеждами и золотом и передали латинянам, которые стояли лагерем невдалеке от Рима. Ночью женщины похитили у врагов мечи, а Тутула (или Филотида) взобралась на высокую смоковницу и, растянув за спиною плащ, подала римлянам знак факелом, как и было догово-

рено у нее с властями. Но никто больше об этом уговоре не знал, и потому воины, которых подняли и торопили начальники, выступили в беспорядке, окликали друг друга и с трудом находили свое место в строю. Они подошли к лагерю латинян, который безмятежно спал, и, захватив его, перебили бо̀льшую часть неприятелей. Это случилось в ноны июля, тогда называвшегося квинтилием, и в память о событии установлен справляемый в этот день праздник. Прежде всего, толпою высыпая за городские ворота, выкрикивают самые употребительные и распространенные у римлян имена – такие, как Гай, Марк, Луций и им подобные, подражая взаимным окликам, которые звучали в тогдашней спешке. Повсюду разгуливают рабыни в пышном уборе, осыпая встречных насмешками. Между рабынями затевается бой – ведь и некогда они приняли участие в сражении с латинянами. Обедать садятся в тени фигового дерева и самый этот день зовут "Капратинскими нонами", как полагают – по названию смоковницы, с которой девушка подала знак факелом (смоковница по латыни "капрификон"). Впрочем, другие говорят, будто бо́льшая часть этих обрядов связана с исчезновением Ромула, ибо как раз в этот день он пропал за городом, неожиданно объятый мраком и бурей, или, как считают некоторые, во время солнечного затмения; по месту, где это произошло, день получил наименование "Капратинских нон". "Капра" – по-латыни коза, а Ромул исчез, выступая перед народом близ Козьего болота, как об этом рассказано в его жизнеописании.

34. Другой рассказ, с которым соглашается большинство писателей, таков. Избранный диктатором в третий раз и узнав, что войско во главе с трибунами окружено латинянами и вольсками, Камилл был вынужден вооружить даже тех граждан, которые уже вышли из возраста. Он пустился в далекий обход, обогнул Мецийскую гору незаметно для противника, остановился у него в тылу и, разложивши большие костры, дал знать римлянам о своем появлении. Осажденные воспрянули духом и решили сами напасть на врага. Латиняне и вольски, очутившись меж двух огней, стянули все свои силы в лагерь и стали обносить его частым палисадом, отовсюду заграждая подступы к нему в намерении дождаться подкреплений из дому и помощи от этрусков. Камилл понял это и, опасаясь, как бы самому не пришлось испытать судьбу окруженного им противника, поспешил использовать благоприятные для римлян обстоятельства. Так как вражеские заграждения были деревянные, а с гор ранним утром дул сильный ветер, он заготовил зажигательные снаряды и, незадолго до рассвета выведя своих людей, одним приказал кричать погромче и метать копья и стрелы – всем с одной стороны, прочие же, те, кому предстояло пустить в ход огонь, под начальством самого Камилла, находясь по другую сторону, откуда обыкновенно ветер дул на лагерь резче всего, ждали своего часа. Когда битва уже завязалась, взошло солнце, ветер задул с большой силой, и тут Камилл, подав сигнал к нападению, засыпал частокол зажигательными стрелами. Вспыхнуло огромное пламя и быстро побежало вокруг, находя себе пищу во множестве деревянных столбов палисада, меж тем как у латинян не было никаких средств, чтобы с ними бороться, и скоро уже весь лагерь был объят пожаром. Враги сбились в кучу, но затем волей-неволей начали выскакивать из огня – прямо на

римлян, с оружием в руках выстроившихся перед укреплениями. Немногие избегли гибели, те же, кто остался в лагере, сгорели все до одного. Пламя бушевало до тех пор, пока его не погасили римляне, чтобы разграбить неприятельское добро.

35. После этого, оставив своего сына Луция караулить пленных и добычу, Камилл вторгся во вражеские владения, взял город эквов, привел к покорности вольсков и сразу же двинулся к Сутрию, еще не зная, что там случилось, и торопясь избавить от опасности союзников, окруженных этрусками. А сутрийцы тем временем уже сдали город врагам и, лишившись всего имущества, выпущенные в одном только платье на теле, с женами и детьми встретили Камилла по дороге и со слезами сетовали на свою судьбу. Камилл и сам был тронут их жалким видом; и, замечая, что воины, за которых судорожно цеплялись сутрийцы, тоже плачут и негодуют, решил не откладывать возмездия, но идти на Сутрий в тот же день, рассчитывая, что люди, только что овладевшие богатым, обильным всеми благами городом, не оставившие в нем ни одного врага и не ожидающие врага извне, обнаружат полнейшую распущенность и забудут об осторожности. Расчет оказался верен: римлян никто не заметил и не задержал, не только по пути через землю сутрийцев, но и тогда, когда они уже подошли к воротам и заняли стены. Нигде не было ни одного караульного: все пьянствовали и пировали, рассеявшись по домам. Когда этруски, наконец, поняли, что находятся в руках неприятеля, многие даже не пытались бежать, но либо погибали самой позорной смертью, не выходя из домов, либо сдавались врагу, – вот до какой низости довели их обжорство и хмель. Таким образом Сутрию выпало на долю в один день быть взятым дважды: новые владельцы его потеряли, а старые приобрели вновь благодаря Камиллу.

36. Триумф по случаю побед над эквами, вольсками и этрусками принес Камиллу не меньше славы и искренней признательности, нежели первые два: даже тех из граждан, которые особенно ему завидовали и обычно все его успехи желали бы отнести за счет скорее удачливости, чем доблести, на этот раз подвиги Камилла заставили воздать должное его способностям и предприимчивости. Между его противниками и завистниками самым известным был Марк Манлий, тот, что первым сбросил с Капитолия кельтов, когда они ночью напали на крепость, и получил за это прозвище Капитолийского. Он притязал на первое место среди сограждан, но не в силах был затмить славу Камилла благородными средствами, а потому пошел самым обычным и проторенным путем, ведущим к тирании, – стал искать благосклонности толпы, прежде всего тем, что заступался за должников, одних защищая от заимодавцев в суде, других силою вырывая из рук властей и препятствуя исполнению законных приговоров, так что скоро вокруг него собралось множество неимущих, которые держались слишком дерзко и сеяли беспорядки на форуме, наводя немалый страх на лучших граждан. Чтобы с этим покончить, был назначен диктатор – Квинт Капитолийский. Он заключил Манлия в тюрьму, но тогда народ сменил одежду, что делалось обычно в знак великих несчастий, касающихся всего государства, и сенат, боясь мятежа, приказал освободить Манлия. Выпущенный

на свободу, он нисколько не исправился, напротив, стал еще разнузданнее заискивать перед толпой и возмущать город. Снова был избран военным трибуном Камилл. Манлий оказался под судом, но неодолимым препятствием для обвинителей был вид на Капитолий, открывавшийся с форума, – вид того места, на котором Манлий бился с кельтами: он внушал чувство сострадания всем присутствовавшим, да и сам ответчик, простирая в ту сторону руки, со слезами напоминал о своей доблести в ночном бою, так что судьи были в затруднении и много раз откладывали дело, не желая оправдать преступление, яснейшим образом доказанное, но не в силах и применить закон, поскольку у всех перед глазами стоял подвиг обвиняемого. Сообразивши это, Камилл перенес суд за город, в Петелийскую рощу, а так как оттуда не было видно Капитолия, то и обвинитель беспрепятственно сказал свою речь, и у судей воспоминания о былом отступили перед справедливым гневом на бесчинства последнего времени. Манлия осудили на смерть, отвели на Капитолий и свергли со скалы. Одно и то же место стало памятником и самой счастливой из его удач и величайшей неудачи. Римляне затем снесли его дом, воздвигли храм богини, которую называют Монетой[33], и постановили, чтобы впредь ни один из патрициев не жил в крепости.

37. Камилл, которого в шестой раз призывали на должность военного трибуна, отказывался, ссылаясь на преклонные годы и в то же время, вероятно, боясь зависти и расплаты за удачу, которые ведет за собой такая слава и победа. Самым надежным и неоспоримым извинением ему служила телесная немощь: как раз в те дни он был болен. Но народ не уступал, крича, что ему не придется ни скакать верхом, ни драться в пешем строю, – не надо-де им этого, – пусть только дает советы и командует! Итак, Камилла заставили принять начальство и вместе с одним из товарищей по должности, Луцием Фурием, немедленно вести войско на врагов. Это были значительные силы пренестинцев и вольсков, разорявшие земли союзных римлянам народов. Выступив в поход и разбив лагерь невдалеке от противника, Камилл, надеясь, что время само положит войне конец, намеревался уклоняться от битвы, а в случае крайней необходимости дать ее не прежде, чем поправится его здоровье. Но Луций, товарищ Камилла по должности, в жажде славы неудержимо рвался навстречу опасности и рвением своим заражал всех начальников, и вот, опасаясь, как бы не решили, будто он из зависти лишает молодых людей успеха и славы, Камилл, вопреки своему желанию, разрешил Луцию выстроить войско к бою, сам же, по болезни, остался с немногими в лагере. Луций очертя голову ринулся на противника, но был отброшен, и когда Камилл узнал, что римляне отступают, он не сдержался, вскочил с постели и, столкнувшись с бегущими у лагерных ворот, стал вместе со своими спутниками проталкиваться через толпу в том направлении, откуда приближалась погоня, так что одни сразу же поворачивали и следовали за ним, а другие, те, что еще неслись ему навстречу, останавливались, смыкали щиты и призывали друг друга не посрамить своего полководца. Таким образом враги вынуждены были прекратить преследование. Назавтра Камилл вывел войска, начал битву и нанес противнику страшное поражение; он захватил неприятельский лагерь, ворвавшись туда на плечах беглецов и чуть ли не

всех до последнего истребив. После этого, получив сообщение, что город Сатрия взят этрусками, а жители – все до одного римские граждане – перебиты, он бóльшую и наименее подвижную часть своих сил отправил в Рим и с самыми крепкими и отважными воинами напал на засевших в городе этрусков, одолел их и одних умертвил, прочих же изгнал.

38. Вернувшись в Рим с огромной добычей, Камилл доказал, что мудрее всех были те, которые не испугались старости и немощи полководца опытного и храброго и, несмотря на отказ и болезнь, избрали его, а не кого-нибудь из молодых, упорно домогавшихся власти. Поэтому, когда заговорили об отпадении тускуланцев, идти на них должен был Камилл, взяв с собою одного из пяти товарищей по должности. Хотя все пятеро выражали горячее желание его сопровождать, он пренебрег просьбами остальных и выбрал Луция Фурия. Такого выбора никто не ожидал: ведь это был тот самый Фурий, который недавно отважился, идя Камиллу наперекор, вступить в битву и проиграл ее! Но, по-видимому, желая предать забвению этот печальный случай и смыть с Луция позорное пятно, Камилл и оказал ему предпочтение перед всеми. Между тем, тускуланцы, стараясь загладить свою вину, прибегли к хитрости: хотя Камилл уже выступил против них, поля и пастбища, точно в мирное время, заполняли земледельцы и пастухи, ворота города были отворены, дети в школах продолжали учиться, ремесленники трудились у себя по мастерским, образованные горожане расхаживали в тогах по площади, власти усердно отводили римлянам дома под постой, словно никто не ожидал никакой беды и не знал за собою ничего дурного. Все это, правда, не поколебало уверенности Камилла в изменнических действиях тускуланцев, но их раскаяние в измене вызвало у него сочувствие – он велел им отправляться в Рим и просить сенат сменить гнев на милость, а затем сам помог просителям добиться для Тускула полного прощения и возврата всех прав гражданства. Таковы наиболее замечательные деяния Камилла, относящиеся к тому году, когда он был военным трибуном в шестой раз.

39. Затем Лициний Столон учинил в Риме страшные беспорядки: народ поднялся против сената, требуя, чтобы из двух консулов один во всяком случае был плебеем, а не оба патрициями. Народные трибуны были избраны, но произвести консульские выборы толпа не дала. Так как безвластие грозило государственным делам еще большим разбродом, сенат назначил Камилла диктатором в четвертый раз – вопреки воле народа, да и сам он принял должность без всякой охоты, не желая бороться против тех, кому многочисленные и великие битвы дали право говорить с ним, Камиллом, запросто и откровенно. Ведь бóльшая часть его дел совершена была на войне, совместно с этими людьми, а не на форуме, с патрициями, которые и теперь – он это понимал! – выбрали его по злобе и зависти, чтобы он либо сокрушил силу народа, либо сам потерпел крушение, не выполнив своей задачи. Тем не менее, пытаясь как-то помочь беде, он узнал день, в который народные трибуны задумали провести закон, и, назначив на этот же день военный набор, стал звать народ с форума на Поле[34], угрожая за неповиновение большим штрафом. Со своей стороны, трибуны на форуме грозились – и клятвою подтверждали свои угрозы – оштрафовать его

на пятьдесят тысяч денариев, если он не прекратит отвлекать народ от подачи голосов, и то ли он испугался нового осуждения и изгнания, считая их позором для себя на склоне лет, после великих заслуг и подвигов, то ли не мог и не хотел бороться с неодолимою силой толпы, – во всяком случае, он ушел домой, а в ближайшие дни сложил полномочия, сославшись на болезнь. Сенат назначил другого диктатора, и тот, поставив начальником конницы[35] самого зачинщика беспорядков, Столона, дал утвердить закон, сильнее всего опечаливший патрициев: он запрещал кому бы то ни было владеть более чем пятьюстами югеров земли. Столон было стяжал себе громкую славу этой победой при голосовании, но немного спустя, уличенный в том, что сам владеет таким количеством земли, какое воспрепятствовал иметь другим, понес наказание на основании собственного закона.

40. Нерешенным оставался вопрос об избрании консулов – самый тяжкий и мучительный, начало и первая причина беспорядков, доставивший больше всего хлопот и неприятностей сенату в его разногласиях с народом. Но тут пришло достоверное известие, что десятки тысяч кельтов, поднявшись от берегов Адриатического моря, снова движутся на Рим. Слух о войне не замедлил подтвердиться ее злыми делами: враг опустошал поля, и население, которому нелегко было добраться до Рима, разбегалось по горам. Страх перед галлами разом пресек раздоры, и, сойдясь, наконец, во мнениях, тогда и лучшие граждане, сенат и народ единогласно избрали диктатором Камилла – в пятый раз. Хотя он был глубокий старик и доживал уже восьмой десяток, но, видя в какой крайности и опасности отечество, не стал, как прежде, извиняться и приводить предлоги для отказа, а немедленно принял командование и приступил к набору. Зная, что сила варваров в мечах, которыми они рубятся, однако, без всякого искусства, истинно по-варварски, разя главным образом в плечи и голову, он приказал выковать для тяжелой пехоты шлемы сплошь из железа, с гладкою, ровною поверхностью, чтобы мечи либо соскальзывали, либо ломались, щиты же велел забрать по краю медной чешуей, так как дерево само по себе от ударов не защищало. Воинов он научил обращаться с метательным копьем, как с пикою, и подставлять его под удары вражеских мечей.

41. Когда кельты были уже близко и лагерь их, весь набитый огромною, обременительной добычей, находился у реки Аниена, Камилл вывел войско и расположил его на пологом, но иссеченном многочисленными расселинами лесистом холме, так что бо̀льшая часть римских сил оставалась скрытой, а та, которая была видна, словно бы в страхе теснилась на высотах. Желая укрепить в неприятеле это впечатление, Камилл не мешал грабить поля в долине, но, обнеся свой лагерь валом, не трогался с места до тех пор, пока не убедился, что иные из галлов рыскают по окрестностям в поисках продовольствия, все же прочие, сидя в лагере, только и знают, что объедаться да пьянствовать. Тогда, еще ночью выслав вперед легко вооруженных пехотинцев, чтобы они помешали варварам строиться в боевой порядок и с самого начала привели их в замешательство своим нападением, он ранним утром спустился вниз и выстроил на равнине тяжелую пехоту, многочисленную и мужественную, а не малочисленную и робкую, как ожидали варвары. Уже это одно сокрушило высокоме-

рие кельтов, которые не верили, что враг решится на них напасть. Затем вперед бросилась легкая пехота и, беспрерывно тревожа противника, заставила его принять бой, прежде чем он стал в обычном порядке и разбился по отрядам. Наконец, Камилл ввел в сражение тяжеловооруженных пехотинцев, и галлы, обнажив мечи, поспешили вступить в рукопашную, но римляне обессиливали удары, встречая их копьями и железом доспехов, так что мечи, недостаточно крепкие и тонко выкованные, быстро гнулись и иззубривались, тогда как щиты варваров тянула к земле тяжесть пробивших их насквозь копий. Поэтому галлы бросили собственное оружие и, ловя руками вражеские копья, старались отвести их в сторону. Видя, что галлы лишены какой бы то ни было защиты, римляне взялись за мечи и изрубили тех, что бились в первых рядах, остальные же бросились врассыпную по равнине: они знали, что Камилл еще раньше занял холмы и высоты, а что лагерь их, который, понадеявшись на свою храбрость, они оставили неукрепленным, захватить будет несложно.

Эта битва, как сообщают, произошла через тринадцать лет после взятия Рима[36], и лишь она внушила римлянам твердую уверенность в своем превосходстве над кельтами, которых до той поры они очень боялись, считая, что в первый раз варвары были побеждены болезнями и неожиданной немилостью судьбы, а не мужеством римлян. Так силен был этот страх, что они издали закон, освобождавший жрецов от службы в войске во всех случаях за исключением лишь войны с галлами.

42. Это было последнее из военных сражений Камилла. Город Велитры он взял мимоходом: они покорились без боя. Но оставалось еще величайшее и труднейшее из сражений на государственном поприще – борьба с народом, который вернулся после победы с новыми силами и требовал, чтобы один из консулов был плебей – в нарушение существовавшего закона и вопреки упорному сопротивлению сената; а сенат не разрешал Камиллу сложить полномочия, полагая, что с помощью огромных прав и власти, которые дает должность диктатора, легче отстаивать дело аристократии. Однажды, когда Камилл занимался на форуме делами, служитель, посланный народными трибунами, приказал ему следовать за собой и положил руку на плечо, намереваясь увести. На форуме поднялся такой крик, такая суматоха, каких еще никогда не бывало, свита Камилла пыталась столкнуть служителя с возвышения, толпа внизу призывала тащить диктатора силой. Еще не зная толком, как поступить, Камилл все же не бросил бразды правления, но вместе с сенаторами направился в сенат; прежде, чем войти, он обернулся в сторону Капитолия и помолился богам, прося их даровать начатому самый счастливый исход и обещая, если волнения улягутся, воздвигнуть храм Согласия. В сенате разгорелся ожесточенный спор, но из двух противоположных точек зрения верх одержала более мирная, согласно которой следовало пойти на уступки народу и позволить ему выбирать одного консула из своей среды. Это решение диктатор объявил народу, и тот сразу же, как и следовало ожидать, радостно примирился с сенатом, а Камилла с восторженными возгласами и рукоплесканиями проводил домой. Назавтра римляне, собравшись, постановили: храм Согласия[37], который обещал построить Камилл, воздвигнуть, – в память о происшедшем, – в виду сената и Народного

собрания; к так называемым Латинским празднествам прибавить еще один день и справлять их четыре дня подряд; наконец, безотлагательно всем римлянам принести жертвы и украсить себя венками.

Под руководством Камилла были проведены выборы: консулами стали Марк Эмилий – из патрициев и Луций Секстий – первым из плебеев. Этим завершилась деятельность Камилла.

43. В следующем году на Рим обрушилась повальная болезнь, которая погубила бесчисленное множество простого народа и почти всех должностных лиц. Умер и Камилл, окончив свои дни в столь преклонном возрасте, какого удается достигнуть немногим, однако эта кончина огорчила римлян сильнее, нежели смерть всех унесенных в ту пору болезнью, взятых вместе.





ПЕРИКЛ И ФАБИЙ МАКСИМ

ПЕРИКЛ

1. Говорят, что однажды Цезарь[1] увидал в Риме, как какие-то богатые иностранцы носили за пазухой щенят и маленьких обезьян и ласкали их. Он спросил их, разве у них женщины не родят детей? Этими словами, вполне достойными правителя, он дал наставление тем, которые тратят на животных присущую нам от природы потребность в любви и нежность, тогда как она должна принадлежать людям. Так как душа наша от природы имеет склонность к познанию и созерцанию, то разве не согласно с разумом порицать тех, кто делает из этой склонности дурное употребление, слушая и созерцая то, что не заслуживает внимания, и пренебрегая прекрасным и полезным? Чувствами внешними, воспринимающими все, что попадается, вследствие их пассивного отношения к впечатлениям, может быть, по необходимости приходится созерцать всякое явление, полезно ли оно или бесполезно; но умом всякий, кто хочет им пользоваться, очень легко способен всегда как направлять себя к тому, что он считает хорошим, так и изменять это направление. Поэтому надо стремиться к наилучшему, чтобы не только созерцать, но и питаться созерцанием. Как глазу нравится цвет, который своим блеском и приятностью живит и укрепляет зрение, так и ум надо направлять на такие предметы созерцания, которые, радуя его, влекут его к добру, ему свойственному. Эти предметы созерцания заключены в делах, имеющих своим источником добродетель: они внушают тем, кто их изучит, стремление к соревнованию и желание подражать. В других случаях за восхищением чем-либо сделанным не тотчас следует стремление к совершению; напротив, часто, наслаждаясь произведением, мы презираем исполнителя его: так, например, благовонные мази и пурпурные одежды мы любим, а красильщиков и парфюмерных мастеров считаем неблагородными, ремесленниками. Поэтому умно сказал Антисфен, услышав, что Исмений хороший флейтист: “А человек он скверный; иначе не был бы он таким хорошим флейтистом”. Филипп сказал сыну, когда тот на одной пирушке приятно, по правилам искусства играл на струнном инструменте: “Не стыдно тебе так хорошо играть? Довольно и того, когда у царя есть время слушать музыкантов; он уже много уделяет Музам, если бывает зрителем, когда другие люди состязаются в таких искусствах”.

2. Кто занимается лично низкими предметами[2], употребляя труд на дела

бесполезные, тот этим свидетельствует о пренебрежении своем к добродетели. Ни один юноша, благородный и одаренный, посморев на Зевса в Писе, не пожелает сделаться Фидием, или, посмотрев на Геру в Аргосе – Поликлетом, а равно Анакреонтом, или Филемоном, или Архилохом, прельстившись их сочинениями: если произведение доставляет удовольствие, из этого еще не следует, чтобы автор его заслуживал подражания. Поэтому даже и пользы не приносят зрителям такие предметы, которые не возбуждают в них рвения к подражанию и внутренней потребности, вызывающей желание и стремление к уподоблению. Но добродетель своими делами приводит людей тотчас же в такое настроение, что они в одно время и восхищаются делами ее, и желают подражать совершившим их. В благах, посылаемых судьбою, нам приятно приобретение и пользование, а в благах, исходящих от добродетели, нам приятны действия. Первые мы хотим получать от других, вторые предпочитаем сами уделять другим. Прекрасное влечет к себе самым действием своим и тотчас вселяет в нас стремление действовать; не только изображение его на сцене влияет на душу зрителя, но и рассказ о факте дает человеку решимость действовать. Поэтому и мы решили продолжать писание биографий. Эта книга (десятая в нашем сочинении)[3] содержит биографии Перикла и Фабия Максима, в течение всей войны боровшегося с Ганнибалом, – людей схожих во всех своих добродетелях и притом бывших чрезвычайно полезными каждый своему отечеству – прежде всего кротостью, справедливостью и способностью переносить ошибочные суждения народа и товарищей по должности. Достигли ли мы нужной нам цели, об этом можно судить на основании нашего сочинения.

3. Перикл был из филы Акамантиды, из дема Холарга – как с отцовской, так и с материнской стороны из дома и рода, занимавших первое место. Ксанфипп, победитель варварских полководцев при Микале, женился на Агаристе из рода Клисфена, который изгнал Писистратидов, мужественно низвергнул тираннию, дал афинянам законы и установил государственный строй, смешав в нем разные элементы вполне целесообразно для согласия и благополучия граждан. Агаристе приснилось, что она родила льва, и через несколько дней она родила Перикла. Телесных недостатков у него не было; только голова была продолговатая и несоразмерно большая. Вот почему он изображается почти на всех статуях со шлемом на голове, – очевидно, потому, что скульпторы не хотели представлять его в позорном виде. Но аттические поэты называли его "схинокефалом"[4], потому что морскую луковицу называют иногда "схиной" [schinos]. Один из комиков, Кратин, в "Хиронах" говорит так: "Распря и древлерожденный Кронос, сочетавшись браком, произвели на свет величайшего тиранна, которого боги называют "кефалегеретом". Также в "Немесиде" он говорит: "Приди, Зевс, покровитель иностранцев[5], головастый!" Телеклид говорит, что он "то сидит в городе в недоумении от множества дел, с тяжелой головой, то один из головы своей огромной поднимает страшный шум". Эвполид в "Демах", спрашивая о каждом вожаке народа, поднимающемся из преисподней, говорит, когда Перикла назвали последним:

Зачем привел сюда главу подземных царств?

4. Учителем музыки у Перикла был, как сообщает большинство наших источников, Дамон (первый слог этого имени, говорят, следует произносить кратко); но Аристотель уверяет, что Перикл учился музыке у Пифоклида. Дамон был, по-видимому, замечательным софистом, но музыкой пользовался лишь как предлогом, чтобы скрывать от народа свои способности. Дамон был при Перикле учителем и руководителем в государственных делах, каким бывает учитель гимнастики при борце. Однако от народа не осталось тайной, что Дамону лира служит лишь прикрытием: как человек, мечтающий о крупных переворотах и сторонник тираннии, он был изгнан посредством остракизма и доставил комикам сюжет для шуток. Так, например, у Платона одно лицо даже задает ему такой вопрос:

Прошу, ответ мне дай скорей на мой вопрос:
Ты, говорят, Хирон[6], Перикла воспитал.

Перикл был слушателем также и Зенона из Элеи, который, подобно Пармениду, занимался изучением природы и выработал в себе искусство опровергать других и возражениями приводить противников в безвыходное положение: об этом Тимон из Флиунта где-то говорит в следующих словах:

Неугомонный Зенон двуязычный, кто силою мощной
Всех переспорить готов...

Но самым близким Периклу человеком, который вдохнул в него величественный образ мыслей, возвышавший его над уровнем обыкновенного вожака народа, и вообще придал его характеру высокое достоинство, был Анаксагор из Клазомен, которого современники называли "Умом" – потому ли, что удивлялись его великому, необыкновенному уму, проявлявшемуся при исследовании природы, или потому, что он первый выставил принципом устройства вселенной не случай или необходимость, но ум, чистый, несмешанный, который во всех остальных предметах, смешанных, выделяет однородные частицы.

5. Питая необыкновенное уважение к этому человеку, проникаясь его учением о небесных и атмосферических явлениях, Перикл, как говорят, не только усвоил себе высокий образ мыслей и возвышенность речи, свободную от плоского, скверного фиглярства, – но и серьезное выражение лица, недоступное смеху, спокойная походка, скромность в манере носить одежду, не нарушаемая ни при каком аффекте во время речи, ровный голос и тому подобные свойства Перикла производили на всех удивительно сильное впечатление. Так, например, какой-то подлый нахал однажды целый день его бранил и оскорблял; он молча терпел это на площади, заканчивая в то же время какое-то неотложное дело; вечером он скромно пошел домой, а тот человек шел за ним и осыпал его всякими ругательствами. Перед тем как войти в дом, когда было уже темно, он велел своему слуге взять светильник и проводить этого человека до самого его дома.

Поэт Ион утверждает, что обхождение Перикла с людьми было довольно надменное и что к самохвальству его примешивалось много высокомерия и презрения к другим, а хвалит Кимона за его обходительность, гибкость и благо-

воспитанность в обращении. Но оставим Иона; по его мнению, при добродетели, как при трагедии, непременно должна быть и сатирическая часть[7]. Тем, кто называл величавость Перикла тщеславием и гордостью, Зенон советовал и самим иметь немножко такого тщеславия, потому что, говорил он, уже одно притворство в добродетели незаметно производит стремление и привычку к ней.

6. Это были не единственные плоды, которые получил Перикл от общения с Анаксагором: по-видимому, он стал выше суеверного страха, внушаемого удивительными небесными явлениями людям, которые не знают их причин, теряют рассудок и приходят в смятение от божественных дел по неведению их, тогда как наука о природе, устраняя боязнь, вместо устрашающего, болезненного суеверия дает человеку спокойное благочестие и благие надежды.

Рассказывают, что однажды Периклу принесли из деревни голову однорогого барана. Прорицатель Лампон, увидав, что рог, выросший на средине лба, был крепок и тверд, сказал, что от двух могущественных партий, существующих теперь в городе, Фукидидовой и Перикловой, сила перейдет к одному, у кого будет это чудо. А Анаксагор, разрубив череп, показал, что мозг не наполнял своего основания, но, имея форму яйца, собрался из всего вместилища своего в то место, где корень рога имел начало. Тогда все присутствовавшие удивлялись Анаксагору, а немного спустя Лампону, когда Фукидид был низвергнут, а управление всеми общественными делами перешло в руки Перикла.

По моему мнению, оба они – как натуралист, так и прорицатель, – могли быть вполне правы: первый правильно понял причину, второй цель, первый поставил себе задачей рассмотреть, по каким причинам это произошло и что это такое, а второй – предсказать, для чего оно случилось и что предвещает. Кто считает открытие причины уничтожением предзнаменования, не понимает, что он вместе с божественными знамениями отвергает и искусственные сигналы: звон диска, огонь факелов, тень солнечных часов; все эти предметы сделаны по известной причине и имеют определенное устройство, чтобы служить знаками чего-нибудь. Но эти вопросы, пожалуй, относятся к сочинениям другого рода.

7. В молодости Перикл очень боялся народа: собою он казался похожим на тиранна Писистрата; его приятный голос, легкость и быстрота языка в разговоре этим сходством наводили страх на очень старых людей. А так как он владел богатством, происходил из знатного рода, имел влиятельных друзей, то он боялся остракизма и потому не занимался общественными делами, но в походах был храбр и искал опасностей. Когда же Аристид умер, Фемистокл был в изгнании, а Кимона походы удерживали по большей части вне Эллады, тогда Перикл с жаром принялся за политическую деятельность. Он стал на сторону демократии и бедных, а не на сторону богатых и аристократов – вопреки своим природным наклонностям, совершенно не демократическим. По-видимому, он боялся, как бы его не заподозрили в стремлении к тираннии, а кроме того видел, что Кимон стоит на стороне аристократов и чрезвычайно любим ими. Поэтому он и заручился расположением народа, чтобы обеспечить себе безопасность и приобрести силу для борьбы с Кимоном.

Сейчас же после этого Перикл переменил и весь свой образ жизни. В городе его видели идущим лишь по одной дороге – на площадь и в Совет. Он отказался от приглашений на обеды и от всех такого рода дружеских, коротких отношений, так что во время своей долгой политической деятельности он не ходил ни к кому из друзей на обед; только, когда женился его родственник Эвриптолем, он пробыл на пире до возлияния[8] и тотчас потом встал из-за стола. И действительно, панибратство обладает такой силой, что перед ним не может устоять никакая напускная величавость, и при коротких отношениях трудно было сохранить важность, которая рассчитана на приобретение славы. Напротив, в истинной добродетели всего прекраснее то, что в ней наиболее явно, и в добродетельных людях ничто не кажется посторонним настолько удивительным, как их повседневная жизнь – лицам, их окружающим. Перикл так же вел себя и по отношению к народу: чтобы не пресытить его постоянным своим присутствием, он появлялся среди народа лишь по временам, говорил не по всякому делу и не всегда выступал в Народном собрании, но приберегал себя, как Саламинскую триеру[9], по выражению Критолая, для важных дел, а все остальное делал через своих друзей и подосланных им других ораторов. Одним из них, говорят, был Эфиальт, который сокрушил мощь Ареопага, наливая, как сказано у Платона[10], гражданам много несмешанного вина свободы. Упившись ею, народ, как конь, стал своевольным и, как говорят комики, "не хотел больше повиноваться, но стал кусать Эвбею и кидаться на острова".

8. Перикл, настраивая свою речь, как музыкальный инструмент, в тон этому укладу жизни и высокому образу мыслей, во многих случаях пользовался Анаксагором, примешивая понемногу, как бы в подкрепление, к своему красноречию науку о природе. "Ту высоту мыслей и способность творить нечто совершенное во всех отношениях", как выражается божественный Платон[11], "он извлек из этого учения и присоединил к своим природным дарованиям, заимствуя из него все полезное для искусства слова". Благодаря этому он далеко превзошел всех ораторов. По этой причине, говорят, ему и было дано его известное прозвище. Впрочем, некоторые думают, что он был прозван "Олимпийцем" за те сооружения, которыми украсил город, другие – что за его успехи в государственной деятельности и в командовании войском; и нет ничего невероятного, что его славе способствовало сочетание многих качеств, ему присущих. Однако из комедий того времени[12], авторы которых часто поминают его имя как серьезно, так и со смехом, видно, что это прозвище было дано ему главным образом за его дар слова: как они говорят, он гремел и метал молнии, когда говорил перед народом, и носил страшный перун на языке. Кто-то упоминает еще шутку Фукидида, сына Мелесия, по поводу красноречия Перикла. Этот Фукидид принадлежал к аристократической партии и очень долгое время был политическим противником Перикла. Однажды спартанский царь Архидам спросил его, кто искуснее в борьбе, он или Перикл. "Когда я в борьбе повалю его, – отвечал Фукидид, – то он говорит, что не упал, чрез это оказывается победителем и убеждает в этом тех, которые это видели".

Однако и сам Перикл был осторожен в речах и, идя к ораторской трибуне, молил богов, чтобы у него против воли не вырвалось ни одного слова, не

подходящего к данному делу. Сочинений в письменном виде Перикл никаких не оставил, кроме народных постановлений; замечательных выражений его сохранилось тоже совсем мало. Так, например, он советовал Эгину[13] удалить, как гнойник Пирея; он говорил, что видит, как война несется от Пелопоннеса. Однажды, когда он вместе с Софоклом участвовал в морской экспедиции в должности стратега, и Софокл похвалил одного красивого мальчика, Перикл ему сказал: "У стратега, Софокл, должны быть чистыми не только руки, но и глаза". По словам Стесимброта, Перикл, произнося с трибуны надгробную речь в память граждан, павших на Самосе, назвал их бессмертными подобно богам: "Ведь и богов мы не видим, – сказал он, – но по тем почестям, которые им оказывают, и по тем благам, которые они нам даруют, мы заключаем, что они бессмертны; эти черты свойственны и тем, которые погибли в бою за отечество".

9. Фукидид[14] изображает государственный строй при Перикле как аристократический, который лишь по названию был демократическим, а на самом деле был господством одного первенствующего человека. По свидетельству многих других авторов, Перикл приучил народ к клерухиям[15], получению денег на зрелища, получению вознаграждения; вследствие этой дурной привычки народ из скромного и работящего под влиянием тогдашних политических мероприятий стал расточительным и своевольным. Рассмотрим причину такой перемены на основе фактов.

Вначале, как сказано выше, Перикл в борьбе со славою Кимона старался приобрести расположение народа; он уступал Кимону в богатстве и денежных средствах, которыми тот привлекал к себе бедных. Кимон приглашал каждый день нуждающихся граждан обедать, одевал престарелых, снял загородки со своих усадеб, чтобы, кто захочет, пользовался их плодами. Перикл, чувствуя себя побежденным такими демагогическими приемами, по совету Дамонида из Эи, обратился к разделу общественных денег, как свидетельствует Аристотель[16]. Раздачею денег на зрелища, платою вознаграждения за исполнение судейских и других обязанностей и разными вспомоществованиями Перикл подкупил народную массу и стал пользоваться ею для борьбы с Ареопагом, членом которого он не был, так как ему не выпал жребий быть ни архонтом[17], ни царем, ни полемархом, ни фесмофетом. Эти должности с давних пор были выборными по жребию, и, пройдя их, люди, выдержавшие испытание, вступали в члены Ареопага. Итак, Перикл со своими приверженцами, приобретя большее влияние у народа, одолел Ареопаг: бóльшая часть судебных дел была отнята у него при помощи Эфиальта, Кимон был изгнан посредством остракизма как сторонник спартанцев и враг демократии, хотя по богатству и происхождению он не уступал никому другому, хотя одержал такие славные победы над варварами и обогатил отечество большим количеством денег и военной добычи, как рассказано в его жизнеописании. Так велика была сила Перикла у народа!

10. Изгнание посредством остракизма лиц, подвергшихся ему, ограничивалось по закону определенным сроком – десятью годами. Тем временем спартанцы с большим войском сделали вторжение в Танагрскую область; афи-

няне тотчас собрались в поход против них. Кимон вернулся из ссылки и выступил в одном отряде с членами своей филы: он хотел делом снять с себя обвинение в приверженности к спартанцам, деля опасности с согражданами. Но друзья Перикла собрались и прогнали его как высланного. Вот почему, по-видимому, Перикл в этой битве сражался особенно храбро, не щадя жизни, и отличился перед всеми. В этом сражении пали и все до единого Кимоновы друзья, которых Перикл обвинял вместе с Кимоном в приверженности к спартанцам.

Афинянами овладело страшное раскаяние и тоска по Кимону: они были разбиты на границах Аттики и ожидали на следующую весну тяжелой войны. Как только заметил это Перикл, он без промедления решил исполнить желание народа: сам внес предложение в народное собрание и вызвал Кимона из ссылки. Последний по возвращении на родину водворил мир между обоими государствами. Спартанцы относились к Кимону настолько же дружелюбно, насколько были враждебны к Периклу и другим вождям народа. По словам некоторых авторов, Перикл сделал предложение о возвращении Кимона лишь тогда, когда между ними было заключено тайное соглашение при посредстве Кимоновой сестры Эльпиники на том условии, чтобы Кимон с эскадрой в двести кораблей уехал из Афин и командовал войском за пределами Аттики, завоевывая земли царя, а Периклу была бы предоставлена власть в городе. Было предположение, что и раньше Эльпиника смягчила вражду Перикла к Кимону, когда против него был возбужден уголовный процесс[18], а Перикла народ выбрал одним из обвинителей. Когда к нему пришла Эльпиника с просьбой, он улыбнулся и сказал: "Стара ты, стара, Эльпиника, чтобы делать такие дела!" Несмотря на это, Перикл только раз выступил с речью, лишь формально исполнив возложенное на него поручение и ушел, меньше всех обвинителей повредив Кимону.

Как же после этого верить обвинению Идоменея против Перикла, будто бы он своего друга Эфиальта, принадлежавшего к одной с ним партии, коварно убил из ревности и зависти к его славе? Не знаю, откуда он взял это и, словно желчь, излил на человека, может быть, не во всем безупречного, но во всяком случае человека с благородным образом мыслей, с честью в душе, к которым не привьется ни одна такая жестокая, зверская страсть. Нет, по свидетельству Аристотеля[19], Эфиальта, ярого сторонника олигархии и неумолимого при сдаче отчетов и при преследовании судом преступников, тайно убили злоумышлявшие против него враги с помощью Аристодика из Танагры. Кимон умер на Кипре в должности стратега.

11. Между тем аристократическая партия, уже раньше видевшая, что Перикл стал самым влиятельным человеком в Афинах, все-таки хотела противопоставить ему какого-нибудь противника, который бы ослабил его влияние, чтобы в Афинах не образовалась полная монархия. В противовес ему они выставили Фукидида из Алопеки, человека умеренного, бывшего в свойстве с Кимоном. Фукидид не был таким любителем войны, как Кимон; но он был больше склонен к общественной жизни и к занятию политикой. Оставаясь в городе и ведя борьбу с Периклом на трибуне, он скоро восстановил равновесие между приверженцами различных взглядов. Он не дозволил так называемым "прекрасным и хорошим"[20] рассеиваться и смешиваться с народом, как прежде,

когда блеск их значения затмевался толпою; он отделил их, собрал в одно место; их общая сила приобрела значительный вес и склонила чашу весов. Уже с самого начала была в государстве, как в железе, незаметная трещина, едва-едва указывавшая на различие между демократической и аристократической партией; но теперь борьба между Периклом и Кимоном и их честолюбие сделали очень глубокий разрез в государстве: одна часть граждан стала называться "народом", другая – "немногими". Вот почему Перикл тогда особенно ослабил узду народу и стал руководствоваться в своей политике желанием угодить ему: он постоянно устраивал в городе какие-нибудь торжественные зрелища, или пиршества, или шествия, занимал жителей благородными развлечениями, каждый год посылал по шестидесяти триер, на которых плавало много граждан по восьми месяцев и получало жалованье, вместе с тем приобретая навык и познания в морском деле. Кроме того, тысячу человек клерухов он послал в Херсонес, в Наксос пятьсот, в Андрос половину этого числа, во Фракию тысячу для поселения среди бисалтов, других в Италию, при возобновлении Сибариса, который теперь стали называть Фуриями. Проводя эти мероприятия, он руководился желанием освободить город от ничего не делающей и вследствие праздности беспокойной толпы и в то же время помочь бедным людям, а также держать союзников под страхом и наблюдением, чтобы предотвратить их попытки к восстанию поселением афинских граждан подле них.

12. Но, что доставило жителям всего больше удовольствия и послужило городу украшением, что приводило весь свет в изумление, что, наконец, является единственным доказательством того, что прославленное могущество Эллады и ее прежнее богатство не ложный слух, – это постройка величественных зданий. Но за это, более чем за всю остальную политическую деятельность Перикла, враги осуждали его и чернили в Народном собрании. "Народ позорит себя, – кричали они, – о нем идет дурная слава за то, что Перикл перенес общую эллинскую казну к себе из Делоса; самый благовидный предлог, которым может оправдываться народ от этого упрека, тот, что страх перед варварами[21] заставил его взять оттуда общую казну и хранить ее в безопасном месте; но и это оправдание отнял у народа Перикл. Эллины понимают, что они терпят страшное насилие и подвергаются открытой тирании, видя, что на вносимые ими по принуждению деньги, предназначенные для войны, мы золотим и наряжаем город, точно женщину-щеголиху, обвешивая его дорогим мрамором, статуями богов и храмами, стоящими тысячи талантов".

Ввиду этого Перикл указывал народу: "Афиняне не обязаны отдавать союзникам отчет в деньгах, потому что они ведут войну в защиту их и сдерживают варваров, тогда как союзники не поставляют ничего – ни коня, ни корабля, ни гоплита, а только платят деньги; а деньги принадлежат не тому, кто их дает, а тому, кто получает, если он доставляет то, за что получает. Но, если государство снабжено в достаточной мере предметами, нужными для войны, необходимо тратить его богатство на такие работы, которые после окончания их доставят государству вечную славу, а во время исполнения будут служить тотчас же источником благосостояния, благодаря тому, что явится всевозможная работа и разные потребности, которые пробуждают всякие ремесла, дают за-

нятие всем рукам, доставляют заработок чуть не всему государству, так что оно на свой счет себя и украшает, и кормит". И действительно, людям молодым и сильным давали заработок из общественных сумм походы; а Перикл хотел, чтобы рабочая масса, не несущая военной службы, не была обездолена, но вместе с тем чтобы она не получала денег в бездействии и праздности.

Поэтому Перикл представил народу множество грандиозных проектов сооружений и планов работ, требовавших применения разных ремесел и рассчитанных на долгое время, чтобы остающееся в городе население имело право пользоваться общественными суммами нисколько не меньше граждан, находящихся во флоте, в гарнизонах, в походах. И правда, там, где были материалы: камень, медь, слоновая кость, золото, черное дерево, кипарис; где были ремесленники, обрабатывающие эти материалы: плотники, мастера глиняных изделий, медники, каменотесы, красильщики золота, размягчители слоновой кости, живописцы, эмалировщики, граверы; люди причастные к перевозке и доставке этих материалов: по морю – крупные торговцы, матросы, кормчие, а по земле – тележные мастера, содержатели лошадей, кучера, крутильщики канатов, веревочники, шорники, строители дорог, рудокопы; где, словно у полководца, имеющего собственную армию, у каждого ремесла была организованная масса низших рабочих, не знавших никакого мастерства, имевшая значение простого орудия, "тела" при производстве работ, – там эти работы распределяли, сеяли благосостояние во всяких, можно сказать, возрастах и способностях.

13. Между тем росли здания, грандиозные по величине, неподражаемые по красоте. Все мастера старались друг перед другом отличиться изяществом работы; особенно же удивительна была быстрота исполнения. Сооружения, из которых каждое, как думали, только в течение многих поколений и человеческих жизней с трудом будет доведено до конца, – все они были завершены в цветущий период деятельности одного государственного мужа. Правда, говорят, когда живописец Агафарх однажды хвалился, что он скоро и легко рисует фигуры живых существ, от Зевксид, услышав это, сказал: "А я так долго!" И действительно, легкость и быстрота исполнения не дает произведению ни долговечности, ни художественного совершенства. Напротив, время, затраченное на труд для исполнения его, возмещается прочностью и надежной сохранностью.

Тем более удивления поэтому заслуживают творения Перикла, что они созданы в короткое время, но для долговременного существования. По красоте своей они с самого начала были старинными, а по блестящей сохранности они доныне свежи, как будто недавно окончены: до такой степени они всегда блещут каким-то цветом новизны и сохраняют свой вид не тронутым рукою времени, как будто эти произведения проникнуты дыханием вечной юности, имеют не стареющую душу!

Всем распоряжался и за всем наблюдал у Перикла Фидий, хотя при каждом сооружении были великие зодчие и художники. Именно, Парфенон "Стофутовый"[22] сооружали Калликрат и Иктин; храм для мистерий в Элевсине начал строить Кориб: он поставил колонны на полу и соединил их архитравом. После

смерти его Метаген из Ксипеты поставил на них фриз и верхние колонны; а крышу с отверстием для света на этом храме возвел Ксенокл из Холарга. Длинную стену, которую предложил возвести Перикл (Сократ говорит, что сам слышал это[23]), подрядился строить Калликрат. Кратин в одной комедии смеется над этой постройкой, что она медленно двигается:

Перикл уже давно все строит на словах,
А дела не видать.

Одеон[24] во внутренней части имел много мест для сиденья и колонн; крыша его, покатая со всех сторон, выходила из одной вершины; говорят, он был построен наподобие палатки персидского царя тоже под руководством Перикла. Вот почему Кратин во "Фракиянках" опять шутит над ним:

... Вон Зевс идет. А голова!.. – как лук!
И на макушке он свой Одеон несет;
Небось теперь он рад – изгнанья страх прошел.

Во имя своего честолюбия Перикл тогда впервые добился народного постановления, чтобы на Панафинеях[25] происходило музыкальное состязание; выбранный судьей состязания, он сам установил правила, которыми участники состязания должны руководиться при игре на флейте, пении и игре на кифаре. Тогда, как и впоследствии, в Одеоне устраивались музыкальные состязания.

Пропилеи[26] акрополя были построены в течение пяти лет при архитекторе Мнесикле. Удивительный случай показал, что богиня не покинула постройку, а напротив, помогала и принимала участие в окончании ее. Самый деятельный и трудолюбивый из мастеров, оступившись, упал с высоты; ему было так плохо, что врачи не надеялись на выздоровление. Перикл был очень опечален этим; но богиня явилась ему во сне и указала способ лечения, при помощи которого Перикл скоро и легко вылечил больного. По этому случаю Перикл поставил бронзовую статую Афины Гигии[27] на акрополе около алтаря, который, как говорят был и прежде.

Между тем, Фидий работал над золотой статуей богини, и в надписи на мраморной доске он назван творцом ее. Почти все лежало на нем и, как мы сказали, он по дружбе с Периклом был поставлен во главе всех мастеров. Это навлекло на одного зависть, на другого злословие, – будто Фидий принимает для Перикла свободных женщин, приходящих осматривать постройки. Комики ухватились за эту сплетню, распускали слухи о страшном распутстве Перикла, обвиняли его в связи с женой Менippа, его друга и помощника по должности стратега, смеялись над Пирилампом, разводившим птиц, и говорили, будто он по дружбе с Периклом потихоньку посылает павлинов в подарок женщинам, с которыми Перикл находится в близких отношениях.

Впрочем, разве можно удивляться тем, кто избрал своей профессией зубоскальство, кто считает долгом приносить жертвы завистливой толпе, точно какому злому демону, злословием над выдающимися людьми, когда и Стесимброт Фасосский дерзнул обвинять Перикла в таком страшном, нечестивом преступлении, о котором говорится только в мифах, – в связи с женою собст-

венного сына? До такой степени, по-видимому, во всех отношениях трудно путем исследования найти истину, когда позднейшим поколениям предшествующее время заслоняет познание событий, а история, современная событиям и лицам, вредит истине, искажая ее, с одной стороны, из зависти и недоброжелательства, с другой – из угодливости и лести.

14. Фукидид и ораторы его партии подняли крик, что Перикл растрачивает деньги и лишает государство доходов. Тогда Перикл в Собрании предложил народу вопрос, находит ли он, что издержано много. Ответ был, что очень много. "В таком случае, – сказал Перикл, – пусть эти издержки будут не на ваш счет, а на мой, и на зданиях я напишу свое имя". После этих слов Перикла народ, восхищенный ли величием его духа, или не желая уступить ему славу таких построек, закричал, чтобы он все издержки относил на общественный счет и тратил, ничего не жалея. Наконец, он вступил в борьбу с Фукидидом, рискуя сам подвергнуться остракизму. Он добился изгнания Фукидида и разбил противную партию.

15. Когда таким образом был совершенно устранен раздор и в государстве настало полное единение и согласие, Перикл сосредоточил в себе и сами Афины и все дела, зависевшие от афинян, – взносы союзников, армии, флот, острова, море, великую силу, источником которой служили как эллины, так и варвары, и верховное владычество, огражденное покоренными народами, дружбой с царями и союзом с мелкими властителями.

Но Перикл был уже не тот, – не был, как прежде, послушным орудием народа, легко уступавшим и мирволившим страстям толпы, как будто дуновениям ветра; вместо прежней слабой, иногда несколько уступчивой демагогии, наподобие приятной, нежной музыки, он в своей политике затянул песню на аристократический и монархический лад и проводил эту политику согласно с государственным благом прямолинейно и непреклонно. По большей части он вел за собою народ убеждением и наставлением, так что народ сам хотел того же. Однако бывали случаи, когда народ выражал недовольство; тогда Перикл натягивал вожжи и, направляя его к его же благу, заставлял его повиноваться своей воле, действуя совершенно так же, как врач, который при продолжительной переменчивой болезни по временам дозволяет безвредные удовольствия, по временам же применяет сильные средства и спасительные лекарства.

В народе, имеющем столь сильную власть, возникают, естественно, всевозможные страсти. Перикл один умел искусно управлять ими, воздействуя на народ главным образом надеждой и страхом, как двумя рулями: то он сдерживал его дерзкую самоуверенность, то при упадке духа ободрял и утешал его. Он доказал этим, что красноречие, говоря словами Платона[28], есть искусство управлять душами и что главная задача его заключается в умении правильно подходить к различным характерам и страстям, будто к каким-то тонам и звукам души, для извлечения которых требуется прикосновение или удар очень умелой руки. Однако причиной этого была не просто сила слова, но, как говорит Фукидид[29], слава его жизни и доверие к нему: все видели его бескорыстие и неподкупность. Хотя он сделал город из великого величайшим и

богатейшим, хотя он могуществом превзошел многих царей и тираннов, из которых иные заключали договоры с ним, обязательные даже для их сыновей, он ни на одну драхму не увеличил своего состояния против того, которое оставил ему отец.

16. А между тем он был всесилен; об этом Фукидид говорит прямо; косвенным доказательством этого служат злобные выходки комиков, которые называют его друзей новыми писистратидами, а от него самого требуют клятвы, что он не будет тиранном, так как его выдающееся положение не сообразно с демократией и слишком отяготительно. А Телеклид указывает, что афиняне предоставили ему

Всю дань с городов; он город любой мог связать иль оставить свободным,
И крепкой стеною его оградить и стены снова разрушить.
В руках его все: и союзы, и власть, и сила, и мир, и богатства.

Такое положение Перикла не было счастливой случайностью, не было высшей точкой какой-то мимолетной блестящей государственной деятельности или милостью народа за нее, – нет, он сорок лет первенствовал среди Эфиальтов, Леократов, Миронидов, Кимонов, Толмидов и Фукидидов, а после падения Фукидида и изгнания его остракизмом он не менее пятнадцати лет обладал непрерывной, единоличной властью, хотя должность стратега дается на один год. При такой власти он остался неподкупным, несмотря на то, что к денежным делам не относился безразлично. Для управления состоянием, доставшимся ему от отца на законном основании, он придумал такую систему, которую считал наиболее удобной и точной, чтобы оно не растратилось из-за его нерадения и, с другой стороны, чтобы не доставляло ему, при его занятиях, много хлопот и не отнимало времени: именно, годовой урожай он продавал весь сразу, и потом покупал все нужное на рынке; такого порядка он держался в жизни и в повседневных расходах. Это не нравилось его взрослым сыновьям, и для их жен он был не щедрым давальцем; они жаловались на то, что расходы были рассчитаны по дням и сведены до минимума с величайшей аккуратностью, так что ничего не было лишнего, как должно было быть в большом доме при богатом хозяйстве, а напротив, все расходы и приходы были высчитаны и вымерены. Поддерживал весь этот аккуратный порядок его слуга Эвангел, один, как никто другой, по натуре ли своей способный к хозяйству или приученный к нему Периклом.

Конечно, это несогласно с философией Анаксагора, который по вдохновению свыше или по внушениям своего великого духа бросил свой дом, оставил землю без обработки на пастбище овцам. Однако, мне думается, жизнь философа-созерцателя и государственного деятеля – не одно и то же: первый устремляет ум к прекрасному, не нуждаясь в орудиях и внешних средствах, а для второго, который применяет добродетель к человеческим потребностям, богатство в некоторых случаях может не только быть необходимым, но и служить его высоким целям, как оно и служило Периклу, помогавшему многим бедным согражданам.

Такой случай рассказывают и про самого Анаксагора. Однажды, когда Перикл был очень занят, Анаксагор, уже старик, лежал без призора, накрывши

голову, чтобы покончить жизнь, уморив себя голодом. Когда известие об этом дошло до Перикла, он в испуге сейчас же побежал к старику и стал уговаривать его оставить это намерение, оплакивая не его, а себя при мысли, что лишится такого советника в государственных делах. Тогда Анаксагор открыл голову и сказал ему: "Перикл, и тот, кто имеет надобность в лампе, подливает в нее масла".

17. Когда спартанцы стали смотреть с неудовольствием на возвышение Афин, Перикл, желая еще более пробудить народную гордость и внушить гражданам стремление к великим делам, внес в Народное собрание предложение о том, чтобы все эллины, где бы они ни жили, в Европе или в Азии, в малых городах и больших, послали на общий съезд в Афины уполномоченных для совещания об эллинских храмах, сожженных варварами[30], о жертвах, которые они должны принести за спасение Эллады по обету, данному богам, когда они сражались с варварами, о безопасном для всех плавании по морю и о мире. Для этой цели афиняне послали двадцать человек в возрасте свыше пятидесяти лет: пятеро из них приглашали ионян и дорян в Азии и островитян до Лесбоса и Родоса; пятеро отправились в места при Геллеспонте и во Фракии до Византия; еще пятеро были посланы в Беотию, Фокиду и Пелопоннес, а из него через Локриду на материк до Акарнании и Амбракии; остальные отправились через Эвбею к жителям Эты, к Малийскому заливу, к ахейцам во Фтиотиде и к фессалийцам. Послы уговаривали эллинов прийти в Афины и принять участие в совещаниях о мире и общих действиях Эллады. Однако ничто из этого не осуществилось на деле; представители городов не собрались, как говорят, ввиду противодействия спартанцев и неудачи этой попытки прежде всего в Пелопоннесе. Я вставил этот эпизод, чтобы показать ум и величие замыслов Перикла.

18. Как стратег, Перикл славился больше всего своею осторожностью: он добровольно не вступал в сражение, если оно было опасно и исход его был сомнителен; тем военачальникам, которые рискованным путем получали блестящий успех и возбуждали общий восторг как великие полководцы, он не подражал и не ставил их себе в образец; он неизменно говорил согражданам, что, насколько от него зависит, они навсегда останутся бессмертны.

Так, он увидал, что Толмид, сын Толмея, полагаясь на прежние успехи и ввиду необыкновенного почета за свои военные подвиги, в совсем не подходящий момент предпринимает вторжение в Беотию. Он уже успел склонить самых храбрых и честолюбивых юношей принять участие в походе в качестве добровольцев; их было тысяча человек, не считая остального войска. Перикл старался удержать его от этого предприятия и отговорить в Народном собрании и произнес при этом знаменитую фразу, что, если он и не послушается Перикла, то во всяком случае не сделает ошибки, если подождет самого умного советника – времени. Тогда эти слова не встретили большого одобрения; но, когда спустя несколько дней пришло известие о поражении Толмида в битве при Коронее и его гибели, а также о гибели многих славных граждан, тогда предостережение Перикла доставило ему расположение сограждан и большую славу как разумному человеку и патриоту.

19. Среди походов Перикла особенно популярен был его поход в Херсонес,

доставивший спасение жившим там эллинам. Перикл не только привел с собою тысячу афинских колонистов и усилил ими население городов, но также провел поперек перешейка укрепления и заграждения от моря до моря и тем поставил препятствие набегам фракийцев, живших во множестве около Херсонеса, и положил конец непрерывной, тяжелой войне, от которой постоянно страдала эта земля, бывшая в непосредственном соприкосновении с варварами-соседями и наполненная разбойничьими шайками, как пограничными, так и находившимися в ее пределах.

За границей Перикл прославился изумительным морским походом вокруг Пелопоннеса. С эскадрой в сто триер он отплыл из Пег в Мегариде. Он опустошил не только бóльшую часть побережья, как сделал раньше его Толмид, но и проникал с гоплитами, бывшими во флоте, в глубь страны далеко от моря: всех он приводил в страх своим нашествием и заставлял укрываться под защиту стен; только при Немее сикионцы выступили против него и начали сражение, но он обратил их в бегство в открытом бою и воздвиг трофей. В Ахайе, которая была в дружбе с Афинами, он взял на борт отряд солдат и переправился на судах к противолежащему материку; проплыв мимо Ахелоя, он опустошил Акарнанию, запер эниадцев в их городе, разорил их область и отплыл на родину, показав себя врагам – грозным, согражданам – осторожным и энергичным полководцем; действительно, с его отрядом не произошло ни одного даже и случайного несчастия.

20. Прибыв в Понт с большой эскадрой, блестяще снаряженной, он сделал для эллинских городов все, что им было нужно, и отнесся к ним дружелюбно; а окрестным варварским народам, их царям и князьям он показал великую мощь, неустрашимость, смелость афинян, которые плывут, куда хотят, и все море держат в своей власти. Жителям Синопы Перикл оставил тринадцать кораблей под командой Ламаха и отряд солдат для борьбы с тиранном Тимесилеем. После изгнания последнего и его приверженцев он провел в Народном собрании постановление о том, чтобы в Синопу было отправлено шестьсот человек афинян, изъявивших на то согласие; они должны были жить вместе с коренными гражданами Синопы, поделив с ними дома и землю, которую прежде занимали тиранны[31]. В других случаях Перикл не уступал стремлениям сограждан и не дал себя увлечь, когда они, гордые своим могуществом и такими успехами, хотели предпринять новый поход в Египет и поднять восстание в приморских областях владений персидского царя. Многие уже тогда были одержимы той роковой, злополучной страстью к Сицилии, которую впоследствии разожгли Алкивиад и ораторы, возглавлявшие его сторонников. Некоторым снилась даже Этрурия и Карфаген, и нельзя сказать, что на это не было надежды, ввиду обширности афинского государства и благоприятного течения дел.

21. Однако Перикл сдерживал такое стремление сограждан к предприятиям в чужих странах и старался отбить у них охоту вмешиваться не в свои дела. Он направлял силы государства главным образом на охрану и укрепление наличных владений, считая уже достаточно важным делом остановить рост могущества Спарты. Поэтому он вообще относился к ней недоброжелательно. Это он показывал во многих случаях, а особенно показал своими действиями во время Свя-

щенной войны. Когда спартанцы во время похода в Дельфы передали дельфийцам храм, находившийся во владении фокейцев, Перикл тотчас же пошел туда с войском и опять ввел фокейцев. Когда спартанцы получили от дельфийцев право вопрошать оракул вне очереди и вырезали это постановление на лбу медного волка[32], то Перикл добился такого же преимущества для афинян и начертал соответствующую надпись на правом боку того же волка.

22. Перикл правильно поступал, удерживая силы афинян в Элладе, как это доказали дальнейшие события. Прежде всего восстала против афинян Эвбея; туда Перикл пошел с войском. Тотчас после этого пришло известие о том, что Мегара стала во враждебные отношения к Афинам и что пелопоннесская армия под командой спартанского царя Плистоанакта стоит у границ Аттики. Перикл поспешно вернулся с Эвбеи, чтобы вести войну в Аттике. Вступить в сражение с большим храбрым войском гоплитов Перикл не осмелился, несмотря на их вызов. Но он заметил, что Плистоанакт, еще совсем молодой человек, пользуется советами главным образом Клеандрида, которого эфоры, ввиду молодости Плистоанакта, назначили наблюдателем и помощником. Перикл вошел с ним в тайные переговоры, в скором времени подкупил его и уговорил увести пелопоннесцев из Аттики. Когда войско отступило и было распущено по городам, раздраженные спартанцы наложили на царя большой денежный штраф, которого он не мог уплатить, а потому добровольно удалился из Спарты; а Клеандрид бежал из отечества и был приговорен к смертной казни.

Клеандрид был отцом Гилиппа, который нанес поражение афинянам в Сицилии. Должно быть, природа привила Гилиппу корыстолюбие, как некую наследственную болезнь; после славных подвигов он тоже из-за корыстолюбия должен был с позором бежать из Спарты. Об этом мы рассказали в жизнеописании Лисандра[33].

23. Когда Перикл в своем отчете по должности стратега поставил расход в десять талантов, издержанных "на необходимое", то народ принял эту статью расхода без всяких расспросов, не входя в расследование этой тайны. Некоторые авторы, в том числе философ Феофраст, свидетельствуют, что каждый год Перикл посылал в Спарту по десяти талантов, которыми он задабривал правительство и тем отвращал войну. Этим способом он не покупал мир, а только выигрывал время, в которое мог спокойно приготовиться, чтобы потом успешнее вести войну.

Итак, Перикл опять обратился против повстанцев и, прибыв на Эвбею на пятидесяти кораблях с пятью тысячами гоплитов, привел города к покорности. Из Халкиды он изгнал так называемых "гиппоботов"[34] [hippobótēs], богачей, пользовавшихся особенной славой, жителей Гестиеи заставил всех выселиться из своей области и на место их поселил афинян: так непреклонен был он только к ним за то, что они, захватив афинский корабль, перебили всех бывших на нем людей.

24. После этого между афинянами и спартанцами было заключено перемирие на тридцать лет.

Перикл провел в Народном собрании постановление о походе на Самос под предлогом, что самосцы не послушались приказания прекратить войну с Миле-

том. Но, так как есть предположение, что Перикл предпринял поход на Самос в угоду Аспасии, то, может быть, теперь как раз было бы уместно поставить вопрос об этой женщине – каким великим искусством или силой она обладала, если подчинила себе занимавших первое место государственных деятелей и даже философы много говорили о ней как о женщине незаурядной.

Она была родом из Милета, дочерью Аксиоха; в этом все согласны. Говорят, она, идя по стопам одной старинной ионянки, некоей Фаргелии, заводила связи с мужчинами только самого высокого ранга. И Фаргелия, красавица собою, соединявшая обаяние с ловкостью в политических интригах, жила с очень многими мужчинами из эллинов и всех, бывших с нею в близких отношениях, привлекала на сторону персидского царя, а через них, как людей высокопоставленных и очень влиятельных, она сеяла в городах начала персидского влияния. Что касается Аспасии, то, по некоторым известиям, Перикл пленился ею как умной женщиной, понимавшей толк в государственных делах. Да и Сократ иногда ходил к ней со своими знакомыми, и ученики его приводили к ней своих жен, чтобы послушать ее рассуждения, хотя профессия ее была не из красивых и не из почтенных: она была содержательницей девиц легкого поведения[35]. Эсхин говорит, что и Лисикл, торговец скотом, человек ничтожный сам по себе и низкого происхождения, стал первым человеком в Афинах, потому что жил с Аспасией после смерти Перикла. У Платона в "Менексене"[36], хотя начало его написано в шутливом тоне, все-таки есть доля исторической правды: именно, что эта женщина славилась тем, что многие в Афинах искали ее общества ради ее ораторского таланта.

Тем не менее очевидно, что привязанность Перикла к Аспасии была основана скорее на страстной любви. У него была законная жена, его родственница, бывшая прежде замужем за Гиппоником, от которого она имела сына Каллия "Богатого"; и от брака с Периклом у нее были сыновья – Ксанфипп и Парал. Потом, когда совместная жизнь перестала им нравиться, он вместе с ее опекуном с ее согласия выдал ее замуж за другого, а сам взял Аспасию и чрезвычайно ее любил. Говорят, при уходе из дома и при возвращении с площади он ежедневно приветствовал ее и целовал. В комедиях ее называют новой Омфалой, Деянирой, Герой. Кратин прямо называет ее наложницей в следующих стихах:

Геру Распутство рождает ему, наложницу с взглядом бесстыдным.
Имя Аспасия ей.

По-видимому, от нее у Перикла был незаконнорожденный сын, которого Эвполид вывел в "Демах", где сам Перикл спрашивает так: "А незаконный-то мой жив?" На это Миронид отвечает:

Да, был бы мужем он давно,
Но срам страшит его: блуднице он родня[37].

Говорят, Аспасия достигла такой известности и славы, что даже Кир, – тот, который вел войну с персидским царем из-за престола, – назвал самую любимую свою наложницу, которая прежде носила имя "Мильтó", Аспасией. Она

была фокеянка, дочь Гермотима; когда Кир пал в сражении, ее отвели к царю, и у него она пользовалась очень большим влиянием.

Отбросить и обойти молчанием этот эпизод, вспомнившийся мне при описании последних событий, пожалуй, было бы неестественно.

25. Итак, Перикла обвиняют в том, что он провел в Народном собрании постановление о походе на Самос главным образом ради Милета – по просьбе Аспасии. Эти города вели войну из-за Приены; самосцы одерживали победы и не хотели слушать приказания афинян прекратить войну и передать дело на решение третейского суда в Афинах. Тогда Перикл двинулся с флотом к Самосу, низложил бывшее там олигархическое правление и, взяв в заложники пятьдесят человек из числа первых лиц в городе и столько же детей, отправил их на Лемнос. Говорят, каждый из заложников давал ему за себя по таланту, и еще много денег предлагали лица, не желавшие учреждения демократического правления в городе. Кроме того, перс Писсуфн, относившийся благожелательно к самосцам, послал ему десять тысяч золотых в виде отступного за город. Однако Перикл ничего этого не взял, но, поступив с самосцами, как решил, учредил там демократическое правление и отплыл в Афины. Самосцы тотчас же восстали; Писсуфн выкрал для них заложников и сделал все приготовления к войне. Тогда Перикл опять двинулся с флотом на них, но они не унимались и не пугались, а решили со всей энергией оспаривать господство на море у афинян. Произошло жаркое сражение на море около острова, называемого Трагиями. Перикл одержал блестящую победу, разбив со своими сорока четырьмя кораблями семьдесят кораблей, из которых двадцать были грузовые[38].

26. Одержав победу и преследуя побежденных, Перикл овладел гаванью и стал осаждать самосцев, которые все еще отваживались делать вылазки и сражаться перед своими стенами. Когда из Афин пришел другой флот, еще больший, и самосцы были совершенно заперты, Перикл взял шестьдесят триер и вышел в открытое море. По сообщению большинства наших источников, он хотел встретить финикийский флот, шедший на помощь Самосу, и дать ему сражение на возможно большем расстоянии от Самоса; а по словам Стесимброта, он имел в виду поход на Кипр, что, по-видимому, не вероятно.

Тем ли, другим ли соображением он руководился, но во всяком случае он, кажется, сделал оплошность. После его отъезда философ Мелисс, сын Ифагена, бывший тогда стратегом самосцев, видя малочисленность кораблей или неопытность стратегов и относясь с пренебрежением к противнику, уговорил сограждан напасть на афинян. Произошло сражение, в котором самосцы одержали победу; они взяли много пленных, уничтожили много кораблей, стали свободно плавать по морю, запасались предметами, нужными для войны, которых прежде у них не было. По словам Аристотеля, Мелисс победил даже самого Перикла еще раньше в морском сражении.

Самосцы, в отмщение афинянам за их издевательство, ставили на лбу у пленных клеймо в виде совы[39], потому что и афиняне ставили на пленных самосцах клеймо – “самену”. Самена – это корабль, у которого выпуклая носовая часть имеет форму свиного рыла, а сам корабль широк, так что напоминает полость живота; он годится для перевозки товаров и быстро ходит. Такое название он

получил оттого, что впервые появился у самосцев и был построен по приказанию тиранна Поликрата. На это клеймо, говорят, намекает Аристофан в стихе:

Народ самосский ввел куда как много букв[40].

27. Итак, Перикл, узнав о несчастии в лагере, поспешил к нему на помощь. Мелисс вышел против него, но Перикл победил неприятелей, обратил их в бегство и тотчас стал окружать город стеной, предпочитая тратить деньги и время, чтобы одолеть врагов и взять город, но не подвергать сограждан ранам и опасностям. Но афинянам наскучила эта проволочка, они жаждали боя, так что трудно было удержать их; поэтому Перикл разделил все войско на восемь частей и бросал между ними жребий: той части, которой доставался белый боб, он позволял пировать и гулять, тогда как остальные занимались ратными трудами. Вот от этого белого боба, говорят, и получилось выражение "белый день", которым люди называют день, счастливый для них.

По рассказу Эфора, Перикл употреблял при осаде и машины, возбуждавшие тогда удивление своей новизной. При нем находился механик Артемон, хромой, которого приносили на носилках, когда работа требовала его присутствия; поэтому он и был прозван "Перифоретом", то есть "Носимым вокруг". Этот факт опровергает Гераклид Понтийский на основании стихов Анакреонта, в которых Артемон Перифорет упоминается за несколько поколений до Самосской войны и этих событий. Этот Артемон, по словам Гераклида, был человек изнеженный, малодушный и трусливый, по большей части сидевший дома, причем двое слуг держали над его головой медный щит, чтобы на него ничего не упало сверху. Если ему нужно было выйти из дому, то его носили на маленькой висячей койке подле самой земли; по этой причине он и был прозван Перифоретом.

28. На девятом месяце осады самосцы сдались. Перикл разрушил их стены, отобрал корабли и наложил на них большую контрибуцию деньгами. Часть ее самосцы тотчас же внесли; другую часть обязались уплатить в назначенный срок, в обеспечение чего дали заложников.

Дурид Самосский прибавляет к этому в трагическом тоне рассказ о страшной жестокости, в которой он обвиняет афинян и Перикла; но о ней не упоминают ни Фукидид, ни Эфор, ни Аристотель; по-видимому, рассказ о жестокости – вымысел. Он говорит, будто Перикл привез самосских начальников кораблей и воинов в Милет и там на площади продержал их привязанными к доскам в течение десяти дней и, наконец, когда они были уже в изнеможении, велел их убить ударами палки по голове, а тела бросить без погребения. Но Дурид не имеет обычая держаться истины в своем повествовании даже там, где у него нет никакого личного интереса; тем более в данном случае он, по-видимому, представил в более страшном виде несчастия своей родины, чтобы навлечь нарекания на афинян.

После покорения Самоса Перикл возвратился в Афины, устроил торжественные похороны воинов, павших на войне, и, согласно обычаю, произнес на их могилах речь, которая привела всех в восторг. Когда он сходил с кафедры, все женщины приветствовали его, надевали на него венки и ленты, как на победителя на всенародных играх; но Эльпиника подошла к нему и сказала: "Да, Пе-

рикл, твои подвиги достойны восторга и венков: ты погубил много добрых граждан наших не в войне с финикиянами и мидянами, как брат мой Кимон, а при завоевании союзного и родственного нам города". На эти слова Эльпиники Перикл с легкой улыбкой, говорят, ответил стихом Архилоха[41].

Не стала бы старуха мирром мазаться.

После покорения Самоса, как рассказывает Ион, Перикл ужасно возгордился: Агамемнон в десять лет взял варварский город, а он в девять месяцев покорил первых, самых сильных ионян! И такое сознание своих заслуг нельзя назвать несправедливым: эта война на самом деле представляла большую опасность, и исход ее был очень сомнителен, если правда, что самосцы, как утверждает Фукидид[42], чуть-чуть не отняли у афинян господство на море.

29. После этого, когда уже поднимались волны Пелопоннесской войны, Перикл уговорил народ послать помощь Керкире, которая подверглась нападению со стороны Коринфа, и присоединить к себе остров, сильный своим флотом, ввиду того, что пелопоннесцы вот-вот начнут войну с Афинами. Когда народ вынес постановление об оказании помощи, Перикл послал только десять кораблей, поручив начальство над ними Кимонову сыну, Лакедемонию, как бы в насмешку над ним: между домом Кимоновым и спартанцами были очень благожелательные и дружественные отношения. Перикл предполагал, что, если Лакедемоний во время своего командования не совершит никакого важного, выдающегося подвига, то его можно будет еще больше обвинять в преданности Спарте; поэтому он и дал ему так мало кораблей и послал его в поход против его желания. Вообще Перикл постоянно противился возвышению Кимоновых сыновей, указывая, что они и по именам своим не настоящие афиняне, а чужие, иноземцы; и действительно, одному из них было имя Лакедемоний, другому Фессал, третьему Элей. Был слух, что все они сыновья одной аркадянки.

Перикла порицали за то, что он дал десять триер: говорили, что он оказал мало помощи керкирянам, нуждавшимся в ней, но зато дал своим противникам веский довод для обвинений. Тогда Перикл отправил в Керкиру другую эскадру побольше, но она пришла уже после сражения.

Раздраженные коринфяне жаловались в Спарте на афинян, к ним присоединились мегаряне, которые обвиняли афинян в том, что им прегражден доступ на все рынки[43], на все пристани, находящиеся во владении афинян, вопреки общему праву и клятвам между эллинами. Эгиняне тоже считали, что они терпят обиды и насилия, но жаловались спартанцам тайно, не смея обвинять афинян открыто. В это же время и Потидея, коринфская колония, но подвластная афинянам, восстала против них; афиняне стали ее осаждать, и это еще более ускорило начало войны.

Но, так как в Афины отправляли посольства и спартанский царь Архидам старался решить бóльшую часть жалоб мирным путем и успокаивал союзников, то все эти причины, кажется, не вызвали бы войны против афинян, если бы они согласились уничтожить постановление против мегарян и примириться с ними. Поэтому Перикл, который больше всех противился этому и подстрекал народ

не прекращать вражды с мегарянами, считался впоследствии единственным виновником войны.

30. Когда посольство прибыло из Спарты в Афины для переговоров по этому делу, Перикл, говорят, стал ссылаться на один закон, запрещавший уничтожать доску, на которой было написано это постановление. Тогда один из послов, Полиалк, сказал: "А ты не уничтожай доску, а только переверни ее: ведь нет закона, запрещающего это". Хотя эти слова показались остроумными, Перикл, тем не менее не уступил. Таким образом, думаю, была у него какая-то затаенная, личная ненависть к мегарянам; но он выставил против них обвинение открытое, затрагивавшее общие интересы: именно, что мегаряне присваивают себе священный участок земли[44]. Он предложил народу вынести постановление о том, чтобы к ним был послан глашатай, и чтобы он же был послан к спартанцам с жалобой на мегарян. Это постановление составлено Периклом; оно имело целью справедливое и мягкое решение спора. Но, так как посланный глашатай, Анфемокрит, погиб, как думали, по вине мегарян, Харин предложил вынести против них другое постановление, по которому вражда с мегарянами должна была продолжаться вечно, без перемирия и без переговоров; каждый мегарянин, вступивший на землю Аттики, подлежал смертной казни; стратеги, принося унаследованную от отцов присягу, должны были прибавлять к ней клятву, что они по два раза в год будут вторгаться в мегарскую землю. Анфемокрита постановили похоронить у Фриасийских ворот, которые теперь называются "Дипилон" – "Двойными воротами". Мегаряне отрицают свое участие в убийстве Анфемокрита и обращают обвинения на Аспасию и Перикла, цитируя в доказательство этого известные, общераспространенные стихи из "Ахарнян"[45]:

Но раз в Мегаре пьяные молодчики
Симету, девку уличную, выкрали.
Мегарцы, распаленные обидою,
Двух девок тут украли у Аспасии.

31. Итак, нелегко узнать, как началась война. Но отказ отменить постановление все приписывают Периклу. Только одни объясняют его упорство благородной гордостью, пониманием положения вещей и самыми лучшими намерениями: он считал, говорят они, что спартанцы хотели испытать уступчивость афинян, выставляя такое требование, и что согласиться с ним означало бы для афинян признать свою слабость. Другие видят в его высокомерном отношении к спартанцам лишь упрямство и соперничество с целью показать свою силу.

Но самое тяжкое обвинение, подтверждаемое, однако, большинством свидетелей, приблизительно такое. Скульптор Фидий подрядился изготовить статую, как сказано выше. Так как он был другом Перикла и пользовался у него большим авторитетом, то у него было много личных врагов и завистников; а другие хотели на нем испытать настроение народа – как поступит народ в случае суда над Периклом. Они уговорили одного из помощников Фидия, Менона, сесть на площади в виде молящего и просить, чтобы ему дозволено было безнаказанно сделать донос на Фидия и обвинять его. Народ принял донос благосклонно. При разборе этого дела в Народном собрании улик в воровстве не оказалось: по со-

вету Перикла, Фидий с самого начала так приделал к статуе золото и так ее обложил им, что можно было все его снять и проверить вес, что в данном случае Перикл и предложил сделать обвинителям. Но над Фидием тяготела зависть к славе его произведений, особенно за то, что, вырезая на щите сражение с Амазонками, он изобразил и себя самого в виде плешивого старика, поднявшего камень обеими руками; точно так же он поместил тут и прекрасный портрет Перикла, сражающегося с Амазонкой. Рука Перикла, державшая поднятое копье перед лицом, сделана мастерски, как будто хочет прикрыть сходство, но оно видно с обеих сторон.

Итак, Фидий был отведен в тюрьму и там умер от болезни, а, по свидетельству некоторых авторов, от яда, который дали ему враги Перикла, чтобы повредить тому в общественном мнении[46].

Доносчику Менону народ, по предложению Гликона, даровал свободу от всех повинностей и приказал стратегам заботиться о его безопасности.

32. Около этого же времени против Аспасии был возбужден судебный процесс по обвинению в нечестии. Обвинителем ее выступил комический поэт Гермипп, который обвинял ее еще и в том, что к ней ходят свободные женщины, которых она принимает для Перикла. Диопиф внес предложение о том, чтобы люди, не верующие в богов или распространяющие учения о небесных явлениях, были привлекаемы к суду как государственные преступники. Он хотел набросить подозрение на Перикла косвенным путем, через Анаксагора. Так как народ охотно принимал эти наветы, то, по предложению Драконтида, было, наконец, сделано постановление о том, чтобы Перикл представил пританам отчеты в деньгах[47], а судьи судили бы на акрополе и брали бы камешки с алтаря. Последнюю часть этого постановления Гагнон предложил отменить, а сам предложил, чтобы дело разбиралось судьями в числе тысячи пятисот человек, как бы ни захотели формулировать обвинение: в краже ли, или в лихоимстве, или вообще в преступлении по должности.

Что касается Аспасии, то Перикл вымолил ей пощаду, очень много слез пролив за нее во время разбирательства дела, как говорит Эсхин, и упросив судей. А за Анаксагора он боялся и дал ему возможность тайным образом уйти из города. Когда же из-за Фидиева дела его популярность пошатнулась, то он, опасаясь суда, раздул медленно тлевшее пламя войны в надежде, что обвинения рассеются и зависть смирится, когда граждане во время великих событий и опасностей вверят отечество ему одному как человеку уважаемому и авторитетному. Так вот какие указываются причины, по которым он не дозволил сделать уступку спартанцам. Но истина неизвестна.

33. Спартанцы понимали, что в случае падения Перикла афиняне будут гораздо сговорчивее. Поэтому они потребовали изгнания виновных в кощунстве по делу Килона, в котором замешан был род Перикла с материнской стороны, как говорит Фукидид[48]. Но эта попытка дала результат, противоположный тому, какого ожидали спартанцы: вместо подозрений и злоречия сограждане окружили Перикла еще большим доверием и уважением как человека, более всех ненавистного и страшного неприятелям. Ввиду этого еще до вторжения в Аттику Архидама во главе пелопоннесцев Перикл объявил афинянам, что, если Ар-

хидам, опустошая страну, не коснется его владений, по случаю ли дружеских отношений гостеприимства между ними или чтобы дать врагам повод чернить его, то он жертвует государству и землю, и усадьбы.

Спартанцы и их союзники с большим войском вторглись в Аттику под предводительством царя Архидама. Опустошая страну, они дошли до Ахарн и расположились там лагерем в ожидании, что афиняне под влиянием раздражения и гордости вступят в решительный бой с ними. Но Периклу казалось опасным начать сражение с шестьюдесятью тысячами пелопоннесских и беотийских гоплитов (таково было число неприятелей при первом вторжении), подвергая риску самый город. Граждан, которые требовали сражения и не могли выносить происходившего опустошения страны, он старался успокоить: он указывал им, что деревья, обрезанные и срубленные, скоро вырастают, а воротить назад убитых отнюдь не так просто.

Народного собрания Перикл не созывал из опасения, что его заставят поступить вопреки его убеждению. Как кормчий на корабле, когда в открытом море поднимется ветер, приведя все в порядок, натянув канаты, действует по правилам искусства, не взирая на слезы и просьбы испуганных пассажиров, страдающих морской болезнью, так и Перикл, заперши городские ворота и расставив везде караулы для безопасности, руководился своими соображениями, мало обращая внимания на негодующие крики и недовольство граждан.

А между тем многие друзья приставали к нему с просьбами, многие враги грозили и обвиняли его, хоры[49] пели насмешливые песни, чтоб его осрамить, издевались над его командованием, называя его трусливым и отдающим отечество в жертву врагам.

И Клеон уже тогда стал нападать на него, пользуясь раздражением граждан, чтобы проложить себе путь к верховенству над народом, как показывают следующие анапесты Гермиппа:

Эй, сатиров царь! Почему же ты
Не поднимешь копье? Лишь одни слова
Сыплешь ты про войну, все грозней и грозней,
А душа у тебя – Телета!
И, когда острят лезвие меча,
То, в страхе дрожа, ты зубами стучишь
От укусов смелых Клеона.

34. Однако ничто не могло поколебать Перикла: он кротко и молчаливо переносил унижение и вражду. Он послал эскадру в сто кораблей против Пелопоннеса, но сам не принял участия в походе, а оставался в городе, чтобы держать его в своих руках, пока не ушли пелопоннесцы. Ища популярности у народа, все еще роптавшего на войну, он старался задобрить его раздачею денег и предлагал выводить колонии: так, изгнав жителей Эгины всех поголовно, он разделил остров по жребию между афинянами. Некоторым утешением служили также бедствия, которые терпели неприятели: флот во время похода вокруг Пелопоннеса разорил страну на большом пространстве, разрушил деревни и небольшие города; а с суши Перикл сам сделал вторжение в Мегарскую область и

опустошил ее всю. Несомненно, неприятели, нанося много вреда афинянам на суше, но и сами терпя от них много вреда с моря, не могли бы так долго вести войну, но скоро изнемогли бы, как сначала и предсказывал Перикл, если бы какая-то божественная сила не противодействовала человеческим расчетам. Однако, во-первых, разразилась губительная моровая болезнь[50] и поглотила молодежь в цвете лет и сил. Болезнь имела вредное влияние и на тело, и на душу граждан: они озлобились на Перикла. Как люди, обезумевшие от болезни, оскорбляют врача или отца, так и афиняне стали дурно относиться к Периклу по наущению его врагов, которые говорили, что болезнь эту производит скопление деревенского населения в городе, когда множество народа в летнюю пору принуждено жить вместе, вповалку, в тесных хижинах и душных сараях, вести жизнь сидячую и праздную вместо прежней жизни на чистом воздухе и на просторе; а виноват в этом тот, кто в связи с войной загнал деревенский люд в городские стены и ни на что не употребляет такую массу народа, а спокойно смотрит, как люди, запертые подобно скоту, заражаются друг от друга, и не дает им возможности изменить свое положение и подышать свежим воздухом.

35. Чтобы помочь этому горю, а кстати и причинить некоторый вред неприятелям, Перикл снарядил полтораста кораблей, посадил на них много храбрых гоплитов и всадников и собирался уже выйти в море; такая крупная сила подавала большую надежду гражданам и внушала не меньший страх врагам. Уже войска сели на суда и сам Перикл взошел на свою триеру, как вдруг произошло солнечное затмение[51], наступила темнота, все перепугались, считая это важным предзнаменованием. Перикл, видя ужас и полную растерянность кормчего, поднял свой плащ перед его глазами и, накрыв его, спросил, неужели в этом есть какое-нибудь несчастие или он считает это предзнаменованием какого-нибудь несчастия. Тот отвечал, что нет. “Так чем же то явление отличается от этого, – сказал Перикл, – как не тем, что предмет, который был причиной темноты, больше плаща?” Такой рассказ приводится в лекциях философов.

Как бы то ни было, Перикл отплыл. Но как видно, он не сделал ничего такого, чего можно было бы ожидать после столь внушительных приготовлений. В том числе и осада священного Эпидавра, хотя и была надежда взять его, успеха не имела из-за болезни, которая губила не только самих воинов, но и всех так или иначе соприкасавшихся с войском.

Эти несчастья вызывали сильное раздражение афинян против Перикла; он пробовал их успокоить и ободрить, но не мог утишить их гнев и переубедить их: их раздражение кончилось лишь тогда, когда они с камешками в руках стали голосовать против него и, получив всю полноту власти, лишили его должности стратега и наложили денежный штраф. Минимальный размер штрафа наши источники определяют в пятнадцать талантов, а максимальный – в пятьдесят. Обвинителем в жалобе был назван по Идоменею, Клеон, по Феофрасту – Симмий; а Гераклид Понтийский называет Лакратида.

36. Народное волнение, однако, продолжалось недолго: народ, нанеся Периклу удар, оставил свой гнев, как оставляет жало пчела. Но дома положение его было печально: во время эпидемии он потерял немало близких людей, и семейный раздор с давних пор беспокоил его. Старший из законных сыновей, Ксан-

фипп, был и сам по натуре расточителен, да к тому же у него была молодая, избалованная жена, дочь Тисандра, Эпиликова сына. Ксанфипп был недоволен расчетливостью отца, который давал ему деньги скупо и понемногу. Однажды он послал к кому-то из отцовских друзей попросить денег взаймы будто бы по поручению Перикла и получил их. Когда тот впоследствии стал требовать уплаты долга, Перикл даже начал с ним судебный процесс. Молодой Ксанфипп был огорчен этим, бранил отца, сперва представлял в смешном виде его домашние философские рассуждения и разговоры с софистами. Так, когда какой-то пентатл[52] нечаянно брошенным дротом убил Эпитима из Фарсала, Перикл, по словам Ксанфиппа, потратил целый день, рассуждая с Протагором о том, кого, по существу, следует считать виновником этого несчастного случая, – дрот, или бросавшего, или распорядителей состязания. Кроме того, Ксанфипп, по свидетельству Стесимброта, рапространял в народе грязную сплетню по поводу своей жены, и вообще у молодого человека до смерти оставалась непримиримая вражда к отцу (Ксанфипп захворал во время эпидемии и умер).

Перикл потерял тогда также и сестру и большую часть свойственников и друзей, бывших очень полезными помощниками в его государственной деятельности. Однако он не изнемог под бременем несчастий и не потерял величия духа и твердости: его никто не видал даже плачущим ни на похоронах кого-либо из родных, ни впоследствии на могиле, пока, наконец, он не потерял и последнего из законных сыновей, Парала. Это несчастие сломило его; он старался выдержать характер и сохранить душевную твердость, но, когда возлагал на умершего венок, не мог при виде его устоять против горя, разразился рыданиями и залился слезами; ничего подобного с ним не случалось во всю жизнь.

37. Между тем, афиняне испытывали других стратегов и ораторов, насколько они пригодны для ведения войны; но ни у кого из них не оказалось ни влияния, достаточного для такой высокой власти, ни авторитета, обеспечивающего надлежащее исполнение ее. Афиняне жалели о Перикле и звали его на ораторскую трибуну и в помещение для стратегов. Но Перикл лежал дома, убитый горем, и только Алкивиад и другие друзья уговорили его пойти на площадь.

Народ просил простить ему его несправедливость, и Перикл опять принял на себя управление делами и был выбран в стратеги. Тотчас после этого он потребовал отмены закона о незаконнорожденных детях, который он сам прежде внес, – для того, чтобы за отсутствием у него наследников не прекратились совершенно его род и имя.

История этого закона такова. Когда Перикл очень задолго до этого был на вершине своего политического могущества и имел, как сказано выше, законных детей, он внес предложение о том, чтобы афинскими гражданами считались только те, у которых и отец и мать были афинскими гражданами. Когда египетский царь прислал в подарок народу сорок тысяч медимнов пшеницы, и надо было гражданам делить ее между собою, то на основании этого закона возникло множество судебных процессов против незаконнорожденных, о происхождении которых до тех пор или не знали, или смотрели на это сквозь пальцы; многие делались также жертвой ложных доносов. На этом основании были признаны виновными и проданы в рабство без малого пять тысяч человек; а число со-

хранивших право гражданства и признанных настоящими афинянами оказалось равным четырнадцати тысячам двумстам сорока. Хотя и странным представлялось, что закон, применявшийся со всею строгостью против стольких лиц, будет отменен именно по отношению к тому, кто его издал, семейное несчастье Перикла в данном случае смягчило афинян: они полагали, что он терпит какое-то наказание за прежнюю гордость и самомнение. Находя, что постигшее его несчастие есть кара разгневанного божества и что его просьба так естественна для человека, афиняне позволили ему внести незаконного сына в список членов фратрии[53] и дать ему свое имя. Впоследствии этот сын Перикла одержал победу над пелопоннесцами в морском сражении при Аргинусских островах и был казнен вместе с другими стратегами по приговору народа.

38. Тогда, кажется, зараза коснулась Перикла, но болезнь у него носила не острый характер, как у других, не сопровождалась сильными приступами, а была тихая, затяжная, с различными колебаниями, медленно изнурявшая тело и постепенно подтачивавшая душевные силы. Феофраст, например, в своем "Моральном трактате", где он ставит вопрос, не изменяется ли духовная природа человека под влиянием внешних обстоятельств и не теряет ли он мужество под давлением телесных страданий, рассказывает, что Перикл показал одному своему другу, навестившему его, ладанку, которую женщины надели ему на шею: он хотел этим сказать, что ему очень плохо, раз уж он согласен терпеть и такую нелепость.

Когда Перикл был уже при смерти, вокруг него сидели лучшие граждане и остававшиеся в живых друзья его. Они рассуждали о его высоких качествах и политическом могуществе, перечисляли его подвиги и количество трофеев: он воздвиг девять трофеев в память побед, одержанных под его предводительством во славу отечества. Так говорили они между собою, думая, что он уже потерял сознание и не понимает их. Но Перикл внимательно все это слушал и, прервавши их разговор, сказал, что удивляется, как они прославляют и вспоминают такие его заслуги, в которых равная доля принадлежит и счастью и которые бывали уже у многих полководцев, а о самой славной и важной заслуге не говорят: "Ни один афинский гражданин, – прибавил он, – из-за меня не надел черного плаща"[54].

39. Итак, в этом муже достойна удивления не только умеренность и кротость, которую он сохранял в своей обширной деятельности, среди ожесточенной вражды, но и благородный образ мыслей: славнейшей заслугой своей он считал то, что занимая такой высокий пост, он никогда не давал воли ни зависти, ни гневу и не смотрел ни на кого, как на непримиримого врага. Как мне кажется, известное его прозвище, наивно-горделивое, заслужено им и не может возбуждать ни в ком зависти единственно потому, что Олимпийцем прозван человек такой доброй души, жизнь которого, несмотря на его могущество, осталась чистой и незапятнанной. Подобным образом мы признаем, что боги, по самой природе своей являющиеся источником блага, но не виновниками зла, по праву властвуют и царят над миром. Мы не согласны с поэтами, которые, сбивая нас с толку невежественными учениями, опровергают сами себя своими вымыслами; место, в котором, по их словам, пребывают боги, они называют[55] жилищем надежным,

непоколебимым, где нет ни бурь, ни туч, где небо ласково и ясно и вечно сияет самый чистый свет; такая жизнь, говорят они, наиболее подобает существу блаженному и бессмертному. Но жизнь самих богов они изображают полной раздора, вражды, гнева и других страстей, не подобающих даже людям, имеющим разум. Впрочем, эти вопросы, пожалуй, относятся к другого рода сочинениям.

Что же касается Перикла, то события заставили афинян почувствовать, чем он был для них, и пожалеть о нем. Люди, тяготившиеся при его жизни могуществом его, потому что оно затмевало их, сейчас же, как его не стало, испытав власть других ораторов и вожаков, сознавались, что никогда не было человека, который лучше его умел соединять скромность с чувством достоинства и величавость с кротостью. А сила его, которая возбуждала зависть и которую называли единовластием и тираннией, как теперь поняли, была спасительным оплотом государственного строя: на государство обрушились губительные беды и обнаружилась глубокая испорченность нравов, которой он, ослабляя и смиряя ее, не давал возможности проявляться и превратиться в неисцелимый недуг.



ФАБИЙ МАКСИМ

1. Таков Перикл в его поступках, достойных упоминания; изложив их, переходим к рассказу о Фабии.

Какая-то нимфа (или, по другим сообщениям, смертная женщина из тех мест), сочетавшись на берегу реки Тибра с Гераклом, произвела на свет сына, Фабия, который сделался основателем многочисленного и прославленного в Риме рода Фабиев. Некоторые утверждают, будто первые в этом роду ловили диких зверей с помощью рвов и потому в древности именовались Фодиями (ведь еще и теперь рвы у римлян называются “фоссы” [fossa], а рыть – по латыни “фодере” [fodere]). С течением времени произношение двух звуков изменилось, и Фодии стали Фабиями[1].

Этот дом дал много знаменитых людей; среди них самым великим был Рулл, по этой причине прозванный римлянами Максимом, то есть “Величайшим”; Фабий Максим, о котором мы пишем, – его потомок в четвертом колене. Сам он носил прозвище Веррукоза – по одному телесному изъяну: над верхней губой у него была маленькая бородавка [verruca]. Другое прозвище – Овикула, что значит “Овечка”, ему дали еще в детстве за кроткий нрав и неторопливость. Спокойный, молчаливый, он был чрезвычайно умерен и осторожен в удовольствиях, свойственных детскому возрасту, медленно и с большим трудом усваивал то, чему его учили, легко уступал товарищам и подчинялся им, и потому людям посторонним внушал подозрения в вялости и тупости, и лишь немногие угадывали в его натуре глубину, непоколебимость и величие духа – одним словом, нечто

львиное. Но вскоре, побужденный обстоятельствами, он доказал всем, что мнимая его бездеятельность говорит о неподвластности страстям, осторожность – о благоразумии, а недостаточная быстрота и подвижность – о неизменном, надежнейшем постоянстве.

Видя, что римское государство стоит на пороге великих свершений и многочисленных войн, он готовил к военным трудам свое тело, словно полученный от природы доспех, и в полном соответствии с той жизнью, какую ему предстояло прожить, старался превратить речь в орудие для убеждения толпы. Ораторскому дарованию Фабия были свойственны не прикрасы, не пустые дешевые приманки, но упорно противящийся чужому воздействию здравый смысл, отточенность и глубина изречений, как говорят, более всего сходных с Фукидидовыми. Сохранилась одна из речей Фабия к народу – похвала сыну[2], занимавшему должность консула и вскоре после этого скончавшемуся.

2. Из пяти консульств самого Фабия первое было ознаменовано триумфом над лигурийцами. Разбитые в сражении, понеся большие потери, они были отброшены в глубину Альпийских гор и перестали тревожить пограничные области Италии набегами и разбоями.

Когда Ганнибал вторгся в Италию, одержал первую победу при реке Требии и двинулся через Этрурию, опустошая страну и приводя Рим в ужас и смятение, и одновременно распространились слухи о многих знамениях (не только о привычных римлянам громах и молниях, но и поразительных, дотоле не слыханных явлениях – рассказывали, будто щиты вдруг сами собой сделались влажными от крови, будто близ Антия жали кровавую жатву, будто сверху падали раскаленные, пылающие камни, а над Фалериями небо разверзлось и оттуда посыпалось и рассеялось по земле множество табличек, на одной из которых было написано: "Марс потрясает оружием"), консула Гая Фламиния, от природы горячего и честолюбивого, гордившегося блестящим успехом, которого он перед тем совершенно неожиданно достиг, вступивши, несмотря на приказ сената и сопротивление товарища по должности, в бой с галлами и нанеся им поражение, – Гая Фламиния все это нимало не образумило.

Всколыхнувшие толпу знамения не очень смутили и Фабия, – слишком уж они казались невероятными, – но, узнав, как малочисленны враги и как жестоко стеснены они в денежных средствах, он советовал воздержаться от сражения с человеком, закалившим свое войско во многих битвах, а лучше послать помощь союзникам, крепче держать в руках города и предоставить силам Ганнибала иссякнуть самим по себе, как постепенно угасает едва тлеющий огонек.

3. Однако переубедить Фламиния Фабий не смог. Заявив, что он не подпустит неприятеля к воротам Рима и не намерен, подобно древнему Камиллу, вести сражение за город в его стенах, Фламиний приказал военным трибунам выводить войска, а сам вскочил на коня, как вдруг конь без всякой видимой причины испугался, задрожал и сбросил консула, который, падая, ударился головой, но от прежнего решения не отступился: следуя своему плану, он двинулся навстречу Ганнибалу и выстроил римлян в боевом порядке у Тразименского озера в Этрурии. Когда воины уже сошлись в рукопашную, в самый разгар битвы, случилось землетрясение, которое разрушило города, изменило течение рек и изборвало

роздило трещинами подножья скал. Но, несмотря на силу этого явления, решительно никто из сражающихся его не заметил. Фламиний, проявивший и доблесть и силу, пал, а вокруг него – лучшая часть войска. Остальные обратились в бегство, началась свирепая резня, пятнадцать тысяч было перебито и столько же взято в плен. Из уважения к храбрости Фламиния Ганнибал хотел разыскать и с почетом похоронить тело, но его не нашли среди мертвых, и вообще неизвестно, как оно исчезло.

О поражении при Требии ни консул, писавший донесение в Рим, ни гонец, посланный с этим донесением, прямо не сообщили – оба лгали, будто одержана победа, хотя и сомнительная, ненадежная. На этот раз едва только претор Помпоний узнал о случившемся, он немедленно созвал народ на собрание и без всяких обиняков и околичностей сказал: "Римляне, мы проиграли важное и большое сражение, войско погибло, консул Фламиний убит. Подумайте о своем спасении и безопасности". Слова претора, словно хлестнувший по морю шквал, всколыхнули весь город, сперва никто не в силах был собраться с мыслями, но под конец все сошлись на том, что обстоятельства требуют неограниченного единовластия (римляне называют его "диктатурой") и человека, который твердо и бесстрашно возьмет в руки эту власть, а таков, по всеобщему мнению, был один только Фабий Максим: лишь его здравомыслие и нравственная безупречность соответствовали величию должности диктатора; с другой стороны, он был в том возрасте, когда телесные силы еще отвечают вынашиваемым в душе планам и с благоразумием соединена отвага.

4. После того, как решение было принято и Фабий, назначенный диктатором, в свою очередь назначил начальником конницы Марка Минуция, он прежде всего попросил у сената дозволения ездить верхом во время военных действий. Каким-то древним законом это возбранялось: то ли римляне главную свою силу полагали в пехоте и потому считали, что полководец должен оставаться в пешем строю и не покидать его, то ли, поскольку во всем прочем диктаторская власть столь огромна и равна царской, они желали, чтобы хоть в этом проявлялась зависимость диктатора от народа. Во всяком случае Фабий был намерен сразу же показать народу величие и достоинство своей власти, дабы обеспечить себе беспрекословное повиновение сограждан, и вышел в сопровождении двадцати четырех ликторов[3]. Ему навстречу направился оставшийся в живых консул[4], но Фабий через служителя приказал ему распустить своих ликторов, сложить с себя знаки консульского достоинства и явиться к диктатору частным образом.

Потом он воздал должное богам, как нельзя лучше приступая к исполнению своих обязанностей: он внушал народу, что причина неудачи – не трусость воинов, а нерадивое, пренебрежительное отношение полководца к божеству, призывал не страшиться противника, но умилостивить и почтить богов и при этом не суеверие вселял в души, но храбрость и доблесть укреплял благочестием, добрыми надеждами на богов изгоняя и ослабляя страх перед врагами. Тогда же обратились и ко многим из тайных пророческих книг, называемых Сивиллиными[5], и оказалось, как говорят, что некоторые содержащиеся в них прорицания совпали с событиями и делами тех дней. Прочитанное в этих книгах не могло

быть поведано никому, но диктатор, выйдя к толпе, дал богам обет принести им в жертву весь приплод коз, свиней, овец и коров, который вскормят к концу весны горы, равнины, луга и пастбища Италии, и устроить мусические и драматические состязания, употребив на это триста тридцать три тысячи сестерциев и триста тридцать три с третью денария (это составляет в целом восемьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят три драхмы и два обола). Почему сумма была определена с такой точностью, сказать трудно; разве что захотели прославить могущество троицы[6] – числа совершенного по своей природе: первое среди нечетных, оно заключает в себе начало множественности, а также первоотличия и первоосновы всякого числа вообще, смешивая их и стройно сочетая друг с другом.

5. Итак, устремив помышления народа к богам, Фабий внушил ему веру в будущее, сам же всецело полагался на себя одного в твердой надежде, что бог дарует успех лишь доблести и благоразумию. Он двинулся против Ганнибала, но не для того, чтобы дать ему решающее сражение, а чтобы исподволь истощить его и сломить, противопоставив силе время, скудости – изобилие, малочисленности – многолюдность. Поэтому он неизменно разбивал лагерь на высотах, вне досягаемости для вражеской конницы, не двигался, пока оставался на месте неприятель, а когда тот пускался в путь, шел в обход через горы, то и дело показываясь на расстоянии достаточно далеком, чтобы не вступать в бой вопреки своему намерению, но достаточно близком, чтобы самим своим промедлением держать противника в постоянном страхе перед битвой. Однако бесконечные оттяжки и отсрочки вызывали всеобщее презрение: Фабия не только поносили в собственном лагере, но даже враги считали его трусом и никуда не годным полководцем.

Лишь один человек судил по-иному, и это был Ганнибал. Только он один разгадал искусный замысел Фабия и его план ведения войны и, понимая, что любыми средствами – хитростью или силой – нужно заставить его принять бой (ибо в противном случае карфагеняне погибли, поскольку то, в чем они сильнее, – их оружие, – остается без употребления, то же, в чем они уступают неприятелю, – люди и казна, – тает и растрачивается впустую), перепробовал все военные уловки и приемы, точно опытный борец, пытающийся нащупать слабое место противника; он нападал на Фабия, тревожил его, вынуждал часто менять позицию, стараясь, чтобы тот в конце концов забыл об осторожности.

Фабий, уверенный в преимуществах своего образа действий, твердо стоял на своем, но ему не давал покоя начальник конницы Минуций, который совершенно некстати рвался в сражение, держал себя самоуверенно и нагло и в погоне за благосклонностью воинов наполнял их души сумасбродной горячностью и пустыми надеждами. Его приверженцы с презрением и издевкой звали Фабия "Ганнибаловым дядькой", Минуция же провозглашали великим человеком и достойным Рима полководцем. Последний, еще сильнее возомнив о себе и возгордившись, стал насмехаться над лагерными стоянками на высотах, говоря, что диктатор непрестанно печется о том, чтобы его подчиненным было получше видно, как жгут и опустошают Италию, и осведомлялся у друзей Фабия, не потому ли командующий старается поднять войско в небеса, что простился с надеждой

удержать за собой землю. Или, может, он хочет ускользнуть от врагов, укрывшись за тучами и облаками? Когда друзья рассказали об этом Фабию и советовали пойти навстречу опасности, чтобы пресечь дурную молву, он отвечал: "Я оказался бы еще большим трусом, чем меня считают теперь, если бы, испугавшись насмешек и хулы, изменил своему решению. В страхе за отечество нет ничего позорного, а смущаться людским мнением, клеветою и бранью – недостойно мужа, облеченного такою властью, если он не намерен сделаться рабом тех, кем ему надлежит править и повелевать, невзирая на их заблуждения".

6. Вскоре после этого Ганнибал допустил грубую ошибку. Чтобы подальше оторваться от Фабия и выйти на равнину, где было много корма для коней, он приказал проводникам сразу после обеда вести войско к Казину. Не разобрав как следует из-за его чужеземного выговора слово "Казин", проводники направились к границам Кампании, к городу Казилину, разделенному посредине рекою, которую римляне называют Волтурн. Эта местность со всех сторон окружена горами: к морю сбегает долина, в которой после разлива речек остаются болота с высокими песчаными дюнами по краям, тянущиеся до самого морского берега, заливаемого бурными волнами и лишенного гаваней. Пока Ганнибал спускался в долину, Фабий, прекрасно знавший все дороги в тех краях, обошел его, поставил в теснине заслон из четырех тысяч тяжеловооруженных пехотинцев, остальное войско выгодно разместил на высотах, а сам с наиболее подвижными и легковооруженными воинами ударил в тыл карфагенянам и привел в смятение весь их строй; противник потерял убитыми около восьмисот человек.

Тут Ганнибал, поняв свою ошибку и видя опасность, которой подвергается, распял проводников и стал думать, как бы ему отступить, но должен был отказаться от мысли силою потеснить противника, державшего в своих руках перевал. Войско считало свое положение безвыходным, поскольку кольцо окружения замкнулось, и уже совершенно пало духом, когда полководец нашел способ обмануть врага. Вот что он придумал. Он велел отобрать из добычи примерно тысячи две коров и привязать каждой к рогам факел, пучок прутьев или вязанку хвороста, а затем ночью по условленному знаку запалить факелы и гнать животных к перевалу и к теснинам, охранявшимся вражеской стражей. Меж тем как шли необходимые приготовления, начало смеркаться, и Ганнибал со всеми, кто не был занят исполнением его приказа, медленно тронулся с места. Пока пламя было не слишком жаркое и горело только дерево, коровы, повинуясь погонщикам, спокойно шли к подножию гор, а пастухи и волопасы дивились, глядя сверху на огоньки, сиявшие на остриях рогов, – им казалось, будто внизу стройно движется целое войско, освещая себе путь множеством светильников. Когда же рога, обгорев до самых корней, передали ощущение жжения живому мясу, коровы замотали от боли головами, зажигая друг на друге шерсть, и уже без всякого порядка, вне себя от страха и муки, ринулись вперед; лбы и кончики хвостов у них ярко сверкали, и почти повсюду, где они проносились, занимался лес и кустарник. Грозное это было зрелище для римлян, карауливших перевал: огни казались светильниками в руках бегущих людей, и нестерпимый страх овладел караульными при мысли, что враги несутся на них со всех сторон, что они окружены. Итак, не выдержав, они бросили проход и отступили к большому ла-

герю. В тот же миг подоспела легкая пехота Ганнибала и заняла перевал, тогда как остальная часть войска подошла уже в полной безопасности, тяжело обремененная огромной добычей.

7. Фабию еще ночью удалось разгадать обман (несколько коров отбились от стада и по одиночке попали в руки римлян), однако, боясь засад и темноты, он приказал своим сохранять боевую готовность, но со стоянки не снялся. Когда рассвело, он пустился в погоню и напал на тылы карфагенян; завязался рукопашный бой, позиция была неудобная, и это вызвало немалое замешательство, продолжавшееся до тех пор, пока посланные Ганнибалом испанцы, ловкие и проворные, опытные в лазании по горам, не ударили по первым рядам тяжелой пехоты римлян и, многих перебивши, обратили Фабия вспять. Вот когда брань зазвучала громче прежнего, а презрение к Фабию достигло предела. Ведь уступая Ганнибалу первенство в силе оружия, он рассчитывал одолеть его дальновидностью и силою ума, но и тут, оказывается, терпит поражение, попавшись в расставленные врагом сети! Чтобы еще пуще разжечь гнев римлян против Фабия, Ганнибал, подойдя к его поместью, приказал спалить и разграбить все кругом, и лишь владений диктатора запретил касаться – мало того, приставил стражу, чтобы там ничего не повредили и ничего оттуда не похитили.

Весть об этом, достигнув Рима, умножила обвинения, трибуны без устали обличали Фабия перед народом, и более всех усердствовал в злобных нападках Метилий – не столько из личной ненависти к диктатору, сколько надеясь, что клевета на него послужит к чести и славе начальника конницы Минуция, с которым Метилий был в родстве. Сенат был тоже разгневан – его возмутило соглашение о пленных, которое Фабий заключил с Ганнибалом: они уговорились обменивать человека на человека, если же у одной из сторон пленников окажется больше – платить за каждого двести пятьдесят драхм, и, когда обмен закончился, выяснилось, что у Ганнибала остается еще двести сорок римлян. Сенат решил выкупа за них не посылать и поставил Фабию на вид, что, стараясь вернуть тех, кто попал в руки врага из-за собственного малодушия, он поступил недостойно и нецелесообразно. Получив такое порицание, Фабий встретил гнев сограждан спокойно, но, оставшись без средств и, в то же время, не считая возможным обмануть Ганнибала и бросить на произвол судьбы своих, отправил в Рим сына, чтобы тот продал его поместья, а вырученные деньги немедленно привез к нему в лагерь. Юноша продал земли и поспешно вернулся; тогда диктатор, отослав Ганнибалу выкуп, забрал пленных. Позже многие хотели возместить ему этот убыток, но он всем простил долг и ничего с них не взял.

8. Вскоре жрецы вызвали Фабия в Рим для участия в каком-то жертвоприношении, и он передал командование Минуцию, не только на правах главнокомандующего запретив ему вступать с неприятелем в сражение или в какие бы то ни было стычки, но и сопроводив свой приказ многочисленными увещаниями и просьбами. Минуций, однако, не придав всему этому ни малейшего значения, сразу же принялся тревожить карфагенян и однажды, выждав случай, когда Ганнибал бо́льшую часть своих людей отпустил для сбора продовольствия и корма, напал на оставшихся и загнал их в лагерь, нанеся врагу тяжелый урон и всем внушив страх перед осадой; когда же войска Ганнибала стали возвращать-

ся, в полном порядке отступил, и сам безмерно кичась успехом, и воинам внушив дерзкую уверенность в своих силах.

Слух о победе, значительно приукрашенный, быстро достиг Рима, и Фабий сказал, что больше, чем неудачи Минуция, боится его удачи, а народ, ликуя, сбежался на форум, и трибун Метилий, взойдя на возвышение, произнес речь, в которой восхвалял Минуция, Фабия же обвинял в малодушии, в трусости и даже в предательстве, и не только Фабия, но вообще самых знатных и влиятельных граждан: они-де с самого начала затеяли эту войну для того, чтобы лишить народ всех прав и подчинить государство неограниченной власти одного человека, который своей медлительностью даст Ганнибалу возможность сначала закрепиться в Италии, а затем и покорить ее, получив свежее подкрепление из Африки.

9. Затем выступил Фабий. Он даже не подумал оправдываться и отвечать трибуну, но сказал, что...* как можно скорее завершить жертвоприношения и другие обряды, чтобы вернуться к войску и наказать Минуция, который, ослушавшись его приказа, вступил в бой. Видя, что Минуцию грозит опасность, народ поднял невообразимый шум: ведь диктатору дозволено заключать граждан в оковы и даже казнить без суда, а все были уверены, что, долго сдерживая себя, Фабий, наконец, ожесточился и что тем суровее и беспощаднее будет теперь его гнев. В страхе никто не решался произнести ни слова, но Метилий, которому обеспечивало неприкосновенность достоинство трибуна (только это звание и сохраняло силу после выбора диктатора, когда все прочие должностные лица складывали свои полномочия), настойчиво убеждал и просил народ не выдавать Минуция, не допустить, чтобы он разделил ту участь, на которую Манлий Торкват[7] обрек своего сына – юношу, совершившего великий подвиг и награжденного венком, но, не взирая на все это, обезглавленного; в заключение он призвал лишить Фабия верховной власти и вручить ее тому, кто и может и хочет спасти Рим.

Граждане не остались глухи к его словам: правда, при всем своем недовольстве Фабием, они не осмелились принудить его отказаться от диктатуры, но постановили, чтобы Минуций по положению был равен командующему и чтобы военными действиями руководили оба на равных правах – беспримерное для Рима решение, однако вскоре, после разгрома при Каннах, повторившееся. Случилось так, что диктатор Марк Юний находился с войсками в лагере, а поскольку в битве пало много сенаторов и состав сената требовалось пополнить, для дел внутригосударственных был избран другой диктатор – Фабий Бутеон. Однако, едва появившись перед народом и назначив новых сенаторов, он в тот же день отпустил ликторов, исчез из глаз своей свиты и, смешавшись с толпой, занялся на форуме своими повседневными делами, как любое частное лицо.

10. Отведя Минуцию то же поле деятельности, что и диктатору, враги рассчитывали вконец унизить Фабия. Плохо же знали они этого человека! В заблуждении толпы он не усматривал личного своего несчастья, но, подобно мудрому Диогену, который в ответ на чье-то замечание: "Они над тобой насмехаются", –

* Текст в оригинале испорчен.

сказал: "Ты ошибаешься, я не слышу насмешек", – справедливо рассудив, что насмехаться можно лишь над теми, кого это задевает и тревожит, – подобно Диогену, повторяю, бесстрастно и легко переносил случившееся, подтверждая мнение тех философов, которые считают, что человека порядочного и честного нельзя ни оскорбить, ни опорочить. Безрассудство народа огорчало его лишь постольку, поскольку оно шло во вред государству, – ведь неистовое честолюбие Минуция получило теперь средства проявить себя в боях, – и боясь, что бывший начальник конницы, совершенно потеряв голову от тщеславия и высокомерия, сразу же натворит каких-нибудь бед, Фабий тайно от всех покинул Рим.

Вернувшись в лагерь, он застал Минуция раздувшимся от несносной, поистине безудержной гордости, и тот потребовал, чтобы они командовали по очереди. На это Фабий не согласился и разделил с ним войско, предпочитая один командовать частью его, нежели всем целиком, но попеременно. Первый и четвертый легионы он оставил себе, а второй и третий передал Минуцию; поровну были разделены и вспомогательные отряды союзников. Минуций радовался и чванился, что-де ради него обезображена краса высшей и самой могущественной власти, но Фабий, взывая к его здравому смыслу, советовал не забывать, что его соперник – все же не Фабий, а Ганнибал; если же он ищет победы и над товарищем по должности, пусть остерегается, как бы не сложилось мнение, что взысканный почетом победитель меньше заботится о спасении и безопасности сограждан, чем униженный ими побежденный.

11. Но Минуций не увидел в этих словах ничего, кроме язвительной старческой насмешки. Забрав доставшуюся ему часть войска, он стал лагерем отдельно от Фабия. Ни одно из этих событий не ускользнуло от взгляда Ганнибала – он зорко за всем следил, выжидая своего часа. Между стоянками римлян и карфагенян возвышался холм, которым нетрудно было овладеть и который мог стать отличным местом для лагеря, выгодным во всех отношениях. Равнина вокруг его подошвы, лишенная растительности, издали казалась совсем гладкой, но на ней были небольшие рвы и другие углубления. Пользуясь ими, ничего не стоило тайно захватить холм, однако Ганнибал предпочел оставить его в качестве приманки и повода к битве. Когда же карфагенянин узнал, что Минуций отделился от Фабия, то ночью рассадил часть своих людей по рвам и ямам, а на рассвете открыто отправил небольшой отряд занять холм, рассчитывая вызвать Минуция на бой. Так оно и случилось. Сначала римлянин выслал легкую пехоту, потом всадников и, наконец, заметив, что Ганнибал идет на подмогу своим, двинулся вниз со всем войском в боевом порядке. Завязалось ожесточенное сражение с теми, что метали копья с вершины холма; оно шло с переменным успехом до тех пор, пока Ганнибал, убедившись, что обман удался прекрасно и что тылы римлян, ничем не защищенные, обращены к его солдатам в засаде, не подал им сигнал. Тут они разом вскочили и с громким криком ринулись на врага со всех сторон. Последние ряды были изрублены, неописуемый ужас и смятение поднялись среди римлян, у самого Минуция дерзости тоже поубавилось, и он робко переводил взгляд с одного начальника на другого, но даже из них ни один не отважился остаться на месте – все обратились в беспорядочное бегство, ко-

торое однако не сулило спасения: нумидийцы[8], уже торжествуя победу, носились вокруг, убивая рассеявшихся по равнине.

12. Итак, римляне терпели жесточайшее бедствие, но опасность, грозившую им, видел Фабий, который, надо полагать, заранее зная, что должно произойти, держал войско в боевой готовности и сведения о том, как развертываются события, получал не через гонцов, но сам вел наблюдение, выйдя за лагерный частокол. Когда он заметил, что римлян окружают и что ряды их смешались, когда крики упорно обороняющихся сменились испуганными воплями беглецов, Фабий в досаде хлопнул себя по бедру и с тяжелым вздохом сказал своим спутникам: "Клянусь Геркулесом, Минуций губит себя куда скорее, чем я предполагал, но куда медленнее, нежели он сам к этому рвался!" Он приказал, ни минуты не медля, выносить значки[9], а воинам – следовать за ними и крикнул: "Теперь все, кто помнит Марка Минуция, вперед! Он замечательный человек и горячо любит отечество. Если же, спеша изгнать неприятеля, он и допустил ошибку, обвинять его будем потом!" Появившись на равнине, он первым делом разогнал и обратил в бегство рыскавших по ней нумидийцев, а потом напал на тех, что зашли римлянам в тыл; все, оказавшие сопротивление, были убиты, остальные же, боясь очутиться в кольце и испытать ту же участь, которую они сами готовили римлянам, дрогнули и побежали. Когда Ганнибал увидел, что в битве наступил перелом и что Фабий с неожиданной для его лет силой прокладывает себе меж сражающимися путь к Минуцию, вверх по склону холма, он прервал бой и велел трубить отступление; карфагеняне отошли в свой лагерь, и римляне охотно последовали их примеру. Говорят, что по пути Ганнибал шутливо заметил друзьям: "Ну вот, вам, пожалуйста! Ведь я не раз предсказывал, что эта туча, обложившая вершины, в один прекрасный день разразится грозою с ливнем и градом!"

13. Фабий приказал снять доспехи с убитых врагов и отступил, не обмолвившись ни одним высокомерным или гневным словом о своем товарище по должности. Минуций же, собрав своих, сказал: "Друзья и соратники! ни разу не ошибиться, совершая подвиги, – выше человеческой природы; но человеку благородному свойственно, раз оступившись, извлечь из этого уроки на будущее. Должен признаться, что у меня не много оснований хулить судьбу и гораздо больше – ее восхвалять. За какую-то малую часть дня мне открылось то, что я так долго не понимал: я узнал, что не способен начальствовать над другими, мало того – сам не могу обойтись без начальника, и что нечего рваться к победе над тем, кому лучше покориться. У вас нет другого начальника, кроме диктатора, я же останусь вашим главою лишь в изъявлениях благодарности ему, первым исполняя все его приказания!" Затем он велел поднять орлов и повел войско к лагерю Фабия; войдя в ворота, он, сопровождаемый всеобщим изумлением и недоуменными взглядами, направился к палатке командующего. Когда вышел Фабий, Минуций приказал сложить перед ним значки и громко приветствовал его, назвав "отцом". меж тем как воины почтили воинов Фабия обращением "патроны" (этим именем вольноотпущенники зовут тех, кто отпустил их на волю). Наконец, настала тишина, и Минуций заговорил: "Две победы, диктатор, одержал ты сегодня: храбростью одолел Ганнибала, мудростью и добросердечи-

ем – товарища по должности; первою ты нас спас, второю – научил уму-разуму, нас, потерпевших позорное поражение от Ганнибала, прекрасное и спасительное – от тебя. Я назвал тебя добрым отцом потому, что не знаю имени почетнее, но моя признательность тебе выше и горячее, нежели родному отцу, благодаря коему увидел свет один только я, меж тем как ты спас и меня и всех их!" С этими словами он обнял и поцеловал Фабия, а вслед за начальниками и воины стали обнимать и целовать друг друга, так что весь лагерь был полон радости и самых сладких слез.

14. Вскоре Фабий сложил с себя власть, и снова были избраны консулы. Первые из них, непосредственно сменившие Фабия, вели войну теми же средствами, что и он, – избегали решительного сражения с Ганнибалом, оказывали помощь союзникам, препятствовали их отложению; но когда консулом сделался Теренций Варрон, человек из малоизвестного рода, но стяжавший известность своей самонадеянностью и искательством перед народом, с самого начала было ясно, что его неопытность и дерзкое безрассудство поставят под угрозу судьбу всего государства. В Собрании он всякий раз кричал, что войне до тех пор не будет конца, пока командование поручают Фабиям, а что-де сам он разобьет противника в тот же день, как его увидит. Ведя подобные речи, он набирал такое огромное войско, какого у римлян никогда еще не бывало: в строй готовились стать восемьдесят восемь тысяч человек, и это не внушало Фабию и всем здравомыслящим римлянам ничего, кроме страха. Они были убеждены, что государству не оправиться от потери, если оно разом лишится стольких бойцов. Вот почему Фабий, обращаясь к товарищу Теренция по должности, Эмилию Павлу, искушенному в делах войны, но расположением народа не пользовавшемуся и запуганному обвинительным приговором, который был ему вынесен по какому-то делу, призывал его обуздать безумие товарища и внушал, что бороться за отечество ему предстоит не столько с Ганнибалом, сколько с Теренцием; оба, говорил он, спешат со сражением, один – не зная силы противника, другой – зная собственную слабость. "Право же, Павел, – закончил Фабий, – я заслуживаю большего доверия, чем Теренций, во всем, что касается Ганнибала, и я, не колеблясь, утверждаю, что если в этом году никто не потревожит его битвой, он либо погибнет, оставаясь в Италии, либо бежит без оглядки. Ведь даже теперь, когда он, казалось бы, победитель и владыка, никто из наших врагов к нему не примкнул, а из тех сил, какие он привел с собою, едва ли цела и третья часть". На это, как сообщают, Павел отвечал так: "Когда я думаю только о себе, Фабий, то для меня вражеские копья лучше нового суда сограждан. Но коль скоро таковы нужды государства, я предпочту, руководя войском, услышать похвалу от тебя, нежели от всех прочих, навязывающих мне противоположные решения". Сделав такой выбор, Павел уехал.

15. Но Теренций настоял на том, чтобы консулы командовали попеременно – каждый по одному дню, и, расположившись лагерем рядом с Ганнибалом, у реки Ауфида, подле деревушки, называемой Канны, на рассвете поднял сигнал битвы (это пурпурный хитон, который растягивают над палаткой полководца). Поначалу даже карфагеняне пришли в смятение, изумленные отвагой командующего и размерами войска: ведь они уступали противнику числом более чем

вдвое. Ганнибал приказал своим вооружаться, а сам в сопровождении нескольких всадников поднялся на невысокий пригорок и стал наблюдать за противником, который уже строился в боевые ряды. Один из его спутников, по имени Гискон, человек равного с ним положения, сказал, что число врагов кажется просто поразительным. "Но есть вещь еще более поразительная, Гискон, и ты ее проглядел", – возразил Ганнибал, прищурившись. "Что же это?" – спросил Гискон. "А то, что среди такого множества людей нет ни одного, которого бы звали Гисконом!" Шутка была совершенно неожиданной, все рассмеялись и, спускаясь с холма, пересказывали ее каждому встречному, так что смех все ширился, и даже сам Ганнибал не мог сдержать улыбки. Увидев это, карфагеняне приободрились, считая, что лишь глубочайшее презрение к неприятелю позволяет их полководцу так спокойно смеяться и шутить перед лицом опасности.

16. Во время битвы Ганнибал применил несколько военных хитростей. Во-первых, он так расположил своих солдат, что ветер дул им в спину. А ветер этот был подобен знойному вихрю – вздымая на открытой, песчаной равнине густую пыль, он проносил ее над рядами карфагенян и бросал в лицо римлянам, которые волей-неволей отворачивались, нарушая строй. Во-вторых, на обоих крыльях он поставил сильнейших, самых искусных и отважных воинов, а самыми ненадежными заполнил середину, выстроенную в виде выступавшего далеко вперед клина. Отборные получили приказ: когда римляне взломают центр, который, естественно, подастся назад, принимая очертания впадины, и ворвутся внутрь карфагенского строя, совершить поворот и стремительно ударить им в оба фланга, чтобы полностью окружить неприятеля. Это, по-видимому, и было главной причиной чудовищной резни. Когда центр карфагенян стал отходить и римляне, бросившись в погоню, оказались в глубине неприятельских рядов, строй Ганнибала изменил свою форму и сделался похож на полумесяц, и тут лучшие отряды, выполняя приказ начальников, быстро повернули – один направо, другие налево, – напали на обнаженные фланги противника и, соединившись, истребили всех, кто не успел выскользнуть из их кольца.

Говорят, что и с конницей римлян приключилась неожиданная беда. Конь под Павлом был, вероятно, ранен и сбросил хозяина; ближайшие к консулу всадники, один за другим спешившись, кинулись ему на помощь, и, увидев это, остальные решили, что была подана общая команда, соскочили с коней и начали рукопашный бой. "На мой вкус, это еще лучше, чем если бы они сами сдались в плен", – заметил тогда Ганнибал. Такие подробности приводят авторы обстоятельных исторических сочинений.

Один из консулов, Варрон, с немногими сопровождающими ускакал в город Венусию, а Павел, втянутый в гущу и водоворот бегства, весь израненный копьями и дротиками, подавленный тяжелейшею скорбью, сел на какой-то камень и ждал смерти от руки врага. Кровь так обильно залила ему голову и лицо, что даже друзья и слуги проходили мимо, не узнавая его. Только один человек заметил и узнал консула – молодой патриций Корнелий Лентул. Он спрыгнул с коня, подвел его к Павлу и принялся умолять, чтобы тот спас себя ради сограждан, которые-де теперь, как никогда, нуждаются в хорошем полководце. Но Павел не склонился на его просьбы; не обращая внимания на слезы юноши, он заста-

вил его снова сесть на коня, подал ему руку и промолвил, поднимаясь с места: "Расскажи, Лентул, Фабию Максиму и сам будь свидетелем, что Павел Эмилий следовал его советам до конца и ни в чем не нарушил уговора, но был побежден сначала Варроном, а затем Ганнибалом". С этим поручением Павел отпустил Лентула, а сам бросился в самую сечу и нашел свою смерть. Сообщают, что в сражении погибло пятьдесят тысяч римлян, в плен попало четыре тысячи, да еще не меньше десяти тысяч было захвачено в обоих лагерях после окончания битвы.

17. После такого блистательного успеха друзья горячо убеждали Ганнибала не упускать своего счастья и по пятам беглецов ворваться в Рим. "Через четыре дня ты будешь обедать на Капитолии", – говорили они. Трудно сказать, что за соображения удержали его от этого – вернее всего, не разум, а какой-то гений или бог внушил ему эту робость и медлительность. Недаром, как сообщают, карфагенянин Барка в сердцах заявил своему главнокомандующему: "Ты умеешь побеждать, но пользоваться победой не умеешь!"

И все же победа резко изменила положение Ганнибала: если до битвы он не владел в Италии ни единым городом, торговым портом или хотя бы даже гаванью, едва-едва мог прокормить своих людей с помощью грабежа и, выступая в поход, не оставлял за спиною никакого надежного убежища, но скитался с войском, точно с огромною разбойничьей шайкой, то теперь сделался господином почти всей Италии. Бóльшая часть самых значительных племен добровольно покорилась ему. Капуя, первый город в Италии после Рима, распахнула перед ним свои ворота. Немалое несчастье, по слову Эврипида[10], дóлжно испытать, чтобы убедиться в верности друзей, но то же следует сказать и о благоразумии полководцев. И в самом деле, трусость и рáвнодушие Фабия, о которых без умолку толковали до битвы, сразу же после нее обернулись не просто человеческой мудростью, но некоей божественной, поистине чудесной проницательностью, так задолго предвидевшей события, поверить в кои было нелегко даже теперь, испытавши их на себе. Поэтому сразу все последние свои надежды Рим возложил на него, к рассудительности этого мужа прибег точно к храму и священному алтарю, и его здравомыслие было первой и главнейшей причиной того, что город остался цел и население не рассеялось, как во время кельтского нашествия. Тот самый человек, который прежде, когда, по общему суждению, никакой опасности не было, выказывал крайнюю осторожность и полнейшее неверие в успех, ныне, когда все погрузились в безграничную скорбь и неодолимое смятение, один проходил по городу твердою поступью, со спокойным лицом, с ласковым приветствием на устах, обрывал женские причитания, заставлял расходиться тех, что, сбившись в кучки, горевали и плакали на людях; он уговаривал сенаторов собраться, он ободрял должностных лиц и, будучи сам воплощением власти и силы, привлек к себе взоры всех властей.

18. Он приставил к воротам караульных, чтобы чернь не разбежалась и не покинула город, назначил место и время для траура, приказав, чтобы каждый, кто пожелает, оплакивал своих мертвых у себя дома в продолжение тридцати дней; после этого всякий траур надлежит прекратить, чтобы от слез и скорби не осталось и следа. Поскольку на эти дни пришелся праздник в честь Цереры[11],

сочтено было за лучшее вовсе не приносить жертв и не устраивать шествия, нежели малочисленностью и унынием собравшихся воочию показать ужасные размеры бедствия: ведь и божество радуется лишь тем почестям, которые воздают счастливые люди. Зато все меры, которые по совету прорицателей следовало принять, чтобы умилостивить богов и отвратить дурные знамения, были использованы. Пиктора, родственника Фабия, отправили в Дельфы вопросить оракула; обнаружив двух весталок, потерявших чистоту, одну из них заживо зарыли в землю, как того требует обычай (другая сама наложила на себя руки). Но что всего больше заслуживает восхищения, так это благородное милосердие римлян, проявившее себя, когда возвратился консул Варрон, бежавший с поля сражения; он возвращался жалкий и униженный, как и подобало после такой неудачи и такого позора, но сенат и весь народ вышли к воротам, чтобы его встретить и приветствовать. Власти и знатнейшие сенаторы (в числе их и Фабий), дождавшись тишины, похвалили консула за то, что, несмотря на великое несчастье, он не поддался отчаянию, но в уверенности, что и законы и сограждане могут еще быть спасены, вернулся, чтобы принять бразды правления.

19. Когда стало известно, что Ганнибал после битвы двинулся прочь от Рима, римляне воспрянули духом и снова стали снаряжать в поход войска и выбирать полководцев. Среди полководцев самыми знаменитыми были Фабий Максим и Клавдий Марцелл, которые стяжали почти одинаковую славу, хотя и держались взглядов чуть ли не противоположных. Марцелл, как об этом говорится в его жизнеописании[12], отличался неукротимою предприимчивостью и гордостью, был могучий боец, по самой природе своей один из тех, кого Гомер называет “бранелюбивыми” и “доблестными”; дерзкому и неустрашимому Ганнибалу он противопоставил собственную дерзость, и с первых же стычек повел дела отважно, без оглядки. Между тем, Фабий, верный своим прежним расчетам, надеялся, что Ганнибал, без всяких битв и столкновений, сам нанесет себе непоправимый урон и окончательно истощит в войне свои силы – подобно борцу, который от чрезмерного напряжения очень быстро изнемогает. Поэтому, как сообщает Посидоний, римляне прозвали его “щитом”, а Марцелла “мечом”; по словам того же Посидония, твердость и осторожность Фабия, соединившись с рвением Марцелла, оказались спасительными для Рима. И верно, Марцелл был для Ганнибала словно бурный поток, и встречи с ним не раз приводили карфагенянина в трепет, сеяли смятение в его войске, меж тем как Фабий изнурял и подтачивал его незаметно, будто река, которая непрерывно бьет в берег, бесшумно и понемногу его подмывая, и в конце концов, Ганнибал, утомленный боями с Марцеллом и страшившийся Фабия, который от боев воздерживался, оказался в весьма затруднительном положении. Ведь почти все время его противниками оказывались эти двое, которых сограждане выбирали то преторами, то проконсулами, то консулами: каждый из них был консулом пять раз[13]. Но если Марцелла в пятое его консульство Ганнибал все же заманил в засаду и убил, то с Фабием все его многочисленные попытки, как ни изощрял он свою хитрость, кончались ничем, если не считать одного случая, когда он едва не провел римского полководца. От имени первых и влиятельнейших граждан Метапонта он написал и отправил Фабию письмо, в котором говорилось, что они сдадут ему

город, если он подступит к стенам Метапонта, и что участники заговора только и ждут, пока он подойдет поближе. Это послание оказало свое действие, и Фабий с частью войска уже готов был ночью двинуться в путь, но гадания по птицам предвещали беду, и он отказался от принятого решения, а в самом недолгом времени узнал, что письмо отправлено Ганнибалом, который приготовил ему у Метапонта засаду. Впрочем, этот счастливый исход можно приписать и благосклонности богов.

20. На отпадения городов и мятежи союзников Фабий предпочитал отвечать кроткими уговорами, старался мягко удержать и пристыдить бунтарей, а не учинять розыски по каждому подозрению и вообще не относиться к заподозренным сурово и непримиримо. Рассказывают, что когда один воин из племени марсов, человек знатного происхождения и первый среди союзников храбрец, подбивал кого-то из товарищей вместе изменить римлянам, Фабий не рассердился, а, напротив, признал, что того незаслуженно обошли, и только заметил, что теперь мол этот воин справедливо винит начальников, распределяющих награды скорее по своему вкусу, нежели по заслугам бойцов, но впоследствии будет сам виноват, ежели, терпя в чем-то нужду, не обратится за помощью к самому Фабию. Затем он дал марсу боевого коня, отличил его и другими почетными дарами, так что впредь этот воин славился безупречнейшею верностью и усердием. Фабий считал нелепым, что, в то время как всадники и охотники смиряют в животных норов и злобу больше заботою, лаской и кормом, чем плеткой или ошейником, те, кто облечен властью над людьми, редко стараются их исправить посредством благожелательной снисходительности, но обходятся с подчиненными круче, нежели земледельцы с дикими смоковницами, грушами и маслинами, когда превращают эти деревья в садовые, облагораживая их породу.

Как-то раз центурионы донесли Фабию, что другой воин, родом луканец, часто отлучается из лагеря, покидая свой пост. Фабий осведомился, что вообще знают они об этом человеке. Все заверили, что второго такого воина найти нелегко, и привели несколько примеров его замечательной храбрости; тогда Фабий стал искать причину этих отлучек и выяснил, что луканец влюблен в какую-то девчонку и, уходя из лагеря, чтобы с нею встретиться, проделывает всякий раз долгий и опасный путь. И вот, не сказав ему ни слова, Фабий послал за этой бабенкой, спрятал ее у себя в палатке, а потом вызвал виновного и обратился к нему с такой речью: "Мне известно, что ты, вопреки римским обычаям и законам, часто ночуешь вне лагеря. Впрочем, и прежнее твое поведение мне небезызвестно, а потому во внимание к подвигам прощаю провинности, но на будущее приставлю к тебе новую стражу". Воин недоумевал, что все это значит, а Фабий, выведя женщину, передал ее влюбленному и промолвил: "Она будет порукой тому, что ты останешься с нами в лагере, а ты сможешь теперь на деле доказать, не уходил ли ты с какими-либо иными намерениями и не была ли любовь пустою отговоркой". Вот что об этом рассказывают.

21. Тарент, захваченный изменою, Фабий отбил у врага следующим образом. В римском войске служил молодой тарентинец, у которого в городе оставалась преданная и нежно привязанная к нему сестра. Ее полюбил бруттиец, командовавший отрядом, который Ганнибал поставил в Таренте. Это внушило тарен-

тинцу надежду на успех, и он, с ведома и согласия Фабия, проник в город, по слухам же – бежал к сестре. Прошло несколько дней – бруттиец не показывался: женщина думала, что брат ничего не знает об их связи. Наконец юноша ей говорит: "У нас там были толки, будто ты живешь с каким-то важным начальником. Кто это такой? Если правда, что он человек порядочный и блистающий доблестью, не все ли равно, откуда он родом! Война ведь все смешивает! К тому же подчиниться принуждению – не позор, более того, великая удача, если в эту пору, когда о справедливости нет уже и речи, приходится подчиняться насилию не слишком грубому". После этого разговора женщина послала за бруттийцем и познакомила с ним брата, а тот, покровительствуя его страсти, так что сестра, казалось, стала к возлюбленному добрее и ласковее, чем прежде, быстро вошел к варвару в доверие и, в конце концов, без особого труда склонил влюбленного, да вдобавок еще наемника, к измене, посулив ему от имени Фабия богатые дары. Так излагает эти события большинство писателей. Некоторые называют виновницей измены бруттийца не тарентинку, а бруттийку, наложницу Фабия; узнав, что начальник бруттийского отряда – ее земляк и знакомый и сообщив об этом Фабию, она отправилась к городской стене, завязала с ним беседу и убедила перейти на сторону римлян.

22. Тем временем, чтобы отвлечь внимание Ганнибала, Фабий отправил войску, стоявшему в Регии, приказ совершить набег на Бруттий и взять приступом Кавлонию; в Регии находилось восемь тысяч солдат – главным образом перебежчики и ни на что не годный сброд, перевезенный Марцеллом из Сицилии, – а потому гибель этих людей не могла причинить государству почти никакого горя или ущерба. Подставив их под удар Ганнибала, Фабий бросил приманку, которая, по его расчетам, должна была увести карфагенян от Тарента. Так оно и вышло: Ганнибал с войском немедленно устремился в Бруттий. Фабий осадил Тарент, и на шестую ночь к нему прибыл юноша, вступивший через сестру в сговор с бруттийцем; перед тем как уйти из города, он запомнил и старательно рассмотрел место, где бруттиец собирался, неся караул, впустить римлян. Тем не менее Фабий не положился на это всецело: сам он подошел к стене и стал спокойно ждать, а остальное войско, со страшным шумом и криком, бросилось на приступ одновременно и с суши и с моря, так что большинство тарентинцев побежали на подмогу тем, кто оборонял укрепления; в это время бруттиец подал Фабию знак, и римляне, взобравшись по лестницам, захватили город. И тут, по-видимому, Фабий не устоял перед соблазном честолюбия: он приказал казнить знатнейших бруттийцев, дабы не обнаружилось, что Тарент оказался в его руках вследствие предательства. Однако он не только обманулся в своих надеждах скрыть правду, но и навлек на себя обвинения в вероломстве и жестокости.

Погибли и многие тарентинцы; тридцать тысяч горожан были проданы в рабство, город разграблен войском; в казну поступило три тысячи талантов. Говорят, что в самый разгар грабежа писец спросил Фабия, что делать с богами (он имел в виду картины и статуи). "Оставим тарентинцам их разгневанных богов", – ответил Фабий. Все же он увез огромное изображение Геракла и воздвигнул его на Капитолии, а рядом – свою конную статую из бронзы, поступив в

этих обстоятельствах гораздо неразумнее Марцелла или, говоря вернее, вообще показав, что своей мягкостью и человеколюбием этот муж заслуживает восхищения, как о том говорится в его жизнеописании[14].

23. Рассказывают, что Ганнибал поспешно возвращался и был уже всего в сорока стадиях от Тарента; узнав, что город взят, он заявил напрямик: "Стало быть, и у римлян есть свой Ганнибал: мы потеряли Тарент так же, как раньше захватили". Тогда он впервые доверительно признался друзьям, что уже давно понял, как трудно овладеть Италией с теми силами и средствами, которыми они располагают. "Теперь же, – заключил Ганнибал, – я убедился, что это невозможно".

Свой второй триумф Фабий справил пышнее, чем первый: ведь в этой схватке с Ганнибалом он явил себя отличным борцом и легко разрушал его замыслы, словно вырываясь из обхватов, уже не отличавшихся, однако, прежнею силой. В самом деле, часть карфагенского войска опустилась и обессилела под влиянием роскоши и богатства, другая же была изнурена и точно отупела, не зная отдыха в сражениях.

Был некий Марк Ливий, он командовал отрядом в Таренте; когда Ганнибал склонил город к отпадению, он не смог вытеснить Ливия из крепости, и тот продержался до тех пор, пока римляне снова не овладели городом. Почести, оказываемые Фабию, не давали ему покоя, и однажды, сгорая от зависти и неутоленного тщеславия, он заявил сенату, что захватом Тарента Рим обязан не Фабию, а ему. "Ты прав! – засмеялся Фабий. – Если бы ты не потерял город, я бы не смог его взять".

24. Римляне всячески старались выразить Фабию свое расположение и, между прочим, избрали консулом его сына, тоже Фабия по имени. Однажды, когда он, уже вступив в должность, занимался каким-то делом, связанным с войною, отец, то ли по старости и бессилию, то ли намереваясь испытать сына, хотел подъехать к нему верхом на коне, раздвинув окружавшую консула толпу. Издали заметив его, молодой человек не смолчал, но через ликтора велел отцу спешиться и подойти, если у него есть дело к властям. Все были огорчены и раздосадованы этим приказом и, не произнося ни слова, обернулись к Фабию, слава которого, по общему мнению, была незаслуженно оскорблена. Но сам он поспешно соскочил на землю, подбежал к сыну, обнял его и поцеловал. "Ты верно рассудил, сын мой, – воскликнул Фабий, – и поступил верно, понимая, над кем ты властвуешь и каково величие этой власти! Именно так и мы, и предки наши возвысили Рим: благо отечества неизменно было нам дороже родителей и детей". Действительно, как сообщают, прадед Фабия[15], который пользовался у римлян необыкновенным почетом и влиянием, пять раз избирался консулом и справлял блистательные триумфы, счастливо завершив самые опасные для государства войны, пошел в консульство своего сына вместе с ним на войну в звании легата, и во время триумфа сын ехал на запряженной четверкою колеснице, а отец вместе с прочими сопровождал его верхом, радуясь тому, что он, владыка над сыном, величайший среди сограждан и по существу и даже по прозвищу, подчинил себя закону и власти должностного лица. Впрочем, он заслуживал восхищения не одним только этим поступком.

Фабию выпало на долю пережить смерть сына; он встретил горе с чрезвычайною сдержанностью, как и надлежало разумному человеку и хорошему отцу, и сам сказал на форуме похвальное слово – какое обычно на похоронах знаменитого человека произносят близкие умершего, а потом записал и издал эту речь.

25. Когда же Корнелий Сципион, посланный в Испанию, изгнал оттуда карфагенян, одержав верх во многих битвах, и подчинил римлянам многое множество народов и больших городов, приобрел для них огромное богатство, снискав себе тем такую любовь и такую славу, какими до него не пользовался ни один человек, а затем, став консулом и чувствуя, что народ ожидает и требует от него великих деяний, счел борьбу с Ганнибалом в Италии вконец изжившей себя затеей, и, замыслив немедленно перенести театр войны в Африку, наводнить ее оружием и войсками и предать опустошению самый Карфаген, прилагал все усилия к тому, чтобы увлечь народ своим планом, – вот тут Фабий, запугивая город, который, по его убеждению, шел вслед за молодым и безрассудным человеком навстречу величайшей, смертельной опасности, и словом и делом старался отвратить сограждан от решения, к коему они склонялись. Сенат ему удалось убедить, но народ считал, что Фабий противится начинаниям Сципиона, завидуя его удачам и страшась, как бы тот не совершил великого и блистательного подвига – не кончил войну вовсе или хотя бы не изгнал ее из пределов Италии: ведь в таком случае каждому станет ясно, что сам Фабий, который за столько лет не мог добиться решительной победы, действовал вяло и лениво.

Похоже на то, что вначале Фабия побуждали к сопротивлению крайняя осторожность и осмотрительность, боязнь опасности, которая казалась ему очень грозной, но затем, все больше напрягая силы и заходя все дальше, он руководился уже честолюбием. Стремясь помешать возвышению Сципиона, он даже уговаривал Красса, товарища Сципиона по должности, не уступать ему поста главнокомандующего, но самому переправиться за море и пойти на Карфаген. Мало того, его стараниями Сципион не получил денег на военные расходы и, вынужденный добывать их, как умеет, обратился за помощью к этрусским городам, питавшим к нему особое расположение. Красса же удержала в Риме прежде всего собственная натура – мягкая, спокойная и менее всего воинственная, а затем обязанности верховного жреца.

26. Тогда Фабий обрушился на Сципиона с другой стороны: он удерживал и отговаривал молодых людей, желавших отправиться в поход, кричал в сенате и Народном собрании, что Сципион не просто бежит от Ганнибала, но увозит из Италии всю оставшуюся у Рима силу, в своекорыстных целях соблазняя молодежь пустыми надеждами и побуждая бросить на произвол судьбы родителей, жен и отечество, у ворот которого стоит победоносный, неодолимый враг. Своими речами он запугал римлян до такой степени, что они постановили отдать под начало Сципиону лишь войско, находившееся в Сицилии да еще позволили ему взять с собою триста доказавших свою преданность воинов из числа служивших в Испании.

До тех пор казалось, что все действия Фабия вытекают из особенностей его натуры. Но когда Сципион высадился в Африке и сразу же в Рим полетели вес-

ти о его удивительных подвигах, о величии и блеске его побед, а вслед за молвою, подтверждая ее, прибыла огромная добыча и пленный нумидийский царь[16], когда в один день были сожжены до тла два лагеря и пожар погубил немало вражеских солдат, немало коней и оружия, когда из Карфагена выехали послы к Ганнибалу просить его, чтобы он оставил свои неисполнившиеся и неисполнимые надежды и подал помощь отечеству, а в Риме имя Сципиона было у всех на устах, – даже тогда Фабий не удержался и предложил сменить командующего, хотя не мог привести никаких оснований и только сослался на общепринятое мнение, что, мол, небезопасно в делах большой важности полагаться на удачу одного человека, ибо трудно себе представить, чтобы счастье постоянно улыбалось одному и тому же. Но на этот раз народ выслушал его с возмущением: говорили, что он просто ворчун и завистник или же от старости растерял все свое мужество, изверился во всех надеждах и потому дрожит перед Ганнибалом больше, чем следует. И верно: Ганнибал со своим войском уже отплыл из Италии, а Фабий все еще старался омрачить радость сограждан и поколебать их уверенность в себе, твердя, что как раз теперь государство стремительно летит навстречу опасности и положение его в высшей степени ненадежно. Ведь в Африке, говорил он, под стенами Карфагена, Ганнибал будет сражаться еще ожесточеннее и Сципиону предстоит встреча с воинами, на руках у которых еще не высохла кровь многочисленных полководцев – диктаторов и консулов. В конце концов он добился своего: город снова пришел в смятение и, хотя война была перенесена в Африку, поверил, что беда подступила к Риму ближе прежнего.

27. Но скоро Сципион разбил в сражении и самого Ганнибала, низверг и растоптал гордыню покорившегося Карфагена, принеся согражданам радость, превзошедшую все ожидания, и поистине

Он город, бурей потрясенный, вновь воздвиг[17].

Фабий Максим не дожил, однако, до конца войны и уже не услышал о поражении Ганнибала, не увидел великого и неколебимого благополучия своего отечества: около того времени, когда Ганнибал покинул Италию, он заболел и умер.

Эпаминонда фиванцы похоронили на общественный счет – в такой бедности он скончался (говорят, что в доме умершего не нашли ничего, кроме железного вертела). Погребение Фабия не было принято на счет государства, но каждый из римлян частным образом принес ему самую мелкую монетку – не вспомоществование неимущему, но взнос на похороны отца народа, так что и по смерти этот человек стяжал почет и славу, достойные его жизни.



[Сопоставление]

28(1). Таковы события жизни того и другого. Оба оставили много замечательных примеров гражданской и воинской доблести, но, говоря о военных заслугах, прежде всего следует заметить, что Перикл стоял у власти в ту пору, когда афинский народ находился на вершине благоденствия и могущества, а потому в неизменных удачах Перикла и полной свободе его от ошибок можно, пожалуй, видеть следствие счастливой судьбы и мощи всего государства в целом, меж тем как деятельность Фабия, принявшего на себя руководство в самое тяжелое и бедственное для Рима время, не обеспечила городу полной безопасности, но лишь улучшила его положение. После успехов Кимона, трофеев, воздвигнутых Миронидом и Леократом, великих и многочисленных побед Толмида, Перикл получил в управление город, который больше нуждался в устроителе празднеств, чем в полководце – завоевателе или защитнике. Фабий, перед глазами которого были многочисленные поражения и частое бегство, смерть многих главнокомандующих, озера, равнины и леса, заваленные убитыми, реки, текущие кровью и несущие на волнах своих трупы вплоть до самого моря, – сам сохраняя мужество, пришел на помощь государству, стал ему надежной опорой и не дал прежним промахам и ошибкам окончательно увлечь его в бездну. Правда, мне могут сказать, что не столь трудно твердо править государством, которое унижено бедствиями и в силу необходимости послушно внимает разумным наставлениям, сколь наложить узду на дерзость и наглость народа, безмерно чванящегося своим счастьем. А ведь таким-то именно образом и властвовал Перикл над афинянами! И все же тяжесть и многочисленность обрушившихся на римлян несчастий доказывают, что подлинно велик, подлинно могуч духом был Фабий Максим, который, невзирая ни на что, не смутился и не оставил своих планов.

29(2). Самосу, захваченному Периклом, можно противопоставить взятие Тарента, Эвбее, клянусь Зевсом, – кампанские города (кроме самой Капуи, которой овладели консулы Фульвий и Аппий). В открытом бою Фабий, по-видимому, одержал победу только раз – ту, за которую получил свой первый триумф. Перикл же девятикратно воздвигал трофей, одолевая врагов на суше и на море. Но среди подвигов Перикла нет равного тому, который совершил Фабий, вырвав Минуция из когтей Ганнибала и спасши целое римское войско, – прекрасное деяние, свидетельствующее разом и о мужестве, и о мудрости, и о доброте. Зато и среди ошибок Перикла нет равной той, какую допустил Фабий, введенный в заблуждение Ганнибаловой хитростью с коровами, когда, захватив врага в ущелье, – карфагеняне забрели туда сами, по счастливой для римлян случайности, – он ночью дал ему уйти, не разгадав обмана, а днем в свою очередь подвергся нападению и был разбит тем, кого, казалось бы, уже держал в руках, но кто упредил его, превзойдя в проворстве.

Хорошему полководцу присуще не только правильно пользоваться сложившимися обстоятельствами, но и верно судить о будущем – и война для афинян завершилась точно так, как предвидел и предсказывал Перикл: вмешиваясь во

множество чужих дел, они себя погубили. Напротив, римляне, не послушавшись Фабия и послав Сципиона на Карфаген, одержали полную победу не милостью судьбы, но мудростью и храбростью полководца, несмотря на сопротивление неприятеля. Итак, в первом случае несчастья отечества подтвердили правоту одного, во втором – успехи сограждан показали, как был далек от истины другой. А между тем, попадет ли полководец нежданно в беду или упустит по своей недоверчивости счастливый случай – ошибка и вина его равно велики, ибо, по-видимому, и дерзость и робость имеют один источник – неведение, неосведомленность. Вот и все о ратном искусстве.

30(3). Теперь о государственных делах. Главное обвинение против Перикла – это война: утверждают, что он был ее виновником, так как ни в чем не желал уступить спартанцам. Впрочем, я полагаю, что и Фабий Максим не уступил бы карфагенянам, но мужественно, не страшась опасностей боролся за первенство. А вот мягкость и снисходительность Фабия к Минуцию обличает жестокость Перикла в борьбе против Кимона и Фукидида: этих благородных людей, приверженцев аристократии, он подверг остракизму и отправил в изгнание. Силы и власти у Перикла было больше, чем у Фабия. Поэтому он не допускал, чтобы кто-либо из стратегов своим неверным решением причинил вред государству; один лишь Толмид ускользнул, вырвался из-под его надзора и потерпел неудачу в борьбе с беотийцами, а все прочие неизменно присоединялись к его мнению и сообразовывались с его намерениями – так велика была сила Перикла. Фабий уступает ему в том отношении, что, сам храня осторожность и избегая ошибок, не мог помешать ошибаться другим. Никогда бы римляне не испытали столь жестоких бедствий, если бы Фабий у них обладал такою же властью, как Перикл у афинян. Благородное нестяжательство Перикл доказал, не приняв денег, которые ему давали, а Фабий – оказав щедрую помощь нуждающимся, когда выкупил пленных на свои собственные средства (правда, расход был не так уж велик – всего около шести талантов). Пожалуй, и не счесть, сколько возможностей поживиться за счет союзников и царей предоставляло Периклу его положение, но он остался неподкупен, ни разу не запятнал себя взяткой.

Наконец, если говорить о размерах работ и о великолепии храмов и других зданий, которыми Перикл украсил Афины, то все, выстроенное в Риме до Цезарей, даже сравнения с ними не заслуживает: величавая пышность этих сооружений бесспорно дает им право на первое место.





ГАЙ МАРЦИЙ И АЛКИВИАД

ГАЙ МАРЦИЙ

1. Патрицианский дом Марциев дал Риму многих знаменитых мужей, среди прочих и Анка Марция, внука Нумы и преемника царя Тулла Гостилия. Марциями были и Публий с Квинтом, соорудившие самый обильный и самый лучший из римских водопроводов[1], и Цензорин, которого римляне дважды избирали цензором, а потом по его же совету приняли закон, возбраняющий одному лицу дважды домогаться этой должности.

Гая Марция, о котором я теперь пишу, после смерти отца вырастила мать-вдова, и пример его показал, что сиротство, хоть и таит в себе множество всяких бед, нисколько не препятствует сделаться достойным и выдающимся человеком, и что повод к обвинениям и упрекам оно доставляет лишь дурным людям, утверждающим, будто они испорчены вследствие недостаточной заботы об их воспитании. Однако не в меньшей степени пример этого человека подтвердил точку зрения тех, кто полагает, что даже натура благородная и хорошая по существу, но лишенная родительского надзора, наряду с добрыми плодами приносит и немало дурных – словно тучная почва, не возделанная плугом земледельца. Мощь и упорство его души, проявлявшиеся во всех обстоятельствах, порождали великие и успешно достигавшие цели порывы к добру, но, с другой стороны, делали его характер тяжелым и неуживчивым, ибо гнев Марция не знал удержу, а честолюбие не отступало ни пред чем, и те, кто восхищался его равнодушием к наслаждениям, к жизненным тяготам, к богатству, кто говорил о его воздержности, справедливости и мужестве, терпеть не могли иметь с ним дело по вопросам государственным из-за его неприятного, неуступчивого нрава и олигархических замашек. Поистине, важнейшее преимущество, какое люди извлекают из благосклонности Муз, состоит в том, что науки и воспитание совершенствуют нашу природу, приучают ее к разумной умеренности и отвращению к излишествам.

Среди всех проявлений нравственного величия выше всего римляне ставили тогда воинские подвиги, о чем свидетельствует то, что понятия нравственного величия и храбрости выражаются у них одним и тем же словом[2]: обозначение одного из признаков такого величия – мужества – сделалось общим родовым именем.

2. Марций питал к военным состязаниям врожденную страсть, более сильную, чем кто-либо из его сверстников, и с самого детства не выпускал из рук

оружия, но, полагая, что благоприобретенные доспехи останутся без всякого употребления у того, кто не приготовил, не привел в порядок оружие природное и естественное, он так приучил и приспособил свое тело ко всем видам боя, что и на ногу был скор, и в рукопашной неодолим. Вот почему те, кто пытался тягаться с ним в решительности и храбрости, приписывали свое поражение телесной его мощи – мощи неиссякаемой, не слабеющей ни в каких трудах.

3. Первый свой поход он проделал еще совсем юным, когда Тарквиний, прежде царивший в Риме, а затем лишившийся своего царства, после многократных боев и поражений как бы бросил жребий в последний раз и двинулся на Рим при поддержке большей части племени латинян и многих других италийцев, которые думали не столько о том, чтобы угодить Тарквинию и вернуть его к власти, сколько о том, чтобы сокрушить римлян, страшась их и завидуя их возвышению. В битве[3], исход которой долго оставался сомнительным, Марций, яростно сражаясь, вдруг увидел, что какой-то римлянин невдалеке от него упал, и не бросил беззащитного товарища, но быстро заслонив его, убил противника, который ринулся на упавшего. Это произошло на глазах у диктатора, и после победы командующий увенчал Марция в числе первых дубовым венком. Такой венок полагался в награду тому, кто в бою прикроет согражданина своим щитом, – возможно закон желал особо почтить дуб, имея в виду аркадян[4], которых оракул бога назвал "поедающими желуди", или, быть может, по той причине, что дуб растет повсюду и быстро оказывается под рукой у воинов, или, наконец, потому, что дубовый венок посвящен Зевсу. Градохранителю и считается подобающею наградой за спасение согражданина. В самом деле, из дикорастущих деревьев дуб – самое плодоносное, а из культурных – самое крепкое. От него получали желуди для еды и мед для питья, он доставлял и закуску – мясо весьма многих пернатых, ибо давал людям орудие охоты – птичий клей.

Рассказывают, что участникам сражения явились Диоскуры и что сразу после битвы они показались на взмыленных конях на форуме подле источника, где теперь стоит их храм, и возвестили о победе. Вот почему и день, в который была одержана эта победа, – июльские иды – посвящен Диоскурам[5].

4. У людей молодых, если их честолюбие поверхностно, слишком рано приобретенные известность и почет гасят, как мне кажется, жажду славы и быстро утоляют ее, рождая чувство пресыщения, натурам же глубоким и упорным почести придают блеск и побуждают к действию, словно свежий ветер устремляя их к целям, которые представляются юношам прекрасными. Не плату они получили, но, напротив, словно бы дали некий залог и теперь стыдятся посрамить свою славу и не превзойти ее новыми деяниями. Вот так и Марций – он самого себя вызвал на соревнование в храбрости и, постоянно стремясь проявить себя в новых деяниях, к подвигам присоединял подвиги, громоздил добычу на добычу, так что в каждом следующем походе начальники неизменно вступали в соперничество с начальниками предыдущего, желая превзойти их в почетных наградах Марцию и восторженных свидетельствах о его доблести. В те времена у римлян сражение следовало за сражением, война за войною, и не было случая, чтобы Марций возвратился без венка или какой-либо иной награды. Другие были отважны ради славы, он искал славы, чтобы порадовать мать. Когда мать

слышала, как его хвалят, видела, как его увенчивают венком, плакала от счастья в его объятиях, – в эти минуты он чувствовал, что достиг вершины почета и блаженства. Говорят, что в таких же точно чувствах признавался и Эпаминонд, считавший величайшей из своих удач, что отец и мать его дожили до битвы при Левктрах и стали свидетелями его победы. Но его восторг и ликование с ним разделили оба родителя, тогда как Марций, считая, что матери по праву принадлежит и все то уважение, каким он был бы обязан отцу, не уставал радовать ее и чтить; он и женился по ее желанию и выбору, и даже когда у него родились дети, продолжал жить в одном доме с матерью.

5. Его доблесть уже дала ему значительную известность и влияние в Риме, когда сенат, защищая богачей, вступил в столкновение с народом, который жаловался на бесчисленные и жестокие притеснения со стороны ростовщиков. Граждан среднего достатка они разоряли вконец удержанием залогов и распродажами, людей же совершенно неимущих схватывали и сажали в тюрьму – тех самых людей, чьи тела были украшены шрамами и которые столько раз получали раны и терпели лишения в войнах за отечество, между прочим, и в последней войне против сабинян, когда богачи обещали умерить свою алчность, а консул Маний Валерий[6], по определению сената, в этом поручился. Народ дрался не щадя сил и одержал победу, но ростовщики по-прежнему не давали должникам ни малейшей поблажки, а сенат делал вид, будто не помнит об уговоре, и безучастно взирал на то, как бедняков снова тащат в тюрьму и обирают дочиста, и тогда в городе начались беспорядки и опасные сборища. Назревающий мятеж не остался тайной для неприятелей – они вторглись в римские владения, всё предавая огню, а поскольку на призыв консулов к оружию никто из способных носить его не откликнулся, несогласия во мнениях возникли также среди властей: одни полагали, что надо уступить неимущим и смягчить чрезмерную суровость закона, другие решительно возражали, и в их числе – Марций, который не считал вопрос о деньгах самым важным, но советовал сенаторам прислушаться к голосу рассудка и в самом зародыше пресечь, задушить неслыханную наглость черни, посягающей на законы государства.

6. В течение немногих дней сенат заседал неоднократно, но так и не вынес никакого решения, и тут бедняки неожиданно, собравшись все вместе и призвав друг друга не падать духом, покинули Рим и расположились на горе, которая теперь зовется Священной[7], у реки Аниена; они не чинили насилий, не предпринимали никаких мятежных действий и только восклицали, что богачи уже давно выгнали их из города, что Италия повсюду даст им воздуха, воды и место для погребения, а разве Рим, пока они были его гражданами, дал им еще что-нибудь, кроме этого?! Ничего, не считая лишь права умереть от ран, защищая богачей! Сенат испугался и направил к ним нескольких пожилых сенаторов, славившихся особой обходительностью и расположением к народу. К беглецам обратился Менений Агриппа и долго их упрашивал, долго и без околичностей говорил в защиту сената, а закончил свою речь притчей, которую с тех пор часто вспоминают. Он рассказал, как однажды все части человеческого тела ополчились против желудка и обвинили его в том, что он-де один бездельничает и не приносит никакой пользы, меж тем как остальные, дабы утолить его алчность,

несут великие труды и тяготы. Но желудок только посмеялся над их невежеством: им было невдомек, что, один принимая всю пищу, он затем возвращает ее назад, распределяет между остальными. "Такое же положение, граждане, – воскликнул Менений, – занимает среди вас сенат. Его решения, направленные ко благу государства, приносят каждому из вас пользу и выгоду".

7. После этого народ примирился с сенатом, предварительно добившись у него разрешения выбирать из своей среды пятерых заступников для тех, кому понадобится помощь, – теперь этих должностных лиц называют народными трибунами. Первыми трибунами были избраны те, кто возглавил уход, – Юний Брут и Сициний Беллут. Едва только в городе восстановилось единомыслие, народ сразу же взялся за оружие и, полный желания сразиться с врагом, предоставил себе в распоряжение консулов. Однако Марций, и сам недовольный победой народа и уступками знати, и видя, что многие из патрициев разделяют его чувство, призывал не уступать простому люду первенство в битвах за родину, но доказать, что лучшие граждане превосходят чернь не столько могуществом, сколько доблестью.

8. Среди городов племени вольсков, с которым в то время воевали римляне, первое место принадлежало Кориолам. Когда консул Коминий осадил Кориолы, остальные вольски в страхе устремились отовсюду на выручку, чтобы дать римлянам бой у стен города и, таким образом, ударить на них одновременно с двух сторон. Коминий разделил свои силы, и сам двинулся навстречу подходившим вольскам, а продолжать осаду поручил одному из храбрейших римлян, Титу Ларцию; тогда защитники Кориол, считая число оставшихся неприятелей ничтожно малым, сделали вылазку и сначала одержали верх и гнали римлян до самого лагеря. Но тут из-за укреплений выбежал Марций с немногими товарищами, уложил тех, что бросились на него первыми, задержал остальных нападавших и громкими криками стал призывать римлян вернуться в бой. Ведь он обладал всеми качествами, которые Катон считал столь важными для воина, и не только тяжестью руки или силой удара, но и звуком голоса, и грозным видом наводил неодолимый страх на противника. Когда после него собралось и выстроилось много римлян, враги испугались и отступили. Однако Марций на этом не успокоился – он преследовал бежавшего без оглядки противника до городских ворот. Видя что римляне поворачивают вспять, – со стен тучами летели дротики и стрелы, а о том, чтобы вслед за бегущими ворваться в город, переполненный вооруженными неприятелями, никто и подумать не смел, – Марций тем не менее попытался ободрить своих, крича, что не вольскам, а им распахнула судьба ворота. Охотников присоединиться к нему нашлось немного, но с ними он проложил себе дорогу к воротам и ворвался в город. Сначала никто не дерзнул оказать ему сопротивление или преградить путь, затем, однако, убедившись, что римлян всего лишь какая-нибудь горсть, вольски осмелели, и началась схватка, в которой Марций, тесно окруженный своими и чужими вперемешку, обнаружил, как сообщают, невероятную силу, проворство и отвагу; он одолевал всех подряд, на кого бы ни устремился, и одних оттеснил в самые дальние кварталы, других заставил сложить оружие, дав тем самым Ларцию возможность беспрепятственно ввести римлян в Кориолы.

9. Итак, город был взят, и сразу же бо́льшая часть воинов бросилась грабить и расхищать имущество жителей, но Марций в негодовании кричал, что это просто чудовищно: консул и сограждане, должно быть, уже встретились с противником и теперь ведут бой, а они преспокойно набивают кошельки или же под этим предлогом прячутся от опасности! Не многие отозвались на его слова, и во главе этих немногих Марций выступил в путь, которым, по его представлению, ушло войско; он непрестанно торопил своих людей, убеждая их собраться с силами, и непрестанно молил богов о том, чтобы не опоздать, поспеть во-время и разделить с согражданами все опасности сражения.

В ту пору у римлян существовал обычай, выстроившись в боевые ряды, подпоясывая плащ и уже готовясь поднять с земли щит, произносить завещание, чтобы в присутствии трех или четырех свидетелей назвать имя наследника. Этим, на глазах у противника, и были заняты воины, когда появился Марций. Сперва кое-кто перепугался, увидев его, с головы до ног залитого кровью и по́том, в сопровождении всего нескольких товарищей. Но когда он подбежал к консулу, радостно протянул ему руку и сообщил, что город взят, а Коминий в свою очередь обнял и поцеловал Марция, и те, кто услышал о достигнутом успехе, и те, кто о нем догадался, – все воспрянули духом и потребовали, чтобы их вели в бой. Марций осведомился, как расположено войско противника и где находятся его лучшие силы. Коминий ответил, что, по его мнению, в середине, где стоят антийцы, славящиеся редкостной любовью к войне и непревзойденной отвагой. "Тогда, пожалуйста, – сказал Марций, – очень тебя прошу, поставь нас против этих мужей". Консул был изумлен его рвением, но согласился. Как только полетели первые копья, Марций опрометью ринулся вперед, и вольски не выдержали – в том месте, где он ударил, строй мгновенно оказался прорванным; но затем оба крыла сделали поворот и начали обходить Марция, консул же, боясь за него, послал на выручку своих отборных воинов. Яростная схватка закипела вокруг Марция, в скором времени земля была усеяна трупами, однако римляне не ослабляли натиска и сломили врага; перед погоней они пытались было уговорить ослабевшего от усталости и ран Марция вернуться в лагерь, но он сказал, что победителю уставать негоже, и пустился вслед за беглецами. Остальная часть неприятельского войска также была разбита; многие погибли, многие попали в плен.

10. Назавтра, когда прибыл Ларций и все собрались у палатки консула, Коминий поднялся на возвышение и, вознеся богам подобающие славословия в благодарность за такую победу, обратился к Марцию. Сначала он с жаром восхвалял его подвиги, из которых иные видел в битве собственными глазами, о других же узнал от Ларция, а затем, из обильной добычи, прежде чем делить ее меж остальными, велел ему выбрать дорогие вещи, доспехи, коней и пленников – всего по десяти. Кроме того, он пожаловал Марцию почетный дар – коня в боевом уборе. Римляне одобрили решение консула, однако Марций, выйдя вперед, заявил, что коня принимает и радуется похвалам начальника, но от остального отказывается, ибо это уже не награда, а плата, и готов удовольствоваться тою же долей, что все прочие. "Лишь об одной особой милости я прошу, – добавил он, – и надеюсь, что не встречу отказа. Был у меня среди воль-

сков друг и гостеприимец, человек порядочный, скромный. Ныне он попал в плен, из богатого и счастливого сделался рабом. Столько бедствий на него обрушилось – пусть же их будет одним меньше: избавим его хотя бы от продажи. Вот вся моя просьба". В ответ на эту речь раздались крики еще восторженнее и громче, и большинство дивилось теперь уже не воинскому мужеству Марция, но его неподвластности соблазну обогащения. Даже те, у кого оказанные ему почести вызывали какое-то ревнивое и завистливое чувство, даже они в тот миг согласились, что он заслуживает самого большого воздаяния, отвергнув воздаяние, и горячее восхищались тою силою духа, которая презрела целое богатство, нежели тою, которая его заслужила. И правда, разумно распоряжаться деньгами важнее, чем хорошо владеть оружием, но вовсе не знать потребности в деньгах – выше умения ими распоряжаться.

11. Когда крики утихли и народ успокоился, снова заговорил Коминий: "Что же, соратники, вы не можете заставить человека принять дары, если он их не берет и не желает брать. Но дадим ему такой подарок, который он не вправе отвергнуть: постановим, чтобы впредь он звался Кориоланом, если только сам подвиг нас не опередил и уже не дал ему это прозвище". С тех пор Марций носил третье имя – Кориолан. Отсюда с полной очевидностью явствует, что собственное его имя было Гай, второе же, принадлежавшее всему дому, или роду, – Марций. Третье имя получали не сразу, и оно отвечало какому-нибудь поступку, удачному стечению событий, внешнему признаку или нравственному качеству, точно так же как у греков подвиги доставляли прозвище Сотера[8] или Каллиника, внешность – Фискона или Грипа, нравственные качества – Эвергета или Филадельфа, а удача – Эвдемона (так величали Батта Второго). Бывали у царей и насмешливые прозвания, как, например, у Антигона Досона и Птолемея Лафира. Еще чаще подобные имена давали римляне: одного из Метеллов, который из-за язвы долгое время не снимал повязки со лба, они прозвали Диадематом, другого Целером – пораженные стремительностью и быстротой, с какими он всего через несколько дней после кончины отца устроил в память о нем гладиаторские состязания. Иных и до сих пор называют в память об обстоятельствах, которыми сопровождается их появление на свет, – Прокулом[9], если ребенок родился в отсутствие отца, Постумом, если отец умер, или Вописком, если родятся близнецы, а выживает лишь один из них. По телесным же признакам римляне дают прозвища не только Суллы, Нигра или Руфа, но даже Цека и Клодия, приучая слепых и вообще увечных откликаться на них так же, как на подлинные имена и, тем самым, – не стыдиться своего телесного порока и не считать название его бранным словом. Впрочем, об этом уместнее говорить в другого рода сочинениях[10].

12. Когда война окончилась, вожаки народа опять принялись раздувать мятеж, не имея никаких новых поводов или законных оснований для недовольства, но просто возлагая на патрициев ответственность за те беды, которые были неизбежным следствием прежних раздоров и неурядиц. Земли большею частью остались незасеянными и невозделанными, а запастись привозным продовольствием не было возможности из-за войны. Началась жестокая нужда, и, видя, что хлеба в городе нет, а если бы и был, у народа все равно нет денег его купить, во-

жаки повели клеветнические речи, будто голод вызван богачами, которые не забыли прежних обид.

Как раз в это время прибыло посольство велитрийцев, которые желали отдать свой город под власть римлян и просили отправить к ним поселенцев. Дело в том, что их посетила чума и произвела страшные опустошения: в живых осталась едва десятая часть всех жителей. Люди благоразумные сочли просьбу велитрийцев настоящей удачей: она доставляла некоторое облегчение в нужде, а с другой стороны, была надежда, что волнения утихнут, если избавиться от самых горячих голов, бунтующих вместе с вожаками, – так сказать, от подонков, отбросов города, болезнетворных и сеющих смуту. Таких людей консулы вносили в списки и назначали к переселению, иных же готовились послать в поход против вольсков, замышляя дать Риму передышку от внутренних раздоров и решив, что в одном войске, в общем лагере, снова сражаясь бок-о-бок в одном строю, богатые и бедные, плебеи и патриции будут относиться друг к другу более терпимо и дружелюбно.

13. Но вожаки народа, Сициний и Брут, возражали, кричи, что невиннейшим словом “переселение” пытаются прикрыть неслыханную жестокость: бедняков точно в пропасть сталкивают, высылая их в город, где самый воздух заражен, в город, заваленный непогребенными трупами, и водворяя по соседству с чужим да к тому же еще разгневанным божеством. Но словно не довольствуясь тем, что иных из сограждан косит голод, а других бросают в пасть чуме – еще затевают по собственному почину войну, дабы город испытал все бедствия до последнего, за то что отказался отдать себя в рабство богачам! Наслушавшись таких речей, народ и близко не подходил к консулам с их наборными списками и решительно отверг мысль о переселении.

Сенат был в полной растерянности, и лишь Марций, к тому времени уже исполнившийся высокомерия, уверенный в собственных силах и в уважении со стороны самых могущественных граждан, открыто и самым непримиримым образом спорил с вожаками народа. Дело кончилось тем, что римляне все же отправили колонистов в Велитры, угрозою строгого наказания заставив вытянувших жребий подчиниться. Но идти в поход плебеи отказывались наотрез, и тогда Марций сам, взяв с собою лишь собственных клиентов и тех немногих, которые поддались на его уговоры, вторгся во владения антийцев; там он нашел много хлеба, захватил много скота и рабов, но себе не взял ничего и вернулся в Рим, ведя за собою товарищей, тяжело нагруженных всевозможной добычей, так что прочие раскаивались и завидовали своим удачливым согражданам, но вместе с тем проникались ненавистью к Марцию, тяготились его славою и влиянием, возраставшими, по убеждению недовольных, во вред народу.

14. Некоторое время спустя Марций решил домогаться консульства, и толпа склонялась на его сторону – народу было стыдно унизить отказом человека, с которым никто не мог сравниться родовитостью и доблестью, оказавшего государству столько благодеяний, и каких благодеяний! В Риме было принято, чтобы лица, домогающиеся какой-либо должности, сами останавливали граждан, приветствовали их и просили содействия, выходя на форум в одной тоге, без туники, то ли для того, чтобы придать себе более смиренный вид, подобающий

просителю, то ли – если у соискателя были рубцы и шрамы, – чтобы выставить напоказ эти неоспоримые приметы храбрости. Во всяком случае не из подозрений в раздаче денег или в подкупе желали тогда римляне видеть без туники и без пояса тех, кто искал благосклонности сограждан, – лишь гораздо позже купля и продажа проникли в Народное собрание, и деньги как бы получили право голоса. Затем мздоимство поразило суды и войска и, поработив оружие деньгам, привело государство к единовластию. Да, разумно кто-то сказал, что первым разрушителем демократии был тот, кто первый выставил народу угощение и роздал подарки. Надо полагать, зло это скапливалось в Риме тайно и понемногу, а не поднялось разом во весь рост. Мы не знаем, кто первым среди римлян дал взятку народу или судьям. В Афинах, говорят, впервые суд подкупил Анит, сын Антемиона, который обвинялся в измене из-за пилосской неудачи[11] в конце Пелопоннесской войны – в ту пору, когда римский форум был еще в руках золотого, не знавшего пороков поколения.

15. Так вот, под тогою Марция видно было множество шрамов, оставшихся после многочисленных сражений, в которых он отличился за семнадцать лет непрерывной службы в войске, и римляне, пристыженные доблестью этого человека, сговорились между собой отдать ему свои голоса. Но когда наступил день выборов и Марций появился на форуме в торжественном сопровождении сената, а вид окружавших его патрициев не оставлял сомнения в том, что никогда и никого из соискателей не поддерживали они с большей охотой, народ вновь сменил расположение к нему на досаду и ненависть. К этим чувствам присоединялся еще и страх, как бы ярый приверженец аристократии, пользующийся таким влиянием среди патрициев, ставши у власти, вовсе не лишил народ свободы. Рассудив таким образом, граждане голосовали против Марция.

Когда объявили имена избранных и Марция среди них не оказалось, и сенат был разгневан, полагая, что оскорбление нанесено скорее ему, нежели Марцию, и сам Марций отнесся к случившемуся без надлежащего спокойствия и сдержанности: ведь он привык постоянно уступать пылким и честолюбивым движениям своей души, видя в них признак благородства и величия, но не приобрел с помощью наук и воспитания неколебимой стойкости и в то же время мягкости нрава – главнейших качеств государственного мужа, и не знал, что коль скоро ты берешься за общественные дела и намерен вращаться среди людей, следует паче всего избегать самомнения, этого, как говорит Платон[12], спутника одиночества, и, напротив, присоединиться к числу поклонников того самого долготерпения, которое иные не устают осыпать насмешками. Но, слишком прямолинейный и упрямый, Марций не догадывался, что победа над кем бы то ни было и во что бы то ни стало свидетельствует не о храбрости, а о немощи и безволии – ведь ярость, подобно опухоли, порождает больная и страдающая часть души; и потому он удалился полный негодования и злобы против народа. Молодые патриции – весь цвет римской знати, безмерно кичившиеся своим высоким происхождением, – и всегда с удивительным рвением выказывали ему свою преданность, и в тот день не оставили его одного и (отнюдь не к добру!) еще сильнее раздували ярость Марция, деля с ним его гнев и огорчение. Впрочем, это вполне понятно: он был для них предводителем и добрым наставником в походах, и со-

перничество в отваге без малейшей зависти друг к другу...*, внушая гордость преуспевавшим.

16. Тем временем в Рим прибыл хлеб, широкой рукою закупленный в Италии и не в меньшем количестве присланный в подарок из Сиракуз тиранном Гелоном, и у большинства римлян появилась радостная надежда, что город освободится сразу и от нужды и от раздоров. Тут же собрался сенат, а народ, тесной толпою расположившись снаружи, ждал исхода заседания, почти не сомневаясь, что цены на рынке будут не слишком высоки, а полученные дары розданы безвозмездно. И внутри курии были люди, внушавшие сенату такое же мнение. Но тут поднялся Марций и грозно обрушился на тех, кто угождает народу; он говорил, что они в своекорыстных целях ищут благосклонности черни и предают аристократию, что они, себе на го́ре, выхаживают брошенные в толпу семена дерзости и распущенности, семена, которые следовало вытоптать, не давши им взойти, и что нельзя было увеличивать могущество народа, предоставляя в его распоряжение должность, сопряженную с такими полномочиями, – теперь-де народ уже стал опасен, ибо ни в чем не встречает отказа и не делает ничего вопреки собственной воле, не подчиняется консулам, но, обзаведясь вожаками безначалия, их именует своими начальниками. "Утвердить в нашем заседании эти щедрые раздачи, по примеру тех из греков, у которых власть народа особенно сильна, значит ко всеобщей погибели решительно поощрить их неповиновение. Ну да, ведь они не смогут усмотреть в этом благодарность за походы, от участия в которых они уклонились, или за мятежи, которыми предавали отечество, или за клевету, с которой нападали на сенат, но скажут, что вы уступаете им из страха, заискиваете перед ними, надеетесь как-то договориться, и впредь уже неповиновению, смутам и бунтам не будет ни конца, ни предела! Право же, это чистейшее безумие! Нет, если мы сохраняем здравый рассудок, то отберем у них должность трибуна, которая упраздняет консульство и вносит в государство раскол; оно уже не едино, как прежде, и это разделение не дает нам жить в согласии и единомыслии и покончить с нашими болезнями, с нашей мучительной для обеих сторон враждой".

17. Долго еще говорил Марций в том же духе; молодежь и почти все богачи восторженно одобрили его слова и кричали, что если есть в государстве человек, неодолимый и неприступный для лести, так это только он один. Некоторые из пожилых сенаторов пытались возражать, предвидя возможные последствия. А хорошего и в самом деле ничего не воспоследовало. Присутствовавшие в сенате трибуны, видя, что мнение Марция берет верх, выбежали к толпе и громогласно призвали народ собраться и помочь им. В Народном собрании поднялся шум, а когда узнали, о чем говорил Марций, народ, рассвирепев, едва не ворвался в сенат. Однако трибуны всю вину возлагали на Марция и послали за ним, требуя от него оправданий. Когда же он дерзко прогнал посланных служителей, трибуны явились сами вместе с эдилами[13], чтобы увести Марция силой. Но патриции, сплотившись, оттеснили трибунов, а эдилов даже избили. Тут настал вечер и прекратил беспорядки.

* Текст в оригинале испорчен.

Наутро, когда консулы увидели, что народ вне себя от ярости и отовсюду стекается на форум, они, в страхе за государство, собрали сенат и просили обдумать, как бы с помощью благожелательных речей и мягких постановлений утихомирить и унять толпу, ибо теперь, говорили они, не время для честолюбия или для споров о славе, но – и всякий, кто в здравом уме, должен это понять – миг опасный и острый, требующий снисходительности и человеколюбия от правителей. Большинство с ними согласилось, и консулы, явившись в Собрание, принялись, как только могли, успокаивать народ: опровергали клеветнические измышления, но в совершенно доброжелательном тоне, строго соблюдая меру в увещаниях и упреках, и заверили, что из-за цен на съестные припасы никаких разногласий между ними и народом не будет.

18. Народ в общем склонен был податься на уговоры, и по тому, как чинно и вдумчиво он слушал, было ясно, что прежняя непримиримость исчезает, но тут поднялись трибуны и заявили, что, коль скоро сенат образумился, народ, в свою очередь, пойдет на уступки в той мере, в какой они будут справедливы и полезны, однако требовали, чтобы Марций оправдался в своих действиях: разве он не для того подстрекал сенат и отказался явиться на зов трибунов, чтобы привести государство в смятение и лишить народ его прав, и разве, наконец, нанося эдилам удары на форуме и осыпая их оскорблениями, он не старался, насколько это зависело от него, разжечь междуусобную войну, не звал граждан к оружию? Говоря так, они желали либо унизить Марция, если он, испугавшись, станет угождать толпе и молить ее о милости вопреки своей натуре, либо – если останется ей верен и сохранит обычное свое высокомерие – навлечь на него непримиримую ненависть народа. На это они больше всего и надеялись, зная его достаточно хорошо.

И верно, он явился, словно для того, чтобы дать объяснения и оправдаться, народ успокоился, наступила тишина, но когда люди, ожидавшие каких-то просьб, услышали, что Марций говорит с непереносимою для них резкостью и его речь скорее похожа на обвинения, чем на защиту, более того – звук его голоса и выражение лица свидетельствуют о бесстрашии, граничащем с презрением и гордыней, – народ возмутился и достаточно ясно дал понять говорившему, что дольше слушать его не намерен, а самый дерзкий из трибунов, Сициний, после краткого совещания с товарищами по должности громогласно объявил, что трибуны присудили Марция к смерти, и приказал эдилам немедленно отвести его на вершину скалы и столкнуть оттуда в пропасть. Эдилы уже схватили осужденного, но даже многим плебеям все происходившее казалось непомерно жестоким, а патриции, вне себя от горя и отчаяния, с криком бросились на выручку. Одни пытались оттолкнуть тех, кто наложил на Марция руку, и обступить его кольцом, другие умоляли толпу сжалиться, однако в таком беспорядке и смятении никакие речи и возгласы не достигали цели; в конце концов, убедившись, что лишь ценою страшной резни патрициев можно будет отвести Марция на казнь, друзья и родичи трибунов уговорили их смягчить невиданную суровость кары – не лишать виновного жизни без суда, путем прямого насилия, но предоставить народу вынести свое решение. Тогда Сициний обратился к патрициям и спросил, с какою целью пытаются они отнять Марция у народа, который

желает наказать этого человека. Те в свою очередь задали ему вопрос: "А с какими намерениями и с какою целью вы так жестоко и вопреки закону, без всякого суда, ведете на казнь одного из первых людей в Риме!" "Ладно, – ответил Сициний, – пусть это не послужит вам предлогом для разногласий и раздоров с народом: вашему требованию народ уступает – этого человека будут судить. Тебе же, Марций, мы предписываем явиться в третий рыночный день и, если нет за тобою никакой вины, убедить в этом сограждан, которые и вынесут тебе приговор".

19. Патриции были вполне удовлетворены таким исходом и вместе с Марцием радостно удалились. Но не успел еще подойти третий рыночный день – рынок у римлян бывает каждый девятый день, который зовется "нундины", – как началась война с антийцами, внушившая патрициям надежду на спасительную отсрочку: война, полагали они, затянется надолго, а народ тем временем смягчится и либо умерит свой гнев, либо даже вовсе о нем забудет, занятый ратными трудами. Однако мир с антийцами был вскоре заключен, войско возвратилось, и патриции в страхе и тревоге часто собирались, раздумывая о том, как бы и Марция не выдать и вожакам народа не доставить предлога к новым смутам. Аппий Клавдий, заслуженно считавшийся одним из самых ярых ненавистников народа, горячо утверждал, что сенат сам себя погубит и окончательно бросит государство на произвол судьбы, если допустит, чтобы народ путем голосования мог осуждать патрициев. Но старейшие и наиболее расположенные к народу сенаторы утверждали, что, получив такую власть, народ не окажет себя суровым и свирепым, напротив, он станет сговорчивее и добрее. Да, ибо он не питает презрения к сенату, но думает, будто сенат презирает его, и потому право вершить суд примет как честь и утешение: взяв в руки камешек для голосования, он тут же расстанется со своим гневом.

20. Видя, что чувства сената разделяются между благоволением к нему и страхом перед народом, Марций осведомился у трибунов, в чем его, собственно, обвиняют и за что предают суду народа. Те отвечали: "В тирании! Мы докажем, что ты замышлял сделаться тираном". Услышав это, Марций поднялся и заявил, что в таком случае сам, не откладывая, идет к народу и представит ему свои оправдания, что согласен на любой суд, а если будет уличен – на любую кару. "Только смотрите, – закончил он, – не вздумайте изменить обвинение и обмануть сенат!" На этих условиях (они были подтверждены трибунами) и открылся суд.

Но когда народ собрался, трибуны сначала настояли на том, чтобы подача голосов происходила не по центуриям[14], а по трибам – такое голосование давало нищей, беспокойной и равнодушной к добру и справедливости черни преимущество перед богатыми, знатными и служившими в войске гражданами. Затем, отбросив заведомо недоказуемое обвинение в тирании, они снова припомнили Марцию речь, которую он произнес в сенате, отговаривая продавать хлеб по низкой цене и советуя лишить народ права выбирать трибунов. Кроме того, они предъявили ему и новое обвинение – раздел добычи, захваченной в Антийской земле: он-де должен был внести ее в казну, а сам вместо этого разделил между своими товарищами по оружию. Говорят, что последнее и смутило Марция бо-

лее всего: он не ожидал удара с этой стороны и потому не смог сразу же вразумительно объяснить народу свой поступок, но пустился в похвалы тем, кто ходил вместе с ним в поход; в ответ послышался недовольный ропот тех, кто в поход не ходил, а они преобладали в толпе. Наконец, трибы приступили к голосованию и большинством в три голоса вынесли обвинительный приговор. Карой осужденному было назначено пожизненное изгнание.

Выслушав приговор, народ разошелся, гордясь и ликуя так, как никогда еще не ликовал на войне после победы над врагом, сенаторов же охватила печаль и глубочайшее уныние, они раскаивались, терзая себя мыслью, что следовало решиться на все и все претерпеть, но не допустить народ до такого наглого самоуправства, не давать ему такой власти. В тот день не было нужды присматриваться к одежде или другим отличительным знакам, чтобы распознать патрициев и плебеев – это становилось ясно с первого же взгляда: плебей – радуется, скорбит – патриций.

21. И только сам Марций не испугался, не пал духом, сохранил спокойствие в осанке, в лице и походке; среди всеобщего горя лишь его одного, казалось, не трогали собственные несчастья. Но это не было следствием здравого расчета или кротости нрава, не было тут и спокойствия пред лицом свершившегося – он весь пылал от ярости и досады, в чем по большей части люди не угадывают примет подлинного страдания. Ведь когда страдание, словно перегоревши, обращается в гнев, оно гонит прочь малодушие и вялость; поэтому в гневе человек кажется решительным, предприимчивым, точно так же как в лихорадке – горячим, ибо душа его воспалена и напряжена до предела.

Именно в таком расположении духа находился Марций и тотчас же доказал это своими действиями. Он вернулся домой, обнял громко рыдавших мать и жену, велел им терпеливо переносить случившееся, а затем, ни минуты не медля, вышел и направился к городским воротам. Там он расстался с патрициями, которые, чуть ли не все до единого, шли за ним следом, ничего у них не взяв и ни о чем не попросив, и двинулся дальше с тремя или четырьмя клиентами. Наедине с самим собою он провел несколько дней в каком-то поместье, колеблясь между многими планами, которые подсказывал ему гнев и которые не были направлены ни к чему доброму или полезному, но единственно к тому, чтобы отомстить римлянам, и, наконец, остановился на мысли поднять на них тяжкою войной кого-нибудь из соседей. Начать он задумал с вольсков: он знал, что они все еще богаты и людьми и деньгами, а недавние поражения, полагал он, не столько подорвали их силу, сколько пробудили злобу и жажду победы.

22. Жил в городе Антии человек, которому за его богатство, храбрость и знатность рода все вольски оказывали царские почести; звали его Тулл Аттий. Марцию было известно, что ни к кому в Риме не испытывает этот человек такой лютой ненависти, как к нему: в былые времена они часто обменивались в битвах угрозами и вызовами на поединок, осыпали друг друга насмешками, – честолюбие и ревнивое соперничество всегда побуждает молодых воинов к подобным действиям, – и таким образом к общей вражде римлян с вольсками присоединилась еще особая взаимная неприязнь. Тем не менее, видя, что Туллу свойственна некая возвышенность духа и что ни один из вольсков так горячо не

желает при первом же удобном случае отплатить римлянам злом за зло, Марций подтвердил правоту того, кто сказал:

Бороться с гневом трудно: за страсть он жизнью платит[15].

Выбрав одежду, в которой, по его расчетам, его труднее всего было узнать, он вошел, точно Одиссей[16],

...в народа враждебного город.

23. Был вечер, и многие встречались ему на пути, но ни один не догадался, кто он таков. Марций шел прямо к дому Тулла, а войдя, тотчас молча опустился на землю подле очага и, покрыв голову, замер в неподвижности. Домочадцы были изумлены, однако потревожить его не решились – и самый вид и безмолвие пришельца внушали какое-то почтение – и потому доложили о необычайном происшествии Туллу, который сидел за обедом. Тот поднялся из-за стола, подошел к Марцию и спросил, кто он и с какою нуждою явился. Тогда Марций открыл лицо и, помедлив одно мгновение, сказал: "Если ты еще не признал меня, Тулл, или не веришь своим глазам, придется мне выступить собственным обвинителем. Я Гай Марций, причинивший столько бед тебе и всем вольскам и носящий прозвище Кориолана, неопровержимо об этом свидетельствующее. За все свои труды, за все опасности, которым я подвергался, я не стяжал иной награды, кроме этого имени – отличительного знака моей вражды к вам. И только оно одно остается у меня ныне: всего прочего я разом лишился – ненавистью и наглостью народа, малодушием и предательством властей и равных мне по положению. Я изгнан и просителем припадаю к твоему очагу – не ради спасения и безопасности (разве не избрал бы я иного убежища, если бы страшился смерти?), но желая воздать по заслугам моим гонителям и уже воздавши им тем, что отдаю себя в твое распоряжение. Итак, если хочешь и не боишься напасть на врага, воспользуйся, благородный владыка, моей бедой – и мое несчастье станет счастьем для всех вольсков, ибо за вас я буду сражаться настолько успешнее, нежели против вас, насколько успешнее ведут войну, зная обстоятельства противника, нежели не зная их. Если же ты отказался от мысли продолжить борьбу, то и я не хочу ждать, да и тебе ни к чему сохранять жизнь давнему твоему врагу и сопернику, коль скоро нет от него ни пользы ни прока!"

Эта речь до крайности обрадовала Тулла. Подав Марцию правую руку, он воскликнул: "Встань Марций и успокойся! Великое благо для нас то, что ты явился и переходишь на нашу сторону, но будь уверен, вольски отплатят сторицей". Он радушно принял Марция, а в последующие дни они совещались вдвоем о предстоящей войне.

24. Что же касается Рима, то в нем царило смятение из-за вражды патрициев к народу, одною из главных причин которой было осуждение Марция. Но, кроме того, прорицатели, жрецы и даже частные лица то и дело сообщали о знамениях, способных внушить немалую тревогу. Об одном из них существует следующий рассказ. Был некий Тит Латиний, человек не очень знатный, но сдержанный, здравомыслящий, чуждый суеверия и еще того более – пустого хвастовства. Во сне он увидел Юпитера, и бог приказал передать сенату, что во главе про-

цессии в его, Юпитера, честь поставили безобразного, отвратительного плясуна. Сначала, по признанию самого Латиния, он не слишком встревожился, когда же, увидев этот сон во второй, а затем и в третий раз, по-прежнему оставил его без внимания, то похоронил сына, замечательного мальчика, а затем неожиданно был разбит параличом. Обо все этом он поведал в сенате, куда его принесли на носилках. Закончив говорить, он, как сообщают, тотчас же почувствовал, что силы вновь возвращаются к нему, поднялся на ноги и ушел без чужой помощи.

Пораженные сенаторы учинили тщательнейший розыск по этому делу. И вот что обнаружилось. Какой-то хозяин предал одного из своих рабов в руки его товарищей по неволе и велел провести его, бичуя, через форум, а потом умертвить. Меж тем как они, выполняя приказ, истязали того человека, а он от боли и муки извивался, корчился и выделывал разные иные уродливые телодвижения, следом за ними совершенно случайно двигалось торжественное шествие. Многие из его участников были возмущены и этими неподобающими телодвижениями и тягостным зрелищем в целом, но никто не вмешался и не пресек его, все только бранили и кляли хозяина – виновника столь жестокой расправы. К рабам тогда относились с большой снисходительностью, и это вполне понятно: трудясь собственными руками и разделяя образ жизни своих слуг, римляне и обращались с ними мягче, совсем запросто. Для провинившегося раба было уже большим наказанием, если ему надевали на шею деревянную рогатку, которой подпирают дышло телеги, и в таком виде он должен был обойти соседей. Кто подвергался этому позору на глазах у домочадцев и соседей, не пользовался более никаким доверием и получал кличку "фуркифер" [furcifer]: то, что у греков зовется подставкой или подпорой, римляне обозначают словом "фурка" [furca].

25. Итак, когда Латиний рассказал сенаторам свой сон и они терялись в догадках, что же это был за отвратительный плясун, возглавлявший шествие, кое-кто вспомнил о казни раба, которого провели, бичуя, через форум, а затем убили, – слишком уж необычна была казнь. Жрецы согласились с этим мнением, и хозяина постигла строгая кара, а игры и процессия в честь бога были повторены еще раз с самого начала.

Мне кажется, что Нума, который и вообще был наредкость мудрым наставником в делах, касающихся почитания богов, дал римлянам замечательный закон, призывающий к сугубой осмотрительности: когда должностные лица или жрецы исполняют какой-либо священный обряд, впереди идет глашатай и громко восклицает: "Хок аге!" что значит: "Делай это!" Этот возглас приказывает сосредоточить все внимание на обряде, не прерывать его какими-либо посторонними действиями, оставить все повседневные занятия – ведь почти всякая работа делается по необходимости и даже по принуждению. Повторять жертвоприношения, игры и торжественные шествия у римлян принято не только по таким важным причинам, как вышеописанная, но даже по незначительным поводам. Когда, например, один из коней, везущих так называемую "тенсу" [tensa][17], слабо натянул постромки или когда возница взял вожжи в левую руку, они постановили устроить шествие вторично. В более поздние времена им случалось тридцать раз начинать сызнова одно и то же жертвоприношение, ибо всякий раз

обнаруживалось какое-то упущение или препятствие. Вот каково благоговение римлян перед богами.

26. Марций и Тулл вели в Антии тайные переговоры с самыми влиятельными из вольсков, убеждая их начать войну, пока римляне поглощены внутренними раздорами. Те не решались, ссылаясь на двухлетнее перемирие, которое было у них заключено, но римляне сами доставили повод к нападению: в день священных игр[18] и состязаний они, поддавшись подозрениям или послушавшись клеветы, объявили, что вольскам надлежит до захода солнца покинуть Рим. (Некоторые утверждают, будто это случилось благодаря хитрой уловке Марция, подославшего в Рим своего человека, который перед властями ложно обвинил вольсков в том, что они замыслили напасть на римлян во время игр и предать город огню.) Это распоряжение страшно ожесточило против них всех вольсков, а Тулл подливал масла в огонь, старался еще сильнее раздуть злобу и, в конце концов, уговорил своих единоплеменников отправить в Рим послов и потребовать назад земли и города, которых они лишились, проиграв войну. Римляне с негодованием выслушали послов и ответили, что вольски первыми возьмут оружие, зато римляне последними его положат. После этого Тулл созвал всенародное собрание и, когда оно высказалось за войну, советовал призвать Марция, забыв прежние обиды и веря, что Марций-союзник возместит народу весь ущерб, который причинил ему Марций-враг. 27. Когда же Марций, явившись на зов, произнес перед народом речь и все убедились, что он владеет словом не хуже, чем оружием, и столь же умен, сколь отважен, его, как и Тулла, выбрали полководцем с неограниченными полномочиями.

Опасаясь, как бы время, потребное вольскам для подготовки к войне, не оказалось слишком продолжительным и он не упустил благоприятного момента, Марций, поручив городским властям собирать войско и запасаться всем необходимым, уговорил самых отважных выступить вместе с ним, не дожидаясь призыва, и вторгся в римские пределы. Нападение это было полной неожиданностью для всех, и потому он захватил столько добычи, что вольски отказались от мысли все увезти, унести или хотя бы употребить на свои нужды в лагере. Но изобилие припасов и опустошение вражеских земель были для Марция ничтожнейшими из последствий этого набега, который он предпринял с иным, куда более важным намерением – опорочить патрициев в глазах народа. Губя и разоряя все вокруг, он тщательно оберегал поместья патрициев, не разрешая причинять им вред или грабить их. Это вызвало еще большие раздоры и взаимные нападки: патриции обвиняли народ в том, что он безвинно изгнал из отечества столь могущественного человека, а толпа кричала, будто патриции, мстя за старые обиды, подбили Марция двинуться на Рим, а теперь, когда другие страдают от бедствий войны, сидят безмятежными зрителями – еще бы, ведь их богатства и имущество охраняет сам неприятель за стенами города! Достигнув своей цели и внушив вольскам мужество и презрение к врагу – а это имело для них огромное значение, – Марций в полном порядке отступил.

28. Тем временем быстро и охотно собралась вся военная сила вольсков: она оказалась такой внушительной, что было решено часть оставить для обороны своих городов, а с другой частью двинуться на римлян. Право выбора любой из

двух командных должностей Марций предоставил Туллу. Тулл сказал, что в доблести Марций нисколько ему не уступает, удачею же неизменно превосходил его во всех сражениях, и потому просил Марция встать во главе тех, что уходят в поход, а сам вызвался охранять города и снабжать войско припасами.

Итак, охваченный еще бóльшим боевым пылом, Марций выступил сначала к Цирцеям, римской колонии, и так как город сдался, не причинил ему ни малейшего вреда. Затем он принялся опустошать землю латинян в надежде, что римляне вступятся за давних своих союзников, неоднократно посылавших в Рим просить о помощи, и дадут вольскам в Латии бой. Однако народ не проявил охоты идти на войну, да и консулы, срок полномочий которых уже истекал, не желали подвергать себя опасностям, а потому отправили латинских послов восвояси. Тогда Марций повел войско прямо на города – Толерий, Лабики, Пед и, наконец, Болу, которые оказали ему сопротивление и были взяты приступом; жителей вольски обратили в рабство, а их имущество разграбили. Но о тех, кто покорялся добровольно, Марций проявлял немалую заботу: боясь, как бы, вопреки его распоряжениям, они все же не потерпели какой-либо обиды, он разбивал лагерь как можно дальше от города и обходил стороною их владения.

29. Когда же он захватил и Бовиллы, отстоящие от Рима не более, чем на сто стадиев, овладев огромными богатствами и перебив почти всех мужчин, способных нести военную службу, и когда даже те вольски, что были размещены в городах, не в силах дольше оставаться на месте, устремились с оружием в руках к его лагерю, крича, что не признают иного полководца и начальника, кроме Марция, – имя его прогремело по всей Италии: везде дивились доблести одного человека, который своим переходом на сторону противника произвел такой невероятный перелом в ходе событий.

У римлян все было в полном разброде, они теперь и думать забыли о сражении и все дни проводили в ссорах, схватках и подстрекающих к мятежу взаимных обличениях, пока не пришло известие, что враг осадил Лавиний, где у римлян находились святилища отчих богов и откуда вышло их племя: ведь то был первый город, основанный Энеем. И тут удивительная перемена произошла разом в мыслях народа, но еще более странная и уж совсем неожиданная – в мыслях патрициев. Народ выразил намерение отменить вынесенный Марцию приговор и пригласить его вернуться, а сенат, собравшись и рассмотрев это предложение, воспротивился и отклонил его – то ли вообще решив не уступать народу в чем бы то ни было, то ли не желая, чтобы Марций возвратился по милости народа, то ли, наконец, гневаясь уже и на него самого за то, что он чинил зло всем подряд, хотя далеко не все были его обидчиками, и стал врагом отечества, влиятельнейшая и лучшая часть которого, как он отлично знал, ему сочувствовала и была оскорблена не меньше, чем он сам. После того, как мнение сенаторов было объявлено во всеуслышание, народ уже не имел права путем голосования придать силу закона своим предложениям: без предварительного согласия сената это было невозможно.

30. Услышав об этом, Марций ожесточился еще сильнее; прекратив осаду, он в ярости двинулся на Рим и разбил лагерь подле так называемых Клелиевых рвов[19], в сорока стадиях от города. Его появление вызвало ужас и страшное за-

мешательство, но, силою сложившихся обстоятельств, положило конец раздорам. Никто больше не решался возражать плебеям, требовавшим возвращения Марция, – ни один сенатор, ни одно должностное лицо, но, видя, что женщины мечутся по городу, что старики в храмах со слезами взывают к богам о защите, что неоткуда ждать отважных и спасительных решений, все поняли, насколько прав был народ, склонившийся к примирению с Марцием, и какую ошибку совершил сенат, поддавшись злопамятности и гневу, когда следовало о них забыть. Итак единогласно постановили отправить к Марцию послов, которые сообщат ему, что он может вернуться на родину, и попросят положить войне конец. Посланные от сената были Марцию не чужими и потому надеялись, хотя бы в первые минуты встречи, найти радушный прием у своего родича и друга, но вышло совсем по-иному. Их провели через вражеский лагерь к Марцию, который сидел, надменный и неимоверно гордый, в окружении самых знатных вольсков. Он велел послам объяснить, для чего они прибыли, что те и сделали в умеренных и мягких словах, держась, как приличествовало в их положении. Когда они умолкли, Марций сначала горько и озлобленно отвечал от собственного имени, напомнив обо всем, что он претерпел, в качестве же главнокомандующего вольсков требовал, чтобы римляне вернули города и земли, захваченные во время войны, и предоставили вольскам те же гражданские права, какими пользуются латиняне. Прочный мир, закончил он, может быть заключен только на равных и справедливых условиях. Дав им тридцать дней на размышление, он сразу же после ухода послов снялся с лагеря и покинул римскую землю.

31. За это ухватились те из вольсков, для которых его могущество уже давно стало источником раздражения и зависти. Среди них оказался и Тулл: не претерпев от Марция никакой личной обиды, он просто поддался человеческой слабости. Тяжело было ему видеть, до какой степени померкла его слава и как вольски вообще перестают его замечать, считая, что Марций – это для них всё, а прочие должны довольствоваться той властью, какую он сам соблаговолит им уступить. Вот откуда и пошли разбрасывавшиеся тайком первые семена обвинений: завистники собирались и делились друг с другом своим негодованием, называли вероломным попустительством отступление Марция – он выпустил из рук, правда, не городские стены и не оружие, но упустил счастливый случай, а от такого случая зависит как благополучный, так равно и гибельный исход всего дела, недаром же он дал врагу тридцать дней – за меньший срок решительных перемен не достигнуть!

Между тем в течение этого срока Марций не бездействовал, но разорял и грабил союзников неприятеля и захватил семь больших и многолюдных городов. Римляне не решались оказать помощь союзникам – души их, преисполненные робости, совершенно уподобились оцепеневшему и разбитому параличом телу. Когда назначенное время истекло и Марций со всем своим войском вернулся, они отправили к нему новое посольство – просить, чтобы он умерил свой гнев, вывел вольсков из римских владений, а затем уж приступал к действиям и переговорам, которые он находит полезными для обоих народов. Под угрозою, говорили они, римляне не пойдут ни на какие уступки, если же, по его мнению, вольски вправе притязать на своего рода милость или благодеяние, они достиг-

нут всего, но только положив оружие. На это Марций ответил, что как полководцу вольсков ему нечего им сказать, но что как римский гражданин – а он еще сохраняет это звание – он настоятельно советует разумнее отнестись к справедливым условиям и прийти через три дня с постановлением, их утверждающим. Если же они решат по-иному и снова явятся к нему в лагерь с пустыми разговорами – он более не ручается за их безопасность.

32. Когда послы вернулись, сенат, выслушав их и видя, что на государство обрушилась жесточайшая буря, как бы бросил главный якорь, именуемый "священным". И в самом деле, сколько ни нашлось в городе жрецов – служителей святыни, участников и хранителей таинств, храмовых стражей, птицегадателей (это исконно римский и очень древний род гадания) – всем было предписано отправиться к Марцию, облекшись в те одежды, какие каждый из них надевает для совершения обрядов, и обратиться к нему с тою же просьбой – чтобы он сначала прекратил войну, а затем вел с согражданами переговоры касательно требований вольсков. Марций открыл им ворота лагеря, но на этом его уступки и кончились; он был по-прежнему непреклонен и еще раз предложил выбрать: либо мир на известных им условиях, либо война.

Когда и священнослужители возвратились ни с чем, римляне решили запереться в городе и со стен отражать натиск врагов, возлагая надежды главным образом на время и неожиданное стечение обстоятельств, ибо сами не видели для себя никаких путей к спасению, и город был объят смятением, страхом и дурными предчувствиями, пока не случилось событие, до некоторой степени сопоставимое с тем, о чем не раз говорится у Гомера, но что для многих звучит не слишком убедительно. Так, например, когда речь заходит о действиях важных и неожиданных и поэт восклицает[20]:

Дочь светлоокая Зевса, Афина, вселила желанье.., –

или в другом месте:

Боги мой гнев укротили, представивши сердцу, какая
Будет в народе молва.., –

или еще:

Было ли в нем подозренье иль демон его надоумил, –

многие с порицанием относятся к подобным словам, считая, будто невероятными измышлениями и не заслуживающими доверия россказнями Гомер отрицает способность каждого человека к разумному и свободному выбору. Но это неверно, напротив, ответственность за все обыденное, привычное, совершающееся в согласии со здравым смыслом, он возлагает на нас самих и часто высказывается так:

Тут подошел я к нему с дерзновенным намереньем сердца, –

или:

Рек он, – и горько Пелиду то стало: могучее сердце
В персях героя власатых меж двух волновался мыслей, –

или еще:

...Но к ищущей был непреклонен,
Чувств благородных исполненный, Беллерофонт непорочный[21].

В действиях же опасных и необычайных, требующих вдохновения и как бы порыва восторга, он изображает божество не отнимающим свободный выбор, но подвигающим на него, внушающим не решимость, но образы и представления, которые приводят за собою решимость, а стало быть, отнюдь не превращает действие в вынужденное, но лишь кладет начало добровольному действию, укрепляет его бодростью и надеждой. Либо следует вообще отвергнуть божественное участие в причинах и началах наших поступков, либо, по всей видимости, боги оказывают людям помощь и содействие не прямо, а несколько иным образом: ведь они не придают ту или иную форму нашему телу, не направляют движение наших рук и ног, но с помощью неких первооснов, образов и мыслей пробуждают действенную и избирательную силы души или, напротив, сдерживают их и поворачивают вспять.

33. В те дни римские женщины молили бога по разным храмам, но больше всего их, и притом из числа самых знатных, собралось у алтаря Юпитера Капитолийского. Там была и Валерия, сестра Попликолы, оказавшего римлянам столько важных услуг и на войне и во время мира. Самого Попликолы, как мы об этом рассказали в его жизнеописании, уже не было в живых, а Валерия пользовалась в городе доброй славою и почетом, ибо ничем не запятнала громкое имя своего рода. И вот неожиданно ее охватывает то чувство, о котором я только что говорил, мысленным взором – не без божественного наития – она постигает, что нужно делать, встает сама, велит встать всем остальным и идет к дому Волумнии, матери Марция. Волумния сидела с невесткой, держа на коленях детей Марция. Женщины обступили ее кругом по знаку своей предводительницы, и Валерия заговорила: "Мы пришли к вам, Волумния и Вергилия, как женщины к женщинам, сами, не по решению сената и не по приказу властей, но, видно, бог, внявши нашим молитвам, внушил нам мысль обратиться к вам и просить о том, что принесет спасение нам самим и прочим гражданам, а вас, если вы со мною согласитесь, увенчает славою еще более прекрасной, чем слава сабинянок, которые примирили враждовавших отцов и мужей и склонили их к дружбе. Пойдемте вместе к Марцию, присоединитесь к нашим мольбам и будьте справедливыми, неложными свидетельницами в пользу отечества; ведь оно, терпя множество бедствий, несмотря на весь свой гнев, ни в чем вас не притесняло и даже не думало притеснять, мало того, возвращает вас сыну и мужу, хотя и не ждет от него никакого снисхождения". На слова Валерии остальные женщины откликнулись громкими причитаниями, Волумния же в ответ сказала так: "В равной доле разделяя со всеми общее бедствие, мы вдобавок страдаем от горя, которого не разделяем ни с кем: слава и доблесть Марция для нас потеряны, а вражеское оружие, как мы понимаем, скорее подстерегает его, чем защищает от опасностей. Но самая горькая наша мука – это видеть отечество до такой степени обессилевшим, что в нас полагает оно свои надежды!.. Не знаю, окажет ли он нам хоть сколько-нибудь уважения, если вовсе отказывается уважить оте-

чество, которое всегда ставил выше матери, жены и детей. Тем не менее мы согласны служить вам – ведите нас к нему: если уж ни на что иное, так на то, чтобы испустить последний вздох в мольбах за отечество, мы, во всяком случае, годимся!".

34. Затем она велела подняться Вергилии и детям и вместе с остальными женщинами направилась к лагерю вольсков. Зрелище было столь горестное, что внушило почтение даже врагам и заставило их хранить молчание. Марций в это время разбирал тяжбы, сидя с начальниками на возвышении. Увидев приближающихся женщин, он сначала изумился, а затем узнал мать, которая шла впереди, и хотел было остаться верен своему неумолимому и непреклонному решению, но чувство взяло верх: взволнованный тем, что предстало его взору, он не смог усидеть на месте, дожидаясь, пока они подойдут, и, сбежав вниз, бросился им навстречу. Первой он обнял мать и долго не разжимал объятий, потом жену и детей; он уже не сдерживал ни слез, ни ласк, но как бы дал увлечь себя стремительному потоку.

35. Когда же он вдоволь насытил свое чувство и заметил, что мать хочет говорить, он подозвал поближе вольсков-советников и услышал от Волумнии следующую речь: "Сын мой, если бы даже мы не проронили ни слова, то по нашей одежде и по жалкому нашему виду ты можешь судить, на какую замкнутость обрекло нас твое изгнание. А теперь скажи: разве есть среди всех этих женщин кто-либо несчастнее нас, для которых судьба самое сладостное зрелище обратила самым ужасным, так что мне приходится смотреть, как мой сын, а ей – как ее муж осаждает родной город? Что для других утешение во всех бедствиях и горестях – молитва богам, – то для нас недоступно. Невозможно разом просить у богов и победы для отечества и для тебя – спасения, и потому все проклятия, какие только может призывать на нас враг, в наших устах становятся молитвой. Твоей жене и детям придется потерять либо отечество, либо тебя. А я – я не стану ждать, пока война рассудит, какой из этих двух жребиев мне сужден, но, если не уговорю тебя предпочесть дружбу и согласие борьбе и злым бедствиям и сделаться благодетелем обоих народов, а не губителем одного из них, – знай и будь готов к тому, что ты сможешь вступить в бой с отечеством не прежде, нежели переступишь через труп матери. Да не доживу я до того дня, когда мой сын будет справлять победу над согражданами, или, напротив, отечество – над ним! Если бы я просила тебя спасти родину, истребивши вольсков, тогда, сын мой, ты оказался бы перед тягостными и едва ли разрешимыми сомнениями: разумеется, худо губить сограждан, однако бесчестно и предавать тех, кто тебе доверился; но ведь все, чего мы домогаемся, – это прекращение бедствий войны, одинаково спасительное для обеих сторон и лишь более славное и почетное для вольсков, о которых станут говорить, что, победив, они даровали неприятелю (впрочем, не в меньшей мере стяжали и сами) величайшие из благ – мир и дружбу. Если это свершится, главным виновником всеобщего счастья будешь ты, если же нет – оба народа станут винить тебя одного. Исход войны неясен, но совершенно ясно одно: победив, ты навсегда останешься бичом, язвою отечества, потерпишь поражение – и о тебе скажут, что, отдавшись во власть своему гневу, ты навлек на друзей и благодетелей величайшие бедствия".

36. Марций, слушая Волумнию, ничего ей не отвечая. Она уже давно закончила свою речь, а он все стоял, не проронив ни звука, и тогда Волумния заговорила снова: "Что ж ты молчишь, сын мой? Разве уступать во всем гневу и злопамятству хорошо, а уступить матери, обратившийся к тебе с такою просьбой, дурно? Или помнить обиды великому мужу подобает, а свято чтить благодеяния, которыми дети обязаны родителям, – не дело мужа великого и доблестного? А ведь никому не следует так тщательно блюсти долг благодарности, как тебе, столь беспощадно карающему неблагодарность! Ты уже сурово взыскал с отечества, но еще ничем не отблагодарил мать, а потому самым прекрасным и достойным было бы, если бы ты безо всякого принуждения удовлетворил мою просьбу, такую благородную и справедливую. Но ты глух к моим уговорам – зачем же медлю я обратиться к последней своей надежде?!" И с этими словами она упала к ногам сына вместе с его женой и детьми.

"Ах, что ты сделала со мною, мать!" – вскричал Марций и поднял Волумнию с земли. Крепко стиснув ей правую руку, он продолжал: "Ты одержала победу, счастливую для отечества, но гибельную для меня. Я ухожу, потерпев поражение от тебя лишь одной!" Затем, переговорив наедине с матерью и женою, он отправил их, как они просили, назад в Рим, а наутро увел вольсков, далеко не одинаково судивших о случившемся. Одни бранили и самого Марция и его поступок, другие, напротив, одобряли, радуясь прекращению военных действий и миру, третьи были недовольны тем, что произошло, но Марция не порицали, полагая, что, сломленный такой необходимостью, он заслуживает снисхождения. Однако никто не пытался возражать: все повиновались из уважения скорее к доблести этого человека, нежели к его власти.

37. В какой страх повергли римский народ опасности этой войны, особенно убедительно показало ее завершение. Как только со стен заметили, что вольски снимаются с лагеря, тотчас римляне распахнули двери всех до единого храмов и, увенчав себя венками, словно в честь победы, стали приносить жертвы богам. Но отчетливее всего радость города проявилась в изъявлениях любви и признательности, которыми и сенат и народ единодушно почтили женщин: их прямо называли единственными виновницами спасения. Сенат постановил, чтобы любое их желание было, в знак уважения и благодарности, беспрекословно выполнено властями, но они попросили только дозволения соорудить храм Женской Удачи[22] с тем, чтобы средства на постройку собрали они сами, а расходы по совершению обрядов и всех прочих действий, каких требует культ богов, приняло на себя государство. Когда же сенат, одобрив их честолюбивую щедрость, и святилище и статую воздвиг на общественный счет, женщины тем не менее собрали деньги и поставили второе изображение, которое, когда его водружали в храме, произнесло, по утверждению римлян, примерно такие слова: "Угоден богам, о жены, ваш дар".

38. Утверждают, будто эти слова раздались и во второй раз: нас хотят убедить в том, что похоже на небылицу и звучит весьма неубедительно. Вполне допустимо, что статуи иногда словно бы потеют или плачут, что на них могут появиться капли кроваво-красной жидкости. Ведь дерево и камень часто обрастают плесенью, из которой рождается влага, нередко изнутри проступает какая-то

краска или же поверхность способна принять иной цвет под воздействием окружающего воздуха, и, по-видимому, ничто не препятствует божеству таким образом как бы подавать нам некоторые знамения. Возможно также, чтобы статуя издала шум, напоминающий вздох или стон, – так бывает, когда в глубине ее произойдет разрыв или резкое смещение частиц. Но чтобы в неодушевленном предмете возникли членораздельные звуки, речь, столь ясная, внятная и отчетливая, – это совершенно немыслимо, поскольку даже душа, даже бог, если они лишены тела, снабженного органом речи, не в силах подавать голос и разговаривать. Правда, иногда история многочисленными и надежными свидетельствами заставляет нас поверить ей, но в этих случаях уверенность наша коренится в особом чувстве, которое несходно с ощущением и порождается воображающей силой души; подобным образом во сне мы слышим, не слыша, и видим, не видя. Однако люди, которые любят божество и преклоняются перед ним с излишней страстностью, так что не решаются отрицать или отвергать ни одно из подобных чудес, находят сильную поддержку своей вере во всяких удивительных явлениях и в том, что недоступно нам и возможно для божества. Ведь бог отличен от нас во всем – и в естестве и в движении, и в искусстве, и в мощи, и потому нет ничего невероятного, если он творит то, чего мы творить не в силах, и питает замыслы, для нас непостижимые. Отличаясь от нас во всем, он более всего несходен с нами и превосходит нас своими деяниями. Однако многое из того, что касается божества, как сказано у Гераклита[23], ускользает от понимания по причине неверия.

39. Едва только Марций из похода возвратился в Антий, Тулл, которому зависть уже давно внушила ненависть и непримиримую злобу, задумал как можно скорее его убить, считая, что, если теперь не воспользоваться удобным случаем, в дальнейшем он уже не представится. Восстановив и настроив против него многих, он потребовал, чтобы Марций сложил с себя полномочия и отчитался перед вольсками в своих действиях. Но Марций, понимая, какой опасности он подвергнется, если сделается частным лицом в то время, как Тулл сохранит звание главнокомандующего и огромную власть над согражданами, ответил, что полномочия сложит только по требованию всех вольсков, ибо и принимал их по всеобщему требованию, отчитаться же согласен немедленно – перед теми антийцами, которые этого пожелают.

Было созвано Собрание, и некоторые вожаки народа, как было договорено заранее, выступая один за другим, настраивали толпу против Марция, но когда он поднялся с места, уважение взяло верх, оглушительные крики смолкли, и он получил возможность беспрепятственно говорить, а лучшие из антийцев, более других радовавшиеся миру, ясно дали понять, что готовы слушать благосклонно и судить справедливо. Тогда Тулл испугался защитительной речи своего врага, который был одним из самых замечательных ораторов, тем более, что прежние его подвиги и заслуженное ими право на признательность перевешивали последнюю провинность, вернее говоря, все обвинение в целом свидетельствовало, как велика должна быть эта признательность: вольски только потому и могли считать себя в обиде, не взявши Рима, что едва-едва не взяли его благодаря Марцию. Итак, Тулл решил не медлить и не подвергать испытанию чувства на-

рода к Марцию; с криком, что мол нечего вольскам слушать изменника, стремящегося к тирании и не желающего складывать полномочий, самые дерзкие из заговорщиков разом набросились на него и убили. Никто из присутствовавших за него не вступился, но большинство вольсков не одобрило расправы над Марцием и немедленно это доказало: сойдясь из разных городов, они с почетом похоронили тело и украсили могилу оружием и захваченной у врага добычей, как приличествовало могиле героя и полководца.

Римляне, узнав о смерти Марция, не выказали к его памяти ни знаков уважения, ни, напротив, непримиримой злобы, но по просьбе женщин разрешили им десятимесячный траур, какой обыкновенно носили по родителям, детям или братьям. Это был самый продолжительный срок траура, установленный Нумой Помпилием, о чем сказано в его жизнеописании[24].

Что же касается вольсков, то обстоятельства скоро заставили их с тоскою вспомнить о Марции. Сначала из-за назначения главнокомандующего они повздорили со своими друзьями и союзниками эквами и дело дошло до кровопролития и резни, а затем, разбитые римлянами[25], потеряв в сражении Тулла и отборнейшую часть войска, вынуждены были заключить мир на самых позорных условиях, согласившись платить римлянам дань и подчиняться их распоряжениям.



АЛКИВИАД

1. Род Алкивиада обычно возводят к Эврисаку, сыну Аянта; по матери же – Диномахе, дочери Мегакла – он принадлежит к алкмеонидам. Его отец, Клиний, снарядив на собственные средства триеру, отличился в морском бою у Артемисия. Он погиб в сражении с беотийцами при Коронее, и опеку над Алкивиадом взяли его родичи – Перикл и Арифрон, сыновья Ксантиппа. Не без основания утверждают, что славе Алкивиада немало способствовали любовь и расположение к нему Сократа. И в самом деле, вот знаменитые его современники – Никий, Демосфен, Ламах, Формион, Фрасибул, Ферамен – мы нигде не встречаем даже имени матери хотя бы одного из них, а между тем нам известно, что кормилицей Алкивиада была лаконянка по имени Амикла, а наставником – Зопир. Первое сообщает Антисфен, второе – Платон[1].

О красоте Алкивиада нет, пожалуй, нужды говорить особо; заметим только, что всегда, во всякую пору его жизни, она была в полном цвете, сообщая мальчику, юноше, а затем взрослому мужу прелесть и обаяние. Не то, чтобы, как утверждал Эврипид[2], все прекрасное было прекрасно и осенью, но в применении к Алкивиаду и немногим другим это оказалось верным благодаря счастливому сложению и крепости тела. Говорят, ему была в пользу даже картавость, придававшая убедительность и редкое изящество непринужденным речам. Об этой

картавости упоминает и Аристофан[3] в стихах, осмеивающих Феора:

Промямлил тут Алкивиад мне на ухо:
"Теол-то булки лижет и как мелин лжет".
А что ж, промямлил мальчик правду чистую!

И Архипп, насмехаясь над сыном Алкивиада, восклицает: "Вот он идет, этот неженка, волоча по земле гиматий, и, чтобы как можно более походить на отца,

Картавит, головой своей к плечу склонясь.

2. В его поведении и нраве было очень много разнородного и переменчивого, что, впрочем, вполне естественно для человека такой высокой и богатой превратностями судьбы. Но среди многих присущих ему от природы горячих страстей самой пылкой была жажда первенства и победы, и это явствует уже из рассказов о его детских летах. Однажды во время борьбы он был близок к поражению и, чтобы не упасть, притянул ко рту руки противника и осыпал их укусами. Тот ослабил хватку и крикнул: "Эй, Алкивиад, ты кусаешься, как баба!" – "Нет, – возразил Алкивиад, – как лев!" В другой раз, еще совсем малышом, он играл в бабки в каком-то тесном переулке, и когда очередь бросать кости дошла до него, подъехала тяжело груженная телега. Сначала мальчик попросил возницу немного обождать – бабки-де должны упасть как раз на пути телеги, – но грубый мужлан не обратил внимания на его слова и продолжал погонять лошадей, и тогда остальные дети расступились, Алкивиад же бросился ничком перед самой телегой и, вытянувшись поперек дороги, крикнул вознице: "Теперь езжай, коли хочешь!" Тот в испуге осадил назад, а остальные участники этой сцены, оправившись от изумления, с громкими криками бросились к Алкивиаду.

Приступив к учению, он внимательно и прилежно слушал всех своих наставников и только играть на флейте отказался, считая это искусство низменным и жалким: плектр[4] и лира, говорил он, нисколько не искажают облика, подобающего свободному человеку, меж тем как, если дуешь в отверстия флейт, твое лицо становится почти неузнаваемо даже для близких друзей. Кроме того, играя на лире, ей вторят словом или песней, флейта же затыкает рот, заграждает путь голосу и речи. "А потому, – заключал Алкивиад, – пусть уж играют на флейте дети фиванцев[5]. Говорить они все равно не умеют. Нами же, афинянами, как говорят наши отцы, предводительствует Афина, и покровитель наш – Аполлон; но первая бросила флейту, а второй содрал с флейтиста кожу"[6]. Так, мешая шутки с настойчивыми увещаниями, он и сам не занимался и других отвращал от занятий, ибо мнение, что Алкивиад прав, презирая флейту и издеваясь над теми, кто учится на ней играть, быстро укрепилось среди детей. С тех пор игра на флейте была решительно исключена из числа занятий, приличествующих свободным гражданам, и навсегда опозорена.

3. Понося Алкивиада, Антифонт пишет, что мальчиком он убежал из дома к одному из своих любовников, некоему Демократу. Арифрон был уже готов публично отказаться от воспитанника, но его отговорил Перикл, сказавши так: "Если мальчик погиб, то благодаря твоему извещению это откроется на день раньше, и только, но если он жив – вся его дальнейшая жизнь погибла". Тот же

Антифонт утверждает, будто в палестре Сибиртия Алкивиад ударом палки убил одного из своих сопровождающих. Не следует, однако, верить всей этой хуле, исходящей от врага, который нимало не скрывал своей ненависти к Алкивиаду.

4. Целая толпа знатных афинян окружала Алкивиада, ходила за ним по пятам, предупреждала все его желания, и никто не сомневался в том, что привлекает их лишь удивительная красота мальчика, но любовь Сократа была надежным свидетельством его добрых природных качеств, которые философ усматривал и различал под покровом внешней прелести; опасаясь его богатства и высокого положения, а также бесчисленной толпы сограждан, чужеземцев и союзников, осыпавших подростка лестью и знаками внимания, он старался, насколько мог, оградить его от опасностей, как берегут растение в цвету, дабы оно не потеряло свой плод и не зачахло. Ведь нет человека, которого судьба окружила бы настолько прочною и высокой оградою так называемых благ, чтобы он стал вовсе недоступен для философии и неуязвим для откровенных, больно жалящих слов; так и Алкивиад, с самых ранних лет избалованный и как бы замкнутый в кругу людей, которые искали только его благосклонности и не давали прислушаться к словам наставника и воспитателя, все же благодаря врожденным своим качествам узнал Сократа и сблизился с ним, отдалившись от богатых и знатных влюбленных. Они быстро подружились, и когда он услышал речи Сократа – речи не любовника, жаждущего недостойных мужа наслаждений, домогающегося поцелуев и ласк, но обличителя, бичующего его испорченность и пустую, глупую спесь,

То крылья опустил петух, как жалкий раб[7].

В деятельности Сократа Алкивиад видел подлинное служение богам, направленное к попечению о молодежи и ее спасению; он презирал самого себя и восхищался учителем, испытывал горячую благодарность за его доброжелательство и благоговейный стыд пред его добродетелью, и мало-помалу создал для себя образ любви, который Платон называет "разделенной любовью"[8], так что все только диву давались, глядя, как он обедает с Сократом, вместе с ним упражняется в борьбе, живет в одной с ним палатке, с остальными же влюбленными резок и неприветлив, а с некоторыми и вызывающе груб. Один из них, Анит, сын Антемиона, как-то раз, принимая каких-то чужеземцев, пригласил на пир и Алкивиада. Приглашение Алкивиад отверг и, оставшись у себя, пил с друзьями; когда же все захмелели, то шумной ватагой отправились к Аниту. Алкивиад остановился в дверях залы, окинул взором столы, уставленные серебряными и золотыми кубками, и приказал рабам забрать половину утвари и отнести к нему домой, но войти не удостоил и, распорядившись подобным образом, удалился. Чужестранцы возмущенно закричали, что Алкивиад-де нагло оскорбил хозяина. "Напротив, – возразил Анит, – он обнаружил сдержанность и снисходительность: ведь он оставил нам эту половину, меж тем как мог забрать все".

5. Так же обходился Алкивиад и со всеми прочими влюбленными, сделав исключение лишь для одного метэка[9], который как рассказывают, был небогат, но продал все, что имел, собрал сто статеров и принес деньги Алкивиаду, умо-

ляя взять этот подарок. Тот был польщен, засмеялся и пригласил щедрого даятеля к обеду. Радушно встретив его и угостив, Алкивиад вернул ему деньги, а затем велел принять назавтра участие в торгах, с тем чтобы непременно взять на откуп общественные налоги, одержав верх над остальными откупщиками. Метэк просил уволить его от такого поручения, ссылаясь на то, что откуп будет строить много талантов, но Алкивиад (у которого были какие-то свои счеты с откупщиками) пригрозил высечь его плетьми, если тот не подчинится. И вот утром метэк явился на площадь и предложил на один талант больше против обычной цены. Откупщики пришли в ярость и, сговорившись, потребовали, чтобы тот назвал поручителя, – в полной уверенности, что такового ему не найти. Встревоженный и растерянный он уже готов был отступиться, как вдруг поднялся Алкивиад и крикнул архонтам издали: "Пишите меня! Это мой друг, и я за него поручусь". Откупщики перепугались не на шутку: они привыкли покрывать задолженность по предыдущей аренде доходами с последующей и теперь не знали, как выйти из затруднения. Они стали просить метэка сжалиться над ними и предлагали ему денег; Алкивиад не позволил взять меньше таланта, но, когда эта сумма была внесена, велел отказаться от откупа. Вот какую услугу оказал ему Алкивиад.

6. Хотя у Сократа было много сильных соперников, временами он крепко держал Алкивиада в руках, воздействуя на присущие ему от рождения добрые качества – трогая своими словами его душу, надрывая сердце, исторгая из глаз слезы; но случалось и так, что мальчик, поддавшись на уговоры льстецов, суливших ему всевозможные удовольствия, ускользал от учителя, и тогда тот гонялся за ним, точь-в-точь как за беглым рабом, ибо одного лишь Сократа Алкивиад и стыдился и боялся, всех прочих не ставя ни во что. Вот почему Клеанф и говорил, что Сократ держал своего возлюбленного за уши, оставляя соперникам немало удобных для захвата мест, которые ему самому недоступны, – чрево, срам, глотку... Алкивиад же, бесспорно, был падок до наслаждений, как можно судить хотя бы по словам Фукидида[10] о бесчинствах и излишествах в его образе жизни. Но еще более разжигали соблазнители его честолюбие и тщеславие, раньше срока старались пробудить вкус к великим начинаниям и без умолку твердили, что стоит ему взяться за государственные дела, как он разом не только затмит всех прочих военачальников и народных любимцев, но и самого Перикла превзойдет могуществом и славою среди греков. Впрочем, железо, размягченное в пламени, на холоде вновь твердеет, и все частицы его собираются воедино; так и Сократ, едва только брал под надзор раздувшегося от удовольствий и чванства Алкивиада, – тут же словно бы сжимал его и стискивал своими речами, делал робким и смиренным, втолковывая, как он еще далек от подлинной доблести.

7. Уже выйдя из детского возраста, Алкивиад явился однажды к учителю грамматики и попросил сочинения Гомера. Тот ответил, что Гомера у него нет, тогда Алкивиад ударил его кулаком и ушел. Другой учитель заявил, что у него есть Гомер, исправленный им самим. "Почему же тогда ты всего-навсего учишь грамоте, коли способен поправлять Гомера? – воскликнул Алкивиад. – Почему не воспитываешь молодежь?"

Он хотел повидаться с Периклом и пришел к дверям его дома. Ему ответили, что хозяину недосуг, что он размышляет над отчетом, который должен будет дать афинянам, и, уходя, Алкивиад заметил: "А не лучше ли было бы ему подумать о том, как вообще не давать отчетов?"

Еще подростком он участвовал в походе на Потидею, и его соседом в палатке и в строю был Сократ. В одной жаркой схватке оба сражались с отменным мужеством, но Алкивиад был ранен, и тогда Сократ прикрыл его своим телом, отразил нападавших и таким образом спас от врагов и самого Алкивиада и его оружие. Это было вполне очевидно для каждого и Сократу по всей справедливости причиталась награда за храбрость. Но оказалось, что военачальники, из уважения к знатному роду Алкивиада, хотят присудить почетный дар ему, и Сократ, который всегда старался умножить в юноше жажду доброй славы, первым высказался в его пользу, предложив наградить его венком и полным доспехом. Много спустя, после битвы при Делии, когда афиняне обратились в бегство, Алкивиад, верхом на коне, заметил Сократа, отступавшего с несколькими товарищами пешком, и не проскакал мимо, но поехал рядом, защищая его, хотя неприятель жестоко теснил отходивших, производя в их рядах тяжелые опустошения. Впрочем, это случилось много позже.

8. Как-то раз Алкивиад ударил Гиппоника, отца Каллия, – мужа родовитого и богатого, а потому пользовавшегося большим влиянием и громкою славой, – ударил не со зла и не повздоривши с ним, а просто для потехи, по уговору с приятелями. Слух об этой наглой выходке распространился по городу и, разумеется, был встречен всеобщим негодованием, Алкивиад же, едва рассвело, пришел к дому Гиппоника, постучался, предстал перед хозяином и, сбросив с плеч гиматий, предал себя в его руки, чтобы самому претерпеть побои и понести заслуженную кару. Гиппоник простил его и забыл обиду, а впоследствии даже отдал ему в жены свою дочь Гиппарету. Впрочем, некоторые утверждают, будто не Гиппоник, а его сын Каллий выдал за Алкивиада Гиппарету с приданым в десять талантов. Затем, когда она родила, Алкивиад якобы потребовал еще десять, утверждая, будто таков был уговор на тот случай, если появятся дети. Тогда Каллий, страшась покушений на свое имущество, объявил в Народном собрании, что завещает дом и все добро народу, если умрет, не оставив потомства. Гиппарета была послушной и любящей женой, но, страдая от того, что муж позорил их брак сожительством с гетерами из чужеземок и афинянок, она покинула его дом и ушла к брату. Алкивиада это нисколько не озаботило, и он продолжал жить в свое удовольствие. Письмо о разводе супруга должна была подать архонту не через второе лицо, а собственноручно, и когда, повинуясь закону, она уже подавала требование, явился Алкивиад, внезапно схватил ее и понес через всю площадь домой, причем никто не посмел вступиться и вырвать женщину из его рук. Гиппарета оставалась с мужем вплоть до самой смерти, а умерла она вскоре после отъезда Алкивиада в Эфес. Примененное им насилие никто не счел ни противозаконным, ни бесчеловечным: по-видимому, закон для того и приводит в общественное место женщину, покидающую своего супруга, чтобы предоставить последнему возможность вступить с ней в переговоры и попытаться удержать ее.

9. У Алкивиада была собака, удивительно красивая, которая обошлась ему в семьдесят мин, и он приказал обрубить ей хвост, служивший животному главным украшением. Друзья были недовольны его поступком и рассказывали Алкивиаду, что все жалеют собаку и бранят хозяина, но тот лишь улыбнулся в ответ и сказал: "Что ж, все складывается так, как я хочу. А хочу я, чтобы афиняне болтали именно об этом, – иначе как бы они не сказали обо мне чего-нибудь похуже!".

10. Говорят, что впервые он выступил перед народом по поводу добровольных пожертвований – выступил ненароком, без подготовки: идя как-то своей дорогой, он услышал шум, осведомился о причине и, узнав, что граждане вносят пожертвования, подошел и тоже сделал взнос. Услышав рукоплескания и одобрительные крики, он от радости забыл о перепеле, которого держал под полою гиматия. Увидев, как перепуганная птица пустилась наутек, афиняне закричали еще громче, а многие вскочили со своих мест, бросились вдогонку, и кормчий Антиох, поймав ее, вернул Алкивиаду, который с тех пор неизменно питал самые дружеские чувства к этому человеку.

Хотя происхождение, богатство, выказанное в битвах мужество, поддержка многочисленных друзей и родственников открывали ему широкий доступ к государственным делам, Алкивиад предпочитал, чтобы влияние его в народе основывалось прежде всего на присущем ему даре слова. А что он был мастер говорить, об этом свидетельствуют и комики, и величайший из ораторов[11], который в речи против Мидия замечает, что Алкивиад, кроме всех своих прочих достоинств, был еще и на редкость красноречив. Если же верить Феофрасту, человеку чрезвычайно широкой начитанности и самому основательному знатоку истории среди философов, Алкивиаду не было равных в умении разыскать и обдумать предмет речи, но если приходилось выбрать, не только что, но и как следует говорить, в каких словах и выражениях, он часто испытывал неодолимые трудности, сбивался, останавливался посреди фразы и молчал, упустив нужное слово и стараясь снова его поймать.

11. Его конюшни пользовались широкой известностью, прежде всего благодаря числу колесниц, которые он выставлял на играх: и в самом деле ни один царь, ни одно частное лицо – никто, кроме него, никогда не присылал в Олимпию семи колесниц. И он не только победил, но занял, как сообщает Фукидид[12], и второе место, и четвертое (а по словам Эврипида – третье), блеском и славою превзойдя все, что способны были принести эти состязания. В песне Эврипида сказано так: "Тебя хочу воспеть, о сын Клиния! Победа прекрасна. Но несравненно прекраснее то, что выпало тебе, единственному среди всех эллинов: прийти на колеснице первым, прийти вторым и третьим, стяжать успех без труда и, с увенчанным оливою челом, дважды услышать свое имя в устах громогласного глашатая".

12. Этот блеск сделал еще более яркими почести, которые наперебой оказывали Алкивиаду разные города. Эфесяне поставили ему богато убранную палатку, город хиосцев дал корм для лошадей и множество жертвенных животных, лесбосцы – вино и другие припасы для его щедрых пиров. Впрочем, клевета, а быть может, и собственное его злонравие послужили причиной бесконечных пересудов вокруг этих почестей. Рассказывают, что жил в Афинах некий Дио-

мед, человек вполне порядочный и друг Алкивиада. Ему очень хотелось одержать победу на Олимпийских играх, и вот, слыша много хорошего о колеснице, принадлежавшей городу Аргосу, и зная, что к Алкивиаду относятся там с большим уважением и что у него немало приятелей среди аргосцев, он упросил его купить эту колесницу. Купить-то Алкивиад ее купил, но записал на себя, предоставив Диомеду сколько угодно возмущаться и призывать в свидетели богов и людей. Кажется, дело дошло до суда; во всяком случае у Исократа[13] есть речь об упряжке в защиту сына Алкивиада, только истец назван не Диомедом, а Тисием.

13. Итак, еще совсем юным вступив на поприще государственной деятельности, Алкивиад сразу же взял верх над всеми прочими искателями народной благосклонности, и лишь Феак, сын Эрасистрата, и Никий, сын Никерата, были в состоянии с ним бороться, – Никий, человек уже в летах, считавшийся лучшим военачальником в Афинах, и Феак, как и сам Алкивиад, только начинавший тогда приобретать вес и влияние, отпрыск очень знатного рода, во всем остальном, однако, в том числе и в искусстве речи, уступавший своему сопернику. По-видимому, он отличался скорее обходительностью и обаянием в частных беседах, нежели способностью вести споры на площади. Хорошо сказал о нем Эвполид:

Болтать он мастер был, а говорить не мог.

Сохранилась даже одна речь Феака против Алкивиада, где среди прочего написано, что у себя за трапезой он всякий день пользовался всею принадлежавшей государству золотой и серебряной утварью, предназначенной для торжественных процессий, – так, словно эти многочисленные сосуды были его собственные.

Был среди афинян некий Гипербол из дема Перитеды, который и у Фукидида[14] помянут недобрым словом, и всем авторам комедий неизменно доставлял пищу для злых насмешек на театре. Из пренебрежения доброю славою (каковое бесстыдство и безумие иные даже зовут отвагою и мужеством!) он был безразличен и нечувствителен к хуле; никто не испытывал к нему ни малейшего расположения, тем не менее народ часто обращался к его услугам, когда хотел унизить и оклеветать почтенных, уважаемых людей. В ту пору афиняне, послушавшись его совета, намерены были прибегнуть к остракизму, посредством которого они (уступая скорее чувству зависти, нежели страха) расправлялись лишь с самыми знаменитыми и могущественными из своих сограждан – отправляли их в изгнание. И так как было совершенно ясно, что кара падет на одного из этих троих, Алкивиад с Никием сговорились и, объединив силы своих сторонников, обратили остракизм против самого Гипербола. Кое-кто, правда, утверждает, будто Алкивиад договорился не с Никием, а с Феаком и Феаково содружество привлек на свою сторону, чтобы изгнать Гипербола, который отнюдь не ждал такой беды: ведь люди порочные и ничтожные никогда не подпадали этому наказанию, как совершенно справедливо заметил и комик Платон, говоря о Гиперболе:

Хоть поделом он принял наказание,
С его клеймом никак не совместить его:
Суд черепков не для таких был выдуман.

Впрочем, сведения, касающиеся этого вопроса, изложены подробнее в другом месте[15].

14. Алкивиаду одинаково не давали покоя как почет, которым окружали Никия сограждане, так и уважение к нему со стороны неприятелей. В самом деле, проксеном лакедемонян в Афинах был Алкивиад, и заботу о пленных, захваченных при Пилосе[16], взял на себя он, но так как спартанцы, добившись мира и получив назад своих воинов главным образом благодаря Никию, платили последнему горячей любовью, а по всей Греции говорили, что Перикл начал войну, Никий же положил ей конец, и очень часто называли заключенный мир "Никиевым", Алкивиад места себе не находил от огорчения и зависти и стал помышлять о том, как бы нарушить условия договора. И вот, узнав, что аргосцы ненавидят и боятся лакедемонян и только ищут случая к отпадению, он начал с того, что тайно внушил им надежду на союз с Афинами и, через гонцов вступив в переговоры с предводителями народа в Аргосе, призвал их не падать духом, ничего не страшиться и не идти на уступки спартанцам, а обратить взор на афинян и подождать, пока они одумаются и расторгнут мирное соглашение со спартанцами; ждать, утверждал он, осталось недолго. Затем, когда лакедемоняне заключили союз с беотийцами и передали афинянам Панакт не в целости и порядке, как обещали, но предварительно разрушив укрепления, Алкивиад воспользовался гневом афинян и постарался ожесточить их еще сильнее.

Он тревожил Никия не лишенными правдоподобия обвинениями в том, что, находясь на посту командующего, он не пожелал взять в плен врагов, запертых на Сфактерии, а когда они все же были захвачены другими, отпустил их восвояси, чтобы угодить лакедемонянам; в том, далее, что, будучи их другом, он тем не менее не отговорил их от союза с беотийцами и коринфянами, а с другой стороны, если какой-нибудь из греческих городов, не испросив загодя согласия спартанцев, сам выражал желание сделаться другом и союзником афинян, всячески этому препятствовал.

Дела уже принимали дурной для Никия оборот, как вдруг, словно нарочитою милостью судьбы, из Лакедемона прибыли послы с заранее приготовленными и вполне умеренными предложениями, облеченные, как они сообщили, неограниченными полномочиями для того, чтобы уладить все разногласия на справедливых условиях. Их благосклонно выслушал Совет, а на следующий день должен был собраться народ. Алкивиад в страхе и тревоге добился тайного свидания с послами и, когда те явились, сказал: "Что это с вами стряслось, спартанцы? Разве вы сами не знаете, что Совет с неизменною кротостью и человеколюбием принимает тех, кто к нему обращается, меж тем как народ спесив и требования его громадны? Если вы откроете им, какою властью вы облечены, они постараются загнать вас в тупик своими бессовестными притязаниями. Нет уж, забудьте о неуместном простодушии и, если желаете видеть афинян сговорчивыми, если не хотите, чтобы вас заставили поступить вопреки вашей воле и намерениям, ведите переговоры так, словно полномочий у вас нет. А я охотно окажу лакедемонянам услугу и помогу вам". Свои слова он подтвердил клятвой и тем совершенно отдалил послов от Никия; теперь они доверяли Алкивиаду и дивились

его красноречию и разуму, обличавшими в нем, как они поняли, человека незаурядного. Назавтра сошелся народ, в Собрание привели послов, и когда Алкивиад тоном полного благожелательства задал им вопрос, верно ли, что они прибыли с неограниченными полномочиями, те ответили отрицательно. Алкивиад немедленно разразился гневными криками, точно сам сделался жертвою обмана, а не обманул других, назвал послов вероломными, коварными и заявил, что от таких людей нечего ждать здравых слов или поступков. Совет был возмущен. Народ негодовал, а Никий, не подозревавший здесь хитрости или обмана, не знал, куда деваться от изумления и стыда за непостоянство своих друзей.

15. Таким образом, лакедемоняне уехали ни с чем, а Алкивиад был избран стратегом и немедленно присоединил к числу афинских союзников аргосцев, мантинейцев и элейцев. Образа действий Алкивиада никто не одобрял, но успехи, достигнутые им, были велики: он разъединил и потряс почти весь Пелопоннес, при Мантинее выставил против лакедемонян в один день огромное войско и дал им бой в таком отдалении от Афин, что победа не принесла неприятелю существенных преимуществ, тогда как поражение поставило бы под угрозу самое Спарту.

Сразу после этой битвы "Тысяча"[17] предприняла попытку свергнуть власть народа в Аргосе и подчинить город спартанцам, а те подоспели на помощь, и демократия была свергнута. Но граждане взялись за оружие и снова одержали верх, и тут явился Алкивиад, упрочил победу народа и внушил аргосцам мысль воздвигнуть длинные стены, соединив город с морем и тем самым окончательно связав его с афинскою державой[18]. Он привез из Афин каменотесов и мастеров-строителей и хлопотал со всем рвением, на какое был способен, стяжая и сам признательность и влияние, и в неменьшей мере доставляя их родному городу. Точно так же и жителей Патр он убедил соединить свой город с морем длинными стенами. Кто-то сказал патрейцам: "Смотрите, афиняне вас проглотят". "Возможно, – откликнулся Алкивиад, – но помаленьку и начиная с ног, а спартанцы – разом и начнут с головы". Впрочем, он же советовал афинянам зорче оберегать свои интересы и на суше и никогда не упускал случая призвать эфебов делом подкрепить клятву, которую они приносят в храме Агравлы[19], клянутся же они помнить, что границы Аттики обозначены пшеницей, овсом, виноградной лозой и масличными деревьями, учась считать своею всякую возделанную и плодоносящую землю.

16. Но с делами и речами государственного мужа, с искусством оратора и мудростью сочетались непомерная роскошь повседневной жизни, разнузданность в попойках и любовных удовольствиях, пурпурные, женского покроя одеяния, волочившиеся в пыли городской площади, чудовищная расточительность, особые вырезы в палубе на триерах, чтобы спать помягче – в постели, уложенной на ремни, а не брошенной на голые доски, позолоченный щит, украшенный не обычным для афинян отличительным знаком[20], но изображением Эрота с молнией в руке, – и, видя все это, почтенные граждане негодовали и с омерзением отплевывались, но в то же время страшились его презрения к законам и обычаям, угадывая в этом нечто чудовищное и грозящее тираннией. Чувства же к

нему народа удачно выразил Аристофан[21]:

Желает, ненавидит, хочет все ж иметь.

И еще удачнее – в виде иносказания:

Не надо львенка в городе воспитывать.
А вырос он – его придется слушаться.

В самом деле, добровольные пожертвования, щедрость хорега, дары городу, в пышности которых он не знал себе равных, слава предков, сила слова, красота и крепость тела в соединении с воинским опытом и отвагой заставляли афинян прощать Алкивиаду все остальное, относиться к нему терпимо и всякий раз подбирать для его выходок самые мягкие названия, именуя их то шутками, то даже добрыми делами. Так было, например, когда он запер у себя художника Агафарха и держал до тех пор, пока тот не расписал ему весь дом, а потом наградил и отпустил. Или когда ударил Таврея, своего соперника по хорегии, пытавшегося отнять у него победу. Или когда выбрал себе одну из мелосских пленниц[22], прижил с нею ребенка и воспитал его. Этот поступок называли в числе доказательств Алкивиадова человеколюбия, забывая, однако, о том, что он был главным виновником резни на Мелосе, поддержав предложение о казни всех мужчин, способных носить оружие, и подав за него голос. Далее: Аристофонт написал Немею[23], обнимающую Алкивиада, который сидит у нее на коленях, и афиняне спешили полюбоваться картиной, громко выражая свое восхищение.

Но людям пожилым и это было не по душе: все это, твердили они, отдает тираннией и беззаконием. И многим казалось основательным мнение Архестрата, говорившего, что двух Алкивиадов Греция не вынесла бы. А когда однажды Тимон, человеконенавистник, встретив Алкивиада, который после громкого успеха возвращался из народного собрания в торжественном сопровождении целой толпы почитателей, не прошел, по своему обыкновению, мимо и не бросился в сторону, но направился прямо к нему, поздоровался и сказал: "Молодец, сынок, расти все выше и выше – громадным злом вырастешь ты для них всех!" – кто засмеялся, кто ответил бранью, но были и такие, кого эти слова смутили не на шутку. Вот до чего разноречивы были мнения об Алкивиаде по причине непостоянства его натуры.

17. Еще при жизни Перикла афиняне мечтали о захвате Сицилии, но за дело взялись лишь после его смерти и под предлогом помощи союзникам[24], притесняемым Сиракузами, всякий раз посылали за море свои отряды, расчищая путь силам более внушительным. До предела, однако, разжег в них это стремление лишь Алкивиад, который убедил сограждан впредь действовать не исподволь, не постепенно, но двинуться на Сицилию с большим флотом и попытаться сразу овладеть островом. Он внушил народу великие надежды, впрочем, его собственные планы и намерения были еще величественнее: если другим Сицилия представлялась целью и завершением похода, то Алкивиаду – не более чем началом. В то время как Никий, считая взятие Сиракуз трудным делом, уговаривал народ отказаться от этого замысла, Алкивиад уже грезил Карфагеном и Африкой, за которыми должны были последовать Италия и Пелопоннес, а Сицилию расце-

нивал всего лишь как приступ или путь к войне. Своими упованиями он быстро воодушевил и увлек молодых, старики рассказывали им о чудесах и диковинках, которые они увидят в походе, и повсюду в палестрах и на полукружных скамьях во множестве собирались люди, чертили на песке карту острова, обозначали местоположение Африки и Карфагена. Говорят, впрочем, что философ Сократ и астролог Метон не ждали от этого похода ничего хорошего для Афин: первый, вероятно, услышал предупреждение своего всегдашнего гения[25], а Метон, то ли здравым рассуждением, то ли с помощью какого-то гадания открыв грядущее и страшась его, прикинулся безумным, схватил горящий факел и поджег свой дом. Иные, правда, утверждают, будто никакой игры в безумие не было, но что он просто спалил ночью свой дом, а утром явился в Собрание и слезно молил, во внимание к тяжкой беде, которая его постигла, освободить от участия в походе его сына. Эта просьба была уважена и, таким образом, он добился своего, обманув сограждан.

18. Никия избрали стратегом – вопреки его упорным отказам, и далеко не последней причиной этого нежелания принять власть, был его товарищ по должности. Однако афиняне решили, что война пойдет удачнее, если они отправят в Сицилию не одного лишь Алкивиада, но к его отваге присоединят благоразумие Никия: дело в том, что третий стратег, Ламах, несмотря на почтенные годы, выказывал в бою ничуть не меньше пылкости и любви к опасностям, нежели сам Алкивиад.

Когда обсуждали вопрос о численности войска и о средствах обеспечить его всем необходимым, Никий еще раз попытался вмешаться и предупредить войну. Алкивиад возразил ему, его мнение возобладало, и оратор Демострат внес предложение дать стратегам неограниченные полномочия на время всей войны, а также подготовки к ней. Народ принял такое постановление, и все уже было готово к отплытию, если бы не дурные знамения: как раз на те дни пришелся праздник Адониса, когда женщины повсюду выставляют изображения, напоминающие трупы покойных, и, подражая похоронным обрядам, бьют себя в грудь и поют погребальные песни. Затем в одну ночь были изуродованы лица почти у всех изображений Гермеса[26], и тогда всполошились многие даже среди тех, кто в иных случаях равнодушно встречал подобные вести. Сначала говорили, будто кощунство учинили коринфяне, – ведь это они некогда основали и заселили Сиракузы и теперь, мол, с помощью злых предзнаменований стараются задержать афинян или даже заставить их отказаться от войны. Народ, однако, не пожелал прислушаться ни к подобным объяснениям, ни к словам тех, кто видел во всем этом не какое-то грозное предвещание, но самую обыкновенную пьяную выходку распущенных юнцов, которые, захмелев, легко переходят от шуток к наглым бесчинствам. С гневом и страхом узнав о случившемся и видя в нем действия заговорщиков, ставящих себе цели, куда более далекие, Совет и народ начали строжайшее расследование и собирались много раз подряд в течение нескольких дней.

19. В это время Андрокл, один из вожаков толпы, привел нескольких рабов и метэков, которые заявили, что Алкивиад и его друзья уродовали другие статуи богов, а кроме того, подражали на своих попойках тайным священнодействиям.

Доносчики утверждали, будто какой-то Феодор разыгрывал роль глашатая[27], Политион – факелоносца, сам Алкивиад – верховного жреца, а остальные приятели при этом присутствовали и называли друг друга мистами. Все это было изложено в жалобе, которую Фессал, сын Кимона, подал на Алкивиада, обвиняя его в оскорблении обеих богинь. Народ был взбешен и проклинал Алкивиада, Андрокл же (один из самых непримиримых его врагов) старался еще усилить всеобщее негодование.

Сначала Алкивиад растерялся, но, узнав, что моряки, которым предстояло повести корабли в Сицилию, по-прежнему ему преданы и сухопутное войско тоже, а гоплиты из Аргоса и Мантинеи числом тысяча, открыто говорят, что лишь ради Алкивиада они согласились двинуться в этот далекий, заморский поход и, если кто-нибудь вздумает его обидеть, они тут же повернут назад, – узнав об этом, он приободрился и готовился в назначенный день произнести речь в свою защиту, а враги снова пали духом, опасаясь, как бы приговор не оказался слишком мягким, поскольку народ нуждается в услугах Алкивиада. И вот, прибегнув к хитрости, они уговаривают ораторов, которые, по общему мнению, не были врагами Алкивиада, однако ненавидели его ничуть не меньше, нежели те, кто не скрывал своих чувств, выступить в Собрании и сказать, что нелепо полководцу, облеченному неограниченными полномочиями и поставленному во главе таких огромных сил, теперь, когда войско уже собрано и союзники прибыли, терять попусту время, пока избирают судей и отмеряют воду в часах. Пусть плывет в добрый час, а после окончания войны пусть возвратится и держит ответ перед теми же самыми законами. Злой умысел, таившийся в этой отсрочке, не укрылся от Алкивиада, и, выйдя вперед, он заявил, что страшное это дело – быть посланным на врага во главе громадного войска, не сняв с себя обвинений и наветов, без уверенности в будущем; он готов умереть, если не докажет своей правоты, но если докажет ее и будет оправдан – то пойдет на врага, не страшась клеветников.

20. Но его доводы не были приняты во внимание, он получил приказ выйти в плавание и вместе с двумя другими стратегами снялся с якоря, имея немногим менее ста сорока триер, пять тысяч сто гоплитов, около тысячи трехсот лучников, пращников и легко вооруженных пехотинцев, а также все необходимое снаряжение и припасы. Достигнув берега Италии и взяв Регий, он предложил товарищам по должности свой план военных действий. Никий решительно возражал против этого плана, Ламах одобрял его, и переправившись в Сицилию Алкивиад занял Катану, но ничего более сделать не успел: афиняне прислали ему распоряжение немедленно явиться на суд.

Сначала, как уже говорилось, против Алкивиада были только шаткие подозрения, основанные на показаниях рабов и метэков. Но после его отъезда враги возобновили свои нападки еще решительнее, приплетая шутовские мистерии к надругательству над статуями Гермеса, словно и то и другое – плод единого заговора, цель коего – мятеж и государственный переворот; все, хоть сколько-нибудь причастные к этому делу, были без предварительного расследования брошены в тюрьму, и народ теперь досадовал, что своевременно не предал Алкивиада суду и не покарал его за такие страшные преступления. Ненависть к нему

обратилась против его друзей, родственников и близких, которым случилось тогда быть в Афинах. Изобличителей Фукидид[28] не называет, но другие писатели называют Диоклида и Тевкра; между прочим эти имена упоминает и комический поэт Фриних в следующих стихах:

– Гермес мой милый, берегись, не упади,
Не ушибись, смотри, не то ты повод дашь
Второму Диоклиду вновь донос писать.
– Остерегусь. Злодею Тевкру, чужаку,
Награды за донос дарить я не хочу.

Однако ничего надежного и достоверного доносчики показать не смогли. Один из них на вопрос, как он узнал осквернителей герм в лицо, ответил: "При свете луны", – и жесточайшим образом просчитался, поскольку все происходило в последний день старого месяца. Среди людей здравомыслящих это вызвало замешательство, однако в глазах народа даже подобная несуразица не лишила обвинений убедительности, и афиняне с прежним рвением хватали и бросали в тюрьму каждого, на кого поступал донос.

21. Среди заключенных в оковы и находившихся под стражей в ожидании суда был оратор Андокид[29], род которого историк Гелланик возводит к самому Одиссею. Этот Андокид и вообще-то считался ненавистником народа и приверженцем олигархии, но тут главной причиною павших на него подозрений в кощунстве было огромное изображение Гермеса подле его дома, воздвигнутое филой Эгеидой: из числа, немногих, самых знаменитых в Афинах, герм лишь эта одна, пожалуй, осталась невредимой. По этой причине она еще и теперь зовется "Андокидовой" вопреки высеченной на ней надписи. В тюрьме среди арестованных по тому же делу, Андокид ближе всего сошелся и подружился с неким Тимеем, человеком гораздо менее известным, но на редкость умным и решительным. Он советует Андокиду оговорить себя самого и еще нескольких человек. Ведь народ за чистосердечное признание особым решением обещал неприкосновенность, между тем как исход суда, неясный для всех обвиняемых без изъятия, самым грозным и страшным будет для людей знатных. Лучше спастись, возведя на себя напраслину, чем умереть позорною смертью, так и не избавившись от этого ужасного обвинения. Наконец, того же требуют и соображения общего блага: ценою жизни немногих и к тому же сомнительных личностей будет спасено от гнева толпы множество безупречно порядочных людей. Так убеждал и уговаривал Тимей Андокида, и тот согласился: донеся на себя и на других, он получил обещанное прощение, а все названные им, кроме тех, кому удалось бежать, были казнены. Чтобы внушить доверие к своим словам, Андокид среди прочих указал и на собственных рабов.

Но народ не успокаивался – скорее, напротив, расправившись с осквернителями герм, он всей силою своей ярости – теперь словно освободившейся от забот – обрушился на Алкивиада. В конце концов, за ним отправили "Саламинию", строго-настрого запретив, однако, применять насилие: посланным надлежало в сдержанных выражениях предложить Алкивиаду следовать за ними, чтобы предстать перед судом и оправдаться. Афиняне опасались волнений в

войске, стоявшем на вражеской земле, или даже мятежа, вызвать который Алкивиаду, при желании было бы нетрудно. И в самом деле, после его отъезда воины пришли в уныние, предчувствуя, что под командованием Никия война затянется надолго – казалось, стрекало, понуждавшее всех и каждого к решительным действиям, исчезло; оставался, правда, Ламах, человек воинственный и храбрый, но бедность лишала его какого бы то ни было веса и влияния.

22. Готовясь к отплытию, Алкивиад успел вырвать из рук афинян Мессену. Среди мессенцев были люди, готовые сдать город; зная всех наперечет, Алкивиад выдал их сторонникам сиракузян и расстроил все дело. В Фуриях, сойдя с триеры, он скрылся, и все поиски ни к чему не привели. Кто-то узнал его и спросил: "Неужели ты не веришь родине, Алкивиад?" "Отчего же, – возразил он, – верю во всем, кроме лишь тех случаев, когда дело касается моей жизни: тут я даже родной матери не поверю – ведь и она по ошибке может положить черный камешек вместо белого". Впоследствии, услышав, что афиняне приговорили его к смерти, Алкивиад воскликнул: "А я докажу им, что я еще жив!".

Жалоба, насколько мне известно, была составлена в следующих выражениях: "Фессал, сын Кимона, из дема Лакиады, обвиняет Алкивиада, сына Клиния, из дема Скамбониды, в том, что он нанес оскорбление богиням Деметре и Коре: в своем доме на глазах у товарищей он подражал тайным священнодействиям, облаченный в столу[30], в какую облекается верховный жрец, когда являет святыни, и себя именовал верховным жрецом, Политиона – факелоносцем, Феодора из дема Фегея – глашатаем, остальных же приятелей называл мистами и эпоптами[31] – вопреки законам и установлениям эвмолпидов, кериков и элевсинских жрецов". Алкивиад был осужден заочно, его имущество конфисковано, а сверх того было принято дополнительное решение, обязывающее всех жрецов и жриц предать его проклятию; говорят, что лишь Феанó, дочь Менона, из дема Агравлы не подчинилась этому решению, заявив, что она посвящена в сан для благословений, а не для проклятий.

23. Пока принимались эти решения и выносился приговор, Алкивиад успел бежать из Фурий в Пелопоннес и сначала задержался в Аргосе, но затем, боясь врагов и окончательно распростившись с надеждою на возвращение в отечество, послал в Спарту гонца с просьбой о личной неприкосновенности и надежном убежище, суля за это одолжения и услуги куда более значительные, нежели тот ущерб, который он нанес спартанцам, будучи их противником. Получив все необходимые заверения и вновь исполнившись бодрости, он приехал в Лакедемон, был радушно встречен и прежде всего, видя, что спартанцы медлят с помощью сиракузянам, убедил их и чуть ли не заставил отправить в Сицилию отряд во главе с Гилиппом, чтобы сломить силы высадившихся там афинян; далее, послушавшись его советов, спартанцы возобновили военные действия против Афин в самой Греции и, наконец, обнесли стенами Декелею[32], и это было страшнее всего прочего: никакой другой удар не мог обессилить родной город Алкивиада столь же непоправимо.

Снискав добрую славу этой дальновидностью государственного мужа, ничуть не меньшее восхищение вызывал он и своею частной жизнью: чисто спартанскими привычками и замашками он окончательно пленил народ, который, видя,

как коротко он острижен. как купается в холодной воде, ест ячменные лепешки и черную похлебку, просто не мог поверить, что этот человек держал когда-то в доме повара, ходил к торговцу благовониями или хоть пальцем касался милетского плаща. И верно, среди многих его способностей было, говорят, и это искусство улавливать людей в свои сети, приноравливаясь к чужим обычаям и порядкам. Стремительностью своих превращений он оставлял позади даже хамелеона: к тому же хамелеон, как рассказывают, способен принять всякую окраску, кроме белой, тогда как Алкивиад, видел ли он вокруг добрые примеры или дурные, с одинаковой легкостью подражал и тем и другим: в Спарте он не выходил из гимнасия, был непритязателен и угрюм, в Ионии – изнежен, сластолюбив, беспечен, во Фракии беспробудно пьянствовал, в Фессалии не слезал с коня, при дворе сатрапа Тиссаферна в роскоши, спеси и пышности не уступал даже персам, и не то, чтобы он без малейших усилий изменял подлинную свою природу и преобразовывался на любой лад в душе, отнюдь нет, но когда он замечал, что, следуя своим наклонностям, он рискует вызвать неудовольствие тех, кто его окружает, он всякий раз укрывался за любою личиною, какая только могла прийтись им по вкусу.

Как бы то ни было, но увидев его в Лакедемоне и судя лишь по внешности, каждый сказал бы:

Он – не Ахилла сын, нет – это сам Ахилл[33],

но воспитанный самим Ликургом; однако приглядевшись к его истинным страстям и поступкам, вскричал бы:

Все та же это женщина![34]

Он совратил Тимею, жену царя Агида, который был с войском за пределами Лакедемона, и та забеременела от него, и даже не скрывала этого; она родила мальчика и дала ему имя Леотихида, но у себя, в кругу подруг и служанок, шепотом звала младенца Алкивиадом – так велика была ее любовь! А сам Алкивиад, посмеиваясь, говорил, что сделал это не из дерзкого озорства и не по вожделению, но только ради того, чтобы Спартою правили его потомки. Многие рассказывали Агиду об этом бесчинстве, но надежнейшим свидетелем оказалось для него само время: однажды ночью, испуганный землетрясением, Агид выбежал из опочивальни супруги и с тех пор не спал с нею целых десять месяцев, а Леотихид появился на свет как раз после этого срока, и Агид отказался признать его своим сыном. По этой причине Леотихид впоследствии лишился права на престол.

24. После поражения афинян в Сицилии хиосцы, лесбосцы и граждане Кизика одновременно отрядили к лакедемонянам посольства для переговоров о переходе на их сторону. За лесбосцев ходатайствовали беотийцы, просьбы из Кизика поддерживал Фарнабаз, но лакедемоняне, послушав Алкивиада, решили прежде всего оказать помощь хиосцам. Алкивиад и сам отправился в плавание, склонил к мятежу почти всю Ионию и вместе со спартанскими военачальниками причинил афинянам огромный урон. Между тем Агид, который затаил к нему ненависть, не простив бесчестия жены, теперь начал еще завидовать его славе, ибо всякое начинание, всякий успех молва приписывала Алкивиаду. Да и

среди прочих спартанцев самые могущественные и честолюбивые уже тяготились Алкивиадом, тоже завидуя ему. По их настоянию власти дали приказ умертвить Алкивиада.

Алкивиад тайно проведал об этом и боясь за свою жизнь, по-прежнему действовал заодно с лакедемонянами, но одновременно прилагал все усилия к тому, чтобы не попасться им в руки. В конце концов он бежал под защиту персидского сатрапа Тиссаферна. Он быстро занял самое высокое положение при его дворе: ум и поразительная изворотливость Алкивиада восхищали варвара, который и сам не был прост, но отличался низким нравом и склонностью к пороку. Да и вообще чары ежедневного общения с ним были так сильны, что никакая натура не могла остаться незатронутой ими, никакая воля не могла им противиться и даже те, кто боялся Алкивиада и ему завидовал, испытывали при встрече с ним какое-то непонятное удовольствие, радостный подъем. Вот так и Тиссаферн: от природы свирепый и в ненависти к грекам не знавший себе равных среди персов, он до такой степени поддался на обходительность Алкивиада, что даже превзошел его в ответных любезностях. Самый прекрасный из своих садов, изобиловавший полезными для здоровья водами и лужайками, с приютами для отдыха и местами для увеселений, убранными истинно по-царски, он велел впредь именовать "Алкивиадовым". И все называли его так в течение многих и многих лет.

25. Итак, разорвав отношения с вероломными спартанцами и страшась Агида, Алкивиад старался уронить и очернить своих бывших друзей в глазах Тиссаферна; он не советовал помогать им столь же усердно, как прежде, и окончательно губить Афины, но, скупо отмеряя необходимые средства, постепенно загнать оба народа в тупик, и тогда, изнурив и обессилив друг друга, они покорно склонятся перед великим царем. Тиссаферн охотно следовал его советам и так открыто свидетельствовал ему свою приязнь и восхищение, что на Алкивиада направлены были взоры обоих враждебных греческих станов. Афиняне, терпя бедствие за бедствием, теперь раскаивались в своем приговоре, но и Алкивиад мучился тревогою, как бы город не погиб и сам он не оказался во власти лакедемонян – лютых своих врагов.

В то время почти все силы афинян были сосредоточены на Самосе: выходя оттуда в плавание, они вновь приводили к покорности восставшие города или защищали свои владения. Как бы там ни было, а на море они могли еще помериться силами с неприятелем, но боялись Тиссаферна и ста пятидесяти финикийских триер, которые, по слухам, должны были вскоре появиться и с прибытием которых всякая надежда на спасение для Афин была бы потеряна. Узнав об этом, Алкивиад тайно отправляет гонца на Самос к афинским предводителям и обнадеживает их известием, что готов предоставить им расположение Тиссаферна – в угоду не толпе, которой он нисколько не доверяет, но лучшим людям, коль скоро они отважатся, доказав свою решимость и смирив разнузданность народа, взять дело спасения государства в собственные руки. Предложение Алкивиада было встречено с восторгом, и лишь один из стратегов, Фриних из дема Дирады, выступил против него, подозревая (и не ошибаясь в своих подозрениях!), что Алкивиад так же равнодушен к олигархии, как и к демократии и

просто ищет путей к возвращению, а потому клеветою на народ старается выиграть во мнении самых могущественных граждан. Но суждение Фриниха было отвергнуто, а его вражда к Алкивиаду стала для всех очевидной, и тогда он тайно известил обо всем случившемся Астиоха, командующего вражеским флотом, советуя ему остерегаться Алкивиада, а еще лучше – схватить этого двурушника. Но предатель не знал, что вступает в переговоры с предателем: боясь Тиссаферна и видя, в какой чести у него Алкивиад, Астиох рассказал обоим о послании Фриниха. Алкивиад немедленно отправил на Самос своих людей, обвиняя Фриниха в измене. Все были возмущены и единодушно обрушились на Фриниха, а тот, не видя иного выхода, попытался исправить одно зло другим – еще большим. И вот он снова посылает Астиоху письмо, корит его за донос, но все же обещает предать в его руки суда и войско афинян. Однако вероломство Фриниха не причинило афинянам вреда, благодаря ответному вероломству Астиоха, который и на этот раз доложил Алкивиаду о действиях Фриниха. Последний, предвидя возможность нового обвинения со стороны Алкивиада, решил его опередить и сам объявил афинянам, что неприятель готовит удар с моря, а потому предлагал не отходить от кораблей и укрепить лагерь. Афиняне так и сделали, и когда в разгар работ снова получили вести от Алкивиада, предостерегавшего их против Фриниха, который-де намерен выдать врагу стоянку на Самосе, они не дали веры его словам, считая, что Алкивиад, во всех подробностях знающий планы и намерения персов, просто-напросто злоупотребляет своею осведомленностью, чтобы оклеветать Фриниха. Но некоторое время спустя Гермон, один из пограничных стражников, заколол Фриниха на площади кинжалом, и тут афиняне, учинив судебное расследование, посмертно признали Фриниха виновным в измене, а Гермона и его сообщников наградили венками.

26. Вслед за тем сторонники Алкивиада на Самосе одерживают верх и посылают в Афины Писандра с наказом подготовить государственный переворот – убедить самых влиятельных граждан уничтожить демократию и взять власть в свои руки: на этих-де условиях Алкивиад вызвался доставить афинянам дружбу и поддержку Тиссаферна. Таков был предлог и повод для установления олигархии. Но когда так называемые "пять тысяч" (на самом деле их было всего четыреста человек)[35] действительно пришли к власти, они и думать забыли об Алкивиаде и продолжали вести войну слишком вяло – то ли не доверяя согражданам, которые никак не могли свыкнуться с переменою правления, то ли рассчитывая, что спартанцы, всегдашние приверженцы олигархии, обнаружат теперь бóльшую уступчивость. В самом городе народ волей-неволей сохранял спокойствие: немалое число открытых противников четырехсот было казнено, и это держало в страхе остальных. Но те граждане, что стояли на Самосе, узнав о происшедшем, возмутились и постановили немедленно плыть в Пирей; они послали за Алкивиадом, провозгласили его стратегом и поручили ему вести их против тираннов. Но Алкивиад – в отличие от многих других, неожиданно возвеличенных милостью толпы, – отнюдь не считал себя обязанным с первой же минуты беспрекословно подчиняться и ни в чем не противоречить желаниям тех, кто из скитальца и изгнанника превратил его в стратега и отдал ему под команду столько судов и такую огромную военную силу; напротив, как и подобало

великому полководцу, он воспротивился решениям, которые были подсказаны гневом, не позволил совершиться ошибке и тем спас государство от неминуемой гибели. В самом деле, если бы флот ушел тогда к своим берегам, для противника немедленно открылась бы возможность без боя завладеть всей Ионией, Геллеспонтом и островами, меж тем как афиняне сражались бы с афинянами, приведя войну в стены родного города. Помешал этому главным образом Алкивиад, который не только уговаривал и увещевал толпу, но и обращался ко многим воинам в отдельности – с мольбою к одним, к другим с порицанием. Его поддерживал Фрасибул из дема Стирия – и своим присутствием и могучим криком: говорят, что этот Фрасибул был самым голосистым среди афинян.

А вот другое благодеяние, оказанное Алкивиадом отечеству: пообещав, что посланные царем финикийские суда, которых ожидают спартанцы, либо окажут поддержку афинянам, либо, по крайней мере, не соединятся с флотом лакедемонян, он поспешно вышел в море, и, хотя эти корабли уже появились в виду Аспенда, Тиссаферн не пустил их дальше, обманув надежды спартанцев. В том, что финикийцы повернули назад, обе стороны винили Алкивиада, и особенно горячо – лакедемоняне: они были уверены, что он внушил варвару мысль спокойно ждать, пока греки сами истребят друг друга. И верно, присоединение такой силы к одной из сторон для второй, без всякого сомнения, означало бы конец морского владычества.

27. Вскоре после этого власть четырехсот была низвергнута, причем друзья Алкивиада ревностно помогали сторонникам демократии. Граждане высказывали желание и даже требовали, чтобы Алкивиад вернулся, но тот считал, что возвращаться надо не с пустыми руками, не жалостью и милостью толпы, но с подвигами, со славою. Поэтому, с немногими кораблями покинув Самос, он направился сначала в сторону Коса и Книда. Там он узнал, что спартанец Миндар идет со всем флотом к Геллеспонту, а афиняне гонятся за ним, и сразу же поспешил на подмогу стратегам. По счастливой случайности он подоспел со своими восемнадцатью триерами в решающий момент сражения при Абидосе. Ожесточенный бой, в котором принимали участие все суда, шел с переменным успехом и затянулся до вечера. Появление Алкивиада произвело поначалу ложное впечатление на обе стороны: враги воспрянули духом, афиняне пришли в замешательство. Но над судном командующего быстро поднялся дружественный сигнал, и тотчас вновь прибывшие ударили на пелопоннесцев, которые уже побеждали и преследовали противника. Теперь в бегство обратились спартанцы, Алкивиад гнал их все ближе к берегу и, неотступно тесня, наносил судам пробоину за пробоиной, а матросы спасались вплавь под защитою пехоты Фарнабаза, которая бросилась им на выручку и пыталась с суши отстоять гибнущие суда. В конце концов, захватив тридцать вражеских судов и отбив все свои корабли, афиняне поставили трофей.

После столь блистательного успеха Алкивиаду не терпелось покрасоваться перед Тиссаферном, и вот, с подарками и подношениями, в сопровождении приличествующей полководцу свиты, он отправился к сатрапу. Но дела обернулись совсем не так, как он ожидал: Тиссаферн, который уж давно был у лакедемонян на дурном счету, теперь, опасаясь царской немилости, решил, что Алкивиад

явился очень своевременно, схватил его и запер в тюрьму в Сардах, надеясь посредством этого несправедливого поступка очистить себя от всех прежних обвинений.

28. Но спустя тридцать дней Алкивиад раздобыл откуда-то коня, вырвался из-под стражи и бежал в Клазомены. Там он наклеветал на Тиссаферна, будто тот сам выпустил его на волю; затем Алкивиад отплыл в лагерь афинян. Узнав, что Миндар соединился с Фарнабазом и оба находятся в Кизике, он обратился к воинам, доказывая, что нет иного выхода, как дать противнику сражение на море, на суше и даже на стенах города. "Ибо, клянусь Зевсом, – воскликнул он, – без полной победы не видать вам денег!" Итак, он посадил людей на корабли, вышел в море и стал на якоре вблизи Проконнеса, приказав прятать малые суда между большими и принять меры к тому, чтобы у врага не возникло ни малейших подозрений о прибытии неприятельского флота. По счастливой случайности собралась гроза, хлынул дождь, все потемнело, и это во многом помогло Алкивиаду скрыто завершить свои приготовления: не только противник их не заметил, но и афиняне ни о чем не догадывались, пока вдруг не услышали приказ подняться на борт. Вскоре темнота рассеялась и показались пелопоннесские корабли, стоявшие у входа в кизикскую гавань. Алкивиад побоялся, что враги, видя, как велики его силы, отойдут к берегу, и потому приказал остальным стратегам плыть помедленнее и держаться позади, а сам с сорока кораблями двинулся навстречу спартанцам, вызывая их на сражение. Последние были введены в заблуждение мнимой малочисленностью афинян и, полагаясь на свое превосходство, устремились вперед, сошлись с неприятелем вплотную и начали бой, но тут, уже в разгаре схватки, на них напали остальные суда Алкивиада, и они обратились в беспорядочное бегство. Однако Алкивиад с двадцатью лучшими триерами не дал им уйти: стремительно причалив, он высадился и, по пятам преследуя матросов, бросивших свои суда, учинил страшную резню. Миндар и Фарнабаз пытались помочь своим, но тоже были разбиты; Миндар пал, отчаянно сопротивляясь, а Фарнабаз бежал. В руки афинян попало много трупов и оружия, они захватили все вражеские суда, мало того, заняли Кизик, брошенный Фарнабазом на произвол судьбы (отряд пелопоннесцев, карауливший город, был перебит), и не только надежно завладели Геллеспонтом, но очистили от спартанцев и остальную часть моря. Было даже перехвачено письмо к эфорам, по-лаконски кратко извещающее о случившемся несчастии: "Все пропало. Миндар убит. Люди голодают. Не знаем, что делать".

29. После этого воины Алкивиада настолько возгордились, исполнились таким высокомерием, что сочли себя неодолимыми и впредь положили не смешиваться с другими войсками, нередко терпевшими поражение. А как раз незадолго до того был разбит близ Эфеса Фрасилл, и эфесяне, в поношение афинянам, воздвигли медный трофей. Люди Алкивиада корили людей Фрасилла этим позором, восхваляли себя и своего полководца и решительно отказывались заниматься в одном с ними гимнасии и стоять в одном лагере. Но после того, как они вторглись во владения абидосцев, а Фарнабаз со значительными силами конницы и пехоты напал на них, Алкивиад же, придя Фрасиллу на помощь, вместе с ним обратил врага в бегство и преследовал до самых сумерек, оба войска соеди-

нились и вместе вернулись в лагерь, радостно приветствуя друг друга. На следующий день Алкивиад поставил трофей и принялся грабить землю Фарнабаза, не встречая нигде ни малейшего сопротивления. Среди других в его власти оказалось несколько жрецов и жриц, но он приказал отпустить их без выкупа.

Затем он готовился выступить против халкедонян, расторгнувших союз с Афинами и принявших к себе спартанский отряд и правителя, но, узнав, что все добро, которое может стать добычей врага, они собрали и вывезли в дружественную им Вифинию, подошел с войском к вифинским рубежам, отправивши вперед вестника, который передал вифинцам его неудовольствие и упреки. Те испугались, выдали ему добро халкедонян и заключили с ним дружбу.

30. Алкивиад стал окружать Халкедон стеною, ведя ее от моря к морю, и работы еще не были завершены, когда появился Фарнабаз, чтобы прорвать осаду. Халкедонский правитель Гиппократ, собрав все свои силы, сделал вылазку. Алкивиад выстроил войско так, чтобы можно было одновременно отразить натиск с обеих сторон, и Фарнабаз позорно бежал, а Гиппократ был разбит наголову и погиб вместе с немалым числом своих людей.

Затем Алкивиад поплыл для сбора дани в Геллеспонт и взял Селимбрию, нелепым образом подвергнув при этом свою жизнь страшной опасности. Люди, которые вызвались сдать ему город, обещали в полночь поднять зажженный факел, но вынуждены были сделать это раньше назначенного срока, боясь одного из своих сообщников, который неожиданно изменил. Поэтому, когда загорелся факел, войско еще не было готово, и Алкивиад побежал к стене, захватив с собой всего тридцать человек, оказавшихся под рукою, а остальным приказал следовать за ним как можно скорее. Ворота были открыты, но не успел он со своими тридцатью людьми и еще двадцатью присоединившимися к ним легковооруженными пехотинцами войти в город, как увидел селимбрийцев, которые мчались ему навстречу с оружием в руках. Всякое сопротивление казалось бесполезным и безнадежным, но для полководца, вплоть до того дня не знавшего ни единого поражения, бежать было просто немыслимо, и вот, призвавши звуком трубы к молчанию он велит одному из своих объявить селимбрийцам, чтобы те не нападали на афинян. Услышав слова глашатая, одни порастеряли свой боевой пыл (в твердой уверенности, что внутри стен находятся все вражеские силы), другие же воодушевились новыми надеждами на перемирие. Пока они, собравшись все вместе, обменивались мнениями, к Алкивиаду успело подойти его войско, и теперь, убедившись, что селимбрийцы настроены вполне миролюбиво (так это и было на самом деле), он стал опасаться, как бы фракийцы, которые во множестве следовали за Алкивиадом и из любви и расположения к нему усердно несли свою службу, не разграбили город. Поэтому он выслал их всех за городскую стену, а селимбрийцам, просившим о пощаде, не причинил ни малейшего зла, но только взял деньги, разместил у них гарнизон и удалился.

31. Тем временем стратеги, осаждавшие Халкедон, заключили с Фарнабазом соглашение, по которому последний обязался выплатить неприятелю известную сумму денег, халкедонцы возвращались под власть Афин, афиняне же брали на себя обязательство не разорять более владения Фарнабаза, который в свою очередь обещал охрану и полную безопасность афинскому посольству, на-

правлявшемуся к царю. Когда вернулся Алкивиад, Фарнабаз пожелал, чтобы и он скрепил своей клятвой условия соглашения, но тот отказался: первым, по его мнению, должен был поклясться перс.

Когда наконец взаимные клятвы были принесены, то Алкивиад подступил к Византию, расторгшему союз с афинянами, и стал обносить город стеной. Анаксилай, Ликург и еще несколько человек уговорились с Алкивиадом, что сдадут ему город, а он пощадит жизнь и имущество византийцев; после этого, распустив слух, будто новые волнения в Ионии заставляют афинян уйти, он отплыл днем со всем флотом, но в ту же ночь возвратился, сошел на берег и, во главе тяжеловооруженных пехотинцев приблизившись к городской стене, притаился. Корабли между тем стянулись ко входу в гавань и ворвались в нее под такой оглушительный шум и крики матросов, что византийцы, для которых все это было полной неожиданностью, в ужасе бросились к морю спасать свои суда, и сторонникам афинян представилась возможность беспрепятственно открыть Алкивиаду ворота. Но без боя дело все же не обошлось. Стоявшие в Византии пелопоннесцы, беотийцы и мегаряне отразили натиск высадившихся с моря и снова загнали их на корабли, а затем, узнав, что афиняне уже в городе, выстроились в боевую линию и двинулись им навстречу. В ожесточенной схватке Алкивиад одолел на правом крыле, Ферамен на левом; около трехсот неприятелей, оставшихся в живых, попало в плен. По окончании военных действий ни один из византийцев не был казнен или отправлен в изгнание: на таких условиях сдали город те, кто указаны нами выше, не выговорив для себя никаких особых преимуществ. Именно поэтому Анаксилай, позже привлеченный в Спарте к суду за измену, не выразил ни малейшего смущения, оправдывая свои действия. Он напомнил, что он не лакедемонянин, а византиец и что опасности у него на глазах подвергался Византий, а не Спарта: город был обнесен стеной, всякий ввоз в него прекратился, запасами, которые еще не до конца иссякли, кормились пелопоннесцы и беотийцы, а граждане Византия с женами и детьми умирали с голода. Стало быть, он не выдал врагам город, но, напротив, избавил его от самого лютого врага – от войны, по примеру достойнейших спартанцев, для коих лишь одно доподлинно прекрасно и справедливо – благо отечества. Выслушав эти доводы, лакедемоняне смутились и оправдали обвиняемых.

32. Вот теперь Алкивиад стремился на родину, впрочем; еще больше ему хотелось предстать перед согражданами в облике полководца, одержавшего столько побед над врагами. И он тронулся в путь, украсив аттические триеры по обоим бортам щитами и другой военной добычей, ведя за собой множество захваченных у неприятеля судов; еще больше неприятельских кораблей он пустил ко дну и теперь вез в Афины снятые с них носовые украшения; число тех и других вместе было не менее двухсот. Самосец Дурид (он возводит свой род к Алкивиаду) сообщает еще, что Хрисогон, победитель на Пифийских играх, играл гребцам песню на флейте, а команду им подавал трагический актер Каллипид – оба в ортостадии, ксистиде[36] и вообще в полном уборе, надеваемом для состязаний, – и что корабль командующего подлетел к берегам, распустив красный парус, будто гуляка, возвращающийся с пирушки; но ни Феопомп, ни Эфор, ни Ксенофонт этого не пишут, да и трудно поверить, чтобы, возвращаясь из изгна-

ния, после таких ужасных бедствий, Алкивиад позволил себе так издеваться над афинянами. Нет, не без робости подходил он к гавани, а, войдя в нее, спустился с триеры не прежде, нежели увидел с палубы своего двоюродного брата Эвриптолема и целую толпу родственников и друзей, которые его встречали и старались ободрить радостными криками. Когда же он, наконец, спустился на берег, собравшийся народ, казалось, перестал замечать остальных стратегов – все бежали к нему, выкрикивали его имя, приветствовали его, шли за ним следом, увенчивали венками, если удавалось протиснуться поближе, те же, кому это не удавалось, старались разглядеть его издали; люди постарше показывали его молодым. К радости всего города примешано было немало слез, и нынешнее счастье омрачалось воспоминаниями о былых бедствиях; помышляли и о том, что останься тогда Алкивиад во главе войска и государственных дел – и в Сицилии все могло бы сложиться более удачно, и прочие упования не были бы обмануты, раз даже теперь, когда он застал Афины почти совершенно вытесненными с моря, а на суше едва сохранившими собственные пригороды, в самом же городе – раздоры и смуту, он принял управление и, воскресив эти горестные жалкие остатки, не только вернул родине владычество на море, но явил ее повсюду победительницей и в пеших сражениях.

33. Постановление, разрешающее ему вернуться, было уже принято раньше[37] по предложению Крития, сына Каллесхра, как он сам о том написал в элегических стихах, напоминая Алкивиаду об оказанной услуге:

О возвращенье твоем говорил я открыто, пред всеми.
Речь произнес, записал, дело твое завершил,
Крепкой печатью однако уста я свои запечатал…

Теперь же Алкивиад выступил в Собрании перед народом; с горечью, со слезами поведав о своих страданиях, он вскользь и очень сдержанно попенял народу, во всем случившемся винил лишь свою злую судьбу и зависть божества, а главным образом старался внушить согражданам бодрость и надежды на будущее. Афиняне наградили его золотыми венками и выбрали стратегом с неограниченными полномочиями – главнокомандующим сухопутными и морскими силами. Кроме того, Собрание постановило возвратить ему имущество и снять заклятия, наложенные на него эвмолпидами и кериками по приказу народа. Все прочие жрецы повиновались и лишь верховный жрец Феодор сказал: "Ежели он ни в чем не повинен перед государством, стало быть, и я не призывал на его голову никаких бедствий".

34. Казалось бы, ничто не омрачало благоденствия Алкивиада, но были люди, которых смущал и беспокоил самый срок его приезда. В тот день, когда он приплыл к берегу Аттики, справлялся "Праздник омовения" в честь Афины. Это тайное священнодействие, которое совершают праксиэргиды[38] в двадцать пятый день месяца фаргелиона: они снимают с богини весь убор и окутывают статую покрывалом. Вот почему этот день афиняне считают одним из самых злосчастных в году и стараются провести его в полном бездействии. Не благосклонно, не радостно, думали они, приняла Алкивиада богиня, но закрылась и не допустила его к себе.

Тем не менее удача ни в чем не оставляла Алкивиада, и сто триер, с которыми он собирался снова выйти в море, были уже снаряжены, но какое-то благородное честолюбие не давало ему покинуть Афины до конца мистерий. Ведь с тех пор как враги, укрепив Декелею, овладели дорогами, ведущими в Элевсин, торжественная процессия из сухопутной превратилась в морскую и потеряла всю свою красу: жертвоприношения, хороводы и многие другие обряды, которыми сопровождается шествие с изображением Иакха, пришлось, по необходимости, опустить. И Алкивиаду казалось, что он исполнит долг благочестия перед богами и заслужит похвалу у людей, если вернет священнодействию исконный его вид, проведя процессию посуху и защитив ее от неприятеля: либо, рассудил Алкивиад, он совершенно унизит, втопчет в грязь Агида (коль скоро тот смирится с его затеей), либо на виду у отечества вступит в священную, угодную богам битву, и все сограждане станут свидетелями его доблести.

Сообщив о своем решении эвмолпидам и керикам, он расставил стражу на высотах и, едва рассвело, выслал вперед нескольких скороходов, а затем, взявши жрецов, мистов и мистагогов[39] и окружив их вооруженной стражей, в строгом порядке и тишине повел вперед это воинское шествие, являвшее собою зрелище столь прекрасное и величавое, что все, кроме завистников, называли его подлинным священнодействием и таинством. Никто из неприятелей не осмелился на них напасть, и, благополучно приведя всех назад, Алкивиад и сам возгордился, и войску внушил надменную уверенность, что под его командою оно непобедимо и неодолимо, а у простого люда и бедняков снискал поистине невиданную любовь: ни о чем другом они более не мечтали, кроме того, чтобы Алкивиад сделался над ними тиранном, иные не таясь, об этом говорили, советовали ему презреть всяческую зависть, стать выше нее и, отбросив законы и постановления отделавшись от болтунов – губителей государства...* действовал и правил, не страшась клеветников.

35. Какого взгляда на счет тираннии держался сам Алкивиад, нам неизвестно, но наиболее влиятельные граждане были очень испуганы и принимали все меры к тому, чтобы он отплыл как можно скорее: они неизменно одобряли все его предложения и, между прочим, подали голоса за тех лиц, каких он сам выбрал себе в товарищи по должности.

Выйдя в плавание со своею сотней судов и причалив к Андросу, он разбил в сражении и самих андросцев и поддерживавший их отряд лакедемонян, но города не взял, чем и подал врагам первый повод к новым обвинениям против него. Если бывали люди, которых губила собственная слава, то, пожалуй, яснее всего это видно на примере Алкивиада. Велика была слава о его доблести и уме, ее породило все, свершенное им, а потому любая неудача вызывала подозрение – ее спешили приписать нерадивости, никто и верить не желал, будто для Алкивиада существует что-либо недосягаемое: да, да, если только он постарается, ему все удается! Афиняне надеялись вскоре услышать о захвате Хиоса и вообще всей Ионии. Вот откуда и возмущение, с которым они встречали известия о том, что дела идут не так-то уж быстро, отнюдь не молниеносно, как хотелось бы

* Текст в оригинале испорчен.

им. Они не думали о том, как жестоко стеснен в средствах их полководец, ведущий войну с противником, которого снабжает деньгами сам великий царь, и что по этой причине Алкивиаду нередко приходится покидать свой лагерь в поисках жалования и пропитания для войска, мало того, последнее обстоятельство послужило основанием еще для одной жалобы на него! Когда Лисандр, поставленный лакедемонянами во главе флота, начал выдавать матросам по четыре обола вместо трех – деньги он получил от Кира, – Алкивиад, уже с трудом плативший своим даже три обола, отправился в Карию, чтобы собрать денег, а командование судами передал Антиоху, прекрасному кормчему, но человеку грубому и безрассудному. Этот Антиох, хотя и получил от Алкивиада приказ не вступать в битву даже в том случае, если неприятель нападет первым, дошел до такой наглости, до такого неповиновения, что, изготовив к бою две триеры – свою и еще одну, доплыл до Эфеса и там принялся разъезжать взад-вперед вдоль носов неприятельских кораблей, упорно раздражая противника наглым кривлянием и оскорбительными речами. Сначала Лисандр послал за ним в погоню всего лишь несколько судов, но затем, когда афиняне поспешили на подмогу своему начальнику, вывел в море и остальные и одержал верх. Антиох был убит, спартанцы захватили много кораблей и пленных и воздвигли трофей. Весть об этом дошла до Алкивиада, он вернулся на Самос, тоже вышел в море со всем флотом и пытался вызвать Лисандра на сражение, но тот, вполне довольствуясь своей победой, остался в гавани.

36. Тогда Фрасибул, сын Фрасона, один из тех, кто, ненавидя Алкивиада, служил под его началом, уехал в Афины, чтобы выступить с обвинениями; стараясь озлобить афинян, он утверждал в Собрании, будто Алкивиад потому погубил все дело и потерял суда, что с унизительным легкомыслием распорядился своими полномочиями, передав командование людям, которые заняли при нем самые высокие посты благодаря лишь умению выпивать и матросскому бахвальству, передал для того, чтобы самому беспрепятственно наживаться, плавая, куда вздумается, пьянствовать да распутничать с абидосскими и ионийскими гетерами, – и все это когда стоянка вражеских судов совсем рядом! Ему вменяли в вину также постройку крепости, которую он возвел во Фракии близ Бисанты – убежище на случай, если он не захочет или не сможет жить в отечестве, утверждали обвинители. Народ поверил врагам Алкивиада и, желая выразить ему свое нерасположение и гнев, избрал новых стратегов.

Весть об этом испугала Алкивиада, и он окончательно покинул лагерь; набрав наемников, он частным образом, на свой страх и риск, повел войну с неподвластными царями фракийцами и получал значительные суммы от продажи добычи; в то же время и греки, жившие по соседству с этими варварами, чувствовали себя в безопасности под его защитой.

Несколько позже стратеги Тидей, Менандр и Адимант со всеми судами, какие в ту пору были у афинян, расположились при устье Эгоспотамов и утром обыкновенно подплывали к Лампсаку, близ которого бросили якоря корабли Лисандра, пытались вызвать спартанцев на бой, а потом возвращались назад и, полные презрения к неприятелю, проводили день беспорядочно и беспечно. Находившийся поблизости Алкивиад узнал о таком легкомыслии и не остался к

нему равнодушен: он прискакал верхом и стал было внушать стратегам, что они неудачно выбрали место для стоянки – ведь на всем берегу нет ни гаваней, ни городов, и продовольствие приходится доставлять издалека, из Сеста, – и что напрасно смотрят они сквозь пальцы на то, как их матросы, сойдя на сушу, рассеиваются и разбредаются кто куда, когда напротив стоит на якоре огромный флот, приученный к единовластным повелениям и беспрекословному их выполнению.

37. Но стратеги не соизволили прислушаться к предостережениям Алкивиада и его совету перевести суда в Сест, а Тидей прямо велел ему убираться прочь, прибавив насмешливо: "Теперь не ты стратег, а другие". Алкивиад удалился, заподозрив их в измене, и, уезжая, говорил своим знакомым из греческого лагеря, которые вышли его проводить, что если бы не эти оскорбления, он в ближайшие дни заставил бы лакедемонян принять бой вопреки собственному желанию, в противном же случае они лишились бы своих судов. Одни решили, что он бросает слова на ветер, другие – что дело это вполне возможное: стоит ему только собрать побольше фракийских копейщиков и всадников и, ударив с суши, посеять смятение в лагере спартанцев. Как бы там ни было, но что ошибки афинян он подметил верно, вскоре показал сам ход событий. Совершенно неожиданно для афинян Лисандр напал на них, и только восемь триер под командою Конона ускользнули, все же остальные – числом около двухсот – оказались в руках неприятеля. Пленных Лисандр захватил три тысячи и всех казнил. А спустя немного он взял и самый город афинян, сжег их корабли и разрушил Длинные стены.

После этого Алкивиад в страхе перед лакедемонянами, которые владычествовали теперь и на суше и на море, перебрался в Вифинию, увезя с собою огромные богатства, однако еще больше оставив в своей крепости. Но в Вифинии его обобрали тамошние разбойники-фракийцы, и, еще раз потеряв немалую долю своего имущества, он решил отправиться к Артаксерксу в надежде, что царь, узнавши его, оценит не меньше, чем прежде ценили Фемистокла. Тем более что и цель у него более благородная: ведь он не собирался, подобно Фемистоклу, предложить свои услуги для борьбы против сограждан, но хотел действовать в интересах отечества, против его врагов, и для этого просить помощи у царя. Алкивиад полагал, что Фарнабаз скорее, чем кто-либо другой, обеспечит ему удобства и безопасность в пути, а потому приехал к нему во Фригию, поселился там и, оказывая Фарнабазу все знаки почтения, в свою очередь был у него в чести.

38. Афиняне горевали, утратив первенствующее положение в Греции, но только теперь, когда Лисандр отнял у них и свободу и передал власть над городом Тридцати[40], когда все погибло безвозвратно, они начали приходить к тем соображениям, которые, будь они приняты в расчет своевременно, могли бы их спасти; они сокрушались, перечисляя свои заблуждения и промахи, и самым непростительным среди них признавали вторую вспышку гнева против Алкивиада. И верно, ведь он ушел в изгнание без всякой вины, меж тем как они, рассердившись на его помощника, постыдно лишившегося нескольких кораблей, куда более постыдно лишили государство самого опытного и самого храброго из

полководцев. Но в этих тяжких обстоятельствах у них еще теплилась смутная надежда, что не все потеряно для Афин, до тех пор пока жив Алкивиад. "И прежде, – рассуждали они, – оказавшись на чужбине, он не захотел жить в праздности и покое, и теперь, если только найдутся к этому какие-нибудь средства, не останется равнодушным свидетелем наглости лакедемонян и буйства Тридцати". Мечтания народа не лишены были здравого смысла, поскольку и Тридцать, со своей стороны, тревожились и старались выведать, что делает и что замышляет Алкивиад, придавая этому первостепенное значение. В конце концов, Критий стал внушать Лисандру, что спартанцы не смогут уверенно властвовать над Грецией, если в Афинах возобладает демократический способ правления, и что, хотя афиняне готовы отнестись к олигархии вполне термимо и даже благожелательно, Алкивиад, пока он жив, не даст им примириться с существующим положением вещей. Лисандр однако согласился с этими доводами не прежде, чем от спартанских властей пришла скитала, предписывающая умертвить Алкивиада; вероятно, и в Спарте боялись его беспокойного нрава и страсти к великим делам, а может быть, просто хотели угодить Агиду.

39. Лисандр отправил Фарнабазу письмо с просьбой исполнить это распоряжение, а тот поручил дело своему брату Багею и дяде Сузамитре. Алкивиад в то время жил с гетерою Тимандрой в одной фригийской деревне, и как-то раз увидел вот какой сон. Приснилось ему, будто он одет в платье своей возлюбленной, а она прижимает к груди его голову и, точно женщине, расписывает лицо румянами и белилами. По другим сведениям, ему казалось, что Багей отсекает ему голову и сжигает тело. Но все согласны, что видение явилось Алкивиаду незадолго до смерти.

Войти в дом убийцы не решились, но окружили его и подожгли. Заметив начавшийся пожар, Алкивиад собрал все, какие удалось, плащи и покрывала и набросил их сверху на огонь, потому, обмотав левую руку хламидой, а в правой сжимая обнаженный меч, благополучно проскочил сквозь пламя, прежде чем успели вспыхнуть брошенные им плащи, и, появившись перед варварами, рассеял их одним своим видом. Никто не посмел преградить ему путь или вступить с ним в рукопашную, – отбежав подальше, они метали копья и пускали стрелы. Наконец Алкивиад пал, и варвары удалились; тогда Тимандра подняла тело с земли, закутала и обернула его в несколько своих хитонов и с пышностью, с почетом – насколько достало средств – похоронила.

Говорят, что она была матерью Лаиды, которая носила прозвище "Коринфянки", хотя на самом деле была захвачена в плен в сицилийском городке Гиккары.

Соглашаясь со всеми изложенными здесь подробностями смерти Алкивиада, иные истинным виновником ее называют не Фарнабаза, не Лисандра и не лакедемонян, а самого Алкивиада, который соблазнил какую-то женщину из знатной семьи и держал ее при себе, а братья женщины, не стерпев такой дерзости, подожгли дом, где он тогда жил, и, как мы уже рассказывали, убили Алкивиада, едва только тот выскочил из огня.



[*Сопоставление*]

40(1). Таковы поступки этих мужей, которые мы считаем достойными упоминания, и всякий может убедиться, что военные подвиги не склоняют решительно чашу весов в пользу того или другого. Оба одинаково дали многократные доказательства личного мужества и отваги, равно как и мастерства и дальновидности полководца. Правда, кто-нибудь, пожалуй, объявит лучшим военачальником Алкивиада, который вышел победителем во многих сражениях на суше и на море; зато неизменно счастливо и весьма ощутимо воздействовать на дела отечества своим присутствием и руководством и наносить им еще более ощутимый вред, перейдя на сторону противника, было свойственно обоим.

На государственном поприще не знавшее меры бесстыдство Алкивиада, грубость и шутовство, которых он не гнушался, стараясь стяжать любовь толпы, вызывали отвращение у людей благоразумных, тогда как Марция за его крайнюю суровость, высокомерие и приверженность к олигархии возненавидел римский народ. Ни то ни другое не похвально, и все же угождающий народу искатель его благосклонности заслуживает меньшего порицания, нежели те, кто, дабы их не сопричислили к подобным искателям, оскорбляет народ. Да, постыдно льстить народу ради власти, но влияние, основывающееся на страхе, угнетении и насилии, и постыдно и бесчестно.

41(2). Что Марций был откровенен и прямодушен, Алкивиад же в государственных делах хитер и лжив, не вызывает ни малейшего сомнения. Прежде всего ему ставят в вину злой обман, в который он ввел (как рассказывает Фукидид[41]) спартанских послов, что привело к расторжению мира. Но если такой образ действий снова вверг Афины в войну, то он же сделал государство сильным и грозным благодаря союзу с мантинейцами и аргосцами, который был заключен стараниями Алкивиада. По сообщению Дионисия[42], Марций также прибегнул к обману, чтобы столкнуть римлян с вольсками, – он оклеветал вольсков, прибывших на священные игры. При этом, если взглянуть на побудительную причину того и другого поступка, то худший из двух – второй. Не из честолюбия, не в пылу борьбы или соперничества на государственном поприще, как Алкивиад, но, поддавшись гневу, от которого, по слову Диона[43], нечего ждать благодарности, Марций возмутил спокойствие многих областей Италии и в злобе на отечество, как бы мимоходом погубил много ни в чем не повинных городов.

Верно, что и гнев Алкивиада был причиною страшных бедствий для его сограждан. Но как только Алкивиад узнал, что афиняне раскаиваются, он проявил благожелательность; даже изгнанный вторично, он не радовался ошибке стратегов, не остался равнодушен к их неудачному решению и угрожавшей им опасности, а поступил так же, как некогда с Фемистоклом Аристид[44], которого по сю пору не перестают хвалить за этот поступок: он приехал к тогдашним начальникам, не питавшим к нему никаких дружеских чувств, чтобы рассказать и научить, что надо делать. Марций же сначала заставил страдать все государство, хотя сам пострадал по вине далеко не всего государства, лучшая и знатнейшая часть которого была оскорблена наравне с ним и ему сочувствовала, а далее суровою непреклонностью к просьбам многих посольств, стремившихся

смягчить гнев одного-единственного человека и загладить несправедливость, доказал, что затеял тяжкую и непримиримую войну не для того, чтобы вернуться в отечество, но чтобы его уничтожить. Есть тут и еще одно различие. Алкивиад перешел на сторону афинян, страшась и ненавидя спартанцев за козни, которые они против него строили, тогда как у Марция не было никаких оснований покидать вольсков, относившихся к нему безупречно: он был избран командующим, облечен и властью и полным доверием – не то, что Алкивиад, услугами которого лакедемоняне скорее злоупотребляли, чем пользовались, и который бродил у них по городу, потом столь же бесцельно слонялся по лагерю и, в конце концов, отдал себя под покровительство Тиссаферна. Впрочем, быть может, клянусь Зевсом, он для того и угождал Тиссаферну, чтобы перс не погубил вконец Афины, куда он все же мечтал вернуться?

42(3). Сообщают, что Алкивиад без стыда и совести брал взятки, а за счет полученного позорно ублажал свою разнузданность и страсть к роскоши. Напротив, Марция начальники не уговорили взять даже почетную награду. Вот почему он был так ненавистен народу во время разногласий из-за долгов: все утверждали, что он притесняет и поносит неимущих не по соображениям корысти, но глумясь над ними и презирая их. Антипатр, рассказывающий в каком-то письме о кончине философа Аристотеля, замечает: "Кроме всего прочего этот человек обладал обаянием". Марцию это качество было совершенно чуждо, и потому даже его достоинства и добрые поступки вызывали ненависть у людей, ими облагодетельствованных: никто не в силах был мириться с его гордостью и самомнением – спутником одиночества, как выразился Платон[45]. Алкивиад, наоборот, умел быть любезным и обходительным с каждым встречным. Можно ли удивляться, что всякий его успех восхваляли до небес, встречали благожелательно и с почетом, если даже многие из его промахов и оплошностей имели в себе нечто привлекательное и милое? Вот отчего, несмотря на весь вред, который он нанес государству, его часто выбирали в стратеги и ставили во главе войска, а Марций, домогавшийся должности, на которую ему давали право многочисленные подвиги, тем не менее потерпел поражение. Первого сограждане не в силах были ненавидеть, даже страдая по его вине, второго – уважали, но не любили.

43(4). Далее, Марций в качестве командующего перед отечеством не отличился ни разу – он отличился лишь перед неприятелями, в ущерб отечеству; Алкивиад неоднократно приносил пользу афинянам и как простой воин и как командующий. В присутствии Алкивиада его противники никогда не могли взять верх, все шло так, как того желал он, и лишь в его отсутствие набиралась сил клевета; Марций не смутил своим присутствием римлян, которые вынесли ему обвинительный приговор, не смутил и вольсков, которые его убили – убили незаконно и бесчестно, но благовидный предлог к расправе он доставил им сам: не приняв перемирия, предложенного от имени государства, он частным образом дал женщинам себя уговорить и не вырвал корня вражды, не положил предела войне, а только упустил неповторимо счастливый случай. Он не должен был отступать, не убедив сначала в правильности своих действий тех, кто ему доверился, – разумеется, если превыше всего он ставил свой долг перед ними. Если же

вольски ничего не значили в его глазах и он начал войну только для того, чтобы утолить свой гнев, а затем прекратил ее, он и в этом случае поступил недостойно, ибо не ради матери следовало пощадить родину, но вместе с родиной – и мать. Ведь и мать и жена были частью родного города, который он осаждал. То, что он остался глух к просьбам целого государства, к слезным мольбам послов и жрецов, а потом в угоду матери отступил, – не было честью для матери, но скорее бесчестьем для отечества, избавленного от гибели заступлением одной-единственной женщины и из жалости к ней, точно само по себе оно пощады не заслуживало. Ненавистная, жестокая, поистине немилостивая милость! В ней не было милосердия ни к одной из воюющих сторон: ведь Марций отступил не потому, что согласился на уговоры неприятелей, и не потому, что склонил к согласию с собою товарищей по оружию. Причина всего этого – необщительный, чересчур надменный и самолюбивый нрав, который и сам по себе толпе ненавистен, а в соединении с честолюбием приобретает еще черты лютой неукротимости. Такие люди не хотят угождать народу, точно вовсе не нуждаются в почетных званиях и должностях, но потом, не получивши их, негодуют. Правда, черни не прислуживали и милостей ее не искали ни Метелл, ни Аристид, ни Эпаминонд, но они действительно презирали все, что народ властен пожаловать или отобрать, и, подвергаясь остракизму, терпя поражения на выборах и выслушивая обвинительные приговоры в суде, они не гневались на несправедливость сограждан и охотно примирялись с ними, когда те раскаивались и просили изгнанников вернуться. Тому, кто менее всего заискивает перед народом, менее всего приличествует и желание ему отомстить, тогда так же, как слишком горькая обида того, кто не получил должность, проистекает из слишком горячего стремления ее добиться.

44(5). Алкивиад никогда не скрывал, что почести радуют его, а пренебрежение печалит, и потому старался быть приятным и милым для тех, среди кого он жил. Марцию высокомерие не позволяло угождать тем, в чьей власти было и почтить его и возвысить, но когда он оказывался обойденным, честолюбие заставляло его гневаться и страдать. Именно это и могут поставить ему в упрек, ибо все прочее в нем безукоризненно. Своей воздержностью и бескорыстием он заслуживает сравнения с благороднейшими, чистейшими из греков, но, клянусь Зевсом, никак не с Алкивиадом, крайне неразборчивым в подобных вопросах и весьма мало заботившимся о доброй славе.





ЭМИЛИЙ ПАВЕЛ И ТИМОЛЕОНТ

ЭМИЛИЙ ПАВЕЛ

1. Мне случилось начать работу над этими жизнеописаниями, выполняя чужую просьбу, но продолжать ее – и притом с большой любовью – уже для себя самого: глядя в историю, словно в зеркало, я стараюсь изменить к лучшему собственную жизнь и устроить ее по примеру тех, о чьих доблестях рассказываю. Всего более это напоминает постоянное и близкое общение: благодаря истории мы точно принимаем каждого из великих людей в своем доме, как дорогого гостя, узнаем, "кто он и что"[1], и выбираем из его подвигов самые значительные и прекрасные.

О, где еще найдем такую радость мы?[2]

Что сильнее способствует исправлению нравов? Демокрит учил молиться о том, чтобы из объемлющего нас воздуха навстречу нам неизменно выходили лишь благие образы[3] – сродные и полезные человеку, а не зловещие или никчемные; тем самым он внес в философию мысль, неверную и ведущую к неисчислимым предрассудкам. Что до меня, то, прилежно изучая историю и занимаясь своими писаниями, я приучаю себя постоянно хранить в душе память о самых лучших и знаменитых людях, а все дурное, порочное и низкое, что неизбежно навязывается нам при общении с окружающими, отталкивать и отвергать, спокойно и радостно устремляя свои мысли к достойнейшим из образцов.

Из их числа на этот раз я выбрал для тебя[4] жизнь Тимолеонта Коринфского и Эмилия Павла – двух мужей не только одинакового образа мыслей, но и одинаково счастливой судьбы, так что трудно решить, чему они более обязаны своими самыми значительными успехами – удаче или благоразумию.

2. Большинство историков согласно утверждают, что дом Эмилиев принадлежит к числу патрицианских и самых древних в Риме; но что основателем этого дома, оставившим потомству родовое имя, был Мамерк[5], сын мудреца Пифагора, прозванный Эмилием за учтивость и прелесть речей, говорят лишь некоторые из тех, кто держится мнения, будто Пифагор был учителем царя Нумы.

Почти все Эмилии, достигшие известности и славы, были взысканы удачей благодаря высоким нравственным качествам, в которых они неустанно совершенствовались. Даже неудача Луция Павла при Каннах доказала его здравомыслие и мужество: убедившись, что отговорить коллегу от битвы невозможно, он, вопреки своему желанию, рядом с товарищем по должности принял участие

в битве, но не в бегстве – напротив, в то время как виновник поражения в разгар опасности бросил свое войско, Луций Павел остался на месте и погиб в бою.

Его дочь Эмилия была замужем за Сципионом Африканским, а сын, Павел Эмилий, которому посвящено это повествование, пришел в возраст в ту пору, когда в Риме процветали величайшие, прославленные доблестью мужи, и быстро отличился, хотя занятия его не были похожи на занятия тогдашних знатных юношей и с самого начала он шел другою дорогой. Он не выступал с речами в суде и решительно избегал радушных приветствий и благосклонных рукопожатий, которые многие рассыпали столь предупредительно и ревностно, стараясь приобрести доверие народа; не то, чтобы он был неспособен к чему-либо из этого от природы – нет, он хотел снискать лучшую и высшую славу, доставляемую храбростью, справедливостью и верностью, и в этом скоро превзошел всех своих сверстников.

3. Первая из высших должностей, которой он домогался, было должность эдила, и граждане оказали ему предпочтение перед двенадцатью другими соискателями, каждый из которых, как сообщают, был впоследствии консулом. Затем он стал жрецом, одним из так называемых авгуров, которых римляне назначают для наблюдения и надзора за гаданиями по птицам и небесным знамениям, и, неукоснительно держась отеческих обычаев, обнаружив поистине древнее благоговение перед богами, доказал, что жречество, прежде считавшееся просто-напросто почетным званием, к которому стремятся единственно славы ради, есть высочайшее искусство, и подтвердил мнение философов, определяющих благочестие как науку о почитании богов[6]. Все свои обязанности он выполнял умело и тщательно, не отвлекаясь ничем посторонним, ничего не пропуская и не прибавляя вновь, но постоянно спорил с товарищами по должности даже из-за самых незначительных оплошностей и внушал им, что если иным и кажется, будто божество милостиво и легко прощает малые небрежения, то для государства такое легкомыслие и нерадивость опасны. И верно, не бывает так, чтобы потрясение основ государства начиналось резким вызовом, брошенным закону, – нет, но по вине тех, кто не проявляет должного внимания к мелочам, исчезает забота о делах первостепенной важности. Столь же неутомимым исследователем и суровым стражем отеческих обычаев Эмилий выказал себя и в военных делах: он никогда не заискивал перед солдатами, никогда, командуя войском, не старался, – как поступали в ту пору очень многие, – заранее обеспечить себе новое назначение на высшую должность, потакая и угождая подчиненным, но, точно жрец каких-то страшных таинств, он посвящал своих людей во все тайны военного искусства, грозно карал ослушников и нарушителей порядка и тем самым вернул отечеству прежнюю силу, считая победу над врагами лишь побочною целью рядом с главной – воспитанием сограждан.

4. Когда у римлян началась война с Антиохом Великим и лучшие полководцы уже были заняты ею, на западе вспыхнула другая война – поднялась почти вся Испания. Туда был отправлен Эмилий в сане претора, но не с шестью ликторами, а с двенадцатью; таким образом, почести ему оказывались консульские. Он разбил варваров в двух больших сражениях[7], выиграв их, по-видимому, главным образом благодаря своему мастерству полководца: воспользовавшись пре-

имуществами местности и во-время перейдя какую-то реку, он доставил своим воинам легкую победу. Противник потерял тридцать тысяч убитыми, двести пятьдесят городов добровольно сдались Эмилию. Восстановив в провинции мир и порядок, он вернулся в Рим, ни на единую драхму не разбогатев в этом походе. Он вообще не умел и не любил наживать деньги, хотя жил широко и щедро тратил свое состояние. А оно было совсем не так уж значительно, и после смерти Эмилия едва удалось выплатить вдове причитавшуюся ей сумму приданого.

5. Женат он был на Папирии, дочери бывшего консула Мазона, но после многих лет брака развелся, хотя супруга родила ему замечательных детей – знаменитого Сципиона и Фабия Максима. Причина развода нам неизвестна (о ней не говорит ни один писатель), но пожалуй, вернее всего будет вспомнить, как некий римлянин, разводясь с женой и слыша порицания друзей, которые твердили ему: "Разве она не целомудренна? Или не хороша собою? Или бесплодна?" – выставил вперед ногу, обутую в башмак ("кальтий" [calceus], как называют его римляне), и сказал: "Разве он нехорош? Или стоптан? Но кто из вас знает, где он жмет мне ногу?" В самом деле, по большей части не значительные или получившие огласку проступки жены лишают ее мужа, но мелкие, частные столкновения, проистекающие из неуступчивости или просто от несходства нравов, даже если они скрыты от посторонних глаз, вызывают непоправимое отчуждение, которое делает совместную жизнь невозможной. Разведясь с Папирией, Эмилий женился вторично; двух сыновей, которых родила ему новая жена, он оставил у себя в доме, а сыновей от первого брака ввел в самые могущественные и знатные римские семьи: старшего усыновил...* Фабия Максима, пятикратного консула, а младшего – сын Сципиона Африканского, двоюродный брат мальчика, и дал ему имя Сципиона. Что касается дочерей Эмилия, то на одной из них женился сын Катона, а на другой – Элий Туберон, достойнейший человек, с невиданным в Риме величием переносивший свою бедность. Этих Элиев было в роду шестнадцать человек и все они совместно владели одним маленьким, тесным домиком, всех кормил один-единственный клочок земли[8], все жили под одной кровлей – со своими женами и многочисленным потомством. Там жила и дочь Эмилия, двукратного консула и дважды триумфатора, жила, не стыдясь бедности мужа, но преклоняясь перед его нравственным совершенством – причиною и источником его бедности. А в наше время, пока совместные владения братьев и родичей не размежеваны, не разделены одно от другого целыми странами или, по меньшей мере, реками и стенами, раздорам нет конца. Вот над какими примерами предлагает история задуматься и поразмыслить тем, кто желает извлечь для себя полезный урок.

6. Когда Эмилий был избран консулом, он выступил в поход против приальпийских лигуров, которых иные называют лигустинцами, – воинственного и храброго народа; соседство с римлянами выучило их искусству ведения боевых действий. Вперемешку с галлами и приморскими племенами испанцев они населяют окраину Италии, прилегающую к Альпам, и часть самих Альп, которая

---

*Текст в оригинале испорчен.

омывается водами Тирренского моря и обращена к Африке. В ту пору они стали заниматься еще и морским разбоем: их суда заплывали до самых Геркулесовых столпов, обирая и грабя торговцев. Когда на них двинулся Эмилий, они собрали и выставили сорокатысячное войско, но Эмилий, несмотря на пятикратное преимущество, которым располагал неприятель (римлян было всего восемь тысяч), напал на лигуров, разбил их и загнал в укрепленные города, после чего предложил им мир на весьма умеренных и справедливых условиях: в намерения римлян отнюдь не входило до конца истребить племя лигуров, служившее своего рода заслоном или преградою на пути галльского вторжения, угроза которого постоянно висела над Италией. Итак, лигуры доверились Эмилию и сдали ему свои суда и города. Города, не причинив им ни малейшего ущерба и только распорядившись срыть укрепления, он вернул прежним владельцам, но суда все отобрал, не оставив ни одного корабля более чем с тремя рядами весел. Кроме того, он вернул свободу множеству пленников, захваченных пиратами на суше и на море, – как римлянам, так равно и чужеземцам. Вот какими подвигами было ознаменовано первое его консульство.

Впоследствии он многократно выказывал недвусмысленное желание снова получить должность консула и, наконец, предложил свою кандидатуру, но потерпел неудачу и в дальнейшем оставил мысль об этом, разделяя свой досуг меж исполнением жреческих обязанностей и занятиями с детьми, которым он стремился дать не только обычное воспитание в староримском духе (вроде того, что получил он сам), но, – с особым рвением, – и греческое образование. Юношей окружали учителя грамматики, философии и красноречия, мало того – скульпторы, художники, объездчики, псари, наставники в искусстве охоты, – и все это были греки. И отец, если только его не отвлекали какие-либо общественные дела, всегда сам наблюдал за их уроками и упражнениями, и не было в Риме человека, который бы любил своих детей больше, чем Эмилий.

7. Что же касается государственных дел, то они обстояли следующим образом. Римляне вели войну с македонским царем Персеем и обвиняли полководцев в том, что своею неопытностью и малодушием они навлекают на отечество позор и насмешки и скорее сами терпят ущерб, нежели наносят его врагу. Ведь еще совсем недавно римляне вытеснили из Азии Антиоха, который носил прозвище "Великого", отбросили его за Тавр и заперли в Сирии, так что он был счастлив купить мир за пятнадцать тысяч талантов, а незадолго до того сокрушили в Фессалии Филиппа и избавили греков от власти македонян; наконец, они победили самого Ганнибала с которым ни один царь не смел равняться отвагою и могуществом, – и вдруг какой-то Персей сражается с ними, будто равный с равными, а сам между тем вот уже сколько времени держится лишь с остатками войска, уцелевшими после разгрома его отца! Они считали это позором для себя, не зная, что Филипп, потерпев поражение, значительно увеличил и укрепил македонские силы. Чтобы вкратце рассказать о том, как это случилось, я вернусь немного назад.

8. У Антигона, самого могущественного из Александровых военачальников и преемников, доставившего и себе самому и своему роду царский титул, был сын

Деметрий; у Деметрия, в свою очередь, был сын Антигон по прозвищу Гонат, а у того – Деметрий, который процарствовал недолгое время и умер, оставив еще совсем юного сына Филиппа. Опасаясь беспорядков, первые вельможи Македонии призвали Антигона, двоюродного брата умершего, женили его на матери Филиппа и сначала назначили опекуном государя и полководцем, а затем, убедившись в кротости и умеренности его нрава, видя пользу, которую его труды приносят государству, провозгласили царем. Этого Антигона прозвали Досоном[9], за то что он щедро давал обещания, но скупо их выполнял. Ему наследовал Филипп, который еще мальчиком почитался одним из величайших государей своего времени: надеялись, что он вернет Македонии ее прежнюю славу и, единственный, сможет противостать римской мощи, грозившей уже целому миру. Но, разбитый Титом Фламинином в большом сражении при Скотуссе[10], он был настолько сломлен и растерян, что сдался безоговорочно на милость римлян и радовался, когда ему удалось отделаться не слишком большой данью. Однако с течением времени он все более тяготился своим положением: считая, что править по милости римлян достойно скорее пленника, жадно цепляющегося за любое удовольствие, нежели храброго и разумного мужа, он вновь устремил все помыслы к войне и начал готовиться к ней, хитро скрывая свои истинные намерения. С этой целью, оставляя города при больших дорогах и на берегу моря обессиленными и почти пустыми, – чтобы не вызывать у римлян ни малейших опасений, – он накапливал в середине страны большие силы – собирал в крепостях, городах и на сторожевых постах оружие, деньги и крепких молодых людей; так постепенно он приближался к войне, но как бы скрывал ее в глубине Македонии. Оружия было запасено на тридцать тысяч человек, восемь миллионов медимнов хлеба надежно хранилось за стенами, а денег скопилось так много, что хватило бы на жалование десяти тысячам наемников в течение десяти лет. Но Филиппу так и не довелось увидеть всю эту громаду в движении и самому ввести ее в действие: он умер от скорби и уныния, когда узнал, что безвинно погубил одного из своих сыновей, Деметрия[11], по оговору другого сына – человека негодного и порочного.

Этот оставшийся в живых сын по имени Персей унаследовал вместе с царством ненависть к римлянам, но осуществить отцовские планы он был неспособен – по ничтожеству и испорченности своей натуры, среди различных изъянов и пороков которой первое место занимало сребролюбие. Говорят даже, что он не был кровным сыном Филиппа, но что супруга царя тайно взяла его новорожденным у его настоящей матери, некоей штопальщицы из Аргоса по имени Гнафения, и выдала за своего. Главным образом поэтому, надо думать, и погубил Деметрия Персей: пока в семье был законный наследник, легче могло открыться, что сам он – незаконнорожденный.

9. И все же, вопреки собственной низости и малодушию, самим размахом приготовлений он был вовлечен в войну и долгое время держался, успешно отражая натиск римлян – значительных сухопутных и морских сил с полководцами в ранге консула во главе, – а иной раз и беря над ними верх. Он разбил в конном сражении Публия Лициния, который первым вторгся в Македонию: две с половиной тысячи отборных воинов были убиты и шестьсот попали в плен. За-

тем он неожиданно напал на стоянку вражеских кораблей близ Орея и двадцать судов со всею поклажей захватил и увел, остальные же, груженные хлебом, пустил ко дну; кроме того, в его руках оказались четыре пентеры[12]. Второе сражение он дал бывшему консулу Гостилию, который пытался ворваться в Элимию, и повернул римлян вспять, а когда Гостилий задумал тайно проникнуть в Македонию через Фессалию, заставил его отказаться от этой мысли, угрожая новым сражением. Одновременно с этой войной, словно желая выказать презрение противнику, который оставляет ему так много досуга, он предпринял поход против дарданов, перебил десять тысяч варваров и взял богатую добычу. Исподволь он старался двинуть на римлян и галлов, которые обитали вдоль Истра (их зовут бастарнами[13]), – воинственное племя, славившееся своей конницей; подстрекал вступить в войну и иллирийцев, ведя переговоры через их царя Гентия. Были даже слухи, будто Персей подкупил варваров и они готовятся через нижнюю Галлию, берегом Адриатики, вторгнуться в пределы самой Италии.

10. Когда все эти вести дошли до Рима, было решено забыть о любезностях и посулах всех, притязавших на должность командующего, и поставить во главе войска человека благоразумного и искушенного в руководстве широкими начинаниями. Таким человеком был Павел Эмилий – уже пожилой (годы его близились к шестидесяти), но крепкий телом, имевший надежную поддержку в молодых зятьях и сыновьях, в многочисленных друзьях и влиятельных родичах, которые, все как один, убеждали его откликнуться на зов народа и принять консульство. Сначала Эмилий напустил на себя строгость и отклонял настояния толпы, делая вид, будто теперь власть ему не нужна, но граждане день за днем являлись к дверям его дома, громкими криками приглашая его на форум, и, в конце концов, он уступил. Едва он появился на Поле среди соискателей, у всех возникло такое чувство, словно не за консульством он пришел, но, напротив, сам принес гражданам залог победы и успеха в войне. Вот с какими надеждами и с каким воодушевлением его встретили и выбрали консулом во второй раз. Новым консулам не дали даже кинуть жребий, как бывает обыкновенно при распределении провинций, но сразу поручили Эмилию руководство Македонской войной.

Рассказывают, что после этого весь народ торжественно проводил его домой, и тут он застал свою маленькую дочь Терцию в слезах. Отец приласкал ее и спросил, чем она так огорчена. “Как же, отец, – отвечала девочка, обнимая и целуя его, – да ведь наш Персей умер!” (она имела в виду комнатную собачку, носившую кличку “Персей”). “В добрый час, дочка! – воскликнул Эмилий. – Да будут слова твои благим предзнаменованием!” Эту историю сообщает оратор Цицерон в книге “О гадании”[14].

11. В ту пору существовал обычай, по которому вновь избранные консулы держали на форуме речь перед народом, выражая ему признательность за внимание и доверие, но Эмилий, созвав граждан на собрание, сказал им, что первого консульства с домогался потому, что сам искал власти, второго, однако, – лишь потому, что ни ищут полководца. Поэтому он не обязан им ни малейшей признательностью, и если они сочтут, что кто-либо другой поведет войну луч-

ше, чем он, Эмилий, он охотно уступит этому человеку свое место; но коль скоро они подлинно доверяют ему, пусть не вмешиваются в дела командования, не распускают вздорных слухов и без всяких прекословий готовят для войны все необходимое. В противном же случае, если они намерены начальствовать над своим начальником, они окажутся во время похода в еще более жалком и смешном положении, нежели теперь. Этой речью он внушил гражданам и глубочайшее почтение к себе и твердую уверенность в будущем: все радовались, что, пренебрегши заигрываниями льстецов, выбрали полководца прямодушного и независимого. Столь послушным слугою добродетели и чести выказывал себя римский народ ради того, чтобы подняться над остальными народами и повелевать ими.

12. Что Эмилий Павел, отправившись к театру военных действий, счастливо и легко переплыл море и быстро, без всяких происшествий прибыл в свой лагерь, – я готов приписать благосклонности божества. Но, раздумывая над тем, как удачно завершилась эта война – благодаря, во-первых, его неукротимой отваге, во-вторых, дальновидным решениям, в-третьих, горячей поддержке друзей и, наконец, присутствию духа, ясности и твердости суждения в минуты крайней опасности, – раздумывая над этим, я не могу отнести славные, замечательные подвиги Эмилия на счет его счастливой судьбы (что было бы верно в применении к другим полководцам); разве что кто-нибудь скажет, что счастливой судьбой Эмилия обернулось сребролюбие Персея, которое разрушило надежды македонян и свело на нет все их блистательные и грозные приготовления, поскольку у царя не хватило духа расстаться со своими деньгами. Вот как это случилось. По просьбе Персея к нему на подмогу явились бастарны – десять тысяч всадников и при каждом по одному пехотинцу – все до одного наемники, люди, не умеющие ни пахать землю, ни плавать по морю, ни пасти скот, опытные в одном лишь деле и одном искусстве – сражаться и побеждать врага. Когда они разбили лагерь в Медике[15] и соединились с войсками царя – рослые, на диво ловкие и проворные, заносчивые, так и сыплющие угрозами по адресу неприятеля – они вселили в македонян бодрость и веру, что римляне не выстоят и дрогнут при одном только виде этих солдат и их перестроений на поле боя, ни с чем не схожих, внушающих ужас. Не успел Персей воодушевить и ободрить этими надеждами своих людей, как бастарны потребовали по тысяче золотых на каждого начальника, и мысль об этой груде денег помутила взор скупца, лишила его рассудка – он отказался от помощи, и отпустил наемников, точно не воевать собрался с римлянами, а вести их дела и готовился дать точнейший отчет в своих военных расходах как раз тем, против кого эта война начата. А ведь учителями его были все те же римляне, у которых, не считая всего прочего, было сто тысяч воинов, собранных воедино и всегда готовых к сражению. Но Персей, начиная борьбу против такой мощной силы, приступая к войне, которая требовала столько побочных затрат, судорожно пересчитывал и опечатывал свое золото, боясь коснуться его, точно чужого. И это делал не какой-нибудь лидиец или финикиец[16] родом, а человек, по праву родства притязавший на доблести Александра и Филиппа, которые неуклонно держались того убеждения, что власть и победа приобретаются за деньги, но не наоборот, – и покорили це-

лый мир! Даже пословица ходила, что греческие города берет не Филипп, а золото Филиппа. Александр[17], заметив во время индийского похода, что македоняне непомерно обременены персидскими сокровищами, которые они тащили с собою, сначала сжег свои повозки, а потом и остальных убедил поступить точно так же и идти навстречу боям налегке, словно освободившись от оков. Персей же, напротив, засыпав золотом себя самого, своих детей и царство, не пожелал спастись, пожертвовав малой толикой своих денег, но предпочел, вместе с неисчислимыми сокровищами, богатым пленником покинуть отечество, чтобы самолично показать римлянам, как много он для них скопил.

13. Он не ограничился тем, что обманул галлов и отправил их восвояси: подстрекнув иллирийца Гентия за триста талантов принять участие в войне, он приказал отсчитать и запечатать деньги в присутствии его посланцев, когда же Гентий, уверившись в том, что получил свою плату, решился на гнусное и страшное дело – задержал и заключил в тюрьму прибывших к нему римских послов, – Персей, рассудив, что теперь незачем тратить на Гентия деньги, поскольку он сам дал римлянам неопровержимые доказательства своей вражды и своим бессовестным поступком уже втянул себя в войну, лишил несчастного его трехсот талантов, а немного спустя равнодушно глядел на то, как претор Луций Аниций с войском изгнал Гентия вместе с женой и детьми из его царства, как сгоняют птицу с насиженного гнезда.

На такого-то противника и двинулся теперь Эмилий. Презирая самого Персея, он не мог не подивиться его мощи и тщательности приготовлений: у царя было четыре тысячи всадников и без малого сорок тысяч воинов в пешем строю. Он засел на берегу моря, у подножья Олимпа, в местности совершенно неприступной, а к тому же еще и укрепленной им отовсюду валами и частоколами, и чувствовал себя в полной безопасности, рассчитывая, что время и расходы истощат силы Эмилия. Последний был человеком живого ума и стал тщательнейшим образом взвешивать все способы и возможности приступить к делу. Замечая, однако, что войско, привыкшее в прошлом к распущенности, недовольно промедлением и что солдаты беспрестанно докучают начальникам нелепыми советами, он строго поставил им это на вид и приказал впредь не вмешиваться не в свои дела и не заботиться ни о чем другом, кроме собственного тела и оружия, дабы выказать свою готовность рубиться истинно по-римски, когда полководец найдет это своевременным. Ночным дозорам он велел нести службу без копий, полагая, что караульные будут зорче наблюдать и успешнее бороться со сном, если не смогут отразить нападения неприятеля.

14. Более всего римлян тяготила жажда: вода была лишь в немногих местах, скверная на вкус, да и та не текла, а скорее еле сочилась на самом берегу моря. Разглядывая вздымавшуюся над их лагерем громаду Олимпа, густо заросшего лесом, и по зелени листвы определив, что в недрах горы бьют источники, а ручьи сбегают вниз, так и не выходя на поверхность, Эмилий приказал пробить у подножья побольше отдушин и колодцев. Эти колодцы немедленно наполнились чистой водой – сдавленная со всех сторон, она стремительно хлынула в образовавшиеся пустоты.

Впрочем, некоторые держатся взгляда, что не существует скрытых водоемов в тех местах, откуда струятся воды, и что появление воды дóлжно рассматривать не как обнаружение или прорыв, но скорее как рождение влаги – превращение материи в жидкость: в жидкость превращаются стиснутые в недрах земли влажные испарения, которые, сгущаясь, приобретают текучесть. Подобно тому, как женские груди не наполняются, словно сосуды, уже готовым молоком, но, усваивая попавшую в них пищу, вырабатывают его и затем отцеживают, точно так же прохладные и обильные источниками места не таят в себе воды или особых вместилищ, которые бы своими запасами питали столько быстрых и глубоких рек, но обращают в воду пар и воздух, сжимая их и сгущая. Когда роют яму, земля под нажимом лопаты, словно женская грудь под губами сосущего младенца, выделяет больше влаги, смачивая и умягчая испарения, а те места, где почва лежит в праздном оцепенении, неспособны родить воду – там не достает движений, создающих жидкость.

Рассуждающие подобным образом дают людям, склонным к сомнению, основание для вывода, будто у живых существ нет крови, и она образуется лишь при ранениях, когда уплотняются некие ветры или, возможно, плавится и растворяется плоть. Эту точку зрения опровергает еще и то обстоятельство, что в подземных ходах и в рудниках попадаются настоящие реки, которые не собираются капля за каплей, как следовало бы ожидать, если бы они возникали в самый миг сотрясения земли, но льются потоком. Случается также, что из гор или скал, расколотых ударом, вырывается могучая струя воды, которая затем иссякает. Впрочем довольно об этом.

15. Несколько дней Эмилий пребывал в полном бездействии; говорят, что это единственный случай, когда два огромных войска, находясь в такой близости друг к другу, стояли так мирно и спокойно. Когда же, перепробовав и испытав все средства, Эмилий, наконец, узнал, что остается один неохраняемый проход в Македонию – через Перребию[18], близ Пифия и Петры, он созвал совет, скорее с надеждой думая о том, что проход не занят противником, нежели страшась явных невыгод этой позиции, из-за которых противник ее и не занял. Сципион, по прозвищу Назика, зять Сципиона Африканского, впоследствии пользовавшийся громадным влиянием в сенате, первым из присутствовавших вызвался принять на себя командование отрядом, который должен будет зайти неприятелю в тыл. Вторым поднялся и с жаром предложил свои услуги Фабий Максим, старший из сыновей Эмилия, в ту пору еще совсем юный. Эмилий весьма охотно дал им людей, но не в том количестве, которое называет Полибий[19], а в том, какое указывает сам Назика в письме к одному царю[20], – три тысячи италийцев-союзников и все свое левое крыло, состоявшее из пяти тысяч воинов.

Прибавив к этому сто двадцать всадников и двести человек из смешанного фракийско-критского отряда Гарпала, Назика двинулся по дороге к морю и разбил лагерь близ Гераклия, словно собираясь войти в плавание и высадиться в тылу у македонян. Но когда воины поужинали и наступила темнота, он открыл начальникам свой истинный замысел и ночью повел отряд в противоположном направлении, остановив его на отдых лишь немного не доходя Пифия.

В том месте высота Олимпа более десяти стадиев, как явствует из эпиграммы[21] измерившего ее:

Где под вершиной Олимпа стоит Аполлона Пифийца
Храм, этих гор высоту точно измерил отвес.
Полностью стадиев десять, да к ним еще надо прибавить
Плефр, но потом из него четверть одну исключить.
Путь этот был Ксенагором измерен, Эвмеловым сыном.
Шлю я привет тебе, царь! Милость свою мне даруй!

Правда, сведущие землемеры утверждают, будто нет гор выше, ни морей глубже десяти стадиев, однако мне кажется, что и Ксенагор делал свои измерения не кое-как, а по всем правилам искусства, применяя необходимые инструменты.

16. Там Назика оставался до утра. Тем временем к Персею, который ни о чем не подозревал, видя, что в лагере Эмилия все спокойно, явился критянин-перебежчик, бросивший Назику в пути, и сообщил царю, что римляне его обходят. Персей был испуган, однако с места не снялся и лишь отправил десять тысяч наемников и две тысячи македонян под командованием Милона с приказом как можно скорее занять перевал. Полибий говорит, что римляне застигли этот отряд во время сна, Назика же утверждает, что на вершинах завязался ожесточенный и кровавый бой, что на него ринулся какой-то фракийский наемник и он уложил своего противника, пробив ему грудь копьем, и, наконец, что враг был сломлен, Милон позорно бежал – безоружный, в одном хитоне, – а римляне, преследуя неприятеля и не подвергаясь сами ни малейшей опасности, спустились на равнину.

После этой неудачи Персей, объятый ужасом, разом лишившись всякой надежды, поспешно двинулся назад. И все же он видел себя перед необходимостью сделать выбор: либо остановиться у Пидны и попытать счастья в бою, либо расчленить свои силы и ждать неприятеля у стен нескольких городов одновременно, имея, однако, в виду, что коль скоро война вторгнется в пределы страны, изгнать ее оттуда без большого кровопролития будет невозможно. Но численное превосходство по-прежнему было на его стороне, и он мог предполагать, что воины будут храбро сражаться, защищая своих детей и жен, особенно на глазах у царя, в первых рядах разделяющего с ними опасность. Такими доводами ободряли Персея друзья. И вот, разбив лагерь, он стал готовиться к сражению, осматривал местность, назначал задания начальникам, чтобы сразу же, едва только римляне покажутся, двинуться им навстречу. Рядом была и равнина, что благоприятствовало передвижениям фаланги, которые требуют совершенно гладкого места, и тянущиеся непрерывной чередою холмы, за которыми легковооруженные пехотинцы могли укрыться или совершить неожиданный для врага поворот. Протекавшие посредине речки Эсон и Левк, хотя и не очень глубокие в ту пору года (лето приближалось к концу[22]), все же, по-видимому, должны были оказаться препятствием на пути римлян.

17. Соединившись с Назикой, Эмилий выстроил воинов в боевой порядок и двинулся на македонян. Увидев их построение и численность, он остановился в растерянности и задумался. Молодые военачальники, которым не терпелось по-

меряться силами с неприятелем, подъезжали к нему и просили не медлить, а больше всех – Назика, которому успех на Олимпе придал самонадеянности. Но Эмилий ответил, улыбаясь: "Да, будь я еще в твоих летах... Но многочисленные победы объясняют мне ошибки побежденных и не велят с ходу нападать на изготовившуюся к бою фалангу". После этого он приказал передним рядам, находившимся у неприятеля перед глазами, стать по манипулам, образовав своего рода боевую линию, а тем, кто двигался в конце колонны, – повернуться кругом и приступить к сооружению рва и частокола для лагеря. К ним, отходя, непрерывно присоединялись все новые группы воинов, и таким образом Эмилию удалось, избегнув какого бы то ни было замешательства, ввести всех своих людей в лагерь, неприметным образом распустив боевую линию.

Пришла ночь, воины после ужина располагались на отдых и готовились ко сну, как вдруг луна, полная и стоявшая высоко в небе, потемнела, померкла, изменила свой цвет и, наконец, исчезла вовсе. И в то время, как римляне, призывая луну снова засиять, по своему обыкновению стучали в медные щиты и сосуды и протягивали к небу пылавшие головни и факелы, македоняне держались совсем по-иному: лагерь их был объят страхом и тревогой, потихоньку пополз слух, будто это знамение предвещает гибель царя.

Эмилий обладал некоторыми сведениями о законах затмений[23], в силу которых луна через определенные промежутки времени попадает в тень земли и остается невидимой до тех пор, пока не минует темного пространства и пока солнце снова ее не осветит, но, благоговейно чтя богов, часто принося им жертвы и зная толк в прорицаниях, он, едва лишь заметил первые лучи освобождающейся от мрака луны, заколол в ее честь одиннадцать телят. На рассвете он принес в жертву Гераклу двадцать быков, одного за другим, но благоприятные предзнаменования явились лишь с двадцать первым животным[24], обещав римлянам победу в том случае, если они будут защищаться. И вот, посулив богу сто быков и священные игры, Эмилий приказал военным трибунам строить войско к бою, а сам, сидя в палатке, обращенной в сторону равнины и неприятельского лагеря, стал ждать, пока солнце повернет и склонится к закату, чтобы его лучи во время сражения не били римлянам прямо в лицо.

18. Бой начался уже под вечер по почину врагов и, как сообщают иные, благодаря хитрой выдумке Эмилия: римляне выпустили на македонян невзнузданного коня, те погнались за ним, и началась первая стычка. Но другие говорят, что фракийцы под командованием Александра совершили нападение на римский обоз с сеном, а на них в свою очередь яростно бросились семьсот лигурийцев. С обеих сторон стали подходить значительные подкрепления, и сражение закипело. Эмилий, точно кормчий, уже по этим первым бурным колебаниям обоих станов предвидя, какие размеры примет предстоящая битва, вышел из палатки и, обходя легионы, стал ободрять солдат, а Назика на коне поспешил туда, где летели копья и стрелы, и увидел, что в деле участвует почти вся македонская армия. Впереди шли фракийцы, вид которых, по словам самого Назики, внушил ему настоящий ужас: огромного роста, с ярко блиставшими щитами, в сияющих поножах, одетые в черные хитоны, они потрясали тяжелыми железными мечами, вздымавшимися прямо вверх над правым плечом. Рядом с фра-

кийцами находились наемники, они были вооружены неодинаково и смешаны с пеонийцами. За ними помещалась третья линия, состоявшая из самих македонян, – отборные воины, в расцвете лет и мужества, сверкавшие позолоченными доспехами и новыми пурпурными одеждами. В то время как они занимали свое место в строю, из-за укреплений показались ряды воинов с медными щитами, и равнина наполнилась ярким блеском железа и сиянием меди, а горы загудели от крика и громогласных взаимных увещаний. Так отважно и быстро устремились они вперед, что первые убитые пали не больше чем в двух стадиях от римского лагеря.

19. Битва уже завязалась, когда появился Эмилий и увидел, что македоняне в первых линиях успели вонзить острия своих сарисс[25] в щиты римлян и, таким образом, сделались недосягаемы для их мечей. Когда же и все прочие македоняне по условленному сигналу разом отвели щиты от плеча и, взяв копья наперевес, стойко встретили натиск римлян, ему стала понятна вся сила этого сомкнутого, грозно ощетинившегося строя; никогда в жизни не видел он ничего более страшного и потому ощутил испуг и замешательство, и нередко впоследствии вспоминал об этом зрелище и о впечатлении, которое оно оставило. Но тогда, скрыв свои чувства, он с веселым и беззаботным видом без шлема и панциря объезжал поле сражения. Что же касается македонского царя, то он, как сообщает Полибий[26], в первый же час битвы оробел и ускакал в город – якобы для того, чтобы совершить жертвоприношение Гераклу, но этот бог не принимает жалких жертв от жалких трусов и глух к неправедным молитвам. И в самом деле, несправедливо, чтобы не стреляющий попадал в цель, одержал победу пустившийся в бегство, или вообще – бездельник преуспевал, а негодяй благоденствовал! Молитвам же Эмилия бог внял: ведь он молился об успехе в войне и о победе, держа в руке копье, и призывал бога на помощь, сам доблестно сражаясь.

Впрочем, некий Посидоний, сообщающий о себе, что был участником событий того времени, и написавший обширную историю Персея, утверждает, будто царь удалился не из трусости и не ссылался ни на какое жертвоприношение, но что накануне лошадь копытом повредила ему голень. В разгар боя Персей, невзирая на свое недомогание и не слушая советов друзей, приказал подать вьючную лошадь и, сев на нее верхом, присоединился к сражающимся. Панциря на нем не было, и так как с обеих сторон тучами летели копья, дротики и стрелы, одно копье, сплошь железное, угодило в царя, правда, не острием, а скользнувши вдоль левого бока, но с такой силой, что разорвало на нем хитон и оставило на теле легкий кровоподтек; этот след от удара сохранился надолго. Вот что рассказывает Посидоний в оправдание Персея.

20. Римляне никакими усилиями не могли взломать сомкнутый строй македонян, и тогда Салий, предводитель пелигнов[27], схватил значок своей когорты[28] и бросил его в гущу врагов. Пелигны дружно устремились к тому месту, где он упал (покинуть знамя у италийцев считается делом преступным и нечестивым), и тут обе стороны выказали крайнее ожесточение и, обе же, понесли жестокий урон. Одни пытались мечами отбиться от сарисс, или пригнуть их к земле щитами, или оттолкнуть в сторону, схватив голыми руками, а другие, еще крепче стиснув свои копья, насквозь пронзали нападающих, – ни щиты, ни панцири не могли защитить от удара сариссы, – и бросали высоко вверх, выше головы, тела

пелигнов и марруцинов, которые, потеряв рассудок и озверев от ярости, рвались навстречу вражеским ударам и верной смерти. Таким образом первые ряды бойцов были истреблены, а стоявшие за ними подались назад; хотя настоящего бегства не было, все же римляне отошли до горы Олокр, и тогда Эмилий, по словам Посидония, разорвал на себе тунику, ибо, видя, что те отступили и что фаланга, окруженная отовсюду густой щетиной сарисс, неприступна, точно лагерь, пали духом и прочие римляне. Но поскольку местность была неровной, а боевая линия очень длинной, строй не мог оставаться равномерно сомкнутым, и в македонской фаланге появились многочисленные разрывы и бреши, что как правило случается с большим войском при сложных перемещениях сражающихся, когда одни части оттесняются назад, а другие выдвигаются вперед; заметив это, Эмилий поспешно подъехал ближе и, разъединив когорты, приказал своим внедриться в пустые промежутки неприятельского строя и вести бой не против всей фаланги в целом, а во многих местах, против отдельных ее частей. Эмилий дал эти наставления начальникам, а те – солдатам, и как только римляне проникли за ограду вражеских копий, ударяя в незащищенные крылья или заходя в тыл, сила фаланги, заключавшаяся в единстве действий, разом иссякла и строй распался, а в стычках один на один или небольшими группами македоняне, безуспешно пытаясь короткими кинжалами пробить крепкие щиты римлян, закрывавшие даже ноги, и своими легкими щитами оборониться от их тяжелых мечей, насквозь рассекавших все доспехи, – в этих стычках македоняне были обращены в бегство.

21. Бой был жестокий. Среди прочих в нем участвовал и Марк, сын Катона[29] и зять Эмилия, который выказал чудеса храбрости, но потерял свой меч. Юноша, воспитанный со всем возможным тщанием, сознающий свой долг перед великим отцом и желающий дать ему великие доказательства собственной доблести, он решил, что недостоин жизни тот, кто сохранит ее, оставив в добычу врагу свое оружие; пробегая по рядам и видя друга или близкого человека, он каждому рассказывал о своей беде и просил помощи. Набралось немало храбрых охотников, под предводительством Марка они пробились в первые ряды сражающихся и бросились на противника. После яростной схватки, в которой многие пали и многие были ранены, они оттеснили македонян и, очистив место от врага, принялись искать меч. Насилу найдя его под грудами оружия и трупов, они, вне себя от радости запев пеан, с еще бóльшим воодушевлением ударили на остатки продолжавшего сопротивляться неприятеля. В конце концов три тысячи отборных воинов, не покинувших своего места в строю, были истреблены все до одного, прочие же обратились в бегство, и началась страшная резня: и равнина, и предгорье были усеяны трупами, а воды Левка даже на следующий день, когда римляне переходили реку, были красны от крови. Сообщают, что македонян было убито больше двадцати пяти тысяч. Римлян, по словам Посидония, пало сто человек, по словам же Назики, – восемьдесят.

22. Эту величайшего значения битву римляне выиграли с удивительной быстротой: началась она в девятом часу, и не было десяти, как судьба ее уже решилась[30], остаток дня победители преследовали беглецов, неотступно гоня их на протяжении ста двадцати стадиев, и потому вернулись лишь поздно вечером. Ра-

бы с факелами выходили им навстречу и под радостные крики отводили в палатки, ярко освещенные и украшенные венками из плюща и лавра. Но сам полководец был в безутешном горе: из двух сыновей, служивших под его командой, бесследно исчез младший, которого он любил больше всех и который – Эмилий это видел – от природы превосходил братьев величием духа. Отец подозревал, что пылкий и честолюбивый юноша, едва успевший войти в возраст[31], погиб, замешавшись по неопытности в самую гущу неприятеля. Его опасения и тревога стали известны всему войску; солдаты прервали свой ужин, схватили факелы, и кинулись одни к палатке Эмилия, другие – за укрепления, чтобы искать тело среди павших в первые минуты боя. Весь лагерь охватило уныние, равнина загудела от крика: "Сципион! Сципион!" – ведь римляне горячо любили этого мальчика, который более, нежели любой из его родичей, редким сочетанием духовных качеств с самого начала обещал вырасти в замечательного полководца и государственного мужа. Поздно вечером, когда уже не оставалось почти никаких надежд, он неожиданно возвратился из погони вместе с двумя или тремя товарищами, весь в свежей крови врагов – словно породистый щенок, которого упоение победой заводит иной раз слишком далеко. Это тот самый Сципион, что впоследствии разрушал Карфаген и Нумантию и намного превосходил всех без изъятия тогдашних римлян доблестью и могуществом. Так Судьба, отложив до другого раза злое воздаяние за этот успех, позволила Эмилию в полной мере насладиться победой.

23. Персей бежал из Пидны в Пеллу, его сопровождала конница, которая не понесла почти никакого урона в сражении. Но когда всадников настигли пехотинцы и стали осыпать их бранью, обвиняя в трусости и измене, стаскивать с коней и избивать, царь испугался, свернул с дороги и, желая остаться незамеченным, снял багряницу и положил ее перед собой на седло, а диадему взял в руки. В конце концов, он даже сошел с коня и повел его в поводу – чтобы легче было беседовать с друзьями. Но один из друзей прикинулся, будто у него развязалась сандалия, другой – что ему надо напоить коня, третий – что сам хочет пить, и так, мало-помалу, все они отстали и разбежались, страшась не римлян, а крутого нрава Персея: ожесточенный несчастием, он только искал, на кого бы свалить свою вину за поражение. Когда же, прибыв ночью в Пеллу, он встретился с казначеями Эвктом и Эвлеем и те своими укорами, сожалениями, а также несвоевременно откровенными советами до того разозлили царя, что он выхватил короткий меч и заколол обоих, подле Персея не осталось никого, кроме критянина Эвандра, этолийца Архедама и беотийца Неона. Из воинов за ним следовали теперь только критяне: не то, чтобы они питали особое расположение к царю, нет, они просто упорно липли к его сокровищам, точно пчелы к сотам. Дело в том, что он вез с собою большие богатства, из которых критяне с молчаливого его согласия расхитили чаши, кратеры и иную драгоценную утварь, – всего на пятьдесят талантов. Однако добравшись до Амфиполя, а затем и до Галепса и немного поуспокоившись, он снова поддался врожденному и старейшему своему недугу – скупости, стал плакаться друзьям, что-де по небрежению позволил нескольким золотым сосудам, принадлежавшим еще Александру Великому, попасть в руки критян, и со слезами заклинал новых владельцев вер-

нуть полученное и взять взамен деньги. Те, кто знал его достаточно хорошо, сразу поняли, что он намерен сыграть с критянами шутку на критский же манер[32], но кое-кто поверил и остался ни с чем: он не только не заплатил им денег, но, сам выманив у друзей тридцать талантов (которым вскорости суждено было достаться врагу), отплыл на Самофракию и припал к алтарю кабиров[33] с мольбою о защите и убежище.

24. Говорят, что македоняне всегда славились любовью к своим царям, но тут они сами сдались Эмилию и в течение двух дней отдали во власть римлян всю страну – так дом, когда подломились опоры, рушится до самого основания. Это, видимо, подкрепляет точку зрения тех, кто приписывает подвиги Эмилия счастливой судьбе. Божественным знамением были, бесспорно, и обстоятельства, сопровождавшие жертвоприношение в Амфиполе: священнодействие уже началось, как вдруг в алтарь ударила молния и, воспламенивши жертву, заколотую Эмилием, сама завершила обряд. Но все доказательства благосклонности к нему богов и судьбы превосходит то, что рассказывают о молве про эту его победу. На четвертый день после поражения Персея под Пидной народ в Риме смотрел конные состязания, и вдруг в передних рядах театра заговорили о том, будто Эмилий в большой битве разгромил Персея и покорил всю Македонию. Эта новость, быстро сделавшись всеобщим достоянием, вызвала в народе рукоплескания и радостные крики, которые не прекращались в течение всего дня. Но поскольку надежного источника слухов обнаружить не удалось и казалось, что, неизвестно откуда взявшись, они просто переходят из уст в уста, молва угасла и затихла. Когда же, спустя немного дней, пришло уже достоверное сообщение, все дивились тому, первому, которое было одновременно и ложным и истинным.

25. Рассказывают, что и о битве италиотов при реке Сагре стало в тот же день известно на Пелопоннесе, равно как в Платеях – о битве с персами при Микале[34]. Вскоре после победы, которую римляне одержали над Тарквиниями, выступившими против них в союзе с латинянами, в город прибыли из лагеря два высоких и красивых воина, чтобы возвестить о случившемся. Вероятно, это были Диоскуры. Первый, кто встретил их на форуме подле источника, где они вываживали взмокших от пота коней, изумился, услышав весть о победе. Тогда они, спокойно улыбаясь, коснулись рукой его бороды, и тотчас волосы из черных сделались рыжими. Это внушило доверие к их речам, а недоверчивому римлянину доставило прозвище Агенобарба, что значит "Меднобородый". Оценить по достоинству такие рассказы заставляют и события нашего времени. Когда Антоний[35] восстал против Домициана и Рим был в смятении, ожидая большой войны с германцами, неожиданно и без всякого повода в народе заговорили о какой-то победе, и по городу побежал слух, будто сам Антоний убит, а вся его армия уничтожена без остатка. Доверие к этому известию было так сильно, что многие из должностных лиц даже принесли жертвы богам. Затем все же стали искать первого, кто завел эти речи, и так как никого не нашли, – следы вели от одного к другому, и наконец, терялись в толпе, словно в безбрежном море, не имея, по-видимому, никакого определенного начала, – молва в городе быстро умолкла; Домициан с войском выступил в поход, и уже в пути ему встретился

гонец с донесением о победе. И тут выяснилось, что слух распространился в Риме в самый день успеха, хотя от места битвы до столицы более двадцати тысяч стадиев[36]. Это известно каждому из наших современников.

26. Гней Октавий, командовавший у Эмилия флотом, подошел к Самофракии и хотя из почтения к богам не нарушил неприкосновенности Персеева убежища, но принял все меры, чтобы тот не мог ускользнуть. Тем не менее Персей сумел тайно уговорить некоего критянина по имени Ороанд, владельца крохотного суденышка, взять его на борт вместе со всеми сокровищами. А тот, как истый критянин, сокровища ночью погрузил, царю же вместе с детьми и самыми доверенными слугами велел прийти на следующую ночь в гавань близ храма Деметры, но сам еще под вечер снялся с якоря. Тяжко было Персею, когда ему, а вслед за ним жене и детям, не знавшим прежде, что такое горе и скитания, пришлось протискиваться сквозь узкое окошко в стене, но куда более тяжкий стон испустил он на берегу, когда кто-то ему сказал, что видел Ороанда уже далеко в море. Начало светать, и, окончательно расставшись со всеми надеждами, он с женою поспешил обратно к стене; римляне, правда, заметили их, но схватить не успели. Детей он сам поручил заботам некоего Иона, который когда-то был возлюбленным царя, но теперь оказался изменником, что главным образом и вынудило Персея отдаться в руки врагов – ведь даже дикий зверь покорно склоняется перед тем, кто отобрал у него детенышей.

Более всего Персей доверял Назике, и с ним хотел вести переговоры, но Назика был далеко, и, проклявши свою судьбу, царь уступил необходимости и сдался Октавию. В этих обстоятельствах яснее ясного обнаружилось, что гнуснейший из его пороков – не сребролюбие, а низкое жизнелюбие, из-за которого он сам лишил себя единственного права, дарованного судьбою побежденным, – права на сострадание. Он попросил, чтобы его доставили к Эмилию, и тот, видя в Персее великого человека, претерпевшего горестное, судьбою ниспосланное падение, заплакал, поднялся с места и вместе с друзьями вышел ему навстречу. Но Персей – о, позорнейшее зрелище! – упал ниц и, касаясь руками его колен, разразился жалостными криками и мольбами. Эмилий не в силах был слушать, но, с огорчением и неприязнью взглянув на царя, прервал его: "Затем ты это делаешь, несчастный, зачем снимаешь с судьбы самое веское из обвинений, доказывая, что страдаешь по справедливости и что не теперешняя, а прежняя твоя участь тобою не заслужена?! Зачем ты принижаешь мою победу и чернишь успех, открывая низкую душу недостойного римлян противника?! Доблесть потерпевшего неудачу доставляет ему истинное уважение даже у неприятеля, но нет в глазах римлян ничего презреннее трусости, даже если ей сопутствует удача!"

27. Тем не менее он поднял Персея с земли, протянул ему руку и передал пленника Туберону, а сам повел к себе в палатку сыновей, зятьев и других начальников (главным образом из числа молодых), сел и долго молчал, погруженный в свои думы. Все смотрели на него с изумлением; наконец он заговорил – о судьбе и делах человеческих: "Должно ли такому существу, как человек, в пору, когда ему улыбается счастье, гордиться и чваниться, покоривши народ, или город, или царство, или же, напротив, поразмыслить над этой превратностью

судьбы, которая, являя воителю пример всеобщего нашего бессилия, учит ничто не считать постоянным и надежным? Есть ли такой час, когда человек может чувствовать себя спокойно и уверенно, раз именно победа заставляет более всего страшиться за свою участь и одно воспоминание о судьбе, вечно куда-то спешащей и лишь на миг склоняющейся то к одному, то к другому, способно отравить всякую радость? Неужели, за какой-то миг бросив к своим ногам наследие Александра, который достиг высочайшей вершины могущества и обладал безмерною властью, неужели, видя, как цари, еще совсем недавно окруженные многотысячною пехотой и конницей, получают ежедневное пропитание из рук своих врагов, – неужели после всего этого вы станете утверждать, будто наши удачи нерушимы пред лицом времени? Нет, молодые люди, оставьте это пустое тщеславие и похвальбу победою, но с неизменным смирением и робостью вглядывайтесь в будущее, ожидая беды, которою воздаст каждому из вас божество за нынешнее благополучие". Долго еще говорил Эмилий в том же духе и отпустил юношей не прежде, нежели, точно уздою, смирил их надменность своими резкими словами.

28. Затем он предоставил войску отдых, а сам отправился осматривать Грецию, воспользовавшись своим досугом и со славою и с подлинным человеколюбием. Приезжая в город, он облегчал участь народа, устанавливал наилучший способ правления и оделял одних хлебом, а других маслом из царских хранилищ. Найденные в них запасы были, говорят, так велики, что число нуждающихся подошло к концу скорее, нежели истощились эти запасы. В Дельфах он увидел высокую, белого камня колонну, которая должна была послужить основанием[37] для золотой статуи Персея, и распорядился воздвигнуть на ней свое собственное изображение, сказав, что побежденные должны уступать место победителям. В Олимпии, как сообщают, он произнес слова, которые с тех пор у каждого на устах: что-де Фидий изобразил Зевса таким, каким описал его Гомер[38].

Тем временем из Рима прибыло посольство (числом десять человек[39]), и Эмилий возвратил македонянам их землю и города, разрешил им жить свободно и по собственным законам, и лишь обязал платить римлянам подать в сто талантов, то есть более чем вдвое меньше, нежели они платили своим царям. Он устраивал всевозможные состязания, приносил жертвы богам, задавал пиры и обеды, без труда покрывая расходы за счет царской казны и обнаруживая столько заботы о порядке, благовидности, радушном приеме и должном размещении гостей, о том, чтобы каждому были оказаны честь и дружелюбие в точном соответствии с его заслугами, что греки только дивились, как он находит время для забав и, занимаясь важнейшими государственными делами, не оставляет без наблюдения и дела маловажные. Несмотря на щедрость и пышность приготовлений, наиболее лакомым блюдом для приглашенных и отраднейшим для их взоров зрелищем бывал сам Эмилий, и это доставляло ему немалую радость; вот почему, когда изумлялись его усердию и стараниям, он отвечал, что устроить пир и выстроить боевую линию – задачи весьма сходные: первый должен быть как можно приятнее в глазах гостей, вторая – как можно страшнее в глазах врагов. Не менее горячо его хвалили за бескорыстие и великодушие: он не пожелал даже взглянуть на груды серебра и золота, которые извлекли из цар-

ских сокровищниц, но передал все квесторам для пополнения общественной казны. Он только разрешил сыновьям, большим любителям книг, забрать себе библиотеку царя и, распределяя награды за храбрость, дал своему зятю Элию Туберону чашу весом в пять фунтов. Это тот самый Туберон, о котором мы уже упоминали и который жил вместе с пятнадцатью своими родичами на доходы от одного маленького поместья. Говорят, это был первый серебряный предмет в доме Элиев, и принесла его к ним доблесть и оказанный доблести почет; до тех пор ни они сами, ни их жены никогда и не думали о серебряной или золотой утвари.

29. Благополучно покончив с делами Греции, Эмилий возвратился в Македонию и тут получил предписание сената отдать на разграбление воинам, участвовавшим в войне против Персея, эпирские города. Он призвал македонян помнить, что свободу им даровали римляне, призвал беречь свою свободу, строго выполняя законы и храня меж собою согласие, и двинулся в Эпир. Намереваясь совершить нападение неожиданно и повсюду в один час, он вызвал к себе из каждого города по десяти самых почтенных и уважаемых мужей и приказал им, чтобы все серебро и золото, хранившееся в храмах и частных домах, было в назначенный день собрано и выдано. С каждой из этих депутаций он отправил солдат во главе с центурионом – словно бы караульных, которым поручено разыскивать и принимать золото. Когда наступил указанный день, эти воины, все разом, ринулись грабить, так что в течение часа было обращено в рабство сто пятьдесят тысяч человек и разорено семьдесят городов, но в результате столь гибельного и всеобщего опустошения на долю каждого солдата пришлось не более одиннадцати драхм. Всех привел в ужас такой исход войны: достояние целого народа, размененное по мелочам, обернулось ничтожным прибытком в руках победителей.

30. Исполнив это поручение сената, в высшей степени противное его натуре, снисходительной и мягкой, Эмилий спустился в Орик. Оттуда он переправился с войском в Италию и поплыл вверх по Тибру на царском корабле с шестнадцатью рядами гребцов, пышно украшенном вражеским оружием, пурпурными тканями и коврами, так что римляне, которые несметными толпами высыпали из города и шли по берегу вровень с судном, медленно продвигавшимся против течения, в какой-то мере уже заранее насладились зрелищем триумфа.

Но воины, с вожделением взиравшие на царские сокровища, считая, что они получили меньше, чем заслуживают, втайне кипели злобою на Эмилия именно по этой причине, вслух же обвиняли его в том, что, командуя ими, он проявил суровость настоящего тиранна, и были не слишком склонны поддержать его просьбу о триумфе. Заметив это, Сервий Гальба, который был врагом Эмилия, хоть и служил у него военным трибуном, дерзнул открыто заявить, что триумф Эмилию давать не следует. Он распустил среди солдат множество клеветнических слухов об их полководце и тем еще сильнее разжег ненависть к нему, а народных трибунов просил перенести слушание дела назавтра: до конца дня оставалось всего четыре часа, которых, по словам Гальбы, для обвинения было недостаточно. Трибуны, однако, велели ему, если у него есть что сказать, говорить немедленно, и он начал пространную, наполненную всевозможными поношениями речь, которая тянулась до самых сумерек. Наконец совсем стемнело, и

трибуны распустили собрание, а солдаты, осмелев, собрались вокруг Гальбы, сговорились и на рассвете заняли Капитолий, где народные трибуны решили возобновить собрание на следующий день.

31. Утром началось голосование, и первая триба подала голос против триумфа. Это стало известно остальным трибам и сенату, и народ был до крайности опечален оскорблением, которое наносят Эмилию, но лишь громко роптал, не решаясь что бы то ни было предпринять. Однако знатнейшие сенаторы кричали, что творится страшное дело, и призывали друг друга положить предел наглости и бесчинству солдат, которые не остановятся перед любым беззаконием или насилием, если никто и ничто не помешает им лишить Павла Эмилия победных почестей. Держась все вместе, они пробились сквозь толпу, поднялись на Капитолий и выразили желание, чтобы трибуны прервали подачу голосов, пока они не выскажут народу то, что намерены ему сообщить. Когда все угомонились и наступила тишина, вперед вышел Марк Сервилий, бывший консул, сразивший в поединках двадцать три неприятеля, и сказал, что лишь теперь он до конца уразумел, какой великий полководец Эмилий Павел, если с таким испорченным и разнузданным войском он совершил столь прекрасные и великие подвиги, и, что он, Сервилий, не может понять, почему римляне, восторженно праздновавшие победу над иллирийцами и лигурами, теперь отказывают себе в удовольствии увидеть воочию царя македонян и всю славу Александра и Филиппа, павшую пред римским оружием. "Слыханное ли дело, – продолжал он, – прежде, когда до города докатилась лишь смутная молва о победе, вы принесли жертвы богам и молили их о том, чтобы слух поскорее подтвердился, а когда прибыл сам полководец, привезя победу с собою, вы лишаете богов почестей, а себя радости, точно боитесь взглянуть на величие достигнутого вами или щадите противника! И все же было бы лучше, если бы сострадание к врагу расстроило триумф, но не зависть к главнокомандующему. Между тем, – воскликнул он, – злоба, вашими стараниями, забрала такую силу, что о заслугах полководца и о триумфе осмеливается разглагольствовать человек без единого шрама на теле, гладкий и лоснящийся от беззаботной жизни, и где? – перед нами, которых бесчисленные раны научили судить о достоинствах и недостатках полководцев!" С этими словами он широко распахнул одежду и показал собранию невероятное множество шрамов на груди; затем повернулся и открыл некоторые части тела, которые не принято обнажать на людях. "Что, тебе смешно? – крикнул он, обращаясь к Гальбе. – А я ими горжусь перед согражданами, ради которых не слезал с коня день и ночь, зарабатывая эти язвы и рубцы! Ладно, веди их голосовать, а я спущусь, и пойду следом, и узнаю, кто те неблагодарные мерзавцы, которым больше по душе, чтобы военачальник умел льстить и заискивать, нежели командовать!"

32. Эта речь, как сообщают, поубавила у солдат спеси и столь резко изменила их настроение, что все трибы дали Эмилию свое согласие на триумф. И вот как он был отпразднован. Народ в красивых белых одеждах заполнил помосты, сколоченные в театрах для конных ристаний (римляне зовут их "цирками") и вокруг форума и занял все улицы и кварталы, откуда можно было увидеть шествие. Двери всех храмов распахнулись настежь, святилища наполнились венка-

ми и благовонными курениями; многочисленные ликторы и служители расчищали путь, оттесняя толпу, запрудившую середину дороги, и останавливая тех, кто беспорядочно метался взад и вперед. Шествие было разделено на три дня[40], и первый из них едва вместил назначенное зрелище: с утра дотемна на двухстах пятидесяти колесницах везли захваченные у врага статуи, картины и гигантские изваяния. На следующий день по городу проехало множество повозок с самым красивым и дорогим македонским оружием; оно сверкало только что начищенной медью и железом и, хотя было уложено искусно и весьма разумно, казалось нагроможденным без всякого порядка: шлемы брошены поверх щитов, панцири – поверх поножей, критские пельты, фракийские герры[41], колчаны – вперемешку с конскими уздечками, и груды эти ощетинились обнаженными мечами и насквозь проткнуты сариссами. Отдельные предметы недостаточно плотно прилегали друг к другу, а потому, сталкиваясь в движении, издавали такой резкий и грозный лязг, что даже на эти побежденные доспехи нельзя было смотреть без страха. За повозками с оружием шли три тысячи человек и несли серебряную монету в семистах пятидесяти сосудах; каждый сосуд вмещал три таланта и требовал четырех носильщиков. За ними шли люди, искусно выставляя напоказ серебряные чаши, кубки, рога и ковши, отличавшиеся большим весом и массивностью чеканки.

33. На третий день, едва рассвело, по улицам двинулись трубачи, играя не священный и не торжественный напев, но боевой, которым римляне подбадривают себя на поле битвы. За ними вели сто двадцать откормленных быков с вызолоченными рогами, ленты и венки украшали головы животных. Их вели на заклание юноши в передниках с пурпурной каймой, а рядом мальчики несли серебряные и золотые сосуды для возлияний. Далее несли золотую монету, рассыпанную, подобно серебряной, по сосудам вместимостью в три таланта каждый. Число их было семьдесят семь. Затем шли люди, высоко над головою поднимавшие священный ковш, отлитый, по приказу Эмилия, из чистого золота, весивший десять талантов, и украшенный драгоценными камнями, а также антигониды, селевкиды[42], чаши работы Ферикла и золотую утварь со стола Персея. Далее следовала колесница Персея с его оружием; поверх оружия лежала диадема. А там, чуть позади колесницы, вели уже и царских детей в окружении целой толпы воспитателей, учителей и наставников, которые плакали, простирали к зрителям руки и учили детей тоже молить о сострадании. Но дети, – двое мальчиков и девочка, – по нежному своему возрасту еще не могли постигнуть всей тяжести и глубины своих бедствий. Тем бóльшую жалость они вызывали простодушным неведением свершившихся перемен, так что на самого Персея почти никто уже и не смотрел – столь велико было сочувствие, приковавшее взоры римлян к малюткам. Многие не в силах были сдержать слезы, и у всех это зрелище вызвало смешанное чувство радости и скорби, которое длилось, пока дети не исчезли из вида.

34. Позади детей и их прислужников шел сам царь в темном гиматии и македонских башмаках; под бременем обрушившегося на него горя он словно лишился рассудка и изумленно озирался, ничего толком не понимая. Его сопровождали друзья и близкие; их лица были искажены печалью, они плакали и не

спускали с Персея глаз, всем своим видом свидетельствуя, что скорбят лишь о его судьбе, о своей же не думают и не заботятся. Царь посылал к Эмилию просить, чтобы его избавили от участия в триумфальной процессии. Но тот, по-видимому, насмехаясь над его малодушием и чрезмерной любовью к жизни, ответил: "В чем же дело? Это и прежде зависело от него, да и теперь ни от кого иного не зависит – стоит ему только пожелать!.." Эмилий недвусмысленно намекал, что позору следует предпочесть смерть, но на это несчастный не решился, теша себя какими-то непонятными надеждами, и вот – стал частью у него же взятой добычи.

Далее несли четыреста золотых венков, которые через особые посольства вручили Эмилию города, поздравляя его с победой. И наконец на великолепно убранной колеснице ехал сам полководец – муж, который и без всей этой роскоши и знаков власти был достоин всеобщего внимания; он был одет в пурпурную, затканную золотом тогу, и держал в правой руке ветку лавра. Все войско, тоже с лавровыми ветвями в руках, по центуриям и манипулам, следовало за колесницей, распевая по старинному обычаю насмешливые песни, а также гимны в честь победы и подвигов Эмилия. Все прославляли его, все называли счастливцем, и никто из порядочных людей ему не завидовал. Но существует, вероятно, некое божество, удел коего – умерять чрезмерное счастье и так смешивать жребии человеческой жизни, дабы ни одна не осталась совершенно непричастною бедствиям и дабы, по слову Гомера[43], самыми преуспевающими казались нам те, кому довелось изведать и худшие и лучшие дни.

35. У Эмилия было четыре сына; двое, Сципион и Фабий, вошли, как я уже говорил, в другие семьи, двое остальных, которые родились от второй жены и были еще подростками, воспитывались в доме отца. Один из них скончался за пять дней до триумфа Эмилия на пятнадцатом году, другой, двенадцатилетний, умер вслед за братом через три дня после триумфа, и не было среди римлян ни единого, который бы не сострадал этому горю, – все ужасались жестокости судьбы, не постыдившейся внести такую скорбь в дом счастья, радости и праздничных жертвоприношений и примешать слезы и причитания к победным гимнам триумфа.

36. Однако Эмилий справедливо рассудил, что мужество и стойкость потребны людям не только против сарисс и другого оружия, но равным образом и против всяческих ударов судьбы, и так разумно повел себя в этом сложном стечении обстоятельств, что дурное исчезло в хорошем и частное – во всеобщем, не унизив величия победы и не оскорбив ее достоинства. Едва успев похоронить сына, умершего первым, он, как уже было сказано, справил триумф, а когда после триумфа умер второй, он созвал римский народ и произнес перед ним речь – речь человека, который не сам ищет утешения, но желает утешить сограждан, удрученных его бедою. Он сказал, что никогда не боялся ничего, зависящего от рук и помыслов человеческих, но что из божеских даров неизменный страх у него вызывала удача – самое ненадежное и переменчивое из всего сущего, – особенно же во время последней войны, когда удача, точно свежий попутный ветер, способствовала всем его начинаниям, так что всякий миг он ожидал какой-нибудь перемены или перелома. "Отплыв из Брундизия, – продолжал он, –

я за один день пересек Ионийское море и высадился на Керкире. На пятый день после этого я принес жертву богу в Дельфах, а еще через пять дней принял под свою команду войско в Македонии. Совершив обычные очищения, я сразу же приступил к делу и в течение следующих пятнадцати дней самым успешным образом закончил войну. Благополучное течение событий усугубляло мое недоверие к судьбе, и так как неприятель был совершенно обезврежен и не грозил уже никакими опасностями, более всего я боялся, как бы счастье не изменило мне в море, на пути домой – вместе со всем этим огромным и победоносным войском, с добычей и пленным царским семейством. Но этого не случилось, я прибыл к вам целым и невредимым, весь город радовался, ликовал и приносил богам благодарственные жертвы, а я по-прежнему подозревал судьбу в коварных умыслах, зная, что никогда не раздает она людям свои великие дары безвозмездно. Мучаясь в душе, стараясь предугадать будущее нашего государства, я избавился от этого страха не прежде, чем лютое горе постигло меня в моем собственном доме и, в эти великие дни, я предал погребению моих замечательных сыновей и единственных наследников – обоих, одного за другим... Теперь главная опасность миновала, я спокоен и твердо надеюсь, что судьба пребудет неизменно к вам благосклонной: бедствиями моими и моих близких она досыта утолила свою зависть к нашим успехам в Македонии и явила в триумфаторе не менее убедительный пример человеческого бессилия, нежели в жертве триумфа, – с тою лишь разницей, что Персей, хотя и побежденный, остался отцом, а Эмилий, его победитель, осиротел".

37. Вот какую благородную, возвышенную речь, как говорят, произнес перед народом Эмилий, и слова его были искренни и непритворны. Но для Персея, которому Эмилий сочувствовал и всячески пытался помочь, ему не удалось сделать почти ничего: царя только перевели из так называемого "каркера" [carcer][44] в место почище и стали обращаться с ним чуть менее сурово, но из-под стражи не освободили, и, как сообщает бóльшая часть писателей, он уморил себя голодом. Впрочем, по некоторым сведениям, он окончил жизнь странным и необычным образом. Воины, его карауливщие, по какой-то причине не взлюбили Персея и, не находя иного способа ему досадить, не давали узнику спать: они зорко следили за ним, стоило ему забыться хотя бы на миг, как его тотчас будили и с помощью всевозможнейших хитростей и выдумок заставляли бодрствовать, пока, изнуренный вконец, он не испустил дух. Умерли и двое его детей. Третий, Александр, который, как говорят, был весьма искусен в резьбе по дереву, выучился латинскому языку и грамоте и служил писцом у должностных лиц, считаясь прекрасным знатоком своего дела.

38. Подвиги в Македонии высоко ценятся, в то же время, и как величайшее благодеяние Эмилия простому народу, ибо он внес тогда в казну столько денег, что не было нужды взимать с граждан подать вплоть до консульства Гирция и Пансы[45], которые исполняли должность во время первой войны Антония с Цезарем. И примечательная особенность: при всей благосклонности, при всем уважении, которые питал к нему народ, Эмилий был приверженцем аристократии и никогда ни словом ни делом не угождал толпе, но при решении любого вопроса государственной важности неизменно присоединялся к самым знатным и мо-

гущественным. Впоследствии это дало Аппию повод бросить резкий упрек Сципиону Африканскому. Оба они в ту пору пользовались в Риме наибольшим влиянием, и оба притязали на должность цензора. Один имел на своей стороне аристократию и сенат (которым с давних времен хранил верность род Аппиев), а другой, хотя был велик и могуществен сам по себе, во всех обстоятельствах полагался на любовь и поддержку народа. Как-то раз Сципион явился на форум в сопровождении нескольких вольноотпущенников и людей темного происхождения, но горластых площадных крикунов, легко увлекающих за собой толпу и потому способных коварством и насилием достигнуть чего угодно. Увидев его, Аппий громко воскликнул: "Ах, Эмилий Павел, как не застонать тебе в подземном царстве, видя, что твоего сына ведут к цензуре глашатай Эмилий и Лициний Филоник!"

Сципион пользовался благосклонностью народа за то, что безмерно его возвеличивал; но и к Эмилию, несмотря на его приверженность аристократии, простой люд питал чувства не менее горячие, нежели к самому усердному искателю расположения толпы, готовому во всем ей угождать. Это явствует из того, что, кроме всех остальных почестей, римляне удостоили его и цензуры – должности, которая считается самой высокой из всех и облекает огромною властью, между прочим, властью вершить надзор за нравами граждан. Цензоры изгоняют из сената тех, кто ведет неподобающую жизнь, объявляют самого достойного первым в сенатском списке и могут опозорить развратного молодого человека, отобрав у него коня. Кроме того, они следят за оценкой имущества и за податными списками. При Эмилии в них значилось триста тридцать семь тысяч четыреста пятьдесят два человека, первым в сенате был объявлен Марк Эмилий Лепид, занявший это почетное место уже в четвертый раз, и лишь трое сенаторов, ничем себя не прославивших, исключены из сословия. Такую же умеренность Эмилий и его товарищ по должности Марций Филипп выказали и в отношении всадников.

39. Бóльшая часть самых важных дел была уже завершена, когда Эмилий внезапно захворал. Сначала состояние его было тяжелым, потом опасность миновала, но болезнь оставалась мучительной и упорной. По совету врачей он уехал в Элею Италийскую и там прожил долгое время в своем поместье на берегу моря в тишине и покое. Римляне тосковали по нему, и часто в театрах раздавались крики, свидетельствовавшие об их упорном желании снова его увидеть. Однажды предстояло жертвоприношение, настоятельно требовавшее его присутствия, и так как Эмилий чувствовал себя уже достаточно окрепшим, он вернулся в Рим. Вместе с другими жрецами он принес жертву, окруженный ликующей толпой, а назавтра снова совершил жертвоприношение, на этот раз один, в благодарность богам за свое исцеление. Закончив обряд, он возвратился к себе, лег в постель и тут неожиданно, даже не осознав, не почувствовав совершившейся перемены, впал в беспамятство, лишился рассудка и на третий день скончался[42], достигнув в жизни всего, что, по общему убеждению, делает человека счастливым. Сами похороны его достойны восхищения: ревностное участие всех собравшихся почтило доблесть покойного самыми прекрасными и завидными погребальными дарами. То было не золото, не слоновая кость, не показ-

ная пышность убранства, но душевная склонность, почтение и любовь не только сограждан, но и противников. Все испанцы, лигуры и македоняне, сколько их ни было тогда в Риме, собрались вокруг погребального одра, молодые и сильные подняли его на плечи и понесли, а люди постарше двинулись следом, называя Эмилия благодетелем и спасителем их родной земли. И верно, не только в пору побед римского полководца узнали все они его кротость и человеколюбие, нет, и впоследствии, до конца своей жизни, он продолжал заботиться о них и оказывать им всевозможные услуги, точно родным и близким.

Наследниками своего состояния, которое, как сообщают, не превышало трехсот семидесяти тысяч, он оставил обоих сыновей, но младший, Сципион, уступил всю свою долю брату, поскольку сам был принят более богатым домом Сципиона Африканского.

Таковы, судя по различным рассказам, были жизнь и нрав Павла Эмилия.



ТИМОЛЕОНТ

1. Положение дел в Сиракузах до посылки Тимолеонта в Сицилию было таково. Когда Дион, изгнавший тиранна Дионисия, вскорости после этого был коварно убит, между сторонниками Диона, вместе с ним освободившими Сиракузы, начались раздоры, и бесчисленные бедствия едва вконец не опустошили город, непрерывно менявший одного тиранна на другого[1], войны уже успели разорить и обезлюдить чуть ли не всю Сицилию, бо́льшая часть городов находилась в руках собравшихся отовсюду варваров и не получающих жалования солдат, которые нисколько не возражали против частой смены властей. И вот, спустя девять лет, Дионисий собрал наемников, сверг Нисея, правившего тогда Сиракузами, и опять сделался тиранном, и, если прежде казалось невероятным, что столь незначительная сила могла сокрушить самую неколебимую из всех когда-либо существовавших тиранний, еще более невероятным было это новое превращение жалкого изгнанника в господина и владыку тех, кто его изгнал. Сиракузяне, которые остались в городе, сделались рабами тиранна, – и вообще-то нравом не кроткого, а тут еще до крайности ожесточившегося в бедах, – меж тем как самые лучшие и знатные граждане обратились к Гикету, правителю Леонтин[2], отдались под его покровительство и выбрали своим военачальником – не потому, что он был лучше других тираннов, но потому, что иного выхода они не видели, а Гикет сам был родом сиракузянин и обладал достаточными силами для борьбы с Дионисием; итак, они доверились Гикету.

2. В это время большой флот карфагенян подошел к берегам Сицилии, и над островом нависла тяжкая угроза; испуганные сицилийцы решили отправить по-

сольство в Грецию, к коринфянам, и просить их о помощи, не только полагаясь на свое с ними родство[3] и помня о многочисленных благодеяниях, которые и прежде оказывал им Коринф, но зная, что этот город всегда отличался любовью к свободе и ненавистью к тирании и что он неоднократно вел жесточайшие войны не ради собственного владычества или обогащения, а ради свободы греков. Так как Гикет взял на себя командование, помышляя не о свободе сиракузян, а о тираннической власти над ними, он тайно вступил в переговоры с карфагенянами, но для вида во всеуслышание восхвалял решение сиракузян и одновременно с ними отправил посольство в Пелопоннес; разумеется, он отнюдь не желал, чтобы оттуда пришла помощь, но надеялся, что если коринфяне, занятые смутами и беспорядками в самой Греции, откажут просителям, – а этого вполне можно было ожидать, – он тем легче переметнется на сторону карфагенян и воспользуется услугами новых союзников в войне, но не против тиранна, а против сиракузян. Все эти замыслы немного спустя вышли наружу.

3. Когда посольство прибыло, коринфяне, неизменно проявлявшие заботу о своих колониях, а больше всего – о Сиракузах, и по счастливой случайности в ту пору не принимавшие участия в распрях между греками, но жившие в мире и покое, охотно постановили помочь сицилийцам. Стали думать, кого назначить полководцем, и должностные лица предлагали различных граждан, желавших прославиться, как вдруг поднялся кто-то из простого народа и назвал Тимолеонта, сына Тимодема, – человека, уже отошедшего от общественных дел и не питавшего ни надежд, ни склонности снова к ним вернуться, так что, вероятно, имя это было произнесено по наитию свыше: столь очевидно и незамедлительно проявилось благоволение судьбы к этому избранию, столь неизменно сопровождали ее милости все начинания Тимолеонта, украшая природную его доб лесть.

Он был сыном именитых родителей – Тимодема и Демаристы, отличался любовью к отечеству и необыкновенною кротостью нрава, но ненавидел тираннию и порок. Качества воина сочетались в нем так прекрасно и равномерно, что юношей он обнаруживал не меньше благоразумия, нежели стариком – отваги. У Тимолеонта был старший брат Тимофан, нисколько на него не похожий – безрассудный, испорченный страстью к единодержавию (эту страсть внушили ему дурные друзья и наемники-чужеземцы, постоянно его окружавшие), но в боях стремительный и отчаянно смелый. Этим он привлек к себе внимание сограждан, которые, полагаясь на его воинственность и предприимчивость, несколько раз назначали его командующим. В исполнении должности ему помогал Тимолеонт: промахи брата он скрывал или сильно преуменьшал, а то, что было в нем от природы привлекательного, выставлял вперед и всячески возвеличивал.

4. Во время битвы коринфян с аргивянами[4] и клеонийцами, когда Тимолеонт сражался в рядах гоплитов, Тимофан, командовавший конницей, попал в беду: его конь был ранен и сбросил хозяина прямо в гущу врагов, бо́льшая часть его спутников в ужасе рассеялась, а немногие оставшиеся, отражая натиск многочисленного противника, уже едва держалась. Заметив это, Тимолеонт бросился на подмогу и, прикрыв распростертого на земле Тимофана щитом, подставил

под удары свои доспехи и само тело; весь израненный стрелами и мечами, он тем не менее отбросил нападавших и спас брата.

Когда же коринфяне, опасаясь, как бы им снова не потерпеть насилия от собственных союзников и снова не потерять своего города[5], решили держать на службе четыреста наемников и начальником отряда назначили Тимофана, последний, забыв о чести и справедливости, тотчас стал принимать меры к тому, чтобы подчинить город своей власти, казнил без суда многих виднейших граждан и, в конце концов, открыто провозгласил себя тиранном. Для Тимолеонта это было настоящей мукой, низкий поступок брата он считал своим личным несчастьем и сначала сам уговаривал Тимофана расстаться с безумным и несчастным увлечением и найти какой-нибудь способ загладить свою вину перед согражданами, а когда тот высокомерно отверг все его увещания, выждал несколько дней и опять явился к тиранну, на этот раз приведя с собою из родственников – Эсхила, шурина Тимофана, а из друзей – некоего прорицателя, которого Феопомп называет Сатиром, а Эфор и Тимей Орфагором; втроем они обступили Тимофана и умоляли его хотя бы теперь опомниться и изменить образ действий. Тимофан вначале насмехался над ними, но потом разгневался и вышел из себя, и тогда Тимолеонт отошел немного в сторону и, покрыв голову заплакал, а двое остальных обнажили мечи и уложили тиранна на месте[6].

5. Слух об этом быстро разнесся по Коринфу, и лучшие граждане хвалили Тимолеонта за силу духа и ненависть к пороку – за то, что при всей своей доброте и любви к близким он тем не менее предпочел отечество семье, честь и справедливость – собственным интересам и спас брата, когда тот храбро сражался за родину, но убил его, когда тот коварно замыслил лишить ее свободы. Те же, кто не выносил демократического правления, кто привык ловить взоры властителя, делали вид, будто радуются смерти тиранна, но Тимолеонта осуждали, называли его поступок нечестивым и гнусным и этим повергли его в глубокое уныние. А когда, узнав, что и мать безутешно горюет и призывает на его голову страшные и грозные проклятия, он пошел к ней, чтобы ее утешить, она же не захотела его видеть и заперла перед ним двери дома, Тимолеонт окончательно пал духом, тронулся в уме и решил уморить себя голодом, но друзья помешали его намерению, пустили в ход все средства убеждения и насилия, и в конце концов он согласился остаться жить, но – в полном одиночестве; и вот, бросив все государственные дела, он первое время даже не показывался в городе, но, тоскуя и сокрушаясь, бродил по самым безлюдным местам.

6. Вот каким образом решения, – если только они не черпают устойчивость и силу в философии и доводах рассудка, – уже осуществившись, могут быть легко поколеблены случайными похвалами и порицаниями или даже вовсе лишаются своих внутренних оснований. Надо, по-видимому, чтобы и само действие было прекрасным и справедливым, и суждение, из которого оно проистекает, – прочным и неизменным, вот тогда мы действуем вполне осознанно и, если по нашей слабости яркое представление о красоте завершенного дела меркнет, не приходим в отчаяние, точно обжоры, которые с необыкновенной жадностью спешат набить глотку всевозможными яствами, но очень скоро наедаются до отвала и начинают испытывать отвращение к пище. Раскаяние способно и прекрасный

поступок превратить в постыдный, меж тем как осмотрительно и твердо сделанный выбор не меняется даже в случае неуспеха самого предприятия. Вот почему афинянин Фокион, постоянно выступавший против начинаний Леосфена[7], когда тот, казалось, одержал верх над врагом, сказал, глядя, как афиняне приносят жертвы и хвастаются победой: "Быть виновником этого торжества я бы хотел, но высказать иное суждение, чем прежде, ни за что не хотел бы". Еще решительнее выразился друг Платона, локриец Аристид. Дионисий Старший попросил у него в жены[8] одну из дочерей, тот ответил, что охотнее увидит девушку мертвой, нежели замужем за тиранном, и тогда Дионисий немного спустя умертвил детей Аристида и, глумясь над отцом осведомился, все ли еще он придерживается прежнего мнения касательно выдачи замуж своих дочерей. "Я скорблю о случившемся, – заявил Аристид, – но в словах своих не раскаиваюсь". Такое поведение свидетельствует о редком нравственном величии и совершенстве.

7. Мука, которую терпел Тимолеонт, – было ли то сожаление об убитом или стыд перед матерью, – до такой степени сломила и сокрушила его дух, что без малого двадцать лет он не принимал участия ни в едином общественном деле. Но когда было произнесено его имя, а народ охотно принял это предложение и проголосовал за него, поднялся Телеклид, в ту пору самый известный и влиятельный среди граждан Коринфа, и призвал Тимолеонта выполнить свой долг, как подобает храброму и благородному человеку. "Если ты выдержишь испытание, – сказал он, – мы будем считать тебя тиранноубийцей, не выдержишь – братоубийцей".

В то время как Тимолеонт готовился к отплытию и собирал войско, к коринфянам пришло послание от Гикета, обнаружившее его измену и предательство. Сразу после отправки посольства он открыто примкнул к карфагенянам и вместе с ними боролся против Дионисия, чтобы, изгнав его, самому сделаться тиранном Сиракуз. Опасаясь, что с преждевременным прибытием из Коринфа войска и полководца все его надежды могут рухнуть, он написал коринфянам послание, которое гласило, что им вовсе ни к чему принимать на себя хлопоты и затраты – незачем снаряжать опасный морской поход в Сицилию прежде всего по той причине, что этому воспрепятствуют карфагеняне, многочисленные суда которых преградят путь их флоту; сам же он, Гикет, поскольку коринфяне мешкали, был-де вынужден вступить с карфагенянами в союз против тиранна. Если до тех пор иные из коринфян с некоторой прохладой относились к походу, то это письмо так всех ожесточило против Гикета, что каждый охотно помогал Тимолеонту и вместе с ним старался ускорить отплытие.

8. Суда были уже готовы и воины снабжены всем необходимым, когда жрицам Персефоны приснился сон, будто богини[9] собираются в путь и говорят, что поплывут с Тимолеонтом в Сицилию. Поэтому коринфяне снарядили еще один корабль – священную триеру – и нарекли его именем обеих богинь. Сам Тимолеонт отправился в Дельфы принести жертвы богу, и когда он спускался в прорицалище, ему было знамение. С одного из развешанных по стенам приношений слетела повязка[10], расшитая венками и изображениями Победы, и упала на голову Тимолеонту, точно сам Аполлон увенчивал его, посылая на подвиги.

Итак с семью коринфскими кораблями, двумя керкирскими и десятым, предоставленным в его распоряжение левкадийцами[11], Тимолеонт пустился в плавание. Ночью, когда, пользуясь попутным ветром, он вышел в открытое море, небо над его судном внезапно будто разверзлось и оттуда вырвалось огромное и яркое пламя. Из него возник факел, похожий на те, какие носят во время мистерий, он двигался вместе с флотом и с такою же скоростью и опустился как раз в той части Италии, куда направляли путь кормчие. Прорицатели объявили, что это явление подтверждает вещий сон жриц и что свет в небесах явили богини, самолично участвующие в походе. Ведь Сицилия посвящена Персефоне: там, по преданию, она была похищена, и этот остров стал ее брачным даром.

9. Божественные знамения внушали бодрость всему флоту, который пересекал море, спеша к берегам Италии. Но вести из Сицилии приводили Тимолеонта в замешательство, а воинов погружали в уныние. Гикет, разбив Дионисия в сражении, овладел большею частью Сиракуз, загнал тиранна в крепость и на так называемый Остров[12] и осаждал его там, возведя вокруг стену, карфагенянам же советовал позаботиться о том, чтобы Тимолеонт не смог высадиться в Сицилии, внушая им, что, отразив коринфян, они спокойно поделят между собою остров. Карфагеняне отправили в Регий двадцать триер, на которых плыли и послы Гикета к Тимолеонту. Они везли с собою речи, заранее составленные и соответствовавшие поступкам пославшего их: то были благовидные отговорки и увертки, под которыми скрывались коварные замыслы. Тимолеонту, если он того пожелает, предлагалось одному прибыть к Гикету в качестве советника и разделить с ним все его успехи, а суда и воинов отправить обратно в Коринф, так как война-де уже почти завершена, а карфагеняне не дадут ему совершить высадку и встретят его с оружием в руках, если он попытается нарушить этот запрет силой. Когда коринфяне, прибыв в Регий, застали там это посольство и увидели пунийцев, стоящих на якоре неподалеку, они сочли себя оскорбленными, всех охватил гнев против Гикета и страх за сицилийцев, которые, как они ясно видели, обречены были стать наградою и платой Гикету за предательство, а карфагенянам – за помощь в установлении тираннии. Казалось невозможным одолеть ни находившийся здесь, в Регии, флот варваров, численностью вдвое превосходивший коринфский, ни там, в Сицилии, – сухопутные силы Гикета, которые коринфяне прежде рассчитывали принять под свою команду.

10. Тем не менее Тимолеонт встретился с послами и с карфагенскими начальниками и заявил им, что, разумеется, подчинится их требованиям, – ведь всякое сопротивление бесполезно! – но, прежде чем удалиться, хотя бы выслушает их условия и ответить на них в присутствии граждан Регия – греческого города, одинаково дружески расположенного к обеим сторонам: для него, Тимолеонта, это будет залогом безопасности, а карфагеняне тем вернее выполнят свои обещания касательно сиракузян, если свидетелем соглашения будет народ Регия. Тимолеонт сделал это предложение лишь для отвода глаз, замыслив перевезти своих людей втайне от противника, причем все власти Регия были с ним заодно: они желали, чтобы верх в Сицилии одержали коринфяне, и страшились соседства варваров. Итак, созвав Народное собрание и приказав запереть ворота, чтобы никакие посторонние дела не отвлекали граждан, должностные лица вышли

к собравшимся и, сменяя друг друга, стали произносить длиннейшие речи все на одну и ту же тему и с одною целью – оттянуть время, пока не снимутся с якоря коринфские триеры, и удержать в Народном собрании карфагенян, которые ни о чем не подозревали, видя рядом с собою Тимолеонта, делавшего вид, будто и он вот-вот поднимется и начнет говорить. Когда же кто-то шепнул ему, что все триеры уже отошли от берега и осталось только судно самого Тимолеонта, которое его ждет, он незаметно, с помощью регийцев, толпившихся вокруг возвышения для оратора, затерялся в гуще народа, спустился к морю и поспешно отплыл. Так коринфский флот пришел к сицилийскому городу Тавромению и был гостеприимно встречен властителем города Андромахом, уже давно приглашавшим к себе коринфян. Этот Андромах был отцом историка Тимея и, бесспорно, самым лучшим из тогдашних сицилийских властителей; он справедливо правил согражданами, строго соблюдал законы и всегда открыто выказывал свою вражду и отвращение к тираннам. Вот почему он разрешил Тимолеонту воспользоваться Тавромением как исходною точкой для боевых действий и убедил граждан помогать коринфянам и вместе с ними принять участие в освобождении Сицилии.

11. После отъезда Тимолеонта Народное собрание было распущено, и карфагеняне, возмущаясь тем, что их обманули, дали повод позабавиться гражданам Регия, которые притворно недоумевали, как может хитрость не радовать пунийцев[13]. В Тавромений была отправлена триера с послом, который долго говорил с Андромахом и грубо, как настоящий варвар, угрожал ему, требуя, чтобы он в кратчайший срок заставил коринфян уйти, а под конец вытянул руку ладонью вверх, перевернул ее и сказал: "То же будет и с твоим городом". В ответ Андромах только рассмеялся и, в точности повторив движение варвара, посоветовал ему поскорее отчалить, если он не желает, чтобы то же случилось и с его судном.

Узнав о высадке Тимолеонта, Гикет в страхе призвал на помощь множество карфагенских триер. Тут сиракузяне вовсе отчаялись в своем спасении, видя, что гавань их захвачена карфагенянами, городом владеет Гикет, а в крепости засел Дионисий, Тимолеонт же едва держится в Сицилии, зацепившись за такую жалкую полоску земли, как городишко Тавромений; его надежды на будущее весьма сомнительны, а силы ничтожны: все, что у него есть, – это тысяча воинов и необходимое для них продовольствие. И города не питали к нему доверия: измученные бесконечными несчастьями, они были ожесточены против всех полководцев без изъятия, главным образом из-за коварства Каллиппа и Фарака. Первый был афинянин, второй – спартанец, и оба утверждали, будто прибыли восстановить свободу и низвергнуть единодержавных правителей, однако они доказали сицилийцам, что бедствия тираннии – это еще золото, и внушили им уверенность, что умершие в дни рабства счастливее доживших до независимости.

12. Полагая, что и коринфский военачальник ничуть не лучше тех, что и он привез к ним старые приманки и рассчитывает с помощью добрых надежд и щедрых обещаний склонить их к перемене господина, сицилийцы отнеслись к предложениям коринфян с подозрением и отвергли их; лишь адраниты, жители

маленького городка, посвященного богу Адрану[14], которого высоко чтут по всей Сицилии, разошлись во мнениях, и одни призвали Гикета с карфагенянами, а другие обратились к Тимолеонту. И случилось так, что оба поспешили откликнуться и прибыли одновременно. Но с Гикетом пришли пять тысяч воинов, тогда как у Тимолеонта было не больше тысячи двухсот человек. Он вел их из Тавромения, отстоящего от Адрана на триста сорок стадиев, и в первый день, пройдя небольшую часть пути, заночевал, на следующий же день, напрягши все силы, сделал длинный и трудный переход и уже под вечер получил известие, что Гикет подступил к городку и разбивает лагерь. Лохаги и таксиархи остановили было передних, чтобы воины, поев и отдохнув, храбрее дрались в предстоящем бою, но Тимолеонт просил их этого не делать, а поскорее вести войско вперед – тогда они захватят врасплох неприятеля, который теперь, без сомнения, отдыхает с дороги и занят палатками и ужином. С этими словами он поднял щит и сам повел солдат, словно уже видя перед глазами победу. А те бесстрашно двинулись за ним и, пройдя еще около тридцати стадиев, отделявших их от противника, неожиданно ударили на него. Едва завидев их, люди Гикета пришли в смятение и бросились бежать; убито было около трехсот человек, взято в плен вдвое больше и захвачен лагерь. Адраниты открыли Тимолеонту ворота и объявили, что присоединяются к нему, а потом со страхом и изумлением рассказали, что, когда началась битва, священные двери храма сами собой распахнулись и многие видели, как дрожало острие копья бога, а по лицу его обильно струился пот.

13. По-видимому, знамение предвещало не только ту победу, но и последовавшие за нею успехи, которым битва при Адране положила счастливое начало. Тотчас города начали посылать к Тимолеонту послов и переходить на его сторону; свою помощь предложил ему и тиранн Катаны Мамерк, человек воинственный, богатый и могущественный. А что важнее всего – сам Дионисий, простившись со своими надеждами и держась из последних сил, но презирая Гикета за позорное поражение, Тимолеонтом же восхищаясь, вступил с последним в переговоры и выразил намерение сдаться ему и коринфянам и сдать крепость. Воспользовавшись неожиданной удачей, Тимолеонт отправил к нему в крепость двух коринфян, Эвклида и Телемаха, с четырьмястами воинов – не всех разом и не открыто (это было невозможно, так как в гавани стоял неприятель), но тайно, небольшими отрядами. Эти воины заняли крепость и дворец тиранна со всеми запасами и военным снаряжением. В крепости оказалось немалое число лошадей, машины всех видов, множество метательных снарядов, хранившееся там с давних пор оружие, которого хватило бы на семьдесят тысяч человек, и, наконец, две тысячи воинов Дионисия; воинов он, как и все прочее, передал Тимолеонту, а сам, забрав деньги, тайком от Гикета, с немногими друзьями, отплыл. Он прибыл в лагерь Тимолеонта и, впервые потеряв мужество, в качестве частного лица, был отправлен в Коринф на одном-единственном судне, с небольшою суммою денег, – он, человек, родившийся и воспитанный при дворе величайшего из тираннов, сам владевший тираннической властью в течение десяти лет[15], следующие двенадцать лет – после похода Диона – проведший в сражениях и войнах и претерпевший бедствия еще более горькие, нежели то зло, которое творил сам,

будучи тиранном. Ему пришлось стать свидетелем того, как его взрослых сыновей убили, растлили девушек-дочерей, а сестру, бывшую вместе с тем и его женой, гнуснейшим образом изнасилованную врагами, с малыми детьми утопили в море. Подробно об этом говорится в жизнеописании Диона[16].

14. Когда Дионисий приплыл в Коринф, не было в Греции человека, который бы не стремился увидеть его и с ним поговорить. Одни радовались его несчастьям и с чувством злобного удовлетворения приходили словно для того, чтобы топтать ногами низвергнутого судьбою; другие, тронутые этой переменой, жалели его и дивились великой силе скрытых божественных начал, столь явно оказывающей себя в человеческой слабости и беспомощности. И верно, в ту пору ни природа, ни искусство не являли ничего подобного тому, что сотворила судьба: тот, кто еще недавно был тиранном Сицилии, теперь, в Коринфе, бродил на рынке по рыбным рядам, сидел в лавке у торговца благовониями, пил вино, смешанное рукою кабатчика[17], переругивался у всех на глазах с продажными бабенками, наставлял певиц и до хрипоты спорил с ними о строе театральных песен. Кое-кто полагал, что Дионисий ведет такую жизнь от скуки или по врожденному легкомыслию и необузданности, но другие были уверены, что он не хочет внушать коринфянам страх или подозрение, будто тяготится переменою своей участи и снова жаждет власти, а потому старается вызвать презрение к себе и прикидывается, вопреки своей природе, совершеннейшим глупцом и ничтожеством.

15. Тем не менее сохранились некоторые его высказывания, свидетельствующие о том, что в сложившихся обстоятельствах он держал себя не без достоинства. Например, сойдя на берег в Левкаде, которая, как и Сиракузы, была основана коринфянами, он заметил, что испытывает то же чувство, какое бывает у набедокуривших юнцов: они охотно проводят время с братьями, но стыдятся и избегают общества родителей – так вот и он, совестясь города-матери, с удовольствием бы остался жить здесь, с левкадцами.

Или еще пример. В Коринфе какой-то чужеземец, грубо подтрунивавший над знакомством Дионисия с философами, которого тот неизменно искал, пока был тиранном, спросил, наконец, что дала ему мудрость Платона. "Неужели тебе кажется, что я ничего не взял от Платона, если так спокойно переношу превратности судьбы?" – в свою очередь спросил его Дионисий.

А музыканту Аристоксену и еще нескольким людям, осведомлявшимся, что ставил он в упрек Платону[18] и с чего начались эти упреки, Дионисий ответил: «Тиранния преисполнена множества зол, но нет среди них большего, нежели то, что ни один из так называемых "друзей" не говорит с тобою откровенно. По их вине я и лишился расположения Платона».

Один из тех, кто желал прослыть за остроумца, в насмешку над Дионисием встряхивал, входя к нему, свой гиматий[19] – ведь он входил к тиранну! – а тот, отвечая на насмешку насмешкой, советовал ему делать это выходя: тогда мол будет ясно, что он ничего не стянул.

Как-то раз на пирушке Филипп Македонский[20], издеваясь, завел речь о песнях и трагедиях, которые оставил Дионисий Старший, и притворно недоумевал, когда же у него находился для этого досуг. "Как раз тогда, когда ты, я и все про-

чие, кого почитают счастливыми, сидели за вином", – не без остроумия ответил Дионисий.

Платон не встретился с Дионисием в Коринфе – к тому времени он уже умер. Но Диоген Синопский, увидев его в первый раз, воскликнул: "Сколь эта жизнь не заслужена тобой, Дионисий!" "Спасибо тебе, Диоген, – отвечал тот, остановившись, – что ты сострадаешь нам в наших бедствиях". "Как? – отозвался Диоген. – Ты вообразил, будто я тебе сочувствую?! Напротив – я возмущен: такой отличный раб, вполне достойный того, чтобы, подобно отцу, состариться и умереть во дворце тиранна, забавляется и веселится здесь, вместе с нами!"

Вот почему, когда я сравниваю все это с воплями Филиста, оплакивающего дочерей Лептина[21], которым-де пришлось променять "великие блага" тиранний на жалкую нужду, его слова кажутся мне причитаниями женщины, горюющей об утраченных алебастровых сосудах, пурпуровых одеждах и золотых украшениях. Мы полагаем, что неторопливый и сосредоточенный читатель не сочтет такие подробности бесполезными или неуместными в жизнеописаниях.

16. В той же мере, в какой несчастье Дионисия представлялось неожиданным, вызывали изумление успехи Тимолеонта. Не прошло и пятидесяти дней после его высадки в Сицилии, как он уже овладел крепостью Сиракуз и отправил тиранна в Пелопоннес. Коринфяне, воодушевленные таким началом, посылают ему две тысячи гоплитов и двести всадников; добравшись до Фурий и видя, что переправиться в Сицилию невозможно – множество карфагенских кораблей бороздили море во всех направлениях – и что придется ждать удобного случая, они употребляют это время на прекрасное и достойное дело: граждане Фурий выступили в поход против бруттиев, и коринфяне, приняв город под охрану, берегли его безукоризненно честно, будто собственную отчизну.

Гикет тем временем продолжал осаду крепости, не давая судам противника подвозить продовольствие находившимся там коринфянам, а к Тимолеонту в Адран подослал двух наемников, которые должны были предательски его убить: Тимолеонт и вообще не держал при себе телохранителей, а тут, в надежде на попечение бога, беспечно и открыто разгуливал по городу. Узнав случайно, что он готовится принести жертву, убийцы спрятали под гиматиями кинжалы, явились прямо в храм и замешались в толпу, окружавшую жертвенник. Постепенно они придвигались все ближе и уже готовы были подать друг другу знак приступить к делу, как вдруг какой-то человек ударил одного из них по голове мечом, и когда тот упал, ни нанесший удар, ни товарищ раненого не остались на месте: первый, как был, с мечом в руке, бросился бежать и забрался на какую-то высокую скалу, а второй охватил руками жертвенник, молил Тимолеонта о пощаде и клялся все рассказать. Тимолеонт обещал сохранить ему жизнь, и тогда он открыл, что они с товарищем были подосланы убить полководца коринфян. В это время сняли со скалы и привели третьего; он кричал, что не совершил никакого преступления, но лишь справедливо отомстил за смерть отца, злодейски умерщвленного в Леонтинах этим человеком. Среди присутствовавших нашлись люди, засвидетельствовавшие его слова и дивившиеся изобретательности судьбы, которая приводит в движение одно посредством другого, сближает вещи самые отдаленные и переплетает события, казалось бы, ничего

общего друг с другом не имеющие, так что исход одного становится в ее руках началом другого. Коринфяне дали убийце в награду десять мин, за то что свой справедливый гнев он предоставил в распоряжение гению-хранителю Тимолеонта и уже давно скопившуюся ярость не истратил прежде, но сберег до того дня, когда волею судьбы она послужила и его собственным целям и спасению Тимолеонта. Это происшествие, так счастливо завершившееся, внушило видевшим его добрые надежды на будущее, убедило их в том, что Тимолеонт – человек святой, волею бога явившийся освободить Сицилию, и побудило чтить его и оберегать.

17. Обманувшись в своих расчетах и видя, что многие принимают сторону Тимолеонта, Гикет стал бранить самого себя за то, что до сих пор лишь понемногу, точно совестясь, пользовался огромной силой карфагенян, находившейся в его распоряжении, и лишь тайно, украдкою привлекал союзников к делу, а потому призвал в Сиракузы военачальника Магона со всем флотом. Тот не замедлил прибыть, сто пятьдесят кораблей грозно заняли гавань, на берег высадились шестьдесят тысяч пехотинцев и расположились в самом городе; и каждый решил: свершилось то, о чем уже давно говорили и думали, – Сицилия попала под власть варваров. Ведь ни в одной еще из бесчисленных войн, которые вели в Сицилии карфагеняне, им не удавалось взять Сиракузы, а тут Гикет сам принял старинного врага и собственными руками отдал ему город, который превратился в лагерь варваров. Коринфяне, удерживавшие крепость, находились в крайне стесненном и опасном положении: они не только испытывали нужду в съестных припасах – противник неусыпно караулил гавань, – но без передышки бились на стенах и были вынуждены распылять свои силы, противодействуя всем хитростям и всевозможным уловкам осаждающих.

18. Впрочем, Тимолеонт не оставил их без всякой помощи: он посылал им хлеб из Катаны на рыбачьих лодках и легких суденышках, которые незаметно проскальзывали меж вражескими триерами, когда волнение на море разбрасывало корабли варваров в разные стороны. Видя это, Магон и Гикет решили взять Катану, откуда шло продовольствие осажденным, и, отобрав лучших воинов, выступили с ними из Сиракуз. Коринфянин Неон (так звали начальника осажденных), наблюдая из крепости за оставшимися и заметив, что они несут свою службу лениво и небрежно, неожиданно на них ударил, улучив время, когда те разбрелись кто куда; многие были убиты, остальные обращены в бегство, и коринфяне овладели Ахрадиной – так называлась самая, по общему мнению, неприступная часть города Сиракуз, который состоит как бы из нескольких расположенных рядом друг с другом городов. Обнаружив там большие запасы хлеба и богатую казну, Неон не очистил это место и не отступил, но, укрепив стену вокруг Ахрадины и соединив ее с крепостью валом, расставил повсюду свои караулы. Магон и Гикет уже приближались к Катане, когда всадник из Сиракуз догнал их и сообщил о взятии Ахрадины. В сильной тревоге они поспешно повернули назад, не только не достигнув цели, ради которой двинулись в поход, но и потеряв то, чем уже владели.

19. Об этом успехе еще могут спорить между собой предусмотрительность и доблесть Тимолеонта, с одной стороны, и его удачливость, с другой; но дальнейшие события следует, по-видимому, приписать только счастливой судьбе. Ко-

ринфяне в Фуриях отчасти из страха перед карфагенским флотом, который, под командою Ганнона, их подстерегал, отчасти из-за морских бурь, длившихся уже много дней, приняли решение продолжить путь сушею, через Бруттий, и, воздействуя на варваров где убеждением, а где и силою, благополучно достигли Регия. Непогода продолжала свирепствовать, и Ганнон, который не ждал от коринфян решительных действий и полагал, что медлит понапрасну, в полной уверенности, что измыслил тонкий и хитроумный обман, приказал матросам надеть венки, украсил триеры греческими щитами и пурпурными тканями и поплыл к Сиракузам. Проходя мимо крепости, он, чтобы нагнать уныние на осажденных, велел своим людям бить веслами по воде, хлопать в ладоши и кричать, что, мол, они разбили и одолели коринфян, захватив их в море во время переправы. Но пока он разыгрывал эту вздорную игру, коринфяне, прибывшие из Бруттия в Регий, видя, что пролив никто не охраняет, а что ветер внезапно упал и волнение совсем улеглось, быстро погрузились на плоты и рыбачьи челноки, оказавшиеся под рукой, и направились к сицилийскому берегу; насколько безопасным было их плавание и какая стояла тишь, можно судить по тому, что кони, повинуясь поводу, плыли рядом с судами.

20. Когда все высадились, Тимолеонт, приняв их под свою команду, немедленно взял Мессену и оттуда в строгом порядке выступил к Сиракузам, больше полагаясь на счастье и удачу, которые ему до сих пор сопутствовали, чем на силу: все его войско не превышало четырех тысяч человек. Весть о его приближении обеспокоила и испугала Магона, и эти недобрые предчувствия еще возросли вот по какой причине. На отмелях вокруг города, где скапливается много пресной воды из источников, болот и впадающих в море рек, водятся в несметном количестве угри, и всякий желающий может в любое время рассчитывать на богатый улов. На досуге, во время перемирия, наемники обеих противных сторон вместе промышляли угрей. И те и другие были греки и не питали друг к другу личной вражды, а потому, хотя в сражениях и бились в полную силу, но когда заключалось перемирие, часто и охотно беседовали. А тут вдобавок они занимались одним делом – бок о бок ловили рыбу – и вот как-то разговорились, восхищаясь красотою моря и выгодами местоположения Сиракуз. И кто-то из коринфских воинов сказал: “Как же это, сами вы греки, и стараетесь город, такой огромный и обладающий такими красотами, подчинить варварам и тем самым приблизить к нам этих злобных, кровожадных карфагенян, тогда как можно лишь пожелать, чтобы между ними и Грецией лежала не одна, а много Сицилий! Неужели, думаете вы, они пришли сюда с войском от самых Геркулесовых столпов и Атлантического моря, чтобы терпеть опасности ради Гикета и его власти? Нет, будь у Гикета ум настоящего правителя, он бы никогда не выгнал своих родоначальников и не привел бы на их место врагов отечества, но получил бы все подобающие ему почести и власть с согласия Тимолеонта и остальных коринфян”. Эти слова наемники разгласили по всему лагерю и внушили Магону, который уже давно искал предлога для разрыва, подозрения в предательстве. Вот почему, не слушая Гикета, который умолял его остаться и доказывал, что они намного сильнее противника, и считая, что карфагеняне в большей мере уступают Тимолеонту мужеством и удачливостью, нежели превосхо-

дят его численностью, Магон немедленно отплыл в Африку, позорно и бессмысленно упустив Сицилию, которая уже была у него в руках.

21. На следующий день появился Тимолеонт, уже готовый к бою. Когда коринфяне узнали о бегстве неприятеля и увидели, что пристани пусты, они не могли не посмеяться над малодушием Магона: обходя улицы города, они повсюду громко обещали награду тому, кто укажет, куда скрылся от них карфагенский флот. Тем не менее, поскольку Гикет продолжал борьбу и не хотел сдать город, но отчаянно цеплялся за те кварталы, в которых он засел, а они были отлично укреплены и потому почти неприступны, Тимолеонт разделил свои силы и сам двинулся со стороны реки Анап, где сопротивление было особенно упорным, другому отряду, под командованием коринфянина Исия, приказал наступать от Ахрадины, а третий повели на Эпиполы Динарх и Демарет, которые только что прибыли в Сицилию во главе подкрепления из Коринфа[22]. Эти отряды, ударив со всех сторон одновременно, разгромили и обратили в бегство войско Гикета; захват города, который сразу же после изгнания неприятеля покорился, по достоинству следует приписать мужеству бойцов и искусству полководца, но в том, что ни один из коринфян не погиб и даже не был ранен, проявила себя единственно лишь счастливая судьба Тимолеонта, которая словно спорила с доблестью этого человека, чтобы, слыша о победе, люди больше дивились его удачливости, нежели достоинствам. А ведь молва о случившемся не только сразу сделалась достоянием всей Сицилии и Италии, но, спустя немного дней, и Греция огласилась победным ликованием, так что коринфяне, до той поры пребывавшие в неуверенности, достиг ли их флот цели своего плавания, одновременно узнали и о благополучной высадке и об одержанном успехе. Вот как быстро и удачно развертывались события и вот какой яркий блеск сообщила этим деяниям та стремительность, с которою их свершала счастливая судьба.

22. Овладев крепостью, Тимолеонт не поддался чувствам, которым до него уступил Дион, и не пощадил ни красоты этого места, ни богатых построек, но, остерегаясь подозрений, которые сначала очернили, а потом и погубили Диона, известил сиракузян, что оплот тираннов срывается до основания и каждый желающий может прийти со своею киркой и принять участие в этой работе. И все пришли как один, считая это извещение и этот день доподлиннейшим началом своей свободы, и разрушили, и срыли не только крепостные стены[23], но и дворцы тираннов, и памятники на их могилах. И сразу же Тимолеонт распорядился выровнять почву и воздвигнуть здание суда, не просто угождая гражданам, но с самого начала вознося демократию над тираннией.

Впрочем, в руках Тимолеонта был только город, но не граждане: одних истребили войны и мятежи, другие бежали от тираннов, и такое было в Сиракузах безлюдие, что городская площадь заросла высокой травой, и там паслись лошади, и в густой зелени лежали пастухи. Прочие города, кроме лишь очень немногих, стали обиталищем оленей и кабанов, так что люди, которым нечем было заняться, нередко охотились в предместьях и вокруг городских стен. Никто из жителей крепостей не откликался на зов и даже не думал переселяться в город, напротив, каждый испытывал страх и ненависть к Народному собранию, госу-

дарственной деятельности, возвышению для оратора – к тому, что чаще всего порождало у них тираннов. Вот почему Тимолеонт и сиракузяне решили написать коринфянам и просить, чтобы те прислали в Сиракузы греческих поселенцев. В противном случае стране грозило запустение, а кроме того они знали, что из Африки надвигается великая война: стало известно, что карфагеняне, разъяренные неудачными действиями Магона, распяли на кресте его труп (он сам лишил себя жизни) и теперь собирают огромное войско, чтобы весною высадиться в Сицилии.

23. Когда прибыло это письмо Тимолеонта и одновременно послы из Сиракуз, умолявшие коринфян принять на себя заботу об их городе и еще раз стать его основателями, коринфяне не воспользовались удобным случаем и не присоединили город к своим владениям, но прежде всего, посещая священные игры и самые торжественные из всенародных празднеств, какие справляются в Греции, стали объявлять через глашатаев, что коринфяне, уничтожив тираннию в Сиракузах и изгнав тиранна, призывают сиракузян и остальных сицилийцев – кто бы ни пожелал – вновь обосноваться на родине, пользуясь отныне свободой и независимостью и справедливо поделив между собою землю. Затем они отправили гонцов в Азию и на острова[24], где, как им стало известно, была разбросана значительная часть изгнанников, и пригласили всех приехать в Коринф, обещая предоставить за собственный счет надежную охрану, суда и руководителей для возвращения в Сиракузы. Сделав такое извещение, город Коринф стяжал справедливейшие похвалы и благородную зависть: ведь он не только избавил страну от тираннов и спас от варваров, но и вернул ее законным владельцам.

Так как число собравшихся в Коринфе беглецов оказалось недостаточным, они просили разрешения взять с собою поселенцев из Коринфа и остальных земель Греции и, когда набралось не менее десяти тысяч, отплыли в Сиракузы. Кроме того, к Тимолеонту уже начали во множестве стекаться люди из Италии и из самой Сицилии, общее число граждан достигло, как сообщает Афанид, шестидесяти тысяч, и Тимолеонт разделил между ними землю, а дома продал, в целом за тысячу талантов, предоставив возможность сиракузским старожилам выкупить свои прежние жилища и в то же время найдя способ пополнить казну, которая была до того истощена, что для покрытия расходов, прежде всего военных, пришлось продать даже статуи. Над каждой из них, точно над лицами, уличенными в должностных преступлениях, совершали суд – произносили обвинение и подавали голоса. Говорят, что сиракузяне осудили их все, кроме статуи древнего тиранна Гелона, которого они ценили и уважали за победу над карфагенянами при Гимере.

24. Между тем как город снова оживал и наполнялся прибывавшими отовсюду гражданами, Тимолеонт, желая освободить и остальные города и до конца искоренить тираннию в Сицилии, двинулся на владения тираннов. Гикет вынужден был расторгнуть союз с карфагенянами, обязался срыть все свои крепости и на правах частного лица поселиться в Леонтинах, Лептина же, тиранна, правившего Аполлонией и несколькими другими городами, который, оказавшись в безвыходном положении, сдался, Тимолеонт, сохранив ему жизнь, выслал в Коринф, считая важным и полезным, чтобы сицилийские тиранны влачили в мет-

рополии, на глазах у всех греков, жалкую участь изгнанников. Сам он вслед за тем вернулся в Сиракузы, чтобы восстановить их государственное устройство и совместно с прибывшими из Коринфа законодателями Кефалом и Дионисием принять самые существенные и неотложные постановления, а Динарха и Демарета, желая, чтобы наемники извлекали пользу из своего ремесла и не сидели сложа руки, отправил во владения карфагенян, где они, склонив многие города к отпадению от варваров, не только сами жили в полном довольстве, но даже сберегли из захваченной добычи какую-то сумму денег для дальнейшего ведения войны.

25. Тем временем карфагенский флот из двухсот триер с семьюдесятью тысячами воинов и тысячи грузовых судов, на которых везли несметные запасы хлеба, осадные машины, боевые колесницы и другое снаряжение, подошел к Лилибею; на этот раз неприятель не был намерен вести войну против отдельных городов, но готовился вообще вытеснить греков из Сицилии. И в самом деле, этой силы хватило бы на то, чтобы одолеть всех сицилийцев даже и тогда, когда бы их не истерзали, не разорили вконец взаимные распри. Узнав, что их земли подверглись опустошению, карфагеняне под командою Гасдрубала и Гамилькара в лютой ярости немедленно выступили против коринфян[25]. Весть об этом быстро достигла Сиракуз, и граждане так испугались громадных размеров вражеского войска, что, несмотря на их многочисленность, едва нашлось три тысячи, отважившихся взяться за оружие и присоединиться к Тимолеонту. Наемников было четыре тысячи, но и из этого числа тысяча малодушно бросила своего полководца еще в дороге, считая, что Тимолеонт помешался, что он, – хотя и не так еще стар, – выжил из ума, если против семидесяти тысяч врагов идет с пятью тысячами пехотинцев[26] и тысячей всадников да еще уводит их на расстояние восьми дней пути от Сиракуз – в такое место, где беглецам не спастись, а павшим остаться без погребения. Впрочем, Тимолеонт счел удачей для себя, что трусость их обнаружилась еще до битвы и, ободрив остальных, быстро повел их к реке Кримису, куда, как он слышал, стягивались и карфагеняне.

26. Когда он поднимался на холм, перевалив через который коринфяне предполагали увидеть вражеское войско, ему навстречу попались мулы с грузом сельдерея. Воины решили, что это дурной знак: ведь сельдереем мы обыкновенно увенчиваем намогильные памятники. Отсюда и пословица: о тяжело больном говорят, что ему нужен сельдерей. Чтобы рассеять суеверный страх и чувство обреченности, Тимолеонт остановил своих людей и произнес подходящую к случаю речь; он сказал, что еще до победы в руки к ним сам собою попал венок, которым коринфяне венчают победителей на Истмийских играх, считая сельдерей священным с давних пор украшением. (В ту пору на Истмийских играх, как теперь на Немейских, наградою служил сельдерей[27], и лишь недавно его заменили сосновые ветви.) И с этими словами Тимолеонт первый увенчал себя сельдереем, а затем его примеру последовали остальные начальники и даже простые воины. В это время прорицатели заметили двух орлов, они приближались к коринфянам, и один нес в когтях растерзанную змею, а другой летел позади с громким и вызывающим клекотом; прорицатели указали солдатам на птиц, и все с молитвою стали призывать богов.

27. Начиналось лето, месяц фаргелион[28] был на исходе, и близился солнцеворот. Густой пар, который поднимался над рекой, вначале закрывал равнину мглою, так что неприятеля вовсе не было видно, и до вершины холма доносился снизу лишь невнятный, смешанный гул передвигающегося вдали огромного войска. Когда же, взойдя на холм, коринфяне остановились и положили наземь щиты, чтобы перевести дух, солнце, совершая свой путь, погнало туман вверх, мгла поднялась, сгустилась и окутала вершины гор, воздух очистился, и показались равнина у подножия, река Кримис и неприятель, который переправлялся через реку: впереди – запряженные четверкой грозные боевые колесницы[29], а за ними десять тысяч гоплитов с белыми щитами. По богатству вооружения, медленной поступи и строгому порядку в рядах коринфяне догадались, что это сами карфагеняне. За ними толпою текли остальные народы; тесня друг друга, они тоже приступали к переправе, и тогда Тимолеонт, сообразив, что река предоставляет коринфянам возможность отделить от сил неприятеля любую часть, с какою они сами найдут целесообразным сразиться, и показав своим, что войско врагов расчленено водами Кримиса, что одни уже переправились, а другие стоят на противоположном берегу, отдал распоряжение Демарету с конницею ударить на карфагенян и привести их в замешательство, пока они еще не заняли каждый своего места в боевой линии. Затем он и сам спустился на равнину и оба крыла поручил сицилийцам из разных городов, присоединив к ним лишь незначительное число иноземных солдат, а сиракузян и самых храбрых из наемников оставил при себе – посредине; в таком положении он немного помедлил, наблюдая за действиями своей конницы, а когда увидел, что из-за колесниц, разъезжающих перед строем карфагенян, всадники не могут вступить с ними в бой и – чтобы не потерять порядка в собственных рядах – вынуждены то и дело отходить, поворачиваться и повторять свой бросок, схватил щит и закричал, призывая пехотинцев смело следовать за ним. Звук его голоса показался воинам необычайно, сверхъестественно громким: то ли страсть и воодушевление предстоящей битвы придали ему такую силу, то ли (как думало тогда большинство) вместе с Тимолеонтом крикнул какой-то бог. Солдаты разом подхватили клич и сами потребовали, чтобы их немедленно вели вперед, и Тимолеонт, подав знак коннице очистить место перед колесницами и напасть на врага сбоку, приказал передовым бойцам сомкнуться и сдвинуть щиты; затрубила труба и они бросились на карфагенян.

28. Первый натиск карфагеняне выдержали стойко: тело у них было защищено железным панцирем, голова покрыта медным шлемом, и, выставляя вперед огромные щиты, они легко отбивали удары копий. Но когда от копий перешли к мечам и началась рукопашная, которая требует ловкости и умения не в меньшей мере, нежели силы, неожиданно со стороны гор раздались оглушительные раскаты грома и сверкнули молнии. Густой туман, окружавший вершины холмов и гор, опустился на поле сражения, неся с собою ливень, ветер и град; греков буря ударила в спину, а варварам била прямо в лицо и слепила глаза, потому что из туч хлестали потоки дождя и то и дело вырывалось пламя. Эти обстоятельства были чреваты многими опасными последствиями, особенно для неопытных воинов, но, пожалуй, больше всего вреда причиняли удары гро-

ма и яростный стук града и дождя о доспехи, заглушавший приказы начальников. Карфагенянам, вооруженным, как уже говорилось, отнюдь не легко, но закованным в панцири, мешали и грязь, и насквозь промокшие хитоны, которые, отяжелев, стесняли движения бойцов; греки без труда сбивали их с ног, а упав, они не в силах были снова подняться из грязи с таким грузом на плечах. Вдобавок Кримис, и без того уже сильно вздувшийся от дождей, переправою войска был выведен из берегов, а долина реки, в которую выходили многочисленные ущелья, наполнилась бурными потоками, беспрерывно менявшими свое русло, карфагеняне беспомощно барахтались в них, с трудом выбираясь из воды. Наконец, исхлестанные бурей, потеряв четыреста воинов, павших в первом ряду, остальные обратились в бегство. Многие были настигнуты и убиты еще на равнине, многих унесла и погубила река, сталкивая их с теми, кто еще переправлялся, но больше всего перебила легкая пехота на склонах холмов. Говорят, что из десяти тысяч павших три тысячи были карфагеняне – к великой скорби их города. Ни знатностью рода, ни богатством, ни славою никто не мог сравниться с погибшими, а с другой стороны, не было еще на памяти карфагенян случая, когда бы в одной битве они лишились стольких граждан: пользуясь обычно услугами наемников – ливийцев, испанцев и нумидийцев, – они расплачивались за свои поражения чужою бедой.

29. О высоком положении убитых греки узнали по снятым с них доспехам: собирая добычу, никто и смотреть не хотел на медь и железо – так много было серебра, так много золота. Перейдя реку, греки захватили лагерь и обоз. Из пленных многие были тайком расхищены солдатами, и все же в пользу государства поступило пять тысяч человек. Наконец, в руки победителей попало двести колесниц. Величественное зрелище являла собою палатка Тимолеонта, окруженная грудами всевозможного оружия, среди которого была тысяча замечательных, тончайшей работы панцирей и десять тысяч щитов. Так как трупов было много, а победителей мало, богатство же им досталось огромное, они воздвигли трофей только на третий день после битвы.

Вместе с извещением о случившемся Тимолеонт отправил в Коринф самые красивые из захваченных доспехов, надеясь доставить отечеству зависть и восхищение всего мира, когда увидят, что среди городов Греции в одном лишь Коринфе главнейшие храмы не украшены добычей, взятою в Греции, и не пробуждают горьких воспоминаний об убийстве соплеменников, но убраны варварским оружием с замечательными надписями, рассказывающими о мужестве и справедливости победителей, – о том, как коринфяне и их полководец Тимолеонт, освободив сицилийских греков от карфагенян, посвятили богам свое благодарственное приношение.

30. Оставив наемников разорять вражеские владения, Тимолеонт вернулся в Сиракузы. Тысячу солдат, покинувших его перед битвой, он приговорил к изгнанию из Сицилии и заставил их уйти из Сиракуз еще до заката солнца. Они переправились в Италию и там были вероломно перебиты бруттиями; вот какую кару за предательство назначило им божество.

Тем временем Мамерк, тиранн Катаны, и Гикет, то ли завидуя успехам Тимолеонта, то ли страшась его, как лютого врага тираннов, и потому ни в чем

ему не доверяя, заключили союз с карфагенянами и настоятельно просили их прислать новое войско, если они не желают вовсе потерять Сицилию. В результате из Африки отплыли семьдесят судов во главе с Гисконом, который взял с собою и греческих наемников: до тех пор карфагеняне греков на службу не брали, но тут должны были с восхищением признать, что нет на свете людей неодолимее и воинственнее. Союзники собрались в земле Мессены и истребили отряд вспомогательных войск из четырехсот человек, посланный туда Тимолеонтом. Другой отряд наемников, под командованием левкадийца Эвфима, они заманили в засаду и перебили во владениях карфагенян, близ города, называемого Иеты. Два последние случая особенно широко прославили удачливость Тимолеонта: это были те самые солдаты, которые вместе с фокейцем Филомелом и Ономархом захватили Дельфы и разграбили их сокровища[30]. Подвергшись проклятию, окруженные всеобщей ненавистью и отчуждением, они бродили по Пелопоннесу до тех пор, пока их – за недостатком других солдат – не нанял Тимолеонт. В Сицилии они выиграли все битвы, в которых сражались под его командованием; но теперь, когда главные опасности остались позади и Тимолеонт отправил их на помощь другим городам, они погибли и были уничтожены – не все разом, но постепенно: кара, которую они понесли, словно старалась не повредить счастливой судьбе Тимолеонта, так чтобы наказание злодеев не причинило ни малейшего ущерба порядочным людям. Поистине и в неудачах Тимолеонта благосклонность к нему богов заслуживала не меньшего изумления, нежели в его успехах.

31. Между тем тиранны дали волю своему чванству и высокомерию, и это оскорбляло большинство сиракузян. Так, например, Мамерк, чрезвычайно гордившийся тем, что сочиняет стихи и трагедии, победив наемников, принес в дар богам их щиты со следующим издевательским двустишием:

Жалким прикрывшись щитком, щитов мы добыли немало:
Злато на них и янтарь, пурпур, слоновая кость.

Вскоре Тимолеонт выступил походом на Калаврию[31], и тогда Гикет вторгся в пределы Сиракузской земли, взял богатую добычу и после жестоких бесчинств и грабежей двинулся в обратный путь мимо самой Калаврии, чтобы выказать пренебрежение к Тимолеонту и его малочисленному отряду. Тимолеонт дал ему пройти, а сам с конницею и легкою пехотой пустился следом. Гикет обнаружил это, уже переправившись через Дамирий, и остановился у реки, чтобы дать противнику бой; ему придавали отваги трудности переправы и крутизны обоих берегов. Тут среди илархов[32] Тимолеонта вспыхнул удивительный спор, задержавший начало битвы. Ни один из них не соглашался уступить другому право первым перейти реку и схватиться с врагом, но каждый требовал, чтобы эту честь предоставили ему; поэтому переправа не могла совершиться в должном порядке – всякий старался бы оттеснить и обогнать товарища. Желая решить дело жребием, Тимолеонт взял у каждого начальника перстень, бросил все в полу своего плаща, перемешал, и на первом вынутом им перстне случайно оказалась печать с изображением трофея. Увидев это, молодые илархи закричали от радости; они не стали дожидаться следующего жребия, но, со всею поспеш-

ностью, на какую были способны, устремились к противоположному берегу и, выйдя из воды, ринулись на противника. А тот не выдержал их натиска и бежал, оставив на поле боя все оружие и тысячу убитых.

32. Немного спустя Тимолеонт вступил в землю леонтинцев и взял живыми Гикета, его сына Эвполема и начальника конницы Эвфима – их схватили и выдали собственные солдаты. Гикет и юноша были казнены как тиранны и изменники; не получил пощады и Эвфим, хоть это был отличный воин и человек редкого мужества. Его обвинили в том, что он злословил коринфян: когда те двинулись в поход, он будто бы выступил перед леонтинцами и сказал, что никакой опасности нет и что нечего бояться, если

Коринфские гражданки вышли из домов[33].

Таково большинство людей: злые слова огорчают их сильнее, чем злые поступи, они легче переносят прямой ущерб, нежели глумление. Во время войны противникам по необходимости разрешено применять действенные средства для своей защиты, но злословие, порождаемое чрезмерною ненавистью и злобой, всеми почитается излишним.

33. Когда Тимолеонт вернулся, сиракузяне в Народном собрании судили жен и дочерей Гикета и приговорили их к смерти. Мне кажется, что из всех действий Тимолеонта это – самое неблаговидное: стоило ему только вмешаться – и эти женщины остались бы живы. Но, видимо, он не захотел принять в них участия и уступил гневу граждан, которые мстили за Диона, некогда изгнавшего Дионисия: ведь это Гикет приказал утопить в море жену Диона Арету, сестру Аристомаху и маленького сына, о чем рассказывается в жизнеописании Диона[34].

34. Затем Тимолеонт двинулся к Катане против Мамерка, который встретил его у реки Абол, принял бой, но был разгромлен и бежал, потеряв убитыми больше двух тысяч человек, немалую часть которых составляли пунийцы, посланные Гисконом ему на помощь. Сразу же вслед за этим поражением карфагеняне заключили с Тимолеонтом мир; им удалось сохранить земли за рекою Лик[35] при условии, что они позволят всем, желающим переселиться оттуда в Сиракузы, забрать свое имущество и семьи и расторгнут союз с тираннами. Мамерк, отчаявшись в своих надеждах, отплыл в Италию, чтобы поднять против Тимолеонта и Сиракуз луканов. Но его спутники повернули триеры назад, возвратились в Сицилию и сдали Катану Тимолеонту, а Мамерку пришлось бежать в Мессену, где правил тиранн Гиппон. Тимолеонт подошел к городу и осадил его с суши и с моря, Гиппон пытался бежать на корабле, но был схвачен мессенцами, которые предали его мучительной смерти в театре, приведя туда из школ детей, чтобы показать им самое прекрасное и благородное из зрелищ – казнь тиранна. Мамерк сдался Тимолеонту, выговорив себе право предстать перед судом сиракузян, с тем чтобы сам Тимолеонт никакого участия в обвинении не принимал. Он был доставлен в Сиракузы, выступил перед народом и уже начал произносить речь, заранее им составленную, однако, встреченный недовольным ропотом, видя, что собрание настроено непреклонно, сбросил с плеч гиматий, промчался через весь театр и с разбега ударился головой о какое-то каменное

сидение, чтобы лишить себя жизни. Но ему не повезло: он остался жив, его увели и казнили той смертью, какою казнят разбойников[36].

35. Таким образом Тимолеонт искоренил тираннию и положил конец войнам. Остров, который он застал одичавшим от бедствий и глубоко ненавистным для его собственных обитателей, он умиротворил и сделал краем до того для каждого желанным, что иноземцы поплыли туда, откуда прежде разбегались коренные жители. В ту пору вновь заселились Акрагант и Гела, большие города, разрушенные карфагенянами после Аттической войны[37]; собрав прежних обитателей, в Акрагант прибыли Мегелл и Ферист из Элеи, а в Гелу – Горг с Кеоса. Этим поселенцам Тимолеонт не только доставил покой и безопасность после столь изнурительной войны, но и вообще принимал такое горячее участие во всех их делах, что они любили и почитали его, словно основателя своих городов. Так же относились к нему и остальные сицилийцы: ни заключение мира, ни издание новых законов, ни раздел земли, ни перемены в государственном устройстве не считались завершенными благополучно, если к этому не прилагал руку Тимолеонт, точно художник, последними прикосновениями сообщающий уже готовому произведению прелесть, любезную богам и радующую людей.

36. Хотя в то время в Греции было много великих мужей, прославивших себя великими делами, как, например, Тимофей, Агесилай, Пелопид, наконец, Эпаминонд, который более других служил для Тимолеонта образцом, блеск их подвигов в какой-то мере затмевается насилием и тяжкими муками, так что иным из этих подвигов сопутствовало порицание и раскаяние, меж тем как среди поступков Тимолеонта – не считая лишь вынужденного убийства брата – нет ни одного, о котором, как говорит Тимей, нельзя было бы воскликнуть словами Софокла:

О боги! Кто ему помог? Киприды власть
Иль сам Эрот?[38]

Подобно тому, как поэзия Антимаха Колофонского и живопись его земляка Дионисия, отличаясь силой и внутренним напряжением, все же производят впечатление чего-то нарочитого и вымученного рядом с картинами Никомаха и стихами Гомера, которые при всей своей мощи и прелести кажутся созданными без малейшего труда, точно так же, если с походами Эпаминонда и Агесилая, полными трудностей и мучительных усилий, здраво и беспристрастно сравнить военные предприятия Тимолеонта, сочетающие красоту с чрезвычайною легкостью, каждый скажет, что они – скорее дело мужества, которому споспешествовало счастье, нежели одного только счастья.

Впрочем, сам Тимолеонт все свои успехи приписывал счастливой судьбе: в письмах к друзьям на родину, в своих речах к сиракузянам он любил повторять, что благодарен богу, который, пожелав спасти Сицилию, назначил для этой цели именно его. У себя в доме он устроил храм богине Автоматии[39] и приносил ей жертвы, а сам дом посвятил Священному Гению. Жил он в доме, который ему подарили сиракузяне в награду за службу, и в замечательно красивом поместье; там, наслаждаясь досугом, он проводил бо́льшую часть времени вместе с женою и детьми, которых вызвал из Коринфа. Ибо сам он на родину не вернул-

ся, решив не вмешиваться в смуты Греции и не обрекать себя ненависти сограждан, в водоворот которой бросает почти всех полководцев чрезмерная жажда почестей и власти, но оставался в Сиракузах, вкушая плоды своих трудов, из которых самым сладким было видеть столько городов и столько десятков тысяч людей, обязанных своим благоденствием ему, Тимолеонту.

37. Но так как, по всей вероятности, не только у каждого жаворонка должен появиться хохолок (по слову Симонида), но и в каждом демократическом государстве – сикофанты-доносчики, то и Тимолеонт подвергся нападкам двух своекорыстных искателей народной благосклонности, Лафистия и Деменета. Когда первый из них, намереваясь привлечь его к суду, требовал поручительства, а народ возмущенно шумел, Тимолеонт сам не позволил согражданам мешать оратору. "Для того я и перенес добровольно столько трудов и опасностей, – сказал он, – чтобы каждый сиракузянин мог при желании пользоваться своими законными правами". Деменет выступил в Народном собрании с пространными обвинениями и старался очернить Тимолеонта как полководца, но тот не удостоил его ответа и лишь заметил, что благодарен богам, которые вняли его молитвам и дали ему увидеть сиракузян свободно высказывающими свое суждение.

Итак, по общему признанию, величием и красотою подвигов он превзошел всех своих современников-греков: он один преуспел в тех деяниях, к которым неизменно призывали греков софисты на всенародных празднествах, благодаря счастливой судьбе он не запятнал себя кровью в бедствиях, терзавших Грецию в древние времена, и вышел из них чистым, варварам и тираннам он дал доказательства своего мужества и грозного величия, грекам и союзникам – своей справедливости и милосердия, он поставил множество трофеев, которые не стоили гражданам ни слез, ни горя, менее чем за восемь лет он избавил Сицилию от ее застарелых, уже ставших привычными зол и недугов и, очищенною, передал прежним обитателям.

Уже в старости у него начало притупляться зрение, и вскоре он совершенно ослеп – не по собственной вине и не по буйной прихоти судьбы, но, вернее всего, вследствие какой-то врожденной болезни, с годами обострившейся. Говорят, что многие из его рода в старости постепенно теряли зрение. Афанид сообщает, что признаки слепоты у Тимолеонта появились еще во время войны с Гиппоном и Мамерком, когда он стоял под Милами, и, хотя это было заметно каждому, Тимолеонт осаду не снял, но продолжал войну до тех пор, пока не захватил обоих тираннов. Затем, вернувшись в Сиракузы, он немедленно сложил с себя верховную власть и просил сограждан освободить его от дел, приведенных ныне к счастливому завершению.

38. Не следует, пожалуй, особенно удивляться тому, как спокойно переносил Тимолеонт свое несчастье, – восхищения достойны скорее знаки почета и признательности, которые оказывали ему сиракузяне: они и сами часто посещали слепого, и приводили к нему в дом или в имение чужестранцев, проездом оказавшихся в Сиракузах, чтобы показать им своего благодетеля, который – и это было предметом особенной их гордости – пренебрег великолепным приемом, ожидавшим его в Греции, и не вернулся в Коринф, но предпочел с ними доживать свои дни. Среди многих важных постановлений и действий в его честь пер-

вое место следует отвести решению сиракузского народа всякий раз, как у них случится война с иноземцами, приглашать полководца из Коринфа. Прекрасным зрелищем, также служившим к его прославлению, бывало и обсуждение дел в Народном собрании. Вопросы маловажные сиракузяне рассматривали сами, но в сложных обстоятельствах всякий раз призывали Тимолеонта. На колеснице, запряженной парою, он проезжал через площадь к театру и в той же повозке, не поднимаясь с места, представал перед народом, который единогласно его приветствовал; ответив на приветствия и подождав, пока утихнут восхваления и славословия, он выслушивал дело и подавал свое мнение. Народ одобрял его поднятием рук, и затем служители везли колесницу через театр назад, а граждане, проводив Тимолеонта криками и рукоплесканиями, решали оставшиеся вопросы самостоятельно.

39. Так он проводил свою старость, окруженный всеобщим почетом и благожелательством, точно каждому из сиракузян приходился отцом, и умер от легкой болезни, в его преклонные годы оказавшейся, однако, смертельной. По прошествии нескольких дней, в течение которых сиракузяне успели сделать все нужные приготовления к похоронам, а соседи и чужеземцы – собраться в Сиракузы, состоялось погребение, отличавшееся пышностью и торжественностью. Избранные по жребию юноши пронесли богато украшенные носилки с телом через место, где когда-то стоял дворец Дионисия. За носилками шли десятки тысяч мужчин и женщин, все в венках и чистых, светлых одеждах[40] – так что с виду процессия несколько напоминала праздничное шествие; горестные вопли и слезы вперемешку с похвалами покойному выражали неподдельную скорбь, признательность истинной любви, и ни в какой мере не были равнодушным выполнением заранее взятых на себя обязательств. Наконец, носилки поставили на погребальный костер, и Деметрий, самый голосистый среди тогдашних глашатаев, прочитал следующее объявление: "Похороны лежащего здесь мужа – Тимолеонта, сына Тимодема, коринфянина – народ сиракузский принял на свой счет, отпустив для этой цели двести мин, и решил на вечные времена чтить его память мусическими, конными и гимнастическими состязаниями, за то что он низложил тираннов, одолел варваров, отстроил и вновь заселил главные города Сицилии и вернул сицилийцам их законы". Останки сиракузяне предали земле на площади; позже они обнесли могилу портиком, устроили в нем палестру для занятий молодежи и назвали все это место "Тимолеонтий". Сохраняя государственное устройство и законы, которые им дал Тимолеонт, они долгое время[41] жили счастливо и безмятежно.



[*Сопоставление*]

40(1). Припоминая все, изложенное выше, можно заранее утверждать, что черты несходства и различия в этом сопоставлении будут весьма немногочисленны. Оба мужа вели войну с прославленным неприятелем, один – с македонянами, другой – с карфагенянами, оба одержали блистательную победу, один – покорив Македонию и пресекши династию Антигона на седьмом от ее основателя царе, другой – искоренив тираннию по всей Сицилии и вернув острову свободу. Правда, мне могут, клянусь Зевсом, возразить, что Эмилий ударил на Персея, когда тот был полон сил и успешно действовал против римлян, тогда как Дионисий, противник Тимолеонта, был уже сломлен и находился в отчаянном положении, но с другой стороны, Тимолеонт победил многочисленных тираннов и большую карфагенскую армию, командуя наспех собранным войском, и этого нельзя не поставить ему в заслугу: ведь если Эмилий имел в своем распоряжении опытных и умеющих повиноваться солдат, то под началом Тимолеонта были наемники, распущенные, привыкшие нести службу лишь ради собственного удовольствия. А равный успех, достигнутый при неравных средствах, свидетельствует о заслугах полководца.

41(2). Оба были справедливы и безукоризненно честны в своих действиях, но в Эмилии эти качества возникли, по-видимому, сызмальства, благодаря отеческим законам, Тимолеонт же приобрел их сам, собственными усилиями. И вот доказательство: в то время все римляне без изъятия отличались строгой воздержностью, чтили обычаи, боялись законов и уважали сограждан, а у греков, кроме Диона, нельзя назвать ни единого военачальника, который бы не испортился, ступивши на землю Сицилии; впрочем, и Диона многие подозревали в том, что он стремился к единовластию и мечтал о царстве, устроенном на спартанский лад. Тимей сообщает, что сиракузяне с позором изгнали военачальника Гилиппа, уличив его в ненасытной алчности. Многие писали о бесчинствах и коварстве спартанца Фарака и афинянина Каллиппа, надеявшихся захватить власть над Сицилией. Кто же были эти люди, питавшие столь смелые надежды, какими силами они располагали? Первый прислуживал изгнанному из Сиракуз Дионисию, а Каллипп прежде командовал отрядом наемников у Диона. Напротив, Тимолеонту, посланному с неограниченными полномочиями по неотступной просьбе самих сиракузян, не пришлось бы домогаться власти – он мог просто удержать ту, которую ему вручали добровольно; и все же одновременно с низложением незаконных правителей, он сложил с себя всякое руководство.

Среди поступков Эмилия особого восхищения заслуживает то, что покорив огромное царство, он ни единой драхмы не прибавил к своему состоянию, не пожелал ни прикоснуться, ни даже взглянуть на захваченные сокровища, хотя щедро раздавал их другим. Я не хочу сказать, что Тимолеонт, принявший в подарок от сиракузян дом и хорошее поместье, заслуживает порицания; принимать награду за подобные деяния отнюдь не позорно, и все же лучше не принимать ничего, ибо доблесть тогда достигает своей высшей ступени, когда она ясно показывает, что даже в том, что принадлежит ей по праву, она не нуждается.

Но, как тело, легко переносящее только холод или только зной, оказывается слабее другого тела, одинаково приспособленного к любым переменам, так неодолимы силы лишь той души, которую счастье не усыпляет и не отравляет высокомерием, а горе не убивает унынием. Вот почему более совершенным нам представляется Эмилий, который в тяжком бедствии и глубочайшей скорби, потеряв сыновей, выказал ничуть не меньшее величие духа, нежели в пору удач и успехов. А Тимолеонт, хоть он и поступил благородно, не смог после смерти брата одолеть скорбь доводами рассудка, но, сломленный печалью и раскаянием, целых двадцать лет не в силах был видеть площадь и возвышение для оратора. Нет слов – позора должно избегать и стыдиться, незачем, однако, боязливо прислушиваться к любому порицанию – это свойство человека совестливого и мягкого, но не обладающего подлинным величием.





ПЕЛОПИД И МАРЦЕЛЛ

ПЕЛОПИД

1. Катон Старший, услышав однажды, как хвалят человека, отличавшегося безрассудной смелостью и отвагой на войне, заметил, что совсем не одно и то же – высоко ценить доблесть и ни во что не ставить собственную жизнь, и это совершенно верно. Был, например, у Антигона воин, храбрый и решительный, но болезненного вида и слабого телосложения; царь как-то спросил его, отчего он такой бледный; тот признался, что страдает каким-то непонятным недугом. Считая своим долгом ему помочь, царь приказал врачам, если остается еще какая-то надежда, испробовать самые сильные средства, но когда этот замечательный воин был исцелен, в нем не осталось ни прежнего презрения к опасности, ни неукротимой стремительности в боях, так что Антигон, удивленный этой переменой, вызвал его к себе. А тот не стал скрывать причины и сказал: "Царь, ты сам лишил меня мужества, избавив от напастей, из-за которых я перестал было радеть о своей жизни". Мне кажется, то же имел в виду и некий житель Сибариса[1], сказав о спартанцах, что они не совершают ничего великого, охотно идя в битвах навстречу смерти, которая избавит их от бесчисленных трудов и столь сурового уклада жизни. Впрочем, вполне понятно, что сибаритам, вконец изнеженным и испорченным роскошью, казалось, будто люди, которые из стремления к прекрасному и из благородного честолюбия не страшатся смерти, ненавидят жизнь; но лакедемонянам одна и та же доблесть давала силы и радостно жить и умирать радостно, как явствует из погребальной песни, гласящей, что

Благо – не жизнь и не смерть; они умерли, благом считая
Доблестно жизнь провести, доблестно встретить конец.

Нет ничего постыдного в том, чтобы бежать от гибели, если только не стараешься спасти свою жизнь бесчестными средствами, равно как нет и ничего хорошего в том, чтобы спокойно встретить смерть, если это сочетается с презрением к жизни. Вот почему Гомер самых неустрашимых и воинственных мужей всегда выводит в бой хорошо и надежно вооруженными, а греческие законодатели карают того, кто бросит свой щит, а не меч или копье, желая этим указать, что каждому (а главе государства или войска – в особенности) надлежит раньше подумать о том, как избежать гибели самому, нежели о том, как погубить врага.

2. Если, по мысли Ификрата, легковооруженные пехотинцы подобны рукам, конница – ногам, основной строй – туловищу, а полководец – голове, то разве не верно, что, действуя дерзко и безрассудно, последний выказывает пренебре-

жение не только к самому себе, но и ко всем, чье спасение зависит от него? И наоборот? Вот почему Калликратид, как ни велик он был, а все же дурно ответил прорицателю: тот просил его остерегаться – внутренности жертвы явно предсказывали ему гибель, но Калликратид заявил, что один человек не решает судьбы Спарты. Разумеется, сражаясь на суше или на море, участвуя в походе, Калликратид, действительно, был "одним человеком", но командуя войском, он в себе одном соединял силу всех: тот, с кем вместе погибло такое множество людей, уже не был "одним". Удачнее выразился Антигон, в ту пору уже старик, перед морской битвой при Андросе, когда кто-то сказал ему, что у противника гораздо больше кораблей. "А за сколько кораблей ты намерен считать меня?" – спросил Антигон, по справедливости высоко ценя соединенное с опытом и мужеством достоинство полководца, первая обязанность которого – оберегать того, кто должен сберечь всех остальных. И правильно возразил Тимофей Харету, выставлявшему напоказ перед афинянами шрамы и пробитый копьем щит: "А мне, – заметил он, – было очень стыдно, когда во время осады Самоса подле меня упал дротик: я понял, что веду себя легкомысленнее, чем подобает стратегу и командующему таким войском". Если полководец, рискуя собой, может решить исход всей войны, пусть не щадит ни сил, ни самой жизни, забыв о тех, кто утверждает, будто настоящий полководец должен умереть от старости или, по крайней мере, под старость. Но если счастливый оборот событий улучшит положение лишь незначительно, тогда как несчастливый может погубить все, никто не станет требовать, чтобы дело простого воина с опасностью для себя выполнял полководец.

Вот какие соображения пришло мне на мысль предпослать жизнеописаниям Пелопида и Марцелла – великих людей, павших по вине собственной опрометчивости. Оба были прекрасными воинами, каждый прославил свое отечество на редкость искусным ведением войны, к тому же оба одолели невероятно опасного врага (Марцелл нанес поражение Ганнибалу, до тех пор, как говорят, непобедимому, а Пелопид в открытом бою разгромил лакедемонян, первенствовавших на суше и на море) – и оба не пощадили себя и совершенно безрассудно пожертвовали жизнью как раз в ту пору, когда острее всего была потребность в таких людях и в их руководстве. Следуя этим чертам сходства, мы и решили сравнить их жизнеописания.

3. Род Пелопида, сына Гиппокла, был, как и род Эпаминонда, знаменит в Фивах. Воспитанный в полном достатке и еще совсем молодым получив завидное наследство, он старался помогать беднякам, достойным его помощи, чтобы оказать себя истинным хозяином своих денег, а не их рабом. В большинстве случаев, как говорит Аристотель, люди, по мелочности, либо не делают никакого употребления из своего богатства, либо, по расточительности, злоупотребляют им, и первые – вечные рабы забот, а вторые – наслаждений. Все прочие с благодарностью пользовались щедростью и человеколюбием Пелопида, и лишь одного из друзей – Эпаминонда – он не в силах был убедить принять в подарок хоть малую толику его богатства. Напротив, он сам разделял с Эпаминондом его бедность, гордясь простотою своего платья, скромностью стола, неутомимостью в трудах и прямодушием на войне (словно Капаней у Эврипида[2], владев-

ший многим, но менее всего кичившийся обилием благ) и полагая постыдным для себя, если бы оказалось, что он заботится о своем теле больше, нежели самый неимущий среди фиванцев. Но Эпаминонд привычную, перешедшую к нему от родителей бедность сделал для себя еще более легкой и необременительной, занимаясь философией и с самого начала избрав жизнь в одиночестве, а Пелопид, несмотря на завидный брак, несмотря на то, что стал отцом, расстроил свое состояние, совсем не заботясь о собственных делах и отдавая все свое время делам государственным. Когда же друзья пытались увещевать его, говоря, что деньги иметь необходимо и забывать об этом не следует, он ответил: "Да, необходимо, клянусь Зевсом, но разве что вон тому Никодему", – и указал на какого-то слепого и хромого калеку.

4. Оба были превосходно одарены от природы, но Пелопид питал бóльшую склонность к телесным упражнениям, а Эпаминонд к наукам, и первый проводил досуг в палестре и на охоте, а второй – слушая философов и размышляя над услышанным. Однако среди многих присущих им добрых и достойных всяческих похвал качеств ни одно люди рассудительные не ставят выше их взаимной приязни и дружбы, которая оставалась непоколебимой с начала до самого конца, пройдя через все битвы, через все труды командования и государственного правления. Если оглянуться на времена Аристида и Фемистокла, Кимона и Перикла, Никия и Алкивиада и вспомнить, каких раздоров, злобы и зависти была исполнена их совместная деятельность, а затем снова посмотреть на любовь и уважение Пелопида к Эпаминонду, всякий справедливый человек скорее их назовет товарищами по должности, чем тех, которые беспрерывно враждовали, забывая о неприятеле и больше думая о том, как бы одолеть друг друга. Истинная причина этого – нравственная доблесть обоих, благодаря которой они не искали в службе отечеству ни славы, ни богатства, неизменно порождающих жестокую, неукротимую зависть, но, с самого начала одушевляемые божественной любовью к родине и желанием увидеть ее возведенной их трудами на вершину почета и могущества, и тот и другой в любом успехе товарища, направленном к этой цели, видели свой собственный успех.

Большинство полагает, что их неразрывная дружба началась при Мантинее[3], где оба сражались в рядах вспомогательного войска, посланного фиванцами лакедемонянам, тогдашним их друзьям и союзникам. Стоя плечом к плечу в строю гоплитов, они бились с аркадянами, а когда соседнее с фиванцами крыло лакедемонян дрогнуло и бóльшая их часть обратилась в бегство, они сомкнули щиты и продолжали защищаться. Пелопид, получив семь ран в грудь и лицо, рухнул на груду трупов своих и вражеских воинов, а Эпаминонд, хоть и считал его раненным смертельно, шагнув вперед, закрыл неприятелю путь к телу и доспехам товарища, один сдерживая целую толпу и твердо решившись скорее умереть, чем оставить поверженного Пелопида. Уже и ему самому приходилось совсем плохо (он был ранен копьем в грудь и мечом в руку), когда с другого крыла подоспел на помощь спартанский царь Агесиполид и вопреки всем ожиданиям спас обоих.

5. В дальнейшем спартанцы соблюдали видимость дружбы и союза с Фивами, но на деле с подозрением следили за намерениями этого города и его мощью, а

в особенности – за дружеским сообществом Исмения и Андроклида, в котором участвовал и Пелопид и которое считалось свободолюбивым и приверженным демократии. И вот Архий, Леонтид и Филипп, сторонники олигархии, люди богатые и высокомерные, убеждают спартанца Фебида, который в ту пору проходил с войском через Беотию, неожиданно захватить Кадмею[4], изгнать из города их противников и подчинить его Спарте, установив власть немногих. Тот соглашается и, напав на фиванцев, безмятежно справлявших Фесмофории[5], овладевает крепостью; Исмений был схвачен, доставлен в Лакедемон и в скором времени убит; Пелопид, Ференик и Андроклид, бежавшие с многочисленными единомышленниками, были объявлены изгнанниками; Эпаминонд же остался на родине – враги смотрели на него с презрением, уверенные, что занятия философией превратили его в бездельника, а бедность – в ничтожество.

6. Спартанцы отрешили Фебида от командования и присудили его к штрафу в сто тысяч драхм, но свой отряд в Кадмее оставили, и все прочие греки дивились нелепости этого постановления: виновника наказывают, а вину виною не признают. У фиванцев же, лишившихся своего исконного государственного устройства и попавших в рабство к Архию и Леонтиду, не осталось ни малейшей надежды избавиться от тирании, которая, как они видели, держалась силою спартанского владычества в Греции и не могла быть свергнута до тех пор, пока не придет конец господству лакедемонян на суше и на море. Тем не менее Леонтид, узнав, что беглецы, поселившись в Афинах, стяжали любовь простого народа и уважение лучших граждан, принялся тайно злоумышлять против них: подосланные им люди, которые были незнакомы изгнанникам, коварно убили Андроклида и неудачно покушались на жизнь остальных. От лакедемонян к афинянам пришло послание, сообщавшее, что фиванские беглецы объявлены общими врагами союзников, и потому предписывавшие не принимать их и вообще никак не поддерживать, но гнать без пощады. Однако афиняне не причинили фиванцам ни малейшей обиды: к их врожденному и унаследованному от предков человеколюбию присоединилось желание отблагодарить фиванцев, которые в свое время[6] больше всех способствовали возвращению афинских демократов домой, приняв постановление, чтобы, если кто из афинян станет доставлять через Беотию оружие для борьбы с тираннами, ни один фиванец этого не замечал, но всякий бы зажмурился и затыкал уши.

7. Хотя Пелопид был в числе самых младших, он призывал к действию не только каждого из изгнанников в отдельности, но обращался с речами и ко всем вместе, говоря, что позорно и нечестно глядеть равнодушно на то, как отечество терпит рабство и чужеземных стражей, радоваться лишь собственному спасению и безопасности, подчиняться постановлениям, принятым в Афинах, и без конца угождать ораторам – любимцам толпы; надо решиться на великое дело и, взяв за образец отвагу и мужество Фрасибула, подобно тому как некогда он, выйдя из Фив, сверг тираннов в Афинах, ныне, двинувшись из Афин, освободить Фивы. Наконец доводы Пелопида их убедили, и они тайно известили о своем плане друзей, остававшихся в Фивах. Те одобрили его, и Харон, самый знат-

ный среди них, согласился предоставить в распоряжение заговорщиков свой дом, а Филлид добился назначения на должность писца при полемархах[7] Архии и Филиппе. Что касается Эпаминонда, то он уже давно внушал молодежи уверенность в себе: в гимнасиях он постоянно советовал юношам вызывать на борьбу спартанцев, а потом, видя, что они гордятся своей силой и своими победами, стыдил их, твердя, что нечему тут радоваться, раз они по собственному малодушию находятся в рабстве у тех, кого настолько превосходят силою.

8. Когда день для выступления был назначен, изгнанники решили, что соберутся под командованием Ференика в Фриасии[8] и будут там ждать, а несколько самых молодых попытаются проникнуть в город, и если с ними случится что-нибудь неладное, оставшиеся позаботятся о том, чтобы ни дети их, ни родители не терпели нужды. Первым вызвался идти Пелопид, за ним Мелон, Дамоклид и Феопомп – все люди из лучших фиванских домов, связанные верною дружбой, но постоянные соперники в славе и мужестве. Всего набралось двенадцать человек; попрощавшись с товарищами и отправив гонца к Харону, они двинулись в путь, накинув на плечи короткие плащи, захватив с собой охотничьих собак и шесты для сетей, чтобы никто из встречных ни в чем их не заподозрил и они казались бы праздными гуляками, вышедшими побродить и поохотиться. Когда гонец прибыл к Харону и сообщил, что пославшие его уже в дороге, тот даже в виду надвигающейся опасности не отказался от прежнего образа мыслей, но, как человек благородный, подтвердил свое намерение принять их у себя. Но некий Гиппосфенид, человек тоже не плохой, напротив, питавший любовь к отечеству и расположенный к изгнанникам, однако чуждый той отваге, которой требовали острота сложившихся обстоятельств и предстоящие решительные действия, как бы замер в смущении пред величием готовой вспыхнуть борьбы, только тогда, наконец, сообразив, что он и его единомышленники, поверив беспочвенным чаяниям изгнанников, пытаются в какой-то мере поколебать власть лакедемонян и ниспровергнуть их могущество. Он молча отправляется домой и посылает одного из своих друзей к Мелону и Пелопиду, советуя им отложить начатое дело и, вернувшись в Афины, ждать другого, более благоприятного случая. Имя этого посланца было Хлидон; он бегом бросился домой и, выведя коня, попросил жену подать ему уздечку. Та не могла ее сразу найти и, не зная, что делать, сказала, что одолжила уздечку кому-то из близких; между ними началась перебранка, потом дошло до проклятий, и жена пожелала дурного пути и ему самому и тем, кто его послал, так что Хлидон, убивший на эту ссору значительную часть дня и сочтя случившееся злым предзнаменованием, в ярости вовсе отказывается от поездки и берется за какое-то другое дело. Так величайшие и прекраснейшие деяния едва-едва не потерпели крушения в самом начале.

9. Пелопид и его спутники, переодетые в крестьянское платье, порознь, с разных сторон, проникли в город еще при свете дня; погода вдруг изменилась, задул ветер, повалил снег, и так как большинство горожан разбежалось по домам, прячась от ненастья, тем легче было изгнанникам остаться незамеченными. Особо назначенные люди, которые должны были следить за тем, как идет дело,

встречали их и немедленно отводили в дом Харона. Всего вместе с прибывшими набралось сорок восемь человек.

Что касается тираннов, то писец Филлид, который, как уже говорилось, участвовал в заговоре и во всем содействовал беглецам, уже давно назначил на этот день пирушку с вином и разгульными женщинами и пригласил Архия с товарищами, чтобы предать их в руки врагов совсем пьяными и обессилевшими от наслаждений. Не успели еще те захмелеть, как получили донесение – не ложное, правда, но непроверенное и недостаточно надежное – о том, что изгнанники скрываются в городе. Филлид пытался переменить предмет разговора, но Архий отправил за Хароном одного из служителей с приказом явиться немедленно. Наступил вечер, и Пелопид с товарищами, уже облеченные в панцири, с мечами в руках, готовились к бою. Неожиданно раздался стук, кто-то побежал к дверям и, узнав от служителя, что Харона вызывают к себе полемархи, в смятении сообщил эту новость. И всем сразу же пришла одна мысль – заговор раскрыт, теперь все они погибнут, так и не свершив ничего достойного их доблести. Тем не менее было решено, что Харон подчинится и как ни в чем не бывало предстанет перед властью. Это был храбрый человек, сохранявший присутствие духа в самых грозных обстоятельствах, но тут он испугался за своих гостей и испытывал мучительную тревогу, как бы в случае гибели столь многих и столь именитых граждан на него не пало подозрение в предательстве. И вот, перед тем как уйти, он отправился на женскую половину, взял сына, еще мальчика, но красотою и силой превосходившего всех своих сверстников, и привел его к Пелопиду, прося не щадить его и предать смерти как врага, если обнаружится хоть малейшее коварство или предательство со стороны отца. Волнение Харона и его благородство вызвали слезы на глазах у многих, и все с негодованием отвергли его предположение, будто кто-то из них настолько низок душой или настолько испуган случившимся, чтобы подозревать своего хозяина или вообще в чем бы то ни было обвинять его. Они убеждали Харона не вмешивать в их дела сына, не ставить его на пути надвигающихся бедствий, чтобы, благополучно избегнув рук тираннов, он вырос мстителем за родной город и за своих друзей. Но тот заявил, что мальчик останется с ними. "Какая жизнь, – спросил он, – какое спасение могут быть для него прекраснее, нежели эта ничем не запятнанная кончина вместе с отцом и многочисленными друзьями?" Помолившись богам, простившись со всеми и несколько их ободривши, он ушел, весь углубившись в самого себя и думая лишь о том, как бы ни выражением лица, ни звуком голоса не выдать истинных своих намерений.

10. Едва он показался в дверях, к нему подошли Архий и Филлид, и Архий сказал: "Харон, я слышал, что какие-то люди пробрались в город и прячутся здесь, а кое-кто из граждан им помогает". Сначала Харон оторопел, но затем, спросивши, кто эти люди и кто их прячет, и видя, что Архий не может ответить ничего определенного, сообразил, что доносчик сам ничего толком не знал. "Смотрите, – заметил он, – как бы не оказалось, что вас переполошил пустой слух. Впрочем, расследуем: от таких сообщений, пожалуй, нельзя отмахиваться". Филлид, присутствовавший при этом разговоре, одобрил слова Харона и,

уведя Архия назад, снова налил ему полную чашу несмешанного вина, продливши попойку надеждами на скорое появление женщин.

Вернувшись к себе и найдя заговорщиков в боевой готовности, – не на победу или спасение рассчитывали они, но решились со славой умереть, уведя за собой как можно больше врагов, – Харон открыл правду только изгнанникам, остальным же передал вымышленный разговор с Архием о каких-то совсем посторонних вещах.

Не успела миновать эта буря, как судьба уже обрушила на них другую. Из Афин от верховного жреца Архия к Архию Беотийскому, его тезке, гостеприимцу и другу, прибыл человек с письмом, в котором, как выяснилось позже, содержались уже не пустые, безосновательные подозрения, но подробный рассказ обо всем происшедшем. Гонца сразу привели к пьяному Архию, и, протянув письмо, он сказал: "Тот, кто это послал, очень просил тебя прочесть немедленно: здесь написано о делах чрезвычайной важности". Архий же, улыбнувшись, ответил: "Важные дела отложим до завтра". И, приняв письмо, сунул его под подушку, а сам вернулся к прерванному разговору с Филлидом. Эти его слова вошли в пословицу, которая еще и по сию пору в употреблении у греков.

11. Решив, что час настал, заговорщики вышли из дома, разделившись на два отряда: одни, во главе с Пелопидом и Дамоклидом, должны были совершить нападение на Леонтида и Гипата, живших неподалеку друг от друга, а на Архия и Филиппа двинулись Харон и Мелон. Эти последние со своими людьми накинули поверх панцирей женское платье, на головы надели венки из еловых и сосновых ветвей, бросавшие на лицо густую тень, и потому в первое мгновение, когда они остановились в дверях залы, среди пирующих, решивших, что это пришли женщины, которых уже давно ждали, послышались рукоплескания и крики одобрения. Но когда, тщательно оглядевшись и узнав каждого из возлежавших в лицо, пришельцы обнажили мечи и бросились, опрокидывая столы, на Архия и Филиппа, открылось, кто это такие. Лишь немногих гостей Филлид убедил соблюдать спокойствие, остальные вскочили со своих мест и вместе с полемархами пытались защищаться, однако умертвить пьяных не составило особого труда.

Пелопиду же и его людям выпала задача гораздо более трудная. Они выступили против Леонтида – противника грозного и трезвого; двери дома были заперты, хозяин уже спал, и на их стук долго никто не откликался. Наконец кто-то из слуг, услышав шум, вышел и отодвинул засов; едва только двери подались и приоткрылись, они ринулись все разом вперед, сбили раба с ног и помчались в спальню. Леонтид, по крикам и топоту ног догадавшийся, что происходит, выхватил кинжал, и, если бы он не упустил из виду погасить светильник, мрак привел бы нападавших в полное замешательство. Но, отчетливо видимый в ярком свете, он бросился навстречу им к двери спальни, одним ударом уложил Кефисодора – первого, кто переступил порог, а когда тот упал, схватился со вторым – Пелопидом. Теснота дверного прохода и труп Кефисодора под ногами затрудняли и осложняли бой. Наконец Пелопид одержал верх и, прикончив Леонтида, поспешил вместе с товарищами к Гипату. Подобным же образом они силой вор-

вались в дом; на этот раз хозяин скорее узнал об их прибытии и кинулся было к соседям, но враги, не теряя ни мгновения, погнались за ним, схватили и убили.

12. Благополучно завершив начатое и соединившись с отрядом Мелона, они послали в Аттику за оставшимися там изгнанниками и стали призывать граждан вернуть себе свободу; присоединявшихся к ним они вооружали, забирая развешанные в портиках доспехи, некогда снятые фиванцами с убитых врагов, и взламывая находившиеся поблизости от дома копейные и мечные мастерские. На помощь к ним подоспели Эпаминонд и Горгид, окруженные немалым числом молодых людей и людей постарше из самых крепких; все были с оружием в руках. Город пришел в волнение, поднялась страшная сумятица, повсюду засветились огни, люди забегали из дома в дом; но народ еще не собирался – потрясенные случившимся, ничего толком не зная, фиванцы ждали рассвета. И тут спартанские начальники, по общему суждению, совершили ошибку: им следовало сразу же сделать вылазку и напасть первыми – ведь их отряд насчитывал около полутора тысяч воинов, да еще из города к ним сбегалось много людей, – но крик, и пламя, и огромные толпы, стекающиеся отовсюду, испугали их, и они остались на месте, в Кадмее. С наступлением дня из Аттики прибыли вооруженные изгнанники, и открылось Народное собрание. Эпаминонд и Горгид ввели Пелопида с товарищами, сопровождаемых жрецами, которые несли священные венки и, простирая к согражданам руки, призывали их постоять за отечество и за своих богов. Собрание же, рукоплеща, поднялось и встретило этих мужей радостными криками, видя в них своих благодетелей и спасителей.

13. Вслед за тем Пелопид, избранный беотархом[9] вместе с Мелоном и Хароном, приказывает немедленно окружить крепость кольцом укреплений и начать приступ со всех сторон одновременно, спеша изгнать лакедемонян и очистить Кадмею до того, как подойдет войско из Спарты. И он торопился не напрасно: спартанцы, беспрепятственно покинув Беотию[10] согласно заключенному договору, уже в Мегарах встретились с Клеомбротом, который во главе большого войска двигался к Фивам. Из трех наместников, правивших Фивами, двоих – Гериппида и Аркисса – лакедемоняне приговорили к смерти, а третий, Лисанорид, заплатил огромный штраф и покинул Пелопоннес.

Этот подвиг и подвиг Фрасибула греки называли "братьями", имея в виду удивительно сходные в обоих случаях храбрость участников, опасности, которые им грозили, остроту борьбы и, наконец, благосклонность судьбы. Трудно назвать другой пример, когда бы горстка людей, лишенных всякой помощи и поддержки, благодаря лишь природной отваге, одолела противника, настолько превосходящего их числом и силою, оказав неоценимые услуги отечеству. Но подвиг Пелопида делает особенно славным последовавшая за ним перемена обстоятельств. Война, разрушившая величие Спарты и покончившая с господством лакедемонян на суше и на море, началась с той ночи, когда Пелопид, не захватив ни единого караульного поста, не овладевши ни стеною, ни крепостью, но просто явившись с одиннадцатью товарищами в частный дом, расторг и разбил (если воспользоваться образным выражением для описания истинных собы-

тий) узы лакедемонского владычества, считавшиеся нерасторжимыми и несокрушимыми.

14. Итак, когда большая спартанская армия вторглась в Беотию, устрашенные афиняне отказались от союза с Фивами и, привлекши к суду всех, кто держал сторону беотийцев, одних казнили, других отправили в изгнание, третьих подвергли денежным штрафам. Положение фиванцев, оставшихся в полном одиночестве, казалось крайне затруднительным, и Пелопид с Горгидом, тогдашние беотархи, задумали снова поссорить Афины со Спартой при помощи вот какой хитрости. Спартанец Сфодрий, прекрасный воин, но человек легкомысленный, исполненный несбыточных надежд и неразумного честолюбия, был оставлен с отрядом возле Феспий, чтобы встречать и брать под защиту тех, кто пожелает бежать от фиванцев. Пелопид частным образом подослал к нему одного купца, своего друга, с деньгами и устным предложением, – оно соблазнило Сфодрия больше, чем деньги, – попытать удачи в деле более значительном, нежели то, что ему поручено, и, неожиданно напав на беспечных афинян, отбить у них Пирей. Ведь ничто не доставит спартанцам такой радости, как захват Афин, а фиванцы обижены на афинян, считают их предателями и помогать им не станут. Сфодрий в конце концов согласился и однажды ночью вторгся со своими воинами в пределы Аттики. Он дошел до Элевсина, но здесь воины испугались, и, видя свой замысел раскрытым, он повернул назад, ставши виновником нешуточной и нелегкой для Спарты войны.

15. После этого афиняне с величайшей охотой снова заключили союз с фиванцами и, домогаясь господства на море, разъезжали повсюду, привлекая на свою сторону склонных к отпадению греков. А между тем в Беотии фиванцы при всяком удобном случае вступали в столкновения с лакедемонянами и завязывали бои, сами по себе незначительные, но оказавшиеся отличным упражнением и подготовкой, и благодаря этому воспрянули духом и закалились телом, приобретя в борьбе опыт, воинский навык и уверенность в своих силах. Вот почему, как рассказывают, спартанец Анталкид заметил Агесилаю, когда тот вернулся из Беотии раненый: “Да, недурно заплатили тебе фиванцы за то, что, вопреки их желанию, ты выучил их воевать и сражаться”. Но, по сути дела, учителем был не Агесилай, а те, кто своевременно, разумно и умело, точно щенков, напускали фиванцев на противника, а затем благополучно отводили назад, дав насладиться вкусом победы и уверенности в себе. Среди этих людей самым знаменитым был Пелопид. С тех пор как он впервые стал командующим, каждый год, до самой смерти, его неукоснительно избирали на высшие должности и он был то предводителем священного отряда, то – чаще всего – беотархом.

Спартанцы были разбиты и бежали при Платеях и Феспии, где среди прочих погиб Фебид, захвативший Кадмею; значительные силы их Пелопид обратил в бегство и при Танагре – там он убил гармоста[11] Панфоида. Эти сражения разумеется, придавали победителям мужества и отваги, однако и побежденные не до конца пали духом: ведь настоящих битв, когда войска открыто выстраиваются в правильные боевые линии, еще не было, но фиванцы достигали успеха в коротких и стремительных вылазках, то отступая, то сами начиная бой и преследуя неприятеля.

16. Тем не менее дело под Тегирами, явившееся в какой-то мере приготовлением к Левктрам, доставило Пелопиду громкую известность, поскольку товарищи по командованию не могли оспаривать у него честь победы, а враги – хоть чем-нибудь оправдать свое поражение. Вот как это было. Замыслив овладеть городом Орхоменом, который принял сторону Спарты и в интересах собственной безопасности впустив к себе две моры[12] лакедемонян, Пелопид выжидал удобного случая. До него доходит известие, что гарнизон двинулся походом в Локриду, и, надеясь взять Орхомен голыми руками, он выступил со священным отрядом и немногочисленной конницей. Но, приблизившись к городу, Пелопид узнал, что гарнизон сменили прибывшие из Спарты части, и повел своих людей назад кружной дорогой, предгорьями, через Тегиры – другого пути не было, так как река Мелан начиная от самых истоков разливается глубокими болотами и озерами, делая непроходимой всю долину.

Подле самого болота стоит маленький храм Аполлона Тегирского с оракулом, который пришел в упадок сравнительно недавно, а до Персидских войн даже процветал – при жреце Эхекрате, обладавшем даром прорицания. Здесь, по преданию, бог появился на свет. Ближайшая гора называется Делос, и у ее подножия останавливаются разлившиеся воды Мелана. Позади храма бьют два ключа, изобилующие удивительно холодной и сладкой водой; один из них мы до сего дня зовем "Пальмой", а другой "Маслиной", словно богиня разрешилась от бремени не меж двух деревьев, а меж двух ручьев, Рядом и Птой, где, как передают, внезапно появился вепрь, испугавший Латону, и места, связывающие рассказы о Пифоне и Титии с рождением бога. Однако бóльшую часть относящихся к этому доказательств я опускаю. Ведь от предков мы знаем, что Аполлон не принадлежит к числу тех божеств, что были рождены смертными, но потом, претерпев превращение, сделались бессмертны, как Геракл и Дионис, сбросившие с себя, благодаря своей доблести, все, что подвержено страданию и смерти; нет, он один из вечных и нерожденных богов, если только следует полагаться в столь важных вопросах на слова самых разумных и самых древних писателей.

17. И вот у Тегир фиванцы, отступавшие от Орхомена, встретились с лакедемонянами, которые двигались им навстречу, возвращаясь из Локриды. Как только они показались впереди, в горловине ущелья, кто-то подбежал к Пелопиду и крикнул: "Мы наткнулись на противника!" "Что ты, – ответил тот, – скорее противник – на нас", – и тут же приказал всадникам, которые находились в хвосте колонны, выдвинуться и первыми напасть на врага, а сам, оставшись с гоплитами (их было триста человек), велел теснее сомкнуть ряды, надеясь, что так, где бы он ни ударил, ему удастся прорвать строй неприятелей, превосходивших фиванцев числом: в спартанском отряде было две моры, а мора – это пятьсот воинов, как утверждает Эфор, или семьсот, по мнению Каллисфена, или даже, – по словам других авторов, в том числе и Полибия, – девятьсот. Полемархи Горголеон и Феопомп, не задумываясь, бросились на фиванцев. Натиск с обеих сторон был устремлен главным образом туда, где находились полководцы, и потому, после жестокой схватки, первыми пали спартанские полемархи, вступившие в бой с Пелопидом, а затем и окружавшие их воины погибли под мечами

врага, и тут лакедемонян обуял такой страх, что они расступились, освобождая фиванцам дорогу и словно предоставляя им следовать дальше своим путем. Но Пелопид, пренебрегши этой возможностью, ринулся со своими людьми на сгрудившихся спартанцев и, истребляя всех подряд, обратил противника в беспорядочное бегство. Далеко преследовать бегущих фиванцы не решились, опасаясь как жителей Орхомена, находившегося поблизости, так и стоявшего там свежего спартанского гарнизона; тем не менее они одержали решительную победу, пробившись сквозь вражеский отряд и разгромив его наголову. Итак, воздвигнув трофей и снявши доспехи с убитых, они с гордостью вернулись домой.

До тех пор ни в одной из многочисленных войн с греками и варварами спартанцы ни разу не терпели поражений, обладая численным преимуществом или даже равными с неприятелем силами. Отсюда их уверенность в собственной неодолимости; когда дело доходило до битвы: их слава сама по себе уже нагоняла ужас, ибо никто не осмеливался считать себя равным спартанцам при равном количестве воинов. Тегирское сражение впервые доказало остальным грекам, что не только Эврот и место меж Бабиками и Кнакионом[13] рождают доблестных и воинственных мужей, но что всякая страна, где юноши с малолетства приучаются стыдиться позора, ревностно домогаться доброй славы и сильнее страшиться хулы, нежели опасностей, – чрезвычайно грозный противник.

18. Священный отряд, как рассказывают, впервые был создан Горгидом; в него входили триста отборных мужей, получавших от города все необходимое для их обучения и содержания и стоявших лагерем в Кадмее; по этой причине они носили имя "городского отряда", так как в ту пору крепость обычно называли "городом". Некоторые утверждают, что отряд был составлен из любовников и возлюбленных. Сохранилось шутливое изречение Паммена, который говорил, что гомеровский Нестор оказал себя неискусным полководцем, требуя, чтобы греки соединялись для боя по коленам и племенам:

Пусть помогает колену колено и племени племя[14], –

вместо того, чтобы поставить любовника рядом с возлюбленным. Ведь родичи и единоплеменники мало тревожатся друг о друге в беде, тогда как строй, сплоченный взаимной любовью, нерасторжим и несокрушим, поскольку любящие, стыдясь обнаружить свою трусость, в случае опасности неизменно остаются друг подле друга. И это не удивительно, если вспомнить, что такие люди даже перед отсутствующим любимым страшатся опозориться в большей мере, нежели перед чужим человеком, находящимся рядом, – как, например, тот раненый воин, который, видя, что враг готов его добить, молил: "Рази в грудь, чтобы моему возлюбленному не пришлось краснеть, видя меня убитым ударом в спину". Говорят, что Иолай, возлюбленный Геракла, помогал ему в трудах и битвах. Аристотель сообщает, что даже в его время влюбленные перед могилой Иолая приносили друг другу клятву в верности. Вполне возможно, что отряд получил наименование "священного" по той же причине, по какой Платон[15] зовет лю-

бовника “боговдохновенным другом”. Существует рассказ, что вплоть до битвы при Херонее он оставался непобедимым; когда же после битвы Филипп, осматривая трупы, оказался на том месте, где в полном вооружении, грудью встретив удары македонских копий, лежали все триста мужей, и на его вопрос ему ответили, что это отряд любовников и возлюбленных, он заплакал и промолвил: “Да погибнут злою смертью подозревающие их в том, что они были виновниками или соучастниками чего бы то ни было позорного”.

19. Впрочем, поэты неправы, утверждая, будто начало этим любовным связям среди фиванцев положила страсть Лая[16]; на самом деле волею законодателей, желавших с детства ослабить и смягчить их природную горячность и необузданность, все игры и занятия мальчиков постоянно сопровождались звуками флейты, которой было отведено почетное первое место, а в палестрах воспитывалось ясное и светлое чувство любви, умиротворявшее нравы молодежи и вносившее в них умеренность. И совершенно правильно фиванцы считают жительницей своего города богиню, родившуюся, как говорят, от Ареса и Афродиты[17], ибо где боевой и воинственный дух теснее всего связан с искусством убеждения, прелестью и красотой, там, благодаря гармонии, из всех многообразных частей возникает самое стройное и самое благовидное государство.

Бойцов, священного отряда Горгид распределял по всему строю гоплитов, ставя их в первых рядах; таким образом доблесть этих людей не особенно бросалась в глаза, а их мощь не была направлена на исполнение определенного задания, поскольку они были разъединены и по большей части смешаны с воинами похуже и послабее. Лишь Пелопид, после того как они столь блистательно отличились при Тегирах, сражаясь у него на глазах, больше не разделял и не расчленял их, но использовал как единое целое, посылая вперед в самые опасные и решительные минуты боя. Подобно тому, как кони, запряженные в колесницу, бегут быстрее, нежели поодиночке, – не потому, что общими усилиями они легче рассекают воздух, но потому, что их разжигает соревнование и соперничество друг с другом, – так, полагал он, храбрые люди, внушая друг другу рвение к славе и подвигам, оказываются особенно пригодны и полезны для совместных действий.

20. Лакедемоняне, заключив мир со всеми греками, продолжали вести войну против одних только фиванцев; царь Клеомброт с десятью тысячами гоплитов и тысячей всадников вторгся в их пределы, и теперь над фиванцами нависла опасность много страшнее прежней – враги открыто и недвусмысленно грозили им изгнанием из отечества, и небывалый страх охватил всю Беотию. В эту пору жена со слезами провожала Пелопида из дома, и в ответ на ее просьбы беречь себя он сказал: “Жена, это добрый совет для простого солдата, полководцу же надлежит думать о том, как сберечь других”. Прибыв в лагерь и не найдя единодушия среди беотархов, он первым разделил мнение Эпаминонда, предлагавшего дать врагу сражение (сам он не был назначен беотархом, но командовал священным отрядом и пользовался доверием, какого по справедливости заслуживает человек, давший родине такие неопровержимые доказательства своей любви к свободе).

И вот, когда было решено попытать счастья в бою и фиванцы расположились лагерем под Левктрами, против спартанского лагеря, Пелопид увидел сон, сильно его встревоживший. На левктрийской равнине стоят надгробья дочерей Скидаса, которых называют Левктридами – по месту, где они были похоронены, подвергшись насилию со стороны чужеземцев из Спарты. Их отец после тщетных попыток добиться в Лакедемоне возмездия за это тяжкое преступление проклял спартанцев и лишил себя жизни на могиле дочерей. С тех пор предсказания и оракулы постоянно внушали спартанцам остерегаться и беречься левктрийского гнева, но большинство не принимало в расчет этих предупреждений, не зная, к какому месту их отнести, потому что и в Лаконии один приморский городок зовется Левктрами и в Аркадии, неподалеку от Мегалополя, есть место того же имени. Вдобавок то страшное дело совершилось задолго до битвы при Левктрах.

21. Итак, Пелопиду в лагере приснились молодые женщины, плачущие подле своих памятников и проклинающие спартанцев, и сам Скидас, требующий, чтобы Пелопид, если он хочет одержать победу, принес в жертву его дочерям белокурую девушку. Это повеление показалось ему ужасным и беззаконным, и, поднявшись, он стал совещаться с прорицателями и начальниками. Одни не считали возможным пренебречь приказом или ослушаться его, приводя в пример Менэкея, сына Креонта[18], и Макарию, дочь Геракла, а из новых времен – мудреца Ферекида, который был убит лакедемонянами и чью кожу, выполняя предписание оракула, по сию пору сберегают их цари, и Леонида, который, повинуясь пророчеству, до какой-то степени принес себя в жертву за Грецию, и, наконец, персов, заколотых Фемистоклом в честь Диониса Кровожадного накануне морского сражения при Саламине; в пользу подобных действий свидетельствует счастливый исход, которым они завершались. И, напротив, когда Агесилай, отправляясь войною на того же противника и из тех же мест, что некогда Агамемнон, и увидев в Авлиде такой же сон, отказал богине, просившей отдать ей в жертву его дочь, это малодушие расстроило весь поход, который окончился бесславно и бесплодно. Но другие отговаривали Пелопида, уверяя, что ни одной из вышних сил не может быть угодна столь дикая и беззаконная жертва, – ведь нами правит отец всех богов и людей, а не гиганты и не пресловутые тифоны. Нелепо, пожалуй, верить в демонов, которых радует убийство и человеческая кровь, а если они и существуют, не следует обращать на них ни малейшего внимания, считая совершенно бессильными, ибо нелепые и злобные их желания могут возникать и сохранять силу только по слабости и порочности нашей души.

22. В то время как предводители были поглощены этим спором, а сам Пелопид находился в величайшем затруднении, молодая кобылица, убежав из табуна, промчалась через лагерь и на полном скаку вдруг остановилась прямо перед совещавшимися. Все обратили внимание на ее светлую масть и огненно-рыжую гриву, на ее резвость, стремительность и дерзкое ржание, а прорицатель Феокрит, сообразив, что это значит, вскричал, обращаясь к Пелопиду: “Вот тебе жертва, чудак! Нечего нам ждать другой девы, бери ту, что посылает бог!” И тут же, взяв кобылицу, они повели ее к могилам девушек, украсили венками и,

помолившись, радостно заклали, а потом известили все войско о сне Пелопида и об этом жертвоприношении.

23. Когда битва началась, Эпаминонд вытянул свое левое крыло[19] по косой линии, чтобы как можно больше оторвать от остальных греков правое крыло спартанцев и погнать Клеомброта, разом нанеся ему сокрушительный удар с фланга. Противник, разгадав его замысел, начал перестраивать свой боевой порядок, развертывая и загибая правое крыло в намерении превосходящими силами окружить и запереть Эпаминонда, но в этот миг триста воинов Пелопида рванулись вперед, на бегу сплачивая ряды, и прежде чем Клеомброт успел растянуть крыло или, вернувшись в первоначальное положение, сомкнуть строй, напали на спартанцев, еще находившихся в движении и приведенных в замешательство собственными перемещениями. Известно, что лакедемоняне, непревзойденные мастера и знатоки военного искусства, прежде всего старались приучить себя не теряться и не страшиться, если строй оказывается расторгнутым, но, где бы ни застигла каждого опасность, одновременно и восстанавливать порядок и отражать врага, используя поддержку всех товарищей позади и с обеих сторон. Однако в тот раз главные силы фиванцев, которые, под командованием Эпаминонда, минуя прочих, устремились прямо на них, и Пелопид, с непостижимою уму стремительностью и дерзостью завязавший бой, настолько поколебали их умение и уверенность в себе, что началось бегство и резня, каких спартанцы еще никогда не видывали. Вот почему, не будучи беотархом и командуя лишь малою частью войска, Пелопид стяжал этой победой такую же славу, как Эпаминонд – беотарх и главнокомандующий.

24. Но при вторжении в Пелопоннес они уже оба были беотархами; отторгнув от Лакедемона почти все союзные ему земли – Элиду, Аргос, всю Аркадию, бóльшую часть самой Лаконии, они привлекли их на сторону фиванцев. Между тем зима была в разгаре, близился солнцеворот, до конца последнего месяца оставалось всего несколько дней, а с началом первого месяца командование должно было перейти в новые руки. Нарушающие этот порядок подлежали смертной казни, и беотархи, страшась закона и желая ускользнуть от суровой зимы, спешили увести войско домой. Но Пелопид, первым присоединившись к мнению Эпаминонда и ободрив сограждан, повел их на Спарту и перешел Эврот. Он захватил много городов лакедемонян и опустошил всю их страну до самого моря, стоя во главе семидесятитысячной греческой армии, в которой фиванцы не составляли и двенадцатой части. Но слава этих людей заставляла всех союзников, без всякого совместного о том решения и постановления, беспрекословно следовать за ними. Таков уж, по-видимому, самый первый и самый властный закон: человек, ищущий спасения, отдает себя под начало тому, кто способен его спасти, подобно путешествующим по морю, которые, пока держится тихая погода или судно стоит на якоре у берега, обращаются с кормчими дерзко и грубо, но едва начинается буря и положение становится опасным – глаз с кормчего не спускают, возлагая на него все надежды. Вот так же и аргивяне, элейцы и аркадяне: сначала на советах они спорили и враждовали с фиванцами из-за первенства, но потом, в самих битвах и перед лицом грозных обстоятельств, добровольно подчинялись их полководцам.

Во время того похода вся Аркадия стала единым государством, а Мессенскую землю, которой завладели лакедемоняне, победители отделили от Спарты, вернули туда прежних ее обитателей и снова заселили город Ифому. Возвращаясь домой, они разбили афинян, которые попытались напасть на них и преградить им путь в ущелье поблизости от Кенхрея.

25. Слыша об этих подвигах, все горячо восхищались доблестью обоих мужей и дивились их счастью, но вместе со славою умножалась зависть сограждан, прежде всего – противников на государственном поприще, и эта зависть приготовила им прием, менее всего заслуженный: вернувшись, оба были привлечены к суду, за то что вопреки закону, повелевающему беотархам в течение первого месяца (который у фиванцев называется "букатием") передать свои полномочия новым лицам, они удерживали власть еще целых четыре месяца – как раз то время, когда улаживали дела Мессении, Аркадии и Лаконии. Пелопида судили первым, и, стало быть, он подвергался большей опасности, но в конце концов оба были оправданы.

Эпаминонд перенес эти клеветнические нападки спокойно, полагая терпеливость в государственных делах немаловажною составною частью мужества и величия духа, но Пелопид, более горячий и вспыльчивый от природы, да к тому же подстрекаемый друзьями, воспользовался вот каким случаем, чтобы отомстить врагам. Среди тех, что когда-то вместе с Мелоном и Пелопидом явились в дом Харона, был оратор Менеклид. Не достигнув у фиванцев такого же положения, как вожди заговора, этот человек, удивительно красноречивый, но нрава необузданного и злобного, стал искать применения своим силам в ябедах и доносах, клевеща на самых лучших людей, и не унялся даже после суда над Пелопидом и Эпаминондом. Последнего он вытеснил с должности беотарха и долгое время успешно препятствовал всем его начинаниям на государственном поприще, а первого – так как перед народом очернить его был не в силах – решил поссорить с Хароном. Он прибег к средству, доставляющему утешение всем завистникам, которые, не имея возможности убедить окружающих в собственном превосходстве, всячески стараются доказать, что люди, стоящие выше их, в свою очередь ниже кого-то еще, и без конца превозносил перед народом подвиги Харона, восхваляя его искусство полководца и его победы. Незадолго до битвы при Левктрах фиванцы под командованием Харона победили в конном сражении при Платеях, и в память об этом событии Менеклид замыслил сделать священное приношение. Задолго до того кизикиец Андроклид подрядился написать для города картину с изображением битвы и работал над нею в Фивах. Когда произошло восстание, а потом началась война, картина, почти что законченная, осталась в руках у фиванцев. Ее-то Менеклид и предлагал принести в дар богу, надписавши на ней имя Харона, – чтобы затмить славу Пелопида и Эпаминонда. Нелепая затея – среди столь многих и столь важных сражений выделять и выдвигать вперед одну победу и одну-единственную схватку, тем только и отмеченную, что в ней пали никому не известный спартанец Герад и сорок его воинов. Это предложение Пелопид обжаловал как противозаконное, утверждая, что не в отеческих обычаях разделять честь победы меж отдельными лицами, но что следует сохранить ее в целости для всего отечества. На протяже-

нии всей своей речи он расточал щедрые похвалы Харону, уличая Менеклида в клевете и злых кознях и все время ставя фиванцам один и тот же вопрос: неужели сами они не свершили никаких подвигов...* Менеклид был приговорен к огромному денежному штрафу, и так как уплатить его не мог, то пытался устроить государственный переворот. Последнее дает также пищу для размышлений над жизнью...*

26. Ферский тиранн Александр вел открытую войну со многими фессалийскими городами, питая намерение покорить всю страну, и вот фессалийцы отправили в Фивы посольство с просьбой прислать им на помощь войска и полководца. Поскольку Эпаминонд был занят делами Пелопоннеса, Пелопид предложил фессалийцам свои услуги. не желая, с одной стороны, чтобы его опыт и сила оставались в бездействии, а с другой – будучи уверен, что рядом с Эпаминондом другой полководец уже не нужен. Прибыв с войском в Фессалию, он тут же взял Лариссу; Александр явился к нему с повинной, и Пелопид попытался изменить его нрав, превратив из тиранна в умеренного и справедливого правителя. Но так как это был неисправимый злодей и на его свирепость, распущенность и корыстолюбие поступали бесчисленные жалобы, Пелопид резко и гневно выразил ему свое неудовольствие, и Александр бежал вместе со своими телохранителями. Избавив фессалийцев от страха перед тиранном и установив между ними полное единодушие, Пелопид отправился в Македонию[20], где Птолемей воевал с македонским царем Александром; оба посылали за Пелопидом, чтобы он примирил их, рассудил и оказал поддержку тому, кого сочтет обиженной стороной. Он уладил раздоры, вернул изгнанников и, взяв в заложники Филиппа, брата царя, и еще тридцать мальчиков из самых знатных семей, отправил их в Фивы, чтобы показать грекам, как далеко простирается влияние фиванцев благодаря славе об их могуществе и вере в их справедливость. Это был тот самый Филипп, который впоследствии силою оружия оспаривал у Греции ее свободу. Мальчиком он жил в Фивах у Паммена и на этом основании считался ревностным последователем Эпаминонда. Возможно, что Филипп и в самом деле кое-чему научился, видя его неутомимость в делах войны и командования (что было лишь малою частью достоинств этого мужа), но ни его воздержанностью, ни справедливостью, ни великодушием, ни милосердием, – качества, в коих он был подлинно велик! – Филипп и от природы не обладал, и подражать им не пытался.

27. Вскоре фессалийцы опять стали жаловаться на Александра Ферского, который тревожил их города; Пелопид вместе с Исмением был отправлен в Фессалию послом, и так как, не ожидая военных действий, он не привел с собою ни пехоты, ни конницы, ему приходилось в случаях крайней необходимости пользоваться силами самих фессалийцев. В это время в Македонии снова началась смута: Птолемей убил царя и захватил власть, а друзья покойного призвали Пелопида. Последний, желая вмешаться, но не располагая собственными воинами, набрал наемников и сразу же двинулся с ними на Птолемея. Когда противники были уже поблизости друг от друга, Птолемей, подкупив наемников, уговорил

*Текст в оригинале испорчен.

их перебежать на его сторону, но все же, страшась имени Пелопида и его славы, выехал ему навстречу, словно победителю, почтительно приветствовал и просил о мире, соглашаясь сохранить престол для братьев убитого и признать всех врагов фиванцев своими врагами, а всех их друзей – союзниками; в подкрепление этих условий он дал заложников – своего сына Филоксена и пятьдесят своих приближенных. Заложников Пелопид принял и отослал в Фивы; но он не простил наемникам измены: узнав, что почти все их имущество, дети и жены находятся близ Фарсала, он решил, что, захватив их, сполна рассчитается за свою обиду, и с небольшим отрядом фессалийцев нагрянул в Фарсал.

Не успел он туда явиться, как показался тиранн Александр с войском. Думая, что тот желает оправдаться в своих действиях, Пелопид и Исмений отправились к нему сами: зная всю порочность и кровожадность этого человека, они тем не менее не боялись за себя, полагаясь на величие Фив и свою собственную силу. Но Александр, увидев, что фиванские послы пришли к нему без оружия и без охраны, тут же приказал взять их под стражу, а сам занял Фарсал; этот поступок внушил величайший ужас всем его подданным, которые решили, что он, как видно, вконец распростился с надеждой на спасение и потому не станет щадить никого и ничего на своем пути.

28. Узнав об этом, фиванцы были сильно разгневаны и немедленно снарядили войско, но во главе его поставили не Эпаминонда, которым были недовольны, а каких-то других людей. А Пелопида тиранн доставил в Феры и сначала разрешил беседовать с ним всякому, кто ни пожелает, в уверенности, что он сокрушен и унижен своим несчастьем. Но Пелопид утешал и ободрял скорбящих жителей Фер (уж теперь-то, говорил он, тиранн во всяком случае понесет наказание) и даже просил передать самому Александру, что считает его человеком неразумным, если несчастных и ни в чем не повинных сограждан он что ни день пытает и казнит, но щадит Пелопида, который, как он сам отлично понимает, беспощадно расправится с ним, если только вырвется на волю. Дивясь его мужеству и бесстрашию, тиранн спросил: “Чего ради Пелопид так торопится умереть?” А тот, когда ему об этом рассказали, воскликнул: “Ради того, чтобы ты стал еще более ненавистен богам и тем скорее погиб!” После этого Александр закрыл посторонним доступ к нему. Но Фива, дочь Ясона и супруга Александра, слыша от стражей Пелопида, как храбро и благородно он себя держит, пожелала увидеть этого человека и говорить с ним. Войдя к Пелопиду, она, как и свойственно женщине, не сразу разглядела величие духа под покровом столь тяжкого несчастья, но, видя его пищу, платье и коротко остриженные волосы, поняла, что он терпит оскорбительное, недостойное его славы обращение, и заплакала; Пелопид, не зная сначала, кто эта женщина, изумился, а когда узнал, приветствовал ее, назвав дочерью Ясона, с которым был когда-то в большой дружбе. В ответ на ее слова: “Мне жаль твою жену”, – он сказал: “А мне жаль тебя, если ты, без оков на руках и ногах, все еще остаешься с Александром”. Эта его речь задела и встревожила женщину: Фиву удручала жестокость и распущенность тиранна, который, не говоря уже о всех прочих его бесчинствах, сделал своим возлюбленным ее младшего брата. Она очень часто бывала у Пе-

лопида и, откровенно рассказывая обо всем, что ей приходилось терпеть, наполняла его душу гневом и непреклонной ненавистью к Александру.

29. Фиванские военачальники вторглись в Фессалию, но то ли по всей неопытности, то ли по несчастливому стечению обстоятельств не достигли никакого успеха, и позорно отступили; на каждого из них город наложил штраф в десять тысяч драхм, а против Александра отправил Эпаминонда с войском. Сразу же началось великое брожение среди фессалийцев, воодушевленных славою этого мужа, и тиранн оказался на волоске от гибели – такой страх напал на его полководцев и приближенных, так сильна была решимость подданных восстать и радостные их чаяния в недалеком будущем увидеть, как тиранн понесет заслуженную кару. Но Эпаминонд, превыше своей славы ставя спасение друга и опасаясь, как бы Александр, видя, что все кругом рушится и потому вконец отчаявшись, не набросился на Пелопида, словно дикий зверь, умышленно затягивал войну и, безостановочно кружась по стране, неторопливостью своих приготовлений сломил тиранна настолько, что, не дразня попусту его злобной горячности, в то же время ни на миг не давал воли его строптивости. Ведь Эпаминонд знал его кровожадность и презрение к добру и справедливости, знал, что тот закапывал людей в землю живыми, а иных приказывал обернуть в шкуру кабана или медведя и, спустив на них охотничьих собак, развлекался, глядя, как несчастных рвут на куски и закалывают копьями; что в Мелибее и Скотуссе, союзных и дружественных городах, его телохранители, окружив во время собрания народ на площади, истребили всех взрослых граждан поголовно; что копье, которым он умертвил своего дядю Полифрона, он объявил святыней, украсил венками и приносил ему жертвы, словно богу, называя именем Тихона[21]. Однажды он смотрел "Троянок" Эврипида, но вдруг поднялся и ушел из театра, велевши передать актеру, чтобы тот не огорчался и не портил из-за этого своей игры: он-де удалился не из презрения к исполнителю, но потому, что ему было бы стыдно перед согражданами, если бы они увидели, как Александр, ни разу не пожалевший никого из тех, кого он осуждал на смерть, проливает слезы над бедами Гекубы и Андромахи. Но слава и грозное имя великого полководца, устрашили даже этого тиранна,

И крылья опустил петух, как жалкий раб[22],

и он быстро отправил к Эпаминонду послов с извинениями и оправданиями. Хотя тот не считал совместным с достоинством фиванцев вступать в мирные и дружеские отношения с таким негодяем, но все же согласился на тридцатидневное перемирие и, забрав Пелопида и Исмения, вернулся домой.

30. Фиванцы, узнав, что из Спарты и Афин выехали послы для заключения договора с великим царем, со своей стороны отправили к нему Пелопида, сделав – имея в виду славу этого человека – самый лучший выбор. Прежде всего в царских провинциях, через которые он проезжал, его имя было уже хорошо известно: громкая молва о его боях с лакедемонянами, начиная с первых вестей о битве при Левктрах, прокатилась по всей Азии, а все новые и новые победы умножили ее и донесли до самых отдаленных пределов. Затем, уже при дворе, сатрапы, полководцы и начальники взирали на него с восхищением и говорили

друг другу: "Видите этого человека? Он лишил лакедемонян владычества на суше и на море, оттеснив за Таигет и Эврот ту самую Спарту, которая еще совсем недавно, при Агесилае, отваживалась войною оспаривать у великого царя и персов Сузы и Экбатаны". Все это радовало Артаксеркса, и, желая внушить мнение, что ему угождают и восхищаются его счастьем самые знаменитые люди, он еще выше возносил Пелопида, громко дивясь его подвигам и повелевая оказывать ему почести. Когда же царь увидел его собственными глазами и, выслушав его речь, пришел к заключению, что он говорит основательнее афинян и откровеннее спартанцев, он полюбил Пелопида еще горячее и – истинно по-царски! – не скрыл своих чувств к нему, но дал понять прочим послам, что ставит Пелопида гораздо выше, нежели их. Впрочем, более всего из греков, мне кажется, Артаксеркс почтил спартанца Анталкида, когда, возлежа за вином, снял с головы венок, окунул его в благовония и передал своему гостю. Пелопида он, правда, так не баловал, но посылал ему самые богатые и драгоценные подарки из тех, какие обычно подносят послам, и удовлетворил все его просьбы – подтвердил независимость греков, дал согласие на восстановление Мессены и объявил фиванцев старинными друзьями царя[23]. Получив такие ответы, но не приняв ни единого дара, кроме тех, что были знаками благосклонности и радушия, Пелопид отправился в обратный путь.

Безупречность его поведения жесточайшим образом опорочила остальных послов. Тимагора афиняне осудили на смерть, и, если причина – обилие даров, они совершенно правы. Он взял не только золото, не только серебро, но и драгоценное ложе, и рабов, чтобы его застилать (словно греки не умеют стелить постели!), и даже восемьдесят коров с пастухами – под тем предлогом, что, страдая какой-то болезнью, постоянно нуждается в коровьем молоке; когда же, наконец, его на носилках доставили к берегу моря, носильщикам от имени царя было выдано четыре таланта. Но, по-видимому, не мздоимство больше всего разгневало афинян. Во всяком случае, когда некий Эпикрат, по прозвищу "Щитоносец", нисколько не отрицая того, что принимал от царя подарки, заявил к тому же, что предлагает Собранию вместо девяти архонтов ежегодно выбирать девять послов к царю из числа самых простых и бедных граждан, которые разбогатеют благодаря его щедротам, – народ только посмеялся. Полный успех фиванцев – вот что не давало покоя афинянам, не умевшим верно оценить славу Пелопида – насколько больше значила она, чем всевозможные словесные красоты и ухищрения, для человека, привыкшего относиться с уважением лишь к силе оружия. (31). Это посольство, следствием которого было восстановление Мессены и независимость всех греков, принесло вернувшемуся на родину Пелопиду всеобщую любовь и благодарность.

Между тем Александр Ферский, вновь отдавшись своим природным наклонностям и побуждениям, разорил немалое число фессалийских городов и расставил свои отряды по всей земле фтиотидских ахейцев и в Магнесии. При первых же вестях о возвращении Пелопида города отправили в Фивы посольство и просили, чтобы фиванцы прислали войско во главе с этим командующим. Фиванцы охотно согласились; скоро все было готово, и полководец хотел уже выступить, как вдруг солнце затмилось[24], и мрак посреди дня окутал город. Пелопид, видя,

что все встревожены этим грозным явлением, не счел целесообразным подвергать принуждению перепуганных и павших духом людей, равно как и рисковать жизнью семи тысяч граждан, а потому решил предоставить в распоряжение фессалийцев лишь самого себя, триста всадников, последовавших за ним добровольно, да наемников-чужеземцев и тронулся в путь вопреки как советам прорицателей, так и неодобрению остальных сограждан, полагавших небесное знамение чрезвычайно важным и обращенным к какому-то великому человеку. Но Пелопида жег гнев на Александра, который подверг его таким унижениям, а кроме того, помня о своих беседах с Фивой, он надеялся найти дом тиранна уже пораженным болезнью и стоящим на краю гибели. Однако более всего его привлекала красота самого дела: он горячо желал и считал честью для себя, в то время как лакедемоняне посылали сицилийскому тиранну Дионисию полководцев и правителей, афиняне же получали от Александра деньги и даже поставили ему бронзовую статую как своему благодетелю, – в это самое время показать грекам, что одни только фиванцы выступают на защиту попавших под пяту тиранна и расторгают узы насильственной и противозаконной власти в Греции.

32. Прибывши в Фарсал и собрав войско, он тут же двинулся на Александра. Тот, видя, что фиванцев у Пелопида очень немного, а фессалийские гоплиты в его собственном войске превосходят вражеских числом более чем вдвое, встретил его подле святилища Фетиды. Кто-то сказал Пелопиду, что тиранн подошел с большою силой. "Прекрасно, – ответил он, – тем больше врагов мы победили!". Между обоими станами, в месте, называемом Киноскефалы, поднимались высокие, но покатые холмы. И Пелопид и Александр сделали попытку занять их своей пехотой, а конницу, многочисленную и хорошо обученную, Пелопид пустил против конницы врага. Неприятельские всадники были разбиты, их погнали по равнине, но тем временем Александр успел захватить холмы, и когда фессалийские гоплиты, которые появились чуть позже, пошли на приступ высот, отлично укрепленных природою, тиранн обрушился на них – и первые пали, а остальные, израненные, остановились, не достигнув цели. Тогда Пелопид отозвал конницу назад и бросил ее на сомкнутый строй врагов, а сам тут же схватил щит и побежал к тем, что сражались подле холмов. Пробившись в первые ряды, он вдохнул в каждого столько силы и отваги, что врагам показалось, будто на помощь подоспели новые, иные те́лом и духом люди. Две или три атаки неприятель еще отразил, но видя, что и пешие решительно наступают, и конники, прекратив преследование, возвращаются, подался и стал отходить шаг за шагом. Пелопид, которому с высоты открывалось все вражеское войско, еще не обратившееся в бегство, но уже объятое страхом и смятением, оглядывался вокруг, ища Александра. Заметив его, наконец, на правом крыле, где тот выстраивал и ободрял наемников, он не смог усилием рассудка сдержать гнев, но, распаленный этим зрелищем, забыв в порыве ярости и о себе самом, и об управлении битвой, вырвался далеко вперед и громким криком принялся вызывать тиранна на поединок. Но Александр не принял вызова и даже не остался на прежнем месте – он убежал к своим телохранителям и укрылся среди них. Передний ряд наемников был смят Пелопидом в рукопашной схватке, иные получили

смертельные раны, большинство же, держась в отдалении, до тех пор метали в него копья, пробивая доспехи, пока фессалийцы в ужасной тревоге не сбежали с холма к нему на помощь. Но он уже пал. В это время примчались и всадники; они разметали весь строй врагов и все гнали и гнали их, усеяв округу трупами (убито было более трех тысяч человек).

33. Нет ничего удивительного в том, что фиванцы, оказавшиеся на поле битвы, были потрясены кончиной Пелопида, называли его отцом, спасителем, наставником во всем великом и прекрасном. Фессалийцы и их союзники решили воздать ему почести, превосходящие все те, какие принято оказывать человеческой доблести; но еще убедительнее выразили они свою благодарность Пелопиду всевозможными проявлениями скорби. Говорят, что участники сражения, узнав о его смерти, не сняли панцирей, не разнуздали коней, не перевязали ран, но прежде всего – прямо в доспехах, еще не остыв после боя, – собрались у тела Пелопида, словно он мог их увидеть или услышать, нагромоздили вокруг кучи вражеского оружия, остригли гривы коням и остриглись сами, а потом разошлись по палаткам, и редко-редко кто зажег огонь или прикоснулся к еде – безмолвие и уныние объяли всех в лагере, словно и не одерживали они блистательной, великой победы, а потерпели поражение и попали в рабство к тиранну. Когда эта весть разнеслась по городам, навстречу телу отправились городские власти вместе с юношами, мальчиками и жрецами, неся в дар усопшему трофеи, венки и золотое вооружение. Перед самым выносом старейшие из фессалийцев выступили вперед и обратились к фиванцам с просьбой, чтобы хоронить мертвого предоставили им. Один из них сказал: "Досточтимые союзники, мы просим вас о милости, которая в таком ужасном горе послужит нам и к чести и к утешению. Не провожать фессалийцам Пелопида живого и здравствующего, не оказывать ему почестей, внятных зрению его и слуху; но ежели дозволено нам будет коснуться мертвого тела, самим убрать его и похоронить...* Поймите и поверьте, что для фессалийцев это несчастие еще горше, чем для фиванцев. Вы лишились замечательного военачальника – и только, а мы – и военачальника, и нашей свободы. В самом деле, не вернув Пелопида, как осмелимся мы просить у вас другого полководца?!". И фиванцы им не отказали.

34. Не было, видимо, похорон более блистательных, если, разумеется, не измерять блеск количеством слоновой кости, золота и пурпура, как делает Филист, воспевая похороны Дионисия и дивясь этому заключительному действию великой трагедии, имя которой – тиранния. После смерти Гефестиона Александр Великий приказал не только обрезать гривы лошадям и мулам, но и снести зубцы крепостных стен, дабы казалось, что города скорбят, являя вместо прежнего своего вида облик остриженный и жалкий. Но таковы распоряжения тираннов, выполняемые насильно, порождающие зависть к тому, ради кого они отдаются, и ненависть к отдающему их; не о любви и не о почтении свидетельствовали они, но о варварской гордыне, распущенности и бахвальстве, обращающих изобилие на пустые и суетные вещи. А тут простого гражданина, погибшего на чужбине, вдали от жены, детей и родичей, без всяких просьб или прину-

*Текст в оригинале испорчен.

ждений погребают столько городов и народов, оспаривая друг у друга честь проводить его до могилы и украсить венками, что с полным основанием можно считать такого человека достигшим вершины блаженства. Ибо неправ Эзоп[25], утверждая, будто смерть счастливых – самая горестная, нет, это самая завидная смерть – она помещает славу подвигов хорошего человека в безопасное место, где превратности судьбы ей более не грозят. Куда вернее судил некий спартанец, который, обняв Диагора, победителя на Олимпийских играх, дожившего до того часа, когда не только сыновья его, но и внуки оказались увенчанными в Олимпии, сказал ему: "Умри теперь, Диагор, раз ты не можешь взойти на Олимп''. А между тем я не думаю, чтобы кто-нибудь полагал допустимым сравнивать все олимпийские и пифийские победы, вместе взятые, хотя бы с одной из битв Пелопида, который сражался так много и с таким успехом. пока, наконец, после долгих лет славы и почета, тринадцатый раз отправляя должность беотарха, не пал за свободу Фессалии в доблестном стремлении сразить тиранна.

35. Великую скорбь причинила союзникам его смерть, но еще больше она принесла им пользы; узнав о гибели Пелопида, фиванцы ни единого дня не стали мешкать с отмщением, но тут же отправили в поход семь тысяч гоплитов и семьсот всадников во главе с Малкитом и Диогитоном. Застав Александра обессиленным и загнанным в тупик, фиванские полководцы заставили его вернуть фессалийцам города, которые он захватил, освободить магнесийцев и фтиотидских ахейцев и вывести от них свои сторожевые отряды, а также поклясться, что он пойдет вместе с фиванцами, по их приказу, против любого врага, куда бы они его ни повели.

Этими требованиями фиванцы и ограничились. А теперь мы расскажем, каким образом немного спустя взыскали с Александра боги за Пелопида. Фива, его супруга, как уже говорилось выше, наученная Пелопидом не страшиться внешнего блеска и великолепия тираннии, прятавшейся за спинами вооруженных телохранителей, а с другой стороны, опасаясь вероломства Александра и ненавидя его жестокость, вступила в заговор с тремя своими братьями – Тисифоном, Пифолаем и Ликофроном, и вот как взялась она за дело. Дом тиранна всю ночь караулила стража; покой, обычно служивший супругам спальней, находился в верхнем этаже, и у входа нес стражу пес на привязи, бросавшийся на всех, кроме хозяев и одного слуги, который его кормил. Когда пришел намеченный для покушения срок, Фива еще днем укрыла братьев в какой-то из соседних комнат, а сама, как обычно, вошла к тиранну одна; найдя его уже спящим, она скоро вышла обратно и приказала слуге увести пса – Александр-де желает отдохнуть покойно. Боясь, как бы лестница не заскрипела под шагами молодых людей, она устлала ступени шерстью и лишь потом повела их наверх. С оружием в руках они остались у дверей, а Фива, войдя, сняла со стены меч, висевший над головой Александра, и показала его братьям в знак того, что тиранн крепко спит. Но тут юноши испугались, и, видя, что они не решаются переступить порог, сестра осыпала их бранью и гневно поклялась, что сейчас разбудит Александра и все ему откроет, – тогда они, и пристыженные и испуганные, наконец вошли и окружили ложе, а Фива поднесла поближе светильник. Один из брать-

ев крепко стиснул тиранну ноги, другой, схватив за волосы, запрокинул ему голову, а третий ударил его мечом и убил. Такой легкой и быстрой кончины он, пожалуй, и не заслуживал, но зато оказался единственным или, во всяком случае, первым тиранном, погибшим от руки собственной жены, и тело его после смерти подверглось жестокому поруганию – оно было выброшено на улицу и растоптано гражданами Фер; таково было справедливое возмездие за все его беззакония.



МАРЦЕЛЛ

1. Марк Клавдий, пятикратный консул Рима[1], был, как сообщают, сыном Марка и первый носил фамильное имя "Марцелл", что, по словам Посидония, означает "Ареев", или "воинственный"[2]. И верно, он был опытен в делах войны, крепок телом, тяжел на руку и от природы воинствен, но свою неукротимую гордыню обнаруживал лишь в сражениях, а в остальное время отличался сдержанностью и человеколюбием; греческое образование и науки он любил настолько, что людей, в них преуспевших, осыпал почестями и похвалами, но сам, постоянно занятый делами, не достиг той степени учености, к которой стремился. Если, как говорит Гомер[3], бывали мужи, которым

> С юности нежной до старости Зевс подвизаться назначил
> В бранях жестоких,

то к их числу принадлежат и тогдашние вожди римлян: в молодости они воевали с карфагенянами из-за Сицилии, зрелыми мужами – с галлами, защищая самое Италию, а уже в старости снова бились с карфагенянами и Ганнибалом, ибо старость не означала для них, как для простых граждан, отдыха от военной службы, но в силу их благородства, опыта и отваги римляне неизменно поручали им верховное командование и другие высокие должности в войске.

2. Марцелл был искушен во всех видах боя, но в поединках превосходил самого себя; не было случая, чтобы он не принял вызова, ни чтобы вызвавший его вышел из схватки живым. В Сицилии он спас от гибели своего брата[4] Отацилия, прикрыв его щитом и перебив нападавших. За эти подвиги он еще молодым человеком часто получал от полководцев венки и почетные дары, и когда имя его стало широко известно, народ избрал его эдилом высшего разряда[5], а жрецы – авгуром. Исполняющему эту жреческую должность закон поручает наблюдение и надзор за гаданиями по птицам. Будучи эдилом, он оказался вынужден, вопреки своему желанию, начать судебное преследование. Дело в том, что у него был сын, тоже носивший имя Марцелл, мальчик поразительной красоты, славив-

шийся в Риме и своей наружностью и, не в меньшей мере, скромностью и хорошим воспитанием. Он приглянулся Капитолину, товарищу Марцелла по должности, человеку распутному и наглому, и тот сделал ему грязное предложение. Мальчик сначала сам ответил отказом, а когда Капитолин повторил свое предложение, открыл все отцу, и Марцелл в негодовании обратился с жалобой в сенат. Перепробовав множество всяческих уверток и отписок, Капитолин апеллировал к народным трибунам, но те не приняли его апелляцию, и тогда он прибегнул к отрицанию обвинения в целом. А так как разговор его с младшим Марцеллом происходил без свидетелей, сенат решил вызвать самого мальчика. Видя его смущение, слезы и смешанный с неподдельным гневом стыд, сенаторы, не требуя никаких иных доказательств, признали Капитолина виновным и присудили его к денежному штрафу; на эти деньги Марцелл заказал серебряные сосуды для возлияний и посвятил их богам.

3. Едва успела закончиться – на двадцать втором году – первая война с Карфагеном, как у Рима снова начались столкновения с галлами. В Италии у подножия Альп обитало кельтское племя инсубров; могущественные и сами по себе, инсубры стали собирать войско, а сверх того пригласили галлов-наемников, называемых гезатами[6]. Казалось чудом и необыкновенной удачей, что Кельтская война не разразилась одновременно с Пунической, но что галлы, словно дожидаясь своей очереди, честно и справедливо соблюдали условия мира и лишь по окончании боевых действий бросили вызов отдыхающим от трудов победителям. Тем не менее война очень тревожила римлян – и потому, что вести ее приходилось с соседями, на собственных границах, и по причине старинной славы галлов, которых римляне, по-видимому, страшились больше всякого другого противника: ведь когда-то даже их город оказался в руках галлов, после чего был принят закон, освобождающий жрецов от службы в войске во всех случаях, кроме одного – новой войны с галлами. О тревоге, охватившей город, свидетельствовали и самые приготовления (говорят, что ни до того, ни впоследствии римляне не собирали так много тысяч бойцов), и невиданные прежде жертвоприношения. Обычно избегающие всего варварского и чужестранного и в своих суждениях о богах следующие, насколько это возможно, греческой умеренности, римляне тут, когда вспыхнула эта война, вынуждены были покориться неким прорицаниям в Сивиллиных книгах и на Бычьем рынке зарыли живьем в землю двоих греков – мужчину и женщину – и двоих галлов – тоже мужчину и женщину; по этой причине и до сих пор совершаются в ноябре тайные священнодействия, видеть которые грекам и галлам воспрещено.

4. Первые столкновения, приносившие римлянам то серьезные успехи, то не менее серьезные неудачи, решающего значения, однако, не имели. Когда же консулы Фламиний и Фурий[7] с большим войском двинулись на инсубров, река, которая бежит через землю пиценов, как сообщали очевидцы, потекла кровью, пошел слух, что в окрестностях города Аримина в небе показались три луны, а жрецы, наблюдавшие во время консульских выборов за полетом птиц, решительно утверждали, что публичное провозглашение новых консулов было не-

правильным и сопровождалось зловещими предзнаменованиями. Поэтому сенат немедленно отправил в лагерь письмо, призывающее консулов как можно скорее вернуться и сложить с себя власть, не предпринимая в качестве должностных лиц никаких действий против неприятеля. Получив это письмо, Фламиний распечатал его лишь после того, как, вступив в сражение, разбил варваров и совершил набег на их страну. Когда он с богатой добычей возвратился в Рим, народ не вышел ему навстречу и за то, что консул не сразу откликнулся на зов и не подчинился посланию сената, он обнаружил оскорбительное высокомерие, едва не отказал ему в триумфе, а тотчас после триумфа лишил его власти, принудив вместе с коллегою клятвенно отречься от должности.

Вот до какой степени предоставляли римляне всякое дело на усмотрение богов и даже при самых больших удачах не допускали ни малейшего пренебрежения к прорицаниям и другим обычаям, считая более полезным и важным для государства, чтобы их полководцы чтили религию, нежели побеждали врага. 5. Так Тиберий Семпроний, которого горячо любили в Риме за храбрость и безукоризненную честность, будучи консулом, назвал своими преемниками Сципиона Назику и Гая Марция, и те, приняв командование войсками, уже прибыли в свои провинции, как вдруг Тиберий, просматривая священные книги, случайно открыл старинный обычай, прежде ему не знакомый. Обычай этот состоял в следующем. Если должностное лицо наблюдает за полетом птиц в специально для этого нанятом за пределами города доме или шатре и, не получив надежных замечаний, вынуждено по какой-либо причине вернуться в город, надлежит отказаться от нанятого прежде помещения, выбрать другое и произвести наблюдения еще раз, с самого начала. Тиберий, как видно, об этом не знал и объявил упомянутых выше Сципиона и Марция консулами, дважды воспользовавшись одним и тем же шатром. Позже, обнаружив свою ошибку, он доложил обо всем сенату, который не пренебрег столь, казалось бы, незначительным упущением и написал новым консулам, а те, оставив свои провинции, быстро вернулись в Рим и сложили с себя власть. Но это случилось позднее, а почти в то же время, о котором рассказывается здесь, двое жрецов из числа самых известных лишились жреческого сана: Корнелий Цетег – за то, что, передавая внутренности жертвенного животного, нарушил должную очередность, Квинт Сульпиций – за то, что у него во время жертвоприношения упала с головы шапка, которую носят так называемые фламины. А когда диктатор Минуций назначил начальником конницы Гая Фламиния и вслед за этим раздался писк мыши, которую называют "сорика" [sorex][8], римляне отвергли и самого диктатора и его начальника конницы и выбрали на их место других. Но, соблюдая строжайшую точность в таких мелочах, они остаются совершенно свободны от предрассудков, ибо ничего не меняют в своих старинных обычаях и никогда их не преступают.

6. Итак, Фламиний и его коллега клятвенно отказываются от должности, после чего интеррексы[9] объявляют консулом Марцелла; вступив в должность, он избирает себе в коллеги Гнея Корнелия. Есть сведения, что галлы неоднократно предлагали римлянам заключить договор и что мира желал сенат, а Марцелл

убеждал народ продолжать войну. Тем не менее мир был заключен, и тут, по-видимому, военные действия возобновили гезаты, которые перевалили через Альпы, присоединились к гораздо более многочисленным инсубрам (гезатов было всего тридцать тысяч) и, подстрекнув их к мятежу, уверенные в успехе, немедленно двинулись на город Ацерры, расположенный за рекою Пад, а царь гезатов Бритомарт с десятью тысячами своих воинов принялся опустошать земли, лежащие вдоль Пада.

Узнав о действиях Бритомарта, Марцелл оставил при Ацеррах своего коллегу со всею тяжелой пехотой и третьей частью конницы, а сам с остальными всадниками и примерно шестьюстами легко вооруженных пехотинцев бросился по следам десяти тысяч гезатов, не останавливаясь ни днем, ни ночью, пока не настиг их подле Кластидия, галльского поселения, незадолго перед тем покорившегося римлянам. Ему не пришлось дать своим людям хоть немного передохнуть: противник вскоре заметил его появление, но отнесся к этому с полным пренебрежением, потому что пехотинцев у Марцелла было очень мало, а конницу варвары вовсе в расчет не принимали. Ведь они и вообще были отличными всадниками и более всего полагались на свое искусство в конном сражении, а тут еще вдобавок намного превосходили римлян числом. И вот, не медля ни мгновения, они со страшными угрозами стремительно ринулись на неприятеля, словно решившись истребить всех до одного; впереди скакал сам царь. Опасаясь, как бы гезаты не обошли и не окружили его маленький отряд, Марцелл приказал илам[10] всадников разомкнуться и вытягивал свой фланг до тех пор, пока боевая линия римлян, потеряв в глубине, длиною почти что сравнялась с вражеской. Он был уже готов броситься вперед, как вдруг его конь, встревоженный неистовыми криками врагов, круто повернул и понес его назад. Испугавшись, как бы это не внушило римлянам суеверного страха и не вызвало смятения, Марцелл быстро рванул поводья и, снова обратив лошадь к неприятелю, стал молиться Солнцу, словно круг этот он описал не случайно, а умышленно. (Дело в том, что у римлян принято, вознося молитву богам, поворачиваться на месте). А позже, когда бой уже начался, он дал обет Юпитеру-Феретрию принести ему в дар самый красивый из вражеских доспехов.

7. В это время царь галлов заметил его и, по знакам достоинства узнав в нем полководца, выехал далеко вперед, ему навстречу, громким голосом вызывая на бой; то был человек огромного роста, выше любого из своих людей, и среди прочих выделялся горевшими как жар доспехами, отделанными золотом, серебром и всевозможными украшениями. Окинув взглядом вражеский строй, Марцелл решил, что это вооружение – самое красивое и что именно оно было им обещано в дар богу, а потому пустил коня во весь опор и первым же ударом копья пробил панцирь Бритомарта; сила столкновения была такова, что галл рухнул на землю, и Марцелл вторым или третьим ударом сразу его прикончил. Затем, соскочив с коня и возложив обе руки на оружие убитого, он сказал, обращаясь к небесам: "О Юпитер-Феретрий, взирающий на славные подвиги военачальников и полководцев в сражениях и битвах, призываю тебя в свидетели, что я – третий из римских предводителей, собственной рукою сразивший вражеско-

го предводителя и царя, и что, одолев его, я посвящаю тебе первую и самую прекрасную часть добычи. А ты и впредь даруй нам, молящимся тебе, такую же добрую удачу''. После этого конница начала бой – не только с вражескими всадниками, но и с пехотинцами (те и другие стояли вперемешку) и одержала удивительнейшую, беспримерную победу: ни до того, ни после – никогда, как говорят, не случалось, чтобы столь малое число всадников победило столь многочисленную конницу и пехоту.

Перебив бóльшую часть потерпевших поражение галлов и захватив их оружие и прочее имущество, Марцелл вернулся к своему товарищу по должности, который очень неудачно действовал против кельтов близ самóго большого и густо населенного из галльских городов. Город этот назывался Медиолан, тамошние кельты считали его своей столицей, а потому защищались очень храбро и, в свою очередь, осадили лагерь Корнелия. Но когда прибыл Марцелл, гезаты, узнав о поражении и гибели своего царя, ушли, и Медиолан был взят, а прочие города кельты сами не стали удерживать, полностью сдавшись на милость римлян, которые и даровали им мир на условиях умеренных и справедливых.

8. Сенат назначил триумф одному Марцеллу, и лишь немногие из триумфальных шествий вызывали столько восхищения своей пышностью, богатством, обилием добычи и могучим сложением пленных, однако особенно радостное и совершенно новое зрелище явил собою сам полководец, несущий в дар богу доспех убитого галла. Свалив высокий, прямой и легко поддающийся топору дуб, он обтесал нижнюю часть ствола в форме трофея, а потом привязал и подвесил к нему захваченное в поединке оружие, расположив и приладив все части в должном порядке. Когда шествие двинулось, он, подняв трофей, взошел на запряженную четверкой колесницу и сам провез через город прекраснейшее и достойнейшее из украшений своего триумфа. За ним следовали воины в самом лучшем вооружении, распевая песни и победные гимны, сочиненные ими в честь бога и своего полководца. Когда процессия достигла храма Юпитера-Феретрия, Марцелл вошел в храм и поставил обещанный дар – третий и вплоть до наших дней последний из таких даров. Первым Ромул[11] принес в храм оружие Акрона, царя Ценинского, вторым был Корнелий Косс, убивший этруска Толумния, за ним следует Марцелл, победитель галльского царя Бритомарта, после Марцелла же не было никого.

Бог, которому приносят эти дары, называется Юпитером-Феретрием; иные производят это имя от греческого слова "феретрéуомай'' [pheretréuomai, "быть носимым в торжестве''] (в то пору латинский язык был еще сильно смешан с греческим), другие считают, что это прозвище Зевса-громовержца ("поражать'' – по-латыни "ферúре'' [ferire]). Третьи говорят, что имя Феретрий произошло от ударов, которые наносят в бою: ведь и теперь еще, преследуя врага, римляне то и дело кричат друг другу: "Фéри!'' [feri] – что значит "Бей!''. Вообще снятые с убитого неприятеля доспехи называются по-латыни "спóлиа'', те же, о которых идет речь у нас, имеют особое название "опúмиа''. Сообщают, правда, что Нума Помпилий в своих заметках упоминал о трех различных видах "опимиа'' и предписывал первые из них посвящать Юпитеру-Феретрию, вто-

рые – Марсу, а третьи – Квирину, назначая в награду за первые триста ассов, за вторые – двести, а за третьи – сто. Но преобладающим, общепринятым является мнение, что лишь те доспехи следует называть "опимиа", которые захвачены в бою первыми и сняты с полководца полководцем, сразившим своего противника в поединке. Впрочем, достаточно об этом.

Римляне так радовались победе и счастливому исходу войны, что отправили в Дельфы благодарственный дар Аполлону Пифийскому – золотой кратер весом в...* фунтов, щедро поделились добычей с союзными городами и послали богатые подарки сиракузскому царю Гиерону, своему другу и союзнику.

9. Когда Ганнибал вторгся в Италию, Марцелл с флотом отправился к берегам Сицилии. После тяжелой неудачи при Каннах, когда десятки тысяч римлян пали, а немногие уцелевшие от гибели бежали в Канузий и все ожидали, что Ганнибал немедленно двинется на Рим, поскольку главные и лучшие силы римлян уничтожены, Марцелл сначала отправил полторы тысячи своих моряков для защиты города, а затем, получив постановление сената, прибыл в Канузий и, приняв командование над собравшимися там остатками войска, вывел их из-за лагерных укреплений, исполненный решимости не оставлять страну на произвол неприятеля.

Многие из опытных римских полководцев к тому времени погибли в битвах; среди оставшихся славою наиболее надежного и благоразумного пользовался Фабий Максим, но его чрезмерную осмотрительность, происходившую из страха перед поражением, римляне осуждали, приписывая ее робости и непредприимчивости. Видя в нем полководца, вполне пригодного для того, чтобы обеспечить их безопасность, но не способного изгнать врага, они обратили свои взоры к Марцеллу и, объединяя и сочетая отвагу и решительность второго с осторожностью и дальновидностью первого, то выбирали консулами обоих, то, попеременно, одного посылали к войскам консулом, а другого – командующим в ранге консула. Посидоний рассказывает, что Фабия прозвали "Щитом", а Марцелла – "Мечом". Сам Ганнибал говорил, что Фабия боится, как наставника, а Марцелла, как соперника: один препятствовал ему причинять вред, другой – вредил сам.

10. Прежде всего Марцелл стал истреблять вражеских солдат, которые покидали свой лагерь и рыскали по стране (после побед Ганнибала они до крайности распустились и обнаглели), и тем исподволь ослаблял карфагенян. Затем он пришел на помощь Неаполю и Ноле, и неаполитанцев, которые и без того хранили верность римлянам, еще более укрепил в их намерениях, а в Ноле застал мятеж, потому что тамошний сенат был не в силах обуздать и утихомирить народ, державший сторону Ганнибала. Жил в Ноле некий Бандий, человек очень знатный и храбрый. Он доблестно сражался при Каннах и уложил множество карфагенян, а после битвы был найден живым среди трупов – все тело его было утыкано стрелами и дротиками; подивившись его мужеству, Ганнибал не только отпустил его без всякого выкупа, но даже сам одарил и сде-

*Текст в оригинале испорчен.

лал своим гостем и другом. В благодарность за это Бандий стал одним из наиболее горячих приверженцев Ганнибала и, пользуясь влиянием в народе, склонял сограждан к отпадению от Рима. Казнить человека столь славной судьбы, разделявшего с римлянами опасности в самых великих битвах, Марцелл считал бесчестным; человеколюбивый от природы, он умел вдобавок силою слова привлечь к себе всякую честолюбивую натуру, и вот однажды в ответ на приветствие Бандия спросил его, кто он такой, – давно уже отлично его зная, но ища предлога завязать разговор. Тот ответил: "Луций Бандий", – и тогда Марцелл, изобразив на лице радость и изумление, воскликнул: "Так значит ты тот самый Бандий, о котором сражавшиеся при Каннах без конца рассказывают в Риме, что-де ты единственный не покинул консула Эмилия Павла, но заслонил его своим телом, и бóльшая часть пущенных в него стрел попала в тебя?" "Да, это я", – ответил Бандий и показал ему некоторые из своих ран. "Но почему же, нося на себе столько доказательства своей к нам дружбы, ты не пришел ко мне сразу? – продолжал Марцелл. – Неужели ты полагаешь, что мы не способны по достоинству оценить доблесть друзей, которым оказывают уважение даже враги!" После таких ласковых слов он пожал Бандию руку и подарил ему боевого коня и пятьдесят драхм серебром.

11. С тех пор Бандий сделался верным помощником и союзником Марцелла и грозным обличителем противной партии. Она была многочисленна и замышляла, как только римляне выступят на врага, разграбить их обоз. Поэтому Марцелл выстроил своих людей в боевом порядке внутри города, обоз поставил у ворот и через глашатая запретил ноланцам приближаться к стенам. Так как нигде не было видно ни одного вооруженного воина, Ганнибал решил, что в городе волнения, и карфагеняне подступили к Ноле, совсем не соблюдая строя. Тогда Марцелл приказал распахнуть ближайшие ворота и во главе отборных всадников напал на неприятеля, ударив ему прямо в лоб. Немного спустя через другие ворота с криком хлынули пехотинцы. Чтобы встретить их натиск, Ганнибал вынужден был разделить свои силы, но тут отворились третьи ворота, из-за стены выбежали остальные римляне и со всех сторон бросились на противника, который был испуган неожиданностью этой вылазки и ослабил сопротивление, видя подходящие на помощь врагу свежие отряды. В тот день войско Ганнибала впервые отступило перед римлянами и поспешно укрылось в своем лагере, оставив на поле боя много убитых и раненых. Говорят, что карфагенян погибло свыше пяти тысяч, а римлян – меньше пятисот. Правда, Ливий[12] не считает поражение карфагенян особо значительным, а их потери такими многочисленными, но, по его мнению, Марцеллу эта битва принесла великую славу, римлянам же, после стольких бедствий, – поразительную бодрость и отвагу, ибо они разуверились в том, что враг их неодолим и неуязвим, увидев, что и он, в свою очередь, способен терпеть неудачи.

12. Вот почему, когда один из консулов умер, народ призвал Марцелла занять его место и, вопреки воле властей, отложил выборы до тех пор, пока Марцелл не приедет из лагеря. Он был избран единодушно, но во время голосования загремел гром, жрецы объявили, что это недобрый знак, и хотя из страха перед народом открыто воспротивиться его решению не посмели, Марцелл сам сло-

жил с себя власть. Но от службы он не отказался и, полководцем в ранге консула вернувшись в лагерь под Нолой, приступил к расправе над сторонниками пунийца. Ганнибал поспешил к ним на помощь, но Марцелл уклонился от сражения, которое предлагал ему противник, а когда тот, уже не думая более о битве, разослал бóльшую часть своего войска на поиски добычи, вдруг напал на него, раздав своим пехотинцам длинные копья, какими обыкновенно вооружены участники морских боев, и приказав разить неприятеля издали, тщательно прицеливаясь. У карфагенян же копьеметателей нет и они привыкли биться короткою пикой, не выпуская ее из руки, поэтому, вероятно, они и показали римлянам спину и бросились бежать без оглядки, потеряв пять тысяч убитыми, шестьсот человек пленными и шестерых слонов – четыре были убиты и два захвачены живьем. Но вот что важнее всего: на третий день после сражения более трехсот всадников-наемников из смешанной испано-нумидийской конницы перебежали к римлянам – позор, какого никогда прежде не доводилось терпеть Ганнибалу, так долго сохранявшему согласие и единомыслие в своем войске, составленном из различных и несходных друг с другом народов. Перебежчики эти навсегда остались верны самому Марцеллу и его преемникам.

13. Избранный в третий раз консулом, Марцелл отплыл в Сицилию. Успехи Ганнибала внушали карфагенянам мысль снова завладеть этим островом, в особенности когда в Сиракузах начались волнения после смерти тиранна Иеронима. По той же причине и римляне еще раньше отправили туда войско во главе с Аппием. Когда Марцелл принял командование этим войском, к нему стали стекаться римляне с просьбою облегчить их участь. Дело заключалось вот в чем. Из числа сражавшихся с Ганнибалом при Каннах так много воинов бежало или было захвачено неприятелем, что у римлян по-видимому, не осталось людей даже для защиты стен своего города. Тем не менее они настолько сохранили гордость и величие духа, что отклонили предложение Ганнибала, соглашавшегося отпустить пленных за небольшой выкуп (и те, с молчаливого согласия соотечественников, были казнены или проданы за пределы Италии), а всех бежавших с поля боя отправили в Сицилию, запретив ступать на землю Италии до тех пор, пока длится война с Ганнибалом. Эти изгнанники толпою явились к Марцеллу и, упав к его ногам, со слезами и жалобными воплями молили вернуть им место в строю и честное имя, делом обещая доказать, что их бегство скорее следует приписывать их злой судьбе, чем трусости. Сжалившись над ними, Марцелл написал сенату, прося разрешения за их счет пополнять легионы всякий раз, как в том случится необходимость. После долгих прений сенат постановил, что для устройства общегосударственных дел римляне в трусах не нуждаются, но если Марцелл все же пожелает ими воспользоваться, никто из них не может получить от полководца венок или иной почетный дар, присуждаемый за храбрость. Это решение огорчило Марцелла, и, вернувшись после окончания Сицилийской войны в Рим, он упрекал сенат за то, что после всех многочисленных и великих услуг, оказанных государству им, Марцеллом, ему не позволили даже помочь попавшим в беду согражданам.

14. В Сицилии, жестоко возмущенный действиями сиракузского полководца

Гиппократа, который, надеясь угодить карфагенянам и захватить тиранническую власть, истребил множество римлян, прежде всего...* у леонтинцев, взял Леонтины приступом и жителей не тронул, но всех перебежчиков, какие попались ему в руки, предал бичеванию и казнил. Гиппократ сначала послал в Сиракузы весть, будто Марцелл перебил в Леонтинах все взрослое население; когда же среди сиракузян началось смятение, Гиппократ напал на город и захватил его. Тогда Марцелл со всем своим войском двинулся к Сиракузам, разбил лагерь неподалеку и отправил послов, чтобы те рассказали гражданам правду о событиях в Леонтинах. Но это оказалось бесполезным – сиракузяне, среди которых наибольшим влиянием пользовались сторонники Гиппократа, им не верили, и Марцелл приступил к осаде одновременно и с суши и с моря: сухопутное войско повел Аппий, под командою же Марцелла были шестьдесят пентер, нагруженных всевозможным оружием и метательными снарядами. На огромный поплавок из восьми связанных друг с другом судов он поставил осадную машину и стал подходить к стене, твердо полагаясь на количество и превосходство своего снаряжения, равно как и на славу собственного имени. Но все это было совершенно бессильно перед Архимедом и его машинами.

Сам Архимед считал сооружение машин занятием, не заслуживающим ни трудов, ни внимания; большинство их появилось на свет как бы попутно, в виде забав геометрии, и то лишь потому, что царь Гиерон из честолюбия убедил Архимеда хоть ненадолго отвлечь свое искусство от умозрений и, обратив его на вещи осязаемые, в какой-то мере воплотить свою мысль, соединить ее с повседневными нуждами и таким образом сделать более ясной и зримой для большинства людей. Знаменитому и многими любимому искусству построения механических орудий положили начало Эвдокс и Архит, стремившиеся сделать геометрию более красивой и привлекательной, а также с помощью чувственных, осязаемых примеров разрешить те вопросы, доказательство которых посредством одних лишь рассуждений и чертежей затруднительно; такова проблема двух средних пропорциональных – необходимая составная часть многих задач, для разрешения которой оба применили механическое приспособление[13], строя искомые линии на основе дуг и сегментов. Но так как Платон негодовал, упрекая их в том, что они губят достоинство геометрии, которая от бестелесного и умопостигаемого опускается до чувственного и вновь сопрягается с телами, требующими для своего изготовления длительного и тяжелого труда ремесленника, – механика полностью отделилась от геометрии и, сделавшись одною из военных наук, долгое время вовсе не привлекала внимания философии.

Между тем Архимед как-то раз написал царю Гиерону, с которым был в дружбе и родстве, что данною силою можно сдвинуть любой данный груз; как сообщают, увлеченный убедительностью собственных доказательств, он добавил сгоряча, что будь в его распоряжении другая земля, на которую можно было бы встать, он сдвинул бы с места нашу. Гиерон изумился и попросил претво-

*Текст в оригинале испорчен.

рить эту мысль в действие и показать какую-либо тяжесть, перемещаемую малым усилием, и тогда Архимед велел наполнить обычной кладью царское трехмачтовое грузовое судно, недавно с огромным трудом вытащенное на берег целою толпою людей, посадил на него большую команду матросов, а сам сел поодаль и, без всякого напряжения вытягивая конец каната, пропущенного через составной блок, придвинул к себе корабль – так медленно и ровно, точно тот плыл по морю. Царь был поражен и, осознав все могущество этого искусства, убедил Архимеда построить ему несколько машин для защиты и для нападения, которые могли бы пригодиться во всякой осаде; самому Гиерону, проведшему бо́льшую часть жизни в мире и празднествах, не пришлось воспользоваться ими, но теперь и машины и их изобретатель сослужили сиракузянам верную службу.

15. Итак римляне напали с двух сторон, и сиракузяне растерялись и притихли от страха, полагая, что им нечем сдержать столь грозную силу. Но тут Архимед пустил в ход свои машины, и в неприятеля, наступающего с суши, понеслись всевозможных размеров стрелы и огромные каменные глыбы, летевшие с невероятным шумом и чудовищной скоростью, – они сокрушали всё и всех на своем пути и приводили в расстройство боевые ряды, – а на вражеские суда вдруг стали опускаться укрепленные на стенах брусья и либо топили их силою толчка, либо, схватив железными руками или клювами вроде журавлиных, вытаскивали носом вверх из воды, а потом, кормою вперед, пускали ко дну, либо, наконец, приведенные в круговое движение скрытыми внутри оттяжными канатами, увлекали за собою корабль и, раскрутив его, швыряли на скалы и утесы у подножия стены, а моряки погибали мучительной смертью. Нередко взору открывалось ужасное зрелище: поднятый высоко над морем корабль раскачивался в разные стороны до тех пор, пока все до последнего человека не оказывались сброшенными за борт или разнесенными в клочья, а опустевшее судно разбивалось о стену или снова падало на воду, когда железные челюсти разжимались.

Машина, которую Марцелл поставил на поплавок из восьми судов, называлась "самбука"[14], потому что очертаниями несколько напоминала этот музыкальный инструмент; не успела она приблизиться к стене, как в нее полетел камень весом в десять талантов, затем – другой и третий. С огромной силой и оглушительным лязгом они обрушились на машину, разбили ее основание, расшатали скрепы и...*

Марцелл, не видя иного выхода, и сам поспешно отплыл, и сухопутным войскам приказал отступить. На совете было решено ночью, если удастся, подойти вплотную к стене: сила натяжения канатов, которыми пользуется Архимед, рассуждали римляне, такова, что придает стрелам большую дальность полета, и, стало быть, некоторое пространство вблизи полностью защищено от ударов. Но Архимед, по-видимому, заранее все предусмотрев, приготовил машины, разящие на любое расстояние, и короткие стрелы; подле небольших, но часто пробитых отверстий в стенах были расставлены невидимые врагу скорпионы[15] с малым натяжением, бьющие совсем близко.

---

*Текст в оригинале испорчен.

16. И вот, когда римляне подошли к стене, как они полагали, совершенно незаметно, их снова встретил град стрел, на головы им почти отвесно посыпались камни, а сверху отовсюду полетели дротики; и они отступили. Когда же они оказались в некотором отдалении, сиракузяне опять засыпали их стрелами, поражая бегущих; многие погибли, многие корабли столкнулись, меж тем как отплатить врагу римляне были не в силах: ведь бóльшая часть Архимедовых машин была скрыта за стенами, и римлянам казалось, что они борются с богами – столько бед обрушивалось на них неведомо откуда.

17. Впрочем, Марцелл вышел из дела невредим и, посмеиваясь над своими мастерами и механиками, сказал: "Не довольно ли нам воевать с этим Бриареем от геометрии, который вычерпывает из моря наши суда, а потом с позором швыряет их прочь, и превзошел сказочных сторуких великанов – столько снарядов он в нас мечет!" И в самом деле, прочие сиракузяне были как бы телом Архимедовых устройств, душою же, приводящею все в движение, был он один: лишь его машины обороняли город и отражали натиск неприятеля, тогда как все остальное оружие лежало без движения. В конце концов, видя, что римляне запуганы до крайности и что, едва заметив на стене веревку или кусок дерева, они поднимают отчаянный крик и пускаются наутек в полной уверенности, будто Архимед наводит на них какую-то машину, – Марцелл отказался от дальнейших стычек и приступов, решив положиться на время.

Архимед был человеком такого возвышенного образа мыслей, такой глубины души и богатства познаний, что о вещах, доставивших ему славу ума не смертного, а божественного, не пожелал написать ничего, но, считая сооружение машин и вообще всякое искусство, сопричастное повседневным нуждам, низменным и грубым, все свое рвение обратил на такие занятия, в которых красота и совершенство пребывают не смешанными с потребностями жизни, – занятия, не сравнимые ни с какими другими, представляющие собою своего рода состязание между материей и доказательством, и в этом состязании первая являет величие и красоту, а второе – точность и невиданную силу: во всей геометрии не найти более трудных и сложных задач, объясненных посредством более простых и прозрачных основных положений. Некоторые приписывают это природному дарованию Архимеда, другие же считают, что лишь благодаря огромному труду все до малейших частностей у него кажется возникшим легко и без всякого труда. Собственными силами вряд ли кто найдет предлагаемое Архимедом доказательство, но стоит углубиться в него – и появляется уверенность, что ты и сам мог бы его открыть: таким легким и быстрым путем ведет к цели Архимед. И нельзя не верить рассказам, будто он был тайно очарован некоей сиреной, не покидавшей его ни на миг, а потому забывал о пище и об уходе за телом, и его нередко силой приходилось тащить мыться и умащаться, но и в бане он продолжал чертить геометрические фигуры на золе очага и даже на собственном теле, натертом маслом, проводил пальцем какие-то линии – поистине вдохновленный Музами, весь во власти великого наслаждения. Он совершил множество замечательных открытий, но просил друзей и родственников поставить на

его могиле лишь цилиндр с шаром внутри и надписать расчет соотношения их объемов.

18. Таков был Архимед; сам неодолимый, он, в той мере, в какой это зависело от него, сделал таким же и свой город.

Во время осады Сиракуз Марцелл взял Мегары, один из старейших греческих городов в Сицилии, и захватил лагерь Гиппократа близ Акрилл, напав на неприятеля, когда тот ставил частокол, и перебив более восьми тысяч человек; затем он прошел почти всю Сицилию, склоняя города к отпадению от Карфагена и выигрывая все битвы, на которые отваживался враг.

Случилось однажды, что в плен к римлянам попал спартанец Дамипп, плывший из Сиракуз; сиракузяне хотели его выкупить, и в ходе переговоров, потребовавших частых встреч, Марцелл обратил внимание на одну башню, охранявшуюся недостаточно бдительно и способную незаметно укрыть несколько человек, так как подле нее нетрудно было взобраться на стену. Поскольку переговоры велись невдалеке от башни, удалось достаточно точно определить ее высоту, и вот, приготовив лестницу и дождавшись дня, в который сиракузяне, справляя праздник Дианы, предавались пьянству и развлечениям, Марцелл незаметно для неприятеля не только овладел башней, но еще до рассвета заполнил своими воинами всю стену по обе стороны от нее и пробился сквозь Гексапилы[16]. Когда же сиракузяне наконец заметили врага и среди них поднялась тревога, он приказал повсюду трубить в трубы и этим обратил противника в беспорядочное бегство: осажденные в ужасе решили, что весь город уже в руках римлян. Но они еще владели самым красивым, обширным и лучше других укрепленным кварталом – Ахрадиной, потому что этот квартал был обнесен особою стеной, примыкавшей к стенам внешней части города (одна часть его называлась Неаполь, другая – Тихэ).

19. С рассветом Марцелл, сопровождаемый поздравлениями своих военных трибунов, через Гексапилы спустился в город. Говорят, что, глядя сверху на Сиракузы и видя их красоту и величие, он долго плакал, сострадая грядущей их судьбе: он думал о том, как неузнаваемо неприятельский грабеж изменит вскоре их облик. Ведь не было ни одного начальника, который бы осмелился возразить солдатам, требовавшим отдать им город на разграбление, а многие и сами приказывали жечь и разрушать все подряд. Но такие речи Марцелл решительно пресек и лишь с великою неохотой дал разрешение своим людям поживиться имуществом и рабами сиракузян, свободных же не велел трогать и пальцем – ни убивать их, ни бесчестить, ни обращать в рабство. И все же, обнаружив, казалось бы, такую умеренность, он считал судьбу города жалкой и плачевной и даже в этот миг великой радости не смог скрыть своей скорби и сострадания, предвидя, что в скором времени весь этот блеск и процветание исчезнут без следа. Говорят, что в Сиракузах добычи набралось не меньше, чем впоследствии после разрушения Карфагена, ибо солдаты настояли на том, чтобы и оставшаяся часть города, которая вскоре пала по вине изменников, была разграблена, и лишь богатства царской сокровищницы поступили в казну.

Но более всего огорчила Марцелла гибель Архимеда. В тот час Архимед внимательно разглядывал какой-то чертеж и, душою и взором погруженный в

созерцание, не заметил ни вторжения римлян, ни захвата города: когда вдруг перед ним вырос какой-то воин и объявил ему, что его зовет Марцелл, Архимед отказался следовать за ним до тех пор, пока не доведет до конца задачу и не отыщет доказательства. Воин рассердился и, выхватив меч, убил его. Другие рассказывают, что на него сразу бросился римлянин с мечом, Архимед же, видя, что тот хочет лишить его жизни, молил немного подождать, чтобы не пришлось бросить поставленный вопрос неразрешенным и неисследованным; но римлянин убил его, не обратив ни малейшего внимания на эти просьбы. Есть еще третий рассказ о смерти Архимеда: будто он нес к Марцеллу свои математические приборы – солнечные часы, шары, угольники, – с помощью которых измерял величину солнца, а встретившиеся ему солдаты решили, что в ларце у него золото, и умертвили его. Как бы это ни произошло на самом деле, все согласны в том, что Марцелл был очень опечален, от убийцы с омерзением отвернулся как от преступника, а родственников Архимеда разыскал и окружил почетом.

20. До тех пор римляне были в глазах других народов опытными воинами и грозными противниками в битвах, но не дали им никаких доказательств своей благожелательности, человеколюбия и вообще гражданских добродетелей. Марцелл в Сицилии, по-видимому, впервые позволил грекам составить более верное суждение о римской справедливости. Он так обходился с теми, кому случалось иметь с ним дело, и оказал благодеяния стольким городам и частным лицам, что, если население Энны[17], мегаряне или сиракузяне потерпели слишком жестоко, вина за это, казалось, лежала скорее на побежденных, чем на победителях. Приведу один пример из многих.

Есть в Сицилии город Энгий – небольшой, но очень древний, прославленный чудесным явлением богинь, называемых “Матери”. Тамошний храм, по преданию, воздвигли критяне; в храме показывают копья и медные шлемы: на одних написано имя Мериона, на других – Улисса (то есть – Одиссея), которые принесли оружие в дар богиням. Этот город был горячо предан Ганнибалу, но Никий, один из первых граждан, вполне откровенно высказывая свое мнение в Народном собрании, уговаривал земляков принять сторону римлян и изобличал противников в недальновидности. А те, опасаясь его силы и влияния, сговорились схватить Никия и выдать карфагенянам. Почувствовав, что за ним тайно следят, Никий стал открыто вести неподобающие речи о богинях-Матерях и всеми способами выказывал неверие и пренебрежение к общепринятому преданию об их чудесном явлении – к радости своих врагов: ведь такими действиями он сам навлекал на себя злую участь, которая его ожидала. В день, когда все приготовления к аресту были уже закончены, Никий, выступая в Народном собрании перед согражданами, вдруг оборвал на полуслове свою речь и опустился на землю, а немного спустя, когда, как и следовало ожидать, все в изумлении умолкли, он поднял голову, огляделся и застонал – сначала робко и глухо, а потом все громче и пронзительнее; видя, что весь театр безмолвствует и трепещет от ужаса, он сбросил с плеч гиматий, разодрал на себе хитон, полунагой вскочил на ноги и бросился к выходу из театра, крича, что его преследуют богини-Матери. В суеверном страхе никто не дерзнул наложить на него руку или преградить ему

путь, напротив, все расступались, и он добежал до городских ворот, не упустив из виду ни единого вопля или телодвижения, какие свойственны одержимым и безумцам. Жена, посвященная в его замысел и действовавшая с ним заодно, забрала детей и сначала с мольбою припала к святилищу богинь, а потом, сделав вид, будто отправляется на поиски мужа-скитальца, беспрепятственно покинула город. Таким образом они благополучно добрались до Сиракуз и прибыли к Марцеллу. Когда же впоследствии Марцелл явился в Энгий и заключил жителей в тюрьму, намереваясь расправиться с ними за всю их наглость и бесчинства, к нему пришел Никий, весь в слезах, и, касаясь рук его и колен, стал просить за своих сограждан, прежде всего за врагов; растрогавшись, Марцелл отпустил всех и городу не причинил никакого вреда, а Никию дал много земли и богатые подарки. Сообщает об этом философ Посидоний.

21. Когда римляне отозвали Марцелла из Сицилии, чтобы поручить ему руководство военными действиями в самой Италии, он вывез из Сиракуз бóльшую часть самых прекрасных украшений этого города, желая показать их во время триумфального шествия и сделать частью убранства Рима. Ведь до той поры Рим и не имел и не знал ничего красивого, в нем не было ничего привлекательного, утонченного, радующего взор: переполненный варварским оружием и окровавленными доспехами, сорванными с убитых врагов, увенчанный памятниками побед и триумфов, он являл собою зрелище мрачное, грозное и отнюдь не предназначенное для людей робких или привыкших к роскоши. Подобно тому, как Эпаминонд называл Беотийскую равнину орхестрой Ареса[18], а Ксенофонт[19] Эфес – мастерскою войны, так, по-моему, вспомнив слова Пиндара[20], Рим в то время можно было назвать святилищем неукротимого воителя Ареса. Вот почему в народе пользовался особой славой Марцелл, украсивший город прекрасными произведениями греческого искусства, доставлявшими наслаждение каждому, кто бы на них ни глядел, а среди людей почтенных – Фабий Максим. Фабий Максим, взяв Тарент, не тронул и не вывез оттуда никаких статуй и изображений, но, забравши деньги и прочие богатства, промолвил ставшие знаменитыми слова: “Этих разгневанных богов оставим тарентинцам’’. Марцелла же обвиняли в том, что, проведя по городу в своем триумфальном шествии не только пленных людей, но и пленных богов, он сделал Рим предметом всеобщей ненависти, а также в том, что народ, привыкший лишь воевать да возделывать поля, не знакомый ни с роскошью, ни с праздностью, народ, который, подобно Эврипидову Гераклу,

Не знал забав пустых, но подвиги свершал[21],

он превратил в бездельников и болтунов, тонко рассуждающих о художествах и художниках и убивающих на это бóльшую часть дня. Однако Марцелл тем как раз и похвалялся перед греками, что научил невежественных римлян ценить замечательные красоты Эллады и восхищаться ими.

22. Так как враги Марцелла возражали против предоставления ему триумфа, ссылаясь на то, что война в Сицилии еще не совсем окончена, а равно и на то, что третий триумф может стать источником зависти и неприязни к полководцу, он уступил им и согласился довести все великое шествие целиком лишь до Аль-

банской горы, а в самый город вступить малой процессией, которую греки называют "э́ва", а римляне – "овация". Справляющий овацию не едет на запряженной четверкою колеснице, не увенчивается лавровым венком, вокруг него не гремят трубы; он идет пешком, обутый в сандалии, в сопровождении целой толпы флейтистов, и голова его увенчана миртом – зрелище скорее мирное и приятное, чем внушающее страх. На мой взгляд, это самым убедительным образом свидетельствует, что в древности лишь обстоятельства дела, а не его размеры определяли различия между триумфальными шествиями. Те, кто одерживал победу, выиграв сражение и истребив врага, совершали въезд воинственный и грозный, обильно украшая людей и оружие ветвями лавра, как это принято при обряде очищения войск; тем же полководцам, которые, не прибегая к насилию, улаживали все посредством убеждений и переговоров, закон назначал это мирное и праздничное шествие, сопровождавшееся радостным пэаном. Ведь флейта – миролюбивый инструмент, а мирт посвящен Афродите, которая больше всех остальных богов ненавидит насилие и войны. Этот вид триумфального шествия получил название овации не от греческого слова "эвасмос" [euasmós][22], как думают многие, – ведь и большой триумф справляют с песнями и криками ликования, и греки просто исказили латинское слово, приблизив его к одному из слов своего языка, в убеждении, что победители, между прочим, оказывают почести и Дионису, которого мы зовем Эвием и Фриамбом. На самом же деле существовал обычай, по которому полководец при большом триумфе приносил в жертву быка, а при малом – овцу. Овцы по-латыни "ова" [oves], отсюда и происходит название "овация". Любопытно отметить, что спартанский законодатель установил порядок жертвоприношений, как раз обратный римскому. В Спарте полководец, достигший своей цели благодаря хитрости и убедительным речам, приносит в жертву быка, а победивший в открытом бою – петуха. Так даже столь воинственный народ, как спартанцы, полагал слово и разум более достойным и подобающим человеку средством действия, нежели силу и отвагу. Впрочем, каждый вправе сам решить для себя этот вопрос.

23. Когда Марцелл был консулом в четвертый раз, его враги уговорили сиракузян приехать в Рим и обратиться в сенат с жалобой на жестокость и вероломство, жертвами которых они сделались. В тот день Марцелл совершал какое-то жертвоприношение на Капитолии; сиракузяне явились в курию к концу заседания и стали просить выслушать их и оказать им правосудие, но второй консул не дал им говорить, возмущенный их намерением воспользоваться отсутствием Марцелла. Однако последний, узнав о случившемся, поспешил в сенат; прежде всего, сев в курульное кресло[23], он занялся делами, и лишь затем, покончив с ними, поднялся с кресла, стал, как любое частное лицо, на то место, с которого обыкновенно говорят обвиняемые, и предоставил себя в распоряжение сиракузян. Те же до крайности были смущены его достойным, уверенным видом, и его неодолимость, прежде явившая себя в боевых доспехах, показалась им теперь еще более грозной и пугающей, облаченная в тогу с пурпурной каймой. Тем не менее, ободряемые противниками Марцелла, они заговорили, и смысл их речи, где обвинения были перемешаны с жалобами, сводился к тому, что сиракузяне,

друзья и союзники римского народа, испытали такие бедствия, от каких другие полководцы часто избавляли даже неприятеля. На это Марцелл ответил, что в наказание за все свои враждебные по отношению к римлянам действия сиракузяне не потерпели никаких иных бедствий, кроме тех, которые неизбежно случаются с жителями города, взятого вооруженной рукой, и воспрепятствовать которым не в силах никто, а что взят был город по их собственной вине – ведь он, Марцелл, неоднократно предлагал им вступить в переговоры, они же и слышать об этом не хотели. Не тиранны принудили их вести войну, но сами они добровольно покорились тираннам, чтобы эту войну начать. Когда речи обеих сторон были закончены и сиракузяне, в соответствии с обычаем, покинули курию, вышел и Марцелл, уступив председательство товарищу по должности, и стал у дверей, нисколько не изменившись в лице ни от страха перед приговором, ни от гнева на сиракузян, но сдержанно и совершенно спокойно ожидая исхода дела. После того как сенаторы высказали свое мнение и Марцелл был объявлен невиновным, посланцы сиракузян со слезами бросились к его ногам, умоляя выместить досаду только на них, но пощадить город, который помнит о его милостях и хранит неизменную к нему признательность. Марцелл был растроган и не только примирился со своими обвинителями, но и впредь никогда не отказывал сиракузянам в расположении и услугах. Независимость, которую он им даровал, их законы, а также право владения оставшимся у них имуществом были подтверждены сенатом. В благодарность сиракузяне почтили Марцелла неслыханными почестями и, между прочим, приняли закон, по которому всякий раз, когда он сам или кто-нибудь из его потомков ступит на землю Сицилии, сиракузяне должны надевать венки и приносить жертвы богам.

24. Затем Марцелл выступил против Ганнибала. После битвы при Каннах почти все полководцы держались одного образа действий – избегали сражения, и никто из них не дерзал встретиться с пунийцем в открытом бою: Марцелл же избрал противоположный путь, полагая что, прежде чем истечет время, которое якобы должно истощить силы Ганнибала, он сам незаметно для своих противников сокрушит Италию и что Фабий, помышляющий лишь о безопасности, плохо врачует болезнь отечества, дожидаясь, пока вместе с мощью Рима угаснет и война, – так робкие врачи, не решающиеся применить нужные лекарства, потерю сил у больного принимают за ослабление болезни.

Сначала он захватил несколько значительных самнитских городов, отпавших от Рима, и в его руки попали большие запасы хлеба, много денег, а также поставленные там Ганнибалом гарнизоны, всего три тысячи воинов. Потом, когда Ганнибал убил в Апулии бывшего консула Гнея Фульвия с одиннадцатью военными трибунами и истребил бóльшую часть его войска, Марцелл отправил в Рим послание, призывая сограждан не падать духом, ибо он уже двинулся на Ганнибала и скоро положит конец его ликованию. Это послание было прочитано, но, как сообщает Ливий[24], нисколько не уняло скорбь и лишь усилило страх: римляне были уверены, что грядущая опасность настолько значительнее случившейся беды, насколько Марцелл выше Фульвия. А Марцелл, исполняя свое обещание, немедленно пустился вслед за Ганнибалом и настиг его в Лукании близ города Нумистрона; карфагеняне занимали надежные позиции на верши-

нах холмов, Марцелл разбил лагерь на равнине. На следующий день он первый выстроил войско в боевой порядок и, когда Ганнибал спустился с высот, дал ему сражение, решительного исхода не имевшее, но ожесточенное и весьма продолжительное: оно завязалось в третьем часу и насилу окончилось уже в сумерках. На рассвете он снова вывел своих людей, выстроил их среди трупов и предложил Ганнибалу биться до победы. Но тот отступил, и Марцелл, сняв доспехи с убитых врагов и похоронив своих мертвых, снова двинулся за ним следом, удивительно удачно избегая расставленных ему неприятелем ловушек и одерживая верх во всех стычках.

Поэтому, когда подошло время выборов, сенат предпочел, не тревожа Марцелла, поглощенного погоней за Ганнибалом, вызвать из Сицилии второго консула и предложил ему назначить диктатора – Квинта Фульвия. Ведь диктатор не избирается ни народом, ни сенатом, но один из консулов или преторов выходит к народу и объявляет диктатором того, кого сочтет нужным. Отсюда и название “диктатор”; “объявлять” по-латыни “дикере” [dicere]. Иные утверждают, будто его называют так потому, что он не назначает подачи мнений и голосов, но просто отдает приказы по своему усмотрению. А приказы властей (по-гречески – “диатагмата” [diatágmata]) у римлян обозначаются словом “эдикта” [edictum].

25. Коллега Марцелла, прибывший из Сицилии, хотел назначить диктатора, не считаясь с советом сената, но, опасаясь, как бы его не заставили сделать выбор вопреки собственному суждению, ночью отплыл в Сицилию; тогда народ провозгласил Квинта Фульвия диктатором, а сенат написал Марцеллу, прося его утвердить решение народа. Марцелл охотно повиновался и сам был назначен на следующий год полководцем в ранге консула. Договорившись с Фабием Максимом, что тот предпримет попытку взять Тарент, а сам он, тревожа Ганнибала беспрерывными стычками, постарается помешать ему оказать городу помощь, Марцелл настиг неприятеля в окрестностях Канузия и, хотя карфагеняне, уклоняясь от битвы, то и дело передвигались с места на место, всякий раз неожиданно появлялся перед ними, а в конце концов, напав на уже укрепленный лагерь, обстрелом издалека заставил их принять бой; началось сражение, которое вскоре было прервано ночною темнотой. А наутро он был снова в доспехах, и войско уже стояло в боевом строю. Увидев это, Ганнибал, до крайности удрученный и встревоженный, созвал своих карфагенян и заклинал их сразиться так, чтобы упрочить все предыдущие победы. “Вы сами видите, – сказал он, – что после стольких побед мы не можем перевести дух и насладиться покоем до тех пор, пока не разделаемся с этим человеком”. Затем оба полководца двинули войска вперед; Марцелл был разбит – по-видимому, из-за одного несвоевременного распоряжения. Видя, что правому крылу приходится очень трудно, он приказал какому-то из легионов выдвинуться вперед, но само перестроение вызвало замешательство в рядах и отдало победу в руки неприятеля; римлян пало две тысячи семьсот человек. Марцелл отступил в свой лагерь, собрал воинов и, обведя их взором, воскликнул, что видит римское оружие и римскую плоть, но ни единого римлянина не видит. В ответ на просьбы о прощении он заявил, что просит только победителей, но не побежденных и что завтра опять поведет их в

сражение, чтобы сначала граждане узнали о победе и лишь потом – о бегстве. Закончив свою речь, он велел отмерить разбитым когортам ячменя вместо пшеницы. Все это произвело на солдат такое впечатление, что хотя многие после боя были едва живы, не оказалось ни единого, кто бы не страдал от слов Марцелла сильнее, нежели от собственных ран.

26. На рассвете, по обыкновению, был вывешен пурпурный хитон – знак предстоящей битвы; опозоренным когортам Марцелл, выполняя их просьбу, разрешил стать в первый ряд, а за ними военные трибуны выстроили остальное войско. Когда об этом донесли Ганнибалу, он воскликнул: "О Геракл! Ну как совладать с этим человеком, который одинаково не уступает ни доброй, ни злой судьбе! Лишь он один, победив, не дает противнику передышки, а побежденный – сам от нее отказывается. Видно, нам предстоит сражаться с ним вечно, потому что вечно будет у него какой-нибудь повод снова попытать счастья: после удачи – уверенность в себе, после неудачи – стыд!" Затем противники вступили в бой, и так как ни та ни другая сторона не могла добиться перевеса, Ганнибал приказал вывести вперед слонов и пустить их на римлян. Тут же в передних рядах поднялось смятение, и началась страшная давка; тогда один из военных трибунов, по имени Флавий, схватил знамя, подбежал к первому слону и, ударив его древком, заставил повернуть назад. А тот, столкнувшись с другим слоном, испугал и его, и всех остальных животных. Марцелл заметил это и приказал своим всадникам скакать во весь опор к месту столкновения и усилить замешательство среди врагов. Конница ударила на карфагенян так стремительно, что отбросила их до самого лагеря, причем убитые слоны, падая, наносили неприятелю гораздо больший урон, чем римляне, – говорят, что всего погибло более восьми тысяч человек. Римляне потеряли убитыми три тысячи, но почти все оставшиеся в живых были ранены, что и позволило карфагенянам ночью беспрепятственно сняться с места и уйти от Марцелла как можно дальше. Он был не в силах преследовать их из-за множества раненых и медленно вернулся в Кампанию; там, в городе Синуессе, он провел лето, чтобы дать людям прийти в себя и набраться сил.

27. Таким образом, Ганнибал освободился от Марцелла и, словно распустив свое войско, принялся безбоязненно опустошать всю Италию огнем. Против Марцелла в Риме зазвучали возмущенные речи. Его враги подговорили народного трибуна Публиция Бибула, человека красноречивого и горячего, выступить с обвинением, и Бибул несколько раз собирал народ и убеждал его поручить командование другому полководцу. "Марцелл, – говорил он, – не успев попривыкнуть к войне, уже, словно из палестры, отправился в теплые бани отдыхать". Узнав об этом, Марцелл оставил войско на попечение своих легатов, а сам вернулся в Рим, чтобы очистить себя от возведенной на него клеветы, но, как обнаружилось, клевета уже возымела свое действие: он был привлечен к суду. В назначенный день народ собрался в цирк Фламиния; поднялся Бибул и произнес обвинительную речь; Марцелл говорил в свою защиту кратко и просто, зато первые и самые уважаемые из граждан. не жалея слов, в самых резких и откровенных выражениях, предупреждали римлян, как бы, осудив Марцелла за трусость, они не оказались худшими судьями, нежели противник, который избегает

встречи с одним лишь Марцеллом и столь же усердно уклоняется от битвы с ним, сколь неутомимо ищет битвы со всеми прочими полководцами. Все эти речи привели к тому, что обвинитель полностью обманулся в своих надеждах: Марцелл был не только оправдан, но даже избран консулом в пятый раз.

28. Вступив в должность, он начал с того, что пресек сильную смуту в Этрурии, направленную к отпадению от Рима, и, объехав этрусские города, успокоил их. Затем он хотел посвятить храм, который выстроил за счет сицилийской добычи, Славе и Доблести, но жрецы воспротивились, считая, что не до́лжно поселять двух богинь в одном храме, и Марцелл, сильно раздосадованный случившейся заминкой, видя в ней дурное предзнаменование, начал строить рядом второй храм. Его тревожили и многие другие знамения: в кровли разных храмов ударяла молния, в святилище Юпитера мыши обглодали золото, ходили слухи, будто бык заговорил человечьим голосом и что родился ребенок с головою слона. Совершались искупительные жертвоприношения, чтобы отвратить гнев богов, но внутренности жертвенных животных не сулили добра, и, хотя Марцелл был вне себя от нетерпения, прорицатели удерживали его в Риме. Никто и никогда не желал чего бы то ни было так страстно, как Марцелл – решительного сражения с Ганнибалом. Об одном грезил он по ночам, об одном советовался с друзьями и товарищами по службе, об одном молился – о встрече с Ганнибалом на поле битвы. Мне кажется, более всего был бы он рад, если бы место этой встречи оказалось обнесенным стеной или частоколом, и, когда бы не громкая слава, которою он был пресыщен, и не многочисленные доказательства непоколебимости и благоразумия, которые он дал, превзойдя в этом любого иного полководца, я бы сказал, что он обнаружил больше честолюбия и мальчишеской запальчивости, чем подобало человеку в его возрасте: ведь ему было уже больше шестидесяти, когда он стал консулом в пятый раз.

29. Наконец все жертвоприношения и очищения, которых требовали прорицатели, были завершены, Марцелл вместе с товарищем по должности выступил в поход и принялся всячески беспокоить Ганнибала, который расположился лагерем между городами Бантия и Венусия. От битвы Ганнибал воздержался, но, узнав, что консулы посылают большой отряд на Локры Эпизефирийские, устроил засаду под холмом близ Петелия и уничтожил две с половиной тысячи римлян. Это несчастье еще сильнее разожгло в Марцелле жажду битвы, и он подошел почти вплотную к неприятелю. Оба лагеря разделял теперь только холм, хорошо укрепленный самой природой: покатые склоны, заросшие лесом, открывали свободный обзор на обе стороны и изобиловали ключами, от которых сбегали вниз ручьи. Римляне были изумлены, что Ганнибал, который мог первым занять эту отличную позицию, оставил ее врагу. Но тот, оценив, разумеется, как удобно это место для лагеря, решил, что еще удобнее оно для засады; предпочтя использовать его именно таким образом, он расположил в лесу и в лощинах множество копейщиков, уверенный, что выгодное положение холма привлечет внимание римлян. И надежды его оправдались: среди римлян сразу же пошли речи, что холм нужно захватить, и даже солдаты, как бы вмешиваясь в дела полководца, рассуждали о преимуществах над врагом, которые они полу-

чат, расположившись там лагерем или, по крайней мере, закрепившись на склонах и вершине.

Марцелл решил выехать на разведку с немногими всадниками и, послав за прорицателем, велел ему совершить жертвоприношение. Когда первое животное было заколото, жрец показал Марцеллу печень без головки. Заколов второе животное, обнаружили головку непомерной величины, и так как все остальные приметы были вполне благоприятны, страх, вызванный первыми впечатлениями, казалось, должен был миновать. Однако прорицатели объявили, что именно это обстоятельство особенно их пугает и тревожит: когда священные знамения из самых печальных и мрачных становятся вдруг самыми радостными, столь крутая перемена сама по себе подозрительна. Но, как сказано у Пиндара[25]: "Того, что послало роком, не одолеет ни огонь, ни железная стена".

И вот Марцелл, взяв с собою своего товарища по должности Криспина, сына, который был военным трибуном, и отряд всадников – всего двести двадцать человек, поскакал к холму. В отряде не было ни одного римлянина: большинство составляли этруски, а кроме них было сорок вольсков из Фрегелл, уже не раз доказавших Марцеллу свою храбрость и преданность. Так как холм зарос густым лесом, человек на вершине, наблюдавший за римским лагерем, хорошо видел неприятеля, сам оставаясь незамеченным. Он дал знать сидевшим в засаде о том, что происходит внизу, и карфагеняне, подпустив Марцелла совсем близко, внезапно поднялись, разом окружили римлян и стали метать копья и рубить врага мечами, а потом пустились в погоню за бегущими и ударили на тех, кто еще продолжал сопротивляться. Это были сорок фрегеллийцев. Этруски с самого начала в ужасе бросились кто куда, а вольски, тесно сомкнувшись, защищали обоих консулов; но в конце концов Криспин, раненный двумя дротиками, повернул коня, а Марцеллу кто-то из нападавших пробил бок копьем с широким наконечником, которое римляне называют "ланкиа" [lancea], и тогда фрегеллийцы, – а их было уже очень немного, – оставили тело своего полководца и, вырвав из рук противника раненого сына Марцелла, тоже бежали в лагерь. Убитых было не больше сорока, в плен попали пять ликторов и восемнадцать всадников. Спустя несколько дней умер от ран и Криспин. Итак, в одном сражении погибли сразу оба консула – такое несчастье еще никогда не выпадало римлянам на долю.

30. Ганнибал равнодушно выслушал донесение, но узнав о смерти Марцелла, сам поспешил к месту схватки и, стоя над трупом, долго и пристально глядел на сильное, ладное тело убитого; с его губ не слетело ни единого слова похвальбы, лицо не выразило и следа радости оттого, что пал непримиримый и грозный враг, но, дивясь неожиданной гибели Марцелла, он только снял у него с пальца кольцо, а тело приказал подобающим образом украсить, убрать и со всеми почестями предать сожжению, останки же собрать в серебряную урну и, возложив на нее золотой венок, отправить сыну покойного. Но воинам, выполнявшим это поручение, случайно встретились какие-то нумидийцы и попытались отнять у них урну, те оказали сопротивление, завязалась борьба и кости рассыпались по земле. Когда об этом сообщили Ганнибалу, он промолвил: "Ничто не случается помимо воли богов", – и нумидийцев, правда, наказал, но не стал заботиться о

том, чтобы останки вновь собрали и доставили в Рим, полагая, что какой-то бог судил Марцеллу столь неожиданно погибнуть и лишиться погребения. Такой рассказ[26] мы находим у Корнелия Непота и Валерия Максима, Ливий же и Цезарь Август говорят, что урна была вручена сыну и торжественно предана земле. Кроме храмов и приношений в самом Риме, Марцелл посвятил богам гимнасий, выстроенный им в Катане на острове Сицилии, а несколько статуй и картин из сиракузской добычи пожертвовал в святилище Кабиров на Самофракии и в храм Афины в Линде. В Линде была и его статуя, как сообщает Посидоний – со следующей надписью:

Здесь пред тобой, чужестранец, светило великое Рима,
Именем Клавдий Марцелл, предков прославленных сын.
Он семикратно в годину войны наивысшею властью
Был облечен, и врагов множество пало пред ним.

(Автор эпиграммы причисляет к пяти консульствам еще двукратное командование войсками в ранге консула.) Род его сохранял свой блеск вплоть до Марцелла, племянника Цезаря, – сына его сестры Октавии и Гая Марцелла; он был эдилом и умер вскоре после женитьбы на дочери Августа. В честь его и в память о нем Октавия выстроила и посвятила богам библиотеку, а Цезарь – театр, который носит имя Марцелла.



[*Сопоставление*]

31 (1). Вот все, что мне кажется достойным упоминания из рассказов о Марцелле и Пелопиде. При удивительном сходстве их нрава и образа мыслей – оба были храбры, неутомимы, горячи, великодушны – различие между ними можно, пожалуй, усмотреть лишь в том, что Марцелл во многих из покоренных им городов учинил кровопролитие, тогда как Эпаминонд и Пелопид, одержав победу, никогда и никого не казнили и никогда не обращали в рабство целые города. Более того, полагают, что, будь они живы, фиванцы не расправились бы так жестоко с жителями Орхомена[27]. Что касается их подвигов, то величайшего восхищения заслуживают действия Марцелла против кельтов, когда он с немногими всадниками разбил столь значительные силы конницы и пехоты, – не так-то просто найти в истории полководца, совершившего что-либо подобное, – и убил вражеского военачальника. То же самое пытался сделать и Пелопид, но неудачно: он погиб сам, так и не успев погубить тиранна. Впрочем, с победою римлян в борьбе против кельтов можно сравнить прославленные, великие битвы при Левктрах и Тегирах, а с другой стороны, мы не знаем у Марцелла ни одного подвига, сопряженного с тайнами и засадами, – равного возвращению Пелопида из изгнания и убийству тираннов в Фивах, а ведь это деяние, мне ка-

жется, должно считаться самым первым среди тех, что совершились под прикрытием мрака и с помощью обмана.

Ганнибал был для римлян страшным противником и неотступно их теснил – так же, как лекедемоняне фиванцев. Но никто не станет спорить, что спартанцы отступили перед Пелопидом при Тегирах и Левктрах, Ганнибал же, как пишет Полибий[28], ни разу не потерпел поражения от Марцелла и оставался непобедимым до тех пор, пока не появился Сципион; впрочем, следуя Ливию, Цезарю и Непоту, а среди греческих историков – царю Юбе, мы склонны верить, что Марцелл несколько раз одерживал верх над Ганнибалом и обращал его в бегство. Правда, ни одна из этих битв не имела решающего значения, и можно предполагать, что самый отход ливийца был всякий раз лишь военной хитростью. В любом случае, после стольких поражений, потеряв столько полководцев, убедившись, что само владычество их пошатнулось, римляне все же нашли в себе мужество встретиться с неприятелем лицом к лицу, и это по справедливости достойно изумления. А кто избавил войско от долгого страха и уныния, кто, увещая и ободряя, снова вдохнул в него ревность к славе и боевой задор, а главное – желание не уступать победу при первом же натиске, но упорно за нее сражаться? Никто, кроме Марцелла! Людей, которых несчастья приучили радоваться, если удавалось благополучно ускользнуть от Ганнибала, он выучил считать позором спасение, купленное ценою бегства, стыдиться любых, самых незначительных уступок врагу и горевать, когда успех оказывался не на их стороне.

32 (2). Поскольку Пелопид, командуя войсками, ни разу не терпел поражений, а Марцелл одержал больше побед, чем любой из римских полководцев того времени, последний, почти непобедимый, мог бы, пожалуй, благодаря огромному числу своих успехов сравняться с первым – вообще не знавшим поражений. К тому же Марцелл Сиракузы взял, а Пелопид в Лакедемоне своей цели не достиг, но мне кажется, что первым из людей переправиться с враждебными намерениями через Эврот и подступить к стенам Спарты – труднее и важнее, чем захватить всю Сицилию. Правда, мне могут возразить, что это заслуга скорее Эпаминонда, чем Пелопида, точно так же, как и победа при Левктрах, Марцеллу же ни с кем не приходится делить свою славу. В самом деле, он один взял Сиракузы, один, без товарища по консульству, разгромил кельтов и один, без чьей-либо помощи, напротив, вопреки всем уговорам, двинулся против Ганнибала, первым из военачальников сменив осторожность на отвагу и тем самым дав иное направление всему ходу войны.

33 (3). А вот кончину того и другого я не решаюсь восхвалять – со скорбью и негодованием я думаю об этом непредвиденном и несчастном стечении обстоятельств. Я восхищаюсь Ганнибалом, который во всех своих сражениях – а им счету нет! – ни разу не был ранен, хвалю и Хрисанфа, о котором рассказывается в "Воспитании Кира"[29], как однажды в бою он уже занес меч, чтобы сразить врага, но вдруг услышал сигнал к отступлению, бросил своего противника и, соблюдая полное спокойствие, удалился. Впрочем, Пелопида извиняет и чрезмерное возбуждение, охватывающее человека в разгар боя, и благородная жажда мести. Ведь нет лучшей участи для полководца, чем победить и остаться в

живых, а уж если умирать – то, как говорил Эврипид[30], славно окончить жизнь. Тогда смерть становится для умирающего уже не страданием, а подвигом. Кроме гнева, причиною порыва Пелопида было еще то, что победу он хотел увенчать убийством тиранна; а это уже не безрассудство, ибо нелегко указать какие-либо иные подвиги, имеющие цель столь же высокую и прекрасную. Между тем Марцелл, – хотя не было на то большой нужды и хотя им не владело исступление, нередко в грозные минуты берущее верх над рассудком, – ринулся очертя голову навстречу опасности и пал смертью не полководца, но солдата из головного отряда или лазутчика, бросив под ноги испанцам и нумидийцам, продавшим свою жизнь Карфагену, пять консульств, три триумфа, добычу, захваченную у чужеземных царей, и воздвигнутые трофеи. Даже сами наемники словно были испуганы собственной победой, узнав, что среди разведчиков-фрегеллийцев пал храбрейший из римлян, человек, пользовавшийся величайшим влиянием и громкою славой.

Мои слова следует понимать не как обвинение против этих мужей, но как своего рода неодобрение, откровенно высказанное им в глаза, – неодобрение им самим и их храбрости, в жертву которой они принесли все свои добрые качества, не пощадив ради нее даже жизни и погибнув словно бы в угоду собственной прихоти, а не ради отечества, друзей и союзников.

Пелопида хоронили союзники, за которых он отдал жизнь, Марцелла – враги, которые лишили его жизни. Первое – подлинное и достойное зависти счастье, но если вражда преклоняется перед доблестью, не раз причинявшей ей горе, то это зрелище более величественно и внушительно, нежели проявление чувств приязни и благодарности. Ибо тут почести воздаются самому нравственному величию, и только ему, а в первом случае польза и выгода оцениваются выше доблести.





АРИСТИД И МАРК КАТОН

АРИСТИД

1. Аристид, сын Лисимаха, происходил из дема Алопеки филы Антиохиды. О его достатке судят по-разному. Одни утверждают, что он провел жизнь в крайней бедности и оставил двух дочерей, которые после смерти отца, терпя нужду, долгое время не могли выйти замуж. Эту точку зрения, разделяемую многими, оспаривает в сочинении о Сократе Деметрий Фалерский[1], утверждая, что знает в Фалере поместье, именуемое "Аристидовым", где Аристид и похоронен, и приводя три других доказательства, свидетельствующие, по мнению Деметрия, о его состоянии: во-первых, он был архонтом-эпонимом, а на эту должность выбирались по жребию лица, принадлежавшие к самым богатым семействам, – так называемые пентакосиомедимны; во-вторых, он подвергся остракизму, между тем как остракизм никогда не применялся к беднякам, но лишь к людям знатным и могущественным, чья сила была ненавистна их согражданам; в-третьих же и в последних, он пожертвовал в храм Диониса священное приношение хорега-победителя[2] – треножники, которые целы и по сей день и несут на себе следующую надпись: "Победила Антиохида, хорегом был Аристид, учителем хора Архестрат". Последнее обстоятельство кажется на первый взгляд самым важным, но в действительности оно ничего не доказывает. Ведь и Эпаминонд, который, как известно каждому, и воспитывался и жил в большой бедности, и философ Платон с достоинством несли расходы по хорегии, один – подготовив хор флейтистов, другой – киклический хор мальчиков: Платону дал денег Дион Сиракузский, а Эпаминонду – Пелопид. Люди порядочные не отвергают непримиримо и жестоко даров своих друзей, но, полагая бесчестным и унизительным принимать те из них, посредством которых утоляется корысть, не отказываются от подарков, служащих бескорыстному честолюбию и славе. К тому же Панетий[3] доказывает, что Деметрия ввело в заблуждение совпадение имен: со времени Персидских войн и до конца Пелопоннесской в списках значатся лишь два хорега Аристида, одержавшие победу в состязаниях, но ни того ни другого нельзя отождествлять с сыном Лисимаха, ибо отца первого из них звали Ксенофилом, а второй жил гораздо позже, как показывает начертание букв[3], вошедших в употребление после Эвклида, и стоящее рядом имя учителя хоров Архестрата, которое ни разу не встречается в связи с событиями Персидских войн и очень часто – в связи с событиями Пелопоннесской войны. Однако мнение Панетия требует тщательного изучения. Что касается остракизма, то

действию его мог подпасть любой, кого возносила над прочими слава, происхождение или красноречие: ведь и Дамон, учитель Перикла, отправился в изгнание за то, что казался согражданам чересчур разумным. Что же касается должности архонта, то, по словам Идоменея, Аристид получил ее не по жребию[4], но был избран афинянами. Если он был архонтом после битвы при Платеях, как сообщает сам Деметрий, представляется весьма вероятным, что громкая слава и блистательные успехи помогли доблести удостоиться той же чести, какая обычно выпадала на долю богатства. Впрочем, хорошо известно, что Деметрий, считая бедность великим несчастьем, старается избавить от нее не только Аристида, но и Сократа, утверждая, будто у последнего был собственный дом и даже семьдесят мин денег, которые Критон отдавал в рост.

2. Аристид был приверженцем Клисфена, учредившего после изгнания тираннов демократический образ правления, но среди государственных деятелей он более всего восхищался лакедемонянином Ликургом и стремился ему подражать; поэтому, склоняясь на сторону аристократии, он во всем встречал сопротивление заступника народа Фемистокла, сына Неокла. Есть сведения, что еще детьми, воспитываясь вместе, они никогда не соглашались друг с другом – ни в серьезных занятиях, ни в забавах, ни на деле, ни на словах, и в этом соперничестве сразу же обнаружился характер обоих: проворство, пылкость и изворотливость Фемистокла, легко и быстро принимавшего любое решение, постоянство и основательность Аристида, всей душою устремленного к справедливости и даже в шутках не допускавшего обмана, пустой болтовни или надувательства. Аристон Кеосский сообщает, что причиной этой вражды, позже дошедшей до такого лютого ожесточения, была любовная страсть: оба горячо любили юношу Стесилая, родом также с Кеоса, намного превосходившего всех своих сверстников прелестью лица и тела, и, когда красота его отцвела, не оставили своего соперничества, но, словно то было для них предварительным упражнением, устремились на государственное поприще, пылая взаимной враждой. Фемистокл, вступив в дружеское сообщество[5], приобрел таких могущественных защитников, что в ответ на чье-то замечание: “Ты мог бы стать прекрасным правителем Афин, если бы ко всем относился одинаково и беспристрастно”, – сказал: “Я никогда не сяду на такой престол, который не предоставит моим друзьям бóльших прав и возможностей, нежели посторонним людям”. Аристид же прокладывал свой путь в полном одиночестве, потому что, во-первых, не хотел, угождая друзьям, чинить несправедливость остальным, равно как и обижать друзей отказом выполнить их желание, а во-вторых, видел, как часто могущество, приобретенное благодаря поддержке друзей, толкает человека на несправедливые поступки, и потому остерегался такого могущества, считая, что добрый гражданин может быть счастлив лишь тогда, когда всякое действие его и всякое слово будут честны и справедливы.

3. Тем не менее, поскольку Фемистокл, смело пуская в ход всевозможные средства, старался воспрепятствовать любому его предложению, Аристид, в свою очередь, был вынужден противодействовать начинаниям Фемистокла, отчасти для того, чтобы защитить себя, отчасти же – чтобы уменьшить влияние противника, все возраставшее благодаря расположению толпы: пусть лучше на-

род, думал он, оставит без внимания некоторые из полезных для государства советов, лишь бы Фемистокл не сделался всесилен, одерживая победу за победой. В конце концов, взявши как-то раз верх над Фемистоклом, когда тот действовал разумно и целесообразно, Аристид не сдержался и, уходя из Собрания, сказал, что афиняне до тех пор не будут в безопасности, пока не сбросят их обоих – и Фемистокла, и его самого – в пропасть[6]. В другой раз, внеся на рассмотрение народа какой-то законопроект, когда его мнение, невзирая на многочисленные и горячие возражения, все же возобладало и председатель уже готов был перейти к голосованию, Аристид убедился, что противники правы, и снял свое предложение. Нередко он обращался к Собранию через подставных лиц, чтобы Фемистокл из чувства соперничества не помешал полезному начинанию. Его твердость кажется особенно удивительной по сравнению с непостоянством других государственных деятелей: он был безразличен к почестям, в несчастьях сохранял присутствие духа, спокойствие и невозмутимость и полагал, что нужно предоставить себя в распоряжение отечества, не думая не только о вознаграждении, но и о славе и занимаясь делами государства бескорыстно. Вот почему, мне кажется, когда в театре прозвучали слова Эсхила об Амфиарае[7]:

Он справедливым быть желает, а не слыть.
С глубокой борозды ума снимает он
Советов добрых жатву, –

все взоры обратились к Аристиду, который, как никто другой, приблизился к этому образцу добродетели.

4. Не только благоволение и приязнь неутомимо обуздывал он, отстаивая справедливость, но и гнев, и ненависть. Рассказывают, что однажды он привлек к суду своего врага, и после обвинительной речи Аристида судьи отказались слушать ответчика, потребовав немедленного вынесения приговора; тогда Аристид вскочил и вместе с обвиняемым стал просить, чтобы того не лишали законного права высказаться в свою защиту. В другой раз, когда он был судьею в тяжбе двух частных лиц и один из них сказал, что другой причинил много неприятностей Аристиду, тот заметил: “Вот что, любезный, ты лучше говори о том, обижал ли он тебя: ведь я занимаюсь твоим делом, а не своим”. Когда ему был поручен надзор за общественными доходами[8], он уличил в огромных хищениях не только лиц, занимавших государственные должности одновременно с ним, но и тех, кто занимал их прежде, в особенности Фемистокла, который

Был разумом силен, да на руку нечист[9].

В отместку последний, собрав многих недовольных Аристидом, обвинил его, когда тот представил свой отчет, в краже и, как сообщает Идоменей, выиграл дело. Но первые и лучшие из афинян возмутились, и Аристид был освобожден от наказания и даже вновь назначен на прежнюю должность. На этот раз, делая вид, будто раскаивается в прежнем своем поведении, он выказал куда бóльшую снисходительность и пришелся по душе расхитителям казны, которых он теперь не изобличал и не допекал расследованиями, так что они, набив кошельки общественными деньгами, рассыпáлись в похвалах Аристиду, с немалым рвением

убеждая народ переизбрать его еще раз. Перед самым началом голосования Аристид обратился к афинянам с таким упреком: “Когда я управлял вами добросовестно и честно, меня опозорили, а теперь, когда я позволил ворам поживиться немалой толикой общественного добра, меня считают отличным гражданином. Но сам я больше стыжусь нынешней чести, чем тогдашнего осуждения, а об вас сожалею: вы охотнее одобряете того, кто угождает негодяям, нежели охраняющего государственную казну”. Этими словами он и хищения разоблачил, и заткнул рот новоявленным громогласным почитателям, стяжав истинное и справедливое одобрение всех порядочных людей.

5. Когда Дарий отправил Датиса в Грецию (на словах – чтобы покарать афинян за сожжение Сард, но на деле – поработить эллинов) и персы, причалив неподалеку от Марафона, стали опустошать страну, для руководства военными действиями афиняне избрали десять стратегов, среди которых наибольшим влиянием пользовался Мильтиад, вторым же добрая слава и всеобщее доверие сделали Аристида. Аристид присоединился к мнению Мильтиада относительно срока и плана битвы, и эта поддержка оказалась решающей. Каждому стратегу верховная власть принадлежала в течение одного дня, но когда настал черед Аристида, он уступил командование Мильтиаду, внушая товарищам по должности, что повиноваться и помогать людям, сведущим в своем деле, и выполнять их приказания – не только не позорно, но, напротив, похвально и спасительно. Таким образом, усмирив соперничество и склонивши остальных добровольно следовать одному решению – самому правильному и удачному, он укрепил положение Мильтиада, власть которого сделалась безраздельной: прочие стратеги, отказавшись от своих прав на однодневное начальствование, старательно выполняли его распоряжения.

В битве тяжелее всего пришлось середине боевого строя афинян, где варвары необыкновенно долго держались, отражая натиск фил Леонтиды и Антиохиды, и где плечом к плечу славно сражались Фемистокл и Аристид, принадлежавшие первый к Леонтиде, а второй к Антиохиде. Варвары обратились в бегство и сели на корабли, и тут афиняне, видя, что они плывут не к островам, но что ветер и течение несут их к берегу Аттики, испугались, как бы враг не захватил оставшийся без защитников город; девять фил поспешно двинулись в путь и в тот же день прибыли в Афины. Аристид, оставленный вместе со своею филой в Марафоне для охраны пленных и добычи, не обманул возлагавшихся на него надежд: хотя повсюду были груды серебра и золота, а в палатках и на захваченных судах находились в несметном числе всевозможные одежды и другое имущество, он и сам пальцем ни к чему не притронулся, и другим не позволил, разве что кто-нибудь воспользовался случаем тайком от него, как, например, факелоносец[10] Каллий. Один из персов, увидев длинные волосы и головную повязку и решив, вероятно, что перед ним – царь, бросился ему в ноги и, взявши за правую руку, привел к какой-то яме, где было зарыто много золота. Каллий же оказался самым жестоким и несправедливым из людей: золото он взял, а перса, чтобы тот не рассказал о кладе кому-нибудь еще, убил. По этой причине, говорят, всех, принадлежавших к его дому, комические поэты называли “Златокопателями”, намекая на яму, в которой Каллий нашел сокровище.

Сразу вслед за этим Аристид был избран архонтом-эпонимом. Правда, Деметрий Фалерский утверждает, что Аристид исполнял эту должность незадолго до смерти, после битвы при Платеях. Но в списках архонтов после Ксанфиппида, при котором потерпел поражение при Платеях Мардоний, нельзя найти ни одного Аристида, тогда как сразу же после Фаниппа, при котором была одержана Марафонская победа, значится архонт Аристид.

6. Из всех его качеств справедливость более других обращала на себя внимание народа: ведь польза, приносимая ею, ощутима для каждого и дает себя знать очень долгое время. Вот почему этот бедняк, человек совсем незнатный, получил самое что ни на есть царственное и божественное прозвище "Справедливого"; ни один из царей или тираннов не старался стяжать себе такого же, но, ценя, как видно, выше славу, даруемую силой и могуществом, а не высокими душевными качествами, они предпочитали прозвище "Сокрушителя градов"[11], "Молнии" или "Победоносного", а иные даже "Орла" или "Ястреба". Между тем, божественная природа, к которой они с такой настойчивостью желают приблизиться, по общему мнению, отличается от человеческой тремя свойствами – вечностью, могуществом и нравственным совершенством, причем последнее – самое главное и самое божественное из всех. Вечность выпала на долю и пустоте, и стихиям, огромною силой обладают землетрясения, молнии, порывы ветра, стремительные потоки, но право и справедливость достались в удел только божественной природе – мыслящей и рассуждающей. В соответствии с этим большинство людей испытывает к божеству троякое чувство – зависти, страха и почтения; богам завидуют и называют их блаженными, потому, вероятно, что они вечны и бессмертны, их страшатся и перед ними трепещут – потому что они властны и могущественны, любят, почитают и благоговеют перед ними – потому что они справедливы. И тем не менее бессмертия, чуждого нашей природе, и могущества, зависящего большею частью от удачи, мы жаждем и домогаемся, а нравственное совершенство – единственное из божественных благ, доступное нам, – ставим на последнее место. Безумцы, мы не сознаем, что жизнь, исполненную могущества, великих удач и власти, лишь справедливость делает божественной, несправедливость же – звероподобной.

7. Прозвище Справедливого, вначале доставлявшее Аристиду любовь афинян, позже обратилось в источник ненависти к нему, главным образом потому, что Фемистокл распространял слухи, будто Аристид, разбирая и решая все дела сам, упразднил суды и незаметно для сограждан сделался единовластным правителем – вот только что стражей не обзавелся. Да и народ, чванясь своей победой и считая себя достойным величайших почестей, с неудовольствием взирал на каждого, кого возвышала над толпою слава или громкое имя. И вот, сойдясь со всех концов страны в город, афиняне подвергли Аристида остракизму, скрывши ненависть к славе под именем страха перед тираннией. Остракизм не был наказанием за какой-нибудь низкий поступок; благопристойности ради он назывался "усмирением и обузданием гордыни и чрезмерного могущества", но по сути дела оказывался средством утишить ненависть, и средством довольно милосердным: чувство недоброжелательства находило себе выход не в чем-либо непоправимом, но лишь в десятилетнем изгнании того, кто это чувство вы-

звал. Когда же действию этой меры начали подпадать люди безвестные и порочные, остракизм перестал применяться. Последним из подвергшихся ему был Гипербол, изгнанный, как рассказывают, по следующей причине. Алкивиад и Никий, наиболее влиятельные в Афинах мужи, беспрерывно враждовали. Народ намеревался устроить суд черепков, и было ясно, что одному из них придется покинуть город; тогда противники сговорились, объединили своих сторонников воедино и повели дело так, что в изгнание отправился Гипербол. Возмущенный тем, что остракизм сделался предметом издевательства и поношения, народ упразднил его навсегда.

Обыкновенно суд происходил так. Каждый, взяв черепок, писал на нем имя гражданина, которого считал нужным изгнать из Афин, а затем нес к определенному месту на площади, обнесенному со всех сторон оградой. Сначала архонты подсчитывали, сколько всего набралось черепков: если их было меньше шести тысяч, остракизм признавали несостоявшимся. Затем все имена раскладывались порознь, и тот, чье имя повторялось наибольшее число раз, объявлялся изгнанным на десять лет без конфискации имущества.

Рассказывают, что когда надписывали черепки, какой-то неграмотный, неотесанный крестьянин протянул Аристиду – первому, кто попался ему навстречу, – черепок и попросил написать имя Аристида. Тот удивился и спросил, не обидел ли его каким-нибудь образом Аристид. "Нет, – ответил крестьянин, – я даже не знаю этого человека, но мне надоело слышать на каждом шагу "Справедливый" да "Справедливый"!.." Аристид ничего не ответил, написал свое имя и вернул черепок. Уже покидая город, он воздел руки к небу и произнес молитву, противоположную той, с какою некогда обращался к богам Ахилл[12]: он молился, чтобы никогда не пришел для афинян тяжелый час, который заставил бы их вспомнить об Аристиде.

8. Спустя три года, когда Ксеркс через Фессалию и Беотию вел свое войско на Аттику, закон об изгнании был отменен, и изгнанники получили право вернуться. При этом более всего опасались, как бы Аристид, сам перейдя к врагам, не совратил своим примером многих сограждан и не переманил их на сторону персов, но неверно судили о нем афиняне: еще до упомянутого выше постановления он неустанно призывал греков защищать свободу, а после него и словом и делом всячески поддерживал Фемистокла, избранного стратегом с неограниченными полномочиями, ради общего блага прославляя до небес злейшего своего врага. Когда Эврибиад со своими приверженцами решил оставить Саламин, а персидские триеры ночью вышли в море и, наглухо заперев пролив, овладели островами, причем никто из греков об этом не знал, Аристид, не думая об опасности, прорвался сквозь строй вражеских судов, пришел среди ночи к палатке Фемистокла и, вызвав его, сказал так: "Если в нас есть хоть капля здравого смысла, Фемистокл, мы оставим пустые, недостойные мужей раздоры и вступим в благотворное и прекрасное соперничество, направленное к спасению Греции, ты – повелевая и командуя войсками, я – повинуясь и служа тебе советом; ведь мне известно, что в нынешних обстоятельствах только ты нашел единственно правильное решение и требовал как можно скорее дать морское сражение в этом узком проходе. И можно подумать, будто сами враги решили тебе

помочь, поскольку союзники с тобою не соглашаются: все море кругом, и даже позади нас, усеяно вражескими судами, так что волей-неволей нам придется показать себя доблестными бойцами – путь к отступлению отрезан". На это Фемистокл сказал: "Мне бы, разумеется, не хотелось, Аристид, остаться позади тебя в таком деле; ты положил прекрасное начало – я принимаю вызов и постараюсь превзойти тебя, когда начнется битва". Вслед за тем он открыл Аристиду, какая ловушка приготовлена им для персов, и просил убедить Эврибиада (тот больше доверял Аристиду, чем Фемистоклу), что иного выхода, кроме морского сражения, у них не остается. И когда на совете стратегов коринфянин Клеокрит сказал Фемистоклу, что вот мол и Аристид не разделяет его мнения – ведь он молчит. Аристид возразил: "Нет, я не стал бы молчать, если бы Фемистокл не был прав во всем без изъятия. Не по благосклонности к нему я воздержался от речей, но потому, что одобряю его мнение".

9. Вот какие споры шли между греческими начальниками. Тем временем Аристид, видя, что Пситталия[13] (это небольшой остров, лежащий в проливе как раз против Саламина) полна вражескими воинами, отобрал среди своих сограждан самых храбрых и воинственных, посадил их в лодки, подошел к Пситталии и, вступив с варварами в бой, перебил всех, кроме знатных персов, которые были захвачены живыми. Среди них оказались три сына Сандаки, сестры царя, и Аристид немедленно отослал их к Фемистоклу; говорят, что по слову оракула, изреченному прорицателем Эвфрантидом, их принесли в жертву Дионису Кровожадному. Аристид оцепил островок кольцом тяжеловооруженных пехотинцев, и каждый, кого выносило на берег, попадал в их руки, так что из своих ни один не погиб, а из врагов ни один не ускользнул. Дело в том, что, по-видимому, самые ожесточенные схватки происходили как раз вокруг этого острова, здесь чаще всего сталкивались корабли, и поэтому трофей был воздвигнут на Пситталии.

После битвы Фемистокл, желая испытать Аристида, сказал, что совершен славный подвиг, но впереди – другой, еще более славный: нужно захватить Азию в Европе, а для этого – плыть как можно скорее к Геллеспонту и разрушить мост. Аристид даже вскрикнул от неожиданности и стал убеждать Фемистокла отказаться от этой мысли и подумать о том, как бы поскорее изгнать персов из Греции, не закрывая им пути к бегству, ибо в противном случае царь, располагая такой огромною силой, вынужден будет защищаться и мстить; тогда Фемистокл тайно отправил к Ксерксу пленного евнуха Арнака, приказав ему донести своему господину, что греки уже готовы были плыть к мосту, но он, Фемистокл, отговорил их, заботясь о спасении царя.

10. Получив такое известие, Ксеркс в ужасе поспешил к Геллеспонту, оставив в Европе Мардония с отборным войском числом около трехсот тысяч – это был страшный враг; всецело полагаясь на свою пехоту, он написал грекам грозное письмо: "На морских судах вы одолели жителей суши, не умеющих держать весло. Но теперь перед нами – просторная Фессалия, и Беотийская равнина – удобное место, чтобы померяться силою отважным конникам и гоплитам". Афинянам он отправил особое послание, возвещая им, что царь заново отстроит их город, даст им много денег и поставит владыками над всею Грецией, если

только они выйдут из войны. Узнав об этом, лакедемоняне перепугались, и в Афины прибыли их послы с предложением поселить в Спарте жен и детей афинян и доставить пропитание старикам. Весь народ жестоко нуждался, потеряв свой город и свои земли, и все же, выслушав послов, афиняне согласились с мнением Аристида и дали достойный восхищения ответ: они прощают врагам, которые, не зная ничего дороже богатства, полагают, будто за деньги можно купить все на свете; но их возмущают лакедемоняне, которые видят лишь бедность и нужду, гнетущую ныне афинян, о доблести же и гордости их забывают, призывая сражаться за Грецию ради пропитания. Когда это мнение Аристида было одобрено, он привел послов в Народное собрание и велел им передать лакедемонянам, что ни на земле, ни под землей не сыскать столько золота, чтобы афиняне согласились предать свободу греков. Людям же Мардония он объявил, указавши на солнце: "До тех пор, пока оно ходит в небе этим путем, афиняне будут воевать с персами за свои опустошенные земли и поруганные, сожженные храмы". Он предложил еще, чтобы жрецы предавали проклятию всех, кто вступит в мирные переговоры с персами или покинет союз греческих государств.

Когда Мардоний во второй раз вторгся в Аттику, афиняне опять перебрались на Саламин. Аристид, посланный в Спарту, упрекал лакедемонян в том, что своей медлительностью и равнодушием они снова отдали Афины во власть персов, и требовал, чтобы они оказали помощь областям Греции, еще не занятым врагами. У спартанцев справлялись гиакинфии[14], и эфоры, выслушав Аристида, днем продолжали веселиться, сохраняя беззаботный вид, а ночью выбрали пять тысяч спартиатов, каждый из которых взял с собою семерых илотов, и тайком от афинских послов отправили их в поход. Когда Аристид снова явился к ним с упреками, они, смеясь, ответили, что он, верно, бредит со сна – ведь войско, выступившее против иноземцев ("иноземцами" они называли персов), уже в Орестии[15]; Аристид же на это сказал, что неудачное время нашли они для шуток, обманывая друзей вместо врагов. Таково сообщение Идоменея. Но в постановлении, которое было предложено Аристидом, послами названы Кимон, Ксанфипп и Миронид, а его собственное имя там не значится.

11. Избранный стратегом с неограниченными полномочиями на время предстоявших боевых действий, Аристид подошел к Платеям во главе восьми тысяч афинских гоплитов. Там к нему присоединился Павсаний со своими спартанцами – главнокомандующий всеми греческими силами, и туда же стекалось множество воинов из остальных греческих областей. Весь огромный лагерь варваров вытянулся, без конца и края, вдоль реки Асоп; пожитки воинов и самое ценное снаряжение защищала четырехугольная стена, каждая сторона которой была десяти стадий в длину. Элеец Тисамен предсказал Павсанию и всем грекам победу, если они будут обороняться и не нападут первыми. Аристид послал в Дельфы вопросить оракула, и бог ответил, что афиняне одолеют врага, если будут молиться Зевсу, Гере Киферонской, Пану и сфрагидийским нимфам[16], принесут жертвы героям Андрократу, Левкону, Писандру, Дамократу, Гипсиону, Актеону и Полииду и примут бой на собственной земле – на равнине Деметры Элевсинской и Персефоны. Получив это предсказание, Аристид стал в ту-

пик. Ведь герои, которым бог велел принести жертвы, были родоначальниками платейцев, и пещера сфрагидийских нимф находится на одной из вершин Киферона и обращена в ту сторону, где летом заходит солнце (рассказывают, что когда-то там было и прорицалище и что многие из местных жителей обладали даром пророчества и потому про них говорили, что они "одержимы нимфами"). Упоминание же о равнине Элевсинской Деметры и о том, что лишь битва на собственной земле дарует афинянам победу, вновь заставляли думать о переносе военных действий в Аттику. Как раз в это время командующему платейцев Аримнесту приснилось, будто Зевс Спаситель спрашивает его, какое решение приняли греки, а он отвечает: "Завтра поведем войско к Элевсину, владыка, и там сразимся с варварами, повинуясь пифийскому оракулу". Тогда бог объявил, что они глубочайшим образом заблуждаются: то, о чем вещала Пифия, – здесь во владениях платейцев, пусть поищут – и найдут. Все это привиделось Аримнесту вполне отчетливо, и, пробудившись, он тут же послал за самыми многоопытными и старыми из сограждан и, беседуя с ними, выяснил, что близ Гисий у подножья Киферона есть очень древний храм, посвященный Деметре Элевсинской и Персефоне.

Вместе с Аристидом они сразу отправились к тому месту: оно оказалось словно нарочито предназначенным для боевых действий пешего строя против превосходящих сил конницы, так как отроги Киферона делали непреодолимым для всадников край равнины, примыкающий к храму. В роще неподалеку было святилище героя Андрократа, окруженное густо разросшимися, тенистыми деревьями. А чтобы всякое слово оракула исполнилось, укрепляя надежды на победу, платейцы, следуя предложению Аримнеста, постановили уничтожить границу между Аттикой и платейскими владениями и передать всю землю афинянам: тогда те смогут сражаться за Грецию в своих собственных пределах. Великодушие платейцев приобрело такую громкую славу, что даже много лет спустя Александр, который к тому времени успел уже покорить Азию, решив обнести Платеи стенами, объявил на Олимпийских играх через глашатая, что царь оказывает эту милость платейцам за их мужество и щедрость, обнаруженные в Персидской войне, когда они отдали грекам свою землю и проявили величайшую отвагу.

12. Тегейцы вступили с афинянами в спор из-за места в бою: они требовали, чтобы их поставили на левом крыле, как бывало во всех случаях, когда лакедемоняне занимали правое, и без конца восхваляли своих предков. Афиняне были возмущены, и тогда Аристид, выйдя вперед, сказал: "Отвечать тегейцам на их рассуждения о благородстве и храбрости сейчас не позволяет время, но вам, спартанцы, и всем прочим грекам мы хотим заметить, что место не отнимает доблести и не дарует ее. А потому какое бы место вы нам ни назначили, мы постараемся украсить и удержать его, не посрамив прежние наши победы. Мы пришли сюда не ссориться с союзниками, но сразиться с врагами, не прославлять отцов и дедов, но самих себя проявить неустрашимыми защитниками Греции. Предстоящая битва покажет грекам истинную цену каждого города, полководца и отдельного воина". Выслушав эти слова, начальники и прочие участники совета согласились с афинянами и отдали другое крыло им.

13. Положение всей Греции было очень непрочным, но самым тяжким оно было для афинян; и вот в таких-то обстоятельствах люди из знатных домов, прежде очень богатые, а теперь обращенные войною в бедняков, видя, что вместе с деньгами их покинули слава и влияние, что почести и власть над согражданами перешли в другие руки, тайно собрались в каком-то доме в Платеях и сговорились свергнуть власть народа, а если им это не удастся – все пустить прахом и передать государство персам. Все это происходило в лагере, и очень многие были уже вовлечены в заговор, когда о нем узнал Аристид; опасаясь действовать круто в такое тревожное время, он решил не оставлять дела без внимания, но и не раскрывать его до конца: ведь неизвестно было, сколь значительным окажется число изобличенных, если вести расследование, сообразуясь лишь со справедливостью, а не с пользой. Итак, он приказал задержать всего восемь человек; из них двое, которые первыми были привлечены к суду да и виноваты были больше всех, ламптриец Эсхин и ахарнянин Агасий, бежали из лагеря, остальных же Аристид отпустил, желая приободрить тех, кто считал себя еще незаподозренным, и дать им возможность раскаяться. Он добавил, что битва будет для них великим судилищем, где они честной и усердной службой отечеству очистят себя от всех обвинений.

14. Вскоре после этого Мардоний попытался ударить на противника теми силами, в которых он, как ему казалось, обладал решительным перевесом: персидская конница пустилась на греков, которые засели у подножья Киферона в каменистом, надежно укрепленном природою месте, – все, кроме мегарян. Последние, числом три тысячи, разбили лагерь пониже, на равнине, и потому понесли тяжелый урон от обрушившейся на них и напавшей сразу со всех сторон конницы. Не в силах сами сдержать натиск такого множества варваров, они поспешно послали к Павсанию гонца с просьбой о подкреплении. Выслушав это да и собственными глазами видя, что туча копий и стрел закрыла лагерь мегарян, а воины уже отступили и сбились в кучу, Павсаний, который не мог с помощью тяжеловооруженных спартанских пехотинцев отбить атаку всадников, предложил находившимся подле него греческим стратегам и начальникам отрядов потягаться в мужестве и любви к славе, если кто-нибудь из них желает добровольно вступить в бой, чтобы помочь мегарянам. В то время как остальные колеблются, Аристид от имени афинян объявляет, что они берут это на себя, и посылает самого храброго из начальников, Олимпиодора, с тремястами отборных воинов, присоединив к ним лучников. Они быстро приготовились и бегом двинулись к лагерю мегарян; заметив их приближение, Масистий, начальник персидской конницы, отличавшийся поразительной силой, огромным ростом и красотою, повернул коня и понесся навстречу афинянам. Те стойко вынесли удар, и началась схватка такая ожесточенная, словно исход ее решал судьбу всей войны. Конь под Масистием, раненный стрелой, сбросил седока; упав, Масистий остался недвижим (тяжесть вооружения не давала ему подняться на ноги), но и афиняне никак не могли до него добраться, хотя и осыпали градом ударов: не только грудь и голову – даже руки и ноги Масистия прикрывали золотые, медные и железные латы. Наконец кто-то прикончил его, ударив древком копья туда, где в отверстие шлема был виден глаз; остальные персы, бросив

труп, бежали. Размеры успеха греки оценили не по числу убитых врагов (их оказалось совсем немного), но по охватившей персов скорби: горюя о Масистии, они остриглись, обрезали гривы лошадям и мулам и огласили всю равнину своими стонами и плачем – ведь они потеряли первого после Мардония мужа, намного превосходившего прочих доблестью и силой.

15. После этого конного сражения и греки и персы долго воздерживались от боевых столкновений: прорицатели, рассмотрев внутренности жертвенных животных, предвещали и тем, и другим победу, если они будут защищаться, и поражение – если нападут первыми. Наконец Мардоний, видя что припасов у него остается лишь на несколько дней, а число греков все растет благодаря непрерывно прибывающим подкреплениям, потерял терпение и решил долее не медлить, но переправиться с рассветом через Асоп и неожиданно напасть на греков; свой приказ он вечером передал начальникам. Примерно в полночь какой-то всадник осторожно приблизился к греческому лагерю и, встретив часовых, велел послать за афинянином Аристидом. Тот откликнулся на зов и явился незамедлительно. "Я Александр, царь Македонский, – сказал всадник. – Питая расположение к вам, я приехал, невзирая на величайшую опасность, которая мне грозит, чтобы неожиданное нападение не привело вас в замешательство и не лишило мужества. Завтра Мардоний даст вам бой – не потому, что уверен в успехе, и не по дерзкой самонадеянности, но терпя нужду в продовольствии, хотя и прорицатели, ссылаясь на неблагоприятные жертвоприношения и вещания оракулов, отговаривают его, и войско погружено в уныние и страх. Но иного выхода нет: приходится либо дерзнуть и попытать удачи, либо оставаться на месте и терпеть жесточайшую нужду". Затем Александр попросил Аристида запомнить его слова, но никому их не пересказывать. Аристид ответил, что не годится скрывать это известие от Павсания – их главнокомандующего, но что никому больше он не скажет до битвы ни слова; зато если Греция победит, не останется ни единого человека, который бы не узнал о преданности и храбрости Александра. Тут царь македонян поехал назад. Аристид же пришел в палатку Павсания и рассказал ему об этом разговоре. Вместе они послали за остальными командующими и отдали распоряжение, чтобы войско соблюдало порядок и готовилось к битве.

16. Как сообщает Геродот[17], Павсаний предложил Аристиду поставить афинян на правом крыле, против персов: они-де уже знакомы с этим противником и потому будут сражаться лучше других, а воспоминание о прежней победе придаст им уверенности в себе; своих же людей Павсаний хотел переместить на левое крыло, где против них должны были оказаться греки, перешедшие на сторону персов. Но остальные стратеги афинян сочли предложение Павсания легкомысленным и даже наглым: ведь всех прочих он оставил на прежних местах и только их одних гоняет то туда, то сюда, отводя, словно илотам, самый опасный участок. Тогда Аристид объяснил им, что они опять кругом неправы, если, только недавно поспоривши с тегейцами из-за места на левом крыле, одержав над ними верх и кичась этим, теперь, когда спартанцы добровольно отдают им правое крыло и в какой-то мере уступают первенство, они и славе не радуются, и не видят преимущества в том, чтобы сражаться не с соплеменниками и роди-

чами, а с варварами, исконными своими врагами. После этой речи афиняне с великой охотой обменялись местами со спартанцами. Тут пошли у них разговоры и взаимные увещания, каждый напоминал товарищу, что противник вооружен не лучше и духом не крепче, чем когда-то при Марафоне, что те же у него стрелы, та же узорчатая одежда и золото, прикрывающее изнеженные тела и робкие души. "А у нас прежнее оружие и прежняя сила в руках, и лишь отваги прибавилось благодаря победам; и боремся мы не просто за свою землю и город, как тогда, а за трофеи у Марафона и на Саламине, дабы все уверились, что они воздвигнуты не Мильтиадом и не Судьбою, но – афинянами". Итак они поспешно обмениваются местами с лакедемонянами; фиванцы, узнав об этом от перебежчиков, докладывают Мардонию. То ли боясь афинян, то ли считая для себя честью сразиться со спартанцами, он немедленно перебросил персов на правое крыло, а грекам, которые были у него в войске, приказал встать против афинян. Как только это перестроение открылось, Павсаний снова перешел на правое крыло, тогда Мардоний занял левое, как было сначала, и опять очутился против лакедемонян, и в этих бесплодных занятиях прошел весь день. На совете греки решили разбить лагерь подальше, в изобилующем водою месте: все ближние источники были взбаламучены и изгажены огромною конницей варваров.

17. Когда наступила ночь, начальники повели своих людей туда, где предполагалось раскинуть новый лагерь; те отнюдь не были расположены дружно следовать за ними, но, едва покинув прежние укрепления, понеслись к Платеям и подняли там суматоху, рассыпавшись по городу и разбивая палатки, где попало. Одни лишь спартанцы, вопреки своему желанию, остались позади прочих, и вот как это получилось. Амомфарет, человек горячий и отчаянный, уже давно рвавшийся в бой и тяготившийся бесконечными отсрочками и промедлениями, назвал это перемещение позорным бегством и заявил, что не намерен отступить ни на шаг, но со своими соратниками здесь встретит Мардония. К нему подошел Павсаний и сказал, что выполняет постановление, за которое греки голосовали на совете, тогда Амомфарет поднял обеими руками громадный камень и, бросив его к ногам Павсания, воскликнул, что и он подает свой голос[18] и выбирает битву, а до трусливых советов и мнений прочих ему дела нет. Павсаний, растерявшись и не зная, что ему предпринять, послал к афинянам, которые уже тронулись в путь, и просил их подождать и идти вместе со всеми, а сам повел остальное войско к Платеям, надеясь, что Амомфарет двинется следом.

Тем временем рассвело, и Мардоний, от которого не укрылось, что греки оставили свой лагерь, под оглушительный шум и крики двинул на лакедемонян сомкнутый строй персов, изготовившихся не к бою, а к погоне за беглецами. И в самом деле, события чуть было не приняли именно такой оборот. Видя, что враг наступает, Павсаний приказал прекратить движение и каждому занять свое место в боевом строю, но совсем упустил из виду, – то ли в гневе на Амомфарета, то ли приведенный в смятение проворством врагов, – подать грекам сигнал к началу сражения. Поэтому, хотя битва уже началась, они подошли на помощь не сразу и не все вместе, но порознь, небольшими отрядами. Павсаний совершил жертвоприношение и, так как предзнаменования были неблагоприятны, прика-

зал спартанцам положить щиты к ногам, не трогаться с места и ждать его знака, не оказывая пока неприятелю ни малейшего сопротивления, а сам продолжал приносить жертвы. Меж тем вражеские всадники рванулись вперед; стрелы их уже достигали цели, среди спартанцев были убитые и раненые. Стрела сразила и Калликрата, как рассказывают, самого красивого и самого высокого из греков, и, умирая, он промолвил: "Не смерть меня печалит (для того я и ушел из дома, чтобы отдать жизнь за Грецию), но горько умереть, ни разу не переведавшись с врагами". Тягостное то было зрелище, и поразительна выдержка воинов: никто не старался защититься от наступающего противника, но, получая рану за раной и падая в строю, они терпеливо ждали доброго знака от бога и своего полководца. Иные историки сообщают, что несколько лидийцев неожиданно напали на Павсания, приносившего жертвы и молившегося чуть в стороне от рядов, и принялись растаскивать и раскидывать священные предметы; Павсаний же и окружавшие его греки были безоружны и потому отбивались палками и бичами. И до сих пор в подражание событиям того дня в Спарте порют у алтаря юношей[19], а затем устраивают лидийскую процессию.

18. Итак, прорицатель закалывал одно жертвенное животное за другим[20], а Павсаний, мучась при виде того, что происходило, обратил залитое слезами лицо к святилищу Геры и, воздев руки, взмолился Киферонской Гере и прочим богам-хранителям платейской земли, чтобы греки, если уж не суждено им победить, хотя бы приняли смерть в бою и на деле доказали врагам, что те сражаются против доблестных мужей и опытных воинов. Так заклинал он богов, и в этот миг явились благие предзнаменования, и жрецы обещали победу. Был отдан приказ всем вступить в бой, и сразу же строй принял облик некоего зверя – могучего, разъяренного и ощетинившегося, а варвары уразумели, что неприятель будет сражаться до последней капли крови. Наглухо закрывшись обтянутыми кожей щитами, они продолжали обстреливать спартанцев из луков. А спартанцы, сомкнув ряды и строго соблюдая строй, ринулись вперед и, отталкивая в сторону щиты, стали разить персов копьями в лицо и в грудь и многих положили, хотя и те бились горячо – голыми руками поломали чуть ли не все вражеские копья, а когда греки обнажили мечи, принялись ожесточенно рубиться кинжалами и саблями, схватывались, вырывая щиты, врукопашную и так держались долго.

Афиняне до сих пор оставались на месте, поджидая спартанцев: теперь же, когда слуха их достигли громкие крики сражающихся, а от Павсания, как рассказывают, прибыл гонец и объяснил, что происходит, они быстро двинулись на подмогу. Идя по равнине в том направлении, откуда несся шум, они столкнулись с греками, державшими сторону персов. Заметив их, Аристид сначала вышел далеко вперед и, призывая в свидетели греческих богов, закричал соотечественникам, чтобы они не ввязывались в бой и не преграждали путь афинянам, спешащим на помощь тем, кто в первых рядах дерется за свободу Греции; однако, видя, что они не обращают никакого внимания на его слова и выстраиваются в боевой порядок, Аристид отказался от первоначального намерения поддержать спартанцев и напал на греков, которых было около пятидесяти тысяч. Но бóльшая часть их дрогнула и стала отходить, едва они заметили, что и персы обрати-

лись в бегство; говорят, что дольше всех сопротивлялись фиванцы, у которых самые знатные и могущественные граждане были безгранично преданы персам и вели за собою толпу, без рассуждений повиновавшуюся немногим, власть имущим.

19. Так битва шла раздельно в двух местах, и первыми лакедемоняне погнали персов; спартанец по имени Аимнест убил Мардония, разбив ему камнем голову, как тому и было предречено оракулом Амфиарая[21]. В его святилище Мардоний послал какого-то лидийца, а еще одного человека, родом из Карии, отправил к Трофонию. Со вторым прорицатель заговорил на карийском языке; лидийцу же, который лег спать в храме Амфиарая, привиделось, будто некий служитель бога, остановившись подле него, велит ему уйти, а когда он отказался повиноваться, бросил ему в голову громадный камень, и посланцу почудилось, что он убит. Вот что об этом рассказывают... Беглецов спартанцы заперли в стенах деревянного укрепления. Немного спустя афиняне рассеяли фиванцев, положив в бою триста самых главных и знатных среди них. В это время явился гонец с известием, что персы заперты и осаждены. Тогда афиняне предоставили грекам искать спасения в бегстве, а сами поспешили к стенам; придя на помощь лакедемонянам, которые вели осаду очень вяло и неумело, они взяли приступом вражеский лагерь и учинили там страшную резню. Говорят, что из трехсот тысяч живыми ушли только сорок тысяч человек во главе с Артабазом, а у сражавшихся за Грецию пало всего тысяча триста шестьдесят воинов. Из них афинян было пятьдесят два – все, как сообщает Клидем, из филы Эантиды, которая билась храбрее прочих. Вот почему эантидцы, повинуясь приказу дельфийского оракула, приносили в благодарность за победу жертвы сфрагидийским нимфам, покрывая расходы за счет казны. Спартанцы потеряли девятносто одного человека, тегейцы – шестнадцать. Удивительно поэтому, как мог Геродот[22] утверждать, будто в битве участвовали только афиняне, спартанцы и тегейцы, из прочих же греков – никто. И число павших, и памятники свидетельствуют о том, что успех был достигнут совместными усилиями. Если бы сражались только эти три города, а остальные пребывали в бездействии, не было бы и следующей надписи на жертвеннике:

Эллины здесь одержали победу отвагой Ареса,
[Мужеству смелой души жребий доверили свой.]
Персов изгнали они и единой, свободной Элладой
Этот сложили алтарь Зевсу, свободы отцу[23].

Сражение произошло в четвертый день месяца боэдромиона по афинскому календарю, или за четыре дня до конца месяца панема – по беотийскому. До сих пор в этот день в Платеях собираются представители греческих городов, и платейцы приносят жертвы Зевсу-Освободителю в благодарность за победу. Несовпадению дней не следует удивляться: ведь даже теперь, когда познания в астрономии стали основательнее, в разных местах по-разному исчисляют начало и конец месяца.

20. Афиняне не соглашались уступить спартанцам награду за храбрость и не давали им воздвигнуть трофей; еще совсем немного – и греки, взявшись за оружие, сами погубили бы себя и свое дело, если бы Аристид красноречивыми уте-

шениями и увещаниями не сдержал своих товарищей по должности (главным образом Леократа и Миронида) и не убедил их предоставить решить этот спор всем грекам сообща. Греки начали совещаться, и мегарец Феогитон предложил присудить награду за храбрость какому-нибудь третьему городу, а иначе – как бы не вспыхнула междуусобная война. Вслед за ним поднялся коринфянин Клеокрит и все решили, что он потребует награду для коринфян: ведь после Спарты и Афин наибольшим влиянием пользовался Коринф. Но его замечательная речь, которая всем понравилась, была посвящена Платеям; он подал совет примирить ссорящихся, почтив наградой за храбрость платейцев, что не вызовет неудовольствия ни одной из сторон. Выслушав это предложение, с ним сначала согласился Аристид от имени афинян, а потом Павсаний от имени лакедемонян. Договорившись таким образом, они передали платейцам из общей добычи восемьдесят талантов, на которые те построили святилище Афины, поставили изображение богини и украсили храм картинами (они в целости сохранились вплоть до наших дней). Были воздвигнуты порознь два трофея – один лакедемонянами, другой афинянами.

Что касается жертвоприношений, то пифийский оракул, к которому они обратились, велел соорудить алтарь Зевсу-Освободителю, но жертв не приносить до тех пор, пока по всей стране не будет погашен огонь, оскверненный персами, и зажжен новый, чистый – от общего алтаря в Дельфах. Вожди греков тут же разошлись по окрестностям, заставляя всех, у кого горел огонь, тушить его, а платеец Эвхид, вызвавшись как можно скорее принести огонь от бога, отправился в Дельфы. Совершив очищения, окропив тело водой и увенчав себя лавровыми ветвями, он взял с жертвенника огонь и побежал обратно; еще до заката солнца он был в Платеях, покрыв за один день тысячу стадиев[24]. Приветствовав сограждан и отдав им огонь, он тут же упал и в недолгом времени испустил дух. Платейцы подняли тело с земли и похоронили его в храме Артемиды Эвклии, начертав на могильном камне следующий тетраметр:

Бег свершил Эвхид к Пифийцу и вернулся в тот же день.

"Эвклия" обыкновенно считается именем Артемиды, но некоторые утверждают, что она дочь Геракла и Мирто́ – дочери Менетия и сестры Патрокла – и умерла девушкой. Она пользуется почитанием у беотийцев и локрийцев: в каждом городе на площади стоит ее изображение и алтарь, и перед свадьбой ей приносят жертвы жених и невеста.

21. После этого на собрании всех греков Аристид внес предложение, чтобы ежегодно в Платеи приезжали из разных концов Греции послы для участия в священнодействии, а каждые пять лет устраивались Элевферии – "Игры Освобождения", чтобы греческое войско в десять тысяч пехотинцев и тысячу всадников и сто кораблей были всегда наготове для борьбы с варварами и чтобы платейцы пользовались неприкосновенностью и приносили жертвы богу за Грецию. Предложение было принято, и платейцы согласились каждый год совершать жертвоприношения теням греков, павших и похороненных у стен их города. Они делают это еще и теперь следующим образом. В шестнадцатый день месяца мемактериона (которому у беотийцев соответствует алалкомений), на заре,

устраивается процессия; во главе ее идет трубач, играющий сигнал "к бою", за ним следуют повозки, доверху нагруженные венками и миртовыми ветвями, черный бык и свободнорожденные юноши, несущие вино и молоко в амфорах для возлияния и кувшины с маслом и благовониями (ни один раб не должен принимать участие в этом служении, ибо те мужи умерли за свободу). Замыкает шествие архонт Платей; в иное время ему запрещено прикасаться к железу и носить какую бы то ни было одежду, кроме белой, но в этот день, облаченный в пурпурный хитон, с мечом в руке, он берет в хранилище грамот сосуд для воды и через весь город направляется к могилам. Зачерпнув воды из источника, он сам обмывает надгробные камни и мажет их благовониями, потом, заколов быка и ввергнув его в костер, обращается с молитвой к Зевсу и Гермесу Подземному и призывает храбрых мужей, погибших за Грецию, на пир и кровавые возлияния. Затем он разбавляет в кратере вино и выливает его со словами: "Пью за мужей, которые пали за свободу Греции". Этот обычай платейцы соблюдают и по сей день.

22. Когда афиняне вернулись в свой город, Аристид понял, что они намерены установить демократический образ правления; полагая, что проявленной на войне доблестью народ заслуживает заботы о себе и что, с другой стороны, нелегко справиться с людьми, держащими в руках оружие, сознающими свою силу и гордящимися достигнутой победой, он предложил, чтобы впредь в управлении государством участвовали все без исключения и чтобы на должность архонта мог быть избран любой гражданин.

Фемистокл объявил, что хочет дать народу совет, полезный и даже спасительный для государства, но не подлежащий огласке, и афиняне велели Аристиду одному выслушать его и сказать свое мнение. Когда Аристид узнал, что Фемистокл замышляет сжечь стоящий на якоре греческий флот, – тогда-де афиняне будут сильнее всех и станут владыками Эллады, – он явился в Народное собрание и сказал, что дело, замышляемое Фемистоклом, самое выгодное и в то же время самое несправедливое из всех, какие ему известны. Услышав это, Собрание приказало Фемистоклу отказаться от своего плана. Вот как любил справедливость народ, и вот как преданно и надежно служил ему Аристид.

23. Посланный на войну командующим вместе с Кимоном и видя, что Павсаний и остальные начальники спартанцев грубо и высокомерно обращаются с союзниками, сам он, напротив, повел себя с ними обходительно и человеколюбиво и Кимона убедил сохранять в походах приветливость и предупредительность; таким образом, он незаметно, не прибегая ни к оружию, ни к судам, ни к боевым коням, одной лишь благожелательностью и подлинно государственной мудростью лишил спартанцев главенства. Афиняне и так уже были любезны грекам благодаря справедливости Аристида и доброте Кимона, а своекорыстие и тяжелый нрав Павсания делали их еще милее для всех. С начальниками союзников Павсаний разговаривал всегда сурово и сердито, а простых воинов наказывал палками или заставлял стоять целый день с железным якорем на плечах. Никому не разрешалось раньше спартанцев набрать соломы на подстилку, принести сена коням или подойти к источнику и зачерпнуть воды – ослушников слуги гнали прочь плетьми. Когда однажды Аристид с упреком заговорил об

этом с Павсанием и хотел его усовестить, тот, нахмурившись, сказал, что ему недосуг, и не пожелал слушать.

Вскоре греческие полководцы и начальники морских сил, в особенности хиосцы, самосцы и лесбосцы, стали приходить к Аристиду и уговаривать его принять главное командование и взять под свое покровительство союзников, которые уже давно мечтают избавиться от спартанцев и примкнуть к афинянам. Аристид ответил, что они его убедили, что просьба их вполне справедлива, но если они желают приобрести его доверие, нужно отважиться на такой поступок, который не дал бы толпе впоследствии передумать еще раз. И вот, сговорившись, самосец Улиад и хиосец Антагор неподалеку от Византия, когда триера Павсания, отделившись от других, ушла вперед, напали на нее с обоих бортов. Заметив их, Павсаний в ярости вскочил и стал грозить, что скоро покажет им, на кого они совершили нападение – не на корабль Павсания, нет! но на собственное отечество! А те велели ему убираться и благодарить судьбу, которая была на его стороне при Платеях, – только память об этой победе мешает грекам рассчитаться с ним по заслугам. Дело кончилось тем, что союзники отложились и перешли на сторону афинян. И тут Спарта на деле доказала свое замечательное здравомыслие. Когда лакедемоняне поняли, что слишком большая власть портит их военачальников, они добровольно отказались от главенства и перестали посылать на войну командующих, предпочтя господству над всей Грецией мудрую воздержность граждан и верность их отеческим обычаям.

24. Еще находясь под руководством спартанцев, греки делали определенные взносы на военные нужды, и теперь, желая, чтобы каждому городу была определена надлежащая подать, они попросили афинян отрядить к ним Аристида и поручили ему, познакомившись с их землями и доходами, в соответствии с их возможностями назначить, сколько кому платить. Получив такую громадную власть – ведь Греция в какой-то мере отдала в его распоряжение все свое имущество, – бедным ушел он из дома и еще беднее вернулся, составив податной список не только безукоризненно справедливо, но и ко всеобщему удовлетворению. Подобно древним, воспевавшим век Крона, прославляли союзники афинян подать, установленную Аристидом, называя ее “счастьем Греции”, в особенности, когда она по прошествии недолгого времени удвоилась, а затем и утроилась. Общая сумма, назначенная Аристидом, была около четырехсот шестидесяти талантов. Перикл увеличил ее почти на треть: как сообщает Фукидид[25], в начале войны к афинянам поступало от союзников шестьсот талантов. После смерти Перикла правители довели ее, повышая понемногу, до тысячи трехсот талантов – не столько потому, что превратности долгой войны требовали больших издержек, сколько потому, что народ был уже приучен к раздачам, к получению денег на зрелища, к сооружению статуй и храмов.

Говорят, что о громкой, достойной удивления славе, которую принесла Аристиду раскладка подати, Фемистокл с насмешкой сказал: “Такая слава подобает не мужу, а скорее мешку для хранения золота”. Это был его ответ, хотя и очень неудачный, на откровенное замечание Аристида, который как-то раз, когда Фемистокл заявил, что величайшим достоинством полководца считает умение распознать и предугадать замыслы противника, заметил: “Да, Фемистокл, это не-

обходимое качество, но все же прекрасно и поистине подобает полководцу иметь чистые руки".

25. Аристид привел греков к присяге на верность, сам от имени афинян принес такую же присягу и, произнеся слова заклятия, бросил в море куски металла[26], но впоследствии, когда обстоятельства потребовали власти более твердой, он просил афинян поступать так, как они находят полезным, возложив всю ответственность за нарушение клятвы на него. Вообще, по мнению Феофраста, этот человек отличался величайшей справедливостью по отношению к своим домашним и к согражданам, но в делах государственных нередко сообразовывался лишь с выгодами отечества, будто оно постоянно требовало несправедливых действий. Говорят, что когда обсуждалось предложение самосцев перевезти казну, вопреки договору, с Делоса в Афины[27], Аристид сказал, что это несправедливо, но зато полезно. В конце концов его усилиями Афины приобрели власть над великим множеством людей, но сам он остался бедняком и славу о своей бедности всегда ставил ничуть не ниже, чем ту, что принесли ему воздвигнутые трофеи.

Это явствует вот из какого случая. Факелоносец Каллий, приходившийся Аристиду родственником, был привлечен врагами к суду, и обвинители требовали смертной казни. Достаточно сказав о преступлениях, которые вменялись ему в вину, они привели судьям один не относящийся к делу довод: "Вы знаете Аристида, сына Лисимаха, – сказали они, – которым восхищается вся Греция. Как, по-вашему, он живет, если – сами видите! – появляется на людях в таком рубище? Разве не похоже на то, что, коль скоро на улице он дрожит от холода, значит дома голодает и терпит нужду во всем необходимом? А Каллий, богатейший из афинян, равнодушно смотрит на то, как бедствует его двоюродный брат с женой и детьми, хотя много раз прибегал к услугам этого человека и часто обращал себе на пользу влияние, которым тот пользуется среди вас". Каллий, видя, что на судей это подействовало сильнее всего прочего и что они разгневаны, вызвал Аристида и попросил его засвидетельствовать перед судом, что не раз он, Каллий, давал ему щедрые вспомоществования и убеждал их принять, но тот отказывался, отвечая, что ему более пристало гордиться своей бедностью, чем Каллию – богатством: ведь богачей на свете много, и хороших и дурных, а человека, который бы с достоинством переносил бедность, встретить нелегко, ибо стыдятся бедности те, кто нуждается вопреки своей воле. И среди слышавших эти показания Аристида в пользу Каллия не осталось ни одного, который бы, уходя, не унес с собою желания быть лучше бедным, как Аристид, чем утопать в богатстве, как Каллий. Эту историю записал ученик Сократа Эсхин. Платон[28] же из всех афинян, почитающихся великими и славными, одного лишь этого мужа объявляет достойным упоминания: Фемистокл, говорит он, Кимон и Перикл наполнили город портиками, деньгами и всевозможными пустяками, меж тем как Аристид, управляя государством, вел его к нравственному совершенству.

Велика была и кротость, проявленная им по отношению к Фемистоклу. Всю жизнь тот был его противником на государственном поприще, из-за него Аристид подвергся остракизму, но когда Фемистокл, в свою очередь, попал в беду и предстал перед судом, обвиненный в преступлении против государства, Аристид

забыл старые обиды, и в то время как Алкмеон, Кимон и многие иные наперебой изобличали Фемистокла, один лишь Аристид и не сделал и не сказал ничего ему во вред; он не радовался несчастью врага, как прежде не завидовал его благоденствию.

26. Умер Аристид в Понте, куда он отплыл по общественным делам, а по другим сведениям – в Афинах, в глубокой старости, окруженный почетом и восхищением сограждан. Но вот что рассказывает македонянин Кратер о его смерти. После того, как был изгнан Фемистокл, народ непомерно возгордился, и появилось множество клеветников, которые преследовали доносами самых знатных и влиятельных людей, отдавая их на растерзание завистливой толпе, опьяненной своими успехами и своей силой. Среди привлеченных к суду был и Аристид; Диофант из дема Амфитропа обвинил его во взяточничестве (по его словам, взыскивая подать с ионийцев, Аристид принял от них денежный подарок), и так как у того не нашлось пятидесяти мин, чтобы уплатить штраф, к которому его приговорили, он уехал из Афин за море и умер где-то в Ионии. Никаких письменных доказательств, подтверждающих это, Кратер не привел – ни решения суда, ни постановления Народного собрания, хотя обычно в подобных случаях бывает достаточно обстоятелен и сопоставляет суждения разных историков. Почти все прочие авторы, которые писали о провинностях народа перед своими полководцами, собрали воедино и изгнание Фемистокла, и тюремное заключение Мильтиада, и штрафы, которые платил Перикл, и смерть Пахета, который, в ожидании обвинительного приговора, покончил с собою прямо в суде, на возвышении для ораторов, и многое другое в том же роде и этими рассказами уши всем прожужжали, но что касается Аристида, они говорят только об остракизме, об осуждении же не упоминают нигде

27. К тому же в Фалерах и сейчас можно видеть его могилу; говорят, что он не оставил денег даже на погребение, и похороны ему устроил город. Сообщают еще, что его дочери были выданы замуж государством: город обручил их за счет казны и назначил каждой три тысячи драхм приданого; сын же Лисимах получил от народа сто мин серебром и сто плефров уже засеянной пашни, а также, по предложению Алкивиада, четыре драхмы на каждый день. Даже дочери Лисимаха Поликрите, пишет Каллисфен, народ после смерти отца назначил такое же содержание, как победителям на Олимпийских играх. Деметрий Фалерский, Иероним Родосский, музыкант Аристоксен и Аристотель (если только книгу "О благородстве" следует числить среди подлинно принадлежащих Аристотелю) утверждают, что Мирто́, внучка Аристида, была замужем за философом Сократом, который, хотя и был женат, взял ее к себе в дом, когда она овдовела и впала в крайнюю нужду. Их мнение достаточно убедительно опровергает Панетий в сочинении о Сократе. Деметрий Фалерский в своей книге о Сократе говорит, что помнит внука Аристида, Лисимаха, человека очень бедного, который кормился тем, что, сидя подле храма Иакха, толковал сны по какой-то табличке. Деметрий предложил, чтобы народ ежедневно давал матери Лисимаха и ее сестре три обола, и предложение было принято, а получив права законодателя, сам назначил по драхме в день каждой из женщин. И нет ничего удивительного в том, что народ так заботился о потомках Аристида, обитавших в

Афинах, – ведь узнав, что внучка Аристогитона на Лемносе терпит нужду и изза бедности не может выйти замуж, афиняне перевезли ее к себе, отдали в жены человеку знатного рода и определили ей в приданое поместье в Потаме. Многочисленные примеры такого человеколюбия и добросердечия, подаваемые этим городом и в наше время, делают его предметом заслуженного восхищения и подражания.



МАРК КАТОН

1. Марк Катон, как сообщают, был родом из Тускула, а воспитывался в земле сабинян, в отцовских поместьях, где он провел молодые годы, до того как поступил на военную службу и начал принимать участие в государственных делах. Его предки, по-видимому, ничем себя не прославили, хотя сам Катон с похвалою вспоминает и отца своего Марка, честного человека и храброго воина, и прадеда Катона, который, по словам правнука, не раз получал награды за отвагу и потерял в сражениях пять боевых коней, но государство, по справедливости оценив его мужество, вернуло ему их стоимость. Людей, которые не могут похвастаться знаменитыми предками и достигли известности благодаря собственным заслугам, римляне обыкновенно называют "новыми людьми"[1] – так звали и Катона; зато сам он считал, что внове ему лишь высокие должности и громкая слава, но если говорить о подвигах и нравственных достоинствах предков, он принадлежит к очень древнему роду. Сначала его фамильное имя было не Катон, а Приск[2], но впоследствии за остроту ума он получил прозвище Катона ("Катус" [catus] на языке римлян – "многоопытный"). Он был рыжеват, с серо-голубыми глазами; довольно удачно обрисовал его автор следующей эпиграммы:

Порций был злым, синеглазым и рыжим; ему Персефоной
Даже по смерти его доступ в Аид запрещен.

Постоянный труд, умеренный образ жизни и военные походы, в которых он вырос, налили его тело силою и здоровьем. Видя в искусстве речи как бы второе тело, орудие незаменимое для мужа, который не намерен прозябать в ничтожестве и безделии, он приобрел и изощрил это искусство, выступая перед судом в соседних селах и городах в защиту всякого, кто нуждался в его помощи, и сначала прослыл усердным адвокатом, а потом – и умелым оратором.

С течением времени тем, кому приходилось с ним сталкиваться, все больше стали в нем открываться сила и возвышенность духа, ожидающие применения в великих деяниях и у кормила государственного правления. Дело не только в том, что он, по-видимому, ни разу не замарал рук платой за выступления по ис-

кам и тяжбам, гораздо важнее, что он не слишком высоко ценил славу, принесенную ему этими выступлениями, ставя несравненно выше добытую в битвах с врагами славу и желая снискать уважение прежде всего воинскими подвигами – в такой мере, что еще мальчишкой весь был разукрашен ранами, меж которыми не было ни единой, нанесенной в спину. Он сам рассказывает, что первый свой поход проделал в возрасте семнадцати лет, когда Ганнибал, сопровождаемый удачей, опустошал Италию огнем. В боях он отличался силою удара, непоколебимою стойкостью и гордым выражением лица; угрозами и свирепым криком он вселял ужас в неприятеля, справедливо полагая и внушая другим, что нередко крик разит лучше, нежели меч. Во время переходов он нес свое оружие сам, а за ним шел один-единственный слуга со съестными припасами; и рассказывают, что Катон никогда не сердился и не кричал на него, когда тот подавал завтрак или обед, но, напротив, сам помогал ему очень во многом и, освободившись от воинских трудов, вместе с ним готовил пищу. В походах он пил обыкновенно одну воду, разве что иногда, страдая жгучею жаждой, просил уксуса[3] или, изнемогая от усталости, позволял себе глоток вина.

2. Невдалеке от полей Катона стоял дом Мания Курия – трижды триумфатора. Катон очень часто бывал поблизости и, видя, как мало поместье и незамысловато жилище, всякий раз думал о том, что этот человек, величайший из римлян, покоритель воинственнейших племен, изгнавший из Италии Пирра, после трех своих триумфов собственными руками вскапывал этот клочек земли и жил в этом простом доме. Сюда к нему явились самнитские послы и застали его сидящим у очага и варящим репу; они давали ему много золота, но он отослал их прочь, сказав, что не нужно золота тому, кто довольствуется таким вот обедом, и что ему милее побеждать владельцев золота, нежели самому им владеть. Раздумывая обо всем этом, Катон уходил, а потом обращал взор на свой собственный дом, поля, слуг, образ жизни и еще усерднее трудился, решительно гоня прочь расточительность и роскошь.

Еще совсем молодым Катон служил под началом Фабия Максима – как раз в ту пору, когда тот взял город Тарент; там он пользовался гостеприимством одного пифагорейца по имени Неарх и старался усвоить его учение. Слушая речи этого человека (примерно так же рассуждал и Платон[4]) о том, что наслаждение – величайшая приманка, влекущая ко злу, а тело – первая опасность для души, которая освобождается и очищается лишь с помощью размышлений, как можно дальше уводящих ее от страстей тела, – слушая эти речи, он еще больше полюбил простоту и умеренность. В остальном же, как сообщают, он поздно познакомился с греческой образованностью и лишь в преклонном возрасте взял в руки греческие книги, усовершенствуясь в красноречии отчасти по Фукидиду, а главным образом по Демосфену. И все же его сочинения[5] в достаточной мере украшены мыслями греческих философов и примерами из греческой истории, а среди его метких слов и изречений немало прямо переведенных с греческого.

3. Жил в ту пору некий муж, один из самых знатных и могущественных среди римлян, обладавший удивительной способностью распознавать зарождающуюся доблесть, воспитывать ее и выводить на путь славы. Звали его Валерий Флакк. Его земли граничили с землями Катона, от своих слуг он услышал о тру-

дах соседа и его образе жизни и, подивившись рассказам о его добром нраве и воздержности, о том, как спозаранку он отправляется на форум и ведет дела тех, кто испытывает в этом нужду, а возвратившись к себе, работает вместе с рабами – зимою, одев тунику, а летом нагой, – за одним столом с ними ест тот же хлеб, что они, и пьет то же вино, подивившись и метким словам Катона, которые запомнились слугам, велел позвать его к обеду. С тех пор они встречались часто и, видя в Катоне учтивость и приветливость, которые, словно растение, нуждаются в подобающем уходе и почве, Валерий склонил и убедил его перебраться в Рим и принять участие в государственных делах. Сразу же по прибытии в Рим он и сам выступлениями в суде приобрел почитателей и друзей, и Валерий во многом помог ему своим именем и влиянием, и Катон был избран сначала военным трибуном, а потом квестором. Теперь он уже пользовался такой известностью и славой, что мог вместе с самим Валерием домогаться высших должностей: они вместе были консулами, а позже цензорами.

Из граждан постарше Катон сблизился с Фабием Максимом, знаменитым и чрезвычайно влиятельным человеком, однако больше всего привлекали Катона его жизненные правила, которые он взял себе за образец. Вот почему он не задумываясь стал противником Сципиона Старшего, который был тогда молод, но уже выступал против Фабия (побуждаемый, по-видимому, ненавистью Фабия к нему): посланный в Африку квестором при Сципионе и видя, что тот и на войне не отказался от своей обычной расточительности и щедро раздает солдатам деньги, Катон без всяких обиняков обличил его[6], ставя ему в упрек не величину расходов, а то, что он губит исконную римскую простоту, ибо воины, не зная нужды ни в чем, привыкают к удовольствиям и изнеженности. Сципион ответил, что, на всех парусах идя навстречу войне, он отнюдь не нуждается в таком чрезмерно аккуратном квесторе – ведь не в деньгах, а в подвигах ему придется отчитываться перед римским народом. Тогда Катон покинул Сицилию и вместе с Фабием в сенате обвинил Сципиона в том, что он бросил на ветер огромные деньги и вел себя как мальчишка, пропадая в палестрах и театрах, точно не на войну, а на праздник приехал. Дело кончилось тем, что в Сицилию послали народных трибунов с поручением привести Сципиона в Рим, если обвинения подтвердятся, однако тот, убедительно показав, что подготовка к войне есть залог победы, что он, действительно, старался на досуге угодить друзьям, но что его человеколюбие и щедрость никак не означают легкомыслия по отношению к серьезным и важным делам, отплыл в Африку.

4. После этой речи в сенате авторитет Катона весьма возрос, и многие стали называть его римским Демосфеном, однако жизнью своей он заслуживал еще более высокого имени и более громкой славы. Ведь искусство речи было для всей римской молодежи вожделенной приманкой, словно наградой победителю в состязаниях. Но человек, который, следуя примеру предков, продолжал трудиться собственными руками, охотно довольствовался нехитрым обедом, холодным завтраком, дешевой одеждой, простым жилищем и считал, что достойнее не нуждаться в излишнем, нежели им владеть, такой человек был редкостью, ибо Римское государство, увеличившись и окрепнув, уже не сохраняло прежней чистоты и, приобретя власть над великим множеством стран и людей, восприня-

ло множество различных обычаев и усвоило всевозможные жизненные правила. Должно ли изумляться, если римляне восхищались Катоном, видя, что иных надломили тяготы, иных изнежили наслаждения и одного лишь его ни те, ни другие не смогли одолеть – не только в ту пору, когда он был еще молод и честолюбив, но и в глубокой старости, когда и консульство и триумф уже были позади; так привыкший побеждать атлет не прекращает обычных упражнений и остается все тем же до самой смерти. Катон сам говорит, что никогда не носил платья дороже ста денариев, пил и во время своей претуры и во время консульства такое же вино, как его работники, припасов к обеду покупалось на рынке всего на тридцать ассов, да и то лишь ради государства, чтобы сохранить силы для службы в войске. Получив однажды по наследству вавилонский узорчатый ковер[7], он тут же его продал, ни один из его деревенских домов не был оштукатурен, ни разу не приобрел он раба дороже, чем за тысячу пятьсот денариев, потому что, как он говорит, ему нужны были не изнеженные красавчики, а люди работящие и крепкие – конюхи и волопасы. Да и тех, когда они стареют, следует, по его мнению, продавать[8], чтобы даром не кормить. Вообще он полагал, что лишнее всегда дорого и что если за вещь, которая не нужна, просят хотя бы один асс, то и это слишком большая цена. Он предпочитал покупать такие участки земли, на которых можно сеять хлеб или пасти скот, а не те, которые придется подметать и поливать[9].

5. Кто называл это скряжничеством, кто с одобрением думал, что он хочет исправить и образумить других и лишь с этой целью так резко ограничивает во всем самого себя. Но мне то, что он, выжав из рабов, словно из вьючного скота, все соки, к старости выгонял их вон и продавал, – мне это кажется признаком нрава слишком крутого и жестокого, не признающего никаких иных связей между людьми, кроме корыстных. А между тем мы видим, что доброта простирается шире, нежели справедливость. Законом справедливости мы, разумеется, руководимся лишь в отношениях к людям, что же до благодеяний и милостей, то они, словно исторгаясь из богатейшего источника кротости душевной, проливаются иной раз и на бессловесных тварей. Человеку порядочному приличествует доставлять пропитание обессилевшим от работы коням и не только вскармливать щенков, но и печься об одряхлевших псах. Афиняне, строившие Гекатомпед[10], если замечали, что какой-нибудь мул трудится особенно усердно, отпускали его пастись на воле; рассказывают, что один из таких "отпущенников" по собственному почину вернулся назад и стал ходить вместе с запряженными животными, поднимаясь впереди них на акрополь и словно подбадривая их, и афиняне постановили кормить его на общественный счет до самой смерти. И кони Кимона[11], с которыми он трижды одержал победу на Олимпийских играх, зарыты близ его гробницы. Так же многие обходились и со своими собаками, ставшими для них близкими товарищами, а в древности пса, который плыл за триремой до самого Саламина, когда афиняне покидали свой город, знаменитый Ксанфипп схоронил на мысу, по сей день носящем имя "Киноссема"[12]. Нельзя обращаться с живыми существами так же, как с сандалиями или горшками, которые выбрасывают, когда они от долгой службы прохудятся и придут в негодность, и если уж не по какой-либо иной причине, то хотя бы в интересах

человеколюбия должно обходиться с ними мягко и ласково. Сам я не то что одряхлевшего человека, но даже старого вола не продал бы, лишая его земли, на которой он воспитался, и привычного образа жизни и ради ничтожного барыша словно отправляя его в изгнание, когда он уже одинаково не нужен ни покупателю, ни продавцу. А Катон, точно бахвалясь, рассказывает, что даже коня, на котором ездил, исполняя обязанности консула и полководца, он оставил в Испании, не желая обременять государство расходами на перевозку его через море. Следует ли приписывать это величию души или же скаредности – пусть каждый судит по собственному убеждению.

6. Но в остальном этот муж заслуживает величайшего уважения своей редкою воздержностью. Так, например, командуя войском, он брал в поход для себя и для своих приближенных не больше трех аттических медимнов пшеницы на месяц и меньше полутора медимнов ячменя на день для вьючных животных. Когда он получил в управление провинцию Сардинию, где до него преторы на общественный счет нанимали жилища, покупали ложа и тоги, содержали многочисленных слуг и друзей и обременяли население расходами на съестные припасы и приготовление изысканных блюд, – он явил пример неслыханной бережливости. Он ни разу не потребовал от сардинцев никаких затрат и обходил города пешком, не пользуясь даже повозкой, в сопровождении одного-единственного служителя, который нес его платье и чашу для возлияния богам. Он был до такой степени скромен и невзыскателен, а с другой стороны, обнаружил столько сурового достоинства, неумолимо верша суд и зорко следя за строжайшим выполнением своих приказаний, что никогда власть римлян не была для подданных ни страшнее, ни любезнее.

7. Такими же качествами отличались, мне кажется, и его речи. Он умел быть одновременно ласковым и грозным, приветливым и страшным, шутливым и резким, умел говорить метко и остро; так Сократ, по словам Платона[13] казался на первый взгляд неотесаным и дерзким, настоящим сатиром, но он был полон высоких дум, вызывавших слезы на глазах у слушателей и глубоко трогавших их сердца. Вот почему я не могу понять тех, кто считает[14], будто речи Катона больше всего похожи на Лисиевы. Впрочем, пусть об этом судят люди, которым более подобает разбираться в видах ораторских речей, мы же просто запишем несколько достопамятных его высказываний, ибо, по нашему мнению, в речи гораздо более, нежели в лице, как думают некоторые, открывается характер человека.

8. Однажды, когда римский народ несвоевременно домогался раздачи хлеба, Катон, желая отвратить сограждан от их намерения, начал свою речь так: "Тяжелая задача, квириты, говорить с желудком, у которого нет ушей".

Обвиняя римлян в расточительности, он сказал, что трудно уберечься от гибели городу, в котором за рыбу платят дороже, чем за быка.

В другой раз он сравнил римлян с овцами, которые порознь не желают повиноваться, зато все вместе покорно следуют за пастухами. "Вот так же и вы, – заключил Катон. – Тем самым людям, советом которых каждый из вас в отдельности и не подумал бы воспользоваться, вы смело доверяетесь, собравшись воедино".

По поводу владычества женщин, он заметил: "Во всем мире мужья повелевают женами, всем миром повелеваем мы, а нами повелевают наши жены"[15]. Впрочем, это перевод одного из метких слов Фемистокла[16], который однажды, когда его сын, через мать, требовал то одного, то другого, сказал так: "Вот что, жена! Афиняне властвуют над Грецией, я – над афинянами, надо мною – ты, а над тобою – сын, пусть же он не злоупотребляет своей властью, благодаря которой при всем своем неразумии оказывается самым могущественным среди греков".

Римский народ, утверждал Катон, назначает цену не только пурпурным краскам, но и различным занятиям: "Подобно тому, как красильщики больше всего красят той краской, которая нравится покупателям, наши юноши особенно усердны в тех науках, искушенностью в которых можно снискать вашу похвалу".

Он призывал граждан: "Если вы достигли величия доблестью и умеренностью, не меняйтесь к худшему; если же невоздержностью и пороком – изменитесь к лучшему: ведь применяя низкие эти приемы вы уже достаточно возвысились".

О тех, кто часто домогается должностей, он говорил, что они, вероятно, не знают дороги и, боясь заблудиться, стараются всегда ходить с ликторами. Порицая граждан за то, что они по многу раз выбирают на высшие государственные должности одних и тех же лиц, он сказал: "Все решат, что либо, по вашему мнению, занимать эти должности – не слишком большая честь, либо слишком немногие этой чести достойны".

Один из его врагов вел жизнь недостойную и постыдную, и Катон заметил: "Если кто говорит его матери, что сходя в могилу, она оставит по себе сына, для нее это не доброе утешение, а проклятие".

Приводя в пример кого-то, кто продал отцовское поместье на берегу моря, он притворно изумлялся: "Да ведь он сильнее моря! То, что море едва-едва лизало своими волнами, он проглотил без всякого труда".

Когда царь Эвмен[17] прибыл в Рим и сенат принимал его с чрезмерным радушием, а первые люди государства наперебой искали его дружбы, Катон не скрывал недоверчивого и подозрительного отношения к нему. Кто-то ему сказал: "Это прекрасный человек и друг римлян". "Возможно, – возразил Катон, – но по самой своей природе царь – животное плотоядное". Ни один из слывущих счастливыми царей не заслуживал в его глазах сравнения с Эпаминондом, Периклом, Фемистоклом, Манием Курием или Гамилькаром Баркой.

Он говорил, что враги ненавидят его за то, что каждый день он поднимается чуть свет и, отложив в сторону собственные дела, берется за государственные. Он говорил, что предпочитает не получить награды за добрый поступок, лишь бы не остаться без наказания за дурной; и что готов простить ошибку каждому, кроме самого себя.

9. Когда римляне отрядили в Вифинию трех послов, из которых один страдал подагрою, у другого на голове был глубокий рубец, оставшийся после операции, а третий слыл глупцом, Катон пошутил, что посольство у римлян безногое, безголовое и безмозглое.

Сципион по просьбе Полибия ходатайствовал перед ним за ахейских изгнан-

ников[18] и после долгих прений в сенате, – одни соглашались вернуть их на родину, другие решительно возражали, – Катон поднялся и заявил: "Можно подумать, что нам нечего делать: целый день сидим и рассуждаем, кому хоронить старикашек-греков, – нам или ахейским могильщикам". Постановлено было разрешить им вернуться, а через несколько дней Полибий и его единомышленники решили войти в сенат с новым предложением – возвратить изгнанникам почетные должности, которые они прежде занимали в Ахайе, и попытались заранее узнать мнение Катона. А тот с улыбкой ответил, что Полибий – точно Одиссей, который, забыв в пещере Полифема шляпу и пояс, решил было за ними вернуться.

Он говорил, что умным больше пользы от дураков, чем дуракам от умных: первые стараются не повторять ошибок вторых, а вторые не подражают доброму примеру первых.

Среди юношей, замечал он, ему милее краснеющие, чем бледнеющие, ему не нужны солдаты, которые при переходах не дают покоя рукам, а в битве – ногам, у которых храп громче, нежели боевой клич.

Порицая одного толстяка, он сказал: "Какую пользу государству может принести тело, в котором все, от горла до промежности, – одно лишь брюхо?"

Некий любитель наслаждений пожелал стать его другом, но Катон в дружбе отказал, объявив, что не может жить рядом с человеком, у которого нёбо чуткостью превосходит сердце.

Душа влюбленного, говорил он, живет в чужом теле.

За всю жизнь он лишь трижды раскаивался в своих поступках: в первый раз – доверив жене тайну, во второй – отправившись морем в такое место, куда можно добраться посуху, и в третий – на день пропустив срок составления завещания.

Развратному старику он сказал: "Послушай, в старости и так много уродливого, зачем же ты еще сильнее уродуешь ее своей гнусностью?"

Народному трибуну, который, пользуясь недоброй славой ядосмесителя, горячо отстаивал внесенный им дурной законопроект, Катон сказал: "Молодой человек, я не знаю, что страшнее – пить твои зелья или одобрять твои писания".

В ответ на поношения человека, известного своей беспутной и порочной жизнью, он заявил: "Мне с тобою биться не с руки: ты с легкостью выслушиваешь брань и сам бранишься, не задумываясь, мне же первое непривычно, а второе неприятно".

Вот какого рода были достопамятные слова Катона.

10. Избранный консулом вместе со своим близким другом Валерием Флакком, он получил по жребию провинцию, которую римляне называют Внутренней Испанией. В то время как он покорял тамошние племена или привлекал их на свою сторону силою убеждения, на него неожиданно напало большое войско варваров. Появилась опасность позорного отступления за пределы страны, и потому Катон призвал на подмогу живших по соседству кельтиберов. Те потребовали в уплату за услугу двести талантов, и, в то время как все прочие сочли неприемлемым для римлян обещать варварам плату за помощь, Катон заявил, что не видит в этом ничего страшного. "Если мы победим, – сказал он, – то рас-

считаемся не своими деньгами, а деньгами врагов, а если потерпим поражение, некому будет ни предъявлять требования, ни отвечать на них". В последовавшей за этим битве он одержал решительную победу да и в дальнейшем ему сопутствовала удача. Полибий[19] сообщает, что в один и тот же день по его приказу были разрушены стены всех городов по эту сторону реки Бетис, а были они весьма многочисленны и изобиловали воинственно настроенными жителями. А сам Катон говорит, что взял в Испании больше городов, нежели провел в ней дней. И это сказано не для красного словца, если верно, что число покоренных городов достигло четырехсот[20].

Своим солдатам, и без того изрядно нажившимся во время похода, он роздал вдобавок по фунту серебра, сказав, что пусть лучше многие римляне привезут домой серебро, чем немногие – золото, самому же ему, по его словам, не досталось из добычи ничего, не считая лишь выпитого и съеденного. "Я не порицаю, – замечает Катон, – тех, кто старается обратить войну в средство наживы, но предпочитаю соревноваться с доблестными в доблестях, чем с богатыми в богатствах или же с корыстолюбивыми в корыстолюбии". Однако не только собственные руки, но и руки близких к нему людей он сохранил чистыми от грабежа. В походе с ним было пятеро рабов. Один из них, по имени Паккий, купил трех пленных мальчиков. Катон об этом узнал, и Паккий, боясь показаться ему на глаза, повесился, а Катон продал мальчиков и внес деньги в казну.

11. Тем временем враг Катона Сципион Старший, желая помешать ему успешно довести войну до конца и стремясь взять в свои руки командование в Испании, добился назначения в эту провинцию и должен был сменить Катона на его посту. Он приложил все усилия к тому, чтобы как можно скорее лишить власти своего предшественника. Но тот с пятью когортами тяжело вооруженных пехотинцев и пятьюстами всадниками, сопровождавшими его до границы, покорил племя лацетанов и, захватив шестьсот перебежчиков, приказал их казнить. В ответ на резкие упреки Сципиона Катон насмешливо заметил, что Рим лишь в том случае достигнет высшего могущества, если знаменитые и великие мужи будут стараться не уступить первенство в доблести людям никому не известным, а плебеи вроде него самого станут оспаривать это первенство у тех, кто славен и благороден. И так как сенат постановил, что ни одно из распоряжений Катона не должно быть изменено или объявлено утратившим силу, наместничество Сципиона в Испании прошло в праздности и безделии, нанеся куда больший ущерб его славе, чем славе Катона. Ибо Катон, справив триумф, не уподобился столь многим, кто ищет не доблести, а славы и, достигнув высших почестей – получив консульство и триумф, – отходит от государственных дел, весь остаток жизни посвящая наслаждениям и покою; он не ослабил своего рвения к добродетели и не расстался с ним, но, словно те, кто впервые выступил на поприще государственного правления и жаждет почестей и славы, как бы еще раз начал все с самого начала, открыто предоставив себя в распоряжение друзей и сограждан и не отказываясь ни от выступлений в суде, ни от военной службы.

12. Так, он был легатом у консула Тиберия Семпрония[21] и помогал ему в управлении Фракией и прилегающими к Дунаю землями, а потом – военным три-

буном у Мания Ацилия, действовавшего в Греции против Антиоха. Со времен Ганнибала ни один враг не внушал римлянам большего страха, чем Антиох, который, вновь овладев почти всей Азией, некогда принадлежавшей Селевку Никатору, и покорив множество воинственных варварских племен, уже не видел иных достойных себя противников и дерзнул напасть на римлян. Благовидным поводом к войне он выставил намерение освободить греков, – которые нимало в этом не нуждались, напротив того, только что получили свободу и независимость из рук римлян, избавивших их от Филиппа Македонского, – и с большим войском переправился в Европу. И сразу в Греции начались смуты, она вся закипела, соблазняемая надеждами на помощь царя, которые сеяли вожаки народа.

Маний разослал легатов по городам, и большинство из тех, где замышлялся мятеж, было умиротворено и успокоено Титом Фламинином, как о том уже говорилось в его жизнеописании[22]. Катон же склонил на сторону римлян Коринф, Патры и Эги; дольше всего он задержался в Афинах. Некоторые сообщают, что сохранилась речь, произнесенная им по-гречески в Народном собрании; он выражал в ней восхищение доблестью древних афинян, а также красотою и размерами города. Но это неверно: Катон говорил с афинянами через переводчика – не потому, что не знал их языка, но сохраняя верность отеческим обычаям. Он насмехался над теми, кто неумеренно почитал все греческое. О Постумии Альбине, написавшем свою “Историю” по-гречески и просившем за то извинения у читателя, он язвительно заметил, что автор заслуживал бы извинения, будь он вынужден был взять на себя этот труд по приговору амфиктионов[23]. Катон говорит, что афинян изумляла краткость и меткость его высказываний: какие-нибудь несколько его слов переводчик объяснял долго и пространно. Вообще же, заключает он, греки произносят речи языком, а римляне – сердцем.

13. Антиох занял Фермопильские теснины и, добавив к природным укреплениям валы и стены, спокойно ждал, полагая, что всякая возможность военных действий исключена; римляне совершенно отказались от мысли атаковать противника в лоб, и тут Катон вспомнил о знаменитом обходном маневре персов. Ночью он выступил с частью войска, но когда римляне поднялись повыше, проводник из пленных сбился с пути и повел войско наугад, по непроходимым кручам, вселяя в солдат уныние и страх. Видя, как велика опасность, Катон приказал остановиться и ждать, а сам, захватив с собой некоего Луция Манлия, опытного в хождении по горам человека, не щадя себя и презирая опасность, не в силах ничего толком разглядеть за зарослями дикой маслины и скалами, закрывавшими обзор, блуждал в глухой безлунной ночи до тех пор, пока не набрел на какую-то тропинку, спускающуюся (как они решили) к неприятельскому лагерю. На хорошо заметных издали вершинах, поднимающихся над Каллидромом[24], они поставили опознавательные знаки, а потом, вернувшись назад, повели войско, держа направление на эти знаки, и, вступив на тропу, двинулись по ней вниз, но вскоре она оборвалась на краю пропасти. Опять воцарились растерянность и страх; между тем никто не догадывался и не замечал, что враги совсем рядом, но в это время рассвело, и послышались какие-то голоса, а затем стал виден греческий лагерь и передовые дозоры под кручей. Тогда Катон остановил войско и, приказав остальным не двигаться с места, вызвал к себе фир-

мийцев[25], которых всегда считал особенно преданными и ревностными воинами. Они подбежали и тесно обступили его, а Катон сказал: "Нужно взять живым одного из врагов; тогда я смогу узнать, что это за передовые дозорные, сколько их, каково общее построение войска, его боевой порядок и как приготовился неприятель отразить наше нападение. Все дело в быстроте и отваге, полагаясь на которые и львы – безоружные! – дерзко нападают на робких животных". Не успел он договорить, как фирмийцы, не медля ни мгновения, стремглав бросились вниз по склону и внезапно обрушились на дозорных, распугав и рассеяв всех, кроме одного, который был захвачен и со всем своим оружием доставлен к Катону. Пленный рассказал, что основные силы во главе с царем засели в теснинах, а этот перевал охраняют шестьсот отборных этолийцев. Катон, сочтя и малочисленность этого отряда и его беспечность заслуживающими презрения, тут же, под рев труб и воинственные клики, повел римлян на неприятеля, первый обнажив меч. А враги, видя, что с крутого склона на них несутся римляне, бросились бежать в большой лагерь, сея повсюду смятение.

14. Тут и Маний внизу устремляется на приступ стен, бросая все силы в ущелье. Антиох, раненный камнем в лицо, с выбитыми зубами, страдая от нестерпимой боли, поворачивает коня; из войска его ни один отряд не попытался сдержать натиск римлян, но, хотя для бегства не было никаких возможностей – ни дорог, ни троп, хотя глубокие болота и острые камни ждали тех, кто упадет или сорвется, все густым потоком хлынули через теснины и, страшась ударов вражеского меча, сами губили друг друга. Катон, который вероятно, никогда не скупился на похвалы самому себе и отнюдь не избегал прямого хвастовства, считая его спутником великих деяний, до небес превозносит события того дня. Тем, уверяет он, кто видел, как он гонит и разит врага, приходило на ум, что не столько Катон в долгу у народа, сколько народ у Катона, а сам консул Маний, разгоряченный битвою и победой, обнял его, тоже еще не остывшего, и долго целовал, радостно восклицая, что ни он, Маний, ни весь народ не в силах достойно отплатить Катону за его благодеяния. Сразу после сражения Катон сам выехал в Рим, чтобы возвестить о случившемся. Он благополучно высадился в Брундизии, за день добрался оттуда до Тарента, провел в дороге еще четыре дня, а на пятый прибыл в Рим; он был первым вестником победы и наполнил город ликованием и дымом жертвоприношений, а народу внушил уверенность, что римляне способны овладеть всей сушей и морем.

15. Вот, пожалуй, самые замечательные из военных подвигов Катона. Что же касается государственной деятельности, то, по-видимому, весьма важной ее частью он считал привлечение к ответу и изобличение преступников. Он и сам не раз выступал с обвинениями в суде, и поддерживал других обвинителей, а иных и подстрекал к таким выступлениям, как, например, Петилия[26], обвинявшего Сципиона. Погубить Сципиона, благородством своего происхождения и подлинным величием духа поправшего клевету, ему не удалось, и потому он отступился; но брата его Луция, объединившись с другими обвинителями, он подвел под наказание – тот должен был внести огромный штраф в казну, а так как платить было нечем, ему угрожали оковы, и лишь обращение к народным трибунам насилу избавило его от заключения в тюрьму. Рассказывают, что, встретив как-то

на форуме некоего молодого человека возвращавшегося из суда, где этот юноша унизил и опозорил врага своего покойногс отца, Катон приветствовал его и заметил: "Да, вот что нужно приносить в жертву умершим родителям – не овец и козлят, но слезы осужденных врагов".

Впрочем, и сам он не был избавлен от подобных тревог и опасностей: при всяком удобном случае враги возбуждали против него обвинения. Говорят, что он был под судом чуть ли не пятьдесят раз, причем в последний раз – на восемьдесят седьмом году. Тогда-то он и произнес свои знаменитые слова: "Тяжело, если жизнь прожита с одними, а оправдываться приходится перед другими".

Однако и тут он все еще не угомонился: четыре года спустя, уже в девяностолетнем возрасте, он выступил против Сервия Гальбы[27]. Я бы сказал, что, подобно Нестору, он был ровесником и соратником трех поколений[28]. И верно, как уже говорилось, в государственных делах он часто соперничал со Сципионом Старшим и дожил до времен Сципиона Младшего, который был приемным внуком первого Сципиона, а сыном Павла, разгромившего Персея Македонского.

16. Через десять лет после своего консульства Катон решил домогаться цензуры. Это вершина всех почетных должностей, в своем роде высшая точка, какой можно достигнуть на государственном поприще; помимо всего прочего цензору принадлежит надзор за частной жизнью и нравами граждан. Римляне полагают, что ни чей бы то ни было брак, ни рождение детей, ни порядки в любом частном доме, ни устройство пиров не до́лжно оставлять без внимания и обсуждения, с тем чтобы каждый действовал по собственному желанию и выбору; и считая, что в этом гораздо отчетливее усматривается характер человека, нежели в делах общественных, открытых всеобщему наблюдению, они избирают двух стражей, одного из патрициев, а другого из плебеев, вразумителей и карателей, дабы никто, поддавшись искушению, не свернул с правильного пути и не изменил привычному, установившемуся образу жизни. Их-то и называют цензорами; они властны отнять у всадника коня[29] или изгнать из сената того, кто живет невоздержанно и беспорядочно; они же производят оценку имущества граждан и по цензорским спискам устанавливают их принадлежность к тому или иному роду и сословию; в их руках находятся и иные важные права.

Вот почему избранию Катона воспротивились почти все самые знатные и влиятельные сенаторы. Во-первых, патрициев вообще грызла зависть, когда люди низкого происхождения достигали высших почестей и высшей власти, – они видели в этом поношение знати; далее, те, кто был повинен в грязных поступках и в отступлении от отеческих нравов, страшились, как бы неумолимая строгость Катона не обернулась против них, если он получит должность. И вот, сойдясь в этом мнении и заранее сговорившись, они выставили против Катона семерых соискателей, которые заискивали перед народом и прельщали его "добрыми" надеждами на кротость и снисходительность своей власти, полагая, что именно таких обещаний ждет от них народ. Напротив, Катон, не обнаруживая ни малейшей уступчивости, но открыто, с ораторской трибуны обличая погрязших в пороке, кричал, что городу потребно великое очищение, и настоятельно убеждал римлян, если они в здравом уме, выбрать врача не самого осторожно-

го, но самого решительного, то есть его самого, а из патрициев – Валерия Флакка. Лишь при его помощи он надеялся не на шутку расправиться с изнеженностью и роскошью, отсекая этим гидрам головы и прижигая раны огнем. Все прочие кандидаты, понимал он, домогаются власти бесчестными путями, потому что боятся домогающихся ее честно. И тут римский народ показал себя подлинно великим и достойным великих предводителей: он не испугался грозной надменности Катона и, отвергнув тех сладкоречивых и угодливых, избрал его и Флакка. Можно было подумать, что Катон не ищет должности, но уже занимает ее и народ повинуется его приказаниям.

17. Внеся первым в список сенаторов своего друга и товарища по цензорству Луция Валерия Флакка, Катон изгнал из сената очень многих, и среди них – Луция Квинтия, бывшего за семь лет до того консулом, но прославившегося не столько своим консульством, сколько тем, что он был братом Тита Фламинина, победителя царя Филиппа. Причина этого изгнания была такова. Луций держал мальчишку-любовника, совсем молоденького, не отпускал его от себя ни на шаг, даже в походах с ним не расставался, и мальчишка был у него в такой чести и пользовался таким влиянием, каким не мог похвастаться ни один из самых близких друзей и домочадцев. Как бывший консул Луций получил в управление провинцию, и вот однажды на пиру мальчишка, возлежа за столом по обыкновению рядом с Луцием, всячески льстил ему (а тот был уже пьян, и его нетрудно было склонить к чему угодно) и между прочим сказал: “Я так тебя люблю, что приехал сюда, хотя в Риме были назначены гладиаторские игры, а я никогда еще их не видел и очень хотел поглядеть, как убивают человека”. Тогда Луций, отвечая любезностью на любезность, воскликнул: “Ну, из-за этого нечего тебе огорчаться – я все улажу”, – и тут же приказал привести на пир кого-нибудь из осужденных на смерть, а ликтору с топором стать рядом. Потом он еще раз спросил своего любимчика, желает ли он поглядеть, как человека зарубят, и когда тот ответил, что да, желает, распорядился отсечь преступнику голову. В таком виде передают эту историю многие, а Цицерон в диалоге “О старости”[30] вкладывает ее в уста самому Катону. Но Ливий сообщает, что казненный был галл-перебежчик, что умертвил его не ликтор, а сам Луций, собственными руками, и что об этом говорится в одной из речей Катона.

Когда Луций был изгнан Катоном из сената, брат его, огорченный и раздосадованный, обратился с жалобой к народу и потребовал, чтобы Катон изложил причины своего решения. Катон подробно рассказал о том пире, Луций пытался было все отрицать, но когда Катон предложил ему внести денежный залог[31], тот отказался. И всем стало ясно, что он понес справедливое наказание. Но некоторое время спустя были игры в театре, и Луций, пройдя мимо консульских мест, сел много выше; народ был растроган и криками заставил Луция спуститься, словно предавая забвению случившееся и по возможности восстанавливая его доброе имя. Катон изгнал из сената и Манилия, который должен был в ближайшем будущем получить должность консула, за то что тот среди бела дня, в присутствии дочери, поцеловал жену. Сам же Катон, по его словам, лишь во время сильной грозы позволял жене обнимать его, и шутливо замечал, что бывает счастлив, когда гремит гром.

18. Еще одной причиной недовольства Катоном было то, что он отобрал коня у брата Сципиона Луция, в прошлом триумфатора; многим казалось, что он сделал это, желая оскорбить память Сципиона Африканского.

Но больше всего врагов ему доставила борьба с роскошью; покончить с нею открыто не представлялось возможным, поскольку слишком многие были уже заражены и развращены ею, и потому он решил действовать окольными путями и настоял на том, чтобы одежда, повозки, женские украшения и домашняя утварь, стоившие более полутора тысяч денариев, оценивались в десять раз выше своей настоящей стоимости, имея в виду, что с бóльших сумм будут взыскиваться и бóльшие подати. Кроме того, он увеличил сбор до трех ассов с каждой тысячи[32], чтобы римляне, тяготясь уплатой налога и видя, как люди скромные и неприхотливые платят с такого же имущества меньшие налоги, сами расстались с роскошью. И он был ненавистен как тем, кому из-за роскоши приходилось терпеть тяжелые подати, так равно и тем, кто из-за тяжелых податей отказался от роскоши. Ведь невозможность похвастаться богатством люди полагают равносильной его потере, а хвастаются всегда вещами излишними, а не необходимыми. Именно этому, говорят, и дивился более всего философ Аристон: он никак не мог понять, почему счастливыми считаются скорее владеющие излишним, нежели не терпящие недостатка в необходимом и полезном. Зато фессалиец Скопад, когда один из друзей попросил у него какую-то не очень нужную ему вещь, говоря, что не просит ничего особенно полезного или нужного, ответил: "Да ведь как раз эти бесполезные, лишние вещи и делают меня богачом". Итак, жажда богатства не связана ни с какою природною страстью, но приходит к человеку извне, возникая из чуждых ему общих мнений.

19. Нимало не обеспокоенный упреками и порицаниями, Катон действовал все ретивее: он приказал перекрыть желоба, по которым вода из общественного водопровода текла в частные дома и сады, разрушить и снести здания, выступившие за пределы частных владений на общественную землю, сократил плату за подряды и до предела поднял цену откупов государственных налогов; следствием всего этого была лютая ненависть к нему. В результате Тит со своими сторонниками[33], выступив против него в сенате, добился расторжения заключенных им арендных сделок на построение храмов и производство общественных работ, как сделок убыточных, и подстрекнул самых дерзких из народных трибунов привлечь Катона к суду народа и взыскать с него два таланта штрафа. С немалым сопротивлением столкнулся он и при постройке базилики, которую воздвиг за счет казны на форуме позади курии и назвал "Порциевой базиликой"[34].

Но народ, по-видимому, был доволен цензорством Катона, проявляя в этом удивительное единодушие. Поставив ему статую в храме богини Здоровья[35], римляне не упомянули ни о его походах, ни о триумфе, но вот какую сделали надпись (привожу ее в переводе): "За то, что, став цензором, он здравыми советами, разумными наставлениями и поучениями снова вывел на правильный путь уже клонившееся к упадку Римское государство". Впрочем, прежде он сам всегда насмехался над любителями изображений: те, говорил он, кто кичится творениями медников и живописцев, не замечают, что самые прекрасные изображения Катона граждане носят повсюду в своих душах. Когда иные изумлялись

тому, что многим – недостойным этой почести – воздвигнуты статуи, ему же – нет, он отвечал: «Мне больше по душе вопрос “Почему нигде не стоят твои статуи?” нежели “Почему они стоят?”». Вообще он полагал, что долг хорошего гражданина – пресекать похвалы по своему адресу – разве что похвалы эти служат общественному благу. При этом вряд ли сыщется человек, который бы чаще восхвалял самого себя: он гордился и тем, что люди совершившие какой-нибудь проступок, а затем уличенные в нем, говорят своим обвинителям: “Понапрасну вы нас корите – мы ведь не Катоны”; и тем, что иных, безуспешно пытающихся подражать его поступкам, называют “неудачливыми Катонами”; и тем, что в грозный час все взоры в сенате всегда обращаются к нему, словно на корабле – к кормчему, и часто, если его не было в курии, особо важные вопросы откладывались. Его собственные слова подтверждаются и чужими свидетельствами: благодаря безупречной жизни, преклонному возрасту и красноречию он пользовался в Риме огромным влиянием.

20. Он был прекрасным отцом, хорошим супругом, рачительным хозяином и никогда не считал заботы о доме маловажными или незначительными. А потому, мне кажется, будет не лишним рассказать и об этом. Он взял жену скорее хорошего рода, чем богатую, полагая, правда, что и родовитости и богатству одинаково свойственны достоинство и некоторая гордыня, но надеясь, что женщина знатного происхождения, страшась всего низкого и позорного, окажется особенно чуткой к добрым правилам, которые внушает ей муж. Тот, кто бьет жену или ребенка, говорил он, поднимает руку на самую высокую святыню. Он считал более почетной славу хорошего мужа, чем великого сенатора, и в Сократе, знаменитом мудреце древности, его восхищало лишь то, как неизменно снисходителен и ласков был он со своей сварливой женой и тупыми детьми.

У Катона родился сын, и не было дела настолько важного (не считая лишь государственных), которое бы он не отложил, чтобы постоять рядом с женой, когда она мыла или пеленала новорожденного. Она сама выкармливала младенца, а нередко подносила к своей груди и детишек рабов, желая такого рода общим воспитанием внушить им преданность и любовь к сыну. Когда мальчик начал приходить в возраст, Катон сам стал учить его грамоте, хотя имел раба по имени Хилон – опытного наставника, у которого было много учеников. “Не подобает рабу, – говорил он, – бранить моего сына или драть его за уши, если он не сразу усвоит урок, не подобает и сыну быть обязанным рабу благодарностью за первые в жизни познания”. И он сам обучил мальчика и грамоте, и законам, и гимнастическим упражнениям, обучил его не только метать копье, сражаться в тяжелых доспехах и скакать на коне, но и биться на кулаках, терпеть зной и стужу и вплавь перебираться через реку, изобилующую водоворотами и стремнинами. Далее он рассказывает, что сочинил и собственноручно, крупными буквами, написал историю Рима[36], чтобы сын от молодых ногтей узнавал, с пользою для себя, нравы и деяния предков. При ребенке он с такой же тщательностью избегал непристойных слов, как в присутствии священных дев, которых римляне зовут весталками, и никогда не мылся с ним вместе. По-видимому, так вообще было заведено у римлян: ведь и зять старался не мыться вместе с тестем, стыдясь своей наготы. Но затем, переняв у греков обычай обнажать тело, они, в

свою очередь, научили греков раздеваться донага даже среди женщин. Катон воспитывал сына, стараясь возможно ближе подвести его к образцу добродетели; это был прекрасный замысел, но видя, что мальчик, отличаясь безупречным усердием и врожденным послушанием, недостаточно крепок телом и с трудом переносит тяготы и лишения, отец несколько смягчил слишком суровый и скудный образ жизни, предписанный им сыну. А тот, невзирая на свою слабость, выказал в походах мужество и стойкость и под командованием Павла[37] доблестно бился с македонянами Персея. В этом сражении у него выбили из рук меч (рукоять просто выскользнула из вспотевшей ладони); сокрушаясь об этой потере, он призвал на помощь нескольких друзей и вместе с ними снова бросился на противника. После ожесточенной схватки он силой проложил себе путь и с большим трудом нашел свой меч среди огромных груд оружия и мертвых тел врагов и своих. Сам полководец Павел был восхищен юношей, и говорят, что Катон прислал сыну письмо, в котором до небес превозносил его честолюбие, обнаружившееся в непреклонном желании вернуть себе меч. Позже молодой Катон даже женился на дочери Павла Терции, сестре Сципиона; он был принят в столь знатный род как за свои собственные достоинства, так и ради славы отца. Вот как заботы Катона о сыне получили достойное завершение.

21. У Катона было много рабов из числа пленных; охотнее всего он покупал молодых, которые подобно щенкам или жеребятам еще поддаются воспитанию и обучению. Ни один из рабов никогда не появлялся в чужом доме иначе как по поручению самого Катона или его жены. На вопрос: “Что делает Катон?” – каждый неизменно отвечал: “Не знаю”. Слуга должен был либо заниматься каким-нибудь полезным делом по хозяйству, либо спать. И Катон был очень доволен, если рабы любили поспать, полагая, что такие люди спокойнее, чем постоянно бодрствующие, и что для любого дела более пригодны выспавшиеся вволю, чем недоспавшие. Он считал, что главная причина легкомыслия и небрежности рабов – любовные похождения, и потому разрешал им за определенную плату сходиться со служанками, строго запрещая связываться с чужими женщинами.

Вначале, когда он был еще беден и нес военную службу, он никогда не сердился, если еда была ему не по вкусу, и не раз говорил, что нет ничего позорнее, как ссориться со слугою из-за брюха. Но позже, разбогатев и задавая пиры друзьям и товарищам по должности, он сразу же после трапезы наказывал ремнем тех, кто плохо собрал на стол или недостаточно внимательно прислуживал гостям. Он всегда тайком поддерживал распри между рабами и взаимную вражду – их единодушие казалось ему подозрительным и опасным. Тех, кто совершал злодеяние, заслуживающее казни, он осуждал на смерть не раньше, чем все рабы согласно решали, что преступник должен умереть.

Усердно хлопоча о приумножении своего имущества, он пришел к мысли, что земледелие – скорее приятное времяпрепровождение, нежели источник дохода, и потому стал помещать деньги надежно и основательно: он приобретал водоемы, горячие источники, участки пригодные для устройства валяльной мастерской, плодородные земли с пастбищами и лесами (ни те, ни другие не требуют забот), и все это приносило ему много денег, меж тем как, по словам самого Катона, даже Юпитер не в силах был причинить ущерб его собственности. За-

нимался он и ростовщичеством, и вдобавок самым гнусным его видом: ссудой денег под заморскую торговлю[38]. Вот как он это делал. Он основывал сообщество и приглашал получивших ссуду вступить в него. Когда их набиралось пятьдесят человек и столько же судов, Катон через посредство вольноотпущенника Квинктиона (который вел все дела совместно с должниками и вместе с ними пускался в плавание), брал себе одну долю из пятидесяти. Так, рискуя лишь незначительною частью целого, он получал огромные барыши. Он ссужал в долг и собственным рабам; те покупали мальчиков, а потом, через год, как следует выучив и вымуштровав их на средства Катона, продавали. Многих оставлял себе Катон – за ту цену, которую мог бы дать самый щедрый покупатель. Стараясь и сыну внушить интерес к подобным занятиям, он говорил, что не мужчине, но лишь слабой вдове приличествует уменьшать свое состояние. Еще резче высказался он, не поколебавшись назвать божественным и достойным восхищения мужем всякого, чьи счета после его смерти покажут, что за свою жизнь он приобрел больше, чем получил в наследство.

22. Катон был уже стариком, когда в Рим прибыли афинские послы[39] – платоник Карнеад и стоик Диоген – хлопотать об отмене штрафа в пятьсот талантов, к которому заочно присудили афинский народ сикионяне по жалобе граждан Оропа. Сразу же к ним потянулись самые образованные молодые люди, которые с восхищением внимали каждому их слову. Наибольшим влиянием пользовался Карнеад: неотразимая сила его речей и не уступающая ей молва об этой силе привлекала влиятельных и стремившихся к знаниям слушателей, и его слава разнеслась по всему городу. Пошли упорные слухи, будто некий грек, муж исключительного дарования, каким-то чудом покоряющий и пленяющий всех и вся, пробудил в молодежи такую горячую любовь, что, забыв о всех прочих занятиях и удовольствиях, она бредит только философией. Римлянам это пришлось по душе, и они с удовольствием глядели на то, как их сыновья приобщаются к греческому образованию и проводят время с людьми, столь высоко почитаемыми. Но Катон с самого начала был недоволен страстью к умозрениям, проникающей в Рим, опасаясь, как бы юноши, обратив в эту сторону свои честолюбивые помыслы, не стали предпочитать славу речей славе воинских подвигов. Когда же восхищенная молва о философах распространилась повсюду и первые их речи к сенату были переведены славным мужем Гаем Ацилием, который не без труда выговорил себе это право, он решил, соблюдая все приличия, очистить город от философов. И вот, явившись в сенат, он упрекнул правителей в том, что посольство, составленное из мужей, способных играючи убедить кого угодно в чем угодно, так долго без толку сидит в Риме. "Нужно, – сказал он, – как можно скорее рассмотреть их просьбу и принять решение, дабы они, вернувшись в свои школы, вели ученые беседы с детьми эллинов, а римская молодежь по-прежнему внимала законам и властям".

23. И сделал он это не из ненависти к Карнеаду, как полагают иные, но в поношение философии вообще, желая, из какого-то чувства ревности, смешать с грязью всю греческую науку и образованность. Ведь он и о Сократе говорил, что-де этот пустомеля и властолюбец пытался любыми средствами захватить тираническую власть над отечеством, что он растлевал нравы и настойчиво

внушал согражданам суждения, противные законам. Насмехаясь над школой Исократа[40], он уверял, будто ученики оставались в ней до седых волос, словно собираясь блеснуть приобретенными знаниями в Аиде и вести тяжбы перед Миносом. Он хотел опорочить Грецию в глазах своего сына и, злоупотребляя правами старости, дерзко возвещал и предсказывал, что римляне, заразившись греческой ученостью, погубят свое могущество. Но будущее показало неосновательность этого злого пророчества. Рим достиг вершины своего могущества, хотя принял с полною благожелательностью греческие науки и греческое воспитание. Катон ненавидел не только греческих философов, но с подозрением глядел и на врачей, лечивших в Риме. Он слышал, по-видимому, о Гиппократе, который на приглашение персидского царя, сулившего ему много талантов жалования, ответил, что никогда не станет служить варварам – врагам греков. Катон утверждал, что подобную клятву приносят все врачи и советовал сыну остерегаться любого из них. У него самого были памятные записи, по которым он лечил больных у себя в доме и назначал им питание; никому и никогда не приказывал он воздерживаться от пищи, но кормил занемогшего овощами, утятиной, голубиным мясом или зайчатиной: эту еду он считал легкой и полезной для нездорового человека, предупреждая в то же время, что она часто вызывает сновидения. По словам Катона, таким уходом и питанием он сохранил здоровье самому себе и своим домочадцам.

24. Однако это его утверждение не осталось, как явствует из событий, неопровергнутым: он лишился жены и сына. Сам же он, отличаясь железным здоровьем и незыблемой крепостью тела, держался дольше всех, так что даже в глубокой старости продолжал спать с женщиной и – отнюдь не по возрасту – женился вот при каких обстоятельствах. Потеряв жену, он женил сына на дочери Павла, приходившейся сестрою Сципиону, а сам, вдовствуя, жил с молодою служанкой, которая ходила к нему потихоньку. Но в маленьком доме, где бок о бок с ним жила невестка, связь эта не осталась тайной. И вот однажды, когда эта бабенка прошла мимо спальни, держась, по-видимому, слишком развязно, старик заметил, что сын, не сказав, правда, ни слова, посмотрел на нее с резкою неприязнью и отвернулся. Катон понял, что его близкие недовольны этой связью. Никого не упрекая и не порицая, он, как обычно, отправился в окружении друзей на форум и по пути, обратившись к некоему Салонию, который прежде служил у него младшим писцом, громко спросил, просватал ли тот уже свою дочь. Салоний сказал, что никогда не решился бы это сделать, не спросивши сначала его совета. "Что ж, – заметил Катон, – я нашел тебе подходящего зятя, вот только, клянусь Зевсом, как бы возраст его вас не смутил: вообще-то он жених хоть куда, но очень стар". В ответ Салоний просил его принять на себя эту заботу и отдать дочь тому, кого сам выберет: ведь она его клиентка и нуждается в его покровительстве; тогда Катон, не откладывая, объявил, что просит девушку за себя. Сначала, как и следовало ожидать, Салоний был ошеломлен этой речью, справедливо полагая, что Катон слишком стар для брака, а сам он слишком ничтожен для родственной связи с домом консула и триумфатора, но, видя, что тот не шутит, с радостью принял предложение, и, придя на форум, они тут же объявили о помолвке. Когда шли приготовления к свадьбе, сын вместе с

родственниками явился к Катону и спросил, не потому ли появляется в семье мачеха, что он каким-то образом упрекнул или чем-то огорчил отца. "Да что ты, сын мой! – вскричал Катон. – Все в тебе совершенно, я не нахожу ничего, достойного порицания, и просто хотел бы оставить после себя еще сыновей, чтобы у государства было побольше таких граждан, как ты". Говорят, что эту мысль впервые высказал афинский тиранн Писистрат, который, имея взрослых детей, женился вторично на аргивянке Тимонассе, родившей ему, как сообщают, Иофонта и Фессала.

У Катона от второй жены был сын, названный в честь матери Салонием. Старший его сын умер, достигнув должности претора. В своих сочинениях Катон часто вспоминает о нем как о человеке достойном; есть сведения, что несчастье Катон перенес спокойно, как настоящий философ, нимало не утратив из-за него интереса к управлению государством. Состарившись, он не сделался равнодушен к общественным делам, как впоследствии Луций Лукулл и Метелл Пий, считая участие в них своим долгом; не последовал он и примеру Сципиона Африканского, который, видя, что его слава вызывает недоброжелательство и зависть, отвернулся от народа и провел остаток жизни в бездействии; но, словно Дионисий, которого кто-то убедил, будто лучше всего умереть тиранном, он полагал, что лучше всего стареть, управляя свободным государством, а когда случался досуг, посвящал его писанию книг и земледелию, находя в этом и отдых и развлечение.

25. Он писал сочинения различного содержания, между прочим – и исторические. Земледелию он в молодые годы посвящал себя по необходимости (он говорит, что в ту пору у него было только два источника дохода – земледелие и бережливость), а позже сельские работы доставляли ему приятное времяпрепровождение, равно как и пищу для размышлений. Он написал книгу о земледелии, где упомянул даже о том, как печь лепешки[41] и хранить плоды, стремясь в любом занятии быть самобытным и превосходить других. В деревне стол его был обильнее, чем в городе: он всякий день звал к себе друзей из ближних поместий и весело проводил с ними время, он был приятным и желанным собеседником не только для своих сверстников, но и для молодежи, потому что многому научился на собственном опыте и много любопытного читал и слышал. По его мнению, мало что так сближает людей как совместная трапеза, и за обедом часто раздавались похвалы достойным и честным гражданам, но никто ни единым словом не вспоминал дурных и порочных: ни порицанию, ни похвале по адресу таких людей Катон не давал доступа на свои пиры.

26. Последним из его деяний на государственном поприще считают разрушение Карфагена. На деле его стер с лица земли Сципион Младший, но войну римляне начали прежде всего по советам и настояниям Катона, и вот что оказалось поводом к ее началу. Карфагеняне и нумидийский царь Масинисса воевали, и Катон был отправлен в Африку, чтобы исследовать причины этого раздора. Дело в том, что Масинисса всегда был другом римского народа, карфагеняне же, расставшись после поражения, которое им нанес Сципион, со своим владычеством, обремененные тяжелой данью, ослабевшие и униженные, стали союзниками Рима. Найдя Карфаген не в плачевном положении и не в бедственных

обстоятельствах, как полагали римляне, но изобилующим юношами и крепкими мужами, сказочно богатым, переполненным всевозможным оружием и военным снаряжением и потому твердо полагающимся на свою силу, Катон решил, что теперь не время заниматься делами нумидийцев и Масиниссы и улаживать их, но что если римляне не захватят город, исстари им враждебный, а теперь озлобленный и невероятно усилившийся, они снова окажутся перед лицом такой же точно опасности, как прежде. Без всякого промедления вернувшись, он стал внушать сенату, что прошлые поражения и беды, по-видимому, не столько убавили карфагенянам силы, сколько безрассудства, сделали их не беспомощнее, но опытнее в военном искусстве, что нападением на нумидийцев они начинают борьбу против римлян и, выжидая удобного случая, под видом исправного выполнения условий мирного договора, готовятся к войне.

27. Говорят, что закончив свою речь, Катон умышленно распахнул тогу, и на пол курии посыпались африканские фиги. Сенаторы подивились их размерам и красоте, и тогда Катон сказал, что земля, рождающая эти плоды, лежит в трех днях плавания от Рима. Впрочем, он призывал к насилию и более открыто; высказывая свое суждение по какому бы то ни было вопросу, он всякий раз присовокуплял: "Кажется мне, что Карфаген, не должен существовать". Напротив, Публий Сципион Назика, отвечая на запрос или высказываясь по собственному почину, всегда говорил: "Мне кажется, что Карфаген должен существовать". Замечая, по-видимому, что народ становится непомерно заносчив и уже совершает множество просчетов, что, упиваясь своими удачами, исполнившись гордыни, он выходит из повиновения у сената и упорно тянет за собою все государство туда, куда его влекут страсти, – замечая это, Назика хотел, чтобы хоть этот страх перед Карфагеном был уздою сдерживающей наглость толпы: он полагал, что карфагеняне не настолько сильны, чтобы римляне не смогли с ними совладать, но и не настолько слабы, чтобы относиться к ним с презрением. То же самое тревожило и Катона, но он считал опасной угрозу, нависающую со стороны государства и прежде великого, а теперь еще отрезвленного и наказанного пережитыми бедствиями, меж тем как римский народ буйствует и, опьяненный своим могуществом, делает ошибку за ошибкой; опасным казалось ему приниматься за лечение внутренних недугов, не избавившись сначала полностью от страха перед покушением на римское владычество извне. Такими доводами, говорят, Катон достиг своей цели: третья и последняя Пуническая война была объявлена. Он умер в самом начале военных действий, предсказав, кому суждено завершить войну; человек этот был тогда еще молод и, занимая должность военного трибуна, обнаруживал в сражениях рассудительность и отвагу. Его подвиги стали известны в Риме, и Катон, услышав о них, сказал:

Он лишь с умом; все другие безумными тенями веют[42].

И Сципион скоро подкрепил его слова своими делами.

Катон оставил одного сына от второй жены, носившего, как мы уже говорили, прозвище Салония, и одного внука от умершего сына. Салоний умер, достиг-

нув должности претора, а сын Салония Марк был консулом. Он приходится дедом философу Катону[43] – мужу великой доблести, одному из самых славных людей своего времени.



[Сопоставление]

28(1). Если теперь, написав об Аристиде и Катоне все, что достойно упоминания, сравнить в целом жизнь одного с жизнью другого, нелегко усмотреть различие за столь многими и столь важными чертами сходства. Но расчленим ту и другую по частям, как делают, изучая поэму или картину, – и общим для обоих окажется то, что, начавши с полной безвестности, они достигли власти и славы только благодаря совершенным нравственным качествам и силе характера. Правда, как мы видим, Аристид прославился в ту пору, когда Афины еще не возвысились и когда вожди народа и полководцы обладали умеренным богатством, ненамного превосходившим состояние самого Аристида. К первому разряду граждан принадлежали тогда владельцы имущества, приносившего пятьсот медимнов дохода, второй разряд – всадники – получал триста медимнов, третий и последний – зевгиты – двести. А Катон, выйдя из маленького городишки, оторвавшись, по-видимому, от грубой деревенской жизни, бросился в необъятное море государственных дел Рима, который управлялся уже не Куриями, Фабрициями и Атилиями, не возводил более на ораторское возвышение бедняков, собственными руками возделывающих свое поле, призывая их прямо о́т плуга или заступа и превращая в должностных лиц и вождей, но приучился смотреть на знатность рода, богатство, раздачи и заискивания и в сознании своего величия и могущества даже издевался над домогавшимися должностей. Совсем не одно и то же – иметь соперником Феми́стокла, человека отнюдь не высокого происхождения и скромных возможностей (говорят, что когда он впервые выступил на государственном поприще, у него было всего три или, самое большее, пять талантов), или состязаться за первенство со Сципионами Африканскими, Сервиями Гальбами и Квинтиями Фламининами без всяких средств борьбы, не считая лишь голоса, смело звучащего в защиту справедливости.

29(2). Далее, Аристид при Марафоне, а позже при Платеях был одним из десяти командующих, Катон же был избран одним из двух консулов и одним из двух цензоров, победив семерых соискателей из числа самых видных граждан. Ни в одном счастливо закончившемся деле Аристид не был первым – при Марафоне первенство принадлежало Мильтиаду, при Саламине Фемистоклу, при Платеях, по мнению Геродота[44], самый блестящий успех выпал на долю Павсания, и даже второе место оспаривают у Аристида всякие там Софаны, Ами́нии, Каллимахи и Кинегиры, отличившиеся в этих битвах. Напротив, Катон всех оставил позади и как мудрый полководец и как храбрый воин: не только в Испанской войне, когда он был консулом, но даже при Фермопилах, когда командовал

другой консул, а сам Катон был при нем легатом, всю славу снова стяжал он, нанеся царю, приготовившемуся грудью отразить нападение, удар в спину и тем самым распахнув ворота к победе над Антиохом. Да, ибо этот успех, которым римляне, бесспорно, обязаны были Катону, изгнал Азию из Греции и перебросил для Сципиона мост через Геллеспонт[45].

В войне оба были непобедимы, но на поприще государственных дел Аристид потерпел поражение и был подвергнут остракизму сторонниками Фемистокла; Катон же, с которым враждовали чуть ли не все самые могущественные и знатные люди Рима, словно атлет, боролся до глубокой старости и ни разу не был сбит с ног. Многократно участвуя в судебных процессах, то в качестве обвинителя, то в качестве обвиняемого, он подвел под наказание многих своих противников, сам же не подвергался ему ни разу, причем действенным оружием защиты и нападения ему служила сила речи, которой с бо́льшим правом, нежели счастливой судьбе или гению-хранителю этого человека, можно приписать то обстоятельство, что за всю свою жизнь он не претерпел ничего, противного его достоинству. Это замечательное свойство было присуще и философу Аристотелю, который, по словам Антипатра, писавшего о нем после его смерти, кроме прочих достоинств, обладал также даром убеждения.

30(3). Общепризнано, что из всех добродетелей человека самая высшая – государственная; немаловажной ее частью большинство считает умение управлять домом, поскольку государство есть некая совокупность объединившихся частных домов и сильно лишь в том случае, если преуспевают его граждане – каждый в отдельности; даже Ликург, изгнав из Спарты серебро, изгнав золото и заменив их монетой из обожженного и изуродованного огнем железа, отнюдь не имел в виду отбить у сограждан охоту заниматься своим хозяйством – он просто удалил из богатства все изнеживающее, нездоровое, разжигающее страсти и, как ни один другой законодатель, заботился о том, чтобы всякий мог наслаждаться обилием полезных и необходимых вещей, полагая более опасным для общего блага вечно нуждающегося, бездомного бедняка, чем непомерного богача. Мне кажется, что Катон показал себя столь же завидным главою дома, сколь и государства. Он и сам увеличил свое состояние и других учил вести хозяйство и обрабатывать землю, собрав много относящихся к этому полезных сведений. Аристид же своей бедностью опорочил самое справедливость, внушив многим подозрения, будто она губит дом, порождает нищету и меньше всего приносит пользы тому, кто ею обладает. А между тем Гесиод[46], который, не щадя сил, призывает нас к справедливости и к рачительному ведению хозяйства, связывает одно с другим и бранит лень – начало всякой несправедливости. Хорошо сказано об этом и у Гомера[47]:

Полевого труда не любил я, ни тихой
Жизни домашней, где милым мы детям даем воспитанье:
Островесельные мне корабли привлекательней были,
Бой, и крылатые стрелы, и медноблестящие копья.

Из этих слов явствует, что люди, пренебрегающие своим домом, в несправедливостях ищут средств к существованию. Не следует сравнивать справедливость с маслом[48], которое как наружное средство весьма благотворно, по мнению вра-

чей, действует на тело, а употребляемое вовнутрь причиняет ему непоправимый вред, и неверно, будто справедливый человек приносит пользу другим, но совершенно не печется о себе самом и о своих делах; вернее думать, что государственный ум просто изменил здесь Аристиду, если, как утверждает большинство писателей, он не оставил денег ни на собственное погребение, ни на приданое дочерям. Вот почему дом Катона вплоть до четвертого колена давал Риму преторов и консулов (его внуки и даже их сыновья занимали высшие государственные должности), меж тем как потомков Аристида, который был некогда первым человеком в Греции, крайняя, безысходная нужда заставила взяться за шарлатанские таблички или протягивать руку за общественным вспомоществованием и не дала никому из них даже помыслить ни о чем великом и достойном их предка.

31(4). Однако не вызовет ли это возражений? Ведь бедность позорна отнюдь не сама по себе, но лишь как следствие беспечности, невоздержанности, расточительности, неразумия, у человека же рассудительного, трудолюбивого, справедливого, мужественного, все свои добрые качества посвятившего родному городу, она служит признаком величия духа и величия ума. Невозможно вершить великое, тревожась о малом, ни помочь многим нуждающимся, если сам нуждаешься во многом. К государственной деятельности надежнее всего ведет не богатство, но довольство тем, что имеешь: кто в частной жизни не испытывает потребности ни в чем излишнем, всего себя посвящает общественным делам. Никаких нужд не знает только бог[49], и потому среди человеческих добродетелей нет более совершенных и божественных, нежели те, что, елико возможно, ограничивают наши желания. Подобно тому как тело, здоровое от природы, не нуждается ни в лишнем платье, ни в лишней пище, так здраво устроенные жизнь и дом обходятся имеющимися в наличии средствами. Нужно только, чтобы состояние было соразмерно потребностям, потому что, если человек собирает много, а пользуется немногим, это не есть довольство тем, что имеешь: такой человек либо глупец – если стяжает вещи, которые не способны доставить ему радость, либо жалкий страдалец – если по мелочности препятствует себе насладиться ими. Я бы охотно спросил самого Катона: "Если наслаждаться богатством не зазорно, почему ты кичишься тем, что, владея многим, довольствуешься скромной долей своего имущества? Если же прекрасно (а это и в самом деле прекрасно!) есть хлеб, какой придется, пить то же вино, что пьют наши работники и слуги, и смотреть равнодушно на пурпурные одеяния и выбеленные дома – значит во всем правы были Аристид, Эпаминонд, Маний Курий, Гай Фабриций, отказываясь владеть имуществом, пользоваться которым они не желали". Право же не стал бы человек, который считает репу самым вкусным кушаньем и собственноручно варит ее, меж тем как жена месит тесто, поднимать такой шум из-за одного асса и поучать, каким путем можно скорее всего разбогатеть. Великое преимущество простоты и довольства тем, что имеешь, как раз в том и состоит, что они избавляют и от страсти ко всему излишнему и вообще от заботы о нем. Недаром Аристид, выступая свидетелем по делу Каллия, сказал, что бедности должны стыдиться те, кто бедны не по своей воле, а добровольные бедняки, вроде него самого, – вменять ее себе в похвалу. Смешно было

бы говорить о том, что бедность Аристида – порождение его собственной беспечности: ведь у него была полная возможность разбогатеть, не совершая ничего постыдного, – стоило только снять доспехи с какого-нибудь убитого перса или захватить хоть одну палатку. Впрочем, достаточно об этом.

32(5). Военные действия под командованием Катона не прибавили ничего великого к великим уже и без того завоеваниям; напротив, среди ратных трудов Аристида числятся самые славные, блистательные и важные в греческой истории – Марафон, Саламин и Платеи. Антиох так же мало заслуживает сравнения с Ксерксом, как разрушенные стены испанских городов – со многими десятками тысяч персов, павших на суше и на море. В этих битвах Аристид подвигами затмевал любого, но славу и венки, равно как и деньги и всякое иное богатство, неизменно оставлял тем, кто более жадно их искал, потому что сам стоял выше всего этого. Я не порицаю Катона за то, что он постоянно возвеличивает и ставит на первое место самого себя (хотя в одной своей речи он говорил, что и превозносить и поносить себя – одинаково нелепо), но, мне кажется, ближе к совершенству тот, кто не нуждается даже в чужих похвалах, нежели пускающийся то и дело в похвалы самому себе. Скромность более многого другого способствует кротости и мягкости в делах правления, честолюбие же, которое вовсе не было знакомо Аристиду, но полностью подчинило себе Катона, – неиссякаемый источник недоброжелательства и зависти. Аристид, поддержав Фемистокла в его самых важных начинаниях и даже в какой-то мере оберегая его, словно телохранитель, спас Афины, тогда как Катон, противодействуя Сципиону, едва не расстроил и не погубил его поход на Карфаген, а ведь именно в этом походе был низвергнут непобедимый Ганнибал; и он до тех пор не переставал сеять подозрения и клевету, пока не изгнал Сципиона из Рима[50], а его брата не заклеймил позорным клеймом вора, осужденного за казнокрадство.

33(6). И ту воздержность, которую Катон изукрасил самыми высокими и самыми прекрасными похвалами, сохранил поистине чистой и незапятнанной Аристид, а Катон навлек на нее немалые и тяжелые упреки своей женитьбой, противной и его достоинству, и его возрасту. Отнюдь не к чести старика, дожившего до таких лет, было жениться вторично на дочери человека, который когда-то служил у него, получая от государства жалование, и дать ее в мачехи своему уже взрослому сыну и его молодой супруге: он сделал это, либо уступив потребности в удовольствиях, либо гневаясь на сына из-за своей возлюбленной и желая отомстить ему, – как бы то ни было, но и само действие и повод к нему позорны. Насмешливое объяснение, которое он дал сыну, не было искренним. Если он в самом деле хотел произвести на свет добрых сыновей, похожих на старшего, нужно было подумать об этом с самого начала и заключить брак с женщиной хорошего рода, а не попросту спать с наложницей, пока это оставалось в тайне, а потом, когда все открылось, не брать в тести человека, которого ничего не стоило к этому склонить и свойство с которым заведомо не могло принести никакой чести.





ФИЛОПЕМЕН И ТИТ

ФИЛОПЕМЕН

1. Клеандр принадлежал к первому по знатности роду и был одним из самых влиятельных граждан в Мантинее. С ним произошло несчастие, и ему пришлось бежать из родного города. Он переселился в Мегалополь, главным образом потому, что там жил отец Филопемена, Кравгид, человек во всех отношениях прославленный и дружественно к нему расположенный. При жизни Кравгида Клеандр получал от него все необходимое; по смерти его он, в благодарность за гостеприимство, воспитал его сына–сироту, подобно тому, как, по словам Гомера, Феникс воспитал Ахилла. Поэтому духовное развитие мальчика с самого начала носило благородный, как бы царственный характер. Когда Филопемен вышел из детского возраста, заботу о его воспитании взяли на себя мегалопольские граждане Экдем и Мегалофан, друзья Аркесилая по Академии, которые более всех своих современников стремились поставить философию на службу государственной деятельности и практической жизни. Они освободили свою родину от тирании[1], тайно подготовив будущих убийц Аристодема; помогли Арату изгнать сикионского тиранна Никокла; по просьбе киренцев они поехали в Кирену, где были смуты и неурядицы, и установили там законность и порядок. Однако, наряду с прочими своими делами, они занимались и воспитанием Филопемена, стремясь, чтобы изучение философии сделало из него человека, полезного для всей Греции; ибо, как мать, родившая сына в старости, так и Греция, произведя его на свет много позже доблестных вождей древности, любила Филопемена исключительной любовью и содействовала росту его славы и его мощи. А один римлянин[2] назвал его последним из эллинов, потому что после него Греция не дала уже ни одного великого мужа, достойного ее.

2. Филопемен не был безобразен[3], как думают некоторые: доступна обозрению его статуя, еще и теперь находящаяся в Дельфах. Правда, мегарская хозяйка не узнала его, но, говорят, это произошло из-за его простоты в обращении и скромности в одежде. Узнав, что к ним идет ахейский стратег, она заспешила с обедом, а мужа ее случайно не было дома. В это время вошел Филопемен, одетый в простой военный плащ. Хозяйка приняла его за одного из приближенных Филопемена, за посланного вперед гонца, и попросила его помочь ей в приготовлениях к обеду. Филопемен тотчас сбросил плащ и стал колоть дрова. В это время вошел хозяин и, увидев это, воскликнул: "Что это значит, Филопемен?" "Только то, – отвечал тот на дорическом наречии, – что я плачусь за свою скверную наружность". Тит, насмехаясь над телосложением Филопемена, однажды сказал ему: "Какие у тебя прекрасные руки и ноги, Филопемен, а живота нет!" Действительно, в поясе он был слишком тонок. Впрочем, эта насмешка

относилась скорее к войску Филопемена: у него были хорошая пехота и конница, а в деньгах он часто нуждался. Вот что рассказывают о Филопемене в школах.

3. Честолюбивый характер его был не вполне свободен от запальчивости и гнева. Стремясь соревноваться прежде всего с Эпаминондом, он упорно подражал ему, но только в энергии, благоразумии и неподкупности: гнев и задор мешали ему во время гражданских усобиц сохранять мягкость, душевное равновесие и гуманность, свойственные Эпаминонду. Поэтому Филопемена считали более способным к воинским подвигам, чем к проявлению гражданских добродетелей. И действительно, с самого детства он любил военное дело и охотно учился тому, что было полезно для этой цели, – вести бой в тяжелых доспехах и ездить верхом. Так как в нем замечали способности к борьбе, некоторые друзья и наставники советовали ему заняться атлетикой. Но Филопемен спросил, не повредят ли атлетические упражнения военным. Ему отвечали (как оно и было на самом деле), что телесные качества и образ жизни атлета и солдата во всем различны, особенно же отличаются упражнения и повседневное времяпрепровождение: атлеты долгим сном, постоянной сытостью, установленными движениями и покоем стараются развивать крепость тела и сохранять ее, так как она подвержена переменам при малейшем нарушении равновесия и отступлении от обычного образа жизни; тело солдата, напротив, должно быть приучено к любым переменам и превратностям, прежде всего – способно легко переносить недостаток еды и сна. Получив такой ответ, Филопемен не только сам отказался от профессии атлета и осмеял ее, но впоследствии, будучи стратегом, насколько это было в его власти, выводил из употребления всякого рода атлетические упражнения, предавая их позору и поруганию, так как они делают непригодными к боям людей, самых способных к ним от природы.

4. Расставшись с учителями и воспитателями, Филопемен стал участвовать в походах граждан в Лаконику, куда они вторгались для захвата добычи. Он приучал себя идти первым при выступлении в подход, последним – при возвращении из похода. В свободное время Филопемен укреплял тело либо охотою, придавая ему тем самым легкость и силу, либо земледельческими работами. У него было прекрасное поместье в двадцати стадиях от города. Туда он ходил каждый день после обеда или после ужина и ложился спать на первую попавшуюся постель из соломы, как любой из работников. Вставши рано утром, он работал вместе с виноградарями или пахарями и опять возвращался в город, где с друзьями и должностными лицами занимался общественными делами. Все, что он получал от походов, Филопемен тратил на лошадей, оружие и выкуп пленных, а в хозяйстве употреблял доходы от земледелия – самого честного средства приобрести богатство. На земледелие он не смотрел как на дело второстепенное, считая, что тому, кто не хочет брать чужого, совершенно необходимо приобретать свое. Он слушал рассуждения философов и читал их сочинения, впрочем, не все, а лишь те, которые, как он думал, могут способствовать нравственному усовершенствованию. В поэмах Гомера он обращал внимание на все места, которые, по его мнению, возбуждают мысли о мужестве, воспламеняют душу. Из других сочинений его постоянным чтением была прежде всего "Тактика" Эван-

гела и исторические сочинения об Александре; он был убежден, что если сочинение – не бесплодная болтовня, предназначенная для пустого времяпрепровождения, то слова переходят в дела. Схемы и чертежи, сделанные на табличках, Филопемен оставлял без внимания, а тактические теории рассматривал на местности: во время поездок он сам изучал теснины в гористых местах, обрывы на равнинах и всякие изменения в построении фаланги, когда она при переправе через реку или в узком проходе должна размыкаться и опять смыкаться, и задавал задачи своим спутникам. По-видимому, он сверх всякой меры пристрастился к военному делу, полюбил войну как чрезвычайно широкое поприще для проявления своего таланта, а на людей, не отдававшихся ей, смотрел с презрением, как на бездельников.

5. Когда Филопемену было уже тридцать лет, спартанский царь Клеомен ночью неожиданно напал на Мегалополь[4] и, оттеснив караулы, ворвался внутрь города и занял площадь. Филопемен поспешил на помощь согражданам, но не мог изгнать неприятелей, хотя бился отважно и не щадя сил. Однако гражданам он дал возможность уйти незаметно, сражаясь с преследовавшим их неприятелем и привлекая на себя внимание Клеомена. Сам он с трудом ушел последним – раненый, потеряв коня. Жители удалились в Мессену. Клеомен послал к ним гонца с предложением возвратить им город со всем имуществом и область. Видя, что граждане с удовольствием готовы принять предложение и спешат вернуться на родину, Филопемен восстал против этого и удержал их, доказывая, что цель Клеомена – не возвратить им город, а приобрести себе новых граждан, чтобы вернее владеть городом. "Клеомен не может, – говорил он, – сидеть праздно в городе и охранять дома и пустые стены, но бросит и их, вынужденный к тому безлюдьем". Такими доводами он склонил граждан отказаться от их намерения, но Клеомен получил возможность разорить и разрушить бóльшую часть города и уйти с богатой добычей.

6. Царь Антигон пришел на помощь ахейцам и вместе с ними выступил в поход против Клеомена, занимавшего высоты и проходы при Селласии. Он выстроил войско близ этого места, намереваясь напасть на Клеомена и вытеснить его с позиции. Филопемен вместе со своими согражданами в это время находился в рядах конницы: подле него стояли иллирийцы, прикрывая боевую линию; их было много и они были воинственны. Ахейцам было приказано оставаться в бездействии, не трогаясь с места, пока на другом фланге царь не поднимет на копье красный плащ. Когда вожди иллирийцев сделали попытку вытеснить спартанцев с позиции, а ахейцы, согласно приказанию, оставались в резерве, брат Клеомена, Эвклид, заметив образовавшуюся в неприятельском строю брешь, поспешно послал в обход своих самых быстрых легковооруженных воинов, приказав им напасть с тыла на иллирийцев, так как они остались без прикрытия конницы. Пока легковооруженные воины старались отвлечь и привести в замешательство иллирийцев, Филопемен заметил, что проще и вернее всего атаковать легковооруженных и что само стечение обстоятельств подсказывает этот маневр. Сначала он сообщил свой план начальникам царского войска, но не мог убедить их: они сочли Филопемена за сумасшедшего и отнеслись к нему с презрением, так как он еще не был настолько прославленным, чтобы доверили

ему такое важное предприятие. Тогда Филопемен сам бросился в атаку и увлек за собою сограждан. Среди легковооруженных воинов произошло замешательство, затем началось бегство; много было убитых. Желая еще более воодушевить царское войско и скорее вступить в рукопашный бой с приведенными в смятение неприятелями, Филопемен соскочил с коня и, с великим трудом передвигаясь в своих всаднических доспехах, с очень тяжелым оружием, пошел по неровной, изобилующей ручьями и оврагами местности. В это время метательное копье пробило ему насквозь оба бедра. Удар был не смертельный, но сильный, так что острие вышло по другую сторону тела. Сперва он, будто скованный, совершенно не знал, что делать: ременная петля[5] мешала извлечь копье из тела. Присутствовавшие не решались коснуться его, а между тем битва достигла высшей точки напряжения. Пылая гневом и жаждой славы, Филопемен рвался в бой; вытягивая вперед ноги и двигая ими попеременно, он сломал копье посередине и велел извлечь каждый обломок отдельно. Освободившись таким образом, он обнажил меч и пошел через первые ряды на врагов, воодушевив этим воинов и внушив стремление состязаться в храбрости. После победы Антигон, испытывая македонян, спрашивал их, почему они без его приказания двинули конницу. В свое оправдание они говорили, что против своей воли были вынуждены вступить в бой с противниками, потому что какой-то мальчишка из Мегалополя первый бросился вперед. Антигон рассмеялся и сказал: "Ну, так знайте, что этот мальчишка совершил дело великого полководца".

7. Благодаря этому Филопемен, как и следовало ожидать, приобрел славу. Антигон старался привлечь его к участию в совместном походе и предлагал ему должность командира и деньги; но Филопемен отказался, главным образом потому, что знал свой характер – строптивый, не склонный к подчинению. Однако, не желая оставаться без дела, в праздности, он, ради упражнения в военном деле, поехал воевать на Крит. Тут он прошел хорошую школу, находясь долгое время в кругу людей воинственных, способных умело пользоваться обстоятельствами при ведении войны, к тому же воздержных, привыкших к простому образу жизни.

Оттуда он вернулся к ахейцам в таком блеске славы, что тотчас же был назначен начальником конницы[6]. Всадники, которых он принял от своего предшественника, являлись с плохими лошаденками, какие им попадались, когда случался поход, или же вовсе уклонялись от походов, посылая вместо себя других, все были совершенно незнакомы с делом и трусливы; власти неизменно смотрели на это сквозь пальцы, потому что у ахейцев всадники были людьми очень влиятельными и в их руках было право награждать и наказывать. Но Филопемен не отступил, не отказался от своего намерения: он ездил по городам, старался в каждом юноше пробудить чувство честолюбия, наказывал тех, к кому надо было применять принудительные меры, устраивал учения, процессии, состязания в тех местах, где можно было рассчитывать на большое стечение зрителей. Действуя так, Филопемен в короткое время влил во всех изумительную силу и энергию и, что всего важнее, сделал всадников быстрыми и подвижными при выполнении как целым отрядом, так и в одиночку полуоборотов и полных оборотов; они достигли в этом такого совершенства, что целый отряд легко-

стью перестроения напоминал одно тело, движущееся по собственной воле. Во время жаркого сражения ахейцев с этолийцами и элейцами при реке Ларисое начальник элейской конницы Дамофант выехал вперед и бросился на Филопемена. Филопемен не уклонился от нападения, но успел первым нанести удар копьем и свалить Дамофанта. После его падения враги тотчас же обратились в бегство. Филопемен был в блеске славы: силой руки он не уступал никому из юношей, разумом – никому из старших; он был в равной мере способен и сам сражаться и командовать войском.

8. Арат первый возвысил и усилил Ахейский союз, до того времени слабый, раздробленный на отдельные города. Он соединил их, ввел эллинское, гуманное государственное устройство. Подобно тому, как в воде, когда небольшое количество мелких тел вдруг остановится, притекающие после наталкиваются на первые, задерживаются ими и образуют, благодаря взаимному сцеплению, крепкую, компактную массу, – подобно этому в тогдашней Греции, слабой, легко раздробляемой на отдельные города, ахейцы первые сплотились; окрестные города они частью присоединяли к себе, помогая им и освобождая их от тираннов, частью же привлекали к союзу своим единодушием и совершенством государственного устройства. Таким путем думали они сделать Пелопоннес единым телом, единой силой. Но при жизни Арата они еще подчинялись македонскому оружию, искали милости у Птолемея, потом у Антигона и Филиппа, которые вмешивались в дела Греции. Когда же Филопемен достиг первенствующего положения, ахейцы уже были равны силами с самыми могущественными противниками и перестали пользоваться покровительством иноземцев. Арат не выказывал большой склонности к военным походам и в большинстве случаев достигал успеха путем переговоров, благодаря своему мягкому характеру и дружбе с царями, как сказано в его жизнеописании. А Филопемен, доблестный воитель, умевший действовать оружием, удачливый и победоносный уже с самых первых сражений, вместе с силою возвысил и дух ахейцев: с ним они привыкли к победам и удаче в своих военных предприятиях.

9. Прежде всего Филопемен изменил построение войска и вооружение, которые у ахейцев были плохи: у них были в употреблении длинные щиты, тонкие и поэтому очень легкие, а кроме того, такие узкие, что не прикрывали тела, копья же их были гораздо короче сарисс. Благодаря легкости копий, ахейцы могли поражать врагов издали; но в рукопашном бою с врагом они были в менее выгодном положении. Построение мелкими отрядами ахейцам было незнакомо; у них было в употреблении построение фалангой, в которой копья не выставлялись вперед и щиты не смыкались, как в македонской фаланге; поэтому легко было их сбить с позиции и расстроить. Филопемен указал им на это и убедил вместо длинного щита и короткого копья употреблять круглый щит и сариссу, закрываться шлемом, панцирем и поножами и учиться стоять твердо на месте во время боя, а не бегать, как пельтасты[7]. Уговорив молодых людей вооружиться таким образом, Филопемен прежде всего одушевил их надеждою, что теперь они стали непобедимы, а затем дал очень полезное направление их любви к роскоши и большим тратам. Искоренить совсем эту страсть было невозможно: с давних пор они были заражены этим пустым, безрассудным соперничеством,

любили пышные наряды, красили в пурпур покрывала, гордились обилием и убранством стола. Филопемен стал направлять их любовь к украшениям от предметов ненужных на предметы полезные и похвальные. Скоро он убедил всех урезать ежедневные расходы на личные потребности и употреблять деньги на то, чтобы отличаться красотой военного снаряжения. И вот можно было видеть такое зрелище: мастерские были наполнены кубками и Фериклowыми чашами, отданными в переплавку, там золотили панцири, серебрили щиты и уздечки; на ристалищах объезжали молодых коней; юноши упражнялись в полном вооружении; у женщин в руках были шлемы и перья, которые они красили, всаднические хитоны и солдатские плащи, вышитые разными цветами. Это зрелище увеличивало отвагу, возбуждало пыл, делало каждого отчаянным, готовым идти на всякую опасность. Действительно, в иных случаях роскошь влечет за собою изнеженность, расслабляет зрителей, так же как сила духа надламывается, если чувства испытывают постоянные уколы и беспокойство Напротив, роскошь в подобных предметах укрепляет и возвышает дух. Так, Ахилл у Гомера[8] при виде нового оружия, положенного близ него, как бы приходит в экстаз и горит желанием пустить его в ход. Украсив так юношей, Филопемен велел им заниматься гимнастикой и упражняться в различных движениях, что они охотно и усердно выполняли. Боевой строй им чрезвычайно нравился: казалось, что плотность, которую он получает, несокрушима. К вооружению тело привыкало, оно начинало казаться легким; воины брали его в руки и носили с удовольствием благодаря его блеску и красоте, хотели сражаться в нем и как можно скорее померяться силою с врагами в решительном бою.

10. Тогда у ахейцев была война с тиранном спартанским Маханидом, который с большим, сильным войском угрожал всему Пелопоннесу. Когда пришло известие об его вторжении в Мантинейскую землю, Филопемен поспешно выступил против него со своим войском. Обе армии, в составе которых была почти вся военная сила граждан и большое число наемников, выстроились близ города. Когда начался рукопашный бой, Маханид со своими наемниками обратил в бегство копейщиков и тарентинцев[9], стоявших впереди ахейцев; но вместо того, чтобы сейчас же идти на ахейцев и прорвать их тесно сплоченные ряды, он увлекся преследованием и прошел мимо фаланги ахейцев, остававшихся в боевом порядке. Несмотря на такую огромную неудачу в самом начале сражения, когда казалось, что все погибло безвозвратно, Филопемен делал вид, будто не обращает на это внимания и не видит никакой опасности. Заметив, какую ошибку сделали враги при преследовании, оторвавшись от своей фаланги и оставив за собой пустое пространство, он не пошел им навстречу, не помешал им преследовать бегущих, а дал им возможность пройти мимо и удалиться на значительное расстояние. Тотчас после этого он повел войско на спартанских гоплитов, видя, что их фаланга осталась без прикрытия, и ударил с фланга; между тем у спартанцев не было командира, и они не ожидали боя, так как считали себя полными победителями, видя, что Маханид преследует неприятеля. Отбросив их с большим для них уроном (говорят, что было убито более четырех тысяч), Филопемен бросился на Маханида, возвращавшегося с наемниками после преследования. Между ними был большой глубокий ров, и они разъезжали по раз-

ные стороны его друг против друга: один, желая переправиться и убежать, другой – помешать этому. Вид был такой, будто это не полководцы сражаются, а ловкий охотник Филопемен сошелся со зверем, вынужденным обороняться. Тут конь тиранна, сильный и горячий, с обоих боков окровавленный шпорами, отважился перескочить ров: выдвинув грудь вперед, он изо всех сил старался упереться передними ногами в противоположный край рва. В это время Симмий и Полиен, которые постоянно находились при Филопемене в сражениях и прикрывали его щитами, одновременно подлетели к этому месту с копьями, направленными на Маханида. Но Филопемен успел раньше их броситься ему навстречу. Видя, что лошадь Маханида поднятой головой заслоняет его тело, он заставил своего коня немного податься в сторону и, стиснув в руке копье, сильным ударом сбил Маханида с лошади. В этом положении Филопемен изображен на бронзовой статуе в Дельфах, поставленной ахейцами, высоко ценившими как его подвиг, так и вообще его командование в этом походе.

11. Говорят, во время Немейского праздника[10] Филопемен, бывший во второй раз стратегом и незадолго до этого одержавший победу в битве при Мантинее, а в это время по случаю праздника ничем не занятый, сначала показал грекам свою фалангу в разукрашенном виде, производившую в лад, с большой быстротой и силой, привычные ей боевые движения. Потом, во время состязания кифаредов, Филопемен вошел в театр с молодыми людьми в военных плащах и пурпуровых нижних одеждах: они все были одних лет и превосходно развиты физически; они оказывали глубокое почтение начальнику и были полны юношеской гордости вследствие многочисленных славных сражений. Только что они вошли, как случайно кифаред Пилад, певший “Персов” Тимофея[11], начал так:

Дар для Эллады стяжал великий и славный – свободу.

Торжественность стиха гармонировала со звучным голосом певца, зрители со всех сторон устремили взоры на Филопемена, раздались радостные рукоплескания: греки в надеждах и мечтах возвращались к славному прошлому и, исполнившись мужества, величием духа приближались к героям прежних времен.

12. Как молодой конь, неся непривычного седока, тоскует и робеет, так и ахейское войско во время сражений и опасностей под начальством другого полководца падало духом и обращало взоры к Филопемену, при одном виде его становясь сильным и смелым, благодаря вере в своего полководца: все замечали, что и противники, судя по их действиям, только ему одному из всех стратегов не могут смотреть в лицо, боятся его славы и имени. Так, македонский царь Филипп, думая, что если устранить Филопемена, то ахейцы устрашатся и вновь покорятся ему, тайно послал в Аргос убийц[12]. Когда его коварный замысел был раскрыт, он навлек на себя ярую ненависть греков. Беотийцы осаждали Мегары и надеялись скоро взять этот город. Вдруг среди них разнесся слух, оказавшийся неверным, будто Филопемен идет на помощь осажденным и находится уже близко; осаждающие бросили лестницы, уже приставленные к стенам, и бежали. Набид, спартанский тиранн, правивший после Маханида, внезапно захва-

тил Мессену. Филопемен был тогда частным лицом и не командовал никаким войском. Ему не удалось убедить ахейского стратега Лисиппа оказать помощь мессенцам: тот говорил, что город безвозвратно потерян, так как неприятели уже находятся внутри его. Тогда Филопемен выступил сам со своими согражданами, которые, не дожидаясь его избрания по закону, пошли за ним, как за своим постоянным вождем, убежденные в его природном превосходстве. Он был уже близко от Мессены, и Набид, услыхав об этом, не стал ждать его, хотя и стоял лагерем в городе; он поспешно увел войско другими воротами, считая для себя счастьем благополучно уйти от Филопемена. Убежать ему удалось, а Мессена была освобождена.

13. Таковы славные дела Филопемена. Но вторичная поездка его на Крит по просьбе гортинцев, которые подвергались нападению врагов и хотели воевать под его началом, навлекла на Филопемена нарекания: говорили, что в то время как его отечество вело войну с Набидом, он уехал, чтобы уклониться от сражения или из честолюбивого желания в такой неподходящий момент отличиться перед чужими. Ведь мегалополитанцы терпели тогда величайшие бедствия из-за войны: они не выходили из стен города, сеяли на улицах, лишенные своей земли, ибо враги стояли лагерем чуть не у самых ворот. Между тем Филопемен, ведя войну с критянами и исполняя за морем обязанности военачальника, подавал врагам своим повод к обвинениям, будто он уклоняется от войны на родине. Впрочем, были и такие, кто говорил, что раз ахейцы выбрали в правители других, Филопемен, оставшись без должности, отдал свое время гортинцам, которые просили его быть военачальником. И действительно, ему чуждо было бездействие: он хотел, чтобы его способности военачальника и воина, подобно какому-нибудь другому предмету, всегда были в употреблении и в действии, как видно из его отзыва о царе Птолемее. Когда Птолемея восхваляли за то, что он каждый день в доспехах и с оружием в руках усердно занимается гимнастическими упражнениями, Филопемен сказал: "Да, но кто может относиться с уважением к царю, который в этом возрасте не показывает своих дарований на деле, а все еще учится?" Итак, мегалополитанцы негодовали на Филопемена за его отсутствие и считали это изменой. Они задумали изгнать его из отечества. Но этому воспрепятствовали ахейцы: они послали в Мегалополь стратега Аристена, который, хотя и был политическим противником Филопемена, все-таки не дал привести в исполнение этот приговор. Видя такое пренебрежение со стороны сограждан, Филопемен склонил к отпадению от Мегалополя много окрестных селений и подучил жителей говорить, что они не входили в состав городской общины и первоначально не были подчинены городу. Филопемен открыто поддержал это заявление их и в собрании ахейцев действовал в пользу врагов города. Но это произошло позже.

На Крите Филопемен вел войну на стороне гортинцев, но не открытую, благородную войну, как следовало пелопоннесцу и аркадянину: он усвоил критские нравы и, действуя против критян их же средствами – обманом, хитростью, воровскими уловками, засадами, – скоро показал, что они мальчишки, что против истинного искусства их хитрости бессмысленны и бесполезны.

14. Снискав уважение за совершенные подвиги, увенчанный славой, Филопе-

мен возвратился в Пелопоннес. Он застал там такое положение дел: Филипп был побежден Титом[13], а Набид воевал с ахейцами и римлянами. Тотчас выбранный военачальником, Филопемен отважился на морское сражение: но с ним случилось то же, что с Эпаминондом[14]: в морском бою он проявил меньше таланта и не стяжал себе славы. Впрочем, как рассказывают некоторые, Эпаминонд не хотел дать согражданам возможности вкусить выгод, доставляемых морем, чтобы, говоря словами Платона[15], они незаметно не превратились из стойких гоплитов в моряков и не развратились; по этой причине он добровольно ушел из Азии и с островов, не сделав ничего замечательного. Между тем Филопемен был убежден, что его уменья вести сухопутную войну будет достаточно и для того, чтобы со славою воевать на море. И тут он понял, как много значит в любом искусстве упражнение, сколько силы придает оно людям, привыкшим к определенному делу. В морском бою Филопемен по своей неопытности оказался слабее противников; кроме того, он спустил на воду старый, хотя и знаменитый корабль[16], сорок лет не бывший в употреблении; корабль дал течь, ехавшие на нем оказались в опасности. Узнав, что неприятели относятся к нему с пренебрежением, думая, что он совершенно изгнан с моря, и, упоенные гордостью, осаждают Гифий, Филопемен тотчас подошел с моря, когда они этого не ожидали и по случаю победы не соблюдали порядка. Он ночью высадил солдат, подвел их к неприятельскому лагерю, поджег палатки, спалил дотла лагерь и перебил много людей. Несколько дней спустя Набид вдруг появился перед ним на дороге в местах труднопроходимых и привел ахейцев в ужас: они думали, что нет надежды спастись из таких опасных мест, находящихся во власти неприятелей. Филопемен остановился, окинул взором окрестность и дальнейшими своими действиями доказал, что тактика есть венец военного искусства. Посредством незначительного перемещения он перестроил свою фалангу сообразно со сложившимся положением, легко без всякого смятения разрешил все трудности, напал на врагов и обратил их в беспорядочное бегство. Видя, что они бегут не к городу, а врассыпную (местность же была холмистая, покрытая лесом, с ручьями и оврагами и потому неудобная для конницы), он удержал своих воинов от преследования и еще засветло расположился лагерем. Догадываясь, что противники будут возвращаться в город по одному, по двое, в темноте, он разместил много ахейцев с кинжалами в засадах на пути к городу, близ ручьев и на холмах. Так погибли многие воины Набида: возвращаясь порознь, как кому привелось, они около города попадали в руки врагов, как птицы.

15. За это греки любили Филопемена и оказывали ему исключительный почет в театрах, на что втайне обижался честолюбивый Тит. Как римский консул, он считал себя вправе пользоваться бóльшим уважением ахейцев, чем какой-то аркадянин; он считал, что его благодеяния ставят его гораздо выше Филопемена: ведь одним объявлением глашатая он даровал свободу Греции[17], которая прежде того была в рабстве у Филиппа и македонян. По этой причине Тит прекратил войну с Набидом; но тот был коварно убит этолийцами[18].

В Спарте произошли волнения. Филопемен воспользовался благоприятным моментом, чтобы напасть на Спарту, и заставил жителей – частью силой, ча-

стью путем убеждения – присоединиться к нему и передать город Ахейскому союзу, Филопемен стяжал себе огромную славу у ахеян тем, что присоединил к союзу город, такой прославленный и сильный; немаловажное было дело, что Спарта стала частью Ахайи. Филопемен привлек на свою сторону и спартанских аристократов, которые надеялись обрести в нем хранителя свободы. По этой причине, продав дом и имущество Набида, они решили вырученные сто двадцать талантов принести ему в подарок и отправили с этой целью посольство. Тут со всей ясностью обнаружилось, что он не только казался, но и был[19] человеком в высшей степени благородным. Во-первых, никто из спартиатов не хотел вести с таким человеком разговор о подарке; все уклонялись от этого и, наконец, выбрали для этой цели Тимолая, с которым Филопемен был связан узами гостеприимства. По прибытии в Мегалополь Тимолай обедал у Филопемена, услышал его речь, полную достоинства, увидел вблизи простоту его жизни и понял, что его характер недоступен подкупу. Он умолчал о подарке, а, придумав какой-то другой повод своего приезда, уехал обратно. Его послали вторично, но произошло то же самое. При третьей поездке он с трудом изложил Филопемену свою просьбу и сообщил о расположении к нему своих сограждан. Филопемен выслушал его с удовольствием, сам приехал в Спарту и посоветовал спартанцам не подкупать друзей и честных людей, добрыми качествами которых можно пользоваться даром, а покупать и соблазнять негодяев, которые сеют смуту в городе, ведут его к погибели; надо зажать им рот взяткой, чтобы они меньше беспокоили сограждан; лучше отнимать свободу слова у врагов, чем у друзей. Так бескорыстен был Филопемен!

16. Ахейский стратег Диофан услышал, что спартанцы опять затеяли смуту. Он хотел наказать их, но они взялись за оружие и вызвали волнения в Пелопоннесе. Филопемен старался успокоить Диофана и умерить его гнев, указывая на то, что царь Антиох и римляне производят в Греции передвижения огромных войск, что именно на это правитель должен обращать внимание, не касаясь местных дел, а на иные проступки глядя сквозь пальцы. Диофан не слушал его, а вступил вместе с Титом в Лаконику, и они сейчас же двинулись на Спарту. Раздраженный этим, Филопемен решился на дело незаконное, трудно оправдываемое с точки зрения справедливости, но великое и с великим мужеством совершенное: он пришел в Спарту и, хотя был частным лицом, не пустил в город ахейского стратега и римского консула; волнения в городе он прекратил и вернул спартанцев в союз, в котором они состояли раньше.

А некоторое время спустя Филопемен, бывший тогда стратегом, в чем-то обвинил спартанцев, вернул на родину изгнанников и казнил, по свидетельству Полибия[20], восемьдесят спартиатов, а по свидетельству Аристократа – триста пятьдесят. Стены города он срыл, значительную часть земли отрезал и отдал мегалополитанцам. Всех, кому тиранны дали право гражданства в Спарте, он переселил в Ахайю, кроме трех тысяч, оказывавших упорное неповиновение и не желавших уйти из Спарты; их он продал и, как бы в насмешку, построил на эти деньги в Мегалополе портик. Чтобы насытить свою ненависть к спартанцам, он, издеваясь над их незаслуженным несчастием, предпринял дело в высшей степени жестокое и беззаконное – отменил и уничтожил порядки, введенные Ликургом, заставил

унаследованную от отцов систему воспитания спартанских детей и юношей переменить на ахейскую, имея в виду, что, живя по Ликурговым законам, спартанцы никогда не хотели смирить себя. Под гнетом страшных бедствий спартанцы позволили тогда Филопемену, так сказать, перерезать жилы своего государства и сделались ручными и смирными, но несколько спустя[21] выпросили у римлян позволение отменить ахейские порядки и восстановили унаследованные от отцов учреждения, насколько это можно было сделать после таких гибельных бедствий.

17. Когда у римлян началась в Греции война с Антиохом, Филопемен был частным лицом. Видя, что Антиох сам сидит праздно в Халкиде и не по годам занят свадьбами[22] и любовью к девушкам, а сирийцы в совершенном беспорядке, без командиров, праздно слоняются в городах, предаваясь роскоши, Филопемен досадовал, что он не занимает должности стратега у ахейцев, и говорил, что завидует победе римлян. "Будь я сейчас стратегом, – говорил он, – я перебил бы этих воинов в питейных домах". Победив Антиоха, римляне стали еще больше вмешиваться в дела Греции и подчинять своей власти ахейцев, вожаки которых склонялись на сторону римлян. Мощь римлян, по воле божества, распространялась все шире и шире: близка была цель, которой должна была достигнуть судьба в своем круговороте. Филопемен, как хороший кормчий, борющийся с волною, был вынужден в некоторых случаях покоряться обстоятельствам, но по большей части противился им, стараясь привлекать на сторону свободы людей, сильных словом и делом. Когда Аристен из Мегалополя, пользовавшийся большим влиянием среди ахейцев, но постоянно заискивавший перед римлянами, высказывал мнение, что ахейцы не должны противиться римлянам, не должны быть неуслужливыми по отношению к ним, Филопемен, говорят, молча, но с негодованием слушал его в Собрании, а под конец не мог сдержать себя и гневно сказал: "Негодяй, что ты торопишься увидеть роковой день Эллады?" Когда римский консул Маний[23], победитель Антиоха, требовал от ахейцев, чтобы они позволили спартанским изгнанникам вернуться на родину, и Тит предъявлял такое же требование, Филопемен воспрепятствовал этому, но не из вражды к изгнанникам, а желая, чтобы это совершилось по воле его и ахейцев, а не по милости Тита и римлян. И действительно, став стратегом в следующем году, он сам возвратил изгнанников. Вот с какой враждебностью и ревностью он по своей гордости относился ко всякой чужой власти.

18. На семидесятом году жизни Филопемен был в восьмой раз ахейским стратегом. Он надеялся, что обстоятельства позволят ему не только время этого своего правления провести без войны, но и остаток жизни прожить в покое. Как болезни, по-видимому, ослабевают вместе с телесными силами, так и в греческих городах с истощением сил утихала страсть к раздорам. Но Немезида в конце жизни повалила Филопемена, как атлета, дотоле счастливо подвизавшегося на своем поприще. Когда в одном собрании присутствовавшие хвалили кого-то, считавшегося искусным стратегом, Филопемен, говорят, сказал: "Да разве стоит говорить о человеке, который живым был взят в плен неприятелями?". Через несколько дней мессенец Динократ, личный враг Филопемена, ненавистный всем за свою подлость и распутство, отторгнул Мессению от ахейцев и, по дошедшим сведениям, готовился захватить селение, называемое Колонидой. Фи-

лопемен в это время находился в Аргосе, больной лихорадкой. Получив это известие, он поспешил в Мегалополь и проехал в один день с лишком четыреста стадиев[24]. Оттуда он немедленно двинулся выручать Мессену с конницей, состоявшей из самых именитых, но совсем молодых граждан, добровольно принявших участие в походе по примеру Филопемена и из любви к нему. Подъехав к Мессене, они вступили в бой с Динократом, встретившим их у Эвандрова холма, и обратили его в бегство. Но их внезапно атаковал отряд в пятьсот человек, несший сторожевую службу в Мессенской области. Увидев это, ранее разбитые противники опять стали собираться на холмах. Филопемен, боясь очутиться в окружении и жалея своих всадников, начал отступать по труднопроходимой местности. Он сам был в хвосте отряда и часто устремлялся на врага, стараясь привлечь его внимание на себя; но враги не смели нападать на него, а только издали кричали и метались без всякого толка. Таким образом, часто останавливаясь ради спасения своих молодых всадников, пропуская их поодиночке мимо себя, Филопемен незаметно для себя остался один среди многочисленных врагов. Вступить в рукопашный бой с ним никто не отваживался; враги лишь издали стреляли в него, оттесняя к местам каменистым и обрывистым, где он едва справлялся с лошадью и ранил ее шпорами. Благодаря частым упражнениям, Филопемен, несмотря на старость, был легок и проворен, и годы нисколько не помешали бы ему спастись; но тогда он был ослаблен болезью, утомлен дорогой и потому отяжелел и уже насилу двигался. Лошадь его споткнулась, и он упал на землю. Падение было неудачным: у Филопемена оказалась поврежденной голова, и долгое время он лежал, не издавая ни звука, так что враги, считая его мертвым, стали поворачивать тело и снимать доспехи. Когда же он поднял голову и раскрыл глаза, все сразу бросились на него и, связав руки за спиной, с издевательствами и бранью повели человека, которому и во сне не снилось, что когда-нибудь он подвергнется такому поношению от Динократа.

19. Горожане, сильно возбужденные этим известием, собрались у ворот. При виде Филопемена, которого тащили таким недостойным образом, невзирая на его славу, прежние подвиги и трофеи, большинство их почувствовало жалость и сострадание к нему и даже заплакало; с презрением говорили они о человеческом могуществе, которое так ничтожно и ненадежно. Понемногу среди народа стали слышаться человеколюбивые речи о том, что надо помнить о прежних благодеяниях, о свободе, которую Филопемен возвратил им, изгнав тиранна Набида. Лишь немногие граждане в угоду Динократу требовали пытки и казни Филопемена как врага жестокого, непримиримого, который будет еще страшнее для Динократа, если останется жив после плена и поругания. Несмотря на эти толки, Филопемена все-таки посадили в так называемое "Казнохранилище" – подземелье, куда не проникал снаружи ни воздух, ни свет; оно не имело дверей, а запиралось большим камнем. Туда его спустили и, завалив вход камнем, поставили вокруг вооруженных людей.

А тем временем ахейские всадники, собравшись после бегства и видя, что Филопемен нигде не показывается, предположили, что он убит. Долго стояли они и звали его, рассуждая между собою, что спасение их позорно и бесчестно,

если они оставили в жертву врагам своего военачальника, не пощадившего жизни ради них. Потом они поехали дальше и, расспрашивая встречных, узнали о пленении Филопемена и разнесли эту весть по ахейским городам. Ахейцы сочли случившееся большим несчастием, решили отправить посольство к мессенцам и требовать выдачи пленного, а сами стали готовиться к походу.

20. Итак, вот чем были заняты ахейцы. Между тем Динократ, больше всего боясь времени, которое могло спасти Филопемена, с наступлением ночи, когда народ разошелся, отворил темницу и послал туда раба с ядом, приказав поднести яд Филопемену и подождать, пока он не выпьет. Филопемен лежал, закутавшись в плащ, но не спал, погруженный в горе и беспокойство. Увидав свет и стоящего близ него человека с чашей яда, он, с трудом придя в себя от слабости, сел. Взяв чашу, он спросил раба, не слыхал ли тот каких-нибудь вестей о всадниках, особенно о Ликорте. Раб ответил, что большая часть их спаслась бегством. Филопемен кивнул головою, ласково взглянув на него и сказал: "Хорошо. У нас дела не совсем еще плохи". Не произнесши больше ни слова, не испустив ни одного звука, он выпил яд и опять лег; немного хлопот доставил он яду и вскоре угас от слабости.

21. Как только слух об его кончине дошел до ахейцев, все города их охватило уныние и скорбь. Все способные носить оружие вместе с членами Совета собрались в Мегалополе, выбрали в стратеги Ликорта и, не откладывая мщения, вторглись в Мессению и опустошали страну до тех пор, пока мессенцы, по соглашению между собою, не впустили ахейцев в город. Динократ успел покончить с собою; что же касается остальных, то те, кто требовал казни Филопемена, должны были сами лишить себя жизни; а тех, кто советовал еще и пытать его, Ликорт арестовывал, чтобы они погибли в мучениях. Тело Филопемена ахейцы сожгли на месте, останки собрали в урну и отправились в обратный путь – не в беспорядке, не как попало, но соединив с погребением своего рода победную процессию. Вот какое зрелище можно было наблюдать. Ахейцы шли в венках, но в то же время плакали, врагов вели в оковах. Самую урну едва было видно из-за множества лент и венков; нес ее сын ахейского стратега Полибий, окруженный первыми ахейскими гражданами. За ними следовали воины в полном вооружении, на красиво убранных конях; они не были печальны, как следовало бы при такой скорби, но и не кичились победой. Жители городов и деревень, лежавших по дороге, выходили навстречу, как будто приветствуя Филопемена при возвращении из похода, касались урны и шли вместе с процессией в Мегалополь. К процессии присоединились старики, женщины и дети, и жалобные вопли их раздавались теперь по всему войску и доносились до самого города. Граждане жалели о Филопемене, горевали, думая, что вместе с ним они лишились первенства среди ахейцев. Он был похоронен с подобающей честью, и около его памятника были побиты камнями мессенские пленники. Много статуй его было воздвигнуто, много почестей было оказано ему по постановлению городов. Во время бедствий, которые испытывала Греция при разрушении Коринфа, один римлянин попытался все эти почести уничтожить и преследовать Филопемена судом, доказывая, словно тот был еще жив, что он был недругом

римлян, относился к ним враждебно. Были произнесены речи; обвинителю возражал Полибий; ни Муммий, ни послы[25] не решились лишить почестей такого славного мужа, хотя он часто шел против Тита и Мания. Как видно, они отделяли добродетель от выгоды, похвальное от полезного, держась убеждения, – правильного, похвального убеждения! – что получившие благодеяние всегда обязаны приносить благодарность своим благодетелям, что добродетельные люди должны чтить память людей добродетельных. Вот все, что мы знаем о Филопемене.



ТИТ

1. С Филопеменом мы можем сопоставить Тита Квинтия Фламинина, чья бронзовая статуя, если кто захочет знать, каков он был с виду, стоит в Риме, прямо против цирка, рядом с вывезенным из Карфагена большим Аполлоном; надпись на ней сделана по-гречески. Нравом, как рассказывают, он был горяч и не знал меры ни в гневе, ни в милости, но выражалось это по-разному: карал он мягко и не был злопамятен. В благодеяниях же, напротив, был неудержим и всегда благожелательно расположен к тем, кому оказал одолжение, как будто они сделали добро ему и составляют лучшее его приобретение, всегда готов прийти на помощь тем, кто прежде пользовался его услугами. Человек в высшей степени честолюбивый и жадный до славы, он хотел совершать благородные и великие подвиги сам, своими собственными силами; те, кто в нем нуждался, были ему более приятны, чем те, кто мог быть полезен ему самому, так как в первых он видел повод для проявления величия своей души, во вторых – как бы соперников в славе. С самого детства он воспитывался для военных трудов, ибо в ту пору Рим вел много больших войн, и молодых людей прежде всего учили искусству военачальника. Во время войны с Ганнибалом Тит сперва служил под началом консула Марцелла. Марцелл попал в засаду и погиб, а Тит был назначен правителем отбитого у врага Тарента и прославился своим правосудием не меньше, чем военными подвигами. За это его послали во главе переселенцев в два города, Нарнию и Коссу, и он был избран основателем колонии[1].

2. Это-то больше всего и побудило его, перешагнув через промежуточные, предназначенные для молодых должности – народного трибуна, претора и эдила, сразу счесть себя достойным консульства, и он вернулся в Рим, сопровождаемый преданными сторонниками из числа переселенцев. Народные трибуны Фульвий и Маний воспротивились его намерению, они считали чудовищным, чтобы молодой человек, еще не посвященный в первые таинства государственного управления, вопреки законам, силою домогался высшей должности. Тогда

сенат предоставил решить вопрос Народному собранию, и, хотя Титу не было еще тридцати лет[2], народ избрал его консулом вместе с Секстом Элием. Ему выпал жребий воевать с Филиппом и македонянами, и это было чудесной удачей для римлян, потому что для войны с этим народом им не нужен был полководец, во всем полагающийся лишь на силу, напротив – успеха скорее можно было добиться убеждением и переговорами. Македонская держава давала Филиппу достаточно войска для одного сражения, но в случае длительной войны все пополнение фаланги, снабжение деньгами и снаряжением, убежища, где можно было бы укрыться, зависели от греков, и если бы не удалось отрезать Грецию от Филиппа, судьба войны не решилась бы одним сражением. Ни разу до этого Греция не соприкасалась так близко с Римом и тогда впервые оказалась замешанной в его дела, и не будь римский полководец от природы человеком великодушным, чаще обращающимся к речам, чем к оружию, не будь он так убедителен в своих просьбах и так отзывчив к чужим просьбам, не будь он так настойчив, защищая справедливость, – Греция отнюдь не столь легко предпочла бы новую чужеземную власть прежней, привычной. Это станет ясным из рассказа о делах Тита.

3. Зная, что его предшественники – сначала Сульпиций, а потом Публий вторгались в Македонию и начинали военные действия слишком поздно, что они тратили время попусту, оспаривая у противника выгодные позиции и вступая с ним в мелкие стычки из-за дорог и подвоза провианта, Тит считал невозможным, следуя их примеру, провести год дома, принимая почести и занимаясь государственными делами, и лишь затем выступить в поход, выгадывая таким образом еще год власти: год он был бы консулом и год – главнокомандующим. Напротив, страстно желая использовать свою власть для войны, он отказался от почестей в Риме, испросил у сената позволение, чтобы его брат Луций отправился вместе с ним в должности начальника флота, выбрал из числа воинов, под командованием Сципиона победивших Гасдрубала в Испании и самого Ганнибала в Африке, тех, кто сохранил еще храбрость, крепость и силу, и с этим трехтысячным отрядом, образовавшим как бы ядро войска, благополучно переправился в Эпир. Публий уже долгое время стоял лагерем против Филиппа, который удерживал тесные проходы у реки Апсоса. Неприступность неприятельских позиций сковывала Публия, и Тит, приняв войско, отпустил Публия и велел разведать местность. Она была так же неприступна, как Темпы[3], но лишена тех прекрасных деревьев, зеленых лесов, приятных мест для отдыха и душистых лугов, какими славится долина Пенея. Высокие горы, поднимаясь с обеих сторон, образуют широкое и глубокое ущелье, по которому несется Апсос, стремительностью и всем своим видом напоминая Пеней, и заливает подошвы гор, оставляя только узкую каменистую тропу вдоль реки; по ней и так-то нелегко пройти войску, а если ее охраняют, то она и вовсе непроходима.

4. Некоторые советовали Титу повести войско безопасной и легкой дорогой в обход, через Дассаретиду к Лику. Но Тит опасался, что оказавшись вдали от моря в бесплодных и нищих краях, гонясь за Филиппом, уклоняющимся от сражения, он останется без хлеба и, подобно своему предшественнику, вынужден

будет отойти назад к морю, так ничего и не добившись, а потому решил силою проложить себе путь через горы. Но так как в ущелье засел со своей фалангой Филипп, на римлян со всех сторон полетели стрелы и копья, посыпались удары, завязались жестокие стычки, убитые падали с обеих сторон, и конца сражению не было видно. И тут к Титу явилось несколько тамошних пастухов. Они сообщили, что есть окольный путь, не замеченный врагами, и обещали провести римлян так, чтобы самое большее на третий день добраться до вершин. Свидетелем своей верности Риму и поручителем они назвали Харопа, сына Махата, первого человека в Эпире, сочувствовавшего римлянам и тайком – из страха перед Филиппом – им содействовавшего. Тит поверил ему и послал с проводниками одного из военных трибунов во главе четырех тысяч пеших и трехсот всадников. Их повели связанные по рукам пастухи. Днем воины укрывались в пещерах или в лесной чаще, ночью передвигались при свете луны (было как раз полнолуние). Отправив этот отряд, Тит дал всему войску двухдневный отдых и тревожил врага лишь незначительными перестрелками, а на заре того дня, когда посланные в обход должны были показаться на вершинах, разом двинул всю свою пехоту – и тяжелую и легкую. Разделив войско на три части, Тит под стрелами македонян сам повел выстроенные в колонну когорты вдоль реки к теснинам, преодолевая сопротивление врагов, а остальные два отряда одновременно по обе стороны от него упорно карабкались по круче, стараясь не отстать; между тем взошло солнце, и вдали показался легкий дымок, похожий на горный туман, но македоняне его не замечали, он поднимался у них за спиною над вершинами, уже захваченными неприятелем. Римляне еще в этом сомневались и среди трудностей сражения пока только надеялись на исполнение своих желаний. Когда же дым усилился и, затемняя воздух, поднялся большими клубами над всей местностью и стало очевидным, что огонь разведен руками друзей, римляне с воинственным кличем ринулись на врагов и с новыми силами стали теснить их к скалам, а те, кто был на вершинах, позади врага, отвечали им сверху таким же кличем.

5. Тотчас все македоняне обратились в стремительное бегство, но убитыми пало не более двух тысяч: пересеченная местность делала погоню невозможной. Римляне захватили деньги, палатки и рабов, овладели проходами в горах и двинулись через Эпир в строгом порядке. Их самообладание было так велико, что, находясь вдали от моря и своих кораблей, не получив месячного пайка и не имея возможности купить вдоволь хлеба, они тем не менее удержались от грабежа, хотя страна сулила богатую добычу. Дело в том, что Филипп, проходя через Фессалию, вел себя как беглец – угонял жителей из городов в горы, города жег, а имущество, брошенное жителями потому ли, что его было слишком много, или же потому, что оно было слишком тяжелым, отдавал своим воинам на разграбление, словно уже уступая страну римлянам. Узнав об этом, Тит загорелся честолюбием и стал убеждать солдат щадить страну, по которой они идут: ведь она отдана им и стала их собственностью. Скоро римляне смогли убедиться, какие преимущества дают им выдержка и порядок. Как только они подошли к Фессалии, ее города начали присоединяться к ним, греки к югу от Фермопил с нетерпением ждали Тита, чтобы вступить с ним в союз, ахейцы, разорвав согла-

шение с Филиппом, решили воевать против него на стороне римлян. Жители Опунта, которым этолийцы, в то время храбро сражавшиеся вместе с римлянами, предложили взять город под свою защиту, ответили отказом, послали за Титом и вверили ему свою судьбу. Рассказывают про Пирра, что, когда ему впервые пришлось наблюдать боевой порядок римских войск, он сказал, что строй этих варваров не кажется ему варварским; и у греков, впервые встречающихся с Титом, невольно вырывалось такое же восклицание. Ведь они от македонян слышали, что предводитель варварского войска разрушает все на своем пути и порабощает жителей силою оружия, и они были поражены, когда затем встретились с человеком молодых лет и приятной наружности, без всякого чужеземного выговора изъясняющимся по-гречески и стремящимся к истинной славе; очарованные, они возвращались к себе, без меры восхваляли Тита и говорили, что в нем они нашли борца за свою свободу. Когда, встретившись с Филиппом[4], пожелавшим вступить с ним в переговоры, Тит предложил ему мир и дружбу при условии, что тот вернет грекам независимость и выведет караульные отряды из греческих городов, а Филипп этого условия не принял, все, даже приверженцы Филиппа, поняли, что римляне пришли воевать не против Греции, а против Македонии за освобождение Греции.

6. Все греческие города без сопротивления переходили на сторону римлян. Когда же Тит мирно вступил в Беотию, ему навстречу вышли знатные фиванцы; хотя, благодаря усилиям Брахилла, они сочувствовали Македонии, Тита они приветствовали радушно и почтительно, давая понять, что дружественно относятся к обеим воюющим сторонам. Тит любезно их принял, ответил на приветствие и спокойно продолжал путь, то задавая им вопросы, то сам принимаясь рассказывать, чтобы выгадать время и дать воинам подтянуться после совершенного перехода. Так во главе своего отряда он вошел в город вместе с фиванцами, которым это было не по душе, но воспротивиться они не решились, потому что за Титом следовало значительное число воинов. И все же Тит выступил в Собрании и стал убеждать фиванцев принять сторону римлян, словно город уже и без того не был в его власти. Его поддерживал царь Аттал[5], но, видимо, желая предстать в глазах Тита как можно более красноречивым, он забыл о своих годах – во время речи у него то ли началось головокружение, то ли случился удар, и, внезапно лишившись чувств, он упал; вскоре его переправили морем в Азию, где он и умер. Беотийцы же присоединились к римлянам.

7. Филипп отправил в Рим послов, и Тит тоже послал от себя несколько человек просить сенат продлить срок его полномочий, если война затянется, а в случае отказа – позволить ему заключить мир: в своем крайнем честолюбии он боялся, что вместо него пришлют другого полководца и тем лишат его славы. Друзья Тита добились своего, и Филиппу было в его просьбах отказано, а за Титом оставлено предводительство в Македонской войне. Как только Тит получил постановление сената, он, полный надежд, тотчас двинулся на Филиппа в Фессалию с двадцатью шестью тысячами воинов, среди которых было шесть тысяч пеших и четыреста конных этолийцев. Приблизительно такими же силами располагал и Филипп. Двигаясь навстречу друг друга, они сошлись у Скотуссы, там

намереваясь дать решительное сражение; вопреки ожиданиям, воины не боялись близкого соседства с неприятелем, напротив, это исполняло их еще большей отвагой и решимостью, ибо римляне мечтали одолеть македонян, которые славились в Италии благодаря доблести и мощи Александра, а македоняне, ставя римлян выше персов, надеялись в случае победы вознести Филиппа превыше самого Александра. Тит призывал воинов быть особенно храбрыми и мужественными, ибо им предстоит сразиться с самым достойным противником на подмостках лучшего театра – на земле Эллады. Филипп тоже начал было речь, какую обыкновенно говорят, чтобы ободрить солдат перед битвой, но при этом, то ли случайно, то ли в неуместной спешке, взобрался, выйдя из лагеря, на холм, который служил могильной насыпью, и войско его, увидев в этом дурное предзнаменование, впало в глубокое уныние. Смутился и сам Филипп и переждал этот день, не начиная сражения.

8. На заре следующего дня после сырой и дождливой ночи облака сгустились в туман, и вся долина покрылась мраком, непроницаемая пелена, спустившаяся с гор, разделила лагери, так что даже с наступлением утра вся местность оставалась скрытой во мгле. Высланные с обеих сторон для засад и разведки воины вскоре столкнулись друг с другом и вступили в бой неподалеку от так называемых Киноскефал, получивших свое имя за сходство с собачьими головами[6], – частых островерхих холмов, тянущихся рядами друг подле друга. Как всегда бывает на пересеченной местности, бегство попеременно сменялось преследованием, и тем, кого теснили и кому приходилось отступать, оба полководца время от времени посылали подмогу, но лишь когда туман рассеялся и стало видно, что происходит, они ввели в бой все войска. На правом крыле преимущество было на стороне Филиппа, который бросил всю свою фалангу на римлян и погнал их вниз по склону холма, они не выдержали натиска сомкнутых щитов и силы удара сарисс. Оставив разбитое крыло, Тит быстро поскакал к другому, где неприятельский строй был растянут, и там напал на македонян, которым холмистая местность мешала образовать фалангу и сомкнуть на всю глубину ряды, что составляло главную силу их боевого порядка, ибо драться врукопашную они не могли из-за тяжелого, сковывающего движения оружия. Поистине фаланга напоминает могучего зверя: она неуязвима до тех пор, пока представляет собою единое тело, но если ее расчленить, каждый сражающийся лишается силы, потому что они сильны не каждый сам по себе, а взаимной поддержкой. Вскоре македоняне обратились в бегство, часть римлян начала преследовать бегущих, а остальные ударили во фланг тем, кто успешно сражался на правом крыле, и скоро опрокинули недавних победителей и заставили их бежать, бросая оружие. Пало не менее восьми тысяч человек, около пяти тысяч было взято в плен. Однако Филипп благополучно ушел, и в этом виноваты этолийцы, которые бросились грабить и разорять неприятельский лагерь, когда римляне еще преследовали разбитого врага, так что, вернувшись, римляне уже ничего для себя не нашли.

9. Это послужило началом раздоров и взаимных обвинений. Впоследствии этолийцы все больше и больше раздражали Тита, приписывая себе честь победы; они сумели так прославиться среди греков, что, воспевая или описывая это

событие, их первыми упоминали и поэты и люди, чуждые поэзии. Наибольшую известность приобрела следующая эпиграмма:

Здесь без могильных холмов, без надгробных рыданий, о путник,
Тридцать нас тысяч лежит на Фессалийской земле.
Нас этолийская доблесть повергла и храбрость латинян,
С Титом пришедших сюда от Италийских равнин.
Горе стране македонской! Сломилась надменность Филиппа,
С битвы, оленя быстрей, он, задыхаясь, бежал.

Эти строки написал Алкей; издеваясь над Филиппом, он сильно преувеличил число убитых; стихи повторяли все и повсюду, и это более огорчало Тита, нежели Филиппа. Филипп только посмеялся над Алкеем, ответив ему двустишием:

Здесь без коры, без листвы возвышается кол заостренный.
Путник, взгляни на него! Ждет он Алкея к себе.

Тит, старавшийся снискать добрую славу у греков, был этим в высшей степени возмущен. Поэтому в дальнейшем он действовал самостоятельно, не считаясь с этолийцами. Те были недовольны, и, когда Тит принял посольство македонян и начал переговоры о мире, этолийцы пустились по всем городам Греции, громогласно обвиняя Тита в том, что он продает Филиппу мир, тогда как в его силах выкорчевать с корнем войну и низвергнуть державу, впервые поработившую эллинский мир. Речи этолийцев смущали союзников римского народа, но Филипп сам уничтожил все подозрения, отдав себя и свое государство во власть Тита и римлян. Вот на каких условиях Тит заключил мир: он вернул Филиппу Македонское царство, но приказал ему не вмешиваться в дела Греции, наложил на него контрибуцию в тысячу талантов, отнял флот, оставив лишь десять кораблей, взял заложником одного из двух его сыновей, Деметрия, и отправил его в Рим. Тит не только наилучшим образом использовал сложившиеся обстоятельства, но и предвидел будущее: дело в том, что африканец Ганнибал, злейший враг римлян, находившийся в изгнании, был в ту пору при дворе царя Антиоха и побуждал его действовать, пока счастье благоприятствует его начинаниям. Антиох, за свои великие дела прозванный Великим, и сам думал о всемирном господстве и с особенной враждою взирал на римлян. И если бы Тит не принял всего этого в соображение и не выказал благоразумия, пойдя на заключение мира, к продолжающейся войне с Филиппом прибавилась бы война с Антиохом в Греции, эти в то время сильнейшие и могущественнейшие цари объединились бы для борьбы против Рима и римлянам снова пришлось бы пережить испытания и опасности не меньшие, чем в войне с Ганнибалом. Тит вовремя установил мир, разделивший две войны, и покончил с предыдущей, прежде чем началась следующая, тем самым лишив Филиппа его последней надежды, Антиоха – первой и главной.

10. Отряженное сенатом посольство из десяти человек предложило Титу дать независимость всей Греции, но оставить войска в Коринфе, Халкиде и Деметриаде[7], чтобы обезопасить себя от Антиоха, и тут этолийцы стали открыто возмущать города и громогласно обвинять Тита, требуя, чтобы он снял с Греции оковы (так Филипп называл вышеупомянутые города), и вопрошая греков, нравит-

ся ли им носить теперешние колодки, более гладкие, но гораздо более тяжелые, чем те, что они носили раньше, и по-прежнему ли они считают Тита своим благодетелем за то, что, развязав Греции ноги, он накинул веревку ей на шею. Тита жестоко удручали эти нападки, он долго убеждал сенат и, наконец, добился разрешения освободить от римских караульных отрядов и эти три города, чтобы милость, которую он оказал грекам, была действительно полной. И вот начались Истмийские игры, и на ристалище огромные толпы народа сидели и смотрели на гимнастические состязания – ведь Греция справляла этот праздник, положив конец многолетним войнам, во время прочного мира и в надежде на свое освобождение, – и вдруг при звуке трубы, призвавшей всех к молчанию, на середину вышел глашатай и объявил, что римский сенат и Тит Квинтий, главнокомандующий и консул[8], победив царя Филиппа и македонян, возвращают независимость и право жить по отеческим законам коринфянам, локрийцам, фокейцам, эвбейцам, ахейцам, жителям Фтии, Магнесии, Фессалии и Перребии, освобождают их от постоя войск и от податей. Однако на первый раз не все достаточно ясно расслышали слова глашатая, и среди собравшихся на ристалище поднялось волнение и шум: удивлялись, переспрашивали, требовали повторить; когда же восстановилась тишина и глашатай громко повторил сказанное, так что услышали все, раздался радостный крик такой невероятной силы, что он долетел до моря, весь театр встал, никому уже не было дела до состязаний, все рвались приветствовать спасителя и защитника Греции. Тут можно было наблюдать явление, которое часто приводят как пример огромной силы человеческого голоса: вороны, пролетавшие над толпой, упали на ристалище. Причина тому – разрыв воздуха, ибо когда раздается сильный и громкий звук, он разрывает воздух, который больше не может поддерживать летящих, и те словно проваливаются в пустоту и гибнут, падая на землю. Возможно, правда, что они падают, насмерть пораженные ударом, словно пронзенные стрелой. Возможно также, что в этих случаях возникает вращение воздуха, подобно тому, как сильное волнение на море рождает водовороты и стремительные отливы.

11. Если бы Тит, предвидя натиск толпы, не ушел сразу же по окончании игр, едва ли он уцелел бы, когда столько людей ринулось к нему одновременно со всех сторон. Но в конце концов они устали кричать, стоя перед его палаткой, и с наступлением ночи, поздравляя и обнимая по пути друзей и сограждан, отправились ужинать и пировать. За ужином, естественно, их ликование возрастало, они размышляли и разговаривали о судьбе Греции – о том, что в многочисленных войнах, которые она вела за свою свободу, ей никогда не удавалось достичь ничего более прочного и радостного, чем теперь, когда за нее сражались другие и когда она, почти не пролив собственной крови, без горя и забот получила самую прекрасную и желанную награду. Как ни редки в людях мужество и светлый ум, самая редкая из добродетелей – справедливость. Агесилаи, Лисандры, Никии, Алкивиады умели, разумеется, успешно вести войны, одерживать победы на суше и на море, но достойно использовать свои успехи на общее благо они не могли. И правда, за исключением Марафонской битвы, морского сражения при Саламине, Платей, Фермопил, побед Кимона при Эвримедонте и близ Кипра, Греция во всех сражениях воевала сама с собою, за собственное рабство,

и любой из ее трофеев может служить памятником ее беды и позора, потому что своим упадком она обязана главным образом низости и соперничеству своих вождей. Между тем чужеземцы, сохранившие, вероятно, лишь слабые искорки общего древнего родства, чужеземцы, от которых странно было ожидать даже доброго слова в пользу Греции, – эти люди понесли величайшие труды и опасности ради того, чтобы избавить Грецию от жестоких властителей и тираннов.

12. Вот что приходило на ум грекам; и дальнейшие события соответствовали объявленному на играх. Тит послал Лентула в Азию – вернуть свободу Баргилиям[9], а Стертиния во Фракию – вывести из городов и с островов караульные отряды Филиппа. Публий Виллий отплыл к Антиоху для переговоров об освобождении греков, находившихся под властью этого царя. Сам Тит направился в Халкиду, а затем поплыл в Магнесию; он выводил из городов войска и передавал управление народу. Избранный в Аргосе распорядителем Немейских игр, он устроил великолепные празднества и здесь снова через глашатая объявил свободу грекам. Объезжая города, Тит повсюду устанавливал закон и порядок, полное единомыслие и взаимное согласие, прекращал волнения и возвращал изгнанников, не меньше радуясь тому, что ему удается вразумить и примирить греков, чем своей победе над македонянами, так что само освобождение кажется самым незначительным из благодеяний, которые он оказал Греции. Рассказывают, что философа Ксенократа вели в тюрьму сборщики податей за неуплату налога с метэков[10], а оратор Ликург освободил его и наказал сборщиков за бесчинство; впоследствии Ксенократ встретил сыновей Ликурга и сказал им: "Юноши, я честно отплатил вашему отцу: весь мир хвалит его за то, что он сделал". Тит и римляне, однако, тем, что они сделали для греков, заслужили не только похвалу, но и приобрели всеобщее доверие и огромное влияние – и по справедливости. Римских наместников не только охотно принимали, но и сами приглашали их, им вверяли свою судьбу, и не только народы и города – даже цари, обиженные другими царями, искали защиты у римлян, так что в скором времени, вероятно, не без участия богов, все стало им подвластно. Сам Тит больше всего гордился тем, что дал Греции свободу. Он послал в Дельфы несколько серебряных щитов и свой собственный щит со следующей надписью:

Отпрыски юные Зевса и Спарты цари, Тиндариды,
Вы, чьи сердца веселит скачка ретивых коней!
Вам этот дар дорогой посылает потомок Энея
Тит. Он Эллады сынам снова свободу принес.

Он также посвятил Аполлону золотой венок с надписью:

Чтобы достойно твои благовонные кудри украсить,
Этот венец золотой сыну Латоны принес
Вождь Энеадов великий. Даруй же и ты, Стреловержец,
Титу, что равен богам, славу за доблесть его.

Случилось так, что дважды в Коринфе было оказано Греции одно и то же благодеяние. Да, именно, в Коринфе прежде Тит, а в наше время Нерон[11], снова на Истмийских играх, объявил грекам свободу и право жить по собственным законам; только первый, как мы говорили, – через глашатая, а Нерон – сам, в ре-

чи к народу, которую он произнес с помоста на рыночной площади. Но это было позднее.

13. В то время Тит начал славную и справедливую войну против Набида Спартанского, самого преступного и беззаконного из тираннов, однако в конечном счете он обманул надежды греков: он не захотел, хотя это было возможно, захватить тиранна в плен и заключил с ним мир[12], тем самым обрекши Спарту на недостойное рабство. То ли он боялся, что в случае длительной войны из Рима прибудет другой полководец и перенмет его славу, то ли ревновал к почестям, оказываемым Филопемену, самому выдающемуся человеку среди греков, который в этой войне показал чудеса смелости и ратного искусства, так что ахейцы превозносили его наравне с Титом и одинаково чествовали их в своих театрах. И это очень раздражало Тита, который считал для себя оскорбительным, что какой-то аркадянин, предводительствовавший лишь в незначительных войнах с соседями, пользуется таким же признанием, как римский консул, воюющий за Грецию. Как бы то ни было, сам Тит в оправдание своих действий говорил, что он предвидел страшные бедствия, которые повлечет за собою для всех спартанцев гибель тиранна, и потому прекратил войну. Ахейцы присудили Титу много почетных наград, но ничто, пожалуй, не было достойно его благодеяний, за исключением одного подарка, который доставил ему больше удовольствия, чем все остальные, вместе взятые.

А дело было вот в чем. Римляне, которые попали в плен во время войны с Ганнибалом, были обращены в рабство и распроданы кто куда. В Греции их насчитывалось до тысячи двухсот человек. Судьба их всегда вызывала жалость, но, разумеется, особенно в те дни, когда одни встречали своих сыновей, другие братьев, третьи домочадцев, когда рабы встречались со свободными и пленники с победителями. Тит не стал бы отбирать их у владельцев, хотя и был удручен их положением, но ахейцы выкупили их, уплатив по пяти мин за человека, собрали всех вместе и передали Титу уже перед самым отплытием, так что он отплыл домой с радостным чувством: его благородные дела получили благородное вознаграждение, достойное великого человека, любящего своих сограждан. Это придало особый блеск его триумфу. Эти люди обрили головы и надели войлочные шляпы, как полагается рабам, когда их отпускают на свободу, и в таком виде следовали за триумфальной колесницей Тита.

14. Удивительно красиво выглядела в праздничной процессии военная добыча – греческие шлемы, македонские щиты и сариссы. Денег тоже было немало: как сказано у Тудитана, в этом триумфальном шествии пронесли три тысячи семьсот тринадцать фунтов золота в слитках, сорок три тысячи двести семьдесят фунтов серебра и четырнадцать тысяч пятьсот четырнадцать золотых монет с изображением Филиппа; помимо этого, Филипп должен был заплатить еще тысячу талантов. Впоследствии, однако, римляне, главным образом благодаря настояниям Тита, согласились простить этот долг Филиппу, решили признать его союзником римского народа и вернули ему сына, которого взяли в заложники.

15. Когда же Антиох со множеством кораблей и большим войском переправился в Грецию и стал склонять города к отпадению и восстанию, этолийцы, ко-

торые уже давно относились к римлянам враждебно, содействовали ему в этом и посоветовали в качестве предлога и повода к войне избрать освобождение греков. Греки в этом не нуждались – ведь они уже были свободны, но более благовидную причину назвать было невозможно и потому этолийцы научили Антиоха воспользоваться этим самым прекрасным из всех слов. Римляне были очень испуганы вестями об отпадении греческих городов и о могуществе Антиоха и послали для ведения войны консула Мания Ацилия, легатом же при консуле в угоду грекам сделали Тита. Само присутствие Тита укрепило многих в верности Риму, для тех же, у кого появились первые признаки болезни, известность, которой он пользовался, оказалась чем-то вроде своевременно принятого лекарства, так что они исцелились и удержались от ошибок. Немногие все же остались глухи к его призывам, так как уже предались этолийцам и были совершенно развращены ими, но даже и их, несмотря на свое раздражение и ожесточение, Тит пощадил после битвы.

Как известно, Антиох потерпел поражение при Фермопилах, бежал и сразу же переправился в Азию, а консул Маний пошел против этолийцев и некоторые из их городов осадил сам, другие же оставил на разорение царю Филиппу. И вот, когда македоняне уводили в плен и грабили долопов, магнесийцев, афаманов и аперантов, а сам Маний, разрушив Гераклею, осаждал Навпакт, находившийся в руках этолийцев, Тит, полный жалости к грекам, приплыл к консулу из Пелопоннеса. Сначала он попенял Манию за то, что победу он одержал сам, а военную награду позволяет взять Филиппу и теперь, срывая злобу, теряет время, осаждая один город, тогда как македоняне покоряют целые народы и царства. Осажденные, увидев Тита со стен, громко звали его и с мольбою простирали к нему руки, и тогда он отвернулся, разразился слезами и ушел, не сказав ни слова. Однако потом он виделся с Манием, успокоил его гнев и уговорил заключить с этолийцами перемирие, чтобы они могли послать в Рим послов с просьбой о мире на умеренных условиях.

16. Но больше всех усилий и труда положил Тит на то, чтобы добиться у Мания прощения для халкидян. Консул был ожесточен против них за то, что в их городе уже после начала войны Антиох справлял свою свадьбу: престарелый царь, вопреки и возрасту своему и обстоятельствам, влюбился в очень молодую девушку, дочь Клеоптолема, славившуюся несравненной красотой. По этой причине халкидяне стали ревностными сторонниками царя и город их стал служить ему опорой во время войны. Бежав с поля сражения, Антиох прибыл в Халкиду и, взяв с собою молодую жену, сокровища и друзей, отплыл в Азию. Маний в гневе немедленно двинулся на халкидян; за ним следовал Тит, умоляя его смягчиться, и, наконец, убедил и успокоил его, обращаясь как к самому консулу, так и к другим влиятельным римлянам. Спасенные Титом халкидяне посвятили ему все самое прекрасное и величественное в своем городе. На многих зданиях и сейчас можно видеть такие надписи: "Этот гимнасий посвящен народом Титу и Гераклу"; или в другом месте: "Этот Дельфиний[13] посвящен народом Титу и Аполлону". Больше того, и по сию пору поднятием рук выбирают жреца – служителя Тита, приносят ему жертвы, совершают возлияния, а затем поют сложенный в его честь пэан. Он слишком длинен, и потому, опуская

остальное, мы приведем лишь заключительные стихи:

Верность великую римлян мы чтим,
Клянемся ее охранять.
Девы, воспойте
Зевса великого, римлян и Тита.
О, Пэан Аполлон! О, Тит избавитель!

17. Греки не только оказывали Титу подобающие почести, но делали это с полной искренностью, что объясняется исключительной любовью, вызванной его благожелательностью. Ибо даже если волею обстоятельств или из честолюбия он бывал с кем-нибудь в плохих отношениях, как, например, с Филопеменом или впоследствии с ахейским стратегом Диофаном, он никогда не доходил до ожесточения и никогда ничего не предпринимал, будучи во власти раздражения, но изливал свой гнев, открыто выступая в споре, как подобает государственному мужу. Он не был груб, хотя многим казался вспыльчивым и от природы непостоянным, в обхождении он был на редкость приятен, в разговоре остроумен и красноречив. Так, когда ахейцы хотели захватить остров Закинф, Тит, отговаривая их, сказал, что, как черепахе из панциря, им опасно высовывать голову за пределы Пелопоннеса. Когда они с Филиппом в первый раз встретились для переговоров о мире, на замечание царя, что Тит явился с большой свитой, тогда как он, Филипп, приехал один, Тит ответил: "Ты ведь сам сделал себя одиноким, убив своих друзей и родных"[14]. Когда мессенец Динократ, находясь в Риме, во время пирушки напился и плясал, надев женское платье, а на следующий день просил Тита поддержать его в намерении отделить Мессению от Ахейского союза, Тит сказал, что подумает об этом, но выразил удивление, как он может, занимаясь такими важными делами, плясать и петь на пирушке. Послы Антиоха рассказывали ахейцам о многочисленности царских войск, называя и перечисляя различные их подразделения, и Тит припомнил, как однажды, ужиная у приятеля, он упрекал хозяина за множество мясных блюд на его столе, удивляясь в то же время, откуда у него такое обилие разнообразной снеди, а тот ответил, что это все свинина, которая различается лишь приправами. "Так и вы, ахейцы, – сказал Тит, – не удивляйтесь, слыша о копейщиках, метателях дротиков и пешей гвардии. Это все сирийцы, которые различаются лишь вооружением".

18. После умиротворения Греции и окончания войны с Антиохом Тит был избран цензором – это высшая должность в Риме и в известном смысле вершина государственной деятельности. Вместе с ним в этой должности был сын Марцелла, пятикратного консула; цензоры исключили из сената четырех человек недостаточно знатного происхождения и приняли в число граждан всех, кто был рожден от свободных родителей. К этому их принудил народный трибун Теренций Кулеон, который, стремясь унизить знать, убедил Народное собрание проголосовать за эту меру.

Два самых знаменитых в Риме человека, имевших самое большое влияние на сограждан, Сципион Африканский и Марк Катон, враждовали друг с другом. Сципиона Тит поставил первым в списке сенаторов[15], видя в нем безупречного

человека, лучшего представителя своего сословия, с Катоном же он находился в неприязненных отношениях – и вот по какой причине. У Тита был брат Луций Фламинин, во всех отношениях че похожий на брата, особенно же – своим постыдным пристрастием к удовольствиям и полным презрением к приличиям. Луций держал мальчика-любовника и никогда не расставался с ним, даже командуя войском или управляя провинцией. Однажды на пиру этот мальчик, заигрывая с Луцием, сказал: "Я так тебя люблю, что упустил случай поглядеть на гладиаторские игры, хотя еще ни разу в жизни не видел, как убивают человека". Этим он желал доказать, что удовольствия Луция для него дороже его собственных. Восхищенный Луций сказал: "Не горюй, я исполню твое желание". Он велел привести из тюрьмы одного из приговоренных к смерти и, позвав ликтора, приказал отрубить человеку голову здесь же на пиру. Валерий Антиат, однако, пишет, что Луций сделал это в угоду не любовнику, а любовнице. По сообщению Ливия, в одной из речей самого Катона говорится, что к дверям Луция пришел перебежчик галл с женой и детьми, а Луций впустил его и собственноручно убил на пиру, желая угодить любовнику. Похоже, однако, что Катон преувеличивает, чтобы усугубить обвинение. Убитый был не перебежчик, а узник, приговоренный к смерти, как свидетельствуют многие, и среди них оратор Цицерон; в трактате "О старости"[16] он рассказывает об этом словами самого Катона.

19. И вот, когда Катон стал цензором и очищал сенат от недостойных, он исключил из него Луция Фламинина, хотя тот был ранее консулом и его бесчестие бросало тень и на Тита. Тогда оба брата, удрученные, с заплаканными глазами, пришли в Народное собрание с просьбой к гражданам, и, по-видимому, вполне справедливой, чтобы Катон объяснил причины и соображения, побудившие его нанести славному роду такую обиду. Не колеблясь, Катон выступил вперед вместе со вторым цензором и спросил Тита, знает ли он о том пире. Тит ответил, что не знает, и Катон рассказал об этом происшествии и предложил Луцию объявить перед судом, что́ именно в этом рассказе он считает ложным. Но Луций молчал, и народ, увидя, что он наказан по заслугам, с почетом проводил Катона домой. Тит был настолько задет несчастьем брата, что примкнул к тем, кто издавна ненавидел Катона, и, склонив сенат на свою сторону, расторг и отменил все заключенные Катоном арендные договоры и сделки по откупам. Кроме того, он часто выдвигал против него тяжкие обвинения в суде, и я не стану утверждать, что, непримиримо враждуя из-за своего недостойного родственника, понесшего заслуженное наказание, с прекрасным гражданином, строго исполняющим свой долг, Тит поступал, как порядочный человек или добрый гражданин. Тем не менее однажды, когда римляне смотрели представление в театре и сенаторы занимали, как обычно, свои почетные места в первых рядах, вдруг заметили Луция, грустно сидевшего где-то сзади и вызывавшего сострадание своим жалким видом; толпа не могла вынести этого зрелища и, призывая его пересесть, кричала до тех пор, пока прежние консулы не дали ему места среди них.

20. Пока природное честолюбие Тита находило себе выход в войнах, о которых мы рассказали, он пользовался уважением сограждан. Уже после консуль-

ства он снова служил в войске, теперь в должности военного трибуна, хотя в этом не было необходимости. Но когда, постарев, он отошел от дел, он часто слышал упреки за то, что, вступив в возраст, когда можно быть свободным от всяких забот, он, тем не менее, не может сдержать своей юношеской запальчивости и жажды славы. По-видимому, один из таких безудержных порывов привел к его столкновению с Ганнибалом, после чего он многим стал отвратителен. Ганнибал, тайно бежав из своего родного Карфагена, жил какое-то время у Антиоха, но когда Антиох после битвы во Фригии охотно принял условия мира, Ганнибал снова бежал и после долгих странствий нашел, наконец, пристанище в Вифинии, при дворе царя Прусия, и в Риме все об этом знали, но никто не обращал внимания на бывшего врага – бессильного, старого и оставленного счастьем. Однако Тит, посланный сенатом к Прусию по каким-то делам, увидел Ганнибала и разгневался, что этот человек все еще жив, и хотя Прусий неоднократно и горячо просил за изгнанника, нашедшего у него убежище, и своего друга, Тит не уступил. Говорят, что существовало древнее пророчество о кончине Ганнибала:

Ливийский край сокроет Ганнибала прах.

Сам Ганнибал считал, что здесь говорится о Ливии и о могиле в Карфагене, и верил, что там ему суждено умереть; но в Вифинии, недалеко от моря, есть место, подле которого расположено большое селение, называемое Ливиссой. Там и жил Ганнибал. Он никогда не доверял слабовольному Прусию и опасался римлян, а потому устроил семь подземных ходов, которые из его комнаты расходились под землей в разных направлениях и кончались тайными выходами вдали от дома. И вот, услышав о требовании Тита, он попробовал спастись, воспользовавшись подземным ходом, но повстречал царскую стражу и решил покончить с собой. Рассказывают, что, обернув плащ вокруг шеи, он велел рабу упереться коленом ему в ягодицы и, откинувшись назад как можно дальше, тянуть, пока он не задохнется. Другие же говорят, что Ганнибал выпил бычьей крови в подражание Фемистоклу и Мидасу[17]; но Ливий сообщает[18], что у него был яд, который он приказал растворить, и взял чашу со словами: "Снимем, наконец, тяжелую заботу с плеч римлян, которые считают слишком долгим и трудным дождаться смерти ненавистного им старика". Однако эта победа Тита ни у кого не возбудит зависти, она недостойна его предков, которые, воюя с Пирром[19] и терпя поражение, тайно предупредили царя, что его собираются отравить.

21. Таковы сведения о смерти Ганнибала. Когда это известие дошло до сената, многим из сенаторов поступок Тита показался отвратительным, бессмысленным и жестоким: он убил Ганнибала, которого оставили жить, подобно птице, слишком старой, уже бесхвостой, лишившейся диких повадок и неспособной больше летать, убил без всякой необходимости, лишь из тщеславного желания, чтобы его имя было связано с гибелью карфагенского вождя. Приводили в пример мягкость и великодушие Сципиона Африканского, особенно восхищаясь им за то, что, победив в Африке грозного и не знавшего ранее поражений Ганнибала, он не только не изгнал его из Карфагена и не потребовал у карфагенян его

выдачи, а напротив, еще до битвы встретившись с ним для переговоров, дружески приветствовал его, а после битвы, при заключении мира, ни в чем не унизил и не оскорбил врага, которому изменила удача. Рассказывают, что в Эфесе они встретились еще раз, и когда они вместе прогуливались, Ганнибал шел впереди, хотя почетное место более приличествовало Сципиону как победителю, но Сципион смолчал и шел как ни в чем не бывало. А потом он заговорил о полководцах, и Ганнибал объявил, что лучшим из полководцев был Александр, за ним Пирр, а третьим назвал себя. И тут Сципион, тихо улыбнувшись, спросил: "А что бы ты сказал, если бы я не победил тебя?"– на что Ганнибал ответил: "Тогда бы не третьим, а первым считал я себя среди полководцев". Большинство восхищалось поступками Сципиона и порицало Тита, который наложил руку на того, кого сразил другой.

Но были и такие, которые одобряли его действия, а Ганнибала, пока он жив, считали огнем, который стоит только раздуть: ведь и в молодые годы Ганнибала не тело его и не руки были страшны римлянам, но искусство и опытность в соединении с владевшими им злобой и ненавистью, которые не уменьшаются в старости, ибо природа человека остается неизменной, а судьба в своем непостоянстве всякий раз дразнит новыми надеждами и толкает к новым начинаниям того, кого ненависть сделала вечным врагом. Последующие события еще больше подтвердили правоту Тита, ибо, с одной стороны, Аристоник, отпрыск какого-то кифариста, злоупотребив славным именем Эвмена[20], ввергнул всю Азию в огонь войны и восстания[20], с другой – Митридат, хотя и был разбит Суллой и Фимбрией, потеряв без счета воинов и полководцев, вновь выступил грозным противником Лукулла на суше и на море. И все же Ганнибал никогда не был в таком унижении, как Гай Марий. Он до конца оставался другом царя, и дни его, как и прежде, были заняты плаваньем на судах, верховой ездой и заботами о войске, тогда как Марий, нищим странствуя по Африке, был в своих несчастьях посмешищем для римлян. Однако спустя немного времени он вернулся, и римляне под топорами и плетьми униженно молили о пощаде[21]. Итак, если заглянуть в будущее, ничто в настоящем не может считаться ни великим, ни малым, а превратностям судьбы приходит конец лишь одновременно со смертью. Вот почему некоторые утверждают, что Тит предпринял этот шаг не по собственной воле, но что посольство, в котором он участвовал, вместе с Луцием Сципионом, не имело иной цели, кроме убийства Ганнибала. Поскольку о дальнейшей военной или гражданской деятельности Тита мы ничего не знаем, а умер он мирною смертью[22], перейдем к сравнению.



[*Сопоставление*]

22(1). По значению благодеяний, оказанных Греции, ни Филопемен, ни многие иные, более славные, нежели Филопемен, не достойны сравнения с Титом, ибо они были греками, а воевали против греков, тогда как Тит не был греком, а воевал за Грецию. И в то время, когда Филопемен не стал защищать собственных сограждан от нападения врагов и уехал на Крит, в то самое время Тит одержал победу над Филиппом в сердце Греции и дал свободу всем ее народам и городам. Если внимательно проследить за сражениями, которые давал каждый из них, обнаружится, что ахейский полководец Филопемен погубил больше греков, чем заступник Греции Тит – македонян.

Что до их ошибок, то у одного они были следствием честолюбия, у другого же – упрямства, один был вспыльчив, другой к тому же злопамятен. В самом деле, Тит сохранил Филиппу царское достоинство и оказал милость этолийцам, тогда как злоба Филопемена заставила его отнять у своего родного города близлежащие селения. И далее, один был всегда неизменно благосклонен к тем, кому однажды сделал добро, тогда как другой во власти гнева в любой момент способен был отказать в своем расположении. Так, хотя Филопемен и был благодетелем Спарты, он после этого разрушил ее стены, уменьшил ее владения и, наконец, изменил и уничтожил самые законы города. По-видимому, и погиб он, принеся свою жизнь в жертву раздражению и соперничеству, потому что вторгся в Мессению раньше, чем позволили обстоятельства, и быстрее, чем было возможно. Ибо на войне он руководствовался, подобно Титу, голосом рассудка и требованиями безопасности.

23(2). Но, конечно, число войн и побед Филопемена дало ему больший военный опыт. Борьба Тита против Филиппа решилась в двух сражениях, тогда как Филопемен одерживал победы в бесчисленных битвах, и нет ни малейшего сомнения в том, что своими успехами он обязан не удаче, а собственному умению. И, кроме того, Тит обязан своими успехами могуществу Рима, находившемуся в расцвете, тогда как Филопемен прославился, когда Греция была уже в упадке, и поэтому успех Филопемена был делом его собственных рук, а успех Тита достигнут усилиями многих. У Тита под командой были хорошие воины, тогда как Филопемен, командуя, сам сделал своих солдат хорошими. И то, что Филопемен побеждал греков, служит убедительным, хотя и печальным доказательством его мужества, потому что там, где все прочие условия равны, победителем выходит более мужественный. Филопемен боролся с наиболее воинственными из греков, а именно с критянами и лакедемонянами, и превзошел первых в хитрости, хоть они были самыми коварными, а вторых, хоть они и были самыми храбрыми, – отвагой. Еще следует сказать, что Тит одержал свои победы, используя вооружение и боевой строй, которые существовали и до него, тогда как Филопемен вводил новые и изменял старые порядки, и все, что обеспечивало ему победу, он создавал сам, тогда как первый пользовался готовыми средствами.

Филопемен дал высокие образцы личной храбрости, а Тит не проявил ее вовсе, и один этолиец, Архедем, даже высмеивал его за то, что когда он, Архедем,

выхватил меч и бросился на сомкнутый строй македонян, Тит стоял, воздев руки к небу и молил богов о помощи.

24(3). Далее, все свои славные дела Тит совершил, облеченный властью либо полководца, либо посла, в то время как Филопемен, будучи простым гражданином, обнаружил не меньше предприимчивости и принес не меньше пользы, чем в ту пору, когда был полководцем. Он был простым гражданином, когда изгнал Набида из Мессении и освободил мессенцев, когда закрыл ворота Спарты при приближении стратега Диофана и Тита и этим спас лакедемонян. Обладая природным даром вождя, он не только умел использовать этот дар в согласии с законами, но – ради общего блага – и вопреки законам; он не ждал, чтобы народ вручил ему власть, но всякий раз брал ее сам, когда того требовали обстоятельства, полагая, что человек, который принимает на себя заботу о других, – их настоящий полководец, и даже с большим основанием, чем если бы он был ими выбран. Велико благородство Тита, сказавшееся в той человечности и мягкости, которые он проявил к грекам, но еще более велико благородство Филопемена, сказавшееся в его неистребимой любви к свободе, с которою он противостоял римлянам, ибо легче оказывать милость просителю, чем ожесточать сопротивлением тех, кто сильнее тебя.

Итак, путем сравнения трудно установить, каково между ними различие, а потому пусть читатель судит сам, не сделаем ли мы ошибки, если присудим греку венок за военное искусство и талант полководца, а римлянину – за справедливость и сердечную доброту.





ПИРР И ГАЙ МАРИЙ

ПИРР

1. Предание гласит, что после потопа первым царем молоссов и феспротов был Фаэтонт, один из тех, кто пришел в Эпир вместе с Пеласгом, но есть и другой рассказ: среди молоссов поселились Девкалион и Пирра, основавшие святилище в Додоне. Много спустя Неоптолем, сын Ахилла, явился сюда во главе своего племени, захватил страну и положил начало царской династии Пирридов, носивших это имя потому, что и сам Неоптолем прозывался в детстве Пирром, и одного из своих сыновей, рожденных от Ланассы, дочери Клеодема, сына Гилла, назвал Пирром. С этих пор там чтут наравне с богами и Ахилла, называя его на местном наречии Аспетом. Однако при преемниках первых царей их род захирел, впал в варварство и утратил былую власть, и только Таррип, как сообщают, просветил государство эллинскими обычаями и ученостью, впервые дал ему человеколюбивые законы и тем прославил свое имя. У Таррипа был сын Алкет, у Алкета – Ариибб, у Ариибба и Троады – Эакид. Последний был женат на Фтии, дочери фессалийца Менона, который стяжал славу во время Ламийской войны и, после Леосфена, пользовался среди союзников наибольшим почетом. У Эакида и Фтии родились дочери Деидамия и Троада и сын Пирр.

2. Когда восставшие молоссы изгнали Эакида[1] и возвели на престол детей Неоптолема, а приверженцев Эакида захватили и убили, Андроклид и Ангел бежали, тайно увезя мальчика Пирра, которого уже разыскивали враги. Однако им пришлось взять с собой нескольких рабов и женщин, чтобы ходить за ребенком, и это настолько затруднило и замедлило бегство, что погоня уже настигала их, и тогда они передали мальчика Андроклиону, Гиппию и Неандру, юношам верным и сильным, приказав им бежать что есть духу и остановиться в македонском городке Мегары, сами же то просьбами, то силой оружия до вечера удерживали преследователей, и едва только те повернули вспять, поспешили догнать своих спутников, увозивших Пирра. Солнце уже село, и беглецы обрели было надежду на близкое спасение, но тут же ее утратили: перед ними оказалась протекавшая около города река, бурная и грозная, недоступная для переправы; ее мутные воды вздулись от выпавших дождей, и во мраке она казалась особенно ужасной. Андроклид и его спутники поняли, что собственными силами им с ребенком и женщинами никак не переправиться, и, увидев за рекой каких-то местных жителей, стали громко кричать, показывая им Пирра и умоляя помочь перебраться на другой берег. Но шум и грохот потока заглушал голоса, и кричавшие лишь теряли время впустую, потому что люди на той стороне их не слышали. Наконец кто-то, догадавшись, сорвал кору с дубка, нацарапал на ней

иглою записку, в которой рассказал об их положении и о судьбе мальчика, и, завернув в кору камень, чтобы придать ей устойчивость в полете, перебросил ее через реку; другие рассказывают, что корой обернули дротик и метнули его на тот берег. Когда люди, стоявшие по ту сторону, прочли записку и поняли, что время не терпит, они принялись рубить деревья и, связав их, переправились через поток. И случилось так, что первым переправился и принял Пирра человек по имени Ахилл. Остальных, – кому кого пришлось, – перевезли прочие местные жители.

3. Ускользнув таким образом от преследования и очутившись вне опасности, беглецы прибыли в Иллирию, в дом к царю Главкию, и там, увидев царя, сидевшего вместе с женой, они положили ребенка на пол посреди покоя. Царь* ... в нерешительности, он боялся Кассандра – врага Эакида, и потому долго молчал, размышляя. В это время Пирр сам подполз к нему и, схватившись ручонками за полы его плаща, приподнялся, дотянулся до колен Главкия, улыбнулся, а потом заплакал, словно проситель, со слезами умоляющий о чем-то. Другие говорят, что младенец приблизился не к Главкию, а к алтарю богов, и, обхватив его руками, встал на ноги. Главкию это показалось изъявлением воли богов, и он тотчас поручил ребенка жене, приказав ей воспитать его вместе с их собственными детьми, и когда спустя некоторое время враги потребовали отдать им мальчика, а Кассандр даже предлагал за него двадцать талантов, он не выдал Пирра, более того, когда Пирру исполнилось двенадцать лет, Главкий с войском явился в Эпир и вернул своему воспитаннику престол.

Лицо у Пирра было царственное, но выражение лица скорее пугающее, нежели величавое. Зубы у него не отделялись друг от друга: вся верхняя челюсть состояла из одной сплошной кости, и промежутки между зубами были намечены лишь тоненькими бороздками. Верили, что Пирр может доставить облегчение страдающим болезнью селезенки, стоит ему только принести в жертву белого петуха и его правой лапкой несколько раз легонько надавить на живот лежащего навзничь больного. И ни один человек, даже самый бедный и незнатный, не встречал у него отказа, если просил о таком лечении: Пирр брал петуха и приносил его в жертву, и такая просьба была для него самым приятным даром. Говорят еще, что большой палец одной его ноги обладал сверхъестественными свойствами, так что, когда после его кончины все тело сгорело на погребальном костре, этот палец был найден целым и невредимым. Но это относится к временам более поздним.

4. Когда Пирру исполнилось семнадцать лет, он, считая, что власть его достаточно крепка, отправился за пределы своей страны, чтобы взять в жены одну из дочерей Главкия, вместе с которыми он воспитывался. Тогда молоссы снова восстали, изгнали его приверженцев, разграбили имущество и призвали на царство Неоптолема. А Пирр, утратив власть и лишившись всего своего достояния, примкнул к Деметрию, сыну Антигона, женатому на его сестре Деидамии. Она еще девочкой была просватана за Александра, сына Роксаны, но когда дело Александра и его матери оказалось проигранным, ее, уже созревшую для брака,

* Текст в оригинале испорчен.

взял в жены Деметрий. В большой битве при Ипсе, где сражались все цари, Пирр, в ту пору еще совсем юный, принял участие на стороне Деметрия и отличился в этом бою, обратив противников в бегство. Когда же Деметрий потерпел поражение, Пирр не покинул его, но сперва по его поручению охранял города Эллады, а после заключения перемирия был отправлен заложником к Птолемею в Египет. Там на охотах и в гимнасиях он сумел показать Птолемею свою силу и выносливость, но особенно старался угодить Беренике, так как видел, что она, превосходя остальных жен Птолемея добродетелью и разумом, пользуется у царя наибольшим влиянием. Пирр умел войти в доверие к самым знатным людям, которые могли быть ему полезны, а к низшим относился с презрением, жизнь вел умеренную и целомудренную, и потому среди многих юношей царского рода ему оказали предпочтение и отдали ему в жены Антигону, дочь Береники, которую она родила от Филиппа[2] еще до того, как вышла за Птолемея. (5). После женитьбы Пирр стяжал себе еще более громкое имя, да и Антигона была ему хорошей женой, и потому он добился, чтобы его, снабдив деньгами, отправили с войском в Эпир отвоевать себе царство. Там многие были рады его приходу, ибо ненавидели Неоптолема за его жестокое и беззаконное правление. Все же опасаясь, как бы Неоптолем не обратился за помощью к кому-нибудь из царей, Пирр прекратил военные действия и по-дружески договорился с ним о совместной власти.

Однако с течением времени нашлись люди, которые стали тайно разжигать их взаимную неприязнь и подозрения. И нашлась причина, более всех прочих побудившая Пирра действовать. По старинному обычаю цари, совершая в молосском городе Пассароне жертвоприношение Аресу и Зевсу, присягают эпиротам, что будут править согласно законам, и в свою очередь принимают от подданных присягу, что те будут согласно законам охранять царскую власть. Пока длился этот обряд, оба царя с многочисленными приближенными проводили время вместе, обмениваясь щедрыми дарами. Гелон, которому Неоптолем особенно доверял, дружелюбно приветствовал Пирра и подарил ему две упряжки подъяремных быков. Их попросил у Пирра Миртил, один из виночерпиев, а когда царь отказал ему и отдал быков другому, Миртил был жестоко оскорблен. Его обида не укрылась от Гелона, который, как говорят, пригласил этого цветущего юношу на пир и, за вином овладев им, принялся уговаривать перейти на сторону Неоптолема и извести Пирра ядом. Миртил сделал вид, будто одобряет замыслы Гелона и поддается на уговоры, а сам сообщил обо всем Пирру. По его приказу он представил Гелону и начальника виночерпиев Алексикрата, готового якобы примкнуть к их заговору. Пирр хотел иметь как можно больше улик готовящегося злодеяния. Так был обманут Гелон, а вместе с ним и Неоптолем, который, полагая, что идет прямой дорогой к осуществлению своего умысла, не сдержался и на радостях открыл его приближенным. Кроме того, на пиру у своей сестры Кадмеи он все выболтал ей, думая, что ни один человек их не слышит, ибо рядом с ними не было никого кроме Фенареты, жены Самона, ведавшего стадами и пастбищами Неоптолема, которая, казалось, спала на своем ложе, отвернувшись к стене. Но она все слышала и, тайком придя на следующий день к Антигоне, жене Пирра, пересказала ей все, что Неоптолем говорил сест-

ре. Узнав об этом, Пирр поначалу не подал виду, но во время празднества пригласил Неоптолема на пир и убил его, зная, что это одобрят самые могущественные эпироты, которые еще раньше призывали его устранить Неоптолема и не довольствоваться долее принадлежащей ему частицей власти, не пренебрегать своими природными способностями, но обратиться к великим делам, а Неоптолема уничтожить при первом же подозрении, не дав ему времени что-либо предпринять.

6. Помня о Беренике и Птолемее, Пирр назвал сына, которого родила ему Антигона, Птолемеем, а городу, основанному на Эпирском полуострове, дал название Береникида.

С тех пор он питал в душе много великих замыслов, однако больше всего надежд сулило ему вмешательство в дела соседей-македонян, для которого он нашел вот какой предлог. Антипатр, старший сын Кассандра, убил свою мать Фессалонику и изгнал брата Александра. Тот отправил послов к Деметрию с просьбой о помощи и одновременно призвал Пирра. Деметрий, занятый другими делами, замешкался, а Пирр тотчас явился и потребовал в награду за союз Стимфею и Паравею, подвластные македонянам, а также Амбракию, Акарнанию и Амфилохию, принадлежавшие покоренным ими народам. Когда юноша согласился, Пирр захватил эти области, оставил в них свои гарнизоны, а остальные владения, отобрав у Антипатра, вернул Александру. Царь Лисимах хотел помочь Антипатру, но, отвлекаемый другими делами и зная, что Пирр не пожелает оказаться неблагодарным и ни в чем не откажет Птолемею, послал Пирру от имени Птолемея подложное письмо с требованием прекратить войну, взяв у Антипатра тридцать талантов. Вскрыв письмо, Пирр тотчас разгадал обман: в письме стояло не обычное обращение – "Отец приветствует сына", а другое – "Царь Птолемей приветствует царя Пирра". Выбранив Лисимаха, он тем не менее заключил мир и встретился с ним и Антипатром, чтобы скрепить договор жертвоприношением и клятвой. Когда привели барана, быка и кабана, баран неожиданно околел; все засмеялись, а предсказатель Феодот запретил Пирру клясться, объявив, что божество возвещает смерть одному из трех царей. Так Пирр отказался от мирного договора. (7) Деметрий прибыл, когда дела Александра были улажены и тот в нем уже не нуждался. Он лишь испугал Александра, а пробыв несколько дней вместе, оба прониклись взаимным недоверием и стали строить друг другу козни. Деметрию первому представился удобный случай, он умертвил юношу и был провозглашен царем Македонии.

У Деметрия и раньше были разногласия с Пирром, который уже совершил несколько набегов на Фессалию и чья алчность – врожденный порок всех самодержцев – делала соседство с ним опасным и беспокойным, особенно после смерти Деидамии. Когда же Пирр и Деметрий, поделив Македонию, столкнулись, поводов для раздора стало еще больше, и, наконец, Деметрий, завершив поход на этолийцев, разбив их и оставив в Этолии большие силы во главе с Пантавхом, сам выступил против Пирра, который, узнав об этом, двинулся ему навстречу. Однако оба сбились с пути и разминулись; Деметрий вторгся в Эпир и разграбил его, а Пирр напал на Пантавха и завязал с ним бой. Ожесточенно бились в этом сражении воины, но еще ожесточенней – полководцы. Пантавх, с

которым, по общему признанию, ни один из военачальников Деметрия не мог сравниться ни храбростью, ни силой, ни крепостью тела, с присущей ему дерзостью и высокомерием взывал Пирра на поединок, а тот, не желая никому из царей уступать в мужестве и стремясь, чтобы слава Ахилла досталась ему по заслугам, а не в наследство от предков, прошел через первый ряд своих воинов и выступил навстречу Пантавху. Сперва они метнули друг в друга копья, а потом, сойдясь врукопашную, бились на мечах столь же упорно, сколь и умело. Пирр получил одну рану, а сам ранил противника дважды – один раз в бедро, другой в шею – и свалил его, но умертвить не смог, так как друзья отбили Пантавха и унесли. Эпироты, ободренные победой своего царя и дивившиеся его доблести, прорвали своим натиском строй македонян, бросились преследовать бегущих и многих убили, а пять тысяч взяли в плен.

8. Этот поединок и поражение, нанесенное македонянам, не столько разгневали их и вызвали ненависть к Пирру, сколько умножили его славу и внушили свидетелям и участникам битвы восхищение его доблестью. О нем много говорили и считали, что и внешностью своей, и быстротой движений он напоминает Александра, а видя его силу и натиск в бою, все думали, будто перед ними – тень Александра или его подобие, и если остальные цари доказывали свое сходство с Александром лишь пурпурными облачениями, свитой, наклоном головы[3] да высокомерным тоном, то Пирр доказал его с оружием в руках. О его познаниях и способностях в военном деле можно судить по сочинениям на эту тему, которые он оставил. Рассказывают, что на вопрос, кого он считает лучшим полководцем, Антигон ответил (говоря лишь о своих современниках): «Пирра, если он доживет до старости». А Ганнибал утверждал, что опытом и талантом Пирр превосходит вообще всех полководцев, второе место отводил Сципиону, а третье – себе, как мы рассказали в жизнеописании Сципиона[4]. Судя по всему, Пирр занимался одним военным делом и только в него углублялся, считая, что лишь это пристало знать царю, и совершенно не ценя всякую иную образованность. Говорят, что как-то на пиру ему задали вопрос: какой флейтист кажется ему лучше. Пифон или Кафисий? Он же отвечал: «Полководец Полисперхонт, ибо царю пристойно знать и рассуждать только о ратном искусстве». К приближенным Пирр был благосклонен, не гневлив и всегда готов немедля оказать друзьям благодеяние. Когда умер Аэроп, он был очень огорчен его смертью и, говоря, что того постиг конец, неизбежный для всех людей, бранил и упрекал себя за то, что вечно собираясь и откладывая, та́к и не успел оказать ему свои милости. Ведь долги можно вернуть даже наследнику заимодавца, но не воздать благодетелю, пока тот жив и в состоянии оценить это, невыносимо для человека честного и справедливого. Однажды в Амбракии кто-то ругал и позорил Пирра, и все считали, что нужно отправить виновного в изгнание, но Пирр сказал: «Пусть лучше остается на месте и бранит нас перед немногими людьми, чем, странствуя, позорит перед всем светом». Как-то раз уличили юношей, поносивших его во время попойки, и Пирр спросил, правда ли, что они вели такие разговоры. Один из них ответил: «Все правда, царь. Мы бы еще больше наговорили, если бы у нас было побольше вина». Пирр рассмеялся и всех отпустил.

9. После смерти Антигоны он женился еще не раз и всегда из расчета, желая расширить свои владения. Он был женат на дочери Автолеонта, царя пэонийцев, на Биркенне, дочери Бардиллия, царя иллирийцев, и на Ланассе, дочери Агафокла Сиракузского, которая принесла ему в приданое захваченный Агафоклом город Керкиру. От Антигоны у него был сын Птолемей, от Ланассы – Александр, а от Биркенны – Гелен, самый младший. Всех их он с самого рождения закалял для будущих битв и воспитал храбрыми и пылкими в бою. Говорят, что один из них в детстве спросил отца, кому он оставит царство, и Пирр отвечал: «Тому из вас, у кого будет самый острый меч». Это ничем не отличается от проклятия из трагедии: пусть братья

Мечом двуострым делят меж собою дом[5].

Вот к каким чудовищным раздорам ведет жажда власти!

10. После битвы Пирр вернулся домой, ликуя и блистая славой. Эпироты дали ему прозвище Орел, и от отвечал: «Благодаря вам я сделался орлом. Да и как же иначе? Ведь ваше оружие, словно крылья, вознесло меня ввысь!» Спустя недолгое время, узнав о тяжелой болезни Деметрия, он внезапно вторгся в Македонию и, хотя это был лишь набег ради добычи, чуть было не овладел всей страной и не захватил без боя целое царство: вплоть до самой Эдессы он прошел, не встречая сопротивления, причем многие присоединялись к нему и вместе с ним выступали в поход. Опасность заставила Деметрия подняться и вернула ему силы, а его приближенные и военачальники, за короткий срок собрав большое войско, решительно и быстро двинулись навстречу Пирру. А тот, явившийся с намерением всего лишь пограбить, не мешкая пустился в бегство, по дороге потеряв под ударами македонян часть своего войска. В короткий срок легко изгнав Пирра из страны, Деметрий на этом не успокоился, но задумал большой поход, собрал стотысячное войско и снарядил флот из пятисот кораблей, чтобы вернуть себе отцовское царство[6]. Поставив такую цель, он не желал ни тратить силы, сражаясь с Пирром, ни оставлять у границ Македонии такого опасного и докучного соседа, а потому, не имея возможности продолжать военные действия против Пирра, решил сперва заключить с ним мир, а затем обратиться против других царей.

Когда соглашение было заключено, а замыслы Деметрия и размеры подготовленных им сил стали известны всем, напуганные цари стали посылать к Пирру вестников и писать ему, что они, мол, удивляются, почему он упускает удобный для войны момент и ждет, когда такой момент представится Деметрию, почему не воспользуется возможностью изгнать его из Македонии, пока он занят делами и тесним со всех сторон, почему медлит, пока тот не развяжет себе руки и не умножит силы настолько, что молоссам придется сражаться на своей земле за святилища и могилы отцов: ведь враг уже отнял у него Керкиру вместе с женой. Дело в том, что Ланасса, часто упрекавшая Пирра за то, что он больше привязан к женам-варваркам, чем к ней, удалилась в Керкиру и, желая вступить в брак с другим царем, призвала Деметрия, который, как она знала, был более других царей охоч до женщин. Деметрий приплыл в Керкиру, сошелся с Ланассой и поставил в городе гарнизон.

11. Посылая Пирру такие письма, цари, пока Деметрий собирался и готовился, сами двинулись на него войной. Птолемей приплыл с большим флотом и стал подстрекать греческие города к отпадению, а Лисимах, вторгшись из Фракии в Верхнюю Македонию, разорял ее. Одновременно с ними Пирр пошел на Берою, полагая – и совершенно справедливо, – что Деметрий, выступив против Лисимаха, оставил без защиты Нижнюю Македонию. В ту ночь Пирру приснилось, будто его зовет Александр Великий; приблизившись, он увидел, что царь не в силах подняться с ложа, однако обращается к нему с ласковой и дружелюбной речью и обещает немедля помочь. Когда же он осмелился спросить: «Как ты, царь, сможешь помочь мне? Ведь ты болен!» – Александр ответил: «Одним моим именем» – и, сев верхом на нисейского коня[7] поехал впереди Пирра. Ободренный этим сновидением, Пирр, не теряя времени, быстро прошел все расстояние до Берои, занял город и там остановился с большею частью войска, а остальные города захватили его полководцы. Услышав об этом и узнав, что недовольные македоняне в его лагере стали роптать, Деметрий побоялся вести их дальше, чтобы они не перебежали к прославленному царю, македонянину по рождению[8], когда окажутся поблизости от него. Потому он повернул вспять и повел их на Пирра – чужестранца, ненавистного македонянам. Однако когда он разбил свой лагерь неподалеку от Пиррова войска, из Берои явилось множество людей, и все восхваляли Пирра – знаменитого, непобедимого в сражениях и в то же время милостивого и благосклонного к тем, кто оказывался под его властью. А некоторые, подосланные Пирром и выдававшие себя за македонян, говорили, что настало время избавиться от жестокости Деметрия и перейти на сторону Пирра, друга воинов и простого народа. И вот, подстрекаемые такими речами, многие македоняне стали искать и высматривать Пирра: он в это время был как раз без шлема, и они смогли узнать его только когда он, сообразив, что происходит, снова надел свой знаменитый шлем с султаном и козлиными рогами. Сбежавшись к нему, иные македоняне стали спрашивать у него пароль[9], а иные увенчали себя свежими ветвями дуба, ибо видели, что многие приближенные Пирра носят такие же венки. Нашлись и такие, кто осмелился заявить Деметрию в лицо, что по их мнению, он поступит разумно, если все бросит и откажется от власти. Видя, что это не пустые слова и что им полностью отвечает настроение в лагере, Деметрий испугался и тайком бежал, надев широкополую шляпу и накинув простой плащ. Пирр двинулся на лагерь, без боя занял его и был провозглашен царем македонским. (12) Когда появился Лисимах и, считая разгром Деметрия общей заслугой, стал требовать у Пирра раздела власти, тот принял его предложение, потому что, сомневаясь в македонянах, не мог твердо на них положиться, и цари поделили между собою страну и города.

Сперва это решение послужило им на пользу и прекратило войну, но вскоре оба убедились, что раздел власти стал для них не концом вражды, а лишь источником распрей и взаимных обвинений. Да и как же те, для чьей алчности не служат пределом ни море, ни горы, ни безлюдная пустыня, чьи вожделения не останавливаются перед границами, отделяющими Европу от Азии, как могут они довольствоваться тем, что имеют, и не посягать друг на друга, когда их владения соседствуют и соприкасаются между собой? Коварство и зависть, присущие

им от природы, всегда побуждают их воевать, и, смотря по обстоятельствам, они пользуются словом “мир” или “война”, будто разменной монетой, не во имя справедливости, а ради собственной выгоды. И лучше, когда они воюют открыто и не говорят о дружбе и справедливости, между тем как сами воздерживаются лишь от прямого и явного нарушения права. Все это Пирр ясно доказал на деле: желая помешать и воспрепятствовать Деметрию, вновь крепнувшему и набиравшемуся сил, точно после тяжелой болезни, он явился в Афины, чтобы оказать помощь грекам. Поднявшись на акрополь, он принес жертвы Афине и в тот же день, сойдя вниз, объявил народу, что доволен его расположением и верностью и что афиняне, если они в здравом уме, уже не впустят в город никого из царей и ни перед кем не раскроют ворота. Затем Пирр заключил мир с Деметрием, но вскоре, когда тот отправился воевать в Азию, он по совету Лисимаха стал побуждать Фессалию к отпадению и тревожить набегами греческие гарнизоны, используя отряды македонян, которые были надежнее в походе, чем на отдыхе; впрочем, и сам он не был рожден для мирной жизни. После поражения Деметрия в Сирии Лисимах, избавленный от постоянной заботы и тревоги, двинулся, наконец, на Пирра, который стоял лагерем под Эдессой. Сперва он напал на обозы, подвозившие продовольствие, захватил их и этим вызвал в войске Пирра голод, затем письмами и речами побудил знатнейших македонян к измене, пристыдив их за то, что они поставили над собой господином чужестранца, чьи предки всегда были рабами македонян, а друзей и ближайших соратников Александра изгнали из Македонии. Когда многие склонились на уговоры Лисимаха, Пирр, испугавшись, ушел с войсками эпиротов и союзников, потеряв Македонию так же, как прежде приобрел. Значит, цари не имеют оснований обвинять народ, что он всегда на стороне того, с кем выгодней идти: ведь, поступая так, народ лишь подражает им, подлинным наставникам в вероломстве и предательстве, верящим, что наиболее преуспевает тот, кто меньше всего считается с правом.

13. Тут судьба дала Пирру, изгнанному в Эпир и потерявшему Македонию, возможность спокойно владеть тем, что он имел, и мирно править своими эпиротами. Однако он тяготился такой жизнью и скучал, когда сам не чинил никому зла и ему никто не доставлял хлопот. Словно Ахилл[10], он,

сокрушающий сердце печалью,
Праздный сидел, но душою алкал он и боя, и брани.

И вот, ему, томящемуся в ожидании счастливого случая, представилась новая возможность действовать.

Римляне напали на тарентинцев. У тех не было сил вести войну, но бесчестная дерзость вожаков народа не давала им сложить оружие, и тогда они задумали призвать и сделать военачальником в войне против римлян Пирра, отличного полководца и в то время самого праздного из царей. Правда, старейшие и наиболее благоразумные граждане были против такого замысла, однако тех из них, кто выступал открыто, сторонники войны криками и прямым насилием прогнали из Собрания, прочие же, видя это, удалились сами. И вот один рассудительный человек, по имени Метон, в день, когда должны были принять реше-

ние, надел увядающий венок, взял в руки факел, как делают обычно пьяные, и явился в Народное собрание, сопровождаемый флейтисткой. Как бывает везде, где власть народа не знает должных пределов, толпа, увидев это шествие, встретила его рукоплесканиями и смехом, и никто не остановил Метона, напротив, его просили вместе с флейтисткой выйти на середину и спеть. Он сделал вид, будто так и собирается поступить, но когда воцарилось молчание, сказал: "Тарентинцы! Как хорошо вы делаете, что дозволяете желающим бражничать и шутить, пока можно. Но если вы в здравом уме, то поспешите и сами воспользоваться этой вольностью: ведь когда в город явится Пирр, дела пойдут иначе и другая жизнь начнется для нас". Эти слова многим тарентинцам показались убедительными, и Собрание подняло крик, что Метон правильно говорит. Однако те, кто боялся, как бы после заключения мира их не выдали римлянам, обругали народ за то, что он так добродушно позволяет пьяному бесстыднику высмеивать его, а Метона сообща прогнали. Итак, мнение сторонников войны возобладало, и в Эпир отправили послов, чтобы отвезти Пирру дары от имени не только тарентинцев, но всех вообще италиотов[11], и сказать, что им нужен разумный и прославленный полководец и что в их распоряжении есть большие силы луканцев, мессапов, самнитов и тарентинцев: всадников около двадцати тысяч, а пехотинцев триста пятьдесят тысяч. Эти речи воспламенили не только Пирра, но и эпиротам внушили нетерпеливое желание выступить в поход.

14. Жил тогда некто Киней, фессалиец, человек, по общему мнению, очень разумный, ученик Демосфена и, кажется, единственный среди ораторов того времени, чья речь силой и страстностью заставляла слушателей вспоминать его учителя. Пирр, которому он служил, посылал его в разные города, и Киней на деле подтвердил изречение Эврипида[12]:

Словом можно сделать все,
Чего с оружьем в битвах добиваются.

Пирр говорил, что Киней своими речами взял больше городов, чем он сам с мечом в руках, и всегда оказывал этому человеку высокое уважение и пользовался его услугами. Видя, что Пирр готов выступить в поход на Италию, Киней выбрал момент, когда царь не был занят, и обратился к нему с такими словами: "Говорят, что римляне народ доблестный, и к тому же им подвластно много воинственных племен. Если бог пошлет нам победу над ними, что даст она нам"? Пирр отвечал: "Ты, Киней, спрашиваешь о вещах, которые сами собой понятны. Если мы победим римлян, то ни один варварский или греческий город в Италии не сможет нам сопротивляться, и мы быстро овладеем всей страной; а уж кому, как не тебе, знать, сколь она обширна, богата и сильна!" Выждав немного, Киней продолжал: "А что мы будем делать, царь, когда завладеем Италией? " Не разгадав еще, куда он клонит, Пирр отвечал: "Совсем рядом лежит Сицилия, цветущий и многолюдный остров, она простирает к нам руки, и взять ее ничего не стоит: ведь теперь, после смерти Агафокла, там все охвачено восстанием и в городах безначалие и буйство вожаков толпы". "Что же, это справедливо, – продолжал Киней. – Значит, взяв Сицилию, мы закончим поход?" Но Пирр возразил: "Если бог пошлет нам успех и победу, это будет только присту-

пом к великим делам. Как же нам не пойти на Африку, на Карфаген, если до них оттуда рукой подать? Ведь Агафокл, тайком ускользнув из Сиракуз и переправившись с ничтожным флотом через море, чуть было их не захватил![13] А если мы ими овладеем, никакой враг, ныне оскорбляющий нас, не в силах будет нам сопротивляться, – не так ли?". "Так, – отвечал Киней. – Ясно, что с такими силами можно будет и вернуть Македонию, и упрочить власть над Грецией. Но когда все это сбудется, что мы тогда станем делать ?" И Пирр сказал с улыбкой: "Будет у нас, почтеннейший, полный досуг, ежедневные пиры и приятные беседы". Тут Киней прервал его, спросив: "Что же мешает нам теперь, если захотим, пировать и на досуге беседовать друг с другом? Ведь у нас и так есть уже то, чего мы стремимся достичь ценой многих лишений, опасностей и обильного кровопролития и ради чего нам придется самим испытать и причинить другим множество бедствий". Такими словами Киней скорее огорчил Пирра, чем переубедил: тот хотя и понял, с каким благополучием расстается, но был уже не в силах отказаться от своих желаний и надежд.

15. Сперва он послал к тарентинцам Кинея во главе трех тысяч солдат, затем погрузил на прибывшие из Тарента грузовые суда двадцать слонов, три тысячи всадников, двадцать тысяч пехотинцев, две тысячи лучников и пятьсот пращников. Как только все было готово, Пирр отчалил; но когда он вышел на середину Ионийского моря, его суда понес необычный для этого времени года бурный северный ветер. Благодаря храбрости и расторопности гребцов и кормчих, не щадивших труда и рисковавших самою жизнью, кораблю Пирра удалось приблизиться к берегу. Остальные корабли были рассеяны бурей, причем часть их снесена мимо берегов Италии в Ливийское и Сицилийское море, а прочие не смогли миновать Япигский мыс и, застигнутые ночной тьмой, были прибиты сильными волнами к непроходимым мелям. Погибли все корабли, кроме царского, который, благодаря своей величине и прочности, выдерживал натиск моря, пока волна била ему в борт; но затем ветер подул с суши, и появилась опасность, что, идя навстречу огромным валам, корабль будет разбит, а носиться в бушующем море по воле ветра, то и дело менявшего направление, казалось самым страшным из всех грозящих бедствий. Поэтому Пирр выбросился в море, а приближенные и телохранители немедленно кинулись его спасать. Однако в темноте, в шуме прибоя, среди откатывающихся назад валов трудно было оказать ему помощь, и только на рассвете, когда ветер спал, Пирр выбрался на берег, изможденный телом, но бодрый духом, отважный и готовый преодолеть любые превратности. Тут сбежались мессапы, на землю которых его вынесло море, по мере сил оказали ему помощь и подвели к земле немногие уцелевшие корабли, на которых было несколько десятков всадников; меньше двух тысяч пехотинцев и два слона.

16. С этими силами Пирр направился в Тарент. Киней, узнав о прибытии царя, вышел с солдатами ему навстречу. Вступив в город, Пирр ничего не предпринимал против желания тарентинцев, пока не подошли спасшиеся корабли и не собралась большая часть его войска. К этому времени Пирр увидел, что чернь в Таренте по доброй воле не склонна ни защищаться, ни защищать кого бы то ни было, а хочет лишь отправить в бой его, чтобы самой остаться дома и

не покидать бань и пирушек. Потому он закрыл все гимнасии и портики, где тарентинцы, прогуливаясь, вершили военные дела на словах, положил конец неуместным пирам, попойкам и шествиям и многих призвал в войско. Производя этот набор, Пирр был так неумолимо суров, что многие из тарентинцев, которые не привыкли повиноваться и жили в свое удовольствие, а всякую иную жизнь считали рабством, покинули город.

Когда пришло известие, что римский консул Левин с большими силами опустошил Луканию и наступает на Тарент, Пирр счет недостойным в бездействии смотреть, как приближается враг, и выступил с войском, не дождавшись прихода союзных отрядов. Предварительно он послал к римлянам вестника, предложив им без войны получить от италиотов законное удовлетворение, а его, Пирра, сделать при этом судьей и посредником. Когда же Левин ответил, что римлянам его посредничество не нужно, а война с ним не страшна, Пирр выступил в поход и расположился лагерем на равнине между Пандосией и Гераклеей.

Узнав, что римляне остановились неподалеку, за рекой Сирисом, Пирр верхом отправился к реке на разведку; осмотрев охрану, расположение и все устройство римского лагеря, увидев царивший повсюду порядок, он с удивлением сказал своему приближенному Мегаклу, стоявшему рядом: “Порядок в войсках у этих варваров совсем не варварский. А каковы они в деле – посмотрим”. И, уже опасаясь за дальнейшее, он решил дождаться союзников, а на тот случай, если римляне попытаются перейти реку раньше, поставил стражу, чтобы помешать переправе. Но римляне, чтобы не дать Пирру выполнить задуманное, поспешили начать переправу, причем пехота переходила реку там, где был брод, а конница – в разных местах, так что греки, боясь окружения, отступили. Узнав об этом, Пирр встревожился и приказал своим военачальникам построить пехоту и держать ее в боевой готовности, а сам во главе трех тысяч всадников поскакал вперед, надеясь застигнуть римлян до того, как они, переправившись, встанут в боевой порядок. Приблизившись, он увидел над рекой множество щитов и конницу, двигавшуюся строем, и первым бросился вперед, пришпорив коня. Во время битвы красота его оружия и блеск роскошного убора делали его заметным отовсюду, и он делом доказывал, что его слава вполне соответствует доблести, ибо, сражаясь с оружием в руках и храбро отражая натиск врагов, он не терял хладнокровия и командовал войском так, словно следил за битвой издали, поспевая на помощь всем, кого, казалось, одолевал противник. Один македонянин, по имени Леоннат, заметил, что какой-то италиец неотступно скачет вслед за Пирром, направляя своего коня туда же, куда он, и следя за каждым его движением. “Видишь, царь, – сказал Леоннат, – того варвара на вороном коне с белыми бабками? Кажется, он замышляет грозное и страшное дело. Он полон злобы и дерзости, он не спускает с тебя глаз и повсюду преследует тебя, ни на кого больше не обращая внимания.Остерегайся его!” А Пирр ответил: “От судьбы, Леоннат, не уйдешь. А безнаказанно сойтись со мной врукопашную ни ему, ни иному кому из италийцев не удастся!” Пока они так разговаривали, италиец, занеся копье и дав шпоры коню, напал на Пирра. Он поразил копьем царского скакуна, и одновременно Леоннат, метнув копье, поразил его коня. Кони упали, Пирра унесли окружавшие его приближенные, а италийца, продолжав-

шего сопротивляться, убили. Он был френтан родом, командовал конным отрядом и звали его Оплак.

17. Этот случай научил Пирра осторожности; видя, что его конница отступает, он послал за пехотой и выстроил ее в фалангу, сам же отдал свой плащ и оружие одному из приближенных, Мегаклу, надел его вооружение и повел войско на римлян. Те выдержали натиск, и завязался бой, исход которого долгое время не мог определиться: говорят, что семь раз противники поочередно то обращались в бегство, то пускались в погоню за бегущими. А обмен оружием, который в другое время послужил бы на пользу царю, чуть было не погубил его дело и не отнял у него победу, ибо за Мегаклом гналось много врагов, и первый, кому удалось сразить его, римлянин по имени Дексий, сорвал с него шлем и плащ, подскакал к Левину и показал ему добычу, крича, что убил Пирра. Когда шлем и плащ стали передавать по рядам и показывать всем, римляне подняли радостный крик, а греки пали духом и ободрились лишь после того, как Пирр узнав о случившемся, проехал по полю боя, открыв лицо, простирая к сражающимся правую руку и громко окликая их, чтобы его могли узнать по голосу. В конце битвы римлян сильно потеснили слоны, так как римские кони не выносили вида этих чудовищ и мчались вместе со всадниками вспять, не успев приблизиться к врагам, а Пирр, напав во главе фессалийской конницы на пришедших в замешательство противников, обратил их в бегство и многих перебил. Дионисий сообщает, что в битве пало без малого пятнадцать тысяч римлян, Иероним утверждает, что только семь, Пирр же потерял, согласно Дионисию, тринадцать тысяч человек, согласно Иерониму – меньше четырех тысяч, но зато самых сильных и храбрых, и вдобавок из полководцев и приближенных он лишился тех, кому больше всего доверял и всегда поручал самые важные дела. Зато он взял лагерь, покинутый римлянами, привлек на свою сторону многие союзные с Римом города, опустошил обширную область и продвинулся вперед настолько, что от Рима его отделяло лишь триста стадиев[14]. После битвы к нему пришло множество луканов и самнитов, и хотя Пирр упрекнул их за промедление, было ясно, что он радуется и гордится, одержав победу над огромными силами римлян только со своими воинами и с тарентинцами.

18. Римляне не лишили Левина власти, хотя, как говорят, Гай Фабриций, считавший, что поражение потерпел полководец, а не войско, заявил: "Не эпироты победили римлян, а Пирр – Левина". Пополнив свои легионы и набрав новые, римляне продолжали говорить о войне так, что Пирр был поражен их бесстрашием и надменностью. Полагая, что разгромить римлян окончательно и взять их город дело нелегкое, а при его военных силах и вовсе невозможное, он решил отправить в Рим посольство и разведать, не расположены ли там пойти на соглашение: ведь он лишь приумножил бы свою славу, прекратив войну и заключив союз после победы. Киней, отправленный послом, встретился с самыми знатными римлянами, а их женам и сыновьям поднес от имени царя подарки. Этих подарков никто не принял, но все отвечали, что если их государство заключит с царем союз, то и они с радостью предложат ему свою дружбу. Когда же Кинея привели в сенат и он в пространной и дружелюбной речи сказал, что царь без выкупа отпускает всех взятых в бою пленных и обещает римлянам по-

мощь в завоевании Италии, ничего не требуя взамен, кроме дружеского союза с ним и неприкосновенности Тарента, никто не высказал ни радости, ни готовности принять это предложение, хотя многие открыто склонялись к заключению мира, считая себя побежденными в решительном сражении и ожидая новых неудач после того, как италийцы присоединятся к Пирру и силы его возрастут.

Тем временем о царском посольстве узнал Аппий Клавдий. Прославленный муж, он по старости и слепоте уже оставил государственную деятельность, но когда распространились слухи, что сенат собирается принять решение о перемирии, не выдержал и приказал рабам нести его на носилках через форум в курию. У дверей его окружили сыновья и зятья и ввели в зал; сенат встретил его почтительным молчанием. (19) А он, тотчас же взяв слово, сказал: "До сих пор, римляне, я никак не мог примириться с потерею зрения, но теперь, слыша ваши совещания и решения, которые обращают в ничто славу римлян, я жалею, что только слеп, а не глух. Где же те слова, которые вы всем и повсюду твердите и повторяете, слова о том, что если бы пришел в Италию великий Александр и встретился бы с нами, когда мы были юны, или с нашими отцами, которые были тогда в расцвете сил, то не прославляли бы теперь его непобедимость, но своим бегством или гибелью он возвысил бы славу римлян? Вы доказали, что все это было болтовней, пустым бахвальством! Вы боитесь молоссов и хаонов, которые всегда были добычей македонян, вы трепещете перед Пирром, который всегда, как слуга, следовал за каким-нибудь из телохранителей Александра, а теперь бродит по Италии не с тем, чтобы помочь здешним грекам, а чтобы убежать от своих тамошних врагов. И он обещает доставить нам первенство среди италийцев с тем войском, что не могло удержать для него самого и малую часть Македонии! Не думайте, что, вступив с ним в дружбу, вы от него избавитесь, нет, вы только откроете дорогу тем, кто будет презирать нас в уверенности, что любому нетрудно нас покорить, раз уж Пирр ушел, не поплатившись за свою дерзость, и даже унес награду, сделав римлян посмешищем для тарентинцев и самнитов". Эта речь Аппия внушила сенаторам решимость продолжать войну, и они отослали Кинея, передав с ним такой ответ: пусть Пирр уходит из Италии и тогда, если хочет, ведет переговоры о дружбе, а пока он остается с войсками в Италии, римляне будут воевать с ним, доколе хватит сил, даже если он обратит в бегство еще тысячу Левинов. Говорят, что Киней во время своего посольства старался присмотреться к жизни римлян, понять, в чем достоинства их государственного устройства, побеседовать со знатнейшими из них и что, рассказав обо всем Пирру, он прибавил, что сенат показался ему собранием царей, а если говорить о народе, то он, Киней, боится, как бы не пришлось сражаться с некием подобием Лернейской гидры: ведь у консула насчитывается уже вдвое больше войск, чем было раньше, а в Риме остается еще во много раз больше людей, способных носить оружие.

20. После этого к Пирру отправилось из Рима посольство вести переговоры о пленных, и среди послов был Гай Фабриций, человек крайне бедный, но доблестный и воинственный, чье слово, как утверждал Киней, было для римлян решающим. Пирр наедине дружелюбно убеждал его принять в подарок золото,

уверяя, что дает ему деньги не в награду за позорную измену, а просто в знак дружбы и гостеприимства. Фабриций отказался, и Пирр в тот день ничего больше не предпринял, но, желая поразить римлянина, никогда не видавшего слона, приказал на следующий день во время переговоров поставить самое большое из этих животных позади послов, скрыв его занавесом. Так и было сделано: по знаку царя занавес отдернули, слон неожиданно протянул хобот над головой Фабриция и оглушительно затрубил. Но тот спокойно улыбнулся и сказал Пирру: "Право, сегодня вид этого чудовища смутил меня не больше, чем вчера – золото". Во время пира они беседовали о разных предметах, но больше всего – о Греции и ее философах, и Киней, случайно упомянув об Эпикуре, рассказал, что говорят его ученики о богах, государстве, о цели жизни: ее они видят в удовольствиях, избегают государственной деятельности, ибо она лишь нарушает и отнимает счастье, а божеству, чуждому гнева и милосердия, не заботящемуся о наших делах, они приписывают жизнь праздную и полную наслаждений. Киней еще не кончил рассказывать, как Фабриций вскричал: "О Геракл, если бы и Пирр, и самниты придерживались этого учения, пока воюют с нами!" Пирр был поражен его бескорыстием и благородством и еще больше укрепился в желании стать союзником Рима, а не воевать с ним. Фабрицию же он предложил, если тот добьется заключения мира, уехать вместе с ним и быть первым среди его приближенных и полководцев. Но, как рассказывают, тот спокойно ответил: "Ведь это невыгодно для тебя, царь: те, кто теперь дивится тебе и чтит тебя, захотят иметь царем меня, едва узнают мой нрав". Таков был Фабриций. Пирр, однако, не разгневался на его слова, как сделал бы любой деспот, но рассказал друзьям о величии его духа и ему одному доверил пленных, с условием, что их отошлют обратно после того, как они повидаются с близкими и справят дома Сатурналии, если до этого времени сенат не примет решения о мире. И в самом деле, пленные были отосланы назад к Пирру, причем сенат постановил карать смертной казнью тех, кто не возвратится.

21. Спустя некоторое время, когда командование перешло к Фабрицию, к нему в лагерь явился человек и принес письмо, написанное царским врачом: тот предложил извести Пирра ядом и тем самым без всякой опасности для римлян избавить их от войны, если они пообещают вознаградить его. Но Фабриций, возмущенный его вероломством, убедил своего товарища по должности отправить Пирру письмо, заключавшее совет остерегаться козней врача. Вот что было в нем написано: "Консулы Гай Фабриций и Квинт Эмилий приветствуют царя Пирра. Кажется нам, что ты не умеешь отличать врагов от друзей. Прочти посланное нами письмо и узнай, что с людьми честными и справедливыми ты ведешь войну, а бесчестным и негодным доверяешь. Мы же предупреждаем тебя не из расположения к тебе, но чтобы твоя гибель не навлекла на нас клевету, чтобы не пошли толки, будто мы победили в войне хитростью, не сумев победить доблестью". Получив письмо и узнав о злом умысле, Пирр покарал врача и, желая отблагодарить Фабриция и римлян, отпустил без выкупа всех пленных, Кинея же снова послал добиваться мира. Римляне считали не подобающим для себя принимать пленных от врага ни в знак его приязни, ни в награду за то, что они воздержались от преступления, а потому без выкупа вернули пленных сам-

нитам и тарентинцам, отказавшись, однако, начать переговоры о мире и союзе прежде, чем Пирр не прекратит войну и не отплывет с войском обратно в Эпир на тех же судах, на которых прибыл.

Тогда Пирр, которого обстоятельства заставляли искать нового сражения, выступил и встретился с римлянами близ города Аскула, но неприятель оттеснил его в места, непроходимые для конницы, к лесистым берегам быстрой реки, откуда слоны не могли напасть на вражеский строй. Много воинов было ранено и убито в этом сражении, пока ночь не прервала его. На следующий день, задумав перенести битву на равнину и бросить в бой слонов, Пирр заранее укрепил наиболее уязвимые позиции караульными отрядами и, расставив между слонами множество метателей дротиков и стрелков из лука, стремительно двинул на врага плотно сомкнутый строй. Римляне не могли уклониться в сторону и ударить с фланга, как в предыдущем сражении, и встретили противника на равнине лицом к лицу, стремясь скорее отбросить тяжелую пехоту, пока не подошли слоны. Римские воины упорно бились мечами против сарисс и, не щадя себя, не обращая внимания на раны, думали только о том, как бы поразить и уничтожить побольше врагов. Говорят, что много времени прошло, прежде чем они начали отступать, и именно там, где их теснил сам Пирр. Но и ему принес успех главным образом мощный натиск слонов, ибо против них воинская доблесть была бессильна и римляне считали, что перед этой силой, словно перед прибывающей водой или разрушительным землетрясением, следует отступить, а не упорствовать и гибнуть понапрасну самой страшной смертью там, где нельзя помочь делу. Римляне бежали в свой лагерь, который был неподалеку. Иероним говорит, что погибло шесть тысяч римлян, а воинов Пирра, как сказано в царских записках, было убито три тысячи пятьсот человек. Дионисий же отрицает, что под Аскулом было два сражения, и пишет, что римляне не признавали себя побежденными; по его словам, все произошло в течение одного дня, битва продолжалась до захода солнца, и враги разошлись лишь после того, как Пирр был ранен дротиком в руку, а самниты разграбили его обоз, причем и из войска Пирра, и у римлян погибло более чем по пятнадцати тысяч человек. Сигнал к отступлению подали обе стороны, и говорят, что Пирр заметил какому-то человеку, радовавшемуся победе: "Если мы одержим еще одну победу над римлянами, то окончательно погибнем"[15]. Погибла бóльшая часть войска, которое он привез с собой, и почти все его приближенные и полководцы, других воинов, которых можно было бы вызвать в Италию, у него уже не было, а кроме того он видел, что пыл его местных союзников остыл, в то время как вражеский лагерь быстро пополняется людьми, словно они притекают из какого-то бьющего в Риме неиссякаемого источника, и что после всех поражений римляне не пали духом, но гнев лишь приумножил их упорство.

22. В этот трудный момент у Пирра появились новые надежды. Ему даже пришлось выбирать, потому что одновременно к нему обратились сицилийцы, предложившие занять Акрагант, Сиракузы и Леонтины и просившие изгнать карфагенян и освободить остров от тираннов, и вестники из Греции, сообщившие, что Птолемей Керавн пал в битве с галатами и теперь самое время явиться в Македонию, лишившуюся царя. Пирр сетовал на судьбу, которая в один и тот

же час представила ему две возможности совершить великие дела, ибо понимал, что от одной из них необходимо отказаться, и долго колебался. Но затем, решив, что в Сицилии его ждут более славные подвиги и что оттуда недалеко до Африки, он предпочел двинуться на остров и, как обычно, тотчас же послал вперед Кинея для предварительных переговоров с сицилийскими городами. В Таренте он поставил караульный отряд, а тарентинцам, с негодованием требовавшим, чтобы он либо вел войну с римлянами, ради которой явился, либо покинул страну и оставил им город таким, каким его принял, отвечал высокомерно, советуя спокойно ждать, пока придет их черед. Затем он отплыл в Сицилию, где все шло так, как он предполагал: города с готовностью присоединялись к нему, так что на первых порах ему нигде не приходилось прибегать к военной силе, и всего с тридцатью тысячами пеших, двумя с половиною тысячами конных воинов и двадцатью судами он разбил карфагенян и занял их владения. Лишь Эрик, недоступный по своему местоположению и хорошо укрепленный, Пирр решил взять приступом. Когда войско изготовилось к бою, Пирр, надев доспехи, подошел к стенам и обратился с мольбой к Гераклу[16], обещая устроить игры и принести благодарственные жертвы, если тот поможет ему в бою доказать сицилийцам, что он достоин своих предков и собственной славы. Когда по его знаку протрубили сигнал и разогнали варваров стрелами, он первым взобрался на стену, как только к ней пододвинули лестницы. Отражая натиск многочисленных врагов, одних он сбросил со стены, других сразил мечом, и, нагромоздив вокруг себя груды мертвых тел, сам остался невредим. Одним видом своим устрашая врагов, Пирр доказал правоту многоопытного Гомера, который утверждал, что из всех добродетелей лишь храбрость сродни безумию, ибо увлекает человека безоглядным порывом[17]. Взяв город, Пирр принес богу великолепные жертвы и устроил пышные игры и зрелища.

23. Возле Мессены жили варвары, именовавшиеся мамертинцами, которые немало досаждали грекам, а некоторых из них обложили данью; были они очень многочисленны и воинственны, почему и назывались на латинском языке "племенем Ареса"[18] Пирр захватил и убил мамертинских сборщиков податей, а их самих разбил в сражении и разрушил многие принадлежавшие им крепости.

Карфагеняне, стремящиеся к миру, согласны были заплатить ему деньги и прислать суда, если он заключит с ними союз, но Пирр, жаждавший добиться большего, ответил, что заключит мир только в том случае, если они покинут Сицилию, чтобы границей между ними и греками стало Ливийское море. Гордый своей мощью и успехами, стремясь осуществить то, ради чего он и приплыл в Сицилию, а больше всего мечтая об Африке, Пирр стал набирать по городам гребцов, которых не хватало на многих его кораблях, и при этом действовал уже не мягко и снисходительно, а властно и жестоко, прибегая к насилиям и наказаниям. Сначала он не был таким, напротив, как никто другой, привлекал к себе приветливым обхождением, всем доверял и никого не стеснял, зато позже, превратившись из вождя народа в тиранна, своею суровостью стяжал себе славу человека жестокого и коварного. Как бы то ни было, но города, пусть и неохот-

но, выполняли его требования, пока вскоре он не стал подозревать в измене Фенона и Сострата, знатных сиракузян, которые первыми уговорили его приехать в Сицилию, открыли перед ним город, едва он явился, и больше всех помогали ему в сицилийском походе. Пирр не желал ни брать их с собой, ни оставлять на острове. Сострат в страхе перешел на сторону врага, а Фенона Пирр умертвил, приписав ему то же намерение. И тут дела царя сразу же приняли иной оборот: города возненавидели его страшной ненавистью, одни из них присоединились к карфагенянам, другие призвали мамертинцев. В эту пору, когда Пирр повсюду видел измену, заговоры и восстания, к нему прибыли письма от самнитов и тарентинцев, которые, лишившись своих земель и с трудом отстаивая от врагов города, просили его о помощи. Это помогло Пирру скрыть, что его отплытие означает отказ от всех замыслов и бегство, ибо на самом деле Сицилия, словно потрясаемый бурей корабль, уже не повиновалась ему, и он, ища выхода, поспешно бросился в Италию[72]. Говорят, что покидая остров и оглянувшись, он сказал стоявшим рядом с ним: "Какое ристалище для состязаний оставляем мы римлянам и карфагенянам, друзья!" И спустя недолгое время то, что он предугадал, сбылось[19].

24. Когда Пирр отплывал, варвары объединились против него: карфагеняне дали ему в самом проливе морское сражение, в котором он потерял немало кораблей, а мамертинцы, числом не менее десяти тысяч, переправившись раньше Пирра, но не осмеливаясь встретиться с ним лицом к лицу, заняли неприступные позиции, а когда Пирр на уцелевших судах прибыл в Италию, напали на него и рассеяли все его войско. Погибли два слона и множество воинов из тылового отряда. Пирр сам отражал натиск врага и без страха сражался с опытным и дерзким противником. Когда он был ранен мечом в голову и ненадолго вышел из боя, мамертинцы воспрянули духом. Один из них, огромного роста, в сверкающих доспехах, выбежал вперед и грозным голосом стал вызывать Пирра, если тот еще жив, выйти и сразиться с ним. Пирр, раздраженный, повернулся и, пробившись сквозь ряды своих щитоносцев[20], пытавшихся его удержать, вышел гневный, со страшным, забрызганным кровью лицом. Опередив варвара, Пирр ударил его мечом по голове, и, благодаря силе его рук и отличной закалке стали, лезвие рассекло туловище сверху до низу, так что в один миг две половины разрубленного тела упали в разные стороны. Это удержало варваров от новых нападений: они были поражены и дивились Пирру, словно, какому-то сверхъестественному существу.

Остальной путь Пирр прошел беспрепятственно и с двадцатью тысячами пехотинцев и тремя тысячами всадников прибыл в Тарент. Пополнив там войско самыми храбрыми из тарентинцев, он тотчас выступил против римлян, стоявших лагерем в Самнии. (25). Дела у самнитов в это время шли совсем плохо: разбитые римлянами во многих сражениях, они пали духом, да и отплытие Пирра в Сицилию у них вызвало недовольство, так что присоединились к нему лишь немногие. Разделив свое войско, Пирр половину послал в Луканию, желая задержать там одного из консулов, чтобы тот не пришел на помощь товарищу по должности, а другую часть сам повел на Мания Курия, стоявшего лагерем в безопасном месте возле города Беневента и ожидавшего подкреплений из Лукании

(впрочем, он бездействовал еще и потому, что его удерживали предсказания жрецов и птицегадателей). Пирр спешил напасть на римлян прежде, чем подойдет второй консул, и поэтому, собрав самых сильных людей и самых свирепых слонов, ночью двинулся на лагерь врага. Но дорога была длинная, шла через густой лес, воины заблудились в темноте, и таким образом время было потеряно. Наступило утро, на рассвете враги ясно увидели Пирра, двигавшегося по гребню холмов. В лагере римлян поднялись шум и суматоха, и так как обстоятельства требовали решительных действий, а жертвы предвещали Манию удачу, консул вышел из лагеря, напал на передние ряды наступавших и обратил их в бегство, чем привел в смятение и остальных. Было перебито множество солдат Пирра, захвачено несколько слонов, брошенных во время отступления, и эта победа позволила Манию перенести бой на равнину. На глазах врага собрав свои легионы, он в одних местах обратил противника в бегство, но в других под натиском слонов отступил к самому лагерю и вызвал оттуда караульных, которых много стояло на валу в полном вооружении. Со свежими силами выйдя из-за укреплений, они забросали слонов копьями и повернули их вспять, а бегство слонов вызвало беспорядок и замешательство среди наступавших под их прикрытием воинов, и это не только принесло римлянам победу, но и решило спор о том, кому будет принадлежать верховное владычество над Италией. Доказав в этих битвах свою доблесть, они обрели уверенность в своей мощи и, прослыв непобедимыми, вскоре захватили всю Италию, а через некоторое время и Сицилию.

26. Так рухнули все надежды Пирра и Италии и в Сицилии; шесть лет потратил он на эти войны и хотя был побежден, но и в поражениях сохранил свое мужество непоколебленным и по-прежнему считался повсюду самым опытным, сильным и отважным из современных ему царей. Однако добытое подвигами он терял ради надежд на будущее и, алчущий далекого и нового, не мог удержать достигнутого, если для этого нужно было проявить упорство. Поэтому Антигон и сравнил Пирра с игроком в кости, который умеет сделать ловкий бросок, но не знает, как воспользоваться своей удачей.

Вернувшись в Эпир с восемью тысячами пехотинцев и пятьюстами всадниками, растратив всю казну, Пирр стал искать новой войны, чтобы прокормить войско. К нему присоединились некоторые из галатов, и он напал на Македонию, где царствовал тогда Антигон, сын Деметрия. Целью его был захват добычи, но после того как ему удалось взять многие города и две тысячи неприятельских воинов перешли на его сторону, Пирр, преисполнившись надеждами, пошел в наступление на самого Антигона и, напав на него в узком ущелье, поверг в смятение все его войско. Только многочисленный отряд галатов в тылу у Антигона упорно сопротивлялся, и в завязавшемся жестоком бою большинство их было перебито, а вожаки слонов, окруженные вместе с животными, сдались в плен. Увеличив таким образом свои силы и более полагаясь на свою удачу, чем трезво все размыслив, Пирр ударил на фалангу македонян, которые после понесенного галатами поражения были полны смятения и страха. Македоняне уклонились от боя, и тогда Пирр, простерши к ним руку, стал поименно окликать подряд всех начальников, и старших, и младших, чем и побудил пехоту Антиго-

на перейти на его сторону. Отступая, Антигон удержал за собой всего несколько прибрежных городов. Пирр, для которого все сложилось так счастливо, был уверен, что наибольшую славу он стяжал победой над галатами, и поэтому лучшую и самую блестящую часть добычи он сложил в храме Афины Итонийской, написав следующие стихи:

Пирр, молоссов владыка, повесил в храме Афины
Длинные эти щиты, дерзких галатов разбив.
Он Антигона войска разгромил. Чему ж тут дивиться?
В битвах и ныне, как встарь, род эакидов могуч.

Тотчас после сражения Пирр захватил Эги и другие города, где не только сам всячески притеснял жителей, но и разместил караульные отряды галатов, служивших в его войске. А галаты, народ крайне алчный, принялись разрывать могилы похороненных в Эгах царей, причем сокровища они расхитили, а кости, осквернив, разбросали. Пирр, кажется, не придал их поступку большого значения и то ли за недосугом отложил наказание, то ли вообще не осмелился покарать варваров, из-за чего ему и пришлось услышать от македонян немало упреков.

Не дождавшись, пока его дела устроятся и положение упрочится, Пирр опять увлекся новыми надеждами. Он насмехался над Антигоном, называя его бесстыдным за то, что тот не надевает плаща и продолжает носить царскую порфиру, и охотно поддался на уговоры Клеонима Спартанского, который прибыл, чтобы звать его в Лакедемон.

Клеоним принадлежал к царскому роду, на вид казался сильным и властным, а потому не пользовался в Спарте ни расположением, ни доверием, и правил вместо него Арей. Это и было причиной его давней обиды на всех сограждан. Кроме того, он уже в старости женился на Хилониде, дочери Леотихида, женщине красивой и царского рода. Но она влюбилась в цветущего юношу Акротата, сына Арея, так что любившему ее Клеониму этот брак принес только горе и позор, ибо ни для кого из спартанцев не осталось тайной, как презирает его жена. И вот, когда к прежним обидам присоединились эти домашние неприятности, Клеоним, разгневанный и удрученный, привел в Спарту Пирра с двадцатью пятью тысячами пехотинцев, двумя тысячами всадников и двадцатью четырьмя слонами. Уже сама многочисленность этого войска ясно показывала, что Пирр хочет приобрести не Спарту для Клеонима, а весь Пелопоннес – для себя, но на словах он упорно отрицал это перед прибывшими к нему в Мегалополь лакедемонскими послами. Он говорил, что пришел освободить покоренные Антигоном города, и именем Зевса клялся, если ничто ему не помешает, послать своих младших сыновей в Спарту на воспитание, чтобы они усвоили лаконские нравы и благодаря этому одному превзошли всех царей. Обманув этой ложью тех, кто встречался ему на пути, Пирр тотчас же по приходе в Лаконию занялся грабежами. Послы стали обвинять его в том, что он начал военные действия, не объявляя войны, но он ответил: "Никогда мы не слыхали, чтобы вы, спартанцы, открывали кому-нибудь свои намерения". На это один из присутствующих, по имени Мандроклид, сказал на лаконском наречии: "Если ты бог, то с нами ниче-

го не случится – мы ничем против тебя не погрешили, если же ты человек, то найдется кто-нибудь посильнее тебя".

27. После этого Пирр приблизился к Спарте. Клеоним предложил сразу идти на приступ, но, как сообщают, Пирр, опасавшийся, как бы воины, напав на город ночью, не разграбили его, отложил штурм, говоря, что возьмет Спарту днем. Спартанцев было мало, и они не были приготовлены к внезапному нападению, тем более что сам Арей отправился на Крит, чтобы оказать гортинцам помощь в войне. Самоуверенность врагов, презиравших обезлюдевший и бессильный город, спасла Спарту. Пирр, полагая, что ему не с кем воевать, остановился на ночлег, а илоты и приближенные Клеонима начали убирать и украшать его дом так, словно на следующий день Пирру предстояло там пировать. Ночью спартанцы держали совет и постановили прежде всего отослать на Крит женщин, но те воспротивились, а одна из них, Архидамия, явилась с мечом в Совет старейшин и от имени всех спартанок стала упрекать мужчин, которые хотят, чтобы женщины пережили гибель Спарты. Было решено провести вдоль вражеского лагеря ров, а справа и слева от него расставить колесницы, врытые в землю до ступиц, чтобы они прочно стояли на месте и не давали пройти слонам. Когда мужчины начали работу, к ним подошли женщины, одни – в плащах и подпоясанных хитонах, другие – в одних хитонах, чтобы помочь старикам, а тех, кому предстояло сражаться, они просили поберечь силы, и сами сделали третью часть работы, узнав предварительно размеры рва. Шириной он был в шесть локтей, глубиной в четыре, а в длину имел восемь плефров, как сообщает Филарх; по рассказу же Иеронима, он был меньше. Утром, когда враг двинулся в наступление, женщины подали мужчинам оружие и наказали им охранять и защищать ров, говоря, что славно победить на глазах у соотечественников, но почетно и умереть на руках у матерей и жен, доблестно пав за Спарту. А Хилонида, вдали от остальных, приготовила для себя петлю, чтобы не попасть снова в руки Клеонима, если город будет взят.

28. Сам Пирр со своими гоплитами ударил на спартанцев, которые оборонялись, выставив щиты, и пытался преодолеть ров, непроходимый потому, что рыхлая почва на краю его осыпалась под ногами воинов, не давая им твердо ступить. Сын Пирра Птолемей с двумя тысячами галатов и отборными воинами из хаонов двинулся вдоль рва, стараясь прорваться через ряд колесниц, но они были врыты так глубоко и расставлены так часто, что не только загородили дорогу воинам Птолемея, но и самим лакедемонянам мешали обороняться. Когда же галаты вырвали колеса из земли и стащили колесницы в реку, юноша Акротат, заметив опасность, с тремя сотнями воинов бегом пересек город, обошел Птолемея, скрывшись от него за склонами холмов, и, напав с тыла, заставил врагов повернуться и разделить свои силы. Солдаты Птолемея толкали друг друга, падали в ров и меж колесниц и, наконец, были отброшены, понеся большой урон. На подвиг Акротата смотрело множество стариков и женщин, и когда, залитый кровью, гордый победой и всеми восхваляемый, он возвращался через город, он казался спартанкам еще прекраснее, и они завидовали любви Хилониды. А некоторые старики, следуя за ним, кричали: "Ступай, Акротат, взойди на ложе Хилониды, чтобы подарить Спарте достойных потомков!". Вок-

руг самого Пирра завязалось ожесточенное сражение, в котором доблестно бились многие воины, но упорнее всех сопротивлялся и больше всего врагов убил Филлий. когда же он почувствовал, что слабеет от множества ран, то уступил место стоявшему с ним рядом воину и умер за строем своих, чтобы и мертвым не попасть в руки врага.

29. Ночь прервала битву. Во сне Пирр увидел, будто он мечет молнии в Лакедемон и вся страна охвачена огнем, он же радуется этому. От радости проснувшись, он приказал военачальникам держать войско наготове, а приближенным рассказал о своем сновидении, полагая, что оно знаменует взятие города. Все были удивлены и согласились с Пирром, только Лисимаху сон царя не понравился: он высказывал опасение, что раз нельзя ступать на места, пораженные молнией, значит и этот город, как предвещает божество, останется для Пирра недоступным. Но Пирр ответил, что все это вздор, достойный праздной черни, и что им следует, держа в руках оружие, только повторять самим себе:

Знаменье лучшее всех – за Пиррово дело сражаться[21].

Этими словами он ободрил войска и с наступлением дня повел их в бой. Спартанцы, обороняясь, превосходили самих себя доблестью и самоотверженностью, женщины помогали им, подавая стрелы, поднося проголодавшимся еду и питье, подбирая раненых. Македоняне собрали много хворосту и пытались завалить им ров, засыпая при этом мертвые тела и оружие. Лакедемоняне, собравшиеся на помощь, увидели Пирра, который гнал коня мимо рва и колесниц, пробиваясь в город. Оборонявшиеся подняли крик, сбежались воины, раздались вопли женщин. Пирр уже помчался вперед и налетел на стоявших перед ним врагов, когда его конь, раненный в брюхо критской стрелой, в предсмертных мучениях сбросил седока на скользкий склон. Наступавшие вместе с Пирром воины пришли в замешательство, подбежавшие спартанцы стрелами заставили их отойти. Вслед за тем Пирр повсюду прекратил сражение в надежде на то, что лакедемоняне, почти все раненные и многих потерявшие убитыми, хоть немного ослабели. Но счастливая судьба города то ли испытывала мужей, то ли желала показать, как велика ее власть даже в безвыходном положении, и на помощь лакедемонянам, уже терявшим всякую надежду, явился из Коринфа полководец Антигона фокеец Аминий со своими наемниками. Не успели спартанцы принять его, как с Крита вернулся царь Арей, ведя за собой двухтысячное войско. Женщины немедля разошлись по домам, ибо им больше не нужно было заботиться о ратных делах, отпущены были и те, кто несмотря на преклонный возраст, по необходимости взялся за оружие. Прибывшие воины приготовились к сражению. (30). Пирром овладело честолюбивое желание захватить город именно после того, как туда пришло подкрепление, однако, не добившись ничего и получив отпор, он отступил и стал опустошать страну, собираясь перезимовать в ней.

Но того, чему суждено свершиться, нельзя избежать. В Аргосе шли распри между Аристеем и Аристиппом. И так как Аристипп считался другом Антигона, то Аристей поспешил призвать в Аргос Пирра. Пирр, всегда легко перехо-

дивший от одной надежды к другой, всякий успех считал лишь началом дела, а каждую неудачу стремился возместить новыми подвигами; поэтому ни победа, ни поражение не приносили мира и покоя ни ему, ни его противникам. Немедленно двинулся он на Аргос. Арей же, устроив множество засад и заняв труднопроходимые места на его пути, отрезал от войска шедших в хвосте галатов и молоссов. Один гадатель, рассмотрев внутренности жертвенных животных, счел знамения неблагоприятными и предсказал Пирру, что ему суждено потерять одного из близких. Но среди шума и суеты Пирр совсем позабыл о предсказании и велел своему сыну Птолемею, взяв телохранителей, идти на помощь хвостовому отряду, а сам двинулся вперед, чтобы поскорее вывести войско из теснин. Вокруг Птолемея завязалась ожесточенная битва, отборные лакедемонские воины во главе с Эвалком врукопашную бились со стоявшими впереди царского сына македонянами, и тут критянин из Аптеры по имени Оресс, человек воинственный и проворный, сбоку подбежал к отважно сражавшемуся юноше, ударил его копьем и поверг наземь. После его гибели те, кто был рядом с ним, обратились в бегство, лакедемоняне, преследуя их, забыли обо всем и вырвались на равнину, оставив своих гоплитов позади. И тут на них повернул молосскую конницу Пирр, уже услышавший о смерти сына и потрясенный горем. Он первым ворвался в ряды спартанцев, стремясь убийством насытить жажду мести, и хотя в бою он всегда казался страшным и непобедимым, но на этот раз своей дерзостью и силой затмил все, что бывало в прежних битвах. Когда он направил своего коня на Эвалка, тот, уклонившись в сторону, мечом разрубил поводья Пирра и чуть было не отсек руку, державшую их. Пирр в то же мгновенье ударом копья поразил Эвалка и, спрыгнув с седла, в пешем бою уложил рядом с Эвалком весь его отборный отряд. К таким бессмысленным потерям привело Спарту уже после конца войны чрезмерное честолюбие ее правителей.

31. Словно бы почтив убитого сына такой жертвой и в гневе на врагов излив ши большую часть своей скорби, Пирр справил пышные поминальные игры и пошел дальше на Аргос. Узнав, что Антигон уже занял высоты над равниной, он стал лагерем близ Навплии. На следующий день он послал к Антигону вестника, называя царя погубителем и приглашая сойти на равнину, чтобы сразиться за власть. Тот отвечал, что на войне для него важнее удобный момент, чем сила оружия, и что если Пирру не терпится умереть, то для него открыто множество путей к смерти. Между тем и к Пирру, и к Антигону прибыли из Аргоса послы с просьбой отойти от города и предоставить аргосцам возможность, не подчиняясь ни одному из них, сохранять дружбу с обоими. Антигон согласился и отдал аргосцам в заложники сына, а Пирр, также согласившись отступить, ничем не подтвердил своих обещаний и тем внушил горожанам большие подозрения. В это время Пирру явилось страшное знамение: в жертву приносили быков, их головы, уже отделенные от тел, на глазах у всех высунули языки и стали слизывать собственную кровь, а в Аргосе Аполлонида, прорицательница Ликейского бога, выбежала, крича, что ей привиделся город, полный убитых, и орел, который шел в сражение, а потом исчез.

32. В глубокой темноте Пирр приблизился к стенам и обнаружил, что ворота,

именуемые Проходными, уже отперты для него Аристеем. Пока галаты Пирра крадучись входили в город и занимали площадь, им удалось остаться незамеченными. Но слоны не могли пройти в ворота, пришлось снимать с их спин башни, а потом в темноте вновь водружать их; это задержало нападающих, и аргосцы, услышав шум, поспешили занять Аспиду и другие укрепленные места и отправили гонцов к Антигону. Тот, приблизившись к городу, сам остановился, но послал на помощь аргосцам своего сына и полководцев с большим отрядом. Подошел и Арей с тысячей критян и легко вооруженных спартанцев. Вместе напав на галатов, они повергли их в смятение. В это время Пирр с шумом и криками входил в город возле Киларабиса, и галаты в ответ тоже закричали, но в их крике не было бодрости и уверенности, – всем показалось, что это вопль страха и отчаяния. Тогда Пирр поспешно бросил вперед двигавшихся во главе войска всадников, но те лишь с большим трудом и риском для жизни могли проехать среди каналов, которыми был изрезан весь город. В этой ночной битве нельзя было разобраться ни в действиях войск, ни в приказах начальников. Разобщенные отряды блуждали по узким улицам, во мраке, в тесноте, среди доносившихся отовсюду криков; не было возможности руководить войсками, все медлили и ждали утра. Когда рассвело, Пирр устрашился, увидев Аспиду, занятую вооруженными врагами, и заметив на площади среди множества украшений медную статую волка и быка, готовых схватиться друг с другом, он вспомнил давнее предсказание, что ему суждено погибнуть там, где он увидит волка, сражающегося с быком. Аргосцы говорят, что эта статуя стоит у них в память очень давнего события: когда Данай впервые вступил в эту страну, то по пути в Аргос, близ Пирамий в Фиреатиде, он увидел волка, сражающегося с быком. Решив, что он сам, чужестранец, напавший на местных жителей, подобен этому волку, Данай стал наблюдать драку. Когда волк победил, Данай вознес мольбы Аполлону Ликейскому и, одолев и изгнав с помощью мятежных аргосцев царствовавшего тогда в Аргосе Геланора, захватил власть. 33. Заметив статую и видя к тому же, что ни одна из его надежд не сбывается, Пирр пал духом и решил отступить; опасаясь узких ворот, он послал своему сыну Гелену, оставшемуся со значительными силами вне города, приказ разрушить часть стены и помочь выходящим, если враг будет наседать на них. Однако в спешке и суматохе гонец неясно передал приказ, произошла ошибка, и юноша, взяв остальных слонов и самых сильных солдат, вошел через ворота в город на помощь отцу. Пирр в это время уже отходил. Сражаясь на площади, где было достаточно места и для отступления и для боя, Пирр, повернувшись лицом к врагу, отражал его натиск. Но его оттеснили в узкую улицу, которая вела к воротам, и там он столкнулся со спешившими на помощь войсками. Пирр закричал, чтобы они повернули назад, но большинство его не услышало, а тем, кто готов был повиноваться, преграждали путь новые отряды, вливавшиеся в город через ворота. Кроме того, самый большой слон, упав поперек ворот, лежал, трубя и мешая отступающим пройти, а другой слон, из тех, что вошли в город раньше, по кличке Никон, ища раненого вожака, упавшего с его спины, несся навстречу отступавшим, гоня и опрокидывая вперемешку врагов и друзей, пока, наконец, не нашел труп и, подняв его хоботом и подхватив обоими клыками, не повернул назад, словно взбе-

сившись, валя наземь и убивая всех встречных. Сбитые в кучу и плотно прижатые друг к другу, воины не могли ничего предпринять поодиночке: словно единое тело, толпа ворочалась и колыхалась из стороны в сторону. Мало кто бился с врагами, зажатыми между воинами Пирра или наседавшими сзади, – большей частью солдаты ранили друг друга, ибо тот, кто обнажил меч или замахивался копьем, не мог ни опустить руку, ни вложить клинок в ножны: оружие разило, кого придется, и люди гибли от руки своих же товарищей.

34. Пирр, оглядев бушевавшие вокруг бурные волны, снял диадему, украшавшую шлем, передал ее одному из телохранителей и, доверившись коню, напал на врагов, следовавших за ним по пятам. Копье пронзило ему панцирь, и он, получив рану, не смертельную и даже не тяжелую, устремился на того, кто нанес удар. То был аргосец, незнатный человек, сын бедной старой женщины. Она в это время, как и остальные аргивянки, с крыши дома глядела на битву и, увидев, что ее сын вступил в единоборство с Пирром, испуганная грозящей ему опасностью, сорвала с крыши черепицу и обеими руками бросила ее в Пирра[24]. Черепица ударила его в голову ниже шлема и перебила позвонки у основания шеи; у Пирра помутилось в глазах, руки опустили поводья, и он упал возле святилища Ликимния[25], почти никем не узнанный. Некий Зопир, воевавший на стороне Антигона, и еще два-три человека подъехали к нему и, узнав, оттащили его в преддверие какого-то дома. Между тем Пирр начал приходить в себя, Зопир вытащил иллирийский меч, чтобы отсечь ему голову, но Пирр так страшно взглянул на него, что тот, перепуганный полный смятения и трепета, сделал это медленно и с трудом, то опуская дрожащие руки, то вновь принимаясь рубить, не попадая и нанося удары возле рта и подбородка. Между тем многие услышали о случившемся, и Алкионей, желая убедиться, подъехал и потребовал голову. С нею он ускакал к отцу и бросил ее перед царем, сидевшим в кругу приближенных. Взглянув и узнав Пирра, Антигон палочными ударами прогнал сына, называя его варваром и нечестивцем, а потом, прикрыв глаза плащом, заплакал, вспомнив о деде своем Антигоне и об отце Деметрии, которые в его собственной семье являли пример переменчивости судьбы. Украсив голову и тело Пирра, он предал их сожжению, а когда Алкионей встретил Гелена, жалкого, одетого в бедный плащ, и, дружелюбно приветствовав его, привел к отцу, Антигон сказал: “Сейчас, мой сын, ты поступил лучше, чем тогда; но ты сделал неправильно, не сняв с него этой одежды, ибо больше, чем его, она позорит нас, которых считают победителями”. После этого он по-дружески принял Гелена и, пристойно одев его, отправил в Эпир, а заняв лагерь Пирра и захватив в плен все его войско, обошелся с его друзьями кротко и благосклонно.



ГАЙ МАРИЙ

1. Мы не можем назвать третьего имени Гая Мария, равно как и Квинта Сертория, захватившего Испанию, или Луция Муммия, взявшего Коринф (Ахейским Муммий был назван за свой подвиг, как Сципион – Африканским, а Метелл – Македонским). Этим убедительнее всего, как думает Посидоний, опровергается мнение, будто собственным служит у римлян третье имя[1], как, например, Камилл, Марцелл, Катон: будь это так, человек, имеющий только два имени, оказался бы безымянным. Но Посидоний не замечает, что, по его собственному суждению, безымянны все женщины, ибо ни одна не имеет первого имени, которое, как он считает, и служит у римлян собственным. Что касается остальных двух имен, то одно из них – общее для всей семьи, например Помпеи, Манлии и Корнелии (как у нас говорят: Гераклиды или Пелопиды), другое – как бы прозвище, определяющее нрав человека или его наружность с ее недостатками либо данное ему за какой-нибудь подвиг; таковы имена Макрин, Торкват, Сулла, подобно тому как у нас – Мнемон, Грип или Каллиник. Повод к спорам здесь дает перемена в обычае.

2. О наружности Мария можно судить по его мраморному изображению, которое мы видели в Равенне, в Галлии, и наше впечатление вполне соответствует тому, что рассказывают о мрачности и суровости его нрава. Мужественный по природе, воинственный, воспитанный скорее как солдат, чем как мирный гражданин, Марий, придя к власти, не умел укрощать свой гнев. Говорят, он так и не выучился греческой грамоте и ни в одном серьезном деле не пользовался греческим языком, почитая смешным обучаться наукам у наставников, которые сами в рабстве у других. После своего второго триумфа, устроив греческие игры по случаю освящения какого-то храма, он пришел в театр, но, едва присев, тотчас же удалился. Платон часто говорил философу Ксенократу, который отличался угрюмым характером: "Ксенократ, приноси жертвы Харитам"[2]. И если бы кто-нибудь так же уговорил Мария приносить жертвы эллинским Музам и Харитам, то его славные деяния на войне и в управлении государством не завершились бы столь безобразно, а гневливость, недостойное властолюбие и ненасытная алчность не сделали бы его в старости таким свирепым и жестоким. Все это мы сейчас увидим из его дел.

3. Родители Мария были люди совсем не знатные, бедные, добывавшие пропитание собственным трудом; отец носил то же имя, что и сын, мать звали Фульцинией. Марий поздно попал в город и узнал городскую жизнь, а до того у себя, в Арпинской земле, в деревне Цереаты, он жил, не ведая городской утонченности, просто, но зато целомудренно, воспитываясь так, как римские юноши в старину. Военную службу он начал в Кельтиберии, где Сципион Африканский осаждал Нуманцию. От полководца не укрылось, что Марий превосходит прочих молодых людей мужеством и легко переносит перемену в образе жизни, к которой Сципион принуждал испорченных роскошью и наслаждениями воинов. Рассказывают, что он на глазах полководца сразил врага, с которым сошелся один на один. Сципион заметно отличал его, а однажды, когда на пиру зашла

речь о полководцах и кто-то из присутствующих, то ли вправду, то ли желая сказать приятное Сципиону, спросил, будет ли еще когда-нибудь у римского народа такой же, как и он, вождь и защитник, Сципион, хлопнув лежащего рядом с ним Мария по плечу, ответил: "Будет, и, может быть, даже он". Оба они были так богато одарены природой, что Марий еще в юном возрасте казался человеком незаурядным, а Сципион, видя начало, мог предугадать конец.

4. Говорят, что Марий, воодушевленный этими словами, словно прорицанием божества, и преисполненный надежд, обратился к государственной деятельности и с помощью Цецилия Метелла, дому которого служил еще его отец[3], добился должности народного трибуна. Исполняя эту должность, он внес закон о подаче голосов[4], который, как ожидали, должен был уменьшить могущество знати в судах. Его противником выступил консул Котта, который убедил сенат бороться против нового закона, а самого Мария призвать к ответу. Когда это предложение было принято, Марий явился в сенат, но не как робкий новичок, только что вступивший на государственное поприще и не совершивший еще ничего великого; напротив, уже тогда выказав решительность, которая потом проявлялась во всех его поступках, он пригрозил Котте тюрьмой, если тот не отменит вынесенного решения. Тогда консул, обратившись к Метеллу, спросил его мнения, и Метелл во всем с ним согласился, но Марий вызвал ликтора и приказал отвести в тюрьму самого Метелла. Метелл обратился к остальным трибунам, но те не поддержали его, и сенат, уступив, переменил свое решение. Со славой вышел Марий к народу, и новый закон получил утверждение в Народном собрании. Все поняли, что Мария нельзя ни запугать, ни усовестить и что в своем стремлении заслужить расположение толпы он будет упорно бороться против сената. Но вскоре это мнение переменилось, после того, как он решительно воспротивился предложению о раздаче хлеба гражданам и одержал верх. Обе враждебные стороны стали одинаково уважать его за то, что он не желает угождать ни тем, ни другим вопреки пользе государства.

5. В следующем году Марий стал домогаться должности эдила высшего разряда. Есть два разряда эдилов[5]: одни получили название по креслу с изогнутыми ножками, в котором они сидят, исполняя свои обязанности, другие, уступающие первым достоинством, именуются народными. Лишь после того, как первые уже избраны, начинают подавать голоса за вторых. Когда Марию стало ясно, что высшей из этих двух должностей ему не получить, он тотчас стал домогаться другой, но и тут его постигла неудача, потому что все считали его слишком дерзким и высокомерным. Однако даже две неудачи за один день, – чего никогда и ни с кем еще не случалось, – нисколько не убавили ему самоуверенности, и спустя немного времени он начал домогаться претуры, но и на этот раз едва не потерпел поражение – был избран последним из кандидатов, а после выборов обвинен в подкупе. Больше всего подозрений внушало то обстоятельство, что за перегородкой среди голосующих видели одного из рабов[6] Кассия Сабакона, а Сабакон был самым ярым приверженцем Мария. На суде Марий заявил, будто, истомленный зноем и жаждой, он попросил холодной воды, и раб, принесший ему чашу, ушел, как только он напился. После этого цензоры изгнали его из сената: признано было, что он заслуживает наказания либо за лжесвидетельство,

либо за невоздержность. Гай Геренний, вызванный свидетелем против Мария, сказал, что свидетельствовать против клиента – противно отеческим обычаям и что закон освобождает патрона (так римляне называют покровителя) от такой необходимости (и родители Мария, и он сам были клиентами Геренниев). Судьи приняли этот отказ, но Марий сам возразил Гереннию, что с получением магистратуры он освобождается от клиентской зависимости. Это было сказано не совсем точно: не всякая магистратура освобождает тех, кто ее получил, и их потомков от обязанностей перед покровителем, но только та, которая дает право на почетное кресло. Хотя поначалу дела Мария в суде шли плохо и судьи были настроены неблагоприятно, в конце концов голоса их разделились поровну, и Марий, вопреки всем ожиданиям, был оправдан.

6. Исполняя должность претора, он не снискал себе особых похвал, а по истечении срока получил по жребию Внешнюю Испанию, которую, как сообщают, очистил от разбойников (жители этой провинции отличались дикими, почти звериными нравами, а разбой считали самым почетным занятием). Выступив на гражданском поприще, Марий не обладал ни богатством, ни красноречием, с помощью которых люди, пользовавшиеся в то время наибольшим почетом, вели за собой народ. Однако граждане высоко ценили его за постоянные труды, простой образ жизни и даже за его высокомерие, а всеобщее уважение открывало ему дорогу к могуществу, так что он даже смог вступить в выгодный брак, взяв в жены Юлию из знатного дома Цезарей, племянник которой, Цезарь, немного лет спустя стал самым великим из римлян и, как сказано в его жизнеописании[7], часто стремился подражать своему родственнику Марию. О самообладании и выносливости Мария свидетельствует многое, например, то, как он перенес хирургическую операцию. Страдая, по-видимому, сильным расширением вен на обоих бедрах и досадуя на то, что ноги его обезображены, он решил позвать врача и, не дав связать себя, подставил под нож одно бедро. Не шевельнувшись, не застонав, не изменившись в лице, он молча вытерпел невероятную боль от надрезов. Но когда врач хотел перейти ко второй ноге, Марий не дал ему резать, сказав: “Я вижу, что исцеление не стоит такой боли”.

7. Консул Цецилий Метелл, которому было поручено командование в войне против Югурты, отправляясь в Африку, взял с собою Мария легатом. Совершив там немалые подвиги и со славой сражаясь во многих битвах, Марий и не думал приумножать этим славу Метелла или, подобно остальным, прислуживаться к нему, но, считая, что не Метелл назначил его легатом, а счастливая судьба в самый подходящий момент дала ему высокие подмостки для подвигов, старался показать всю свою доблесть и мужество. Война несет с собой много тягостных забот, и Марий не избегал больших трудов и не пренебрегал малыми; он превосходил равных себе благоразумием и предусмотрительностью во всем, что могло оказаться полезным, а воздержностью и выносливостью не уступал простым воинам, чем и снискал себе их расположение. Вероятно, лучшее облегчение тягот для человека видеть, как другой переносит те же тяготы добровольно: тогда принуждение словно исчезает. А для римских солдат самое приятное – видеть, как полководец у них на глазах ест тот же хлеб и спит на простой подстилке или с ними вместе копает ров и ставит частокол. Воины восхищаются больше всего

не теми вождями, что раздают почести и деньги, а теми, кто делит с ними труды и опасности, и любят не тех, кто позволяет им бездельничать, а тех, кто по своей воле трудится вместе с ними. Делая все это, Марий быстро стал любимцем войска и наполнил всю Африку, а затем и весь Рим славой своего имени, ибо все писали из лагеря домой, что не будет ни конца, ни предела войне с варварами, пока Гая Мария не изберут консулом. (8). Все это явно раздражало Метелла, но больше всего его огорчило дело Турпилия. Этот Турпилий, связанный с Метеллом наследственными узами гостеприимства, служил в то время в его войске начальником плотников и строителей. Стоя во главе караульного отряда в большом городе Баге, он не притеснял местных жителей, относился к ним мягко и дружелюбно, беспечно доверял им и потому попал в руки врагов. Впустив в Багу Югурту, горожане не сделали Турпилию ничего дурного, а, наоборот, упросив царя, отпустили его целым и невредимым. За это его обвинили в измене; Марий, присутствовавший на суде, был очень суров к Турпилию и так настроил против него большинство судей, что Метелл был вынужден, вопреки своему желанию, приговорить этого человека к смерти. Спустя некоторое время выяснилось, что обвинение было ложным, и все горевали с удрученным Метеллом – все, кроме Мария, который, не стыдясь, говорил повсюду, что это дело его рук и что так он воздвиг на Метелла демона, мстящего за убийство друга. С тех пор они враждовали открыто, и рассказывают, что однажды Метелл язвительно сказал Марию: "Так, значит, ты, милейший, собираешься покинуть нас и плыть домой домогаться консульства? А не хочешь ли стать консулом в один год вот с этим моим сыном"? (Сын Метелла был тогда еще мальчишкой[8].)

Как бы то ни было, но когда Марий стал добиваться разрешения уехать, Метелл долго чинил ему препятствия и отпустил только за двадцать дней до консульских выборов. Марий прошел длинный путь от лагеря до Утики за два дня и одну ночь и перед отплытием принес жертвы. Как говорят, гадатель объявил Марию, будто божество возвещает ему небывалый, превосходящий все ожидания успех. Ободренный этим предсказанием, он отчалил и с попутным ветром за четыре дня пересек море. В Риме он тотчас показался народу, с нетерпением ожидавшему его, и, когда один из трибунов вывел его к толпе, он просил дать ему консульство, возводя на Метелла множество обвинений и обещая захватить Югурту живым или мертвым. (9). Избранный консулом при всеобщем ликовании, Марий тотчас провел набор, вопреки закону и обычаю записав в войско много неимущих и рабов, которых все прежние полководцы не допускали в легионы, доверяя оружие, словно некую ценность, только достойным – тем, чье имущество как бы служило надежным залогом. Но больше всего нареканий вызвали не действия Мария, а его высокомерные, полные дерзости речи, оскорблявшие самых знатных римлян: он говорил, что консульство – это трофей, с бою взятый им у изнеженной знати и богачей, или что он может похвастаться перед народом своими собственными ранами, а не памятниками умерших и чужими изображениями[9]. Неоднократно, упомянув неудачливых полководцев – Бестию или Альбина, отпрысков знатных семейств, но людей невоинственных и по неопытности терпевших в Африке поражения, Марий спрашивал у окружающих, неужели предки этих военачальников, завоевавшие славу не знатностью

происхождения, а доблестью и подвигами, не предпочли бы иметь таких потомков, как он. Все это он говорил не ради пустого бахвальства, не с тем, чтобы понапрасну вызвать ненависть к себе среди первых в Риме людей: народ, привыкший звонкостью речей измерять величие духа, ликовал, слыша хулу сенату, и превозносил Мария, этим побуждая его в угоду простонародью не щадить лучших граждан.

10. Когда Марий прибыл в Африку, Метелл, одолеваемый завистью, не стал ждать встречи с ним. Метеллу не давала покоя мысль о Марии, который потому и возвысился, что забыл о благодарности за все, чем был обязан ему, а теперь, когда война закончена и остается только захватить Югурту, явился, чтобы вырвать у своего благодетеля венец и триумф. Поэтому он удалился, а войско Марию передал Рутилий, легат Метелла. Но, в конце концов, Мария настигло возмездие: Сулла отнял у него славу так же, как он сам отнял ее у Метелла; как это произошло, я расскажу кратко, потому что подробно об этом говорится в жизнеописании Суллы[10]. Тестем Югурты был Бокх, царь варваров, живших в глубине материка, однако он не очень помогал зятю в войне, якобы страшась его вероломства, а в действительности опасаясь его возраставшего могущества. Когда у Югурты, который скитался, спасаясь от римлян, осталась только одна надежда – на тестя, он явился к Бокху, и тот принял его, скорее стыдясь отказать молящему, чем испытывая расположение к нему. Держа его в руках, Бокх для вида просил за него Мария и смело писал, что не выдаст Югурту, но втайне замышлял измену и послал за Луцием Суллой, который был квестором у Мария и во время войны оказал царю какие-то услуги. Когда Сулла, доверяя ему, приехал, варвар переменил свое намерение и несколько дней колебался, выдать ли Югурту Сулле либо не отпускать его самого. Наконец он решился на давно задуманную измену и живым выдал Югурту, тем самым посеяв между Марием и Суллой непримиримую и жестокую вражду, которая чуть было не погубила Рим. Многие, завидуя Марию, утверждали, что подвиг совершен Суллой, да и сам он заказал драгоценный камень с изображением Бокха, передающего ему Югурту, и постоянно носил кольцо с этой геммой, пользуясь ею как печатью. Это раздражало Мария, человека честолюбивого, не желавшего ни с кем делиться своей славой и склонного к раздорам, но сильнее всего разжигали его гнев противники, которые приписывали первые и самые великие подвиги в этой войне Метеллу, а завершение ее – Сулле, стремясь умерить восторг народа и приверженность его к Марию.

11. Но всю эту зависть, всю клевету и ненависть к Марию тотчас рассеяла и уничтожила опасность, надвигавшаяся на Италию с запада. Когда понадобился великий полководец и республика стала искать, кого бы ей поставить кормчим, дабы выстоять в столь страшной военной буре, ни один из отпрысков знатных и богатых семейств не получил должность на консульских выборах, но единодушно был избран отсутствующий Марий. Вместе с известием о пленении Югурты в Рим пришла молва о кимврах и тевтонах; сперва слухам о силе и многочисленности надвигающихся полчищ не верили, но потом убедились, что они даже уступают действительности. В самом деле, только вооруженных мужчин шло триста тысяч, а за ними толпа женщин и детей, как говорили, превосходившая их

числом. Им нужна была земля, которая могла бы прокормить такое множество людей, и города, где они могли бы жить, – так же как галлам, которые, как им было известно, некогда отняли у этрусков[11] лучшую часть Италии. Кимвры ни с кем не вступали в сношения, а страна, из которой они явились, была так обширна, что никто не знал, что за люди и откуда они, словно туча, надвинулись на Италию и Галлию. Большинство полагало[12], что они принадлежат к германским племенам, живущим возле Северного океана, как свидетельствуют их огромный рост, голубые глаза, а также и то, что кимврами германцы называют разбойников. Но некоторые утверждали, будто земля кельтов так велика и обширна, что от Внешнего моря и самых северных областей обитаемого мира простирается на восток до Мэотиды и граничит со Скифией Понтийской. Здесь кельты и скифы смешиваются и отсюда начинается их передвижение; и они не стремятся пройти весь свой путь за один поход и не кочуют непрерывно, но, каждое лето снимаясь с места, продвигаются все дальше и дальше и уже долгое время ведут войны по всему материку. И хотя каждая часть племени носит свое имя, все войско носит общее имя – кельтоскифы. Третьи же говорили, что киммерийцы, знакомые в старину грекам, составляли только небольшую часть племени, ибо это были лишь предводимые неким Лигдамидом мятежники и беглецы, которых скифы вынудили переселиться с берегов Мэотиды в Азию, а что самая большая и воинственная часть киммерийцев живет у Внешнего моря, в стране столь лесистой, что солнце там никогда не проникает сквозь чащи высоких деревьев, простирающиеся до самого Герцинского леса. Небо в тех краях таково, что полюс стоит чрезвычайно высоко и вследствие склонения параллелей почти совпадает с зенитом, а дни и ночи – равной длины и делят год на две части; отсюда у Гомера рассказ о киммерийцах в "Вызывании теней"[13]. Вот из этих-то мест и двинулись на Италию варвары, которых сперва называли киммерийцами, а позже, и не без основания, кимврами. Но все это скорее предположение, нежели достоверная история. Что же касается численности варваров, то многие утверждают, будто их было не меньше, а больше, чем сказано выше. Перед их отвагой и дерзостью нельзя было устоять, а в битве быстротой и силой они были подобны огню, так что натиска их никто не выдерживал и все, на кого они нападали, становились их добычей. От них потерпели бесславное поражение многие армии римлян во главе с управлявшими Заальпийской Галлией полководцами, которые сражались плохо, чем более всего побудили варваров наступать на Рим, ибо, побеждая всех, кого ни встречали, и захватывая богатую добычу, кимвры решили обосноваться на месте не раньше, чем разгромят Рим и опустошат Италию.

12. Узнав обо всем этом, римляне многократно звали Мария встать во главе войска. Он был вторично избран консулом, хотя закон запрещал избирать кандидата, если его нет в Риме и если еще не прошел положенный срок со времени предыдущего консульства[14]. Народ прогнал всех, кто выступал против Мария, считая, что не впервые законом жертвуют ради общественной пользы и что теперь для этого есть не менее веская причина, чем в то время, когда вопреки закону был избран консулом Сципион[15]; ведь тогда не боялись гибели собственного города, а только хотели разрушить Карфаген. Было принято постановление,

и Марий вместе с войском прибыл из Африки и в день январских календ[16], с которого римляне начинают год, одновременно вступил в должность консула и отпраздновал триумф, проведя по городу пленного Югурту, при виде которого римляне глазам своим не поверили, ибо ни один из них не надеялся при жизни царя одолеть нумидийцев. Этот человек умел приспосабливаться к любой перемене судьбы, и низость сочеталась в нем с мужеством, но торжественное шествие, как рассказывают, сбило с него спесь. После триумфа его отвели в тюрьму, где одни стражники сорвали с него одежду, другие, спеша завладеть золотыми серьгами, разодрали ему мочки ушей, после чего его голым бросили в яму, и он, полный страха, но насмешливо улыбаясь, сказал: "О Геракл, какая холодная у вас баня!" Шесть дней боролся он с голодом и до последнего часа цеплялся за жизнь, но все же понес наказание, достойное его преступлений. Говорят, что во время триумфа несли три тысячи семь фунтов золота, пять тысяч семьсот семьдесят пять фунтов серебра в слитках и двести восемьдесят семь тысяч драхм звонкой монетой. После триумфа Марий созвал на Капитолии сенат и, то ли по забывчивости, то ли грубо злоупотребляя своей удачей, явился туда в облачении триумфатора, однако, заметив недовольство сенаторов, вышел и, сменив платье, вернулся в тоге с пурпурной каймой[17].

13. В походе Марий закалял войско, заставляя солдат много бегать, совершать длинные переходы, готовить пищу и нести на себе свою поклажу, и с тех пор людей трудолюбивых, безропотно и с готовностью исполнявших все приказания, стали называть "Мариевыми мулами". Правда, многие указывают, что эта поговорка возникла при иных обстоятельствах. Сципион, осаждая Нуманцию, решил проверить, как его солдаты привели в порядок и подготовили не только свое оружие и коней, но и повозки и мулов. Тогда Марий вывел отлично откормленную лощадь и мула, превосходившего всех свой крепостью, силой и послушным нравом. Полководцу так понравились животные, что он часто вспоминал о них, и потому, когда человека хотят шутливо похвалить за стойкость выносливость и трудолюбие, его называют "Мариевым мулом". (14). Большой удачей для Мария было, видимо, то обстоятельство, что варвары отхлынули, словно волны, и напали раньше на Испанию: благодаря этому Марий выиграл время для того, чтобы его солдаты окрепли и воспрянули духом, а главное, увидели, каков он сам. Ибо суровость, с какой он управлял, и неумолимость, с какой налагал наказания, представлялись теперь воинам, которых он отучил от нарушений дисциплины и неповиновения, справедливыми и полезными, а спустя недолгое время, привыкнув к его неукротимому нраву, грубому голосу и мрачному виду, они даже стали говорить, что все это страшно не им, а врагам. Больше всего солдатам нравилась справедливость Мария в суде. Между прочим рассказывают о таком случае. Под началом Мария служил военным трибуном его племянник Гай Лузий, человек вообще не плохой, но одержимый страстью к красивым мальчикам. Влюбившись в одного из своих молодых солдат, Требония, он часто пытался совратить его, но ничего не достиг. Наконец, однажды ночью, отослав слугу, он велел позвать Требония. Юноша явился, так как не мог ослушаться приказа начальника, но когда его ввели в палатку и Лузий попытался овладеть им насильно, Требоний выхватил меч и заколол Лузия. Все

это произошло в отсутствие Мария, который, возвратившись, велел предать Требония суду. Многие поддерживали обвинение, никто не сказал ни слова в защиту юноши, и тогда он сам встал, смело рассказал, как было дело, и представил свидетелей, подтвердивших, что он неоднократно отказывал соблазнявшему его Лузию и не отдался ему, даже когда тот предлагал большие деньги. Удивленный и восхищенный, Марий приказал подать венок, которым по обычаю предков награждают за подвиги, и, взяв его, сам увенчал Требония за прекрасный поступок, совершенный в то время, когда особенно нужны благие примеры. Этот случай стал известен в Риме, что немало способствовало третьему избранию Мария в консулы. К тому же, ожидая летом варваров, римляне не желали вступать с ними в бой под началом какого-нибудь другого полководца. Но кимвры появились позже, чем их ожидали, и срок консульства Мария вновь истек.

Незадолго до консульских выборов его товарищ по должности скончался, и Марий, оставив во главе войск Мания Аквилия, явился в Рим. Поскольку консульства домогались многие знатные римляне, Луций Сатурнин, который из всех трибунов пользовался в народе наибольшим влиянием и которого Марий привлек на свою сторону, выступил с речью и убеждал избрать консулом Мария. Когда же тот стал притворно отказываться, говоря, что ему не нужна власть, Сатурнин назвал его предателем отечества, бросающим свои обязанности полководца в такое опасное время. Все явно видели, что он лишь неумело подыгрывает Марию, но, понимая, что в такой момент нужны решительность и удачливость Мария, в четвертый раз избрали его консулом, дав ему в товарищи Лутация Катула, человека, почитаемого среди знати и в то же время угодного народу.

15. Марий, узнав, что враги близко, поспешил перейти Альпы и, разбив лагерь близ реки Родана, свез в него много продовольствия, чтобы недостаток самого необходимого не вынудил его вступить в битву до того, как он сам сочтет это нужным. Прежде подвоз всех припасов, в которых нуждалось войско, был долгим и трудным, но Марию удалось облегчить и ускорить дело, проложив путь по морю. Устье Родана, где волнение и прилив оставляют много ила и морского песка, почти на всю глубину занесено ими, и поэтому грузовым судам трудно и опасно входить в реку. Послав туда праздно стоявшее войско, Марий прорыл огромный ров и, пустив в него воду из реки, провел достаточно глубокий и доступный для самых больших судов ка́нал к более удобному участку побережья, где прибой не затруднял сток речной воды в море. И поныне еще канал носит имя Мария.

Между тем варвары разделились: кимвры должны были наступать через Норик на Катула и прорваться в Италию, а тевтонам и амбронам предстояло двигаться на Мария вдоль Лигурийского побережья. Кимвры замешкались, а тевтоны и амброны, быстро пройдя весь путь, появились перед римлянами, бесчисленные, страшные, голосом и криком не походившие ни на один народ. Заняв огромную равнину и став лагерем, они принялись вызывать Мария на бой. (16). Однако он пренебрег вызовом и продолжал удерживать воинов в лагере, а слишком уж горячих, рвавшихся в бой и делавших далекие вылазки, резко по-

рицал, называя предателями: ведь сейчас главное не справить триумф или воздвигнуть трофей, но отвратить эту грозовую тучу, этот удар молнии и спасти Италию. Так Марий говорил каждому из военных трибунов и равным им по достоинству начальникам, солдат же группами выстраивал на валу и заставлял смотреть на врагов, желая приучить римлян к виду и страшному, грубому голосу варваров, познакомить их с оружием и боевыми приемами противника и тем самым добиться, чтобы солдаты постепенно освоились и привыкли к зрелищу, прежде пугавшему их. Марий вообще полагал, что новизна прибавляет много напрасных страхов, а привычка уменьшит робость даже перед тем, что действительно страшно. И в самом деле, не только привычка смотреть на варваров день ото дня утишала смятение, но и угрозы и несносная наглость врагов, грабивших все вокруг и даже осмеливавшихся открыто нападать на стены лагеря, разжигали мужество римлян и воспламеняли их душу. Марию стали доносить о таких разговорах возмущенных воинов: “Разве мы показали себя малодушными и у Мария есть причина не пускать нас в бой и караулить, запирая на замок, словно женщин? Давайте спросим его, как подобает свободным людям: неужели он ждет других воинов, чтобы сражаться за Италию? Почему он использует нас только для всяких работ – когда нужно копать ров, расчищать реку от ила или повернуть ее в другое русло? Видно, для этого он и закалял нас тяжелым трудом, это и есть те подвиги, о которых он расскажет гражданам, когда вернется в Рим после всех своих консульств. Неужто он опасается судьбы Карбона и Цепиона, которых разбили враги? Но ведь они намного уступали Марию доблестью и славой, и намного хуже были войска, которыми они командовали. И потом лучше потерпеть поражение в бою, как они, чем, сложа руки, смотреть, как разоряют союзников”.

17. Услышав об этом, Марий обрадовался и поспешил успокоить солдат, сказав, что не питает к ним недоверия, но в соответствии с предсказанием ждет должного срока и места для победы. За ним всегда торжественно несли на носилках некую сириянку, по имени Марфа, слывшую гадательницей, по совету которой он совершал жертвоприношения. Незадолго до этого сенат изгнал ее, когда она стала предрекать будущее сенаторам, но она вошла в доверие к женщинам, на деле доказав свое умение гадать, особенно в одном случае, когда, сидя у ног жены Мария, предсказала, какой из двух гладиаторов, выйдет победителем. Та отослала Марфу к мужу, и у него она пользовалась уважением. Чаще всего она оставалась в носилках, а во время жертвоприношений сходила с них, облаченная в двойное пурпурное одеяние, держа копье, увитое лентами и гирляндами цветов. Это давало много поводов для споров, в самом ли деле Марий верит гадательнице или же притворяется, разыгрывая перед людьми представление и сам участвуя в нем? Удивительный рассказ находим мы и у Александра Миндского: по его словам, войско Мария перед каждым успехом сопровождали два коршуна, которых можно было узнать по медным ожерельям (эти ожерелья воины, поймав птиц, надели им на шею, а потом отпустили их). С этих пор, увидев коршунов, воины приветствовали их и, когда те появлялись перед походом, радовались, веря, что их ждет верная удача.

Много знамений было в то время, но все они не относились прямо к будуще-

му Мария, кроме одного: из италийских городов Америи и Тудерта сообщили, что ночью там видели в небе огненные копья и щиты, которые сперва были разделены некоторым расстоянием, а затем встретились и стали двигаться, словно ими сражаются люди, потом одна часть отступила, другая погналась следом, и все видение понеслось к западу. Примерно в то же время из Пессинунта прибыл в Рим жрец Великой Матери богов Батак и возвестил, что богиня из своего святилища предсказала римлянам успех в сражении и победу в войне. Сенат, поверив предсказанию, постановил воздвигнуть богине храм в благодарность за победу, и Батак, выйдя к народу, хотел сообщить ему об этом, однако трибун Авл Помпей помешал ему, обозвав жреца обманщиком и согнав его с возвышения. Но это лишь укрепило веру в слова Батака, ибо не успел Авл распустить Собрание и возвратиться домой, как его схватила страшная лихорадка, от которой он на седьмой день умер; это стало известно всему городу, и все говорили об этом случае.

18. Тевтоны, пользуясь бездействием Мария, попытались взять лагерь приступом, но были встречены градом стрел, летевших из-за частокола. Потеряв немало воинов, они решили трогаться дальше, считая, что без труда перевалят через Альпы, и, собравшись, двинулись мимо лагеря римлян, которые лишь теперь, когда варвары бесконечно длинной вереницей шли перед ними, поняли, сколь многочисленны их враги. Говорят, что это шествие непрерывно тянулось мимо укреплений Мария шесть дней. Проходя под самым валом, тевтоны со смехом спрашивали римских солдат, не желают ли они что-нибудь передать женам, ибо скоро тевтоны будут в Риме. Когда, наконец, варвары миновали лагерь, Марий поднялся и, не спеша, последовал за ними, всякий раз останавливаясь поблизости от них в недоступных местах и воздвигая укрепления, чтобы ночевать в безопасности.

Так достигли они местности, именуемой Секстиевыми Водами, откуда лишь немного оставалось пройти до Альп. Здесь Марий приготовился дать сражение и занял лагерем неприступный холм, на котором не было, однако, воды (этим он хотел, как говорят, еще больше ожесточить солдат). Когда многие из них стали возмущаться и кричать, что хотят пить, Марий, указав рукой на реку, протекавшую возле вражеского вала, сказал:"Вот вам питье, за которое придется платить кровью". "Так почему же ты не ведешь нас на них, пока кровь в наших жилах еще не высохла?" – спросили воины. "Сперва нужно укрепить лагерь", – спокойно отвечал Марий. (19). Солдаты подчинились, хотя и с досадой, но рабы, во множестве следовавшие за войском, не имея воды ни для себя, ни для вьючных животных, гурьбой спустились к реке. Они захватили с собой, кроме сосудов, секиры и топоры, а некоторые даже мечи и копья, чтобы добыть воды – пусть даже с бою. Сначала на них напала только малая часть противников: все остальные в это время или купались, или завтракали после купания. В тех краях бьют горячие ключи и римляне застигли варваров в такой момент, когда многие из них, окружив эти источники, благодушествовали и предавались праздности, восхищаясь прелестью местности. На крик сражающихся сбежалось много римлян, ибо Марию было трудно удержать солдат, боявшихся за своих рабов. Самые воинственные из варваров – амброны – тоже бросились к оружию. Чис-

ло их превосходило тридцать тысяч, и они уже нанесли поражение римлянам, сражавшимся под командованием Манлия и Цепиона. Хотя тела их были отягощены пищей, а души разгорячены вином и исполнены дерзости, все же они мчались вперед не разъяренной, беспорядочной толпой, а крики, которые они издавали, не были невнятны: ритмично ударяя мечами и копьями о щиты, они все разом подпрыгивали и выкрикивали: "Амброны!", – то ли окликая друг друга, то ли желая таким предупреждением испугать врага. Лигуры, первыми из италийцев спустившиеся им навстречу, услышав и разобрав их клич, стали кричать в ответ, что и они, и предки из их рода в род прозывались амбронами. И прежде чем противники сошлись врукопашную, над полем стоял непрерывный вопль, потому что оба войска, поочередно издавая клич, старались перекричать друг друга, и крики еще больше воспламеняли их, возбуждая мужество.

Сперва амброны стояли за рекой, но не успели они переправиться и выстроиться, как лигуры бегом ринулись на врагов, ступивших на берег первыми, и завязали рукопашный бой, а римляне, примчавшиеся с холма на помощь лигурам, налетели на варваров и обратили их в бегство. Многие из амбронов, еще стоявшие у реки, были сброшены в воду своими же и погибли, запрудив русло трупами, а те, кому удалось переправиться, не решались встретить врага лицом к лицу, и римляне гнали их до самых лагерей и повозок, убивая бегущих. Но тут появились женщины, вооруженные топорами и мечами: со страшным криком напали они и на беглецов, и на преследователей, одних встречая как предателей, других – как врагов. Замешавшись в ряды сражающихся, они голыми руками вырывали у римлян щиты и хватались за мечи, не чувствуя порезов и ран, и только смерть смиряла их отвагу. Так описывают эту битву у реки, происшедшую скорее по воле случая, чем по замыслу полководца.

20. Перебив множество амбронов, римляне с наступлением сумерек отошли, но не победные пэаны, не пиры по шатрам и не веселые трапезы ожидали войско после такой удачи, и даже целительный сон, который так сладок для счастливо сражавшихся воинов, не пришел к ним, ибо еще ни одну ночь не проводили они в таком страхе и трепете, как эту. Лагерь их не был защищен ни валом, ни частоколом, а внизу еще оставалось несчетное множество непобедимых варваров. К ним присоединились амброны, которые спаслись бегством, и всю ночь раздавались их жалобы, похожие больше на звериный рык и вой, чем на человеческий плач и стенания; с жалобами смешивались тысячеустые угрозы и вопли, их повторяли окрестные горы и речная долина, наполняя округу страшным гулом, а сердца – римлян – ужасом. Сам Марий был в смятении, опасаясь, как бы не началось беспорядочное, бессмысленное ночное сражение. Однако враги не напали ни в эту ночь, ни на следующий день, употребив все время на подготовку к бою.

Между тем Марий, увидев, что над головой варваров нависают лесистые склоны, прорезанные ущельями, сплошь заросшими дубами, послал Клавдия Марцелла с тремя тысячами тяжело вооруженных воинов, приказав ему укрыться в засаде и во время битвы напасть на врага с тыла. Остальных пехотинцев, выспавшихся и рано позавтракавших, он с рассветом выстроил перед лагерем, а конницу выслал вперед, на равнину. Увидев это, тевтоны, не дождавшись,

пока римляне спустятся вниз и положение сражающихся сторон уравняется, второпях схватили оружие и в гневе бросились вверх по холму. Марий разослал во все стороны начальников с приказом твердо стоять на месте и, когда непри ятель окажется в пределах досягаемости, забросать его копьями, а затем пустить в ход мечи и сталкивать врагов щитами: покатое место лишит их удары силы и расшатает сомкнутый строй, ибо на такой крутизне трудно стоять твердо и удерживать равновесие. Это Марий внушал всем, и сам первый на деле показывал пример, никому не уступая силой и ловкостью и далеко превосходя всех отвагой. (21). Римляне, принимая и отражая натиск рвавшихся вверх варваров, стали сами понемногу теснить противника и, в конце концов, спустились на ровное место. Пока передние ряды варваров строились на равнине в боевой порядок, в задних возникло замешательство и поднялся крик. Когда его звук долетел до холмов, Марцелл, поняв, что удобный момент настал, поднял своих солдат и с воинственным кличем напал на варваров с тыла, убивая стоявших в последних рядах. Те, увлекая за собой соседей, вскоре привели в смятение все войско, которое недолго сопротивлялось двойному удару римлян, но, смешавшись в беспорядочную толпу, обратилось в бегство. Преследуя бегущих, римляне убили и взяли в плен больше ста тысяч человек, захватили палатки, повозки и деньги, а все, что уцелело от разграбления, решили отдать Марию. Однако все считали, что даже этот богатейший дар – недостаточная награда для полководца, отвратившего столь огромную опасность. Впрочем, некоторые сообщают о подаренной Марию добыче и о числе убитых другие сведения[18]. Во всяком случае, жители Массилии костями павших огораживали виноградники, а земля, в которой истлели мертвые тела, стала после зимних дождей такой тучной от наполнившего ее на большую глубину перегноя, что принесла в конце лета небывало обильные плоды, чем подтвердились слова Архилоха, что так вот и удобряется пашня. После больших сражений, как говорят, обычно идут проливные дожди: видимо, либо какое-то божество очищает землю, проливая на нее чистую небесную влагу, либо гниющие трупы выделяют тяжелые, сырые испарения, сгущающие воздух до такой степени, что малейшая причина легко вызывает в нем большие перемены.

22. После битвы Марий отобрал из варварского оружия и добычи все самое лучшее и наименее пострадавшее, чтобы придать великолепие своему триумфальному шествию, а из остального велел сложить огромный костер и принес великолепную жертву. Воины стояли вокруг в полном вооружении, с венками на голове, а сам он, препоясанный по обычаю предков и одетый в тогу с пурпурной каймой, взял в каждую руку по горящему факелу, вознес их к небу и уже готов был поджечь костер, как вдруг показались его друзья, быстро мчавшиеся к нему на конях. Все смолкли в ожидании, а прибывшие, подъехав ближе и спешившись, приветствовали Мария, сообщили ему, что он в пятый раз избран консулом, и вручили письма. Эта радостная весть увеличила победное ликование, и воины излили свой восторг в рукоплесканиях и бряцании оружия, военные трибуны увенчали Мария лавровым венком, а затем он поджег костер и завершил жертвоприношение.

23. Но судьба, или Немесида, или естественный порядок вещей, который, не

давая людям насладиться полным и безраздельным успехом, чередует в их жизни удачи и неудачи, спустя немного дней принес Марию известие о его товарище по должности – Катуле. И снова, словно туча на ясном, чистом небе, навис над Римом страх новой бури. Дело в том, что Катул, действовавший против кимров, опасаясь дробить свои силы, чтобы их не ослабить, отказался от намерения защищать Альпийские перевалы, быстро спустился в Италию и занял оборону по реке Натизону, воздвигнув у брода на обоих берегах сильные укрепления и наведя переправу с тем, чтобы помочь стоявшему за рекой отряду, если варвары прорвутся через теснины и нападут на него. А те преисполнились такой дерзости и презрения к врагам, что даже не по необходимости, а лишь для того, чтобы показать свою выносливость и храбрость, нагими шли сквозь снегопад, по ледникам и глубокому снегу взбирались на вершины и, подложив под себя широкие щиты, сверху съезжали на них по скользким склонам самых высоких и крутых гор. Став лагерем неподалеку от римлян и разведав брод, они стали сооружать насыпь: подобно гигантам, срывали они окрестные холмы и бросали в воду огромные глыбы земли вместе с вырванными с корнем деревьями и обломками скал, так что река вышла из берегов, а по течению они пускали тяжелые плоты, которые с силой ударялись об устои моста и расшатывали их. Очень многие римские солдаты в испуге стали покидать большой лагерь и разбегаться. И тут Катул показал, что он, как положено благородному и безупречному полководцу, больше заботится о славе сограждан, чем о своей собственной. Не сумев убедить солдат остаться и увидев, что они в страхе собираются в путь, он приказал снять с места орла, бегом настиг первых из отступавших и пошел впереди, желая чтобы позор пал на него, а не на отечество, и стараясь придать бегству вид отступления, возглавленного полководцем. Варвары, напав на лагерь за Натизоном, взяли его, но, восхищенные римлянами, оборонявшимися с доблестью, достойной их отчизны, отпустили пленных, заключив перемирие и поклявшись на медном быке[19], который впоследствии, после битвы, был захвачен и перенесен в дом Катула как его доля добычи. Затем, рассеявшись по стране, лишенной защиты, кимвры опустошили ее.

24. После этого Мария вызвали в Рим. Все ожидали, что он отпразднует триумф, который сенат охотно предоставил ему, но Марий отказался, то ли не желая лишать этой чести своих соратников – воинов, то ли стараясь ободрить народ перед лицом надвигающейся опасности и для этого как бы вверяя судьбе города славу своих прежних подвигов, чтобы после второй победы вернуть ее себе еще более блестящей. Произнеся подобающую случаю речь, он отбыл к Катулу, ободрил его и вызвал своих солдат из Галлии. Едва они явились, Марий перешел Эридан, чтобы не пропустить варваров в глубь Италии. Но кимвры уклонялись от боя, говоря, что ожидают тевтонов и удивляются их задержке, – то ли они в самом деле ничего не знали о их гибели, то ли притворялись, будто не верят этому известию. Тех, кто сообщал им о разгроме, они подвергали суровому наказанию, а к Марию прислали посольство с требованием предоставить им и их братьям достаточно обширную область и города для поселения. Когда на вопрос Мария, кто же их братья, послы назвали тевтонов, все засмеялись, а Марий пошутил: “Оставьте в покое ваших братьев; они уже получили от нас зем-

лю, и получили навсегда". Послы, поняв насмешку, стали бранить Мария, говоря, что ему придется дать ответ кимврам – сейчас же, а тевтонам – когда они будут здесь. "Да они уже здесь, – ответил Марий, – и негоже вам уйти, не обняв ваших братьев". С этими словами он велел привести связанных тевтонских царей, которых секваны захватили в Альпах во время бегства. (25). Когда послы рассказали об этом кимврам, они тотчас же выступили против Мария, не двигавшегося с места и лишь охранявшего свои лагеря.

Считается, что именно в этой битве Марий впервые ввел новшество в устройство копья. Раньше наконечник крепился к древку двумя железными шипами, а Марий, оставив один из них на прежнем месте, другой велел вынуть и вместо него вставить ломкий деревянный гвоздь. Благодаря этому копье, ударившись о вражеский щит, не оставалось прямым: деревянный гвоздь ломался, железный гнулся, искривившийся наконечник просто застревал в щите, а древко волочилось по земле.

Бойориг, царь кимвров, с небольшим отрядом подъехал к самому лагерю и предложил Марию, назначив день и место, выйти, чтобы биться за власть над страной. Марий ответил ему, что никогда еще римляне не совещались о битвах с противником, но он сделает кимврам эту уступку; решено было сражаться на третий день, а место было выбрано у Верцелл, на равнине, удобной и для римской конницы, и для развернутого строя варваров. В назначенный срок оба войска выстроились друг против друга. У Катула было двадцать тысяч триста воинов, у Мария – тридцать две тысячи; Сулла, участник этой битвы, пишет, что Марий разделил своих людей на две части и занял оба крыла, а Катул оставался в середине. Сулла утверждает, будто Марий разместил свои силы таким образом в надежде на то, что неприятель нападет на выдвинутые вперед крылья и потому победа достанется лишь его воинам, а Катулу вообще не придется принять участие в битве и схватиться с противником, ибо центр, как всегда бывает при столь длинном фронте, был оттянут назад. Передают, что и сам Катул говорил в свою защиту то же самое[20], обвиняя Мария в недоброжелательстве. Пехота кимвров не спеша вышла из укрепленного лагеря; глубина строя у них была равна ширине и каждая сторона квадрата имела тридцать стадиев. А конница, числом до пятнадцати тысяч, выехала во всем своем блеске, с шлемами в виде страшных, чудовищных звериных морд с разинутой пастью, над которыми поднимались султаны из перьев, отчего еще выше казались всадники, одетые в железные панцири и державшие сверкающие белые щиты. У каждого был дротик с двумя наконечниками, а врукопашную кимвры сражались большими и тяжелыми мечами.

26. Всадники не ударили на римлян прямо в лоб, а отклонились вправо и понемногу завлекли их в промежуток между конницей и выстроившейся левее пехотой. Римские военачальники разгадали хитрость противника, но не успели удержать солдат, которые сразу же бросились вдогонку, едва один из них закричал, что враг отступает. Тем временем варварская пехота приближалась, колыхаясь, точно безбрежное море. Тогда Марий, омыв руки, поднял их к небу и взмолился богам, обещая принести им гекатомбу; молился и Катул, также воздев руки и творя обеты Судьбе сегодняшнего дня. Рассказывают, что Марий,

когда ему во время жертвоприношения показали закланных животных, громко вскричал: "Победа моя!" Но, когда завязалось сражение, Мария, как сообщает Сулла, постигло заслуженное наказание. Огромное облако пыли поднялось и, как бывает всегда, застлало воинам глаза, и потому Марий, первым двинувшийся преследовать врага и увлекший за собой свои легионы, упустил противника, пройдя мимо варварского строя, и долго блуждал по равнине; кимвры же по счастливой случайности натолкнулись на Катула, и самое жаркое сражение шло там, где стоял он и его солдаты, среди которых находился и Сулла, по его собственным словам. Даже солнце, светившее кимврам в глаза, и зной сражались на стороне римлян, ибо варвары, выросшие, как было сказано выше, в туманных, холодных странах, терпеливые к морозу, в жару покрывались обильным потом, задыхались и щитами прикрывали лица, а битва происходила после летнего солнцеворота, по римскому исчислению – в третий день перед календами месяца секстилия[21], как его тогда называли (теперь он именуется августом). Пыль, скрыв врага от глаз солдат, увеличила их храбрость, ибо они не видели огромных толп варваров, пока те были далеко, и каждый, сходясь врукопашную с теми, кто подбегал к нему вплотную, не был устрашен видом остальных врагов. Римские солдаты были так выносливы и закалены, что ни одного из них нельзя было увидеть покрытым потом или задыхающимся, несмотря на духоту и частые перебежки, как об этом, говорят, писал сам Катул, возвеличивая подвиг своих солдат. (27). Бóльшая и самая воинственная часть врагов погибла на месте, ибо сражавшиеся в первых рядах, чтобы не разрывать строя, были связаны друг с другом длинными цепями, прикрепленными к нижней части панциря. Римляне, которые, преследуя варваров, достигали вражеского лагеря, видели там страшное зрелище: женщины в черных одеждах стояли на повозках и убивали беглецов – кто мужа, кто брата, кто отца, потом собственными руками душили маленьких детей, бросали их под колеса или под копыта лошадей и закалывались сами. Рассказывают, что одна из них повесилась на дышле, привязав к щиколоткам петли и повесив на них своих детей, а мужчины, которым не хватило деревьев, привязывали себя за шею к рогам или крупам быков, потом кололи их стрелами и гибли под копытами, влекомые мечущимися животными. Хотя они и кончали с собою таким образом, в плен было захвачено шестьдесят тысяч человек, убитых же насчитывалось вдвое больше.

Имущество варваров расхитили солдаты Мария, а доспехи, военные значки и трубы принесены были в лагерь Катула, и это послужило для него самым веским доказательством, что именно он победил кимвров. Однако между солдатами, как водится, начался спор, третейскими судьями в нем выбрали оказавшихся тогда в лагере послов из Пармы, которых люди Катула водили среди убитых врагов и показывали тела, пронзенные их копьями: наконечники этих копий легко было отличить, потому что на них возле древка было выбито имя Катула. И все же первая победа и уважение к власти Мария[22] заставили приписать весь подвиг ему. Больше того, простой люд называл его третьим основателем города[23], полагая, что он не уступает полководцу, отразившему нашествие галлов. Дома, за праздничной трапезой с женой и детьми, каждый посвящал начатки яств и совершал возлияние Марию наравне с богами, все требовали, чтобы он

один справил оба триумфа. Но он сделал это вместе с Катулом, потому что хотел и в счастии казаться умеренным, а быть может, и потому, что опасался, как бы воины, стоявшие в боевой готовности, не помешали ему справить триумф, если он лишит Катула этой чести.

28. Все это Марий совершил во время своего пятого консульства. Шестого он домогался так, как другие не добиваются и первого; обхаживая для этого народ, он не только угождал толпе в ущерб достоинству и значению власти, но и старался быть мягким и снисходительным, вопреки собственной природе, лишенной этих свойств. Однако, как утверждают, честолюбие делало его робким на граждаском поприще, ропот толпы пугал его, присущие ему в битвах непоколебимость и стойкость покидали его в Народном собрании, и любой мог хвалой или хулой заставить его воспрянуть или пасть духом. Правда, даровав римское гражданство тысяче камерийцев[24], отличившихся в сражении, Марий в ответ на обвинения в том, что поступил противозаконно, сказал: "Грохот оружия заглушал голос закона". Но в большинстве случаев он терялся и робел перед криками в Народном собрании. На войне, где без него не могли обойтись, Марий пользовался властью и уважением, а в государственных делах его влияние ограничивали всеми средствами, и потому он стал добиваться расположения народа и, стремясь стать выше всех, не старался быть лучше всех.

Враждуя с первыми гражданами, он больше всего боялся Метелла, который пал жертвой его неблагодарности и чья врожденная неподкупная честность всегда восставала против людей, желавших привлечь народ не заботой об общем благе, а лестью и угождением. Этого человека Марий задумал изгнать, ради чего приблизил к себе Сатурнина и Главцию, людей наглых и всегда окруженных толпой обнищавших смутьянов. С их помощью он внес несколько законов и, рассеяв в толпе народа, сошедшегося на выборы, своих солдат, кознями победил Метелла. Согласно рассказу Рутилия, человека честного и правдивого, но враждебного Марию, тот, раздав по трибам[25] деньги, купил себе шестое консульство, золотом лишив власти Метелла и взяв Валерия Флакка скорее пособником, чем товарищем по должности. До Мария народ никому, кроме Валерия Корвина, не давал консульства столько раз, но у того между первым и шестым консульством протекло сорок пять лет, а Марий после первого получил еще пять как единый дар судьбы. (29). Более всего было ненавистно согражданам последнее консульство Мария, когда заодно с Сатурнином он совершил множество преступлений. К числу их принадлежит убийство Нония, который домогался трибуната, соперничая с Сатурнином, и был заколот им.

Став трибуном, Сатурнин предложил закон о земле[26] и прибавил к нему требование, чтобы сенат поклялся без возражений принять все, что постановит народ. В сенате Марий сделал вид, будто порицает эту часть закона, заявив, что и сам не принесет клятвы и не думает, чтобы это сделал любой здравомыслящий человек: даже если закон и не плох, наглость – заставлять сенат принять его не по доброй воле, а по принуждению. Однако думал он иначе и, говоря так, лишь готовил коварную ловушку Метеллу. Считая ложь неотъемлемым свойством доблестного и разумного человека, Марий не собирался выполнить то, о чем говорил в сенате, и зная стойкость Метелла, уверенного, что – пользуясь выраже-

нием Пиндара – “правдивость есть начало добродетели”, хотел использовать его отказ принести клятву, чтобы вызвать в народе жестокую ненависть к нему. Так оно и вышло. Когда Метелл заявил, что присягать не будет, Марий распустил сенат, а через несколько дней Сатурнин созвал членов курии к возвышению для ораторов и стал требовать от них клятвы. При появлении Мария все смолкли, выжидающе глядя на него, а он, пренебрегши всем, о чем пылко говорил в сенате, заявил, что у него не такая толстая шея[27], чтобы раз навсегда высказать свое мнение в столь важном деле, и что он даст клятву и будет повиноваться закону, если только это закон. (Этой “мудрой” оговоркой он хотел прикрыть свое бесстыдство.) Народ, узнав, что Марий принес клятву, приветствовал его рукоплесканиями и криками, а среди лучших граждан измена Мария вызвала уныние и ненависть к нему. Боясь народа, все, кроме Метелла, один за другим принесли клятву. Метелл, несмотря на уговоры и просьбы друзей присягнуть и не подвергать себя страшному наказанию, которого Сатурнин требовал для всех, не давших клятвы, не изменил своей гордости, не присягнул и удалился с собрания, верный себе и готовый претерпеть самую страшную муку, но не совершить ничего постыдного. Уходя, он говорил друзьям, что дурной поступок – это подлость, поступить хорошо, ничем при этом не рискуя, может всякий, но лишь доблестному мужу присуще поступать хорошо, невзирая на риск. После этого Сатурнин внес предложение, чтобы консулы лишили Метелла крова, огня и воды[28], а злобная чернь готова была убить его. Когда лучшие граждане в тревоге сбежались к Метеллу, он запретил им начинать из-за него распрю и покинул Рим, считая это самым разумным. “Если дела пойдут лучше, – говорил он, – и народ одумается, я вернусь по его призыву, а если все останется по-прежнему, то лучше быть подальше”. Однако о том, как он снискал себе в изгнании общее расположение и почет, как жил на Родосе жизнью философа, будет уместно рассказать в его жизнеописании[29].

30. За эту услугу Сатурнина Марий должен был закрыть глаза на то, что тот дошел до предела в своей наглости и приобрел огромную власть; так незаметно для себя Марий причинил Риму страшное зло, допустив, чтобы трибун, грозя оружием и убийствами, открыто стремился к государственному перевороту и тирании. Стыдясь знати и угождая черни, Марий совершил совсем уже бесчестный и низкий поступок. Когда ночью к нему пришли первые люди в государстве и стали убеждать его расправиться с Сатурнином, Марий тайком от них впустил через другую дверь самого Сатурнина и, солгав, что страдает расстройством желудка, под этим предлогом бегал через весь дом то к одним, то к другому, подзадоривая и подстрекая обе стороны друг против друга. Когда же и сенаторы, и всадники устроили сходку, негодуя против мятежников, Марий вывел на форум вооруженных воинов[30], загнал сторонников Сатурнина на Капитолий и, перерезав водопровод, взял их измором: ослабев от жажды, они призвали Мария и сдались, получив от имени государства заверения в личной неприкосновенности. Он делал все, чтобы их спасти, но ничем не мог помочь, и едва они спустились на форум, как их тотчас же убили. С этого времени Марий стал ненавистен не только знати, но и простому народу, и потому, несмотря на свою громкую славу, он, опасаясь неудачи, даже не принял участия в цензорских вы-

борах, допустив, чтобы избрали менее известных лиц, сам же лицемерно говорил, что не хочет навлекать на себя ненависть множества людей, сурово расследуя их жизнь и нравы.

31. Когда было внесено предложение вернуть Метелла из изгнания, Марий словом и делом старался помешать этому, но ничего не добился; после того, как народ охотно принял это решение, он, будучи не в силах перенести возвращение Метелла, отплыл в Каппадокию и Галатию под тем предлогом, что по обету должен принести жертвы Матери богов, в действительности же имея другую причину для путешествия, многим неизвестную. Дело в том, что Марий, по природе неспособный к мирной гражданской деятельности и достигший величия благодаря войнам, полагал, будто в праздности и спокойствии его власть и слава постепенно увядают. Ища возможностей для новых подвигов, он надеялся, что если ему удастся возмутить царей и подстрекнуть Митридата к войне, которую, как все подозревали, тот давно уже замышлял, то его выберут полководцем и он наполнит Рим славой новых триумфов, а свой дом – понтийской добычей и царскими богатствами. Поэтому, хотя Митридат принял его любезно и почтительно, Марий не смягчился и не стал уступчивее, но сказал царю: "Либо постарайся накопить больше сил, чем у римлян, либо молчи и делай, что тебе приказывают", – и этим поверг в страх Митридата, часто слышавшего язык римлян, но впервые узнавшего, какова бывает откровенность их речей.

32. Вернувшись в Рим, Марий построил дом неподалеку от форума, не желая, по его собственным словам, затруднять дальней дорогой приходивших почтить его, а на самом деле полагая, что к нему приходит меньше народу, чем к другим знатным римлянам, лишь из-за удаленности его жилища. В действительности же дело было не в этом. Уступая другим в любезном обхождении и во влиянии на дела государства, Марий жил теперь в пренебрежении, подобный орудию войны во время мира. Никто из тех, кто превосходил его славой, не заставлял его так страдать и терзаться, как Сулла, который приобрел могущество, используя ненависть знати к Марию, и сделал вражду с ним основой своего возвышения. Когда же нумидиец Бокх, объявленный союзником римского народа, воздвиг на Капитолии статуи Победы, несущей трофеи, а рядом с ними – золотое изображение Югурты, передаваемого им Сулле, Марий, уязвленный в своем честолюбии и разгневанный тем, что Сулла приписывает себе его подвиги, готовился силой сбросить дары Бокха. Сулла воспротивился этому, и распря уже готова была вспыхнуть, но ее пресекла Союзническая война, неожиданно обрушившаяся на Рим. Самые многочисленные и воинственные из италийских народов восстали против Рима и едва не низвергли его владычество, ибо были сильны не только людьми и оружием, но и талантом полководцев, которые не уступали римлянам ни отвагой, ни опытностью. (33). Эта война, с ее бедствиями и превратностями судьбы, настолько же увеличила славу Суллы, насколько отняла ее у Мария. Ибо он стал медлителен в наступлении, всегда был полон робости и колебаний, то ли потому, что старость угасила в нем прежний пыл и решительность (ему было уже больше шестидесяти пяти лет), то ли потому, что, страдая болезнью нервов и ослабев телом, он, по собственному признанию, лишь из боязни позора нес непосильное для него бремя войны. И все же он

одержал большую победу[31], истребив шесть тысяч вражеских воинов, и при этом его войско было неуязвимым для врагов, потому что он остался на месте, когда они окружили его рвом, и не поддался гневу, когда они вызывали его на бой и насмехались над ним. Рассказывают, что Помпедий Силон, пользовавшийся среди италийцев наибольшей властью и влиянием, сказал ему: "Если ты великий полководец, Марий, выйди и сразись со мной"; на это Марий ответил: "Если сам ты великий полководец, то заставь меня сразиться с тобой против моей воли". В другой раз, когда неосмотрительность врагов создала удобный случай напасть на них, а римляне настолько оробели, что обе стороны стали отступать, Марий, созвав своих солдат на сходку, сказал им: "Затрудняюсь решить, кто более труслив – наши противники или мы: ни они не решились взглянуть нам в спину, ни мы им в затылок". Однако, в конце концов, по причине телесной немощи и болезни он сложил с себя обязанности полководца.

34. Когда война в Италии близилась к концу и многие в Риме стали искать расположения народа, чтобы получить командование в войне с Митридатом, народный трибун Сульпиций, человек крайне дерзкий, совершенно неожиданно для сограждан вывел Мария на форум и предложил облечь его консульскими полномочиями и отправить полководцем против Митридата. Народ разделился: одни хотели избрать Мария, другие призывали Суллу, а Мария посылали в Байи горячими ваннами лечить тело, изнуренное, как он сам говорил, старостью и ревматизмом. Там, возле Мизен, у Мария был великолепный дом, предназначенный для жизни куда более изнеженной и роскошной, чем подобало человеку, прошедшему столько войн и походов. Рассказывают, что Корнелия купила его за семьдесят пять тысяч, а спустя недолгое время Луций Лукулл заплатил за него два с половиною миллиона – так быстро поднялась цена и возросла страсть к роскоши. Тем не менее Марий, из честолюбия упрямо не желал признавать себя старым и слабым, ежедневно приходил на Поле и упражнялся вместе с юношами, показывая, как легко он владеет оружием и как крепко сидит в седле, несмотря на старость, сделавшую его тело неповоротливым, грузным и тучным. Некоторым нравился его образ действий, и они охотно приходили смотреть, как честолюбиво состязается он с молодыми, но достойные граждане при виде подобных занятий жалели этого жадного до славы человека, который, став богатым из бедного и великим из ничтожного, не ведает, что и его счастью положен предел, не довольствуется созерцанием достигнутых благ и спокойным обладанием ими, но после стольких славных триумфов, на склоне лет стремится, точно безвестный бедняк, в Каппадокию и к Эвксинскому Понту сражаться с Архелаем и Неоптолемом, сатрапами Митридата. Что же касается оправданий Мария, утверждавшего, будто он хочет сам закалить и обучить в походе сына, то они казались совершенно нелепыми.

35. Такие распри раздирали Рим, давно уже больной изнутри, когда Марий, на общую погибель, нашел себе превосходное орудие -- дерзость Сульпиция, который восхищался Сатурнином и во всем подражал ему, упрекая лишь за нерешительность и медлительность. Сам же Сульпиций не медлил: окружив себя, словно телохранителями, шестьюстами гражданами из всаднического сословия, которых он именовал антисенатом, он с оружием в руках напал в Народном со-

брании на консулов[32], и когда один из них бежал с форума, мятежники захватили и убили его сына. Сулла же, за которым гнались враги, пробегая мимо дома Мария, неожиданно для всех ворвался в него и скрылся от промчавшихся дальше преследователей; рассказывают, что сам Марий выпустил его невредимым через другую дверь, и так Сулла пробрался к войску[33]. Но Сулла в своих воспоминаниях говорит, что не сам он прибежал к Марию, а был отведен туда, чтобы обсудить постановления, которые Сульпиций вынуждал его принять против воли: мятежники окружили его с обнаженными мечами и заставили пойти в дом Мария, после чего он вернулся на форум и отменил, как они требовали, неприсутственные дни. Вышедший победителем Сульпиций добился избрания Мария, который стал готовиться к походу и отправил двух легатов принять войско у Суллы. Тот, возмутив воинов (у него было больше тридцати пяти тысяч тяжело вооруженных пехотинцев), повел их на Рим. А легатов, посланных Марием, солдаты умертвили. Марий в Риме также убил множество сторонников Суллы и объявил, что даст свободу рабам, которые выйдут сражаться за него, однако, как рассказывают, к нему присоединилось всего трое. Когда же в город ворвался Сулла, Марий после недолгого сопротивления был разгромлен и бежал. Едва он был выбит из города, все, кто был с ним, рассеялись а сам Марий с наступлением ночи добрался до Солония, одного из своих имений. Послав сына в расположенные неподалеку владения своего зятя Муция за необходимыми припасами, он отправился в Остию, где один из его друзей, Нумерий, снарядил для него корабль, и отплыл вместе со своим пасынком Гранием. А юноша, явившись во владения Муция и собирая там все необходимое, не избежал встречи с врагом, ибо, движимые подозрением, они на рассвете прислали туда всадников. Однако управитель имения, издали увидев их, спрятал Мария-младшего в телеге, груженной бобами, и, запрягши в нее быков, выехал навстречу всадникам и погнал повозку в город. Так Марий был доставлен в дом своей жены, откуда, взяв все необходимое, он ночью добрался до моря и, сев на корабль, плывший в Африку, переправился туда.

36. Между тем Марий-старший плыл с попутным ветром вдоль берегов Италии, причем, боясь одного из своих врагов – некоего Геминия, таррацинского гражданина, он просил матросов не заходить в Таррацину. Те охотно повиновались бы ему, но ветер переменился и подул с моря, подняв большие волны, так что, казалось, корабль не выдержит бури, и сам Марий чувствовал себя плохо, страдая морской болезнью. С трудом достигли они суши возле Цирцей, буря становилась сильнее, съестные припасы стали подходить к концу, матросы без цели бродили по берегу и, как всегда бывает в больших затруднениях, спеша уйти от уже постигших их бед, как от самых тяжелых, возлагали надежды на неведомое будущее. А ведь им была враждебна земля, враждебно и море, страшно было встретиться с людьми, но страшно и не встретиться – из-за нужды в самом необходимом. Вечером им попалось навстречу несколько пастухов, которые ничего не могли им дать, но, узнав Мария, сообщили, что совсем недавно видели на этом месте множество разыскивавших его всадников и советовали ему поскорее бежать. Однако спутники Мария совсем ослабели от голода, он очутился в безвыходном положении, и вот, свернув с дороги, он зашел поглубже в лес и

кое-как провел там ночь. На следующий день, гонимый нуждой, еще раз напрягши свои силы, прежде чем они совсем иссякнут, он вышел на берег и, ободряя своих спутников, убеждал их не терять последней надежды, которую он сам хранит, веря давнему предсказанию. Ибо еще совсем молодым человеком, живя в деревне, он однажды полою плаща подхватил падающее орлиное гнездо с семью птенцами, и когда родители, увидев это, удивились и обратились к гадателям, те отвечали, что он станет славнейшим из смертных и непременно семь раз получит высшую власть. Одни утверждают, что такой случай действительно произошел с Марием, другие – что вся эта история совершенно баснословна, а записали ее, поверив Марию, люди, которые в тот день или позже, во время его изгнания, слышали ее. Дело в том, что орел производит на свет не более двух птенцов; поэтому и Мусей солгал, говорят они, написав, что орел три яйца кладет, высиживает двух птенцов, питает одного. Однако все сходятся на том, что во время бегства в самых трудных положениях Марий часто говорил, что достигнет седьмого консульства.

37. Не доехав всего двадцати стадиев до италийского города Минтурны, они заметили, что за ними гонится отряд всадников, а по морю, к счастью, плывут два грузовых судна. Беглецы что было мочи ринулись к морю, бросились в воду и подплыли к кораблям. Граний взобрался на один из них и был доставлен на расположенный напротив остров, именуемый Энарией, а самого Мария, грузного и неповоротливого, двое рабов с трудом поддерживали на поверхности моря и подняли на другой корабль. Тем временем всадники достигли берега и потребовали, чтобы мореходы либо пристали, либо сбросили Мария в воду и плыли куда угодно. Марий принялся со слезами молить судовладельцев, и те, хотя и колебались некоторое время, не зная, к чему склониться, все же ответили всадникам, что не выдадут его. Когда всадники в гневе удалились, судовладельцы тотчас переменили решение, направились к земле и, бросив якорь возле болотистого устья реки Лирис, предложили Марию выйти на сушу, чтобы подкрепиться там пищей и дать покой изнуренному телу, пока не подует попутный ветер, – подует же он тогда, когда ветер с моря в обычный час уляжется, а ток воздуха, испускаемый болотом, станет достаточно сильным. Марий, поверив им, так и поступил, матросы высадили его на сушу, и он лег на траву, не подозревая, что его ждет. А мореходы поскорее взошли на корабль, подняли якорь и бежали, полагая, что выдать Мария бесчестно, а спасать его опасно. Всеми покинутый, одинокий, Марий долгое время безмолвно лежал на берегу, потом едва-едва поднялся и с трудом побрел по бездорожью. Перебравшись через глубокие топи и рвы, полные водой и грязью, он набрел на хижину старого рыбака; столкнувшись с ним, Марий стал молить его помочь и спасти человека, который, если теперь ему удастся скрыться, воздаст благодарностью, превосходящей все ожидания. Старик, то ли раньше встречавший Мария, то ли по виду признавший в нем человека незаурядного, сказал, что если гость нуждается в отдыхе, то ему подойдет и этот шалаш, если же он скитается, спасаясь бегством, то можно скрыть его в более безопасном месте. Об этом Марий и попросил его, и старик, отведя его в болото, велел спрятаться в тесной пещере неподалеку от реки, а сам собрал и набросал сверху тростника, легких трав и веток, под которыми

Марий мог лежать без всякого вреда. (38). Спустя недолгое время к нему донеслись со стороны хижины шум и крики. Геминий из Таррацины разослал множество людей в погоню за Марием, некоторые из них, случайно оказавшись возле хижины, стали пугать старика и кричать, что он принял и укрыл врага римского народа. Тогда Марий поднялся, разделся и бросился в густую, илистую воду болота. Но и это не помогло ему скрыться: преследователи вытащили его из топи и, как он был, голого, покрытого грязью отвели в Минтурны и передали властям. По городам уже объявили, что надлежит всем народом искать Мария, а изловив, убить. И все же власти решили сперва посовещаться, а Мария поместили в дом некой Фаннии, женщины, у которой, казалось, давно уже были причины относиться к нему враждебно. Дело в том, что Фанния, разведясь со своим мужем Тиннием, потребовала возврата приданого, весьма богатого, он же обвинил ее в прелюбодеянии[34]. Судьей был Марий во время своего шестого консульства. Когда после разбора дело стало ясно, что Фанния вела жизнь распутную, а муж, хотя и знал об этом, все же взял ее в жены и долго жил с ней в браке, Марий осудил обоих: Тиннию он велел вернуть приданое, а женщину в знак бесчестия приговорил к штрафу в четыре медных монеты[35]. Несмотря на это, Фанния не высказала обычных чувств оскорбленной женщины, но, едва увидев Мария, далекая от всякого злопамятства, помогла ему, насколько это было в ее силах, и ободрила его. А он поблагодарил ее и сказал, что не теряет мужества, ибо ему было хорошее предзнаменование: когда его вели к дому Фаннии и уже отворили ворота, со двора выбежал, чтобы напиться из протекавшего поблизости источника, осел, который весело и лукаво взглянув на Мария, сперва остановился против него, потом пронзительно закричал и запрыгал от радости. Из этого Марий заключил, что божество указывает ему на спасение, которое придет скорее с моря, чем с суши, ибо осел, не притронувшись к сухому корму, побежал прямо к воде. Побеседовав так с Фаннией, Марий лег отдохнуть, велев прикрыть двери дома.

38. Посовещавшись, должностные лица и члены совета Минтурн решили немедля умертвить Мария. Однако никто из граждан не хотел взять это на себя, лишь один солдат конницы, родом галл или кимвр (историки сообщают и то и другое), вошел к нему с мечом. В той части дома, где лежал Марий, было мало света, и в полутьме солдату показалось, будто глаза Мария горят ярким огнем, а из густой тени его окликнул громкий голос: “Неужели ты дерзнешь убить Гая Мария?” Варвар тотчас убежал, бросив по пути меч, и в дверях завопил: “Я не могу убить Гая Мария!” Всех граждан обуял ужас, ему на смену пришли жалость и раскаяние в беззаконном решении, которое они приняли, позабыв о благодарности спасителю Италии, не помочь которому – тяжкое преступление. “Пусть беглец идет куда угодно и в другом месте претерпит все, что ему суждено. А мы должны молиться, чтобы боги не покарали нас за то, что мы изгоняем из города Мария, нагого и преследуемого”. С такими мыслями все должностные лица вместе вошли к Марию и, окружив его, отвели к морю. Хотя каждый готов был чем-нибудь услужить ему и все очень спешили, по пути все же вышла задержка. Дело в том, что дорогу к морю преграждала посвященная Марике[36] роща, которую там чтили, как святыню, и заботились, чтобы ничто внесенное в

нее не выносилось обратно. Чтобы обойти ее кругом, нужно было потратить много времени, и тогда один из старейших провожатых вскричал, что ни одна дорога не заповедна, если по ней идет к спасению Марий, первым взял на плечи часть поклажи, которую несли на корабль, и прошел через рощу. (40). Добрая воля спутников помогла быстро собрать все необходимое, некий Белей предоставил Марию судно, а потом, изобразив все эти события на картине, посвятил ее в храм.

Взойдя на корабль, Марий отчалил и, по счастливой случайности, попутный ветер привел его на остров Энарию, где он нашел Грания и остальных друзей, с которыми отплыл в Африку. Из-за недостатка воды Марий со спутниками вынужден был пристать в Сицилии близ Эрика. Эти места охранялись римским квестором, который едва не захватил высадившегося на берег Мария и убил шестнадцать человек, посланных им за водой. Марий поскорее отчалил и переправился на остров Менинг, где впервые узнал, что его сын спасся вместе с Цетегом и теперь держит путь к Гиемпсалу, царю нумидийцев, просить у него помощи. Ободренный этими известиями, Марий отважился переплыть с острова на Карфагенскую землю. Наместником Африки был тогда бывший претор Секстилий, человек, которому Марий не сделал ни зла, ни добра и от которого ожидал сочувствия и поддержки. Однако, едва Марий с немногими спутниками сошел на берег, его встретил посланец наместника и сказал: “Претор Секстилий запрещает тебе, Марий, высаживаться в Африке, а иначе он встанет на защиту постановлений сената и поступит с тобой, как с врагом римского народа”. Услышав это, Марий был так удручен и опечален, что не мог вымолвить ни слова и долго молчал, мрачно глядя на вестника. Когда же тот спросил, что передать претору, Марий ответил с громким стоном: “Возвести ему, что ты видел, как изгнанник Марий сидит на развалинах Карфагена”. Так в назидание наместнику он удачно сравнил участь этого города с превратностями своей судьбы.

Между тем Гиемпсал, царь нумидийский, не зная, на что решиться, с почетом принял Мария-младшего и его спутников, но всякий раз, как они собирались уезжать, удерживал их под каким-либо предлогом, и было ясно, что все эти отсрочки нужны ему для недоброго дела. Однако на помощь пришел случай. Марий-младший был очень красив, и одну из царских наложниц весьма огорчала его незаслуженно тяжкая судьба; эта жалость явилась началом и причиной любви. Марий сперва отверг влюбленную, но потом, видя, что другого пути к бегству нет и что влюбленной движет чувство более глубокое, чем бесстыдная жажда наслаждений, он принял ее любовь и с помощью этой женщины бежал вместе с друзьями и прибыл к отцу. После первых приветствий оба пошли вдоль моря и увидели дерущихся скорпионов, и Марию это показалось дурным предзнаменованием. Тотчас же взойдя на рыбачье судно, они переправились на Керкину, остров, лежащий вблизи материка, и едва успели отчалить, как увидели всадников, посланных царем вдогонку и явившихся на то место, с которого они только что отплыли. Так Марий избег еще одной опасности, ничуть не меньшей, чем все прочие.

41. Из Италии стали доходить слухи, что Сулла отправился из Рима в Беотию воевать с полководцами Митридата, а между консулами[37] пошли раздоры, окон-

чившиеся вооруженной борьбой. В битве Октавий одержал верх и изгнал Цинну, стремившегося к тираннии, и вместо него поставил консулом Корнелия Мерулу; Цинна же тотчас пошел на них войной, набрав войско в Италии. Марий, узнав об этом, решил немедленно плыть на родину. Взяв из Африки небольшое число мавританских всадников, а также беглецов, явившихся к нему из Италии (тех и других вместе было не более тысячи), Марий отплыл и прибыл в этрусский город Теламон, где объявил, что даст свободу рабам, а также убедил присоединиться к нему самых молодых и крепких из свободных пастухов и земледельцев, которые сбежались к морю, привлеченные его славой. Так за несколько дней он собрал большой отряд, которым заполнил сорок кораблей. Зная, что Октавий – человек благородный, желающий править законным образом, а Цинна находится у Суллы под подозрением и настроен враждебно к установленным им порядкам, Марий решил присоединиться с войском к Цинне и послал известие, что готов подчиняться ему, как консулу. Цинна согласился и, назначив Мария проконсулом, отправил ему фасции и прочие знаки власти, но Марий заявил, что в его участи не подобает принимать их, и, одетый в грязное платье, не стриженный со дня изгнания, он, несмотря на свои семьдесят с лишним лет, пешком отправился к Цинне, желая вызвать сострадание. Но к жалости примешивался ужас, который он всегда внушал своим видом: и в унижении видно было, что дух его не только не сломлен, но еще более ожесточен переменой судьбы. (42). Поздоровавшись с Цинной и обратившись с приветствием к солдатам, Марий немедля взялся за дело, и все сразу же пошло по-иному.

Прежде всего его корабли отрезали подвоз хлеба и, грабя купцов, он сделался хозяином всех товаров. Затем он напал с моря на прибрежные города и захватил их. Наконец, с помощью предательства он взял самоё Остию, разграбил ее, убив множество людей, а затем перегородил мостом Тибр и полностью отрезал путь тем, кто вез с моря припасы для его врагов. После этого он подошел с войском к Риму и занял холм, именуемый Яникулом. Октавий вредил делу не столько своей неопытностью, сколько стремлением всегда соблюдать законность, ради которой он упускал все, что могло принести пользу: например, многие советовали ему призвать рабов, пообещав им свободу, но он отказался, заявив, что не отдаст рабам родину, доступ в которую во имя защиты законов он возбраняет Гаю Марию. Когда в Рим прибыл Метелл, сын Метелла, бывшего полководцем в Африке и изгнанного по вине Мария, все решили, что он более способен возглавить войско, чем Октавий, и солдаты, бросив Октавия, пришли к нему, моля взять власть и спасти город и уверяя, что под началом человека опытного и деятельного они будут хорошо сражаться и одержат победу. Когда же Метелл, негодуя, приказал им возвратиться к консулу, они ушли к врагу. И Метелл, отчаявшись в судьбе Рима, также удалился. А Октавия какие-то халдейские прорицатели, гадатели по сивиллиным книгам и жрецы убедили, что все будет хорошо, и удержали в городе. Вообще, кажется, этот человек, во всех делах превосходивший благоразумием прочих римлян, не запятнавший достоинство консульской власти благосклонностью к льстецам, верный законам и нравам предков, которые он соблюдал неукоснительно, словно непререкаемые правила, этот человек питал особую слабость к гаданию и больше времени проводил

с шарлатанами и прорицателями, чем с людьми государственными или полководцами. Еще прежде, чем Марий взял город, высланные им вперед солдаты стащили консула с возвышения для ораторов и закололи; при этом, как рассказывают, за пазухой у убитого нашли халдейский гороскоп. И вот что кажется весьма странным: оба знаменитых мужа были привержены к гаданию, но Марию это принесло спасение, а Октавию – гибель.

43. При таком положении дел собравшийся сенат отправил к Марию и Цинне послов просить их войти в город и пощадить граждан. Цинна, который как консул принял послов, сидя на должностном кресле, дал им милостивые ответы, но Марий, стоявший рядом с креслом, не проронил ни звука, суровым выражением лица и мрачным взглядом давая понять, что скоро наполнит город резнею. Когда же их войска поднялись с места и двинулись на город, Цинна, окруженный телохранителями, вошел в Рим, а Марий остановился перед воротами и, прикрывая гнев иронией, заявил, что он, мол, изгнанник и закон запрещает ему возврат на родину, а если кто-нибудь нуждается в его присутствии, то нужно новым постановлением отменить прежнее, изгнавшее его. Так он медлил, словно послушный законам гражданин или словно ему предстояло войти в свободный город. Народ созвали на форум, но не успели три или четыре трибы подать голоса, как Марий, отбросив притворство и все речи об изгнании, двинулся в город в сопровождении отборной стражи из преданных ему рабов, которых он называл "бардиеями"[38]. Многих они убили по приказу или по знаку Мария, а Анхария, сенатора и бывшего претора, повалили наземь и пронзили мечами только потому, что Марий при встрече не ответил на его приветствие. С тех пор это стало служить как бы условным знаком: всех, кому Марий не отвечал на приветствие, убивали прямо на улицах, так что даже друзья, подходившие к Марию, чтобы поздороваться с ним, были полны смятения и страха. Когда множество граждан было перебито, Цинна насытился резней и смягчился, но Марий, с каждым днем все больше распаляясь гневом и жаждой крови, нападал на всех, против кого питал хоть какое-нибудь подозрение. Все улицы, весь город кишели преследователями, охотившимися за теми, кто убегал или скрывался. В это время стало ясно, что в превратностях судьбы нельзя полагаться на узы дружбы или гостеприимства: ведь лишь немногие не выдавали палачам друзей, искавших у них убежища. Потому достойны удивления и восхищения рабы Корнута, которые спрятали своего господина дома, а потом, повесив за шею одного из многочисленных мертвецов и надев ему на палец перстень, показали его телохранителям Мария и после этого пышно похоронили, словно своего господина. Никто не заподозрил обмана, и Корнут был тайком перевезен рабами в Галлию.

44. Благородного друга нашел и оратор Марк Антоний, но все же злая судьба настигла его. Друг этот был человек простой и бедный; дружелюбно принимая одного из первых римлян и потчуя его тем, что было в доме, он послал раба в ближайшую лавочку за вином. Когда раб стал заботливо пробовать купленное и требовать вина получше, торговец спросил, почему это он покупает не молодое и простое вино, как обычно, а более изысканное и дорогое. Тот отвечал ему прямо, как близкому знакомцу, что хозяин угощает Марка Антония, который прячется у него. Торговец, человек нечестивый и гнусный, едва раб ушел, по-

спешил к Марию и, введенный в покой, где в это время пировал Марий, пообещал выдать Антония. Рассказывают, что Марий, услышав это, громко закричал, захлопал в ладоши от радости и чуть было сам не вскочил из-за стола и не побежал к указанному месту, однако друзья удержали его, и тогда он послал Анния с солдатами, приказав им поскорее принести голову Антония. Анний остался у дверей, а солдаты по лестницам влезли в дом и, увидев Антония, стали выталкивать один другого вперед и побуждать друг друга убить его. И, как видно, в речах этого человека было такое обаяние и прелесть, что, когда он заговорил, моля пощадить его, ни один из солдат уже не смел не только приблизиться, но хотя бы поднять глаза, и все стояли, потупив взоры, и плакали. Удивленный задержкой, Анний поднялся в дом и, увидев, что Антоний держит речь, а солдаты слушают, смущенные и взволнованные, обругал их, подбежал к оратору и отрубил ему голову.

А Лутаций Катул, который был коллегой Мария по консульству и вместе с ним получил триумф за победу над кимврами, после того как Марий ответил просившим и молившим за него: "Он должен умереть", – заперся у себя в доме, зажег угли и задохнулся в дыму.

При виде разбросанных по улицам и попираемых ногами обезглавленных трупов никто уже не испытывал жалости, но лишь страх и трепет. Больше всего народ удручали бесчинства бардиеев. Они убивали хозяев в их домах, бесчестили детей и насиловали жен, и до тех пор не удавалось положить конец грабежам и убийствам, пока Цинна и Серторий, сговорившись, не напали со своими сторонниками на лагерь бардиеев и, захватив их во время сна, всех перебили.

45. Между тем, словно переменился ветер, отовсюду стали приходить известия, что Сулла, завершив войну с Митридатом и отвоевав провинции, плывет с большим войском на Рим. Это на краткое время остановило насильников, полагавших, что война вот-вот приблизится к ним, и дало гражданам передышку в их несказанных бедах. Марий был в седьмой раз избран консулом и, едва вступив в должность, в январские календы – это первый день года – сбросил со скалы некоего Секста Лициния; все сочли это грозным предвестьем нависших над городом и гражданами бед. Сам Марий, изнуренный трудами, обремененный заботами, был уже слаб; его душа трепетала при мысли о новой войне и новых сражениях, весь ужас и тягость которых он знал по опыту. Думал он и о том, что не Октавий и Мерула, предводители нестройных толп мятежного сброда, грозят ему, а наступает сам Сулла, когда-то изгнавший его из отчизны, а теперь оттеснивший Митридата к Понту Эвксинскому. Перед его глазами вставали долгие странствия, опасности, преследования, гнавшие его по земле и по морю, и, сломленный этими мыслями, он впал в отчаяние. Его одолевали ночные страхи и кошмары, ему казалось, что он непрерывно слышит голос, твердящий:

Даже в отсутствие льва его логово людям ужасно[39].

Больше всего страшась бессонницы, Марий предался непристойному в его возрасте пьянству, желая таким способом призвать сон, избавляющий от забот. Наконец с моря прибыл вестник, и новые страхи, отягчившие его ужас перед грядущим и отвращение к настоящему, явились последней каплей, переполнив-

шей чашу. У него началось колотье в боку, как сообщает философ Посидоний, утверждающий, что сам навещал Мария и беседовал с ним, уже больным, о делах своего посольства[40]. А некий Гай Пизон, историк, сообщает, что Марий, после обеда, гуляя с друзьями, стал перечислять свои подвиги с самого начала и рассказывать обо всех счастливых и несчастливых переменах в своей участи и при этом сказал, что неразумно и дальше верить в удачу, а потом, попрощавшись со всеми, лег и, пролежав не поднимаясь семь дней, умер. Некоторые рассказывают, что во время болезни обнаружилось все его честолюбие, которое привело к нелепой мании: ему чудилось, будто он послан военачальником на войну с Митридатом, и потому он проделывал всякие телодвижения и часто издавал громкие крики и вопли, как это бывает во время битвы. Вот какую жестокую, неутолимую страсть к воинским подвигам поселили в его душе властолюбие и зависть. Потому-то Марий, проживший семьдесят лет, первым из римлян семь раз избранный консулом, накопивший в своем доме богатства, не уступающие царским, оплакивал свою судьбу, посылающую смерть прежде, чем он достиг всего, чего желал.

46. А вот Платон, умирая, восхвалял своего гения и свою судьбу за то, что, во-первых, родился человеком, во-вторых, эллином, а не варваром и не бессловесным животным, а также и за то, что жить ему пришлось во времена Сократа. И Антипатр Тарсский точно так же перед кончиною перечислил все, что с ним случилось хорошего, не забыв при этом даже удачное плавание из родного города в Афины, ибо каждый дар благосклонной судьбы он считал за великую милость и все сохранил в памяти, потому что у человека нет более надежной кладовой для всяческих благ. У людей же неразумных и беспамятных все случившееся с ними уплывает вместе с течением времени, и, ничего не удержав, ничего не накопив, вечно лишенные благ, но полные надежд, они смотрят в будущее, не замечая настоящего. И хоть судьба может и не дать их надеждам сбыться, а все хорошее, что было в прошлом, неотъемлемо, – тем не менее они проходят мимо верных даров судьбы, грезят о ненадежном будущем и в результате получают по заслугам. Пренебрегая разумом и образованием – единственной твердой основой всех внешних благ, они собирают и копят лишь эти блага и никогда не могут насытить алчность своей души.

Марий умер на семнадцатый день[41] своего седьмого консульства. Римом тотчас овладела огромная радость, все ободрились, избавившись от тяжкой тирании, но спустя немного дней они узнали, что ими правит новый, уже не престарелый, а цветущий и сильный деспот – Марий, сын умершего, который, проявив страшную жестокость и свирепость, умертвил многих знатных и славных римлян. Сперва его считали воинственным и отважным и называли сыном Ареса, но затем он делами обнаружил свой нрав, и его прозвали сыном Афродиты. Осажденный Суллой в Пренесте, он тщетно пытался избежать гибели и после падения города, оказавшись в безвыходном положении, покончил с собой.



ЛИСАНДР И СУЛЛА

ЛИСАНДР

1. На сокровищнице аканфийцев в Дельфах[1] сделана такая надпись: "Брасид и аканфийцы принесли в дар добычу, взятую у афинян". Поэтому многие думают, что каменная статуя, стоящая внутри храма у двери, – изображение Брасида. На самом деле это изображен Лисандр – по старинному обычаю с длинными волосами и бородой. Рассказы о том, что аргивяне[2] после своего великого поражения остриглись в знак печали, а спартанцы в противоположность им отпустили волосы, величаясь своими подвигами, или что бакхиады[3], бежавшие из Коринфа в Лакедемон, выглядели столь жалко и безобразно с бритыми головами, что спартанцам захотелось носить длинные волосы, – все эти рассказы неверны. Это – Ликургово предписание[4]: говорят, он сказал, что длинные волосы красивому лицу придают вид еще более достойный, а уродов делают еще страшнее.

2. Рассказывают, что отец Лисандра, Аристокрит, не принадлежал к царскому роду, хотя и происходил от Гераклидов. Лисандр вырос в бедности и обнаружил величайшую приверженность к порядку и отеческим обычаям и поистине мужской нрав, чуждый всяким радостям, кроме тех, какие получает человек, окруженный почетом за совершенные им прекрасные деяния. Погоня за такими радостями не считается в Спарте позором для юноши: родители хотят, чтобы дети их с самого начала были чувствительны к доброй славе – огорчались бы от порицаний и гордились похвалами. Юношу, который и то и другое переносит равнодушно и безучастно, презирают как лентяя, лишенного честолюбивого рвения к доблести.

Честолюбие и жажда первенства были прочно внушены Лисандру лаконским воспитанием, и нельзя в сколько-нибудь значительной степени считать причиной этого его природный склад. Но в его природе было больше угодливости перед сильными людьми, чем это свойственно спартиатам, и в случае нужды он спокойно терпел тяжесть чужого самовластия (некоторые считают это важным достоинством государственного мужа). Аристотель говорит[5], что великие люди, например Сократ, Платон и Геракл, страдали разлитием черной желчи, и рассказывает про Лисандра, что он не сразу, правда, а в старости тоже страдал этим недугом. Его главным отличительным свойством было умение легко переносить бедность: его нельзя было соблазнить и подкупить деньгами, но, не взирая на это, он обогатил свою родину и сделал ее корыстолюбивой, и по его вине Спарта потеряла уважение, которым прежде пользовалась за свое равнодушие к богатству. После войны с Афинами он привез массу золота и серебра, но не оставил себе ни одной драхмы. Когда тиранн Дионисий прислал ему для его до-

черей дорогие сицилийские хитоны, он не взял их, сказав, что боится, как бы дочери его не стали казаться в них еще уродливее. Однако, когда немного спустя он был отправлен послом от своего города к этому же тиранну и тот прислал ему два одеяния, предложив выбрать любое и отвезти дочери, Лисандр сказал, что она сама выберет лучшее, и отправился домой, захватив оба одеяния.

3. Между тем Пелопоннесская война затянулась, и после сицилийского разгрома стало ясно, что афиняне не удержатся на море и вскоре вообще прекратят борьбу. Но, когда Алкивиад, вернувшись из изгнания, стал во главе государства, положение значительно изменилось и равновесие на море было восстановлено. Лакедемоняне опять испугались, решив с новой энергией продолжать войну, для которой требовались искусный военачальник и более значительные, чем прежде, силы, и послали командовать на море Лисандра. Прибыв в Эфес, Лисандр встретил там расположение к себе и полную преданность Спарте. Самому же городу приходилось туго: постоянное общение с варварами и проникновение персидских обычаев грозило решительным возобладанием варварского начала. Город со всех сторон был окружен лидийскими владениями, и персидские военачальники подолгу жили в нем. Лисандр расположился лагерем, приказал со всех сторон стянуть к Эфесу грузовые суда, открыл верфь для постройки триер, возобновил торговлю в гавани и работу ремесленников на площади. В домах и мастерских закипела работа, и, благодаря Лисандру, с того времени Эфес стал мечтать о влиянии и силе, какими он обладает теперь.

4. Узнав, что Кир, сын царя, прибыл в Сарды, Лисандр отправился туда для переговоров с ними и с обвинением против Тиссаферна, который, получив приказание помогать лакедемонянам и вытеснить афинян с моря, как говорили, по наущению Алкивиада действовал вяло и губил спартанский флот своей скупостью. Кир охотно прислушивался к обвинениям против Тиссаферна и ко всем слухам, которые его чернили, ибо Тиссаферн был не только порочным человеком, но и его личным врагом. Слова Лисандра и его манера держаться расположили Кира к спартанскому военачальнику; своим угодливым тоном Лисандр окончательно пленил юношу и внушил ему намерение продолжать войну. Когда Лисандр уже собирался уезжать, Кир, угощая его, убеждал не отвергать его благосклонности и просить, чего он только хочет, потому что ему ни в чем не будет отказа. “Если ты так добр ко мне, Кир, – сказал Лисандр, – прошу тебя, прибавь морякам к их жалованию по оболу, чтобы они получали по четыре обола вместо трех”. В восторге от честолюбивой щедрости Лисандра, Кир распорядился выдать ему десять тысяч дариков. Тот употребил их на выдачу добавочного обола морякам и так прославился этим, что очень скоро вражеские корабли опустели. Бóльшая часть моряков переходила к тому, кто платил больше, а оставшиеся, работая спустя рукава и бунтуя, только доставляли ежедневные неприятности своим начальникам. Морского сражения, однако, Лисандр боялся, несмотря на то, что сократил число врагов и ухудшил их положение: ему был страшен Алкивиад, человек решительный, имевший много кораблей и не проигравший до тех пор ни одного сражения ни на суше, ни на море.

5. Алкивиад, отплывая с Самоса в Фокею, оставил начальником флота кормчего Антиоха. Антиох, желая оскорбить Лисандра, смело вошел на двух трие-

рах в Эфесскую гавань и под крики и хохот своих моряков быстро проплыл мимо стоявших на якоре вражеских судов. Раздосадованный Лисандр погнался за ним сначала на нескольких триерах, но, увидев, что афиняне собираются выйти на помощь своим, вывел в море и другие корабли. В конце концов завязался морской бой. Победителем остался Лисандр, захвативший пятнадцать триер и воздвигший трофей. В Афинах Народное собрание, разгневавшись на Алкивиада за это поражение, отрешило его от должности, а воины на Самосе стали открыто поносить его, и, слыша громкую хулу, он отплыл из лагеря в Херсонес. Так сражение, само по себе ничтожное, стало знаменитым из-за постигшего Алкивиада несчастья.

Созвав в Эфес представителей от городов, которых он считал наиболее разумными и отважными среди сограждан, Лисандр впервые внушил им мысль о перевороте и создании власти десяти[6], которая впоследствии и установилась при его содействии. Он убеждал этих людей объединиться в тайные общества и внимательно наблюдать за состоянием государственных дел, обещая одновременно с крушением Афин уничтожить демократию и дать им неограниченную власть в родном городе. Его дела внушали доверие к этим обещаниям: и прежде он возводил своих друзей и гостеприимцев на высокие и почетные должности, поручал им командование войсками, ради их выгоды становился соучастником их несправедливых и ошибочных действий. Взоры всех были устремлены на него, все угождали ему и выражали глубокую преданность, рассчитывая, что под его начальством они достигнут всего, даже того, что кажется недосягаемым. Поэтому Калликратида, явившегося на смену Лисандру командовать флотом, сразу приняли неприветливо, а впоследствии, когда он доказал свое исключительное благородство и справедливость, все же были недовольны его властью – простой, бесхитростной, истинно дорийской. Они дивились ему, как прекрасной статуе героя, но тосковали по Лисандре с его рвением, преданностью друзьям и умением доставить им выгоду. Когда Лисандр отплывал, его провожали с отчаянием и слезами.

6. Лисандр еще более настроил своих приверженцев против Калликратида, отослав назад в Сарды остаток тех денег, которые Кир дал ему на содержание флота. Он сказал Калликратиду, что если ему угодно, пусть сам попросит денег и позаботится о том, как содержать воинов. Наконец, перед самым отплытием, он торжественно заявил Калликратиду, что передает ему флот, который является господином моря. Тот, желая положить конец этому пустому хвастовству, спросил: "Почему же тебе не оставить Самос слева и не плыть в Милет, чтобы там передать мне триеры? Если мы господствуем на море, то можем без опасения плыть мимо засевших на Самосе врагов". На это Лисандр ответил, что флотом командует не он, а Калликратид, и отплыл в Пелопоннес, оставив своего преемника в большом затруднении. Калликратид приехал без денег и не мог решиться силою взять их с городов, которым и без того приходилось туго. Оставалось обивать пороги царских военачальников и просить, как просил Лисандр. Меньше, чем кто-либо иной, был способен на это Калликратид, независимый и гордый человек, считавший, что для греков достойнее понести поражение от своих же соотечественников, чем с протянутой рукой бродить у порога варва-

ров и льстить этим людям, у которых, кроме груды золота, нет никаких достоинств. Находясь, однако, в безвыходном положении, он был вынужден отправиться в Лидию, явился прямо во дворец Кира и велел доложить ему, что пришел наварх[7] Калликратид, который хочет с ним говорить. "Сейчас Киру некогда, чужестранец: он пьет вино", – ответил ему один из привратников. "Пустяки, – простодушно возразил Калликратид, – я постою и подожду, пока он кончит пить". Его приняли за неотесанного мужлана, и он ушел, осмеянный варварами. Явившись во второй раз, он снова не был допущен и в гневе уехал в Эфес, осыпая проклятиями тех, кто впервые позволил варварам издеваться над собой и научил их чваниться своим богатством. Он поклялся спутникам, что как только вернется в Спарту, сделает все для восстановления мира между греками, чтобы впредь они внушали варварам ужас и перестали обращаться к ним за помощью в борьбе друг против друга.

7. Но Калликратид, чей образ мыслей был достоин лакедемонянина и кто по своей справедливости, великодушию и мужеству мог соперничать с первыми людьми Греции, в скором времени был разбит в морском сражении при Аргинусских островах и погиб.

Дела союзников пошатнулись, и они отправили в Спарту посольство просить в наварxи Лисандра, обещая, что они энергичнее возьмутся за дело под его начальством. Кир послал такую же просьбу. По закону один и тот же человек не мог быть навархом дважды, но лакедемонянам не хотелось отказывать союзникам, и они облекли званием наварха некоего Арака, а Лисандра отправили как бы его помощником, а на деле – главнокомандующим. Большинство из тех, кто принимал участие в управлении и пользовался властью в городах, давно уже ждали его появления: при нем они рассчитывали еще более усилить свою власть, окончательно упразднив демократическое правление. Тем же, кому нравились в правителе простота и благородство, Лисандр по сравнению с Калликратидом казался лукавым софистом: на войне он шел к цели большею частью путем обмана, превозносил справедливость, если это было ему выгодно, а в противном случае объявлял прекрасным полезное, считал, что по самой природе своей правда не лучше лжи, но отдавал честь той или другой, в зависимости от выгоды, какую они способны принести. Когда ему говорили, что потомкам Геракла не подобает добиваться побед при помощи хитрости, он отвечал на эти упреки презрительным смехом. "Где львиная шкура[8] коротка, там надо подшить лисью", – говорил он.

8. Подобным образом, как сообщают, держал он себя и во время событий в Милете. Когда его друзья и гостеприимцы, которым он обещал уничтожить демократию и изгнать их противников, изменили свой образ мыслей и примирились с врагами, он притворялся на людях, что радуется этому и сам принимает участие в примирении, но с глазу на глаз бранил и поносил своих друзей, подстрекая их к нападению на народ. Когда же он увидел, что начинается восстание, то устремился в город на помощь мятежникам, но на первых же встретившихся ему восставших грозно прикрикнул, громогласно обещая их наказать, сторонникам же демократии велел ободриться и не ждать для себя ничего дурного в его присутствии. Так лицемерил он, появляясь в разных личинах, ибо хо-

тел, чтобы наиболее влиятельные и преданные народу люди не бежали, а остались в городе и были убиты. Так и случилось. Все, кто положился на его заверения, были перерезаны. Андроклид вспоминает его слова, изобличающие легкость, с какой Лисандр относился к клятвам: он советовал, сообщает Андроклид, обманывать взрослых людей клятвами, как детей игральными костями, следуя примеру Поликрата Самосского. И это отнюдь не похвально. Военачальник не должен был подражать тиранну, и не по-лаконски было относиться к богам, как к неприятелю, и даже с еще большей дерзостью, потому что клятву, данную врагу, нарушают из страха перед ним, а данную богу – из пренебрежения к нему.

9. Кир пригласил Лисандра в Сарды, дал ему денег, обещал позднее дать еще и, желая доставить ему удовольствие, с юношеским легкомыслием заявил, что если ничего не получит от отца, пустит в ход собственные средства. Если у него ничего не останется, сказал он, он разобьет свой сделанный из золота и серебра трон, сидя на котором, он занимался государственными делами. В заключение, отправляясь в Мидию к отцу, он поручил Лисандру собирать подати с городов и доверил ему управление. На прощанье он просил его не вступать на море в сражение с афинянами, пока он не вернется, вернуться же обещал с большим числом кораблей из Финикии и Киликии. После этого он отправился к царю. Лисандр, не будучи в состоянии ни сражаться с вражеским флотом, почти равным по силам его собственному, ни сидеть без дела с таким числом кораблей, снялся с якоря, завладел несколькими островами и, высадившись, произвел набег на Эгину и Салимин. Появившись в Аттике, он после приветствий Агиду[9] (тот спустился к нему из Декелии) показал сухопутному войску, здесь находившемуся, свой мощный флот, с которым-де он, хозяин моря, может плыть, куда ему угодно. Узнав, однако, что афиняне собираются отправиться за ним в погоню, он другим путем, между островами, убежал в Азию. Найдя Геллеспонт лишенным охраны, он осадил Лампсак с моря, а Форак с пешим войском направился туда же и подступил к городским стенам. Взяв Лампсак штурмом, Лисандр отдал его на разграбление воинам.

Как раз в это время афинский флот численностью в сто восемьдесят триер пристал к Элеунту на Херсонесе. Узнав о падении Лампсака, афиняне тотчас же отправилась в Сест. Запасшись там провиантом, они зашли в Эгоспотамы, против которых, у Лампсака, еще стоял на якоре неприятель. Среди прочих афинских военачальников находился и Филокл, убедивший когда-то афинян принять постановление о том, чтобы каждому военнопленному отрубали большой палец на правой руке, дабы они могли грести, но не были в состоянии держать копье.

10. В этот день все отдыхали, рассчитывая сразиться на следующий день. Хотя у Лисандра было на уме другое, но, словно и в самом деле собираясь начать сражение с наступлением дня, он приказал матросам и кормчим взойти с рассветом на триеры, занять свои места и молча ждать его распоряжений. Такую же тишину должны были соблюдать и выстроенные у моря пехотинцы. Когда взошло солнце, афиняне выплыли сомкнутым строем и стали вызывать врага на битву. Корабли Лисандра стояли носами к неприятелю, и посадка произведена была еще ночью, однако он не двинулся с места и послал к передним судам

лодки с приказом не двигаться с места и оставаться в строю, сохраняя спокойствие и не выходя навстречу врагу. Когда афиняне с наступлением сумерек повернули обратно, он снял воинов с кораблей, но лишь после того, как две или три триеры, отправленные им на разведку, вернулись с известием, что враги высадились на берег. На следующий и на третий день повторилось то же самое, пока, наконец, на четвертый день афиняне не исполнились отваги и презрения к врагу, казалось, явно испуганному и уклоняющемуся от битвы. В это время Алкивиад (он жил тогда в Херсонесе в своей крепости), прискакав верхом к афинскому войску, поставил на вид военачальникам, что, во-первых, неразумно и небезопасно располагаться лагерем на морском берегу – плоском, открытом и лишенном надежных гаваней и что, далее, они делают ошибку, получая провиант из такого далекого места, как Сест, но что им лучше поскорее перебраться в порт и город Сест и уйти подальше от стоянки врага: ведь действиями неприятеля распоряжается один человек, из страха перед которым все немедленно выполняется по одному его знаку. Советов Алкивиада не послушали, и Тидей дерзко ответил ему, что войсками командует не он, а другие.

11. Алкивиад, увидев в этом не только высокомерие, но и признаки измены, уехал обратно. На пятый день, после того как афинские суда сначала вышли вперед, а потом, по обыкновению, повернули обратно с пренебрежительным и надменным видом, Лисандр выслал свои корабли на разведку и приказал начальникам триер, как только они увидят, что афиняне уже высадились, повернуть и плыть как можно скорее обратно, а на середине пути поднять на носу корабля медный щит – знак нападения. Сам он, подплывая к каждому судну, вызывал кормчих и начальников триер и уговаривал каждого держать в порядке и гребцов и воинов, а по данному им знаку решительно и изо всех сил ударить на врага. Когда на кораблях был поднят щит и труба с командирского судна проиграла сигнал к выступлению, флот снялся с якоря, а пехотинцы наперегонки бросились по берегу к мысу. Расстояние между материками в этом месте равно пятнадцати стадиям[10], и, благодаря рвению и энергии гребцов, суда быстро оставили его за собой. Конон первым из афинских военачальников увидел подплывающий флот и стал кричать, чтобы воины садились на суда. Вне себя от отчаяния он одних звал, других просил, третьих силой заставлял идти на триеры. Но все его старания были тщетны, так как люди разошлись кто куда. Высадившись и не ожидая ничего плохого, они сразу же отправились кто на рынок, кто просто побродить, а некоторые легли спать в палатках или принялись готовить завтрак. Из-за неопытности своих начальников афиняне были очень далеки от мысли о том, что им предстояло, и враги уже подходили, крича и громко ударяя веслами по воде, когда Конону удалось ускользнуть с восемью кораблями: он бежал на Кипр к Эвагору. Пелопоннесцы, напав на остальной флот, одни корабли захватили совсем пустыми, а другим наносили пробоины, когда вражеские моряки пытались подняться на борт. Люди, поодиночке спешившие на помощь, умирали безоружными возле кораблей, а тех, кто пытался бежать в глубь страны, убивали высадившиеся враги. Лисандр захватил три тысячи человек вместе с военачальниками и весь флот, находившийся на стоянке, кроме "Парала"[11] и восьми кораблей, бежавших с Кононом. Взяв суда на буксир и опусто-

шив лагерь, Лисандр под звуки флейт и победных песен отплыл в Лампсак, совершив величайшее дело с самой незначительной затратой сил и в один час положив конец войне, самой долгой из всех, что бывали раньше, и, как ни одна другая, богатой разными случайностями и превратностями. Война эта представляет собою бесконечную вереницу сражений и неожиданных перемен, в течение ее погибло больше полководцев, чем за все войны, бывшие прежде в Элладе, а конец ей был положен благоразумием и опытностью одного человека. Вот почему победу эту считали делом божества.

12. Некоторые говорили, что, когда корабль Лисандра в первый раз вышел из гавани против врагов, над ним по обе стороны кормы сверкали Диоскуры[12] в виде звезд. Некоторые утверждали, что знамением, предвещавшим поражение, было падение камня: на берегу Эгоспотамов свалился огромный камень, и большинство уверяло, что он упал с неба. Его показывают и сейчас, и для жителей Херсонеса он служит предметом поклонения. Говорят, будто Анаксагор предсказывал, что одно из прикрепленных к небу тел в случае колебания или сотрясения может оборваться и рухнуть вниз. Ни одна из звезд, утверждал он далее, не находится теперь на искони присущем ей месте: каменистые по составу и тяжелые, светящиеся вследствие сопротивления и разрыва эфира, они удерживаются в вышине, увлекаемые огромною силой вихревого круговорота, примерно так же, как были они удержаны от падения на землю первоначально, когда тяжелые и холодные части отделялись от вселенной. Существует, однако, иное, более правдоподобное объяснение: некоторые полагают, что падающие звезды не являются ни током или разлитием эфирного огня, угасающего в воздухе сразу вслед за вспышкой, ни воспламенением воздуха, проникшего в большом количестве в верхние сферы, но что это – небесные тела, срывающиеся и падающие вследствие каких-то причин, подобных уменьшению напряжения и изменению обычного пути движения. Сойдя со своего пути, они в большинстве случаев падают не в населенных местах земли, а за пределами их, в обширном море. Поэтому мы их и не видим. Даимах в сочинении "О благочестии" подтверждает слова Анаксагора, рассказывая, что в течение семидести пяти дней до падения камня на небе непрерывно было видно огромное, похожее на пылающее облако огненное тело, которое не стояло на месте, а неслось сложным, кривым путем, так что вследствие мощного сотрясения от него отрывались огненные куски, которые разлетались во все стороны и сверкали, как падающие звезды. После того как это тело рухнуло в названном месте на землю и тамошние жители, придя в себя от изумления и страха, сошлись к нему, они не увидели никаких следов огня; перед ними лежал камень, правда, большой, но совершенно несоизмеримый с тем огромным огненным телом. Что Даимах нуждается в снисходительных слушателях, это ясно. Если же рассказ его соответствует истине, тогда полностью опровергается мнение людей, утверждающих, что это обломок скалы, который был оторван ветрами и бурями от какой-то горной вершины и несся, подхваченный вихрем, подобно волчку, а потом упал в том месте, где подхватившая его вращающая сила сдала и ослабела. Могло ведь быть и так, что пламя, которое наблюдали в течение многих дней, было настоящим огнем, и тогда его угасание вызвало в воздухе перемену, следствием которой яви-

лись сильные и порывистые ветры, вызвавшие падение камня. Но об этом следует говорить подробнее в работе иного рода.

13. Когда три тысячи афинян, взятых Лисандром в плен, были приговорены советом к смерти, Лисандр позвал к себе стратега Филокла и спросил, какое наказание назначит он самому себе за то, что убеждал граждан так жестоко обходиться с пленными греками. Филокл, не сломленный своим несчастьем, ответил Лисандру, что нечего ему брать на себя роль обвинителя там, где нет судьи; пусть он, победитель, творит то, что в случае поражения претерпел бы сам. После этого, вымывшись и надев чистый плащ, он во главе своих сограждан пошел на казнь. Так сообщает Феофраст.

После этого Лисандр отправился с флотом по городам и велел всем афинянам, которых он там застал, вернуться в Афины, пригрозив, что он не пощадит ни одного афинского гражданина, найденного им вне Афин: все будут казнены. Таким образом он согнал всех афинян в Афины, желая, чтобы там начались нужда и лютый голод и тем самым он был бы избавлен от хлопот, которые бы доставило ему население, легко выдерживающее осаду. Уничтожая демократию и другие законные формы правления, Лисандр повсюду оставлял по одному гармосту[34] из лакедемонян и по десять правителей из членов тайных обществ, организованных им по городам. Так он действовал без различия во вражеских и в союзнических городах, исподволь подготовляя себе в известном смысле господство над Грецией. Правителей он назначал не по знатности или богатству: члены тайных обществ и друзья, связанные с ним узами гостеприимства, были ему ближе всего, и он предоставлял им неограниченное право награждать и карать. Лично присутствуя при многих казнях, изгоняя врагов своих друзей, он дал грекам образчик лакедемонского правления, судя по которому добра от Спарты ждать было нечего. Вот почему, мне кажется, неудачным сравнение, принадлежащее комическому поэту Феопомпу: он сопоставил лакедемонян с трактирщицами, сказавши, что, в то время как эллины вкушали сладостнейший напиток свободы, спартанцы подлили туда уксусу. Нет, питье с первого же глотка оказалось противным и горьким, так как Лисандр не только не позволил народу распоряжаться своими делами, но вдобавок, передавая власть над городами в руки немногих, выбирал среди них самых дерзких честолюбцев.

14. Проведя недолгое время за этими делами, Лисандр послал гонцов в Лакедемон с известием, что он идет с двумястами кораблей, а сам в Аттике соединился с царями Агидом и Павсанием, чтобы совместными силами поскорее взять Афины. Но афиняне держались, и он вместе со своим флотом отбыл обратно в Азию. Во всех городах без исключения он уничтожил законный государственный строй, поставил правительства из десяти человек и в каждом городе многих граждан казнил, а многих заставил бежать. Самосцев он изгнал всех, а город передал бывшим изгнанникам. Отняв у афинян Сест, он не разрешил его жителям остаться в городе, а отдал его вместе с землей кормчим и начальникам гребцов, служившим под его начальством. Это был первый его поступок, который в Лакедемоне отказались одобрить, и жители Сеста были возвращены обратно. Все греки, однако, с удовлетворением наблюдали, как эгинцы[13], благодаря Лисандру, спустя долгое время после выселения, снова возвращаются в

свой город и как афиняне, изгнанные с Мелоса и из Скионы, вынуждены были отдать тамошние города их прежним владельцам, которых Лисандр и водворил на старом месте.

Узнав, что афиняне начинают страдать от голода, он отплыл в Пирей и принудил город к сдаче, заставив просить мира на условиях, им предписанных. Лакедемонские писатели рассказывают, что Лисандр сообщил эфорам: "Афины взяты", – а эфоры ответили ему: "Этого достаточно". Рассказ этот, однако, придуман для того, чтобы придать случившемуся вид благопристойный. Подлинное же распоряжение эфоров было следующим: "Власти Лакедемона постановляют: если вы разрушите Пирей и Длинные стены, уйдете из всех городов и сохраните только собственную землю, вы получите мир, если вам угодно. Кроме того, вы примете обратно изгнанников. Что же касается количества кораблей, вы поступите так, как будет решено на месте". Афиняне по совету Ферамена, сына Гагнона, согласились на эти требования. Рассказывают, что некий Клеомен, один из молодых вожаков толпы, спросил его, как он смеет словом и делом идти наперекор Фемистоклу, выдавая лакедемонянам стены, которые тот воздвиг против воли лакедемонян. "Я не иду наперекор Фемистоклу, юноша, – ответил Терамен. – И он воздвиг эти стены для блага граждан, и мы разрушим их для их же блага. Если бы счастье городов зависело от стен, то хуже всех жилось бы Спарте, не имеющей стен вовсе".

15. Забрав у афинян все корабли, кроме двенадцати, Лисандр вошел в город в 16-й день месяца мунихиона – в тот самый день, в который некогда афиняне победили варваров в морской битве при Саламине[14]. Он решил тотчас же изменить государственный строй Афин. Афиняне не желали с этим смириться, и он заявил народу, что город нарушил условия мира, что стены еще стоят, хотя сроки, назначенные для их срытия, уже прошли, и что он внесет теперь новое предложение, касающееся афинян, так как прежнее соглашение ими не выполнено. Говорят, на собрании союзников некоторые действительно предлагали продать афинян в рабство, а фиванец Эриант посоветовал разрушить город и обратить место, на котором он стоял, в пастбище для овец. Но когда затем военачальники собрались вместе на пир и один фокеец запел первую песню хора из "Электры" Эврипида[15], которая начинается так:

...Агамемнона дочь,
В сельский дом твой пришли мы, Электра,

все были растроганы, все решили, что покончить со столь славным городом, давшим таких великих людей, и уничтожить его было бы делом чудовищно жестоким.

Теперь афиняне соглашались на все. Лисандр потребовал, чтобы город дал большое число флейтисток, прибавил к ним всех, какие были у него в лагере, и под звуки флейт в присутствии союзников, украсивших себя венками и певших победную песню, ибо день этот был началом свободы, срыл стены и сжег триеры. Тотчас же было изменено и государственное управление: в Афинах было назначено тридцать правителей, в Пирее – десять, на Акрополе размещен сторожевой отряд и гармостом поставлен спартанец Каллибий. Когда однажды он

замахнулся палкой на атлета Автолика, которому Ксенофонт посвятил свой "Пир", тот, схватив его за ноги, бросил на обе лопатки. Лисандр не рассердился на Автолика, но выбранил Каллибия, заметив ему, что он не умеет управлять свободными людьми. Вскоре, однако, Автолик был казнен Тридцатью в угоду Каллибию.

16. Покончив с этим, Лисандр сам отплыл во Фракию, оставшиеся же деньги, а также полученные им дары и венки (многие, как и следовало ожидать, подносили подарки самому могущественному из греков, своего рода владыке всей Греции) отправил в Лакедемон с Гилиппом, который ранее командовал войсками в Сицилии. Про Гилиппа рассказывают, что он распшил мешки по нижнему шву, взял из каждого значительную сумму и затем зашил снова, не зная того, что в каждый мешок была вложена записка с указанием суммы, в нем находящейся. Прибыв в Спарту, он спрятал похищенное под черепичной крышей своего дома, а мешки передал эфорам, обратив их внимание на то, что печати целы. Вскрыв мешки, подсчитав деньги и обнаружив расхождение между наличностью и указанной в записке суммой, эфоры пришли в недоумение. Слуга Гилиппа навел их на след, загадочно сказав, что в Керамике[16] спит много сов. Как известно, на большинстве монет того времени под афинским влиянием была вычеканена сова.

17. Гилипп, завершивший столь низким и позорным поступком свою прежнюю великую и блестящую деятельность, добровольно оставил Лакедемон. Наиболее проницательным из спартанцев его пример внушил страх прежде всего перед властью денег, подчиняющей себе и незаурядных граждан. Лисандра стали бранить и заклинали эфоров отречься, как от скверны, от золота и серебра, несущих городу гибель. Вопрос был поставлен на обсуждение. По словам Феопомпа, Скирафид (а по сообщению Эфора, Флогид) высказался за то, чтобы не допускать в Спарту золотых и серебряных денег, а пользоваться только старинными, унаследованными от предков. То были деньги из железа, которое прямо из огня опускали в уксус: после такой закалки металл нельзя было ковать, до того хрупким и ломким он становился. Кроме того, деньги эти при большом весе и размерах имели весьма малую стоимость, были очень тяжелы, их было трудно переносить с места на место. По-видимому, обычай пользоваться в качестве денег железными или медными палочками в форме вертела был очень древним. Поэтому для мелкой монеты и доныне удержалось название обола[17], а шесть оболов называются драхмой, потому что в горсти умещалось как раз столько этих монет. Друзья Лисандра стали возражать и приложили все усилия к тому, чтобы деньги остались в городе. Постановлено было, однако, ввозить эти деньги только для государственных надобностей, если же они оказывались во владении у частного лица, ему грозила смерть. Как будто Ликург боялся денег, а не страсти к деньгам! Между тем последняя не только была уничтожена запрещением, наложенным на частных лиц, но вследствие разрешения, данного государству, крепко укоренилась: употребление денег давало понятие об их ценности и внушало желание их приобрести. Честный человек не мог презирать как безделку то, что, как он видел, пользуется уважением в государстве, и в собственном хозяйстве считать ничего не стоящим предмет, столь высоко ценимый

в общественной жизни. Ведь строй частной жизни в гораздо большей степени определяется общественными установлениями, нежели наоборот: ошибки и страсти отдельных лиц приносят государству гораздо меньше зла. Испорченность целого естественно влечет за собой ухудшение и отдельных частей, в то время как погрешности отдельных частей встречают сопротивление со стороны здоровых элементов и бывают ими исправлены. Грозный закон поставлен был стражем, не допускавшим проникновения денег в дома спартанцев, но сохранить в душах граждан стойкое равнодушие к деньгам не удалось: всем было внушено стремление к богатству как к чему-то великому и достойному. За это мы укоряли лакедемонян и в другом нашем сочинении[18].

18. За счет полученной добычи Лисандр поставил в Дельфах медные изображения – свое и всех навархов – и золотые звезды Диоскуров, позже, перед сражением при Левктрах, исчезнувшие. В сокровищнице Брасида аканфийцев лежала триера длиной в два локтя, сделанная из золота и слоновой кости, которую Кир послал Лисандру в качестве награды за победу. Дельфиец Анаксандрид рассказывает, что Лисандр оставил в Дельфах вклад в сумме одного таланта серебром, пятидесяти двух мин и одиннадцати статеров, что не согласуется с единодушными свидетельствами о его бедности. Тогда-то Лисандр, пользовавшийся такой властью, какой не имел до него ни один из греков, стал проявлять заносчивость и самонадеянность, не соответствующие даже его власти. Дурид рассказывает, что ему первому среди греков города стали воздвигать алтари и приносить жертвы как богу и он был первым, в честь кого стали петь пэаны. Начало одного из них таково:

Сына спартанских равнин,
Эллады прекрасной вождя,
Мы песней прославим своей –
Ио, Пэан!

Самосцы постановили, чтобы праздник в честь Геры, справляющийся у них, назывался Лисандриями. Лисандр постоянно держал при себе поэта Херила, который своим поэтическим искусством должен был украшать его деяния. Когда Антилох написал о нем несколько заурядных стихов, он так обрадовался, что отдал ему свою шляпу, насыпав ее доверху серебром. Антимах из Колофона и какой-то Никерат из Гераклеи состязались между собой в его присутствии, читая каждый поэму, озаглавленную "Лисандрия". Он увенчал Никерата, и раздосадованный Антимах уничтожил свое произведение. Платон, который был тогда молод и восхищался поэзией Антимаха, видя, как тяжело переносит он свое поражение, пригласил его к себе и стал утешать, говоря, что для непонимающих непонимание такое же зло, как слепота для незрячих. Когда же кифарист Аристоной, шесть раз одержавший победу на Пифийских играх, угодливо заявил Лисандру, что в случае новой победы он объявит себя через глашатая Лисандровым[19], – "Рабом, конечно?" – подхватил тот.

19. Честолюбие Лисандра было тягостно только для людей, занимавших первые места в государстве и равных ему по достоинству. Однако лесть окружающих привела к тому, что наряду с честолюбием в характере его появилась над-

менность и нетерпимость. Ни в почестях, ни в наказаниях он не знал меры, свойственной демократическому образу правления: наградой за дружбу и гостеприимство была у него неограниченная, тиранническая власть над городами, а успокоить его гнев могла только смерть ненавистного врага – удаляться в изгнание противникам Лисандра не дозволялось. В Милете, боясь, как бы главари народа не бежали, и желая выманить спрятавшихся, он поклялся не чинить насилий. Ему поверили: одни остались, другие вышли из своих убежищ, он же и тех и других – а было их не меньше восьмисот человек – отдал на расправу олигархам. Число сторонников народа, убитых по городам, счесть вообще невозможно; Лисандр казнил, не только карая за проступки, но, угождая своим друзьям, повсюду помогал им сводить счеты с многочисленными врагами и потакал их ненасытному корыстолюбию. Поэтому такую известность приобрели слова лакедемонянина Этеокла о том, что двух Лисандров Греция вынести бы не смогла. Феофраст говорит, что то же самое сказал Архестрат об Алкивиаде[20]. Но у Алкивиада были непереносимы главным образом его заносчивость, страсть к роскоши и своеволие, власть же Лисандра делал тяжелой и страшной его жестокий нрав.

Лакедемоняне не придавали особенного значения жалобам на Лисандра, но когда Фарнабаз, возмущенный разбоем и грабежами, которые Лисандр чинил в его области, послал обвинение в Спарту, эфоры возмутились и казнили Форака, одного из друзей Лисандра, вместе с ним командовавшего войском и уличенного во владении деньгами, а Лисандру послали скиталу с требованием вернуться. А скитала вот что такое. Отправляя к месту службы начальника флота или сухопутного войска, эфоры берут две круглые палки совершенно одинаковой длины и толщины. Одну они оставляют себе, другую передают отъезжающему. Эти палки и называют скиталами. Когда эфорам нужно сообщить какую-нибудь важную тайну, они вырезают длинную и узкую, вроде ремня, полосу папируса, наматывают ее на свою скиталу, не оставляя на ней ни одного промежутка, так чтобы вся поверхность палки была охвачена этой полосой. Затем, оставляя папирус на скитале в том виде, как он есть, они пишут на нем то, что нужно, а написав, снимают полосу и без палки отправляют ее военачальнику. Так как буквы на ней стоят без всякой связи, но разбросаны в беспорядке, прочитать написанное он может, только взяв свою скиталу и намотав на нее вырезанную полосу, располагая ее извивы в прежнем порядке, чтобы, водя глазами вокруг палки и переходя от предыдущего к последующему, иметь перед собой связное сообщение. Полоса папируса называется, как и деревянная палка, "скиталой", подобно тому как измеряемый предмет называется по мере.

20. Лисандр, которого скитала нашла на Геллеспонте, пришел в смятение. Очень боясь обвинений Фарнабаза, он постарался лично встретиться и переговорить с ним, чтобы достигнуть примирения. При встрече он попросил его написать эфорам другое письмо и в нем сообщить, что он не терпел от Лисандра никаких обид и ни в чем его не винит. Не зная Фарнабаза, он не подозревал, что ведет себя, говоря словами пословицы, "с критянином по-критски"[21]. Фарнабаз обещал все исполнить и на глазах у Лисандра написал письмо, о котором тот его просил. Но у него было с собой другое, тайком написанное. Прикладывая печа-

ти, он подменил письмо другим, по виду ничем не отличавшимся от первого, и дал Лисандру то, которое было написано тайком. Явившись в Лакедемон и направившись по обычаю в здание, где находились должностные лица, Лисандр передал эфорам письмо Фарнабаза, уверенный, что самое главное обвинение с него снято: Фарнабаза любили в Лакедемоне, так как во время войны он среди царских военачальников действовал наиболее энергично. Когда же эфоры, прочтя письмо, показали его Лисандру, он понял, что

Хитрец Лаэрта сын, но ведь не он один[22],

и ушел чрезвычайно встревоженный. Встретившись через несколько дней с эфорами, он сказал им, что ему нужно отправиться к храму Аммона и принести жертвы, которые он обещал богу перед битвами. Некоторые рассказывают, что, действительно, Лисандру, когда он осаждал город Афиту во Фракии, явился во сне Аммон и что, следуя будто бы велению божества, он снял осаду и велел афитийцам приносить жертвы Аммону, а сам отправился в Африку[23], чтобы умилостивить бога. Но большинство сочло его ссылку на бога просто предлогом: Лисандр боялся эфоров, домашнее ярмо было для него невыносимо, он не терпел власти над собой и потому стремился вырваться на свободу, словно лошадь, вернувшаяся с заповедных лугов и пастбищ назад к яслям и снова приневоленная к обычной работе. Приводимую же Эфором причину этого путешествия я изложу несколько позже. (21) С большим трудом добившись от эфоров разрешения уехать, Лисандр отплыл.

После его отъезда цари сообразили, что он господствует над всей Грецией, с помощью тайных обществ держа в своих руках города, и стали действовать так, чтобы вернуть к власти сторонников народа, а друзей Лисандра изгнать. Опять произошли перевороты, и прежде всего афиняне из Филы[24] напали на Тридцать и одолели их. Лисандр, спешно вернувшись, убедил лакедемонян помочь олигархам в городах и наказать народ. Прежде всего они послали Тридцати сто талантов на военные расходы и Лисандра в качестве военачальника. Цари, завидуя Лисандру и боясь, как бы он не взял Афины, постановили, что один из них выступит в поход. Выступил Павсаний, будто бы на помощь тираннам против народа, а на деле стремясь закончить войну, чтобы Лисандр с помощью своих друзей опять не стал господином Афин. Цели своей он достиг легко: примирил афинян, прекратил междоусобную борьбу и нанес удар честолюбию Лисандра. Немного времени спустя афиняне снова отложились, и Павсания стали обвинять в том, что он распустил народ, обузданный было властью немногих, снова дав простор его дерзкому своеволию. За Лисандром осталась слава человека, который в своих действиях не ищет угодить другим, не гонится за показным блеском, но распоряжается по собственному усмотрению в интересах Спарты.

22. В разговоре с противниками он был резок и грозен. Когда аргивяне, споря с лакедемонянами о разделяющей Арголиду и Лаконию границе, заявили, что их доводы справедливее, он показал им меч и промолвил: “Кто держит в руке вот это, лучше всех рассуждает о границах”. Как-то один мегарянин дерзко разговаривал с ним в собрании. “Для убедительности твоих слов надо бы иметь побольше государство, чужестранец”, – заметил ему Лисандр. Беотийцев, коле-

бавшихся, к какой стороне примкнуть, он спросил, как ему пройти через их землю: подняв копье или опустив его. Явившись после отпадения Коринфа под стены города, он увидел, что лакедемоняне не торопятся взять его приступом. Както на глазах у всех заяц перескочил через ров. "Вам не стыдно бояться врага такого ленивого, что у него под стенами спят зайцы?" – обратился он к войску.

Царь Агид умер, оставив после себя Леотихида, считавшегося его сыном, и брата Агесилая. Лисандр, любивший Агесилая, убедил его завладеть царской властью по праву законнорожденного Гераклида. Про Леотихида говорили, что он сын Алкивиада, который, живя в Спарте изгнанником, тайком сошелся с женою Агида Тимеей. Рассказывают, что Агид, рассчитав, что жена на могла быть беременна от него, не обращал внимания на Леотихида и в течение всей жизни открыто не признавал его. Когда же его больным привезли в Герею и он уже был близок к смерти, под влиянием просьб и самого юноши и своих друзей, он в присутствии многих свидетелей признал Леотихида своим сыном и, попросив присутствующих объявить это лакедемонянам, умер. Свидетельство в пользу Леотихида было дано. Агесилаю, человеку известному и к тому же пользовавшемуся поддержкой Лисандра, оказывал противодействие Диопиф, прославленный прорицатель, отнесший на счет хромого Агесилая следующее предсказание:

Спарта! Одумайся ныне! Хотя ты, с душою надменной,
Поступью твердой идешь, но власть взрастишь ты хромую.
Много придется тебе нежданных бедствий изведать,
Долго хлестать тебя будут войны губительной волны.

Многие послушались оракула и перешли на сторону Леотихида, но Лисандр заявил, что Диопиф толкует предсказание неправильно: бог не разгневается, если Лакедемоном будет управлять царь, хромающий на одну ногу, но царская власть окажется хромой, если царствовать будут не Гераклиды, а люди низкого происхождения и незаконнорожденные. Такими доводами и силою своего влияния он убедил народ, и царем стал Агесилай.

23. Лисандр тотчас стал убеждать его идти походом в Азию, внушая ему надежды на низвержение персидской державы и на великую славу в будущем. Своим друзьям в Азии он написал, чтобы они просили лакедемонян послать к ним Агесилая военачальником для борьбы с варварами. Те послушались и отправили в Лакедемон послов с такою просьбой. На наш взгляд, в этом случае Лисандр облагодетельствовал Агесилая не меньше, чем когда доставил ему царскую власть. Но человеку с честолюбивым характером, хотя бы он и был способным полководцем, путь к славным подвигам преграждает зависть к равным, вызываемая их славой: тех, кто мог бы стать его помощниками, такой человек делает своими соперниками. Агесилай взял с собой Лисандра в числе тридцати советников, рассчитывая иметь в нем самого первого и близкого друга. Но когда они прибыли в Азию, местные жители, для которых Агесилай был новым человеком, обращались к нему редко. Лисандр же был их старым знакомым, и друзья – из желания угодить, а люди, попавшие под подозрение, – из страха толпились у его дверей и ходили за ним по пятам. На сцене случается, что трагический актер, играющий какого-нибудь вестника или слугу, стяжает восторжен-

ные похвалы и роль его делается первой, владыку же в диадеме и со скипетром зрители едва слушают. Так было и здесь: все достоинство царской власти принадлежало царскому советнику, самому же царю не осталось ничего, кроме титула.

Следовало, пожалуй, обуздать это неуместное честолюбие и отодвинуть Лисандра на второй план, но совершенно прогнать и очернить благодетеля и друга, завидуя его славе, было делом, недостойным Агесилая. Сначала он лишил его возможности действовать самостоятельно и перестал доверять командование военными отрядами. Затем те люди, за которых, как он знал, хлопочет Лисандр, стали уходить от него неизменно с пустыми руками, добившись меньшего, чем любой другой проситель. Таким образом, он исподволь уничтожал и ослаблял влияние Лисандра. Терпя во всем неудачи, Лисандр понял, что его хлопоты обращаются во вред его друзьям. Он перестал помогать им, просил их не приходить и не оказывать ему знаков почтения и советовал обращаться к царю и к тем, кто сейчас может быть более полезен для своих приверженцев. Большинство, выслушав это, перестало беспокоить его своими делами и продолжало почтительно сопровождать его на прогулках и в гимнасиях, вызывая тем самым еще большую зависть и раздражение Агесилая. Назначив, наконец, многих простых воинов начальниками либо доверив им управление городами, он пожаловал Лисандру должность раздатчика мяса[25]. "Пусть эти люди теперь пойдут на поклон к моему раздатчику мяса", – сказал он, глумясь над ионийцами. Лисандр решил прийти к нему поговорить. Разговор был короткий, в лаконском духе. "Ты прекрасно умеешь унижать друзей, Агесилай". – "Если они хотят быть выше меня. А те, кто способствует усилению моей власти, по справедливости должны делить ее со мной". – "Может быть, Агесилай, твои слова правильнее моих поступков. Но я прошу тебя – кроме всего прочего, из-за чужеземцев, которые смотрят на нас, – дай мне такое место в своем войске, на котором я был бы тебе менее всего неприятен и более всего полезен".

24. После этого разговора Агесилай отправил его послом на Геллеспонт. Сердясь на Агесилая, Лисандр тем не менее старательно выполнял свои обязанности. Знатного перса Спифридата, стоявшего во главе войска и не поладившего с Фарнабазом, он убедил восстать и привел его к Агесилаю. Больше, впрочем, он никаких военных поручений не исполнял и по истечении своего срока бесславно отплыл в Лакедемон, гневаясь на Агесилая и больше прежнего ненавидя весь государственный строй Спарты.

Он решил, не откладывая, взяться за осуществление своих старых замыслов относительно мятежа и государственного переворота. Заключались они в следующем. Гераклиды, объединившиеся с дорийцами и вернувшиеся в Пелопоннес, были большим и славным родом, но царская власть не была уделом всякого, кто принадлежал к нему. Царями были представители только двух домов – агиадов и эврипонтидов, всем остальным их знатность не давала никаких преимуществ, но высокую должность как награду за доблесть мог получить каждый гражданин, которому это было по силам. Лисандр, принадлежавший к Гераклидам, пользовавшийся громкой славой за свои деяния, имевший влияние и множество друзей, с досадой видел, что Спарта возвышается благодаря ему, а цар-

ствуют в ней другие, ничуть не превосходящие его знатностью. Он задумал отобрать царскую власть у двух названных выше домов и сделать ее достоянием всех Гераклидов, а по словам некоторых – даже не Гераклидов, а всех спартанцев, чтобы она стала почетным даром не тем, кто происходит от Геракла, а тем, кто, подобно Гераклу, выделяется своей доблестью, которая и возвела его к богам. Он надеялся, что царская власть, присуждаемая таким образом, не достанется никому, кроме него.

25. Готовясь убедить сограждан в своей правоте, он стал заучивать наизусть речь, которую написал для него Клеон Галикарнасский. Затем, видя, что задуманный им план переворота по необычности своей и размаху требует средств более бессовестных, он решил пустить в ход против своих сограждан нечто вроде театральной машины[26] и сочинил ложные оракулы и предсказания Пифии. Ему стало ясно, что все искусство Клеона не принесет ему никакой пользы, если прежде, чем ознакомить граждан с его соображениями, не потрясти их суеверным ужасом перед богами и не подготовить их таким образом к восприятию этой речи. Эфор рассказывает, что его попытка подкупить пифию и через Ферекла склонить на свою сторону додонских жриц[27] потерпела неудачу, после чего он отправился к Аммону и обещал много золота его прорицателям. Возмущенные, они послали гонца в Спарту с обвинением против Лисандра. Тем не менее он был оправдан, и ливийцы, уходя, сказали: "Мы, о спартанцы, будем судить лучше, когда вы прибудете в Африку, чтобы поселиться среди нас". (Существовал старинный оракул, что лакедемоняне переселятся в Африку.)

Теперь мы изложим, следуя рассказу одного историка[28] и философа, тщательно разработанный, тонкий и точно рассчитанный план Лисандра: как математическая задача, он основывался на многих и важных предпосылках и вел к цели через сложные дополнительные затруднения.

26. В Понте жила женщина, утверждавшая, что она беременна от Аполлона. Многие, естественно, не верили этому, другие же относились с доверием к ее словам, и когда у нее родился мальчик, нашлось немало людей, и при этом знатных, которые приняли ревностное участие в его воспитании. Ребенку по какой-то причине было дано имя Силен. Взявши это событие за основу, Лисандр с помощью многочисленных и влиятельных помощников соткал и сплел на ней все остальное. Не возбуждая никаких подозрений, они добились полного доверия к толкам о рождении мальчика, а затем стали распространять в Спарте рассказ, привезенный ими из Дельф, будто там, в тайных записях, хранимых жрецами, есть очень древние предсказания, взять и прочесть которые не дозволено никому, кроме сына Аполлона, который однажды придет, предъявит хранителям ясное доказательство своего происхождения и заберет таблички с предсказаниями. После того как эти приготовления были завершены, Силен должен был явиться в Дельфы и в качестве Аполлонова сына потребовать эти предсказания, а жрецы-соучастники, тщательно расследовав обстоятельства его рождения и, в конце концов, убедившись в справедливости его слов, показать ему как сыну Аполлона эти записи. Он должен был прочесть их перед множеством собравшихся и, среди прочих предсказаний, огласить оракул о царской власти – тот, ради которого было придумано все остальное, – а именно, что спартанцам

значительно целесообразнее выбирать царя из числа лучших граждан. Силен был уже юношей и явился, чтобы приступить к делу, когда вся постановка Лисандра провалилась из-за робости одного актера и соучастника, который, уже принявшись было за дело, струсил и пошел на попятный. Все это раскрылось после смерти Лисандра; при жизни его ничего не было известно.

27. Прежде чем Агесилай вернулся из Азии, Лисандр погиб, ввязавшись в Беотийскую войну или, вернее, ввергнув в нее Грецию. Об этом судят по-разному: одни возлагают вину на Лисандра, другие на фиванцев, некоторые считают виновными обе стороны. Фиванцев обвиняют в том, что они сбросили жертвы с жертвенников в Авлиде[29] и что Андроклид и Амфитей, подкупленные деньгами царя и обещавшие поднять в Греции войну против лакедемонян, побудили беотийцев напасть на фокейцев и опустошить их страну. Про Лисандра же говорят, что он был сердит на фиванцев, которые, в то время как остальные союзники молчали, единственные осмелились заявить притязания на десятую часть военной добычи и выразили недовольство тем, что Лисандр отправил деньги в Спарту. Особенно же был он раздосадован тем, что они первые помогли афинянам освободиться от тридцати тираннов, которых Лисандр поставил, а лакедемоняне сделали еще страшнее и могущественнее своим решением, гласившим, что беглецы из Афин должны быть отовсюду возвращены назад, а кто этому воспрепятствует, исключается из союза. На это фиванцы ответили постановлением, достойным подвигов Геракла и Диониса[30] и сходным с ними: все дома и города в Беотии открыты для афинян, нуждающихся в приюте; человек, не пришедший на помощь беглецу, которого уводят вопреки его желанию, платит талант штрафа; если кто-нибудь понесет через Беотию оружие в Афины для борьбы против тираннов, фиванцы закроют глаза и заткнут уши. Они не ограничились только постановлением, истинно эллинским и человечным, – тому, что было в нем записано, соответствовали их действия: Фрасибул с товарищами захватил Филу, выйдя из Фив, причем фиванцы снабдили их оружием и деньгами, скрывали их и помогли приступить к делу. Такие обвинения предъявлял фиванцам Лисандр.

28. Гнев Лисандра был вообще страшен вследствие разлития черной желчи – недуга, усиливающегося к старости. Он уговорил эфоров объявить поход против Фив и сам отправился во главе войска. Спустя некоторое время был отправлен с войском и царь Павсаний. Пройдя кружным путем, Павсаний собирался вторгнуться в Беотию через Киферон, Лисандр же с большим войском выступил через Фокиду[31]. Он взял Орхомен, добровольно ему сдавшийся, а Лебадию захватил силою и разграбил. Письмом он предложил Павсанию выступить из Платей на соединение с ним к Галиарту, обещая, что с наступлением дня сам будет под его стенами. Письмо это попало в руки фиванцев, так как гонец натолкнулся на их разведку. Они оставили свой город под охраной афинян, явившихся к ним на помощь, а сами, двинувшись в путь, едва настала ночь, оказались под Галиартом чуть раньше Лисандра и частью своих сил заняли город. Лисандр решил сначала, расположившись на холме, ждать Павсания, но время шло, Лисандр не мог больше оставаться на месте, и вот, приказав воинам взять оружие и ободрив союзников, он двинул своих людей колоннами вдоль дороги к город-

ским стенам. Фиванцы, оставшиеся вне города, обошли Галиарт слева и ударили врагу в тыл подле источника, называемого Киссусой, в котором, как рассказывают, кормилицы выкупали Диониса тотчас же после рождения. Вода в нем цветом несколько напоминает вичо, прозрачна и очень вкусна. Неподалеку растут критские стираксы[32], на которые жители Галиарта указывают в подтверждение того, что у них жил Радамант[33]; они показывают и его могилу, которая зовется могилой Алея. Поблизости находится и памятник Алкмене: став после смерти Амфитриона женою Радаманта, она здесь, как сообщают, была предана погребению.

Фиванцы, вошедшие в город и соединившиеся с галиартцами, сперва не двигались с места, когда же они увидели, что Лисандр с передовым отрядом приближается к стенам, они, внезапно открыв ворота, ударили на противника, убили Лисандра, прорицателя и еще нескольких человек, а потом бегом вернулись к основным силам. Не давая врагам опомниться, фиванцы напали на них, загнали на холмы и перебили тысячу человек. Фиванцев погибло триста. они пали, преследуя неприятеля на голых, крутых склонах. Это были те, кого обвиняли в симпатии к лаконцам: стремясь оправдаться перед согражданами, они не щадили себя и погибли во время погони.

29. Павсаний узнал о поражении по пути из Платей в Феспии. Выстроив войско в боевой порядок, он двинулся к Галиарту. Прибыл туда из Фив и Фрасибул с афинянами. Павсаний хотел заключить перемирие и просить о выдаче тел, но между спартанцами старшего возраста поднялся ропот, они пришли к царю и с негодованием заявили, что вернуть тело Лисандра надо не посредством перемирия, но силой оружия, сражаясь вокруг павшего, и, победив, похоронить; для побежденных же славно будет лечь на том же месте, рядом со своим начальником. Так говорили старики, но Павсаний, видя, что одолеть в битве фиванцев, только что одержавших победу, дело трудное и что тело Лисандра лежит у самой стены и, стало быть, без перемирия его нелегко будет взять даже в случае победы, послал к фиванцам вестника, заключил перемирие и отступил. Лисандра похоронили сейчас же за границей Беотии, на земле дружественного и союзного города Панопея. Там теперь стоит памятник на дороге из Дельф в Херонею. Войско расположилось там на стоянку, и какой-то фокеец стал рассказывать про сражение при Галиарте своему земляку, не принимавшему в нем участия. Между прочим, он сказал, что враги напали на них, когда Лисандр уже перешел Гоплит. Один спартанец, друг Лисандра, с изумлением спросил, что он имеет в виду: это название ему неизвестно. "Да ведь именно там, – ответил рассказчик, – враги и обрушились на наши первые ряды: Гоплитом называется ручеек под городом!" Услышав это, спартанец заплакал и сказал, что человек не может избежать своей судьбы. Есть сведения, что Лисандру был дан такой оракул:

Бойся Гоплита, тебе мой совет, шумящего грозно,
Также змеи, что землей рождена и разит тебя с тыла.

Некоторые, правда, утверждают, что Гоплит течет не возле Галиарта, но что это поток, сбегающий с гор возле Коронеи и там же впадающий в реку Филар; раньше его называли Гоплией, а теперь Исомантом. Галиартец Неохор, убив-

ший Лисандра, имел на щите изображение змеи: это, видимо, и возвещал оракул. Рассказывают, что приблизительно во время Пелопоннесской войны фиванцам был дан в Исмении[34] оракул, предсказавший сразу и битву при Делии и битву при Галиарте, отделенную от первой промежутком в тридцать лет:

> С дротом идя на волков, берегись краев пограничных
> И орхалидских высот, где лиса в засаде таится.

Местность около Делия, там, где Беотия граничит с Аттикой, называется "Краем"; Орхалидой именовался холм, который теперь зовется Лисьим: он находится в той части Галиарта, которая обращена к Геликону.

30. Неожиданную гибель Лисандра спартанцы восприняли так тяжело, что предъявили своему царю обвинение, грозившее ему смертью. Он не явился на суд, а бежал в Тегею и жил там до конца своих дней в качестве молящего о защите на священном участке, принадлежащем Афине. Бедность Лисандра, обнаружившаяся после его смерти, показала особенно отчетливо его добродетель: имея в руках такую власть и такие средства, осыпаемый дарами от городов и царя, он не взял ни обола на украшение собственного дома. Так рассказывает Феопомп, чьей похвале можно верить больше, чем порицанию, ибо он порицает охотнее, чем хвалит.

Впоследствии, сообщает Эфор, когда у Спарты возникли разногласия с союзниками, понадобилось посмотреть записи, которые находились у Лисандра, и Агесилай пришел к нему в дом. Он нашел у него рассуждение о государственном строе, где говорилось, что эврипонтидов и агиадов следует лишить царской власти и, сделав ее доступной для всех, выбирать царя из лучших граждан. Агесилай хотел немедленно сообщить всем о своей находке и показать, каким гражданином был на самом деле Лисандр, хотя этого никто и не замечал; Лакратид же, человек разумный, бывший тогда первым эфором, остановил Агесилая, сказав, что надо не выкапывать из могилы Лисандра, а закопать вместе с ним это рассуждение – до того убедительно и коварно было оно составлено. Несмотря на это, Лисандру были возданы все посмертные почести, и, между прочим, женихи его дочерей, отказавшиеся после его смерти взять их в жены, так как отец оказался бедняком, были приговорены к штрафу за то, что они оказывали ему почтение, пока считали его богачом, но отреклись от него, когда бедность умершего открыла его справедливость и достоинство. В Спарте существовало, по-видимому, наказание не только за безбрачие[35], но и за поздний или недостойный брак. Последнее налагали по преимуществу на тех, кто сватался к девушкам из богатых, а не из хороших и близких семей.

Вот что мы можем рассказать о Лисандре.



СУЛЛА

1. Луций Корнелий Сулла родом был из патрициев, или, как мы бы сказали, эвпатридов[1], и один из предков его, Руфин[2], был, говорят, консулом. Впрочем, этот Руфин более известен не оказанною ему честью, а выпавшим ему на долю бесчестьем: уличенный в том, что он имел больше десяти фунтов серебряной посуды (а закон этого не дозволял), он был исключен из сената. Потомки его жили уже в постоянной бедности, да и сам Сулла вырос в небогатой семье, а с молодых лет ютился у чужих, снимая за небольшую плату помещение, чем ему и кололи глаза впоследствии – счастье его казалось несогласным с его достоинством. Так, рассказывали, что когда после африканского похода[3] он возгордился и стал держаться надменно, кто-то из людей благородных сказал ему: "Ну, как тебе быть порядочным, если ты, ничего не унаследовав от отца, владеешь таким состоянием?" Дело в том, что, хотя и тогда нравы не сохраняли прежней строгости и чистоты, но под тлетворным воздействием соперничества в роскоши и расточительстве стали портиться, тем не менее равный позор навлекал на себя и тот, кто промотал свое богатство, и тот, кто не остался верен отцовской бедности. Позднее, когда Сулла пришел к власти и многих лишил жизни, какой-то человек из отпущенников, заподозренный в укрывательстве одного из объявленных вне закона и приговоренный к свержению в пропасть, попрекал Суллу тем, что тот долгое время жил с ним под одной крышей и сам он платил две тысячи нуммов за верхний этаж, а Сулла – три за нижний, так что вся разница в их положении измерялась одной тысячей нуммов или двумястами пятьюдесятью аттических драхм. Вот что рассказывают о молодых годах Суллы.

2. Все черты внешнего облика Суллы переданы в его статуях, кроме разве взгляда его светло-голубых глаз – тяжелого и проницательного – и цвета его лица, который делал еще более страшным этот и без того трудно переносимый взгляд. Все лицо его было покрыто неровною красной сыпью, под которой лишь кое-где была видна белая кожа. Поэтому говорят, что имя Сулла – это прозвище[4], которое он получил за цвет лица, а в Афинах кто-то из насмешников сложил такой издевательский стих:

Сулла – смоквы плод багровый, чуть присыпанный мукой.

Прибегать к подобным свидетельствам вполне уместно, когда речь идет о человеке, который, как рассказывают, был по природе таким любителем шуток, что молодым и еще безвестным проводил целые дни с мимами и шутами, распутничая вместе с ними, а когда стал верховным властелином, то всякий вечер собирал самых бесстыдных из людей театра и сцены и пьянствовал в их обществе, состязаясь с ними в острословии; о человеке, который в старости, по общему мнению, вел себя не так, как подобало его возрасту, и, унижая свое высокое звание, пренебрегал многим, о чем ему следовало бы помнить. Так, за обедом Сулла и слышать не хотел ни о чем серьезном и, в другое время деятельный и, скорее, мрачный, становился совершенно другим человеком, стоило ему оказаться на дружеской пирушке. Здесь он во всем покорялся актерам и плясунам и

готов был выполнить любую просьбу. Эта распущенность, видимо, и породила в нем болезненную склонность к чувственным наслаждениям и неутолимую страсть к удовольствиям, от которой Сулла не отказался и в старости. Вот еще какой счастливый случай с ним приключился: влюбившись с общедоступную, но состоятельную женщину по имени Никопола, он перешел потом на положение ее любимца (в силу привычки и удовольствия, которое доставляла ей его юность), а после смерти этой женщины унаследовал по завещанию ее имущество. Наследовал он и своей мачехе, которая любила его как сына. Таким образом приобрел он изрядное состояние.

3. Назначенный квестором к консулу Марию в первое его консульство, Сулла с ним вместе отплыл в Африку воевать с Югуртой. Во время военных действий Сулла во всем показал себя с лучшей стороны и сумел воспользоваться представившимся случаем, чтобы приобрести дружбу нумидийского царя[5] Бокха. Послы Бокха, ускользнувшие от шайки нумидийских разбойников, были радушно приняты Суллой, который, отсылая их назад, одарил их и дал им надежных провожатых. А Бокх, давно уже ненавидя и боясь приходившегося ему зятем Югурту, теперь, когда тот, гонимый военными неудачами, бежал к нему, решил его погубить. Бокх вызвал к себе Суллу, предпочитая чужими, а не собственными руками схватить и выдать Югурту врагам. С ведома Мария Сулла, взяв с собою нескольких солдат, пошел навстречу величайшей опасности, ради поимки неприятеля доверив свою жизнь варвару, не хранившему верности даже самым близким ему людям. Впрочем, Бокх, в руках которого оказались и Сулла и Югурта и который сам поставил себя перед необходимостью нарушить уговор с одним из них, очень долго колебался и размышлял, но, в конце концов, решился на предательство, задуманное им прежде, и передал Сулле Югурту. Триумф за это достался, конечно, Марию, который, однако, втайне был уязвлен тем, что его недоброжелатели и завистники славу и успех стали приписывать Сулле. Да и сам Сулла, от природы самонадеянный, теперь, когда после жизни скудной и безвестной о нем впервые пошла добрая молва среди сограждан и он вкусил почета, в честолюбии своем дошел до того, что приказал вырезать изображение своего подвига на печатке перстня и с тех пор постоянно ею пользовался. На печатке был изображен Сулла, принимающий Югурту из рук Бокха.

4. Все это раздражало Мария, но он еще пользовался в походах услугами Суллы, считая, что тот слишком ничтожен, а потому не заслуживает зависти. Сулла был легатом Мария в его второе консульство и военным трибуном в третье, и Марий был обязан ему многими успехами. Так, в бытность свою легатом Сулла захватил вождя тектосагов[6] Копилла, а будучи военным трибуном, склонил большой и многолюдный народ марсов к дружбе и союзу с римлянами. После этого, почувствовав, что он восстановил против себя Мария, который уже не желал поручать ему никаких дел и противился его возвышению, Сулла сблизился с Катулом, товарищем Мария по должности, прекрасным человеком, хотя и не столь способным полководцем. Пользуясь его доверием в самых важных и значительных делах, Сулла прославился и вошел в силу. Он покорил большую часть альпийских варваров, а когда у римлян вышло продовольствие, принял эту заботу на себя и сумел запасти столько, что воины Катула не только сами

не знали ни в чем нужды, но и смогли поделиться с людьми Мария. Этим Сулла, по собственным его словам, сильно озлобил Мария. И вот эта-то вражда, столь незначительная и по-детски мелочная в своих истоках, но затем, через кровавые усобицы и жесточайшие смуты приведшая к тирании и полному расстройству дел в государстве, показывает, сколь мудрым и сведущим в общественных недугах человеком был Эврипид[7], который советовал остерегаться честолюбия, как демона, самого злого и пагубного для каждого, кто им одержим.

5. Сулла думал, что достаточно уже прославил себя воинскими подвигами, чтобы выступить на государственном поприще, – сразу после похода он посвятил себя гражданским делам; он записался кандидатом в городские преторы, но при выборах потерпел неудачу. Виновницею тому была, по его мнению, чернь: зная дружбу его с Бокхом и ожидая – в случае, если он, прежде чем стать претором, займет должность эдила, – великолепной травли африканских зверей[8], она избрала преторами других соискателей, чтобы заставить его пройти через эдильскую должность. Но похоже на то, что Сулла скрывает истинную причину своей неудачи – сами события уличают его в этом. Ведь спустя год претура все-таки досталась Сулле, который лестью и подкупом расположил народ в свою пользу. Вот почему Цезарь, которому Сулла в гневе пригрозил употребить против него свою власть претора, издевательски ответил ему: “По праву ты почитаешь своей эту власть – разве ты не купил ее?”.

После претуры Суллу посылают в Каппадокию[9], как было объявлено, чтобы вернуть туда Ариобарзана, а на деле – чтобы обуздать Митридата, который стал не в меру предприимчив и чуть ли не вдвое увеличил свое могущество и державу. Войско, которое Сулла привел с собою, было невелико, но с помощью ревностных союзников он, перебив много каппадокийцев и еще больше пришедших им на подмогу армян, изгнал Гордия и водворил на царство Ариобарзана.

Когда Сулла стоял у Евфрата, к нему явился парфянин Оробаз, посол царя Арсака. До тех пор оба народа еще не соприкасались друг с другом; видимо, счастью своему Сулла обязан и тем, что первым из римлян, к кому обратились парфяне с просьбой о союзе и дружбе, оказался именно он. Рассказывают, что Сулла поставил три кресла – одно для Ариобарзана, другое для Оробаза, третье для себя – и во время переговоров сидел посредине. Оробаза парфянский царь впоследствии за это казнил, а Суллу одни хвалили за то, что он унизил варваров, а другие хулили за наглость и неуместное тщеславие. Среди спутников Оробаза, как передают, был один халдей[10], который, посмотрев в лицо Сулле и познакомившись с движениями его духа и тела – не мельком, но изучив их природу согласно с правилами своей науки, – сказал, что человек этот непременно достигнет самого высокого положения, да и сейчас приходится удивляться, как он терпит над собой чью-то власть.

По возвращении Суллы в Рим Цензорин обвинил его во взяточничестве, потому что из дружественного и союзного царства он вернулся с большой суммой денег, собранной вопреки закону. Впрочем, Цензорин не явился в суд, отказавшись от обвинения.

6. Между тем вражда Суллы и Мария получала всю новую пищу; на этот раз поводом послужило честолюбие Бокха. Желая польстить римскому народу и в

то же время угодить Сулле, Бокх поставил на Капитолии статуи Победы с трофеями в руках, а подле них золотое изображение Югурты, которого Бокх передает Сулле. Когда рассерженный Марий собрался было уничтожить эти изваяния, а сторонники Суллы готовились встать на его защиту и раздор между приверженцами того и другого едва на вверг в пламя весь город, тогда-то разразилась, сдержав на этот раз распрю, давно уже угрожавшая городу Союзническая война. В войне этой, которая оказалась и чрезвычайно жестокой, и полной всяческих превратностей, которая принесла римлянам многочисленные бедствия и самые тяжкие опасности, в этой войне Марий не смог совершить ничего великого и тем самым доказал, что воинская доблесть нуждается в цветущем возрасте и силе; Сулла же замечательными подвигами стяжал у сограждан славу великого полководца, у друзей – величайшего и даже у врагов – самого счастливого и удачливого.

Однако Сулла избежал участи Тимофея, сына Конона, чьи враги, приписывая его успехи счастливому случаю, заказали картину, на которой был представлен спящий Тимофей и Счастье, улавливающее города своею сетью. Тимофей разгневался и бушевал, как последний мужлан, словно у него отнимали славу его дел, и как-то, вернувшись из похода, как считали, вполне удачного, сказал, обращаясь к народу: "А уж в этом походе, афиняне, Счастье не принимало никакого участия". В отместку за такое нескрываемое честолюбие божество, говорят, зло подшутило над Тимофеем: он уже не совершил ни одного славного подвига, потерял удачу во всех своих делах и, рассорившись с народом, был изгнан из родного города. Сулла же, напротив, не только испытывал удовольствие, когда завистники называли его счастливцем, но даже сам раздувал эти толки, все свои успехи приписывая богам и объясняя все своим счастьем – то ли из хвастовства, то ли действительно следуя своим представлениям о божестве. Ведь и в "Воспоминаниях" Суллы написано, что дела, на которые он отваживался по внезапному побуждению, удавались ему лучше тех, которые он считал хорошо обдуманными. Там же он говорит, что больше одарен счастьем, чем военными способностями, а стало быть, отдает предпочтение счастью перед доблестью; вообще он считал себя любимцем божества – ведь даже согласие с Метеллом[11], своим товарищем по должности и свойственником, он приписывал некоей божественной удаче. В самом деле, тот, кто, как можно было ожидать, доставит Сулле немало хлопот, оказался самым сговорчивым товарищем по должности. Кроме того, в "Воспоминаниях" Сулла убеждает Лукулла (которому это сочинение посвящено) ни на что не полагаться с такой уверенностью, как на то, что укажет ему ночью божество. Когда он был послан с войском на Союзническую войну, рассказывает Сулла, то близ Лаверны[12] широко разверзлась земля, оттуда вырвался язык пламени и огненным столпом уперся в небо. Это, по словам предсказателей, означало, что доблестный муж, с прекрасною и необычною внешностью, придет к власти и прекратит нынешние смуты в государстве. И вот он-то сам, утверждал Сулла, и есть этот муж: ведь золотистые волосы отличают его среди других людей, а о доблести своей после стольких прекрасных и великих подвигов он может говорить без ложного стыда. Таковы были его представления о божественном.

В остальном же он производил впечатление человека переменчивого и с самим собой несогласного: он много отбирал насильно и еще больше раздавал, без оснований возносил и без оснований оскорблял, обхаживал тех, в ком имел нужду, и чванился перед теми, кто имел нужду в нем, так что непонятно, что было более свойственно его натуре – высокомерие или угодливость. За случайные провинности он засекал до смерти, но смотрел сквозь пальцы на самые тяжкие преступления, легко мирился с лютой обидой, а за мелкие и ничтожные оскорбления мстил казнями и конфискациями имущества; такую несоразмерность в наказаниях можно, пожалуй, объяснить тем, что, крутой нравом и мстительный от природы, Сулла, ради пользы, умел сдерживать гнев, уступая расчету. Так, когда его солдаты в ту же Союзническую войну камнями и палками убили легата Альбина, бывшего претора, Сулла оставил столь тяжкий проступок безнаказанным и даже гордился этим, не без хвастовства говоря, что благодаря этому его люди, дескать, станут еще воинственнее, искупая храбростью свою вину. На тех, кто осуждал его, Сулла не обращал никакого внимания, но угождал собственному войску, уже тогда замышляя покончить с Марием, и считая, что война с союзниками окончена, надеялся получить командование в войне с Митридатом.

По возвращении Суллы в Рим его выбрали консулом вместе с Квинтом Помпеем. Сулле было тогда пятьдесят лет, и в ту пору он вступил в почетный для него брак с Цецилией, дочерью верховного жреца Метелла. За это Суллу высмеивали в многочисленных песенках, ходивших среди простонародья, да и среди высшей знати многие были возмущены, считая, говоря словами Тита[13], что этот человек недостоин такой жены, хотя сами признали его достойным консульства. Замужем за Суллой побывала, впрочем, не одна Метелла: впервые, еще юнцом, он женился на Илии, которая родила ему дочку, затем, после нее, на Элии, в третий же раз на Клелии. Последней, под предлогом ее бесплодия, он дал развод, отпустив ее с почетом: он и сказал о ней много хорошего, и богато одарил. Однако, введя всего через несколько дней в свой дом Метеллу, он показал, что не был честен в своих упреках Клелии. Метелле он, правда, угождал всегда и во всем, так что римскому народу, когда тот пожелал вернуть из изгнания сторонников Мария, пришлось после полученного от Суллы отказа призвать на помощь Метеллу. Вероятно, и с афинянами, взяв их город, он обошелся особенно жестоко, потому что они, насмехаясь над ним с городских стен, грубо поносили Метеллу. Но об этом ниже[14].

7. Когда Сулла, невысоко ценя консульство в сравнении с тем, что он для себя готовил, в мыслях своих стремился к войне с Митридатом, соперником его выступил Марий, снедаемый тщеславием и честолюбием – не подвластными возрасту страстями. Этот обрюзгший человек, которому в недавней войне из-за преклонных уже лет изменили силы, рвался за море, в дальние походы. И вот, когда Сулла отправился к войску, куда его призывали не завершенные еще дела, Марий оставаясь дома, занялся подготовкой пагубнейшей распри, принесшей Риму больше вреда, чем все войны вместе взятые, как то и предвещали знамения, посланные римлянам божеством. А именно, на древках знамен сам собою вспыхнул огонь, который едва погасили, три ворона притащили своих

птенцов на дорогу и съели, а остатки унесли обратно в гнездо. Мыши прогрызли золотые приношения, выставленные в храме, а когда служители поймали одну самку, она принесла пятерых мышат прямо в мышеловке и троих загрызла. И самое главное: с безоблачного, совершенно ясного неба прозвучал трубный глас, такой пронзительный и горестный, что все обезумели от страха перед величием этого знамения. Этрусские толкователи объявили, что чудо это предвещает смену поколений и преображение всего сущего. Существует, говорили они, восемь человеческих поколений, различающихся между собой нравами и укладом жизни, и для каждого божеством отведено и исчислено время, ограниченное кругом большого года[15]. Когда же этому кругу приходит конец, и начинается новый, всякий раз то ли из земли, то ли с неба приходит какое-нибудь удивительное знамение, чтобы те, кто размышлял над такими вещами и умудрен в них, тотчас поняли, что в мир явились люди, и живущие, и мыслящие поиному, и боги пекутся о них больше или меньше, чем о прежних. Среди прочего, продолжали прорицатели, при чередовании поколений большие перемены испытывает и сама наука предсказания будущего: она то обретает большое уважение, а также точность и надежность, благодаря идущим от богов ясным знамениям, то – при новом поколении, – напротив, влачит жалкое существование, рассуждая о многом наугад и пытаясь проникнуть в грядущее с помощью темных и ненадежных средств. Вот какие предания рассказывали самые ученые из толкователей-этрусков, те, что считались наиболее сведущими. Когда сенаторы, заседая в храме Беллоны, слушали рассуждения гадателей об этих предметах, в храм на глазах у всех влетел воробей, в клюве у него была цикада, часть которой он выронил, а другую унес с собой. Гадатели возымели подозрение, что это предвещает распрю и раздоры между имущими и площадною чернью города. Последняя ведь голосиста, словно цикада, а те, другие, – сельские жители, обитающие среди полей.

8. Марий тем временем заручился поддержкой народного трибуна Сульпиция, человека, не знавшего себе равных в самых гнусных пороках[16], так что не стоило и задаваться вопросом, кого он превосходит испорченностью: можно было спрашивать только, в чем он испорченнее самого себя. Жестокость, дерзость и жадность делали его нечувствительным к позору и способным на любую мерзость: ведь это он, поставив посреди форума стол, не таясь, подсчитывал деньги, вырученные от продажи вольноотпущенникам и пришлым прав римского гражданства. Сульпиций содержал три тысячи вооруженных мечами бойцов и окружил себя толпой готовых на все молодых людей из всаднического сословия, которых именовал антисенатом. Он провел закон, по которому сенаторам запрещалось иметь долг, превышающий две тысячи драхм, а сам оставил после себя долгов на три миллиона. Этот-то человек, обратившись по поручению Мария к народу и нарушив силой оружия весь ход дел в государстве, предложил несколько вредных законопроектов, одним из которых он передавал Марию командование в Митридатовой войне. Это вынудило консулов объявить неприсутственные дни, тогда Сульпиций во время собрания, созванного консулами у храма Диоскуров[17], возмутил против них толпу, и в числе многих других на форуме погиб молодой сын консула Помпея. Сам Помпей бежал и скрылся, а Сулле,

загнанному погоней в дом Мария, пришлось выйти к народу и отменить решение о неприсутственных днях. Поэтому Сульпиций, который Помпея отрешил от должности, у Суллы консульства не отобрал, но лишь перепоручил поход против Митридата Марию и тут же послал в Нолу военных трибунов, чтобы те, приняв войско, привели его к Марию.

9. Но Сулла, бежавший в лагерь, успел опередить трибунов, и воины, узнав о случившемся, побили посланцев Сульпиция камнями, а приверженцы Мария в Риме со своей стороны принялись избивать друзей Суллы и грабить их имущество. Появились изгнанники и беглецы: одни пробирались в город из лагеря, другие из города в лагерь. Сенат, который уже не был свободен в своих решениях, но руководился предписаниями Мария и Сульпиция, узнав, что Сулла идет на город, послал двух преторов, Брута и Сервилия, чтобы те запретили ему двигаться дальше. Преторы говорили с Суллой слишком дерзко, и воины, кинувшись на них, хотели их растерзать, но только изломали ликторские розги[18], сорвали с преторов окаймленные пурпуром тоги и после многих оскорблений отослали их назад. Вид преторов, лишенных знаков отличия, и принесенное ими известие о том, что усобицу уже невозможно сдержать и положение непоправимо, произвели тяжелое и страшное впечатление. Марий был теперь занят подготовкой к борьбе, а Сулла, располагая шестью полными легионами, вместе с товарищем по должности двигался от Нолы; он видел, что войско готово немедленно идти на город, но сам колебался, испытывая страх перед опасным начинанием. Однако когда он совершил жертвоприношение, прорицатель Постумий, протянув к нему обе руки, потребовал, чтобы его связали и до сражения продержали под стражей: он-де готов пойти на казнь, если все дела Суллы не придут к скорому и благополучному завершению. Да и самому Сулле, как рассказывают, во сне явилась богиня, чтить которую римляне научились от каппадокийцев[19], это то ли Луна, то ли Минерва, то ли Беллона. Сулле снилось, будто богиня, представ перед ним, протягивает ему молнию и, называя по имени каждого из его врагов, повелевает поразить их, и, пораженные молнией, они падают и исчезают. Доверившись этому видению и рассказав о нем товарищу по должности, Сулла, как только рассвело, повел войско на Рим. У Пикт[20] его встретило посольство: послы умоляли повременить, так как сенат восстановит справедливость, издав соответствующие постановления. Сулла согласился разбить лагерь здесь же и приказал командирам сделать для этого обычные в таких случаях промеры, так что послы, поверив ему, ушли. Однако тотчас вслед за тем Сулла выслал вперед Луция Базилла и Гая Муммия, которые захватили ворота и стену у Эсквилинского холма, а потом и сам устремился за ними со всею поспешностью, на какую был способен. Хотя отряд Базилла, ворвавшись в город, стал одолевать врага, многочисленная толпа безоружного народа остановила его продвижение и оттеснила назад к стене. Но тут подоспел Сулла: увидев, что происходит, он громким голосом отдал приказание поджигать дома и, схватив пылающий факел, сам кинулся вперед, а лучникам дал приказ осыпать кровли домов зажигательными стрелами. Он не следовал заранее намеченному плану, но, потеряв власть над собой, предоставил своему гневу распоряжаться происходящим. Перед глазами его были одни враги, и он, нисколько не задумываясь о

друзьях, родственниках, домашних, нимало не сочувствуя им, прокладывал себе путь огнем, не разбирающим правых и виноватых. Тем временем Марий, оттесненный к храму Земли[21], воззвал к рабам, обещая им свободу, но, осиленный наступавшим противником, бежал из города.

10. Сулла, созвав сенат, осудил на смерть самого Мария и еще нескольких человек, в их числе и народного трибуна Сульпиция. Сульпиций, преданный своим рабом, был убит (раба этого Сулла сперва освободил, а затем приказал сбросить со скалы), а за голову Мария Сулла назначил награду, не обнаружив тем самым ни благоразумия, ни порядочности – ведь совсем незадолго он, придя в дом Мария и сдавшись на его милость, был отпущен целым и невредимым. Если бы Марий тогда не отпустил Суллу, а дал Сульпицию расправиться с ним, он остался бы полным хозяином положения, и все же он Суллу пощадил, а немного спустя, когда Марий сам оказался в такой же крайности, с ним обошлись совсем по-иному. Сенат втайне досадовал на это, а народ и на деле дал Сулле почувствовать свою враждебность и возмущение. Так, провалив с позором Нония, племянника Суллы, и Сервилия, которые домогались должностей, народ должности эти отдал тем, чье избрание, как предполагали, доставит Сулле наибольшее огорчение.

Сулла же делал вид, что это его радует, – ведь благодаря ему народ, дескать, и пользуется свободою поступать, как хочет, – а чтобы отвести от себя ненависть толпы, провел в консулы принадлежавшего к стану его противников Луция Цинну, взяв с него скрепленное страшными клятвами обещание поддерживать дело Суллы. Цинна поднялся на Капитолий и, держа в руке камень, принес присягу на верность, скрепив ее таким заклятием: пусть будет он, если не сохранит доброго отношения к Сулле, вышвырнут из города, подобно этому камню, брошенному его собственной рукой. После этого в присутствии многих свидетелей он бросил камень на землю. Но вступив в должность Цинна тут же принялся расшатывать устои существовавшего порядка. Он подготовил судебное дело против Суллы, поручив обвинение одному из народных трибунов – Виргинию. Но Сулла, пожелав и обвинителю и судьям долго здравствовать, отправился на войну с Митридатом.

11. Говорят, что в те самые дни, когда Сулла с войском готовился покинуть Италию, Митридату, находившемуся тогда в Пергаме, явились многие знамения: так, пергамцы с помощью каких-то приспособлений опускали на него сверху изображение Победы с венцом в руке, и над самой головой Митридата статуя развалилась, а венец упал наземь и разбился на куски, так что народ в театре был повергнут в ужас, а Митридат – в глубокое уныние, хотя успехи его в то время превосходили все ожидания. Отняв Азию у римлян, а Вифинию и Каппадокию у тамошних царей, он обосновался в Пергаме, наделяя своих друзей богатствами, землями и неограниченной властью; из сыновей его один, не тревожимый никем, управлял старинными владениями в Понте и Боспоре вплоть до необитаемых областей за Мэотидой, другой же, Ариарат, с большим войском покорял Фракию и Македонию. И в иных краях, подчиняя их власти Митридата, действовали его полководцы, самым выдающимся из которых был Архелай. Корабли Архелая господствовали почти над всем морем, он подчинил себе Кик-

лады и другие расположенные по эту сторону мыса Малеи острова, завладел даже самой Эвбеей; выступив из Афин, он склонил к отпадению от Рима все греческие племена до границ Фессалии и лишь при Херонее потерпел небольшую неудачу. Здесь встретил его Бруттий Сура, легат Сентия, претора Македонии, человек замечательной отваги и ума. Оказав упорное сопротивление Архелаю, который подобно бурному потоку несся по Беотии, и выдержав при Херонее три битвы, Бруттий задержал его и вновь оттеснил к морю. Но, получив от Луция Лукулла приказание освободить место для приближающегося Суллы, которому сенат поручил вести эту войну, Бруттий тотчас оставил Беотию и вернулся к Сентию, хотя дела его шли успешнее, чем он мог надеяться, а греки, привлеченные его безупречным благородством, уже готовы были перейти на сторону римлян. И все же именно эти подвиги прославили Бруттия всего сильнее.

12. Сразу овладев остальными городами Греции, призвавшими его через послов, Сулла подступил со всеми своими силами к Афинам, которые держали сторону царя, вынуждаемые к этому тиранном Аристионом и, окружив Пирей, повел осаду, установив всевозможные военные машины и вступая во всякого рода стычки. И хотя, выжди Сулла немного, он без малейшей опасности взял бы Верхний город[22], уже доведенный голодом до крайности, но стремясь поскорее возвратиться в Рим из боязни, как бы там не произошел новый переворот, он торопил события, не останавливаясь в ходе войны перед опасными предприятиями, многочисленными сражениями и громадными расходами: не говоря о прочих приготовлениях, только на работах по сооружению осадных машин ежедневно были заняты десять тысяч пар мулов. Так как многие машины выходили из строя – рушились под собственной тяжестью или сгорали, подожженные зажигательными стрелами врагов, и потому не хватало леса, Сулла принялся за священные рощи: он опустошил Академию, самый богатый деревьями пригород, и Ликей[23].

Нуждаясь в больших деньгах для ведения войны, Сулла не оставил в покое и святилища Эллады, посылая то в Эпидавр[24], то в Олимпию за прекраснейшими и ценнейшими из приношений. Даже дельфийским амфиктионам он написал, что сокровища бога лучше было бы перевезти к нему, у него-де они будут целее, а если он и воспользуется ими, то возместит взятое в прежних размерах. Вслед за тем он послал туда своего друга, фокейца Кафиса, приказав ему принять каждую вещь по весу. Кафис прибыл в Дельфы, но не решался прикоснуться к святыням и пролил много слез, оплакивая при амфиктионах свою участь. И когда кто-то сказал ему, что слышал, как зазвучала находящаяся в храме кифара, Кафис, то ли поверив этому, то ли желая внушить Сулле страх перед божеством, написал ему об этом. Но Сулла насмешливо ответил, что удивляется Кафису: неужели тот не понимает, что пением выражают веселье, а не гнев, и велел своему посланцу быть смелее и принять вещи, которые бог отдает с радостью. И вот, когда все прочие сокровища втайне от большинства греков были отправлены к Сулле, амфиктионам пришлось, наконец, сломать серебряную бочку, которая одна еще оставалась нетронутой из царских пожертвований[25] и которую из-за ее величины и тяжести нельзя было взвалить целиком на вьючных животных. Тут им вспомнились Тит Фламинин, Маний Ацилий и Эми-

лий Павел: один из них выгнал из Греции Антиоха, двое других разгромили в войнах македонских царей, и все же они не только не тронули эллинских святилищ, но даже сами пополнили их новыми дарами, почтили и возвеличили. Да, но ведь они в согласии с законом распоряжались людьми воздержными, привыкшими беспрекословно повиноваться начальствующим, и сами, обладая царственной возвышенностью духа, соблюдали умеренность в расходах, ограничиваясь скромными и строго определенными тратами, а лесть войску почитали более позорной, нежели страх перед врагом; теперь же полководцы добивались первенства не доблестью, а насилием и, нуждаясь в войске больше для борьбы друг против друга, чем против врагов, вынуждены были, командуя, заискивать перед подчиненными и сами не заметили, как, бросая солдатам деньги на удовлетворение их низменных потребностей и тем покупая их труды, сделали предметом купли-продажди и самое родину, а желая властвовать над лучшими, оказались в рабстве у худших из худших. Вот что изгнало Мария, а потом вернуло его для войны с Суллою, вот что сделало Цинну убийцею Октавия и Фимбрию убийцею Флакка[26]. Но едва ли не главным виновником, положившим начало этому злу, был Сулла, который, чтобы соблазнить и сманить тех, кто служил под чужою командой, слишком щедро оделял своих солдат; тем самым он развращал и чужих воинов, толкая их на предательство, и своих, делая их людьми безнадежно распущенными. Понятно, что он нуждался в крупных суммах, и всего более для осады Афин.

13. Дело в том, что Суллой овладело неодолимое, безумное желание взять Афины – потому ли, что он в каком-то исступлении бился с тенью былой славы города, потому ли, что он приходил в бешенство, терпя насмешки и издевательства, которыми с городских стен ежедневно осыпал его, глумясь и потешаясь над ним и над Метеллой, тиранн Аристион. Человек этот, чья душа была сплавом из наглости и жестокости, который усвоил и совместил в себе худшие из Митридатовых пороков и страстей, подобно смертоносной болезни, обрушился на город, прошедший некогда невредимым сквозь бесчисленные войны, претерпевший многие тираннии и усобицы, а теперь стоявший на краю гибели. И хотя медимн пшеницы стоил тогда в Афинах тысячу драхм, а люди питались девичьей ромашкой, росшей вокруг акрополя, варили сандалии и лекифы[27], Аристион проводил время в ежедневных попойках и пирушках, военных плясках и насмешках над врагами, не тревожась о том, что священная лампада богини[28] погухла из-за недостатка масла. Верховной жрице, которая попросила у него половину гектея пшеницы, он послал перцу, а членов Совета и жрецов, умолявших его пожалеть город и заключить соглашение с Суллой, разогнал стрелами. Уже гораздо позже, и то с большой неохотой, он послал для переговоров о мире двоих или троих из своих собутыльников, которые, нисколько не интересуясь спасением города, важно повели речь о Тесее, об Эвмолпе, о Персидских войнах, так что Сулла сказал им: “Идите-ка отсюда, милейшие, и все свои россказни прихватите с собой: римляне ведь послали меня в Афины не учиться, а усмирять изменников”.

14. Тогда-то, как передают, и донес кто-то Сулле о подслушанном в Керамике разговоре: старики беседовали между собой и бранили тиранна, который не

охраняет подступы к стене у Гептахалка, в том единственном месте, где враги могут легко через нее перебраться. Сулла не пропустил мимо ушей это донесение, но посетив ночью удобное для приступа место и осмотрев его, взялся за дело. Как рассказывает в своих "Воспоминаниях" сам Сулла, первым взошел на стену Марк Атей. На неприятельского воина, который преградил ему путь, Атей обрушил такой удар, что переломил меч о его шлем, и все-таки не отступил, остался на своем месте и упорно его удерживал. Именно с этой стороны и был взят город, как об этом рассказывают старейшие из афинян. А сам Сулла, срыв и сравняв с землей стену между Пирейскими и Священными воротами[29], вступил в город в полночь – грозный, под рев бесчисленных труб и рогов, под победные клики и улюлюканье солдат, которые, получив от Суллы позволение грабить и убивать, с обнаженными мечами носились по узким улицам. Убитых не считали, и вплоть до сего дня лишь по огромному пространству, залитому тогда кровью, судят об их множестве. Ведь, не говоря уже о тех, кто погиб в других частях города, только резня вокруг Площади обагрила кровью весь Керамик по самые Двойные ворота, а многие говорят, что кровь вытекла за ворота и затопила пригород. Но сколь ни велико было число людей, погибших насильственной смертью, не меньше было и тех, что покончили с собой, скорбя об участи родного города, который, как они думали, ожидало разрушение. Это наполняло отчаянием лучших граждан – они боялись остаться в живых, не надеясь найти в Сулле никакого чувства меры, ни малейшего человеколюбия. Но когда в ноги Сулле повалились с мольбою изгнанники Мидий и Каллифонт, когда с просьбой пощадить город обратились к нему также соратники-сенаторы, он, и сам уже пресытившись местью, произнес несколько слов в похвалу древним афинянам и сказал, что дарует немногих многим, милуя живых ради мертвых.

Сулла взял Афины, как сам он говорил в "Воспоминаниях", в мартовские календы, в день, почти совпадающий с новолунием месяца анфестериона; в этом месяце, по случайному совпадению, афиняне творят многочисленные обряды в память о страшных бедствиях, причиненных проливными дождями, так как примерно в это время, по их расчетам, случился некогда потоп[30].

Когда город был взят, началась осада Акрополя, куда бежал тиранн. Она была поручена Куриону. Тиранн стойко продержался немалое время, пока жажда не вынудила его сдаться. И божество тотчас дало знамение, так как в тот самый день и час, когда Курион свел пленника вниз, на чистом до того небе собрались облака и хлынул ливень, насытивший водою Акрополь. Немного спустя Сулла взял Пирей и сжег бóльшую часть его зданий, в том числе и удивительное строение – арсенал Филона[31].

15. Тем временем военачальник Митридата Таксил, спустившись из Фракии и Македонии со ста тысячами пехотинцев, десятью тысячами всадников и девятью десятками серпоносных колесниц, вызвал к себе Архелая, который все еще стоял на якоре у Мунихии, не желая очистить море, но и не стремясь к схватке с римлянами, а считая разумным затянуть военные действия, чтобы оставить противника без припасов. Сулла, однако, предвидел все это гораздо лучше, чем Архелай, а потому из мест скудных, которые и в мирное время не могут прокормить собственных обитателей, отошел в Беотию. Расчет его многим казался

ошибочным, ибо, зная, что сила врага в колесницах и коннице, Сулла тем не менее покинул суровую и неудобную для действий конницы Аттику и оказался среди равнин и открытых пространств Беотии. Но, чтобы избежать, как было сказано, голода и нужды, он вынужден был пойти навстречу опасностям, которыми грозило сражение. Кроме того, Сулла боялся за Гортензия. Этого искусного и горячего полководца, который вел к Сулле войско из Фессалии, подстерегали в теснинах варвары. Вот какие причины заставили Суллу отойти в Беотию. Но Гортензия провел другою дорогою наш земляк[32] Кафис. Обманув варваров[33], он вывел его через Парнас к самой Титоре, которая была тогда не городом, как ныне, но крепостцою на крутой скале; в древности там укрылись и спасли свою жизнь и имущество бежавшие от Ксеркса фокейцы. Гортензий расположился лагерем и днем отразил натиск врагов, а ночью, преодолев трудный спуск к Патрониде, присоединился к вышедшему ему навстречу Сулле.

16. Оказавшись вместе, они заняли холм, возвышающийся посреди Элатийской равнины; холм этот велик, плодороден, а у подножия его есть вода. Он называется Филобеот, и Сулла очень хвалит его природу и местоположение. Когда римляне разбили лагерь, враги увидели, что их совсем немного: всадников оказалось не больше полутора тысяч, а пеших меньше пятнадцати тысяч. Поэтому, вопреки сопротивлению Архелая, остальные военачальники выстроили войско к бою, покрыв всю равнину конями, колесницами, щитами. Воздух не вмещал крика и шума, поднятого множеством племен, одновременно строившихся в боевой порядок. Даже чванливая пышность драгоценного снаряжения отнюдь не была бесполезна, но делала свое дело, устрашая противника: сверкание оружия, богато украшенного золотом и серебром, яркие краски мидийских и скифских одеяний, сочетаясь с блеском меди и железа, – все это волновалось и двигалось, создавая огненную, устрашающую картину, так что римляне сгрудились в своем лагере, и Сулла, который никакими уговорами не мог вывести их из оцепенения, ничего не предпринимал, не желая применять силу к уклоняющимся от битвы, и с трудом сдерживал себя, глядя на варваров, с хвастливым смехом потешавшихся над римлянами. Но именно это и обернулось для Суллы величайшей выгодой. Враги, которые и без того были не слишком послушны своим многочисленным начальникам, из презрения к римлянам перестали соблюдать какой бы то ни было порядок. Лишь небольшая часть их оставалась в лагере, а все остальные в поисках добычи разбредались на расстояние многих дней пути от лагеря. Сообщают, что они разрушили Панопей и разорили Лебадию, ограбив святилище[34], и все это – без приказания кого-либо из начальников. А Сулла, негодуя и печалясь о судьбе городов, которые гибли у него на глазах, не позволял своим воинам бездельничать, но принуждал их работать, заставляя отводить русло Кефиса и копать рвы; он не давал им никакой передышки и беспощадно наказывал нерадивых, чтобы отвращение к изнурительному труду заставило воинов самих желать опасности.

Так и вышло. На третий день работы они с криком стали просить проходившего мимо Суллу, чтобы он вел их на врагов. Сулла ответил, что слышит это не от желающих сражаться, а от не желающих работать, однако, если они и в самом деле хотят боя, пусть сразу идут с оружием туда – и он указал им на быв-

ший акрополь Парапотамиев[35]. Этот разрушенный к тому времени город[35] стоял на крутом, скалистом холме; от горы Гедилия холм отделяет только река Асс, которая у самого подножия этого холма сливается с Кефисом, становясь от этого бурной и стремительной и превращая холм в природное укрепление, подходящее для лагеря. Поэтому Сулла, заметивший, что неприятельские "медные щиты" устремились к этой высоте, захотел предупредить их и овладеть ею первым. И он ею овладел, благодаря усердию своих солдат. А когда вытесненный оттуда Архелай двинулся на Херонею, херонейцы, служившие в римском войске, обратились к Сулле с просьбой не оставлять их город в беде. Сулла послал туда одного из военных трибунов, Габиния, с легионом и отпустил херонейцев, которые хотели было опередить Габиния, но не смогли. Вот как благороден был этот человек: неся спасение, он превзошел усердием самих спасаемых. Юба, впрочем, говорит, что послан был не Габиний, а Эриций. Вот как близка была опасность, которой счастливо избег наш город.

17. Из Лебадии римлянам были присланы благоприятные вещания Трофония и предсказания победы. Об этом у местных жителей существует множество рассказов, а в "Воспоминаниях" самого Суллы, в десятой книге, написано, что когда Херонейское сражение было уже выиграно, к нему пришел Квинт Титий, человек отнюдь не безвестный среди тех, что вели торговые дела в Греции, и сообщил, что Трофоний предсказывает в ближайшее время и на том же месте еще одну битву и победу. После этого строевой солдат по имени Сальвиен принес от бога ответ, какой оборот примут дела в Италии. Об обличии бога оба рассказали одно и то же: он показался им прекрасным и великим, подобным Зевсу Олимпийскому.

Перейдя через Асс, Сулла расположился лагерем у подножия Гедилия против Архелая, соорудившего сильное укрепление между Аконтием и Гедилием. Место, где тот разбил свои шатры, и по сей день зовется Архелаем по его имени. Переждав один день, Сулла оставил здесь Мурену с легионом и двумя когортами, чтобы помешать врагу беспрепятственно выстроиться в боевой порядок, а сам принес у Кефиса жертвы и по окончании священнодействия двинулся к Херонее, где должен был принять стоявшее там войско и осмотреть так называемый Фурий, захваченный к тому времени врагами. Фурий – это скалистая вершина конусообразной горы, которую мы зовем Орфопагом, внизу под ним – речка Мол и храм Аполлона Фурийского. Этим именем бог называется в память о Фуро́, матери Херона, который, как передают, основал Херонею. Другие, впрочем, рассказывают, что здесь явилась Кадму корова[36], данная ему в проводники Пифийским богом, и от нее место получило такое название: словом "фор" финикийцы обозначают корову.

Когда Сулла подходил к Херонее, военный трибун, которому было поручено командование в городе, во главе вооруженных воинов вышел навстречу, неся лавровый венок. Сулла принял венок, приветствовал солдат и призвал их смело встретить опасность. После этого к нему обратились двое херонейцев – Гомолоих и Анаксидам, которые брались, получив от Суллы небольшое число солдат, выбить врагов, державших Фурий. Есть, говорили они, тропинка, неизвестная неприятелю, – от так называемого Петраха мимо святилища Муз она выведет

на Фурий, так что окажешься прямо над головой у противника; пройдя по ней, нетрудно напасть на врагов и перебить их сверху камнями или согнать на равнину. Габиний засвидетельствовал мужество и верность этих людей, и Сулла велел им взяться за дело. А сам он выстроил пехотинцев и, распределив конницу по двум крыльям, правое принял сам, а левое передал Мурене. Легаты же Гальба и Гортензий с запасными когортами поставлены были в тылу на высотах, чтобы не допустить окружения: было видно, что неприятель, укрепив одно из своих крыльев многочисленной конницей и проворной легкой пехотой, сделал его гибким и подвижным, готовясь сильно растянуть его и обойти римлян.

18. Тем временем херонейцы, во главе которых Сулла поставил Эриция, незаметно обойдя Фурий и появившись перед варварами, привели их в сильное смятение и обратили в бегство. Многие погибли от руки товарищей, ибо понеслись вниз по склону, натыкаясь на собственные копья и сталкивая друг друга со скал, а неприятель, напиравший сверху, поражал их в спину, на защищенную доспехами, так что павшие при Фурии исчисляются тремя тысячами. Из бежавших одни нашли свою гибель, встретившись с двигавшимся им наперерез Муреной, который уже выстроил своих в боевой порядок, а другие, кинувшись к своему лагерю и впопыхах налетев на фалангу, перепугали и привели в замешательство большинство солдат, военачальников же заставили потерять время, что принесло огромный вред, ибо Сулла, едва заметив смятение в рядах противника, тут же ударил и быстро преодолел расстояние, разделявшее оба войска, чем лишил силы серпоносные колесницы. Дело в том, что главное для этих колесниц – продолжительный разбег, который сообщает стремительность и мощь их прорыву сквозь неприятельские ряды, а на коротком расстоянии они бесполезны и бессильны, словно стрелы, пущенные из плохо натянутого лука. Так и вышло в тот раз у варваров, и римляне, отразив вялое нападение лениво двигавшихся первых колесниц, с рукоплесканиями и смехом потребовали новых, как они обычно делают на бегах в цирке. Затем в бой вступила пехота; варвары выставили вперед сариссы[37] и, сдвинув щиты, пытались сохранить сомкнутый строй. Но римляне побросали свои дротики и обнаженными мечами отбивали вражеские копья, стремясь, поскорее схватиться врукопашную, так как были охвачены гневом. Дело в том, что в первых рядах вражеского строя они увидели пятнадцать тысяч рабов, которых царские полководцы набрали по городам, объявили свободными и включили в число гоплитов. Какой-то римский центурион, говорят, сказал, что только на Сатурналиях[38] случалось ему видеть, чтобы рабы пользовались свободой, да и то лишь в речах. Тем не менее, благодаря глубине и плотности своего строя, рабы слишком медленно уступали напору римской тяжелой пехоты и, вопреки своей природе, стояли отважно. Только множество дротиков и зажигательных стрел, пущенных римлянами из задних рядов, обратило их в беспорядочное бегство.

19. Тогда Архелай повел правое крыло в обход, а Гортензий послал для бокового удара свои когорты, двинувшиеся беглым шагом. Но Архелай быстро повернул против него две тысячи находившихся при нем всадников, и под натиском превосходящих сил противника Гортензию пришлось отойти к склону горы, а враги мало-помалу оттесняли его от основных сил римлян и захватывали в

кольцо. Узнав об этом, Сулла бросил правое крыло, где бой еще не начался, и кинулся на помощь Гортензию. Но Архелай, догадавшись об этом перестроении по поднявшейся пыли, оставил Гортензия в покое, а сам повернул своих и устремился туда, откуда ушел Сулла, на правый фланг, чтобы в отсутствие командующего захватить римлян врасплох. В тот же миг и Мурена был атакован Таксилом с его "медными щитами", так что доносившиеся с двух сторон и отражавшиеся от окрестных гор крики остановили Суллу, который не мог решить, где его присутствие нужнее. Он принял решение вернуться на прежнее место, на помощь Мурене отправил Гортензия с четырьмя когортами, а сам, приказав пятой следовать за собой, поспешил на правый фланг, который и без него успешно выдерживал натиск Архелая. С появлением Суллы враг был полностью сломлен, разбит и бежал без оглядки, а римляне гнали беглецов до реки и горы Аконтия. Сулла не кинул в опасности и Мурену, но устремился на подмогу его воинам, а увидав, что они уже одолевают неприятеля, присоединился к преследователям. Многие из варваров погибли на равнине, но большинство было изрублено во время бегства к лагерю, так что из несметного множества их лишь десять тысяч добрались до Халкиды. Сулла не досчитался, как он сам рассказывает, четырнадцати солдат, да и из тех двое к вечеру вернулись. Поэтому на поставленных им трофеях Сулла написал имена Марса, Победы и Венеры[39] – в знак того, что своим успехом не менее обязан счастью, чем искусству и силе. Один трофей, в память о сражении на равнине, Сулла поставил там, где началось отступление воинов Архелая, бежавших до ручья Мола, а другой воздвигнут на вершине Фурия в память об окружении варваров, и греческие письмена на нем называют героев этого дела – Гомолоиха и Анаксидама.

Победу Сулла отпраздновал в Фивах, соорудив театр у Эдипова источника. Судьями на состязаниях были греки, вызванные из других городов, так как к фиванцам Сулла питал непримиримую вражду[40] и отрезал у них половину земли, посвятив ее Пифийскому и Олимпийскому богам и приказав, чтобы из доходов с этих земель были возмещены богам те деньги, которые он взял.

20. После этого Сулла, узнав, что принадлежавший к стану его противников Флакк избран консулом и плывет с войском через Ионийское море будто бы для борьбы с Митридатом, а на деле – с ним, Суллою, двинулся навстречу ему в Фессалию. Когда Сулла находился у города Мелитии, с разных сторон стали приходить вести, что в тылу у него опять действует, опустошая все на своем пути, царская армия, численностью не уступающая прежней. В Халкиду с множеством кораблей прибыл Дорилай, который привез восемьдесят тысяч отборных воинов Митридата, наилучшим образом обученных и привыкших к порядку и повиновению, тотчас вторгся в Беотию и овладел всей страной. Не взирая на сопротивление Архелая, Дорилай очень хотел принудить Суллу вступить в бой, а насчет предыдущего сражения говорил, что не без предательства, дескать, стала возможной гибель такого огромного войска. Впрочем, Сулла быстро вернулся и показал Дорилаю, что Архелай и разумен и хорошо знаком с доблестью римлян: после небольшой стычки с Суллой у Тилфоссия Дорилай сам оказался первым среди тех, кто предпочитал не решать дело битвой, но затягивая войну, вынуждать противника к напрасной потере средств и времени. Тем не менее са-

ма позиция придала решимости Архелаю, который расположился лагерем у Орхомена, ибо местность здесь предоставляла наилучшие условия для сражения тому, чья сила была в коннице. Среди всех равнин Беотии, отличающихся обширностью и красотой, лишь та, что примыкает к Орхомену, совершенно лишена деревьев и простирается до самых болот, в которых теряется река Мелан, берущая свое начало под городом орхоменцев. Это единственная из греческих рек, которая велика и судоходна в верховьях, а к летнему солнцестоянию разливается, подобно Нилу, и взращивает растения, подобные нильским – только здесь они малорослы и не приносят плодов. Но протяженность ее невелика, почти вся вода вскоре теряется в глухих болотах и лишь небольшая часть ее вливается в Кефис – как раз там, где на болоте больше всего тростника, который идет на флейты.

21. Когда обе армии стали лагерем поблизости одна от другой, Архелай расположился на отдых, а Сулла стал вести рвы с двух сторон, чтобы, если удастся, отрезать врагов от удобных для конницы мест с твердой почвой и оттеснить в болота. Враги, однако, этого не потерпели, но, получив от своих полководцев разрешение действовать, потоком хлынули на римлян и не только рассеяли тех, кого Сулла назначил на работы, но и смяли бóльшую часть выстроенного к бою войска, которое обратилось в бегство. Тогда Сулла, спрыгнув с коня и схватив знамя, сам кинулся навстречу врагам, пробиваясь сквозь толпу бегущих и крича: «Римляне, здесь, видно, найду я прекрасную смерть, а вы запомните что на вопрос: “Где предали вы своего императора?”[41] – вам придется отвечать: “При Орхомене”». Слова эти заставили бегущих повернуть, и с правого крыла на помощь Сулле подошли две когорты, во главе которых он оттеснил врага. Затем, отведя своих чуть-чуть назад и дав им позавтракать, Сулла вновь принялся рыть ров перед вражеским лагерем. Противники снова атаковали – в более строгом порядке, чем прежде. В этой стычке на правом крыле погиб, сражаясь с замечательной доблестью, пасынок Архелая Диоген, а лучники, теснимые римлянами так, что не могли натянуть лук, пытались отразить противника, сжимая в кулаке пучок стрел и действуя им наподобие меча. Наконец их загнали в лагерь, и они провели тяжелую ночь, страдая от ран и горюя о погибших. На следующий день Сулла опять подвел своих солдат к вражескому лагерю и продолжил работу. Враги высыпали во множестве, готовые к сражению, Сулла напал на них и, обратив в бегство, взял штурмом лагерь, который остальные варвары, видя поражение своих, уже не отважились защищать. Кровь убитых наполнила болота, озеро[42] было завалено трупами, и до сих пор, по прошествии почти двухсот лет, в трясине находят во множестве варварские стрелы, шлемы, обломки железных панцирей и мечи. Вот что, насколько нам известно, произошло у Херонеи и при Орхомене.

22. Между тем в Риме Цинна и Карбон чинили беззаконные насилия над знатнейшими людьми и многие бежали от тираннии, устремляясь, как в надежную гавань, в лагерь Суллы, так что недолгое время спустя вокруг него собралось подобие сената. К нему прибыла и Метелла, которая, взяв детей, с трудом выбралась из города. Она принесла Сулле весть о том, что дом и имения его сожжены недругами, и молила прийти на помощь оставшимся на родине. И вот,

когда Сулла колебался, не зная, что предпринять (он не мог оставить отечество в беде, но и уходить, бросив неоконченным столь важное начинание – войну против Митридата, не собирался), явился к нему делосский купец Архелай, который тайно привез многообещающие предложения от царского полководца Архелая. Это так обрадовало Суллу, что он поспешил встретиться с вражеским полководцем для переговоров. Встретились они у моря, близ Делия, где находится святилище Аполлона. Первым говорил Архелай; он убеждал Суллу оставить Азию и Понт и, взяв у царя деньги, триеры и сколько понадобится войска, плыть в Рим, чтобы начать войну со своими противниками. Сулла же в свою очередь советовал Архелаю не заботиться о Митридате, но воцарившись вместо него, сделаться союзником римского народа и выдать флот. А когда Архелай отверг мысль о предательстве, Сулла сказал: "Так, значит, ты, Архелай, каппадокиец и раб, или, если угодно, друг царя-варвара, не соглашаешься на постыдное дело даже ради таких великих благ, а со мною, Суллою, римским полководцем, смеешь заводить разговор о предательстве. Будто ты не тот самый Архелай, что бежал от Херонеи с горсткой солдат, уцелевших от стодвадцатитысячного войска, два дня прятался в Орхоменских болотах и завалил все дороги Беотии трупами своих людей!" После этого Архелай стал вести себя по-другому и, простершись ниц, умолял Суллу прекратить военные действия и примириться с Митридатом. Сулла согласился, предложив такие условия мира: Митридат уходит из Азии и Пафлагонии, отказывается от Вифинии в пользу Никомеда и от Каппадокии в пользу Ариобарзана, выплачивает римлянам две тысячи талантов и передает им семьдесят обитых медью кораблей с соответствующим снаряжением, Сулла же закрепляет за Митридатом все прочие владения и объявляет его союзником римлян.

23. Договорившись с Архелаем, Сулла повернул назад и через Фессалию и Македонию двинулся к Геллеспонту вместе с Архелаем, которому оказывал все знаки уважения. Когда близ Лариссы Архелай опасно заболел, Сулла, прервав поход, заботился о нем, как об одном из собственных полководцев. Это внушало подозрения, что Херонейская битва не была честной. К тому же Сулла, отпустив из плена захваченных им друзей Митридата, лишь тиранна Аристиона, который был врагом Архелая, умертвил ядом. Наконец, что всего важнее, Сулла подарил Архелаю десять тысяч плефров земли на Эвбее и объявил его другом и союзником римского народа. Во всяком случае сам Сулла в своих "Воспоминаниях" защищает себя от таких обвинений.

Вскоре прибыли послы от Митридата и сообщили, что он принимает все условия, но просит, чтобы у него не отбирали Пафлагонию, и с требованием о выдаче флота решительно не согласен. "Что вы говорите? – отвечал в гневе Сулла. – Митридат притязает на Пафлагонию и спорит о флоте? А я-то думал, что он поклонится мне в ноги, если я оставлю ему правую его руку, которою он погубил столько римлян?[43] Но погодите, скоро я переправлюсь в Азию, и тогда он заговорит по-другому, а то сидит в Пергаме и отдает последние распоряжения в войне, которой и в глаза не видал!" Послы, напуганные, замолчали, Архелай же принялся умолять Суллу и старался смягчить его гнев, взяв его за правую руку и проливая слезы. Наконец он уговорил Суллу, чтобы тот послал к Митридату

его самого: он-де добьется мира на тех условиях, каких хочет Сулла, а если не убедит царя, то покончит с собой. С тем Сулла его и отправил, а сам, вторгшись в страну медов и сильно опустошив ее, опять повернул в Македонию. Подле Филипп его поджидал Архелай с вестью, что все улажено и что Митридат очень просит Суллу встретиться с ним для переговоров. Главной причиной тому был Фимбрия, который, умертвив Флакка – консула, принадлежавшего к противникам Суллы, и победив Митридатовых полководцев, шел теперь на самого царя. Страшась его, Митридат предпочел добиваться дружбы Суллы.

24. Итак, встреча состоялась в Дардане, что в Троаде. Митридата сопровождали двести военных кораблей, двадцать тысяч гоплитов, шесть тысяч всадников и множество серпоносных колесниц, Суллу – четыре когорты пехоты и двести всадников. Митридат вышел навстречу Сулле и протянул ему руку, но тот начал с вопроса, прекратит ли он войну на условиях, которые согласованы с Архелаем. Царь отвечал молчанием, которое Сулла прервал словами: "Просители говорят первыми – молчать могут победители". Тогда Митридат, защищаясь, начал речь о войне, пытаясь одно приписать воле богов, а за другое возложить вину на самих римлян. Тут Сулла, перебив его, сказал, что он давно слыхал от других, а теперь и сам видит, сколь силен Митридат в красноречии: ведь даже держа речь о таких подлых и беззаконных делах, он без всякого труда находит для них благовидные объяснения. Изобличив царя в совершенных им жестокостях и высказав свои обвинения, Сулла еще раз спросил, выполнит ли Митридат условия, договоренность о которых была достигнута через Архелая. Царь ответил, что выполнит, и только тогда Сулла приветствовал его и, обняв, поцеловал, а затем подвел к нему царей Ариобарзана и Никомеда и примирил его с ними. Наконец, передав Сулле семьдесят кораблей и пятьсот лучников, Митридат отплыл в Понт. Сулла чувствовал, что его воины возмущены мирным соглашением, ибо они считали для себя страшным позором то, что ненавистнейший из царей, по приказу которого в один день перерезаны сто пятьдесят тысяч живших в Азии римлян, беспрепятственно отплывает из Азии, с богатой добычей, взятой в этой стране, которую он в течение четырех лет не переставал грабить и облагать поборами. Поэтому Сулла стал оправдываться перед ними, говоря, что если бы Фимбрия и Митридат объединились против него, то воевать сразу с обоими было бы ему не по силам.

25. Выступив против Фимбрии, который стоял лагерем у Фиатир, Сулла остановился поблизости и стал обводить его лагерь рвом. Воины Фимбрии, выходя за частокол в одних туниках, приветствовали солдат Суллы и принимались усердно помогать им в работе. Сам Фимбрия, убедившись в измене и боясь Суллы, в котором видел непримиримого врага, покончил самоубийством в собственном лагере.

Азию же Сулла покарал[44] общим штрафом в двадцать тысяч талантов, а кроме того, наглым вымогательством размещенных на постой солдат разорил чуть не каждый частный дом. Было указано, что домохозяин обязан ежедневно выдавать своему постояльцу по четыре тетрадрахмы и кормить обедом его самого и его друзей, сколько бы тому ни вздумалось привести, а центурион получал пятьдесят драхм в день и одежду – отдельно для дома и для улицы.

26. Сулла отплыл из Эфеса со всеми кораблями и на третий день вошел в гавань Пирея. Его посвятили в таинства[45], и он забрал себе библиотеку теосца Апелликона, в которой были почти все сочинения Аристотеля и Феофраста, тогда еще мало кому известные. Когда библиотека была доставлена в Рим, грамматик Тираннион, как рассказывают, многое привел в порядок, а родосец Андроник, получив от Тиранниона копии привезенных книг, обнародовал их и составил указатели, которыми пользуются и поныне. Старшие же перипатетики сами по себе были, видимо, людьми умными и учеными, но из сочинений Аристотеля и Феофраста знали, кажется, немногое, и то не слишком хорошо, потому что наследство скепсийца Нелея, которому Феофраст оставил свои книги, досталось людям невежественным и безразличным к науке.

Сулла находился в Афинах, когда его стало мучить болезненное оцепенение и тяжесть в ногах – то, что Страбон[46] называет "детским лепетом подагры". Перебравшись из-за этого в Эдепс[47], он лечился теплыми водами и развлекался, проводя время в обществе актеров. Раз, когда он прогуливался по берегу моря, какие-то рыбаки поднесли ему несколько великолепных рыб. Узнав, что рыбаки из Галеи, Сулла, обрадованный подарком, спросил: "Так кто-то из галейцев еще жив?" (Преследуя врага после победы при Орхомене, Сулла разрушил сразу три беотийских города – Анфедон, Ларимну и Галеи.) У рыбаков от ужаса отнялся язык, но Сулла, улыбнувшись, разрешил им удалиться, не страшась за будущее: дескать, заступники, с которыми они к нему пришли, неплохи и заслуживают внимания. Говорят, что после этого галейцы, осмелев, вернулись в свой город.

27. А Сулла, спустившись через Фессалию и Македонию к морю, готовился на тысяче двухстах кораблях переправиться из Диррахия в Брундизий. Невдалеке от Диррахия расположена Аполлония, а с нею рядом Нимфей – священное место, где в горах, среди зелени лесов и лугов, бьют источники неугасимого огня. Рассказывают, что здесь поймали спящего сатира, такого, каких изображают ваятели и живописцы. Его привели к Сулле и, призвав многочисленных переводчиков, стали расспрашивать, кто он такой. Но он не произнес ничего вразумительного, а только испустил грубый крик, более всего напоминавший смесь конского ржания с козлиным блеянием. Напуганный Сулла велел прогнать его с глаз долой.

Собираясь перевезти воинов через море, Сулла боялся, как бы, достигнув Италии, они не разбрелись по своим городам[48]. Но они по собственному почину принесли клятву не расходиться и самовольно не чинить в Италии никаких насилий, а затем, видя, что Сулла нуждается в больших деньгах, устроили сбор пожертвований и вносили каждый по своим возможностям. Сулла, правда, не принял пожертвований, но похвалил своих людей за усердие, и ободрил их, а затем, как он сам рассказывает, приступил к переправе, чтобы выступить против пятнадцати неприятельских полководцев, располагавших четырьмястами пятьюдесятью когортами[49]. Божество недвусмысленно возвестило ему удачу, ибо, когда, только что переправившись, он совершал близ Тарента жертвоприношение, на печени жертвенного животного увидели очертания лаврового венка с двумя лентами. А незадолго до переправы близ горы Тифаты[50] в Кампании средь бела

дня появились два огромных козла; они дрались, воспроизводя все движения людей в бою. Но то было лишь видение: мало-помалу поднимаясь от земли, оно расплылось в воздухе, подобно неясным теням, и, наконец, исчезло. Спустя недолгое время на этом самом месте, куда Марий-младший и консул Норбан привели большие силы, Сулла, даже не выстроив и не разделив войско на отряды, но положившись на всеобщее воодушевление и единодушный порыв отваги, обратил врагов в бегство и, перебив семь тысяч, загнал Норбана в город Капую. Это, по словам Суллы[51], и послужило причиной тому, что воины его не разошлись по городам, но остались в строю и исполнились презрения к противнику, гораздо более многочисленному. В Сильвии, рассказывает Сулла, повстречался ему раб некоего Понтия, одержимый божественным наитием, и сказал, что его устами Беллона возвещает Сулле успех и победу в этой войне, но, если Сулла не поторопится, сгорит Капитолий, что и случилось в предсказанный рабом день, а именно, накануне квинтильских (или, как мы теперь их называем, июльских) нон[52].

А вот, что произошло с Марком Лукуллом, одним из полководцев Суллы. Он стоял у Фидентии с шестнадцатью когортами против пятидесяти когорт противника, и хотя видел боевой пыл своих воинов, не решался начать сражение, так как многие из его людей были безоружны. Пока он медлил и раздумывал, подул мягкий, ласковый ветерок и осыпал войско дождем цветов, принесенных с соседнего луга, и цветы сами собою так легли на щиты и шлемы воинов, что врагам показалось, будто бы это венки. Воодушевленные этим, воины Лукулла начали сражение и, перебив восемнадцать тысяч, захватили неприятельский лагерь. Этот Лукулл приходился братом тому, который впоследствии победил Митридата и Тиграна.

28. Все еще видя себя окруженным многочисленными лагерями и значительными силами противника, а потому действуя как оружием, так и хитростью, Сулла пригласил к себе для мирных переговоров второго консула – Сципиона. Тот принял его приглашение, начались встречи и совещания, но Сулла, постоянно находя новые предлоги, все откладывал окончательное решение, а тем временем разлагал солдат Сципиона с помощью собственных воинов, которые были столь же искусны во всякого рода хитростях и кознях, как и сам их полководец. Они приходили в лагерь к неприятелям и, оказываясь среди них, одних сразу сманивали деньгами, других обещаниями, третьих лестью и уговорами. Наконец Сулла с двадцатью когортами подошел вплотную к лагерю Сципиона. Солдаты Суллы приветствовали солдат Сципиона, а те ответили на приветствие и присоединились к ним. Покинутый Сципион был схвачен в своей палатке, но отпущен, а Сулла, который, как на подсадных птиц, приманил на свои двадцать когорт сорок неприятельских, увел всех в свой лагерь. Вот почему Карбон, говорят, сказал, что, воюя с жившими в душе Суллы лисицей и львом, он больше терпел от лисицы.

После этого при Сигнии Марий, у которого было восемьдесят пять когорт, стал вызывать Суллу на бой. Сулла и сам жаждал сражения именно в этот день, потому что увидел такой сон: приснилось ему, что старик Марий, уже давно умерший, советует Марию, своему сыну, остерегаться наступающего дня, кото-

рый-де несет ему тяжкую неудачу. Поэтому Сулла жаждал боя и послал за Долабеллой, чей лагерь находился поодаль. Но так как дороги были заняты врагами, преграждавшими путь Сулле, солдаты его, с боем прокладывая себе дорогу, устали, а заставший их за этими трудами ливень измучил их окончательно. Центурионы подошли к Сулле и указали ему на солдат, которые, не держась на ногах от усталости, отдыхали на земле, подложив под себя щиты, и просили отложить сражение. Но когда Сулла нехотя согласился, а солдаты стали насыпать вал для лагеря и рыть ров, на них напал Марий. Гордо скакал он перед строем, надеясь, что рассеет войско, в котором царит замешательство и беспорядок. И тут волею божества совершилось то, о чем Сулла слышал во сне. Гнев овладел его солдатами и, бросив работу и воткнув свои копья в землю подле рва, они выхватили мечи и вступили в рукопашный бой с противниками. Те долго не продержались, но обратились в бегство, и множество их было убито. Марий бежал в Пренесту, но нашел ворота уже запертыми. Он обвязался спущенною ему веревкой и был поднят на стену. Некоторые (в их числе и Фенестелла) говорят, что Марий и не заметил, как началось сражение: отдав все распоряжения, измученный бессонницей и усталый, он прилег на землю и заснул где-то в тени; лишь потом, когда началось бегство, его с трудом разбудили. В этом сражении Сулла, говорят, потерял только двадцать три человека, а врагов перебил двадцать тысяч. Столь же успешны были действия его полководцев – Помпея, Красса, Метелла, Сервилия. Не потерпев почти ни одной неудачи, – разве что самые незначительные, – они сокрушили большие силы врагов, так что глава стана противников, Карбон, ночью сбежал от собственного войска и отплыл в Африку.

29. Но в последнем сражении самниту Телезину, который напал на Суллу, как запасной борец на утомленного атлета, едва не удалось разбить и уничтожить его у самых ворот Рима. Дело было так. Собрав большой отряд, Телезин вместе с луканцем Лампонием спешил к Пренесте, чтобы освободить от осады Мария, но тут узнал, что навстречу ему уже движется Сулла, а с тыла подходит Помпей. Ни вперед, ни назад пути не было, и Телезин, опытный воин, испытанный в тяжелых боях, снявшись ночью с лагеря, тронулся со всеми войсками прямо к Риму. Еще немного – и он ворвался бы в беззащитный город. Но, не доходя десяти стадиев до Коллинских ворот[53], Телезин, высоко занесясь в своих надеждах и гордясь тем, что столько полководцев (и каких!) стали жертвами его хитрости, сделал привал. С рассветом против него выступил конный отряд, составленный из знатнейших юношей города. Многие из них были убиты и среди других благородный и прекрасный человек Аппий Клавдий. В городе началось обычное в таких случаях смятение – крики женщин, беспорядочная беготня, как будто он был уже взят приступом, и тут римляне увидели Бальба: гоня во весь опор, он прискакал от Суллы с семьюстами всадников. Остановившись ненадолго, чтобы дать передышку взмыленным коням, он приказал поскорее взнуздать их снова и напал на противника. Тем временем появился и сам Сулла. Он велел своим передовым, не теряя времени, завтракать и принялся строить боевую линию. Долабелла и Торкват упрашивали его подождать, не идти с усталыми солдатами на крайне рискованное дело (ведь не с Карбоном и Марием предстояло

им сражаться, а с самнитами и луканцами, самыми лютыми врагами Рима и самыми воинственными племенами), но он не внял их просьбам и распорядился протрубить сигнал к нападению, хотя уже перевалило за девятый час дня[54]. Началось сражение, каких дотоле не бывало. На правом крыле, куда был поставлен Красс, дела шли блестяще и римляне побеждали, но левому приходилось худо, и Сулла кинулся туда на выручку. Под ним был белый конь, горячий и очень резвый, – по этому-то коню узнали его двое из врагов и направили на него свои копья. Сам Сулла этого не заметил, но его конюх успел хлестнуть коня и заставить его отскочить как раз настолько, чтобы копья воткнулись в землю у самого хвоста. Рассказывают, что у Суллы было золотое изваяньице Аполлона, вывезенное из Дельф, которое он в сражениях всегда носил спрятанным на груди, а в этот раз, целуя его, обратился к нему со словами: "О Аполлон Пифийский, ты, кто в стольких сражениях прославил и возвеличил счастливого Суллу Корнелия, кто довел его до ворот родного города, неужели ты бросишь его теперь вместе с согражданами на позорную гибель?". Воззвав в таких словах к богу, Сулла, как рассказывают, принялся одних умолять, другим угрожать, третьих стыдить. Наконец, когда левое крыло все же было разбито, он, смешавшись с бегущими, укрылся в лагере, потеряв много товарищей и близких. Немало римлян, которые вышли поглядеть на сражение, тоже нашли свою гибель под копытами лошадей, так что с городом, казалось, было уже покончено, и немногого не доставало, чтобы Марий освободился от осады. Многие из беглецов кинулись к Пренесте и советовали Лукрецию Офелле, оставленному для руководства осадой, немедля сниматься с лагеря, так как Сулла-де погиб и Рим в руках неприятеля.

30. Но уже глубокой ночью в лагерь Суллы прибыли люди Красса за продовольствием для него и его воинов, которые после одержанной победы преследовали врагов до самой Антемны[55], и там же расположились лагерем. Выслушав это известие и узнав, что бóльшая часть врагов погибла, Сулла с рассветом пришел к Антемне. Три тысячи неприятелей прислали к нему вестника с просьбой о пощаде, и Сулла обещал им безопасность, если они явятся к нему, прежде нанеся ущерб остальным его врагам. Те поверили, напали на своих, и многие с обеих сторон полегли от рук недавних товарищей. Однако всех уцелевших, как из нападавших, так и из защищавшихся, всего около шести тысяч, Сулла собрал у цирка[56], а сам созвал сенаторов на заседание в храм Беллоны. И в то самое время, когда Сулла начал говорить, отряженные им люди принялись за избиение этих шести тысяч. Жертвы, которых было так много и которых резали в страшной тесноте, разумеется, подняли отчаянный крик. Сенаторы были потрясены, но уже державший речь Сулла, нисколько не изменившись в лице, сказал им, что требует внимания к своим словам, а то, что происходит снаружи, их не касается: там-де по его повелению вразумляют кое-кого из негодяев.

Тут уж и самому недогадливому из римлян стало ясно, что произошла смета тираннов, и не падение тираннии. Марий с самого начала был крутого нрава, и власть лишь усугубила его прирожденную свирепость, а не изменила его естество. Сулла же, напротив, вкусив счастья, сперва вел себя умеренно и просто, его стали считать и вождем знати и благодетелем народа, к тому же он с молодых

лет был смешлив и столь жалостлив, что легко давал волю слезам. Он по справедливости навлек на великую власть обвинение в том, что она не дает человеку сохранить свой прежний нрав, но делает его непостоянным, высокомерным и бесчеловечным. В чем тут причина: счастье ли колеблет и меняет человеческую природу или, что вернее, полновластье делает явными глубоко спрятанные пороки, – это следовало бы рассмотреть в другом сочинении.

31. Теперь Сулла занялся убийствами, кровавым делам в городе не было ни числа, ни предела, и многие, у кого и дел-то с Сулллой никаких не было, были уничтожены личными врагами, потому что, угождая своим приверженцам, он охотно разрешал им эти бесчинства. Наконец, один из молодых людей, Гай Метелл, отважился спросить в сенате у Суллы, чем кончится это бедствие и как далеко оно должно зайти, чтобы можно стало ждать прекращения того, что теперь творится. "Ведь мы просим у тебя, – сказал он, – не избавления от кары для тех, кого ты решил уничтожить, но избавления от неизвестности для тех, кого ты решил оставить в живых". На возражение Суллы, что он-де еще не решил, кого прощает, Метелл ответил: "Ну так объяви, кого ты решил покарать". И Сулла обещал сделать это. Некоторые, правда, приписывают эти слова не Метеллу, а какому-то Фуфидию, одному из окружавших Суллу льстецов. Не посоветовавшись ни с кем из должностных лиц, Сулла тотчас составил список[57] из восьмидесяти имен. Несмотря на всеобщее недовольство, спустя день он включил в список еще двести двадцать человек, а на третий – опять по меньшей мере столько же. Выступив по этому поводу с речью перед народом, Сулла сказал, что он переписал тех, кого ему удалось вспомнить, а те, кого он сейчас запамятовал, будут внесены в список в следующий раз. Тех, кто принял у себя или спас осужденного, Сулла тоже осудил, карой за человеколюбие назначив смерть и не делая исключения ни для брата, ни для сына, ни для отца. Зато тому, кто умертвит осужденного, он назначил награду за убийство – два таланта, даже если раб убьет господина, даже если сын – отца. Но самым несправедливым было постановление о том, что гражданской чести лишаются и сыновья и внуки осужденных, а их имущество подлежит конфискации. Списки составлялись не в одном Риме, но в каждом городе Италии. И не остались не запятнанными убийством ни храм бога, ни очаг гостеприимца, ни отчий дом. Мужей резали на глазах жен, детей – на глазах матерей. Павших жертвою гнева и вражды было ничтожно мало по сравнению с теми, кто был убит из-за денег, да и сами каратели, случалось, признавались, что такого-то погубил его большой дом, другого – сад, а иногда – теплые воды. Квинт Аврелий, человек, чуждавшийся государственных дел, полагал, что беда касается его лишь постольку, поскольку он сострадает несчастным. Придя на форум, он стал читать список и, найдя там свое имя, промолвил: "Горе мне! За мною гонится мое альбанское имение"[58]. Он не ушел далеко, кто-то бросился следом и прирезал его.

32. Тем временем Марий-младший, чтобы избежать плена, покончил с собой. Сулла прибыл в Пренесту и приступил к расправе: сперва он выносил приговор каждому в отдельности, а затем, не желая тратить времени, распорядился всех пренестинцев (их было двенадцать тысяч) собрать вместе и перерезать. Он подарил прощение лишь хозяину дома, где остановился. Но тот, с большим благо-

родством сказав Сулле, что никогда не захочет быть благодарным за спасение своей жизни палачу родного города, постарался затеряться среди сограждан и добровольно погиб вместе с ними. Самым неслыханным, однако, был, видимо, случай с Луцием Катилиной. Еще до того, как положение в государстве определилось, он убил своего брата, а теперь просил Суллу внести убитого в список, словно живого, что и было сделано. В благодарность за это Катилина убил некоего Марка Мария, человека из стана противников Суллы. Голову его он поднес сидевшему на форуме Сулле, а сам подошел к находившемуся поблизости храму Аполлона[59] и умыл руки в священной кропильнице.

33. Но, не говоря об убийствах, и остальные поступки Суллы тоже никого не радовали. Он провозгласил себя диктатором, по прошествии ста двадцати лет[60] восстановив эту должность. Было постановлено, что он не несет никакой ответственности за все происшедшее, а на будущее получает полную власть карать смертью, лишать имущества, выводить колонии, основывать и разрушать города, отбирать царства и жаловать их, кому вздумается.

Сидя на своем кресле, он с таким высокомерным самоуправством проводил распродажи конфискованных имуществ, что, отдавая их почти задаром, вызывал еще большее озлобление, чем отбирая, так как красивым женщинам, певцам, мимическим актерам и подонкам из вольноотпущенников он жаловал земли целых народов и доходы целых городов, а иным из своих приближенных – даже жен, совсем не жаждавших такого брака. Так было с Помпеем Великим: желая с ним породниться, Сулла предписал ему дать прежней жене развод, а в дом его ввел дочь Скавра и своей жены Метеллы, Эмилию, которую беременной разлучил с Манием Глабрионом. У Помпея она и умерла от родов.

Лукреций Офелла, тот, что успешно осаждал Мария в Пренесте, стал домогаться консульства и выступил соискателем. Сулла сперва старался не допустить этого. Но, когда Офелла, пользуясь поддержкой толпы, ворвался на форум, Сулла послал одного из своих центурионов зарезать его, а сам, сидя на своем кресле в храме Диоскуров, с высоты наблюдал за убийством. Люди схватили центуриона и привели его к креслу Суллы, но тот велел возмущенным замолчать и сказал, что так распорядился он сам, а центуриона приказал отпустить.

34. Захваченная у Митридата добыча, великолепная и дотоле невиданная, придавала триумфу Суллы особую пышность, но еще более ценным украшением триумфа и поистине прекрасным зрелищем были изгнанники. Самые знатные и могущественные из граждан, увенчанные, сопровождали Суллу, величая его спасителем и отцом, потому что и вправду благодаря ему вернулись они на родину, привезли домой детей и жен.

Когда торжество уже было закончено, Сулла, выступив перед народом, стал перечислять свои деяния, подсчитывая свои удачи с не меньшим тщанием, чем подвиги, и в заключение повелел именовать себя Счастливым – именно таков должен быть самый точный перевод слова "Феликс" [Felix]. Сам он, впрочем, переписываясь и ведя дела с греками, называл себя Любимцем Афродиты. И на трофеях его в нашей земле написано: "Луций Корнелий Сулла Любимец Афродиты". А когда Метелла родила двойню, он назвал мальчика Фавстом, а девочку Фавстой, потому что у римлян слово "фавстон" [faustum] значит "счастли-

вое", "радостное". И настолько вера Суллы в свое счастье превосходила веру его в свое дело, что после того, как такое множество людей было им перебито, после того, как в городе произошли такие перемены и преобразования, он сложил с себя власть и предоставил народу распоряжаться консульскими выборами, а сам не принял в них участия, но присутствовал на форуме как частное лицо, показывая свою готовность дать отчет любому, кто захочет. К неудовольствию Суллы, наиболее вероятным было избрание в консулы Марка Лепида. Этот дерзкий человек и недруг Суллы достиг такого успеха не собственными силами, а с помощью Помпея, который пользовался расположением народа и просил за Лепида. Поэтому Сулла, увидал идущего с выборов Помпея, который радовался своей победе, подозвал его и сказал: "Как хорошо, мальчик, разобрался ты в государственных делах, проведя на должность Лепида впереди Катула[61], человека шального впереди достойного. Теперь уж тебе не спать спокойно – ты сам создал себе соперника". Эти слова оказались как бы пророческими. Вскоре Лепид, преисполнившись гордыней, начал войну против Помпея.

35. Пожертвовав Геркулесу[62] десятую часть своего имущества, Сулла с большой расточительностью стал задавать игры для народа. Излишек заготовленных припасов был так велик, что каждый день много еды вываливали в реку, а вино пили сорокалетнее и еще более старое. В разгар этого затянувшегося на много дней пиршества заболела и умерла Метелла. Сулла, которому жрецы не разрешали ни подходить к умирающей, ни осквернять свой дом похоронами[63], написал Метелле разводное письмо и велел, пока она еще жива, перенести ее в другой дом. Так из суеверного страха Сулла неукоснительно исполнил все предусмотренное обычаями, но, не поскупившись в затратах на похороны, он преступил закон об ограничении расходов на погребение, внесенный им самим. Преступал он и собственные постановления об умеренности в еде, стремясь рассеять свою печаль в попойках и пирушках, лакомясь изысканными кушаньями и слушая болтовню шутов. Несколько месяцев спустя на гладиаторских играх – в ту пору места в театре еще не были разделены и женщины сидели вперемешку с мужчинами – случайно поблизости от Суллы села женщина по имени Валерия, красивая и знатная родом (она приходилась дочерью Мессале и сестрою оратору Гортензию[64]), недавно разведенная с мужем. Проходя мимо Суллы, за его спиною, она, протянув руку, вытащила шерстинку из его тоги и проследовала на свое место. На удивленный взгляд Суллы Валерия ответила: "Да ничего особенного, император, просто и я хочу для себя малой доли твоего счастья". Сулле приятно было это слышать, и он явно не остался равнодушен, потому что через подосланных людей разузнал об имени этой женщины, выведал, кто она родом и как живет. После этого пошли у них перемигивания, переглядывания, улыбки, и все кончилось сговором и браком. Валерии все это, быть может, и не в укор, но Суллу к этому браку – пусть с безупречно целомудренной и благородною женщиной – привели чувства отнюдь не прекрасные и не безупречные; как юнец, он был покорен смелыми взглядами и заигрываниями – тем, что обычно порождает самые позорные и разнузданные страсти.

36. Впрочем, и поселив Валерию в своем доме, он не отказался от общества актрис, актеров и кифаристок. С самого утра он пьянствовал с ними, валяясь на

ложах. Ведь кто в те дни имел над ним власть? Прежде всего комический актер Росций, первый мим Сорик и изображавший на сцене женщин Метробий, которого Сулла, не скрываясь, любил до конца своих дней, хотя тот и постарел.

Все это питало болезнь Суллы, которая долгое время не давала о себе знать, – он вначале и не подозревал, что внутренности его поражены язвами. От этого вся его плоть сгнила, превратившись во вшей, и хотя их обирали день и ночь (чем были заняты многие прислужники), все-таки удалить удавалось лишь ничтожную часть вновь появлявшихся. Вся одежда Суллы, ванна, в которой он купался, вода, которой он умывал руки, вся его еда оказывались запакощены этой пагубой, этим неиссякаемым потоком – вот до чего дошло. По многу раз на дню погружался он в воду, обмывая и очищая свое тело. Но ничто не помогало. Справиться с перерождением из-за быстроты его было невозможно, и тьма насекомых делала тщетными все средства и старания.

Говорят, что в далекой древности вшивая болезнь[65] погубила Акаста, сына Пелия, а позднее поэта и певца Алкмана, богослова Ферекида, Каллисфена Олинфского, брошенного в темницу, а также юриста Муция. Если же сюда добавить и тех, кто не прославился ничем полезным, но все же приобрел известность, то упомянем и беглого раба по имени Эвн, который начал рабскую войну в Сицилии; пойманный и привезенный в Рим, он умер от вшивой болезни.

37. Сулла не только предчувствовал свою кончину, но даже писал о ней. За два дня до смерти он завершил двадцать вторую книгу “Воспоминаний”, где говорит, будто халдеи предсказали ему, что, прожив прекрасную жизнь, он умрет на вершине счастья. Там же Сулла рассказывает, что ему явился во сне его сын, умерший немного раньше Метеллы. Дурно одетый, он, стоя у ложа, просил отца отрешиться от забот, уйти вместе с ним к матери, Метелле, и жить с нею в тишине и покое. Однако Сулла не оставил занятий государственными делами. Так, за десять дней до кончины он установил в Дикеархии[66] мир между враждовавшими сторонами и на будущее написал для ее жителей закон об управлении городом. А за день до кончины ему стало известно, что Граний, занимавший одну из высших должностей в городе, ожидая смерти Суллы, не возвращает казне денег, которые задолжал. Сулла вызвал его к себе в опочивальню, и, окружив своими слугами, велел удавить. От крика и судорог у Суллы прорвался гнойник, и его обильно вырвало кровью. После этого силы покинули его, и, проведя тяжелую ночь, он умер, оставив после себя двоих еще несмышленых детей от Метеллы. Валерия после его смерти родила дочку, которую назвали Постумой. Такое имя римляне дают тем, кто появляется на свет после смерти отца.

38. Многие поднялись и сплотились вокруг Лепида, чтобы лишить тело Суллы подобающего погребения. Но Помпей, хотя и был недоволен Суллой (из своих друзей тот обошел в завещании его одного), преодолел сопротивление одних просьбами и обходительными речами, на других воздействовал угрозами и, доставив тело в Рим, дал возможность похоронить его без помех и с почестями. Рассказывают, что женщины принесли Сулле столько благовоний, что они заняли двести десять носилок, а кроме того, из драгоценного ладана и киннамона было изготовлено большое изображение самого Суллы и изображение ликтора. День с утра выдался пасмурный, ждали дождя, и погребальная процессия

тронулась только в девятом часу. Но сильный ветер раздул костер, вспыхнуло жаркое пламя, которое охватило труп целиком. Когда костер уже угасал и огня почти не осталось, хлынул ливень, не прекращавшийся до самой ночи, так что счастье, можно сказать, не покинуло Суллу даже на похоронах.

Надгробный памятник Сулле стоит на Марсовом поле[67]. Надпись для него, говорят, написана и оставлена им самим. Смысл ее тот, что никто не сделал больше добра друзьям и зла врагам, чем Сулла.



[*Сопоставление*]

39(1). Теперь, когда жизнь Суллы тоже рассказана нами, приступим к сопоставлению. Так вот, оба они, и Лисандр и Сулла, сходным образом достигли величия, сами положив начало своему возвышению, но только Лисандр получал должности по доброй воле граждан правильно устроенного государства, ничего не домогаясь насилием, вопреки их желанию, и не основывал свое могущество на нарушении законов.

Часто при распрях почет достается в удел негодяю[68].

Именно так в Риме в те времена, при полной развращенности народа и болезненном расстройстве государственной жизни, появляется то один, то другой могущественный властитель, и нет ничего удивительного в том, что Сулла пришел к власти, если Главции и Сатурнины изгоняли из города Метеллов, если в Народном собрании убивали консульских сыновей, если чуть что брались за оружие, серебром и золотом подкупая воинов, огнем и мечом устанавливая законы, силой подавляя несогласных. Я не обвиняю того, кто при таких обстоятельствах достиг высшей власти, но не считаю, что когда дела в государстве так плохи, стать первым – значит быть лучшим. Напротив, Лисандр, которого Спарта, где царили тогда порядок и благоразумие, отправляла предводителем в самые важные походы и поручала ему самые важные дела, почитался едва ли не лучшим из лучших и первым из первых. Поэтому он не раз возвращал свою власть гражданам и не раз получал ее вновь, ведь честь, воздававшаяся его доблести и обеспечивавшая ему первенство, всегда оставалась при нем. А Сулла, раз только поставленный над войском, десять лет подряд не выпускал из рук оружия, назначая себя то консулом, то проконсулом, то диктатором и всегда оставаясь тираном.

40(2). И Лисандр, правда, как было сказано, намеревался изменить государственный строй, но более мягкими и законными способами, чем Сулла, воздействуя убеждением, а не силой оружия, и не опрокидывая все разом, как тот, а изменив к лучшему самый порядок поставления царей; впрочем, и естественная

справедливость, казалось, требовала, чтобы городом, стоявшим во главе Эллады, правил лучший из лучших в силу высоких нравственных качеств, а не родовитости. Ведь и охотник ищет собаку, а не щенков от той или иной суки, и всадник – коня, а не потомство от той или иной кобылы (а что как от кобылы родится мул?). Точно так же и для государственного мужа самой большой ошибкой будет думать не о том, чтó за человек правитель, а о том, от кого он происходит. Спартанцы и сами лишали власти иных царей за то, что те были не настоящими царями, а жалкими ничтожествами. А если порок заслуживает презрения невзирая на знатность рода, то не в силу благородства происхождения, а сама по себе почтенна добродетель.

Далее, один бывал несправедлив ради друзей, а другой – и к друзьям. Лисандр, по общему мнению, больше всего дурных поступков совершил из-за друзей и больше всего убийств – чтобы утвердить их господство и тираническую власть. Сулла же и у Помпея[69], завидуя ему, отобрал войско, и у Долабеллы, сперва поручив ему флот, пытался потом отнять командование, и Лукреция Офеллу, который за многие и важные свои заслуги хотел получить консульство, приказал зарезать у себя на глазах. Так, уничтожая самых близких себе людей, Сулла заставлял всех смотреть на него со страхом и трепетом.

41(3). Различное отношение Лисандра и Суллы к наслаждениям и деньгам еще яснее показывает, что один предпочитал действовать, как подлинный правитель, а другой – как тиранн. Первый при всей своей неограниченной власти и могуществе ни разу, кажется, не позволил себе никакой распущенности, ни одной мальчишеской выходки, и уж если к кому из спартанцев не приложима поговорка

Хоть дома львы, да в поле лисы хитрые[70],

так это к нему – настолько скромно, воздержно, истинно по-лаконски вел он себя повсюду. А желания Суллы не умерялись ни бедностью в юности, ни возрастом в старости, и, как говорит Саллюстий[71], он, вводя для сограждан законы о браке и умеренности, сам предавался сластолюбию и распутству. Этим Сулла настолько истощил и опустошил государственную казну, что стал за деньги продавать союзным и дружественным городам свободу и самоуправление, хотя каждый день конфисковывал и назначал к торгам имущество самых богатых и знатных домов. Но никакого счета не было тому, что он расточал на льстецов. Да и можно ли было ждать, чтобы в тесном кругу, за вином и развлечениями, оказался хоть мало-мальски расчетливым и бережливым тот, кто однажды, в присутствии целой толпы народа продавая большое имение, нисколько не таясь, приказал отдать его одному из своих друзей за первую же цену, которую тот назвал, а когда кто-то другой предложил больше и глашатай объявил о надбавке, разгневался и сказал: "Друзья-сограждане, меня притесняют жестоко и тираннически! Неужели мне не позволено распоряжаться моей добычей, как я хочу?" Лисандр же, напротив, даже поднесенные лично ему подарки вместе со всем прочим добром отослал согражданам. Поступок этот я, кстати сказать, не одобряю, потому что равный вред нанесли своим городам и Лисандр, который добывал деньги для Спарты, и Сулла, который грабил Рим, но хочу о нем упомянуть,

ибо он показывает, что человек этот был чужд корыстолюбия. В том, что касалось родного города, у каждого из них была своя беда. Сулла наставлял сограждан в умеренности, сам будучи невоздержан и расточителен, а Лисандр населил свой город страстями, от которых сам был свободен; стало быть, вина одного в том, что он сам был хуже собственных законов, а другого в том, что он делал сограждан хуже, чем был сам. Да, ибо Лисандр научил Спарту чувствовать нужду в том, в чем сам умел нужды не чувствовать. Вот каковы они были в делах гражданских.

42(4). Что же до дел военных, до битв, успехов полководца, грозных опасностей и числа воздвигнутых трофеев, то здесь Лисандр вообще не выдерживает сравнения с Суллой. Правда, Лисандр одержал две победы в двух морских сражениях. Прибавим сюда осаду Афин – дело само по себе не столь уж великое, но превознесенное молвой. То, что случилось в Беотии при Галиарте, произошло, быть может, из-за неудачного стечения обстоятельств, но скорее из-за нерасчетливости: Лисандр не стал ждать большого войска во главе с царем, которое вот-вот должно было прийти из Платей, но в гневе, побуждаемый честолюбием, не вовремя бросился к стене и пал совершенно бессмысленно в результате случайной вылазки врагов. Не отбиваясь от могучего противника, как Клеомброт при Левктрах, не тесня отступающих и тем упрочивая свою победу, как Кир или Эпаминонд[72], получил Лисандр смертельный удар. И если те умерли смертью царей и полководцев, то Лисандр пожертвовал собою без славы, погибнув подобно простому пехотинцу из передового отряда и на собственном примере показав, что древние спартанцы справедливо опасались сражений под стенами города, где от руки случайного человека и даже ребенка или женщины иной раз гибнет сильнейший воин, подобно тому как Ахилл, говорят, был убит Парисом в воротах. А сколько побед в открытом бою одержал Сулла, сколько десятков тысяч врагов он истребил, не легко и сосчитать. Самый Рим он брал дважды, и Пирей, афинскую гавань, он взял не измором, как Лисандр, но после многих и великих битв, сбросив Архелая в море.

Важно сравнить и противников Суллы и Лисандра. Мне кажется, что развлечением, детской забавою было воевать на море с Антиохом, кормчим Алкивиада, или дурачить вожака народа в Афинах Филокла, который

Бесчестным плутом был, да острым на язык[73].

Ведь таких людей Митридат не счел бы возможным равнять со своим конюхом, а Марий – со своим ликтором! Но, обходя молчанием всех прочих поднявшихся против Суллы властителей, консулов, полководцев, народных вожаков, я хочу спросить только одно: кто среди римлян был грознее Мария, среди царей – могущественнее Митридата, среди италийцев – воинственнее Лампония и Телезина? Сулла же первого изгнал, второго покорил, а двух последних убил.

43(5). Но важнее всего сказанного, по-моему, то, что Лисандру во всех его начинаниях сопутствовала помощь соотечественников, а Сулла был изгнанником, был побежден врагами. И в то самое время, как преследовали его жену, сравнивали с землею его дом, убивали его друзей, он, сражаясь в Беотии против бесчисленных полчищ и подвергаясь опасности ради отечества, воздвиг трофей и

не сделал никакой уступки, не оказал никакого снисхождения Митридату; хотя тот предлагал ему союз и предоставлял войско для похода на врагов, Сулла лишь тогда приветствовал царя, лишь тогда подал ему руку, когда из собственных его уст услышал, что тот оставляет Азию, передает римлянам флот и возвращает Вифинию и Каппадокию их царям. Ничего более прекрасного, ничего более высокого по духу, чем эти подвиги, Сулла, кажется, вообще не совершил; он поставил общее выше личного и, словно породистый пес, вцепившись, не разжал челюстей, прежде чем противник не сдался; тогда только обратился он к мести за свои обиды.

Наконец, при сравнении характеров Суллы и Лисандра имеет какой-то вес и все то, что связано с Афинами. Если Сулла, овладев городом, когда тот вел войну ради укрепления мощи и владычества Митридата, оставил афинянам свободу и самоуправление, то Лисандр не пощадил Афин, когда они потеряли собственное владычество, собственную державу, столь великую прежде, но, уничтожив в Афинах демократическое правление, поставил над ними бесчеловечнейших и преступных тираннов.

Теперь, стараясь не слишком погрешить против истины, мы рассудим так: подвиги Суллы – больше, но провинности Лисандра – меньше, а потому отдадим одному из них награду за воздержанность и благоразумие, а другому – за искусство полководца и мужество.





КИМОН И ЛУКУЛЛ

КИМОН*

1. Прорицатель Перипольт[1], тот, что привел из Фессалии в Беотию царя Офельта и подвластные ему народы, оставил после себя род, долгое время бывший в почете. Бо́льшая часть потомков Перипольта жила в Херонее (этот город они захватили первым, изгнав из него варваров). Они отличались врожденной воинственностью и отвагой и настолько не щадили своей жизни, что почти все погибли во времена нашествия мидян и борьбы с галлами[2]. Среди уцелевших был мальчик, круглый сирота, по имени Дамон и по прозвищу Перипольт, намного превосходивший своих сверстников красотой тела и гордостью духа, но дурно воспитанный, со строптивым характером. В этого юношу, только что вышедшего из отроческого возраста, влюбился начальник одной когорты, стоявшей в Херонее на зимних квартирах, и когда римлянин ни просьбами, ни подарками ничего не добился, стало ясно, что он не остановится перед насилием, тем более что дела нашего города находились тогда в плачевном состоянии и из-за своей незначительности и бедности он был у всех в пренебрежении. И вот Дамон, страшась насилия и взбешенный уже самими домогательствами, замыслил убить этого человека и вовлек в заговор нескольких сверстников – немногих, чтобы сохранить дело в тайне: всего их набралось шестнадцать человек. Ночью они вымазали себе лица сажей, напились несмешанным вином[2] и на рассвете напали на римлянина, когда тот совершал на площади жертвоприношение. Умертвив его и нескольких человек из числа стоявших вокруг, они скрылись из города. Среди общего замешательства собрался городской совет Херонеи и осудил заговорщиков на смерть, что должно было искупить вину города перед римлянами. Когда после этого городские власти по обычаю собрались вечером за общим ужином, товарищи Дамона ворвались в здание Совета и перебили их, а затем снова бежали.

Как раз в эти дни через Херонею проходил с воинами Луций Лукулл[3]. Прервав свой поход, он по свежим следам расследовал дело и выяснил, что граждане не только ни в чем не повинны, но, скорее, сами оказались в числе потерпевших. Затем он выступил в путь и увел с собой размещавшихся в городе солдат. Тем временем Дамон разорял разбойничьими набегами окрестности и тревожил самый город, пока граждане через послов не уговорили его вернуться, приняв благоприятные для него постановления. Когда он явился, его поставили начальником гимнасия, но затем убили в парильне, когда он натирался маслом. После

* Первые три главы этого жизнеописания переведены С.С. Аверинцевым.

этого, по рассказам наших отцов, в этом месте долго появлялись какие-то призраки и слышались стоны, так что двери парильни забили. До сих пор люди, живущие по соседству с этим местом, верят, что там показываются привидения и звучат устрашающие возгласы. Потомков рода, к которому принадлежал Дамон (некоторые из них еще живы и обитают главным образом подле Стирея в Фокиде), по-эолийски зовут Мазаными, так как Дамон вышел на убийство, намазавшись сажей.

2. Между тем орхоменцы, соседи и недруги херонейцев, наняли в Риме доносчика, и тот возбудил против нашего города судебное преследование, обвиняя всех граждан, словно одно лицо, в гибели убитых Дамоном римлян. Дело поступило на рассмотрение претора Македонии (в Грецию римляне в то время еще не посылали наместников[4]), но ораторы, защищавшие в суде наш город, сослались на свидетельство Лукулла, а тот в ответ на запрос претора изложил подлинный ход событий, и таким образом Херонея, подвергавшаяся самой серьезной опасности, была оправдана.

Тогдашние граждане Херонеи, которых благодеяние Лукулла коснулось непосредственно, поставили ему на площади, подле кумира Диониса, мраморную статую. Нас от тех времен отделяет много поколений, но мы считаем, что долг благодарности Лукуллу распространяется и на нас; полагая, с другой стороны, что памятник, воспроизводящий телесный облик человека, намного уступает такому, который давал бы представление о его нравственных качествах, мы включаем рассказ о деяниях этого мужа в наши "Сравнительные жизнеописания". При этом мы будем держаться истины: ведь благодарного воспоминания о его подвигах достаточно, а принять в отплату за свое правдивое свидетельское показание лживые вымыслы о себе он и сам не пожелал бы. Когда живописец рисует прекрасный, полный прелести облик, мы требуем от него, если этому облику присущ какой-нибудь мелкий недостаток, чтобы он не опускал его совсем, но и не воспроизводил слишком тщательно: ведь в последнем случае теряется красота, в первом – сходство. Равным образом, раз уж трудно или, вернее сказать, просто невозможно показать человеческую жизнь, безупречно чистую, то, как и при передаче сходства, лишь воспроизводя прекрасное, следует держаться истины во всей ее полноте. А в ошибках и недостатках, вкрадывающихся в деяния человека под воздействием страсти или в силу государственной необходимости, должно видеть проявление скорее несовершенства в добродетели, чем порочности, и в повествовании не следует на них останавливаться чересчур охотно и подробно, но словно стыдясь за человеческую природу, раз она не создает характеров безукоризненно прекрасных и добродетельных.

3. Обдумывая, кого можно поставить рядом с Лукуллом, мы остановились на Кимоне. Оба они были воинственны, оба показали свою доблесть в борьбе с варварами, но на гражданском поприще проявили миролюбие и больше всего стремились доставить своему отечеству отдых от междоусобных смут, в то время как за его пределами воздвигли трофеи и одержали славные победы. Ни один грек до Кимона, ни один римлянин до Лукулла не заходил так далеко с оружием в руках, если не считать походов Геракла[5] и Диониса[5], да еще подвигов

Персея в землях эфиопов, мидян и армян или деяний Ясона, если свидетельства об этих подвигах и деяниях спустя столько времени еще можно считать надежными. Общая черта для обоих, пожалуй, и то, что их деятельность как полководцев осталась незавершенной: оба сумели разгромить противника, но ни одному не удалось уничтожить его окончательно. Но наибольшее сходство между ними состоит в той широте натуры, в той расточительности, с какой они задавали пиры и помогали друзьям, да в юношеской несдержанности образа жизни. Другие черты сходства, которые нетрудно будет уловить из самого рассказа, нам представляется разумным оставить без упоминания.

4. Кимон, сын Мильтиада, родился от матери-фракиянки, Гегесипилы, дочери царя Олора, как это видно из посвященных ему стихов Архелая и Меланфия[6]. Вот почему историк Фукидид, который приходился Кимону родственником, был также сыном Олора, носившего это имя в честь своего предка, и владел золотыми рудниками во Фракии. Скончался же Фукидид, как сообщают, в Скаптесиле (место это находится во Фракии), где он был убит. Останки были перевезены в Аттику, и гробницу его показывают в Кимоновой усыпальнице, рядом с могилой сестры Кимона Эльпиники. Но Фукидид происходил из дема Галимунта, а Мильтиад и его род – из дема Лакиады.

Как известно, Мильтиад, присужденный к штрафу[6] в пятьдесят талантов и посаженный впредь до выплаты этой суммы в тюрьму, умер в заключении. Кимон, оставшись после отца вместе с молодой, еще незамужней сестрой совершенным юнцом, первые годы пользовался в городе дурной славой, прослыл беспутным кутилой, похожим по нраву на деда своего Кимона, который, говорят, за простодушие был прозван Коалемом[7]. Стесимброт с Фасоса, родившийся приблизительно в одно время с Кимоном, свидетельствует, что тот не выучился ни искусствам, ни чему-либо из общеобразовательных наук, бывших в ходу среди греков, и вовсе не обладал даром изощренного аттического красноречия, но в характере его было много благородного и искреннего и по своему душевному складу муж этот был скорее пелопоннесец.

И груб, и прост, но в подвигах велик[8],

подобно Гераклу у Эврипида, – вот что можно прибавить к словам Стесимброта.

Еще в юные годы на него пало обвинение в близких отношениях с сестрой. Да и помимо того, говорят, Эльпиника была поведения не безупречного, но была близка и с живописцем Полигнотом, почему и утверждают, что, изображая троянок в Писианактовом портике[9], который теперь называют Расписным, художник в образе Лаодики написал Эльпинику. Полигнот не принадлежал к числу художников-ремесленников и расписывал портик не из корысти, а безвозмездно, желая отличиться перед согражданами. Так, по крайней мере, пишут историки, и поэт Меланфий выразил это следующим образом:

Храмы и площадь Кекропа украсил, затрат не жалея,
Кистью своей восхвалив славных героев труды.

Есть и такие, которые говорят, что Эльпиника жила с Кимоном не тайно, а в открытом замужестве, затрудняясь из-за бедности своей найти жениха, достойного ее происхождения. Но когда Каллий, один из афинских богачей, прельстившись Эльпиникой и познакомившись с ней, выразил готовность внести в казну наложенный на ее отца штраф, она согласилась, и Кимон выдал ее за Каллия. Во всяком случае Кимон, по-видимому, вообще был склонен увлекаться женщинами. Недаром поэт Меланфий, подшучивая над Кимоном в элегических стихах, упоминает об Астерии родом с Саламина и еще о какой-то Мнестре, как о предметах его страсти. Известно также, как горячо любил Кимон Исодику, дочь Эвриптолема, сына Мегакла, свою законную жену; когда она умерла, он был вне себя от горя, если можно верить элегиям, написанным для утешения его в скорби. Автором их философ Панетий считает естествоиспытателя Архелая, небезосновательно сопоставляя даты.

5. Все остальное в характере Кимона свидетельствует о благородстве, достойном удивления. Ибо, не уступая отвагою своей Мильтиаду, а разумом Фемистоклу, он, по общему признанию, был справедливее их обоих. Ничуть не менее талантливый, чем они, в военном деле, Кимон еще в молодости, не имея военного опыта, бесконечно превзошел их гражданской доблестью. Когда при нашествии персов Фемистокл посоветовал народу уйти из города, покинуть страну, сесть на корабли у саламина и сразиться с врагом на море, большинство граждан было потрясено столь смелым замыслом. В это-то время Кимон с сияющим лицом первым показался на Акрополе, куда он поднялся через Керамик в сопровождении товарищей, неся в руках конские удила, чтобы посвятить их богине: это как бы означало, что сейчас государство нуждается не в конном войске, а в бойцах-моряках. Посвятив удила, вооружившись одним из висевших в храме щитов и помолившись богине, он спустился к морю и тем самым первый показал пример неустрашимости. Был он, по свидетельству поэта Иона, безупречен и внешностью – высок, с прекрасными густыми вьющимися волосами.

Выказав в сражении[10] блестящую храбрость, он вскоре начал пользоваться известностью среди сограждан и их благоволением, так что многие из них собирались вокруг него и побуждали, не откладывая, задумать и совершить что-нибудь достойное Марафона. А когда он стал домогаться участия в государственных делах, народ с радостью его принял и, пресытившись Фемистоклом, вознес Кимона до высших государственных должностей и почестей, видя в нем человека, умеющего действовать сообразно обстоятельствам и угодного простому люду своим ласковым обхождением и прямодушием. Особенно же возвеличил его Аристид, сын Лисимаха, который видел прекрасные качества его характера и как бы создавал в нем соперника Фемистоклу в таланте и смелости.

6. Когда персы уже оставили Грецию, афиняне же не имели еще первенства на море, а подчинялись Павсанию[11] и лакедемонянам, Кимон, отправленный на войну стратегом, прежде всего всегда заботился о том, чтобы граждане в походах соблюдали строжайший порядок и намного превосходили всех прочих смелостью. Далее, в то время как Павсаний вел изменнические переговоры с варва-

рами и переписывался с царем, с союзниками же обращался сурово и надменно, держа себя крайне нагло, в опьянении властью и безумной гордостью, Кимон ласково принимал обиженных под свою защиту, кротко обходясь с ними; действуя не силою оружия, а словом и личным обаянием, он незаметно отнял у лакедемонян верховное владычество над Грецией. Естественно, что к Кимону с Аристидом примкнула бóльшая часть союзников, не будучи в состоянии долее переносить тяжелый нрав и высокомерие Павсания. А те, склоняя их на свою сторону, в то же время посылали сказать эфорам, чтобы они отозвали Павсания, по вине которого подвергается бесчестию Спарта и сеется смута во всей Греции. Рассказывают, что Павсаний приказал доставить к нему некую девушку по имени Клеоника, родом из Византия, дочь знатных родителей, с намерением обесчестить ее, а родители, в страхе подчиняясь насилию, позволили увести ее. У входа в спальню она попросила стоявших у двери людей погасить свет, а сама, подходя в темноте к ложу, в то время как Павсаний уже спал, нечаянно наткнулась на светильник и опрокинула его. Встревоженный шумом и вообразив, что к нему приближается какой-нибудь злоумышленник, Павсаний схватил лежавший близ него кинжал и ударом его уложил девушку. Она умерла от раны и с тех пор не давала Павсанию покоя: являясь к нему ночью во сне в виде призрака, она изрекала в гневе следующий героический стих[12].

Каре навстречу гряди: необузданность гибельна мужу.

Крайне возмущенные этим преступлением союзники во главе с Кимоном осадили Павсания. Павсаний бежал из Византия и, все еще тревожимый видением, укрылся, как рассказывают, в гераклейском прорицалище мертвых[13], где вызвал душу Клеоники и умолял ее смягчить свой гнев. Явившаяся к нему Клеоника сказала, что по прибытии в Спарту он скоро освободится от своих мук, намекая, по-видимому, на гибель, которая его ожидала. Об этом повествуют многие историки.

7. А Кимон, к которому уже присоединились союзники, отплыл, предводительствуя войском, во Фракию. До его сведения дошло, что несколько знатных персов, родственников царя, овладели Эионом, городом, расположенным на реке Стримон, и тревожат окрестное греческое население. Он начал с того, что разбил в сражении самих персов и запер их в городе, а затем, изгнав фракийцев, живших за Стримоном, откуда персам доставлялся хлеб, и приказав караулить всю их землю, поставил осажденных в столь безвыходное положение, что царский военачальник Бут, потеряв всякую надежду, поджег город и погиб в огне вместе с друзьями и имуществом. Так Кимон взял город, но никакой мало-мальски существенной пользы от того не получил: почти все сгорело вместе с варварами. Зато местность, отличавшуюся красотой и плодородием, он отдал под поселения афинянам. Народ разрешил ему поставить каменные гермы, на первой из которых написали:

Много пришлось претерпеть и тем, что с сынами мидийцев
Встретясь в Эионском краю, их у Стримона реки
Голодом жгучим терзали и в схватках Ареса кровавых
Первыми ввергли врагов в горе и злую нужду.

На второй надпись гласила:

Здесь в награду вождям афинский народ благодарный
　　В память великих заслуг им эту герму дарит.
Пусть же, взглянув на нее, стремится каждый потомок,
　　Общему благу служа, смело на битву идти.

На третьей написали:

Некогда царь Менесфей[14] отсюда с Атридами вместе
　　К Трои священной полям мощное войско повел.
Был он, Гомер говорит, среди крепкобронных данайцев
　　Славен искусством своим воинов строить на бой.
Вот почему и теперь подобает афинянам зваться
　　Славными в ратных делах, доблесть являя свою.

8. Надписи эти, хоть имя Кимона в них ни разу не названо, казались, по содержанию своему, людям того времени верхом почета. Ибо ни Фемистокл, ни Мильтиад ничего подобного не удостоились. Мильтиад домогался было масличного венка, но декелиец Софан, встав со своего места в Народном собрании, произнес хотя и не слишком умные, но все же понравившиеся народу слова: “Когда ты, Мильтиад, в одиночку побьешь варваров, тогда и требуй почестей для себя одного”. Но почему афиняне были в таком восхищении от подвига Кимона? Не потому ли, что при других военачальниках они сражались с врагами лишь затем, чтобы избавиться от беды, а над начальством Кимона были настолько сильны, что сами наносили вред неприятелям, вторгаясь с оружием в их владения, и приобрели новые земли, основав колонии и в самом Эионе и в Амфиполе?

Поселились они и на острове Скиросе, который был завоеван Кимоном вот при каких обстоятельствах. Остров населяли долопы. Земледельцы они были плохие, издавна занимались морским разбоем и перестали щадить даже тех чужеземцев, которые приезжали к ним по делам: несколько фессалийских купцов, приставших к Ктесию, были долопами ограблены и брошены в тюрьму. Убежав из тюрьмы, люди эти принесли жалобу на город в союз амфиктионов. Но так как граждане отказались принять возмещение убытков на общественный счет и требовали, чтобы их покрыли те, кто совершил грабеж и владеет награбленным, эти последние испугались и отправили к Кимону письмо, прося его прибыть с флотом и занять город, который они ему сдадут. Захватив таким путем остров, Кимон изгнал долопов и обезопасил Эгейское море. Прослышав, что древний Тесей, сын Эгея, бежавший из Афин на Скирос, был здесь изменнически убит боявшимся его царем Ликомедом, Кимон принялся усердно искать его могилу, тем более что афинянам было дано прорицание оракула, повелевавшее им перевезти в свой город останки Тесея и оказывать ему почести, какие подобают герою, но они не знали, где именно он покоится, а жители Скироса утверждали, что никакой могилы Тесея у них нет, и не позволяли ее искать. И все же место погребения с большим трудом, после усердных поисков, было найдено, и, приняв останки на свой корабль и великолепно его разукрасив, Кимон привез

прах Тесея на родину по прошествии без малого четырехсот лет[15] после смерти героя. За это народ выказывал Кимону величайшее благоволение.

К его славе послужило также ставшее впоследствии знаменитым состязание между поэтами-трагиками. Софокл, тогда еще юноша, ставил свою первую пьесу, и архонт Апсефион, заметив несогласия и споры между зрителями, не стал бросать жребий для избрания судей, но, когда Кимон, войдя в театр со своими сотоварищами-стратегами, совершил установленные возлияния богу, остановил их и, приведя к присяге, заставил сесть и судить состязание – всех десятерых, так что каждый оказался представителем от одной из фил. Почет, каким пользовались эти судьи, возбудил, конечно, в исполнителях особенное рвение и соперничество. Победил Софокл, а Эсхил, опечаленный и удрученный, лишь короткое после этого время пробыл, как сообщают, в Афинах, а затем с досады уехал в Сицилию. Там он умер и похоронен близ Гелы.

9. Ион рассказывает, что, когда он еще в ранней юности прибыл с Хиоса в Афины, ему пришлось обедать у Лаомедонта в обществе Кимона. После возлияний Кимона попросили спеть, и тот спел очень хорошо, так что все его похвалили и нашли, что в обществе он приятнее Фемистокла: последний говорил, что петь и играть на кифаре он не умеет, но как сделать великим и богатым город – это он знает. Затем, как обыкновенно бывает за чашей вина, разговор перешел на подвиги Кимона, стали вспоминать о самых выдающихся из них, и он сам рассказал об одной из своих хитростей, по его мнению, самой удачной. Союзники, захватив в Сесте и Византии множество варваров, поручили Кимону произвести дележ добычи, и тот распорядился так, что по одну сторону поставили самих пленных, а по другую сложили украшения, которые они носили; союзники стали порочить такой дележ, называя его несправедливым, и тогда он предложил им взять любую из частей: какую бы они ни оставили, афиняне-де будут довольны. По совету самосца Герофита, считавшего, что лучше приобрести вещи персов, чем самих персов, союзники взяли себе наряды и украшения, оставив на долю афинян пленных. Все сочли тогда, что этим дележом Кимон просто выставил себя на посмеяние: союзники уносили золотые запястья, ожерелья, шейные цепочки, персидские кафтаны, пурпурную одежду, афинянам же пришлось взять себе нагие тела мало привычных к труду людей. Вскоре, однако, съехавшиеся из Фригии и Ликии друзья и родственники пленных стали выкупать их, платя за каждого большие деньги, так что у Кимона собрались средства, которых хватило на содержание флота в течение четырех месяцев, а кроме того, немало золота из выкупных сумм осталось и для казны.

10. Военные труды Кимона возместились сторицей, и это богатство, по общему мнению, было им добыто с честью – на войне от врагов; еще с большей для себя честью Кимон тратил его на сограждан. Так, например, он велел снять ограды, окружавшие его владения, дабы чужеземцы и неимущие сограждане могли, не опасаясь, пользоваться плодами, а дома у себя приказывал ежедневно готовить обед, хотя и скромный, но достаточный для пропитания многих. Каждый бедняк, если хотел, приходил на обед и получал пищу и, не будучи вынужден зарабатывать себе на пропитание, мог заниматься только общественными делами. Впрочем, по свидетельству Аристотеля, обеды эти приготовлялись не

для всех афинян, но лишь для желающих из числа земляков Кимона из дема Лакиады. Его постоянно сопровождали двое или трое юношей в богатой одежде, и если им случалось встретить какого-нибудь убого одетого старика из горожан, один из них менялся с ним платьем – зрелище, казавшееся величественным. Те же юноши, щедро снабженные мелкими деньгами, замечая на площади людей бедных, но порядочных, останавливались подле них и молча вкладывали им в руку несколько монет.

Об этом, по-видимому, и вспоминает комический поэт Кратин в следующих стихах "Архилохов":

И я молил, чтоб мне, писцу Метробию,
Дожить свой век при муже том божественном,
Что лучше всех досель рожденных эллинов, –
При Кимоне, который рад всегда гостям.
При нем и в старости жирел бы я. Но он
Покинул первым свет[16].

Равным образом и леонтинец Горгий говорил, что Кимон приобрел имущество, чтобы пользоваться им, а пользовался им так, чтобы заслужить почет. А Критий, один из тридцати тираннов, говорит в своих элегиях, что хотел бы иметь

Столько богатств, как Скопады, великую щедрость Кимона,
И с Аркесилом числом славных сравниться побед.

Если спартанец Лих, как мы знаем, прославился среди греков единственно тем, что угощал обедами иноземцев во время гимнопедий[17], то безграничная щедрость Кимона превзошла радушие и человеколюбие даже древних афинян[18], которыми по праву гордится государство. Те распространили среди греков годные в пищу злаки, а также научили людей отыскивать ключевую воду и добывать огонь для своих нужд, Кимон же, сделавший из своего дома общий для всех граждан пританей[19] и в поместьях своих предоставивший чужеземцам брать для их надобностей начатки поспевших плодов и все блага, какие приносят с собою разные времена года, как бы снова ввел в жизнь ту сказочную общность владения, которая была во времена Кроноса[20]. Что же касается лиц, распространявших клевету, будто все это – не что иное, как желание угодить черни и своекорыстное искательство народной благосклонности, то лучшей уликой против них служит образ мыслей Кимона, во всем остальном аристократический и спартанский. Ведь пошел же он рука об руку с Аристидом против Фемистокла, старавшегося больше, чем следует, возвысить демократию, и позже выступил противником Эфиальта из-за того, что тот в угоду народу старался уничтожить Ареопаг. Будучи свидетелем того, как все, за исключением Аристида и Эфиальта, жадно наживались за счет общественных доходов, сам он до конца дней своих остался неподкупным, не запятнанным взятками, бескорыстным и искренним во всем, что он делал или говорил. Вот, например, что о нем рассказывают. Какой-то варвар, по имени Ройсак, взбунтовался против царя и с большой суммой денег прибыл в Афины. Тут на него накинулись клеветники и доносчики, и, решившись искать защиты у Кимона, Ройсак поставил в дверях его, выходивших во двор, две чаши, наполненные одна – серебряными дариками, другая – золо-

тыми. Увидя это и улыбнувшись, Кимон спросил варвара, кого он предполагает приобрести в Кимоне – наемника или друга. Тот ответил, что друга. "В таком случае ступай, – сказал ему Кимон, – и забери с собой эти деньги. Став твоим другом, я воспользуюсь ими, когда мне это понадобится".

11. С течением времени союзники, продолжая вносить деньги в союзную казну, стали, вопреки принятым обязательствам, воздерживаться от поставки кораблей и людей и отказывались от участия в походах. Теперь, после того как персы удалились и больше их не тревожили, они не видели никакой нужды в войне и желали жить мирно, занимаясь земледелием, а потому и кораблей не снаряжали и людей не посылали; афинские же стратеги, все, кроме Кимона, принуждали их к этому, непокорных привлекали к суду, подвергали карам и в результате сделали афинское господство ненавистным и тягостным. Но Кимон, занимая должность стратега, шел по пути, совершенно противоположному: силой никого из греков ни к чему не принуждал, а от не желающих отбывать военную службу принимал деньги или порожние суда, предоставляя тем, кого прельщала спокойная жизнь, проводить время за хозяйственными делами и, безрассудно изнеживаясь, превращаться из людей воинственных в мирных земледельцев и торговцев. Афинян же он по очереди сажал многочисленными отрядами на корабли, закалял в походах и в скором времени сделал их, благодаря денежным средствам, поступавшим от союзников на содержание войска, господами самих плательщиков. Ибо, находясь постоянно в плавании, не выпуская из рук оружия, афиняне, благодаря нежеланию союзников служить, получали в походах военное воспитание и подготовку, а союзники, приучившись бояться афинян и льстить им, незаметно превратились в данников и рабов.

12. Поистине, никто не смирил и не умерил гордыни великого царя так, как это сделал Кимон. Ибо он не оставил царя в покое и после того, как тот удалился из Греции, но преследовал его чуть ли не по пятам и, не давая варварам ни передохнуть, ни расположиться лагерем, одни из их областей опустошал и покорял, другие склонял к отпадению и привлекал на сторону греков, так что вся Азия – от Ионии до Памфилии – была совершенно очищена от персидских войск. Получив известие, что царские военачальники расположились с большим войском и флотом близ пределов Памфилии, и решив дать им урок, который показал бы им, что вся часть моря, лежащая по эту сторону Ласточкиных островов, для них закрыта наглухо, Кимон спешно двинулся из Книда и Триопия на двухстах превосходных триерах, построенных Фемистоклом, которые с самого начала отличались быстротой хода и подвижностью. Теперь Кимон уширил их и соединил палубы мостками[21], чтобы, приняв на борт значительное число гоплитов, они обладали большею силой в бою. Приплыв к Фаселиде, жители которой хоть и были родом греки, но не приняли греческого флота и не пожелали отпасть от царя, Кимон опустошил их страну и приказал штурмовать город. Но плывшие вместе с Кимоном хиосцы, которые с давних пор были в дружбе с фаселитами, стали упрашивать его смилостивиться и одновременно оповестили фаселитов о намерениях своего полководца, пуская через стены стрелы с привязанными к ним записками. В конце концов они примирили Кимона с фаселита-

ми, причем последние обязались уплатить десять талантов, последовать за Кимоном и принять участие в походе против варваров.

Эфор утверждает, что царским флотом предводительствовал Тифравст, а пехотой – Ферендат; по свидетельству же Каллисфена, высшее начальствование над военными силами персов принадлежало Ариоманду, сыну Гобрия. Не желая вступать в битву с греками, Ариоманд, согласно Каллисфену, стал на якорь у реки Эвримедонта и поджидал там прибытия восьмидесяти финикийских кораблей, плывших к нему от острова Кипра. Решив покончить с врагом до их прибытия, Кимон вышел в море, готовый в случае, если бы неприятель не принял сражения, принудить его к этому силой. Персы же, чтобы уклониться от боя, сначала вошли в реку, но, как только афиняне двинулись за ними, выплыли им навстречу на шестистах судах, как пишет Фанодем, по Эфору же – на трехстах пятидесяти. Но ничего достойного таких огромных сил ими совершено не было, по крайней мере, на море: они тотчас повернули к берегу, передние спрыгнули на землю и бросились бежать к выстроившейся поблизости пехоте, а те, которые были настигнуты греками, погибли вместе с кораблями. Какое множество вооруженных судов было у варваров, видно из того, что, хотя многие из них, естественно, ускользнули, а многие были совершенно разбиты, афиняне все же захватили двести кораблей.

13. Пехота персов спустилась к морю. С ходу высадиться и бросить утомленных боем греков против свежих и во много раз превосходящих их численностью сил неприятеля казалось Кимону делом сложным. Но, видя, что люди бодры духом, преисполнены мужества и горят желанием схватиться с варварами, он все же высадил на берег своих гоплитов. Еще не остывшие после жаркой морской битвы, они с громкими криками беглым шагом устремились на врага. Персы выдержали удар и встретили их храбро. Началась жестокая битва; в ней пало немало славных, доблестных и пользовавшихся высочайшим уважением афинян. После продолжительного сражения обратив варваров в бегство, афиняне убивали бегущих, а затем стали брать их в плен, захватывая заодно и палатки, полные всякого добра.

Кимон же, одержав, подобно искусному борцу на играх, в один день две победы и затмив сухопутным боем славу Саламина, а морским – подвиг при Платеях, присоединил к ним третью. Получив известие, что те восемьдесят финикийских триер, которые не поспели к сражению, пристали к Гидру, он поспешно вышел в море – в то время как финикийские начальники, не имея никаких достоверных сведений о главных силах, все еще не верили слухам и пребывали в нерешительности. Теперь их охватил ужас, и они потеряли все свои корабли, причем погибла и бо́льшая часть людей.

Этот подвиг настолько смирил гордость царя, что он согласился заключить тот знаменитый мирный договор[22], по которому персы обязались никогда не подходить к Греческому морю ближе, чем на расстояние дневного конского пробега, и не плавать на военных кораблях или судах с медными носами в водах между Темными скалами и Ласточкиными островами. Каллисфен, впрочем, говорит, что варвар такого договора не заключал, но на деле выполнял эти условия из страха, внушенного ему этим поражением, и так далеко отступил от пре-

делов Греции, что Перикл с пятьюдесятью кораблями и Эфиальт всего лишь с тридцатью, даже миновав Ласточкины острова, не встретили за ними ни одного персидского военного судна. Однако ж в сборник постановлений Народного собрания, составленный Кратером, включена копия договора как существовавшего в действительности. Говорят даже, что по случаю этого события афиняне воздвигли алтарь Мира и оказывали особые почести Каллию, участвовавшему в посольстве к царю.

После распродажи военной добычи народ не только приобрел средства на покрытие текущих расходов, но и получил возможность, благодаря все тому же походу, пристроить к Акрополю южную стену. Сообщают еще, что Длинные стены, так называемые "Ноги", были закончены постройкой позднее, но что первый их фундамент был прочно заложен Кимоном; работы пришлось вести в местах топких и болотистых, но трясины были завалены огромным количеством щебня и тяжелыми камнями, и все необходимые средства добывались и выдавались также Кимоном. Он же первый отвел и благоустроил места, где можно было проводить время в утонченных и достойных свободных граждан занятиях и беседах: городскую площадь он обсадил платанами, Академию же, до того лишенную воды и запущенную, превратил в обильно орошаемую рощу с искусно проведенными дорожками для бега и тенистыми аллеями. Эти места составили украшение города и в скором времени чрезвычайно полюбились афинянам.

14. Некоторые из персов относясь с пренебрежением к Кимону, который отплыл из Афин с ничтожно малым числом триер, не хотели покидать Херсонеса и призвали к себе на помощь фракийцев из внутренних областей. Но Кимон, напав на них с четырьмя кораблями, захватил у них тринадцать судов. Изгнав персов и победив фракийцев, он подчинил весь Херсонес власти афинского государства, а затем, сразившись на море с фасосцами, отпавшими от афинян, захватил тридцать три корабля, осадил и взял город, а сверх того, приобрел для афинян находившиеся по другую сторону пролива золотые рудники и овладел всеми бывшими под управлением фасосцев землями. Отсюда он легко мог бы напасть на Македонию и отторгнуть значительную часть ее. Считали, что он не захотел этого сделать, и обвинили его в том, что он вошел в соглашение с царем Александром и принял от него подарки. Враги объединились, и Кимон был привлечен к суду. Защищаясь перед судьями, Кимон говорил, что он связал себя узами гостеприимства и дружбы не с ионянами и не с фессалийцами, людьми богатыми, как это делали другие, чтобы за ними ухаживали и подносили им дары, а с лакедемонянами, любит и старается перенять их простоту, их умеренность жизни, никакого богатства не ценит выше этих качеств, но, сам обогащая государство за счет его врагов, гордится этим. Упоминая о процессе, Стесимброт рассказывает, что Эльпиника, решившись ходатайствовать за Кимона перед Периклом, как перед самым влиятельным из обвинителей, пришла к нему домой, а тот, улыбнувшись, заметил ей: "Стара ты стала, Эльпиника, чтобы браться за такого рода дела"; однако же в суде Перикл был очень снисходителен к Кимону и выступил против него только однажды, да и то как бы по обязанности.

15. Итак, на этот раз Кимон был оправдан. В остальные годы своей государственной деятельности он, находясь в Афинах, старался подчинить своему влиянию и обуздывать народ, выступавший против знати и стремившийся присвоить себе всю власть и силу. Но лишь только он отбыл с флотом в новый поход, народ, дав себе полную волю, нарушил весь порядок государственного управления и старинные постановления, которыми до того руководствовался, и во главе с Эфиальтом отнял у Ареопага все, за малыми исключениями, судебные дела, сделал себя хозяином судилищ и отдал город в руки сторонников крайней демократии; в это время уже вошел в силу и Перикл, примкнувший к народной партии. Поэтому, когда Кимон вернулся и, вознегодовав на оскорбление, нанесенное достоинству Ареопага, пытался вернуть ему судебные дела и восстановить то значение знати в государстве, какое она имела при Клисфене, объединившиеся противники подняли шум и стали подстрекать народ, повторяя все те же сплетни об отношениях Кимона с сестрой и обвиняя его в приверженности к Спарте. К этой же болтовне относится и следующий известный выпад Эвполида против Кимона:

... плохим
Он не был, хоть и был беспечным пьяницей,
Хоть часто ездил даже в Спарту ночевать,
Оставив Эльпинику в одиночестве.

Если Кимон, будучи беспечным пьяницей, взял столько городов и одержал столько побед, то не ясно ли, что, будь он воздержан и бдителен, ни до ни после него не нашлось бы грека, превзошедшего его подвигами?

16. Впрочем, Кимон и в самом деле с юных лет был поклонником всего лаконского. Так, из двух сыновей-близнецов, рожденных от матери-клейторянки[23], одного он назвал Лакедемонянином, а другого – Элейцем, как о том пишет Стесимброт, и потому Перикл часто корил их происхождением с материнской стороны. Но Диодор Путешественник утверждает, что как эти двое, так и третий сын Кимона, Фессал, родились от Исодики, дочери Мегаклова сына Эвриптолема. Зато и возвысился он с помощью лакедемонян еще в ту пору, когда они вели борьбу с Фемистоклом и хотели, чтобы Кимон, несмотря на его юные годы, имел в Афинах большее значение и влияние. Да и афиняне сначала смотрели на это благосклонно, извлекая из расположения спартанцев к Кимону немалые выгоды. В первые годы роста их могущества, когда им так много приходилось заниматься делами военного союза, почет и уважение, оказываемые Кимону, их не раздражали, ибо почти все общегреческие дела они доводили до благополучного конца благодаря посредничеству того же Кимона, умевшего мягко обходиться с союзниками и угодного лакедемонянам. Но сделавшись сильнее, они стали выражать недовольство горячей приверженностью Кимона к спартанцам. К тому же сам он по всякому поводу восхвалял Лакедемон перед афинянами, в особенности когда ему приходилось упрекать их или побуждать к чему-нибудь. В этих случаях, пишет Стесимброт, он имел привычку говорить: "А вот спартанцы не таковы". Так навлекал на себя Кимон нерасположение и, пожалуй, даже вражду своих сограждан. Но из всех клевет, на него возводившихся, самая страшная, несомненно, была порождена следующими обстоятельствами.

В четвертый год царствования в Спарте Архидама, сына Зевксидама, произошло сильнейшее из всех сохранившихся в народной памяти землетрясений – такой силы, что земля лакедемонян во многих местах обрушилась в разверзшиеся пропасти, а некоторые из вершин Таигета откололись. Весь город был обращен в развалины, все дома за исключением пяти, были разрушены землетрясением. Рассказывают, что юноши и мальчики занимались гимнастикой внутри портика, и за несколько мгновений до землетрясения около них показался заяц, и мальчики, как были натерты маслом, бросились, резвясь, вдогонку ему, а на оставшихся юношей обрушилось здание, и они все до единого погибли. Гробницу их и поныне называют Воздвигнутой землетрясением. Архидам, тотчас поняв, какая опасность угрожает государству, и видя, что граждане только тем и заняты, что стараются вынести из жилищ наиболее ценное имущество, велел протрубить сигнал, как будто бы наступал неприятель, дабы все, нимало не медля, собрались вокруг него с оружием в руках. Только это одно и спасло Спарту при тогдашних обстоятельствах: отовсюду с полей сбежались илоты с намерением захватить врасплох тех из спартанцев, которым удалось спастись; застав же их вооруженными и построенными в боевой порядок, они разбежались по городам, начали открытую войну и переманили на свою сторону немалое число периэков. Одновременно с ними напали на спартанцев и мессенцы. И вот, нуждаясь в помощи, лакедемоняне шлют в Афины Периклида, того самого, который, как Аристофан представляет его в комедии[24], бледный, в пурпурном плаще, сидел у алтарей и молил прислать подмогу.

В то время как Эфиальт старался этому воспрепятствовать и заклинал народ не помогать спартанцам, чтобы не дать подняться городу, во всем противодействующему Афинам, а оставить его поверженным, с растоптанной в прах его гордыней, Кимон, как говорит Критий, ради лакедемонян поступившись возможностью возвеличить собственное отечество, склонил народ на свою сторону и выступил на помощь Спарте во главе большого отряда гоплитов. А Ион припоминает и слова, которыми Кимон больше всего подействовал на афинян: он предостерегал, как бы Эллада не стала хромой и афинское государство не осталось в упряжке одно, без своего напарника.

17. В Коринфе, через который Кимон, оказав помощь лакедемонянам, повел свое войско домой, его встретил Лахарт и стал упрекать за то, что он ввел в город вооруженные силы, не испросив предварительно согласия коринфян: всякий, мол, постучавшийся в чужую дверь входит в дом не раньше, чем его пригласит хозяин. "Однако ж вы, Лахарт, – заметил ему Кимон, – не постучались, а ворвались с оружием в руках, изрубив двери в щепки, к клеонянам и мегарянам[25], считая, что более сильному все открыто". Так смело и кстати ответил он коринфянину и прошел с войском через город. Спартанцы же вторично призвали афинянина против засевших на Ифоме мессенцев и илотов, но, когда те явились, убоялись их смелости и славы и из всех союзников их одних отослали обратно, обвинив в склонности к переворотам. В гневе покинув Спарту, афиняне стали уже открыто выражать свое негодование против сторонников лакедемонян и, ухватившись за ничтожные поводы, изгнали Кимона посредством остра-

кизма на десять лет, ибо таков был срок, в течение которого таким изгнанникам предписывалось жить вдали от родины.

Но когда лакедемоняне, возвращаясь из Дельф, освобожденных ими от фокейцев, расположились лагерем у Танагры и афиняне выступили, чтобы дать им решительный бой, Кимон в полном вооружении появился среди своих сограждан по филе Энеиде, готовый вместе с ними сражаться против лакедемонян. Однако Совет пятисот, узнав об этом, запретил военачальникам принимать его, напуганный криками недругов Кимона, утверждавших, будто тот хочет возмутить войско и ввести лакедемонян в город. И Кимон удалился, моля Эвтиппа из дема Анафлист и других своих товарищей, над которыми в наибольшей мере тяготело обвинение в приверженности к Спарте, твердо стоять в бою и подвигами своими оправдаться перед согражданами. А те, взяв его доспехи, поместили их посреди своего отряда, тесно сплотились друг с другом, и сто человек их пало в ожесточенном бою, оставив в афинянах чувство глубокой скорби и раскаяния в том, что несправедливо их обвиняли. После этого афиняне уже не долго гневались на Кимона, отчасти потому, вероятно, что хорошо помнили обо всем, что он для них сделал, отчасти же сообразуясь с обстоятельствами. Побежденные в большом сражении при Танагре и ожидая на лето похода против них пелопоннесцев, они вызвали из изгнания Кимона[26], и тот был возвращен постановлением Народного собрания по предложению Перикла. Таковы были тогда разногласия на государственном поприще и столь велика уравновешенность умов и готовность идти на уступки, когда дело касалось общего блага; даже честолюбие – страсть, господствующая над всеми чувствами, – отступало перед интересами отечества.

18. Итак, Кимон тотчас же по возвращении своем прекратил войну и примирил друг с другом враждующие государства. Но когда наступил мир, ему стало ясно, что афинянам не сидится на месте, что они намерены, постоянно оставаясь в движении, увеличивать свое могущество военными походами. Чтобы они не причиняли большого беспокойства грекам или, разъезжая на своих многочисленных судах вокруг островов и Пелопоннеса, не давали поводов к междоусобным войнам и к жалобам союзников на афинское государство, Кимон отплыл с двумястами триерами для вторичного похода против Египта и Кипра. Ему хотелось, чтобы афиняне и закалялись в боях с варварами, и извлекали бы из этого законную пользу, привозя в Грецию богатства своих природных врагов. И вот, когда все уже было подготовлено и войско стояло у кораблей, Кимон увидел сон. Ему представилось, что на него злобно лает сука и, вперемежку с лаем, произносит такие слова:

Ну, поспешай! Это будет на радость и мне, и щенятам.

Столь непонятное видение было истолковано другом Кимона, посидонийцем Астифилом, обладавшим даром прорицателя, в том смысле, что оно предвещает ему смерть. Рассуждал он так. Собака, лающая на человека, – враг ему, а врагу ничем нельзя больше удружить, как своею смертью, смешение же лая с человеческой речью показывает, кто неприятель: это персы, ибо персидское войско представляет собой смесь греков и варваров. Затем, когда после своего видения

ния Кимон приносил жертву Дионису, а жрец рассекал жертвенное животное, муравьи, собравшись во множестве, стали хватать сгустки крови и переносить их к Кимону; их долго никто не замечал, и понемногу они облепили этими сгустками большой палец его ноги. И случилось так, что в тот миг, когда Кимон это увидел, подошедший жрец показал ему печень, у которой не оказалось верхней части. Но так как отказаться от похода было уже невозможно, Кимон отплыл и, послав шестьдесят судов в Египет, с остальными двинулся к Кипру. Там он разбил царский флот, состоявший из финикийских и киликийских кораблей, и покорил окрестные города. Не упускал он из вида и Египта, задумав не более и не менее как полный разгром Персидской державы. К этому он особенно стремился по той причине, что ему стало известно, сколь великой славой и влиянием пользуется у варваров Фемистокл, обязавшийся перед царем в случае похода на греков принять на себя командование его войсками. В действительности же, как говорят, Фемистокл, не надеясь взять верх над счастьем и доблестью Кимона, оставил всякую мысль об успешных действиях против греков и добровольно покончил с собой. А Кимон, замысливший обширные военные планы и державший свой флот в водах Кипра, отправил посланцев к оракулу Аммона, поручив испросить у бога некое тайное прорицание, ибо никто не знает, для чего именно они были посланы, и бог ничего не изрек им в ответ, а сразу по прибытии повелел удалиться, так как сам Кимон находится-де уже при нем. Повинуясь повелению, посланцы сошли к морю и, прибыв в лагерь греков, находившийся тогда у границы Египта, узнали, что Кимон умер. Исчислив, сколько дней прошло после того, как бог отослал их назад, они поняли, что слова его заключали намек на кончину этого мужа, уже пребывавшего тогда у богов.

19. Скончался Кимон при осаде Кития, по свидетельству большинства авторов – от болезни, по мнению же некоторых из них – от раны, которую получил в бою с варварами. Умирая, он приказал своим сподвижникам немедленно отплыть, скрывая его смерть, что и было исполнено; ни враги, ни союзники ни о чем не догадывались, афиняне же благополучно возвратились “под начальством Кимона, за тридцать дней до того умершего”, как выразился Фанодем.

После смерти Кимона уже ни один из греков, предводительствовавших войсками, не совершил ничего блестящего в борьбе с варварами. Они оказались во власти своекорыстных искателей народной благосклонности и разжигателей междоусобных войн, и не было никого, кто содействовал бы их примирению; поэтому они бросились, очертя голову, в борьбу, тем самым дав царю передышку и причинив несказанный ущерб могуществу греков. Лишь много спустя Агесилай и его военачальники вступили с войском в Азию, но и они недолго воевали с персидскими полководцами, господствовавшими над приморской областью, не совершили ничего блестящего и великого и, вовлеченные в водоворот возникших в Греции новых распрей и волнений, ушли, оставив в союзных и дружественных городах персидских сборщиков податей, тогда как при Кимоне, когда он был стратегом, ни один персидский гонец не спускался на побережье, ни один конный не показывался ближе, чем в четырехстах стадиях от моря.

Что останки Кимона были действительно перевезены в Аттику, о том свидетельствуют памятники, которые и поныне называются Кимоновыми. Однако и китийцы, как уверяет оратор Навсикрат, чтут какую-то Кимонову могилу, ибо однажды, в годину голода и неурожая, бог повелел им не пренебрегать памятью Кимона, но оказывать ему знаки благоговения, как высшему существу, и почитать его.



ЛУКУЛЛ

1. Дед Лукулла[1] занимал некогда должность консула, а Метелл Нумидийский приходился ему дядей по матери. Что касается, однако, его родителей, то отец его был уличен в казнокрадстве, а мать, Цецилия, слыла за женщину дурных нравов. Сам Лукулл в молодые годы, прежде чем вступить на поприще государственной деятельности, добиваясь какой-либо должности, начал с того, что привлек к суду обвинителя своего отца, авгура Сервилия, уличая его в должностном злоупотреблении. Римлянам такой поступок показался прекрасным, и суд этот был у всех на устах, в нем видели проявление высокой доблести. Выступить с обвинением даже без особого к тому предлога вообще считалось у римлян делом отнюдь не бесславным, напротив, им очень нравилось, когда молодые люди травили нарушителей закона, словно породистые щенки – диких зверей. Во время этого суда страсти так разгорелись, что не обошлось без раненых и даже убитых; все же Сервилий был оправдан.

Лукулл выучился довольно искусно говорить на обоих языках, так что Сулла даже посвятил ему составленное им самим описание своих деяний[2] с тем, чтобы Лукулл обработал и придал стройность этому повествованию. В самом деле, речь Лукулла была изящной и слово было послушно ему не только там, где того требовали нужды практической деятельности, не так, как у иных, речь которых волнует площадь,

Как моря гладь мутит тунец стремительный[3],

но вне площади становится "сухой и грубой, чуждой Музам". Нет, он еще в юные годы всей душой прилежал к той изощренной образованности, которую называют "вольной"[4] и которая предметом своим имеет прекрасное. Когда же он достиг преклонных лет, то, отдыхая от многочисленных битв, целиком предался философии, пробуждая в себе наклонность к умозрению, а честолюбивые стремления, вспыхнувшие вследствие ссоры с Помпеем, весьма вовремя унимая и подавляя. О его ученых занятиях, помимо сказанного, сообщают также вот что. В юности он в шутку (которая затем, однако, обернулась серьезным занятием) условился с оратором Гортензием и историком Сизенной, что напишет

стихами или прозой, на греческом или латинском языке, как выпадет жребий, сочинение о войне с марсами. По-видимому, ему досталось писать прозой и по-гречески; какая-то история Марсийской войны на греческом языке существует и поныне.

Свою привязанность к брату Марку он обнаружил во множестве поступков, но римляне чаще всего вспоминают о самом первом из них: хотя Лукулл был старше, он не пожелал без брата добиваться какой-либо должности и решил ждать, покуда тот достигнет положенного возраста. Этим он настолько расположил к себе римлян, что в свое отсутствие был избран в эдилы вместе с братом.

2. Юношей, приняв участие в Марсийской войне, он сумел неоднократно выказать свою отвагу и сметливость. За эти качества и еще больше за постоянство и незлобивость Сулла приблизил его к себе и с самого начала постоянно доверял ему поручения особой важности; к их числу принадлежал, например, надзор за монетным делом. Во время Митридатовой войны бóльшая часть монеты в Пелопоннесе чеканилась под наблюдением Лукулла и в честь его даже получила наименование "Лукулловой". Ею оплачивались необходимые закупки для военных нужд, и она быстро разошлась, а после долго имела хождение.

Когда Сулла оказался в таком положении, что, засев в Афинах, он господствовал на суше, но на море хозяйничали враги, отрезая ему возможность подвоза продовольствия, он отправил Лукулла в Египет и Ливию, чтобы тот привел оттуда суда. Было это в самый разгар зимних бурь; на трех легких греческих суденышках и стольких же родосских ладьях с двумя рядами весел Лукулл пустился в открытое море, навстречу вражеским кораблям, которые повсюду во множестве бороздили море, пользуясь численным преимуществом. Все же ему удалось достигнуть Крита и привлечь его на свою сторону. Затем он явился избавителем для киренцев, город которых был приведен в тяжелое состояние беспрестанными смутами и войнами, и упорядочил их государственный строй, заставив киренцев припомнить одно изречение Платона, с которым тот некогда пророчески к ним обратился. Дело, кажется, происходило так: когда они просили философа составить для них законы и сделать из их народа своего рода образец разумно устроенного государства, он ответил, что трудно быть законодателем у киренцев, покуда они пользуются таким благополучием. В самом деле, никто не может быть строптивее человека, которому кажется, что ему улыбается удача; напротив, никто не повинуется приказу с такой готовностью, как тот, кто смирён судьбою. Так было и на этот раз, и киренцы послушно приняли законы, данные им Лукуллом.

Оттуда он отплыл в Египет. По дороге на римлян напали пираты, и Лукулл потерял бóльшую часть своих судов, но сам спасся и торжественно высадился в Александрии. Навстречу ему вышел весь флот в великолепном убранстве, как это принято при возвращении царя. Юный Птолемей, наряду с другими знаками исключительного внимания к гостю, предоставил ему кров и стол в своем дворце; до того времени туда не допускался еще ни один чужеземный полководец. Средства на его содержание были отпущены вчетверо бóльшие, чем обыкновенно, однако Лукулл не принимал ничего сверх необходимого. Он отказался

также и от присланного царем подарка – а тот стоил целых восемьдесят талантов! По рассказам, он не стал ни посещать Мемфис[3], ни осматривать другие прославленные достопримечательности Египта, заметив, что это прилично делать досужему путешественнику, разъезжающему в свое удовольствие, а не тому, кто, как он, оставил своего полководца в палатке, в открытом поле, неподалеку от укреплений врага.

3. От союза с римлянами Птолемей, страшась войны, уклонился. Однако он предоставил Лукуллу суда, которые сопровождали его до Кипра, а при отплытии преподнес ему в знак своего расположения и почтения оправленный в золото смарагд огромной цены. Лукулл поначалу вежливо отказывался, но когда царь показал ему, что на камне вырезано его собственное изображение, Лукулл остерегся отвергать дар, чтобы не рассориться с Птолемеем окончательно и не стать на море жертвой его козней.

Он поплыл вдоль берега и набрал в приморских городах, кроме тех из них, что принимали участие в пиратских беззакониях, множество кораблей и с ними прибыл на Кипр. Там он узнал, что неприятели укрылись в засаде у мысов и поджидают его; тогда он распорядился вытащить на берег все суда и обратился к городам с просьбой приготовить зимние квартиры и продовольствие, как будто намеревался задержаться на Кипре до весны. Но как только задул попутный ветер, он неожиданно велел спустить корабли на воду и отплыл; днем он шел с подвязанными и спущенными парусами, ночью – на всех парусах. Таким образом он благополучно достиг Родоса. У родосцев он получил корабли, а граждан Коса и Книда уговорил изменить царю и вместе идти на самосцев. Хиос он своими силами очистил от царских войск, освободил колофонян и схватил их тиранна Эпигона.

В это самое время Митридат уже сдал Пергам и вынужден был запереться в Питане. Там его окружил и осадил с суши Фимбрия, так что царь обратил свои взоры к морю; оставив даже мысль о том, чтобы продолжать борьбу с таким решительным и победоносным противником, как Фимбрия, он начал отовсюду собирать и призывать к себе свои суда. Фимбрия видел все это, но у него не хватало морских сил, поэтому он послал к Лукуллу, упрашивая его прийти со своими кораблями и помочь изловить самого ненавистного и враждебного из царей, чтобы не ушла от римлян эта драгоценная добыча, ради которой было принято столько ратных трудов, – Митридат, который уже попал в западню и окружен тенетами! Когда он будет захвачен, продолжал Фимбрия, никому не достанется большей славы, нежели тому, кто заградил ему выходы и настиг при бегстве. Если он, Фимбрия, будет теснить Митридата с суши, а Лукулл запрет его с моря, то честь победы будет принадлежать им двоим, а хваленые победы Суллы у Орхомена и под Херонеей римляне не будут ставить ни во что.

Слова Фимбрии были далеко не лишены смысла; напротив, всякому ясно, что послушайся его тогда Лукулл, приведи он в Питану свои корабли (они и находились-то неподалеку) и замкни гавань – войне пришел бы конец и мир был бы избавлен от бесчисленных бед. Но Лукулл, по-видимому, ставил свой долг перед Суллой превыше как своего собственного, так и государственного блага. Возможно также, что он не желал иметь ничего общего с Фимбрией, этим него-

дяем, который недавно из властолюбия убил своего друга и полководца, а может быть, на то была воля божества, чтобы он спас Митридата – своего будущего противника. Как бы то ни было, он не принял этого предложения, так что Митридат смог уплыть, смеясь над Фимбрией и его войском. Сам Лукулл сначала разбил в морском сражении при Лекте Троадском встретившиеся ему царские корабли. Затем он приметил, что у Тенедоса стоят на якоре превосходящие силы Неоптолема, и двинулся на них во главе своих судов на родосской пентере, которую вел Дамагор, человек, преданный римлянам и весьма опытный в морских сражениях. Когда Неоптолем стремительно поплыл навстречу и приказал своему кормчему таранить корабль Лукулла, Дамагор, опасаясь тяжести царского корабля с его окованным медью носом, не решился принять удар носовой частью, но стремительным движением повернул корабль и подставил под таран корму. Удар был нанесен, но не причинил судну вреда, так как не задел его подводную часть. Тем временем подоспели на помощь свои, и Лукулл велел снова повернуть на врагов; совершив немало достопамятных подвигов, он обратил врагов в бегство и пустился в погоню за Неоптолемом.

4. Оттуда он направился на соединение с Суллой, который уже стоял под Херсонесом и готовился переправиться в Малую Азию. Лукулл обеспечил безопасность переправы и помог перевезти войска. Когда затем, по заключении мира, Митридат отплыл в обратный путь Понтом Эвксинским, а Сулла наложил на Азию штраф в двадцать тысяч талантов, сбор этих денег и чеканка монеты были поручены Лукуллу. Надо полагать, это явилось для городов, испытавших на себе жестокость Суллы, некоторым утешением, ибо, исполняя столь неприятную и суровую обязанность, Лукулл выказал себя не только бескорыстным и справедливым, но и человечным.

С митиленцами, которые осмелились на явную измену, он тоже хотел было обойтись мягко, назначив им умеренное наказание за то, что они сделали с Манием[5]. Когда же он увидел, что они упорствуют в своем безумии, он двинулся на них с моря, одолел в сражении, запер в городских стенах и начал осаду. Вскоре, однако, он среди бела дня, у всех на глазах, удалился в Элею – чтобы незаметно вернуться и притаиться в засаде близ города. И вот, когда митиленцы дерзко и без всякого порядка вышли, надеясь беспрепятственно разграбить пустой лагерь, он ударил на них, великое множество взял в плен, пятьсот мятежников перебил в бою и захватил шесть тысяч рабов и несметную добычу.

Волею богов дела задерживали Лукулла в Азии, и он остался непричастен к тем ужасам, которые щедро и на разные лады творили в Италии Сулла и Марий. Это не помешало Сулле питать к нему не меньшее благоволение, нежели к кому бы то ни было другому из своих друзей, и в знак своей привязанности он посвятил Лукуллу, как уже было сказано, свои “Воспоминания”, а умирая, в завещании назначил его опекуном своего сына, обойдя Помпея. Кажется, именно это послужило первой причиной для ревнивой зависти и раздора между Лукуллом и Помпеем – ведь оба были еще молодыми людьми, загоравшимися при мысли о славе.

5. Вскоре после кончины Суллы, около сто семьдесят шестой олимпиады[6], Лукулл вместе с Марком Коттой был избран консулом. В ту пору многие стре-

мились снова разжечь войну с Митридатом, и Марк сказал о войне, что она "не умерла, а только задремала". Поэтому Лукулл был огорчен, когда ему досталась в управление Галлия, лежащая по сю сторону Альп, где не представлялось возможности совершить что-нибудь значительное. Всего же более тревожила его слава, завоеванная Помпеем в Испании[7]: сумей только тот покончить с Испанской войной, и наверняка его, и никого другого, тотчас изберут полководцем для войны с Митридатом. Когда Помпей потребовал денег и написал, что, если ему ничего не пришлют, он оставит Испанию и Сертория и отведет войска в Италию, Лукулл с великой охотой содействовал высылке денег, лишь бы тот ни под каким видом не возвращался во время его консульства: если бы тот явился с таким огромным войском, все государство оказалось бы в его руках! Вдобавок Цетег, человек, пользовавшийся тогда наибольшим влиянием в государстве, ибо словом и делом угождал толпе, относился к Лукуллу довольно враждебно, потому что тому были омерзительны его постыдные любовные похождения, его наглость и распущенность. С ним Лукулл вступил в открытую борьбу, в то время как Луция Квинтия, другого народного вожака, который восстал против установлений Суллы и пытался насильственно изменить государственный строй, он многочисленными частными беседами и публичными увещаниями убедил отказаться от своих планов и унять свое честолюбие; так, действуя как можно более сдержанно, он к величайшей пользе для государства пресек страшную болезнь при самом ее возникновении.

6. Тем временем пришло известие, что Октавий, правитель Киликии, умер. Многие жаждали получить эту провинцию и заискивали перед Цетегом как перед человеком, который более, чем кто-либо иной, мог в этом помочь. Лукулла сама по себе Киликия не очень привлекала, но он рассчитывал, что если она достанется ему, то рядом окажется Каппадокия, и тогда уже никого другого воевать с Митридатом не пошлют. Поэтому он пустил в ход все средства, лишь бы никому не уступить эту провинцию, и кончил тем, что под гнетом обстоятельств, изменив собственной природе, решился на дело недостойное и непохвальное, однако ж весьма полезное для достижения его цели. Жила тогда в Риме некая Преция, которая была известна всему городу своей красотой и наглостью. Вообще-то она была ничем не лучше любой женщины, открыто торгующей собой, но у нее было умение использовать тех, кто посещал ее и проводил с ней время, для своих замыслов, касавшихся государственных дел и имевших в виду выгоду ее друзей. Благодаря этому в придачу к прочим своим притягательным свойствам она приобрела славу деятельного ходатая за своих поклонников, и ее влияние необычайно возросло. Когда же ей удалось завлечь в свои сети и сделать своим любовником Цетега, который в это время был на вершине славы и прямо-таки правил Римом, тут уже вся мощь государства оказалась в ее руках: в общественных делах ничто не двигалось без участия Цетега, а у Цетега – без приказания Преции. Так вот ее-то Лукуллу удалось привлечь на свою сторону подарками или заискиванием (впрочем, для этой надменной и тщеславной женщины сама по себе возможность делить с Лукуллом его честолюбивые замыслы казалась, вероятно, чрезвычайно заманчивой). Как бы то ни было, Цетег сразу принялся всюду восхвалять Лукулла и сосватал ему Киликию. Но стоило Лукул-

лу добиться своего – и ему уже не было нужды в дальнейшем содействии Преции или Цетега: все сограждане в полном единодушии поручили ему Митридатову войну, считая, что никто другой не способен лучше довести ее до конца: Помпей все еще бился с Серторием, Метелл был слишком стар, – а ведь только этих двоих и можно было считать достойными соперниками Лукулла в борьбе за звание полководца. Тем не менее и Котта, товарищ Лукулла по должности, после долгих и настоятельных просьб в сенате был послан с кораблями для охраны Пропонтиды и для обороны Вифинии.

7. И вот Лукулл во главе легиона, который он сам набрал в Италии, переправился в Малую Азию. Там он принял командование над остальными силами. Все войско было давно испорчено привычкой к роскоши и жаждой наживы, а особенно этим отличались так называемые фимбрианцы, которых совсем невозможно было держать в руках: сказывалась привычка к безначалию! Ведь это они во главе с Фимбрией убили своего консула и полководца Флакка, а затем и самого Фимбрию предали Сулле. Все это были люди строптивые и буйные, хотя в то же время храбрые, выносливые и обладавшие большим военным опытом. Однако Лукуллу удалось в короткое время сломить дерзость фимбрианцев и навести порядок среди остальных. Должно быть, им впервые пришлось тогда столкнуться с настоящим начальником и полководцем, ведь до сей поры перед ними заискивали, приучая их обращать воинскую службу в забаву.

Между тем дела у врагов обстояли следующим образом. Поначалу, когда Митридат двинул на римлян свое войско, изнутри прогнившее, хотя на первый взгляд блистательное и горделивое, он был, словно шарлатаны-софисты, хвастлив и надменен, но затем с позором пал. Однако неудача прибавила ему ума. Задумав начать войну во второй раз, он ограничил свои силы и их вооружение тем, что было действительно нужно для дела. Он отказался от пестрых полчищ, от устрашающих разноязыких варварских воплей, не приказывал больше готовить изукрашенного золотом и драгоценными камнями оружия, которое прибавляло не мощи своему обладателю, а только жадности врагу. Мечи он велел ковать по римскому образцу, приказал готовить длинные щиты и коней подбирал таких, что хоть и не нарядно разубраны, зато хорошо выучены. Пехоты он набрал сто двадцать тысяч и снарядил ее наподобие римской; всадников было шестнадцать тысяч, не считая серпоносных колесниц. К этому он прибавил еще корабли, на сей раз без раззолоченных шатров, без бань для наложниц и роскошных покоев для женщин, но зато полные оружием, метательными снарядами и деньгами. Закончив эти приготовления, царь вторгся в Вифинию. Города снова встречали его с радостью, и не только в одной Вифинии: всю Малую Азию охватил приступ прежнего недуга, ибо то, что она терпела от римских ростовщиков и сборщиков податей, переносить было невозможно. Впоследствии Лукулл прогнал этих хищных гарпий, вырывавших у народа его хлеб, но первоначально он лишь увещевал их, призывая к умеренности, чем и удерживал от полного отпадения общины, из которых, можно сказать, ни одна не хранила спокойствия.

8. Пока Лукулл был занят этими делами, Котта решил, что настал его счастливый час, и начал готовиться к битве с Митридатом. Приходили вести, что Лукулл подходит и уже остановился во Фригии, и вот Котта, воображая, что три-

умф почти что в его руках, и боясь, что придется делить славу с Лукуллом, поторопился со сражением – и достиг того, что в один день был разбит и на суше. и на море, потеряв шестьдесят судов со всеми людьми и четыре тысячи пехотинцев. Сам он был заперт и осажден в Халкедоне, так что ему оставалось ждать избавления только от Лукулла. Тогда стали раздаваться голоса, призывавшие Лукулла бросить Котту на произвол судьбы, идти вперед и захватить Митридатовы владения, пока они лишены защитников. Такие речи вели главным образом солдаты, досадовавшие, что Котта своим безрассудством не только навлек злую погибель на себя и своих подначальных, но и для них становится помехой как раз тогда, когда они могли бы выиграть войну без единой битвы. Однако Лукулл выступил перед солдатами с речью, в которой заявил, что предпочел бы вызволить из рук врагов хоть одного римлянина, нежели завладеть всем достоянием вражеским. Архелай (тот, что возглавлял войска Митридата в Беотии, но затем отложился от него и перешел на службу к римлянам) заверял, что стоит только Лукуллу появиться в Понтийском царстве, тотчас все оно окажется в его руках. Лукулл возразил, что он не трусливее обыкновенных охотников и не станет обходить зверя, чтобы идти войной на его опустевшее логово. После таких слов он двинулся на Митридата, имея в своем распоряжении тридцать тысяч пехотинцев и две с половиной тысячи конников.

Став лагерем в виду вражеских войск, он был поражен их многочисленностью и решил было в бой не вступать, а выиграть время, затягивая войну; однако Марий, военачальник Сертория, посланный им во главе отряда из Испании к Митридату, вышел навстречу Лукуллу и вызвал его на бой. Тот выстроил свои войска в боевой порядок, и противники уже вот-вот должны были сойтись, как вдруг, совершенно внезапно, небо разверзлось и показалось большое огненное тело, которое неслось вниз, в промежуток между обеими ратями; по виду своему оно более всего походило на бочку, а по цвету – на расплавленное серебро. Противники, устрашенные знамением, разошлись без боя. Это случилось, как рассказывают, во Фригии, около места, которое называют Офрия. Лукулл рассчитал, что при любых приготовлениях и самых больших средствах долгое время обеспечивать пропитанием в непосредственной близости от врага такое множество солдат, какое было у Митридата, – выше сил человеческих. Он велел привести к себе одного из пленных и сначала спросил его, много ли товарищей было с ним в одной палатке, а затем – сколько в палатке было запасено продовольствия. Когда тот ответил, Лукулл велел ему уйти и подверг такому же допросу другого, третьего, затем сопоставил количество заготовленного продовольствия с числом едоков и пришел к выводу, что запасы врагов кончатся в три-четыре дня. Это окончательно убедило его, что спешить с битвой не следует. Он велел делать в лагере огромные запасы, чтобы можно было, вдоволь обеспечив себя, поджидать, когда нужда доведет врага до крайности.

9. Тем временем Митридат замыслил напасть на кизикийцев, которые уже понесли большие жертвы в сражении при Халкедоне, – они потеряли четыре тысячи солдат и десять судов. Желая скрыть свои действия от Лукулла, он двинулся немедленно после ужина, темной и ненастной ночью, а на рассвете уже расположил свои силы перед городом, под горой Адрастии. Лукулл, узнав об

этом, отправился за ним следом. Довольный тем, что не пришлось столкнуться с неприятелем, еще не успев выстроить своих в боевой порядок, он разместил солдат лагерем возле деревни, название которой было Фракия; по природным качествам эта позиция наилучшим образом обеспечила господство над местностью и дорогами, по которым только и могло идти продовольствие солдатам Митридата. Предвидя в своих расчетах будущее, он не делал из них тайны, но когда лагерь был устроен и работы кончены, созвал солдат на сходку и гордо заявил, что через несколько дней добудет им бескровную победу.

Между тем Митридат окружил Кизик с суши десятью лагерями, занял кораблями пролив, отделяющий город от материка, и повел осаду с обеих сторон. Кизикийцы с полным бесстрашием относились к опасности, твердо решившись вынести любые беды, но сохранить верность римлянам; однако они не знали, где находится Лукулл, и отсутствие всяких о нем сведений внушало им тревогу. Между тем его лагерь находился от них так близко, что был им прекрасно виден, но их вводили в обман воины Митридата, которые, показывая на римлян, раскинувших на возвышенном месте свои палатки, говорили: "Видите? Это армянские и мидийские войска, их прислал на помощь Митридату Тигран!" Осажденные приходили в ужас от того, что такое множество врагов окружает их, и начинали думать, что даже если бы Лукулл и пришел, он уже не смог бы им помочь. Первым сообщил им о близости Лукулла Демонакт, посланец Архелая. Ему они не поверили, думая, что он лжет, чтобы утешить их в бедствиях, но тут явился мальчик, захваченный врагами в плен и сумевший бежать, и когда они принялись его расспрашивать, не слышно ли, где Лукулл, он принял это за шутку и засмеялся, а поняв, что они спрашивают всерьез, показал рукой на римский лагерь. Тогда к кизикийцам вернулась бодрость.

По Даскилийскому озеру плавали довольно большие челны, и вот Лукулл велел вытащить самый большой из них на берег и довезти на повозке до моря, а затем посадил в него столько воинов, сколько в нем поместилось. Ночью они незаметно переправились через пролив и пробрались в город.

10. Кажется, и само божество, благосклонно взирая на отвагу кизикийцев, старалось их ободрить, что проявилось как в иных очевидных знамениях, так в особенности в следующем. Когда наступил праздник Феррефаттий[8], у осажденных не было черной коровы для жертвы, и они вылепили из теста и поставили у алтаря ее изображение. Между тем посвященная богине корова, которую нарочно для этого откармливали, паслась, как и весь скот кизикийцев, на противоположном берегу пролива, однако в самый день празднества она покинула стадо, одна добралась вплавь до города и предоставила себя для жертвоприношения. Богиня сама явилась в сновидении городскому писцу Аристагору и молвила: "Вот, я пришла и веду на трубача понтийского флейтиста ливийского[9]. Возвести же гражданам, чтобы они ободрились!" Кизикийцы дивились такому вещанию, между тем на заре подул резкий северный ветер, и море взволновалось. Осадные машины царя, дивные творения фессалийца Никонида, придвинутые к стенам города, своим шумом и лязгом первыми дали понять, что произойдет в ближайшем будущем. Затем с невероятной силой забушевал южный ветер, в

короткое время он сокрушил все машины и среди прочих раскачал и повалил деревянную осадную башню в сотню локтей высотой. Рассказывают также, что многим жителям Илиона являлась во сне Афина. Богиня обливалась потом и, показывая свое разодранное одеяние, говорила, что только что пришла из Кизика, за граждан которого она билась. Илионцы даже показывают каменную плиту, на которой начертаны постановления и записи, касающиеся этого случая.

11. До сего времени Митридата обманывали его собственные полководцы, и он пребывал в неведении относительно голода, царившего в его лагере, досадуя на то, что кизикийцы все еще не сдаются. Но скоро настал конец его честолюбивому и воинственному пылу: он узнал, какая нужда терзала его солдат, доводя их до людоедства. Да, Лукулл не превращал войну в зрелище и не стремился к показному блеску: как говорится, он бил врага по желудку и прилагал все усилия к тому, чтобы лишить его пропитания. Поэтому, когда Лукулл занялся осадой какого-то укрепления, Митридат поспешил воспользоваться случаем и отослал в Вифинию всю свою конницу вместе с обозом и наименее боеспособную часть пехоты. Как только Лукулл узнал об этом, он поспешил ночью прибыть в лагерь и ранним утром (было все это зимой) пустился в погоню во главе десяти когорт и конницы. Преследователи попали в снежную бурю и терпели немалые трудности. Многие солдаты из-за холода выбились из сил и отстали, но с оставшимися Лукулл настиг врагов у реки Риндака и нанес им такое поражение, после которого женщины из Аполлонии выходили за стены собирать поклажу Митридатовых солдат и грабить трупы. Убито было врагов в этом сражении, надо полагать, множество, а захватить удалось шесть тысяч коней, несметное количество вьючного скота и пятнадцать тысяч пленных. Всю эту добычу Лукулл провел мимо вражеского лагеря. Меня удивляет утверждение Саллюстия[10], будто римляне тогда впервые увидели верблюдов. Неужели он полагает, что ни войску Сципиона, победившему в свое время Антиоха, ни тем римским солдатам, которые незадолго до того бились с Архелаем под Орхоменом и при Херонее, не было случая познакомиться с этим животным?

Митридат решил отступать как можно скорее и, чтобы отвлечь внимание Лукулла и задержать его с тыла, послал в Греческое море флот под командою Аристоника. Лукулл изменой захватил последнего почти в миг его отплытия, а при нем десять тысяч золотых, которыми тот надеялся подкупить кого-нибудь в римском войске. После этого Митридат бежал морем, а войско начальники пехоты повели сушей. Лукулл ударил на отступающих около реки Граника, взял множество пленных и перебил двадцать тысяч. Говорят, что если считать вместе и обозных и воинов, то у врагов погибло немногим меньше трехсот тысяч человек.

12. После этого Лукулл вступил в Кизик и насладился заслуженными почестями и любовью граждан. Затем он двинулся вдоль Геллеспонта, набирая корабли. Прибыв в Троаду, он расположился на ночлег в храме Афродиты, и ночью, во сне, ему предстала богиня, которая молвила:

Лев могучий, что спишь? От тебя недалеко олени!

Лукулл поднялся, созвал друзей и рассказал им о своем видении. Еще не рассветало, когда из Илиона пришли с известием, что возле Ахейской гавани показалось тринадцать царских пентер, плывущих на Лемнос. Лукулл немедленно вышел в море, захватил эти суда, убив начальствовавшего над ними Исидора, а затем двинулся дальше – против остальных. Враги в это время стояли на якоре. Они подтянули все суда вплотную к берегу и принялись ожесточенно биться с палуб, нанося урон солдатам Лукулла. Место было такое, что оказалось невозможным обойти корабли неприятеля, а так как Лукулловы суда качались на волнах, а суда противника спокойно стояли на твердом дне, одолеть их прямым натиском также было немыслимо. С трудом удалось Лукуллу высадить своих отборных солдат в таком месте острова, где к берегу хоть как-то можно было пристать, и, ударив на врагов с тыла, они одних перебили, других принудили рубить канаты и спасаться, уходя в море, а там неприятельские суда сталкивались друг с другом и попадали под таран кораблей Лукулла. Множество врагов было убито, а в числе пленных оказался сам Марий – полководец, присланный Серторием. Он был крив на один глаз, и еще перед нападением Лукулл отдал солдатам приказ не убивать одноглазых, чтобы Марий перед смертью претерпел поношение и позор.

13. Покончив с этим, Лукулл устремился в погоню уже за самим Митридатом. Он рассчитывал настигнуть его еще в Вифинии, где его должен быть запереть Воконий, посланный с кораблями в Никомедию, чтобы не дать царю бежать. Однако Воконий, занявшись посвящением в самофракийские таинства и торжествами по этому случаю, упустил время, и Митридат отплыл со своим флотом. Царь спешил уйти в воды Понта Эвксинского прежде, чем Лукулл за ним погонится, но его застигла сильная буря; часть судов она рассеяла, а прочие потопила, так что все взморье еще много дней было усеяно обломками кораблей, которые выбрасывал прибой. Грузовое судно, на котором плыл сам Митридат, из-за своей величины не могло подойти к берегу, и кормчие остановили его в разбушевавшемся море, среди ярости волн, но и на воде оно уже не могло держаться, так как в трюм набралась вода, и царю пришлось перейти на легкое пиратское суденышко, доверив свою жизнь морским разбойникам. Этим опасным способом ему удалось, вопреки всякому ожиданию, благополучно достичь Гераклеи Понтийской.

Таким образом, судьба не покарала Лукулла за его похвальбу перед сенатом. Когда сенаторы постановили выделить на постройку военных судов три тысячи талантов, он воспротивился этому и высокомерно заверил их в письме, что и без таких затрат и хлопот, с одними только кораблями союзников сумеет прогнать Митридата с моря. Не без божественной помощи это удалось ему: говорят, что бурю на понтийский флот наслала Артемида Приапская[11], гневаясь на ограбление своего храма и похищение кумира.

14. Многие советовали тогда Лукуллу на время прекратить военные действия; но он пренебрег этими советами и через Вифинию и Галатию вторгся во владения царя. Сначала он терпел недостаток в съестных припасах, так что тридцати тысячам галатов было приказано следовать за его войском и нести на плечах по медимну зерна, но он шел вперед, преодолевая все препятствия на

своем пути, и дождался такого изобилия, что бык стоил в лагере драхму, раб – четыре драхмы, а прочую добычу вообще ни во что не ставили и либо бросали, либо уничтожали. В самом деле, сбыть ее товарищу воин не мог – у того ведь тоже было всего вдоволь. Однако вплоть до самой Фемискиры и долины Фермодонта и конники и пехотинцы могли производить разрушения и грабежи лишь в сельских местностях, а потому стали укорять Лукулла, что он приводит все города к подчинению мирным путем и не дает им случая нажиться, взяв хотя бы один из них приступом. "Ведь вот и теперь, – говорили воины, – мы легко могли бы взять Амис, этот цветущий и богатый город, стоит только живее взяться за осаду, но нам приходится все бросить, чтобы идти за этим человеком в Тибаренскую и Халдейскую глушь воевать с Митридатом!" Не думал Лукулл, что все это доведет солдат до такого безумия, до какого они дошли впоследствии, и оставлял подобные речи без внимания, пропуская их мимо ушей. Скорее он находил нужным оправдывать свои действия перед тем, кто, напротив, обвинял его в медлительности за то, что, задерживаясь возле маловажных селений и городов, он дает Митридату возможность накопить силы. "Это-то мне и нужно, – возражал он им, – я медлю с умыслом: пусть царь снова усилится и соберет достаточные для борьбы войска, так, чтобы он оставался на месте и не убегал при нашем приближении. Или вы не видите, что за спиной у него беспредельные просторы пустыни, а рядом – Кавказ, огромный горный край с глубокими ущельями, где могут найти защиту и прибежище хоть тысячи царей, избегающих встречи с врагом. К тому же от Кабир всего несколько дней пути до Армении, а в Армении царствует Тигран, царь царей, который со своей ратью преграждает парфянам дорогу в Малую Азию, а греческие городские общины переселяет в Мидию, который завладел Сирией и Палестиной, а царей из рода Селевка предает смерти и уводит в неволю их жен и дочерей. И такой человек – родственник, зять Митридату! Уже если тот прибегнет к его защите, он не оставит его в беде и начнет с ними войну. Как бы нам, торопясь выгнать Митридата из его владений, не связаться на свою беду с Тиграном! Ведь он уже давно ищет предлога для войны с нами, а где же он найдет лучший, чем помочь в беде царственному родичу? К чему нам добиваться этого, зачем учить Митридата, к чьей помощи прибегнуть в борьбе против нас? Зачем загонять его в объятия Тиграна, когда он сам этого не хочет и считает за бесчестие? Не лучше ли будет дать ему время собрать собственные силы и снова воспрянуть духом – ведь тогда нам придется сражаться не с мидянами и армянами, а с колхами, тибаренами и каппадокийцами, которых мы много раз бивали!"

15. Таковы были соображения, по которым Лукулл долго стоял перед Амисом и не прилагал особого усердия к его осаде. Однако по окончании зимы он поручил осаду Мурене, а сам двинулся на Митридата, который в это время стоял в Кабирах, намереваясь там дать отпор римлянам. Царю удалось набрать около сорока тысяч пехотинцев и четыре тысячи всадников, на которых он возлагал особые надежды. Митридат перешел реку Лик и там, в долине, стал вызывать римлян на бой. Разыгралось конное сражение, и римляне бежали. Некий Помпоний, человек не безвестный, был ранен и попал в плен. Когда его, тяжко страдающего от ран, привели к Митридату и царь спросил его, станет ли он ему

другом, если будет пощажен, Помпоний ответил: "Если ты заключишь с римлянами мир – да. Если нет – я враг!". Митридат подивился ему и не причинил ему никакого зла.

Лукулл боялся сойти на равнину, так как перевес в коннице был на стороне врагов, но идти длинной горной дорогой, по лесистым, труднопроходимым местам он тоже не решался. По счастью, к нему, привели нескольких греков, которые прятались в какой-то пещере, и старший среди них, Артемидор, обещал Лукуллу послужить ему проводником и доставить в такое место, где войско может безопасно расположиться лагерем и где есть небольшое укрепление, нависающее над Кабирами. Лукулл поверил ему и с наступлением ночи велел развести костры и трогаться в путь. Благополучно миновав узкие проходы, он занял укрепление, и на заре враги снизу увидели, что он разбивает лагерь прямо над ними, в таком месте, откуда может, если пожелает, на них напасть, а если решит сидеть спокойно, будет для них недосягаем.

Ни та, ни другая сторона пока не намеревалась пытать удачу в битве. Но, как рассказывают, случилось так, что воины царя погнались за оленем, а наперерез им бросились римляне. Завязалась стычка, и к тем, и к другим на подмогу все время подходили товарищи, наконец, царские солдаты победили. Те римляне, которые из лагеря видели бегство своих товарищей, в негодовании сбежались к Лукуллу, упрашивая его вести их на врага и требуя подать сигнал к сражению. Но Лукулл решил показать им, чего стоит в трудах и опасностях войны присутствие умного полководца, и поэтому велел им не трогаться с места, а сам спустился на равнину и первым же беглецам, которые попались ему навстречу, приказал остановиться и идти с ним на врага. Те повиновались, а когда и остальные повернули назад и собрались все вместе, они без особого труда обратили врагов в бегство и гнались за ними до самого лагеря. Возвратившись к своему войску, Лукулл наложил на беглецов обычное в таких случаях позорное наказание: они должны были на глазах других воинов в одних туниках, без пояса, вырыть ров в двенадцать футов длиной.

16. Был в войске Митридата некто Олтак, из дандарийских правителей; дандарии – это одно из варварских племен, что живут по берегам Мэотиды. Человек этот в бою выказывал незаурядную силу и отвагу, мог подать совет в самых важных делах и к тому же отличался приятным обхождением и услужливостью. И вот этот Олтак постоянно вел ревнивый спор о первенстве с одним из единоплеменных правителей, что и побудило его обещать Митридату совершить великое деяние – убить Лукулла. Царь одобрил этот замысел и для вида несколько раз оскорбил Олтака, чтобы тому легче было разыграть ярость, после чего Олтак на коне перебежал к Лукуллу. Тот принял его с радостью и вскоре, испытав на деле его сметливость и готовность услужить, настолько привязался к нему, что иногда допускал его к своей трапезе и на совещания с военачальниками. Наконец дандарий решил, что благоприятный миг настал. Он велел слугам вывести своего коня за пределы лагеря, а сам в полдень, когда солдаты отдыхали, пошел к палатке полководца, рассчитывая, что никто не помешает ему войти: ведь он уже стал своим человеком и к тому же он может сказать, что у него важные вести. Он бы и вошел беспрепятственно, если бы Лукулла не спасло то,

что стольких полководцев сгубило, – сон. Как раз в это время Лукулл задремал, и Менедем, один из его слуг, стоявший у дверей, заявил Олтаку, что тот пришел не вовремя: Лукулл только что заснул после тяжких трудов и множества бессонных ночей. Олтак не послушался его и не ушел, сказав, что войдет и без спроса: ему-де нужно переговорить об очень нужном и важном деле. Тут Менедем рассердился и со словами: "Нет дела важнее, чем беречь Лукулла!" – вытолкал обеими руками надоедливого дандария. Тот, в страхе, тихонько выбрался из лагеря, сел на коня и вернулся в Митридатов лагерь, так ничего и не сделав. Вот так и дела человеческие, подобно снадобьям, получают спасительную или губительную силу в зависимости от обстоятельств.

17. Вскоре после этого Сорнатий с десятью когортами был отправлен на поиски продовольствия. За ним погнался Менандр, один из полководцев Митридата, но Сорнатий вступил с ним в бой, нанес ему немалый урон и обратил врагов в бегство. Затем, чтобы солдаты имели хлеб в полном изобилии, был снова отряжен с войсками Адриан. Митридат не оставил этого без внимания и выслал против него значительные пешие и конные силы под предводительством Менемаха и Мирона, однако, говорят, все они, кроме двоих человек, были изрублены римлянами. Митридат пытался скрывать размеры этой беды: просто-де его полководцы по неопытности своей потерпели небольшую неудачу. Но когда Адриан торжественно прошествовал мимо его лагеря в сопровождении множества повозок, груженных продовольствием и боевой добычей, царь впал в уныние, а его солдат охватили смятение и неодолимый страх. Тогда было решено немедленно отступать. Царские служители заблаговременно начали потихоньку вывозить свое имущество, а другим не давали этого делать. Солдаты пришли в ярость, столпились у выхода из лагеря и начались бесчинства: имущество расхищалось, а владельцев предавали смерти. Полководцу Дорилаю, у которого только и было, что пурпурное платье на плечах, пришлось из-за него погибнуть, жреца Гермея насмерть затоптали в воротах. Сам Митридат, брошенный всеми своими прислужниками и конюхами, смешался с толпой и насилу выбрался из лагеря. Он даже не смог взять из царских конюшен коня, и лишь позднее евнух Птолемей, заметив его в потоке бегущих, спрыгнул со своей лошади и уступил ее царю. В это время римляне уже напирали сзади и гнались за царем с такой быстротой, что вполне могли бы его захватить. Но когда они были совсем близко от цели, эта добыча, за которой так долго охотились, претерпевая тяжкие труды и великие опасности, из-за алчности и корыстолюбия солдат ускользнула от римлян, и Лукулл, уже победив, лишился победного венка! Дело было так. Погоня уже настигла было коня, уносившего Митридата, как вдруг между царем и преследователями оказался один из мулов, на которых везли золото: может быть, он попал туда случайно, а возможно, царь с умыслом подсунул его римлянам. Солдаты стали расхватывать поклажу мула, и пока они подбирали золото и дрались между собою, время было упущено. То был не единственный плод их алчности, горечь которого довелось тогда вкусить Лукуллу. Когда был взят в плен Каллистрат, поверенный тайн царя, солдатам было приказано отвести его в лагерь живым, но по дороге они приметили у него в поясе пятьсот золотых и убили его. Несмотря на это, Лукулл отдал им неприятельский лагерь на разграбление.

18. Когда Кабиры и почти все остальные крепости были взяты, в руках Лукулла оказались богатые сокровищницы, а также темницы, в которых было заточено множество греков и немало царевых родичей; все они уже давно считали себя погибшими, и Лукулл мало сказать принес им избавление – он воскресил их и вернул к жизни. Этому спасительному пленению подверглась в числе прочих и сестра Митридата Нисса, в то время как его жены и другие сестры, пребывавшие близ Фарнакии, казалось бы, вдали от бед, в полной безопасности, погибли жалким образом. Во время бегства Митридат послал к ним евнуха Бакхида, чтобы тот предал их смерти. Среди многих других женщин там были две сестры царя – Роксана и Статира, досидевшие в девицах до сорока лет, и две его жены, родом ионянки, – Береника с Хиоса и Монима из Милета. О последней особенно много говорили в Греции: когда в свое время царь домогался ее благосклонности и послал ей пятнадцать тысяч золотых, она на все отвечала отказом, пока он не подписал с ней брачный договор и не провозгласил ее царицей, прислав диадему. Она проводила дни свои в скорби и кляла свою красоту, которая дала ей господина вместо супруга и варварскую темницу вместо замужества и домашнего очага, заставила жить вдали от Греции, только во сне видя то счастье, на которое она понадеялась и на которое променяла подлинные блага эллинской жизни. Когда явился Бакхид и велел женщинам самим умертвить себя тем способом, который каждая из них сочтет самым легким и безболезненным, Монима сорвала с головы диадему, обернула ее вокруг шеи и повесилась, но тут же сорвалась. "Проклятый лоскут, – молвила она, – и этой услуги ты не оказал мне!" Плюнув на диадему, она отшвырнула ее и подставила горло Бакхиду, чтобы он ее зарезал. Береника взяла чашу с ядом, но ей пришлось поделиться им со своей матерью, которая была рядом и попросила ее об этом. Они испили вместе, но силы яда достало только на более слабую из них, а Беренику, выпившую меньше, чем было нужно, отрава никак не могла прикончить, и она мучилась до тех пор, пока Бакхид не придушил ее. О незамужних сестрах царя рассказывают, что если одна из них выпила яд с громкой бранью и отчаянными проклятиями, то у Статиры не вырвалось ни одного злого или недостойного ее слова; напротив, она воздала хвалу своему брату за то, что, сам находясь в смертельной опасности, он не забыл позаботиться, чтобы они умерли свободными и избегли бесчестия. Лукуллу, от природы доброму и человеколюбивому, все это доставило немалое огорчение.

19. Теперь он двинулся вперед и дошел до Талавр. Однако Митридат четырьмя днями раньше успел бежать к Тиграну в Армению, и Лукулл повернул назад. Он покорил халдеев и тибаренов, захватил Малую Армению и заставил сдаться много крепостей и городов. Затем он послал к Тиграну Аппия с требованием выдать Митридата, а сам направился к Амису, который все еще не был взят. Причиною тому было искусство полководца Каллимаха в изготовлении боевых машин и его невероятная изобретательность. Он делал все возможное в условиях осады, чтобы повредить римлянам, и впоследствии жестоко за это поплатился; Лукулл однако перехитрил его: неожиданно бросившись на приступ в тот час, когда Каллимах обыкновенно отпускал солдат на отдых, Лукулл овладел небольшой частью стены, и Каллимах бежал, но перед этим поджег город – то

ли для того, чтобы римляне не смогли воспользоваться победой, то ли стараясь облегчить себе бегство: в самом деле, когда беглецы садились на суда, всем было не до них. Когда мощное пламя, выбившись вверх, охватило стены, солдаты приготовились грабить. Сожалея о гибнущем городе, Лукулл пытался снаружи подать помощь и приказывал гасить пожар, но никто его не слушал. Войско с криком, гремя оружием, требовало добычи, пока Лукулл не уступил насилию, надеясь, что так, по крайней мере, сам город будет спасен от огня. Но он ошибся в своих расчетах. Солдаты повсюду шарили с факелами, всюду заносили огонь и таким образом сами погубили бóльшую часть строений. Когда на следующий день Лукулл вступил в город, он со слезами молвил друзьям, что если и прежде не раз завидовал Сулле, то сегодня как никогда дивится его удачливости: ведь он пожелал спасти Афины и спас их. "А я, – продолжал он, – хотел состязаться с ним в этом, но судьба уготовила мне славу Муммия!" Все же он старался помочь городу оправиться, насколько это было возможно. Пожар был затушен ливнем, который не без божьего изволения хлынул во время взятия города. Бóльшую часть домов, пострадавших от огня, Лукулл велел отстроить еще в своем присутствии; он ласково принял бежавших жителей Амиса, когда те возвратились в город, позволил селиться в нем всем желающим из греков, а также прирезал к землям города сто двадцать стадиев. Амис был основан афинянами в те времена, когда их держава процветала и владычествовала над морем; потому-то множество афинян, желавших спастись от тираннии Аристиона, приезжали сюда, селились и приобретали права гражданства. Так довелось им, убежав от домашних бед, отведать горя на чужбине. Впрочем, те из них, кто спасся, получили от Лукулла пристойную одежду и по двести драхм каждый, а затем были отпущены с миром.

В числе других попал тогда в плен и грамматик Тираннион. Мурена выпросил его себе и затем отпустил на волю, недостойно воспользовавшись этим подарком. Конечно, Лукулл не хотел, чтобы такому человеку, высоко почитаемому за свою ученость, пришлось стать сначала рабом, а потом вольноотпущенником: подарить ему мнимую свободу означало отнять настоящую[12]. Впрочем, это был не единственный случай, когда Мурена показал себя человеком, намного уступавшим в душевном благородстве своему полководцу.

20. Между тем Лукулл занялся городами Азии. Теперь, когда он освободился от военных забот, он хотел сделать так, чтобы и сюда пришли правосудие и законность – провинция была давно уже их лишена и терпела невероятные, несказанные бедствия. Откупщики налогов и ростовщики грабили и закабаляли страну: частных лиц они принуждали продавать своих красивых сыновей и девушек-дочерей, а города – храмовые приношения, картины и кумиры. Всех должников ожидал один конец – рабство, но то, что им приходилось вытерпеть перед этим, было еще тяжелее: их держали в оковах, гноили в тюрьмах, пытали на "кобыле"[13] и заставляли стоять под открытым небом в жару на солнцепеке, а в мороз в грязи или на льду, так что после этого даже рабство казалось им облегчением.

Застав провинцию в столь бедственном положении, Лукулл сумел в короткий срок избавить этих несчастных от их притеснителей. Он начал с того, что запретил брать за ссуду более одного процента[14]; далее, он ограничил общую сумму

процентов размером самой ссуды; наконец, третье и самое важное его постановление предоставляло заимодавцу право лишь на четвертую часть доходов должника. Ростовщик, включавший проценты в сумму первоначального долга, терял все. Не прошло и четырех лет, как благодаря этим мерам все долги были выплачены и имения вернулись к своим владельцам незаложенными. Эта всеобщая задолженность была последствием того штрафа в двадцать тысяч талантов, который наложил на провинцию Сулла. Ростовщикам уже было выплачено вдвое больше, чем они ссудили, но при помощи процентов они довели долг до ста двадцати тысяч талантов. Теперь эти ростовщики кричали в Риме, что Лукулл-де чинит им страшную несправедливость, и подкупами натравливали на него кое-кого из народных вожаков; эти дельцы пользовались большим влиянием и держали в руках многих государственных деятелей, которые были их должниками. Зато Лукулла теперь любили не только облагодетельствованные им общины, но и другие провинции считали за счастье получить такого правителя.

21. Тем временем Аппий Клодий направился к Тиграну (этот Клодий приходился братом тогдашней жене Лукулла). Сначала царские проводники повели его кружным путем, через верхнюю часть страны, заставив попусту потерять много времени. Узнав от одного вольноотпущенника-сирийца прямую дорогу, Клодий отказался от прежней – длинной и запутанной, как софизм, и распростился с проводниками-варварами. Через несколько дней он переправился через Евфрат и прибыл в Антиохию "при Дафне"[15]. Там ему и велено было дожидаться Тиграна: тот находился в отлучке, занятый покорением каких-то финикийских городов. За это время Клодий успел привлечь на свою сторону многих правителей, втайне тяготившихся господством армянского владыки (в их числе был и Зарбиен, царь Гордиены). Многие порабощенные города тайно отправляли к нему посланцев, и он обещал им помощь от имени Лукулла, но пока советовал воздерживаться от решительных действий. Для греков армянское владычество было невыносимым бременем, в особенности потому, что под влиянием своих необычайных удач царь преисполнился дерзости и высокомерия: ему стало казаться, будто все, что составляет предмет зависти и восхищения со стороны обыкновенных людей, не только находится в его власти, но нарочито ради него создано. Когда Тигран начинал, его возможности и планы были совсем ничтожны, а теперь он покорил множество народов, сломил, как не удавалось еще никому другому, мощь парфян и переполнил Месопотамию греками, которых он во множестве насильно переселил туда из Киликии и Каппадокии. Из других народов он согнал с прежних мест также кочевые племена арабов, которых поселил поближе к своей столице, чтобы использовать их для торговых надобностей. При нем находилось много царей на положении слуг, а четырех из них он постоянно держал подле себя в качестве провожатых или телохранителей: когда он ехал на коне, они бежали рядом в коротеньких хитонах, а когда сидел и занимался делами – становились по бокам, скрестив руки на груди. Считалось, что эта поза наилучшим образом выражает полное признание своей рабской зависимости: принимавшие ее как бы отдавали в распоряжение господина вместе со своим телом и свою свободу и выражали готовность все снести, стерпеть без возражений.

Однако Аппий, нимало не смущенный и не испуганный этим пышным зрелищем, с самого начала напрямик заявил, что пришел с тем, чтобы или получить Митридата, который должен быть проведен в триумфальном шествии Лукулла, или объявить Тиграну войну. Тигран силился слушать его с невозмутимым лицом и деланной умешкой, но от присутствовавших не укрылось, до какой степени поразила его прямота речи этого юноши. Едва ли не впервые ему пришлось услышать голос свободного человека – впервые за те двадцать пять лет, что он царствовал, или, лучше сказать, глумился над народами. Ответ, данный им Аппию, гласил, что Митридата он не выдаст, а если римляне начнут войну, окажет им отпор. Разгневавшись на Лукулла за то, что тот именовал его в письме просто "царем", а не "царем царей", он и сам в своем ответе не назвал его императором. Однако Аппию он послал роскошные дары, а когда тот отказался их принять, добавил к ним еще новые. Аппий, не желая, чтобы думали, будто он отвергает подарки из вражды к Тиграну, взял одну чашу, а остальное отослал обратно и поспешил вернуться к своему полководцу.

22. До сего времени Тигран не разу не пожелал ни видеть Митридата, ни говорить с ним – это со своим-то родичем, лишившимся столь великого царства! Он обращался с ним презрительно и надменно и держал его, словно узника, вдали от себя, в болотистых и нездоровых местах. Однако теперь он вызвал его ко двору, оказывая знаки почтения и любви; цари устроили тайное совещание, стараясь устранить причины для взаимного недоверия – на беду своим приближенным, ибо на них они сваливали вину. В числе последних оказался Метродор из Скепсия, человек немалой учености и не чуждый красноречия, который при Митридате достиг такого влияния, что его называли "отцом царя". Рассказывают, что когда Митридат послал его к Тиграну просить помощи против римлян, Тигран спросил: "А сам ты, Метродор, как посоветуешь мне поступить в этом деле?" То ли желая блага Тиграну, то ли зла Митридату, Метродор ответил, что как посол он просит за своего государя, но как советчик рекомендует отказать ему. Теперь Тигран все рассказал Митридату, попросив его не быть с Метродором слишком жестоким; но тот был немедленно умерщвлен, и Тиграну пришлось раскаиваться в своей откровенности. Впрочем, откровенность эта была не единственной причиной гибели Метродора, она только дала последний толчок недобрым намерениям Митридата, который уже давно втайне ненавидел своего приближенного. Это стало совершенно очевидно, когда были захвачены тайные бумаги царя, среди которых был приказ о казни Метродора. Тигран устроил Метродору великолепные похороны, не пожалев никаких трат, чтобы почтить после смерти того, кого он предал при жизни.

При дворе Тиграна нашел конец и ритор Амфикрат, если только стоит упомянуть и его ради его афинского происхождения. По рассказам, он изгнанником прибыл в Селевкию на Тигре, и, когда его попросили там давать уроки красноречия, он кичливо и презрительно ответил: "В лохани дельфин не уместится!" Потом он уехал ко двору Клеопатры, Тиграновой супруги и дочери Митридата, но вскоре был оклеветан; ему запретили всякие сношения с греками, и он уморил себя голодом. Он тоже был с почестями похоронен Клеопатрой, и могила его находится близ Сафы (это название какой-то местности в той стране).

23. Тем временем Лукулл, полной мерой одарив провинцию Азию правосудием и миром, не пренебрег и тем, что служит к веселью и удовольствию. Остановившись в Эфесе, от старался угодить городам победными шествиями и празднествами, состязаниями атлетов и гладиаторов. Со своей стороны, города отвечали ему учреждением в его честь Лукулловых игр и той искренней преданностью, которая дороже всяких почестей.

Когда возвратился Клодий и решено было идти войной на Тиграна, Лукулл снова направился с войском в Понтийское царство и осадил Синопу – или, лучше сказать, захвативших ее киликийцев, которые держали сторону царя. Враги ночью бежали, успев умертвить множество синопцев и поджечь город; когда Лукулл обнаружил их бегство, он вступил в Синопу, перебил восемь тысяч неприятелей, которые попали в его руки, а гражданам вернул их имущество и вообще проявил особую заботу об этом городе, причиной чего было одно видение. Некто предстал перед ним во сне с такими словами: "Подойди поближе, Лукулл! Автолик здесь и желает встретиться с тобой!" Проснувшись, Лукулл сначала не мог понять, что означает его сновидение. В тот же день он взял Синопу и во время преследования бежавших к своим судам киликийцев увидел лежащее у берега изваяние, которое киликийцы не успели дотащить до корабля: это было одно из лучших творений Сфенида. И вот кто-то говорит Лукуллу, что это изваяние изображает Автолика, героя, основавшего Синопу! Этот Автолик, как передают, ходил с Гераклом из Фессалии в поход на амазонок, а отцом его был Деимах; когда он вместе с Демолеонтом и Флогием плыл назад, его корабль разбился возле Педалия на полуострове, однако сам он вместе с доспехами и товарищами спасся и отвоевал у сирийцев Синопу; до этого городом владели сирийцы, согласно преданию, возводившие свой род к Сиру, сыну Аполлона, и Синопе, дочери Асопа. Когда Лукулл услышал все это, ему пришло на ум наставление Суллы, который в своих "Воспоминаниях" советует ничего не считать столь достоверным и надежным, как то, что возвещено сновидением.

Между тем он получил известие, что Митридат и Тигран намерены в ближайшее время вступить со своими силами в Ликаонию и Киликию, чтобы первыми открыть военные действия, вторгнувшись в Азийскую провинцию. Это заставило его подивиться армянскому царю: если уж тот имел намерение напасть на римлян, почему он не заключил союз с Митридатом, когда понтиец был в расцвете могущества, почему не соединил свои войска с его ратью, когда та еще была полна мощи, зачем дал ему пасть и обессилеть, а теперь начинает войну при ничтожных надеждах на успех, обрекая себя на погибель вместе с теми, кто уже не может оправиться и подняться?

24. Когда к тому же Махар, сын Митридата, правивший Боспорским царством, прислал Лукуллу венец ценой в тысячу золотых с просьбой признать его другом и союзником римского народа, Лукулл счел, что прежняя война уже окончена, и, оставив Сорнатия с шеститысячным отрядом стеречь Понтийскую область, сам с двенадцатью тысячами пехоты и меньше чем тремя тысячами конницы отправился вести следующую войну. Могло показаться, что какой-то дикий, враждебный здравому смыслу порыв гонит его в средоточие воинственных племен с их бесчисленной конницей, в необозримую страну, отовсюду окру-

женную глубокими реками и горами, на которых не тает снег. Его солдаты, которые и без того не отличались послушанием, шли в поход неохотно, открыто выражая свое недовольство. Тем временем в Риме народные вожаки выступали с шумными нареканиями и обвинениями против Лукулла: он-де бросается из одной войны в другую, – хотя государство не имеет в том никакой надобности, – лишь бы оставаться главнокомандующим и по-прежнему извлекать выгоду из опасностей, в которые он ввергает отечество. Со временем эти наветы достигли своей цели.

Между тем Лукулл поспешно проделал путь до Евфрата и огорчился, найдя реку разлившейся и мутной от зимних ливней: он думал, что будет очень долгим и хлопотным делом собрать плоты и навести переправу. Однако с вечера вода стала убывать, за ночь еще спала, и к утру уже можно было видеть реку, снова вошедшую в берега. Когда местные жители заметили, что на месте брода поднялись маленькие островки и река вокруг них обмелела, они стали воздавать Лукуллу божеские почести, ибо раньше такие вещи случались редко, а теперь, как им казалось, река сама, по доброй воле, покорно и кротко подчинилась ему, дав возможность переправиться быстро и без труда. Итак, Лукулл воспользовался счастливым случаем и перевел войска через Евфрат. При переправе ему было благоприятное знамение. В тех местах пасутся коровы, посвященные персидской Артемиде, которую варвары, обитающие по ту сторону Евфрата, чтут превыше всех божеств; эти коровы предназначаются только для жертвоприношений, они вольно бродят по округе, клейменные тавром богини в виде светоча, и изловить в случае надобности одну из них стоит немалого труда. И вот во время переправы Лукуллова войска через Евфрат одна из этих коров подошла к камню, который считается посвященным богине, встала на него и, наклонив голову так, словно ее пригнули веревками, предала себя Лукуллу на заклание. Он принес также быка в жертву Евфрату в благодарность за благополучную переправу. Этот день войско отдыхало, а начиная со следующего Лукулл стал продвигаться по Софене, ничем не обижая местных жителей, которые охотно покорялись ему и радушно принимали римское войско. Когда солдаты выражали желание захватить крепость, в которой, по слухам, находились большие сокровища, Лукулл ответил: “Возьмите лучше вот ту крепость! – и показал на далекие горы Тавра, – а это все и так достанется победителям”. Поспешно продолжая путь, он перешел Тигр и вступил в Армению.

25. Первому вестнику, который сообщил Тиграну о приближении Лукулла, вместо награды отрубили голову; больше никто об этом не заговаривал, и Тигран продолжал пребывать в спокойном неведении, когда пламя войны уже подступало к нему со всех сторон. Он слушал только тех, кто твердил, что Лукулл явит себя великим полководцем, если у него хватит смелости хотя бы дождаться Тиграна в Эфесе и не убежать из Азии, едва завидев такую несметную рать. Да, не всякий ум способен остаться непомраченным после великих удач, как не всякое тело в силах вынести много неразбавленного вина. Первым из Тиграновых приближенных осмелился открыть ему правду Митробарзан. И он тоже получил за свою откровенность плохую награду – во главе трех тысяч конницы и великого множества пехоты он был немедленно выслан против Лукулла с нака-

зом самого полководца взять живым, а остальных растоптать! В это время часть войска Лукулла уже расположилась лагерем, а остальные были еще в пути; когда передовая стража сообщила о приближении неприятеля, Лукулл был обеспокоен тем, что солдаты не все в сборе и не выстроены в боевую линию и нападение врагов может вызвать замешательство. Устройство лагеря он взял на себя, а своего легата Секстилия выслал вперед с тысячью шестьюстами конных и немного бóльшим числом тяжелой и легкой пехоты, приказав ему приблизиться к неприятелю и выжидать, пока не придет известие, что оставшиеся с Лукуллом солдаты уже разместились в лагере. Секстилий так и хотел поступить, но Митробарзан дерзким нападением принудил его вступить в бой, и началось сражение. Митробарзан пал с оружием в руках, его солдаты, за исключением немногих, были перебиты при бегстве.

После этого Тигран оставил Тигранокерты, огромный город, основанный им самим, и отступил к Тавру; туда он начал отовсюду собирать войска. Чтобы не дать ему времени на эти приготовления, Лукулл выслал Мурену, поручив ему нападать на идущие к Тиграну силы, мешая их соединению, а также Секстилия – чтобы тот преградил дорогу огромному отряду арабов, который тоже шел на помощь царю. Секстилий напал на арабов, когда они были заняты устройством лагеря, и перебил бóльшую часть их; в это же время Мурена, следуя за Тиграном по пятам, улучил миг, когда тот проходил узким и тесным ущельем, по которому растянулось его войско, и напал на него. Сам Тигран бежал, бросив весь свой обоз; множество армян погибло, а еще больше было захвачено в плен.

26. И вот, когда дела шли столь удачно, Лукулл снялся с лагеря, пошел на Тигранокерты и, расположившись у стен этого города, начал осаду. В Тигранокертах жило множество греков, насильно переселенных из Киликии, и варваров, которых постигла та же судьба – адиабенцев, ассирийцев, гордиенцев, каппадокийцев, родные города которых Тигран разрушил, а самих пригнал сюда и принудил здесь поселиться. Тигранокерты изобиловали сокровищами и дорогими приношениями богам, ибо частные лица и правители наперебой расширяли и украшали город, желая угодить царю. Потому-то Лукулл усиленно вел осаду, рассчитывая, что Тигран не выдержит, но уступит гневу и, вопреки собственному намерению, придет, чтобы дать решительное сражение. И он рассчитал верно. Правда, не раз – и через нарочных, и в письмах – Митридат советовал Тиграну уклоняться от сражения, но при помощи конницы отрезать неприятеля от подвоза продовольствия. Столь же настоятельно уговаривал царя быть осторожнее и избегать встречи с «неодолимым», как он говорил, римским оружием и Таксил, который прибыл от Митридата и принимал участие в походе. Сначала Тигран спокойно выслушивал такие советы, но когда собрались к нему со всеми силами армяне и гордиенцы и явились во главе своих войск мидийские и адиабенские царьки, когда от Вавилонского моря прибыли полчища арабов, а от Каспийского – толпы альбанов и сопредельных им иберов, да к ним еще присоединились, тоже в немалом числе, вольные племена с берегов Аракса, привлеченные лаской и подарками Тиграна, – тут уж и на царских пирах, и в царском совете только и слышны были самонадеянные похвальбы и угрозы в духе варваров. Таксилу стала угрожать казнь за то, что он выступает против битвы, и

даже самого Митридата Тигран заподозрил в том, что тот из зависти старается отговорить его от великого подвига. Именно поэтому он не стал его дожидаться, чтобы не делить с ним славу, и выступил со всем своим войском. По рассказам, он жаловался при этом своим друзьям на великую досаду, охватывающую его при мысли, что придется померяться силами с одним Лукуллом, а не со всеми римскими полководцами сразу. Его самонадеянность нельзя назвать совсем уж безумной и безрассудной – ведь в своей рати он видел столько племен и царей, столько боевых колонн тяжелой пехоты, такие тучи конницы! Действительно, лучников и пращников у него было двадцать тысяч, всадников – пятьдесят пять тысяч, из которых семнадцать тысяч были закованы в броню (это число приводится в донесении Лукулла сенату), тяжелой пехоты полтораста тысяч (в соединениях различной численности). Работников, которые были заняты прокладыванием дорог, наведением мостов, очисткой рек, рубкой леса и другими работами, было тридцать пять тысяч, они были выстроены позади бойцов и придавали войску еще более внушительный вид, вместе с тем увеличивая его мощь.

27. Когда Тигран, перевалив через Тавр, показался со своей ратью и увидел расположившееся у Тигранокерт римское войско, осажденные варвары встретили его появление рукоплесканиями и оглушительными криками и со стен стали с угрозами показывать римлянам на армян. На военном совете у Лукулла одни предлагали идти навстречу Тиграну, сняв осаду, другие же говорили, что нельзя оставлять позади себя столько неприятелей, а стало быть, нельзя и прекращать осаду. Лукулл объявил, что обе стороны, каждая порознь, неправы, но вместе они дают хороший совет, и разделил войско на две части: Мурену с шестью тысячами пехотинцев он оставил продолжать осаду, а сам взял с собой двадцать четыре когорты, которые составляли не более десяти тысяч тяжеловооруженной пехоты, а также всю конницу и около тысячи пращников и стрелков из лука и двинулся с ними на врага. Когда он остановился лагерем у реки, в широкой долине, его войско показалось Тиграну совсем ничтожным. Это доставило льстецам царя повод для острот: одни изощрялись в насмешках, другие потехи ради метали жребий о будущей добыче, и не было полководца или царька, который не обратился бы к Тиграну с просьбой поручить все дело ему одному, а самому сидеть в качестве зрителя. Самому Тиграну тоже захотелось показать себя изящным остроумцем, и он сказал своим всем известные слова: «Для посольства их много, а для войска мало». Так, в шутках и забавах, прошел этот день.

На рассвете следующего дня Лукулл вывел своих людей в полном вооружении. Неприятельское войско стояло к востоку от реки, между тем река делает там поворот на запад, и в этом направлении находится самое удобное место для переправы; и вот, когда Лукулл поспешно повел туда войско, Тигран вообразил, что он отступает. Он подозвал к себе Таксила и сказал ему со смехом: «Видишь, как бегут твои “неодолимые” римские пехотинцы?» Таксил молвил в ответ: «Хотелось бы мне, государь, чтобы ради твоей счастливой судьбы совершилось невозможное! Но ведь эти люди не надевают в дорогу свое самое лучшее платье, не начищают щитов и не обнажают шлемов, как теперь, когда они вынули

доспехи из кожаных чехлов. Этот блеск показывает, что они намерены сражаться и уже сейчас идут на врага». Он еще не кончил говорить, как Лукулл повернул свои войска, показался первый орел[16] и когорты стали выстраиваться по центуриям для переправы. Тигран с трудом пришел в себя, словно после опьянения, и два или три раза воскликнул: «Это они на нас?» Среди великого смятения его полчища начали строиться в боевой порядок. Сам царь принял командование над средней частью войска, левое крыло доверил адиабенскому царю, а правое, в передних рядах которого находилась также бóльшая часть броненосной конницы – мидийскому.

Когда Лукулл еще только собирался переходить реку, некоторые из военачальников убеждали его остерегаться этого дня – одного из несчастных, так называемых «черных» дней года: в этот день некогда погибло в битве с кимврами римское войско, которым предводительствовал Цепион. Но Лукулл ответил достопамятным словом: «Что ж, я и этот день сделаю для римлян счастливым!» Это был канун октябрьских нон[17].

28. Дав такой ответ и призвав солдат ободриться, он переправился через реку и сам пошел на врага впереди своего войска; на нем был блестящий чешуйчатый панцирь из железа и обшитая бахромой накидка. Он сразу же обнажил меч – в знак того, что с этим противником, привыкшим бить издали стрелами, надо не медля сойтись врукопашную, поскорее пробежав пространство, простреливаемое из лука. Тут он заметил, что закованная в броню конница, на которую неприятель возлагал особые надежды, выстроена под холмом с плоской и широкой вершиной, причем дорога в четыре стадия длиною, которая вела на вершину, нигде не была трудной или крутой. Тогда он приказал находившимся в его распоряжении фракийским и галатским всадникам ударить на неприятельскую конницу сбоку и мечами отбивать ее копья: ведь вся сила этой броненосной конницы – в копьях, у нее нет никаких других средств защитить себя или нанести вред врагу, так как она словно замурована в свою тяжелую, негнущуюся броню. Сам Лукулл во главе двух когорт устремился к холму; солдаты шли за ним, полные решимости, ибо они видели, что их полководец, с оружием в руках, пеший, первым идет на врага, деля с ними труды и опасности. Взойдя на холм и встав на такое место, которое отовсюду было хорошо видно, он вскричал: «Победа наша, наша, соратники!» С этими словами он повел солдат на броненосную конницу, наказав при этом не пускать больше в ход дротиков, но подходить к врагу вплотную и разить мечом в бедра и голени – единственные части тела, которые не закрывала броня. Впрочем, во всем этом не оказалось надобности: броненосные всадники не дождались нападения римлян, но с воплями обратились в постыднейшее бегство, врезавшись со своими отягощенными броней конями в строй своей же пехоты, прежде чем та успела принять какое-либо участие в сражении. Так без пролития крови было наголову разбито столь огромное войско. Тиграновы воины бежали, или, вернее, пытались бежать, – из-за густоты и глубины своих рядов они сами же себе не давали дороги, – и началась страшная резня. Тигран в начале битвы пустился в бегство в сопровождении немногих спутников. Увидев, что сын делит с ним его беду, он снял со своей головы диадему и, прослезившись, вручил ему, приказав спасаться другой дорогой,

используя любую возможность. Но юноша не осмелился надеть диадему и отдал ее на сохранение самому надежному из своих слуг. Случилось так, что этот слуга попал в плен, и таким образом диадема Тиграна была присоединена к остальной военной добыче. Говорят, что у неприятеля погибло свыше ста тысяч пехотинцев, а из всадников не ушел живым почти никто. У римлян было ранено сто человек и убито пять.

Философ Антиох в сочинении «О богах», говоря об этой битве, утверждает, что солнце еще не видело ей подобной, а другой философ, Страбон, в «Исторических записках» рассказывает, что сами римляне чувствовали себя пристыженными и смеялись над собою, оттого что подняли оружие против такого сброда. По словам Ливия[18], римляне никогда не вступали в бой с врагом, настолько превосходящим их численностью: в самом деле, победители вряд ли составляли и двадцатую часть побежденных. Что касается самых способных и опытных в военном деле римских полководцев, то они больше всего хвалили Лукулла за то, что он одолел двоих самых прославленных и могущественных царей двумя противоположными средствами – стремительностью и неторопливостью: если Митридата, находившегося в то время в расцвете своего могущества, он вконец измотал, затягивая войну, то Тиграна сокрушил молниеносным ударом. Во все времена не много было таких, как он, полководцев, которые выжиданием прокладывали бы себе путь к действию, а отважным натиском обеспечивали безопасность.

29. Как раз поэтому Митридат и не спешил, полагая, что Лукулл будет вести войну со своей обычной осторожностью, уклоняясь от битв. Он неторопливо шел на соединение с Тиграном, как вдруг ему повстречалось несколько армян, в смятении и ужасе отступавших по той же дороге. Он начал догадываться, что случилось недоброе. Затем он встретил безоружных и израненных беглецов уже в большем числе и от них услышал о поражении, после чего принялся разыскивать Тиграна. Найдя его всеми покинутым и жалким, Митридат не стал припоминать ему былых обид, – напротив, он сошел с коня и начал вместе с ним оплакивать их общее горе, а затем предоставил в его распоряжение слуг из собственной свиты и стал ободрять его надеждами на будущее. После это они принялись снова набирать войско.

Между тем в Тигранокертах греческое население восстало против варваров с намерением передать город Лукуллу, и тот взял его приступом. Забрав находившиеся в Тигранокертах сокровища, он самый город отдал на разграбление солдатам, которые нашли в нем, наряду с прочим добром, на восемь тысяч талантов одной монеты; помимо этого, он роздал им из добычи по восемьсот драхм на каждого. Узнав, что в городе находится множество актеров, которых Тигран отовсюду набрал для торжественного открытия выстроенного им театра, Лукулл использовал их для игр и зрелищ по случаю своей победы. Греков Лукулл отпустил на родину, снабдив на дорогу деньгами, и точно так же поступил с варварами, насильно поселенными в Тигранокертах. Так разрушение одного города дало возможность возродиться многим, вернув им жителей; эти города чтили теперь Лукулла как своего благодетеля и нового основателя.

Успешно шли у Лукулла и все прочие дела, и он заслуживал этого – ведь он больше стремился к тем похвалам, которые воздаются за правосудие и человеколюбие, нежели к тем, которыми награждают военные подвиги. Последними он в немалой степени был обязан войску, а еще более – судьбе, в первых же сказывалась его душевная кротость и отличное воспитание, и именно этими качествами Лукулл без оружия покорял чужеземные народы. Так, к нему явились царьки арабов, отдавая в его руки свои владения; к нему примкнуло также племя софенцев. У гордиенцев он вызвал такую преданность, что они хотели было оставить свои города и с женами и детьми следовать за ним. Причиной тому послужило вот что. Зарбиен, царь гордиенский, как уже говорилось, вел с Лукуллом через Аппия тайные переговоры о союзе, так как тяготился тираническим владычеством Тиграна. На него донесли и он был казнен, причем вместе с ним погибли его дети и жена (это было еще до вторжения римлян в Армению). Лукулл не забыл об этом: вступив в страну гордиенцев, он устроил Зарбиену торжественные похороны, причем погребальный костер был украшен тканями, царским золотом и отнятыми у Тиграна драгоценностями; своими руками Лукулл зажег его и вместе с друзьями и близкими покойного совершил заупокойное возлияние, именуя Зарбиена другом и союзником римского народа. По приказу Лукулла ему был также поставлен памятник, который стоил немалых денег, – ведь Лукулл нашел во дворце Зарбиена великое множество золота и серебра и три миллиона медимнов зерна, так что и солдатам было чем поживиться, и Лукулл заслужил всеобщее восхищение тем, что вел войну на средства, приносимые ею самой, не беря ни драхмы из государственной казны.

30. В это время к нему явилось посольство и от парфянского царя с предложением дружбы и союза. Лукулл был рад этому и со своей стороны отправил к парфянину послов, но те уличили этого царя в предательстве: он тайно просил у Тиграна Месопотамию в виде платы за союз с ним. Когда Лукулл узнал об этом, он решил оставить в покое Тиграна и Митридата, считая этих противников уже сломленными, а идти на парфян, чтобы померяться с ними силами. Очень уж заманчивым казалось ему одним воинственным натиском, словно борцу, одолеть трех царей и с победами пройти из конца в конец три величайшие под солнцем державы. Поэтому он отправил в Понтийскую область Сорнатия и другим военачальникам отдал приказ вести к нему размещенные там войска (он намеревался выступить в подход из Гордиены). Однако если эти военачальники и раньше встречали со стороны воинов угрюмое неповиновение, то тут им пришлось убедиться в полной разнузданности своих подчиненных. Ни лаской, ни строгостью они ничего не могли добиться от солдат, которые громко кричали, что даже и здесь они не намерены оставаться и уйдут из Понта, бросив его без единого защитника. Когда вести об этом дошли до Лукулла, они оказали дурное воздействие и на ту часть войска, что была при нем. Привыкнув к богатству и роскоши, солдаты сделались равнодушны к службе и желали покоя; узнав о дерзких речах своих понтийских товарищей, они называли их настоящими мужчинами и стали говорить, что этот пример достоин подражания: ведь своими подвигами они давно заслужили себе право на избавление от трудов и отдых!

31. Такие-то речи, и еще похуже, приходилось слушать Лукуллу. Он отказал-

ся от похода на парфян и в разгар лета снова выступил против Тиграна. Когда он перевалил через Тавр, его привело в отчаяние то, что поля были еще зелены – настолько запаздывают там времена года из-за холодного воздуха! Все же он спустился, дважды или трижды разбил армян, которые осмеливались на него нападать, и начал беспрепятственно разорять селения; ему удалось при этом захватить хлебные запасы, приготовленные для Тиграна, и таким образом он обрек неприятелей на лишения, которых перед этим опасался сам. Лукулл неоднократно пытался вызвать армян на бой, окружая их лагерь рвами или разоряя страну у них на глазах; однако они, после того как он столько раз наносил им поражения, сидели смирно. Тогда он двинулся к Артаксатам, Тиграновой столице, где находились малолетние дети царя и его жены, – уж этого города, думал он, Тигран без боя не уступит!

Рассказывают, что карфагенянин Ганнибал, после того как Антиох окончательно проиграл войну с римлянами, перешел ко двору Артакса Армянского, которому дал множество полезных советов и наставлений. Между прочим он приметил местность, чрезвычайно удачно расположенную и красивую, но лежавшую в запустении, и, сделав предварительные наметки для будущего города, позвал Артакса, показал ему эту местность и убедил застроить ее. Царь остался доволен и попросил Ганнибала, чтобы тот сам взял на себя надзор над строительством. Возник большой и очень красивый город, которому царь дал свое имя и провозгласил его столицей Армении.

На этот город и двинулся теперь Лукулл, и Тигран не мог этого снести. Он выступил со своим войском в поход и на четвертый день расположился лагерем возле римлян; его отделяла от них река Арсаний, через которую римлянам необходимо было переправиться на пути к Артаксатам. Лукулл принес богам жертвы, словно победа уже была в его руках, и начал переправлять войско, выстроив его таким образом, что впереди находилось двенадцать когорт, а остальные охраняли тыл, чтобы враг не ударил римлянам в спину. Ведь перед ними выстроилось великое множество конницы и отборных бойцов врага, а в первых рядах заняли место мардийские лучники на конях и иберийские копейщики, на которых – среди иноплеменных солдат – Тигран возлагал особые надежды, как на самых воинственных. Но с их стороны не последовало никаких подвигов: после небольшой стычки с римской конницей они не выдержали натиска пехоты и разбежались кто куда. Римские всадники погнались за ними и тоже рассыпались в разные стороны, но в этот миг вышла вперед конница Тиграна. Лукулл был устрашен ее грозным видом и огромной численностью и велел своей коннице прекратить преследование. Сам он первым ударил на атропатенцев, чьи лучшие силы находились как раз против него, и сразу же нагнал на них такого страха, что они побежали прежде, чем дошло до рукопашной. Три царя участвовали в этой битве против Лукулла, и постыднее всех бежал, кажется Митридат Понтийский, который не смог выдержать даже боевого клича римлян. Преследование продолжалось долго и затянулось на всю ночь, пока римляне не устали не только рубить, но даже брать пленных и собирать добычу. По утверждению Ливия, если в первой битве потери неприятеля были многочисленнее, то на этот раз погибли и попали в плен более знатные и видные люди.

32. Воодушевленный и ободренный таким успехом, Лукулл вознамерился продолжить свой путь в глубь страны и окончательно сломить сопротивление врага. Но уже в пору осеннего равноденствия неожиданно наступила жестокая непогода: почти беспрестанно сыпал снег, а когда небо прояснилось, садился иней и ударял мороз. Лошади едва могли пить ледяную воду; тяжело приходилось им на переправах, когда лед ломался и острыми краями рассекал им жилы. Бóльшая часть этой страны изобилует густыми лесами, ущельями и болотами, так что солдаты никак не могли обсушиться: во время переходов их заваливало снегом, а на привалах они мучились, ночуя в сырых местах. Поэтому после сражения они всего несколько дней шли за Лукуллом, а затем начался ропот. Сначала они обращались к нему с просьбами через военных трибунов, но затем их сходки стали уже более буйными, и ночью они кричали по своим палаткам, а это служит признаком близкого бунта в войске. И хотя Лукулл перепробовал множество настоятельных увещаний, упрашивая их запастись терпением, пока не будет взят «армянский Карфаген» и стерто с лица земли это творение злейшего врага римлян (он имел в виду Ганнибала), ничто не помогало, и он вынужден был повернуть назад. На обратном пути он перешел через Тавр другими перевалами и спустился в плодородную и теплую страну, называемую Мигдонией. В ней находится большой и многолюдный город, который варвары зовут Нисибидой, а греки – Антиохией Мигдонийской. В этом городе правили два человека: по своему высокому положению правителем был Гур, брат Тиграна, но, в силу своей опытности и тонкого мастерства в сооружении машин, – тот самый Каллимах, который доставил Лукуллу столько хлопот под Амисом. Лукулл раскинул у стен Нисибиды лагерь и пустил в ход все приемы осадного искусства; вскоре город был взят приступом. Гур сдался добровольно и встретил милостивое обращение, но Каллимаха, хотя тот и обещал показать римлянам тайные клады с великими сокровищами, Лукулл не стал слушать и велел заковать в цепи, чтобы впоследствии расправиться с ним за тот пожар, который разрушил Амис и отнял у Лукулла случай польстить своему честолюбию и выказать грекам свое расположение.

33. До сего времени счастье, можно сказать, сопутствовало Лукуллу в его походах, но отныне словно упал попутный для него ветер – таких трудов стоило ему каждое дело, с такими препятствиями приходилось сталкиваться повсюду. Он по-прежнему проявлял отвагу и твердость духа, достойные прекрасного полководца, но его новые деяния не принесли ему ни славы, ни благодарности. Мало того, в неудачных начинаниях и бесполезных раздорах он едва не растерял и свою прежнюю славу. Не последней причиной тому было его собственное поведение: он никогда не умел быть ласковым с солдатской толпой, почитая всякое угождение подчиненным за унижение и подрыв власти начальствующего. А хуже всего было то, что с людьми могущественными и равными ему по положению он тоже ладил плохо, глядел на всех свысока и считал ничтожествами по сравнению с собой. Да, такие недостатки, говорят, соседствовали с многочисленными достоинствами Лукулла, который был статным, красивым, искусным в красноречии и выказывал острый ум как на форуме, так и в походах. Саллюстий утверждает[19], что солдаты невзлюбили его с самого начала войны, когда

он заставил их провести в лагере две зимы подряд: одну под Кизиком, вторую под Амисом. Потом каждую зиму им тоже приходилось нелегко: или они должны были зимовать во враждебной стране, или располагались на земле союзников в палатках, под открытым небом – ведь в греческий и дружественный город Лукулл не входил с войском ни разу. Их недобрым чувствам к полководцу в изобилии давали новую пищу вожаки народа в Риме, которые из зависти обвиняли Лукулла в том, что затягивать войну его побуждают властолюбие и корыстолюбие, в то время как в его руках почти целиком находятся Киликия и Азийская провинция, Вифиния и Понт, Армения и земли, простирающиеся до Фасиса, что недавно он еще к тому же разорил дворец Тиграна, словно его послали грабить царей, а не воевать с ними. Такие речи вел, как передают, Луций Квинтий, один из преторов; он-то главным образом и добился решения назначить Лукуллу преемником в управлении провинцией. Было решено также уволить от службы многих солдат, находившихся под его началом.

34. Уже эти неприятности были достаточно серьезны, но к ним прибавилось еще одно обстоятельство, которое окончательно погубило Лукулла. Был некий Публий Клодий, человек наглый и преисполненный величайшей заносчивости и самонадеянности. Он приходился братом жене Лукулла, и про него, между прочим, ходила молва, что он состоит с ней в преступной связи (она была крайне развратной женщиной). В ту пору он находился в войске Лукулла и пользовался там не таким почетом, как ему хотелось, а хотелось ему быть выше всех. Между тем из-за своего образа жизни ему приходилось стоять ниже многих. Поэтому он начал исподтишка заигрывать с фимбрианцами и настраивать их против Лукулла, а те охотно слушали его льстивые слова: угодливость и искательство начальника были им не внове. Ведь это их когда-то Фимбрия подговорил убить консула Флакка и выбрать полководцем его самого. Вот и теперь они охотно слушали Клодия и называли его «другом солдат» за то, что тот притворялся, будто принимает их дела близко к сердцу. Клодий же постоянно возмущался, что войнам и мукам не видно конца, что до последнего дыхания их заставляют биться со всеми народами, сколько их ни есть, и гоняют по всей земле, между тем как достойной награды за все эти походы им нет, а вместо этого приходится сопровождать повозки и верблюдов Лукулла, нагруженных золотыми чашами в драгоценных камнях! То ли дело, продолжал он, солдаты Помпея! Они уже давно мирные граждане и живут со своими женами и детьми где-нибудь на плодородных землях или по городам, а ведь им не пришлось загонять Митридата и Тиграна в необитаемые пустыни или ниспровергать азийские столицы, они всего-то и воевали, что с изгнанниками в Испании да с беглыми рабами в Италии! «Уж если, – завершал он, – нам приходится нести службу без отдыха и срока, почему бы нам не поберечь остаток сил и жизни для такого вождя, который видит для себя высшую честь в обогащении своих солдат?»

Эти нападки оказали свое воздействие на войско Лукулла, и оно не пошло за своим полководцем ни на Тиграна, ни на Митридата. Последний не преминул снова вторгнуться из Армении в Понт и уже отвоевывал свое царство, а римские солдаты праздно сидели в Гордиене, ссылаясь на зимнее время и поджидая,

что вот-вот явится Помпей или другой полководец, чтобы сменить Лукулла.

35. Когда, однако, пришло известие, что Митридат разбил Фабия и идет на Сорнатия и Триария, они устыдились и пошли за Лукуллом. Триарий из честолюбия захотел, не дожидаясь Лукулла, который был близко, добыть легкую, как ему казалось, победу, но вместо этого потерпел крупное поражение: как передают, в битве полегло более семи тысяч римлян, в числе которых было сто пятьдесят центурионов и двадцать четыре военных трибуна. Лагерь попал в руки Митридата. Когда через несколько дней подошел Лукулл, ему пришлось прятать Триария от разъяренных солдат. Митридат уклонялся от сражения с Лукуллом, поджидая Тиграна, который с большими силами шел на соединение с ним, и Лукулл решил двинуться навстречу Тиграну и дать ему бой прежде, чем враги снова соединятся. Однако по пути фимбрианцы подняли бунт и покинули свое место в строю, ссылаясь на то, что они уволены от службы постановлением сената, а Лукулл не имеет больше права приказывать им, поскольку провинции переданы другим. Нет такого унижения, которому не подверг бы себя тогда Лукулл: он уговаривал каждого из солдат поодиночке, с малодушными слезами ходил из палатки в палатку, некоторых даже брал за руку. Но солдаты отталкивали его руку, швыряли ему под ноги пустые кошельки и предлагали одному биться с врагами – сумел же он один поживиться за счет неприятеля! Все же остальные воины своими просьбами вынудили фимбрианцев согласиться прослужить лето с условием, что они будут уволены, если за это время не появится неприятель, чтобы дать им сражение. Необходимость заставила Лукулла довольствоваться и этой малостью, чтобы не остаться одному и не отдать страну противнику. Он держал солдат всех вместе, ни к чему их больше не принуждал и не вел на врага – лишь бы они от него не уходили. Ему пришлось мириться с тем, что Тигран опустошает Каппадокию, что к Митридату вернулась прежняя дерзость – к Митридату, о котором он доносил сенату, что с ним покончено! После этого донесения из Рима были отправлены должностные лица в количестве десяти человек для устройства дел в Понте, как в стране окончательно покоренной, а когда они явились, им пришлось убедиться, что Лукулл даже над самим собою не властен – им, как хотят, помыкают его солдаты. Их бесстыдство в отношении к своему полководцу дошло до того, что в конце лета они надели доспехи, обнажили мечи и принялись звать на бой врагов, которых не было и в помине. Они прокричали военный клич, помахали потехи ради мечами и покинули лагерь, заявив, что срок, в продолжение которого они обещали Лукуллу оставаться с ним, уже вышел. Между тем остальных солдат вызывал к себе письмами Помпей. Благодаря любви к нему народа и угодливости народных вожаков, он уже был назначен полководцем для военных действий против Митридата и Тиграна, хотя сенат и лучшие граждане считали, что с Лукуллом поступают несправедливо, назначая ему преемника не столько для войны, сколько для триумфа, и заставляя его уступать другому не труды полководца, но награду за эти труды.

36. Еще более предосудительным казалось происходящее тем, кто находился тогда в провинции. И в самом деле, у Лукулла отняли право награждать и нака-

зывать солдат, Помпей никому не разрешал приходить к нему или поступать согласно его приказаниям и тем распоряжениям, которые Лукулл издавал совместно с десятью посланцами сената. Эти распоряжения Помпей отменял, издавая собственные указы, и его присутствия приходилось бояться, так как сила была на его стороне. Все же друзья обоих полководцев решили устроить между ними встречу, которая и произошла в одной деревне в Галатии. Они любезно приветствовали друг друга и принесли взаимные поздравления с одержанными победами; если Лукулл был старше по возрасту, то Помпей пользовался бо́льшим почетом, так как он большее число раз был полководцем и имел два триумфа. Перед обоими ликторы несли пучки розог, увитые лаврами, чтобы почтить их победы. Но Помпею пришлось проделать долгий путь по безводным и сухим местам, и лавры, обвивавшие розги его ликторов, засохли; заметив это, ликторы Лукулла дружески поделились с ними своими лаврами, которые были свежи и зелены. Друзья Помпея сочли это благим знамением – и действительно, деяния Лукулла послужили к украшению похода Помпея.

Что же касается переговоров, то они не привели к примирению, и полководцы разошлись в еще большей отчужденности, чем пришли. Помпей объявил недействительными распоряжения Лукулла и отнял у него всех солдат, оставив только тысячу шестьсот человек для триумфа, но и те последовали за Лукуллом не слишком охотно. До какой же степени не хватало ему природного дара или удачи в том, что для полководца необходимее всего! Ведь если бы при стольких своих отличных качествах – отваге и осмотрительности, уме и справедливости, он имел еще и это достоинство, то не Евфрат был бы рубежом римской державы в Азии, но край света и Гирканское море. В самом деле, все остальные народы уже ранее покорил Тигран, а парфяне во времена Лукулла еще не достигли той мощи, что во времена Красса; их государство еще не было таким сплоченным и из-за междоусобных войн и раздоров с соседями не в силах было дать отпор нападениям армян. Но должен добавить, что, на мой взгляд, вред, нанесенный Лукуллом своему отечеству через других людей, перевешивает пользу, которую он принес ему сам. В самом деле, армянские трофеи, воздвигнутые совсем недалеко от границ Парфии, взятие Тигранокерт и Нисибиды, великие богатства, доставленные из этих городов в Рим, диадема Тиграна, захваченная и пронесенная в триумфальном шествии, – все это подстрекнуло Красса к походу в Азию, внушив ему мысль, что ее обитатели – только добыча и средство наживы, и ничего больше. Вскоре, однако, он познакомился с парфянскими стрелами и примером своим доказал, что Лукулл добился победы не потому, что враги были слишком глупы и малодушны, но благодаря собственному мужеству и искусству полководца. Но это случилось позднее.

37. Вернувшись в Рим, Лукулл прежде всего узнал, что брат его Марк привлечен Гаем Меммием к суду за то, что ему приходилось делать по приказанию Суллы, исполняя должность квестора. Марка оправдали, но тут Меммий обратил свои нападки уже на самого Лукулла и стал настраивать народ против него, советуя отказать ему в триумфе за то, что он-де нажился на войне и с умыслом затягивал ее. Лукулл оказался втянутым в жестокую распрю, и лишь когда первые и наиболее влиятельные граждане пошли по трибам, им насилу удалось, по-

тратив много стараний и просьб, уговорить народ дать согласие на триумф. ...*Триумф Лукулла не был, как другие, рассчитан на то, чтобы удивить чернь протяженностью шествия и обилием проносимых в нем предметов. Зато Лукулл украсил Фламиниев цирк великим множеством вражеского оружия и военными машинами царя, и уже одно это зрелище было на редкость внушительным. В триумфальном шествии прошли несколько закованных в броню всадников, десяток серпоносных колесниц и шестьдесят приближенных и полководцев царя; за ними следовали сто десять военных кораблей с окованными медью носами, золотая статуя самого Митридата в шесть футов высотою, его щит, усыпанный драгоценными камнями, затем двадцать носилок с серебряной посудой и еще носилки с золотыми кубками, доспехами и монетой, в количестве тридцати двух. Все это несли носильщики, а восемь мулов везли золотые ложа, еще пятьдесят шесть – серебро в слитках и еще сто семь – серебряную монету, которой набралось без малого на два миллиона семьсот тысяч драхм. На больших писчих досках значилось, сколько денег передано Лукуллом Помпею на ведение войны с пиратами, сколько внесено в казну, а сверх того – что каждому солдату выдано по девятьсот пятьдесят драхм. Затем Лукулл устроил великолепное угощение для жителей Рима и окрестных сел, которые римляне называют «виками» [vici].

38. Разведясь с Клодией, женщиной разнузданной и бесчестной, Лукулл женился на сестре Катона, Сервилии, но и этот брак не был удачным. Чтобы сравняться с Клодией, Сервилии не доставало одного – молвы, что она согрешила с родным братом, в остальном она была такой же гнусной и бесстыдной. Уважение к Катону долго заставляло Лукулла терпеть ее, но в конце концов он с ней разошелся.

Сенат возлагал на Лукулла необычайные надежды, рассчитывая найти в его лице человека, который, опираясь на свою огромную славу и влияние, даст отпор самовластию Помпея и возглавит борьбу лучших граждан. Однако Лукулл расстался с государственными делами. Быть может, он видел, что государство поражено недугом, не поддающимся исцелению, возможно также, что он, как полагают некоторые, пресытился славой и решил после стольких битв и трудов, которые увенчались не слишком счастливым концом, отдаться жизни, чуждой каких бы то ни было забот и огорчений. Некоторые одобряют происшедшую в нем перемену, избавившую его от печальной участи Мария, который после побед над кимврами, после великих и славных подвигов не пожелал дать себе покой, хотя и был окружен завидным для каждого почетом; неутолимая жажда славы и власти побудила его, старика, тягаться с молодыми на государственном поприще и довела до страшных поступков и бед, еще более страшных, чем поступки. Говорят, что и Цицерон лучше провел бы свою старость, уйди он на покой после победы над Катилиной, и Сципион – если бы он, прибавив к Карфагену Нуманцию, на этом и остановился[20]. Поистине, и в государственной деятельности есть свой круг побед[21], и когда он завершен, пора кончать. В состязаниях на государственном поприще – ничуть не меньше, чем в гимнасии, – тотчас об-

*Текст в оригинале испорчен.

наруживается, если борца покидают молодые силы. Напротив, Красс и Помпей насмехались над тем, что Лукулл предался наслаждениям и расточительству, словно жизнь в свое удовольствие была менее подобающей его летам, чем государственные дела и походы.

39. В жизнеописании Лукулла, словно в древней комедии[22], поначалу приходится читать о государственных и военных делах, а к концу – о попойках и пирушках, чуть ли не о пьяных шествиях с песнями и факелами и вообще о всяческих забавах. Ведь к забавам следует отнести, по-моему, и расточительное строительство, расчистку мест для прогулок, сооружение купален, а особенно – увлечение картинами и статуями, которые Лукулл собирал, не жалея денег. На эти вещи он щедро тратил огромное богатство, накопленное им в походах, так что даже в наше время, когда роскошь безмерно возросла, Лукулловы сады стоят в одном ряду с самыми великолепными императорскими садами. К этому надо добавить постройки на побережье и в окрестностях Неаполя, где он насыпал искусственные холмы, окружал свои дома проведенными от моря каналами, в которых разводили рыб, а также воздвигал строения посреди самого моря. Когда стоик Туберон увидел все это, он назвал Лукулла «Ксерксом в тоге»[23]. Подле Тускула у него были загородные жилища, с открытыми залами и портиками, с башнями, откуда открывался широкий вид на окрестность; когда там побывал Помпей, он неодобрительно сказал Лукуллу, что тот наилучшим образом приспособил поместье для летнего времени, но сделал его непригодным для жизни зимой. Лукулл со смехом возразил: «Что же, ты думаешь, что я глупее журавлей и аистов и не знаю, что надо менять жилье с переменой времени года?» Как-то одному претору захотелось блеснуть играми, которые он давал народу, и он попросил у Лукулла пурпурных плащей, чтобы нарядить хор. Лукулл ответил, что посмотрит, сможет ли он дать, а на следующий день спросил, сколько нужно. Когда претор ответил, что сотни хватит, ему было предложено взять вдвое больше. По этому поводу поэт Флакк[24] заметил, что не может признать богатым такой дом, где заброшенные и забытые вещи не превышают своим числом те, которые лежат на виду.

40. Лукулл устраивал ежедневные пиры с тщеславной роскошью человека, которому внове его богатство. Не только застланные пурпурными тканями ложа, украшенные драгоценными камнями чаши, увеселительное пение и пляски, но также разнообразные яства и не в меру хитро приготовленные печенья вызывали зависть у людей с низменными вкусами. Помпей, напротив, заслужил похвалы своим поведением во время болезни: когда врач предписал ему съесть дрозда, а слуги заявили, что летом дрозда не найдешь нигде, кроме как у Лукулла, который их разводил, Помпей не позволил обращаться туда, сказав: «Неужели жизнь Помпея может зависеть от причуд роскоши Лукулла?» Катон был Лукуллу другом и свояком, но образ жизни Лукулла ему совсем не нравился, и когда в сенате один юнец завел длинную речь, в которой назойливо распространялся о бережливости и воздержности. Катон встал и сказал: «Да перестань! Ты богат, как Красс, живешь, как Лукулл, а говоришь, как Катон!» Некоторые утверждают, что эти слова действительно были сказаны, но не Катоном.

41. Как бы то ни было, Лукулл не только получал удовольствие от такого образа жизни, но и гордился им, что ясно видно из его памятных словечек. Так, сообщают, что ему случилось много дней подряд угощать каких-то греков, приехавших в Рим, и эти люди, в которых и впрямь проснулось что-то эллинское, засовестившись, что из-за них каждый день производятся такие расходы, стали отказываться от приглашения. Но Лукулл с улыбкой сказал им: «Кое-что из этих расходов делается и ради вас, достойные греки, но большая часть – ради Лукулла». Когда однажды он обедал в одиночестве и ему приготовили один стол и скромную трапезу, он рассердился и позвал приставленного к этому делу раба; тот ответил, что раз гостей не звали, он не думал, что нужно готовить дорогой обед, на что его господин сказал: «Как, ты не знал, что сегодня Лукулл угощает Лукулла?» Об этом, как водится, в городе много говорили. И вот однажды, когда Лукулл прогуливался на форуме, к нему подошли Цицерон и Помпей. Первый был одним из его лучших друзей, а с Помпеем, хотя у них и была распря из-за командования в Митридатовой войне, они часто встречались и беседовали, как добрые знакомые. После приветствия Цицерон спросил, нельзя ли к нему зайти; Лукулл ответил, что был бы очень рад, и стал их приглашать, и тогда Цицерон сказал: «Мы хотели бы отобедать у тебя сегодня, но только так, как уже приготовлено для тебя самого». Лукулл замялся и стал просить отсрочить посещение, но они не соглашались и даже не позволили ему поговорить со слугами, чтобы он не мог распорядиться о каких-либо приготовлениях сверх тех, какие делались для него самого. Он выговорил у них только одну уступку – чтобы они разрешили ему сказать в их присутствии одному из слуг, что сегодня он обедает в «Аполлоне» (так назывался один из роскошных покоев в его доме). Это было уловкой, при помощи которой он все же провел своих друзей: по-видимому, для каждой столовой у Лукулла была установлена стоимость обеда и каждая имела свое убранство и утварь, так что рабам достаточно было услышать, где он хочет обедать, и они уже знали, каковы должны быть издержки, как все устроить и в какой последовательности подавать кушанья. По заведенному порядку обед в «Аполлоне» стоил пятьдесят тысяч драхм; и на этот раз было потрачено столько же, причем Лукуллу удалось поразить Помпея не только величиной расходов, но и быстротой, с которой все было приготовлено. Вот на что Лукулл недостойно расточал свое богатство, словно ни на миг не забывал, что это добыча, захваченная у варваров.

42. Однако следует с похвалой упомянуть о другом его увлечении – книгами. Он собрал множество прекрасных рукописей и в пользовании ими проявлял еще больше благородной щедрости, чем при самом их приобретении, предоставляя свои книгохранилища всем желающим. Без всякого ограничения открыл он доступ грекам в примыкавшие к книгохранилищам помещения для занятий и портики для прогулок, и, разделавшись с другими делами, они с радостью хаживали туда, словно в некую обитель Муз, и проводили время в совместных беседах. Часто Лукулл сам заходил в портики и беседовал с любителями учености, а тем, кто занимался общественными делами, помогал в соответствии с их нуждами, – коротко говоря, для всех греков, приезжающих в Рим, его дом был родным очагом и эллинским пританеем. Что касается философии, то если ко всем учениям

он относился с интересом и сочувствием, особое пристрастие и любовь он всегда питал к Академии – не к той, которую называют Новой и которая как раз в ту пору расцветала благодаря учению Карнеада, распространявшемуся Филоном, но к Древней, которую возглавлял тогда Антиох Аскалонский, человек глубокомысленный и очень красноречивый. Лукулл приложил немало стараний, чтобы сделать Антиоха своим другом и постоянным сотрапезником, и выставлял его на бой против последователей Филона. В числе последних был, между прочим, и Цицерон, который написал об этой философской школе очень изящное сочинение; в нем он вкладывает в уста Лукулла речь в защиту возможности познания, а сам отстаивает противоположную точку зрения. Книжка так и озаглавлена – «Лукулл»[25]. С Цицероном Лукулла связывали, как уже было сказано, близкая дружба и сходный взгляд на государственные дела. Надо сказать, что Лукулл не совсем покинул государственное поприще, хотя от честолюбивых споров о первенстве и влиятельности, участвуя в которых, как он видел, не избежать опасностей и жестоких оскорблений, он сразу же отказался в пользу Красса и Катона (те, кто с подозрением взирал на могущество Помпея, когда Лукулл отказался их возглавить, сделали своими вождями в сенате именно этих двоих). Он бывал на форуме по делам своих друзей, а в сенате – когда нужно было дать отпор какому-нибудь честолюбивому замыслу Помпея. Так, он добивался отмены распоряжений, которые тот сделал после своей победы над царями: Помпей потребовал раздачи земельных участков своим солдатам, но Лукулл при поддержке Катона расстроил его планы, после чего Помпей прибег к поддержке Красса и Цезаря[26] или, лучше сказать, вступил с ними в заговор, наполнил город вооруженными солдатами и насилием добился исполнения своих требований, прогнав с форума приверженцев Катона и Лукулла. Лучшие из граждан были этим возмущены, и тогда помпеянцы привели некоего Веттия, который якобы был схвачен при попытке покушения на жизнь Помпея. На допросе в сенате Веттий назвал несколько имен, но перед народом заявил, что убить Помпея его подстрекал Лукулл. Словам его никто не придал значения – всем сразу стало ясно, что этого человека подучили клеветать сторонники Помпея. Дело стало еще яснее через несколько дней, когда из тюрьмы был выброшен труп Веттия, и хотя уверяли, будто он умер своей смертью, на его теле были следы удушения и побоев. Очевидно, что его позаботились убрать те самые люди, по чьему наущению он выступил со своим наветом.

43. Все это побудило Лукулла еще дальше отойти от государственной деятельности; когда же Цицерон ушел в изгнание, а Катон был отправлен на Кипр, он окончательно с нею расстался. Говорят, что к тому же незадолго до смерти его рассудок помрачился и стал мало-помалу угасать. По утверждению Корнелия Непота[27], Лукулл повредился в уме не от старости и не из-за болезни, но потому, что его извел своими снадобьями Каллисфен, один из его вольноотпущенников. Каллисфен думал, что действие снадобий внушит его господину бóльшую привязанность к нему, но вместо этого оно расстроило и сгубило рассудок Лукулла, так что еще при его жизни управление имуществом взял на себя его брат. И все же, когда Лукулл умер, можно было подумать, что кончина застигла его в самом разгаре военной или государственной деятельности: народ сбегался

в печали, тело было вынесено на форум знатнейшими юношами, а затем толпа хотела силой добиться, чтобы его схоронили на Марсовом поле, где был погребен Сулла. Так как этого никто не ожидал и приготовить все необходимое для погребения было нелегко, брат Лукулла стал уговаривать народ и в конце концов убедил, чтобы ему дали похоронить умершего в поместье близ Тускула, где все уже было готово. После этого и сам Марк прожил недолго. Подобно тому, как возрастом и славою он не намного отставал от горячего брата, так и в смерти он не замедлил последовать за ним.



[*Сопоставление*]

44(1). Самым завидным в жизни Лукулла можно, пожалуй, считать ее завершение: он успел умереть раньше, чем в жизни римского государства настали те перемены, которые уже тогда уготовлялись ему роком в междоусобных войнах, и окончил дни свои в отечестве, пораженном недугом, но еще свободном. В этом у него особенно много общего с Кимоном – и тому суждено было умереть в пору, когда эллинское могущество, еще не ослабленное раздорами, находилось в расцвете. Впрочем, есть здесь и разница: Кимон умер в походе, пал смертью полководца, не отказавшись от дел и не предаваясь праздности, он не искал награды за бранные труды в пиршествах и попойках – наподобие тех Орфеевых учеников, которых высмеивает Платон[28] за их утверждения, будто награда, ожидающая праведников в Аиде, состоит в вечном пьянстве. В самом деле, если мирный досуг и занятия, дающие радость умозрения, представляют собой самое пристойное отдохновение для человека, который в преклонных летах расстается с военными и государственными заботами, то завершить свои славные подвиги чувственными удовольствиями, перейти от войн и походов к любовным утехам и предаваться забавам и роскоши – все это уже недостойно прославленной Академии и прилично не подражателю Ксенократа, но скорее тому, кто склоняется к Эпикуру. При этом вот что удивительно: как раз смолоду Кимон вел себя предосудительно и невоздержно, в то время как молодость Лукулла была благопристойной и целомудренной. В этом отношении выше из них тот, кто менялся к лучшему: более похвальным является такой душевный склад, худшие свойства которого с годами дряхлеют, а прекрасные – расцветают.

Если и Кимон, и Лукулл были в равной мере богатыми, то пользовались своим богатством они по-разному: в самом деле, нельзя помещать в один ряд строительство южной стены афинского Акрополя, которое было закончено на деньги, предоставленные Кимоном, и те чертоги в Неаполе, те омываемые морем башни, которые воздвигал Лукулл на свою восточную добычу. Нельзя сравнивать и обеды Кимона, простые и радушные, с сатраповской роскошью пиров

Лукулла: стол Кимона ценой малых издержек ежедневно питал толпы, стол Лукулла с огромными затратами служил немногим любителям роскоши. Возможно, впрочем, что различие в их поведении вызвано только обстоятельствами: кто знает, если бы Кимону довелось после трудов и походов дожить до старости, чуждой военным и гражданским занятиям, не предался ли бы он еще более разнузданной жизни, не знающей удержа в наслаждениях? Ведь он, как я уже говорил, любил вино и веселье и подвергался нареканиям молвы из-за женщин. С другой стороны, успехи в серьезных делах, принося с собой иные, высшие наслаждения, так действуют на души, от природы способные к государственной деятельности и жадные до славы, что не оставляют им досуга для низких страстей и побуждают вовсе забывать о них; поэтому если бы Лукулл окончил век в бранях и походах, то даже самый злоречивый и склонный к порицаниям человек, мне кажется, не нашел бы случая осудить его. Вот все, что я хотел сказать относительно их образа жизни.

45(2). Что касается их бранных дел, то нет сомнения, что оба выказали себя славными воителями и на суше, и на море. Однако если мы зовем «победителями сверх ожидания» тех атлетов, которые в один день увенчали себя победой в борьбе и в панкратии[29], то и Кимон, в один день увенчавший Элладу венками победы на суше и на море, заслуживает особого места среди полководцев. Кроме того, Лукуллу вручила верховное предводительство его родина, а Кимон сам добыл его своей родине: если первый покорял земли врагов в такое время, когда его отечество уже имело главенство над союзниками, то второй, застав родной город в подчиненном положении, дал ему разом и владычество над союзниками и победу над врагами: персов он силой принудил очистить море, спартанцев убедил покинуть его добровольно.

Если величайшее достоинство полководца состоит в умении добиться, чтобы ему повиновались охотно, из преданности, то следует сказать, что Лукулла ни во что не ставило его собственное войско, Кимон же вызывал восхищение у союзников; от первого солдаты ушли к другим, ко второму перешли от других. Один вернулся из похода, брошенный теми, кого он повел с собой, а другой возвратился из плавания, уже повелевая теми, с кем вместе его отправили в поход, чтобы исполнять чужие приказания, и оказал своему отечеству три важнейших услуги сразу: достиг с врагами мира, над союзниками – главенства, с лакедемонянами – согласия.

Оба пытались ниспровергнуть великие царства и покорить всю Азию, и оба – безуспешно. С Кимоном это случилось единственно по воле судьбы – ведь он умер посреди походов и побед; что касается Лукулла, то с него нельзя вполне снять вину за то, что он, по неведению или по небрежности, не принимал мер против того солдатского недовольства и ропота, из которых родилась столь великая ненависть к нему. Быть может, впрочем, и в этом у него есть что-то общее с Кимоном. Ведь и Кимона граждане привлекали к суду и в конце концов подвергли остракизму, чтобы десять лет, как говорит Платон[30], и голоса его не слышать. Люди, от природы склонные к аристократическому образу мыслей, редко попадают в тон народу и не умеют ему угождать: обычно они действуют силой и, стремясь вразумить и исправить распущенную толпу, вызывают у нее

озлобление, подобно тому как повязки тяготят больных, хотя и возвращают к природному состоянию вывихнутые члены. Итак, это обвинение следует, пожалуй, снять с обоих.

46(3). С другой стороны, Лукулл прошел в своих походах гораздо дальше Кимона. Он первым из римлян перевалил с войском через Тавр и переправился через Тигр; он взял и сжег азийские столицы – Тигранокерты и Кабиры, Синопу и Нисибиду – на глазах их государей; земли, простирающиеся к северу до Фасиса и к востоку до Мидии, а также на юг до Красного моря, он покорил при помощи арабских царьков и вконец сокрушил мощь азийских владык, так что оставалось только переловить их самих, убегавших, словно звери, в пустыни и непроходимые леса. Веским доказательством тому служит вот что: если персы, словно они не столь уж и пострадали от Кимона, вскоре вооружились против греков и наголову разбили их сильный отряд в Египте, то после побед Лукулла уже ни Митридат, ни Тигран ничего не смогли совершить. Митридат, обессилевший и измотанный в прежних сражениях, ни разу не осмелился показать Помпею свое войско за пределами лагерного частокола, а затем бежал в Боспор и там окончил свою жизнь; что касается Тиграна, то он сам явился к Помпею совершенно безоружный, повергся перед ним и, сняв со своей головы диадему, сложил ее к его ногам, льстиво поднося Помпею то, что ему уже не принадлежало, но было в триумфальном шествии провезено Лукуллом. Он радовался, получая обратно знаки царского достоинства, и тем самым признал, что лишился их прежде. Выше следует поставить того полководца, – как и того атлета, – которому удастся больше измотать силы противника, прежде чем он передаст его своему преемнику в борьбе. Вдобавок, если Кимону пришлось воевать с персами после того, как их непрестанно обращал в бегство то Фемистокл, то Павсаний, то Леотихид, когда мощь царя была уже ослаблена и гордыня персов сломлена великими поражениями, так что ему нетрудно было их одолеть, поскольку дух их уже прежде был сломлен и подавлен, то Лукулл столкнулся с Тиграном в пору, когда тот еще не испытал поражения ни в одной из множества данных им битв и был преисполнен заносчивости. По численности также нельзя и сравнивать силы, разбитые Кимоном, с теми, которые объединились против Лукулла.

Таким образом, если все принять во внимание, нелегко решить, кому же следует отдать предпочтение, – тем более, что и божество, по-видимому, проявляло благосклонность к обоим, открывая одному, что следует делать, другому – чего нужно беречься. Сами боги, стало быть своим приговором обоих признают людьми достойными и по природе своей им близкими.





НИКИЙ И КРАСС

НИКИЙ

1. Нам представляется целесообразным сравнить Никия с Крассом и парфянские бедствия с сицилийскими, и мы должны сразу же настоятельно просить тех, пред кем лежит наше сочинение, не думать, будто, повествуя о событиях, с недосягаемым мастерством изложенных у Фукидида[1], превзошедшего самого себя в силе, ясности и красочности описаний, мы поддались тому же соблазну, что и Тимей, который, надеясь затмить Фукидида выразительностью, Филиста же выставить полным невеждой и неучем, погружается в описание боев, морских сражений и выступлений в Народном собрании, про которые по большей части уже существует удачный рассказ у этих историков. Тимей при этом, клянусь Зевсом, отнюдь не похож на того, кто, по слову Пиндара[2],

За Лидийскою колесницею пешком поспевал,

скорее он напоминает невежественного недоучку и, как говорит Дифил,

Раздувшись весь от сала сицилийского,

во многих местах близок к Ксенарху. Так, например, он видит чудесное знамение афинянам в том, что полководец, носящий имя победы[3], отказался взять на себя командование, он находит, что изувечением герм[6] божество указывало на великие страдания, которые во время войны принесет афинянам Гермократ, сын Гермона, он пишет, что Геракл, видимо, помогал сиракузянам ради Коры, от которой он получил Кербера, и гневался на афинян за то, что они оказывали помощь гражданам Эгесты, отпрыскам троянцев, тогда как сам Геракл[4] за обиду, нанесенную ему Лаомедонтом, разрушил Трою. Пожалуй, Тимей из одних и тех же побуждений писал подобные вещи, исправлял слог Филиста, бранил последователей Платона и Аристотеля. А на мой взгляд, соперничать и состязаться в слоге – затея по сути своей ничтожная и софистическая, а если речь идет о вещах неподражаемых, то и просто глупая.

Нельзя, конечно, обойти молчанием события, описанные у Фукидида и Филиста, а потому я вынужден бегло коснуться их, и прежде всего тех, которые выявляют характер и природные качества Никия, трудно распознаваемые в пучине бедствий; во избежание упреков в небрежности и лени я попытался собрать то, что большинству остается неизвестным, – беглые упоминания, содержащиеся в разных сочинениях, надписи на древних памятниках, решения Народных собраний. Я старался избежать нагромождения бессвязных историй, а изложить то, что необходимо для понимания образа мыслей и характера человека.

2. Итак, рассказ о Никии можно начать словами Аристотеля[5], писавшего, что было три лучших гражданина, питавших отеческую благожелательность к народу, – это Никий, сын Никерата, Фукидид, сын Мелесия, и Ферамен, сын Гагнона, последний в меньшей степени, чем два первых. Ферамена, уроженца Коса, корили его происхождением, а за непостоянство политических привязанностей прозвали Котурном[6]. Старший из них, Фукидид, возглавлял сторонников аристократии, и его деятельность во многом была направлена против Перикла, вождя народа. Самым молодым был Никий. Он пользовался почетом еще при жизни Перикла, был вместе с ним стратегом и сам занимал многие высшие должности, а после смерти Перикла сразу выдвинулся на первое место. Богатые и знатные граждане выставили его противником наглому и дерзкому Клеону, но это не мешало ему пользоваться благосклонностью и уважением народа. Ведь Клеон вошел в силу,

Обхаживая старца и доход суля[7].

Однако алчность, бесстыдство, чванство Клеона заставили очень многих из тех, кому он старался угодить, перейти на сторону Никия. Никий в своем величии не был ни строгим, ни придирчивым, ему присуща была какая-то осторожность, и эта видимость робости привлекала к нему народ. Пугливый и нерешительный от природы, он удачно скрывал свое малодушие во время военных действий, так что походы завершал неизменной победой. Осмотрительность в государственных делах и страх перед доносчиками казались свойствами демократическими и чрезвычайно усилили Никия, расположив в его пользу народ, который боится презирающих его и возвышает боящихся. Ведь для простого народа величайшая честь, если люди высокопоставленные им не пренебрегают.

3. Перикл, обладавший и силой слова, и истинной доблестью, руководил государством, не приспосабливаясь к черни, не ища ее доверия. У Никия же не было этих качеств, но было богатство, которое помогало ему вести за собой народ. Афиняне привыкли находить удовольствие в легкомысленных и пошлых выходках Клеона, и в этом Никий не мог с ним соперничать, зато он принимал на себя хорегии, гимнасиархии и другие затраты, всех своих предшественников и современников затмевая щедростью и тонким вкусом и тем склоняя на свою сторону народ. Из сделанных Никием приношений богам до наших дней продолжают стоять статуя Паллады на Акрополе, с которой уже сползла позолота, и поставленный на священном участке Диониса[8] храм для треножников, которые получали в награду хореги-победители. Ведь победы он одерживал часто, поражений же не терпел никогда. Рассказывают, что во время какого-то представления роль Диониса играл его раб – огромного роста красавец, еще безбородый. Афиняне пришли в восторг от этого зрелища и долго рукоплескали, а Никий, поднявшись, сказал, что нечестиво было бы удерживать в неволе тело, посвященное богу, и отпустил юношу на свободу. Также и Делос хранит память о честолюбии Никия, о его великолепных и достойных бога дарах. Ведь посылавшиеся городами хоры для пения гимнов в честь бога[9] приставали к берегу как попало, а толпа встречала их прямо у кораблей и сразу же заставляла петь, хотя и нестройно, без всякого порядка, меж тем как они поспешно выходили на берег,

возлагали на себя венки и переодевались – все одновременно. Когда же священное посольство повел Никий, то он вместе с хором, жертвенными животными и утварью высадился на Ренин, а неширокий пролив между Ренией и Делосом ночью перекрыл мостом, который по заданному размеру был уже изготовлен в Афинах, великолепно позолочен, раскрашен, убран венками и коврами. На рассвете он провел через мост торжественное шествие в честь бога при звуках песен, исполнявшихся богато наряженным хором. После жертвоприношения, состязания и угощений он поставил в дар богу медную пальму и посвятил ему участок, за который уплатил десять тысяч драхм. Доходы с этой земли делосцы должны были тратить на жертвы и угощения, испрашивая при этом у богов многие блага для Никия. Это условие было записано на каменной плите, которую Никий оставил как бы стражем своего дара на Делосе. Пальма впоследствии сломалась от ветра, упала и опрокинула большую статую, воздвигнутую наксосцами.

4. В этих поступках многое, на первый взгляд, вызвано жаждой славы и показною щедростью, однако все остальное поведение Никия и его привычки позволяют верить, что подобная широта и желание угодить народу были плодами его благочестия. Ведь он, по словам Фукидида[10], благоговел перед богами и верил прорицаниям.

В одном из диалогов Пасифонта написано, что Никий ежедневно приносил жертвы богам и, держа у себя в доме гадателя, делал вид, что постоянно спрашивает у него совета насчет общественных дел, в действительности же совещался с ним о своих личных делах, главным образом о серебряных рудниках. У него было в Лавриотике[16] много копей, и весьма доходных, однако разработка их была делом небезопасным. Там у него находилось множество рабов, и бóльшая часть его имущества заключалась в серебре. Немало людей поэтому просило и получало у него деньги в долг. Он с одинаковой готовностью давал как тем, кто мог причинить ему вред, так и тем, кто заслуживал хорошего отношения к себе. Злодеям на руку было его малодушие, порядочным людям – его человечность. Свидетелями этого могут служить даже комические поэты. Телеклид, например, на какого-то доносчика сочинил такие стихи:

Мину дал Харикл намедни, чтобы я не говорил,
Что у матери родился первым он из... кошелька[11].
И четыре дал мне мины Никий, Никератов сын.
А за что я получил их, это знаем я да он;
Я ж молчу; он мне приятель и, как видно, не дурак.

Лицо, выведенное Эвполидом в комедии "Марика", толкует на свой лад слова какого-то далекого от общественных дел бедняка и говорит:

– Скажи, а ты давно ли видел Никия?
– Совсем не видел – разве что на площади.
– Ага! признался он, что видел Никия!
А для чего? Конечно, для предательства!
– Слышите, приятели?
Уже с поличным изловили Никия!
– Вам ли, полоумные,
Ловить с поличным мужа столь достойного!

У Аристофана[12] Клеон грозится:

> Взъерошу всех говорунов и Никия взлохмачу.

И Фриних тоже смотрит на Никия как на человека запуганного и боязливого:

> Он гражданином видным был, – я знал его, –
> Он не ходил, как Никий, вечно съежившись.

5. Итак, остерегаясь доносчиков, Никий избегал и общих трапез и бесед с согражданами, да и вообще был далек от подобного времяпрепровождения. Когда он бывал занят делами управления, то просиживал до поздней ночи в стратегии[13] и уходил последним из Совета, придя туда первым, а когда общественных дел не было, он становился необщителен, неразговорчив и сидел у себя взаперти. Друзья Никия встречали посетителей в дверях и просили извинить его, так как, по их словам, он и дома занят какими-то необходимыми для государства делами. Чаще всего участвовал в этой игре и окружал громкой славой имя Никия его воспитанник Гиерон, обученный им грамоте и музыке, который выдавал себя за сына Дионисия, прозванного Медяком – того, кто вывел переселенцев в Италию и основал Турии и чьи стихи дошли до нас. Этот Гиерон устраивал Никию тайные свидания с гадателями и распускал в народе слухи о непомерных трудах Никия, живущего исключительно интересами своего города. "И в бане, и за обедом, – говорил Гиерон, – его постоянно беспокоит какое-нибудь государственное дело; забросив в заботах об общественном благе свои собственные дела, он едва успевает лечь, когда другие уже крепко спят. Поэтому у него расстроено здоровье, он неласков и нелюбезен с друзьями, которых, как и денег, лишился, занимаясь государственными делами. А другие и друзей приобретают, и себя обогащают, благоденствуют на общественный счет и плюют на интересы государства". Действительно, жизнь Никия была такова, что он мог сказать о себе словами Агамемнона[14]:

> Защитою нам спесь, но перед чернью мы
> Являемся рабами...

6. Никий видел, что народ в некоторых случаях с удовольствием использует опытных, сильных в красноречии и рассудительных людей, однако всегда с подозрением и страхом относится к их таланту, старается унизить их славу и гордость, что проявилось и в осуждении Перикла, и в изгнании Дамона, и в недоверии к Антифонту из Рамнунта, и особенно на примере Пахета, который, после того как взял Лесбос, при сдаче отчета о своем походе, тут же, не выходя из судилища, выхватил меч и заколол себя. Поэтому Никий старательно уклонялся от руководства длительными и тяжелыми походами, а когда принимал на себя командование, то прежде всего думал о безопасности и, как и следовало ожидать, в большинстве случаев с успехом завершал начатое, однако подвиги свои приписывал не собственной мудрости, силе или доблести, но все относил на счет судьбы и ссылался на волю богов, дабы избегнуть зависти, которую навлекает на себя слава. Об этом говорят сами события. Ведь Никий не был причастен ни к одному из множества великих бедствий, которые обрушились тогда на Афи-

ны: поражение от халкидян[15] во Фракии потерпели командующие Каллий и Ксенофонт, несчастье в Этолии произошло в архонтство Демосфена, предводителем тысячи афинян, павших при Делии, был Гиппократ, Перикла, который во время войны запер в городе сельское население, называли главным виновником моровой язвы, вспыхнувшей из-за переселения на новое место[16], при котором нарушился обычный уклад жизни.

Никий остался в стороне от всех этих бед. Напротив, командуя войском, он захватил Киферу, остров с лаконским населением, выгодно расположенный против Лаконии; во Фракии он занял и подчинил Афинам многие из отпавших городов, запер мегарян в их городе и тотчас же взял остров Миною, затем, через некоторое время выступив оттуда, покорил Нисею, высадился на коринфской земле и выиграл сражение, убив многих коринфян и среди них военачальника Ликофрона. Случилось так, что афиняне оставили там непогребенными трупы двоих воинов. Как только Никий об этом узнал, он остановил флот и послал к врагам договориться о погребении. А между тем существовал закон и обычай, по которому тот, кому по договоренности выдавали тела убитых, тем самым как бы отказывался от победы и лишался права ставить трофей – ведь побеждает тот, кто сильнее, а просители, которые иначе, чем просьбами, не могут достигнуть своего, силой не обладают. И все же Никий предпочитал лишиться награды и славы победителя, чем оставить непохороненными двух своих сограждан. Опустошив прибрежную область Лаконии, обратив в бегство выступивших против него лакедемонян, Никий занял Фирею, которой владели эгинцы[17], и отправил пленных в Афины.

7. Когда Демосфен укрепил стеною Пилос, пелопоннесцы начали войну одновременно на суше и на море. Произошло сражение, и около четырехсот спартанцев оказались запертыми на острове Сфактерии. Для афинян, как они справедливо полагали, было очень важно их захватить, но тяжко и мучительно было вести осаду в безводной местности, куда возить издалека продовольствие летом дорого, а зимой опасно или даже вообще невозможно. Афиняне раскаивались и досадовали, что отвергли посольство лакедемонян, приезжавшее к ним для переговоров о мире. Эти переговоры расстроил Клеон, в значительной мере из-за ненависти к Никию. Он был его врагом и, видя готовность Никия содействовать лакедемонянам, убедил народ голосовать против перемирия. Осада затянулась, стали приходить известия о страшных лишениях в лагере, и тогда гнев афинян обрушился на Клеона. Клеон принялся укорять Никия в трусости и вялости, винить его в том, что он щадит врагов, хвалился, что если бы командование было поручено ему, Клеону, то неприятель не держался бы так долго. Афиняне поймали его на слове: "Что же ты сам не выходишь в море, и притом немедленно?" – спросили его. И Никий, поднявшись, уступил ему командование войском при Пилосе, советуя не хвастаться своей храбростью в безопасном месте, а на деле оказать городу какую-нибудь серьезную услугу. Клеон, смутившись от неожиданности, начал отнекиваться, но афиняне стояли на своем, и Никий так горячо его упрекал, что честолюбие Клеона распалилось и он принял на себя командование, пообещав через двадцать дней либо перебить врагов на месте, либо доставить их живыми в Афины. Афиняне больше смеялись, чем ве-

рили, ведь они вообще охотно шутили над его легкомыслием и сумасбродством. Как-то раз, говорят, было созвано Народное собрание, и народ долгое время сидел на Пниксе в ожидании Клеона. Наконец тот пришел с венком на голове и предложил перенести собрание на завтра. "Сегодня мне некогда, – сказал он, – я собираюсь потчевать гостей и уже успел принести жертву богам". С хохотом афиняне встали со своих мест и распустили собрание.

8. Однако на сей раз судьба была на его стороне. Военные действия, которые Клеон вел вместе с Демосфеном, завершились блестяще: за тот срок, который он себе назначил, оставшиеся в живых спартанцы сложили оружие и были взяты в плен. Никию это событие принесло дурную славу. Добровольно, из трусости, отказаться от командования и дать своему врагу возможность совершить столь блестящий подвиг было в глазах афинян хуже и позорнее, чем бросить щит. Аристофан[18] не упустил случая посмеяться над ним за это в "Птицах":

Свидетель Зевс, дремать теперь не время нам,
Как сонный Никий колебаться некогда.

А в "Земледельцах" он пишет так:

– Пахать хочу! – А кто тебе препятствует?
– Вы сами! Драхм я отсчитаю тысячу,
Коль снимете с меня правленья тяготы.
– Идет! А вместе с Никиевой взяткою
Две тысячи их будет...

И государству, конечно, Никий причинил немалый вред тем, что позволил Клеону прославиться и усилить свое влияние. Теперь Клеон раздулся от гордости, наглость его стала беспредельной, и он принес городу множество бедствий, которые в немалой степени коснулись и самого Никия. Клеон перестал соблюдать всякие приличия на возвышении для оратора: он был первым, кто, говоря перед народом, стал вопить, скидывать с плеч плащ, бить себя по ляжкам, бегать во время речи; так он заразил государственных деятелей распущенностью и презрением к долгу, которые вскоре погубили все.

9. В ту пору афинян начал привлекать к себе Алкивиад – тоже своекорыстный искатель народной благосклонности, но не столь откровенно наглый, как Клеон. Он подобен был плодородной египетской земле, которая, говорят,

...много
Злаков рождает и добрых, целебных, и злых, ядовитых[19].

Щедро одаренный от природы, он кидался из одной крайности в другую и был охвачен страстью к переворотам. Поэтому, даже отделавшись от Клеона, Никий не успел водворить в городе тишину и спокойствие: едва направив дела по спасительному пути, он вынужден был отступить от него, ибо из-за неистового честолюбия Алкивиада был втянут в новую войну. Произошло это так.

Самыми заядлыми врагами мира в Греции были Клеон и Брасид. Война делала незаметным ничтожество первого из них и придавала блеск доблести второго. Одному она открывала простор для великих беззаконий, другому – для подвигов. Оба они погибли при Амфиполе[32], и Никий, чувствуя, что спартанцы хо-

тят мира и афиняне уже не отваживаются продолжать войну, что и те и другие как бы опустили руки в изнеможении, сразу же постарался наладить добрые отношения между обоими государствами, избавить от бед и умиротворить остальных греков и этим обеспечить счастье на будущее время. Люди зажиточные и пожилые, а также большинство земледельцев были настроены мирно. Из остальных многие охладели к войне после личных встреч с Никием и его наставлений. Таким образом, Никий мог уже обнадежить спартанцев, приглашая и склоняя их подумать о мирном договоре. Они доверяли ему, зная его порядочность и видя его заботу о брошенных в тюрьму пилосских пленных, которым его доброта облегчала их горькую участь. Уже раньше афиняне и спартанцы договорились о прекращении военных действий сроком на год. В течение этого года они встречались друг с другом, общались с чужеземцами и близкими, избавились от страха, и вновь вкусили покоя и жаждали и впредь жить без кровопролитий и войн. Им приятно было слушать, как хор поет:

Пусть копья лежат паутиной, как тканью, обвиты[20],

приятно было вспоминать изречение, что во время мира пробуждают спящих не трубы, а петухи. С бранью отшатывались от тех, кто говорил, что войне суждено тянуться три девятилетия[21]. Договорившись по всем спорным вопросам, они заключили мир. Большинство граждан верило, что пришел конец несчастьям. Про Никия все твердили, что он муж, угодный богам, и что по их воле в награду за благочестие его именем нарекли величайшее и самое прекрасное из благ. И действительно, мир называли делом рук Никия, войну – Перикла. Ведь последний из-за ничтожного повода вверг греков в великие бедствия, первый же сделал их друзьями, заставив забыть о величайших бедствиях. Вот почему и поныне этот мир зовется Никиевым.

10. По условиям договора укрепления, города и пленные, захваченные обеими сторонами, подлежали возврату. Поскольку вопрос, какая сторона будет первой возвращать захваченное, решался жребием, Никий тайно купил счастливый жребий, и, таким образом, первыми стали выполнять договор лакедемоняне. Это рассказано у Феофраста. Когда коринфяне и беотийцы, недовольные происходящим, снова чуть было не вызвали войну своими обвинениями и нападками, Никий убедил афинян и лакедемонян дополнить мирное соглашение военным союзом: миру это придаст особую прочность, говорил он, а их сделает более грозными для изменников, более верными друг другу.

Между тем Алкивиад, самой природой не созданный для покоя, в гневе на лакедемонян, относившихся к Никию с уважением и почтительностью, а к нему с пренебрежением и презрением, вначале открыто выступил и восстал против мира, но безуспешно. Потом, замечая, что поведение лакедемонян начинает раздражать афинян, которых оскорблял их союз с Беотией и нарушение уговора о возврате Панакта и Амфиполя[22], Алкивиад, пользуясь настроением сограждан, по любому поводу подстрекал народ против лакедемонян. В конце концов он уговорил аргивян прислать в Афины посольство и хлопотал о заключении с ними военного союза. Когда же послы, прибывшие из Лакедемона с неограниченными полномочиями, на предварительной встрече в Совете доказали, что

явились со справедливыми предложениями, Алкивиад, испугавшись, как бы их доводы не оказались убедительными и для народа, завлек послов в ловушку, поклявшись помочь им в их деле, если они скроют, что облечены полномочиями, ибо таким путем будто бы легче достигнуть цели. Убедив их покинуть Никия и перейти на его сторону, Алкивиад ввел послов в Народное собрание и прежде всего спросил, облечены ли они неограниченными полномочиями. Послы ответили отрицательно, и тут Алкивиад, изменив своим обещаниям, призвал Совет в свидетели их слов, заклиная народ не внимать и не верить тем, кто так бесстыдно лжет и представляет дело то так, то этак. Послы, разумеется, растерялись от неожиданности, Никий, повергнутый в огорчение и замешательство, ничего не мог сказать, а народ уже готов был призвать аргивян и заключить с ними союз, однако тут Никия выручило землетрясение, заставившее всех разойтись. На следующий день народ вновь собрался, и Никию нелегко было убедить афинян воздержаться ненадолго от переговоров с аргивянами, а его послать к лакедемонянам в надежде, что все уладится. Спартанцы встретили его с почетом, как человека достойного и благожелательно к ним относящегося, но отпустили ни с чем, поскольку верх взяли сторонники беотийцев[23]. Никий не только был опозорен и обесславлен, – он боялся афинян, их огорчения и гнева за то, что, поверив ему, они вернули Спарте столь многих важных лиц. Ведь доставленные из Пилоса пленные принадлежали к лучшим семействам Спарты, и их друзья и родственники были людьми чрезвычайно влиятельными. Правда, гнев не заставил афинян обойтись с Никием слишком сурово, они только выбрали Алкивиада в стратеги и, наряду с аргивянами, сделали своими союзниками отколовшихся от лакедемонян элейцев и мантинейцев, а также послали отряд в Пилос, чтобы грабить Лаконию. Так они снова втянулись в войну.

11. Наступал срок суда черепков, к которому время от времени прибегает народ, изгоняя на десять лет кого-нибудь из лиц, вызывающих либо зависть из-за своей славы и богатства, либо подозрение. Раздор между Никием и Алкивиадом был в самом разгаре, положение обоих было шатким и опасным, ибо один из них непременно должен был подпасть под остракизм. Алкивиада ненавидели за его поведение и опасались его наглости, о чем подробнее говорится в его жизнеописании; Никию же завидовали из-за богатства, и самое главное – весь уклад его жизни заставлял думать, что в этом человеке нет ни доброты, ни любви к народу, что его неуживчивость и все его странности проистекают от сочувствия олигархии; он вызывал ненависть к себе тем, что приносил пользу насильно, вопреки желаниям и вкусам сограждан. Одним словом, задорная молодежь спорила с людьми миролюбивыми и степенными, и одни собирались изгнать Никия, другие – Алкивиада.

Часто при распрях почет достается в удел негодяю[24].

Так вышло и тогда: народ, расколовшись на две партии, развязал руки самым отъявленным негодяям, в числе которых был Гипербол из Перитед. Не сила делала этого человека дерзким, но дерзость дала ему силу, и слава, которой он достиг, была бесславием для города. Гипербол полагал, что остракизм ему не грозит, понимая, что ему подобает скорее колодка. Он надеялся, что после изгна-

ния одного из двух мужей он, как равный, выступит соперником другого; было известно, что он радуется раздору между ними и восстанавливает народ против обоих. Сторонники Никия и Алкивиада поняли этого негодяя и, тайно сговорившись между собой, уладили разногласия, объединились и победили, так что от остракизма пострадал не Никий и не Алкивиад, а Гипербол. Народ сначала весело смеялся, но затем вознегодовал, находя оскорбительным злоупотреблением применять такую меру к человеку бесчестному: ведь и наказанию присуща своего рода честь. Считали, что для Фукидида, Аристида и подобных им лиц остракизм – наказание, для Гипербола же – почесть и лишний повод к хвастовству, поскольку негодяй испытал ту же участь, что и самые достойные. У комика Платона где-то так и сказано про него.

Хоть подлость в нем достойна наказания,
Да слишком много чести для клейменого:
Суд черепков не для таких был выдуман.

С тех пор вообще никого не подвергали остракизму, Гипербол был последним, первым – Гиппарх из Холарга, состоявший в каком-то родстве с тиранном[25].

Но судьба – вещь загадочная и разумом не постижимая. Ведь если бы во время суда черепков Никий отважился выступить против Алкивиада, то либо победил бы и жил без тревог, изгнав соперника, либо, побежденный, удалился бы, не дожидаясь бедствий, постигших его потом, и слава отличного полководца осталась бы при нем. Я знаю, что, по словам Феофраста, Гипербол отправился в изгнание из-за ссоры Алкивиада с Феаком, а не с Никием, однако большинство писателей излагает эту историю именно так, как я здесь.

12. Никию не удалось отговорить афинян от похода в Сицилию, к которому их склоняли послы Эгесты и Леонтин. Сильнее Никия оказался честолюбивый Алкивиад, который еще до созыва Собрания воодушевил толпу своими многообещающими планами и расчетами, так что и юноши в палестрах, и старики, собираясь в мастерских и на полукружных скамьях, рисовали карту Сицилии, омывающее ее море, ее гавани и часть острова, обращенную в сторону Африки. На Сицилию смотрели не как на конечную цель войны, а как на отправной пункт для нападения на Карфаген, для захвата Африки и моря вплоть до Геракловых столпов. Все настолько увлеклись этим, что мало кто из влиятельных лиц выражал сочувствие доводам Никия. Люди обеспеченные не высказывали вслух своих мыслей из страха, что их упрекнут в нежелании нести расходы по снаряжению судов. Никий, однако, не отказывался от борьбы, и даже после того, как афиняне проголосовали за войну и выбрали его первым стратегом вместе с Алкивиадом и Ламахом, он, выступив на следующем заседании Народного собрания, с мольбой отговаривал их и, заканчивая речь, упрекал Алкивиада в том, что ради личных выгод, из честолюбия тот ввергает свой город в грозные опасности войны за морем. Но все было напрасно. Опытность Никия казалась афинянам важным залогом безопасности: смелость Алкивиада и горячность Ламаха соединялись с его осторожностью, и в глазах сограждан это делало выбор стратегов весьма удачным. Демострат, больше всех народных вожаков подстре-

кавший афинян к войне, встал тогда и, пообещав разом положить конец отговоркам Никия, предложил облечь стратегов неограниченной властью, дав им право решать дела, как им угодно, и дома и в походе. Народ проголосовал за его предложение.

13. Рассказывают, однако, что и жрецы сообщали о многих неблагоприятных для похода предзнаменованиях. Тем не менее Алкивиад, полагаясь на других гадателей, из каких-то древних оракулов выводил заключение, что в Сицилии афинян ждет громкая слава. И от Аммона к нему явились какие-то провидцы передать предсказание, что афиняне захватят всех сиракузян. О дурных же приметах не говорили из страха произнести зловещее слово. Афинян не могли заставить опомниться даже явные и очевидные знамения, такие, как случай с гермами, когда все они за одну ночь были изуродованы (кроме одной – ее зовут гермой Андокида, она была приношением филы Эгеиды и находилась против дома, принадлежавшего тогда Андокиду), или то, что произошло у алтаря двенадцати богов: какой-то человек вдруг вскочил на алтарь, уселся на него и камнем отсек себе детородный член. В Дельфах на медной пальме стояло золотое изображение Паллады – дар Афин из добычи, захваченной у персов. Много дней подряд вороны клевали статую, а сделанные из золота плоды пальмы откусывали и бросали вниз. Но афиняне говорили, что все это выдумки дельфийских жрецов, подученных сиракузянами. Оракул велел доставить из Клазомен в Афины жрицу, за нею послали, и оказалось, что имя привезенной Гесихия, т.е. Тишина. Беречь именно ее, тишину, божество наставляло тогда афинян. То ли напуганный этим знамением, то ли чисто по-человечески все взвесив и обдумав, астролог Метон, уже назначенный начальником какой-то части войска, прикинулся безумным и сделал вид, будто пытается поджечь свой дом. Некоторые сообщают, что он не разыгрывал сумасшествия, но действительно ночью сжег дом и, выйдя на площадь, жалостно упрашивал сограждан посочувствовать такой беде и не посылать в поход его сына, уже назначенного в Сицилию командиром триеры. Мудрецу Сократу его гений обычным условным знаком возвестил, что морской поход затевается на гибель городу. Сократ рассказал об этом своим знакомым и друзьям, и слова его стали известны многим. Немало людей было встревожено и самым сроком, на который было назначено отплытие. Женщины в те дни справляли праздник Адониса, и повсюду в городе лежали его статуи, а женщины били себя в грудь, совершая обряд погребения бога, так что те, кто сколько-нибудь считается с приметами, горевали о снаряженном тогда отряде, опасаясь, как бы столь яркий блеск его в скором времени не померк.

14. Когда Никий противился Народному собранию, когда он твердо стоял на своем, не поддаваясь соблазну власти и приносимого ею величия, он вел себя как человек дельный и благоразумный. Однако после того, как он не смог ни отговорить народ от войны, ни сам уклониться от командования, но как бы силой взят был народом, возвышен и облечен званием стратега, уже не время было озираться, медлить, как ребенку смотреть с корабля назад, терзать и расхолаживать даже своих товарищей по командованию, беспрестанно твердя о своем несогласии, и тем губить все дело – подобало, наоборот, преследовать врага по пятам и в битвах искать счастья. Никий же отверг как предложение

Ламаха плыть против сиракузян и дать бой у самого города, так и план Алкивиада, замышлявшего поднять против сиракузян другие города и уже потом выступить против Сиракуз; наперекор им Никий советовал спокойно плавать вдоль берегов Сицилии, блеснуть оружием и показать триеры, а потом вернуться в Афины, выделив небольшие силы в помощь Эгесте; этим Никий сразу разрушил замыслы своих товарищей и поверг их в уныние. Алкивиада вскоре вызвали на суд в Афины, и Никий, считавшийся вторым полководцем, на деле же – главнокомандующий, продолжал попусту тратить время, то плавая вокруг острова, то устраивая совещания, пока у солдат не пропала надежда, а у врагов не прошли изумление и ужас, в которые сначала их поверг вид вражеской мощи. Еще прежде, чем Алкивиад покинул войско, афиняне подошли к Сиракузам на шестидесяти кораблях. Они встали в боевой готовности у выхода из гавани, и десять кораблей было послано в гавань на разведку. Подойдя к берегу, они через глашатая потребовали возвратить леонтинцев в родной город, а в гавани им удалось захватить вражеский корабль и на нем таблицы с перечнем имен всех сиракузян по филам. Хранились эти таблицы за городом, в святилище Зевса Олимпийского, и их перевозили тогда для подсчета взрослого населения. Когда таблицы были взяты и принесены афинским стратегам и те увидели множество имен, гадатели забеспокоились – не есть ли это исполнение предсказания, что афиняне захватят всех сиракузян. Впрочем, передают, что таблицы достались афинянам иначе, – когда афинянин Каллипп, убив Диона, завладел Сиракузами[26].

15. Вскоре после отплытия Алкивиада из Сицилии верховное командование целиком перешло к Никию. Ламах был человеком мужественным и справедливым, в сражениях рука его рубила без устали, но жил он в такой бедности и простоте, что всякий раз, как его назначали стратегом, он предъявлял афинянам счет на небольшую сумму для покупки себе одежды и обуви. Влияние же Никия, наряду со многими другими причинами, объяснялось и его богатством. Существует рассказ, что однажды военачальники совещались о чем-то в палатке полководца, и на приглашение высказать свое мнение первым поэт Софокл ответил Никию: "Я самый старый, ты самый старший". Так и теперь Никий держал в подчинении Ламаха, полководца более талантливого, чем он сам, и действовал осторожно и медлительно. Плавая сначала вдоль берега Сицилии на далеком расстоянии от врагов, он придал им этим храбрости, потом, не сумев захватить маленький город Гиблу и отступив от него ни с чем, покрыл себя позором. В конце концов он отошел к Катане, покорив лишь Гиккары, варварский городок, из которого, как рассказывают, среди прочих пленных была вывезена и продана в Пелопоннес гетера Лаида, в ту пору еще маленькая девочка.

16. Лето кончилось[27], и Никий уже понимал, что сиракузяне, победившие свой страх, первыми выступят против афинян; вражеские всадники дерзко приближались к самому лагерю и спрашивали афинян, для чего они явились – поселиться вместе с катанцами или водворить на прежнее место леонтинцев. Тут Никий, наконец, повел флот против Сиракуэ. Желая без страха и беспокойства разбить свой лагерь, Никий из Катаны тайно послал к сиракузянам человека, чтобы тот дал совет, если они хотят голыми руками захватить лагерь и оружие

афинян, в условленный день подступить к Катане со всем войском. Подосланный Никием человек рассказал сиракузянам, что афиняне почти весь день проводят в городе и что сторонники сиракузян в Катане сговорились при первом известии о приближении сиракузян запереть ворота и немедленно поджечь стоящие на якоре корабли; заговорщиков, по его словам, уже много, и они ждут сиракузян. Это было лучшим военным успехом Никия в Сицилии. Он заставил врага вывести все войско и оставить город почти без защитников, а сам, покинув Катану, занял гавани и разместил войско в таком месте, откуда рассчитывал беспрепятственно вести военные дейдствия, применяя средства, в которых он был силен, и терпя самый незначительный урон от того, в чем был слабее врагов. Когда сиракузяне вернулись из Катаны и выстроились в боевой порядок у стен города, Никий немедленно повел афинян в наступление и победил. Убитыми враг потерял немного, так как бегство его прикрывала конница. Никий приказал разрушить мосты через реку и тем доставил Гермократу, который произносил речь, ободряя сиракузян, повод заявить, что Никий просто смешон: все его замыслы направлены к тому, чтобы уклониться от боя, как будто не для боя приплыл он в Сицилию.Тем не менее сиракузяне пришли в такой ужас и смятение, что вместо бывших у них тогда пятнадцати стратегов выбрали трех других, которым народ поклялся в верности и дал неограниченные полномочия.

Афиняне рвались к близлежащему храму Зевса Олимпийского, где находилось множество золотых и серебряных приношений. Но Никий нарочно оттягивал захват святилища и не помешал сиракузскому караулу занять его; он рассудил, что если сокровища разграбят солдаты, то государству это впрок не пойдет, а ответственность за святотатство будет нести он.

Никий никак не воспользовался своей славной победой: через несколько дней он возвратился в Наксос, где и провел зиму, много тратя на содержание огромного войска, но ничего не достигнув, если не считать союза с немногими перешедшими на его сторону сицилийскими городами, так что сиракузяне опять воспрянули духом, послали войско в Катану, разорили окрестности города и сожгли афинский лагерь. За это, конечно, все упрекали Никия, находя, что пока он раздумывал, собирался и выжидал, оказался упущенным благоприятный для действий момент. Надо сказать, что сами действия его никогда не вызывали нареканий. Раз начавши, он становился затем бесстрашен и решителен, но, когда надо было решиться, медлил и робел.

17. Когда он снова двинулся с войском против Сиракуз, то сделал это столь стремительно и в то же время с такой осторожностью, что, незаметно причалив к Тапсу и высадившись, успел занять Эпиполы, а из подоспевшего на помощь отряда отборных воинов взял в плен триста человек и обратил в бегство вражескую конницу, до тех пор не знавшую поражений. В особенности поразило сицилийцев, а грекам показалось сказкою то, что в короткий срок Никий окружил стеной Сиракузы – город, по величине не уступавший Афинам, но гораздо менее удобный для постройки вокруг него такой длинной стены из-за неровной местности, окрестных болот и близости моря. Никий лишь немного не закончил строительство, хотя эти заботы легли на него, когда он уже потерял здоровье и страдал болезнью почек, в которой и следует искать причину

того, что работы остались незавершенными. Меня восхищает заботливость полководца и отвага воинов, с успехом выполнявших свое дело. Уже после их поражения и гибели Эврипид сочинил такую эпитафию:

Эти мужи восемь раз сиракузян в бою побеждали;
Равными были тогда жребии волей богов[28].

Но можно было бы показать, что не восемь, а значительно большее число раз сиракузяне терпели поражение, пока, и в самом деле, то ли боги, то ли судьба не отвернулись от афинян именно в тот миг, когда они были на вершине своего могущества.

18. Несмотря на недуг, Никий участвовал почти в каждом деле. Как-то раз болезнь особенно мучила его, он не мог встать и остался в лагере с небольшим числом слуг. Ламах же принял командование и вступил в бой с сиракузянами, которые со стороны города воздвигали стену наперерез той, которую строили афиняне; таким путем сиракузяне должны были помешать врагу замкнуть кольцо вокруг города.

Почувствовав себя победителями, афиняне расстроили ряды и бросились преследовать врага, и Ламаху чуть ли не одному пришлось встретить натиск неприятельской конницы. Вел ее Калликрат, человек воинственный и горячий. Вызванный на единоборство, Ламах вступил с ним в поединок, первый получил удар, затем ударил сам, упал и умер вместе с Калликратом. Завладев его телом и оружием, сиракузяне бросились к афинской стене, подле которой лежал беспомощный Никий. Беда, однако, заставила его подняться. Понимая опасность, Никий приказал бывшим при нем слугам поджечь около стен все бревна, предназначенные для сооружения машин, да и сами машины тоже. Это остановило сиракузян и спасло как Никия, так и стену и имущество афинян: увидев огромное пламя, отделявшее их от вражеского лагеря, сиракузяне отступили.

Теперь единственным стратегом оставался Никий, и он надеялся на успех. Ведь города переходили на его сторону, груженные хлебом суда отовсюду прибывали к его лагерю, все искали союза с тем, кому сопутствовала удача. Сиракузяне, отчаявшись, стали поговаривать о сдаче города. Тогда и Гилипп, спешивший из Лакедемона к ним на помощь, узнав о возводимой афинянами стене и о безвыходном положении Сиракуз, решил, что Сицилия уже захвачена неприятелем, и плыл теперь лишь для того, чтобы оборонять италийские города, если это удастся. Громкая молва шла о том, что афиняне сильнее всех и что их полководца делает непобедимым его счастливая судьба и разум.

Даже самому Никию, несмотря на его характер, сила и удача придали бодрости. Полагаясь на тайные донесения из Сиракуз, гласившие, что город вот-вот начнет переговоры о сдаче, Никий не принял в расчет приближение Гилиппа, не выставил своевременно караулов. Такая беззаботность со стороны врага предоставила Гилиппу случай незаметно переплыть пролив[29], высадиться вдали от Сиракуз и собрать большое войско. Сиракузянам ничего не было известно о его прибытии, и они вовсе не ждали его. Назначено было Народное собрание для обсуждения условий договора с Никием, и кое-кто уже направлялся на площадь

с мыслью, что надо решить вопрос прежде, чем афиняне успеют окончательно запереть город стеной. Недостроенным оставался небольшой участок ее, и весь материал для окончания работ был заготовлен.

19. В этот решающий миг из Коринфа прибыл на одной триере Гонгил, и сбежавшиеся к нему сиракузяне узнали, что на помощь им скоро подойдет Гилипп и приплывут еще корабли. Гонгилу не решались еще поверить, как уже явился гонец от Гилиппа с наказом встречать спартанцев. Воспрянув духом, сиракузяне взялись за оружие, а Гилипп прямо с дороги выстроил воинов в боевой порядок и повел их на афинян. Когда Никий тоже привел своих в боевую готовность, Гилипп остановился против афинян и послал глашатая передать, что позволяет им беспрепятственно уйти из Сицилии. Никий не счел нужным отвечать ему. Некоторые воины со смехом спрашивали, неужели один спартанский плащ и палка так усилили сиракузян, что им уже не страшны афиняне, которые держали в оковах и вернули лакедемонянам триста человек посильнее Гилиппа и носивших более длинные волосы, чем он. Тимей передает, что и сицилийцы не уважали Гилиппа; в его алчности и скупости они убедились позднее, при первом же знакомстве подшучивали над его волосами и потертым плащом. Тот же писатель далее сообщает, что к Гилиппу, как к внезапно появившейся сове, слетелись очень многие и охотно встали под его команду. Это последнее известие более правдоподобно, чем первое. Ведь к нему шли потому, что смотрели на палку и на плащ[30], как на символы спартанского достоинства. Что все последующее развитие событий в Сицилии – заслуга Гилиппа, считал не только Фукидид, но и сиракузянин Филист, очевидец этих событий.

В первом сражении перевес остался на стороне афинян, убивших нескольких сиракузян и коринфянина Гонгила. Но уже на следующий день Гилипп показал, на что способен опытный полководец. Он начал битву тем же самым оружием, на тех же конях, в том же самом месте – лишь иначе расставил своих людей, и победа досталась ему. Афиняне бежали в свой лагерь, а Гилипп приказал сиракузянам воспользоваться афинскими запасами камня и леса и воздвиг укрепление, перерезавшее стену афинян так, чтобы она не могла им уже пригодиться даже в случае победы. Осмелевшие после этого успеха сиракузяне стали пополнять экипажи кораблей и, делая набеги силами своей и союзнической конницы, захватывали многих афинян в плен. Гилипп сам ездил по городам, вселял в жителей мужество и добился повиновения и надежной поддержки, так что Никий, при изменившемся положении дел возвращаясь к прежнему образу мыслей, приходил в уныние и писал в Афины, настаивая, чтобы в Сицилию выслали новое войско или отозвали бы и прежнее, а себя, ссылаясь на болезнь, настойчиво просил избавить от командования.

20. Афиняне и раньше хотели послать подкрепление в Сицилию, но из зависти к первым и столь многообещающим успехам Никия долго откладывали решение, теперь же, наконец, поспешили помочь. Весною в Сицилию должен был отплыть с большим флотом Демосфен, а еще зимой отплыл туда Эвримедонт, чтобы передать Никию деньги и объявить о назначении стратегами Эвфидема и Менандра – из числа тех, кто воевал вместе с ним.

Тем временем Никию был нанесен внезапный удар с суши и с моря; хотя ко-

рабли его сначала не выдержали натиска, он все же отогнал и потопил много неприятельских судов, однако прийти на помощь пехоте не успел, и Племмирий оказался в руках неожиданно появившегося Гилиппа, который завладел всем хранившимся там морским снаряжением и большой суммой денег, перебив и забрав в плен немало людей. Но самое важное было то, что он отрезал Никия от подвоза продовольствия. Ведь через Племмирий, пока в нем стояли афиняне, провизия доставлялась быстро и беспрепятственно, когда же мыс перешел в руки Гилиппа, дело осложнилось, ибо приходилось отбиваться от вражеских кораблей, стоявших там на якоре. К тому же сиракузянам теперь казалось, что и флот их побежден был не силой противника, а из-за недостатка порядка у них самих во время бегства. Они опять снаряжали корабли и рвались в бой. Никий уклонялся от битвы на море, считая величайшей глупостью с малым числом кораблей, да к тому же плохо оснащенных, ввязываться в сражение, когда уже совсем близко Демосфен с большим флотом и свежими силами. Но Менандр и Эвфидем, только что получившие командные посты, были охвачены духом соперничества и зависти к обоим полководцам, желая опередить в подвигах Демосфена и затмить славу Никия. Говоря о величии родного города, которое-де померкнет и рассеется, если афиняне будут страшиться плывущих на них сиракузских кораблей, они принудили Никия дать морское сражение. Придуманная коринфским кормчим Аристоном хитрость с завтраком привела, как пишет Фукидид[31], к тому, что афиняне оказались полностью разбитыми и понесли большие потери. Глубочайшее уныние охватило Никия, ведь и при единоличном командовании его постигали несчастья, и теперь он вновь потерпел неудачу по вине своих товарищей.

21. В это время у входа в гавань показался флот Демосфена, сверкая вооружением и ужасая врагов видом семидесяти трех кораблей с пятью тысячами гоплитов и не менее чем тремя тысячами копейщиков, лучников и пращников. Демосфен сумел, как в театре, ошеломить врагов блеском оружия, отличительными знаками на триерах, великим множеством начальников над гребцами и флейтистов[32]. Сиракузяне, как и следовало ожидать, снова были в большом страхе за свою судьбу, понимая, что мучаются и гибнут напрасно, без надежды увидеть конец и прекращение бедствий. Но недолго радовало Никия прибытие подкрепления, при первой же встрече с ним Демосфен предложил либо немедленно идти на врагов, возможно скорее дать решающий бой и захватить Сиракузы, либо плыть назад. В страхе и изумлении перед такой безрассудной стремительностью Никий просил Демосфена не поступать необдуманно и опрометчиво. Время, утверждал он, действует против неприятеля, не имеющего больших запасов и не надеющегося на длительную поддержку союзников. Теснимые нуждой, враги скоро, как уже было однажды, обратятся к нему для переговоров. И действительно, в Сиракузах было немало людей, тайно сносившихся с Никием и советовавших ему выжидать: сиракузяне, дескать, уже теперь истомленные войной и недовольные Гилиппом, окончательно лишатся сил, если нужда сдавит их еще немного. Кое о чем Никий говорил намеками, кое-чего вообще не захотел высказать и дал остальным стратегам повод обвинить его в трусости. Они заявляли, что Никий возвращается к старому – к своим проволочкам, затяжкам, ме-

лочной осторожности, из-за которых у неприятеля первое впечатление от мощи афинян притупилось и, когда они, наконец, ударили на врага, страх успел смениться презрением. Стратеги присоединились к мнению Демосфена, и Никий волей-неволей вынужден был уступить.

Итак, Демосфен ночью ударил с пехотой на Эпиполы, часть врагов истребил, не дав им опомниться, обороняющихся же обратил в бегство. Не довольствуясь достигнутым, он продвигался дальше, пока не столкнулся с беотийцами; сомкнутым строем, выставив копья, беотийцы первыми с криком бросились на афинян и многих сразили. Во всем войске Демосфена сразу поднялись страх и смятение. Обратившиеся в бегство смешались с теми, кто еще теснил противника, тем, кто рвался вперед, путь преграждали свои же, охваченные ужасом, и они сбивали друг друга с ног, и падали друг на друга, и принимали бегущих за преследующих и друзей за врагов. Все смешалось, всеми владел страх и неуверенность, обманчиво мерцала ночь, не беспроглядно темная, но и не достаточно светлая, как всегда бывает при заходе луны, движущаяся масса человеческих тел бросала густую тень, тусклый свет, в котором ничего нельзя было толком разглядеть, заставлял из страха перед врагом с подозрением всматриваться в лицо друга, – все это, вместе взятое, привело афинян к страшной, гибельной развязке. Случилось так, что луна светила им в спину и они все время оставались скрытыми собственной тенью, так что неприятель не видел ни мощи их оружия, ни его великолепия, щиты же врагов, отражая сияние луны, сверкали ярче, и казалось, что их больше, чем было на самом деле. Враги продолжали теснить со всех сторон, и кончилось тем, что, когда силы афинян иссякли, они предались бегству, и одни были сражены врагами, другие – своими же, третьи погибли, сорвавшись с кручи. Тех, которые рассеялись и блуждали по округе, с наступлением дня догнала и перебила вражеская конница. Афинян пало две тысячи, а из уцелевших лишь немногие сохранили свое оружие.

22. Никий, предвидевший этот удар, винил Демосфена в опрометчивости, а тот, кое-как оправдавшись, советовал как можно скорее плыть на родину. Ведь нового подкрепления им уже не получить, говорил он, а имеющихся сил недостаточно для победы над врагами; даже и в случае победы им следовало бы уехать, бежать из этой местности, всегда опасной и нездоровой, а теперь, в это время года, как они видят, просто губительной (как раз начиналась осень, и уже многие в войске недомогали, а приуныли все). Никий с тяжелым сердцем слушал слова о бегстве и отплытии – и не потому, что не страшился сиракузян, а потому, что еще больший страх внушали ему афиняне, их суды и доносы. Он возражал, что не ждет здесь никакой беды, а если бы она и случилась, то легче умереть от руки врагов, чем сограждан. Мысль эта противоположна тому, что позднее сказал своим согражданам Леонт Византийский: "Мне приятнее принять смерть от ваших рук, чем разделить ее с вами". О том, в какое место перенести лагерь, Никий обещал подумать на досуге. Выслушав его возражения, Демосфен, первый план которого так позорно провалился, не стал настаивать, остальные же, уверенные, что Никий выжидает, полагаясь на своих сторонников в Сиракузах, и поэтому противится отплытию, приняли его сторону. Однако, когда к сиракузянам прибыло подкрепление, в то время как среди афинян все

росло число больных, Никий тоже решился отступать и приказал солдатам готовиться к отплытию.

23. Все приготовления были окончены, а враги, ни о чем не подозревавшие, не выставили никакого караула, но вдруг случалось лунное затмение[33], вселившее великий страх в Никия и в остальных, – во всех, кто по своему невежеству или суеверию привык с трепетом взирать на подобные явления. Что солнце может иногда затмиться в тридцатый день месяца и что затмевает его луна, – это было уже понятно и толпе. Но трудно было постичь, с чем встречается сама луна и отчего в полнолуние она вдруг теряет свой блеск и меняет цвет. В этом видели нечто сверхъестественное, некое божественное знамечие, возвещающее великие бедствия. Первым, кто создал чрезвычайно ясное и смелое учение о луне, об ее сиянии и затмениях, был Анаксагор, но и сам он не принадлежал к числу древних писателей, и сочинение его еще не было широко известно, но считалось не подлежащим огласке и лишь тайно, с осторожностью передавалось из рук в руки отдельными лицами. В те времена не терпели естествоиспытателей и любителей потолковать о делах заоблачных – так называемых метеоролесхов [meteoroléschai]. В них видели людей, которые унижают божественное начало, сводят его к слепым неразумным причинам, к неизъяснимым силам, к неизбежной последовательности событий. И Протагор был изгнан, и Анаксагора Периклу едва удалось освободить из темницы, и Сократ, непричастный ни в коей мере ни к чему подобному, все-таки погиб из-за философии. В дальнейшем Платон, прославившись и самою своею жизнью, и тем, что естественную необходимость он поставил ниже божественных и более важных начал, рассеял ложное мнение о такого рода сочинениях и сделал эти науки достоянием всех. Так, например, его друга Диона не смутило наступление лунного затмения в тот момент, когда он собирался сняться с якоря в Закинфе и плыть против Дионисия: он вышел в открытое море и, достигнув Сиракуз, низложил тиранна[34].

По несчастливому стечению обстоятельств подле Никия тогда не было толкового прорицателя, так как незадолго до того умер его близкий товарищ Стилбид, избавлявший Никия от многих суеверных страхов. По словам Филохора, правда, это знамение отнюдь не дурное, а, напротив, даже благоприятное для убегающих, поскольку дела, совершаемые с опаской, должны быть скрыты и свет им помеха. И вообще, как написано в "Толкованиях" Автоклида, злотворного воздействия солнца или луны следует ожидать лишь в первые три дня после затмения.

Но Никий уговорил афинян дождаться конца следующего оборота луны, так как, по его наблюдениям, она стала чистой не сразу после того, как прошла темное место, заслоненное землей.

24. Отложив чуть ли не все дела, Никий приносил жертвы и гадал, а тем временем враги подступили вплотную, осадили стены и лагерь афинян, заперли своими кораблями гавань, и теперь уже не только триеры, но и мальчишки на рыбацких лодках подплывали к афинянам, дразнили их и кричали обидные слова. Одного из этих мальчишек, Гераклида, сына уважаемых родителей, далеко заплывшего на своем челноке, настиг и захватил афинский корабль. В страхе за мальчика его дядя Поллих повел на афинян десять вверенных ему триер, ос-

тальные же, опасаясь гибели Поллиха, последовали за ним. Произошла ожесточенная морская битва, победили сиракузяне, среди многих погибших был и Эвримедонт.

Держаться дольше афиняне не могли, они осыпали бранью стратегов, требуя, чтобы те начинали отступать сушей: дело в том, что, одержав верх, сиракузяне сразу же загородили и отрезали выход из гавани. Но Никий не согласился на это требование. Бросить множество грузовых судов и около двухсот триер представлялось делом неслыханным, поэтому отборных пехотинцев и самых лучших копейщиков посадили на суда, приведя таким образом в боевую готовность сто десять триер – для остальных недостало весел. Прочих солдат Никий расставил вдоль морского берега, окончательно уйдя из большого лагеря и от стен, тянувшихся вплоть до святилища Геракла, так что сиракузские жрецы и полководцы вошли в храм и сразу принесли обычную жертву Гераклу, которая долгое время не приносилась.

25. Моряки уже поднимались на суда, когда гадатели, рассмотрев внутренности жертвенных животных, обещали сиракузянам блестящую победу, если они не станут затевать боя, а будут лишь обороняться: ведь и Геракл выходил победителем тогда, когда защищался и первый принимал на себя удар. Корабли вышли в море, и завязалась битва, необыкновенно жестокая и упорная, причем очевидцы сражения не в меньшей мере, чем его участники, терзались волнением, наблюдая за частыми и неожиданными поворотами в ходе боя. Собственное снаряжение причиняло афинянам не меньший вред, чем неприятель, ибо тяжелые корабли афинян шли сомкнутым строем и с разных сторон на них кидались легкие суда неприятеля, а на град камней, которые поражают с одинаковой силой, как бы они ни упали, афиняне отвечали дротиками и стрелами, которые из-за качки невозможно было метнуть точно, так что далеко не все они летели острием вперед. Это предусмотрел и растолковал сиракузянам коринфский кормчий Аристон; сам он пал в этой битве, в яростной схватке, когда победа клонилась уже на сторону сиракузян.

Разгром был полный и окончательный, путь к бегству морем был закрыт, и, сознавая, что на суше им также будет нелегко спастись, афиняне позволяли врагам у себя на глазах уводить корабли, не просили для погребения тела убитых, так как еще печальнее, чем не похоронить погибших, было бросить на произвол судьбы больных и раненых, а эта картина носилась уже перед их взором. Впрочем, и их самих, полагали они, после многих бед ждет такой же плачевный конец.

26. Ночью афиняне приготовились бежать. Гилипп, наблюдая, как сиракузяне устраивали жертвоприношения и попойки в честь победы и праздника, предвидел, что их невозможно будет ни уговорить, ни заставить ударить на удаляющегося неприятеля. Но Гермократ задумал хитрость и послал к Никию своих товарищей, которые сказали, что они явились по поручению тех, кто с самого начала войны тайно сносился с Никием, чтобы передать совет не выступать ночью, так как сиракузяне приготовили неприятелю засады и заранее заняли дороги. Введенный в заблуждение, Никий не тронулся с места, пока действительно не случилось то, чего он ложно опасался. На рассвете сиракузяне поспешили

занять выгодные позиции на дорогах, выстроили преграды у переправ через реки, разрушили мосты, расставили всадников на равнинах и полях, так что афиняне теперь уже нигде не могли пройти без боя. После целого дня и ночи ожидания афиняне двинулись в путь, рыдая и сетуя так, словно покидали не вражескую, а родную землю. Они страдали от отсутствия самого необходимого, от того, что приходилось бросать беспомощных друзей и близких. А впереди, по их расчетам, предвиделись бедствия, еще более тяжелые.

Среди многих ужасов, которые можно было наблюдать в лагере, самое жалкое зрелище являл собою сам Никий, удрученный недугом и вынужденный, несмотря на свое звание, довольствоваться скудным дорожным пайком, хотя больное тело требовало несравненно большего; обессиленный, он выдерживал то, что было не под силу многим здоровым; все видели, что не ради себя, не из привязанности к жизни он терпит муки, но ради своих воинов не позволяет себе впадать в отчаяние. Ведь если другие плакали и стенали от страха и горя, то слезы Никия, несомненно, были вызваны тем, что он сравнивал постыдный провал похода с теми великими и славными подвигами, которые он надеялся совершить. Глядя на него, а еще больше вспоминая его слова, его увещания, которыми он пытался не допустить отплытия в Сицилию, афиняне все больше проникались мыслью, что Никий наказан незаслуженно. У них пропадала всякая надежда на богов при виде того, как мужа благочестивого, принесшего столько прекрасных даров божеству, постигает участь, ничуть не лучшая, чем самых негодных и малодушных солдат.

27. Несмотря ни на что, Никий своими речами, выражением лица и обхождением с воинами старался показать, что он выше постигшего их несчастья. В течение всех восьми дней пути, когда неприятель преследовал их и наносил удар за ударом, Никий берег от разгрома свое войско, пока у Полизеловой усадьбы не попал в окружение отряд Демосфена, оторвавшийся от своих во время схватки с врагом. Демосфен тогда сам пронзил себя мечом, но не умер, так как враги тут же обступили и удержали его. Никию эту весть принесли подскакавшие сиракузяне; узнав же от посланных им самим всадников, что отряд Демосфена захвачен врагом, он счел нужным предложить Гилиппу перемирие с тем, чтобы афиняне получили возможность уйти из Сицилии, оставив заложников впредь до возмещения сиракузянам убытков, которые принесла им война. Но сиракузяне отвергли эти условия, с яростной бранью, издевательствами и угрозами они продолжали метать копья и пускать стрелы в афинян, уже оставшихся без воды и без пищи. Тем не менее Никий продержался всю ночь и на следующий день, теснимый врагом, подошел к реке Асинару. И здесь одних столкнули в поток враги, других заставила прыгнуть туда жажда. Началось чудовищное в своей жестокости избиение, когда глоток воды оказывался последним в жизни, пока Никий не пал перед Гилиппом со словами: "Пощады, Гилипп, вы победили! Нет, не за себя прошу, прославившего свое имя столь великими несчастьями, а за остальных афинян. Вспомните, что на войне беда может случиться со всяким и что афиняне, когда им сопутствовала удача, обошлись с вами благосклонно и мягко". Гилиппа тронули и слова и вид Никия. Он знал, сколько добра сделал Никий лакедемонянам при заключении мира, к тому же захват живыми страте-

гов противника сулил еще бо́льшую славу. Подняв Никия с земли, Гилипп старался его успокоить и отдал приказ прекратить резню. Распоряжение это доходило до солдат медленно, так что оставшихся в живых было гораздо меньше, чем убитых. Многих, впрочем, незаметно увели к себе сами солдаты[35]. Оставшихся пленных сиракузяне свели в одно место, все вооружение, снятое с афинян, развесили вдоль реки на самых больших и красивых деревьях. Возложив на себя венки, нарядно украсив своих коней, а афинским остригши гривы, они повернули назад, к Сиракузам. Ценой величайшего напряжения всех сил, небывалого мужества и отваги они одержали полную победу в самой знаменитой из войн, какая велась между греками.

28. В совместном собрании сиракузян и союзников народный главарь Эврикл предложил объявить день захвата Никия в плен праздником и отмечать его принесением жертв и отдыхом от трудов, праздник же именовать Асинарией в честь реки. День этот пришелся на двадцать шестое число месяца карнея, который у афинян называется метагитнионом. С афинянами же Эврикл предлагал поступить так: рабов и союзников продать, самих же афинян и перешедших на их сторону сицилийцев послать под охраной в каменоломни, за исключением стратегов, которых надлежит казнить. Сиракузяне одобряли его мнение, и слова Гермократа, что хорошо использовать победу важнее, чем победить, были встречены возмущенным криком, а Гилиппу, который настаивал, чтобы стратеги живыми были увезены в Лакедемон, граждане, уже раздувшиеся от гордости своими победами, ответили бранью. Впрочем, еще во время войны сиракузяне тяготились грубостью Гилиппа и его лаконской манерой командования; как сказано у Тимея, ему ставили в вину скупость и алчность, эту наследственную болезнь, из-за которой его отец Клеандрид, бравший взятки, принужден был покинуть отечество. Да и сам Гилипп со страшным позором удалился в изгнание, когда на него донесли, что он похитил и спрятал под крышей своего дома тридцать талантов из той тысячи, что Лисандр отправил в Спарту. Подробнее об этом говорится в жизнеописании Лисандра[36].

Тимей сообщает, что Демосфен и Никий не были казнены по приказу сиракузян, как утверждают Филист и Фукидид, но, предупрежденные Гермократом, воспользовались отсутствием караульных и покончили с собою, пока еще шло Народное собрание.Тела их были выброшены к воротам и лежали там, доступные взорам всех любопытствовавших. Мне приходилось слышать, что в Сиракузах, в одном из храмов, до сих пор показывают искусно отделанный золотом и пурпуром щит, якобы принадлежавший Никию.

29. Множество афинян погибло в каменоломнях от болезней и скверной пищи: им давали в день две котилы ячменя и котилу воды, но немалое их число, – те, кто был похищен или выдавал себя за раба, – было продано. Их продавали в рабство и ставили на лбу клеймо в виде лошади. Да, были и такие, кому вдобавок к неволе привелось терпеть еще и это. Но даже в такой крайности им приносило пользу чувство собственного достоинства и умение себя держать. Владельцы либо отпускали их на свободу, либо высоко ценили. А некоторых спас Эврипид. Дело в том, что сицилийцы, вероятно, больше всех греков, живущих за пределами Аттики, чтили талант Эврипида. Когда приезжающие доставляли

им небольшие отрывки из его произведений, сицилийцы с наслаждением вытверживали их наизусть и повторяли друг другу. Говорят, что в ту пору многие из благополучно возвратившихся домой горячо приветствовали Эврипида и рассказывали ему, как они получали свободу, обучив хозяина тому, что осталось в памяти из его стихов, или как, блуждая после битвы, зарабатывали себе пищу и воду пением песен из его трагедий. Нет, стало быть, ничего невероятного в рассказе о том, что в Кавне какому-то судну сначала не позволяли укрыться в гавани от пиратов, а затем впустили его, когда после расспросов удостоверились, что моряки помнят наизусть стихи Эврипида.

30. В Афинах, как рассказывают, не поверили вести о беде, главным образом из-за того, кто эту весть принес. По-видимому, какой-то чужеземец сошел на берег в Пирее и, сидя у цирюльника, заговорил о случившемся, как о чем-то для афинян хорошо известном. Выслушав его, цирюльник, пока еще никто ничего не узнал, помчался в город и, прибежав к архонтам, прямо на площади пересказал им слова чужеземца. Как и следовало ожидать, все были испуганы и смущены, архонты созвали Народное собрание и пригласили цирюльника. Он не смог ответить вразумительно на вопрос, кто сообщил ему эту новость. Его сочли выдумщиком и смутьяном и долго пытали, привязав к колесу, пока не прибыли люди, во всех подробностях поведавшие о несчастье. Лишь тогда афиняне поверили, что Никий на себе испытал то, о чем так часто их предупреждал.



КРАСС

1. Марк Красс, отец которого был цензором и триумфатором[1], воспитывался в небольшом доме вместе с двумя братьями. Те женились еще при жизни родителей, и все сходились за общим обеденным столом. Такая обстановка, по-видимому, весьма содействовала тому, что Красс в течение всей жизни оставался воздержным и умеренным. После смерти одного из братьев он женился на его вдове, имел от нее детей и с этой стороны не уступал в добронравии никому из римлян. В более зрелом возрасте, однако, он был обвинен в сожительстве с одной из дев-весталок – Лицинией. Лициния также подверглась судебному преследованию со стороны некоего Плотина. У Лицинии было прекрасное имение в окрестностях Рима, и Красс, желая дешево его купить, усердно ухаживал за Лицинией, оказывал ей услуги и тем навлек на себя подозрения. Но он как-то сумел, ссылаясь на корыстолюбивые свои побуждения, снять с себя обвинение в прелюбодеянии, и судьи оправдали его. От Лицинии же он отстал не раньше, чем завладел ее имением.

2. Римляне утверждают, что блеск его многочисленных добродетелей омрачается лишь одним пороком – жаждой наживы. А я думаю, что этот порок, взяв

верх над остальными его пороками, сделал их лишь менее заметными. Лучшим доказательством его корыстолюбия служат и те способы, какими он добывал деньги, и огромные размеры его состояния. Ибо первоначально Красс имел не более трехсот талантов; а когда он стал во главе государства, то, посвятив Геркулесу десятую часть своего имущества, устроив угощение для народа, выдав каждому римлянину из своих средств на три месяца продовольствия, – при подсчете своих богатств перед парфянским походом все же нашел, что стоимость их равна семи тысячам ста талантам. Если говорить правду, далеко не делающую ему чести, то бо́льшую часть этих богатств он извлек из пламени пожаров и бедствий войны, использовав общественные несчастья как средство для получения огромнейших барышей. Ибо, когда Сулла, овладев Римом, стал распродавать имущество казненных, считая и называя его своей добычей, и стремился сделать соучастниками своего преступления возможно большее число лиц, и притом самых влиятельных, Красс не отказывался ни брать от него, ни покупать. Кроме того, имея перед глазами постоянный бич Рима – пожары и осадку зданий, вызываемую их громоздкостью и скученностью, он стал приобретать рабов-архитекторов и строителей, а затем, когда их набралось у него более пятисот, начал скупать горевшие и смежные с ними постройки, которые задешево продавались хозяевами, побуждаемыми к тому страхом и неуверенностью. Таким-то образом большая часть Рима стала его собственностью. Располагая столь значительным числом мастеров, сам он, однако: кроме собственного дома, не выстроил ничего, а о любителях строиться говорил, что они помимо всяких врагов сами себя разоряют. Он владел также великим множеством серебряных рудников, богатых земель, обеспеченных работниками, но все это можно было считать ничтожным по сравнению со стоимостью его рабов – столько их у него было, да притом таких, как чтецы, писцы, пробирщики серебра, домоправители, подавальщики. За обучением их он надзирал сам, внимательно наблюдая и давая указания, и вообще держался того мнения, что господину прежде всего надлежит заботиться о своих рабах как об одушевленных хозяйственных орудиях. Красс был, конечно, прав, полагая, что всем прочим в хозяйстве следует, как он говорил, распоряжаться через рабов, а рабами должно управлять самому. Ибо мы видим, что умение вести хозяйство, в том, что касается неодушевленных предметов, сводится к увеличению доходов, когда же дело касается людей, – это уже искусство управления. Но неумно было с его стороны не признавать и не называть богатым того, кто не в состоянии содержать на свои средства целое войско[2]. Ибо, как сказал Архидам, война питается не по норме, а потому денежные средства, которых она требует, неограниченны. И здесь Красс сильно расходится во взглядах с Марием, который, наделив солдат землей по четырнадцати югеров на каждого и узнав, что они требуют больше, сказал: "Да не будет впредь ни одного римлянина, который считал бы малым надел, достаточный для его пропитания".

3. Красс любил показывать свою щедрость гостям. Дом его был открыт для всех, а своим друзьям он даже давал деньги взаймы без процентов, но вместе с тем по истечении срока требовал их от должников без снисхождения, так что бескорыстие его становилось тяжелее высоких процентов. На обедах его при-

глашенными были преимущественно люди из народа, и простота стола соединялась с опрятностью и радушием, более приятным, чем роскошь.

Что касается умственных занятий, то он упражнялся главным образом в ораторском искусстве, стремясь завоевать известность у народа. Будучи от природы одним из первых ораторов среди римлян, Красс старанием и трудом достиг того, что превзошел даровитейших мастеров красноречия. Не было, говорят, такого мелкого и ничтожного дела, за которое он взялся бы не подготовясь. И не раз, когда Цезарь, Помпей или Цицерон не решались взять на себя защиту, Красс проводил ее успешно. Этим-то всего больше он и нравился народу, прослыв человеком, заботящимся о других и готовым помочь. Нравились также его обходительность и доступность, проявлявшиеся в том, как он здоровался с приветствовавшими его. Не было в Риме такого безвестного и незначительного человека, которого он при встрече, отвечая на приветствие, не назвал бы по имени. Говорят еще, что Красс был сведущ в истории и не чужд философии. Следовал он учению Аристотеля, наставником же его был Александр, который совместною жизнью с Крассом доказал свою непритязательность и кротость, ибо трудно сказать, был ли он беднее до того, как пришел к Крассу, или, напротив, стал еще беднее после этого. Так, хотя из всех друзей Красса только Александр сопровождал его в путешествиях, он получал в дорогу кожаный плащ, который по возвращении у него требовали обратно. Но об этом ниже.

4. Вскоре после того, как Цинна и Марий взяли верх, с полной очевидностью выяснилось, что возвращаются они не на благо отечества, а с неприкрытым намерением казнить и губить знатных: те, кого они захватили, были умерщвлены, в числе их отец и брат Красса. Сам он, тогда еще молодой человек, избежал непосредственной опасности, но, видя, что он окружен со всех сторон и что тиранны его выслеживают, Красс взял с собой троих друзей и десять слуг и с величайшей поспешностью бежал в Испанию, где прежде, в бытность отца его наместником, он жил и приобрел друзей. Там он застал всех в великом страхе и трепете перед жестокостью Мария, как будто тот находился среди них, и, не решившись кому-либо открыться, кинулся в приморское поместье Вибия Пациана, где была большая пещера, спрятался в ней, а к Вибию послал одного из своих рабов на разведку, так как и припасы его были уже на исходе. Вибий же, услышав о Крассе, обрадовался его спасению, спросил о числе его спутников и где они находятся. От личного свидания он воздержался, но, тотчас проведя к тому месту управляющего имением, приказал ежедневно носить Крассу готовый обед, ставить его на камень и молча удаляться, не любопытствуя и ничего не высматривая. За излишнее любопытство Вибий пригрозил ему смертью, а за верную службу обещал свободу.

Пещера эта находится неподалеку от моря. Замыкающие ее со всех сторон скалы оставляют проход – узкую, едва заметную расщелину, ведущую внутрь. Всякого входящего туда поражает необычайная высота пещеры, а в ширину она расходится в виде просторных, сообщающихся между собой гротов. Здесь нет недостатка ни в воде, ни в свете, так как под самой скалой бьет источник чрезвычайно приятной на вкус воды, а природные трещины, обращенные в ту сторону, где скалы всего ярче освещены, пропускают в пещеру свет, так что днем в

ней бывает светло. Воздух внутри не влажен и чист, потому что благодаря плотности своей скала не впитывает струящуюся влагу, а дает ей стекать в источник.

5. Все время, пока Красс с товарищами жил здесь, ежедневно появлялся человек, приносивший еду. Он их не видел и не знал; им же он был виден, так как они поджидали его, зная время его прихода. Кушанья к обеду бывали приготовлены в изобилии и не только удовлетворяли их потребности, но и доставляли удовольствие, ибо Вибий решил в заботах своих о Крассе всячески выказывать ему радушие. Пришла ему также в голову мысль о возрасте Красса[3], о том, что он еще молод и что следует подумать о приличествующих его годам удовольствиях, ибо, как полагал Вибий, удовлетворять только насущные нужды – значит служить скорее по необходимости, чем из расположения. Итак, взяв с собою двух красивых прислужниц, он пошел к морю, а придя на место, указал им вход в пещеру и велел войти туда, откинув страх. При виде вошедших Красс испугался, полагая, что убежище его выслежено и обнаружено, и спросил девушек, кто они и что им нужно. Когда же те, наученные Вибием, ответили, что ищут скрывающегося здесь своего господина, Красс, поняв любезную шутку Вибия, принял девушек, и они жили с ним все остальное время, осведомляя о его нуждах Вибия. Фенестелла говорит, что видел одну из них уже старухой и не раз слышал, как она охотно вспоминала и рассказывала об этом случае.

6. Так прожил Красс, скрываясь, восемь месяцев и вышел лишь после того, как узнал о смерти Цинны. К нему стеклось немало людей. Красс отобрал из них две тысячи пятьсот человек и выступил, держа путь через города. По свидетельству многих писателей, он разграбил один из них – Малаку, но сам он, говорят, отрицал это и опровергал тех, кто заводил об этом речь.

Собрав затем несколько грузовых судов и переправившись в Африку, Красс явился к Метеллу Пию, знатному мужу, собравшему немалое войско. Пробыл здесь Красс, однако, недолго. Поссорившись с Метеллом, он уехал к Сулле и оставался среди его приверженцев, пользуясь величайшим почетом. После переправы в Италию Сулла, желая использовать всю бывшую с ним молодежь как усердных соратников, каждого из них приставил к какому-нибудь делу. Красс, которому поручено было отправиться в землю марсов для набора войска, просил дать ему охрану, так как дорога проходила вблизи неприятеля. Сулла же, разгневавшись на него, резко ответил: “Я даю тебе в провожатые твоего отца, брата, друзей, родных – за них, незаконно и без вины казненных, я мщу убийцам!”. Получив такую отповедь, Красс, задетый за живое, тотчас же отправился и, отважно пробившись сквозь неприятельское расположение, собрал многочисленное войско, а затем ревностно помогал Сулле в его борьбе. После этих-то успехов, говорят, и зародились в нем впервые честолюбивые замыслы и стремление соперничать в славе с Помпеем. Помпей, хотя и годами был моложе Красса, и родился от отца, пользовавшегося в Риме дурною репутацией, навлекшего на себя глубокую ненависть сограждан, уже покрыл себя блеском побед в тогдашних войнах и выказал себя поистине великим, так что Сулла вставал при его появлении, обнажал голову и называл его императором – такой чести он не часто удостаивал даже и старших по возрасту и равных себе по положению людей. Это раззадоривало и раздражало Красса, которого не без основания стави-

ли ниже Помпея. Ему недоставало опытности, а красоту его подвигов губили владевшие им от природы злые силы – корыстолюбие и скаредность. Так, после взятия умбрийского города Тудертии он был заподозрен в присвоении большей части ценностей, и об этом донесли Сулле. Но в сражении под Римом, оказавшемся самым большим из всех и последним, в то время как Сулла потерпел поражение и его войска были отброшены и частью перебиты, Красс, начальствовавший над правым крылом, одержал победу и преследовал неприятеля до самой ночи, после чего послал к Сулле сообщить об успехе и просить обеда для воинов.

Во время казней и конфискаций о нем опять пошла дурная слава – что он скупает за бесценок богатейшие имущества или выпрашивает их себе в дар. Говорят также, что в Бруттии он кого-то внес в списки не по приказу Суллы, а из корыстных побуждений и что возмущенный этим Сулла уже больше не пользовался его услугами ни для каких общественных дел. Красс был очень силен в умении уловлять людей лестью, но и в свою очередь легко уловлялся льстивыми речами. Отмечают в нем еще одну особенность: будучи сам до последней степени алчен, он терпеть не мог себе подобных и всячески поносил их.

7. Его мучило, что Помпей достиг замечательных успехов, предводительствуя войсками, что он получил триумф до того, как стал сенатором, и что сограждане прозвали его Магном [Magnus], т.е. Великим. И когда однажды кто-то сказал, что пришел Помпей Великий, Красс со смехом спросил, какой же он величины. Отчаявшись сравняться с Помпеем на военном поприще, он погрузился в гражданские дела и ценою больших усилий, ведя судебные защиты, ссужая деньгами и поддерживая тех, кто домогался чего-либо у народа, приобрел влияние и славу, равную той, какую снискал себе Помпей многими великими походами. В результате же с ними происходило нечто неожиданное: пока Помпея не было в Риме, влияние и известность его были преобладающими благодаря славе его походов. Когда же Помпей сам был в Риме, в борьбе за влияние его часто побеждал Красс, причиною чего было высокомерие Помпея и его недоступность в обхождении: он избегал народа, держался вдали от форума, а из просивших о поддержке помогал лишь немногим и то неохотно, предпочитая в полной мере сохранить влияние, которым он располагал, на случай, если придется использовать его для самого себя. Красс же постоянно оказывал всем содействие, не был ни нелюдимым, ни недоступным и, живя среди непрерывных хлопот, обходительностью своей и доброжелательством брал верх над чванным Помпеем. Что касается внешней представительности, убедительности речи и привлекательности черт лица, то качества эти, как говорят, были одинаково присущи обоим.

Соперничество не увлекало, однако, Красса на путь вражды или какого-нибудь недоброжелательства; его огорчало, что Помпей и Цезарь почитались стоящими выше его, но к честолюбию не присоединялось ни враждебности, ни коварства. Правда, Цезарь, взятый в плен пиратами[4], находясь под стражей, воскликнул: "Какую радость вкусишь ты, Красс, когда узнаешь о моем пленении!" Но позже они по-дружески сблизились между собой, и, когда Цезарь собирался

отправиться в Испанию в качестве претора, денег же не имел, а кредиторы донимали его и задерживали отъезд, Красс не остался в стороне и выручил Цезаря, поручившись за него на сумму в восемьсот тридцать талантов.

Между тем Рим разделился на три стана – Помпея, Цезаря и Красса (ибо слава Катона была больше его влияния и сила его заключалась главным образом в том, что им восхищались), причем разумная, положительная часть граждан почитала Помпея, люди пылкие и неуравновешенные воспламенялись надеждами, внушаемыми Цезарем, Красс же, занимая промежуточную позицию, с выгодой пользовался поддержкой и тех и других. Постоянно меняя свои взгляды на дела управления, он не был ни надежным другом, ни непримиримым врагом, а легко отказывался ради личной выгоды как от расположения, так и от вражды, так что в короткое время много раз был то сторонником, то противником одних и тех же людей либо одних и тех же законов. Сила его заключалась и в умении угождать, но прежде всего – во внушаемом им страхе. Недаром Сициний, человек, доставлявший немало хлопот тогдашним должностным лицам и вожакам народа, на вопрос, почему он одного лишь Красса не трогает и оставляет в покое, ответил: "У него сено на рогах". Дело в том, что римляне имели обыкновение навязывать бодливому быку на рога сено для предостережения прохожих.

8. Восстание гладиаторов, известное также под названием Спартаковой войны и сопровождавшееся разграблением всей Италии, было вызвано следующими обстоятельствами.

Некий Лентул Батиат содержал в Капуе школу гладиаторов, большинство которых были родом галлы и фракийцы. Попали эти люди в школу не за какие-нибудь преступления, но исключительно из-за жестокости хозяина, насильно заставившего их учиться ремеслу гладиаторов. Двести из них сговорились бежать. Замысел был обнаружен, но наиболее дальновидные, в числе семидесяти восьми, все же успели убежать, запасшись захваченными где-то кухонными ножами и вертелами. По пути они встретили несколько повозок, везших в другой город гладиаторское снаряжение, расхитили груз и вооружились[15]. Заняв затем укрепленное место, гладиаторы выбрали себе трех предводителей. Первым из них был Спартак, фракиец, происходивший из племени медов, – человек, не только отличавшийся выдающейся отвагой и физической силой, но по уму и мягкости характера стоявший выше своего положения и вообще более походивший на эллина, чем можно было ожидать от человека его племени. Рассказывают, что однажды, когда Спартак впервые был приведен в Рим на продажу, увидели, в то время как он спал, обвившуюся вокруг его лица змею. Жена Спартака, его соплеменница, одаренная однако же даром пророчества и причастная к Дионисовым таинствам, объявила, что это знак предуготованной ему великой и грозной власти, которая приведет его к злополучному концу. Жена и теперь была с ним, сопровождая его в бегстве.

9. Прежде всего гладиаторы отбили нападение отрядов, пришедших из Капуи, и, захватив большое количество воинского снаряжения, с радостью заменили им гладиаторское оружие, которое и бросили как позорное и варварское. После этого для борьбы с ними был послан из Рима претор Клавдий с трехтысячным отрядом. Клавдий осадил их на горе[5], взобраться на которую можно бы-

ло только по одной узкой и чрезвычайно крутой тропинке. Единственный этот путь Клавдий приказал стеречь; со всех остальных сторон были отвесные гладкие скалы, густо заросшие сверху диким виноградом. Нарезав подходящих для этого лоз, гладиаторы сплели из них прочные лестницы такой длины, чтобы те могли достать с верхнего края скал до подножия, и затем благополучно спустились все, кроме одного, оставшегося наверху с оружием. Когда прочие оказались внизу, он спустил к ним все оружие и, кончив это дело, благополучно спустился и сам. Римляне этого не заметили, и гладиаторы, обойдя их с тыла, обратили пораженных неожиданностью врагов в бегство и захватили их лагерь. Тогда к ним присоединились многие из местных волопасов и овчаров – народ все крепкий и проворный. Одни из этих пастухов стали тяжеловооруженными воинами, из других гладиаторы составили отряды лазутчиков и легковооруженных.

Вторым против гладиаторов был послан претор Публий Вариний. Вступив сначала в бой с его помощником, Фурием, предводительствовавшим отрядом в три тысячи человек, гладиаторы обратили его в бегство, а затем Спартак подстерег явившегося с большими силами Коссиния, советника Вариния и его товарища по должности, в то время как он купался близ Салин[6], и едва не взял его в плен. Коссинию удалось спастись с величайшим трудом, Спартак же, овладев его снаряжением, стал немедленно преследовать его по пятам и после кровопролитного боя захватил его лагерь. В битве погиб и Коссиний. Вскоре Спартак, разбив в нескольких сражениях самого претора, в конце концов взял в плен его ликторов и захватил его коня.

Теперь Спартак стал уже великой и грозной силой, но как здравомыслящий человек ясно понимал, что ему все же не сломить могущества римлян, и повел свое войско к Альпам, рассчитывая перейти через горы и, таким образом, дать каждому возможность вернуться домой – иным во Фракию, другим в Галлию. Но люди его, полагаясь на свою силу и слишком много возомнив о себе, не послушались и на пути стали опустошать Италию.

Раздражение, вызванное в сенате низким и недостойным характером восстания, уступило место страху и сознанию опасности, и сенат отправил против восставших, как на одну из труднейших и величайших войн, обоих консулов разом. Один из них, Геллий, неожиданно напав на отряд германцев, из высокомерия и заносчивости отделившихся от Спартака, уничтожил его целиком. Другой, Лентул, с большими силами окружил самого Спартака, но тот, перейдя в наступление, разбил его легатов и захватил весь обоз. Затем он двинулся к Альпам, навстречу же ему во главе десятитысячного войска выступил Кассий, наместник той части Галлии, что лежит по реке Паду. В завязавшемся сражении претор был разбит наголову, понес огромные потери в людях и сам едва спасся бегством.

10. Узнав обо всем этом, возмущенный сенат приказал консулам не трогаться с места и поставил во главе римских сил Красса. За Крассом последовали многие представители знати, увлеченные его славой и чувством личной дружбы к нему. Сам он расположился у границы Пицена, рассчитывая захватить направлявшегося туда Спартака, а легата своего Муммия во главе двух легионов послал в обход с приказанием следовать за неприятелем, не вступая, однако, в сра-

жение и избегая даже мелких стычек. Но Муммий, при первом же случае, позволявшем рассчитывать на успех, начал бой и потерпел поражение, причем многие из его людей были убиты, другие спаслись бегством, побросав оружие. Оказав Муммию суровый прием, Красс вновь вооружил разбитые части, но потребовал от них поручителей в том, что оружие свое они впредь будут беречь. Отобрав затем пятьсот человек – зачинщиков бегства и разделив их на пятьдесят десятков, он приказал предать смерти из каждого десятка по одному человеку – на кого укажет жребий. Так Красс возобновил бывшее в ходу у древних и с давних пор уже не применявшееся наказание воинов[7], этот вид казни сопряжен с позором и сопровождается жуткими и мрачными обрядами, совершающимися у всех на глазах.

Восстановив порядок в войсках, Красс повел их на врагов, а Спартак тем временем отступил через Луканию и вышел к морю. Встретив в проливе киликийских пиратов, он решил перебраться с их помощью в Сицилию, высадить на острове две тысячи человек и снова разжечь восстание сицилийских рабов, едва затухшее незадолго перед тем[8]: достаточно было бы искры, чтобы оно вспыхнуло с новой силой. Но киликийцы, условившись со Спартаком о перевозке и приняв дары, обманули его и ушли из пролива. Вынужденный отступить от побережья, Спартак расположился с войском на Регийском полуострове. Сюда же подошел и Красс. Сама природа этого места подсказала ему, что надо делать. Он решил прекратить сообщение через перешеек, имея в виду двоякую цель: уберечь солдат от вредного безделья и в то же время лишить врагов подвоза продовольствия. Велика и трудна была эта работа, но Красс выполнил ее до конца и сверх ожидания быстро. Поперек перешейка, от одного моря до другого, вырыл он ров длиной в триста стадиев[9], шириною и глубиною в пятнадцать футов, а вдоль всего рва возвел стену, поражавшую своей высотой и прочностью. Сначала сооружения эти мало заботили Спартака, относившегося к ним с полным пренебрежением, но когда припасы подошли к концу и нужно было перебираться в другое место, он увидел себя запертым на полуострове, где ничего нельзя было достать. Тогда Спартак, дождавшись снежной и бурной зимней ночи, засыпал небольшую часть рва землей, хворостом и ветками и перевел через него третью часть своего войска.

11. Красс испугался; его встревожила мысль, как бы Спартак не вздумал двинуться прямо на Рим. Вскоре, однако, он ободрился, узнав, что среди восставших возникли раздоры и многие, отпав от Спартака, расположились отдельным лагерем у Луканского озера. (Вода в этом озере, как говорят, время от времени меняет свои свойства, становясь то пресной, то соленой и негодной для питья). Напав на этот отряд, Красс прогнал его от озера, но не смог преследовать и истреблять врагов, так как внезапное появление Спартака остановило их бегство. Раньше Красс писал сенату о необходимости вызвать и Лукулла из Фракии[10–11] и Помпея из Испании, но теперь сожалел о своем шаге и спешил окончить войну до прибытия этих полководцев, так как предвидел, что весь успех будет приписан не ему, Крассу, а тому из них, который явится к нему на помощь. По этим соображениям он решил, не медля, напасть на те неприятельские части, которые, отделившись, действовали самостоятельство под предводительством Гая

Канниция и Каста. Намереваясь занять один из окрестных холмов, он отрядил туда шесть тысяч человек с приказанием сделать все возможное, чтобы пробраться незаметно. Стараясь ничем себя не обнаружить, люди эти прикрыли свои шлемы. Тем не менее их увидели две женщины, приносившие жертвы перед неприятельским лагерем, и отряд оказался бы в опасном положении, если бы Красс не подоспел вовремя и не дал врагам сражения – самого кровопролитного за всю войну. Положив на месте двенадцать тысяч триста неприятелей, он нашел среди них только двоих, раненных в спину, все остальные пали, оставаясь в строю и сражаясь против римлян.

За Спартаком, отступавшим после этого поражения к Петелийским горам, следовали по пятам Квинтий, один из легатов Красса, и квестор Скрофа. Но когда Спартак обернулся против римлян, они бежали без оглядки и едва спаслись, с большим трудом вынеся из битвы раненого квестора. Этот успех и погубил Спартака, вскружив головы беглым рабам. Они теперь и слышать не хотели об отступлении и не только отказывались повиноваться своим начальникам, но, окружив их на пути, с оружием в руках принудили вести войско назад через Луканию на римлян. Шли они туда же, куда спешил и Красс, до которого стали доходить вести о приближавшемся Помпее; да и в дни выборов было много толков о том, что победа над врагами должна быть делом Помпея: стоит ему явиться – и с войной будет покончено одним ударом. Итак, Красс, желая возможно скорее сразиться с врагами, расположился рядом с ними и начал рыть ров. В то время как его люди были заняты этим делом, рабы тревожили их своими налетами. С той и другой стороны стали подходить все бóльшие подкрепления, и Спартак был, наконец, поставлен в необходимость выстроить все свое войско. Перед началом боя ему подвели коня, но он выхватил меч и убил его, говоря, что в случае победы получит много хороших коней от врагов, а в случае поражения не будет нуждаться и в своем. С этими словами он устремился на самого Красса; ни вражеское оружие, ни раны не могли его остановить, и все же к Крассу он не пробился и лишь убил двух столкнувшихся с ним центурионов. Наконец, покинутый своими соратниками, бежавшими с поля битвы, окруженный врагами, он пал под их ударами, не отступая ни на шаг и сражаясь до конца.

Хотя Красс умело использовал случай, предводительствовал успешно и лично подвергался опасности, все же счастье его не устояло перед славой Помпея. Ибо те рабы, которые ускользнули от него, были истреблены Помпеем, и последний писал в сенат, что в открытом бою беглых рабов победил Красс, а он уничтожил самый корень войны. Помпей, конечно, со славою отпраздновал триумф как победитель Сертория и покоритель Испании. Красс и не пытался требовать большого триумфа за победу в войне с рабами, но даже и пеший триумф, называемый овацией, который ему предоставили, был сочтен неуместным и унижающим достоинство этого почетного отличия. Чем пеший триумф отличается от большого и о названии его говорится в жизнеописании Марцелла[12].

12. Тотчас же вслед за этим Помпею было предложено консульство, а Красс, надеясь стать его товарищем по должности, не задумался просить Помпея о содействии, и тот с радостью выразил свою полную на то готовность, ибо ему хотелось, чтобы Красс так или иначе всегда был обязан ему за какую-нибудь лю-

безность; он стал усердно хлопотать и, наконец, заявил в Народном собрании, что он будет столь же благодарен за товарища по должности, как и за само консульство. Однако, находясь у власти, Красс и Помпей не сохранили дружеских отношений. Расходясь почти во всем, ожесточаясь друг против друга и соперничая между собой, они сделали свое консульство бесполезным для государства и ничем его не ознаменовали, если не считать того, что Красс, совершив грандиозное жертвоприношение Гераклу, угостил народ на десяти тысячах столов и дал каждому хлеба на три месяца. Уже консульство их подходило к концу, когда однажды в Народном собрании римский всадник Гай Аврелий, человек не знатный, по образу жизни сельский житель, общественными делами не занимавшийся, поднявшись на возвышение для оратора, рассказал о бывшем ему во сне видении: "Сам Юпитер, – сказал он, – явился мне и велел объявить всенародно его волю, чтобы вы не ранее дозволили консулам сложить с себя власть, чем они станут друзьями". В то время как человек этот говорил, а народ призывал консулов к примирению, Помпей стоял молча, а Красс первый, подав ему руку, сказал: "Полагаю, сограждане, что я не совершаю ничего низкого или недостойного себя, делая первый шаг и предлагая любовь и дружбу Помпею, которого вы, когда он еще был безбородым, провозгласили Великим и еще не участвующего в сенате признали заслуживающим триумфа".

13. Вот все, что в консульстве Красса достойно упоминания, цензорство же его оказалось совершенно бесцельным и безрезультатным, ибо он не произвел ни пересмотра списков сената, ни обследования всадников, ни оценки имущества граждан. Товарищем его по должности был Лутаций Катул, человек самый кроткий из всех римлян, и все же, когда Красс затеял опасное и несправедливое дело, намереваясь превратить Египет в данника римлян, Катул, говорят, воспротивился этому самым решительным образом. Отсюда возникло разногласие между ними, и они добровольно сложили с себя власть.

Во время важных событий, связанных с заговором Катилины и едва не приведших к ниспровержению государственного порядка в Риме, некоторое подозрение коснулось и Красса: нашелся человек, назвавший его заговорщиком, но никто этому не поверил. Правда, и Цицерон[13] в одном из своих сочинений недвусмысленно винит Красса и Цезаря, но это сочинение было издано лишь после смерти их обоих. В другом же сочинении – "О консульстве" – Цицерон рассказывает, как Красс, явившись к нему ночью, принес письмо, касавшееся дела Катилины, и уже тогда подтвердил, что заговор существует. Как бы то ни было, Красс с тех пор питал постоянную ненависть к Цицерону, но открыто вредить последнему мешал ему сын. Ибо Публий, начитанный и любознательный, был привязан к Цицерону в такой степени, что, когда тот подвергся судебному преследованию, он вместе с ним сменил одежду на траурную и заставил сделать то же и других молодых людей. В конце концов он убедил отца примириться с Цицероном.

14. Цезарь же, едва возвратившись из провинции, стал готовиться к соисканию консульской должности. Он видел, что Красс и Помпей снова не ладят друг с другом, и не хотел просьбами, обращенными к одному, сделать себя врагом другого, а вместе с тем не надеялся на успех без поддержки обоих. Тогда он за-

нялся их примирением, постоянно внушая им, что, вредя друг другу, они лишь усиливают Цицеронов, Катулов и Катонов, влияние которых обратится в ничто, если они, Красс и Помпей, соединившись в дружеский союз, будут править совместными силами и по единому плану. Убедив и примирив их, Цезарь составил и слил из всех троих непреоборимую силу, лишившую власти и сенат и народ, причем повел дело так, что те двое не стали сильнее один через другого, но сам он через них приобрел силу и вскоре при поддержке того и другого блистательно прошел в консулы. Цезарь превосходно управлял делами, и постановлением Народного собрания Красс и Помпей дали ему войско и послали в Галлию, засадив его таким образом как бы в крепость и полагая, что, закрепив за ним власть над доставшейся ему провинцией, они смогут без помехи поделить между собой все остальное. Помпея на этот шаг толкнуло его безмерное честолюбие, а к старой болезни Красса – корыстолюбию – из-за подвигов Цезаря присоединилась новая неудержимая страсть к трофеям и триумфам. Уступая Цезарю в этом одном и считая себя в остальном выше него, Красс не успокоился до тех пор, пока замыслы его не привели к его бесславной смерти и к народному бедствию.

Цезарь приехал из Галлии в город Луку, и туда же собрались многие из римлян, в том числе Красс и Помпей, которые частным образом сговорились с ним крепко держаться за власть и подчинить себе все управление: Цезарю предстояло остаться во главе своего войска, а Красс и Помпей должны были взять себе другие провинции и войска. Путь к этому был один – искать второго консульства, а для этого нужно было, чтобы Цезарь, в то время как они будут домогаться власти, помогал им, переписываясь с друзьями и посылая побольше воинов для подачи голосов в их пользу.

15. Вернувшись после этого в Рим, Красс и его сторонники встретили общую подозрительность: распространилась упорная молва, что не к добру было то свидание. Когда в сенате Марцеллин и Домиций спросили Помпея, намерен ли он выставить свою кандидатуру, тот ответил, что, быть может, он ее и выставит, а может быть, и нет. На вторичный вопрос о том же он сказал, что сделает это для добрых граждан, но не сделает для дурных. Помпей в ответах своих показался всем надменным и чванным, Красс же ответил скромнее, заявив, что если это может принести пользу государству, то он будет домогаться власти, в противном случае – воздержится. После такого ответа искать консульства решились и некоторые другие, в том числе Домиций. Но когда Красс и Помпей явно обнаружили свои намерения, иные из соискателей, испугавшись, отступили, Домиция же, своего родственника и друга, подбодрял Катон, увещая и побуждая не отказываться от надежды, так как ему предстоит бороться за общую свободу; ибо Помпею и Крассу нужна не консульская должность, а тирания, и то, что ими делается, – не соискание консульства, а захват провинций и войск. Внушая все это и сам думая так, Катон привел Домиция на форум едва ли не против его воли, причем многие к ним примкнули. И немало удивлялись люди: "Почему Помпей и Красс вторично ищут консульства, почему опять оба вместе, почему не с кем-либо другим? Ведь у нас есть много мужей, несомненно достойных управлять делами вместе с Крассом или вместе с Помпеем". Устрашившись этих

толков, пособники Помпея не остановились ни перед какими бесчинствами и насилиями и в довершение всего устроили засаду Домицию, еще до света спускавшемуся на форум в сопровождении других лиц, убили несшего перед ним факел, многих ранили, в том числе Катона, а прочих обратили в бегство и заперли в доме, после чего Помпей и Красс были избраны консулами. Вскоре они опять окружили курию вооруженными людьми, прогнали с форума Катона и убили нескольких человек, оказавших сопротивление; Цезарю они продлили власть на второе пятилетие, а себе из провинций выбрали Сирию и обе Испании. Был брошен жребий: Сирия досталась Крассу, испанские же провинции – Помпею.

16. Жеребьевка эта удовлетворила всех. Большинство народа желало, чтобы Помпей находился поблизости от города, да и Помпей, влюбленный в свою жену[14], намерен был проводить здесь бо́льшую часть времени. Красс же, как только выпал ему жребий, не мог скрыть своей радости, считая, что более блестящей удачи, чем на этот раз, у него еще не бывало. Перед народом и посторонними он еще как-то себя сдерживал, но среди близких ему людей говорил много пустого и ребяческого, не соответствующего ни его возрасту, ни характеру, ибо вообще-то он вовсе не был хвастуном и гордецом. Но тогда, возгордясь безмерно и утратив рассудок, уже не Сирией и не парфянами ограничивал он поле своих успехов, называл детскими забавами походы Лукулла против Тиграна и Помпея против Митридата, и мечты его простирались до бактрийцев, индийцев и до моря, за ними лежащего. Хотя в постановлении Народного собрания, касавшемся Красса, ничего не было сказано о парфянской войне, но все знали, что Красс к ней неудержимо стремится. К тому же Цезарь написал ему из Галлии, одобряя его намерения и поощряя его к войне. Так как народный трибун Атей обнаружил намерение препятствовать походу Красса и многие к нему присоединились, считая недопустимым, чтобы кто-либо пошел войной против людей, ни в чем не провинившихся, да притом еще связанных с Римом договором, Красс, испугавшись, обратился к Помпею с просьбой оказать ему поддержку и проводить его из города. Ибо велик был почет, каким пользовался Помпей среди простого народа. И на этот раз вид Помпея, идущего впереди со спокойным взором и спокойным лицом, успокоил толпу, собравшуюся было поднять крик и задержать Красса: люди молча расступились и дали им дорогу. Но навстречу выступил Атей и начал с того, что обратился к Крассу, умоляя не идти дальше, а затем приказал ликтору схватить и остановить его. Однако другие трибуны этому воспротивились, и ликтор отпустил Красса, Атей же подбежал к городским воротам, поставил там пылающую жаровню, и, когда Красс подошел, Атей, воскуряя фимиам и совершая возлияния, начал изрекать страшные, приводящие в трепет заклятия и призывать, произнося их имена, каких-то ужасных, неведомых богов. По словам римлян, эти таинственные древние заклинания имеют такую силу, что никто из подвергшихся им не избежал их действия, да и сам произносящий навлекает на себя несчастье, а потому изрекают их лишь немногие и в исключительных случаях. Поэтому и Атея порицали за то, что он, вознегодовав на Красса ради государства, на это же государство наложил такие заклятия и навел такой страх.

17. Красс прибыл в Брундизий, Море, как всегда зимою, было неспокойно, но Красс ждать не стал, отплыл и потерял в пути много судов. Собрав уцелевшую часть войска, он спешно двинулся сушей, через Галатию. Здесь застал он царя Дейотара, человека очень старого, занятого тогда основанием нового города. "Царь! – сказал он ему шутя, – в двенадцатом часу[15] начинаешь ты строить". А галат, засмеявшись, ответил: "Да и ты, император, как я вижу, не слишком-то рано идешь на парфян". Крассу было за шестьдесят, а выглядел он еще старше своих лет.

На первых порах по прибытии на место течение дел отвечало надеждам Красса. Ибо он без труда навел мост через Евфрат, спокойно переправил войско и занял многие города в Месопотамии, сдавшиеся ему добровольно. В одном из них, где неограниченно правил некий Аполлоний, было убито сто римских солдат, после чего Красс привел к городу войско и, овладев им, разграбил все ценности, а жителей продал в рабство. Греки называли этот город Зенодотией. По случаю покорения его Красс позволил войску провозгласить себя императором, чем навлек на себя великий стыд, так как, удовлетворившись столь малым, показал, что у него нет никакой надежды совершить что-либо большее. Оставив в покоренных городах караульные отряды, общим числом в семь тысяч пехотинцев и тысячу всадников, сам Красс ушел в Сирию на зимние квартиры и, кроме того, – чтобы встретиться с сыном, который во главе тысячи отборных всадников прибыл от Цезаря из Галлии, украшенный знаками отличия за доблесть.

Можно полагать, что это было первой его ошибкой (если не считать самого похода, оказавшегося величайшей из ошибок): вместо того, чтобы идти вперед и занять Вавилон и Селевкию, города, неизменно враждебные парфянам, он дал врагам время подготовиться. Обвиняли Красса и за дела его в Сирии, которые подобали скорее дельцу, чем полководцу. Ибо не проверкою своих вооруженных сил занимался он и не упражнением солдат в военных состязаниях, а исчислял доходы с городов и много дней подряд взвешивал и мерил сокровища богини в Иераполе[15], предписывал городам и правителям производить набор воинов, а потом за деньги освобождал их от этой повинности. Всем этим Красс обесславил себя и заслужил презрение. И вот от этой самой богини, которую иные называют Афродитой, иные Герой, а иные считают причиной и естественной силой, породившей из влаги начала и зачатки всего и открывшей людям первоисточник всех благ, было ему первое знамение: при выходе из храма первым упал молодой Красс, а затем, запнувшись за него, упал и старший.

18. В то время как Красс стал уже стягивать войска, снимая их с зимних стоянок, к нему явились послы от Арсака с кратким извещением: они заявили, что если войско послано римским народом, то война будет жестокой и непримиримой, если же, как слышно, Красс поднял на парфян оружие и захватил их земли не по воле отечества, а ради собственной выгоды, то Арсак воздерживается от войны и, снисходя к годам Красса, отпускает римлянам их солдат, которые находятся скорее под стражей, чем на сторожевой службе. Когда же Красс стал хвастаться, что даст ответ в Селевкии, старший из послов, Вагиз, засмеялся и, показав ему на обращенную вверх ладонь, ответил: "Скорее тут вырастут воло-

сы, Красс, чем ты увидишь Селевкию". Затем послы возвратились к царю Гироду и объявили, что предстоит война.

Между тем из городов Месопотамии, в которых стояли римские гарнизоны, явились, насилу вырвавшись оттуда, несколько солдат с тревожными вестями. Они видели собственными глазами целые скопища врагов и были свидетелями сражений, данных неприятелем при штурмах городов. Все это они передавали, как водится, в преувеличенно страшном виде, уверяя, будто от преследующих парфян убежать невозможно, сами же они в бегстве неуловимы, будто их диковинные стрелы невидимы в полете и раньше, чем заметишь стрелка́, пронзают насквозь все, что ни попадается на пути, а вооружение закованных в броню всадников такой работы, что копья их все пробивают, а панцири выдерживают любой удар. Солдаты слышали это, и мужество их таяло. Раньше они были уверены, что парфяне ничем не отличаются ни от армян, ни от каппадокийцев, которых Лукулл бил и грабил, сколько хотел, считали, что самое трудное в этой войне – предстоящий долгий путь и преследование беглецов, ускользающих из рук, а теперь, вопреки надеждам, предвидели борьбу и большие опасности, так что даже некоторые из начальников полагали, что Крассу следовало бы остановиться и созвать совет, чтобы вновь обсудить общее положение дел. В числе их был и квестор Кассий[17]. Да и гадатели тайно давали знать, что при жертвоприношениях Крассу постоянно выходят дурные и неотвратимые предзнаменования. Но Красс не обращал внимания ни на гадателей, ни на тех, кто советовал ему что-либо другое, кроме как торопиться.

19. В особенности же ободрил Красса Артабаз, царь армянский. Он прибыл в лагерь с шестью тысячами всадников – то были, как их называли, царские стражи и провожатые. Артабаз обещал еще десять тысяч конных латников и три тысячи пехоты, беря их содержание на себя. Царь убеждал Красса вторгнуться в Парфию через Армению, так как там он не только будет иметь в изобилии все необходимое для войска, – об этом позаботится сам царь, – но и совершит путь в безопасности, будучи защищен он врага горами, непрерывной чередой холмов, словом местностью, неудобопроходимой для конницы – единственной силы парфян. Красс остался очень доволен расположением царя и его щедрой помощью, но сказал, что пойдет через Месопотамию, где оставлено много храбрых римских воинов. После этого царь армянский уехал.

В то время как Красс переправлял войско через реку[18] у Зевгмы, много раз прогрохотал небывалой силы гром, частые молнии засверкали навстречу войску, и ветер, сопровождаемый тучами и грозой, налетев на понтонный мост, разрушил и разметал бо́льшую его часть. Место, где Красс предполагал разбить лагерь, было дважды поражено молнией. Одна из лошадей полководца в блестящей сбруе увлекла возничего к реке и исчезла под водою. Говорят также, что первый орел, который был поднят, сам собою повернулся назад. И еще совпадение: когда после переправы солдатам стали раздавать еду, в первую очередь были выданы чечевица и соль, которые у римлян считаются знаками траура и ставятся перед умершими. Затем у самого Красса, когда он произносил речь, вырвались слова, страшно смутившие войско. Ибо он сказал, что мост через реку он приказывает разрушить, дабы никто из солдат не вернулся назад.

Он должен был бы, почувствовав неуместность этих слов, взять их обратно или объяснить их смысл оробевшим людям. Но Красс со свойственной ему самоуверенностью пренебрег этим. Наконец, в то время как он приносил очистительную жертву и жрец подал ему внутренности животного, он выронил их из рук. Видя опечаленные лица присутствующих, Красс, улыбнувшись, сказал: "Такова уж старость! Но оружия мои руки не выронят".

20. С этого места он двинулся вдоль реки с семью легионами, без малого четырьмя тысячами всадников и легковооруженными в числе, приблизительно равном числу всадников. Несколько лазутчиков, вернувшись из разведки, донесли, что местность совершенно безлюдна, но замечены следы множества лошадей, как бы совершивших поворот и уходящих от преследования. После этого и сам Красс еще больше утвердился в своих надеждах на успех, и воины прониклись пренебрежением к парфянам, думая, что те даже не вступят в бой. Кассий же вновь обратился к Крассу с советом, говоря, что лучше всего было бы ему задержать войско в одном из охраняемых караульными отрядами городов, пока он не узнает о неприятеле чего-либо достоверного, если же не узнает, то двигаться на Селевкию вдоль реки. В этом случае суда с продовольствием, идя рядом с войском, смогут в изобилии доставлять продукты, и к тому же река защитит войско от обходов с фланга, и оно будет в постоянной готовности встретить противника лицом к лицу и вступить в бой на равных условиях.

21. Пока Красс все это обдумывал и взвешивал, явился вождь арабского племени по имени Абгар, человек лукавый и коварный, ставший для Красса и его войска самым большим и решающим злом их всех, какие судьба соединила для их погибели. Некоторые из тех, кто участвовал в походах Помпея, знали его как человека, в какой-то мере пользовавшегося вниманием римского полководца и прослывшего другом римского народа. А теперь он был подослан военачальниками парфянского царя с тем, чтобы, сопутствуя Крассу, попытаться завлечь его как можно дальше от реки и холмов на необъятную равнину, где можно было бы его окружить, ибо парфяне решили пойти на все, лишь бы избежать встречи с римлянами лицом к лицу. Итак, явившись к Крассу, варвар (а речь его обладала силою убеждения) стал превозносить Помпея как своего благодетеля, выразил восхищение воинской мощью Красса, но вместе с тем порицал его за медлительность, за то, что он чего-то ждет и все готовится, как будто ему нужно оружие, а не проворность рук и ног для борьбы против людей, которые давно только о том и помышляют, как бы, забрав наиболее ценные вещи и тех, кто им дорог, умчаться к скифам и гирканам. "Но все же, если ты намерен сразиться, – говорил он, – следует поспешить, пока царь не собрал в одно место все свои силы, потому что теперь против вас брошены только Сурена[19] и Силлак с наказом отвлечь на себя ваше внимание, самого же царя нигде не видно".

Все это была ложь: Гирод, разделив с самого начала свои силы на две части, сам в отместку Артабазу разорял Армению, Сурену же послал против римлян – и поступил он так отнюдь не из высокомерия, как говорят иные. Ибо не подобало бы тому, кто даже Красса, первого человека в Риме, считает недостойным себя противником, идти войной на Артабаза, нападать на армянские села и опу-

стошать их. На самом деле царь, как видно, испугался опасности и словно бы засел в засаде в ожидании будущего, а Сурену послал вперед померяться с неприятелем силами в бою и сбивать его с пути. Сурена же был человек далеко недюжинный: по богатству, знатности рода и славе он занимал второе место после царя, мужеством же и талантом превосходил среди парфян всех своих современников; к тому же никто не мог сравняться с ним ни ростом, ни красотою. В поход выступал он не иначе, как везя за собой припасы на тысяче верблюдов и двести повозок с наложницами; тысячи конников, закованных в броню, и еще большее число легковооруженных сопровождали его особу; всех же всадников, прислужников и рабов было у него не менее десяти тысяч. По происхождению своему он владел наследственным правом первым возложить на царя диадему при вступлении его на престол. А того же Гирода, находившегося в изгнании, он вернул парфянам и овладел для него великою Селевкиею, первым взойдя на стену и собственной рукою обратив в бегство противников. В ту пору ему не было еще и тридцати лет, а он заслужил уже величайшую славу своей рассудительностью и умом. Ими-то главным образом он и погубил Красса, ибо тот, отуманенный сначала самонадеянностью и гордыней, а позже под влиянием страхов и несчастий стал легко поддаваться на обманы.

22. Итак, варвар, убедив Красса и отвлекши его от реки, вел римлян по равнине – дорогой, сначала удобной и легкой, а затем крайне тяжелой: на пути лежали глубокие пески, и трудно было идти по безлесным и безводным равнинам, уходившим из глаз в беспредельную даль. Воины не только изнемогали от жажды и трудностей пути, но и впадали в уныние от безотрадных картин: они не видели ни куста, ни ручья, ни горного склона, ни зеленеющих трав – их взорам представлялись морю подобные волны песков, окружавшие войско со всех сторон. Уже в этом проглядывал коварный замысел, а тут явились и послы от Артабаза Армянского и рассказали о том, как жестоко страдает он в напряженной борьбе с обрушившимся на него Гиродом; лишенный возможности послать подмогу Крассу, он советует ему либо – что лучше всего – повернуть и, соединясь с армянами, сообща бороться против Гирода, либо идти дальше, но при этом всегда становиться лагерем на высотах, избегая мест, удобных для конницы. Однако Красс, в гневе и безрассудстве своем, ничего в ответ не написал и велел лишь сказать, что теперь у него нет времени для Армении, а позже он явится туда для расправы с Артабазом за его предательство.

Кассий вознегодовал и на этот раз, но Красса, не желавшего его слушать, перестал переубеждать, варвара же наедине осыпа́л бранью: "Какой злой дух, сквернейший из людей, привел тебя к нам? Какими зельями и приворотами соблазнил ты Красса, ввергнув войско в разверстую глубь пустыни, идти путем, приличествующим скорее главарю разбойничьей шайки кочевников, чем римскому полководцу?" А лукавый варвар униженно просил и уговаривал потерпеть еще немного, а над воинами, идя рядом и оказывая им помощь, подшучивал и говорил со смехом: "Вы, должно быть, воображаете себя шагающими по родной Кампании[54], если так тоскуете по воде ключей и ручьев, по тени деревьев, по баням и гостиницам, забывая, что вы уже переступили границы арабов и ассирийцев!" Так-то Абгар поучал римлян и, прежде чем его предательство об-

наружилось, ускакал, не таясь от Красса, а уверив его в том, что хочет подготовить ему успех и спутать все расчеты неприятеля.

23. В тот день Красс, говорят, вышел не в пурпурном плаще, как это в обычае у римских полководцев, а в черном, спохватившись же, тотчас его сменил; затем, некоторые из знамен были подняты знаменосцами с таким трудом и после столь долгих усилий, будто они вросли в землю. Красс, однако, смеялся над этим и спешил в путь, принуждая пехоту поспевать за конницей. Но тут несколько человек из числа посланных в разведку вернулись с известием, что остальные перебиты неприятелем, что сами они с трудом спаслись бегством, а враги в великом множестве смело идут на римлян. Все встревожились, Красс же, совершенно ошеломленный, еще не совсем придя в себя, стал наспех строить войско в боевой порядок. Сначала он, как предлагал Кассий, растянул пеший строй по равнине на возможно большее расстояние в предупреждение обходов, конницу же распределил по обоим крыльям, но потом изменил свое решение и, сомкнув ряды, построил войско в глубокое каре, причем с каждой стороны выставил по двенадцати когорт, а каждой когорте придал по отряду всадников, дабы ни одна из частей войска не осталась без прикрытия конницы и можно было бы ударить на врага в любом направлении, не страшась за собственную безопасность. Один из флангов он поручил Кассию, другой – молодому Крассу, а сам стал в центре. Продвигаясь в таком порядке, они подошли к речке, название которой Баллис. Река была невелика и не обильна водой, но в эту сушь и зной, после трудностей безводного, полного тягот пути, воины очень ей обрадовались. Бо́льшая часть начальников полагала, что здесь и надлежит расположиться на отдых и ночевку, разузнать, насколько это возможно, какова численность и боевое построение врагов, а с рассветом двинуться против них. Но, побуждаемый сыном и его всадниками, которые советовали идти вперед и вступить в бой, Красс приказал, чтобы, кто хочет, ели и пили, оставаясь в строю, и, не дав людям как следует утолить голод и жажду, повел их не ровным шагом, с передышками, как это делается перед битвой, а быстро, без остановок, до тех пор, пока они не увидели неприятеля, который, против ожидания, не показался римлянам ни многочисленным, ни грозным: Сурена заслонил передовыми отрядами основные свои силы и скрыл блеск вооружения, приказав воинам заслониться плащами и кожами. Когда же парфяне подошли ближе, их военачальник подал знак, и вся равнина сразу огласилась глухим гулом и наводящим трепет шумом. Ибо парфяне, воодушевляя себя перед боем, не трубят в рога и трубы, а поднимают шум, колотя в обтянутые кожей полые инструменты, которые обвешиваются кругом медными погремками. Эти инструменты издают какой-то низкий, устрашающий звук, смешанный как бы со звериным ревом и раскатами грома; парфяне хорошо знают, что из всех чувствований слух особенно легко приводит душу в замешательство, скорее всех других возбуждает в ней страсти и лишает ее способности к здравому суждению.

24. Устрашив римлян этими звуками, парфяне вдруг сбросили с доспехов покровы и предстали перед неприятелем пламени подобные – сами в шлемах и латах из маргианской, ослепительно сверкавшей стали, кони же их в латах медных

и железных. Явился и сам Сурена, огромный ростом и самый красивый из всех; его женственная красота, казалось, не соответствовала молве об его мужестве – по обычаю мидян, он притирал лицо румянами и разделял волосы пробором, тогда как прочие парфяне, чтобы казаться страшнее, носят волосы на скифский лад, опуская их на лоб. Первым намерением парфян было прорваться с копьями, расстроить и оттеснить передние ряды, но, когда они распознали глубину сомкнутого строя, стойкость и сплоченность воинов, то отступили назад и, делая вид, будто в смятении рассеиваются кто куда, незаметно для римлян охватывали каре кольцом. Красс приказал легковооруженным броситься на неприятеля, но не успели они пробежать и нескольких шагов, как были встречены тучей стрел; они отступили назад, в ряды тяжелой пехоты и положили начало беспорядку и смятению в войске, видевшем, с какой скоростью и силой летят парфянские стрелы, ломая оружие и пронзая все защитные покровы – и жесткие и мягкие – одинаково. А парфяне, разомкнувшись, начали издали со всех сторон пускать стрелы, почти не целясь (римляне стояли так скученно и тесно, что и умышленно трудно было промахнуться), круто сгибая свои тугие большие луки и тем придавая стреле огромную силу удара. Уже тогда положение римлян становилось бедственным: оставаясь в строю, они получали рану за раной, а пытаясь перейти в наступление, были бессильны уравнять условия боя, так как парфяне убегали, не прекращая пускать стрелы. В этом они после скифов искуснее всех; да и нет ничего разумнее, как, спасаясь, защищаться и тем снимать с себя позор бегства.

25. Пока римляне надеялись, что парфяне, истощив запас стрел, либо воздержатся от сражения, либо вступят в рукопашный бой, они все же не теряли мужества. Но когда стало известно, что поблизости стоит множество верблюдов, навьюченных стрелами, откуда, подъезжая, их берут передовые воины, Красс, не видя этому конца, стал падать духом. Через посланных он велел своему сыну постараться заставить неприятелей принять бой раньше, чем они его окружат: ибо парфянская конница устремлялась главным образом на него, чтобы обойти крыло, которым он командовал, и ударить ему в тыл. Итак, молодой Красс, взяв тысячу триста всадников, в том числе тысячу прибывших от Цезаря, пятьсот лучников, а из тяжеловооруженных – ближайшие восемь когорт, повел их обходным движением в атаку. Но стремившиеся окружить его парфяне, потому ли, что попали в болото[20], как некоторые полагают, или же замышляя захватить Красса как можно дальше от отца, повернули назад и поспешно ускакали. Красс, крича, что враги дрогнули, погнался за ними, а с ним вместе Цензорин и Мегабакх. Последний выдавался мужеством и силой, Цензорин же был удостоен сенаторского звания и отличался как оратор; оба были товарищи Красса и его сверстники. Они увлекли за собой конницу, пехота тоже не отставала, в надежде на победу охваченная рвением и радостью.

Римлянам представлялось, что они одерживают верх и гонятся за неприятелем, пока, продвинувшись далеко вперед, они не поняли обмана: враги, которых, они считали убегающими, повернули против них, и сюда же устремились другие, в еще большем числе. Римляне остановились в расчете, что, видя их малочисленность, парфяне вступят в рукопашный бой. Но те выстроили против

римлян лишь своих броненосных конников, остальную же конницу не построили в боевой порядок, а пустили скакать вокруг них. Взрывая копытами равнину, парфянские кони подняли такое огромное облако песчаной пыли, что римляне не могли ни ясно видеть, ни свободно говорить. Стиснутые на небольшом пространстве, они сталкивались друг с другом и, поражаемые врагами, умирали не легкою и не скорою смертью, но корчились от нестерпимой боли, и, катаясь с вонзившимися в тело стрелами по земле, обламывали их в самих ранах, пытаясь же вытащить зубчатые острия, проникшие сквозь жилы и вены, рвали и терзали самих себя. Так умирали многие, но и остальные не были в состоянии защищаться. И когда Публий призывал их ударить на броненосных конников, они показывали ему свои руки, приколотые к щитам, и ноги, насквозь пробитые и пригвожденные к земле, так что они не были способны ни к бегству, ни к защите. Тогда Публий, ободрив конницу, стремительно ринулся на врагов и схватился с ними врукопашную. Но не равны были его силы с неприятельскими ни в нападении, ни в обороне: галлы били легкими, коротенькими дротиками в панцири из сыромятной кожи или железные, а сами получали удары копьем в слабо защищенные, обнаженные тела. Публий же больше всего полагался именно на них и с ними показал чудеса храбрости. Галлы хватались за вражеские копья и, сходясь вплотную с врагами, стесненными в движениях тяжестью доспехов, сбрасывали их с коней. Многие же из них, спешившись и подлезая под брюхо неприятельским коням, поражали их в живот. Лошади вздымались на дыбы от боли и умирали, давя и седоков своих и противников, перемешавшихся друг с другом. Но галлов жестоко мучила непривычная для них жажда и зной. Да и лошадей своих они чуть ли не всех потеряли, когда устремлялись на парфянские копья. Итак, им поневоле пришлось отступить к тяжелой пехоте, ведя с собой Публия, уже изнемогавшего от ран. Увидя поблизости песчаный холм, римляне отошли к нему; внутри образовавшегося круга они поместили лошадей, а сами сомкнули щиты, рассчитывая, что так им легче будет отражать варваров. Но на деле произошло обратное. Ибо на ровном месте находящиеся в первых рядах до известной степени облегчают участь стоящих за ними, а на склоне холма, где все стоят один над другим и те, что сзади, возвышаются над остальными, они не могли спастись и все одинаково подвергались обстрелу, оплакивая свое бессилие и свой бесславный конец.

При Публии находились двое греков из числа жителей соседнего города Карры – Иероним и Никомах. Они убеждали его тайно уйти с ними и бежать в Ихны – лежащий поблизости город, принявший сторону римлян. Но он ответил, что нет такой страшной смерти, испугавшись которой Публий покинул бы людей, погибающих по его вине, а грекам приказал спасаться и, попрощавшись, расстался с ними. Сам же он, не владея рукой, которую пронзила стрела, велел оруженосцу ударить его мечом и подставил ему бок. Говорят, что и Цензорин умер подобным же образом, а Мегабакх сам покончил с собою, как и другие виднейшие сподвижники Публия. Остальных, продолжавших еще сражаться, парфяне, поднимаясь по склону, пронзали копьями, а живыми, как говорят, взяли не более пятисот человек. Затем, отрезав головы Публию и его товарищам, они тотчас же поскакали к Крассу.

26. А положение Красса было вот какое. После того как он приказал сыну напасть на парфян, кто-то принес ему известие, что неприятель обращен в бегство и римляне, не щадя сил, пустились в погоню. Заметив вдобавок, что и те парфяне, которые действовали против него, уже не так настойчиво нападают (ведь бóльшая их часть ушла вслед за Публием), Красс несколько ободрился, собрал свое войско и отвел его на возвышенность в надежде, что скоро вернется и сын. Из людей, которых Публий, очутившись в опасности, отправлял к нему, посланные первыми погибли, наткнувшись на варваров, а другие, с великим трудом проскользнув, сообщали, что Публий пропал, если ему не будет скорой и сильной подмоги. Тогда Крассом овладели одновременно многие чувства, и он уже ни в чем не отдавал себе ясного отчета. Терзаемый разом и беспокойством за исход всего дела и страстным желанием прийти на помощь сыну, он, в конце концов, сделал попытку двинуть войско вперед. Но в это самое время стали подходить враги, еще больше прежнего нагоняя страх своими криками и победными песнями, и опять бесчисленные литавры загремели вокруг римлян, ожидавших начала новой битвы. Те из парфян, которые несли воткнутую на копье голову Публия, подъехали ближе, показали ее врагам и, издеваясь, спрашивали, кто его родители и какого он роду, ибо ни с чем не сообразно, чтобы от такого отца, как Красс, – малодушнейшего и худшего из людей, мог родиться столь благородный и блистающий доблестью сын. Зрелище это сильнее всех прочих бед сокрушило и расслабило души римлян, и не жажда отмщения, как следовало бы ожидать, охватила их всех, а трепет и ужас. Однако же Красс, как сообщают, в этом несчастье превзошел мужеством самого себя. Вот что говорил он, обходя ряды: "Римляне, меня одного касается это горе! А великая судьба и слава Рима, еще не сокрушенные и не поколебленные, зиждутся на вашем спасении. И если у вас есть сколько-нибудь жалости ко мне, потерявшему сына, лучшего на свете, докажите это своим гневом против врагов. Отнимите у них радость, покарайте их за свирепость, не смущайтесь тем, что случилось: стремящимся к великому должно при случае и терпеть. Не без пролития крови низвергнул Лукулл Тиграна и Сципион Антиоха; тысячу кораблей потеряли предки наши в Сицилии, в Италии же – многих полководцев и военачальников, но ведь ни один из них своим поражением не помешал впоследствии одолеть победителей. Ибо не только счастьем, а стойким и доблестным преодолением несчастий достигло римское государство столь великого могущества".

27. Так говорил Красс, ободряя своих солдат, но тут же убедился, что лишь немногие из них мужественно внимали ему. Приказав им издать боевой клич, он сразу обнаружил унылое настроение войска – так слаб, разрознен и неровен был этот клич, тогда как крики варваров раздавались по-прежнему отчетливо и смело. Между тем враги перешли к действиям. Прислужники и оруженосцы, разъезжая вдоль флангов, стали пускать стрелы, а передовые бойцы, действуя копьями, стеснили римлян на малом пространстве – исключая тех немногих, которые решались, дабы избегнуть гибели от стрел, бросаться на врагов, но, не причинив им большого вреда, сами умирали скорой смертью от тяжких ран: парфяне вонзали во всадников тяжелые, с железным острием копья, часто с одного удара пробивавшие двух человек. Так сражались они, а с наступлением но-

чи удалились, говоря, что даруют Крассу одну ночь для оплакивания сына – разве что он предпочтет сам прийти к Арсаку, не дожидаясь, пока его приведут силой.

Итак, парфяне, расположившись поблизости, были преисполнены надежд. Для римлян же наступила ужасная ночь; никто не думал ни о погребении умерших, ни об уходе за ранеными и умирающими, но всякий оплакивал лишь самого себя. Ибо, казалось, не было никакого исхода – все равно, будут ли они тут дожидаться дня или бросятся ночью в беспредельную равнину. Притом и раненые сильно обременяли войско: если нести их, то они будут помехой при поспешном отступлении, а если оставить, то криком своим они дадут знать о бегстве. И хотя Красса считали виновником всех бед, воины все же хотели видеть его и слышать его голос. Но он, закутавшись, лежал в темноте, служа для толпы примером непостоянства судьбы, для людей же здравомыслящих – примером безрассудного честолюбия; ибо Красс не удовольствовался тем, что был первым и влиятельнейшим человеком среди тысяч и тысяч людей, но считал себя совсем обездоленным только потому, что его ставили ниже тех двоих. Легат Октавий и Кассий пытались поднять и ободрить его, но он наотрез отказался, после чего те по собственному почину созвали на совещание центурионов и остальных начальников и, когда выяснилось, что никто не хочет оставаться на месте, подняли войско, не подавая трубных сигналов, в полной тишине. Но лишь только неспособные двигаться поняли, что их бросают, лагерем овладели страшный беспорядок и смятение, сопровождавшиеся воплями и криками, и это вызвало сильную тревогу и среди тех, кто уже двинулся вперед, – им показалось, что нападают враги. И много раз сходили они с дороги, много раз снова строились в ряды, одних из следовавших за ними раненых брали с собой, других бросали и таким образом потеряли много времени – все, если не считать трехсот всадников, которых начальник их Эгнатий привел глубокой ночью к Каррам. Окликнув на латинском языке охранявшую стены стражу, Эгнатий, как только караульные отозвались, приказал передать начальнику отряда Копонию, что между Крассом и парфянами произошло большое сражение. Ничего не прибавив к этому и не сказав, кто он, Эгнатий поскакал дальше к Зевгме и спас свой отряд, но заслужил худую славу тем, что покинул своего полководца. Впрочем, брошенные им тогда Копонию слова оказались полезными для Красса. Сообразив, что такая поспешность и неясность в речи изобличают человека, не имеющего сообщить ничего хорошего, Копоний приказал солдатам вооружиться и, лишь только услышал, что Красс двинулся в путь, вышел к нему навстречу и проводил войско в город.

28. Парфяне, заметив бегство римлян, не стали, однако, их преследовать ночью, но с наступлением дня, подъехав к лагерю, перебили оставшихся в нем, в числе не менее четырех тысяч человек, а многих, блуждавших по равнине, захватили, догнав на конях. Легат же Варгунтей еще ночью оторвался от войска с четырьмя когортами, но сбился с дороги. Окружив их на каком-то холме, враги, хоть те и защищались, истребили всех, за исключеним двадцати, пробившихся сквозь их ряды с обнаженными мечами, – этих они отпустили живыми, дивясь их мужеству, и дали им спокойно уйти в Карры.

До Сурены дошло ложное известие, будто Красс с лучшей частью войска бежал, а толпа, которая стеклась в Карры, – не что иное, как не стоящий внимания сброд. Итак, полагая, что плоды победы потеряны, но все еще сомневаясь и желая узнать истину, дабы решить, оставаться ли ему на месте и осадить город или преследовать Красса, оставив жителей Карр в покое, – Сурена подослал к городским стенам одного из бывших при нем переводчиков с поручением вызвать, изъясняясь по-латински, самого Красса или Кассия и передать, что Сурена желает с ними встретиться для переговоров. Переводчик сказал, что требовалось, слова его были переданы Крассу, и тот принял предложение, а вскоре явились от варваров арабы, хорошо знавшие в лицо и Красса и Кассия, так как до сражения они побывали в римском лагере. Увидев стоящего на стене Кассия, они сообщили, что Сурена готов заключить с римлянами перемирие и дать им беспрепятственно уйти, если они дружественно относятся к царю и покинут Месопотамию: он уверен, что это будет для обеих сторон выгоднее, чем доводить дело до последней крайности. Кассий согласился и потребовал, чтобы было назначено место и время для свидания Красса с Суреною. Арабы, пообещав все исполнить, ускакали.

29. Сурена, обрадованный тем, что противники попали в положение осажденных, на следующий же день привел к городу парфян, которые вели себя дерзко и требовали, чтобы римляне, если хотят получить мир, выдали им Красса и Кассия заключенными в оковы. Осажденные досадовали на то, что поддались обману, и, советуя Крассу отбросить отдаленные и напрасные надежды на армян, держались того мнения, что нужно бежать, но так, чтобы никто из жителей Карр не узнал о том до времени. Но обо всем узнал Андромах, из них самый вероломный, – Красс не только открыл ему тайну, но и доверил быть проводником в пути. Таким образом, ничто не укрылось от парфян: Андромах осведомлял их о каждом шаге римлян. Но так как парфянам было трудно сражаться ночью[21] и это вообще не в их обычае, Красс же выступил именно ночью, чтобы погоня не слишком отстала, Андромах пустился на хитрости: он шел то по одной, то по другой дороге и, наконец, после долгих и изнурительных блужданий завел тех, кто за ним следовал, в болотистое, пересеченное многочисленными рвами место. Нашлись, впрочем, среди римлян и такие, которые догадались, что не к добру кружит и путает их Андромах, и отказались за ним следовать. Кассий снова вернулся в Карры. Проводники его (они были арабы) советовали переждать там, пока луна не пройдет через созвездие Скорпиона, но Кассий ответил им: “А я вот еще более того опасаюсь Стрельца”, – и с пятьюстами всадников уехал в Сирию. Те римляне, которых вели надежные проводники, достигли гористой местности, называемой Синнаками, и еще до рассвета оказались в безопасности. Их было до пяти тысяч, а предводительствовал ими доблестный Октавий. Красса же, опутанного сетями Андромаха, день застал в непроходимой местности, среди болот. С ним было четыре когорты, совсем немного всадников и пять ликторов. С большим трудом попав на дорогу, в то время как враги уже наседали, а, чтобы соединиться с Октавием, оставалось пройти еще двенадцать стадиев, он взобрался на холм, не слишком недоступный для конницы и малонадежный, расположенный под Синнаками и соединенный с ними длинной

грядой, которая тянется через равнину. Октавий видел всю опасность его положения и первый устремился к нему на выручку с горстью людей, а затем, укоряя самих себя, помчались вслед за ним и остальные. Они отбросили врагов от холма, окружили Красса и оградили его щитами, похваляясь, что нет такой парфянской стрелы, которая коснулась бы полководца прежде, чем все они умрут, сражаясь за него.

30. Сурена, видя, что парфяне уже не с прежним пылом идут навстречу опасности, и сообразив, что если с наступлением ночи римляне окажутся среди гор, то задержать их будет невозможно, решил взять Красса хитростью. А именно, он отпустил часть пленных, слышавших в лагере варваров преднамеренные разговоры о том, что царь совсем не хочет непримиримой вражды с римлянами, а желал бы, великодушно обойдясь с Крассом, приобрести их дружбу. Варвары прекратили бой, и Сурена, в сопровождении высших начальников спокойно подъехав к холму, спустил тетиву лука и протянул правую руку. Он приглашал Красса обсудить условия перемирия, говоря, что мужество и мощь царя испытаны римлянами против его воли, кротость же свою и доброжелательство царь выказывает по собственному желанию, ныне, когда они отступают, заключая мир и не препятствуя им спастись. Эти слова Сурены все приняли с удовлетворением и были ими чрезвычайно обрадованы. Но Красс, терпевший беды не от чего иного, как от обманов парфян, считая столь внезапную перемену невероятной, не поверил и стал совещаться. Между тем воины подняли крик, требуя переговоров с врагом, и затем стали поносить и хулить Красса за то, что он бросает их в бой против тех, с кем сам он не решается даже вступить в переговоры, хотя они и безоружны. Красс сделал было попытку их убедить, говорил, что, проведя остаток дня в гористой, пересеченной местности, они ночью смогут двинуться в путь, указывал им дорогу и уговаривал не терять надежды, когда спасение уже близко. Но так как те пришли в неистовство и, гремя оружием, стали угрожать ему, Красс, испугавшись, уступил и, обратясь к своим, сказал только: "Октавий и Петроний и вы все, сколько вас здесь есть, римские военачальники! Вы видите, что я вынужден идти, и сами хорошо понимаете, какой позор и насилие мне приходится терпеть. Но если вы спасетесь, скажите всем, что Красс погиб, обманутый врагами, а не преданный своими согражданами".

31. Октавий не остался на холме, но спустился вместе с Крассом; ликторов же, которые было двинулись за ним, Красс отослал обратно. Первыми из варваров, встретивших его, были двое полуэллинов. Соскочив с коней, они поклонились Крассу и, изъясняясь по-гречески, просили его послать вперед несколько человек, которым Сурена покажет, что и сам он и те, кто с ним, едут, сняв доспехи и безоружные. На это Красс ответил, что если бы он хоть сколько-нибудь заботился о сохранении своей жизни, то не отдался бы им в руки. Все же он послал двух братьев Росциев узнать, на каких условиях должна состояться встреча и сколько человек отправляются на переговоры. Сурена тотчас же схватил и задержал их, а затем с высшими начальниками подъехал на коне к римлянам: "Что это? – молвил он. – Римский император идет пеший, а мы едем верхами!" – и приказал подвести Крассу коня. Красс же на это заметил, что ни он, ни Сурена не погрешат, поступая при свидании каждый по обычаю своей страны. Затем

Сурена заявил, что, хотя военные действия между римлянами и царем Гиродом прекращены и вражда сменилась миром, все же следует, доехав до реки, написать его условия. "Ибо, – добавил он, – вы, римляне, вовсе не помните о договорах", – и протянул Крассу руку. Когда же Красс приказал привести свою лошадь, Сурена сказал: "Не надо, царь дарит тебе вот эту", – и в ту же минуту рядом с Крассом очутился конь, украшенный золотой уздой. Конюшие, подсадив Красса и окружив его, начали подгонять лошадь ударами. Первым схватился за поводья Октавий, за ним военный трибун Петроний, а затем и прочие стали вокруг, силясь удержать лошадь и оттолкнуть парфян, теснивших Красса с обеих сторон. Началась сумятица, затем посыпались и удары; Октавий, выхватив меч, убивает у варваров одного из конюхов, другой конюх – самого Октавия, поразив его сзади. Петроний был безоружен, он получил удар в панцирь, но соскочил с лошади невредимый. Красса же убил парфянин по имени Эксатр. Иные говорят, что это неверно, что умертвил его другой, а Эксатр лишь отсек голову и руку у трупа. Впрочем, об этом скорее догадываются, чем судят наверняка, ибо одни из находившихся там римлян погибли, сражаясь вокруг Красса, другие же поспешили ускакать на холм. Подъехавшие к холму парфяне объявили, что Красс наказан по заслугам, а прочим Сурена предлагает смело сойти вниз. Одни сдались, спустившись с холма, другие ночью рассеялись, но спаслись из них лишь немногие, остальных же выследили, захватили и убили арабы. Говорят, что погибло здесь двадцать тысяч, а живыми было взято десять тысяч человек.

32. Сурена послал Гироду в Армению голову и руку Красса, а сам, передав через гонцов в Селевкию весть, что везет туда Красса живого, устроил нечто вроде шутовского шествия, издевательски называя его триумфом. Один из военнопленных, Гай Пакциан, очень похожий на Красса, одетый в парфянское женское платье и наученный откликаться на имя Красса и титул императора, ехал верхом на лошади; впереди его ехали на верблюдах несколько трубачей и ликторов, к их розгам были привязаны кошельки, а на секиры насажены свежеотрубленные головы римлян; позади следовали селевкийские гетеры-актрисы, в шутовских песнях на все лады издевавшиеся над слабостью и малодушием Красса. А народ смотрел на это. Сурена же, собрав селевкийский совет старейшин, представил ему срамные книги "Милетских рассказов" Аристида[22]. На этот раз он не солгал: рассказы были действительно найдены в поклаже Рустия и дали повод Сурене поносить и осмеивать римлян за то, что они, даже воюя, не могут воздержаться от подобных деяний и книг. Но мудрым показался селевкийцам Эзоп[23], когда они смотрели на Сурену, подвесившего суму с милетскими непотребствами спереди, а за собой везущего целый парфянский Сибарис в виде длинной вереницы повозок с наложницами. Все в целом это шествие напоминало гадюку или же скиталу[24]: передняя и бросавшаяся в глаза его часть была схожа с диким зверем и наводила ужас своими копьями, луками и конницей, а кончалось оно – у хвоста походной колонны – блудницами, погремками, песнями и ночными оргиями с женщинами. Достоин, конечно, порицания Рустий, но наглы и хулившие его за "Милетские рассказы" парфяне – те самые, над которыми не раз царствовали "Арсакиды", родившиеся от милетских и ионийских гетер[25].

33. В то время, как все это происходило, Гирод уже примирился с Артабазом

Армянским и согласился на брак его сестры и своего сына Пакора. Они задавали друг другу пиры и попойки, часто устраивали и греческие представления, ибо Гироду были не чужды греческий язык и литература, Артабаз же даже сочинял трагедии и писал речи и исторические сочинения, из которых часть сохранилась. Когда ко двору привезли голову Красса, со столов было уже убрано и трагический актер Ясон из Тралл декламировал из "Вакханок" Эврипида стихи, в которых говорится об Агаве[26]. В то время как ему рукоплескали, в залу вошел Силлак, пал ниц перед царем и затем бросил на середину залы голову Красса. Парфяне рукоплескали с радостными криками, и слуги, по приказанию царя, пригласили Силлака возлечь. Ясон же передал одному из актеров костюм Пенфея, схватил голову Красса и, впав в состояние вакхического исступления, начал восторженно декламировать следующие стихи:

Только что срезанный плющ –
Нашей охоты добычу счастливую –
С гор несем мы в чертог.

Всем присутствующим это доставило наслаждение. А когда он дошел до стихов, где хор и Агава поют, чередуясь друг с другом:

"Кем же убит он?"
"Мой это подвиг!"–

то Эксатр, который присутствовал на пире, вскочил с места и выхватил у Ясона голову в знак того, что произносить эти слова подобает скорее ему, чем Ясону. Царь в восхищении наградил его по обычаю своей страны, а Ясону дал талант серебра. Таков, говорят, был конец, которым, словно трагедия, завершился поход Красса.

Но и жестокосердие Гирода и вероломство Сурены получили достойное возмездие. Сурену Гирод вскоре умертвил из зависти к его славе, а сам потерял своего сына Пакора, побежденного римлянами в сражении. Затем, когда его постиг недуг, перешедший в водянку, другой сын его, Фраат, со злым умыслом дал отцу аконита. Но яд подействовал, как лекарство, и вышел вместе с водой, так что больному стало легче, и тогда Фраат, избрав самый верный путь, задушил отца.



[*Сопоставление*]

34(1). Приступая к сравнению, надо прежде всего сказать, что Никий нажил свое богатство менее постыдным путем, что Красс. Вообще говоря, трудно одобрить доходы от рудников, в которых работают главным образом преступники или варвары, причем некоторые из них заключены в оковы и гибнут в опасных и вредных для здоровья местах, однако рядом с барышами, которые извлечены из пожаров и распродаж конфискованного Суллой имущества, они кажутся более пристойными. А ведь Красс использовал эти способы обогащения столь же открыто, как земледелие и ростовщичество. Красса изобличали в том, что он берет взятки за свои выступления в сенате, оскорбляет союзников, заискивает перед женщинами, укрывает негодяев. Сам он решительно отвергал такие обвинения, но Никия ни в чем подобном никто не упрекал, хотя бы и ложно. Правда, вызывало насмешки его малодушие, когда он задабривал деньгами доносчиков, что было бы недостойно, конечно, Перикла и Аристида, но неизбежно для него, от природы лишенного храбрости. В более позднее время оратор Ликург, которому вменяли в вину подкуп какого-то доносчика, не смущаясь, оправдывался в Народном собрании: "Я доволен, что после столь долгого исполнения государственных обязанностей, вы ловите меня на том, что я давал, а не брал".

В расходах Никий проявил больше здравого смысла, ища себе славы в щедрых приношениях богам, устройстве гимнастических состязаний и театральных зрелищ. Однако по сравнению с тем, что тратил Красс на угощение многих десятков тысяч людей или даже на полный их прокорм, все имущество Никия вместе с его расходами представляется каплей в море. Поэтому мне удивительно, как люди могут не понимать, что с известной точки зрения порок есть не что иное, как разноречивость и непоследовательность, – коль скоро они видят, как нажитое нечестным путем тратится затем без всякой пользы.

35(2). Сказанного о богатстве достаточно. В государственных делах Никию и на волос не было свойственно ни коварство, ни несправедливость, ни насилие, ни наглость. Напротив, он сам оказывался жертвой Алкивиадовых хитростей и перед народом всегда выступал с уважением и осторожностью. Крассу же ставят в вину страшное вероломство и низость, имея в виду его непостоянство и во вражде и в дружбе. Он сам не отрицал, что пришел к консульству путем насилия, наняв людей, которые покушались на Катона и Домиция. Когда народ голосованием решал вопрос о распределении провинций, многие тогда получили раны, четверо были убиты, и Красс сам, – о чем я не упомянул в его жизнеописании, – ударом кулака разбил в кровь лицо Луцию Аннию и выгнал прочь этого сенатора, перечившего ему. Но если Красс был склонен к насилию и тирании, то Никий заслуживает самого сурового порицания за нерешительность в государственных делах, за малодушие и попустительство самым последним мерзавцам. Красс в подобных случаях выказывал мужество и величие духа, и соперниками его были, клянусь Зевсом, не какие-нибудь там Клеон и Гипербол, а

прославленный Цезарь и трижды триумфатор Помпей. Ни перед одним из них он не отступил, но с обоими сравнялся могуществом, а добившись избрания на должность цензора, достиг даже большего, чем Помпей. Занимаясь делами величайшей государственной важности, нужно думать не о том, что может избавить тебя от завистников, а о том, как стяжать славу, которая своим величием способна ослабить зависть. Если тебе дороже всего безопасность и тишина, если на ораторском возвышении ты робеешь перед Алкивиадом, в Пилосе – перед лакедемонянами, перед Пердиккой – во Фракии, то в Афинах было много удобных для отдыха мест, чтобы вдали от забот сплетать себе венок безмятежности, как говорят некоторые философы. Страстное влечение Никия к миру было поистине божественным качеством, а прекращение войны – самым высоким проявлением эллинского духа на государственном поприще. В этом отношении Красс недостоин, чтобы его сравнивали с Никием, хотя бы он подчинил Риму Каспийское море и Индийский океан.

36(3). В государстве, где живо понятие о нравственном совершенстве, лицо, облеченное высшими полномочиями, не вправе уступать дорогу негодяям, власть – людям беспринципным и оказывать доверие лицам, не заслуживающим его, как это сделал Никий, когда сам передал командование Клеону, который в государстве был никем и лишь без всякого стыда горланил с возвышения для ораторов. Я не хвалю Красса, который во время Спартаковой войны торопился дать решительное сражение, забывая об осторожности. Однако его толкало на это честолюбивое опасение, как бы не подоспел Помпей и не лишил его славы, как Муммий – Метелла в Коринфе[27]. Но совершенно нелепо и непростительно вел себя Никий. Ведь не честь, не власть, сопряженную с надеждами на легкий успех, уступил он врагу, но, предвидя огромные трудности, грозящие командующему под Пилосом, пожертвовал общим благом ради собственного спокойствия и безопасности. Не в пример ему Фемистокл[28] во время Персидских войн, чтобы не допустить к командованию человека никчемного и не погубить государство, подкупом убедил его отказаться от должности, и Катон выступил соискателем на выборах народных трибунов именно тогда, когда увидел, что государство стоит перед величайшими затруднениями и опасностями. Тот же, кто сберегает свое военное искусство для борьбы против Минои, Киферы и жалких мелосцев[29], а когда нужно дать бой лакедемонянам, снимает с себя воинский плащ и передает неопытному и самонадеянному Клеону корабли, людей, оружие и командование в походе, требующем особой, чрезвычайной опытности, – тот губит не свою личную славу, а свободу и независимость отечества. В дальнейшем его насильно, вопреки собственному желанию, заставили воевать с сиракузянами, и было похоже, что он дал Сицилии уйти из рук афинян по своей слабохарактерности и малодушию, а не потому, что находил захват острова бесполезным.

Однако он неизменно пользовался благоволением сограждан – недаром афиняне постоянно голосовали за него, как за самого опытного и лучшего полководца, хотя он никогда не любил воевать и уклонялся от поста командующего. Крассу же, который все время рвался к должности командующего, никак не удавалось ее получить, если не считать войны против рабов, когда в Риме не

было ни Помпея, ни Метелла, ни обоих Лукуллов и у римлян не было иного выбора. А ведь именно в ту пору Красс пользовался наибольшим почетом и влиянием, но даже ревностные его приверженцы понимали, что, как говорит комический поэт,

Он доблестен везде, где нет оружия[30].

Разумеется, никакого проку от его добрых качеств не было тем римлянам, которых, вопреки их желанию, повели в поход властолюбие и честолюбие Красса. Если афиняне насильно послали на войну Никия, то Красс насильно повел в бой римлян, и по вине Красса пострадало государство, а Никий сам пострадал по вине государства.

37(4). Впрочем, если судить о событиях, которыми завершается их жизнь, Никий больше заслуживает похвалы, чем Красс порицания. Ведь Никий, полагаясь на свой опыт и расчеты, как и подобает мудрому полководцу, не увлекся надеждами сограждан, но решительно отверг план захвата Сицилии, Красс же повинен в том, что к Парфянской войне, им же самим затеянной, относился с крайним легкомыслием. У Красса были далеко идущие замыслы: пока Цезарь покорял западные области – кельтов, германцев, Британию, Красс рвался на восток, к Индийскому океану, желая присоединить к римской державе всю Азию, что уже пытался исполнить Помпей, а до него – Лукулл, мужи, неизменно пользовавшиеся доброй славой, однако домогавшиеся того же, что и Красс, и следовавшие тем же побуждениям. Сенат противился назначению Помпея на должность командующего, а когда Цезарь разбил триста тысяч германцев, Катон советовал[31] выдать его побежденным и тем самым гнев богов за вероломство обратить на него одного. Но народ отвернулся от Катона и пятнадцать дней приносил благодарственные жертвы за победу, всецело отдавшись ликованию. А какие чувства возникли бы и сколько дней сжигались бы жертвы, если бы Красс из Вавилона послал весть о победе, а затем двинулся бы дальше и сделал римскими владениями Мидию, Персиду, Гирканию, Сузы, Бактры! Если, по слову Эврипида[32], "неизбежно творит беззаконие" тот, кому в тягость мирная жизнь и кто не умеет довольствоваться тем, что есть, – тогда уж, по крайней мере, подобало не Скандию, не Менду[33] разрушать до основания, не за беглецами-эгинцами, покинувшими родину и прятавшимися в чужой стране, охотиться, словно за дичью. Нет, отступая от справедливости, надо и к самой несправедливости относиться с уважением и не чинить ее по случайному поводу, не обращать на предметы нестоящие и ничтожные. Те, которые одобряют намерения, вызвавшие поход Александра, намерения же, руководившие Крассом, порицают, неправильно судят о начале дела по его исходу.

38(5). В самих военных действиях Никия немало доблестного. Он побеждал врага во многих битвах и чуть было не взял Сиракузы. Не он один несет ответственность за все бедствия, тут можно винить и его болезнь и зависть сограждан в Афинах. Красс же множеством своих ошибок отпугнул от себя счастье, и поразительно не то, что этот глупец оказался слабее парфян, а то, что перед его глупостью не устояла даже удачливость римлян. Никий благоговел перед наукой прорицания, Красс смеялся надо всем, что к ней относится, однако обоих

постиг один конец, поэтому трудно судить, какой путь надежнее. Лучше все же ошибиться из осторожности, следуя старинным убеждениям и обычаям, чем самонадеянно их преступать. Если, наконец, сопоставить гибель того и другого, то Красс заслуживает меньше упреков: ведь он не сдался в плен, не был ни связан, ни введен в заблуждение ложными упованиями, но уступил просьбе друзей и пал жертвой вероломства врагов; Никий же, в надежде ценою позора и бесславия получить спасение, сдался врагам – и сделал свою смерть особенно позорной.





ПРИЛОЖЕНИЯ

С.С. Аверинцев

ДОБРЫЙ ПЛУТАРХ РАССКАЗЫВАЕТ О ГЕРОЯХ, ИЛИ СЧАСТЛИВЫЙ БРАК БИОГРАФИЧЕСКОГО ЖАНРА И МОРАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ

Пока эллинская классика не стала мечтой любителей прекрасного, каковой она уже была в римские времена, но оставалась реальностью, т.е. проблемой для самой себя, пока вольные города-государства, территория которых, по известному замечанию Аристотеля ("Политика", IV, 7, 1327aI), желательно просматривалась с высоты их городских крепостей, а свобода оплачивалась необходимостью постоянной самозащиты против окружающего мира и неизбежностью внутренних свар, пока Фемистокл сначала спасал отечество от персов, а потом спасался от отечества к персам, пока Перикл исполнял чрезвычайно хлопотные обязанности почти единовластного правителя непослушных демократических Афин, а его младший родственник Алкивиад между делом являл изумленному миру первый в истории европейской культуры прототип дендизма, – почтения к великим мужам было немного, и когда оно все же было, направлялось оно не в биографическое русло.

Таким уж было самосознание древней гражданской общины, что оно не благоприятствовало интересу к индивидуальному. Монументальная историография, образцы которой дали Геродот и Фукидид, повествовала о деяниях мужей; о деяниях, не об их "жизни". Недаром в искусстве великой эпохи Фидия и Поликлета так мало места было для портретного жанра. Принять индивидуальное всерьез – это нечестие, посягающее на права общины и ее божеств. Подмеченные, подсмотренные портретные черточки годились для того, чтобы попасть на зубок озорнице-комедии; пусть читатель обратит внимание на источники, из которых Плутарх черпал свою информацию касательно формы головы Перикла – это все без исключения тексты комедиографов ("Перикл", 3). И впрямь, трудно вообразить, чтобы Фукидид, например, унизил серьезность исторического жанра вниманием к подобным частностям; примечательно также, что традиция античного скульптурного портрета усвоила изображение Перикла *в шлеме*, скрадывающем чересчур резкое отклонение от нормы.

Если факты довольно уверенно распределялись по степени своей общегражданской значимости между монументальной историографией и непочтительной комедией, – душа эпохи, ее внутренняя суть наиболее полно выражала себя в трагедии. Молодой Ницше так и назвал всю эпоху – "трагической" ("Das tragische Zeitalter"). Между тем для греческой трагедии – в знаменательном отличии, скажем, от шекспировской – чрезвычайно характерен обязательный мифологический сюжет, наряду со столь же обязательными масками исполнителей и

прочими аксессуарами постановки служивший знаком уровня абстракции от всего индивидуального. К тому же Аристотель подчеркнул, вступая в противоречие с азами эстетики Нового времени, что мифологическая фабульная схема важнее, чем характер действующего лица. Попытки создать трагедию на злободневный исторический сюжет остались исключениями; из них до нас дошли только "Персы" Эсхила – и до чего же красноречиво это исключение свидетельствует о норме! От исторических индивидов в ней остались только имена, в разработке образов всецело торжествует мифологическая парадигматика.

В свою "трагическую" эпоху греки биографий не писали.

Интерес к жизни индивида, как принадлежащей этому индивиду и от его личных и частных свойств обретающей связность и цельность своего сюжета, – вот импульс, без которого биография немыслима. На общем фоне традиционного гражданственного мировоззрения интерес этот не имел шансов громко заявить о себе. Он набрал достаточную силу лишь в поворотном 4 в. до н.э., среди общего развала традиции, когда философия выдвинула альтернативные мыслительные парадигмы, все попутные ветры истории дули в паруса монархических режимов и на смену эллинской классике подходила совсем иная, непохожая эпоха, которую мы привыкли называть эллинистической.

Рождению биографического жанра сопутствовала более или менее явственная атмосфера скандала, очень часто ощутимая на поворотах античной и вообще европейской культурной истории, но никак не позволяющая предчувствовать то настроение благообразия, которое разлито по биографиям Плутарха.

Прилично ли афинянину славословить не гражданственные святыни родного города, а каких-то чужеземных владык? Однако аттический ритор Исократ составил похвальное слово в честь Эвагора, царя Саламина на Кипре, обращенное к сыну покойного Эвагора Никоклу и насыщенное лестью; оно впервые – Исократ оговаривает свое новаторство – отрабатывало композиционную матрицу, впоследствии характерную для биографии (предки, события жизни, черты характера). И все это – на фоне неприличных похвал, которые никто и не подумал бы высказать по адресу, скажем, Аристида или Перикла: "бог среди людей", "смертное божество". Проходит около десяти лет, и опыт Исократа находит подражателя: около 360 до н.э. Ксенофонт Афинский воздвигает такой же литературный памятник заклятому врагу своего отечества – спартанскому царю Агесилаю. Его сочинение построено по опробованной у Исократа схеме и также изобилует неумеренной идеализацией героя. В таком тоне говорят не о гражданине среди сограждан – лишь о монархе, об авторитарной личности. У истоков биографического интереса к личности мы находим культ этой личности.

И все же похвальное слово, какова бы ни была его композиция, представляет собой особую область риторики; строго говоря, оно отлично от биографического жанра как такового. История последнего началась на исходе 4 в.; почин был положен Аристоксеном из Тарента. Этот сын музыканта, после учения у одного пифагорейца пошедший в ученики к Аристотелю и одно время надеявшийся, что учитель назначит его преемником в управлении школой, занимался теорией музыки и другими отраслями современной ему учености, однако нас интересует как автор жизнеописаний философов (Пифагора, Архита, Сократа, Платона,

Телеста), а также флейтистов и трагических поэтов. Жизнеописания эти известны нам лишь по фрагментам и свидетельствам; но то, что дошло, заставляет вспомнить, что Аристоксен славился редкостно плохим характером. Что он сообщает, например, о Сократе? Что последний был грубияном и сквернословом, "не воздерживавшимся ни от какого слова и ни от какого действия", притом человеком похотливым. Для Плутарха Аристоксен – тип злонамеренного инсинуатора:

"...К этим людям близки и те, кто подбавляет к своим поношениям кое-какую похвалу, как это делает Аристоксен в отношении Сократа: назвав его невеждой, неучем и наглецом, он присовокупил: "Однако же несправедливости в нем не было". Как хорошо искушенные в своем ремесле льстецы примешивают иногда к своим пространным и многословным похвалам незначительные порицания, как бы приправляя свою лесть откровенностью, так и злокозненность, чтобы ее клевете лучше поверили, спешит поставить рядом с ней похвалу" ("О злокозненности Геродота", IX, I, пер. С.Я. Лурье).

Не лучше обошелся Аристоксен и с Платоном. Напротив, жизнеописание Пифагора он строил как житие языческого святого: мудрец этот никогда не плакал и вообще не был доступен страстям и волнению, он повсюду устранял раздоры и водворял мир, и таким образом умиротворил всю Италию, и т.п. Это назидательная пифагорейская легенда заставляет вспомнить тон, в котором Исократ говорил о своем Эвагоре, Ксенофонт – об Агесилае: герой биографии – предмет культа, как там, так и здесь. Почему такое отношение вызывали именно мудрецы и монархи, достаточно понятно. Самовластный монарх и предписывающий сам себе законы мудрец в равной мере эмансипировались от уклада гражданской общины, а потому вызывали интерес не только своими общезначимыми "деяниями", для которых могло бы найтись место и в монументальной историографии старого типа, но и своим частным образом жизни. В этом образе жизни реализовался идеал нового индивидуализма, двуединое выражение которого – Александр на своем троне и Диоген в своей бочке. Известный анекдот об их встрече – "Если бы я не был Александром, я хотел бы быть Диогеном" (Плутарх. Александр, 14) – ясно это выражает.

Но именно поэтому и бытие монарха, и самодостаточный интеллектуализм (а тем паче профессиональный артистизм, который для грека имел неприятную близость к миру ремесел) равно подозрительны с точки зрения традиционной гражданственности. Отношение последней к типу монарха можно резюмировать изречением Катона Старшего (приведено у Плутарха, "Марк Катон", 8): "По самой своей природе царь – животное плотоядное". Не лучше относилась гражданственная традиция и к типу художника-профессионала: по словам Плутарха, "ни один юноша, благородный и одаренный, посмотрев на Зевса в Писе, не пожелает сделаться Фидием, или, посмотрев на Геру в Аргосе – Поликлетом, а равно Анакреонтом, или Филемоном, или Архилохом, прельстившись их сочинениями" ("Перикл", 2). Известная эпитафия Эсхилу (приписываемая ему самому) прославляет его доблестное участие в Марафонской битве и ни единым словом не упоминает о его поэтических произведениях: вот отчетливое выражение идеала гражданской общины, с которым несовместимо придание интеллекту-

альной или художественной деятельности человека какого-либо автономного значения.

Таким образом, и монарх, и адепт мира наук и художеств (если только этот последний становился отрешенным от гражданственных связей профессионалом) вызывали у современников и потомков прежде всего любопытство, а затем какие угодно эмоции – от восхищения, как Эвагор у Исократа и Агесилай у Ксенофонта, даже обожествления, как Пифагор у Аристоксена, до разоблачительских страстей, как Сократ и Платон у того же Аристоксена; только не спокойное почтение в духе старозаветных гражданственных идеалов. Поэтому к ним подходил молодой по возрасту биографический жанр, в погоне за материалом не пренебрегавший ни самой экзальтированной легендой, ни самой неуважительной сплетней.

В своем дальнейшем развитии эллинистическая биография, насколько можно судить по дошедшим свидетельствам, оставалась верна этим интересам. Ее персонажи – это почти всегда либо профессиональные деятели духовной культуры, либо такие политические деятели, которые не укладываются в рамки гражданского "благозакония": монархи, тиранны, на худой конец авантюристы вроде Алкивиада. Шедшие рука об руку интерес к жизни философов и к жизни тиранов курьезным образом соединились в труде Гермиппа из Смирны (3 в. до н.э.): "Жизнеописания людей, перешедших от философских занятий к власти тираннической или династической".

Не было почти ни одного заметного представителя эллинистической биографии, который не занимался бы жизнеописаниями философов; современный читатель имеет возможность конкретно познакомиться с этой жанровой линией по объемистому труду Диогена Лаэртского "О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов". Излюбленными героями биографий были также поэты, риторы, историки, грамматики, даже врачи (только одному Гиппократу посвящено три дошедших жизнеописания). Очень много писали о монархах; позволительно предположить, что яркая личность Александра Македонского сыграла для истории греческой биографии примерно такую же роль, какую для истории греческого скульптурного портрета отмечал в свое время О.Ф. Вальдгауер. Ряд сборников был посвящен тираннам; некто Харон Карфагенский даже создал универсальный труд "Тиранны, сколько их ни было в Европе и в Азии". Что до таких политических деятелей, как Фемистокл, Фукидид (не историк!) и Перикл, то Стесимброт Фасосский смог еще в 5 в. до н.э. сделать их предметом сочинения с биографическим уклоном за счет того, что он превратил почтенные фигуры этих мужей в гротескные маски. Когда он рассказывал, например, о сексуальной стороне жизни великого Перикла, он применял к деятелю гражданской общины тот подход сенсационного разоблачения семейных секретов, обычными жертвами которого были монархи. Заметим, что Плутарх, чье некритическое отношение к источникам давно стало общим местом научной литературы, все же отлично знал цену этому низкопробному материалу (например, "Перикл", 13), относясь к нему с тем большей досадливостью, что встречал в нем помеху своим установкам на почтительную идеализацию того же Перикла; если он все-таки, несмотря на брезгливость, не может совсем обойтись без подобных

сведений, – это само по себе говорит об огромной силе инерции античного биографизма, выросшего именно на "сплетне".

Трудно было бы категорически утверждать, что деятели эпохи классических городов-государств, которые не были ни монархами, ни авантюристами, и с именами которых не было связано достаточно скандальных историй, абсолютно не привлекали эллинистическую биографию; для такого утверждения наша информация слишком неполна. Однако общие тенденции жанра можно характеризовать с уверенностью.

В своем дальнейшем развитии античная биография – за немногими исключениями, важнейшее из которых составляют как раз "Сравнительные жизнеописания" Плутарха – остается верной тем же интересам. Биографии философов и поэтов, грамматиков и риторов продолжают возникать и в римскую эпоху, как по-гречески, так и по-латыни. Эта линия непосредственно переходит в христианскую эпоху: Иероним и Геннадий, работая над биографиями христианских писателей, отчетливо сознают себя продолжателями, и составленный ими сборник имеет традиционное заглавие "О знаменитых мужах". Что до линии биографий монархов, она была обновлена в римской литературе Светонием; затем она идет через Мария Максима к позднеантичным биографиям августов и уходит в Средние века. Христианин Евсевий Памфил в своем "Жизнеописании Константина" и язычник Либаний в своем надгробном слове Юлиану Отступнику обновили, каждый по-своему, исократовско-ксенофонтовскую форму биографического похвального слова в честь правителя: IV век как бы возвращается к первым опытам 4 в. до н.э.

Кроме двух описанных тематических типов – биографии профессионального мыслителя, литератора, ученого или художника и биографии властителя – мы находим в арсенале тематики античного биографизма еще более откровенные выражения господствовавшего над биографическим жанром духа любопытства, сенсации, сплетни, педантичного коллекционирования мелочей и курьезов. Известно, например, что Светоний, биограф цезарей, составил также сборник "О знаменитых блудницах". Предположительно, жизнеописания гетер были включены и в цикл Харона Карфагенского, биографа тираннов, "О женщинах"; вообще, насколько можно судить, эллинистическая биография довольно пристально занималась этой категорией знаменитостей. Прилежно собирался материал о распутниках (неисчерпаемым источником такого материала служило ложно приписанное Аристиппу сочинение "О любострастии древних"), но также о трезвенниках; каталог трезвенников приводится в "Пирующих софистах" Афинея (ок. 200 г. н.э.). К этой же сфере учености принадлежат перечни долгожителей, один из которых дошел под именем знаменитого Лукиана; с особенной кропотливостью инвентаризация такого же материала проведена у вольноотпущенника императора Адриана Флегонта из Тралл – в его списке имена разнесены по рубрикам, так что сначала перечисляются лица, дожившие ровно до ста лет, затем до 101 года, до 102, 103 лет и т.д.; использованы архивные документы. Излюбленной темой античной биографии были всякого рода чудаки. Легендарный человеконенавистник Тимон удостоился жизнеописания, составленного биографом поэтов и философов Неанфом из Кизика еще в эллинистическую

эпоху. Если это жизнеописание действительно, как есть основания полагать, входило в цикл Неанфа "О знаменитых мужах", сам этот факт показывает, насколько слово "знаменитый" утратило в руках античных биографов уважительно-оценочные лексические обертоны; речь идет не о предметах пиетета, но об объектах любопытства, в лучшем случае – любознательности. Кто прославлен, кто ославлен – но все знаменитости, как в музее мадам Тюссо или в Книге рекордов Гиннеса. Историк Арриан (II в.) написал биографию разбойника Тиллибора; это вполне соответствует жанровой норме.

Может показаться, что серьезным возражением против набросанной нами картины является ссылка на биографический сборик римлянина I в. до н.э. Корнелия Непота. В сохранившейся части сборника мы встречаем таких героев гражданственной старины, как Мильтиад, Фемисток, Аристид, Кимон и т.д. Однако эти биографические выписки и заметки, призванные сообщить любознательному, но недостаточно осведомленному римлянину некоторый минимум справочных сведений о героях чужеземной и отечественной истории, лишь с серьезной оговоркой могут быть приравниваемы к настоящим жизнеописаниям. При этом особенно скупо и невыразительно трактованы у него как раз такие образы греческой классики, как Аристид и Кимон, а в центре стоят – даже оставляя пока в стороне биографию Аттика – какие-нибудь Датам, Эвмен или Ганнибал. Важно и другое: греческая биография, поздно возникнув, вынуждена была считаться с фактом существования давным-давно сложившейся монументальной историографии, а потому поиски собственного, специфического материала оттесняли ее к периферийной тематике. Непот, как римлянин, находился в ином положении. Самый облик его жизнеописаний наводит на мысль о том, что перед нами конгломерат выписок из исторических трудов общего, а не биографического характера. Интересно, что христианский продолжатель жанровой традиции Блаженный Иероним (IV–V вв. н.э.) представляет себе способ работы своих предшественников, в частности, Непота, именно так: по его словам, эти авторы, "раскрывая истории и анналы старых времен, получали возможность как бы собрать с этих просторных лугов цветы на маленький венок своего сочиненьица". В противоположность другим дошедшим биографиям Непота, его "Аттик" – подлинное, полноценное, разработанное жизнеописание; но ведь его герой, друг Цицерона, да и самого Непота, – эпикуреец, принципиально отказывавшийся от политической активности, а потому не имевший общезначимых "деяний", но только приватную "жизнь". Поэтому биографический жанр со своим негражданственным духом хорошо к нему подходит. Сходный случай являет собой, при всем кажущемся различии, также "Агрикола" Тацита: деяния Агриколы, сравнительно заурядные, важны отнюдь не сами по себе, но как проявление определенной жизненной установки, бережно сохраняемой в неблагоприятных условиях. Под деспотической властью Домициана мало что можно было *сделать*, но даже тогда истинный римлянин мог *жить* достойным его образом – вот что хочет сказать нам Тацит. Поэтому похвальное слово приобретает здесь форму не "деяний", но "жизнеописания". Что до "лучших", республиканских времен, – тогда деятельному государственному человеку естественно было посвятить не биографию, но изложение "деяний"; как говорим мы, историческую монографию.

Именно о такой монографии Цицерон просил Луция Лукцея и Посидония, между тем как последний уже прославил подобным образом Помпея.

Итак, подытоживаем сказанное. Античная биография возникла и развивалась в отталкивании от монументальной историографии, как порождение центробежных, антимонументалистских тенденций протоэллинистической и затем эллинистической культуры. Ее жизненной атмосферой был дух неразборчивого любопытства или педантичного коллекционирования сведений; иногда это бесстрастное усердие сменялось резкой оценочностью и взвинченной риторской патетикой, и тогда возникало биографически оформленное похвальное слово или, напротив, "поношение" (греч. псо́гос). Естественными и излюбленными героями биографий были личности, принадлежащие либо миру книжной учености (философы, поэты, риторы, грамматики), либо миру уличной сенсации (монархи, разбойники, гетеры, чудаки). В целом она исходит не из оценочной идеи "великого человека", но из идеи "знаменитости" в смысле некоего курьеза: это своего рода кунсткамера, где Пифагор или Александр Македонский могут стоять рядом с любым Тимоном или даже Тиллибором. Поэтому она претендует – как очень хорошо видно из вступления к сборнику Непота – на информативную ценность и на занимательность, но никак не на моральное значение.

* * *

Такова была жанровая традиция, которую застал Плутарх – чтобы превратить ее едва ли не в полную противоположность себе самой и оставить благодарным векам образец сугубо монументальной "портретной галлереи" великих мужей. Уже ходячее представление Нового времени о том, какие именно деятели греко-римского мира были "самыми великими", несомненно, в огромной степени выработалось именно под гипнозом отбора, произведенного Плутархом. Немецкий филолог К. Циглер замечал: "Если нам может показаться, будто более или менее все величайшие мужи Эллады и Рима представлены в Плутарховом смотре героев, происходит это как раз под воздействием его писательских достижений: деятели, о которых он писал, как раз благодаря ему привлекли к себе интерес потомства, а многие другие, кто заслуживал этого не меньше, остались в тени".

Между тем ранние опыты Плутарха в биографическом роде, печатаемые вместе с "Сравнительными жизнеописаниями", однако на деле стоящие вне этого цикла, гораздо ближе к обычному направлению жанра. Скажем, "Артаксеркс" – биография восточного деспота, переполненная сенсационными картинами заговоров и казней, а равно и обильными этнографическими деталями, вполне соответствует эллинистическому пониманию жанра. В этнографическом материале античная теория видела естественное достояние биографии; об этом внятно говорил в свое время тот же Корнелий Непот. Не приходится удивляться, что жанр, главной задачей которого, в соответствии с дефиницией, известной по византийскому источнику, но восходящей предположительно еще к античным временам, было изображение индивидуально-специфического "образа жизни", проявлял интерес к специфике "образа жизни" целого народа. И вот мы узнаем, как у персов совершалась инициация в храме богини войны, как приме-

нялась "корытная пытка", что делали с отравителями, какова была персидская техника обезглавливания. Не предвосхищают тематики "Сравнительных жизнеописаний" и биографии восьми римских цезарей от Августа до Вителлия, из которых сохранились "Гальба" и "Отон". И только "Арат" – существенный шаг в сторону "Сравнительных жизнеописаний", в сторону собственно плутарховских интересов. Очень характерно вступление к "Арату", связывающее биографию со сферой моральной педагогики, и притом педагогики домашней: "...Я хочу, чтобы на семейных примерах воспитывались твои сыновья, Поликрат и Пифокл, сперва слушая, а позже и читая о том, чему им надлежит подражать". Такое соединение морализаторства и уюта, почтения и некоей родственной интимности накоротке, – чисто плутарховская атмосфера. Только что процитированные слова он обращает к потомку Арата; но для него самого все его герои – "семейные примеры".

Какое время породило Плутарха? Когда он родился, – вероятнее всего, в 40-е годы I в. н.э., – Греция не только переживала тяжелую экономическую и культурную разруху, но и терпела под властью римлян глубочайшее унижение. Когда он умирал (после 119 н.э.), на престоле империи восседал филэллин Адриан, провозгласивший широкую официальную программу возрождения эллинства, и все обещало большие перемены в положении греков, – по крайней мере, состоятельных и образованных. Во времена юности Плутарха был бы совершенно немыслим такой эпизод, разыгравшийся примерно через десятилетие после его смерти и поведанный Филостратом в его "Жизнеописаниях софистов": когда римский проконсул пожелал остановиться в доме ритора Полемона, последний в сознании своего эллинского величия вышвырнул высокого гостя за дверь. По словам того же Филострата, Элий Аристид отказался пойти засвидетельствовать почтение прибывшему в Смирну императору Марку Аврелию на том основании, что занят отработкой очередной речи, – и государь только одобрил независимое поведение знаменитого витии. Число подобных примеров для II в. можно умножить. За время жизни Плутарха сильно изменилось к лучшему, – по крайней мере, внешне, – и состояние греческой литературы. Непосредственно предшествующие ему поколения грекоязычных писателей не создали почти ничего заслуживающего внимания, если не считать иудеев Филона и Иосифа Флавия; литературная жизнь греческого мира почти замирает. Но уже поколение Плутарха выдвигает наряду с ним такую фигуру, как Дион Хрисостом; младшим современником Плутарха был лично с ним знакомый философствующий литератор Фаворин, и в это же время выступают первые представители так называемой второй софистики в ее чистом виде: Лоллиан, Антоний Полемон, Скопелиан. При жизни Плутарха родились Арриан и Аппиан, в непосредственной близости к его кончине – Элий Аристид.

Такой комплекс политических и культурных условий эпохи, в своем совокупном действии предопределивших характерное для него соотношение резиньяции и оптимизма. И власть Рима над Грецией, и власть цезарей над империей были для него стоящими вне дискуссии данностями, с которыми приходится безоговорочно мириться. Плутарх умел достаточно ясно, и притом не всегда с легким сердцем, видеть реальные отношения: ему принадлежит выразительная сентен-

ция о римском сапоге, занесенном над головой каждого грека ("Наставления государственному мужу", XVII). Что касается императорского режима, то отношение к нему Плутарха, при безоговорочной лояльности, не было столь однозначно положительным, как у многих провинциалов; в "Сравнительных жизнеописаниях" он с исключительной симпатией выписывает образ тираноборцев Катона Младшего и Брута, однако искусно подчеркивает их обреченность, – между тем как их антагонист Цезарь куда меньше импонирует нравственному чувству автора, хотя за ним стоит историческй рок. Но у Плутарха оставалась надежда, оставалась цель, которая могла представляться ему реальной жизненной задачей: возрождение эллинства в рамках режима Римской империи. Когда при Адриане и его преемниках апогей филэллинских мероприятий римского правительства будет достигнут, а затем и пройден, лозунг эллинского возрождения из искренней мечты о будущем превратится в официозную версию о настоящем; эту версию можно будет патетически возвеличивать, как Элий Аристид, или саркастически вышучивать,.как Лукиан, но она уже никому не сможет дать ту спокойную и уравновешенную бодрость, которая неизменно смягчает у Плутарха резиньяцию. Оптимизм Плутарха, может быть, недальновиден, но вполне серьезен. Он не играет позой философа-наставника, как это будут делать позднейшие софисты, а совершенно искренно верит, что его наставления будут учтены и реализованы, и притом не только в частной жизни его друзей, но и в общественной жизни греческих городов. Отсюда высокий уровень деловитости и конкретности, на котором в его трактатах обсуждаются политические вопросы; этот вкус к конкретности характерен и для "Сравнительных жизнеописаний". Именно надежда придает писательской интонации достоинство, контрастирующее с нервностью античного "декаданса", как он раскрылся еще в литературе эллинизма и затем во второй софистике. Это имел в виду немеций историк Теодор Моммзен, отмечая у Плутарха "чувство меры и ясность духа". Пафос и энтузиазм никогда не переходят у него в истерическую взвинченность, характерную, например, для Элия Аристида; его скепсис не доходит до тотальной критики общества и культуры в духе Лукиана; его спокойная, подчас несколько самодовольная непринужденность далека от безответственности Элиана.

Важно, что Плутарх родился не где-нибудь, а в самом средоточии "исконной" материковой Греции: его родным городом была та самая Херонея, которая была известна каждому образованному человеку греко-римского мира как место знаменитого сражения 338 г. до н.э. между македонянами Филиппа II и воинами вольных эллинских городов. В эпоху Плутарха Херонея была захолустьем, но ревниво сохраняла свои древние предания и обряды.

Уже это резко отделяет Плутарха от большинства представителей грекоязычной литературы I–II вв. н.э. Среди таковых лишь очень немногие были уроженцами изначального региона эллинской культуры – материковой Греции и ионийских городов восточного побережья Эгейского моря. Множество писателей и риторов пришло из других земель: из Вифинии, как Дион Хрисостом, Флавий Арриан, Дион Кассий; из Мисии, как Элий Аристид; из Лидии, как Павсаний, автор "Описания Эллады"; из Египта, как Аппиан Александрийский и Афиней. Многие авторы не только по месту своего рождения, но и по своему

происхождению не были "эллинами" даже в том весьма расширительном смысле, какой был придан этому слову в эллинистическую эпоху. Так, Исей, один из виднейших представителей начального периода второй софистики, был ассирийцем; Фаворин, ученик Диона Хрисостома и приятель Плутарха – кельтом (ввиду чего вменял себе в особую заслугу чистоту своей эллинской речи). Лукиан гордо именовал себя "сирийцем" и в то же время с необычайной энергией защищал себя против всех мыслимых подозрений в недостаточно корректном владении аттической лексикой. В круг грекоязычной литературы вступают и римляне: в их числе – император Марк Аврелий, а также беллетрист Клавдий Элиан; последний никогда не покидал Италию, что не мешало ему изъясняться таким языком, "словно бы он родился в серединной части Аттики", по выражению Филострата, – и даже играть в некий аттический и эллинский патриотизм.

Для Плутарха это не было игрой. Он с детства чувствовал себя уроженцем земли, которую Плиний Старший в одном письме назвал "истинной и беспримесной Грецией" ("vera et mera Graecia"); если подавляющее большинство современных ему риторов и философов "сделалось" эллинами, он эллином родился. Беотийское захолустье оставалось для Плутарха милым родным домом на всю жизнь. Конечно, человек с его живостью и любознательностью не мог отказаться от путешествий: помимо двух посещений Рима, он побывал в Александрии, по-видимому, также в Ионии, а уж материковую Грецию изъездил вдоль и поперек. В связи со своими учеными занятиями он испытывал постоянную потребность в посещении мест исторических событий и особенно в хороших книжных собраниях, которых, как он сам жалуется, в Херонее ему недоставало; разглядывать памятники старины и расспрашивать о местных обычаях было его страстью. Тем более примечательно, что большую часть жизни он провел на родине. "Что до меня, то я живу в маленьком городе и, чтобы он не сделался еще меньше, охотно в нем остаюсь", – замечает он сам ("Демосфен", 2). Для него было внутренне невозможным избрать жизнь гастролирующего виртуоза-софиста или странствующего философа, которую в течение продолжительного времени вели и Дион Хрисостом, и Элий Аристид, и Лукиан. Другое дело, что ему случалось выступать с популярно-философскими лекциями в Сардах и в Италии; такие выступления в чужих городах, которые сами по себе были неизбежной уступкой культурному быту эпохи, в его жизни оставались эпизодами. В целом ему чужда была атмосфера космополитизма и сенсации, которая сформировала нервность Диона Хрисостома, самомнение Элия Аристида.

Патриотизм – одна из важнейших ценностей Плутарха. В темпераментно написанном трактате «Хорошо ли сказано: "Живи незаметно?"» он убежденно отстаивает против эпикурейцев идеал гражданской общности и активности:

"...Но тот, кто славит в нравственных вопросах закон, общность и гражданственность,... чего ради ему скрывать свою жизнь? Чтобы ни на кого не оказать воспитующего воздействия, никого не побудить к состязанию в добродетели, ни для кого не послужить благим примером? Если бы Фемистокл скрывал свою жизнь от афинян, Камилл – от римлян, Платон – от Диона, то ни Эллада не одолела бы Ксеркса, ни город Рим не сохранил бы своего существования, ни Сицилия не была бы освобождена. Подобно тому, как свет делает нас друг для друга

не только заметными, но и полезными, так, думается мне, известность доставляет добродетели не только славу, но и случай проявить себя на деле... Эпаминонд до сорока лет оставался безвестным и за все это время не смог принести фиванцам никакой пользы; но когда ему оказали доверие, он... обнаружил при свете славы в должный миг готовую к делу доблесть".

В другом направленном против эпикурейцев сочинении "Против Колота" он твердо высказывает стоящий для него вне всякого сомнения тезис:

"Хорошо жить – значит жить общественной жизнью".

Анахроническая гражданственность Плутарха, возникающая из отталкивания от всесветных, отвлеченных стандартов цезаристского государства и софистической культуры, в своей ориентации на конкретные, наделенные интимной теплотой ценности переходит, однако, в свою противоположность: в повышенное внимание к приватной сфере человеческого бытия. Этика семьи закономерно подменяет собой этику гражданской общины, и здесь Плутарх – сын своего времени, от которого он силился уйти.

В области философской Плутарх считал себя последователем Платона, о котором он отзывается с неизменным почтением. Вспомним, однако, суровую сцену из платоновского "Федона", где Сократ выпроваживает свою жену с ребенком, чтобы провести последние часы жизни только с учениками, в строгой и отрешенной атмосфере философской дискуссии; вспомним принципы утопии Платона, требующие полного растворения семьи в безличном укладе абсолютизированного государства; вспомним, наконец, логически связанное со всем этим третированием брака и семьи предпочтение однополой мужской любви, специально заявляемое в платоновском "Пире". Нет ничего более чуждого Плутарху. В своем диалоге "О любви" он горячо превозносит именно женскую и супружескую любовь как высшее осуществление Эроса. Если старая гражданская мораль, подытоженная Платоном, сосредоточивала весь ригоризм своих требований на обязанностях гражданина перед коллективом сограждан, а до таких вопросов, как взаимная любовь супругов и тем паче верность с мужской стороны, ей решительно не было дела, – то Плутарх с исключительной прочувствованностью говорит как раз о последнем: не знать женщин, кроме своей жены, и притом единственной, – в его глазах не только добродетель, но и счастье ("Марк Катон", 7).

Традиционная этика была насторожена по отношению к приватным привязанностям гражданина именно потому, что в предпочтении, которое человек отдает своим домашним перед прочими членами гражданского коллектива, ей виделось некоторое нарушение "справедливости". Именно поэтому Платон стремился предотвратить самую возможность такого предпочтения. Плутарх, напротив, настаивает в своих трактатах по моральной философии на том, что человек не только вправе, но и обязан предпочесть брата – другу, свое дитя – чужому ребенку. Всякая иная точка зрения кажется ему бездушным доктринерством, а все отношения, в основе которых не лежит кровная привязанность, – искусственным суррогатом природы: «Тот аркадский прорицатель, о котором рассказывает Геродот, – рассуждает он в своем сочинении "О братской любви", – лишившись своей ноги, приладил себе деревянную; а такой человек, который

находится во вражде со своим братом и приобретает себе друга на агоре или палестре, делает то же самое, как если бы он по доброй воле отрезал себе состоящую из плоти и сросшуюся с ним часть тела, чтобы приставить и приделать себе чужую». Для Плутарха важна защита всего органически "вырастающего" – против того, что представляется ему искусственным, "сделанным", неживым. В конце концов создается впечатление, что хороший гражданин по Плутарху – это хороший семьянин и хороший друг: подобно тому, как семья незаметно переходит в более широкий кружок друзей (что можно видеть на примере того места из плутарховских "Пиршественных вопросов", где изображено вмешательство друга Соклара в спор между самим Плутархом и его сыновьями), точно так же этот кружок незаметно разрастается до родного городка, где все знакомы друг с другом, – а уже из этой сферы плутарховская любовь к людям разливается на дальнейшие концентрические круги.

Мы отметили контраст между культом частной жизни у Плутарха и суровой гражданственностью греческой классики. И все же у Плутарха парадоксальным образом именно в этом пункте сохраняется и некое сродство именно с классикой. Пока уклад гражданской общины еще не был захвачен распадом, государство не мыслилось как нечто принципиально отделенное от личного бытия граждан и противостоящее ей в своей абстрактной безличности, – так же как не существовало и самого этого личного бытия обособленно от жизни гражданской общины. Только в эпоху эллинизма и в особенности в Римской империи складывается чиновничество и неразлучное с ним представление о государстве как совершенно специфической и автономной сфере, внеположной бытию обособившегося индивида; духовным коррелятом этих новых отношений стала философская утопия – если государство отдалилось от сугубо конкретных связей, сплачивавших коллектив классического города-государства, от быта, обычая и традиции, то уже ничто не мешает заново теоретически конструировать его на началах отвлеченного умозрения. Но как раз этот социальный опыт Плутарх прямо-таки отодвигает от себя. Образ жизни чиновника ему чужд, и почти так же чужд ему дух утопии; достаточно почитать, как он отзывается о стоических проектах правильного государственного устройства. В эпоху классики приватная и гражданская сферы человеческой жизни пребывали в органическом единстве при первенстве второй; и если объективно это единство ко времени Плутарха давно распалось, то в сознании херонейского мудреца оно сохраняет свою силу, хотя и с очень заметно возросшим коэффициентом приватизма.

Все мировоззрение Плутарха освещено его космологическим оптимизмом. В его трактате "О благорасположении духа" мы читаем:

"...Разве для доброго человека не всякий день есть праздник? И еще какой великолепный, если только мы живем разумно! Ведь мироздание – это храм, исполненный святости и божественности, и в него-то вступает через рождение человек, чтобы созерцать не рукотворные и неподвижные кумиры, но явленные божественным Умом чувственные подобия умопостигаемого, по слову Платона, наделенные жизнью и движением, – солнце, луну, звезды, реки, вечно изливающие все новую воду, и землю, питающую растения и животных. Коль скоро

жизнь есть посвящение в совершеннейшее из таинств, необходимо, чтобы она была исполнена благорасположения и веселия", и т.п.

Конечно, сами по себе эти космологические восторги – общее место всей греческой философии, независимо от времени и направления. Даже такой пессимист, как Марк Аврелий, говорит о мировой гармонии, о мировой гражданской общине и т.п.; мистик и аскет Плотин настаивает на том, что мир в своей целостности есть совершенство. Но выводы, которые Плутарх делает из своего оптимизма, менее обычны. Во-первых, плутарховская "эвтимия" предполагает ровное и благодушное состояние духа, а потому принципиально исключает всякую напряженность. В частности, что касается сферы религиозной, Плутарх, будучи автором весьма набожным и порой мистически настроенным, резко критикует аскезу; вместо того, чтобы угождать божеству постом или сексуальным воздержанием, он предлагает, в частности, не сердиться ("О воздержании от гнева", 16). В этом благодушии мы вправе видеть не только особенность темперамента, но и черту мировоззрения. Во-вторых, если материальный мир в целом благ и совершенен, из этого для Плутарха вытекает высокая оценка внеморальных ценностей. Этот вывод направлен специально против стоицизма, относившего материальные блага к категории "безразличного". Плутарх, напротив, энергично настаивает на том, что здоровье, удача, физическая сила, красота, а также, что особенно характерно для херонейского мудреца, многодетность, суть подлинные блага, необходимые для счастья, хотя и уступающие по рангу нравственным, духовным ценностям ("Об общих понятиях против стоиков", IV и далее). Стоический ригоризм кажется Плутарху фразой, которую способен посрамить элементарный здравый смысл. Во что, а уж в здравый смысл он верил.

Конечно, и для него моралистическая философия – единственный путь к усовершенствованию личности и общества. Мы можем вспомнить его философскую проповедь "К непросвещенному властителю", где он разворачивает целую программу хорошего царствования, а в конце прибавляет само собою разумеющееся для него замечание: "Такого образа мыслей не может дать ничто, кроме как слово философии" (гл. V). Однако "слово философии" Плутарх понимает весьма широко; в конце концов начинает казаться, что "философия" есть для него не что иное, как своего рода духовная квинтэссенция традиционной греческой жизни с ее общественным гражданским духом, с ее открытостью и общительностью, наконец, с ее тактом в житейских мелочах (в последнем отношении характерен трактат "О ложном стыде", где огромное внимание уделяется как раз внешней культуре поведения).

Такая позиция давала Плутарху немало преимуществ, и прежде всего – уравновешенное отношение к миру, совершенно исключающее всякую напряженность и неестественность, всякий фанатизм. Конечно, у медали была своя оборотная сторона. Уравновешенность и терпимость Плутарха куплены ценой отказа додумать хотя бы одну мысль до ее последних логических выводов, ценой неразборчивой готовности принимать с почтением ценности слишком уж различного толка и ранга. Зато никакие жесткие доктринерские предпосылки не мешали Плутарху с симпатией оценивать, живо воспринимать, пластично изображать такие идеи, эмоции, душевные состояния – в том числе и подлинный

героический пафос былых времен, – на которые сам он, как сын своего времени, уже не был способен. Каким бы философски беспринципным ни выступало порой его преклонение перед данностью традиции, перед мудростью житейского здравого смысла, – те черты его мировоззрения, которые ориентировали его на уважительное внимание и непринужденное любопытство ко всему человеческому, оказались полезны для него как писателя. Дополнять философское объяснение жизни наглядным изображением жизни, притом жизни гражданской, из времен расцвета гражданской общины, Плутарха побуждала внутренняя необходимость.

Этому отвечает крайне необычный для греко-римской биографии состав героев "Сравнительных жизнеописаний".

Прежде всего отметим, что в этом цикле представлены только государственные люди; поэты, философы, риторы полностью исключены. Даже великие стилисты Демосфен и Цицерон описаны Плутархом исключительно как деятели политической истории; их литературное творчество преднамеренно обходится. Плутарх сам заявляет во введении к этой паре биографий: "...Рассказывая в этой – пятой по счету – книге сравнительных жизнеописаний о Демосфене и Цицероне, я буду исследовать и сопоставлять нрав обоих по их обыденным поступкам и действиям на государственном поприще, а рассматривать их речи и выяснять, который из двух говорил приятнее или сильнее, не стану" ("Демосфен", 3). Правда, он из скромности обосновывает такой отказ недостаточным знанием латинского языка; но за этим мотивом явственно ощущается другой, весьма характерный для Плутарха, – к чему говорить о словах, когда интереснее и достойнее говорить о делах? Искусство для искусства херонейскому мудрецу не импонировало. В молодые годы он запальчиво нападал на Исократа, знаменитого мастера аттической прозы (IV в.):

"...И ведь не за оттачиванием меча или копья, не за чисткою шлема, не в пеших и не в морских походах состарился этот человек! Нет, он склеивал и складывал антитетические, или подобные, или оканчивающиеся на одну и ту же падежную форму члены, полировал и прилаживал эти периоды только что не долотами и скребками! Так куда уж было человечку не страшиться шума доспехов и сшибки фаланг, если он страшился, как бы не столкнулись один гласный с другим и как бы отрезок ритмической прозы не оказался на один слог изувеченным? В самом деле, Мильтиад, отправясь в Марафон, на следующий же день вернулся с войском в город как победитель, а Перикл, в девять месяцев одолев самосцев, хвалился, что превзошел Агамемнона, на десятый год взявшего Трою; а Исократ истратил без малого три олимпиады на составление "Панегирика", и за все это время не участвовал ни в едином походе, ни в едином посольстве, ...пока Тимофей освобождал Элладу, Хабрий вел суда на Наксос, Ификрат громил под Лехеем лакедемонский отряд, и народ, восстановив свободу во всем государстве, добивался согласия с собой всей Эллады, – он сиднем сидел дома и мастерил из слов книжечку, на что истратил столько же времени, сколько понадобилось Периклу на постройку Пропилеев и Гекатомпедона... Полюбуйся-ка на софистическую мелочность, которая способна загубить девятую часть человеческой жизни на то, чтобы смастерить одну единственную

речь!" ("Чем больше прославились афиняне: бранными подвигами или мудростью?", 8).

Из двадцати четырех имен греческой половины цикла более половины приходится на долю классической поры греческих городов-государств; афиняне Солон, Фемистокл, Аристид, Кимон, Перикл, Никий, Демосфен, Фокион, спартанцы Лисандр и Агесилай, фиванцы Эпаминонд и Пелопид, сиракузские борцы за гражданское "благозаконие" Дион и Тимолеонт. К ним по сути дела надо добавить еще троих: Агида и Клеомена, спартанских царей-реформаторов, которые изображены у Плутарха как поздние восстановители ликурговских традиций и постольку духовные собратья героев старины, а также "последнего эллина", ахейца Филопемена.

Что касается македонских монархов и затем эллинистических "диадохов" и "эпигонов", то Филипп, излюбленный герой античной биографической и полубиографической литературы, здесь вообще отсутствует. Александру Македонскому, герою своих восторженных юношеских декламаций, Плутарх посвятил большое жизнеописание. Однако "диадохи" и "эпигоны" представлены лишь биографиями Эвмена, Пирра и Деметрия, из которых последнему – наравне с Антонием – отведена незавидная роль мрачной фольги для гражданских добродетелей других героев.

Для римлян центр тяжести естественно смещен в сторону более поздних времен. И все же далее конца республики Плутарх не идет: ни одного персонажа императорской эпохи мы среди героев "Сравнительных жизнеописаний" не находим. ("Гальба" и "Отон", как уже разъяснялось выше, стоят вне сборника.)

Бросается в глаза чисто оценочный подход к подбору персонажей. Плутарх явно избегает одиозных образов: так, среди героев эпохи греко-персидских войн знаменательным образом отсутствует надменный спартанский царь Павсаний, изменник отечеству. Вполне соответствует духу сборника и отсутствие Филиппа Македонского; Филипп не только был антипатичен Плутарху как недруг эллинской свободы, но и весь брутальный облик этого царя-полуварвара, связанные с его именем подробности пиршественно-альковного характера, которые с таким увлечением расписывал в 4 в. до н.э. известный историк Феопомп, худо подходили к общей атмосфере "Сравнительных жизнеописаний". Единственное исключение, отмеченное выше, подтверждает правило: вводя пару "Деметрий" – "Антоний", Плутарх находит нужным особо оговаривать и объяснять это во введении. При этом он и здесь отмежевывается от установки на развлекательность и сопутствующей ей неразборчивости в выборе темы, т.е. как мы видели, от общих тенденций биографического жанра в древности:

"Я не думаю, клянусь Зевсом, о том, чтобы потешить и развлечь читателей пестротою моих писаний, но... убежден, что мы внимательнее станем всматриваться в жизнь лучших людей и охотнее им подражать, если узнаем, как жили те, кого порицают и хулят" ("Деметрий", I).

Одна из категорий, особо важных для понимания подбора героев в "Сравнительных жизнеописаниях", – это восходящая к Платону ("Государство", кн. VI, 491E) категория "великой натуры". Величие души, некую незаурядность, некую значительность Плутарх находит даже у своих злодеев – у Деметрия и Антония:

"В эту книгу войдут жизнеописания Деметрия Полиоркета и императора Антония, двух мужей, на которых убедительнее всего оправдались слова Платона, что великие натуры могут таить в себе и великие пороки, и великие доблести" ("Деметрий", 1).

Тем более присуще величие души (греч. мегалопсихия) добродетельным героям Плутарха, определяющим атмосферу сборника в целом: в основе сборника лежит не любопытство – но пиетет; не морально безразличная идея "знаменитости" – но нормативная концепция "великого человека". Сам Плутарх так формулирует свой избирательный подход к исторической тематике:

"...Глядя в историю, словно в зеркало, я стараюсь изменить к лучшему собственную жизнь и устроить ее по примеру тех, о чьих доблестях рассказываю. Всего более это напоминает постоянное и близкое общение: благодаря истории мы точно принимаем каждого из великих людей в своем доме, как дорогого гостя, узнаем, "кто он и что", и выбираем из его подвигов самые значительные и прекрасные... Что сильнее способствует исправлению нравов?.. Прилежно изучая историю и занимаясь своими писаниями, я приучаю себя постоянно хранить в душе память о самых лучших и знаменитых людях, а все дурное, порочное и низкое, что неизбежно навязывается нам при общении с окружающими, отталкивать и отвергать, спокойно и радостно устремляя свои мысли к достойнейшим из образцов" ("Эмилий Павел", 1).

"Чувствами внешними, воспринимающими все, что попадается, вследствие их пассивного отношения к впечатлениям, может быть, по необходимости приходится созерцать всякое явление, полезно оно или бесполезно; но умом всякий, кто хочет им пользоваться, очень легко способен всегда как направлять себя к тому, что он хорошим, так и изменять это направление. Поэтому надо стремиться к наилучшему, чтобы не только созерцать, но и питаться созерцанием... Даже и пользы не приносят зрителям такие предметы, которые не вызывают в них рвения к подражанию..." ("Перикл", 1–2).

В целом сборник рисует монументальную картину греко-римского прошлого, в котором на первом плане находятся: для Эллады – полисная, для Рима – республиканская классика. В то же время важное место отведено таким представителям нового, индивидуалистически организованного мира, как Александр Македонский и Цезарь; они как бы примирительно приобщаются к классическому пантеону. Поскольку Плутарх признавал необходимость римской империи, он не мог не желать некоего компромисса между гражданскими и монархическими ценностями; в этом смысле характерно удовлетворение, с которым он повествует о примирительных жестах Августа по отношению к памяти Цицерона, в свое время умерщвленного с согласия Августа ("Цицерон", 49). Требуя от новых вершителей истории главным образом пиетета по отношению к старым идеалам, он соответственно раздвигает рамки моральных норм гражданской традиции, чтобы в них нашлось место и для Александра, и для его римского соперника.

Установка на моральные примеры не означает, что Плутарх относится к своим героям вовсе без критики; он не был до такой степени простоват. Ему претит безволие Никия ("Никий", 4–6, 8 и 23), корыстолюбие Красса ("Красс", 2),

деспотические наклонности старого Мария (“Марий”, 45–46), не говоря уже, разумеется, о пороках тех же Деметрия и Антония. Но даже в этих последних Плутарх, как мы видели, находит при всей их испорченности некое “величие”, не сводимое к грубой силе, удаче, власти. В целом же перечень героев “Сравнительных жизнеописаний” имеет характер продуманного *канона* великих мужей греко-римской древности.

Для того, чтобы предложить читателю нравственные образцы для подражания, нужно было создать новый тип биографии. Ни биография как фактографическая справка или свод сплетен, ни биографически построенное похвальное слово, исключающее не только критику, но и внимание к психологии, для такой функции не были пригодны. Перед Плутархом стояла задача: разработать биографию как моралистико-психологический этюд. То обстоятельство, что он эту задачу в принципе решил, имеет чрезвычайно долговременные историко-литературные и, шире, историко-культурные последствия для Европы нового времени. Концепция канона великих людей была с жадностью воспринята родившимся в XVIII–XIX вв. историческим сознанием европейских наций: отсюда характерные заглавия – “Немецкий Плутарх”, “Французский Плутарх”, даже “Плутарх для дам”, и пр., и пр. Но этого мало: без моралистико-биографического импульса невозможно такое центральное явление новоевропейской культуры, как роман: от “Принцессы Клевской”, “Манон Леско”, “Тома Джонса”, через “Вертера”, “Давида Копперфильда”, “Анну Каренину”, до “Жан-Кристофа” и “Доктора Живаго”. По классической формулировке Мандельштама, “мера романа – человеческая биография или система биографий”. В самых основах европейской классики заложено отношение к биографическому пути индивида к самому интересному из сюжетов. Еще до расцвета романа этим жила трагедия Шекспира, столь не похожая на античную трагедию. И здесь самое время вспомнить, что шекспировские “Кориолан”, “Юлий Цезарь” и “Антоний и Клеопатра” в значительной своей части являют собою не что иное, как гениальную инсценировку соответствующих трагедий Плутарха.

Если бы у нас не было других оснований для почтительного интереса к творчеству херонейского мудреца, – этого было бы достаточно.

ПРИМЕЧАНИЯ

Предлагаемый читателю перевод "Сравнительных жизнеописаний" Плутарха впервые вышел в серии "Литературные памятники" в 1961–1964 гг. (т. 1 подг. С.П. Маркиш и С.И. Соболевский; т. 2 подг. М.Е. Грабарь-Пассек и С.П. Маркиш; т. 3 подг. С.П. Маркиш). Это был третий полный перевод "Жизнеописаний" на русском языке. Первым были "Плутарховы Сравнительные жизнеописания славных мужей / Пер. с греч. С. Дестунисом". СПб., 1814–1821. Т. 1–13; вторым – "Плутарх. Сравнительные жизнеописания / С греч. пер. В. Алексеев, с введением и примечаниями". СПб.; Изд. А.С.Суворина, Б.г. Т. 1–9. (Кроме того, следует отметить сборник: Плутарх. Избранные биографии / Пер. с греч. под ред. и с предисл. С.Я. Лурье, М.; Л.: Соцэкгиз, 1941, с хорошим историческим комментарием – особенно к греческой части; некоторые из переводов этого сборника перепечатаны в переработанном виде в настоящем издании.)

Перевод С. Дестуниса ощущается в наше время большинством читателей как "устарелый по языку", перевод В. Алексеева больше напоминает не перевод, а пересказ, сделанный безлично-небрежным стилем конца XIX в. Издание 1961–1964 гг. было первым, которое ставило осознанную стилистическую цель. В послесловии от переводчика С.П. Маркиш сам выразительно описал свои стилистические задачи.

В нынешнем переиздании в переводы 1961–1964 гг. внесены лишь незначительные изменения – исправлены случайные неточности, унифицировано написание собственных имен и т.п., общая же стилистическая установка оставлена неизменной. Сохранено и послесловие патриарха нашей классической филологии С.И. Соболевского, которое своей старомодностью составляет поучительный литературный памятник. Заново составлены все примечания (конечно, с учетом опыта прежних комментаторов; некоторые примечания, заимствованные из прежних изданий, сопровождаются именами их авторов). Цель их – только пояснить текст: вопрос об исторической достоверности сведений, сообщаемых Плутархом, об их соотношении со сведениями других античных историков и пр. затрагивается лишь изредка, в самых необходимых случаях. Наиболее известные мифологические имена и исторические реалии не комментировались. Все важнейшие даты вынесены в хронологическую таблицу, все справки о лицах – в именной указатель, большинство географических названий – на прилагаемые карты.

Цитаты из "Илиады", за исключением оговоренных случаев, даются в переводе Н.И. Гнедича, из "Одиссеи" – в переводе В.А. Жуковского, из Аристофана – в переводах А.И. Пиотровского. Большинство остальных стихотворных цитат переведены М.Е. Грабарь-Пассек; они тоже в примечаниях не оговариваются.

Во избежание повторений, приводим здесь основные единицы греческой и римской системы мер, встречающиеся у Плутарха. 1 стадий ("олимпийский"; в разных местностях длина стадия колебалась) = 185 м; 1 оргия ("сажень") = 1,85 м; 1 фут = 30,8 см; 1 пядь = 7,7 см. 1 римская миля = 1000 шагов = 1,48 км. 1 греческий плефр как единица длины = 30,8 м, а как единица поверхности = 0,1 га; 1 римский югер = 0,25 га. 1 талант (60 мин) =26,2 кг; 1 мина (100 драхм) = 436,5 г; 1 драхма (6 оболов) = 4,36 г; 1 обол = 0,7 г. 1 медимн (6 гектеев) = 52,5 л; 1 гектей (римский "модий") = 8,8 л; 1 хой = 9,2 л; 1 котила ("кружка") = 0,27 л. Денежными единицами служили (по весу серебра) те же талант, мина, драхма и обол; самой употребительной серебряной монетой был статер ("тетрадрахма", 4 драхмы), золотыми монетами в классическую эпоху были лишь персидский "дарик" (ок. 20 драхм) и потом македонский "филипп". Римская монета денарий приравнивалась греческой драхме (поэтому суммы богатств и в римских биографиях Плутарх дает в драхмах). Покупательная стоимость денег сильно менялась (с VI по IV в. в Греции цены возросли раз в 15), поэтому никакой прямой пересчет их на наши деньги невозможен.

Все даты без оговорки "н.э." означают годы до нашей эры. Месяцы римского года соответствовали месяцам нашего года (только июль в эпоху республики назывался "квинтилис", а август "сек-

стилис"); счет дней в римском месяце опирался на именованные дни – "календы" (1 число), "ноны" (7 число в марте, мае, июле и октябре, 5 число в остальные месяцы) и "иды" (15 число в марте, мае, июле и октябре, 13 число в остальные месяцы). В Греции счет месяцев был в каждом государстве свой; Плутарх обычно пользуется календарем афинского года (начинавшегося в середине лета) и лишь иногда дает параллельные названия:

июль–август – гекатомбеон (макед. "лой"), праздник Панафиней.
август–сентябрь – метагитнион (спарт. "карней", беот, "панем", макед. "горпей");
сентябрь–октябрь – боэдромион, праздник Элевсиний;
октябрь–ноябрь – пианепсион;
ноябрь–декабрь – мемактерион (беот. "алалкомений");
декабрь–январь – посидеон (беот. "букатий");
январь–февраль – гамелион;
февраль–март – анфестерион, праздник Анфестерий;
март–апрель – элафеболион, праздник Больших Дионисий;
апрель–май – мунихион;
май–июнь – фаргелион (макед. "десий");
июнь–июль – скирофорион.

Так как вплоть до установления юлианского календаря при Цезаре держалась неупорядоченная система "вставных месяцев" для согласования лунного месяца с солнечным годом, то точные даты дней упоминаемых Плутархом событий обычно неустановимы. Так как греческий год начинался летом, то и точные даты лет для событий греческой истории часто колеблются в пределах двух смежных годов.

Для ссылок на биографии Плутарха в примечаниях, таблице и указателе приняты следующие сокращения: Агес(илай), Агид, Ал(ександр), Алк(ивиад), Ант(оний), Ар(истид), Арат, Арт(аксеркс), Бр(ут), Гай (Марций), Гал(ьба), Г(ай) Гр(акх), Дем(осфен), Дион Д(еметри)й, Кам(илл), Ким(он), Кл(еомен), К(атон) Мл(адший), Кр(асс), К(атон) Ст(арший), Лик(ург), Лис(андр), Лук(улл), Мар(ий), Марц(елл), Ник(ий), Нума, Отон, Пел(опид), Пер(икл), Пирр, Пом(пей), Поп(ликола), Ром(ул), Сер(торий), Сол(он), Сул(ла), Т(иберий) Гр(акх), Тес(ей), Тим(олеонт), Тит (Фламинин), Фаб(ий Максим), Фем(истокл), Фил(опемен), Фок(ион), Цез(арь), Циц(ерон), Эвм(ен), Эм(илий) П(авел).

Сверка перевода сделана по последнему научному изданию жизнеописаний Плутарха: Plutarchi Vitae parallelae, recogn. Cl. Lindscog et K. Ziegler, iterum recens. K. Ziegler, Lipsiae, 1957–1973. V. I–III. Из существующих переводов Плутарха на разные языки переводчик преимущественно пользовался изданием: Plutarch. Grosse Griechen und Römer / Eingel. und Übers. v. K. Ziegler. Stuttgart; Zürich, 1954. Bd. 1–6 и комментариями к нему. Обработку переводов для настоящего переиздания сделал С.С. Аверинцев, переработку комментария – М.Л. Гаспаров.

ТЕСЕЙ И РОМУЛ

ТЕСЕЙ

1 *С подобным мужем … Кто с ним сравнится силой?* – Эсхил, Семеро против Фив, 435, 395, 396 (контаминация).

2 *Оба – славнейшие воины …– Гомер.* Илиада, VII, 281, о Гекторе и Аяксе.

3 *Эрехтей … – Пелоп … – Эрехтей,* сын Земли, считался одним из древнейших афинских царей; его сыном был Кекроп, внуком Пандион, правнуком Эгей,отец Тесея. *Пелоп,* по которому назван Пелопоннес, считался предком большинства ахейских царей, в том числе дедом Агамемнона и Менелая.

4 *Другу всегда … – Гесиод.* Труды и дни. 370 (пер. В. Вересаева).

5 *Эврипид называя Ипполита* "питомцем непорочного Питфея … – *Эврипид,* Ипполит, 11.

6 *Паллант* – брат Эгея; сыновья Палланта, думая, что Эгей бездетен, считали себя наследниками его царства и потому, узнав о сопернике, могли бы убить и Эгея и Тесея.

7 *Назван Тесеем* – натянутые этимологии от thesis (клад) и от thesthai paida (усыновить ребенка).

8 *Тесеи* справлялись в июле, в 8 день афинского нового года, когда Тесей прибыл в Афины (ниже, гл. 12), и через три месяца в октябре, в день, когда Тесей вернулся с Крита (ниже, гл. 36).

9 *По словам Гомера* – "Илиада", II, 542. *Абанты* – древние жители острова Эвбеи.

[10] *Архилох* – пер. В. Вересаева (фр. 3 по Дилю).

[11] *Ифит* – друг Геракла, сброшенный им в припадке безумия с городской стены.

[12] *Трофей* – у древних греков памятник, оставлявшийся на поле сражения в знак победы: столб с навешанным на него неприятельским оружием. "Трофей Мильтиада" – при Марафоне, см. Фем., 3.

[13] *... тем же самым способом, каким Синид погубил многих путников ...* – Синид привязывал прохожих к верхушкам двух согнутых сосен, и они, выпрямляясь, разрывали жертву.

[14] *Кроммионская свинья – Кроммион* – городок на полпути от коринфского Истма до Мегар, близ приморских Скироновых скал.

[15] *Эак,* справедливейший греческий царь, и его сыновья *Пелей,* отец Ахилла, и *Теламон,* отец Аякса, были местными героями Эгины, а *Кихрей,* отец Харикло – героем соседнего Саламина (ср. Сол., 9); в Афинах их чтили за доброе знамение в Саламинском бою 480 г.

[16] *"Растягатель"* – по-гречески, Prokroustēs. Отсюда – знаменитое "Прокрустово ложе", на котором Дамаст слишком коротких гостей растягивал, а слишком длинным отрубал ноги.

[17] *Термер* – карийский богатырь, местный герой города Термеры близ Галикарнаса.

[18] *Фиталиды* – потомки элевсинца Фитала, принявшего в дом богиню Деметру в ее скитаниях. Жертвенник Зевсу, где Тесей принял очищение от совершенных им убийств, стоял над Кефисом еще при Плутархе.

[19] *Вытащил нож ...* "По-видимому, нож у Тесея висел рядом с мечом. Извлекая нож, Тесей привлек внимание отца к рукояти меча" (примеч. С.И. Соболевского). Возможен и более простой перевод: "вытащил меч, чтобы им разрезать мясо, и показал его Эгею".

[20] *В пределах Дельфиния...* – храма Аполлона в восточной части Афич; ср. ниже, гл. 14 и 18.

[21] *Усыновленный Пандионом ...* – Стараясь опорочить Эгея, паллантиды утверждали, что Пандион не был его родным отцом.

[22] *Сфетт* – деревня к юго-востоку, *Гаргетт, Паллена* и *Агнунт* – к востоку от Афин. "Леой" – фантастическая этимология возгласа глашатая "akouete leo" ("слушайте, люди!").

[23] *Четырёхградие* – Марафон и три менее значительных города к северо-востоку от Афин.

[24] *... предание о Гекале ...* – Предание о старушке из одноименного села, в хижине которой ночевал Тесей перед расправой с марафонским быком, было пересказано в знаменитом стихотворении Каллимаха, сохранившемся лишь в отрывках (III в.).

[25] *Андрогей* – сын Миноса, критского царя, погибший в Аттике.

[26] *у Эврипида* – фрагменты из несохранившейся трагедии.

[27] Боттия (Боттиэя) – область в Македонии вокруг ее столицы Пеллы. Из очерков Аристотеля о государственном устройстве 159 государств дошел только один – "Афинская полития".

[28] *Ни Гесиод, ни Гомер* – Гесиод, фр. 103; *Гомер.* Одиссея, XIX, 179.

[29] *С проскения и скены* – "скеной" в античном театре называлась палатка с расписным передом, где переодевались актеры; а играли они на "проскении", узкой площадке перед этой скеной.

[30] *Кибернесии* – праздник кормчих, справлялся в апреле–мае (в мунихионе, в день отплытия Тесея) или в октябре, т.е. при начале или при конце мореходного сезона.

[31] *Пританей* – общественное издание в Афинах, где за государственный счет обедали дежурные должностные лица, послы, а также особо заслуженные граждане – полководцы, победители на состязаниях и др.

[32] *Масличная ветвь* – символ мольбы (ср. ниже, гл. 22 об иресионе).

[33] *Пасифая* – супруга Миноса.

[34] *Славных, богами ...* – "Одиссея", XI, 631 ("Заклинание мертвых" – традиционное название этой книги о спуске Одиссея в аид).

[35] *... рогового жертвенника ...* – По преданию (Каллимах, "Гимн к Аполлону"), этот жертвенник был сделан самим Аполлоном из рогов диких коз, убитых Артемидой, и считался одним из Семи чудес света.

[36] *Осхофории* – "приношение гроздьев", праздник, справлявшийся в октябре (седьмой день пианепсиона) в благодарность богам за сбор винограда и маслин; в этот день Тесей и вернулся с Крита.

[37] *Гераклидов ... воспитывали афиняне ...* – После смерти Геракла, когда их преследовали.

[38] *... до времен Деметрия Фалерского ...* – Т.е. до 318–307 гг., в течение почти 1000 лет.

[39] *Дипнофоры* – "приносящие обед", знатные гражданки, угощавшие детей, участников бега с виноградными ветвями на Осхофориях.

[40] *Метэкии* – (или Синойкии) – праздник в честь Афины в память "синойкизма" – соединения Тесеем двенадцати аттических общин в одно государство. Справлялись в первый месяц афинского нового года (в августе), за 12 дней до "всеафинских" Панафиней.

[41] *Гомер* – "Илиада", II, 547.

[42] ... *«стоимостью в сто быков»* – выражение, встречающееся у Гомера (напр., "Илиада", XXI, 79) и отражающее быт до изобретения монеты, когда мерилом богатства был скот. Обычно греки так это и понимали, относя введение монеты к более позднему времени (VIII в., при аргосском царе Фидоне).

[43] *Меликерту* – младенцу-сыну Афаманта, утонувшему здесь и ставшему морским божеством. Истмийские игры были расширением и преобразованием этих погребальных игр.

[44] *Феорида* – священный корабль, возивший государственных послов и паломников.

[45] ... *рядом с Пниксом и Мусеем...* – К западу и юго-западу от афинского акрополя: все перечисляемые ниже афинские места находятся там.

[46] ... *принес жертву Ужасу* ... (Богу войны, спутнику Ареса) ибо он мешал афинянам начать сражение с амазонками.

[47] *Горкомосий* – место заключения и оформления торжественных договоров в Афинах.

[48] *Ромбоид* – какое-то круглое здание ("ромб" по-гречески означает всякое круглое тело). "Памятник ее [Ипполиты на мегарском акрополе] имеет форму амазонского щита", – пишет Павсаний (I, 41,7).

[49] *В жизнеописании Демосфена* – Дем., 19.

[50] *"Тесеида"* – поэма (ближе неизвестна), упоминаемая еще Аристотелем в "Поэтике", 8.

[51] ... *другие предания о браках Тесея.* – Обычно они вводят Тесея в родство с другими героями – Аяксом, Гераклом (Ификл – брат Геракла), Диоскурами с Еленою. Ср. Афиней, XIII, 557 ав.

[52] ... *павших под Кадмеей* ... – (фиванской крепостью-акрополем) – в походе Семерых против Фив, послужившем сюжетом для многих трагедий, в том числе для "Просительниц" Эврипида (сохр.) и "Элевсинцев" Эсхила (не сохр.).

[53] ... *нашу книгу о нем* ... – Это сочинение не сохранилось.

[54] *Деидамия* – (у всех других авторов жена Пирифоя называется Гипподамией) была царевной легендарного фессалийского племени лапифов; бой лапифов с кентаврами был одной из любимых тем греческого искусства.

[55] ... *от невольных грехов* ... – Совершенного в безумии убийства своих детей и пр.; без этого очищения Геракл не мог принять посвящение.

[56] *Тиндар* – спартанский царь, отец Елены и Диоскуров (Кастора и Полидевка; они же названы ниже "Тиндаридами"); братом его был мессенский Афарей, отец "мессенских Диоскуров" Идаса и Линкея; а двоюродным братом – мятежный Гиппокоонт, отец Энарефора.

[57] *Аидоней* – форма имени подземного бога Аида; это – такое же рационалистическое переосмысление мифа о схождении Тесея в царство мертвых, как выше, гл. 16–19 – мифа о Минотавре.

[58] *Академия* – посвященная Академу роща к северу от Афин; в ней учил Платон, отсюда – значение этого слова в новых языках.

[59] *Анаков* – все предлагаемые этимологии фантастичны.

[60] *Этра, Питфеева дочь* ... – "Илиада", III, 144.

[61] *Мунх* – чтился как герой, по которому назывался Мунихий, гавань в Пирее. *Лаодика* – дочь Приама, *Демофонт* – сын Тесея.

[62] *Сперхей* – река в южной Фессалии (в царстве Ахилла), недалеко от Фермопил. Это остатки мифа о том, что троянская война была не походом греков на Трою, а походом троянцев на Грецию.

[63] *Аратерий* – "место проклятий".

[64] *В Афинах царствовал Менесфей* ... – У Гомера ("Илиада", II, 552) он назван вождем афинян под Троей, Элефенор начальствует эвбейскими абантами (ср. выше, гл. 5), а сыновья Тесея Акамант и Демофонт не упоминаются совсем.

[65] ... *в его жизнеописании* ... – Ким., 8

[66] *Гимнасий* – общественное место для телесных упражнений и бесед. Тесей был погребен на городской площади, чтобы стать героем культа: обычно же покойников хоронили за городскими воротами. Гимнасий рядом с его могилой был построен уже в III в. Птолемеем Филадельфом.

РОМУЛ

1 … *силы своего оружия.* – Rhōmē по-гречески значит “сила”, “мощь”. И эта и все последующие этимологии подбирают произвольные имена, созвучные с названием Рима, и по возможности связывают их с греческим мифом о бегстве Энея из Трои в Италию.

2 *Паллантий* – легендарное поселение на месте будущего Рима, еще за 60 лет до прихода троянцев основанное Эвандром, сыном Гермеса, царем одноименного города в Аркадии; это предание использовано Вергилием в “Энеиде”, VIII.

3 … *обычай целовать* … – на нем Плутарх останавливается в другом своем сочинении, “Римские вопросы”, 265 вс.

4 *Альба* – древний город Лация, по преданию, основанный Асканием, сыном Энея; *Нумитор* и *Амулий* были его потомками в 13-м колене.

5 *Кермал* – склон Палатина со стороны Тибра. Этимология (идущая от Варрона, “О латинском языке”, V, 54) фантастична.

6 … *говорят* … – В частности, Дионисий Галикарнасский, I, 77.

7 … *в апреле* … – т.е. в месяц основания Рима; но, по-видимому, Плутарх ошибается: римский праздник Ларент(ий) справлялся в декабре и примыкал к Сатурналиям.

8 … *еще одну Ларентию* … – первоначально она отождествлялась с блудной кормилицей Ромула, а ее 12 детей, “полевых братьев” Ромула, считались чиноначальниками жреческой коллегии “арвальских братьев” (Геллий, VI, 7). Потом, когда воспитание Ромула стало в легенде облагораживаться, этот образ раздвоился.

9 *Велабр* – низина между Капитолием и Палатином, под склоном Кермала; с севера примыкал к форуму, юга – к цирку.

10 *Манип*(у)*ларии* – рядовые воины, бойцы манипула (отряда из 60–120 пехотинцев).

11 *Священное убежище* … – пифийского оракула … – Плутарх переносит на Ромулово время обычаи эллинистической эпохи, когда дельфийский оракул объявлял декретами такое-то святилище «неприкосновенным (asylon, отсюда имя “бога” у Плутарха) убежищем от всех …»

12 … «*Рома квадрата*» … – Название дано по очертаниям верхней части Палатинского холма.

13 «Терзает птица птиц – ужель она чиста?» – *Эсхил.* Просительницы, 226.

14 *Комитий* – место на форуме (в низине к северу от Палатина), где происходили народные собрания.

15 *Померий* – (pomoerium из post–moerium, “с выпадением нескольких звуков”) – священная граница города, охватывавшая Палатин, Целий, Эсквилин, Виминал и Квиринал; потом к этим 5 холмам прибавились Капитолий и Авентин.

16 … *одиннадцатый день до майских календ* … – 21 апреля 753 г. (ниже: “3-й год 6-й олимпиады”). Но затмения в этот день не было.

17 … *был зачат* … – В декабре 772, родился в сентябре 771, основал Рим в апреле 753 г., 18 лет. Счет ведется по египетским месяцам от того, что астрология из “халдейского” Вавилона проникала в Грецию и Рим через Египет.

18 *Патрон* – это имя, введенное ради этимологии, нигде более не встречается.

19 «… *отцами, внесенными в списки* … » – Перевод (спорный) официального латинского названия сенаторов: patres conscripti.

20 *На четвертом месяце после основания города.* – Действительно, описываемый праздник “Консуалий” справлялся 21 августа.

21 *Курии* – группировки из 10 родов. Десять курий составляли трибу (“филу”, племя: см. ниже, гл. 20).

22 *Прима* – т.е. “первая”.

23 *Аоллия* – от греч. aolles – “собранный вместе”.

24 … *примешаны к греческим* … – Плутарх полагает, что в древние времена потомки Эвандра говорили по-гречески и лишь потом их язык был “испорчен” италийскими словами. Ср. Нума, 7.

25 … *в “Изысканиях”* … – “Римские вопросы”, 285 с, где предлагаются три объяснения этого обычая.

26 … *из Лакедемона* … – См. Нума, 1. О презрении лакедемонян к стенам города см. Лик., 19.

27 … *ценинский царь* … – Где жило это сабинское племя, неизвестно.

28 … *лишь троим* … – Кроме Ромула, Коссу в 437 г. и Марцеллу в 222 г. (см. Марц., 7–8).

[29] *Дионисий* – Дионисий Галикарнасский, II, 34.

[30] "*Куртиос лаккос*" – т.е. "Курциево озеро", священный колодец на форуме; чаще его связывали с именем М. Курция, на этом месте бросившегося в пропасть, во имя Рима принося себя в жертву подземным богам (Ливий, VII, 6). Битва происходила на форуме, сабины наступали с Капитолия, римляне отступали к Палатину (где потом был поставлен храм Юпитера Статора), Регия (см. Нума, 14) и круглый храм Весты стояли на границе форума и Палатина.

[31] ... *в честь родины Татия* ... – Город Куры (в действительности слово "квириты" происходит от имени бога Квирина). Ср. Нума, 3.

32 ... по роще ... – Цицерон и Варрон производят "лукеров" от этрусского имени Лукумон, указывая, таким образом, на третий народ, из которого вместе с латинами и сабинами, сложился римский.

[33] *Булла* – золотой или кожаный шарик, внутри которого был амулет. Другие объяснения этого слова – "Римские вопросы", 287 f.

34 ... храм Монеты ... (Юноны Монеты, "подательницы советов"; в этом храме хранились деньги, отсюда позднейшее значение этого слова) стоял в северной крепости Капитолия. "Скалой Кака" – Так назывался южный склон Палантина. Как – великан, убитый Гераклом на месте будущего Рима.

[35] ... *в жизнеописании Нумы* – Гл. 18–19.

[36] ... *длинные щиты* ... – Щиты прямоугольной формы были характерным оружием римского войска в классическое время; до этого же, по представлению Плутарха, римские потомки троян и аркадян носили греческие круглые щиты.

[37] *Матроналии и Карменталии* – два праздника замужних женщин (матрон), Матроналии в честь Юноны Луцины (1 марта) и Карменталии 11 и 15 января. Имя Карменты, действительно, связано со словом carmen; вторая этимология фантастична.

[38] *Луперкалии* – праздник в честь Фавна (15 февраля), чтившегося в Луперкале, гроте на Палатинском холме. Цель праздника – посредством очищения оживить плодородие земли, людей и стад (ср. Цез., 61; Ант., 12). Им, действительно, соответствовал аркадский праздник Зевса Волчьего (Ликейского) на горе Ликее.

[39] *Перискилакисмы* – очистительный обряд, во время которого приносили в жертву или носили вокруг жертвенника щенят (содержание обряда точно неизвестно).

[40] ... *весталками* ... ср. гл. 3, где весталкою названа мать самого Ромула.

[41] ... *расчерчивают на части небо.* – Для того, чтобы следить, с какой стороны появятся вещие птицы. О жезле Ромула ср. "Камилл", 32.

[42] ... *подземным богам.* – Т.е. предан смерти.

43 *Армилустрий* – площадь на Авентине, где римляне после военного сезона (19 октября) справляли праздник "Очищения оружия".

[44] ... *крюки городских ворот* ... – Створки дверей и ворот поворачивались не на петлях, а на стержнях ("дверных крюках"), входивших в особые гнезда в притолоке и пороге.

[45] *Камерийцы* – место города Камерия, разрушенного римлянами, неустановимо (как и упоминаемого ниже Септемпагия).

[46] *Гекатомфония* – благодарственная жертва за сто убитых врагов.

47 "*Продаются сардийцы!*" – Латинская поговорка о презренных, нестоящих людях. Но Sardi в этой пословице – не жители Сард в Малой Азии (откуда, по преданию, переселились в Италию этруски), а жители Сардинии, массами обращенные в рабство Семпронием Гракхом-отцом в 178 г.

[48] *Келерами* – ср. гл. 10 и ниже, Нума, 7.

[49] *Козье болото* – Находится на Марсовом поле, близ позднейшего цирка Фламиния.

[50] *Всякое тело* ... *от богов* ... – фрагмент несохранившейся надгробной песни.

[51] ... *надо верить* ... – По учению Плутарха, между людьми и богами стоят два класса существа – герои и гении; добродетельные души людей постепенно возвышаются до степени героев, потом гениев, а потом и богов, как было с Гераклом и Дионисом.

[52] *Эниалий* – "Воинственный", эпитет Ареса.

[53] ... *изгнаны Камиллом* ... – Подробнее Кам., 33.

[СОПОСТАВЛЕНИЕ]

[54] *Платон* – "Федон", 68 d.

[55] *Александр* – т.е. Парис, похититель Елены.

ЛИКУРГ И НУМА

ЛИКУРГ

[1] *... в какую пору он жил.* – Единственная твердая дата из перечисленных – это 776 г., с которого у греков велись списки победителей Олимпийских игр; поэтому иногда считалось, что в этом году и были утверждены (элидским Ифитом и спартанским Ликургом) устав игр и священное перемирие на время игр. Остальные – и счет по поколениям спартанских царей, и синхрония с Гомером – были расплывчаты уже для греков. По-видимому, легенда о Ликурге окончательно сложилась только в IV в.; царские списки уже были составлены, поэтому для него пришлось искать места вне их, не царем, а царским опекуном.

[2] *... предположения Ксенофонта ...* – "Государственное устройство лакедемонян", 10,8.

[3] *Харилай* – имя это приблизительно значит "Радость народа".

[4] *... некоторые из греческих писателей ...* – Напр., Геродот, II, 164; Страбон (по Эфору), X, 4,19; Диодор (по Гекатею), I, 48.

[5] *Гимнософисты* (букв. "нагие мудрецы") – так называли греки индийских брахманов – аскетов, самьяши. Ср. Ал., 64.

[6] *... дурное смешение сокое ...* – Основное понятие греческой медицины: человеческое тело содержит 4 сока (кровь, слизь, черная и желтая желчь), и от правильной их пропорции зависит здоровье. Сравнение законодателя с врачом нередко уже у Платона.

[7] *... знаменитое изречение ...* – Приводится у Геродота, VII, 65.

[8] *... в храме Афины Меднодомной ...* – На спартанском акрополе, где в ее храме стены были покрыты бронзовыми изображениями.

[9] *... по слову Платона ...* – "Законы", III, 691 е (та же медицинская метафора).

[10] *Аристотель* – ссылки на него здесь имеют в виду несохранившиеся "Государственное устройство лакедемонян".

[11] *... равно сумме своих множителей ...* – 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14. Такие числа греки называли "совершенными".

[12] *Ретра* – Текст, приводимый Плутархом, написан языком с примесью дорийских слов и форм, некоторые слова в конце искажечы; перевод приблизителен.

[13] *Аппелла́дзейн ...Аполлона Пифийского* – народное собрание в Спарте называлось "апелла"; но связь этого слова с именем Аполлона фантастична.

[14] *... проскений театра ...* – С IV в. во многих городах народные собрания созывались в театре. Ср. Тес., примеч. 29.

[15] *Платон* – "Законы", III, 692 а.

[16] *... сто тридцать лет спустя ...* – По эратосфеновской хронологии, относящей Ликурга к IX в., а эфорат к VIII в.

[17] *... позже.* – Гл. 28–29.

[18] *... роскошь ... исчезла ...* – По археологическим данным, этот переход от обычной греческой "роскоши" к казарменной "простоте"действительно имел место в Спарте, но позже, в начале VI в., когда II Мессенская война потребовала постоянного военного положения для поддержания власти над илотами.

[19] *Котон* – глиняный сосуд с одной ручкой и с узким горлышком, очень выпуклый внизу.

[20] *... по словам Крития ...* – этот отрывок из "Государственного устройства лакедемонян" Крития сохранен Афинеем, 483 в.

[21] *... критяне зовут андриями ...* – Т.е. "мужскими"; остальные этимологии сомнительны или фантастичны.

[22] *... просверленному камешку ...* – В афинском суде голосовали камешками, которые клали в сосуд: белый или целый – в знак оправдания, черный или просверленный – в знак обвинения.

[23] *... один из понтийских царей ...* – По другой версии (псевдо-Плутарх, "Лаконские изречения", 236 f), Дионисий Сиракузский.

[24] *Ретрами* – это слово значит "договор", а также "изречение оракула".

[25] *Аристотель* – "Политика", II, 6,8.

[26] *... словами Платона ...* – "Государство", V, 458 d (о сближении лучших мужчин с лучшими женщинами в идеальном государстве).

[27] *Гимнопедии* – летний спартанский праздник в честь Аполлона с состязаниями, шествиями и хорами – см. гл. 21.

[28] *Таигет* – горный кряж к западу, а Эврот – река к востоку от Спарты.

[29] *Платон* – "Алкивиад", 1,122 в.

[30] ... *Хитон ... гиматий ...* – *Хитон* – подпоясанная нижняя рубаха, обычно без рукавов, и *гиматий* – плащ, перекинутый через левое плечо и оставлявший свободным правое, – две части, из которых состояла обычно вся мужская одежда.

[31] ... *по илам и отрядам ...* – отряды ("агелы", букв, "стада") – те, о которых речь шла выше, илы – может быть, соединения нескольких отрядов.

[32] *Ликофон* – ("волчья смерть") – разновидность чертополоха.

[33] ... *очищают желудок.* – Этот совет беременным женщинам давал и Гиппократ ("Афоризмы", IV, 1).

[34] *Эфебы* – юноши, достигшие совершеннолетия (16–18 лет), внесенные в списки граждан, а в Афинах и некоторых других государствах несущие пограничную службу.

[35] *Орфия* – "Восходящая", эпитет Артемиды в Лакедемоне. Жесточайшая порка юношей у ее алтаря – и по-видимому, пережиток человеческих жертвоприношений (так объясняет уже Павсаний, III, 16,10).

[36] ... *привести любимого к совершенству* ... (ср. Нума, 4) – идеализированная картина, представленная по образцу платоновской теории Эроса; в другом своем сочинении, "О любви", Плутарх говорит сдержаннее.

[37] ... *поднимать вверх руки.* – Жест побежденного

[38] *Некоторые* – Плато. Протагор, 342 е.

[39] *Терпандр и Пиндар* – отрывки из неизвестных песен (для Терпандра, по-видимому, подложные). Ниже *спартанский поэт* – Алкман (из Лидии, но работавший в Спарте), VII в.

[40] ... *о приговоре, который их ждет* ... – Т.е., который вынесут в своих песнях поэты.

[41] ... *Касторов напев* ... – Напев, под который шли в бой спартанцы, упоминается и у Ксенофонта ("Государственное устройство лакедемонян", 13,8) и у Пиндара.

[42] ... *осудили за праздность* ... – См. Сол., 7.

[43] *Лесха* – место для бесед (ср. гл. 16), по-видимому – портики и т.п. постройки; в аристократической Спарте они служили тем местом общения, каким в демократических Афинах был рынок ("агора", городская площадь).

[44] ... *в число трехсот* ... – В отряд царских телохранителей.

[45] ... *хоронить мертвых в самом городе* ... – Ср. Тес., примеч. 66.

[46] ... *жертву Деметре* ... – Как богине земли и матери подземной Персефоны. В Афинах обычный срок траура был 30 дней; ср.Нума, 12; Поп. 23.

[47] *Фукидид* – II, 39.

[48] ... *в том числе и Платону* ... – *Платон.* Законы, I, 633 в.

[49] *Фукидид* – IV, 80 (неточно).

[50] ... *тот, кто говорит* ... – Критий, фр. 37 (ср. выше, гл. 9).

[51] ... *после большого землетрясения* ... – 464 г., см. Ким., 16.

[52] ... *подобно богу у Платона* ... – "Тимей", 37 с.

[53] ... *по вине Лисандра.* – См. Лис., 2 и 16–17.

[54] *Палки-скиталы* – описание этого древнейшего способа шифровки см. Лис., 19. Спарта была в Греции единственным государством, заботившимся о сохранении военных тайн.

[55] ... *сечь лакедемонян.* – Т.е. спартанцы как воспитатели и наставники всей Греции ответственны за ошибки своих учеников.

[56] *Пергам* – разумеется не цитадель Трои и не город в Малой Азии, а одноименный город на северо-западной оконечности Крита.

НУМА

[1] ... *в шестнадцатую олимпиаду* ... – В 714 г. Все хронологические споры, о которых идет речь, вызваны желанием представить Нуму учеником Пифагора, жившего почти на 200 лет позже.

[2] ... *К римским обычаям примешалось немало лаконских* ... – Имеется в виду сходный военный дух, два консула как два царя, народные трибуны как эфоры и пр.

[3] *В пятый день* … – Ошибка Плутарха: в квинтилии (июле) ноны были седьмым днем месяца.

[4] … *сто пятьдесят человек* … – Так и у Дионисия Галикарнасского, II, 47; но по Ром., 13 и 20, в сенате в это время было уже 200 человек.

[5] *Междуцарствие* – так впоследствии назывался промежуток между гибелью (или низложением) обоих консулов данного года и выбором новых. На это время власть на каждые 5 дней получал по жребию один из сенаторов ("междуцарь" – интеррекс). По Цицерону ("О государстве", II, 23) и Ливию (I, 17), такой пятидневный срок соблюдался и здесь.

[6] … *об Аттисе* … *об Эндимионе* … – Смертный Аттис считался любовником богини Кибелы, а Эндимион – Дианы; о вифинском Геродоте (? имя испорчено) более ничего не известно.

[7] *Пиндара* … – рассказывали, будто бога Пана видели в лесах, певшего стихи Пиндара; убийцу поэта Архилоха пифия изгнала из дельфийского храма; брошенное в море тело Гесиода вынесли на берег священные дельфины Аполлона. Обо всем этом есть упоминания в других сочинениях Плутарха. Софокл умер во время осады Афин спартанцами, и тогда бог-покровитель трагедии Дионис во сне объявил Лисандру, чтобы тот не мешал погребению поэта за афинскими воротами.

[8] … *словами Вакхилида.* – Отрывок из несохранившейся песни.

[9] … *войлочной шляпы* … – По-гречески πιλος, отсюда фантастическая форма πιλαμενος, как бы "ошляпленный". Латинское "лена" и греческое "хлена" – действительно родственные слова; "Касмилом" Гермес звался в самофракийском культе, но этимология этого слова неясна.

[10] *Слова Платона "город лихорадит"* – "Государство", II, 372 с.

[11] *Такитой* – эта камена считалась матерью Ларов (Овидий, "Фасты", II, 571–635); когда латинские камены были отождествлены с греческими Музами, это было истолковано как знак пифагорейских симпатий Нумы – испытательный срок пятилетнего молчания был самым известным обычаем пифагорейской школы.

[12] … *на протяжении первых ста семидесяти лет* … – Т.е. до этрусского царя Тарквиния Старшего.

[13] *Эмилия* – это имя Плутарх производит от греч. αιμυλιος "вкрадчиво-ласковый".

[14] … *"Мостостроители"* … – Это "смехотворное объяснение" считается ныне самым вероятным.

[15] … *при квесторе Эмилии* … – В действительности, при цензоре 179 г. М. Эмилии Лепиде.

[16] *Эксегет* ("разъяснитель"), *профет* ("прорекатель") и *иерофант* ("показывающий святыни") – главные лица при посвящении в Мистерии.

[17] … *при тиранне Аристионе* … – В 88–86 гг., см., Сул., 13.

[18] … *в жизнеописании Камилла.* – Гл. 20.

[19] *Сервий* – Туллий, шестой римский царь.

[20] … *с матерями троих детей.* – Эти привилегии многодетным были даны при Августе, в 9 г. н.э.

[21] *Коллинские ворота.* – Северные ворота Рима (в стене Сервия Туллия), впоследствии знаменитые победой Суллы в 83 г. (Сул., 28–30). Описываемый холм при них назывался "Проклятое поле".

[22] … *всей вселенной* … – Пифагорейцы считали, что и земля, и солнце, и все светила вращаются по кругам вокруг "мирового огня"; у Платона, при всем его интересе к пифагорейству, картина мира (в "Тимее") иная, – о попытках пифагорейской ее интерпретации Плутарх пишет в "Платоновских вопросах", 8. Круглая форма храма Весты (развалины его до сих пор стоят на форуме) заимствована от этрусков и не имеет к этому отношения.

[23] … *свое имя* … – Латинское fetialis в действительности не имеет отношения к греч. φημι "говорю", но греческое ειρηνη "Мир" и вправду происходит от ειρω (тоже "говорю").

[24] … *в жизнеописании Камилла.* – Гл. 17–18.

[25] … *по самой пляске* … – Плутарх производит (правильно) слово salii от лат. saltare "прыгать", греч. haltikos "прыгательный".

[26] *Пельты* – легкие кожаные щиты в виде полумесяца. Щиты салиев по форме напоминали восьмерку.

[27] *Анаками* – см. Тес., 33.

[28] … *не садиться на меру для зерна* .. – Значит избегать лености и заботиться о пропитании;

... не разгребать огонь ножом ... – значит не раздражать гневливых (Плутарх. О воспитании детей, 17; трактат этот считается подложным).

29 *Египетские колеса* – египетские жрецы во время молитвы вертели колесо в знак переменчивости всего земного (примеч. С.И. Соболевского).

30 *Пик и Фавн* – древние италийские сельские божества; поэтический рассказ об их плане – Овидий. Фасты, III, 292. *Дактилы* – греческие божества земли, обитавшие на горе Иде во Фригии и служившие Идейской матери – Рее-Кибеле. Им приписывали изобретение обработки железа.

31 *Иликий* – не от греч. ηιλεος ("милостивый"), как у Плутарха, а от лат. elicio ("выманивать").

32 *Мерцедин* – правильнее, мерцедоний (ср. Цез., 59).

33 *... впоследствии ... поправок.* – При Юлии Цезаре, когда в 46 г. был введен "юлианский календарь" современного образца с високосным днем каждые 4 года.

34 *Апрель* – Aprilis сопоставляется (правильно) с aperire "открывать", ибо он "открывает" почки растений.

35 *Седьмому и восьмому ... свои имена ...* – Сентябрь был назван "германиком", а октябрь "домицианом".

36 *... значение этого слова ...* – Februarius от februo "очищать".

37 *... в консульство Марка* (правильно – Гая) *Атилия ...* – В 235 г.; при Цезаре Августе – 11 января 28 г.

38 *И в железных щитах ...* – Не покидает ресниц. Два фрагмента из пеана Вакхилида (цитата неточная).

39 *Платон* – "Законы", IV, 711e–712a и "Государство", VI, 487e (Плутарх дает пересказ).

40 *Около четырехсот лет спустя ...* – Точнее, около 500: в 181 г. Это была подавленная попытка внести какие-то изменения в римскую общественную жизнь, выдав их за заветы Нумы.

41 *Палестра* – площадка, где обучали искусству борьбы.

42 *Сатурналии* – праздник солнцеворота, 17–21 декабря, с карнавальной игрой в вывернутые наизнанку социальные отношения: господа прислуживали рабам.

43 *... уступить свою жену ...* – См. КМл., 25.

44 *Эврипид* – "Андромаха", 597–598 (пер. И. Анненского).

45 *Софокл* – отрывок из несохранившейся трагедии.

СОЛОН И ПОПЛИКОЛА

СОЛОН

1 *Таблицы Солона* – законы Солона были написаны на деревянных досках-таблицах.

2 *Еще курится ... // Огонь небесный.* – Эврипид. Вакханки, 8 (пер. И. Анненского).

3 *... "как борец в палестре" ...* – Софокл. Трахинянки, 442 (пер. Ф. Зелинского).

4 *... при беге со священными факелами.* – На Больших Панафинеях молодые люди бежали (во времена Плутарха) от алтаря в Академии, передавая зажженный факел из рук в руки через каждые 25 м; от каждой филы в этой эстафете участвовала команда из 40 человек.

5 *Стар становлюсь, но ... всюду учусь ...* – Все цитаты из Солона (кроме особо оговоренных) переведены Б. Фонкичем.

6 *У кого серебра ...* – пер. М. Грабарь-Пассек.

7 *По выражению Гесиода* – "Труды и дни", 309.

8 *Все остальные* – разумеются знаменитые "Семь мудрецов" древности (ср. гл. 12), одним из которых считался Солон. Народные легенды о них были сведены воедино уже в александрийское время; сам Плутарх участвовал в их художественной разработке, сочинив "Пир семи мудрецов".

9 *Взаимное гостеприимство* – "проксения", наследственная дружба, наподобие кавказского куначества, – важнейшая черта общественной жизни в раздробленной Греции.

10 *... с шапочкой на голове ...* – Т.е. как сумасшедший, убежавший из дому: врачи предписывали больным надевать шапочку, а здоровые люди ходили в городе с непокрытой головой (*Платон,* Государство, III, 406d).

11 *Колиада* – мыс с храмом у афинской гавани Фалера, обращенный к Саламину.

[12] *Асопида* (дочь Асопа) – поэтическое название Саламина.

[13] ... *к Эвбее* ... – текст испорчен; может быть, следует читать "к Нисее", мегарской гавани (ср. гл. 12). Упоминаемый далее мыс Скирадий (по Геродоту, VIII, 94, с храмом Афины, а не Эниалия–Ареса) – по-видимому, на юго-западном берегу Саламина.

[14] *Мощный Аякс* ... – "Илиада", II, 557–558. По преданию, стих 558 подделан Солоном. Мифическим владетелем Саламина считался Теламон, сын Эака, отец Аякса.

[15] *Иония* – афиняне принадлежали к ионическому племени, а мегаряне – к дорическому.

[16] ... *амфиктионы начали войну* ... *об этом не упоминает оратор Эсхин* ... – Так называемая I Священная война (604–594?) дельфийской амфиктионии (союза государств, объединившихся вокруг святилища) против фокидского города Кирры. *Эсхин* подробно говорит о ней в речи против Ктесифонта, 107 сл.

[17] *Килонов мятеж* – подавленная попытка установить тираннию в Афинах (636 или 632 г.). Мятежники шли, держась за веревку, от статуи Афины на акрополе к Ареопагу, близ которого находилась роща "Почтенных богинь" – Эвменид, богинь возмездия.

[18] *Куреты* – критские жрецы, окружавшие юного бога Зевса.

[19] *Мунихия* – восточная гавань Пирея с крепостью. С 321 г. здесь стоял македонский гарнизон, державший Афины в зависимости от македонян.

[20] *Священные маслины* – по преданию, эту маслину в Эрехтейоне на акрополе произвела из земли сама Афина, и от нее произошли все маслины в Аттике.

[21] *Диакрии* – жители скудной горной части Аттики, *педиэи* – плодородной равнинной, *паралы* – торговой приморской.

[22] *Гектеморы* – т.е. "шестидольники" (по-видимому, отдававшие не 1/6, а, наоборот, 5/6 урожая), *феты* – "наемники", безземельные.

[23] *Тиранния* – слово "тиранн" обозначало всякого верховного властителя (не обязательно жестокого), который достигал власти незаконным образом и правил не по закону, а по произволу. В отличие от тиранна, законный монарх назывался *басилевс*, царь.

[24] *Сисахфия* – букв. "стряхивание бремени".

[25] ... *должники уплачивали* ... – Т.е. столько же драхм, сколько заняли, но реальная ценность драхмы теперь уменьшилась. Это было связано с переходом аттической торговли от эгинской, дорийской системы мер (мина-630 г.) к эвбейской, ионийской (мина-430 г).

[26] *Хреокопиды* – неплательщики налогов.

[27] *Все когда-то ликовали* ... / *словно я их злейший враг.* – Эта и следующая цитата – в пер. М. Грабарь-Пассек.

[28] *Пентакосиомедимны* – "пятисотмерники", зевгиты – "упряжники": кто имел пахотную упряжку, тот имел достаточно средств, чтобы выходить на войну в полном вооружении и считаться полноправным гражданином. О цене медимна см. ниже, гл. 23.

[29] *Архонты* – 9 должностных лиц, ежегодно сменявшихся во главе Афин: первый архонт ("эпоним", по которому назывался год), архонт–жрец ("басилевс"), архонт–воевода ("полемарх") и 6 архонтов–судей ("фесмофетов"). Отбывшие срок архонты составляли совет ареопага ("верхний") на Аресовом холме к западу от акрополя, при Солоне имевший политические функции, потом – только судебные. "Совет 400", установленный Солоном (по 100 человек от 4 старых фил, гл. 23) был потом заменен по реформе Клисфена 508 г. "Советом 500" (по 50 человек от 10 новых фил), и такой государственный строй держался и в V и в IV вв.

[30] *Эфеты* – коллегия, судившая дела об убийствах.

[31] *Царями* – т.е. под председательством архонтов–басилевсов.

[32] ... *в пританее* ... – разбирались дела о неодушевленных предметах, послуживших орудием убийства.

[33] ... *Из одного с ним рода* – По греческим обычаям, только сыновья имели право наследования; но если не было сыновей, то имущество отца наследовали дочери, а чтобы оно не ушло с ними в чужой род (ср. гл. 21), такая дочь-наследница обязана была выйти замуж за ближайшего родственника; при равных степенях родства предпочтение отдавалось старшему из претендентов. Солон старался устранить некоторые ненормальности, возникавшие на практике вследствие этого закона.

[34] ... *мать Дионисия* – Старшего, сиракузского тиранна.

[35] *Как раз время тебе жениться, несчастный*! – полустишие из неизвестной драмы; полнее ци-

тируется Плутархом в “Заниматься ли старику государственными делами”:

Какая же невеста за тебя пойдет,
Какая дева? То-то брак несчастному!

[36] ... *и в наших законах...* – Т.е. в Херонее, на родине Плутарха.

[37] *Гинекономы* – должностные лица, смотревшие за поведением женщин.

[38] *по выражению Эврипида...* – Стих из недошедшей трагедии. Плотность населения в Лаконии была почти втрое меньше, чем в Аттике (прим. С.И. Соболевского).

[39] ... *Гоплитами и... Эргадами... Гелеонты... Эгикореи...* – Эти названия образованы соответственно от корней греческих слов “оружие”, “работа”, “земля” и “козы”.

[40] *Сикофантейн* – “указывать на смоквы”. Сикофантами назывались профессиональные “ябедники”, доносчики–шантажисты, вымогавшие деньги под угрозой доносов о преступлениях, лично их не касавшихся (что прямо поощрялось законами Солона, выше, гл. 19).

[41] *Параситейн* – т.е. “питаться около”; “параситами” назывались в аттической комедии IV–III в. профессиональные прихлебатели – отсюда и наше слово “паразит”; но первоначально этим словом обозначались помощники жрецов при некоторых храмах, обедавшие вместе с жрецами на храмовый счет, а также граждане, за свои заслуги получавшие угощение в пританее (см. Тес., примеч. 31).

[42] ... *заключены в четырехугольники...* – Испорченное место, недостаточно понятное.

[43] *По словам Аристотеля...* – Афинская полития, 7,1.

[44] *Фесмофеты* – см. выше, прим. 29. Здесь, по-видимому, имеются в виду все 9 архонтов. **У камня** на городской площади – см. гл. 8.

[45] ... *аномалии месяца...* – Аномалии заключались в том, что конец одного лунного месяца и начало другого могли не совпадать с концом одного дня и началом другого, а приходиться на середину дня. “Старым и молодым” называется последний день каждого месяца; первый день назывался “новолунием”, хотя бы он приходился после действительного новолуния; предпоследний день назывался “второй (день) убывающего (месяца)”, третий от конца – “третий убывающего” и т.д.

[46] *Прежний кончается месяц, на смену идет ему новый.* – “Одиссея”, XIV, 162 (пер. Б. Фонкича).

[47] ... *узнал об Атлантиде и попробовал изложить... в стихах...* – Об Атлантиде Платон говорит в диалогах “Тимей” и “Критий” (последний – недописанный); предание о ней пересказывается как бы со слов Солона, но это, конечно, лишь литературный прием.

[48] ... *на основе хронологических соображений...* – Законодательство Солона – 594 г., правление Креза – 560–546; связь Креза с “семью мудрецами” (и Эзопом) – анахронизм народной легенды, закрепленный рассказом о Крезе и Солоне в “Истории” Геродота, I.30–33 и 86–87.

[49] ... *Преобразования в трагедию...* – Первоначально представления в праздники Диониса состояли только из песен хора; Феспид присоединил к ним рассказ актера и диалог актера с хором.

[50] ... *гомеровского Одиссея...* – “Одиссея”, IV, 242 сл.: Об Одиссее, под видом избитого раба проникшем лазутчиком в Трою.

[51] ... *как говорит Платон... – Платон.* “Тимей”, 21 с (“если бы поэзией занимался он не между делом... то славою превзошел бы, думается, и Гомера и Гесиода”).

[52] ... *рассказ об Атлантиде... – По праву родства.* – Платон по матери происходил от Солонова родственника Дропида.

[53] ... *храм Зевса Олимпийского...* – Строительство храма было начато Писистратом, из-за больших размеров он долго оставался неоконченным, и был достроен императором Адрианом вскоре после смерти Плутарха.

ПОПЛИКОЛА

[1] ... *того самого Валерия* – По Дионисию Галикарнасскому (II, 46), это был сабин, советник Тита Тация, вместе с ним переселившийся в Рим; может быть, он тождествен с Велесом, упоминаемым: Нума, 5. О почетном прозвище “Попликола” (или Публикола) см. ниже, гл. 10.

[2] ... *получил власть не честным путем...* – Тарквиний Гордый низложил своего предшественника Сервия Туллия с помощью его дочери Туллии, которая при этом надругалась над трупом отца.

[3] *От Тарквиния...* – Изгнанный римский царь находился в этрусском городе Тарквиниях.

[4] *Тупица* – буквальное значение имени “Брут”.

[5] *Аппий* Клавдий Слепой – цензор 312 г., который первый дал вольноотпущенникам право голосовать.

[6] ... *по имени того Виндиция.* – На самом деле, наоборот, имя Виндиций происходит от слова vindicta – жезл, с помощью которого совершался обряд отпущения раба на волю.

[7] ... *священный остров* на Тибре с храмом Эскулапа находился между двумя мостами, Фабриция и Цестия, построенными в I в.

[8] ... *Арсийская роща* – местность неизвестная.

[9] ... *греческих надгробных речей...* – В Афинах во время войн они каждый год говорились осенью, при погребении праха бойцов, павших в летнюю кампанию; такую речь влагает Фукидид в уста Перикла (II, 35–46).

[10] ... *Всех ликторских связок и топоров...* – Т.е. в сопровождении всех 24 ликторов, которые должны были быть разделены поровну между двумя консулами. Связки прутьев с воткнутыми топорами – знак власти высших должностных лиц. Они назывались fasces (гл. 12), отсюда в XX *в.* слово "фашизм".

[11] *Велия* – холм к востоку от форума, между Палатином и Эсквилином.

[12] *Вика Пота* – "Могущественная победительница", эпитет богини Победы.

[13] ... *по названию мелкого скота...* – По-латыни pecus. Имя *Суиллий* происходит от слова "свинья", а *Бубульк* – от "бык".

[14] ...*в храме Сатурна...* – На склоне Капитолия, ведущем к форуму; в 43 г. он был перестроен, и остатки этой новой постройки стоят на форуме до сих пор.

[15] *Метагитнионе* – ошибка: иды 13 сентября приходятся на следующий афинский месяц, боэдромион.

[16] ... *сгорел во время гражданских войн...* – В 83 г.; отстроен Лутацием Катулом в 80–69 гг.; вторично сгорел в 69 г.н.э. и отстроен к 71 г.; в третий раз горел в 79 г. и отстроен Домицианом к 82 г.; в таком виде он стоял еще в VI в.н.э.

[17] ... *из пентельского мрамора...* – Мрамор из села Пентелы близ горы Пентеликон к востоку от Афин.

[18] ... *Во дворце Домициана...* – На Палатине; размеры его – не меньше, чем храма Юпитера.

[19] *Яникул* – холм на правом, этрусском берегу Тибра.

[20] *Киклопом* – т.е. (по-гречески!) одноглазым; этимология восходящая (как и многие другие у Плутарха) к Варрону, VII, 71.

[21] ... *в храме Вулкана...* – Этот бог (греч. Гефест) тоже считался хромым.

[22] *"Поздно родившийся"*. – Перевод римского имени Постум (ср. Сул., 37). Прозвище "Сцевола", действительно, значит "Левша".

[23] ... *Стоит конная статуя Клелии...* – Плутарх выписывает эти слова из своего старинного источника: в действительности конная статуя девушки (амазонки?) на Священной дороге исчезла уже к концу I в. до н.э. (Дионисий Галикарнасский, V, 35).

[24] *Сивиллиных книг* – в книгах предсказаний, по преданию, купленных царем Тарквинием Гордым у Сивиллы из города Кум, искали не предсказаний будущих событий, а средств для очищения при каких-либо необыкновенных несчастьях или чудесных явлениях, как в описанном здесь случае (прим. С.И. Соболевского).

[26] ... *четверть асса* – Асс в древнее время был равен фунту меди и стоил дорого, но в историческое время четверть асса, или квадрант, был самой мелкой римской монетой (ср. Циц., 29), и это представляло Попликолу героем-бессребреником.

ФЕМИСТОКЛ И КАМИЛЛ

ФЕМИСТОКЛ

[1] ... *не настолько знатен...* – Тенденциозное искажение для законченности образа Фемистоклa-демократа. Из дальнейшего видно, что Фемистокл принадлежал к знатному жреческому роду Ликомидов и был архонтом.

[2] *Незаконнорожденный* – в Аттике только брак между гражданином и гражданкой считался вполне законным; но до Перикла (Пер., 37) дети от браков с не-гражданками все же сохраняли полноправие.

[3]... *развлечений... благородных...* – В данном случае – застольного пения под кифару.

[4] *Мнесифила Фреарского* – Геродот (VIII, 57) изображает советником Фемистокла при Саламине, а сам Плутарх выводит его в "Пире семи мудрецов" их современником и собеседником; таким образом, фигура эта остается темной.

[5] *Триеры* – длинные узкие военные суда с тремя рядами гребцов; в это время они начинали вытеснять в Греции более старые пентеконтеры с одним рядом гребцов. Обратясь сразу к строительству триер, Афины этим разом опережали своих морских соперников.

[6] ... *по выражению Платона...* – Платон. Законы, IV, 706 в: Платон считает, что пеший бой воспитывает стойкость и беззаветное мужество, а морской набег – наоборот, безнравственную готовность повернуться и ускользнуть.

[7] ... *победу над Мильтиадом...* – анахронизм: постройка триер началась лет через шесть после смерти Мильтиада.

[8] ... *при приемах иностранцев...* – Прием своих "проксенов", наследственных гостей из других государств.

[9] ... *деревянным конем...* – Как из троянского коня вышли греки, погубившие троянцев, так из дома Дифилида придет гибель на него самого.

[10] *Хорегом* – вместо подоходного налога, в Афинах на богатых граждан налагались экстраординарные повинности: "хорегия" (подготовка хора для религиозного праздника), "гимнасиархия" (устройство гимнастических игр), "триерархия" (снаряжение военного корабля). Хорег, хор которого оказывался лучшим, получал в награду венок и ставил в храме Диониса доску с записью о победе. Приводимая запись относится к 476 г.

[11] ... *посредством остракизма...* – см. Ар., 7.

[12] *Стратег* – в Афинах коллегия из 10 стратегов, по одному от каждой филы, переизбиравшихся ежегодно, ведала всеми военными делами.

[13] ... *земли и воды...* – Т.е. полного подчинения.

[14] ... *флот подошел к Афетам...* – Большая гавань на фессалийском берегу напротив мыса Артемисия и защищаемого пролива между Эвбеей и материком.

[15] ... *рассказывает Геродот...* – Геродот, VIII, 4 (добавляя, что большую часть этих денег Фемистокл утаил).

[16] ... *священного корабля...* – Так могли называться два судна, "Парал" и "Саламиния", служившие для экстренных государственных надобностей, в частности – для религиозных посольств.

[17] ... *там афинян сыны заложили / Славный свободы оплот.* – Отрывок из несохранившегося дифирамба в честь Афин.

[18] *Множество всяких народов... все войско погибло мидян...* – Эпиграмма, приписываемая Симониду.

[19] *Своим отцам* – считалось, что ионяне выселились на острова и малоазиатское побережье из Афин.

[20] *Подняв машину* – на которой в театре неожиданно являлись боги в вышине (пословица "как бог из машины").

[21] ... *случай с драконом...* – Т.е. священным змеем Афины, исчезнувшим с акрополя – жрецы толковали как знак, что богиня отступилась от своего города, а оракул о "деревянной стене" (о котором ниже) – как указание обороняться на акрополе, который в древности был огражден терновой оградой; Фемистокл перетолковал оба знамения в духе своей "морской" политики. Текст оракула приводит Геродот (VII, 141, пер. Г. Стратановского):

> ... Если даже поля меж скалою Кекропа высокой
> И Киферона долиной святой станут вражьей добычей, –
> Лишь деревянные стены дает Зевес Тритогенее
> Несокрушимо стоять во спасенье тебе и потомкам.
> ... Все ж отступай: ведь время придет, и померишься силой!
> Остров божественный, о Саламин, сыновей своих жен ты погубишь
> В пору ль посева Деметры, порою ли знойною жатвы.

[22] ... *по свидетельству Аристотеля...* – Аристотель. Афинская полития, 23.

[23] ... *голова Горгоны... пропала...* – со щита статуи Афины, которую уносили афиняне с акрополя.

[24] ... *на остров...* – На Саламин. Мыс острова, вытянутый к Афинам, назывался Киноссема, "Собачья могила", отсюда местная легенда, пересказываемая Плутархом (ср. КСт., 5).

[25] ... *и землю не хуже...* – У Геродота (VIII, 62) Фемистокл прямо говорит, что афиняне переселятся в италийский Сирис.

[26] ... *как у каракатицы* – У которой "нет внутренностей, а есть лишь два твердых органа, меч и мешок с темным соком" (Аристотель, История животных, IV, 1). На эретрийских монетах чеканилось изображение каракатицы (С.И. Соболевский).

[27] ... *справа пролетела сова...* – Сова была священной птицей Афины; полет ее с правой стороны считался счастливым предзнаменованием.

[28] *Рогами* – две горы на границе Аттики с Мегаридою, на противоположной от Пирея стороне Элевсинского залива.

[29] *Дионису Оместу* – т.е. "сыроядцу", "кровожадному", требующему человеческих жертвоприношений.

[30] *У Ксеркса... так говорят.* – Эсхил. Персы, 336–339. Эсхил сам был участником Саламинского сражения.

[31] ... *ветер с открытого моря...* – Не упоминается ни у Геродота, ни у Эсхила, и в это время года и дня в Аттике не дует.

[32] *Иакха* – имя Диониса (или какого-то другого бога) в Элевсинских таинствах: на 6 день этих празднеств (конец сентября – начало октября, как раз около времени битвы при Саламине) процессия с изображением этого бога должна была идти, выкликая его имя, через Фриасийскую равнину из Афин в Элевсин.

[33] *Эакиды* – потомки Эака: Пелей, Теламон, Ахилл, Аякс, чтимые на Эгине, острове Эака, Эгиняне отличились в саламинском бою не меньше, чем афиняна.

[34] *По словам Геродота...* – VIII, 93.

[35] ... *брали камешки с алтаря...* – Т.е. освящали их перед голосованием.

[36] ... *проводить его до границ.* – Это необыкновенная честь: по Геродоту, VIII, 124, это был единственный случай.

[37] ... *с праздником... послепраздничный день...* – Т.е. первый и второй дни праздника.

[38] *Басню.* – О том, как Афина и Посейдон спорили за покровительство над Аттикой; оно должно было достаться тому, кто сделает Аттике более ценный дар: Посидон подарил коня, Афина – маслину, и осталась победительницей.

[39] ... *как выражается Аристофан...* – Аристофан, Всадники, 815.

[40] *Келевсты* – начальники гребцов.

[41] *Трибуна на Пниксе...* – Пникс – холм, где созывалось народное собрание; она имела вид каменного куба, вырубленного из скалы, и стоит там до сих пор. Ср. ГГр., 5.

[42] *Пилагоры* ("говорящие у Фермопил", где они заседали) – представители союзных государств на собраниях амфиктионов (см. Сол., прим. 16). Фессалийцы и фиванцы воевали на стороне персов, а аргосцы держались нейтральными.

[43] ... *по словам Геродота...* – VIII, 111.

[44] *Случай с Павсанием...* – Он был обвинен в стремлении к единовластию и в государственной измене, замурован в храме и уморен голодом (Фукидид, I, 128–138). Точные даты этих событий неясны.

[45] ... *Фукидид рассказывает...* – Фукидид, I, 137. "Придя к другому морю" – из Керкиры через Эпир к Эгейскому морю.

[46] *Кадуцей* – жезл вестника и, следовательно, символ мира.

[47] *Ариманий* – (Анхра–Майнью) – бог зла, вечно борющийся с богом добра в дуалистической персидской религии.

[48] ... *как ковер...* – Фемистокл хочет сказать, что его речь, скомканная переводчиком, получит не тот смысл, какой он сам хотел придать ей (комм. К. Циглера).

[49] ... *в прямой тиаре...* – Тиара, персидский головной убор, имела вид остроконечного колпака, верхушка которого должна была свисать, и только у царя стояла прямо.

[50] *Леонтокефал* – (местонахождение неизвестно) – букв. "львиноголовый".

[51] *Мать богов* – малоазиатская богиня, иногда называвшаяся Кибелой или Кибебой (или, по месту культа, Диндименой); у греков отождествлялась с Реей, матерью Зевса.

[52] ... *бычьей крови...* – Считалось (неосновательно), что свежая бычья кровь – смертельный яд

(Плиний, XI, 90). Это самоубийство Фемистокла – не более, чем моралистическая легенда. Он и его потомки чтились в Магнесии как местные герои еще во времена Плутарха.

[53] ... *упоминает... Платон...* – Менон, 93d. Это тот сын, который в шутку был назван "самым сильным человеком в Элладе" (гл. 18).

[54] *Единокровный брат* – по афинскому закону, брат мог жениться на сестре единокровной, но не единоутробной.

[55] *"К друзьям"* – эта речь оратора Андокида не дошла до нас.

КАМИЛЛ

[1] ... *пять раз избиравшийся диктатором...* – Камилл избирался в 396, 390, 389, 368, 367 гг.

[2] *Военные трибуны с консульской властью* – Верховные должностные лица римской республики, часто выбиравшиеся вместо консулов между 444 и 367 гг.; на эту должность могли выбираться плебеи, а на консульскую не могли. Число этих трибунов колебалось от 3 до 8; (не путать с народными трибунами, о которых см. Гай, 7, и с военными – точнее "войсковыми" – трибунами, командирами легионов в поздней республике).

[3] ... *должность цензора...* – Камилл получил ее в 403 г., т.е. никак не за подвиги 431 г.

[4] ... *вторично... должность военного трибуна.* – В 398 г. (в первый раз – в 401 г.).

[5] *Латинские празднества* – праздник, справлявшийся каждый год (но не в определенный день) на Альбанской горе союзом латинских городов в честь Юпитера Латиария (покровителя Лация).

[6] *Большие игры* – Игры, посвященные Юпитеру Благому Величайшему, первоначально устраивались лишь от случая к случаю, главным образом в честь побед и триумфов, но впоследствии сделались ежегодным праздником, справлявшимся в сентябре.

[7] *Мать Матута* – древнеиталийская богиня утра, весны и рожениц, отождествленная с греческой Левкотеей. Левкотея (Ино) и ее супруг Афамант воспитали Диониса, и за это ревнивая Гера поразила их безумием, Ино с маленьким сыном бросилась в море и была принята в сонм морских богов. По другой версии, она сама убила сына, ревнуя мужа к рабыне.

[8] ... *Камилл решил перевезти... статую Геры.* – В знак того, что эта богиня (Юнона), покровительница Вей, будет отныне покровительницей Рима. Ей был выстроен храм на Авентине.

[9] ... *по словам Ливия...* – V, 22.

[9] *Золотой кратер* – большой сосуд для смешивания вина с водой, из которого смесь разливалась по чашам.

[10] *Эоловы острова* – Липарские острова, сами считавшиеся гнездом пиратов.

[11] ... *по примеру Ахилла...* – "Илиада", I, 225–244: "Время придет, и данаев сыны пожелают Пелида..." Ср.Ар., 7.

[12] ... *Смерть цензора...* – Во время исполнения должности это было дурным знамением.

[13] *Рипейские горы* – условное понятие античных географов: водораздел, отделяющий южные реки Европы от северных. Впоследствии это название перенесено на Уральские горы.

[14] *Фециалами* – см. Нума, 12.

[15] ... *у реки Аллии...* – Маленький левый приток Тибра немного выше Фиден (90 стадиев – ок. 16 км к северу от Рима).

[16] ... *в тот самый день...* – 18 июля 390 г. (по летоисчислению Варрона) или 387 г. (по Полибию; 386 г. по Диодору). Гибель (в засаде) 300 Фабиев, которые силами одного своего рода решились вести войну с этрусками, относится к 477 г.; единственный спасшийся Фабий стал предком всех позднейших (в том числе и диктатора Фабия Максима).

[17] ... *Гераклит, порицавший Гесиода* – см. "Труды и дни", 760 сл. Даты перечисляемых сражений – Левктры 371, Keресс точно неизвестен, Марафон 490, Платея 479, Арбелы 331, Наксос 376, Саламин 480, Граник 334, Кримис (Тимолеонта) 341 (?), Краннон 322, Херонея 338, разрушение Фив 335, оккупация Мунихия 322, Аравсион (Цепиона) 105, Артаксата (Лукулла) 68, поражение Архидама III в Италии – 338. Ср. также Фок., 28 и Лук., 27.

[18] *"О днях"* – (счастливых и несчастливых) – это сочинение Плутарха до нас не дошло.

[19] *Мистерии* – Элевсинские, в честь Деметры, Коры и Иакха (см. Фем., прим. 32).

[20] ... *в "Римских изысканиях"* – *Плутарх*, Римские вопросы, 25.

[21] *Царь Нума* – См.; Нума, 9; в этом рассуждении об огне есть отголоски философии Гераклита.

[22] *Палладий* – изображение Афины Паллады, по преданию, упавшее с неба и хранившееся в Трое как залог ее непобедимости.

[23] *Самофракийские святыни* – мистерии на острове Самофракии в честь загадочных подземных богов кабиров (иногда сближаемых с теми же Деметрой, Корой и др.) считались вторыми по важности после Элевсинских.

[24] *Аристотель* – в сохранившихся сочинениях Аристотеля таких упоминаний нет.

[25] ... *Принять командование*... – Весь рассказ о том, как Камилл отбил Рим и наказал галлов, – патриотическая фантазия ранних римских историков.

[26] *Ворота Карменты* – на северо-западе Капитолийского холма.

[27] *Дневное пропитание* – "награда, казалось бы, пустая, но крайний недостаток в съестных припасах делал ее блестящим доказательством непритворной любви" (Ливий, V, 47).

[28] ... *после квинтильских ид*... – С середины июля (390 г.?) до середины февраля.

[29] *Храм Вещего Гласа* (Aius Locutius) – близ храма Весты на склоне Палатина.

[30] ... *свежесрубленную голову*... – Ее нашли в земле, когда при Тарквинии Гордом начали строить храм Юпитера Капитолийского (Ливий, I, 55).

[31] *Литюон* – см. Ром., 22.

[32] *Я начну с баснословного*... – Этот рассказ Плутарх повторяет в Ром., 29.

[33] ... *называют Монетой*... – См. Ром., 20. Место Петелийской рощи неизвестно.

[34] *Поле* – речь идет о Марсовом поле, древнем месте за городской стеною для военных упражнений и народных голосований; к концу республики оно уже было почти все застроено.

[35] *Начальник конницы* – так назывался помощник диктатора.

[36] ... *через тринадцать лет*... – ошибка Плутарха или переписчика: битва при Аниене произошла через 23 года после взятия Рима.

[37] *Храм Согласия* – Храм был построен над форумом, на склоне Капитолия; впоследствии, по замирении других подобных раздоров, было построено и несколько других храмов Согласия.

ПЕРИКЛ И ФАБИЙ МАКСИМ

ПЕРИКЛ

[1] *Цезарь* – император Август (его именем после усыновления Цезарем было тоже Гай Юлий Цезарь, а императорским титулом – Император Цезарь Август, сын Божественного).

[2] *Кто занимается... низкими предметами*... – Классическое выражение античного рабовладельческого отношения к труду.

[3] ... *книга (десятая)*... – По порядку написания, точно нам не известному: так, "Демосфен и Цицерон" составляли V книгу (Дем., 3), а "Дион и Брут" – XII (Дион, 2); судя по ссылкам (Пер., 9, 22; Фаб., 19, 22; Лис., 17; Нума, 9, 12), до "Перикла" были написаны также "Ликург и Нума", "Фемистокл и Камилл", "Кимон и Лукулл", "Лисандр и Сулла" и "Пелопид и Марцелл".

[4] *Схинокефалом* – "лукоголовым"; ср. ниже "*кефалегеретом*" – "головоносцем" (как Зевс – "Нефелегерет", тученосец). Цитируемые отрывки – из несохранившихся комедий V в.

[5] *Покровитель иностранцев* – обычный эпитет Зевса (Ксений) и намек на покровительство Перикла Анаксагору и Аспасии.

[6] *Хирон* – кентавр, воспитатель Ахилла, Ясона и других мифических героев.

[7] ... *был слушателем Зенона*... – Легенда о том, будто философ Зенон Элейский бывал в Афинах, сочинена, по-видимому, по образцу Платона, у которого в Афины приезжает учитель Зенона Парменид Элейский.

[8] *Сатирическая часть*... – Т.е. недостаток при достоинствах: на драматических состязаниях в Афинах ставились тетралогии, состоявшие из трех трагедий и одной легкомысленной сатировской драмы.

[9] ... *он пробыл на пире до возлияния*... – вслед за которыми должны были следовать десерт и попойка ("симпосий"). Ср. Фок., 8.

[10] *Саламинскую триеру* – см. Фем., прим. 16.

[11] ... *как сказано у Платона*... – *Платон*. Государство, VIII, 562 с.

[12] *Божественный Платон* – См.: Федр., 270 а.

[13] ... *Из комедий того времени...* – Напр., Аристофан, "Ахарняне", 530.

[14] *Эгина* – Сосед и торговый соперник Афин, примыкавшая к Пелопоннесскому союзу, после нескольких войн была побеждена Афинами в 457 г. и заселена их колонистами в 431 г. (ниже, гл. 34).

[15] *Фукидид* – II, 65.

[16] ... *к клерухиям...* – *Клерухии* – колонии в завоеванных областях для безземельных граждан, которые, однако, живя там, сохраняли афинское гражданство (см. ниже, гл. 11). *Деньги на зрелища* давались в праздники, чтобы бедные люди могли участвовать в религиозных обрядах, в частности – присутствовать на драматических представлениях. Под *вознаграждением* понимается плата за участие в суде, в Совете, а потом – в Народном собрании и пр. Это была компенсация за потерю рабочего времени при исполнении гражданских обязанностей; противники демократии видели в этом источник нравственного разложения народа (напр., Платон, "Горгий", 515е).

[17] *Аристотель* – См.: "Афинская полития", 27. О Кимоне ср. Ким., 10.

[18] *Ни архонтом* – см. прим. к Сол., 19. Выборными по жребию архонты были не "с давних пор", а с 487 г.

[19] *Уголовный процесс* – в 463 г., после недостаточно удачных походов Кимона во Фракию.

[20] *По свидетельству Аристотеля* – См.: "Афинская полития", 25.

[21] *"Прекрасным и хорошим"* – так называли себя аристократы.

[22] ... *страх перед варварами...* – Союзная казна была перенесена из Делоса в Афины после большого поражения афинян от персов в Египте.

[23] *Стофутовый* (Гекатомпед) – так назывался древний храм Афины на акрополе, разрушенный персами; Парфенон был построен на другом месте акрополя и был гораздо больше, но в быту сохранил то же имя.

[24] *Сократ говорит, что сам слышал это...* – *Платон.* Горгий, 455е. Речь идет о южной из двух "длинных стен" вдоль дороги из Афин в Пирей.

[25] *Одеон* Перикла не уцелел; может быть, он был на том же месте под южным склоном акрополя, где во II в.н.э, ученый богач Герод Аттик построил новый Одеон, развалины которого сохранились.

[26] *Панафинеи* – этот праздник справляли в Афинах с древнейших времен ежегодно (см. Тес., прим. 40), а со времен Писистрата каждые 4 года справлялись также и "Большие Панафинеи", по значению приближавшиеся к Олимпийским и другим общегреческим играм. Писистрат добавил к обычным спортивным состязаниям декламационные, Перикл – музыкальные.

[27] *Пропилеи* – колоннада, образующая парадный вход на акрополь.

[28] *Гигия* – божественное олицетворение здоровья.

[29] ... *словами Платона...* – См. "Федр", 271 с.

[30] ... *как говорит Фукидид...* – II, 65; здесь же – знаменитые слова, на которые Плутарх ссылается ниже: "По имени это была демократия, а на деле власть принадлежала первому гражданину".

[31] ... *об эллинских храмах, сожженных варварами...* – Общегреческие сборы на восстановление пострадавших храмов были обычным делом: но здесь Перикл, опираясь на эти обычаи, ставит вопрос о восстановлении за общегреческий счет именно афинских храмов: если бы этот план удался, Афины превратились бы в религиозный центр Греции, в главу новой амфиктионии по образцу дельфийской, и это должно было стать сильным средством политического контроля (комм. С.Я. Лурье).

[32] *Тиранны* – т.е. семья тиранна и его приверженцы.

[33] ... *на лбу медного волка...* – Медный волк был приношением богу от дельфийцев (Павсаний, X, 14, 7, рассказывает храмовую легенду об этой статуе).

[34] ... *в жизнеописании Лисандра...* – гл. 16–17.

[35] *Гиппоботы* – букв. "кормящие коней", крупные землевладельцы.

[36] *Содержательницей девиц легкого поведения...* – Буквально понятая шутка Аристофана (цитируемая ниже, гл. 30). Брак с иногородней женщиной считался не вполне законным, отсюда – вся молва о разврате Аспасии.

[37] *У Платона* – См.: "Менексен", 235е: Сократ называет Аспасию своей наставницей в красноречии. Подлинность диалога сомнительна.

[38] *Да, был бы мужем... блуднице он родня...* – Т.е. "если бы на нем не лежало пятно позора незаконнорожденности, то он мог бы уже давно проявить свои способности".

[39] ... *семьдесят кораблей, из которых двадцать были грузовые...* – Грузовые ("круглые", в от-

личие от боевых, "длинных" триер) корабли служили для перевозки войск и практически не годились для морских сражений.

[40] *... клеймо в виде совы...* – ставили афиняне на государственных рабах (Элиан, II, 9) (священная сова – птица Афины): видимо, Плутарх или его источник допустили путаницу.

[41] *Народ самосский ввел куда как много букв.* – Стих из несохранившейся комедии Аристофана "Вавилоняне" (426 г.), одновременно намекающий и на подготовку перехода Афин на ионийский алфавит (см. Ар., прим. 3).

[42] *Не стала бы старуха мирром мазаться.* – Пер. В. Вересаева. Перикл хочет сказать, что как старухе неприлично душиться, так и Эльпинике – вмешиваться в государственные дела (ср. выше, гл. 10).

[43] *... как утверждает Фукидид...* – VIII, 76.

[44] *... прегражден доступ на все рынки...* – Знаменитая "мегарская псефизма" 432 г., объявлявшая экономическую блокаду Мегар, торговых соперников Афин.

[45] *... священный участок земли.* – Участок между Элевсином и Мегарами, принадлежавший элевсинским богиням.

[46] *Из "Ахарнян"* – Аристофан. Ахарняне, 524 сл.

[47] *Чтобы повредить тому в общественном мнении.* – Враги Перикла, по этой версии, хотели представить дело так, будто Фидия отравил Перикл, боясь его показаний на суде. Легенда о портретности изображений на щите Фидиевой Афины впоследствии украсилась еще больше: Фидий будто бы вставил их так, что без них развалилась бы вся статуя (псевдо-Аристотель. О мире, 6).

[48] *Отчеты в деньгах* обычно представлялись должностными лицами в конце их годовой службы перед специальными коллегиями эвфинов и логистов; здесь для особой торжественности предлагалось отчитываться перед самим Советом пятисот (перед его дежурнойританией в 50 человек) или перед 1500 судей (вместо обычных 500).

[49] *... как говорит Фукидид* – см. I, 126 сл. О деле Килона подробнее см. Сол., 12. Перикл был по матери пра-пра-правнуком Мегакла, виновника скверны.

[50] *Хоры* – в комедиях, как в примере из Гермиппа.

[51] *Моровая болезнь* – болезнь, постигшая Афины, обыкновенно называемая чумой; но это мог быть и сыпной и иной тиф (преобладающее мнение) или корь.

[52] *Солнечное затмение* – неполное затмение, 3 августа 431 г. (т.е. еще до чумы в Афинах).

[53] *Пентатл* – пятиборец (занимающийся прыжками, бегом, метанием диска, метанием дротика и борьбой).

[54] *... в список членов фратрии...* – Так назывались родовые объединения, в которых велись списки граждан. Таким образом, афиняне не отменили Периклов закон о гражданстве, а только в виде исключения разрешили ему узаконить незаконного сына.

[55] *... Черного плаща...* – Черный плащ надевали в знак смерти близких или иного несчастья.

[56] *... Они называют...* – следует пересказ "Одиссеи", VI, ст. 42–45.

ФАБИЙ МАКСИМ

[1] *... стали Фабиями.* – Плутарховская этимология фантастична; уже в древности высказывалось более вероятное предположение, что эта фамилия происходит от faba, "боб" (ср. Циц., 1).

[2] *... похвала сыну...* – Тоже Кв. Фабию, консулу 213 г., воевавшему в южной Италии (см. ниже, гл. 24).

[3] *двадцать четыре ликтора* – свита, положенная диктатору, ср. Поп., прим. II.

[4] *Консул* – вторым консулом 217 г. был Гн. Сервилий Гемин, но с избранием диктатора полномочия всех прочих должностных лиц (кроме народных трибунов) прекращались.

[5] *... пророческих книг... Сивиллины* – см.: Поп., 25; сивиллины книги хранились под надзором 10 (потом 15) жрецов, и обращались к ним только в самые трудные минуты.

[6] *... Могущество троицы...* – подобная вульгарно–пифагоровская мистика чисел была смолоду близка платонику–Плутарху.

[7] *Манлий Торкват* – консул 340 г., приказал казнить своего сына, который вопреки распоряжению консула-отца вышел на бой с латинянами и убил в поединке врага.

[8] *Нумидийцы* – из них преимущественно состояла конница Ганнибала.

[9] *Значки* – орлы на древках, боевые знамена легионов. Битва произошла близ Казилина, где занимал позиции Фабий Максим.

[10] ... *по слову Эврипида* – Из неизвестной трагедии.

[11] ... *праздник в честь Цереры...* – 13 сентября (216 г.): в этом празднике запрещалось принимать участие тем, кто был в трауре (Ливий, XXII, 56).

[12] ... *в его жизнеописании...* – Марц., 9.

[13] ... *каждый из них был консулом пять раз...* – Фабий был консулом в 233, 228, 215, 214, 209 гг., Марцелл – в 222, 215, 214, 210, 208 гг.

[14] ... *в его жизнеописании...* – Марц., 21.

[15] *Прадед Фабия* – упомянутый выше (гл. 1) Кв. Фабий Максим Руллиан, консул 322, 310, 308, 297, 295 гг., триумфатор 309 и 295 г.; сын его Кв. Фабий Максим Гургит был консулом 292 г.

[16] *Нумидийский царь* – Сифак, взятый в плен в 203 г.

[17] *Он город бурей потрясенный, вновь воздвиг.* – Софокл, Антигона, 163.

ГАЙ МАРЦИЙ И АЛКИВИАД

ГАЙ МАРЦИЙ

[1] ... *самый лучший из римских водопроводов* – из источников верхнего Анио на Капитолий, проведен в 144–143 гг., остатки его стоят до сих пор.

[2] ... *одним и тем же словом...* – Virtus (доблесть) от vir (муж).

[3] *В битве* – у Регильского озера в 499 г. (традиционная дата). Упоминаемый ниже диктатор – А. Постумий Альб.

[4] *Аркадяне* – первые поселенцы Рима при Эвандре (Ром., 13): "они были первыми людьми, а дуб первым растением, рожденным на земле" (Плутарх, "Римские вопросы", 286а). По свидетельству Плиния (XVI, 5), за всю историю республики "гражданский венок" присуждался лишь 14 раз.

[5] *Посвящен Диоскурам* – праздник "Касторовы иды", 15 июля.

[6] *Маний Валерий* – диктатор, назначенный во время гражданских смут 494 г., а не консул.

[7] ... *на горе... Священной...* – В 4–5 км к северо-востоку от Рима.

[8] ... *прозвище Сотера... Эвдемона...* – Перечисляются прозвища царей: Птолемей I Сотер ("Спаситель", 305–283), Селевк II Каллиник ("Прекраснопобедный", 247–227), Птолемей VII Фискон ("Пузан", 146–117), Антиох VIII Грип ("Горбоносый", 125–96), Птолемей III Эвергет ("Благодетель", 246–221), Птолемей II Филадельф ("Братолюбивый", 283–246), Батт II Эвдемон ("Счастливый", VI в.), Антигон II Досон ("Обещающий дать", 233–221), Птолемей VIII Лафир ("Горошина", 116–80). Птолемеи были царями Египта, Батт – Кирены, Антигон – Македонии, Селевк и Антиох, – Сирии.

[9] ... *называют Прокулом... прозвище... Клодия...* – Имя Прокул значит "дальний", Постум – "последний" (или, по народной этимологии, "посмертный", Сул., 37), Вописк – "оставшийся в живых близнец", Сулла – "покрытый красными пятнами" (? ср. Сул., 2), Нигер – "черный", Руф – "рыжий", Цек – "слепой", Клодий (Клавдий) –"хромой".

[10] ... *в другого рода сочинениях.* – В перечне сочинений Плутарха есть и книга "Об именах и их значениях" (не сохранилась).

[11] ... *из-за пилосской неудачи...* – В 409 г., когда противный ветер помешал Аниту (будущему обвинителю Сократа) освободить от спартанской осады афинян в Пилосе.

[12] ... *как говорит Платон...* – См.: [Платон.] Письмо IV, 321 с (одна из любимых сентенций Плутарха).

[13] *Эдилы* – надзиратели за порядком и общественными постройками, вначале были чисто плебейской магистратурой и подчинялись народным трибунам; потом, с середины IV в., когда плебеи были допущены к консульству, то патриции, в свою очередь, были допущены к эдильству.

[14] ... *не по центуриям...* – На центурии римский народ был разделен по имущественному признаку, причем богатые образовывали больше (малолюдных) центурий, чем бедные (многолюдных), и поэтому имели перед ними перевес; на трибы же народ был разделен по территориальному признаку, так что во многих трибах, наоборот, бедняки имели перевес перед богачами.

[15] *Бороться с гневом трудно: за страсть он жизнью платит.* – Этот афоризм приписывался Гераклиту.

[16] ... *в народа враждебного город.* – "Одиссея", IV, 246: о том, как Одиссей лазутчиком проник в Трою.

[17] *Тенса* – колесница, на которой во время цирковых зрелищ перевозили из храмов в цирк изображения богов.

[18] ... *в день Священных игр...* – Латинские игры, возобновленные после видения Латиния.

[19] *Клелиевых рвов – в сорока стадиях от города* – Т.е. в 7,5 км от Рима – место их точно неизвестно.

[20] *Дочь светлоокая Зевса, Афина вселила желанье... Поэт восклицает* – "Одиссея", XXI, 1; XIV, 178–179; IX, 339.

[21] *Тут подошел я... Беллерофонт непорочный.* – "Одиссея", IX, 299; "Илиада", I, 188–189; "Одиссея", VI, 160–161.

[22] ... *храм Женской Удачи...* – Храм стоял на Латинской дороге в 6 км от Рима.

[23] ... *Как сказано у Гераклита...* – См.: Фрагмент 86.

[24] *О чем сказано в его жизнеописании.* – Нума, 12.

[25] ... *разбитые римлянами...* – Окончательно вольски были покорены лишь через полтораста лет, к 338 г.

АЛКИВИАД

[1] *Платон* – См.: "Алкивиад", I, 122 в.

[2] ... *Как утверждал Эврипид...* Эврипид сказал это о своем друге, трагике Агафоне (Плутарх, "Изречения царей и полководцев", 177а).

[3] *Аристофан* – "Осы", 44–47. В подлиннике игра слов korax ("ворон") и kolax ("льстец").

[4] *Плектр* – бряцало для игры на лире.

[5] ... *дети фиванцев* – Фиванцы (и другие беотийцы) считались тупицами.

[6] *Афина... бросила флейту...* – Т.к. игра на этом инструменте искажала ее лик. *Аполлон... содрал с флейтиста кожу* – Флейтист сатир Марсий, со своей флейтой вызвавший на состязание Аполлона с его лирой и потерпевший поражение. Эта бравада Алкивиада тоже упоминается у Платона, "Алкивиад", 106е.

[7] *То крылья опустил петух, как жалкий раб.* – Стих Фриниха, древнейшего афинского трагического поэта. Речь идет о петушином бое.

[8] ... *разделенной любовью...* – Точнее, отображенной. Платон, Федр. 255d.

[9] *Метэк* – не пользующийся гражданскими правами чужеземец, которому разрешено проживать и хозяйствовать в городе и который платит за это особый налог.

[10] ... *по словам Фукидида...* – См.: VI, 15.

[11] ... *Величайший из ораторов...* – Демосфен, XXI, 145.

[12] ... *сообщает Фукидид...* – См.: VI, 16 (речь, в которой Алкивиад утверждает, что этот успех имеет политическое значение, среди войны показывая, насколько еще сильны Афины). Песнь, сочиненная Эврипидом, не сохранилась.

[13] *у Исократа* – См.: речь XVI.

[14] *у Фукидида* – См.: VIII, 73.

[15] ... *изложены подробнее в другом месте...* – См.: Ник., 11; ср. Ар., 7.

[16] ... *о пленных, захваченных при Пилосе...* – См.: Ник., 8. Среди них было 120 полноправных спартиатов – немалая часть спартанского гражданства.

[17] *"Тысяча"* – очевидно, какой-то аристократический союз.

[18] ... *связав его с афинскою державой.* – Т.е. как владычицей Эгейского моря.

[19] ... *в храме Агравлы...* – Агравла – жена мифического царя Кекропа.

[20] ... *необычным... отличительным знаком...* – вероятно, совой.

[21] *Желает, ненавидит, хочет все ж иметь...* – Аристофан. Лягушки (пост. 405), 1425, 1432–1433.

[22] ... *Мелосских пленниц...* – Т.е. захваченных в 416 г. при завоевании нейтрального острова Мелоса, все уцелевшее население которого было продано в рабство.

[23] *Немея* – аллегорическая фигура, изображавшая Немейские игры (в Арголиде), где Алкивиад также одерживал победы в конных состязаниях. На другой картине так же были олицетворены Олимпийские и Пифийские игры (Афиней, XII, 534d).

[24] *Союзникам* – сицилийским городам, теснимым Сиракузами; первый афинский поход в Сицилию, в 426 г., был в помощь Леонтинам, второй (Алкивиадов), в 415 г. – в помощь Эгесте.

[25] ... *всегдашнего гения...* – Гением (демонием) Сократ называл свой внутренний голос, время от времени удерживавший его от различных поступков, важных и мелких.

[26] ... *изображений Гермеса...* – Эти "гермы", каменные столбы с мужской (будто бы Гермесовой) головой, ставились на дорогах, улицах и возле домов.

[27] ... *роль глашатая... факелоносца... верховного жреца...* – Глашатай (керик), факелоносец (дадух) и верховный жрец (иерофант) – главные лица при посвящении новообращенных в Элевсинские таинства "обеих богинь" – Деметры и Персефоны.

[28] *Изобличителей Фукидид не называет...* – Фукидид рассказывает об этих событиях в VI, 53, 60–61.

[29] ... *оратор Андокид...* – Дальнейшее пересказывается по собственным подробным признаниям Андокида в речи "О мистериях" (в 399 г., по возвращении из изгнания).

[30] *Стола* – длинное широкое одеяние.

[31] *Мистами* (принявшими посвящение) и *эпоптами* (допущенными к созерцанию) – т.е. посвященными низшего и высшего разрядов. *Эвмолпиды* – род, в котором по наследству передавалась должность элевсинского верховного жреца (иерофанта); должность глашатаев (*кериков*) была наследственна в другом роду.

[32] ... *обнесли стенами Декелею...* Т.е. стали там укрепленным лагерем, держа под ударом всю Аттику.

[33] *Он не Ахилла сын, нет – это сам Ахилл.* – Стих из трагедии неизвестного автора (о Неоптолеме, сыне Ахилла, разорителе Трои).

[34] *Все та же это женщина*! – Эврипид. Орест, 149 (о Елене, которая и в трауре обрезает лишь кончики волос, чтобы не повредить своей красоте).

[35] *"Пять тысяч"* – число полноправных граждан по недолговечной олигархической конституции 411 г.; *четыреста* – члены реформированного государственного совета, вставшего у власти.

[36] ... *в ортостадии, ксистиде...* – Длинные одежды без пояса, которые носили женщины, а также актеры в драматических и мусических состязаниях.

[37] *Постановление... принято раньше.* – Тотчас по низложении олигархии 411 г.

[38] *Праксиэргиды* – афинский жреческий род, женщины которого совершали ежегодно омовение древней деревянной статуи Афины Полиады в море у Фалера; этот день считался несчастливым, потому что богиня отсутствовала в своем храме. Этот праздник (Плинтерии) справлялся в начале июня, Элевсинии с процессией – в начале октября (408 г.).

[39] *Мистагоги* – посвящающие в таинства.

[40] ... *Власть над городом тридцати...* – По олигархической конституции 404–403 гг. число полноправных граждан было ограничено до 1000, а число членов правительства – до 30 ("Тридцать тираннов") во главе с Критием.

[41] ... *как рассказывает Фукидид...* – См.: V, 45.

[42] *По сообщению Дионисия...* – Дионисий Галикарнасский, VIII, 2.

[43] ... *по слову Диона...* – Этот автор неизвестен, а сентенция обычно приписывается комедиографу Менандру.

[44] *Аристид* – См.: Ар., 8 сл.

[45] ... *как выразился Платон.* – См.: Письма, IV, 321 с (подлинность письма сомнительна).

ЭМИЛИЙ ПАВЕЛ И ТИМОЛЕОНТ

ЭМИЛИЙ ПАВЕЛ

[1] *"кто он и что"...* – "Илиада", XXIV, 630 (восхищение Приама Ахиллом).

[2] *О, где еще найдем такую радость мы?* – Стих из несохранившейся драмы Софокла "Тимпанисты".

[3] ... *Благие образы...* – По Демокриту, от всех предметов беспрерывно отделяются и разлетаются невидимые оболочки, они воздействуют на наши органы чувств, и так возникают зрение, слух и пр. Это представление воспринял от него Эпикур, с учением которого Плутарх упорно спорил.

[4] ... *для тебя...* – Может быть, обращение к Соссию Сенециону, адресату "Тесея" и др., может быть – вообще к читателю.

[5] *Мамерк* – имя италийское (вариант имени бога Марса); предание о таком сыне Пифагора – домысел римских пифагорейцев (ср. Нума, 1 и 8).

[6] *Философов, определяющих благочестие...* – Псевдо-Платон, "Определения", 413а.

[7] ... *в двух больших сражениях...* – Первое сражение было поражением, и только второе, в 190 г., победой (ср. Ливий, XXXV, 24 и XXXVII, 46).

[8] ... *всех кормил один-единственный клочок земли...* – "У которого было больше хозяев, чем требовалось работников" (Валерий Максим, IV, 3, 7), говорилось об этом классическом примере обнищания римского рода.

[9] *Досоном* – Т.е. "собирающимся дать" (ср. Гай, 11).

[10] ... *при Скотуссе...* – Т.е. при Киноскефалах (подробнее см.: Тит., 8).

[11] ... *погубил... Деметрия...* – Из двух сыновей Филиппа Деметрий стоял за сближение с Римом, Персей за разрыв; борьба кончилась победой Персея.

[12] *Пентера* – судно с пятью рядами гребцов.

[13] *Бастарнами* – это были не галлы, а германцы (самое восточное их племя); но греки и римляне долго этого не различали.

[14] *Цицерон* – "О гадании", I, 103.

[15] *Медика* – область фракийского племени медов на среднем Стримоне.

[16] ... *лидиец или финикиец...* – Оба эти народа пользовались дурной славой стяжателей.

[17] *Александр* – см: Ал., 57.

[18] ... *через Перребию...* – Из Фессалии на северо-запад и потом на северо-восток, в обход Олимпа и позиций Персея.

[19] *Полибий* – в XXIX (большею частью утраченной) книге своей "Истории".

[20] ... *в письме к одному царю...* – Может быть, к Массиниссе Нумидийскому: условная форма пропагандистского сочинения на греческом языке о римских победах.

[21] ... *как явствует из эпиграммы...* – Из эпиграммы следует, что относительная (над подошвой возле храма Аполлона) высота Олимпа – ок. 1800–1900 м; в действительности – ок. 2000 м (а над уровнем поря – 2900 м): точность, для греческих географов очень высокая.

[22] ... *лето приближалось к концу...* – Скорее, было в разгаре: лунное затмение, описываемое ниже, происходило 21 июня 168 г.

[23] ... *сведениями о законах затмений...* – Цицерон ("О государстве", I, 15, 23) рассказывает, что легат Эмилия Г. Сульпиций Галл (консул 166) объяснил их войску и этим унял его суеверный страх: Цицерон подчеркивает просвещенность, Плутарх – религиозность римского военачальника.

[24] ... *лишь с двадцать первым животным...* – Перед битвой устраивали жертвоприношение и гадали по внутренностям жертвенных животных; если результат был неблагоприятен ("боги не удовлетворены жертвой"), то закалывали новое животное и т.д. Это давало возможность оттягивать начало сражения, – что и нужно было Эмилию.

[25] Сарисса – длинное копье македонской фаланги: 2 м у передовых, 4 м у второго ряда, 6 м у третьего, так что фаланга встречала неприятеля тройной густотой копий.

[26] *Полибий* – См.: XXIX, 18.

[27] *Пелигны* и упоминаемые ниже их соседи *марруцины* – горные сабинские племена, славившиеся своей воинственностью.

[28] ... *значок своей когорты...* – как значком легиона был орел, так значком когорты (десятой части легиона) – дракон или иное изображение на древке.

[29] *Марк, сын Катона* – см.: КСт., 20.

[30] ... *в десятом часу...* – Т.е. битва была между 4 и 6 часами пополудни: счет часов в античности велся от рассвета.

[31] ... *едва успевший войти в возраст...* – Сципиону Эмилиану было 17 лет.

[32] ... *на критский же манер...* – Критяне пользовались дурной славой обманщиков и лжецов; на стих (приписываемый Эпимениду) "Критяне всегда лжецы" ссылался даже апостол Павел ("К Титу", 1, 12).

[33] ... *к алтарю кабиров...* (текст испорчен, восстановления гадательны) – См.: Кам., прим. 23.

[34] ... *при реке Сагре...* – Битва между кротонцами и локрийцами в конце VI в.; *победа... над Тарквиниями* – при Регилльском озере в 499(?) г.

35 *Антоний* – Г. Антоний Сатурнин, наместник Верхней Германии, восставший против Домициана в 88 г. н.э.

36 *... более двадцати тысяч стадиев...* – Т.е. ок. 3750 км, что сильно преувеличено: от Рима до мест восстания (близ нын. Базеля) по прямой ок. 800 км.

37 *... Колонну... основанием...* – Эта колонна, на которой стояла статуя Эмилия Павла, уцелела в Дельфах до сих пор.

38 *... описал его Гомер...* – Знаменитое место в "Илиаде", I, 528–530: Зевс дает клятву Фетиде:

...И во знаменье черными Зевс помавает бровями:
Быстро власы благовонные вверх поднялись у Кронида
Окрест бессмертной главы, и потрясся Олимп многохолмный.

39 *... десять человек...* – Такие сенаторские комиссии обычно командировались после крупных побед для организации завоеванных территорий.

40 *... три дня...* – Триумф Эмилия Павла справлялся 28–30 ноября 167 г.

41 *Герра* – фракийский плетеный щит, обтянутый кожей.

42 *Антигониды, селевкиды* – разновидности кубков и чаш (названные по царским мастерским, где они производились).

43 *... по слову Гомера...* – "Илиада", XXIV, 525–533 (речь Ахилла к просителю-Приаму).

44 "*Каркер*" – видимо, carcer Mamertinus, государственная тюрьма в Риме близ Капитолия.

45 *... консульство Гирция и Пансы...* – В 43 г. захваченная Эмилием добыча оценивалась в 200 млн сестерциев.

ТИМОЛЕОНТ

1 *... одного тиранна на другого...* – за 9 лет в Сиракузах сменились у власти Каллипп, убийца Диона (354–353) и братья Дионисия Гиппарин (353–351) и Нисей (351–346).

2 *... к Гикету, правителю Леонтин...* – Этот город, заселенный наемниками Дионисия Старшего, отложился от Сиракуз в смутное девятилетие после смерти Диона.

3 *... родство...* – Сиракузы, по преданию, были основаны колонистами из Коринфа ок. 735 г.

4 *... битва... с аргивянами...* – Может быть, в 368–366 гг.

5 *... снова не потерять... города...* – Как в 393 г., когда аргивяне разместили в Коринфе свой гарнизон.

6 *... уложили тиранна на месте.* – по Диодору, XVI, 65 (более эффектная версия), Тимолеонт убил брата на городской площади и собственноручно.

7 *... против начинаний Леосфена...* Ламийская война (см.: Фок., 26, Дем., 27).

8 *... попросил... в жены...* – Брак Дионисия с девушкой из Локров Эпизефирских должен был закрепить его протекторат над этим городом. Он женился на другой локриянке и от нее имел сыном Дионисия Младшего.

9 *Богини* – Персефона и Деметра; чтимые в Коринфе (Павсаний, II, 4, 7), они считались покровительницами земледельческой Сицилии.

10 *... слетела повязка...* – Повязка со свисающими концами вокруг лба была наградой, подносимой за победу, и часто победитель потом посвящал ее богам-помощникам.

11 *Левкадийцами* – Керкира и Левкада были колониями Коринфа и старались принимать участие, хотя бы символическое, в его предприятиях. Ср. ниже, гл. 15.

12 *Остров* (Ортигия) – самая неприступная часть Сиракуз, узким каналом отделенная от крепости, выстроенной Дионисиями.

13 *... хитрость... пунийцев...* – Карфагенское коварство вошло в пословицу.

14 *Адран* – город на склоне Этны, посвященный семитскому(?) богу огня и войны.

15 *... в течение десяти лет...* – Тиранния Дионисия Младшего; 368–358 и 346–344 гг.

16 *... в жизнеописании Диона...* – По-видимому, эти слова являются интерполяцией; ср. беглое упоминание: Дион, 58. Дионисий Младший пережидал изгнание в Локрах, на родине своей матери, и стал там настолько всем ненавистен, что когда он в 348 г. выступил оттуда, чтобы возвратиться в Сиракузы, то локрийцы перебили остаток его войска и расправились с его семьей.

17 *... смешанное рукою кабатчика...* – Греки пили вино, смешанное с водою; угощаясь дома, его разбавляли по собственному вкусу, а в харчевнях – довольствуясь тем, что считалось общим вкусом.

[18] *... в упрек Платону...* – О ссоре Дионисия с Платоном см. Дион, 11–13, 18–22.

[19] *... встряхивал свой гиматий...* (плащ). – Как бы желая показать, что под ним не спрятано оружия.

[20] *Филипп Македонский* – он был в Коринфе во время общегреческого съезда 338/337 г.

[21] *... дочерей Лептина...* – Брат Дионисия Старшего Лептин выдал одну из дочерей за Филиста, будущего историка, против воли тиранна, и тот за это своеволие отправил в изгнание и Филиста, и Лептина, и его дочерей.

[22] *... подкрепления из Коринфа...* – см. гл. 16.

[23] *... срыли... крепостные стены...* – Потом, в 265 г. дворец тираннов был заново отстроен Гиероном и позднее был резиденцией римских наместников.

[24] *... в Азию...* – В Малую Азию и на острова Эгейского моря.

[25] *... против коринфян...* – Против отряда Динарха и Демарета (гл. 24).

[26] *... с пятью тысячами пехотинцев...* – а с авангардом Динарха и союзными отрядами Гикета и др. – до 12 000 (Диодор, XVI, 78).

[27] *... наградою служил сельдерей...* – как знак поминания о погибшем герое Меликерте, в честь которого справлялись Истмийские игры в Коринфе.

[28] *... месяц фаргелион...* – Начало июня 341 (по Диодору – 339) г.; ср. Кам., 19.

[29] *... Боевые колесницы...* – Слонов карфагеняне в это время еще не употребляли в бою.

[30] *... захватили Дельфы и разграбили их сокровища...* – Во время Священной войны 356–346 гг.

[31] *Калаврия* – этот сицилийский город на реке Дамирий нигде более не упоминается.

[32] *Илархи* – начальники ил, конных отрядов ок. 60 бойцов.

[33] *Коринфские гражданки вышли из домов.* – Эврипид. Медея, 214 (стих слегка изменен).

[34] *... в жизнеописании Диона* – Дион, 58.

[35] *Лик* (чаще – Галик) считался границей греческой и карфагенской Сицилии еще по договору Дионисия Старшего в 383 г.

[36] *... какою казнят разбойников.* – Т.е. распятием на кресте.

[37] *Акрагант и Гела* были разрушены соответственно в 407 и 406 гг.

[38] *О боги... Иль сам Эрот?* – Стихи из неизвестной драмы.

[39] *Автоматия* – “Произвольность”, богиня случайности и удачи.

[40] *... в... чистых, светлых одеждах...* – Вместо обычных черных траурных: Тимолеонта хоронили как обожествленного.

[41] *... долгое время...* – около 20 лет, до 317 г., когда в Сиракузах после междоусобной борьбы к власти пришел тиранн из простонародья – Агафокл.

ПЕЛОПИД И МАРЦЕЛЛ

ПЕЛОПИД

[1] *... житель Сибариса...* – Этот италийский город славился роскошной жизнью своих обитателей (“сибаритов”), имя которых вошло в пословицу. Город был разорен соседним Кротоном, и потом на его месте были выстроены Фурии.

[2] *Капаней у Эврипида* – “Просительницы” , 861 сл., об одном из героев похода Семерых против Фив.

[3] *... при Мантинее...* – В походе 386 г. во время Коринфской войны.

[4] *Кадмея* – фиванский акрополь.

[5] *Фесмофории* – женский праздник в честь Деметры-Законодательницы, справлявшийся в Фивах летом.

[6] *... в свое время...* – Во время тираннии Тридцати в Афинах (404–403 гг.) Фивы предоставили убежище Фрасибулу и его друзьям-демократам.

[7] *Полемархи* – три высшие выборные должностные лица в Фивах.

[8] *Фриасии* – часть элевсинской равнины, Киферонскими горами отделенной от Беотии.

[9] *Беотархи* – политические и военные руководители Беотийского союза, переизбиравшиеся ежегодно; число их колебалось (7–11).

[10] *... покинув Беотию...* – По договору Фебида с демократами, спартанский гарнизон освободил Кадмею, но был выпущен с оружием и невредимо.

[11] *Гармост* ("устроитель") – так назывались представители Спарты и начальники спартанских гарнизонов в греческих городах после Пелопоннесской войны.

[12] *Мора* – спартанская военная единица численностью от 400 до 900 человек.

[13] *... Эврот и место меж Бабиками и Кнакионом...* – Т.е. Спарта: Бабиками назывался мост через Эврот, а Кнакионом – ручей, впадающий в Эврот.

[14] *Пусть помогаёт колену колено и племени племя...* – "Илиада", II, 363.

[15] *Платон* – См.: "Федр", 255в.

[16] *... страсть Лая...* – Фиванский царь Лай влюбился в Хрисиппа, сына Пелопа, и похитил его; именно за это, по моралистической версии мифа, он был наказан смертью от руки неузнанного своего сына Эдипа.

[17] *... от Ареса и Афродиты...* – Богиня Гармония, жена Кадма, основателя Кадмеи.

[18] *... Менэкея, сына Креонта... Агесилай...* – Он спас Фивы от нашествия Семерых, принеся себя в добровольную жертву богам: *Макария*, дочь Геракла, таким же образом принесла братьям-Гераклидам победу над их гонителями; *Леонид* погиб под Фермопилами; о жертвоприношении *Фемистокла* см. Фем., 13, *Агесилая* – Агес., 6. История спартанца *Ферикида* (явно смешиваемого с сиросским мудрецом Ферекидом, VI в.) ближе неизвестна.

[19] *... вытянул свое левое крыло...* – Обычно греки выставляли лучшие силы на правое крыло, они одолевали противостоящее левое крыло противника, а потом, повернув, сходились друг с другом; Эпаминонд первый поставил лучшие силы (священный отряд) на своем выдвинутом левом крыле, чтобы с первого же удара завязать бой главными силами.

[20] *... в Македонию...* – После смерти Аминта II (369) здесь спорили за престол сын Аминта Александр II и зять Аминта Птолемей.

[21] *... именем Тихона...* – Божества случая, судьбы и удачи.

[22] *И крылья опустил петух, как жалкий раб...* – Стих из несохранившейся трагедии Фриниха (ср. Алк., прим. 7).

[23] *... старинными друзьями царя...* – В память о том, что фиванцы помогали Ксерксу в его походе на Грецию.

[24] *... солнце затмилось...* – Затмение 13 июля 364 г.

[25] *... неправ Эзоп...* – В сохранившихся текстах "басен Эзопа" такой сентенции нет, но мысль о превратности судьбы и падении счастливцев повторяется у него много раз.

МАРЦЕЛЛ

[1] *... пятикратный консул Рима...* – См.: Фаб., прим. 13.

[2] "*Воинственный*" – от имени бога Марса – этимология неверная, фамилия Marcellus есть просто уменьшительное от имени Marcus (значение которого неизвестно).

[3] *... говорит Гомер...* – "Илиада", XIV, 86–87.

[4] *брата* – по-видимому, двоюродного или приемного.

[5] *... эдилом высшего разряда...* – "Курульным эдилом", имевшим знаки отличия, похожие на преторские и консульские. Год эдильства Марцелла неизвестен.

[6] *Гезатами* – "гезаты" по-кельтски означает "вооруженные копьями (или тяжелыми дротиками)" (комм. С.П. Маркиша).

[7] *... консулы Фламиний и Фурий...* – В 223 г., почти 20 лет спустя после конца I Пунической войны.

[8] "Сорик" – землеройка (лат. – sorex).

[9] *Интеррексы* ("междуцари") – см.: Нума, прим. 5.

[10] *Илам* – греч. ила (рим. "турма") – конный взвод ок. 30 человек.

[11] *Первым Ромул...* – см. Ром., 16.

[12] *Ливий* – см.: XXII, 16.

[13] *... механическое приспособление...* – Т.е. какой-то инструмент, помимо общепризнанного минимума – циркуля и линейки.

[14] "*самбука*" – треугольный струнный инструмент восточного происхождения.

[15] *Скорпион* – машина для метания стрел и каменьев, работавшая, как исполинская рогатка.

[16] *Гексапилы* ("Шестивратье") – это место в городе точному отождествлению не поддается.

[17] *... население Энны...* – За попытку перейти на сторону Ганнибала римляне в 214 г. перебили всех мужчин этого города.

[18] *... орхестрой Ареса...* – Т.е. "танцплощадка войны".
[19] *Ксенофонт* – см.: "Греческая история", III, 4; 17.
[20] *... слова Пиндара...* – см.: Пифийские оды, 2, 1; у Пиндара это сказано о Сиракузах.
[21] *Не знал забав пустых, но подвиги свершал.* – Отрывок из несохранившейся трагедии.

[22] "Эвасмос" [euasmōs] – крик ликования. Этимология, защищаемая Плутархом, была в Риме общепринятой.

[23] *Курульное кресло* – стул без спинки на выгнутых складных ножках, выложенный слоновой костью, – знак достоинства заседающих консулов, преторов и курульных эдилов.

[24] *... сообщает Ливий...* – см.: XXVII, 2.

[25] *... у Пиндара...* – Отрывок из неизвестной оды.

[26] *Такой рассказ...* – У Ливия (XXVII, 28) и у Валерия Максима (V, 1, 4) этих живописных подробностей нет; Непот писал об этом в несохранившейся биографии Марцелла, а Август – по-видимому, в речи над своим безвременно умершим наследником М. Марцеллом (упоминаемым ниже).

[27] *... с жителями Орхомена.* – В 362 г. фиванские аристократы-изгнанники, бежавшие в Орхомен, пытались свергнуть демократию в Фивах; фиванцы после этого разрушили Орхомен, перебили мужчин и продали в рабство женщин и детей.

[28] *... как пишет Полибий...* – В несохранившихся книгах "Истории".

[29] *... в "Воспитании Кира"...* – Ксенофонт. Киропедия, VI, 1, 3.

[30] *... как говорил Эврипид...* – Отрывок из несохранившейся трагедии.

АРИСТИД И МАРК КАТОН

АРИСТИД

[1] *... оспаривает... Деметрий Фалерский...* – Доводы его совершенно справедливы, а картина бедности Аристида, отстаиваемая Плутархом, – риторико-моралистическое преувеличение.

[2] *... хорега-победителя...* – См.: Фем., прим. 10. В музыкальных состязаниях хор строился кругом ("киклически"), в драматических – прямоугольником. Победитель получал в награду треножник и посвящал его богу.

[3] *... начертание букв...* – В 403 г. (при архонте Эвклиде) в Афинах вместо древнеаттического был введен – и остался навсегда – ионийский алфавит. Надпись, на которую ссылается Деметрий, сохранилась (CIA, 2, 1257) и, действительно, сделана ионийским алфавитом, т.е. относится не к древнему Аристиду.

[4] *... не по жребию...* – Аристид был архонтом в 489 г., а выборы архонтов по жребию были введены только с 487 г.

[5] *... дружеское сообщество...* – "Гетерия" ("товарищество"), религиозно-бытовой кружок, объединяющий политических единомышленников (в V в. преимущественно аристократов).

[6] *... пока не сбросят... в пропасть.* – В пропасть сбрасывали приговоренных преступников.

[7] *Слова Эсхила об Амфиарае...* – "Семеро против Фив", 579–581 (драма поставлена в 467 г.). У Эсхила – "Он лучшим быть желает...": цитата искажена, чтобы лучше подходить к "Аристиду Справедливому".

[8] *... надзор за общественными доходами...* – Анахронизм: эта должность возникла лишь в IV в.

[9] *Был разумом силен, да на руку нечист.* – Стих из неизвестной драмы.

[10] *Факелоносец* – жреческая должность в Элевсинских мистериях (ср. Алк., прим. 27), наследственная в роде Каллия: *головная повязка* – знак этого жречества. Прозвище "Златокопатель" (точнее "из ямы богатый"), в действительности, вероятно, указывает на доходы Каллия от лаврийских серебряных рудников.

[11] *... прозвище "Сокрушитель градов"... "Ястреба"...* – "Сокрушитель градов" – так прозывался Деметрий Полиоркет; "*Молнией*" – Птолемей Керавн, сын Птолемея I; "*Победоносным*" – Селевк I Никатор; "*Орлом*" – Пирр Эпирский; "*Ястребом*" – Селевк II Гиеракс; это – буквальные значения их прозвищ.

[12] *... Ахилл...* – в "Илиаде", I, 233–244 он, отказываясь воевать, сулит Агамемнону, что скоро в беде "время придет, как данаев сыны пожелают Пелида..."

[13] ... *Пситталия...* – Бой за этот остров был второстепенной частью Саламинского сражения, но стал казаться важным, когда на этом острове был поставлен трофей; так, его значение подчеркивает уже Эсхил ("Персы", 445–463).

[14] *Гиакинфии* – летний спартанский праздник в городе Амиклах в честь Аполлона и его возлюбленного Гиакинфа; на эти дни прекращались все общественные дела, поэтому спартанцы и выступали в поход ночью.

[15] ... *ведь войско... уже в Орестии...* – (городок близ Мантинеи), т.е. проделали около четверти пути.

[16] *Сфрагидийские нимфы* – нимфы пещеры Сфрагидий на горе Киферон.

[17] *Геродот* – см.: IX, 46. Весь рассказ Плутарха о Платейском сражении (кроме гл. 13 и некоторых мелочей) восходит к Геродоту.

[18] ... *подает свой голос...* – Голосования обычно производились подачей камешков.

[19] ... *порют у алтаря юношей...* – Объяснение, конечно, фантастическое; см. Лик., 18 и прим.

[20] ... *закалывал одно жертвенное животное за другим* – Для того, чтобы оттянуть сражение, пока персы расстроят свои ряды. Ср. ЭмП. прим. 24.

[21] *Оракул Амфиарая* чтился в беотийском Оропе, а оракул *Трофония*, подземный и страшный, в беотийской Лебадее.

[22] *Геродот* – см. IX, 85. Приводимая далее эпиграмма приписывается Симониду Кеосскому ("Палатинская антология", VI, 50). Второй стих у Плутарха пропущен.

[23] ... *в четвертый день месяца боэдромиона...* – Т.е. в августе 479 г.

[24] ... *тысячу стадиев.* – Т.е. ок. 180 км!

[25] Фукидид – см.: II, 13. В основу Аристидовой раскладки были положены взносы, расписанные по греческим общинам еще персидскими наместниками.

[26] ... *Бросил в море куски металла...* – В знак того, что клятва будет соблюдаться, пока утонувший металл не всплывет (ср. Геродот, I, 165).

[27] ... *перевезти казну с Делоса в Афины...* – Союзная казна была перенесена лишь много позже, около 454 г.

[28] ... *Платон* – см.: "Горгий", 526а, ср. 519а.

МАРК КАТОН

[1] ..."*Новыми людьми*"... – Т.е. такими, кто первый в своем семействе или роде занимает государственную должность (римский политический термин). Обычно такие люди допускались лишь к низшим должностям, квестуре и эдильству, а дети их уже поднимались до претуры и консульства; случаи, когда "новый человек" сразу проходил всю лестницу степеней, как Катон и Цицерон, были очень редки.

[2] *Приск* – Т.е. "древний"; это прозвище Катон получил, в действительности, лишь у историков, чтобы отличать его от Катона Младшего.

[3] ... *просил уксуса...* – Вода с подбавленным (для гигиены) уксусом была обычным солдатским питьем (именно ее на губке подавали распятому Христу).

[4] ... *так рассуждал и Платон...* – "Тимей", 69d.

[5] ... *Сочинения...* – из многочисленных и разнообразных сочинений Катона до нас дошло лишь одно "О сельском хозяйстве".

[6] ... *обличил его...* – вопреки римским обычаям, по которым консул должен был быть "в отца место" (по выражению Цицерона) состоящему при нем квестору. Впрочем, в действительности Катон покинул Сципиона лишь по истечении служебного срока, и ревизоры из Рима были присланы независимо от него.

[7] ... *вавилонский узорчатый ковер...* – Вавилонские ковры, тканые из разноцветной шерсти, считались в Греции и Риме символом крайней роскоши.

8 *Да и тех... продавать...* – "Старых быков, молочный скот, молочных овец..., раба состарившегося, раба больного и все, что еще окажется лишнего" ("О земледелии", 2).

[9] ... *подметать и поливать...* – Выпад против распространяющейся восточной моды на сады.

[10] *Гекатомпед* – ("стофутовый храм") – т.е. Парфенон: см.: Пер., 13.

[11] ... *кони Кимона...* – отца Мильтиада; кроме него, известен только один случай трех олимпийских побед с одной упряжкой (Геродот, VI, 103).

[12] *Киноссема* – см. Фем., 10.

[13] *... по словам Платона* – см.: "Пир", 215 (речь Алкивиада).

[14] *... кто считает...* сравнение Катона с Лисием – традиционный мотив греко-римских культурных параллелизмов: "оба точны, изящны, остроумны, лаконичны, но эллин во всех достоинствах удачливее" (Цицерон, Брут, 16, 63).

[15] *... "нами повелевают наши жены"* – По поводу отмены Оппиева закона об ограничении женской роскоши (принят в 215, отменен в 195 г.).

[16] *Фемистокл* – см.: Фем., 8.

[17] *... Царь Эвмен...* – Эвмен Пергамский приезжал в Рим зимой 173–172 г. для заключения союза против Персея Македонского.

[18] *... за ахейских изгнанников...* – 1000 заложников (среди них – историк Полибий), вывезенных в Рим после окончания войны с Персеем; они провели на чужбине 16 лет, и домой вернулось лишь 300 человек.

[19] *Полибий* – XIX, 1.

[20] *... число покоренных городов достигло четырехсот.* – Четырехсот городов в Испании, конечно, не было: Катон считал даже неукрепленные деревни.

[21] *... у консула Тиберия Семпрония...* (194 г.) – по-видимому, ошибка, этот консул воевал не во Фракии, а в предальпийской Галлии.

[22] *... как о том уже говорилось...* – Тит, 15.

[23] *... по приговору амфиктионов...* – Т.е. поневоле.

[24] *Каллидром* – восточная часть горного кряжа Эты над обходной тропой при Фермопилах.

[25] *Фирмийцы* – жители Фирма в Пицене на берегу Адриатического моря.

[26] *Петилия* – два Квинта Петилия, народные трибуны 187 г., обвинили Сципиона и его брата в утайке части добычи, захваченной у Антиоха. Подробности этого знаменитого процесса (Ливий, XXXVIII 50–57) передаются противоречиво.

[27] *Сервия Гальбы* – Гальба, будучи наместником в Испании, перебил или продал в рабство 7 тысяч испанцев, перешедших на сторону римлян. Суд был в 149 г., в год смерти 85-летнего Катона.

[28] *... подобно Нестору... трех поколений* – См.: "Илиада", I, 250–252: "...над третьим уж племенем царствовал старец".

[29] *... отнять у всадника коня...* – Т.е. исключить из всаднического (второго после сенаторского) сословия.

[30] *Цицерон* – см.: "О старости", 12, 42; ср. Ливий, XXXIX, 42. Об этом же см.: Тит, 18.

[31] *... денежный залог...* – Этот залог должен был пропасть, если бы Луций проиграл дело.

[32] *... Увеличил сбор... с каждой тысячи...* – Т.е. с 0,1% до 0,3% для небольших состояний и до 3% с больших состояний.

[33] *... Тит со своими сторонниками...* – См. Тит, 19.

[34] *... "Порциевой базиликой"...* – Это была первая базилика в Риме, выстроенная по эллинистическому образцу; она сгорела в 52 г. при похоронах Клодия.

[35] *... в храме богини Здоровья...* – Так Плутарх перевел templum Salutis "храм Спасения (римского народа)" конца IV в., на Квиринале.

[36] *... историю Рима...* – Эта книга называлась "Начала" и была древнейшим сочинением по истории Италии и Рима на латинском языке.

[37] *... под командованием Павла...* – При Пидне в 168 г. (см. ЭмП., 21).

[38] *... на заморскую торговлю...* – За такие ссуды, ввиду особенно большого риска, взимались очень высокие проценты.

[39] *... афинские послы...* – Третьим в этом философском посольстве 155 г. был перипатетик Критолай; они просили о снятии штрафа за разграбление афинянами Оропа во время III Македонской войны.

[40] *... над школой Исократа...* – Т.е. над риторами.

[41] *... как печь лепешки...* – см.: "О земледелии", 76, 92, 143.

[42] *Он лишь с умом, все другие – бездушными тенями веют.* – "Одиссея", X, 495; у Гомера эти слова относятся к прорицателю Тиресию в царстве мертвых, у Катона – к Сципиону Эмилиану.

[43] *... дедом философу Катону ...* (т.е. Катону Младшему) – Не дедом, а отцом; и консулом был не этот М. Катон Салониан, а его брат Луций (в 89 г.).

[44] *... по мнению Геродота...* – см.: IX, 64.

[45] ... *мост через Геллеспонт...* – Т.е. возможность перейти в Малую Азию, где в 190 г. Антиох был окончательно разбит при Магнесии.

[46] ... *Гесиод... призывает... к справедливости...* – См.: “Труды и дни”, 311: “Нет никакого позора в работе – позорно безделье”.

[47] *Хорошо сказано об этом у Гомера* – “Одиссея”, XIV, 222 сл. (Одиссей, встретясь со свинопасом Эвмеем, выдает себя за критянина).

[48] *Не следует сравнивать справедливость с маслом...* – ср. Платон, Протагор, 334 с.

[49] *Никаких нужд не знает только бог...* – мысль Сократа (напр., Ксенофонт, Воспоминания, I, 6, 10), усвоенная всей позднейшей философией, особенно киниками.

ФИЛОПЕМЕН И ТИТ

ФИЛОПЕМЕН

[1] ... *Освободили... от тирании...* – Речь идет о событиях 252–250 гг., когда в Греции ослабела власть Антигона Македонского, поддерживавшего тираннии, и усилилось влияние Птолемея, поддерживавшего демократии.

[2] ... *один римлянин* – Лицо неизвестное. Павсаний (VIII, 52) говорит, что Мильтиад был первым благодетелем всего греческого народа, а Филопемен последним.

[3] ... *не был безобразен...* – По словам Павсания (VIII, 49) Филопемен был нехорош лицом, но зато высок и крепок.

[4] ... *Клеомен... напал на Мегалополь...* – См.: Кл., 23–24.

[5] ... *ременная петля...* – Для метания копья.

[6] ... *начальником конницы...* – Так назывался помощник стратега, ежегодно переизбираемого вождя Ахейского союза.

[7] *Пельтасты* – легкая пехота, отличавшаяся большой маневренностью: без панцирей, с короткими копьями, сражавшаяся в рассыпном строю. Филопемен реформировал ахейскую пехоту по образцу македонской; ср. подобную же реформу и в спартанском войске, Кл., 11.

[8] ... *Ахилл у Гомера...* – “Илиада”, XIX, 15 сл. (Фетида приносит Ахиллу новое оружие, выкованное Гефестом).

[9] *Тарентинцы* – особый род легкой кавалерии (впервые появившийся в городе Тарент).

[10] *Немейский праздник* – всеэллинские священные игры, справлявшиеся каждые два года в Арголиде; здесь – в июле 205 г.

[11] ... *"Персов" Тимофея...* (IV в.) – Знаменитое песнопение в память битвы при Саламине (Пер. С. Ошерова).

[12] ... *в Аргос убийц...* – Видимо, в том же 205 г., когда Филопемен был в Арголиде для празднования Немейских игр.

[13] ... *Филипп был побежден Титом...* – При Киноскефалах (см.: Тит, 7–8).

[14] ... *с Эпаминондом...* – В 365 г. Эпаминонд с нововыстроенным беотийским флотом совершил поход по Эгейскому морю, но после его смерти (в 362 г.) борьба фиванцев за морское владычество прекратилась.

[15] ... *словами Платона...* – “Законы”, IV, 706в (об афинянах).

16 ... *старый, хотя и знаменитый корабль...* – Македонская квадрирема (тяжелое судно с 4 рядами гребцов), захваченное ахейцами за 80 лет до этого; тогда он считался лучшим в царском флоте, но теперь потонул при первом же столкновении с неприятелем.

[17] ... *даровал свободу Греции...* – см.: ниже, Тит, 10.

[18] ... *убит этолийцами...* – В 192 г. Этолийцы по просьбе Набида послали ему на подмогу отряд с тайным приказом умертвить Набида. Когда приказ был выполнен и этолийцы принялись грабить город, началась гражданская война, в которую и вмешался Филопемен.

[19] ... *не только казался, но и был:...* – Реминисценция из Эсхила, “Семеро против Фив”, 589: “Он хочет быть, а не казаться праведным” (пер. А. Пиотровского).

[20] ... *по свидетельству Полибия...* – В недошедшей части его сочинения.

[21] ... *несколько спустя...* – Расправа Филопемена со Спартой произошла в 189, реставрация – в 184 г.: римляне предпочитали поддерживать в Пелопоннесе двоевластие.

[22] ... *занят свадьбами...* – См.: Тит, 16.

[23] ... *консул Маний...* – Ман. Ацилий Глабрион, разбивший Антиоха при Фермопилах в 191 г.

[24] ... *с лишком четыреста стадиев...* – Более 70 км.

[25] ... *ни Муммий, ни послы...* – Консул 146 г., разрушитель Коринфа, и коллегия 10 сенаторов, посланная для наведения порядка в завоеванной Греции.

ТИТ

[1] ... *основателем колонии...* – "Триумвиром для выведения колоний" в италийских городах, обезлюдевших в войне с Ганнибалом.

[2] ... *не было еще тридцати лет...* – Тогда как обычай (а с 180 г. – закон) предписывал для квестора возраст 30 лет, для эдила – 37, для претора – 40, для консула – 43 года.

[3] *Темпы* – Темпейская долина нижнего Пенея в Фессалии, одно из красивейших мест в Греции.

[4] ... *встретившись с Филиппом...* – В Никее Локридской, осенью 198 г.; результатом свидания было двухмесячное перемирие, во время которого оба противника отправили своих послов в Рим (ниже, гл. 7).

[5] *Его поддерживал царь Аттал...* – Царь Аттал I Пергамский в свои 73 года воевал в Средней Греции в союзе с Римом и сопровождал Фламинина в дипломатических переговорах.

[6] ... *с собачьими головами...* – Kynos kephalai, "собачьи головы", нередкое географическое название в холмистой Греции. Подле этих холмов в 364 г. пал Пелопид (Пел., 32).

[7] ... *в Коринфе, Халкиде и Деметриаде...* – Для контроля над южной, средней и северной Грецией.

[8] *Консул* – Фламинин уже не был консулом, но по постановлению сената сохранял консульские полномочия.

[9] *Баргилиям* – этот город был опорным пунктом Филиппа в Малой Азии.

[10] *Метэк* – см.: Алк., прим. 9; о Ксенократе ср.: Фок., 29.

[11] ... *Нерон... объявил грекам свободу...* – Т.е. даровал греческим городам "свободу" (т.е. освобождение от подати и местное самоуправление) в 66 г. во время своей артистической поездки по Греции.

[12] ... *заключил с ним мир* (195 г.). – Спарта лишалась всех владений вне Лаконии, а также гаваней в самой Лаконии, но Набид оставался у власти.

[13] *Дельфиний* – храм Аполлона (священным животным которого был дельфин, а главным местом культа – Дельфы).

[14] ... *убив своих друзей и родных...* – Имеется в виду, в частности, убийство Деметрия, сына Филиппа (ЭмП., 8), бывшего заложника в Риме (выше, Тит, 14).

[15] ... *Сципиона... первым в списке сенаторов...* – "Принцепсом", первоопрашиваемым при голосованиях: это звание не давало никаких полномочий, но было важным знаком нравственного авторитета.

[16] ... *в трактате"О старости"...* – Цицерон, О старости, 12, 42 (ср. КСт., 17 и 19).

[17] ... *в подражание Фемистоклу... и Мидасу...* – см. Фем., 31. *Мидас* – полулегендарный фригийский царь, разбитый в VIII в. нашествием киммерийцев.

[18] ... *Ливий сообщает...* – См.: XXXIX, 50.

[19] ... *воюя с Пирром...* – См.: Пирр, 21.

[20] ... *славным именем Эвмена...* – Пергамского царя Эвмена II, побочным сыном которого был Аристоник.

[21] ... *молили о пощаде...* – См.: Мар., 40 сл.

[22] ... *умер он мирною смертью...* – О времени и обстоятельствах смерти Тита Фламинина, действительно, никаких сведений не сохранилось.

ПИРР И ГАЙ МАРИЙ

ПИРР

1 *... изгнали Эакида...* – В Эпире борслись за власть две ветви царского дома, потомки двух сыновей Алкета – Неоптолема и Арибба; первую поддерживали македонские цари, вторую – их противники. Власть переходила от Эакида, сына Арибба (уб. 313) к брату Эакида Алкету (ум. 307) и к сыну Эакида Пирру (с 306), но в 313 и 302–296 гг. ее перехватывал Неоптолем Младший, внук Неоптолема. Дом Неоптолема поддерживал Кассандр, дом Эакида – Деметрий и Птолемей.

2 *... дочь Береники... от Филиппа...* – Береника, супруга и единокровная сестра Птолемея I, была прежде замужем за знатным македонянином Филиппом.

3 *... наклоном головы...* – См.: Ал., 4.

4 *... в жизнеописании Сципиона...* – Утрачено.

5 *... Мечом двуострым делят меж собою дом...* – Эврипид, Финикинянки, 67 (проклятие Эдипа над своими сыновьями), пер. С. Ошерова.

6 *... отцовское царство...* – Азиатские владения Антигона, захваченные Селевком (Дем., 43).

7 *... на нисейского коня...* – Из персидской Рагианы (к югу от Каспийского моря), где паслись табуны персидского царя.

8 *... к прославленному царю, македонянину по рождению...* – Т.е. к Лисимаху. Плутарх не совсем точен: по отцу Лисимах был греком-фессалийцем.

9 *... стали спрашивать у него пароль...* – В знак того, что признают его своим начальником.

10 *Словно Ахилл...* – "Илиада", I, 491–492.

11 *Италиоты* – греческие жители Италии.

12 *Словом... добиваются...* изречение Эврипида... – "Финикиянки", 528–529.

13 *... чуть было их не захватил!* – Имеется в виду исключительный по дерзости поход Агафокла на Карфаген в 310 г., когда разбитый и осажденный в Сиракузах Агафокл тайно бежал из блокированной неприятелем гавани, высадился в Африке и едва не взял Карфагена.

14 *... триста стадиев...* – 55,5 км.

15 *"... то окончательно погибнем".* – Эта "Пиррова победа" произошла в 279 г., т.е. еще до консульства Фабриция.

16 *... к Гераклу...* – Согласно мифу, близ горы Эрик Геркулес убил в кулачном бою великана Эрика, сына Афродиты. Пирр считал себя потомком Геракла и его сына Гилла (гл. 1).

17 *Гомера, который утверждал, что... увлекает человека безоглядным порывом.* – В разных местах "Илиады", напр., IX, 237 сл.

18 *"Племенем Ареса"...* – Это были италийцы на греческой службе, имя их – от сабинского бога Мамерса (лат. Марса).

19 *... то, что он предугадал, сбылось.* – Имеется в виду I Пуническая война Рима и Карфагена за обладание Сицилией (264–241).

20 *Щитоносцы* (гипасписты) – так в македонском (и организованном по македонскому образцу) войске называлась пешая гвардия.

21 *Знаменье, лучшее всех – за Пиррово дело сражаться.* – Перефразированный знаменитый стих из "Илиады", XII, 243 – ответ Гектора на слова, что знамения неблагоприятны для троянцев.

22 *Ликейского бога* ("волчьего", ср. ниже, гл. 32) – Аполлона, чтимого в Аргосе.

23 *Аспида* ("Щит") – крутая и укрепленная высота в Аргосе; Киларабис – гимнасий за городской стеной Аргоса, учрежденный в честь героя Килараба.

24 *... бросила ее в Пирра* – Аргивяне утверждали, что обличье этой старухи приняла сама богиня Деметра (Павсаний, I, 13, 8). На месте, где погиб Пирр, они воздвигли храм Деметре и погребли там останки Пирра.

25 *... возле святилища Ликимния* – Местного аргосского героя, убитого своим племянником Тлеполемом, сыном Геракла.

ГАЙ МАРИЙ

[1] ... *третье имя...* – римляне обычно носили два или три имени: личное, родовое и (в очень разветвленных родах) фамильное, напр., Гай Юлий Цезарь; сколько-нибудь понятный этимологический смысл могло иметь лишь третье имя (Макрин – "тощий", Торкват – "украшенный ожерельем" как воинским знаком отличия, Сулла "покрытый красными пятнами", ср.: Сул., 2; Плутарх сближает их с царскими прозвищами Ахеменидов и Селевкидов – Мнемон, "памятливый", Грип, "горбоносый", Каллиник "славный победами"). Женщины носили только родовое имя; сестры звались "Юлия I", "Юлия II" и т.д. В более древние времена человека называли чаще всего первым его именем, но в эпоху империи более употребительным стало третье или же четвертое имя, что и имеет в виду Плутарх, говоря о "перемене в обычае".

[2] *Харитам* – богиням радости; "принеси жертвы" – т.е. "чтобы они от тебя не отворачивались".

[3] ... *служил еще его отец...* – Видимо, Марии были клиентами при семье Метеллов, как Катоны при семье Валериев Флакков (КСт., 3).

[4] ... *закон о подаче голосов...* – Этот закон уменьшал возможность подкупов при голосовании; этот закон продолжал мероприятия Гракхов, а протест против раздачи хлеба шел против них.

[5] ... *два разряда эдилов...* – Курульные (первоначально только для патрициев) и народные (для плебеев); "курульное кресло" было знаком власти также и для преторов и консулов.

[6] ... *одного из рабов...* – Рабу было нечего делать при голосовании, поэтому и возникло предположение, что он раздавал взятки.

[7] ... *в его жизнеописании...* – Цез., 1.

[8] ... *еще мальчишкой...* – По Саллюстию ("Югуртинская война", 64), младшему Метеллу (будущему противнику Сертория) было в это время 20 лет, тогда как возрастной ценз для консульства был 43 года.

[9] ... *чужими изображениями...* – Восковыми масками предков, которые хранились в знатных домах.

[10] ... *в жизнеописании Суллы...* – Сул., 3.

[11] ... *отняли у этрусков...* – В 391 г., см. Кам., 15 сл.

[12] *Большинство полагало,* они принадлежат к германским племенам... – т.е. германцы – самостоятельная народность; другие – что это смесь северо-западных варваров, кельтов, с северо-восточными варварами, скифами; третьи (фантастически сближая имена "кимвры" и "киммерийцы") – что это потомки киммерийцев, доскифского населения Причерноморья.

[13]... *в "Вызывании теней"...* – "Одиссея", XI, 14–19: ... "Там киммериян печальная область, покрытая вечно Влажным туманом и мглой облаков; никогда не являет Оку людей там лица лучезарного Гелия... Ночь безотрадная там искони окружает живущих".

[14] ... *положенный срок со времени предыдущего консульства.* – 10 лет.

[15] ... *вопреки закону был избран консулом Сципион...* – Сципиону Младшему было в 147 г. 37 лет вместо положенных 43-х.

[16] ... *в день январских календ...* – 1 января 104 г.; Марий еще избирался консулом четыре раза подряд до 100 г. включительно.

[17] ... *в тоге с пурпурной каймой.* – Т.е. в обычной консульской одежде, тогда как триумфатор надевал тогу, вышитую золотом.

[18] ... *другие сведения...* – Ливий (эпитома 68) называет 200 тыс. убитых и 90 тыс. пленных, Веллей Патеркул (II, 12) – 150 тыс. убитых.

[19] ... *поклявшись на медном быке...* – Возможно, что медный бык был у кимвров военным знаменем, как у римских легионов – серебряный орел (комм. С.П. Маркиша).

[20] *Передают, что и сам Катул говорил...* (ср. и ниже, гл. 26, конец). – Т.е., по-видимому, Плутарх знал записки Катула (на латинском языке) только из вторых рук, тогда как записки Суллы (на греческом языке) читал сам.

[21] ... *в третий день перед календами месяца секстилия...* – 30 июля 101 г. (по доюлианскому календарю).

[22] ... *уважение к власти Мария...* – Марий командовал как консул текущего 101 г., *Катул* – как бывший консул минувшего 102 г.

[23] ... *третьим основателем города...* – После Ромула и Камилла.

[24] ... *тысяча камерийцев...* – Из Камерии, сабинского города в Лации.

[25] *... по трибам...* – По 35 римским избирательным округам.

[26] *... закон о земле...* – Закон продолжал политику Гракхов: предлагался раздел (между ветеранами Мария) земель в Африке и Предальпийской Галлии, несмотря на то, что галлы были союзниками римского народа.

[27] *... толстая шея...* – Это считалось признаком высокомерия и гордыни.

[28] *... лишили Метелла огня и воды...* – Римская формула изгнания. Метелл покинул Рим, не дожидаясь законного приговора.

[29] *... в его жизнеописании...* – Биография Метелла в “Сравнительные жизнеописания” не входила и до нас не дошла.

[30] *... Марий вывел... вооруженных воинов...* – Главция, товарищ Сатурнина, стал вооруженной силой добиваться консульства на следующий, 99 г., сенат объявил военное положение (“пусть консулы примут меры, чтобы республика не потерпела ущерба”) и Марий произвел жестокую расправу над своими прежними союзниками.

[31] *... одержал большую победу...* – В 90 г. в области марсов; но и ее успех был приписан Сулле, отрезавшему путь неприятелю.

[32] *напал ... на консулов...* (Суллу и Кв. Помпея Руфа) – Сульпиций предложил амнистию сторонникам Сатурнина, чистку сената и такое перераспределение граждан по трибам, которое обеспечило бы при голосованиях большинство за врагами сенатской олигархии. Консулы в ответ на это объявили “неприсутственные дни” – приостановили все дела в государстве. Нападение на консулов и было следствием этой меры.

[33] *... к войску...* – Собранному для войны с Митридатом и стоявшему в Кампании.

[34] *... обвинил ее в прелюбодеянии...* – Если причиной развода было прелюбодеяние жены, муж имел право удержать за собой часть приданого, которое в остальных случаях подлежало возврату целиком.

[35] *... к штрафу в четыре медных монеты...* – Штраф был чисто символическим, главной карой было сопряженное с ним бесчестье, т.е. поражение в некоторых гражданских правах.

[36] *Марика* – местная италийская нимфа.

[37] *... между консулами...* – Консулы 87 г. – Гн. Октавий, сторонник сената, и Корнелий Цинна, сторонник Мария и убитого Сульпиция.

[38] *Бардиеями* – искаженное название одного из иллирийских племен.

[39] *Даже в отсутствие льва... его логово людям ужасно.* – Сентенция неизвестного автора.

[40] *... о делах своего посольства...* – Цель посольства Посидония с Родоса неизвестна. Посидонию принадлежала (несохранившаяся) история Рима и Средиземноморья конца II – начала I в., т.е. как раз времени первых гражданских войн.

[41] *... на семнадцатый день...* – 17 января 82 г.

ЛИСАНДР И СУЛЛА

ЛИСАНДР

[1] *На сокровищнице аканфийцев в Дельфах...* – Т.е. на часовне, где хранились приношения, сделанные Аполлону Дельфийскому в разные времена жителями города Аканфа в Халкидике, в 423 г. перешедшего от Афин к Брасиду.

[2] *... рассказы о том, что аргивяне...* – Геродот, I, 82 (о борьбе Аргоса и Спарты за Фирею в VI в.).

[3] *Бакхиады* – знатный коринфский род, правивший Коринфом в VIII–VII вв. и изгнанный Кипселом.

[4] *Ликургово предписание* – см.: Лик., 22.

[5] *Аристотель говорит...* – пс. Аристотель, “Проблемы”, 30.

[6] *... власти десяти...* (декархии) – Организация олигархической власти, насаждавшаяся спартанцами в Ионии; потом по этому образцу была организована “тирания Тридцати” в Афинах.

[7] *Наварх* – командующий флотом.

[8] *... львиная шкура...* – Неизменное облачение Геракла.

[9] *Агиду* – Агид II командовал спартанским гарнизоном в Декелии, державшим под контролем центральную Аттику (см.: Алк., 23, 34).

[10] *Пятнадцать стадий* – менее 3 км.

[11] ... *кроме "Парала"*... – см. примеч. к Фем., 7.

[12] *Диоскуры* – Кастор и Поллукс, впоследствии отождествленные с созвездием Близнецов, считались героями-хранителями Спарты.

[13] *Эгинцы* – Жители Эгины были выселены афинянами в 431 г., жители острова Мелоса – в 416 г., а фракийской Скионы – в 421 г., и земли их были заняты афинскими поселенцами.

[14] ... *морской бой при Саламине*... – Кипрском: эта последняя битва греко-персидских войн (449 г., см.: Ким., 18–19) отмечалась ежегодно как праздник "Мунихии".

[15] ... *из "Электры" Эврипида*... – ст. 167–168: микенские девушки навещают царевну Электру, выданную за бедного крестьянина, и сочувствуют горькой перемене в ее судьбе.

[16] ... *в Керамике*... – "Гончарный квартал" в Афинах: намек на черепичную кровлю (keramos) домов.

[17] ... *название обола*... – Действительно, родственно слову obelos "вертел", а "драхма" означает "горсть", "охват".

[18] ... *в другом нашем сочинении*. – вероятно, Лик., 30.

[19] ... *Объявит себя... Лисандровым*... – Т.е. публично посвятит ему свою победу.

[20] ... *об Алкивиаде*... – Алк., 16.

[21] ... *с критянином по-критски*... – см. ЭмП., примеч. 32.

[22] *Хитрец Лаэрта сын, но ведь не он один*... – стих (об Одиссее) из несохранившейся трагедии Эврипида "Телеф".

[23] ... *в Африку*... – Храм и оракул египетского бога Аммона, которого греки отождествляли с Зевсом, находился в оазисе среди Ливийской пустыни; ср. Ал., 26–27.

[24] ... *афиняне из Филы*... – Фрасибул и другие изгнанники-демократы, бежавшие в Фивы, затем захватившие аттическую крепость Филу (см. ниже, 27), а потом и всю Аттику. После нескольких месяцев борьбы между демократами, крайними и умеренными олигархами (в которой посредником был спартанский царь Павсаний), демократия в Афинах была восстановлена.

[25] ... *раздатчик мяса*... – Т.е. начальник интендантской службы. Должность эта сама по себе была ответственной и почетной (*Плутарх*. Застольные беседы, II, 10), но в глазах боевых военачальников унизительна.

[26] ... *вроде театральной машины*... – Такой, с помощью которой в вышине над сценой появлялись боги.

[27] ... *додонских жриц*... – Т.е. Лисандр сперва хотел подкупить древний оракул Зевса в Додоне, потом оракул Аммона в Ливии, и наконец, дельфийский оракул Аполлона.

[28] ... *одного историка*... – По-видимому, Эфора.

[29] ... *сбросили жертвы... в Авлиде*... – При отплытии Агесилая в 396 г., см.: Агес., 6. Поводом к Коринфской войне послужил пограничный спор между Локридой Озольской, союзной с Фивами, и Фокидой, союзной с Лакедемоном.

[30] ... *Геракла и Диониса*... – Эти боги особо чтились в Фивах (где они будто бы родились) и считались покровителями и заступниками слабых и гонимых.

[31] ... *Лисандр... выступил через Фокиду*... – переправившись туда через Коринфский залив.

[32] *Стиракс* – дерево, дающее благовонную смолу.

[33] *Радамант* – сын Зевса, ставший в подземном царстве судьею мертвых; по местному беотийскому мифу, он бежал сюда от своего брата Миноса Критского и женился на Алкмене, матери Геракла (Аполлодор, II, 4, 11).

[34] *В Исмении* – храм Аполлона Исмения с оракулом находился на южной окраине Фив.

[35] ... *наказание не только за безразличие*... – см. Лик., 15.

СУЛЛА

[1] *Эвпатридов* – так называлась родовая аристократия в Афинах (букв. "от хороших отцов", как и латинское слово "патриции").

[2] *Руфин* – прапрадед Суллы, был дважды консулом (290 и 277 г.); Руф Сулла, прадед, и Сулла, дед – только преторами (218 и 186 г.); а отец, Л. Сулла, не поднялся и до преторства.

[3] *... после африканского похода...* - Т.е. югуртинской войны, на которой богатели все полководцы.

[4] *Прозвище* – ср. Гай, 11; такое значение слова "Сулла" в латинском языке неизвестно, обычно его производят от sura (икра ноги) – уменьшительное surula – *surla–sulla.

[5] *... нумидийского царя...* – Обмолвка: Бокх был царем Мавритании (н. Марокко), а не Нумидии (н. Алжир).

[6] *Тектосаги* – южногалльское племя, союзное с вторгшимися кимврами и тевтонами; *марсы* – германское племя, в I в. н.э. жившее за средним Рейном.

[7] *Эврипид* – "Финикиянки", 531 сл. (слова Иокасты ее сыну Этеоклу).

[8] *... травли... зверей...* – Ее Сулла устроил для народа, когда добился претуры в 93 г.; кроме зверей, он привез из Африки охотников и впервые в Риме травил зверей, не привязанных к столбам, а свободных, как на настоящей охоте (Плиний, VIII, 16, 20).

[9] *... в Каппадокию...* – За эту страну боролись вифинский царь Никомед и понтийский царь Митридат, агентом которого был Гордий; Рим взялся разрешить конфликт, объявил Каппадокию независимой от обоих и посадил там своего ставленника Ариобарзана.

[10] *Халдей* – так греки и римляне называли восточных ученых и предсказателей (по названию народа, владевшего в VI в. Вавилонией).

[11] *Метелл* (впоследствии воевавший против Сертория в Испании) – приходился двоюродным братом жене Суллы и был вместе с ним консулом в 80 г.

[12] *Лаверна* – италийская богиня воров; место ее культа в вулканической зоне Апеннин точно не известно.

[13] *Тит* – Ливий, кн. 77 (не сохранилась). Метелла славилась своим дурным нравом.

[14] Ниже – гл. 13.

[15] *... кругом большого года...* – У гадателей так назывался срок жизни одного поколения, определяемый по возрасту самого долговечного человека этого поколения: так, по счету этрусков, семь "больших лет" их истории длились 100, 100, 100, 100, 123, 119 и 119 лет, в I в. до н.э. шло восьмое поколение, а после десятого должен был прийти "конец даже имени этрусков" (Цензорин, 17,5, по Варрону).

[16] *... в самых гнусных пороках...* – Эта характеристика Сульпиция Руфа явно заимствована Плутархом из "Воспоминаний" Суллы или другого столь же враждебного источника, а более мягкая в "Марии", 34–35, – из марианских авторов.

[17] *... у храма Диоскуров...* – Этот храм на форуме (развалины которого сохранились) часто был местом заседаний сената, а народные сходки созывались перед ним.

[18] *... ликторские розги...* – Свита претора состояла из 6 ликторов.

[19] *... богиня... каппадокийцев...* – Великая Матерь с ее кровавым оргиастическим культом.

[20] *Пикты* – почтовая станция в 40 км от Рима по юго-восточной Латинской дороге, за Эсквилинскими воротами.

[21] *Храм Земли* – по дороге от взятого Суллой Эсквилина к Палатину и Капитолию; здесь тоже часто собирался сенат.

[22] *Верхний город* – Афины, в отличие от приморского Пирея.

[23] *Академия* – в роще к северу от Афин (о ней см. Тес., 32) и *Ликей* – в парке к востоку от Афин славились как философские школы, первая – последователей Платона, вторая – последователей Аристотеля.

[24] *Эпидавр* – в этом городе находился знаменитый и богатый храм бога врачевания Асклепия. *Олимпия* с ее храмом Зевса еще ни разу не была разграблена и дала Сулле больше всего средств.

[25] *... царских пожертвований...* Речь идет о пожертвованиях Креза Лидийского (560–546), имя которого стало нарицательным. Из четырех серебряных бочек, им подаренных (Геродот, I, 51) три уже были похищены во время Священной войны 356–346 гг.

[26] *Убийцею Флакка.* – См. Мар., 42 и ниже Сул., 23.

[27] *Лекифы* – сосуды для масла, иногда изготовлявшиеся из кожи.

[28] ... *священная лампада богини...* – См.: Нума, 9; эта лампада горела на акрополе в Эрехтейоне и наполнялась маслом только раз в год (Павсаний, I, 26,7).

[29] ... *между Пирейскими и Священными воротами...* На протяжении свыше 300 м.

[30] *Потоп* – мифический потоп, из которого спасся лишь герой Девкалион; расселину, в которую ушли воды этого потопа, показывали за восточной стеной Афин, и в новолуние анфестериона там приносили жертвы (Павсаний, I, 18).

[31] ... *арсенал Филона...* (нач. III в.) – Морской арсенал, вмещавший до тысячи боевых судов.

[32] ... *наш земляк Кафис...* – Кафис был фокейцем (фокидянином), а Херонея, родина Плутарха, стояла в получасе пути от границы Фокиды, родины Кафиса.

[33] *Обманув варваров...* – Вероятно, Гортензий должен был пройти через Фермопилы, но Кафис провел его горными тропами юго-западнее. *Титора* – одна из вершин Парнасского кряжа, где фокидяне укрывались от персов в 480 г. *Патронида* – город в Фокиде.

[34] ... *разорили Лебадию, ограбив святилище...* – Знаменитый подземный оракул Трофония.

[35] *Парапотамии* были разрушены Ксерксом в 480 г. и вторично македонянами ок. 346 г.

[36] *Корова* – согласно мифу, финикийский царевич Кадм был послан искать свою сестру Европу, похищенную Зевсом, но Аполлон велел ему вместо этого идти следом за встреченной коровой и там, где она ляжет, основать город; так были основаны Фивы.

[37] *Сариссы* – длинные копья (2 м у первой шеренги, до 6 м у следующих шеренг), которыми была вооружена фаланга македонского образца.

[38] ... *на Сатурналиях...* – Во время этого римского праздника солнцеворота, 17–21 декабря, в память о золотом веке всеобщего равенства при боге Сатурне рабы получали на один день "карнавальную" свободу, и господа им прислуживали.

[39] *Венеры* – как богини удачи; самый удачный бросок в игре в кости назывался по-латыни Венерой.

[40] ... *непримиримую вражду...* – За поддержку Архелая.

[41] *Императора* – слово это первоначально было почетным титулом победоносного полководца.

[42] *Озеро* – большое озеро Копаида, окруженное болотами, куда возле Орхомена впадал Кефис; ныне оно осушено.

[43] ... *погубил столько римлян...* – Когда по приказанию Митридата (в начале войны, 88 г.) по всей Малой Азии было перебито множество римлян и италиков (более 80 тыс. за один день в одной Вифинии).

[44] *Азию... покарал...* – За поддержку Митридата; с самого Митридата Сулла взял вдесятеро меньше (гл. 22). Оставшиеся верными Риму общины (напр., Родос) были щедро награждены.

[45] ... *в таинства...* – В Элевсинские мистерии. Это был такой же жест внимания к греческой культуре, как и приобретение сочинений Аристотеля и Феофраста. Сочинения Аристотеля делились на "эксотерические" (для широкого читателя) и "эсотерические" (для наследников Аристотеля по философской школе): эти последние постепенно были забыты, и конфискация Суллы вернула им известность: до нас дошли (частично) только они, а эксотерические, славившиеся в древности, не дошли.

[46] *Страбон* – в сохранившейся "Географии" его таких слов нет; видимо, они – из несохранившихся "Исторических записок" Страбона.

[47] *Эдепс* – на Эвбее славился целебными тепловыми источниками.

[48] ... *не разбрелись по своим городам.* – Вернувшись из похода и вступив в Италию, римский полководец должен был распускать свое войско, но Сулла не собирался этого делать.

[49] ... *четырьмястами пятьюдесятью когортами...* – Т.е., по полному набору, 225 тыс. человек (45 легионов) против 40 тыс. человек (5 легионов с вспомогательными войсками) у Суллы – контраст явно преувеличенный. Среди "пятнадцати неприятельских полководцев" были консулы Сципион и Норбан, Марий Младший, Серторий и др. вплоть до Телезина (гл. 29).

[50] *Тифата* – гора в Апеннинах к северу от Капуи; битва Суллы с Норбаном была между Тифатой и Капуей.

[51] ... *по словам Суллы...* – В его автобиографических "Записках" (на греческом языке), главном источнике Плутарха.

[52] ... *накануне...* (...*июльских*) *нон* – 6 июля 83 г. (по доюлианскому календарю); храм Юпитера Капитолийского, главная римская святыня, сгорел по невыясненным причинам, и это было сочтено знаком падения республики.

[53] *... до коллинских ворот...* – Северные ворота Рима, за которые вела дорога в Самний; отсюда пытались брать Рим и галлы, и Ганнибал, и сам Сулла в 88 г.

[54] *... девятый час дня...* (считая от рассвета) – Т.е. ок. 3 часов пополудни.

[55] *Антемна* – городок в нескольких километрах к северу от Рима; здесь погиб Телезин и другие италики-марианцы.

[56] *... у цирка...* – Фламиниев цирк на Марсовом поле близ храма Беллоны, богини войны.

[57] *Список* – по-латыни, "проскрипцию". По подсчетам историков, только в Риме погибли при Марии ок. 50 сенаторов и 1000 всадников, при Сулле – ок. 40 сенаторов и 1000 всадников.

[58] *... альбанское имение.* – В Лации было несколько местностей, называвшихся Альба.

[59] *... к находившемуся поблизости храму Аполлона...* – Т.е. поблизости от Марсова поля, где велся учет проскрипциям. Перед храмами стояли сосуды с освященной (погружением факела, зажженного от алтаря) водой для омовения всех входящих.

[60] *... ста двадцати лет...* – с 202 г., когда в последний раз был назначен диктатор (Г. Сервилий Гемин) – только чтобы провести консульские выборы в отсутствие должностных лиц.

[61] *... Лепида впереди Катула...* – Т.е. благодаря Помпею, Лепид получил на выборах больше голосов, чем Катул.

[62] *Геркулесу* – чтившемуся как податель богатств. В "Римских вопросах", 15, Плутарх обсуждает, "почему многие богатые люди посвящают Геркулесу десятую часть имущества".

[63] *... осквернять свой дом похоронами...* – Сулла был понтификом и не имел права общаться с умирающими и мертвыми.

[64] *... сестрою оратору Гортензию...* – Ошибка: сестра Гортензия была замужем за Валерием Мессалой, родственником Валерии.

[65] *... вшивая болезнь...* (фтириазис). – Болезнь, при которой тело разлагается заживо, не раз упоминается античными авторами, но точному отождествлению не поддается. По последующему описанию, Сулла умер естественной смертью от разрыва кровеносных сосудов. *Акаст* – мифический царь Иолка, сын Пелия.

[66] *Дикеархия* – греческое название кампанского города Путеолы, близ которого находилось имение Суллы.

[67] *... на Марсовом поле...* – Где хоронили только царей (подчеркивает Аппиан, I, 106, в подробном описании этих великолепных похорон).

[68] *Часто при распрях почет достается в удел негодяю.* – Анонимный гексаметр-пословица (ср.: Ник., 11; Ал., 53).

[69] *И у Помпея* – см.: Пом., 13. О столкновении Суллы с Долабеллой ничего не известно.

[70] *Хоть дома – львы, да в поле лисы хитрые...* (пер. С.А. Ошерова) – Пословица, перефразируемая Аристофаном, "Мир", 1189. Смысл: дома спартанцы блюдут простоту нравов, но за рубежом купаются в роскоши.

[71] *Саллюстий* – в I книге "Истории" (не сохранилась).

[72] *Кир или Эпаминонд* – оба они погибли от ран, полученных в самом конце уже выигранных битв при Кунаксе и Мантинее.

[73] *Бесчестным плутом... был, да острым на язык.* – Стих неизвестного автора.

КИМОН И ЛУКУЛЛ

КИМОН

[1] *Прорицатель Перипольт* – местный херонейский герой, связанный с малоизвестными преданиями о "переселении эолян" из Фессалии в Беотию вслед за "переселением дорян" из Средней Греции в Пелопоннес (традиционная дата – XI в.).

[2] *... нашествие мидян и борьба с галлами.* – Нашествие мидян – Греко-персидские войны; борьба с галлами – 279–275 гг.

[3] *... проходил... Лукулл.* – В 86–85 гг., в войне с Митридатом.

[4] *... еще не посылали наместников...* – С 146 г. Греция считалась частью провинции Македонии, и только с 27 г. стала отдельной провинцией ("Ахайей") с отдельным наместником в Коринфе.

[5] ... *походов Геракла...* – На запад, к "Геркулесовым столбам"; *Диониса* – на восток, в сказочную Индию; *Персея* – на юг, где он спас Андромеду, дочь эфиопского царя, и в землю мидян, где от него повели начало персы; *Ясона* – в Колхиду, на самом северном из известных грекам морей.

[6] ... *к штрафу...* – В возмещение издержек неудачного похода 489 г. против острова Пароса. После его смерти штраф должны были выплатить дети; для этого им дал денег Каллий (ниже, гл. 4).

[7] *Коалемом* – Т.е. "глупцом".

[8] *И груб и прост, но в подвигах велик...* – Стих из несохранившейся трагедии Эврипида "Ликимний".

[9] ... *в Писианактовом портике...* – В V в. он был расписан фресками Полигнота и получил название Расписного (или Пестрого); он дал имя школе стоиков. *Лаодика* – одна из дочерей Приама.

[10] *В сражении* – при Саламине.

[11] *Подчинялись Павсанию...* – см.: Ар. 23; Фем., 23.

[12] ... *героический стих...* – Гексаметр, размер героического эпоса.

[13] ... *в гераклейском прорицалище мертвых...* – Гераклея Понтийская лежала в устье реки, называвшейся, как река в царстве мертвых, Ахеронтом; поэтому здесь было и прорицалище, где вызывали души умерших.

[14] *Менесфей* – правитель Афин и вождь афинян в троянской войне ("Илиада", II, 253): см. Тес., 32.

[15] *Четырехсот лет* – обмолвка: от легендарной датировки Тесея до V в. тело его "пролежало" на Скиросе ок. 800 лет.

[16] *И я молил... / Покинул первым свет.* – Пер. С.А. Ошерова.

[17] *Гимнопедии* – спартанский праздник в честь Аполлона, с гимнастическими и музыкальными состязаниями.

[18] ... *древних афинян...* – Намек на миф об элевсинском Триптолеме, воспитаннике Деметры, учившем людей хлебопашеству.

[19] *Пританей* – здание на городской площади, где получали бесплатный обед должностные лица и почетные граждане.

[20] ... *времена Кроноса...* (бога, царившего над миром до Зевса) – Сказочный золотой век равенства и изобилия.

[21] ... *соединил палубы мостками...* – Триеры Фемистокла имели палубный настил для воинов только на носу и на корме, теперь же на переброшенных Кимоном мостках они могли размещаться вдоль всего борта.

[22] ... *тот знаменитый договор...* Ласточкины острова... – Договор, завершивший греко-персидские войны, если и не является плодом патриотической фантазии историков, то был заключен не после Эвримедонта (мнимый "Кимонов мир"), а в 449 г. после битвы при Саламине Кипрском ("Каллиев мир"). *Темные скалы,* выход из Боспора в Черное море (название – из мифа об аргонавтах), и *Ласточкины острова* у берегов Ликии – восточные границы Эгейского бассейна.

[23] *Клейторянки* – из североаркадского города Клейтора.

[24] *Аристофан... в комедии...* – "Лисистрата", 1138 сл.

[25] ... *к клеонянам и мегарянам...* – Клеоны (между Коринфом и Аргосом) были захвачены Коринфом в 460-х годах, Мегары постоянно враждовали с Коринфом.

[26] ... *вызвали из изгнания Кимона...* – Это, как и весь рассказ о появлении Кимона при Танагре, – олигархическая легенда; в действительности Кимон пробыл в изгнании весь десятилетний срок 461–451 гг. (битва при Танагре – 457 г.).

ЛУКУЛЛ

[1] *Дед Лукулла...* – Тоже Луций Лициний Лукулл, первый в своем роду был консулом в 151 г.; отец Лукулла был наместником Сицилии в 102 г. (во время восстания рабов), там проворовался и был наказан изгнанием.

[2] ... *описание своих деяний...* Сулла составил его на греческом языке, поэтому Плутарх очень широко им пользовался.

[3] *Как моря гладь мутит тунец стремительный...* – Стих из неизвестной трагедии.

[4] *Вольной* (*досужей*) – т.е. достойной свободного человека, которому не приходится своими знаниями зарабатывать на жизнь. Лукуллу посвятил Цицерон один из своих философских диалогов ("Академика").

[5] *... с Манием.* – Аквилием, консулом 101 г. (подавителем сицилийского восстания рабов); разбитый Митридатом, он бежал в Митилены, был выдан Митридату и казнен им.

[6] *... около сто семьдесят шестой олимпиады...* – В 76–73 гг. (консульство Лукулла и Котты – 74 г.). Счет лет по олимпиадам иногда использовался греческими историками (с III в.) для удобства хронологии, но никогда не употреблялся в государственных документах.

[7] *Помпеем в Испании* – в войне с Серторием.

[8] *... праздник Феррефаттий...* – В честь Персефоны-Ферсефаты, которая считалась богинейхранительницей Кизика. Подземным богам приносили в жертву животных темной масти.

[9] *... на трубача понтийского флейтиста ливийского.* – Т.е. против северного ветра – южный (в буквальном и переносном смысле: Митридат и Лукулл наступали с севера и с юга).

[10] *... утверждение Саллюстия...* – История, отр. III, 42.

[11] *Артемида Приапская* – чтимая в Приапе, городе на Пропонтиде близ устья Граника.

[12] *... Мнимую свободу...* – Т.е. сделать его из свободного человека рабом, а из раба вольноотпущенником.

[13] *... на "кобыле"...* – Это было горизонтальное бревно, на котором пытаемому растягивали конечности.

[14] *... ссуду более одного процента...* – В месяц, т.е. 12% годовых: высшая норма процентов, признаваемая римскими законами.

[15] *"При Дафне"* – так назывался знаменитый пригород-парк, по которому Антиохию – столицу Сирийского царства отличали от других многочисленных Антиохий.

[16] *Первый орел* – легионное знамя.

[17] *... канун октябрьских нон* – 6 октября 69 г.

[18] *... по словам Ливия...* – в 98 (несохранившейся) книге "Истории".

[19] *... Саллюстий утверждает...* – "История", отр. V, 10.

[20] *... на этом и остановился.* – Т.е. не вредил бы своей популярности противодействием делу Гракхов.

[21] *... круг побед...* – Как у греческих атлетов, которые, победив на Немейских, Истмийских, Пифийских и, наконец, Олимпийских играх, уже не знали более высокой славы.

[22] *... в древней комедии...* – у Аристофана и его современников, где основная часть комедии служила агитации на политические темы, а концовка, по фольклорной обрядовой традиции, посвящалась празднику и пиру.

[23] *"Ксерксом в тоге".* – Т.е. превращал сушу в море и море в сушу (намек на Афонский канал и мост через Геллеспонт).

[24] *... поэт Флакк... – Гораций.* Послания, I, 6, 40–46; ср. КМл. 19.

[25] *"Лукулл"* – II книга сочинения "Академика".

[26] *... Помпей прибег к поддержке...* – См. Пом., 47 сл. и Цез., 13–14 (в 59 г.).

[27] *По утверждению Корнелия Непота...* – Его биография Лукулла (из сборника "О знаменитых людях") до нас не дошла.

[28] *... высмеивает Платон...* – "Государство", II, 363 c.

[29] *В панкратии* – "всеборье", сочетание борьбы с кулачным боем, часть всех греческих состязаний.

[30] *... как говорит Платон...* – Горгий, 516d.

НИКИЙ И КРАСС

НИКИЙ

[1] ... *изложенных у Фукидида...* В VI–VII книгах: Фукидид был главным источником Плутарха для этой биографии.

[2] ... *по слову Пиндара...* – Этот отрывок (из неизвестной оды) и остальные неоговоренные стихотворные цитаты в этой биографии переведены М.Л. Гаспаровым.

[3] ... *носящий имя победы...* – Никий от nikē – "победа".

[4] ... *Геракл, видимо, помогал сиракузянам... гневался на афинян... разрушил Трою...* – Геракл был врагом троянцев (которые его обманули и чей город он разрушил в "первой троянской войне" против царя Лаомедонта) и другом сицилийцев (покровительница которых Персефона, дочь Деметры, подземная царица, помогла ему добыть подземного пса Кербера); афиняне, наоборот, шли на сицилийцев войной по приглашению жителей Эгесты, потомков троянцев.

[5] ... *словами Аристотеля...* – "Афинская полития", 28,5.

[6] *Котурном* – т.е. Сапогом на обе ноги.

[7] *Обхаживая старца и доход суля.* – Стих из неизвестной комедии.

[8] ... *на священном участке Диониса...* – Рядом с театром Диониса под южным склоном Акрополя.

[9] ... *в честь бога...* – На Делосе, родине Аполлона, справлялись каждый четвертый год всеионийские празднества в день рождения бога. Никий был главой афинского "священного посольства" в 417 г.

[10] *По словам Фукидида* – VII, 50.

[11] ... *родился... из кошелька.* – Т.е. получил права гражданства за взятку.

[12] *У Аристофана* – "Всадники", 358 (пер. А. Пиотровского).

[13] *В стратегии* – здании военного совета.

[14] ... *словами Агамемнона...* – *Эврипид.* Ифигения в Авлиде, 449–450 (пер. М.Е. Грабарь-Пассек).

[15] ... *поражение от халкидян...* – В 429 г. (но Каллия тогда уже не было в живых), в Этолии – в 426 г., при Делии – в 424 г.

[16] ... *на новое место...* – Из сел в тесный город, см. Пер., 34.

[17] *Эгинцы* – в Фирее (на границе Лаконии и Арголиды) спартанцы поселили граждан Эгины, выселенных афинянами в 431 г.

[18] *Аристофан...* в "Птицах" – ст. 638–639 (пер А. Пиотровского); комедия "Земледельцы" не сохранилась.

[19] ... *много /Злаков рождает и добрых, целебных, и злых, ядовитых.* – "Одиссея", IV, 230.

[20] *Пусть копья лежат паутиной, как тканью обвиты...* – Стих из несохранившейся трагедии Эврипида "Эрехтей".

[21] ... *три девятилетия...* – Таково, по Фукидиду (V, 26), было многократное предсказание различных оракулов.

[22] *Панакта и Амфиполя* – пограничная крепость Панакт была возвращена Афинам, но совершенно разрушенной, Амфиполя спартанцы не вернули вовсе, афиняне же, в свою очередь, не вернули им Пилос.

[23] ... *сторонники беотийцев...* – Т.е. враги афинян.

[24] *Часто при распрях... почет достается в удел негодяю.* – Анонимный стих-пословица.

[25] *С тиранном* – Т.е. с Писистратом: остракизм был установлен именно как средство предотвращения тирании.

[26] *Каллипп... завладел Сиракузами.* – См.: Дион, 56–58.

[27] *Лето кончилось...* – Лето 415 г.

[28] *Эти мужи... волей богов.* – Пер. М.Е. Грабарь-Пассек.

[29] ... *переплыть пролив...* – Мессинский пролив между Италией и Сицилией.

[30] *На палку* (палочную – в буквальном смысле слова – дисциплину в спартанском войске) *и на плащ* (как бы мундир, простой и грубый) – ср. Лик., 30.

[31] ... *хитрость с завтраком...* – Хитрость состояла в том, что сиракузяне организовали для своих воинов рынок не в городе, а на берегу; поэтому в перерыв после утреннего боя их моряки поели бы-

стрей, чем афинские, и вышли на второй бой раньше и сильнее. ... *как пишет Фукидид...* – VII, 39–41.

32 *Флейтистов* – задававших флейтою темп гребцам.

33 *Лунное затмение* – 27 августа 413 г.

34 ... *низложил тиранна.* – См.: Дион, 24 сл.

35 ... *увели к себе...* – Для того чтобы потом продать в рабство.

36 ... *в жизнеописании Лисандра.* – Лис., 16.

КРАСС

1 *Красс, отец которого...* – П. Лициний Красс, был консулом 97 г., цензором 89 г., триумфатором (над испанскими лузитанами) 93 г., покончил самоубийством в гражданской войне 87 г.

2 ... *не называть богатым... целое войско.* – Это суждение Красса было очень популярно (Цицерон. Об обязанностях, I, 25 и др.): в богатстве виделось лишь средство к военной диктатуре.

3 ... *о возрасте Красса...* – Ему было около 30 лет.

4 ... *взятый в плен пиратами...* – См: Цез., 1–2.

5 *На горе* – имеется в виду Везувий.

6 ... *близ Салин...* – По-видимому, Геракловы Салины ("солеварни") между Геркуланумом и Помпеями.

7 ... *наказание воинов...* – Так называемая децимация ("выбор десятого"). Военно-уголовные законодательства европейских государств сохраняли децимацию в различных формах до середины прошлого века и даже позже; в России она была отменена лишь в 1868 г. (комм. С.П. Маркиша).

8 ... *восстание... едва затухшее...* – Два большие восстания рабов в Сицилии были в 135–131 и 104–100 гг.

9 ... *в триста стадиев...* – Т.е. 50,5 км поперек "носка" италийского "сапога".

10–11 ... *Лукулла из Фракии...*– М. Лукулл, брат Л. Лукулла, в 72 г. был наместником Македонии и вел войну в соседней Фракии.

12 ... *в жизнеописании Марцелла.* – Марц., 22.

13 ... *Цицерон...* – Ни названная речь, ни сочинение "О своем консульстве" не сохранились (ср.: Циц., 15). Причастность Красса и Цезаря к заговору Катилины представляется историкам несомненной.

14 ... влюбленный в свою жену... – Юлию, дочь Цезаря; в следующем, 54 г. она умерла.

15 ... *в двенадцатом часу...* – Т.е. в последнем часу дня.

16 ... *в Иераполе...* – Иераполь ("Священный город", местное название – Бамбика) был центром культа "Сирийской богини" Атаргатис (Деркето).

17 *Квестор Кассий* – будущий убийца Цезаря. После поражения Красса он два года руководил обороной Сирии от парфянского контрнаступления.

18 ... *через реку...* – Через Евфрат.

19 *Сурена* – не собственное имя (как, по-видимому, считает Плутарх), а титул главы самого могущественного после Арсакидов парфянского рода. Собственное имя сурены, поставившего на престол Орода II (Гирода) и правившего при нем, неизвестно.

20 ... *в болото...* – Текст оригинала искажен, и перевод не надежен.

21 ... *трудно сражаться ночью...* – Когда лучники не могут целиться.

22 "*Милетских рассказов*" – так назывался сборник эротических, фантастических и приключенческих новелл II в., переведенных на латинский язык Сизенною при Сулле; о нем можно судить по подражанию Апулея в "Метаморфозах" ("Золотом осле").

23 *Эзоп* – басня 266 П. (359 X.) о том, что каждый человек несет перед глазами суму, полную чужими пороками, а за спиной – свои собственные. *Сибарис* – греческий город в Италии; изнеженность его жителей ("сибаритов") вошла в пословицу.

24 *Скитала* – здесь: род змей.

25 .. *от милетских и ионийских гетер.* – т.е. от греческих жен в царских гаремах.

26 ... *из "Вакханок" Эврипида...* – ст. 1169–1171 и 1178–1179 с искажениями (пер. С.А. Ошерова): царица Агава в вакхическом исступлении убивает своего сына Пенфея, приняв его за дикого зверя, и вакханки несут его растерзанное тело как охотничий трофей.

[27] *... как Муммий – Метелла...* – Метелл ("Македонский") в 146 г. разбил силы Ахейского союза, восставшего против Рима, но лавры победы получили сменивший его консул Г. Муммий, разрушитель Коринфа.

[28] *Фемистокл* – См.: Фем., 6 и КМл., 20 сл.

[29] *Мелосцев* – неудачный поход Никия против острова Мелоса (426 г.) в жизнеописании не упомянут.

[30] *Он доблестен везде, где нет оружия.* – Стих неизвестного автора.

[31] *Катон советовал...* – См. Цез., 22 и КМл., 51.

[32] *... по слову Эврипида...* – "Финикиянки", 524.

[33] *... не Скандию, не Менду...* – Небольшие города на Кифере и в Халкидике, завоеванные Никием.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПЛУТАРХ

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ
ЖИЗНЕОПИСАНИЯ

Том I

Утверждено к печати
Редколлегией серии
"Литературные памятники"

Руководитель фирмы "Наука–Культура"

А.И. Кучинская

Редактор издательства
Н.А. Алпатова

Художник
С.Б. Генкина

Художественный редактор
Н.Н. Михайлова

Технический редактор
Н.Н. Кокина

Корректоры:
А.Б. Васильев, Р.В. Молоканова, Е.Л. Сысоева

Набор выполнен в издательстве
на компьютерной технике

ИБ № 268

ЛР № 020297 от 27 ноября 1991 г.

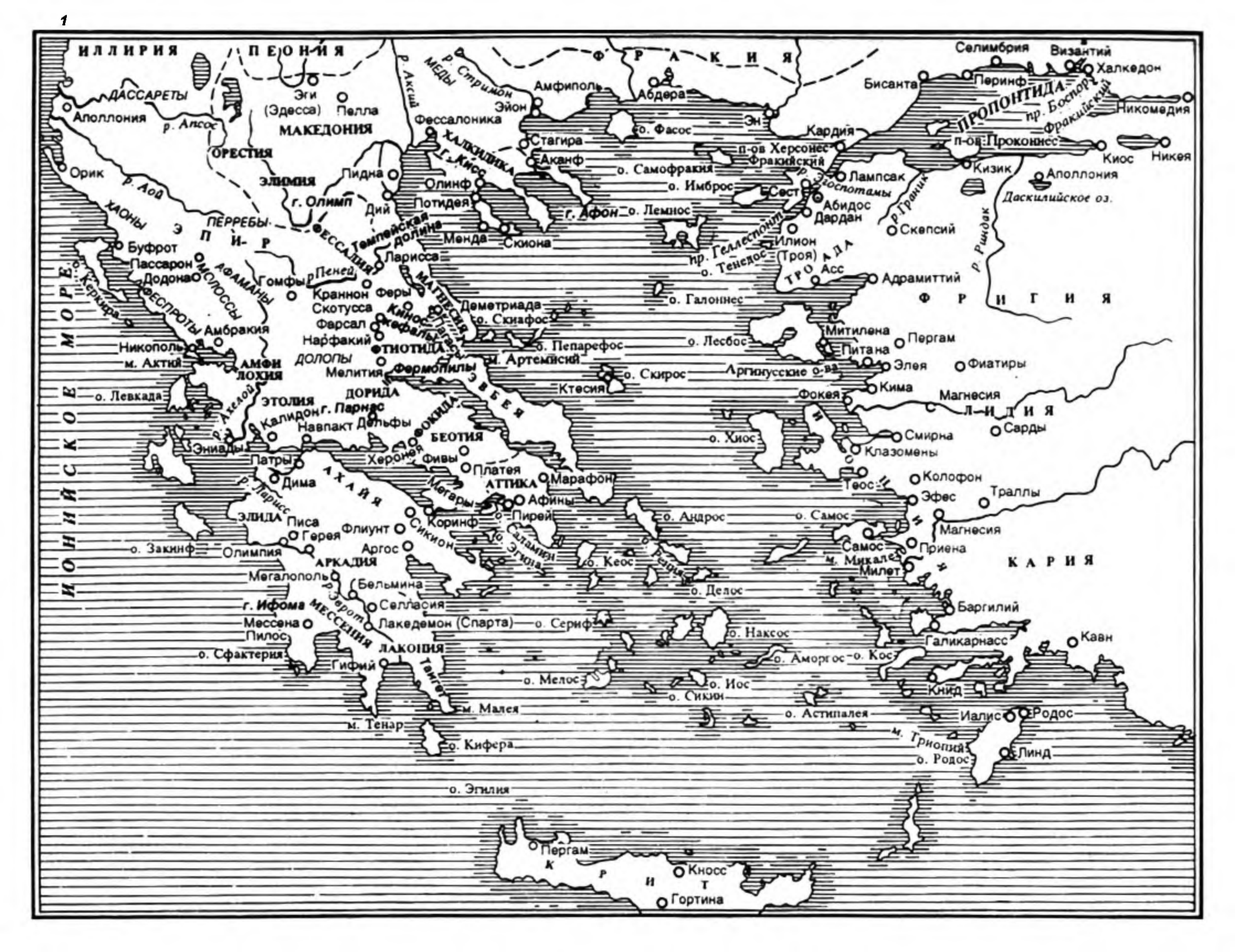
Сдано в набор 25.10.93
Подписано к печати 14.01.94
Формат 70 × 90 1/16
Гарнитура таймс
Печать офсетная
Усл. печ. л. 51,48. Усл. кр. отт. 52,65
Уч.-изд. л. 57,3
Тираж 10000 экз. Тип зак. 856

Ордена Трудового Красного Знамени
Издательство "Наука"
117864 ГСП-7, Москва, В-485,
Профсоюзная ул., 90

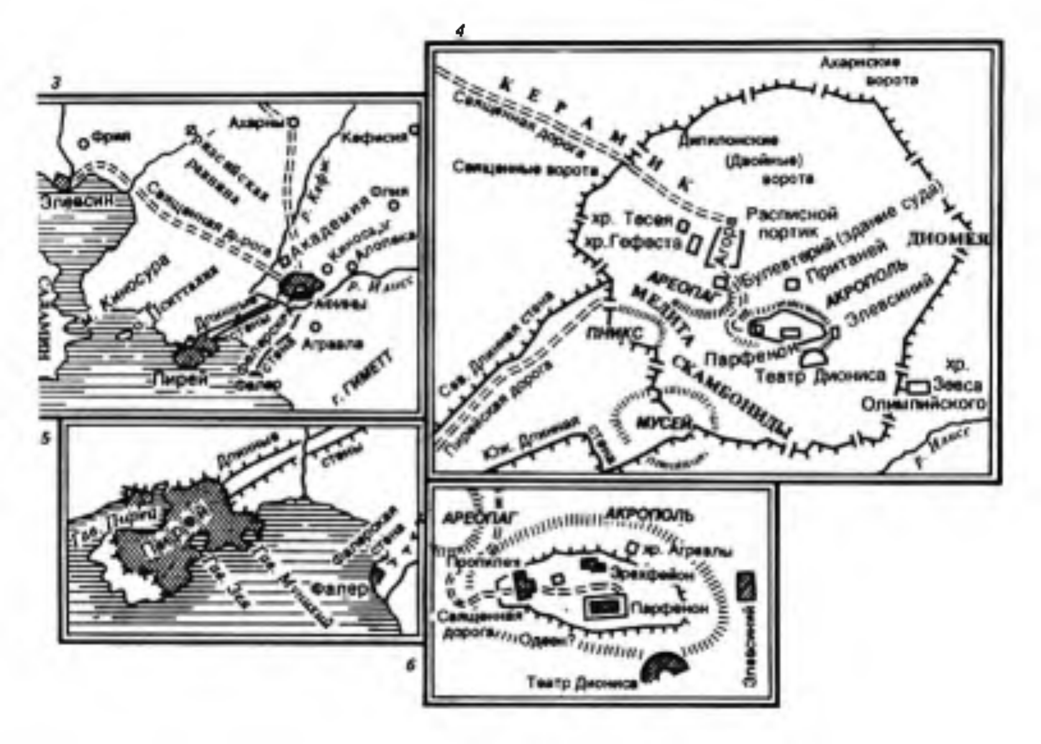
Московская типография № 2
ВО "Наука"
121099, Москва, Г-99,
Шубинский пер., 6

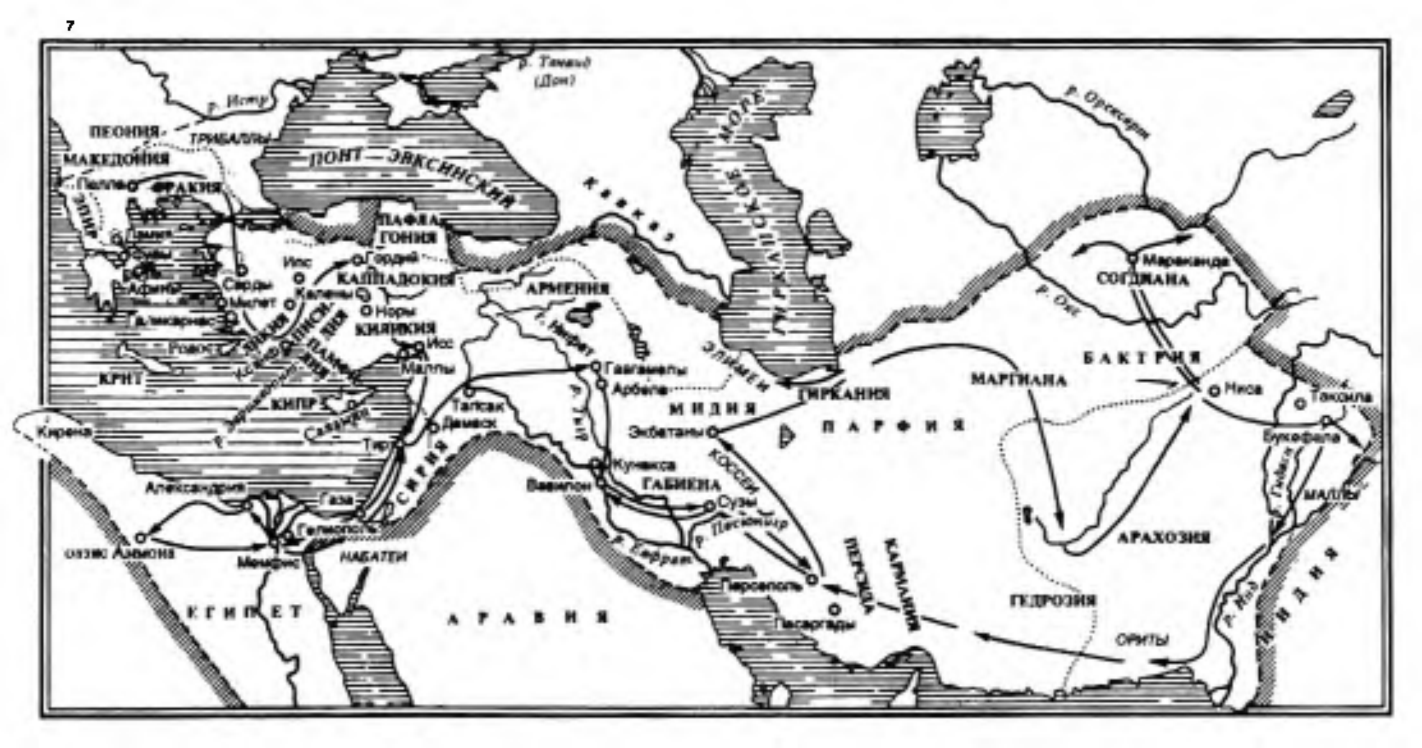
КАРТЫ

1


ИЛЛИРИЯ
ПЕОНИЯ
ФРАКИЯ
Селимбрия
Византий
Халкедон
Эги
(Эдесса)
Пелла
р. Аксий
МЕДЫ
р. Стримон
Амфиполь
Абдера
Бисанта
Перинф
ПРОПОНТИДА
пр. Боспор Фракийский
Никомедия
ДАССАРЕТЫ
Аполлония
р. Апсос
МАКЕДОНИЯ
Эйон
Фессалоника
Эн
о. Фасос
Кардия
п-ов Проконнес
Киос
Никея
ОРЕСТИЯ
ХАЛКИДИКА
г. Кисс
Стагира
Аканф
п-ов Херсонес Фракийский
Орик
р. Аой
ЭЛИМИЯ
Пидна
Олинф
о. Самофракия
Лампсак
Кизик
Аполлония
г. Олимп
Потидея
о. Имброс
Сест
р. Эгоспотамы
Абидос
Даскилийское оз.
ХАОНЫ
ПЕРРЕБЫ
Дий
г. Афон
о. Лемнос
Дардан
р. Граник
ЭПИР
Темпейская долина
Менда
Скиона
Илион
(Троя)
Скепсий
р. Риндак
Буфрот
ФЕССАЛИЯ
Лариса
пр. Геллеспонт
о. Тенедос
ТРОАДА
Пассарон
Додона
МОЛОССЫ
АФАМАНЫ
р. Пеней
Гомфы
МАГНЕСИЯ
Асс
Адрамиттий
ИОНИЙСКОЕ МОРЕ
Керкира
ФЕСПРОТЫ
Краннон
Феры
о. Галоннес
ФРИГИЯ
Скотусса
Деметриада
Амбракия
Фарсал
Кинос-кефалы
о. Скиафос
Митилена
Наффакий
Пагасы
о. Пепарефос
о. Лесбос
Пергам
Никополь
ФТИОТИДА
Питана
м. Актий
АМФИЛОХИЯ
ДОЛОПЫ
м. Артемисий
Элея
Фиатиры
Мелития
Фермопилы
о. Скирос
Аргинусские о-ва
о. Левкада
ДОРИДА
Ктесия
Кима
ЭТОЛИЯ
ЭВБЕЯ
Фокея
Магнесия
р. Ахелой
г. Парнас
ЛИДИЯ
Калидон
Навпакт
Дельфы
ФОКИДА
Сарды
БЕОТИЯ
о. Хиос
Смирна
Эниады
Патры
Херонея
Клазомены
Фивы
ИОНИЯ
Платея
Теос
Колофон
Дима
Мегары
АТТИКА
Марафон
р. Ларисс
АХАЙЯ
Афины
Эфес
Траллы
ЭЛИДА
Писа
Коринф
Пирей
о. Андрос
о. Самос
Магнесия
Герея
Флиунт
Сикион
о. Саламин
Самос
Приена
о. Закинф
Олимпия
Аргос
о. Эгина
о. Кеос
о. Рения
м. Микале
КАРИЯ
АРКАДИЯ
Милет
Мегалополь
Бельмина
о. Делос
г. Ифома
МЕССЕНИЯ
р. Эврот
Селласия
Баргилий
Мессена
Лакедемон (Спарта)
о. Сериф
Пилос
о. Наксос
Галикарнасс
Кавн
ЛАКОНИЯ
о. Сфактерия
Гифий
Тайгет
о. Аморгос
о. Кос
о. Мелос
о. Иос
Книд
о. Сикин
м. Малея
о. Астипалея
Иалис
Родос
м. Тенар
м. Триопий
о. Кифера
о. Родос
Линд
о. Эгилия
Пергам
Кносс
КРИТ
Гортина

ФТИОТИДА
м. Артемисий
Орей (Гестиэя)
Ламия
Эдепс
о. Скирос
Фермопилы
г. Эта
ЛОКРИДА
Трахин
Эги
ЭТОЛИЯ
ЭВБЕЯ
Элатея
Опунт
ФОКИДА
Амфисса
Парапотамий
Тегиры
Ларимна
Анфедон
г. Парнас
Орхомен
Халкида
Дельфы
Херонея
ЛОКРИДА
Лебадия
г. Птой
БЕОТИЯ
Эретрия
Тамины
Кирра
Антикира
Авлида
Танагра
Далий
Коронея
Тилфосий
Галиарт
Феспии
Фивы
р. Асоп
Ороп
Заретра
Левктры
Платея
г. Киферон
Панакт
Рамнунт
Афидны
Декелия
Эгий
Элевферы
Фила
АХАЙЯ
м. Герей
Пеги
Ахарны
Марафон
Карист
Пеллена
г. Герания
МЕГАРИДА
Мегары
Элевсин
АТТИКА
Галы
Афины
Сикион
Лехей
Истм
Нисея
Бравроп
о. Саламин
Пирей
Фалер
Коринф
Кенхреи
Флиунт
г. Онист
г. Лаврий
Немея
Клеоны
АРКАДИЯ
Орхомен
Эгина
АРГОЛИДА
Аргос
Мантинея
Эпидавр
м. Суний
о. Кеос
Навплия
Лерна
о. Калаврия
Тегея
Трезен
Элеунт
ФИРЕАТИДА
Фирея
Гермиона
Мегалополь
Паллантий





р. Танаид (Дон)
р. Истр
ПЕОНИЯ
ТРИБАЛЛЫ
МАКЕДОНИЯ
Пелла
ФРАКИЯ
ПОНТ — ЭВКСИНСКИЙ
ПАФЛАГОНИЯ
Гордий
КАППАДОКИЯ
Сарды
Милет
Галикарнас
Родос
КРИТ
КИПР
КИЛИКИЯ
Иос
Маллы
Гавгамелы
Арбела
Тапсак
Дамаск
Тир
СИРИЯ
Кирена
Александрия
Газа
Гелиополь
оазис Аммона
Мемфис
НАБАТЕИ
ЕГИПЕТ
АРАВИЯ
Вавилон
Кунакса
ГАБИЕНА
Сузы
р. Евфрат
Персеполь
Пасаргады
ПЕРСИДА
КАРМАНИЯ
АРМЕНИЯ
КАВКАЗ
МИДИЯ
Экбатаны
КОССЕИ
ГИРКАНИЯ
ПАРФИЯ
МАРГИАНА
р. Оке
Мараканда
СОГДИАНА
БАКТРИЯ
Ниса
АРАХОЗИЯ
ГЕДРОЗИЯ
ОРИТЫ
Таксила
Букефала
МАЛЛЫ
р. Инд
ИНДИЯ

8

Инсубры
Галлия
Плаценция
Кремона
Бетриак
Патавий
Кластидий
Бриксол
р. Требия
Цизальпийская
Парма
Мутина
Равенна
Аримин
р. Рубикон
Лука
Пизавр
Анкона
Этрурия
Умбрия
Пицен
Клузий
Аскул
Нурсия
Марруцины
Теламон
Косса
Нарния
Фалерии
Пелигны
Вейи
Фидены
Корфиний
Рим
Сабины
Самний
Френтаны
Остия
Лаций
Лирис
Апулия
р. Ауфид
Казилин
Капуя
Ацерры
Беневент
Цирцеи
Минтурны
Синуэсса
Кампания
Кумы
Мизен
Байи
Неаполь
Нола
Авскул
Канны
Канузий
Венузия
Бантия
Брундизий
Калабрия (Иапигия)
Потенция
Лукания
Элея
р. Сирис
Метапонт
Тарент
Мандорий
Гераклея
Сибарис
Бруттий
Фурии
Пандосия
Петелия
Кротон
м. Лакиний
Мессена
Милы
Вибон
Кавлония
Гиккара
Панорм
Тиндарида
Локры Эпизефирские
Регий
Эрик
Иеты
Гимера
Эгеста
Адран
Тавромоний
Наксос
Лилибей
р. Кримис
Сицилия
Леонтины
Селинунт
Катана
Гераклея Миноя
р. Лик
Акрагант
Гибла
Мегары Гиблейские
Гела
Тапс
Сиракузы
Камарина
Акры
м. Пахин

9

Фалерии
Сабины
Капена
Эквы
Этруски
Куры
Фуцинское оз.
Вейи
Фидены
Тибур
Рим
Габии
Марсы
Бовиллы
Пренесте
Герники
Остия
Латины
Тускул
Лабики
Лаврент
Арпин
Лавиний
Велитры
Ардея
Сигния
Сатрик
Фрегеллы
Антий
Сетия
Астура
Вольски
Аврунки
Цирцеи
Таррацина
Кайета
Минтурны

10

Леонт
Гексапилы
Тиха
Ахрадина
Эпиполы
Стена V в.
Стена IV в.
Форум
Крепость
хр. Деметры и Персефоны
Малая гавань
р. Анап
Большая гавань
Ортигия (остров)
хр. Зевса Олимпийского
Племмирий
Сиракузы

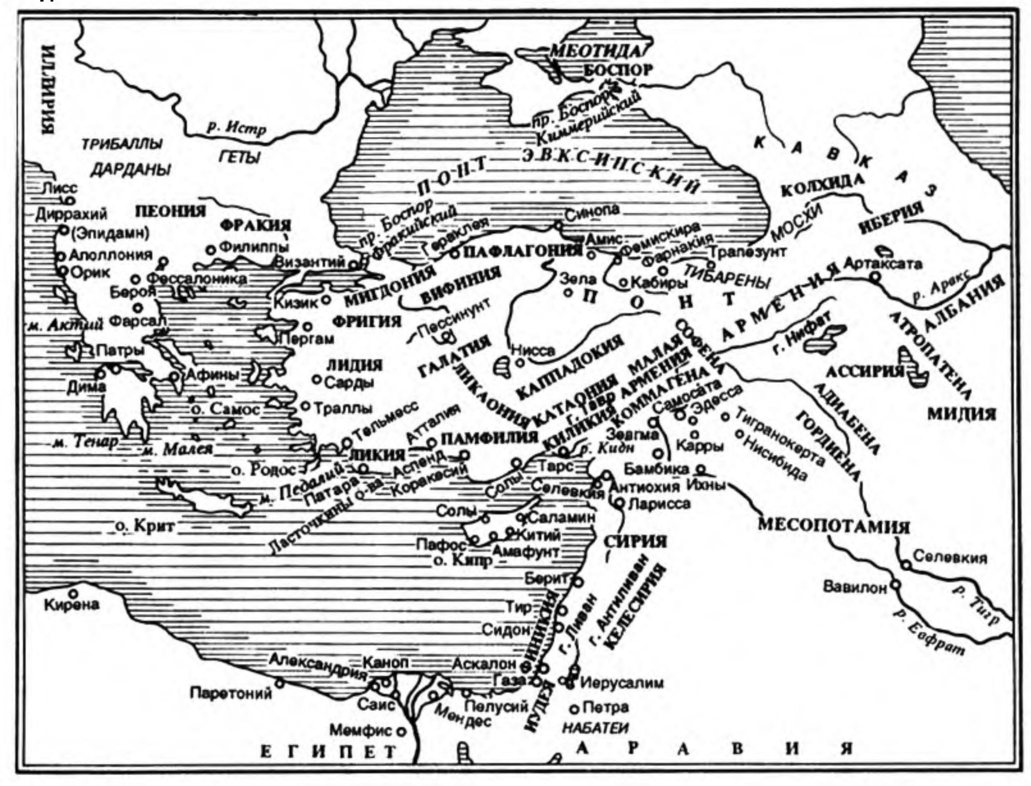
11

хр. Юноны Монеты
Капитолий
хр. Согласия
Тюрьма
Базилика Эмилия Павла
Базилика Порция Катона
Курия Гостилия
Курия Согласия
хр. Сатурна
Форум
Колодезь
Курция
Ростры (трибуна)
Велия
хр. Опы
хр. Кастора
Комиций
Священная дорога
Тусская ул.
хр. Весты
Регия
хр. Ромула
хр. Юпитера Статора
Кермал
Палатин

12

Сады Помпея
Коллинские ворота
Ватикан
Сады Лукулла
хр. Спасения
хр. Квирина
Марсово поле
хр. Беллоны
Квиринал
Виминал
Портик и театр Помпея
Субура
Цирк Фламиния
хр. Юпитера Капитолийского
Капитолий
Форум
Эсквилин
хр. Земли
Велабр
Палатин
Яникул
Большой цирк
Целий
Сады Цезаря
хр. Дианы
Авентин
хр. Доброй Богини
Тибр
Ремурий
Аппиева дорога


БРИТАНИЯ
БАТАВЫ
ГЕРЦИНСКИЙ ЛЕС
СУГАМБРЫ
ГЕРМАНИЯ
ТЕНКТЕРЫ
УЗИПЕТЫ
НЕРВИИ
БЕЛЬГИ
СВЕВЫ
КАРНУТЫ
ЛИНГОНЫ
ГАЛЛИЯ
Алезия
ЭДУИ
СЕКВАНЫ
НОРИК
ГЕЛЬВЕТЫ
ИНСУБРЫ
ПАННОНИЯ
Медиолан
ДАЛМАЦИЯ
АЛЛОБРОГИ
АРВЕРНЫ
Верцеллы
р. Родан
Кластидий
р. Пад
ИЛЛИРИЯ
БИТУРИГИ
ЛИГУРИЙЦЫ
р. Рубикон
ТЕКТОСАГИ
КАЛЛАИКИ
р. Ибер
ПИРЕНЕИ
Лука
Аримин
ВАКЦЕИ
Массилия
Лангобрига
Оска
Нуманшия
ЛАЦЕТАНЫ
о. Корсика
Рим
ЛУЗИТАНЫ
Сегунтий
Капуя
Брундисий
р. Таг
ХАРАКИТАНЫ
Тарент
Сагунт
Валентия
о. Сардиния
Кордуба
Кастулон
Кротон
о. Пифиуса
Лаврон
БЕТИКА
Мессена
Новый Карфаген
Регий
Гадес
Малака
о. Сицилия
Мунда
Катана
Гадирский пролив
Гиппон
Утика
Сиракузы
Тингис
Карфаген
АФРИКА
Адрумет
МАВРИТАНИЯ
Тапс
НУМИДИЯ
о. Керкина
о. Менинг



ИЛЛИРИЯ
р. Истр
ТРИБАЛЛЫ
ГЕТЫ
ДАРДАНЫ
Лисс
Диррахий (Эпидамн)
Аполлония
Орик
ПЕОНИЯ
ФРАКИЯ
Филиппы
Фессалоника
Берон
Фарсал
м. Актий
Патры
Дима
Афины
о. Самос
м. Тенар
м. Малея
о. Родос
о. Крит
Кирена
МЕОТИДА
БОСПОР
пр. Боспор Киммерийский
ПОНТ ЭВКСИНСКИЙ
пр. Боспор Фракийский
Византий
Гераклея
Кизик
МИГДОНИЯ
ВИФИНИЯ
ФРИГИЯ
Пергам
ЛИДИЯ
Сарды
Траллы
Тельмесс
ЛИКИЯ
Патара
м. Педалий
Ласточкины о-ва
Атталия
ПАМФИЛИЯ
Аспенд
Коракесий
Пессинунт
ГАЛАТИЯ
ЛИКАОНИЯ
ПАФЛАГОНИЯ
Синопа
Амис
Фемискира
Фарнакия
Трапезунт
Зела
Кабиры
ТИБАРЕНЫ
ПОНТ
Нисса
КАППАДОКИЯ
КАТАОНИЯ
МАЛАЯ АРМЕНИЯ
г. Тавр
КИЛИКИЯ
КОММАГЕНА
СОФЕНА
Самосата
Эдесса
Зевгма
Карры
Тигранокерта
Нисибида
р. Кидн
Тарс
Солы
Селевкия
Антиохия
Бамбика
Ихны
Лариса
Солы
Саламин
Китий
Пафос
Амафунт
о. Кипр
СИРИЯ
Берит
Тир
Сидон
ФИНИКИЯ
г. Ливан
г. Антиливан
КЕЛЕСИРИЯ
Аскалон
Газа
Иерусалим
Петра
НАБАТЕИ
ИУДЕЯ
Александрия
Каноп
Паретоний
Саис
Мендес
Пелусий
Мемфис
ЕГИПЕТ
АРАВИЯ
КАВКАЗ
КОЛХИДА
МОСХИ
ИБЕРИЯ
Артаксата
р. Аракс
АЛБАНИЯ
АРМЕНИЯ
г. Нифат
АТРОПАТЕНА
АССИРИЯ
АДИАБЕНА
ГОРДИЕНА
МИДИЯ
МЕСОПОТАМИЯ
Селевкия
Вавилон
р. Тигр
р. Евфрат

